

Илья Эренбург
7

Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах



Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах

Москва
«Художественная литература»
2000

Илья Эренбург

Собрание сочинений
том седьмой

Люди, годы, жизнь

Книги
вторая, третья,
четвертая,
пятая
(главы 1—13)

Москва
„Художественная литература"
2000

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6-4
Э-76

Составление, подготовка текста
И. И. ЭРЕНБУРГ и Б. Я. ФРЕЗИНСКОГО

Комментарии
Б. Я. ФРЕЗИНСКОГО

Оформление художника
Е. А. ГАННУШКИНА

ISBN 5-280-02070-2 (Т. 7)
ISBN 5-280-01055-3

Люди, годы, жизнь

Книги II—V

Книга вторая

1

Я походил на ягненка, отбившегося от стада, о котором писал Дю Белле: ведь когда я уехал из России, мне не было и восемнадцати лет. Как приготовишка, я готов был учиться грамоте; спрашивал всех, что происходит, но в ответ слышал одно: «Этого никто не понимает...» Я пробовал заводить длиннейшие разговоры — о миссии России, о гнили Запада, о Достоевском, но люди были заняты другим: они не разговаривали, а ругались, проклинали — кто большевиков, кто Керенского, кто революцию.

На Финляндском вокзале нас встретила пожилая меньшевичка в пенсне; она мне сказала: «Идите за мной». Я ответил, что меня сопровождает конвойный. Она начала ругать солдата, солдат ругал ее. Она ему говорила, что он мешочник (он действительно вез с собой кулек), а он отвечал, что она, наверно, «жрет мармелад». Я стоял и дивился. Меньшевичка нас отвезла в общежитие: там было тесно и темно. Какой-то юноша кричал своему соседу: «Какой ты революционер? Ты — Галифе, тебя нужно приставить к стенке!..»

Как всем политэмигрантам, мне дали отсрочку; поручик в участке сказал, что в армии и без меня достаточно болтунов.

Я получил в «Биржевке» причитавшийся мне гонорар и поселился в меблированных комнатах на Мойке. С утра я шел на улицу и смотрел. Архитектура города, его проспекты казались мне необычайно ясными, величественными, но понять что-либо было невозможно.

Я пошел на митинг в цирк Чинизелли. Народу было много, но я сразу почувствовал, что речи всем надоели: энтузиазм первых месяцев, видимо, успел иссякнуть, даже болтуны выговорились. Выступали люди случайные. Се-

дая дама доказывала, что революцию спасет эсперанто; ее не слушали. Потом выступал анархист, он говорил, что необходимо сейчас же отменить государство; все на него кричали; тогда он стал отчаянно свистеть — и его стащили с подмостков. Элегантно одетый молодой человек умолял не отдавать Россию кайзеру. На него насели два солдата: «А ты, сукин сын, в окопе сидел?..»

Я попытался разыскать поэтов, с которыми переписывался; никого из них в городе не оказалось, мне отвечали «на даче» или «в Крыму». Т. И. Сорокин как-то послал за мной: «Приходи, здесь сейчас Блок». Я побежал в Зимний дворец, но пришел слишком поздно — Блока уже не было. Так я и не увидел поэта, стихи которого любил больше всего...

В «Биржевке» мне посоветовали пойти в ресторан «Вена» — там по вечерам собираются поэты и художники. Я решил, что «Вена» нечто вроде «Ротонды». Но за столиками сидели обыватели, офицеры, спекулянты. Один кричал: «Что же вы на карточке пишете, если этого нет? Вы еще Николая поставьте!» Дама визжала: «Почему они прозевали Ленина?..»

На улицах ловили дезертиров; патрули, проверявшие документы, сами походили на дезертиров. Однажды я видел, как два офицера отобрали у женщины мешок с сахарным песком. Она вопила: «Ироды!..» Когда она ушла, один из офицеров крикнул вслед, что скоро ее приставят к стенке, — Керенский потакает мешочникам, но и на него найдется управа. Потом офицеры, не стесняясь прохожих, поделили между собой добычу.

В магазинах можно было купить гаванские сигары, севрские вазы, стихи графини де Ноай. В кондитерских подавали кофе с медом (сахара уже не было), а вместо пирожных — тоненькие ломтики белого хлеба и повидло. Извозчики больше не говорили про овес, только угрюмо ругались. Один поэт, с которым я познакомился в редакции «Биржевки», сказал: «Единственная надежда на генерала Корнилова. Его зовут Лавр — это символично...»

Солдаты говорили про «замирение». Дезертиры ничего не говорили, мрачно поглядывали на прохожих. По Невскому гуляли девушки в военной форме; они лихо козыряли, и груди у них были очень большие; они «митинговали» на углу Садовой, кричали, что нужно найти Ленина, а пока что арестовать Чернова.

Я услышал Чернова; он говорил, как в Париже, очень возвышенно. Но в марте он меня чем-то тронул, а в авгус-

те показался смешным. Он умел говорить и, в общем, напоминал французского радикал-социалиста, который клянется избирателям, что если его выберут, то он построит мост через речку. Чернов клялся, что даст крестьянам землю и спасет Россию от немцев. У него были хитрые глаза; по-моему, никто из слушавших ему не поверил. Слышал я и Керенского; это напоминало театр — казалось, что глава Временного правительства сейчас заплачет или убежит со сцены. К этому времени слава Керенского успела потускнеть; все же полсотни женщин истошно вопили, приветствуя его, одна кинула ему букетик полуувядших астр; он поднял цветы и почему-то их понюхал.

Я встретил двух-трех эмигрантов, которых знал по Парижу. Один из них, большевик (его звали Сашуней), сказал, что Антонов-Овсеенко сидит в Крестах, что меньшевики — предатели, время споров прошло. Я спросил его, не боится ли он, что немцы, воспользовавшись гражданской войной, захватят Петроград. Он стал кричать, что я рассуждаю как меньшевик, что я интеллигент «с головы до ног», «интеллигенция путается в ногах», теперь не немцы страшны, а «оборонцы».

Я проговорил час или два с Савинковым. Он был помощником военного министра, и я не узнавал того Бориса Викторовича, который уныло усмехался в «Ротонде». Савинков говорил о крутых мерах, о диктатуре, о порядке. Керенского он назвал фразером, который упивается тембром своего голоса; о Временном правительстве отозвался презрительно: «Это растерявшиеся люди, они заседают не сидя, а стоя...»

В Зимнем дворце я увидел, как жил царь; жил он неинтересно; комнаты были заставлены безвкусной мебелью, мещанскими безделушками. (Такие же вещи я увидел потом в пекинском дворце, в покоях последнего китайского императора.) Среди пуфов стояли раскладушки; валялись винтовки — революция, которую Савинков хотел преждевременно похоронить, бродила по залам Зимнего дворца. На лестнице какая-то дама схватила помощника военного министра за борт пиджака: «Но вы мне скажите, почему Жоржа держат в остроге? Он еще в лицее читал Герцена...»

Савинков познакомил меня с Ф. А. Степуном. Я знал, что Степун — философ, что он написал интересную книгу «Письма прапорщика», в которой показал войну без обязательной позолоты. Менее всего я мог себе представить его исполняющим должность начальника политического

управления военного министерства. Лицо у него было скорее мечтателя или пастора. Я начал бестолково и страстно твердить, как Сашуне, что немцы могут оккупировать Россию и задавить революцию. Он спросил, не хочу ли я стать военным комиссаром. Я усмехнулся — комиссар должен понимать, объяснять, а я занят другим: всех спрашиваю.

Был я и в Смольном. Там люди кидались на Чхеидзе, кричали, что Савинков сговаривается с генералами, а в тюрьму сажают рабочих. В коридорах спали солдаты.

Один из парижских эмигрантов мне строго сказал: «Здесь тебе не «Ротонда» — иди на фронт...» Я ответил, что меня не хотят брать в армию. Он зло рассмеялся: «Значит, ты большевик? Я тебя выведу на чистую воду...» Старушка прижала меня к стенке, плакала: «Ты им скажи, что у Андрюши дочка в консерватории, а сукно это Мишукин получил...»

В Петрограде тогда находились Тихон Иванович Сорокин и Катя с моей дочкой Ириной. Они жили у отца Кати, который не мог слышать моего имени: ко всем прочим грехам я был евреем. Катя тайком от отца привела ко мне Ирину; девочке тогда было шесть лет. Я ее повел в кафе «Ампир», угостил белым хлебом с повидлом. Потом мы гуляли по Невскому. У Ирины одно время была няня итальянка, она ее научила молиться богу. Девочка попросила, чтобы мы зашли в Казанский собор; там она тотчас стала на колени и приказала мне последовать ее примеру. Я не послушался. Ирина начала кричать, плакала; женщины, молившиеся в соборе, возмутились: стыдно в святом месте обижать ребенка! К счастью, Ирине надоело молиться, и она спросила, нельзя ли снова пойти в кондитерскую.

Тихон сказал мне, что Степун направляет его на Кавказский фронт, а меня хочет сделать помощником Тихона. Я долго смеялся: Тихон разбирался в событиях еще меньше, чем я. Он хорошо знал книги Владимира Соловьева и архитектуру ранней готики. Интересно, о чем он будет говорить солдатам: о «вечной женственности» или о витражах Шартрского собора?..

(В архиве я нашел удостоверение военного министра от сентября 1917 года, в котором говорится, что в «согласии с фронтовой комиссией Центрального исполнительного комитета Всероссийского съезда Советов солдатских и рабочих депутатов» я назначен помощником военного комиссара Кавказского военного округа. Об этом назначении я узнал, когда уже исчезли и военный министр и Кавказский фронт.)

Все уверяли, что кто-то скоро «выступит»; одни считали, что выступит генерал Корнилов, другие — что выступят большевики. Я понял, что ничего не пойму, и уехал в Москву.

Вот и Остоженка... Здесь я знал все переулки, все вывески. Сначала город мне показался более спокойным; но это была видимость — люди и здесь ничего не понимали. Я попробовал разыскать старых знакомых. Прошло восемь лет, а это немалый срок. Один гимназист, ходивший в 1907 году на наши собрания, успел стать модным адвокатом; когда я назвал себя, он начал на меня кричать: «Доигрались! Мог бы сидеть в Париже, там, по крайней мере, не стреляют на улицах...» Гимназистка Люся, которая обожала стихи Лермонтова, оказалась полной дамой с усиками; она меня напоила чаем, но замучила жалобами: нет сахара, прислуга дерзит, ночью страшно выйти на улицу.

На Тверской помещалось кафе «Бом» с красными бархатными диванами; там подавали кофе и пирожные. Туда приходили писатели. Там я познакомился с В. Г. Лидиным; он был розовым и очень опрятным; говорил о лошадях, о конюшнях, о мастерстве Бунина. Б. К. Зайцев задушевно рассказывал о красоте православных обрядов и о новелле. В. Ф. Ходасевич язвительно обо всех отзывался и писал нежные стихи о том, что его клонит к смерти, как девушек вечером клонит ко сну; у него было лицо, похожее на череп. А. Н. Толстой мрачно попыхивал трубкой и говорил мне: «Пакость! Ничего нельзя понять. Все спятили с ума...»

Алексей Николаевич уверял, что я похож на мексиканского каторжника. Я зашел в кафе на Арбате, начал что-то строчить; подошла девушка, сердито забрала пустой стакан и сказала: «Здесь вам не университет...» Я отвык от русского быта и часто выглядел смешным. Мне казалось, что именно поэтому я не могу разобраться в значении происходящих событий. Но и Алексей Николаевич был растерян не меньше меня. Недавно я перечитал дневники Блока, письма Короленко, статьи Горького; все тогда и принимали, и отвергали, и соглашались, и протестовали. Очевидно, «мексиканский каторжник» оказался при проверке заурядным русским интеллигентом... Я говорю это не для того, чтобы каяться или оправдываться; мне хочется объяснить мое состояние в 1917 — 1918 годы. Конечно, теперь я вижу все куда яснее, но гордиться здесь нечем — задним умом крепок каждый.

2

Говорят, что из-за деревьев не видно леса; это так же верно, как то, что из-за леса не видно деревьев. Читая о Франции 1793 года, мы видим Конвент, неподкупного Робеспьера, гильотину на площади Революции, клубы, где витийствовали санкюлоты, памфлеты, заговоры, битвы. А в том самом году Филипп Лебон сидел в маленькой лаборатории и думал о газе; Тальма репетировал ложноклассическую трагедию; модницы примеряли новые шляпы с лентами; домашние хозяйки рыскали по городу, разыскивая исчезающие продукты.

А. Н. Толстой так описал разговоры лета 1917 года: «Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?»; другой говорил: «Оставьте, батенька, зачем нас резать, чепуха, не верю, а вот продовольственные магазины громить будут»; третий сообщал из достоверного источника, что «к первому числу город начнет вымирать от голода».

Случайно у московских знакомых сохранилась моя записная книжка 1917 — 1918 годов. Записи настолько лаконичны, что порой я не могу их расшифровать, но некоторые строки помогли мне многое восстановить в памяти. Записал я и про первую встречу с В. Я. Брюсовым.

Это было в то самое лето, о котором писал Толстой. Я провел у Валерия Яковлевича несколько часов. Он прочитал мне недавно написанное им стихотворение об Ариадне, и мы поспорили. Если сформулировать эту часть беседы, то она будет выглядеть достаточно неожиданно для августа 1917 года:

1. Правда ли, что Тезей испытывал угрызения совести, оставив Ариадну на безлюдном острове?

2. Как правильнее писать — «Тезей» или «Фессей»? (Валерий Яковлевич настаивал на последней транскрипции.)

3. Нужно ли современному поэту писать о Тезее? (Я говорил, что не нужно.)

Можно подумать, что Брюсов был эстетом, формалистом, вечным декадентом, решившим противопоставить свой мир действительности. Это неверно; вскоре после Октябрьской революции, когда и его сверстники, и поэты более молодого поколения (в том числе я) недоумевали, метались, многое оплакивали, многим возмущались, Брюсов уже работал в первых советских учреждениях. Если он говорил со мной о Тезее, то потому, что верил в живу-

честь поэзии и уважал свою собственную работу. Всю жизнь он жил книгами — чужими и своими. В молодости он как-то признался, что у него «глупая чувствительность к романам, когда ее вовсе нет к событиям жизни».

Я шел к нему с двойным чувством: помнил его письма — он ведь неоднократно приободрял меня, — уважал его, а стихи его давно разлюбил и боялся, что не сдержусь, невольно обижу человека, которому многим обязан.

Валерий Яковлевич жил на Первой Мещанской; чтобы попасть к нему, я должен был пересечь знаменитую Сухаревку. Если Ватикан в Риме — независимое государство, то таким государством в Москве 1917 года была Сухаревка; она не подчинялась ни Временному правительству, ни Совету рабочих депутатов, ни милиции. Прекрасная башня высилась над грандиозным рынком; здесь, кажется, еще жила Древняя Русь с ее слепцами, певшими заунывные песни, с нищими, с юродивыми. Матерщина перебивалась причитаниями, древняя божба — разговорами о «керенках», о буржуях, о большевиках. Кого только тут не было: и дезертиры, и толстущие бабы из окрестных деревень, и оказавшиеся безработными гувернантки, экономки, приживалки, и степенные чиновницы, и воры-рецидивисты, и сопляки, торговавшие рассыпными папиросами, и попы с кудахчущими курами. Все это шумело, чертыхалось, покрикивало, притопывало — человеческое море...

«Восплакался Адамий: раю мой, раю!» — гнусавил слепец; его песня еще звучала у меня в ушах, когда я подошел к дому Брюсова. Сухаревка была необходимым предисловием, ключом к разгадке сложного явления, именуемого «Валерием Брюсовым»; ведь если можно спорить о ценности стихов, посвященных Тезею, Ассаргадону, Кукулкану, то никто не станет отрицать значение Брюсова в развитии русской культуры. (Валерий Яковлевич как-то написал: «Желал бы я не быть «Валерий Брюсов»; но хорошо, что он им был.)

Конечно, не одна только Сухаревка имеет право значиться в предисловии; я сказал о ней, потому что Брюсов жил неподалеку; можно было бы припомнить и Зарядье с его лабазами, и «Общество свободной эстетики», и Китай-город, и купца Щукина, покупавшего холсты никому не ведомого Пикассо, и «Литературно-художественный кружок» на Большой Дмитровке, где Валерий Яковлевич проповедовал «научную поэзию», пока члены кружка, прекрасно обходившиеся и без науки и без поэзии, играли в винт. Брюсов одевался по-европейски, знал

несколько иностранных языков, в письма вставлял французские словечки, на стены вешал не Маковского, а Ропса, но был он порождением старой Москвы, степенной и озорной, безрассудной и смекалистой.

Его трудолюбие, энергия поражали всех. При том первом свидании, о котором я рассказываю, он запальчиво возражал против моего, как он говорил, «безответственного» отношения к поэтической работе: «При чем тут вдохновение? Я пишу стихи каждое утро. Хочется мне или не хочется, я сажусь за стол и пишу. Даже если стихотворение не выходит, я нахожу новую рифму, упражняюсь в трудном размере. Вот черновики», — и он начал выдвигать ящики большого письменного стола, заполненные доверху рукописями. Меня он укорял за легкомыслие, дилетантство; говорил, что нужно устроить высшую школу для поэтов: это — ремесло, хотя и «святое», оно требует обучения.

Он был великолепным организатором. Отец его торговал пробкой, и я убежден, что, если бы гимназист Брюсов не напал на стихи Верлена и Малларме, у нас выросли бы леса пробкового дуба, как в Эстремадуре. Работоспособность в нем сочеталась с честолюбием. Когда ему было двадцать лет, он записал в дневнике: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное... Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это — декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду Я! Да, Я!»

Он организовывал издательства, создавал журналы, писал труды о стиховедении, переводил латинских авторов, спорил с признанными авторитетами, наставлял молодых; боялся одного — отстать от своего времени.

Он часто писал о хаосе — это шло от Тютчева; но Брюсову хотелось взять воспеваемый им хаос и его организовать. Помню, как я пришел к нему в конце 1920 года в маленький особняк, где помещался ЛИТО — так назывался отдел Наркомпроса, которому была вверена литература. Валерий Яковлевич говорил со мной как заведующий отделом, предлагал работу; он показал на стену, там висела диковинная диаграмма: квадраты, ромбы, пирамиды — схема литературы. Это было наивно и вместе с тем величественно: седой маг, превращающий поэзию в канцелярию, а канцелярию — в поэзию.

Его часто называли рационалистом, человеком сухого рассудка; многие уверяли, что он никогда не был поэтом. По-

моему, это неверно: разум для Брюсова был не здравым смыслом, а культом, и в своей вере в разум он доходил до чрезмерности. Поэтом он был даже в самом обыденном, обывательском понимании этого слова: жил в условном мире исступленных схем. Его замечательно написал Врубель; сухие, обжигающие глаза, голова, как бы срезанная сзади.

Вспоминаю «Кафе поэтов» в Москве в 1918 году. Приходили туда люди, мало причастные к поэзии, — спекулянты, дамочки, молодые люди, именовавшие себя «футуристами». Валерий Яковлевич объявил, что будет импровизировать терцины на темы, заданные посетителями. Ему посылали дурацкие записки. Он как будто не замечал ни официантов с их криками «два кофе, два!», ни смеха подвыпивших матросов. Строгий, торжественный, он читал стихи; у него был странный голос, когда он декламировал, — резкий, отрывистый. Читая, он откидывал голову назад. Он походил на укротителя, только перед ним были не цирковые львы, а слова. Он сочинял терцины то о Клеопатре, то о барышне, сидевшей за столиком, то о прозрачных городах будущего.

Ко всему он подходил серьезно; его эротические стихи — нечто вроде путеводителя по царству Афродиты. Окруженный поэтами, охваченными мистическими настроениями, он начал изучать «оккультные науки», знал все особенности инкубов и суккубов, заклинания, средневековую ворожбу.

Когда появились футуристы, Бальмонт наивно просил их помедлить с его низложением. Брюсов попробовал сам низвергать; написал стихотворение «Футуристический вечер». Маяковский писал:

...а за солнцами улиц где-то ковыляла
никому не нужная, дряблая луна.

У Брюсова:

Монетой, плохо отчеканенной,
Луна над трубами повешена.

Футуристы, однако, не признали его своим, и среди их лозунгов значилось: «Стащить бумажные латы с черного фрака Брюсова».

Валерий Яковлевич разыскал во Франции мало кому известного поэта Рене Гиля, изобретателя «научной поэзии». Брюсову рассуждения Рене Гиля понравились: Валерий Яковлевич давно уже хотел быть колдуном с высшим образованием, магом-академиком.

Он изучил Пушкина, писал об анагорах, зевгмах, пролепсах, силлепсах, подсчитал, что в третьей главе «Онегина» семьдесят три процента рифм отличаются согласованием доударных звуков, а в четвертой главе всего пятьдесят четыре процента. Брюсов попытался дописать «Египетские ночи», создать обновленный вариант «Медного всадника»; эти его вещи не хочется перечитывать.

Несправедливо некоторые обвиняли Брюсова в отсутствии вкуса: эта черта присуща всем символистам — очевидно, такой у них был вкус. Разве не удивительно, что почти все они восхищались поэзами Игоря Северянина, которые нам кажутся образцом пошлости? Брюсов мог незадолго до смерти писать:

Я — междумирок. Равен первым,
Я на собранье знати — пэр,
И каждым вздохом, каждым нервом
Я вторю высшим духам сфер.

Я думаю сейчас о поэзии символистов. Это было замечательное явление; родился великий поэт Александр Блок; русский стих как будто раскрепостили. Но до чего мне по-человечески понятнее письма не только Чехова, но и его тусклых сателлитов, чем дневники Брюсова, путевые очерки Бальмонта или переписка между Блоком и Андреем Белым!..

К принятию революции Брюсова привел разум: он увидел завтрашний день. Ему было уже под пятьдесят. Он работал над сохранением библиотек, над распространением поэзии, делал много доброго и важного. Есть довольно уродливое немецкое слово «культуртрегер»; по смыслу оно вполне подходит к деятельности Брюсова и до революции и после. Я предпочту более старомодное определение: Брюсов был просветителем.

Он верил, что революция коренным образом переменит все; говорил мне, что социалистическая культура будет отличаться от капиталистической столь же сильно, как христианский Рим от Рима Августа. Он хотел подойти к новому и как поэт, но был слишком тесно связан с прежним миром. Его стихи о революции наполнены мифологическими образами, в них знакомый нам словарь символистов. В Октябрьские дни он увидел в Москве трех парок Эллады. Когда Г. В. Чичерин подписал соглашение с Германской республикой, Брюсов писал:

От совета Лемуров до совета в Рапалло...

Он обличал защитников капитализма:

Было так, длилось под разными флагами,
С Семирамиды до Пуанкаре...
Кто-то, засев властелином над благами,
Тесно сжимал роковое каре.

(Я вспоминаю аккуратного среднего француза мосье Пуанкаре; он, бесспорно, был бы польщен, что кто-то поставил его рядом с легендарной Семирамидой.) Порой Брюсовым овладевала тоска, и он жаловался, как в молодости:

Все люди, теперь и прежде,
И в грядущем, взглянув на забор,
Повтор все тех же арпеджий,
Аккордов старый набор!..

Он умер осенью 1924 года в возрасте пятидесяти одного года. Я был в Париже; мы устроили вечер памяти Брюсова. Когда человек умирает, вдруг его видишь по-новому — во весь рост. Есть у Брюсова прекрасные стихи, которые кажутся живыми и ныне. Может быть, над его колыбелью и не было традиционной феи, но даже если он не родился поэтом, он им стал. Он помог десяткам молодых поэтов, которые потом его осуждали, отвергали, ниспровергали. А молодой Советской России этот неистовый конструктор, неутомимый селектор был куда нужнее, чем многие сладкопевцы.

Не могу не вспомнить еще раз моих парижских лет. Валерий Яковлевич меня поддержал; даже его упреки помогали мне жить.

При первой нашей встрече Брюсов заговорил о Наде Львовой — рана оказалась незажившей. Может быть, я при этом вспомнил предсмертное стихотворение Нади о седом виске Брюсова, но только Валерий Яковлевич показался мне глубоким стариком, и в книжку я записал: «Седой, очень старый» (ему тогда было сорок четыре года). Записал я также: «Жизнь у него на втором плане», — может быть, думал при этом о Наде, может быть, о революции; но уже наверно помнил его слова о том, что «все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов».

Он подарил мне на память маленькую книгу, надписал: «В знак близости в одном, расхождений в другом». Это относилось к нашему спору о поэзии. О событиях того грозового лета мы не говорили; только уходя, я не выдержал,

спросил: что будет дальше? Валерий Яковлевич ответил стихами:

Растет потоп... Но с небосвода,
Приосеняя прах,
Как арка радуги, свобода
Гласит о светлых днях.

Я снова очутился на Сухаревке. Слепой с его «Адамием» исчез. На углу Сретенки толпились люди — кого-то пырнули ножом. Я постоял и пошел дальше; а думал я не о Тезее — о потопе.

3

Марине Ивановне Цветаевой, когда я с нею познакомился, было двадцать пять лет. В ней поражало сочетание надменности и растерянности; осанка была горделивой — голова, откинутая назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие — Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко подстрижены в скобку. Она казалась не то барышней-недотрогой, не то деревенским пареньком.

В одном стихотворении Цветаева говорила о своих бабках: одна была простой русской женщиной, сельской попадьей, другая — польской аристократкой. Марина совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, высокомерность и застенчивость, книжный романтизм и душевную простоту.

Когда я впервые пришел к Цветаевой, я знал ее стихи; некоторые мне нравились, особенно одно, написанное за год до революции, где Марина говорила о своих будущих похоронах:

По улицам оставленной Москвы
Поеду — я, и побредете — вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет, —
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.

И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярине Марине...

Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина

как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала:

Какие бледные платья!
Какая странная тишь!
И лилий полны объятья,
И ты без мысли глядишь...

Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой — Але — было тогда лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры самой Марины — она оказалась увлеченной политикой, говорила, что агитирует за кадетов.

В ранних стихах Цветаева воспевала вольницу Разина. По природе она была создана скорее для бунта, чем для добротного порядка, о котором тосковали летом 1917 года перепуганные обыватели. У Цветаевой с ними не было ничего общего; но она отшатнулась от революции, создала в своем воображении романтическую Вандею; жалела царя (хотя и осуждала:

Помянет потомство
Еще не раз
Византийское вероломство
Ваших ясных глаз).

Повторяла:

Ох, ты барская, ты царская моя тоска...

Почему ее муж, Сережа Эфрон, ушел в белую армию? Я знал в Париже старшего брата Сережи — актера Петра Яковлевича Эфрона, больного туберкулезом и рано умершего. Сережа походил на него — был очень мягким, скромным, задумчивым. Никак не могу себе представить, что ему захотелось стать шуаном.

Он уехал, а Марина писала неистовые стихи: «За Софью на Петра!» Писала:

Андре Шенье взошел на эшафот,
А я живу, и это страшный грех.

Она читала эти стихи на литературных вечерах; никто ее не преследовал. Все было книжной выдумкой, нелепой романтикой, за которую Марина расплатилась своей искалеченной, труднейшей жизнью.

Когда осенью 1920 года я пробрался из Коктебеля в Москву, я нашел Марину все в том же исступленном одиночестве. Она закончила книгу стихов, прославлявшую белых, — «Лебединый стан». К тому времени я успел многое повидать, в том числе и «русскую Вандею», многое продумал. Я попытался рассказать ей о подлинном облике белогвардейцев — она не верила; пробовал я поспорить — Марина сердилась. У нее был трудный характер, и больше всех от этого страдала она сама. У меня сохранилась ее книга «Разлука», на которой она написала: «Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды и чья вражда мне дороже любой дружбы. Эренбургу от Марины Цветаевой. Берлин, 29 мая 1922 года». (С ятями, даже с твердыми знаками, хотя к этому времени от прежних твердых позиций в ней оставалось мало что.)

Когда весной 1921 года я поехал одним из первых советских граждан за границу, Цветаева попросила меня попытаться разыскать ее мужа. Мне удалось узнать, что С. Я. Эфрон жив и находится в Праге; я написал об этом Марине. Она воспрянула духом и начала хлопотать о заграничном паспорте. Она рассказывала, что паспорт ей сразу дали; в Наркоминделе Миркин сказал: «Вы еще пожалеете о том, что уезжаете...» Цветаева везла с собой рукопись книги «Лебединый стан».

Ее встреча с мужем была драматичной. Сергей Яковлевич был человек обостренной совести. Он рассказал Марине о зверствах белогвардейцев, о погромах, о душевной пустоте. Лебеди в его рассказах выглядели воронами. Марина растерялась. В Берлине я с ней как-то проговорил ночь напролет, и в конце нашего разговора она сказала, что не будет печатать свою книгу.

(В 1958 году сборник «Лебединый стан» был издан в Мюнхене. Уезжая накануне второй мировой войны в Советский Союз, Цветаева оставила часть своего архива в библиотеке Базеля («нейтральная страна»). Не знаю, как удалось издателям получить рукопись; преследовали они, конечно, политические цели, нарушив волю Цветаевой, — она ведь провела в эмиграции семнадцать лет, много раз ей предлагали издать «Лебединый стан», она всегда отказывалась.)

Мне хочется углубить, да и расширить разговор об опоэтизированной Мариной Цветаевой Вандее, сказать о том, как порой искусство становится позой, бутафорией, одеждой. (Я уже упоминал об этом, вспоминая свои ранние стихи.) Это относится не только к «Лебеди-

ному стану», но ко многим книгам многих поэтов, и этот разговор может хотя бы отчасти помочь понять дальнейшие главы моего повествования.

Как я говорил, у меня не сохранилось старых писем. Часть своего архива Цветаева привезла в Москву. Есть в нем черновики некоторых писем ко мне. В одном из них Марина писала: «Тогда, в 1918 году, Вы отметали моих донжуанов («плащ», не прикрывающий и не открывающий), теперь, в 1922 году, — моих Царь-девиц и Егорушек (Русь во мне, то есть вторичное). И тогда и теперь Вы хотели от меня одного — меня, то есть костяка, вне плащей и вне кафтанов, лучше всего ободранную. Замысел, фигуры, выявление через — все это для Вас было более или менее бутафорией. Вы хотели от меня главного — без чего я — не я... Я Вас ни разу не сбила (себя постоянно и буду), Вы оказались зорче меня. Тогда, в 1918 году, и теперь, в 1922 году, Вы были жестоки — ни одной прихоти!.. Вы правы. Блуд (прихоть) в стихах ничуть не лучше блуда (прихоти, своеволия) в жизни. Другие — впрочем, два разряда — одни, блюстители порядка: «В стихах — что угодно, только ведите себя хорошо в жизни»; вторые, эстеты: «Все, что угодно, в жизни — только пишите хорошие стихи». И Вы один: «Не блудите ни в стихах, ни в жизни. Этого Вам не нужно». Вы правы, потому что к этому я молча иду».

Она шла и пришла к той цели, которую перед собой поставила, пришла дорогой страданий, одиночества, отверженности.

Сложны и мучительны были ее отношения с поэзией. Она написала о В. Я. Брюсове много несправедливого: видела внешность и не попыталась заглянуть глубже, задуматься, но, разумеется, ее должны были возмутить строки:

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Цветаева отвечала: «Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств? Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются...» Вместе с тем она жила в плену у поэзии. Вспоминая слова Каролины Павловой, Цветаева назвала одну из своих книг «Ремесло». В ней она писала:

Ищи себе доверчивых подруг,
Не выправивших чуда на число.
Я знаю, что Венера — дело рук,
Ремесленник, — и знаю ремесло!

Марина многих в жизни называла своими друзьями; дружба внезапно обрывалась, и Марина расставалась с очередной иллюзией. Был, однако, один друг, которому она оставалась верна до конца:

Да, был человек возлюблен!
И сей человек был — стол...

Ее рабочий стол — стихи.

Я встречал в жизни поэтов, знаю, как тяжело расплачивается художник за свою страсть к искусству; но, кажется, нет в моих воспоминаниях более трагического образа, чем Марина. Все в ее биографии зыбко, иллюзорно: и политические идеи, и критические суждения, и личные драмы — все, кроме поэзии. Мало осталось людей, которые знали Цветаеву, но ее поэзия только-только входит в мир многих.

С отрочества до смерти она была одинокой, и эта ее отверженность была связана с постоянным отталкиванием от окружающего: «Я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием». Очутившись в эмиграции, Цветаева оказалась снова одинокой; ее неохотно печатали эмигрантские журналы, а когда она написала восторженно о Маяковском, заподозрили в «измене». В одном из писем Цветаева рассказывала: «В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения, почуяв не свое: тамошнее. Содержание будто «наше», «а голос — и х н и й».

В том, что обычно называют политикой, Цветаева была наивна, упряма, искренна. В 1922 году я выпускал вместе с художником Э. Лисицким журнал «Вещь» — он выходил по-русски, по-французски и по-немецки. Марина по своему желанию перевела для журнала на французский язык обличительное стихотворение Маяковского «Слушайте, сволочи!». В тридцатые годы, давно охладев к русской Вандее, она все еще не могла примириться с новым стилем — я говорю не об искусстве, а о календаре. (Я вспоминаю рассказы о первом годе Советской власти; в Петрограде на одном из совещаний Блок страстно отстаивал старую орфографию — все он принимал, а вот «лес» без ятя ему казался не лесом.)

В годы первой мировой войны Цветаева писала:

Германия, мое безумье!
Германия, моя любовь!

(Она не была одинока — Блок тоже говорил о своей приверженности к немецкой культуре.) Четверть века спустя немецкие дивизии вступили в преданную Прагу, и Марина их прокляла:

О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь.

Наши встречи в тридцатые годы были редкими, случайными, пустыми. Я не знал, как она живет, чем живет; не знал ее новых стихов. Это были для Цветаевой годы больших испытаний и большой работы: теперь я вижу, как она поэтически росла, освобождаясь от последних «плащей», находила простые и пронзительные слова.

Жилось ей очень плохо: «Муж болен и работать не может. Дочь вязкой шапочек зарабатывает пять франков в день, на них вчетвером (у меня сын 8-ми лет, Георгий) живем, то есть просто медленно подыхаем с голоду».

С. Я. Эфрон стал одним из организаторов «Союза возвращения на родину». Он показал себя мужественным. Обращаясь к своему сыну, к молодым, родившимся в эмиграции, Марина писала:

Перестаньте справлять поминки
По Эдему, в котором вас
Не было!..

Аля уехала в Москву; вскоре за нею последовал С.Я. Эфрон.

Но не было в мнимом эдеме и самой Цветаевой. Прошлый мир никогда ей не казался потерянным раем.

Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

Она многое любила именно потому, что «нельзя», аплодировала не в те минуты, что ее соседи, глядела одна на опустившийся занавес, уходила во время действия из зрительного зала и плакала в темном пустом коридоре.

Девочкой Марина увлекалась «Орленком» и всей условной романтикой Ростана. С годами ее увлечения стали глубже: Гёте, «Гамлет», «Федра». Она иногда писала стихи по-французски, по-немецки. Однако повсюду, кро-

ме России, она чувствовала себя иностранкой. Все в ней связано с родным пейзажем — от «жаркой рябины» молодости до последней кровавой бузины. Основными темами ее поэзии были любовь, смерть, искусство, и эти темы она решала по-русски. Любовь для нее тот «поединок роковой», о котором говорил Тютчев. Цветаева писала о пушкинской Татьяне: «У кого из народов — такая любовная героиня: смелая — и достойная, влюбленная — и непреклонная, ясновидящая — и любящая?» Пуще всего Марина ненавидела заменители любви:

Сколько их, сколько их ест из рук,
Белых и сизых!
Целые царства воркуют вкруг
Уст твоих, Низость!

Она сама была «влюбленной и непреклонной».

Цветаева вернулась на родину с четырнадцатилетним сыном в 1939 году. Кажется, одним из ее последних стихотворений было написанное после того, как фашисты прикончили Испанию и вторглись в Чехословакию:

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь — выть...

С. Я. Эфрон погиб. Аля была далеко — в лагере. Марина и в Москве оказалась одинокой.

Она пришла ко мне в августе 1941 года; мы встретились после многих лет, и встреча не вышла — по моей вине. Это было утром, «тарелка» успела уже рассказать: «Наши части оставили...» Мои мысли были далеко. Марина сразу это почувствовала и придала разговору деловую видимость: пришла посоветоваться о работе — о переводах. Когда она уходила, я сказал: «Марина, нам нужно повидаться, поговорить...» Нет, мы больше не встретились: Цветаева покончила с собой в Елабуге, куда ее занесла эвакуация.

Сын Марины погиб на фронте. Алю я иногда вижу; она собрала неизданные стихи Марины.

От многих строк Цветаевой я не могу освободиться — они засели в памяти на всю жизнь. Дело не только в огромном поэтическом даре. Дороги у нас были разные, и, кажется, мы ни разу не встретились на одном из тех перекрестков, где человек, в действительности или толь-

ко в своих иллюзиях, выбирает себе дорогу. Но есть в поэтической судьбе Цветаевой нечто мне очень близкое — постоянные сомнения в правах искусства и одновременно невозможность от него отойти. Марина Ивановна часто спрашивала себя, что важнее — поэзия или созидание реальной жизни, отвечала: «За исключением дармоедов во всех их разновидностях — все важнее нас (поэтов)». Она писала после смерти Маяковского: «Прожил, как человек, и умер, как поэт...» Никогда Цветаева не пыталась укрыться от жизни; напротив, хотела жить с людьми: одиночество было для нее не программой, а проклятием; оно было тесно связано с тем единственным другом Марины, о котором она сказала: «Сей человек был — стол...» Она не была никогда в «Ротонде», не знавала Модильяни, а написала:

Гетто избранничеств! Вал и ров.
По — щады не жди!
В сём христианнейшем из миров
Поэты — жиды!

Слово «избранничество» может сбить с толку; но Цветаева считала «гетто» не гордым отъединением, а обреченностью: «Какой поэт из бывших и сущих *не* негр?»

Когда я перечитываю стихи Цветаевой, я вдруг перестаю думать о поэзии, перехожу к воспоминаниям, к судьбе многих моих друзей, к своему — люди, годы, жизнь...

4

Передо мной клочок желтой выцветшей газеты; это «Биржевка» за 24 сентября 1917 года. Несколько театральных новостей: «Михайловский театр репетирует «Смерть Иоанна Грозного», но пьеса, весьма возможно, будет снята с репертуара, причины — малочисленность труппы и несоответствие политических тенденций самой пьесы с событиями и настроениями наших дней». «Комиссия при Совете Р. и С. Д. устраивает в октябре ряд симфонических концертов. Участвуют солисты и оркестр 171-го зап. пехотного полка. Дирижировать концертами будут А. Глазунов, А. Зилоти и А. Коутс». Рядом напечатан мой очерк, присланный из Москвы:

«В квартире 6 у писателя-символиста изысканное общество: мадам Элеонора — теософка, офицер с орденами, еще писатель помоложе, несколько просто интеллигентов.

— Никто не слушает, — стонет интеллигент. — Недостоин наш народ свободы — хамы, насильники, воры. В трамвае у меня два ключа украли. Палки требуют. Рано дали им свободу, не учли. Говорят, «учите их». Этих-то мужиков? Не-ет! Пускай попробуют, проявятся. Порежут друг друга, а потом приедет генерал на белом коне — усмирит. И лучше будет...

— Что вы, — грустно вздыхает теософка, — вы говорите, на коне генерал, а я думала — Милюков...

— Так точно, палка необходима, — учтиво поясняет ей офицер. — И возьмите, до этой «свободы» офицера, который, простите, и в морду даст при случае, солдатики очень уважали, можно сказать, любили. А теперь комитеты и прочее безобразие. Чтобы «земляки» наши резолюции выносили?.. Не могу! Они мне Георгия за храбрость присудить хотели. Отказался — хитрость! Так точно, палка необходима, дисциплина...

Писатель-символист недоумевающе оглядывает гостей, закатывает глаза и вещает:

— Уходите! Прячьтесь! Спасайте нашу культуру, мудрость, веру от этих варваров! Все достояние в библиотеках, в музеях, в ваших душах. Храните музеи! Замкните от голоса улицы ваши уши! Я не раскрываю этих треклятых газет, почти не выхожу из дома. В моих ушах звенит пеон...

— А я, мэтр, — заявляет молодой писатель, — занял несколько иную позицию. В душе я бесстрастен, но слежу за игрой страстей. Я выше ее, но сколько материала для моего грядущего романа!..

Все начинают беседовать о пеонах и ямбах, о символистах и футуристах. Лишь четверть часа спустя по поводу пастилы, стоящей семь рублей и заменяющей сахар, все возвращаются на землю. И снова стонет интеллигент:

— Хамы! Палку! Генерала!..»

Издеваясь над другими, я издевался над собой: я не мечтал ни о палке, ни о генерале, ни о дешевой пастиле, но понять происходящее не мог.

Москва жила, как на вокзале, — в ожидании третьего звонка. Устраивали облавы на дезертиров. Ругались повсюду, а особенно в трамваях, которые ползли, облепленные людьми. В «Метрополе» отчаявшиеся либералы пили французское шампанское, расплачиваясь большими листами неразрезанных «керенок»; по привычке они бормотали, что нужно спасти Россию, может быть, им и хотелось спасти себя, но они больше ни во что не верили. В кафе «Бом» новоиспеченные издатели уверяли, что из-

дадут «Гавриилиаду», мемуары Распутина и полное собрание сочинений любого из нас; некоторые быстро остывали к издательскому делу и переходили на мануфактуру или на сахар. В чайных на Шаболовке люди угрюмо ждали развязки.

Моя мать была в Ялте; мне хотелось повидать ее после долгой разлуки. С трудом я купил билет и прорвался в вагон. Мать я нашел сильно постаревшей; она кашляла, куталась в оренбургский платок и боялась выстрелов (стреляли часто и неизвестно почему).

Я заехал в Коктебель к Волошину. Он говорил о стихии, о протопопе Аввакуме, о трех эринниях со змеями; а глаза его напоминали окна с закрытыми ставнями.

В поезде пассажиры поймали воришку, мальчика лет двенадцати; все на него кинулись, били. Я до сих пор вижу детское лицо в крови... На одной станции поезд простоял часа три; все пошли на базар, накупили хлеба и яблок; потом начали митинговать. Барышня, прижимая к груди буханку, истерически вопила, что теперь даже калеки обязаны идти на фронт. Солдат ее крыл матом, но она не унималась. Мешочники следили за своими мешками и загадочно усмехались.

Когда я приехал в Москву, шли уличные бои. У Красных ворот я увидел на мостовой старика — его убила шальная пуля.

В 1921 году автор «Хулио Хуренито» так описывал переживания персонажа, именуемого в романе «Ильей Эренбургом»: «Я проклинал свое бездарное устройство; одно из двух: надо было вставить другие глаза или убрать эти никчемные руки. Сейчас под окном делают — не мозгами, не вымыслом, не стишками, нет, делают руками историю... Кажется, нет ничего лучше — беги через ступеньки вниз и делай ее скорее, пока под руками глина, а не гранит, пока ее можно писать пулями, а не читать в шести томах ученого немца. Но нет, я сижу в каморке, жую холодную котлету и цитирую Тютчева. Проклятые глаза, косые, подслеповатые или дальнозоркие, во всяком случае нехорошие! Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, кровную, крепкую? Кругом, по крайней мере, охают, радуются и по различным обстоятельствам прославляют господа. «Слава богу, идет Алексеев, этих разбойников прогнали!» — кричит Леля. «Слава тебе, господи, — умиляется ее прислуга Матреша, — большаки берут верх». Я даже на это не способен... Запомните, господа из

так называемого «потомства», чем занимался в эти единственные дни русский поэт Илья Эренбург».

Я писал далее все в том же «Хуренито»: «Пошла повсеместная панихида; причем многие оплакивали то, чего раньше не замечали или, замечая, не одобряли: Леля — великодержавность, Сережа (тот, что с Михайловским) — церковь, гимназист Федя — промышленность и финансы. Это было все-таки делом, и за отсутствием другого я занялся оплакиванием... Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их со средним успехом в многочисленных «кафе поэтов».

На этот раз автор «Хуренито» говорил не о воображаемом герое, а о самом себе, говорил откровенно, отнюдь не пытаясь себя оправдать или приукрасить. Однако я издевался над собой не только три года спустя, но и в те самые дни, когда недоумевал, искал тридцать три правды и оплакивал мир, который никогда не был моим. Я писал тогда очень плохие стихи: искусство не терпит лжи, а я старался обмануть самого себя — молился богу, в которого не верил, рядился в чужую одежду.

В дневниках Блока есть запись от 31 января 1918 года: юноша Стэнг рассказывает Блоку об отношении молодежи к поэзии: «Сначала было 3 Б (Бальмонт, Брюсов, Блок); показались пресными — Маяковский; и он пресный — Эренбург (он ярче всех издевается над собой; и потому скоро мы все будем любить только Эренбурга)».

Стэнг — это молодой поэт В. О. Стенич. Познакомился я с ним позднее. Он читал вперемежку стихи Блока, Маяковского, Хлебникова, свои собственные; печально зубоскалил; почему-то мне запомнилась его шутливая пародия на Анненского:

Бывают такие миги,
Когда не жаль и малых овец.
Об этом писала в поваренной книге
Елена Молоховец.

Погиб он в тридцатые годы. Если бы я тогда услышал от Стенича, что кому-то могут нравиться мои стихи, я, наверно, удивился бы: мне самому они не нравились; в записной книжке я себя уговаривал: «Нужно перестать писать, заняться огородничеством или, когда все успокоится, купить аппарат со штативом и снимать портреты на ярмарках».

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Эти строки написаны двадцатисемилетним поэтом, вторым секретарем российского посольства в Мюнхене. Молодой Тютчев читал в газетах о Французской революции 1830 года и, находясь в спокойной, сонной Баварии, позавидовал свидетелю бури:

Он их высоких зрелищ зритель...

А на самом деле, когда история переходит со страниц учебника на окрестные улицы, ничего нет глупее и унизительнее роли зрителя. Напрасно лжемудрец пытается осмыслить происходящее: если подойти вплотную к большому зданию, будь оно самым прекрасным, самым величественным, видишь только детали. Участник событий понимает куда больше, чем холодный наблюдатель; слепота поражает не того, кто любит и ненавидит, а того, кто пытается, сидя в зале, расшифровать мелькающие кадры фильма.

Как-то я встретил Алексея Ивановича Окулова. Я знал его в Париже угрюмым, он много пил, не понимал, что ему делать; записывал что-то в блокнот; потом раскладывал на постели листочки и сшивал рассказ; получил даже как-то премию. Числился он писателем, но, выпив, кричал: «Какой я писатель? Уж если я на что-нибудь годен, так стрелять...» Биография его была бурной: боевые дружины, тюрьмы, эмиграция, подполье, снова тюрьмы и снова эмиграция. В революционной Москве он чувствовал себя уверенно; он мне сказал, что через несколько дней уезжает на фронт. Такое душевное веселье — привилегия активного участника событий. Удел наблюдателей куда горше. А. М. Горький писал: «...В 17 — 18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными. Он — политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия. У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы — в особенности». Горький оказался наблюдателем и тринадцать лет спустя написал: «Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если бы она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений».

(Мне кажется, что Горький в одном не прав: люди учатся на своих ошибках, а не на чужих — уж слишком часто в истории повторяются одни и те же ошибки.)

Я не могу сказать, что я всегда чуждался политики, точнее — действия: я начал с подпольной работы, потом, в зрелом возрасте, не раз оказывался участником событий; в дальнейших частях моих воспоминаний политические события будут не раз заслонять книги или холсты. Но в 1917 году я оказался наблюдателем, и мне понадобилось два года для того, чтобы осознать значение Октябрьской революции. Для истории два года — ничтожный срок, но в человеческой жизни это много смутных дней, сложных раздумий и простой человеческой боли.

С тех пор прошло почти полвека... Мне хочется напомнить, какой выглядела Франция полвека спустя после революции 1789 года. Позади был калейдоскоп событий — термидор, госпожа Тальен, молодой корсиканец, наполеоновские войны, казаки в Париже, снова Бурбоны, белый террор, маленькая революция, — и в итоге Людовик-Филипп, демократизм которого состоял в том, что он прогуливался с зонтиком в руке и отвечал на поклоны верноподданных. Для парижанина 1839 года революция 1789 года была событием давно минувшей, загадочной эпохи. Из сотни людей, с которыми я вчера разговаривал, вряд ли один помнит дореволюционную Россию: для пятидесятилетних, не говоря уж о более молодых, советский строй не идея, о которой можно спорить, не программа одной партии, а естественная форма общества.

Конечно, на Западе и спорят, и сомневаются, и отрицают; но теперь можно сравнивать, можно аргументировать сложной жизнью большого государства. Русской интеллигенции в 1917 — 1918 годах было куда труднее...

Я не оплакивал ни имений, ни заводов, ни акций: я был беден и богатство сызмальства презирал. Смущало меня иное. Я вырос с тем понятием свободы, которое нам досталось от XIX века; со школьных лет я уважал неуважение, прислушивался к голосу ослушников. Я не понял, что меняются не только порядки, но и понятия, новый век многое принес и многое унес, а я пытался подойти к завтрашнему со вчерашней меркой.

Впрочем, и это не главное. Если говорить честно, я еще не знал, что такое жизнь, хотя мне было уже двадцать шесть лет. Оговорки, описки, ошибки мешали мне понять значение текста. Я замечал много уродливого, видел злобу, невежество, но не видел главного: осуществлялось то, о чем я мечтал подростком, что мерещилось мне в тюремных камерах. Жизнь никогда не похожа на мечты. Гадалки говорят про «линию жизни»; такая линия действительно существует — не на ладони, а в судьбе человека, и чем раньше ее

увидишь, осознаешь, тем легче будет преодолеть сомнения. Эта линия складывается не только из высоких идей, но и из реальных событий, не только из притяжений, но и из отталкиваний, не только из страстных чувств, но и из раздумий. Менее всего я хочу этим сказать, что, по ходячему определению, цель оправдывает средства, я слишком хорошо знаю, что средства могут изменить любую цель. Я думаю только о верности линии жизни — человека, народа, века.

Потом мне, как и всем моим современникам, пришлось пережить немало испытаний; я оказался к ним подготовленным: в сорок шесть лет линия жизни мне была куда яснее, чем в двадцать шесть... Я знал, что нужно уметь жить, сжав зубы, что нельзя подходить к событиям, как к диктовке, только и делая, что подчеркивая ошибки, что путь в будущее — не накатанное шоссе. Как сказал поэт Твардовский, «тут ни убавить, ни прибавить» — в истории, как и в жизни отдельного человека, много горьких страниц, не все разворачивается так, как хотелось бы... Теперь каждому ясно, какой подвиг совершил наш народ в нищей, темной, голодной стране, когда осенью 1917 года пошел по новому, непроторенному пути. А тогда не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники не понимали масштаба событий. Но именно тогда молодой петроградский поэт, которого считали салонным, ложноклассическим, далеким от жизни, тщедушный и мнительный Осип Эмильевич Мандельштам написал замечательные строки:

Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи,
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

Впрочем, обо всем этом мне еще придется говорить — и о Мандельштаме, и об огромном повороте руля, и, главное, о той земле, которая нам стоила десяти небес.

5

Вскоре после моего приезда в Москву я встретил Б. Л. Пастернака, который повел меня к себе (жил он тогда возле Пречистенского бульвара). В моей записной книжке есть короткая пометка: «Пастернак. Стихи. Странность. Лестница».

Беру другую записную книжку, 5 июля 1941 года. После слов «немцы говорят, что перешли Березину» и до «5 ч. Лозовский» записано: «Пастернак. Безумие».

1917 — 1941... В течение двадцати четырех лет я встречался с Пастернаком, порой редко, порой чуть ли не каждый день. Казалось, это достаточный срок для того, чтобы узнать даже очень сложного человека; но зачастую Борис Леонидович мне казался таким же загадочным, как при первой встрече; этим объясняется и запись 1941 года. Я его любил, любил и люблю его поэзию; из всех поэтов, которых я встречал, он был самым косноязычным, самым близким к стихии музыки, самым привлекательным и самым невыносимым. Я попытаюсь описать его таким, каким видел и понимал. Это будет главным образом Пастернак 1917—1924 годов, когда мы подолгу беседовали, переписывались. Мы встречались довольно часто и в 1926, 1932, 1934 годах — в Москве, в 1935 году в Париже, потом снова в Москве — накануне войны, в ее первые недели. Мы не поссорились, а как-то молча разошлись; случайно встречаясь, жали друг другу руки, говорили, что нужно обязательно повидаться, и расставались до новой случайной встречи. Конечно, я не надеюсь показать всего Пастернака, даже молодого, — многого в нем я не понимал, многого и не знал; но то, что я напишу, будет не иконой и не шаржем, а попыткой портрета.

Начну с самого начала. Когда мы познакомились, Борису Леонидовичу было двадцать семь лет, и было это летом того года, когда, по словам Пастернака,

Все жили в сушь и впроголодь,
В борьбе ожесточась,
И никого не трогало,
Что чудо жизни с час.

Я был растерян и мрачен, Пастернак радостен, приподнят. Тот год был для него особенно памятным:

Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки,
Сорил по лопухам,

Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.

В тот год Пастернак узнал большое чувство, рождалась книга «Сестра моя жизнь». Вот как я описал нашу первую встречу: «Он читал мне стихи. Не знаю, что больше меня поразило: его стихи, лицо, голос или то, что он говорил. Я ушел, полный звуков, с головной болью. Дверь внизу была заперта — я засиделся до двух. Я поискал швейцара, его не оказалось. Я пошел назад, но не смог разыскать квартиру, где жил Пастернак. Это был дом с переходами, коридорами и полуэтажами. Я понял, что мне не выбраться до утра, и покорно сел на ступеньку. Лестница была чугунная, под ногами копошилась ночь. Вдруг дверь открылась. Я увидал Пастернака. Ему не спалось, он вышел погулять. Я просидел добрый час возле той самой квартиры, где он жил. Он нисколько не удивился, увидав меня; я тоже не удивился».

Борис Леонидович часто говорил междометиями. Есть у него стихотворение «Урал впервые»; оно похоже на восторженное мычание. Сила его ранней поэзии — это жизнь впервые. Он отнюдь тогда не слыл отшельником, охотно встречался с людьми, был радостным, и стихи тех лет радостные. Мне он казался счастливым не только потому, что ему был отпущен большой поэтический дар, но и потому, что он умел создать высокую поэзию из будничных деталей. Нас всех в то время подташнивало от чересчур громких слов, которыми злоупотребляли символисты: «вечность», «бесконечность», «безбрежность», «тленный», «бренный», «грани», «жребий», «рок». Пастернак писал:

Всесильный бог деталей,
Всесильный бог любви.

О женщине, которую он любил, он сказал так:

Грех думать — ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

Он недаром назвал свою книгу «Сестра моя жизнь»: в отличие не только от старших поэтов-символистов, но и от большинства своих сверстников он жил с жизнью в ладу. Реализм его стихов не связан с литературной программой (Пастернак много раз говорил, что ему непонятны различные направления и школы), а продиктован природой поэта. В 1922 году Пастернак писал: «Живой действительный мир — это единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения. Вот

он длится, ежемгновенно успешный. Он все еще — действителен, глубок, неотрывно увлекателен. В нем не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в большей еще степени, нежели натурой и моделью».

Один юноша недавно сказал мне, что, наверно, Пастернак был мрачным, нелюдимым, да и глубоко несчастным. А я в 1921 году писал о Пастернаке: «Он жив, здоров и современен. В нем ничего нет от осени, от заката и прочих милых, но неутешительных вещей». Год спустя В. Б. Шкловский, встречавшийся с Пастернаком в Берлине, написал: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим».

В 1923 году Маяковский и О. Брик формулировали (на жаргоне эпохи) искания художников: «Маяковский. Опыт полифонического ритма в поэме широкого социально-бытового охвата». «Пастернак. Применение динамического синтаксиса к революционному заданию».

Все это может удивить тех зарубежных читателей, которые узнали о существовании Пастернака только в 1958 году. Им представляется злосчастный человек, вступивший в поединок с историей. На самом деле Пастернак был счастливым, и жил он вне общества не потому, что данное общество ему не подходило, а потому, что, будучи общительным, даже веселым с другими, знал только одного собеседника: самого себя.

В конце 1918 года он восхищался Кремлем:

Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.
. . . .
За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьмется сызнова воспитывать.

(Пастернак тогда не понимал, что никто на свете не возьмется всерьез его «сызнова воспитывать».)

Позднее, в 1930 году, после самоубийства Маяковского он писал: «...Наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство»; он говорил о кровной связи между этим государством и Маяковским. Он писал восторженные строки все о том же «ломящемся в века» государстве и в 1944 году. Он восхищался со стороны: у каждого, даже самого большого поэта есть не только потолок, но и стены; общество было вне стен того мира, в котором жил Пастернак.

Шкловский в одном ошибался, когда он писал: «Этот счастливый и большой человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки «Дома печати»... тягу истории». Пастернак чувствовал природу, любовь, Гёте, Шекспира, музыку, старую немецкую философию, живописность Венеции, чувствовал себя, некоторых близких ему людей, но никак не историю; он слышал звуки, неуловимые для других, слышал, как бьется сердце и как растет трава, но поступи века не расслышал.

Слово «эгоцентризм» столь часто применяли, что оно стерлось, да и есть в нем уничижительный характер, а другого я не нахожу. Борис Леонидович жил не для себя — эгоистом он никогда не был, но он жил в себе, с собой и собой. Я вспоминаю наши давние встречи — два поезда неслись, каждый по своему пути. Я знал, что Пастернак меня слушает, но не слышит: не может оторваться от своих мыслей, своих чувств, своих ассоциаций. Беседы с ним, даже задушевные, напоминали два монолога.

Мне вспомнился забавный эпизод. Пастернак летом 1935 года был в Париже на Конгрессе в защиту культуры. Группа советских писателей приехала раньше, потом, по просьбе французских писателей, дополнительно приехали Пастернак и Бабель. Пастернак сердился, говорил, что не хотел ехать, не умеет выступать. В короткой речи он сказал, что поэзию незачем искать в небе, нужно уметь нагнуться, поэзия — в траве. Может быть, эти слова, а скорее всего, облик Пастернака поразили аудиторию; ему устроили овацию. Несколько дней спустя он сказал мне, что хотел бы встретиться с некоторыми французскими писателями; мы решили, что пригласим их обедать. Моя жена позвонила Борису Леонидовичу: приходите в такой-то ресторан в час дня. Он возмутился: «Почему так рано? Лучше в три». Люба объяснила, что в Париже обедают между двенадцатью и двумя, а ужинают между семью и девятью, в три часа все рестораны закрыты. Тогда Борис Леонидович заявил: «Нет, в час мне еще не хочется есть...»

Сосредоточенность в себе (возраставшая с годами) не помешала, да и не могла помешать Пастернаку стать большим поэтом. Мы часто, скорее, по привычке говорим, что писатель должен быть наблюдательным. В дневниках А. Н. Афиногенова, недавно опубликованных, есть интересная запись: «Если б искусство писателя состояло в умении наблюдать людей — самыми лучшими писателями были бы доктора и следователи, учителя и проводники вагонов, секретари парткомов и полководцы. Однако —

этого нет. Потому что искусство писателя заключается в умении наблюдать себя!» Афиногенов правильно отводит старое понятие «наблюдательности»; в создании героев романа или трагедии огромную роль играет пережитое автором, им осознанное — ведь внутренний мир других людей понятен писателю, только поскольку ему знакомы и, следовательно, понятны те или иные страсти.

Искусство, однако, многообразно. В лирическом стихотворении автор раскрывает себя; как бы ни был он своеобразен, его чувства — восхищение весенним днем или ощущение неизбежности смерти, радость любви или разуверение — понятны тысячам, миллионам других людей. Для того чтобы написать «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней...», Тютчеву не нужно было наблюдать стареющих людей, захваченных страстью, ему достаточно было на пороге старости встретить молодую Е. А. Денисьеву. Молодому А. П. Чехову, для того чтобы в «Скучной истории» показать дружбу между старым профессором и молодой его воспитанницей, нужно было очень хорошо знать людей, их чувства, привычки, характеры, манеру говорить, даже манеру одеваться. Борис Пастернак, один из лучших лирических поэтов нашего времени, был, как и всякий художник, ограничен своей природой; когда он попытался изобразить в романе десятки других людей, эпоху, передать воздух гражданской войны, воспроизвести беседы в поезде, он потерпел неудачу — он видел и слышал только себя.

Его привлекали, особенно в конце жизни, загадки чужих судеб. В одной из написанных им автобиографий он попытался понять, что пережили в последние минуты Маяковский, Марина Цветаева, Фадеев. Когда я читал эти догадки, мне было как-то неловко: у Бориса Леонидовича было очень богатое сердце, но ключей к чужим сердцам у него не было.

Я не берусь строить домыслы о том, что он сам пережил в последние годы своей жизни; я его не встречал; да, может, и встречая, не знал бы — чужая душа потемки. Не знаю, почему в той же автобиографии он отрекся от своей давней дружбы с Маяковским. А мне хочется рассказать об этой дружбе: я был ее свидетелем.

Шутя, мы говорили, что у Маяковского второй, запасной голос для женщин. И вот этим вторым голосом, необычно мягким, ласковым, при мне он разговаривал только с одним мужчиной — с Пастернаком. Помню, в марте 1921 года в Доме печати был литературный вечер Бориса

Леонидовича, читал он сам, а потом его стихи читала молоденькая актриса В. В. Алексеева-Месхиева. При обсуждении кто-то осмелился, как у нас говорят, «отметить недостатки». Тогда встал во весь рост Маяковский и в полный голос начал прославлять поэзию Пастернака; он защищал его с неистовством любви.

В «Охранной грамоте» (1930 год) Пастернак говорит о своем отношении к Маяковскому накануне войны, в годы войны, в первые годы революции: «я был без ума от Маяковского», «я его боготворил», «вершиной поэтической участи был Маяковский», «я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем» (после одной из размолвок), «я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи».

Размолвки были частыми и бурными. Борис Леонидович иногда мне рассказывал о них. У меня сохранился сборник «Современник» (1922 год) с такой надписью Пастернака: «Другу и соратнику с благодарностью и радостью за «Хуренито», восхищение которым объединило редко на чем сходившихся и чаще разбредавшихся Маяковского, Асеева и других друзей и соратников».

После одной из размолвок Маяковский и Пастернак встретились в Берлине; примирение было столь же бурным и страстным, как разрыв. Я провел с ними весь день: мы пошли в кафе, потом обедали, снова сидели в кафе. Борис Леонидович читал свои стихи. Вечером Маяковский выступал в Доме искусств, читал он «Флейту-позвоночник», повернувшись к Пастернаку.

Впоследствии их пути разошлись. Однако и в 1926 году Маяковский, приводя четверостишие Пастернака «В тот день всю тебя от гребенок до ног», назвал его «гениальным». Рассказывая о смерти Маяковского, Пастернак писал: «Я разревелся, как мне давно хотелось».

Почему, оглядываясь на свое прошлое, Пастернак попытался многое перечеркнуть? Может быть, в этом сказалось недовольство собой? Не знаю. Для меня его последние стихи тесно связаны с «Сестрой моей жизнью», а он, видимо, ощущал разрыв. Недавно я прочитал письмо Бориса Леонидовича одному из его французских переводчиков, опубликованное в журнале «Эспри». Борис Леонидович пытался убедить переводчика не опубликовывать переводов некоторых его старых произведений. Рассказывали, что, когда с ним заговаривали о его прежних книгах, он уверял, что все написанное прежде было только шко-

лой, подготовкой к тому единственно стоящему, что он недавно написал, — к роману «Доктор Живаго».

Прочитав рукопись «Доктора Живаго», я огорчился. Когда-то Пастернак писал: «Неумение найти и сказать правду — недостаток, которого никаким уменьем говорить неправду не покрыть». В романе есть поразительные страницы — о природе, о любви; но много страниц посвящено тому, чего автор не видел, не слышал. К книге приложены чудесные стихи, они как бы подчеркивают душевную неточность прозы.

Никогда прежде мне не удавалось убедить зарубежных ценителей поэзии в том, что Пастернак большой поэт. (Это, конечно, не относится к некоторым крупным поэтам, знавшим русский язык: Рильке еще в 1926 году восторженно говорил о стихах Пастернака.) Слава пришла к нему с другого хода. Когда-то он писал:

> Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста,
> В посаде, куда ни один двуногий...
> Я тоже какой-то... Я сбился с дороги:
> — Не тот этот город, и полночь не та.

Я был в Стокгольме, когда разразилась буря вокруг Нобелевский премии. Я выходил на улицу и видел афиши газет, на них стояло одно имя; пытался что-то понять, открывал радио — и только одно понимал: «Пастернак»... Это было одним из эпизодов «холодной войны». Не тот город, не та полночь. Да и не та слава, которую заслужил Пастернак. (Обо всем этом я расскажу в одной из последующих частей моей книги — ведь связь газетной бури с Пастернаком была случайной, дело относится к летописи «холодной войны».)

Нужно ли добавить, как тяжело было мне читать некоторые выступления моих товарищей? Я убежден, что в помыслах Пастернака не было нанести ущерба нашей стране. Виноват он только в том, что был Пастернаком, то есть, изумительно понимая одно, не мог понять другого. Он не подозревал, что из его книги создадут дурную политическую сенсацию и что на удар неизбежно последует ответный.

Все это позади: смерть ставит вещи на свое место. Вряд ли кто-нибудь теперь, перечитывая стихи Пастернака, будет думать о печальной истории, воистину злободневной — и злоба в ней сказалась, и была она историей-однодневкой. А стихи остались.

Когда-то составители поэтических сборников любили прибегать к делению по сюжету. Если подойти к Пастер-

наку с такой меркой, то большинство его стихотворений окажется посвященным природе и любви; но мне думается, что основной, постоянной его темой было искусство, то есть та тема, которая породила «Портрет» Гоголя, «Неведомый шедевр» Бальзака, «Чайку» Чехова.

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!

И кончил он эти стихи о стихах признанием:

И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Он не застрелился, не умер молодым, но цену, которой оплачивается искусство, узнал сполна — силу строк, которые медленно, настойчиво убивают.

Поль Элюар как-то сказал: «Поэт должен быть ребенком, даже если у него седые волосы и склероз сосудов». Было в Пастернаке нечто детское. Его определения, казавшиеся наивными, ребячливыми, — определения поэта. Он сказал об одном авторе: «Ну как же он может быть хорошим поэтом, когда он плохой человек...» Увидав впервые Париж, он воскликнул: «Да это и не похоже на город, это скорее пейзаж...» Он говорил: «Описать весеннее утро легко, да это никому и не нужно, а вот быть простым, ясным и внезапным, как весеннее утро, — это чертовски трудно...»

В то время, о котором я теперь рассказываю, когда я ходил растерянный, неприкаянный, Борис Леонидович был для меня и порукой живучести искусства, и мостком к живой жизни. Молодой, веселый, красивый, похожий на вдохновенного араба — таким он мне навсегда запомнился, хотя я его и видел постаревшим, седым.

Так уж полвека — вдруг начинаю про себя бормотать стихи Пастернака. Из мира их не выгонишь: они живут...

6

Не помню, кто меня познакомил с Маяковским; сначала мы сидели в каком-то кафе и говорили о кино; потом он повел меня к себе — в маленький номер меблирашек «Сан-Ремо» в Салтыковском переулке, около Петровки. Незадолго до этого я прочитал его книгу «Простое как мычание»; он мне представлялся именно таким, ка-

ким я его увидел, — большим, с тяжелой челюстью, с глазами то печальными, то суровыми, громким, неуклюжим, готовым в любую минуту вмешаться в драку, — сочетанием атлета с мечтателем, средневекового жонглера, который, молясь, ходил на голове, с непримиримым иконоборцем.

Когда мы шли в гостиницу, он бубнил эпитафию Франсуа Вийона, написанную в ожидании виселицы:

Я — Франсуа, чему не рад,
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.

Едва мы вошли в номер, как он сказал: «Сейчас я вам прочитаю...» Я сел на стул, он стоял. Он прочитал мне незадолго до этого законченную поэму «Человек». Комната была маленькой, никого, кроме меня, не было, но читал он так, как будто перед ним толпа на Театральной площади. Я глядел на гнусные обои и улыбался: голенища действительно становились арфами.

Маяковский меня поразил: в нем уживались поэзия и революция, взбудораженные улицы Москвы и то новое искусство, о котором мечтали завсегдатаи «Ротонды». Мне даже показалось, что он может помочь мне найти правильный путь. Случилось иначе: Маяковский для меня огромное явление и в поэзии и в жизни века; но непосредственно на меня он никак не повлиял, оставался близким и одновременно бесконечно далеким.

Может быть, в этом особенность гения, может быть, особенность характера Маяковского — он говорил, что поэты должны быть «разными», был вдохновителем «Лефа», «Нового лефа», «Рефа», хотел привлечь многих, объединить, но вокруг него оказывались только его приверженцы, порой эпигоны. Он рассказал, как на даче под Москвой он беседовал с Солнцем; он сам был солнцем, вокруг которого кружились спутники.

Я встречался с ним в Москве — в 1918 году, в 1920-м, и в Берлине в 1922-м, и в Париже, и снова в Москве, и снова в Париже (в последний раз мы виделись весной 1929 года — за год до его смерти). Порой встречи были беглыми, порой значительными. Мне хочется рассказать о моем понимании Маяковского; я знаю, что этот рассказ будет односторонним, субъективным, но могут ли быть иными показания современника? Из множества различных, порой противоречивых рассказов легче воссоздать облик человека. Беда в том, что Маяковский, будучи страстным раз-

рушителем различных мифов, с необычайной быстротой превратился в мифического героя. Ему как будто положено быть не таким, каким он был. Есть воспоминания очевидцев, запомнивших несколько свирепых шуток. Есть страницы школьного учебника. Есть, наконец, статуя. Подросток зубрит отрывки из «Хорошо!». Домохозяйка в троллейбусе озабоченно спрашивает: «Вы на Маяковской сходите?..» Трудно говорить о человеке...

До середины тридцатых годов Маяковский вызывал страстные споры. Во время Первого съезда советских писателей, когда кто-либо произносил его имя, одни страстно аплодировали, другие молчали; я тогда писал в «Известиях»: «Не потому аплодировали мы, что кто-то захотел канонизировать Маяковского, — мы аплодировали потому, что имя Маяковского означает для нас отказ от всех литературных канонов». Менее всего я мог себе представить, что год спустя Маяковского действительно начнут канонизировать. Я не был на его похоронах. Друзья рассказывали, что гроб был слишком коротким. Мне кажется, что слишком короткой, а главное, слишком узкой оказалась для Маяковского его посмертная слава.

Я прежде всего хочу рассказать о человеке; он отнюдь не был «монолитом» — большой, сложный, с огромной волей и с клубком порой противоречивых чувств.

«Мертвые остаются молодыми» — так назвала свой роман Анна Зегерс. Почти всегда более поздние впечатления заслоняют первоначальные. Я попытался в этой книге рассказать о молодом А. Н. Толстом; он был одним из первых писателей, с которым я встретился. Но часто, думая о нем, я вижу его грузным, признанным, с громким смехом и с утомленными глазами — таким, каким видел его в последние годы. Вот я гляжу на фотографию — рядом с Маяковским А. А. Фадеев, молодой, мечтательный, с мягкими глазами. Мне очень трудно припомнить Александра Александровича таким: я вижу волевые, порой холодные глаза... А Маяковский остался в памяти молодым.

До конца жизни он сохранял некоторые черты, может быть вернее сказать, некоторые привычки своей ранней молодости. Критики не любят задерживаться на так называемом «футуристическом периоде» Маяковского, хотя без его первых стихов непонятны его поэмы. Но я сейчас говорю не о поэзии, а о человеке. Конечно, Маяковский быстро расстался не только с желтой кофтой, но и с лозунгами ранних футуристических манифестов. Однако в нем остался тот дух, который продиктовал «Пощечину обще-

ственному вкусу», — в манере себя держать, в шутках, в ответах на записки.

Помню «Кафе поэтов» зимой 1917/18 года. Помещалось оно в Настасьинском переулке. Это было очень своеобразное место. Стены были покрыты диковинной для посетителей живописью и не менее диковинными надписями.

Я люблю смотреть, как умирают дети —

эта строка из раннего, дореволюционного стихотворения Маяковского красовалась на стене для того, чтобы ошарашить приходящих. «Кафе поэтов» никак не походило на «Ротонду» — здесь никто не разговаривал об искусстве, не спорил, не терзался, имелись актеры и зрители. Посетителями кафе были, по тогдашнему выражению, «недорезанные буржуи» — спекулянты, литераторы, обыватели, искавшие развлечений. Маяковский вряд ли их мог развлечь: хотя многое в его поэзии им было непонятно, они чувствовали, что есть тесная связь между этими странными стихами и матросами, прогуливавшимися по Тверской. А песенку, сочиненную Маяковским о буржуе, который напоследок ест ананасы, понимали все; ананасов в Настасьинском переулке не было, но кусок вульгарной свинины застревал у многих в горле. Развлекало посетителей другое. На эстраду, например, подымался Давид Бурлюк, сильно напудренный, с лорнеткой в руке, и читал:

Мне нравится беременный мужчина...

Оживлял публику также Гольцшмидт; на афишах он именовался «футуристом жизни», стихов не писал, а золотил порошком два локона на голове, отличался необычайной силой, ломал доски и вышибал из кафе скандалистов. Однажды «футурист жизни» решил поставить себе памятник на Театральной площади; статуя была гипсовая, не очень большая и отнюдь не футуристическая — стоял голый Гольцшмидт. Прохожие возмущались, но не решались посягнуть на загадочный монумент. Потом статую все же разбили.

Все это дела далекого прошлого. Года два назад в Москву приехали американские туристы — Давид Бурлюк с женой. Бурлюк в Америке рисует, прилично зарабатывает, стал почтенным, благообразным; нет ни лорнетки, ни «беременного мужчины». Футуризм мне теперь кажется куда более древним, чем Древняя Греция. Но для Маяковского, который рано умер, он оставался если не живым, то близким.

В «Кафе поэтов» я довольно часто бывал, даже как-то выступил и получил от Гольцшмидта причитавшиеся мне за это деньги.

Помню вечер, когда в кафе пришел А. В. Луначарский. Он скромно сел за дальний столик, слушал. Маяковский предложил ему выступить. Анатолий Васильевич отказывался. Маяковский настаивал: «Повторите то, что вы мне говорили о моих стихах...» Луначарскому пришлось выступить: он говорил о таланте Маяковского, но критиковал футуризм и упомянул о ненужности саморасхваливания. Тогда Маяковский сказал, что вскоре ему поставят памятник — вот здесь, где находится «Кафе поэтов»... Владимир Владимирович ошибся всего на несколько сот метров — памятник ему поставлен недалеко от Настасьинского переулка.

Нескромность? Самоуверенность? Такие вопросы часто ставили многие современники Маяковского. Он отпраздновал, например, двенадцатилетний юбилей своей поэтической деятельности. Он не раз называл себя самым большим поэтом. Он требовал прижизненного признания — это было связано с эпохой, с тем низвержением «идолов», на которое жаловался Бальмонт, с желанием любым способом привлечь внимание к искусству.

Я люблю смотреть, как умирают дети...

Маяковский не мог видеть, как бьют лошадь. Однажды в кафе мой знакомый порезал себе ножиком палец — Владимир Владимирович поспешно отвернулся. Самоуверенный? Да, конечно, он резко отвечал на критические замечания, оскорблял своих литературных противников. Помню такой диалог. Записка: «Ваши стихи не греют, не волнуют, не заражают». Ответ: «Я не печка, не море, не чума». На своих книгах он надписывал читателям: «Для внутреннего употребления». Все это общеизвестно. Менее известно другое.

Помню вечер Маяковского в парижском кафе «Вольтер». На нем присутствовала Л. Н. Сейфуллина. Было это весной 1927 года. Кто-то в зале крикнул: «Почитайте теперь ваши старые стихи!» Маяковский, как всегда, отшутился. Когда вечер кончился, мы пошли в ночное кафе возле бульвара Сен-Мишель: Маяковский, Л. Н. Сейфуллина, Э. Ю. Триоле, другие. Играла музыка, кто-то танцевал. Владимир Владимирович то шутил, изображал поэта Георгия Иванова, присутствовавшего на вечере, то надолго замолкал, мрачно оглядываясь по сторонам, как лев в клет-

ке. Мы с ним условились, что на следующее утро, чем раньше, тем лучше, я к нему зайду. В крохотном номере гостиницы «Истрия», где он всегда останавливался, постель была не раскрыта — он не ложился. Встретил он меня мрачный и сразу, не поздоровавшись, спросил: «Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?..» Никогда он не был самоуверенным; обманывала раз и навсегда затверженная поза. Мне думается, что такая поза была продиктована скорее разумом, нежели характером. Ему была свойственна романтика, но он ее стыдился, обрывал себя: «Кто над морем не философствовал?» (после горьких раздумий о своей жизни), и тотчас ироническое «вода». В статье «Как делать стихи?» все выглядит логично и просто. На самом деле Маяковский хорошо знал те мучения, которые неизменно связаны с творчеством. Он подробно рассказывал о заготовках рифм: были у него и другие «заготовки», о которых он не любил говорить, — душевные терзания. Он написал в предсмертном стихотворении, что «любовная лодка разбилась о быт» — это было данью много раз им осмеянной романтике; на самом деле его жизнь разбилась о поэзию. Обращаясь к потомкам, он сказал то, чего не хотел говорить современникам:

Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.

Он казался чрезвычайно крепким, здоровым, жизнерадостным. А был он порой несносно мрачным; отличался болезненной мнительностью: носил в кармане мыльницу и, когда приходилось пожать руку человеку, который был ему почему-то физически неприятным, тотчас уходил и тщательно мыл руки. В парижских кафе он пил горячий кофе через соломинку, которую подавали для ледяных напитков, чтобы не касаться губами стакана. Он высмеивал суеверия, но все время что-то загадывал, обожал азартные игры — орел и решку, чет или нечет. В парижских кафе были автоматы-рулетки; можно было поставить пять су на красный, зеленый или желтый цвет; при выигрыше выпадал жетон для оплаты чашки кофе или кружки пива. Маяковский часами простаивал у этих автоматов; уезжая, он оставлял Эльзе Юрьевне сотни жетонов; жетоны ему были не нужны, ему нужно было угадать, какой цвет выйдет. Он и в барабане револьвера оставил одну пулю — чет или нечет...

Когда Владимир Владимирович разговаривал с женщинами, его голос менялся, обычно резкий, настойчивый, становился мягким. Я прочитал в книге Виктора Шкловского: «Владимир Владимирович поехал за границу. Там была женщина, могла быть любовь. Рассказывали мне, что они были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбались при виде их...» Недавно было опубликовано стихотворение Маяковского, обращенное к Т. А. Яковлевой, о которой упоминал Шкловский. А у меня сохранилась рукопись «Клопа», подаренная Маяковским Тате (Т. А. Яковлевой), выкинутая Татой за ненадобностью. Нет, она не походила на Маяковского, хотя была, как он, высокого роста, красива. Я не хочу рассказывать о том, что Маяковский справедливо называл «сплетнями»; и упомянул я об этом эпизоде (отнюдь не самом значительном в жизни поэта) только для того, чтобы еще раз показать, как не походил живой Маяковский на бронзовую статую или на богатыря Владимира Красное Солнышко.

Маяковский, когда ему было восемнадцать лет, поступил в училище живописи — хотел стать художником. Он сохранил живописное ви́дение мира и в поэзии: его образы не придуманы, но увидены. Он любил живопись, чувствовал ее; любил и среду художников. Мир он скорее видел, чем слышал. (Шутя он говорил, что слон ему наступил на ухо.)

Я упоминал о вечере у Цетлиных, когда Маяковский читал «Человека». Вячеслав Иванов иногда благожелательно кивал головой. Бальмонт явно томился. Балтрушайтис, как всегда, был непроницаем. Марина Цветаева улыбалась, а Пастернак влюбленно поглядывал на Владимира Владимировича. Андрей Белый слушал не просто — исступленно и, когда Маяковский кончил чтение, вскочил настолько взволнованный, что едва мог говорить. Его восторг разделяли почти все присутствовавшие. Но Маяковского рассердила чья-то холодная, вежливая фраза. Так с ним всегда бывало: он как бы не замечал лавров, искал тернии. В его стихах непрерывные бои с реальными и воображаемыми противниками новой поэзии. Что скрывалось за этими обвинениями? Может быть, спор с самим собой?

Мне привелось читать некоторые статьи о Маяковском, написанные за границей, авторы которых пытаются доказать, что революция погубила поэта. Трудно придумать бо́льшую нелепость: без революции не было бы Маяковского. В 1918 году он меня справедливо обозвал «испуган-

ным интеллигентом»; мне понадобилось два года, для того чтобы понять происходящее. А Маяковский революцию сразу понял и принял. Он был не только увлечен — поглощен строительством социалистического общества. Он ни к чему не приспосабливался и, когда некоторые хотели его приручить, огрызался:

«Лицом к деревне» —
заданье дано, —
за гусли,
поэты-други!
Поймите ж —
лицо у меня
одно —
оно лицо,
а не флюгер...
Идею
нельзя
замешать на воде.
В воде
отсыреет идейка.
Поэт
никогда
и не жил без идей.
Что я —
попугай?
индейка?

Никогда у него не было конфликта с революцией; это выдумка людей, которые не брезгают ничем в борьбе против коммунизма. Драма Маяковского была не в разладе между революцией и поэзией, а в отношении лефовцев к искусству:

Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
Я,
душу похерив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.

(Газета в свое время изменила несколько слов: «Я, душу не снизив» вместо «я, душу похерив».) Стихотворение это — свидетельство поэтического и человеческого подвига Маяковского.

Маяковский любил Леже; было нечто общее в их понимании роли искусства в современном обществе. Леже увлекался машинами, урбанизмом, хотел искусства в повседневном быту, не заходил в музеи. Он писал свои холсты и

создал хорошую живопись, на мой взгляд, декоративную, никак не подрывающую нашу любовь к Ван Гогу или Пикассо, но, бесспорно, связанную с новым временем. Маяковский в течение ряда лет боролся против поэзии не только в манифестах или в статьях — хотел стихами уничтожить стихи. В «Лефе» был напечатан смертный приговор искусству — «так называемым поэтам», «так называемым художникам», «так называемым режиссерам». Художникам рекомендовалось вместо станковой живописи заняться эстетикой машин, текстилем, утварью; режиссерам — организовывать народные празднества, демонстрации и распрощаться с рампой; поэтам — оставить лирику, писать для газет, подписывать плакаты, сочинять рекламы.

Отказаться от поэзии оказалось нелегко. Маяковский был человеком сильным и мужественным. Однако порой и он отступал от своей программы. В 1923 году, когда «Леф» еще отрицал лирику, Маяковский написал поэму «Про это». Ее не поняли даже близкие, ее поносили и союзники Маяковского, и его литературные противники, но ею он обогатил русскую поэзию.

С годами его отрицание прошлого искусства слабело. В конце 1928 года «Новый леф» сообщал, что Маяковский публично заявил: «Я амнистирую Рембрандта». Еще раз напомню — он умер молодым. Он жил, думал, чувствовал, да и писал не по плану — прежде всего он был поэтом. Помню, с каким восхищением он говорил о новой, индустриальной красоте Америки в те далекие годы, когда электрификация нашей страны была еще только замыслом, когда на Театральной площади, темной, занесенной снегом, горели тусклые лампочки: «Дети — цветы жизни». Я встретил его, когда он вернулся из Америки. Да, конечно, Бруклинский мост хорош, да, там много машин. Но сколько там дикости, бесчеловечности! Он ругался, говорил, как обрадовался, увидев крохотные садики Нормандии. Из программы «Лефа» вытекало и отрицание Парижа, где каждый дом — обломок старины, и восхваление сугубо новой, индустриализованной Америки. Но Маяковский проклинал Америку и, не стыдясь показаться сентиментальным, объяснялся в любви Парижу. Откуда такое противоречие? Да, «Леф» был журналом, просуществовавшим несколько лет, а Маяковский был большим поэтом. В декларативных стихах он издевался над поклонниками Пушкина, над посетителями Лувра, а его восхищали и строфы «Онегина», и старая живопись.

Он сразу понял, что Октябрьская революция переменила ход истории, но детали будущего видел условно: не на полотне — на плакате. Нам трудно теперь соблазниться гигиенической идиллией последнего действия «Клопа». Искусство прошлого представлялось Маяковскому не столько чуждым, сколько обреченным. Его иконоборчество было обетом, подвигом. Он вел бой не только с тем или иным критиком, не только с авторами чувствительных романсов, но и с самим собой. Он написал:

Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят —
что ж?!
По родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь.

Он зачеркнул эти строки, найдя их чересчур чувствительными. А родная страна его поняла, поняла также выброшенные им прекрасные стихи...

Я вспоминаю его осенью 1928 года — он пробыл тогда больше месяца в Париже. Мы часто встречались. Вижу его мрачным в маленьком баре «Куполь». Он заказывал виски марки «уайт хорс» («белая лошадь»); пил он мало, но сочинил песенку:

Хорошая лошадь
«уайт хорс».
Белая грива,
белый хвост...

Как-то он сказал: «А вы думаете, это легко?.. Я мог бы писать стихи лучше их всех...» Он был до конца предан своей идее.

Много говорили, почему он покончил с собой, — то про неудачи с выставкой его литературных работ, то про нападки рапповцев, то про сердечные дела. Мне не по душе догадки: я не могу подойти к жизни человека, которого я знал, как подходят к плану романа... Хочу сказать одно: люди часто забывают, что поэт обладает обостренной чувствительностью, на то он поэт. Владимир Владимирович себя называл «волом», даже «волищем», о своих стихах говорил, что они «бегемоты», на одном собрании сказал, что у него «слоновая шкура», которой не пробить никакой пулей. На самом деле он жил и без обыкновенной человеческой кожи.

По христианским легендам, язычник, уверовав в Христа, начал крушить статуи богов и богинь. Статуи были совершенны, но неофит сумел побороть в себе чувство прекрасного. Маяковский сокрушал не только красоту прошлого, но и себя самого; в этом величие его подвига, в этом и ключ к его трагедии.

Был в Петербурге литератор Андрей Левинсон, который считался знатоком хореографии. В 1918 году в журнале «Жизнь искусства» он опубликовал пасквиль на Маяковского. Ему тогда ответили и многие художники, и А. В. Луначарский. Андрей Левинсон уехал в Париж. Когда пришло известие о трагической смерти Маяковского, он напечатал в газете «Ле нувель литтерер» отвратительную клеветническую заметку. Вместе с несколькими французскими писателями я составил письмо в редакцию этой газеты, выражавшее наше негодование. Под письмом подписались все пристойные писатели Франции самых различных воззрений; не помню, чтобы кто-нибудь отказался поставить свою подпись. Я отнес письмо редактору Морису Мартен дю Гару. (Это был малопримечательный литератор, никак не похожий на большого писателя Роже Мартен дю Гара.) Редактор спокойно прочитал чрезвычайно резкое письмо и сказал: «Я попрошу вас сделать одно маленькое изменение». Я ответил, что текст не может быть смягчен. «Я этого и не прошу. Но, может быть, вы прибавите во фразе «мы возмущены тем, что литературная газета» два слова — «самая крупная литературная газета». Он соглашался получить пощечину, но просил отметить, что щека у него большая. Маяковский об этом, наверно, хорошо бы написал...

Необычайна судьба Маяковского в мире. Совсем недавно мне говорили о нем писатели Черной Африки — он дошел и туда. Он обходит мир. Конечно, стихи с трудом поддаются переводу, да и многое в той форме, которую Маяковский утверждал как форму будущего, стало формой прошлого. Но, человек и поэт, он по-прежнему молод. Ни Арагон, ни Пабло Неруда, ни Элюар, ни Тувим, ни Незвал никогда не писали «под Маяковского»; но все они многим Маяковскому обязаны — он научил их не новым формам стихосложения, а мужеству выбора.

Нужно уметь отделить современность от злободневности, дух новаторства от тех или иных новинок, которые четверть века спустя кажутся старомодными. Один поэт несколько месяцев назад сказал мне, что после сложных рифм Маяковского нельзя употреблять глагольные рифмы.

Это, конечно, наивно. Можно писать и глагольными рифмами, и вовсе без рифм. В 1940 году девять десятых начинающих поэтов писали стихи «лесенкой», теперь подражают другим образцам: моды меняются. Маяковского били по голове книгами Пушкина, Некрасова, Блока. Стоит ли дубасить молодых томами Маяковского?

Я говорил, что Маяковский мог бы мне помочь во многом разобраться. Помню ночной разговор; было это в феврале или в марте 1918 года. Мы вышли вместе из «Кафе поэтов». Маяковский расспрашивал про Париж, про Пикассо, про Аполлинера. Потом он сказал, что ему понравились мои стихи о казни Пугачева. «Вам бы радоваться, а вы скулите... Нехорошо!» Я охотно согласился: «Конечно, нехорошо». Политически он был прав, я это вскоре понял; но мы всегда думали и чувствовали по-разному. В 1922 году он говорил мне, что «Хуренито» ему понравился: «Вы поняли многое лучше других...» Я засмеялся: «А по-моему, я все еще ничего не понимаю...» Мы часто встречались и ни разу не встретились.

О Маяковском я думал и думаю; иногда спорю с ним, но всегда восхищаюсь его поэтическим подвигом. На статую я не гляжу — статуя стоит на месте; а Маяковский идет — и по новым кварталам Москвы, и по старому Парижу, по всей нашей планете идет с «заготовками» — не новых рифм, а новых дум и чувств...

7

Каждое утро обыватели тщательно изучали наклеенные на стены, еще старые, топорщившиеся декреты: хотели знать, что разрешается, что запрещено. Однажды я увидел толпу возле листка, который назывался «Декретом № 1 о демократизации искусств». Кто-то читал вслух: «Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства в кладовых, сараях человеческого гения — дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах». Бабка взвизгнула: «Батюшки, сараи отбирают!..» Очкастый человек, читавший декрет вслух, разъяснил: «Про сараи ничего не сказано, а вот библиотеки закроют, ну и театры, конечно...» Листок был сочинением футуристов, и внизу значились подписи: Маяковский, Каменский, Бурлюк. Имена ничего не говорили прохожим, зато все знали магическое слово «декрет».

Вспоминаю 1 мая 1918 года. Москва была изукрашена футуристическими и супрематистскими полотнами. На

фасадах облупленных домов, ампирных особняков с колоннами обезумевшие квадраты воевали с ромбами; пестрели лица с треугольниками вместо глаз. (Искусство, которое теперь именуется «абстрактным» и вызывает немало споров как у нас, так и на Западе, тогда выдавалось советским гражданам в неограниченном размере.) Первое мая совпало в тот год со страстной пятницей. Возле Иверской часовни толпились молящиеся. Мимо них проезжали грузовики (бывшие фирмы Ступина), задрапированные беспредметными холстами; актеры на грузовиках изображали различные сцены: «Подвиг Степана Халтурина» или «Парижскую коммуну». Одна старушка, глядя на кубистическое полотно с огромным рыбьим глазом, причитала: «Хотят, чтобы мы дьяволу поклонялись...»

Я смеялся, но смех был невеселым.

Сейчас я перечитал мою статью, напечатанную летом 1918 года в газете «Понедельник» и озаглавленную «Среди кубистов»; в ней я рассказывал о Пикассо, Леже, Ривере. Я говорил, что можно рассматривать произведения этих художников как «сумасшедшие орнаменты готового рухнуть дома или как фундамент иного, еще невиданного даже в творческом сне строения».

Конечно, не случайно Пикассо, Леже, Ривера стали коммунистами. В 1918 году на Красной площади оказались не художники академического направления, а футуристы, кубисты, супрематисты. Что же меня смущало в торжестве тех художников и поэтов, которые напоминали (хотя бы внешне) лучших друзей моей ранней молодости?

Прежде всего — отношение к искусству прошлого. Всем известно, что Маяковский рос, менялся, но в то время он был страстным иконоборцем:

Белогвардейца
найдете — и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время
пулям
по стенке музеев тенькать.
Стодюймовками глоток старье расстреливай!
...Выстроили пушки по опушке,
глухи к белогвардейской ласке.
А почему
не атакован Пушкин?

Этого я не мог понять. Часто, бродя по московским переулкам, я повторял стихи Пушкина; с нежностью вспоминал я холсты старых итальянских мастеров. Приехав

в Москву, я чуть ли не сразу побежал в Кремль. Живопись XV века меня потрясла — я ведь до того не имел представления о русском раннем Возрождении.

Споры о ценностях прошлого вскоре улеглись. Маяковский написал стихи о Пушкине, а материалы о Маяковском теперь выходят в издании Академии «Литературное наследство».

(Я уже упоминал о журнале «Вещь»; среди его сотрудников были многие представители нашего «левого искусства»: Маяковский, Малевич, Мейерхольд, Татлин, Родченко. В статье, посвященной задачам журнала, я писал: «Теперь смешно и наивно «сбрасывать Пушкина с парохода». В течении форм есть связь, и классические образцы не страшны современным мастерам. У Пушкина и Пуссена можно учиться... «Вещь» не отрицает прошлого в прошлом, она зовет делать современное в современном...»)

Маяковского нетрудно понять: его стихи встречались гоготом. Над картинами художников, которые пошли с футуристами (Малевич, Татлин, Родченко, Пуни, Удальцова, Попова, Альтман), в дореволюционное время издевались. После Октября эпигоны классической поэзии начали укладывать вещи в чемоданы. Бунин и Репин уехали за границу. Остались футуристы, кубисты, супрематисты. Подобно их западным единомышленникам, довоенным завсегдатаям «Ротонды», они ненавидели буржуазное общество и в революции увидели выход.

Футуристы решили, что вкусы людей можно изменить столь же быстро, как экономическую структуру общества. Журнал «Искусство коммуны» писал: «Мы действительно претендуем и, пожалуй, не отказались бы от того, чтобы нам позволили использовать государственную власть для проведения своих художественных идей». Конечно, это было скорее мечтой, чем угрозой. Улицы Москвы расписывались супрематистами и кубистами прежде всего потому, что художники академического толка находились в оппозиции (не художественной, а политической). Все же результаты оказались печальными. Дело не в бабке, принявшей кубистический холст за черта, а в той художественной реакции, которая последовала за кратковременным выходом на улицы «левого искусства».

Открытия в области точных наук доказуемы, и вопрос о том, прав или не прав Эйнштейн, решали математики, а не миллионы людей, помнящих всего-навсего таблицу умножения. Новые формы искусства всегда входили в сознание людей медленно, извилистыми путями; причем

сначала их понимали и принимали немногие. Да и вообще предписать, внедрить или навязать вкусы невозможно. Боги древней Эллады потребляли нектар, который поэты называли божественным напитком; но если бы нектар стали вводить через зонд в желудки афинских граждан, то, наверно, дело кончилось бы всеафинской рвотой.

Впрочем, сейчас все это (не только споры о том, кто будет украшать площади Москвы, но и «левое искусство») — древняя история. Еще раз я нарушу правила, которые предписывают мемуаристу придерживаться хронологической последовательности. Мне хочется понять, что приключилось со мной, со многими поэтами и художниками моего поколения. Не знаю, кто перепутал нити — наши художественные противники или мы сами; но я попытаюсь размотать клубок.

Прежде всего скажу о себе. Вскоре я увлекся тем, что тогда называли «конструктивизмом»; признаюсь, однако, — идея растворения искусства в жизни меня и вдохновляла и отталкивала. В 1921 году я написал книгу «А все-таки она вертится», шумливую и наивную, напоминавшую декларации лефовцев (журнал «Леф» отмечал, что «группа И. Эренбурга во многом совпадает в выводах с нами»). Я уверял, будто «новое искусство перестает быть искусством». Одновременно я издевался над своими идеями; в том же 1921 году я написал «Хулио Хуренито»; мой герой доводит до абсурда тезисы книги «А все-таки она вертится». Хуренито говорит: «Искусство — очаг анархии, художники — еретики, сектанты, опасные бунтовщики. Итак, не колеблясь, надо запретить искусство, как запрещены изготовление спиртных напитков или ввоз опиума... Картины кубистов или супрематистов могут быть использованы для различных целей — чертежи киосков на бульварах, орнамент набойки, модели новых ботинок и так далее. Поэзия переходит к языку газет, телеграмм, деловых разговоров...» Я не двурушничал — двурушничество ведь всегда связано с опаской или с расчетом. Просто я не очень-то верил в провозглашаемую многими, в том числе и мною, смерть искусства.

Футуризм родился в начале нашего века в технически отсталой Италии; там на каждом шагу можно было увидеть изумительные памятники прошлого; а в магазинах продавали немецкие ножи, французские кастрюли, английские материи — заводские трубы еще не пытались затесаться в изысканное общество старинных башен. (Теперь Северная Италия может посоперничать с наиболее инду-

стриализированными странами, но теперь в Италии не сыщешь футуриста, требующего сжечь все музеи, а бывшие футуристы Карра или Северини вдохновляются фресками Джотто или равеннской мозаикой.) Увлечение Маяковского, Татлина, других представителей русского «левого искусства» индустриальной эстетикой в первые годы революции вполне понятно: тогда на Сухаревке продавали поштучно не только куски сахара, но даже спички. В «Мистерии-Буфф» Маяковский так мечтал о будущем: «Громоздятся в небо распахнутые махины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи и автомобили...» (Когда художник изображает природу или человеческие чувства, его произведения не устаревают. Никто не скажет, что женщина XX века прекраснее, совершеннее Ники Акрополя, созданной двадцать пять веков назад; терзания Гамлета и Джульетты никому не смешны. Но стоит художнику увлечься техникой, как его утопии оказываются превзойденными или опровергнутыми временем. Уэллс был человеком весьма образованным, ему казалось, что он видит будущее, однако открытия современной физики сделали его утопические романы смешными. Как мог Маяковский предвидеть, что трамвай вскоре разделит судьбу конки, а поезда начнут казаться архаическим способом передвижения?..)

Кубистические полотна Пикассо были рождены не тоской по машинам, а стремлением живописца изобразить человека, природу, мир, освободившись от случайных подробностей. Мало кого теперь интересуют книги Метценже, Глеза и других теоретиков кубизма; а холсты Пикассо, Брака, Леже живы, нас радуют, огорчают, волнуют. Пикассо себя считает наследником Веласкеса, Пуссена, Делакруа, Сезанна, и никогда он не видел в электрическом поезде или в реактивном самолете наследников живописи.

Разумеется, искусство всегда постепенно входило в быт, меняло здания, одежду, словарь, жесты, утварь. Средневековая поэзия с ее культом любимой женщины помогла людям найти формы для выражения своих чувств. Холсты Ватто и Фрагонара перекочевали в быт, изменили планировку парков, костюмы, танцы, повлияли на диваны или на табакерки. Кубизм помог современным урбанистам освободиться от домов, заляпанных ненужными украшениями, он отразился на мебели, даже на коробках сигарет. Утилитарное использование искусства, его декоративное применение не может быть целью художника, оно есте-

ственно вытекает из его творческого взлета. Обратный процесс свидетельствует о творческом оскудении. Беспредметный орнамент вполне уместен на ткани или на керамике, когда же он претендует на звание станковой живописи, то это не взлет, а спад.

Недавно я был в Брюсселе на ретроспективной выставке Малевича. Его ранние работы (период «Бубнового валета») очень живописны. В 1913 году он написал черный квадрат на белом фоне. Так родилось абстрактное искусство, которое сорок лет спустя обворожило тысячи западных художников. Оно мне кажется прежде всего декоративным. Холсты Пикассо — мир, в них столько мыслей и чувств, что они порождают восторг или подлинную ненависть; а холсты абстракционистов остаются элементами ткани или обоев. Женщина может надеть на себя шарф с беспредметным орнаментом, этот шарф может быть красивым или некрасивым, может оказаться к лицу женщине или нет, но он никогда не заставит задуматься о природе, о человеке, о жизни.

Стремительное развитие техники требует от художника еще более углубленного понимания внутреннего мира человека. Это быстро поняли сторонники «левого искусства», защищавшие индустриальную эстетику. Повидав Америку, Маяковский заявил, что необходимо обуздать технику. Конечно, он думал при этом о роли художника, не отрицая необходимости технического прогресса (в Москве тогда — это было в 1925 году — техники было чрезвычайно мало); Маяковский понимал, что если не надеть на технику гуманистического намордника, то она искусает, загрызет человека. Мейерхольд, забыв про биомеханику, увлекся «Лесом», «Ревизором», мечтал поставить «Гамлета». Татлин занялся станковой живописью; Альтман писал портреты; Пуни стал мастером маленьких пейзажей. Что касается зонда с нектаром, то он перешел в другие руки, куда более подходящие для подобных операций.

Наши музеи обладают превосходными коллекциями «левого искусства» первых послереволюционных лет. Обидно, что эти коллекции не открыты для посетителей. Из цепи кольца не выкинешь. Я знаю молодых советских художников, которые в 1960 году открывают Америку: делают (вернее, хотят сделать) то, что в свое время делали Малевич, Татлин, Попова, Розанова. Может быть, если бы они могли взглянуть на историю развития названных художников, они пытались бы не вернуться к 1920 году, а

найти нечто новое, соответствующее нашему времени? Молодые поэты знают стихи Хлебникова, ценят его мастерство, но не пытаются ему слепо подражать. Почему же Татлин «опаснее» Хлебникова? Может быть, потому, что идея монополии одного направления особенно утвердилась в области пластических искусств?..

Конечно, представители нашего «левого искусства» в первые годы революции во многом ошибались. Об ошибках художников, писателей, композиторов говорят часто и охотно; вряд ли это объясняется тем, что ошибаются только они... Но сейчас, оглядываясь назад, я думаю с признательностью даже о том холсте, который испугал бабку возле Иверской часовни. Многое было сделано; а эссенцию всегда разбавляют. Благотворные следы «левого искусства» можно увидеть в произведениях ряда писателей, художников, режиссеров, кинорежиссеров, композиторов последующих десятилетий.

Я никогда в жизни не был страстным адептом какой-либо художественной школы. Апостола Павла, до того как он обратился в новую веру, звали Савлом. В 1922 году, когда я защищал конструктивизм и издавал журнал «Вещь», В. Б. Шкловский в книге «Цоо» назвал меня Павлом Савловичем — это зло, но справедливо. Через всю мою жизнь я пронес любовь ко многим художественным произведениям прошлого — к романам Стендаля, к рассказам Чехова, к стихам Тютчева, Бодлера, Блока. Это мне не мешало ненавидеть подделку под старое и любить Пикассо или Мейерхольда. В общем, у Павла должно быть отчество, и лучше вылепить новую статую, чем разбить даже с самыми высокими побуждениями статую, некогда созданную. Для скульптора, который высекал изображения индийских богов и богинь в Эллоре, Брахма, Вишну или Шива были богами; для нас это люди, созданные человеческим гением, с близкими нам страстями, с понятной нам гармонией.

Идолы отжили свой век не только в религии, но и в искусстве. Вместе с почитанием икон умерло иконоборчество. Но разве от этого может исчезнуть стремление сказать новое по-новому? Недавно я прочитал в одном журнале слова «скромное новаторство»; они меня сначала рассмешили, потом опечалили. Художник должен быть скромным в своем поведении, но отнюдь не умеренным, тепленьким, ограниченным в творческих дерзаниях. Право же, достойнее писать каракулями свое и по-своему, чем каллиграфически переписывать прописи прошлого. Мне

кажется, что колхозники, изображаемые в манере академической (болонской) школы, мало кого могут порадовать и нельзя передать ритм второй половины XX века тем изобилием придаточных предложений, которым блистательно пользовался Л. Н. Толстой.

8

В Пречистенском комиссариате мне пришлось заполнить первую анкету, это было внове, и я задумывался над каждым вопросом. Какая, например, у меня профессия? Журналист? Переводчик? Поэт? Я написал «поэт» — это звучало наиболее благородно — и рассмеялся: менее всего я чувствовал себя профессиональным писателем.

Помимо дурных стихов, я писал очерки в газеты; написал вместе с А. Н. Толстым пьесу для театра «Летучая мышь», называлась она «Рубашка Бланш» и была основана на французском фаблио XIII века, которое я перевел еще в Париже. Я писал стихотворный текст, а Алексей Николаевич старался оживить его забавными репликами.

Внешне я как-то устроился, снял комнату в Левшинском переулке, в профессорской квартире, за сто рублей, иногда обедал в вегетарианской столовой — кажется, она называлась «Примирись», но примириться ни с чем я не мог.

Иногда я вспоминал «Ротонду», Пикассо, Модильяни, наши споры об искусстве. Бог ты мой, как давно это было!.. Я попробовал написать Шанталь и тотчас порвал письмо: нельзя писать в другой мир. Даже если письмо дойдет, никогда ей не понять, что со мною происходит...

Появилось много новых слов: «мандат», «чека», «рабис», «комфуты», «домком», «уплотнение», «излишки», «пша», «спецы», «пролеткульт», «кубаршины», «ликбез», «рабкрин», «разверстка». Я продолжал приставать ко всем с наивными вопросами; никто мне не отвечал.

Неожиданно для себя я очутился в среде писателей, даже стал одним из наиболее типичных ее представителей: у других ведь были семьи, знакомые, налаженный быт, а я попал в революционную Москву с тремя сменами белья, без профессии и потеряв из виду друзей отрочества.

Я упоминал о кафе «Дом» на Тверской, куда часто заглядывали писатели; там мы пили кофе и делились новостями. Были другие кафе, где мы работали, — за тридцать или за пятьдесят рублей читали свои произведения

перед шумливыми посетителями, которые слушали плохо, но глядели на нас с любопытством, как посетители зоопарка глядят на обезьян. Кафе эти были эфемерными — названия то и дело менялись: «Кафе поэтов», «Трилистник», «Музыкальная табакерка», «Домино», «Питторекс», «Десятая муза», «Стойло Пегаса», «Красный петух».

Цетлины нас кормили пышно, как подобало последним представителям чайной династии. Собирались мы часто у Кара-Мурзы; там нас тоже подкармливали, и атмосфера там была куда проще, сердечнее. Иногда мы ходили к Толстому; иногда в Афанасьевском переулке встречались у актрисы Людмилы Джалаловой.

Еще происходили скучноватые собрания «Среды»; там бытовики читали рассказы и литераторы монотонно требовали различных «свобод»; во главе «Сред» стоял брат Бунина, милейший Юлий Алексеевич.

Председателем Всероссийского Союза писателей был Юргис Казимирович Балтрушайтис, человек очень добрый и очень угрюмый. Лицо у него было пустынное, бледные глаза, горестно сжатый рот. Когда Маяковский сокрушал Бальмонта или когда Толстой рассказывал анекдоты, Юргис Казимирович, в черном, наглухо застегнутом сюртуке, непоколебимо молчал. Его комната напоминала его самого — голые стены и распятие. Такими же унылыми, горькими, отвлеченными были и его стихи:

И всех равняет знаком сходства,
Приметой божьего перста,
Одно великое сиротство,
Одна великая тщета!

Помню, как мы ездили в Кимры на литературный вечер. Балтрушайтис читал стихи. Потом Лидин прочитал рассказ о конюшнях и скачках. Зал был шумным; кого-то вывели. На эстраду взобрался паренек и запел:

Дезертиром я родился,
Дезертиром и умру,
Коль хотите, расстреляйте,
В коммунисты не пойду...

Мы пили водку; нас отвели в пустую комнату — поезд отправлялся утром; спали мы на полу. Юргис Казимирович, как всегда, молчал; только когда мы приехали в Москву, он неожиданно сказал: «В общем, глупо... А все-таки хорошо, что поехали...» Мне кажется, что те годы были для

Юргиса Казимировича лучшими в его жизни. (В 1921 году он стал послом Литвы в Москве. Ему хотелось по-прежнему встречаться с писателями, но он числился дипломатом, и его дипломатично избегали. Он продолжал писать угрюмые стихи; писал и на литовском языке. Жизнь его сложилась нелепо, но он не удивлялся — с детства знал, что такое пустыня.)

Помню светящееся окно на Зубовском бульваре — там жил поэт Вячеслав Иванович Иванов. Он казался мне мудрым старцем (ему тогда было пятьдесят два года); походил он на ибсеновского пастора; одевался по-старомодному; блестела золотая оправа очков. Был он человеком большой культуры; писал сложно и патетически; его называли «Вячеславом Великолепным». Я слушал, как он, волнуясь, будто импровизируя, читал отточенные сонеты, и во мне боролись два чувства: благоговение и жалость; время рванулось вперед, а где-то на Зубовском бульваре остался чудак в сюртуке, с менадами, с Изольдой, с розами Суристана, с акафистами. В домах появились печки, окрещенные «буржуйками», на них варили пшенную кашу, а Вячеслав Иванович писал:

Охапку дров свалив у камелька,
Вари пшено, — и час тебе довлеет.
Ах, вечности могила глубока!..

Он хорошо говорил о древней Элладе, а когда события заглядывали в его кабинет, терялся. Он писал Г. И. Чулкову:

Да, сей пожар мы поджигали,
И совесть правду говорит,
Хотя предчувствия не лгали,
Что сердце наше в нем сгорит.

Мне кажется, сердце Вячеслава Иванова в те годы не горело, а замерзало... (Несколько лет спустя он уехал в Италию, преподавал славистику в католическом университете, писал, как прежде, сонеты и умер в глубокой старости.)

Как-то я возвращался после литературного вечера с М. О. Гершензоном, который жил в одном из переулков Арбата. Я знал его книги о декабристах, о Чаадаеве и думал, что для Михаила Осиповича самое важное — сохранить те духовные ценности, о которых говорил Вячеслав Иванов. Но Гершензон неожиданно рассмеялся и, остановившись возле сугроба, который был выше его, стал меня наставлять: важнее всего внутренняя свобода, нечего пла-

кать об истлевших ризах. Он смеялся, а глаза у него были ласковые и печальные: «Почему вы огорчаетесь? Вы ведь молоды... Разве не счастье почувствовать себя свободным от всего, что представлялось нам вечным, незыблемым? Я вот радуюсь...» Михаилу Осиповичу не было и пятидесяти, но мне он, конечно, казался стариком. Я тогда не понял, чему он радуется, а теперь с восхищением думаю о его словах; если он страдал дефектом зрения, то в отличие от многих писателей, в том числе молодых, был не близоруким, а дальнозорким. Его заслуги перед нашей литературой велики, и только болезнью века — амнезией можно объяснить то, что о нем быстро забыли: ведь он был не эфемерным автором парадоксов, а серьезным и глубоким историком русской интеллигенции XIX века. Его книги об Огареве, о Чаадаеве, о декабристе Кривцове, о грибоедовской Москве написаны с точностью летописца и с вдохновением поэта. Он умер в 1925 году.

Позднее я расскажу об Андрее Белом — я часто с ним встречался в Германии в 1922 году. В годы, о которых я говорю, он казался мне призраком. Он не сидел на стуле, как все, а приподымался; казалось, еще минута — и он превратится в облако; говорил он не с собеседником, а с воображаемым обитателем воображаемой планеты. Слово «эфир» давно стало техническим термином работников радиовещания, они говорят «выпускаем в эфир», даже когда идет речь о беседе, как предохранить себя от желудочных заболеваний. А тогда слово «эфир» еще звучало таинственно: «Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края...» Так вот, мне казалось, что Андрей Белый говорит исключительно в лермонтовский эфир: Россия — мессия, разрушение — созидание, бездна — взлет... Он восхищал меня, но я думал: тебе хорошо, ты и не сидишь на стуле, ты взлетаешь, а я не умею ни развоплощаться, ни испаряться, ни вещать...

Все выводило из себя Бальмонта. Однажды мы должны были проехать от Покровских ворот к Арбату. Войти в трамвай было нелегко; я, вскочив на подножку, пытался пробиться, а Константин Дмитриевич начал вопить: «Хамы, расступитесь! Идет сын солнца...» Это не произвело никакого впечатления, и Бальмонт объявил, что, поскольку ни у него, ни у меня нет денег на извозчика, мы пойдем пешком: «Я не могу касаться моим телом этих бесчувственных амфибий».

И. А. Бунин уверял, что во всем повинны «декаденты» — и в том, что разорили его усадьбу, и в том, что

исчез сахар. Однажды у Толстого я прочел свои стихи о казни Пугачева, написанные еще в Париже в 1915 году; там были строки:

И останется от русского царства икра рачья
Да на высоком колу голова Пугачья...

Бунин встал, сказал Наталье Васильевне: «Простите, подобного я слушать не могу» — и ушел. Кто-то сочинил тогда стихи, которые оказались в моей записной книжке:

Вы дружбой связаны со мною,
Бандит и черт, парижский сноб
В огромной шляпе, вышиною
Напоминающей сугроб,
Вы, что стихами без нагана
Спугнули Бунина Ивана.
Желаю вам от сей поры
Отборных раков без икры.

У Толстых, несмотря на душевное беспокойство, овладевшее Алексеем Николаевичем, было уютно: Толстой умел не только вкусно радоваться, но и вкусно огорчаться. Неизменно он рассказывал забавные истории, причем сам смеялся первый. Как-то, вернувшись с репетиции своей пьесы, он рассказал, будто в первые дни революции солдаты нашли в Малом театре голову Иоканаана, которой в пьесе Уайльда тешится Саломея; голова им понравилась, и они начали ею играть в футбол. В другой раз Толстой рассказывал, как во время выборов в Учредительное собрание в подмосковной деревне одна бабка взяла со стола не тот бюллетень, что хотела. Агитатор сказал ей: «Да это не твой номер», а она ему ответила: «Наследить боюсь... Если бог поможет, мы и с этим управимся...» «Ха-ха-ха!» — грохотал Алексей Николаевич, а было ему, как я говорил, совсем не весело.

Из писателей старшего поколения я встречал Б. К. Зайцева, больного, недоумевающего; он охотно вспоминал Италию, а про то, что делается вокруг, говорил откровенно: «Не понимаю...» Ходили мы иногда к поэту Г. И. Чулкову, который жил на Смоленском бульваре. В молодости Георгий Иванович принимал участие в революционном движении, побывал в тюрьмах, в ссылке. Около 1907—1908 годов он оказался в центре литературной жизни, о нем Блок спорил с Андреем Белым. Я его узнал постаревшим и печальным; он походил на большую больную птицу, больше не проповедовал ни «соборности», ни «мистического

анархизма», иногда, помолчав, повторял строки Тютчева. Иван Алексеевич Новиков предпочитал цитировать Пушкина; он был радушным хозяином, никого не обижал; глаза у него были ласковые, спокойные, и дома держался старый быт — на пасху пекли куличи, красили яйца.

У Кара-Мурзы собирались главным образом молодые — там Алексей Николаевич был классиком. Поэт Липскеров нараспев читал стихи о красотах Востока. Приходила В. М. Инбер. (С нею я познакомился еще в Париже; она должна была уехать в горный санаторий в Швейцарии и попросила меня присмотреть за изданием ее первой книги «Печальное вино». Иллюстрации к книге сделал мой приятель, скульптор Цадкин.) Вера Михайловна читала шутливые стихи:

Вилли, милый Вилли,
Отвечайте мне без долгих дум,
Вы когда-нибудь кого-нибудь любили,
Вилли-грум?

В то время я подружился с В. Г. Лидиным. В молодости он был наивным и жаждал романтики. Людмила Джалалова его называла «розовым Марабу», эта кличка прижилась.

В одном из писем Маяковского к Л. Ю. Брик я нашел такие строки: «Кафе омерзело мне. Мелкий клоповничек. Эренбург и Вера Инбер слегка еще походят на поэтов, но и об их деятельности правильно заметил Кайранский:

Дико воет Эренбург,
Одобряет Инбер дичь его...»

В «Литературном наследстве» не приведен конец эпиграммы:

Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.

Сочинил эти стишки критик А. А. Кайранский на вечере у Кара-Мурзы. Я тогда еще многого не предвидел и не рассердился.

Мы развлекались, как умели. Сфинкс ставил людям загадки, они их не могли решить, и Сфинкс их пожирал. Эдип знал, что если он не разгадает головоломки, то его ждет гибель; все же я думаю, что, когда Сфинкс на минуту оставлял Эдипа в покое, Эдип развлекался...

Вот только Андрей Михайлович Соболь редко смеялся, и улыбка у него была печальная. В ранней молодости

он был связан с эсеровским подпольем, восемнадцатилетним юношей был приговорен к каторжным работам, сослан в свирепый Зерентуй, с поселянами бежал за границу. Я с ним познакомился в итальянской деревушке Кави ди Лаванья, где почему-то обосновались, вернее бедствовали, русские эмигранты. Во время войны Соболь с чужим паспортом вернулся в Россию. Не знаю, почему он был так печален, может быть потому, что хлебнул в жизни горя, может быть потому, что действительность не походила на мечты подростка: крестьяне жгли в усадьбах библиотеки, матросы увлекались самосудами, а по Мясницкой вместо героев Степняка-Кравчинского деловито шагали мешочники. В 1923 году в «Правде» было напечатано «Открытое письмо» Андрея Соболя... «В бурные, грозовые годы, прошедшие перед нами, над нами и сквозь нас, ошибалась, спотыкалась и падала вся Россия. Да, я ошибался, я знаю, где, когда и в чем были мои ошибки, но они являлись органическим порождением огромной сложности жизни. Безукоризненными могли себя считать или безнадежные глупцы, или беспардонные подлецы. В отсутствии глупости и подлости в себе я не нахожу повода для раскаяния. Одни сознают свои ошибки раньше, другие — позднее. Я позднее многих сознал, быть может, потому, что всегда был и оставался социалистом и всегда верил в тот час, когда рикша из Калькутты протянет, аннулируя моря и океаны не только воды, но и слез и крови, руку Федьке Беспятому из Недоеловки...» Андрей Михайлович был человеком болезненным, с обостренно чувствительной совестью, добрым, мягким. В 1926 году он покончил с собой на скамейке Тверского бульвара.

Газеты сообщали об огромных событиях: наступление немцев, Брестский мир, переезд правительства в Москву, мятеж левых эсеров, начало гражданской войны на Дону. В Москве то и дело постреливали. На Поварской чуть ли не в каждом особняке был штаб анархистов. В кафе поэтов я часто видел на столике рядом с пирожными маузер. Ночью на прохожих нападали бандиты. На собраниях повторяли: «Социалистическое отечество в опасности!» Появилось сообщение о том, что организована «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем».

А жизнь продолжалась... Я встретил поэта Михаила Герасимова; он повел меня на собрание пролеткультовцев; там издевались над футуристами. Маяковский называл стихи пролеткультовцев «протухшим товаром». Толстой

говорил, что нужно уехать в Париж. Бунин называл Толстого «полубольшевиком».

Сфинкс требовал ответа. А мы все-таки ходили к Кара-Мурзе, дурачились, сочиняли пародии, покупали на Сухаревке табак, ссорились друг с другом, влюблялись...

Пошел я на выставку «Бубновый валет»; там были холсты и некоторых бубнововалетцев, и супрематистов, и салонных стилизаторов — вывеска обманывала. А живопись тех художников, которые действительно были в прошлом организаторами группы «Бубновый валет», мне понравилась. Я почему-то считал (да так думают многие и поныне), что бубнововалетцы слепо подражали французам. Конечно, они любили Сезанна, знали Матисса, но к опыту французских мастеров они добавили нечто свое, национальное. В ранних холстах Лентулова, Машкова, Кончаловского, Ларионова, Шагала, да и Малевича (до супрематизма) есть нечто от вывесок парикмахерских, фруктовых или табачных лавок, которые в дореволюционное время в провинциальных городах являлись подлинно народным творчеством.

Увлекали меня и театры; судя по записной книжке, я за один месяц побывал в Художественном на «Трех сестрах» и на «Селе Степанчикове», увидел в Камерном «Фамиру Кифаред» Иннокентия Анненского, был в Драматическом театре на «Павле» Мережковского. Глядел я в филиале Художественного театра пьесу «Потоп». На сцене было кафе, люди заказывали коньяк, подзывали официанта. Рядом со мной сидел художественный критик Я. А. Тугендхольд, незадолго до того вернувшийся из Парижа. Когда опустился занавес, Яков Александрович полез в карман за деньгами: ему показалось, что он в кафе и должен расплатиться с официантом. А я посмеивался, хотя пьеса была скорее мрачная: смешил меня натурализм театра — актеры действительно пили что-то, все было как «на самом деле». В 1909 году в Париже мне показался неправдоподобным трагический актер Муне-Сюлли в роли царя Эдипа, а вот теперь меня смешила неправдоподобность чересчур правдоподобного...

Искусство искушало, но я продолжал думать о вопросах Сфинкса. Жизнь становилась внешне все труднее и труднее: все жили впроголодь. Говорили о перестрелках, о пайках, о сыпняке. Я переносил лишения легче, чем многие из моих новых друзей: в Париже прошел школу голода.

Как-то с оказией пришло письмо от Шанталь, она писала, что ждет меня. На минуту передо мной встал Париж —

Сена, каштаны, друзья и маленькая уличка Кур де Роан, где жила Шанталь. Ответ я писал долго — хотел объяснить, что война продолжается, что у меня нет денег, а главное, я не могу уехать из России, не поняв, что здесь происходит... Письмо получилось глупое, и я его порвал.

9

Моя мать умерла в Полтаве осенью 1918 года. Я знал, что она тяжело больна, торопился. Когда я добрался до дома моего дядюшки, отец, сгорбившись, сидел в передней: он только что вернулся с кладбища. Я опоздал на два дня и не простился с матерью. В жизни почти каждого человека смерть матери многое внутренне меняет. Я с семнадцати лет жил далеко от родителей, и все же почувствовал себя сиротой. Шел холодный дождь, цветы на могиле быстро почернели от ранних заморозков. Я не знал, что сказать отцу; мы оба молчали. Я пробыл с ним две или три недели; об этом можно было бы многое рассказать, можно и промолчать.

Однажды на улице я увидел В. Г. Короленко. Он шел сутулясь; лицо его поражало добротой и печалью. Казалось, это идет последний представитель интеллигенции прошлого века. (Словарь Ушакова дает и такое толкование «интеллигента»: «Человек, социальное поведение которого характеризуется безволием, колебаниями, сомнениями». А русская интеллигенция XIX века не была безвольной; она умела расплачиваться за свои идеи и житейскими невзгодами, и тюрьмой, и каторгой. Сомнения ее часто объяснялись не боязливостью, а совестливостью. Именно совестливым был и Короленко.) Я вспомнил, как он пригрел начинающего поэта на чужбине. Студент, который бывал у него, сказал: «Хотите, я вас представлю...» Я знал, что Владимир Галактионович плохо себя чувствовал, подавлен событиями, тревожится за своего зятя, которого арестовали немцы. Я не решусь ни о чем его спросить... А просто подойти, поблагодарить за то, что он живет на свете, я постеснялся; так и не подошел к нему...

В Киеве я оказался в скверное время. Я расскажу о том, как я там жил и что увидел; но прежде всего мне хочется сказать о самом Киеве. Мальчишкой я часто бывал в этом городе — гостил у деда; побывал в Киеве и после тюрьмы, без прописки, без крова. Моя жизнь протекала в двух городах — в Москве и в Париже. Но я никогда не мог за-

быть, что Киев — моя родина. Очевидно, такова власть слова, сила воображения. Не знаю, когда мои предки оказались на Украине и откуда их пригнали ветры истории; может быть, из Кордовы или Гренады. В Киев мой дед (по материнской линии) приехал из Новгород-Северска, древнего уездного городка Черниговской губернии, и было это, разумеется, не во времена князя Игоря, а относительно недавно — в начале царствования Александра Второго. Где пан таскал его за пейсы — в Новгород-Северске, в Киеве или, может быть, в том самом Бердичеве, о котором рассказывали сотни анекдотов и который помог Кайранскому сочинить едкий стишок? Не знаю. Не берусь доказать, что я добротный, потомственный киевлянин. Но у сердца свои законы, и о Киеве я неизменно думаю как о моей родине. Осенью 1941 года мы теряли город за городом, но я не забуду день 20 сентября — тогда мне сказали в «Красной звезде», что по Крещатику идут немецкие дивизии.

«Киев, Киев! — повторяли провода. —
Вызывает горе. Говорит беда».
«Киев, Киев!» — надрывались журавли...

Помню, как мальчишкой я подъезжал к Киеву. Поезд останавливался на каждой станции, не торопился (торопился я), и названия станций были странные — Бобрик, Бобровица, Бровары. Потом начинались пески; мне они казались Сахарой. Я высовывался из оконца. Киев показывался внезапно — купола Лавры, сады, широчайший Днепр с островками, на которых зеленели деревья. Поезд долго грохотал на мосту...

В Киеве были огромные сады, и там росли каштаны; для московского мальчика они были экзотическими, как пальмы. Весной деревья сверкали канделябрами свечей, а осенью я собирал блестящие, будто отполированные каштаны. Повсюду были сады — и на Институтской, и на Мариинско-Благовещенской, и на Житомирской, и на Александровской; а Лукьяновка, где жила тетя Маша с грушами и с курами, мне казалась земным раем. На Крещатике был писчебумажный магазин Чернухи, там продавали школьные тетради в блестящих цветных обложках; в такой тетради даже задача на проценты выглядела веселее. Был магазин кондитерских изделий Балабухи, в нем продавали сухое варенье (его называли «балабухой»); в коробке лежала конфета, похожая на розу, она пахла духами. В Киеве я ел вареники с вишнями, пампушки с чесноком.

Прохожие на улице улыбались. Летом на Крещатике в кафе сидели люди — прямо на улице, пили кофе или ели мороженое. Я глядел на них с завистью и с восхищением.

Потом всякий раз, приезжая в Киев, я поражался легкости, приветливости, живости людей. Видимо, в каждой стране есть свой юг и свой север. Итальянцы считают жителей Турина северянами — они суховаты, сдержанны, деловиты. Гасконцы живут на той же географической широте, что туринцы, но Гасконь — юг Франции, и по-французски «гасконец» означает фантазер, насмешник, балагур. Для испанца барселонцы — северяне, а если отправиться из Барселоны на север и пересечь границу, то можно доехать до Тараскона, где жил Тартарен...

На севере человек иногда улыбается: он вспомнил что-то приятное. А почему улыбается южанин? Вероятно, потому, что ему нравится улыбаться. Украинская фантазия, украинский юмор красили суровый облик старой России. Гоголь был болезненным человеком с очень тяжелым характером, но скольких он лечил своими книгами! Я знаю, что Гоголь — «великий реалист», это стоит в любом учебнике, и я в гимназии учил наизусть «Чуден Днепр при тихой погоде». Там сказано: «Редкая птица долетит до середины Днепра». Птицы перелетают через моря, но Гоголь прав: и Днепр широк, и широко искусство.

После революции в русскую литературу вошли яркие, несдержанные, насмешливые и романтичные южане; они нас слепили, смешили, вдохновляли — Бабель, Багрицкий, Паустовский, Катаев, Светлов, Зощенко, Ильф, Петров, Олеша...

Мальчиком я гостил у тети Маши; она арендовала хутор возле Борисполя; там на ярмарке я слышал, как слепцы пели старые песни. Много лет спустя я услышал, как М. Ф. Рыльский читал свои стихи, и было в этом нечто мне знакомое — лукавая и нежная музыка украинской речи.

В киевской Софии я провел немало часов. Часто противопоставляют византийское искусство древнегреческому; разумеется, Христос-Пантократор, требовательный и суровый, связанный не только с синим небом Греции, но и с фанатично-полицейским строем великой империи, не входит в мир кентавров и нимф. И все же Византия сохраняла гармонию Эллады; ее отсвет дошел до древнего Киева. В Софии я чувствовал не только груз веков, но и легкость, крылья искусства.

Я люблю барокко Киева; его вычурность смягчена каким-то естественным добродушием; это не гримаса, а улыб-

ка. Мне жаль Михайловского монастыря, он хорошо стоял, был милый дворик. Конечно, Андреевская церковь лучше, но зря его снесли... (Футуристов обвиняли в неуважении к искусству прошлого; но у футуристов были перья, а не ломы. В тридцатые годы порой так рубили лес, что летели не щепки — вековые камни. В 1934 году я видел, как в Архангельске взрывали здание таможни петровского времени, я спрашивал — почему, мне отвечали: «Мешает уличному движению», а в Архангельске автомобили были наперечет.)

Война нанесла Киеву много ран. Немцы взорвали собор Лавры. Крещатика не стало. Потом сделали тротуары, поставили вазы с цветами, милиционеров. А потом улицу отстроили. На старом Крещатике не было памятников старины, и он мне мил только воспоминаниями. А в Москве я живу на улице Горького и пригляделся к той архитектуре, которую теперь называют «украшательской», хотя ничего она украсить не способна. Зато я восхитился, увидев новый проспект над Днепром: Киев теперь может присесть на скамеечку (разумеется, в тихую погоду) и проверить, до чего чуден Днепр... Похорошели зеленые Липки. С Подола сняли клеймо отверженности.

Нет, Киев мне не чужой! Первые мои воспоминания — это большой двор, куры, бело-рыжая кошка, а напротив дома (на Александровской) красивые фонарики — там помещалось летнее увеселительное заведение «Шато де флер».

С Киевом связано немало событий в моей жизни. В 1918—1919 годах там существовала художественная школа Александры Александровны Экстер, «левой» художницы, которая выставлялась в Москве вместе с бубнововалетцами и делала постановки в Камерном театре. В школе учились дюжина молоденьких девушек и несколько юношей. Среди учениц А. А. Экстер была восемнадцатилетняя девушка Люба Козинцева. Она заинтересовалась мною, узнав, что я знаком с Пикассо. Что касается меня, то я заинтересовался ею, хотя она была знакома только с Александрой Александровной. Я начал ходить на Мариинско-Благовещенскую, где жил доктор Козинцев. Конечно, репутация у меня была шаткая; но шатким тогда было все. Гетмана сменил Петлюра, Петлюру прогнала Красная Армия. Люба с товарищами расписывала агитпароход. Швейцар «Литературно-артистического клуба» философствовал: «Сегодня навыворот, а завтра за шиворот». Я продолжал писать стихи, но в многочисленных анкетах на вопрос о роде занятий отвечал уже не «поэт», а «служащий» — я работал в

нескольких советских учреждениях. Впрочем, все это к делу не относится. Люба украдкой приходила ко мне — я снимал тогда комнату на Рейторской. Несколько месяцев спустя мы, никого об этом не предупредив, направились в загс, пробираясь через спящих красноармейцев и тюки, отобранные продкомом.

В октябре 1943 года вместе с другими корреспондентами «Красной звезды» я жил в сожженном селе Летки на Десне. Мы ждали, когда освободят Киев. Вокруг шумел высокий камыш. Иногда мы ездили в Дарницу, оттуда можно было рассмотреть город. Иногда переправлялись на правый берег Днепра. Ждать было трудно. Поэт Семен Гудзенко потом написал:

Но и в сугробах Подмосковья,
и в топях белорусских рек
был Киев первою любовью,
незабываемой вовек.

Я увидел пески Бабьего Яра; там гитлеровцы убили семьдесят тысяч евреев. Мне показали объявление: «Жиды г. Киева и окрестностей. В понедельник 29 сентября к семи часам утра вам надлежит явиться с вещами, документами и теплой одеждой на Дорогожицкую улицу, возле Еврейского кладбища. За неявку — смертная казнь». По длинной Львовской шло шествие обреченных; матери несли грудных детей; парализованных везли в тележках. Потом людей раздевали и убивали. Среди погибших не было моих близких, но, кажется, нигде я не пережил такой тоски, такого сиротства, как на песках Бабьего Яра. Иногда чернела зола, обугленные кости (немцы незадолго до эвакуации приказали военнопленным выкопать тела жертв и сжечь их). Почему-то мне казалось, что здесь погибли мои родные, друзья, сверстники, что сорок лет назад я видел их — они играли в детские игры на смутных улицах Подола или Демиевки.

В Киеве жило много евреев. Когда я еще был мальчишкой, мой двоюродный брат, студент, показал мне на Крещатике человека в очках, с длинными волосами и почтительно пояснил: «Это — Шолом-Алейхем». Я тогда не знал о таком писателе, и мне он показался одним из ученых чудаков, которые сидят над книгой и выразительно вздыхают. Много позднее я прочитал книги Шолом-Алейхема, я и вздыхал и смеялся, мне хотелось вспомнить лицо ученого чудака, мелькнувшее на Крещатике. Шолом-Алейхем называл Киев «Егупцем», и люди этого города заполняют его книги. Их дети и внуки простились с Егупцем в Бабьем Яру...

В Киеве я пережил еврейский погром. Для меня рассказ украинского писателя Коцюбинского вдвойне дорог — и потому, что я понимаю муку Эстерки, и потому, что автор рассказа не резник Абрум, а Михаил Михайлович, сын Михаила Матвеевича и Гликерии Максимовны.

Я много пережил в Киеве, но дело не в этом. Говорят, что можно родиться в случайном месте — на узловой станции или в далекой стране, куда судьба на месяц или на год закинула родителей. Что же, в таком случае узловая станция перестает быть одним из кружков на карте, далекая страна становится близкой.

Киев, Киев, родина моя...

Всякий раз, когда я попадаю в Киев, я обязательно подымаюсь один по какой-нибудь крутой улице; мальчишкой быстро взбегал, а постарел — и задыхаюсь; подымаюсь, и кажется мне, что только с Липок или с Печерска я могу взглянуть на годы, на десятилетия, на прожитый век.

Все это, если угодно, присказка. Я прожил в Киеве с осени 1918 года по ноябрь 1919-го — один год. Менялись правительства, порядки, флаги, даже вывески. Город был полем гражданской войны: громили, убивали, расстреливали. Вот об этой недоброй сказке мне предстоит рассказать. Если я начал с лирического отступления, то потому, что почти все пословицы лгут (точнее, излагают истины наоборот), в том числе и классические пословицы классических римлян, которые говорили: «Ubi bene, ibi patria» — где хорошо, там и родина. На самом деле родина и там, где бывает очень плохо...

10

В Париже мы в тоске повторяли: «Немцы в Нуайоне». И вот я увидел немцев на Крещатике. Навстречу мне шел высокий офицер с вильгельмовскими усами. Возле Думы стояли немецкие часовые в высоких сапогах, они выстукивали чечетку деревянными подошвами. На одной из станций по пути в Киев я заметил в ресторане чистую половину с надписью: «Только для господ немецких офицеров».

Газеты заверяли, что правит Украиной гетман Скоропадский. Фамилия его звучала плохо — правительства тогда слишком часто падали. Я его никогда не видел, может быть, внешность у него была подходящая. Когда петлю-

ровцы подошли к городу, гетман уехал в Германию; однако возле дома, где он жил, по-прежнему стояли молоденькие добровольцы, уверенные в том, что защищают главу государства. Киевляне, смеясь, говорили, что гетман поторопился. Что же, он не торопился умереть. Он прожил в эмиграции почти тридцать лет, восхищался Гитлером и увидел вторично разгром Германии. Один немец мне рассказал, что Скоропадского до самой смерти величали «господином гетманом»; наверно, с годами он привык к этой кличке, но в 1918 году он играл плохо, как дебютант. Ему полагалось защищать независимость Украины, но, будучи офицером царской армии, он явно предпочитал петербургских гвардейцев киевским гайдамакам. Гетманом его сделали немцы — естественно, что он им объяснялся в любви, но во Франции союзники начали большое контрнаступление, и Скоропадский послал своего человека в Одессу, где сидел представитель союзников, французский консул мосье Энно.

На толкучке демобилизованные в ободранных шинелях продавали хрустальные люстры и винтовки. На толкучке пели:

Украина моя хлебородная,
Немцу хлеб отдала,
А сама голодная.

Немцы не могли пожаловаться на отсутствие аппетита; ели они повсюду — в ресторанах, в кафе, на рынках; ели венские шницели и жирные пончики, шашлыки и сметану.

Немцы были веселы и довольны жизнью; в киевских паштетных было куда уютнее, чем на Шмен-де-Дам или у Вердена. Они казались фигурами с одного из тех памятников, которые в Германии ставились в честь военных побед. Они верили, что подчинят себе мир. (Двадцать два года спустя я увидел сыновей тех немцев, что некогда прогуливались по Крещатику, они шли по парижским бульварам; дети походили на отцов: много ели и свято верили в свое превосходство.)

Киев напоминал обшарпанный курорт, переполненный до отказа. Киевляне терялись среди беженцев с севера. Крещатик был первым этапом русской эмиграции — до одесской набережной, до турецких островов, до берлинских пансионов и парижских мансард. Сколько будущих шоферов такси в Париже прогуливалось тогда по Крещатику! Были здесь и сиятельные петербургские сановники, и пронырливые журналисты, и актрисы кафешантанов, и

владельцы доходных домов, и заурядные обыватели — северный ветер гнал их, как листья осенью.

Каждый день открывались новые рестораны, паштетные, шашлычные; северяне после жизни «в сушь и впроголодь» тучнели на глазах. Открывались также казино с азартными играми, театры миниатюр, кабаре. В маленьком театре, известном петербуржцам, актеры подпрыгивали, пели куплеты, написанные Агнивцевым:

И было всех правительств десять,
Но не успели нас повесить...

Пооткрывалось множество комиссионных магазинов; это было внове и удивляло; продавали меха, нательные кресты, иконы с ризами, столовое серебро, серьги, шотландские пледы, кружева — словом все, что удалось вывезти из Москвы и Петрограда. Деньги ходили разные — царские, керенки, украинки; никто не знал, какие из них хуже. Возле Думы спекулянты предлагали желающим германские марки, австрийские кроны, фунты, доллары. Когда приходили известия о неудачах немцев во Франции, марки падали, а фунты подымались. Особенно привлекательными казались покупателям доллары; причем спекулянты, то ли чтобы проявить некоторую фантазию, то ли чтобы побольше заработать, делили доллары на различные категории, дороже всех расценивались те, что «с быками».

Офицеры тоже делились на категории: были сторонники Деникина, красновцы, кубанцы и даже представители «астраханского войска». Все они, кажется, входили в «особый русский корпус», но между собой ссорились. Все, однако, ругали большевиков, самостийников и евреев. На Крещатике я впервые услышал боевой клич: «Бей жидов, спасай Россию!» Евреев они убили немало, но своей, старой России этим не спасли.

Поползли слухи: союзники разбили немцев; в Германии неспокойно: во главе нового правительства стоит какой-то немецкий Керенский, его зовут «Макс Баденский». Белые офицеры не знали — радоваться им или огорчаться; с одной стороны, они клялись в верности союзникам и клеймили Брестский мир, с другой — хорошо понимали, что если немцы уйдут, то город захватят, как они говорили, «бандиты», то есть петлюровцы.

Немцы упаковывали чемоданы деловито, не торопясь. Кайзер из Берлина уехал в Голландию. Военные действия на Западе кончились. Газеты сообщили, что в Киеве образовался немецкий «Совет солдатских депутатов». Не знаю,

чем он занимался. Что касается немецких офицеров и солдат, то они старались вывезти на родину побольше трофеев: сало, масло, сахар.

Эсеры и кадеты, заседавшие в городской думе, хотели было объявить, что берут в свои руки власть как демократические избранники населения; но из Одессы приехал эмиссар от мосье Энно и объявил, что союзники приказывают «демократическим силам Киева» поддерживать гетмана Скоропадского.

Петр Пильский, который в дореволюционные годы был известен тем, что высмеивал поэтов-символистов, издавал в Киеве юмористический журнал «Чертова перечница». Посмеяться было над чем: гетман, поставленный немцами, спешно разучивал «Марсельезу»; мосье Энно говорил, что он за гетмана, и предлагал Директории снабдить ее оружием; правительство новой Германской республики называло себя социалистическим и договаривалось с французскими генералами о военном походе на Советскую Россию. Об этом в «Чертовой перечнице» не было ни слова: перец молол не черт, а петербургский литератор, который знал, что вскоре ему придется просить визу — французскую или немецкую.

Поезда в Одессу штурмовали: все говорили, что там высадятся войска союзников; высадятся они слишком поздно, чтобы оградить Киев от петлюровцев или от большевиков, а вот Одесса — это рай, крепость, спокойная жизнь. Скептики добавляли, что если даже из Марселя не приедут французские «пуалю», то беженцы смогут из Одессы уехать в Марсель: море есть море.

Я говорил, что никогда не рождается столько басен, как в начале войны. Гражданская война длилась долго, но противники Советской власти то и дело менялись, и все они фантазировали, как это делают люди в самом начале войны. Различные «осведомленные» беженцы клялись, что у союзников имеются ультрафиолетовые лучи, которыми они могут в течение нескольких часов уничтожить и «красных» и «самостийников».

Шли разговоры о «бандах». Повстанческих отрядов было много; внешне они походили друг на друга, но среди повстанцев были люди, думавшие по-разному: одни верили в Директорию, другие считали, что нужно покончить с буржуями, а пока что раздевали крестьян; были и любители пограбить, непокаявшиеся Опанасы, которые набили себе руку на еврейских погромах. Не помню, когда на сцену появился тот или иной «батько» — в 1918 году или

в 1919-м, но за год я наслушался историй о Струке, Тютюннике, Ангеле, Зеленом, Заболотном и, разумеется, о самом знаменитом из всех — Махно.

Войска Директории подошли к городу. Напоследок белые офицеры опорожнили винные погреба, пили, пели, ругались, плакали и расстреливали «подозрительных».

Когда солдаты занимают город, настроение у них хорошее; когда им приходится оставлять город, они полны злобы, лучше им не попадаться на глаза. В тот год мне приходилось очень часто слышать три определения: «в штаб Духонина», «эксцессы» и «хлопнуть дверью».

Петлюровцы шли по Крещатику веселые, никого не трогали. Московские дамы, не успевшие выбраться в Одессу, восхищались: «Какие они милые!» Белых офицеров собрали и заперли в Педагогическом музее (очевидно, дело было в размерах помещения, а не в педагогике). Помню, как все перепугались: вдруг раздался грохот, во многих домах повылетали стекла. Обыватели поспешно стали набирать воду в ванны — может, не будет воды — и жечь петлюровские газеты. Оказалось, что кто-то бросил бомбу в Педагогический музей.

Названия газет изменились. Вывесили желто-голубые флаги. На ассигнациях был трезубец. Приказали переделать вывески магазинов, и повсюду можно было увидеть лесенки, на них стояли маляры с кистями — вместо «и» ставили «і».

На двух домах в Липках появились гербы — английский и французский. Газеты сообщали, что мосье Энно обещал защитить независимость Украины и от «красных» и от «белых».

Иногда мне казалось, что я смотрю фильм и не понимаю, кто за кем гонится; кадры мелькали так быстро, что нельзя было не только задуматься, но рассмотреть. Петлюровцы вели переговоры с большевиками и с деникинцами, с немцами и с мосье Энно. В Киев войска Директории вошли в декабре и пробыли недолго — шесть недель.

Никто не знал, кто кого завтра будет арестовывать, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать, какие деньги брать и какие постараться всучить простофиле. Жизнь, однако, продолжалась. У меня долго не было комнаты, и я спал на диване в квартире моего двоюродного брата, профессора-венеролога А. Г. Лурье. Порой утром на улицах стреляли, а в приемной уже сидели мрачные пациенты; они неизменно отворачивались друг от друга, некоторые пытались закрыть лицо газетой. Названия газет менялись,

и писали там совсем другое, чем вчера, но это не смущало пациентов.

Был дом на Липках, где обычно допрашивали арестованных; уходя, жгли бумаги, выбивали стекла. Приходили новые власти, стекла вставляли, привозили кипы бумаги и начинали допрашивать арестованных.

Я упомянул о «Литературно-артистическом клубе»; помещался он на Николаевской и назывался весьма неблагозвучно «Клак» («Киевский литературно-артистический клуб»). В месяцы Советской власти его переименовали в «Хлам» — не из презрения к искусству, а потому, что все и всё переименовывали; «Хлам» означал: «Художники, литераторы, актеры, музыканты». Я туда частенько приходил. После очередного переворота некоторые завсегдатаи исчезали: уходили с армией или, как говорил философический швейцар, их «хватали за шиворот». Оставшиеся пели или слушали пение, читали стихи, ели биточки.

Когда в феврале пришли с левого берега красноармейцы, почти все им обрадовались. Помню одного из посетителей «клуба», лысого московского адвоката; возбужденный, он кричал: «Я против их идей, но все-таки у них есть идеи, а мы здесь жили черт знает как!..»

Были, разумеется, непримиримые; они считали, что через месяц Городской сад снова станет Купеческим и начнет выходить в свет дорогой им «Киевлянин». Ведь мосье Энно обещал, что союзники высадятся в Одессе, в Севастополе, в Новороссийске и первым делом освободят от большевиков «мать городов русских»...

С кем только не договаривался общительный мосье Энно! Вокруг Киева рыскали «курени смерти» и отряды различных атаманов. Горели дома; летел пух из перин. Каждый день рассказывали о новом погроме, об изнасилованных девочках, о стариках с распоротыми животами. Союзники заседали в Париже; вдохновленные романтикой Венеции дожей, они организовали «совет десяти»; этот «совет» договаривался с Деникиным. Мосье Энно обещал винтовки батьке Зеленому. Люди умирали от голода, от шальной пули, от погромов, от тифозных вшей.

При петлюровцах кто-то принес в «Клак» французскую газету «Матэн». Я узнал, что в Париже появилась новая мода — мужчины носят пиджаки, чрезвычайно узкие в талии, победители кайзера напоминают элегантных дам. Вслед за модами была напечатана статья, объяснявшая, что союзники в России защищают свободу, гражданские права и высокие человеческие ценности.

Я говорил, что Скоропадский дожил на немецких хлебах до глубокой старости. Петлюру застрелил в Париже часовых дел мастер Шварцбард. Не знаю, что стало с мосье Энно, он был маленьким человеком, историки им не занимаются. Но часто, откладывая газету с сообщениями о событиях — в Гватемале или в Конго, в Иране или в Ираке, — я вспоминаю 1919 год, истерзанный Киев и тень таинственного мосье Энно.

11

Красноармейцы пришли в феврале 1919 года, а в августе город заняли белые. Шесть месяцев были яркими, шумными. Для Киева это была пора надежд, порывов, крайностей, смятения, пора весенних гроз.

Начну с себя. Я уже говорил, что стал тогда советским служащим. В Париже я был гидом, потом на товарной станции разгружал вагоны, писал очерки, которые печатала «Биржевка». Все это, включая газетную работу, не требовало большой квалификации. Но дальнейшая страница моей трудовой книжки воистину загадочна; я был назначен заведующим «секцией эстетического воспитания мофективных детей» при киевском собесе. Читатель улыбнется, улыбаюсь и я. Никогда до того времени я не знал, что такое «мофективные дети». Читатель тоже, наверно, не знает. В первые годы революции были в ходу таинственные термины. «Мофективный» — означало морально дефективный; под это понятие подходили и несовершеннолетние преступники, и дети трудновоспитуемые. (Когда это мне объяснила сухопарая фребеличка, я понял, что в детстве я был наимофективнейшим.) Почему мне поручили эстетическое воспитание детей, да еще свихнувшихся? Не знаю. К педагогике я никакого отношения не имел, а когда в Париже моя дочка начинала капризничать, знал только один способ ее утихомирить, отнюдь не педагогический: покупал за два су изумрудный или пунцовый леденец.

Впрочем, в те времена многие занимались не своим делом. М. С. Шагинян, читавшая лекции по эстетике, начала обучать граждан овцеводству и ткацкому делу, а И. Л. Сельвинский, закончив юридический факультет и курсы марксизма-ленинизма для профессоров, превратился в инструктора по сбору пушнины.

В «мофективной секции» два или три месяца проработал юноша, случайно не обнаруженный угрозыском: он торговал долларами, аспирином и сахаром. Кроме того, он

писал неграмотные стихи (он говорил: «Извиняюсь, но жутко эротические»). Многие черты героя романа «Рвач», написанного мною в 1924 году, взяты из биографии этого моего сослуживца. В педагогике он разбирался еще меньше меня, но был самоуверен, развязен, вмешивался в разговоры педагогов или врачей. Помню одно заседание; говорили о влиянии на нервную систему ребенка белков, жиров, углеводов. Молодой автор «жутко эротических» стихов вдруг прервал седого профессора и заявил: «Эти штучки вы бросьте! Я сам вырос нервный. Уж если разбирать по косточкам, то и жиры полезны, а главное, белки...»

Я предупреждал педагогов и психиатров, что я круглый невежда, но они отвечали, что я хорошо работаю. Создалась репутация: Эренбург — специалист по эстетическому воспитанию детей; и осенью 1920 года, когда я вернулся в Москву, В. Э. Мейерхольд предложил мне руководить детскими театрами Республики.

Мы долго разрабатывали проект «опытно-показательной колонии», где малолетних правонарушителей можно будет воспитывать в духе «творческого труда» и «всестороннего развития». То была эпоха проектов. Кажется, во всех учреждениях Киева седоволосые чудаки и молодые энтузиасты разрабатывали проекты райской жизни на земле. Мы обсуждали, как действуют на чрезмерно нервных детей чересчур яркие краски, влияет ли на коллективное сознание многоголосая декламация и что может дать ритмическая гимнастика в борьбе с детской проституцией.

Несоответствие между нашими дискуссиями и действительностью было вопиющим. Я занялся обследованием исправительных заведений, приютов, ночлежек, где ютились беспризорные. Мне пришлось составлять доклады, речь шла уже не о ритмической гимнастике, а о хлебе и ситце. Мальчишки убегали к различным «батькам», девочки зазывали военнопленных, возвращавшихся из Германии.

В секции работал молодой художник Паня Пастухов, человек крайне застенчивый. Однажды я его направил в приют для девочек-беженок, организованный в 1915 году. Пастухов пришел потрясенный. Оказывается, девочки успели вырасти и, при смене различных правительств брошенные на произвол судьбы, стали добывать себе хлеб; у некоторых уже были грудные дети. Когда Пастухов начал говорить о том, что ученье — свет, одна из девиц игриво ему сказала: «Мужчина, лучше угостите папиросой...»

Помещалось наше учреждение в особняке на Липках. Помню в большом зале ампирный секретер с наляпанным

при описи большим ярлыком. Как-то на секретере я обнаружил грудного младенца — его подкинули ночью. В соседнем особняке помещалась губчека; туда то и дело подъезжали машины. В саду быстро все зазеленело; я слушал споры о методе Далькроза и глядел в окно: цвела акация.

В те времена люди работали зачастую в нескольких учреждениях. Помимо «мофективной секции», я делал много другого, например заседал в «секции прикладного искусства». Время, казалось, было для искусства неблагоприятным — то и дело на улицах постреливали; мосье Энно не терял времени, и Киев был окружен всевозможными бандами; «стратеги» спорили, кто раньше ворвется в город — петлюровцы или деникинцы. Но «секция прикладного искусства» сделала многое. Говорю не о себе, я и в этом деле был если не профаном, то дилетантом, а в секции работали хорошие специалисты, киевские художники — В. Меллер, Прибыльская, Маргарита Генке, Спасская. Мы устраивали выставки народного искусства, мастерские вышивок и керамики. Я познакомился с талантливой крестьянкой Ганной Собачка; у нее было удивительное чувство цвета. На Крещатике появились огромные декоративные панно с украинским орнаментом.

Я увидел глиняных зверей, вылепленных Гончаром. Иван Тарасович был одним из последних художников, представлявших традиционное народное творчество. В те годы его звери не были ни баранами, ни собаками, ни львами — они принадлежали к неизвестной зоологам породе, каждый был неповторим. (Народное творчество вдохновляется природой, но никогда ее не копирует; и если вологодские кружевницы изучали заиндевевшее окно, то именно потому, что узоры инея похожи на джунгли, на звездное небо, на буквы несуществующего алфавита.)

В Киеве я познакомился с писательницей С. З. Федорченко, автором интересной книги «Народ на войне»; в годы войны она работала сестрой милосердия в военном лазарете и записывала разговоры солдат между собой. Я переписал тогда размышления одного солдата об искусстве: «Вот у нас один вольноопределяющийся рисует, так так похоже все, будто на самом деле, даже скучно глядеть...» Устарели различные литературные манифесты, всяческие художественные «измы», а слова солдата, оброненные в 1915 году, мне кажутся теперь не только живыми, но и злободневными.

Работал я также в «литературной студии»: учил начинающих стихосложению. (Хотя в то время писал расхлябан-

ным «свободным стихом», ямб от хорея отличить я все же мог.) Брюсов мне долго доказывал, что можно научить мало-мальски способного человека писать хорошие стихи; Гумилев, разделяя это мнение, говорил, что он даже из Оцупа сделал поэта. А я в обучение поэзии не верил и не верю: в школе, как бы она ни называлась — студией, курсами, институтом или академией, — можно только научить читать стихи, то есть поднять эстетическую культуру учащихся.

Среди учеников студии был вежливый, застенчивый юноша Н. Н. Ушаков. Я рад, что недолгая эпопея моего учительства в киевской студии не помешала ему стать хорошим поэтом. Я с ним потом встречался и убедился, что он на меня не в обиде.

В доме на Николаевской помещались и Союз писателей, и рабис, и литературная студия, и многое другое; там спорили о футуризме, распределяли художников для украшения улиц, читали лекции о марксизме, выдавали охранные грамоты и всевозможные удостоверения.

Внизу, в подвале, помещался «Хлам», он же бывший «Клак». Там я встречал киевского поэта Владимира Маккавейского. Незадолго перед этим он издал сборник сонетов «Стилос Александрии». Он великолепно знал греческую мифологию, цитировал Лукиана и Асклепиада, Малларме и Рильке, словом, был местным Вячеславом Ивановым. Заглянув теперь в его книгу, я нашел всего две понятные строки — о том,

Что мумией легла Эллада
В александрийский саркофаг.

Маккавейскому очень хотелось быть александрийцем, но время для этого было неподходящее.

Другим киевским поэтом — правда, не домоседом — был Бенедикт Лившиц. Я помнил его неистовые выступления в сборниках первых футуристов. К моему удивлению, я увидал весьма культурного, спокойного человека; никого он не ругал, видимо, успел остыть к увлечениям ранней молодости. Он любил живопись, понимал ее, и мы с ним беседовали предпочтительно о художниках. Он мало писал, много думал: вероятно, как я, как многие другие, хотел понять значение происходящего. (Он погиб в лагере в 1938 году.)

Среди «северян» в «Хламе» выделялся О. Э. Мандельштам — он уже был известен по книге «Камень». Помню, как Осип Эмильевич прочитал чудесные стихи «Я изучил науку расставанья...».

Метеором промелькнул В. Б. Шкловский; прочитал доклад в студии Экстер, блистательный и путаный, лукаво улыбался и ласково ругал решительно всех.

В «Хламе» я познакомился с мечтательным, кудреватым Л. В. Никулиным; он как-то прочитал нам стихи, очень меланхоличные, — про гроб.

Натан Венгров писал стихи для детей. Он устроил «день детской книги» — на Крещатике поставили огромные панно, и улицу заполнили медвежата, слоны, крокодилы. Венгров мне доказывал, что я — детский поэт и случайно занимаюсь не своим делом. (Я в жизни многое перепробовал, но для детей никогда не писал.)

Приходила в «Хлам» известная актриса Вера Юренева; часто ее сопровождал юноша, почти подросток, с неизменно насмешливым выражением лица; когда нас познакомили, он буркнул: «Миша Кольцов».

Среди украинских поэтов самым шумным был футурист Семенко; он был невысокого роста, но голос у него был сильный, он отвергал все авторитеты и уважал только Маяковского. Встречал я П. Г. Тычину, молчаливого, мечтательного; казалось, что он все время к чему-то прислушивается; была в нем мягкость, доходящая до смущения. Поглядев на него, я как-то сразу поверил, что он настоящий поэт.

В секции еврейских писателей шла лихорадочная работа: нужно было в короткий период между петлюровцами и деникинцами успеть подумать, написать, напечатать. В Киеве тогда находились Бергельсон, Маркиш, Квитко, Добрушин. Перец Маркиш выглядел красивым юношей, с копной волос, неизменно вздыбленных, с насмешливыми и печальными глазами. Все его называли «бунтарем», говорили, что он покушается на классиков, низвергает кумиры, а мне он при первом знакомстве напомнил бродячего еврейского скрипача, который на чужих свадьбах играет печальные песни.

В Киеве я познакомился со многими художниками. Александра Александровна Экстер немало времени провела в Париже, дружила с Леже, числилась кубисткой. Однако ее работы были бесконечно далеки от урбанистических видений Леже; больше всего увлекал Экстер театр (она работала в киевских театрах). Не знаю, почему так получилось, но и среди учеников Александры Александровны, и среди молодых художников, с нею встречавшихся, можно было тоже обнаружить страсть к театру, к зрелищу. Почти все художники, которых я тогда встречал в

Киеве, стали художниками театра: Тышлер, Рабинович, Шифрин, Меллер, Петрицкий.

«Страсть к театру»... Я написал эти слова и невольно подумал об одном из учеников Экстер — о двадцатилетнем Саше Тышлере. Его дальнейшая судьба лучше всего подтверждает ту страсть к театру, которая характеризует художников Киева. Дело, конечно, не в том, работал ли Икс или Игрек для театра: этим занимались почти все советские художники хотя бы потому, что были периоды, когда красочность, фантазия, мастерство допускались скорее на сцене, нежели в выставочном зале. А. Г. Тышлера москвичи знают именно по театральным постановкам. Его декорации к «Королю Лиру» условны и реальны, как стих Шекспира. Но поразительно другое: Тышлер и в станковой живописи сохраняет театральное восприятие мира. Помню его картину, изображавшую расстрел солдатами почтового голубя; он написал ее лет за двадцать до пикассовской голубки. Только художник, способный воспринять пир небожителей, о котором писал Тютчев, как феерическую трагедию, мог в тридцатые годы двадцатого века взяться за подобную тему.

Первые года революции были годами не только взлета сценического искусства, но и повального увлечения театром. В маленьких городах Украины бродячие актеры, мечтавшие наконец-то поесть досыта, потрясали зал, заставляя зрителей забыть о недоданных пайках, о нетопленых квартирах, о ночных перестрелках. А Киеву повезло: он получил Константина Александровича Марджанова. Это был человек взволнованный, полный смелых замыслов, мягкий и, однако, непримиримый. Помню, как он горячился (мы сидели в буфете, пили поганый чай, и я ему рассказывал об Испании — он готовил пьесу Лопе де Вега): «Театр — это театр! Я сказал в горисполкоме, что горисполком — это горисполком. Им хочется, чтобы актеры на сцене пили чай взаправду. А что они скажут, если люди, которые пьют чай в буфете горисполкома, начнут произносить монологи, заламывать руки и говорить о восстановлении городского хозяйства гекзаметром?..» Киев увидел «Фуэнте овехуна», и в зал старого соловцовского театра ворвался ветер. Мы долго не расходились, стояли и аплодировали.

Марджанову понравилась пьеса «Рубашка Бланш», которую я написал с А. Н. Толстым, и он решил ее поставить. Декорации писал Н. А. Шифрин. Кажется, после второй или третьей репетиции в город ворвались деникинцы.

Я часто встречал двух поклонников Марджанова, неразлучных приятелей, малолетних (но не «мофективных») — брата Любы Гришу Козинцева и Сережу Юткевича. Они пригласили меня в помещение, где прежде был «Кривой Джимми»: устроили «народный балаган», то есть один из тех эксцентричных спектаклей, которые в голодные и холодные годы тешили зрителей.

На Софийской улице, возле Думской площади, было маленькое грязное кафе; держал его худущий грек с длинным и страстным лицом моделей Эль Греко. В окне была вывеска: «Настоящий свежий простокваш». Грек готовил душистый турецкий кофе, и мы к нему часто ходили — поэты, художники, актеры. Для меня это кафе связано с моей дальнейшей судьбой. Там я иногда рассказывал Любе, моloденькой студентке Педагогического института Ядвиге, Наде Хазиной, которая потом стала женой О. Э. Мандельштама, о моих заграничных похождениях. Я фантазировал: что делал бы добрый французский буржуа или римский лаццарони, оказавшись в революционной России? Так рождались персонажи романа «Хулио Хуренито», который я написал два года спустя.

Я продолжал писать стихи; лучшими они не становились, но тон изменился. Я еще не понимал всего значения событий, но, несмотря на различные беды того времени, мне было весело.

Наши внуки будут удивляться,
Перелистывая страницы учебника:
«Четырнадцатый... семнадцатый, девятнадцатый...
Как они жили?.. бедные!.. бедные!..»
Дети нового века прочтут про битвы,
Заучат имена вождей и ораторов,
Цифры убитых
И даты.
Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы,
Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи,
Как была прекрасна в те годы
Жизнь.

Если задуматься над далеким прошлым, многое открывается. Внешне все выглядело странно. Вокруг города рыскали банды; каждый день рассказывали о погромах, убийствах. Тревожно вскрикивали машины. Деникинцы и петлюровцы состязались, кто скорее дойдет до Киева. Не раз я слышал злой шепот: «Недолго им царствовать...» А мы сидели над проектами, обсуждали, когда сдадут в печать третий том сочинений Чехова или Коцюбинского, где лучше поставить памятник Революции... Мы читали

стихи, смотрели картины, и то внутреннее веселье, о котором я говорил, светилось в глазах не только четырнадцатилетнего Гриши Козинцева, но и Константина Александровича Марджанова, а ему тогда было под пятьдесят. Дело не в возрасте — или, если угодно, в возрасте революции: ей было по московскому исчислению два года, а по местному — несколько месяцев...

12

Есть воспоминания, которые радуют, приподымают, видишь порывы, доброту, доблесть. Есть и другие... Напрасно говорят, что время все исцеляет; конечно, раны зарубцовываются, но вдруг эти старые раны начинают ныть, и умирают они только с человеком.

Мне предстоит рассказать о нехорошем. За два века до нашей эры Плавт веселил римлян своими комедиями; от них в памяти остались четыре слова: «Homo homini lupus est». И мы часто говорим о морали того общества, которое построено на корысти, на борьбе за кусок пирога: «Человек человеку — волк». Плавт напрасно приплел к делу волков. П. А. Мантейфель, изучавший жизнь этих животных, мне говорил, что волки редко дерутся друг с другом, да и на людей нападают только доведенные голодом до безумия. А я в моей жизни не раз видел, как человек травил, мучил, убивал других безо всякой к тому нужды. Если бы звери могли размышлять и сочинять афоризмы, то, наверно, какой-нибудь седой волк, у которого его сосед вырвал клок шерсти, пролаял бы: «Волк волку — человек».

Что мне сказать о киевском погроме? Теперь никого ничем не удивишь. В черных домах всю ночь напролет кричали женщины, старики, дети; казалось, это кричат дома, улицы, город.

Перец Маркиш написал в те годы поэму о погроме в Городище; там убили пятьсот человек. В Бабьем Яру убили свыше семидесяти тысяч евреев, в Европе — шесть миллионов... Я себя ловлю на этом сопоставлении. Недавно я слышал машину, которая сама сочиняет музыку. Так вот мне кажется, что вместо сердца отстукивает цифры мыслящая машина. Да, в 1919 году палачи еще не додумались до газовых камер; зверства были кустарными: вырезать на лбу пятиконечную звезду, изнасиловать девочку, выбросить в окно грудного младенца.

Во дворе лежал навзничь старик и пустыми глазами глядел на пустое осеннее небо. Может быть, это был мо-

лочник Тевье или его зять, старожил обреченного Егупца? Рядом была лужица: не молока — крови. А ветер беспокойно теребил бороду старика.

Как во всякой трагедии, были и фарсовые сцены. В квартиру моего тестя, доктора М. И. Козинцева, вбежал рослый парень в офицерской форме и крикнул: «Христа распяли, Россию продали!..» Потом он увидел на столе портсигар и спокойно, деловито спросил: «Серебряный?..»

Я решил пробраться в Коктебель, к Волошину; его дом казался мне убежищем. Мы ехали неделю до Харькова. На станциях в вагоны врывались офицеры или казаки: «Жиды, коммунисты, комиссары, выходи!..» На одной станции из нашей теплушки выбросили художника И. Рабиновича.

Харьков, потом Ростов, потом Мариуполь, Керчь, Феодосия... Мы ехали добрый (нет, недобрый) месяц, зарывались в темные углы теплушек, валялись в трюме пароходов, среди больных сыпняком, которые бредили и умирали, лежали, густо обсыпанные вшами. Снова и снова раздавался монотонный крик: «А кто здесь пархатый?..» Вши и кровь, кровь и вши...

На замызганных заборах красовались портреты Деникина, Колчака, Кутепова, Май-Маевского, Шкуро. На улицах подвыпившие кубанцы проверяли документы. Кто-то вопил: «Держи комиссара!..» В харьковской гостинице «Палас» помещалась контрразведка; прохожие обходили этот дом. В кафе за одним столиком сидели французские офицеры, за другим — спекулянты; они пили кофе по-варшавски. Повсюду пестрели плакаты «освага»: «Вперед, на Москву!» — конь Георгия Победоносца попирал копытами носатого еврея.

Метались из города в город московские адвокаты, питерские литераторы, аристократки, повязанные пятью платками, с шляпными коробками, куда они клали еду, актеры, гувернантки, беспризорные. Какой-то шутник декламировал в разбитой, загаженной гостинице:

Бежать? Но куда же? На время — не стоит труда,
А вечно бежать невозможно...

Сумасшедшая старуха в солдатской шинели, в шляпе с фиолетовыми перьями шептала: «Нет, Клемансо нас не оставит на произвол судьбы...» Из ночного кабака гурьбой выходили пьяные офицеры, они пели:

Генерал у нас Шкуро,
Чхать нам на Европу,
Мы поставим ей перо...

Дальше шло непечатное.

(В 1925 году я увидел на парижских стенах афишу: цирк «Буффало» показывает публике новый аттракцион — джигитовку казаков под руководством «знаменитого генерала Шкуро». Бывший погромщик продолжил свою карьеру на цирковой арене.)

Обыватели, выходя утром на базар, прислушивались, не стреляют ли. Все были стреляными, и никто ничему не верил. В людях смелых, понимавших, за что они борются, гражданская война рождала ненависть, стойкость, доблесть. А в надышанных, насиженных домишках копошились перепуганные людишки; эти не хотели спасать ни революцию, ни старую Россию, они хотели спасти себя. Из страха они доносили то чекистам, то контрразведчикам, что у соседки племянник в продотряде или что сосед выдал свою дочку за белого офицера. Они боялись шагов на лестнице, скрипа дверей, шепота в подворотне. Самые хитроумные прятали под половицей «пятаковки» и портреты Маркса, готовясь через неделю или через месяц положить под ту же половицу портрет Май-Маевского, царские деньги, даже Николу Чудотворца.

На вокзалах приходилось прыгать через тела: лежали тифозные, беженцы, мешочники.

Вот этот кудрявый паренек еще вчера пел:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов...

Теперь он горланит:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую
И всех жидов побьем
Напропалую.

Ни в какой бой он не собирался и не собирается; он торгует валенками, украденными на складе.

Казаки были лютыми; здесь сказались и традиции, и злоба за развороченную, разрубленную жизнь, и смятение.

В белой армии были черносотенцы, бывшие охранники, жандармы, вешатели. Они занимали крупные посты в администрации, в контрразведке, в «осваге». Они уверяли (а может быть, сами верили), что русский народ обманут коммунистами, евреями, латышами; его следует хорошенько выпороть, а потом посадить на цепь.

Много лет спустя я купил в Париже сборник стихов некоего Посажного, который называл себя «черным гуса-

ром». Он работал на заводе Рено, проклинал «лягушатников-французов» и сокрушался о прошлом великолепии, вспоминая своего боевого коня:

Пегас в столовую вступил
И кахетинского попил,
Букет покушал белых роз,
Покакал чинно на поднос.
Была не хамская пора,
Кричала публика «ура»,
Играли громко зурначи.
Воспоминанье, замолчи!

Свои идеалы он выразил так:

Погибнут те, что нынче алы.
Давно им к дьяволу пора!
И вновь запенятся бокалы
У тех, кто были юнкера.

Читая эти заклинания в 1929 году, я смеялся, а в 1919 году этакий Посажной врывался в теплушки, бил наотмашь по лицу, расстреливал.

Но больше всего среди белых было людей, потерявших голову, с телом, расчесанным от вшей, с сердцем, расчесанным от настоящих и предполагаемых обид, от резни, арестов, расстрелов, от плача городов, переходивших из рук в руки, от сознания, что завтра их приставят к той же грязной стенке, к которой сейчас они тащат очередную партию «подозрительных».

Леонгард Франк назвал одну из своих книг «Человек добр». А человек не добр и не зол: он может быть добрым, может быть и очень злым. Конечно, среди белых были не только садисты, было много обыкновенных людей, по природе добродушных и прежде никого не обижавших; но доброту им пришлось оставить дома вместе с уютом и семейными безделками. Злоба диктовалась отчаянием. Даже осенью 1919 года, когда белые захватили Орел, они не чувствовали себя победителями. Они неслись вперед, как по чужой стране, повсюду видели врагов. В кабачках белые офицеры требовали, чтобы дежурный певец спел им модный романс:

Ты будешь первый.
Не сядь на мель!
Чем крепче нервы,
Тем ближе цель.

Попойки часто кончались стрельбой то в посетителей, то в зеркала, то в воздух — офицерам мерещились партиза-

ны, подпольщики, большевики. Чем больше они кричали о своих крепких нервах, тем вернее эти нервы сдавали; цель расплывалась в тумане спирта, ненависти, страха, крови.

Попадались среди «добровольцев» люди случайные, наивные романтики или слабовольные, поддавшиеся уговорам товарищей, загипнотизированные разговорами о «верности», о «чести», о «присяге».

Встретил и я одного из растерявшихся; это был прапорщик, который любил стихи Блока. Бог знает, какими судьбами он оказался в белой армии. Он спас мне жизнь, и мне горько признаться, что я не запомнил его имени. Было это между Мариуполем и Феодосией. На пароходе мы ехали долго: сначала был пожар; потом суденышко оказалось в Азовском море, скованном льдами. Не было хлеба. Больные сыпняком ползли по льду. В одну из последних ночей огромный детина в папахе вытащил меня на обледеневшую палубу. Все спали. Офицер был куда сильнее меня, но он перепил. Мы боролись. Он тупо повторял: «Сейчас я тебя буду крестить...» Он толкал меня к борту. Помню, я подумал: хорошо, что в воду мы скатимся вместе... Ядвига, которая ехала с нами, услыхав крики, кинулась в кубрик к прапорщику, тому самому, фамилию которого я запамятовал. Он поднялся на палубу: «Стой! Стрелять буду!..» Увидев револьвер, мой «крестный отец» разжал объятия.

В Феодосии висели те же портреты, и генерал Шкуро лихо улыбался. Я увидел чистых, аккуратно выбритых англичан. Возле их походной кухни толпились голодные детишки: белые насильно эвакуировали железнодорожников (не помню, из Орла или Курска). Эвакуированные ютились в жалких хибарках в Карантинной слободке. Англичане глядели уныло на голодных, ободранных людей — они были вне игры; их послали сюда, как могли послать в Найроби или в Карачи; они выполняли приказ. Конечно, они ничего не знали ни о нефтяных акциях, ни о распоротых животах, ни о судьбе детей, которые жадно нюхали воздух — пахло мясом...

Волошин меня ласково встретил; я сбивчиво рассказал о путевых приключениях. Глаза у Макса были, как всегда, приветливые и далекие. Он заговорил о судьбе России, о предсказаниях пророка Иезекииля. Пришла мать Волошина, Пра, и его оборвала: «Макс, хватит! Они голодные, им не до твоих историй...» Она принесла сковородку с картошкой.

13

Моя дочь иногда проводит отпуск в Коктебеле, загорает на пляже, где много красивых камешков, купается, лазит по горам. Когда она мне рассказывает об этом, я вспоминаю далекое прошлое: мне трудно себе представить, что в Коктебеле можно отдыхать. Я там тоже бродил по берегу и собирал не камешки, а куски дерева, выброшенные морем; ими я топил жаровню или, как говорят в Крыму, мангалку. Раз на берегу я нашел дохлую чайку, выпотрошил ее, сварил; она пахла протухшей рыбой, но мы ее съели.

Вскоре после нашего приезда я обменял рваный парижский пиджак на дрова; зима была суровая, все время дул ледяной норд-ост. Я топил печь, и в комнате мы не мерзли. Но никогда, кажется, я не знал такого постоянного, неуемного голода, как в Коктебеле. Часто я варил суп на стручках перца.

Мы прожили там девять месяцев, мне теперь кажется, что это были долгие годы. Сначала было очень холодно, потом очень жарко. Мать Любы надавала ей свои кольца, брошки. Мы их продавали. Потом стало нечего продавать. О литературном заработке было глупо мечтать. Весной я надумал устроить детскую площадку для крестьянских детей; очевидно, киевские фребелички меня убедили в моих педагогических способностях.

В деревне жили болгары, по большей части кулаки. Они не очень-то одобряли белых, которые реквизировали продовольствие, а иногда и без расписки забирали свинью или бочку вина, но больше всего боялись прихода большевиков. Правда, я нашел болгарскую семью, которая помогала подпольщикам и ненавидела белогвардейцев, — это были Стамовы. Они пользовались уважением других крестьян, считались честными, трудолюбивыми, но, когда заходил разговор о политике, их не слушали. Жил еще в деревне портной, русский, он тоже ждал прихода Красной Армии, иронически комментировал военные сводки белых: «возле Умани «заняли более выгодные позиции», это значит — пятки замелькали, не иначе...» Но портной был пришлым и справедливо боялся, как бы на него не донесли.

Крестьяне хотели, чтобы я обучил их детей хорошим городским манерам, а я читал ребятам «Крокодила» Чуковского; дома они повторяли: «И какой-то малыш показал ему шиш»; родителям это не нравилось. Я хотел приобщить детей к искусству, развить в них фантазию, рассказал им про соловья Андерсена; мы решили устроить

спектакль; написанных ролей не было. Мальчик, исполнявший роль соловья, сам должен был придумать, чем он восхищал богдыхана. В конце представления старый богдыхан лежал на смертном ложе, и его окружали воспоминания — хорошие и дурные поступки. Одни ребята повторяли то, что слышали дома: «А ты помнишь, как ты украл у старухи гуся?», или: «А ты помнишь, как ты дал на свадьбу мандарину двадцать рублей золотом?..» Другие дети придумывали более сложные истории; некоторые я записывал; помню девочку, которая сурово спрашивала: «Скажи, богдыхан, ты помнишь, как ты позвал в Китай актрису? Она пела почти как соловей, ты ей дал большую медаль, ты ее кормил золотыми рыбками. А потом она спела одну песенку, и ты рассердился. А почему ты рассердился, богдыхан? Она полюбила чужого солдата. Разве это плохо? У солдата устроили обыск и нашли одну книжку, ты сказал, что книжка нехорошая, и ее заперли в сарае, допрашивали с утра до ночи, ничего не давали есть и били китайскими палками, и она умерла, очень молодая. А теперь ты хочешь, чтобы соловей к тебе вернулся? Нет, богдыхан, он никогда не вернется, потому что у него крылья, ты его не посадишь в сарай, он когда улетит, его не поймать...» Пьесу мы долго репетировали; наконец назначили спектакль, пригласили родителей. После этого по деревне пошли толки, что я «красный». Некоторые крестьяне запретили детям ходить на площадку.

Роковыми, однако, оказались занятия лепкой. Я и в этом не хотел стеснять фантазию детей; они притащили домой загадочных зверей, людей с огромными головами, а один мальчишка вылепил рогатого черта. Вот тогда-то вмешался поп; он обходил дворы, говорил: «Это жид и большевик, он хочет перегнать детей в дьявольскую веру...» Площадку пришлось закрыть; просуществовала она три или четыре месяца. Не знаю, дала ли она что-нибудь детям, но я иногда приносил домой бутылку молока или несколько яиц. Платить полагалось натурой, сколько и как, обусловлено не было. Некоторые родители ничего не давали. Дети приходили на площадку с едой, и мне трудно было смотреть, как они ели, — я боялся выдать голод. Один малыш, уплетая хлеб с салом и ватрушки, сказал мне: «Отец говорил, чтобы тебе ничего не давать...»

Было уже тепло. Я ходил в пижаме, привезенной из Парижа, босиком. Один раз я пошел в деревню — хотел купить молоко или каймак. Зашел во двор кулака. На меня спустили собаку, которая схватила меня за икру. Дело

было не в укусе, но она разорвала штанину в клочья. Пришлось обрезать и другую. Теперь я ходил в коротких штанишках. Может быть, это меня молодило, не знаю (судя по фотографии, вид у меня был страшноватый — я очень отощал). Я прыгал с детишками в костюме, которому мог бы позавидовать любитель античной простоты Раймонд Дункан. А в общем, чего только человеку не приходится делать, особенно в эпохи, которые называют историческими!..

Иногда я убегал на час-другой в горы. Окрестности Коктебеля красивы трудной для человека красотой, они сродни Арагону или Старой Кастилии — то лиловатые, то рыжие склоны гор, ни дома, ни дерева, макет жестокого мира, некогда вдохновлявшего Эль Греко. Впрочем, может быть, таким мне казался Коктебель от всего, что происходило кругом.

Войдя впервые в мастерскую Волошина, я вспомнил Париж: та же царевна Таиах, полки, на них книги, предпочтительно французские. Макс был скорее мрачен, исчезло прежнее легкомыслие; и все же он часто дурачился, мистифицировал; получалось смешно, но я не смеялся. Иногда мы подолгу беседовали — это было как будто продлением разговоров в мастерской Риверы или в «Ротонде»; но говорили мы не потому, что темы, волновавшие нас пять лет назад, казались нам живыми, а потому, что нам хотелось на несколько часов уйти в прошлое.

В доме Волошина жила Майя Кудашева с матерью, француженкой. Отец Майи был русским, и родилась она в России, но картавила, как парижанка, а стихи писала по-французски. Волошин описал ее внешность:

Волною прямых лоснящихся волос
Прикрыт твой лоб.
Над головою сиянье вихрем завилось.
Твой детский взгляд улыбкой сужен,
Недетской грустью сужен рот,
И цепью маленьких жемчужин
Над бровью выступает пот.

В Москве, откуда Майя приехала, она вращалась в литературной среде, знала В. Иванова, Андрея Белого, дружила с Мариной Цветаевой. Ее мать была подавлена событиями, которые никак не вязались ни с ее понятиями о порядочности, ни с пьесами Ростана. А Майя, несмотря на холод, голод и прочие беды, жила своей жизнью... Дальнейшая ее судьба такова: начав переписываться с Роменом Ролланом, она поехала к нему в Швейцарию и стала его

женой. Несколько лет назад мы встретились в Париже. Мария Павловна была занята организацией музея Роллана, просила меня помочь ей русскими экспонатами. О Коктебеле мы не поговорили, хотя было что вспомнить...

В. В. Вересаев так писал про три года, проведенные им в Коктебеле: «За это время Крым несколько раз переходил из рук в руки, пришлось пережить много тяжелого; шесть раз был обворован; больной, с температурой в 40 градусов, полчаса лежал под револьвером пьяного красноармейца, через два дня расстрелянного; арестовывался белыми; болел цингой». В начале 1920 года Викентию Викентьевичу было трудно; несколько поддерживала его врачебная практика. Смеясь, он рассказывал мне, что сначала крестьяне не верили, что он врач, — кто-то рассказал им, что он писатель. В окрестных деревнях свирепствовал сыпняк. Вересаев как-то осмотрел больного и подсчитал, когда должен наступить кризис; в указанный срок температура упала, и крестьяне поверили, что Вересаев действительно доктор. Платили ему яйцами или салом. Был у него велосипед, а вот одежда сносилась. У меня оказался странный предмет — ночная рубашка доктора Козинцева, подаренная мне еще в Киеве. Мы ее поднесли Викентию Викентьевичу, в ней на велосипеде он объезжал больных.

Когда Люба заболела сыпняком, Вересаев к нам часто приходил, и я с ним подолгу беседовал. Прежде я знал некоторые его книги и думал, что он человек рассудочный, прямолинейный; а он обожал искусство, переводил древнегреческих поэтов, страдал от грубости и примитивизма. Конечно, в борьбе против белогвардейцев все его симпатии были на стороне Москвы, но многого он не понимал и не принимал. Потом я прочитал его роман «В тупике», где он рассказывал о жизни русской интеллигенции в первые годы революции. Я нашел мысли Викентия Викентьевича, вложенные в уста то ученого-демократа, то его дочки-большевички. Вересаев был на семь лет моложе Чехова, но, конечно, его следует отнести к тому же поколению; да и по природе он чем-то напоминал Антона Павловича: были в нем снисходительность к чужим слабостям, культ добра и спокойная, постоянная печаль, порождаемая не столько обстоятельствами, сколько глубоким знанием людей. В романе Вересаева Катя с горечью говорит своему отцу, старому русскому интеллигенту: «Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу — ничего, ничего это никому не нужно...» Так рассуждали многие юноши в 1920 году.

В 1960 году их дети и внуки поняли, что им до зарезу нужны честность, благородство, любовь к народу, которые когда-то вдохновляли Антона Павловича и его духовных друзей.

Об Осипе Эмильевиче Мандельштаме я расскажу в следующей главе. С ним приехал его брат Александр Эмильевич, человек добрый, вполне реальный, который не раз помогал и своему брату и нам. Жили в Коктебеле литературовед Д. Д. Благой и его жена — врач. Жена писателя Андрея Соболя, Рахиль Сауловна, тоже была врачом; она нянчила годовалого сына Марка. (В 1949 году поэт Марк Соболь подарил мне мою книжку, на которой стояла надпись Андрея Соболя, и написал стихи, кончавшиеся так: «Сын вписывает через четверть века слова любви под подписью отца».)

Сыпняк вообще скверная болезнь, а в тогдашних условиях выходить больного было трудно. Ухаживать за Любой мне помогала Ядвига; но она сама была хрупкой двадцатилетней девушкой. Болезнь проходила тяжело. Врач хотел впрыснуть камфару, а не было шприца. Александр Эмильевич поехал верхом в Феодосию, с трудом достал шприц, торопился и по дороге его разбил; ему пришлось вторично поехать в город. Потом понадобился спирт. Я обходил дома, где жили родители моих учеников, просил водку; мне отвечали, что белые все выпили. В одном доме справляли свадьбу; увидев на столе большие бутыли, я обрадовался, но хозяева сказали: «Хочешь пить, садись, нальем, а навынос нет...»

Вересаев приказал мне все время проверять, какой пульс у Любы. Ночью пульс исчез. Вересаев, на беду, уехал в другую деревню. Я побежал к Благой и Соболь; они нервничали, говорили, что положение безнадежное, незачем мучить больную; все же я их заставил впрыснуть стрихнин.

После того как температура спала, у Любы оказалось осложнение — она была убеждена, что умерла и мы зачем-то устраиваем ей посмертную жизнь. С великим трудом я доставал для нее продукты, готовил, глотал слюнки, а она говорила: «Зачем мне есть? Я ведь умерла». Легко себе представить, как это на меня действовало, а тут нужно было идти на площадку и прыгать с детишками в хороводе.

Потом мы достали машинку для стрижки овец; ею Вересаев обкорнал Любу. К счастью, в наш флигелек начал заглядывать Волошин, он обожал заумные разговоры. Люба говорила, что она видит все сквозь стены, это Максу нравилось. Осип Эмильевич любил передразнивать

разговоры поэтов-символистов: «Как поживаете, Иван Иванович?» — «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу». Несмотря на трагизм положения, Макс не мог расстаться с любовью ко всему потустороннему. Он искренне увлекался беседами с Любой, а я гадал, что со мной приключится: сойду ли я с ума, заболею тифом или, наперекор всему, выживу? Тоненькая смуглая Ядвига, похожая на героиню итальянских неореалистических фильмов, с утра до ночи стирала белье.

Я говорил, что у меня были собеседники — и Вересаев, и Волошин, и Мандельштам. Но со дня моего приезда в Коктебель меня ждал главный собеседник — тот Сфинкс, что задал мне в Москве загадки и не получил ответа. Зимние ночи были длинными. Люба спала. Под окном шумело рассерженное море. А я сидел и думал. Я начинал понимать многое; это оказалось нелегким — у меня ведь позади были и стихи, и вера, и безверье, мне нужно было связать розовый отсвет Флоренции, неистовые проповеди Леона Блуа, пророчества Модильяни со всем, что я увидел.

Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем «историей», убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени иной эпохи. Я понял, что старый мир, который я обличал в «Стихах о канунах», нельзя изменить ни древними заклинаниями, ни ультрановым искусством. Конечно, я оставался самим собой: меня страшили и бессмысленные жертвы, и свирепость расправ, и упрощение сложного мира эмоций; но я понял, что мои оценки спорны:

Рожденный вчера, люблю я вчерашнюю мудрость...

Я написал книжицу «Раздумья» и хочу привести несколько строф из одного стихотворения, помеченного январем 1920 года; стихи слабые, но они выражают мои мысли не только той зимы, а и последующих лет:

Распухла с голоду, сочатся кровь и гной из ран отверстых.
Вопя и корчась, к матери-земле припала ты.
Россия, твой родильный бред они сочли за смертный,
Гнушаются тобой, разумны, сыты и чисты.
Бесплодно чрево их, пустые груди каменеют.
Кто древнее наследие возьмет?

Кто разожжет и дальше понесет
Полупогасший факел Прометея?
Суровы роды. Час высок и страшен.
Не в пене моря, не в небесной синеве,
На темном гноище, омытый кровью нашей,
Рождается иной, великий век.
. . . .
На краткий срок народ бывает призван
Своею кровью напоить земные борозды —
Гонители к тебе придут, Отчизна,
Целуя на снегу кровавые следы.

Меня теперь коробит от нарочито книжного языка: «гноище», «чрево», «борозды». Удивительно, как после «Стихов о канунах» и восхищения кубизмом я вдруг сбился на словарь символистов! Впрочем, новый словарь звучал не лучше: выражаясь на нем, я должен был бы объявить, что становлюсь на советскую платформу. А какая у меня могла быть «платформа»? Детская площадка, да и ту вскоре прикрыли...

Жили мы в Коктебеле отнюдь не спокойно: то и дело из Феодосии приезжали военные или охранники — искали подпольщиков, партизан, «смутьянов». Арестовали Мандельштама. Его вскоре выпустили, но это было лотереей — могли расстрелять. Я поглядывал на дорогу с опаской. Много раз в жизни мне приходилось чувствовать себя дичью — прислушиваться к шагам на лестнице или к лифту; это очень противное ощущение — унизительное; но я себя утешал тем, что я по природе не охотник — никого не выслеживал и не арестовывал.

Иногда по ночам мне мерещились герои «Хуренито»: они как будто стучались в двери ненаписанной книги; но у меня не было мысли сесть за роман (можно для шутки добавить, что не было даже бумаги, стихи я записывал на обороте старых конторских счетов). Я думал тогда о другом: как добраться до Москвы? Войне, казалось, не будет конца; разбили Колчака, но в поход двинулись поляки. Както я нашел в Феодосии несколько номеров парижских газет. Я узнал, что на выборах во Франции победили правые, что союзники никогда не отдадут плацдармов в России, что они защищают «свободный мир». (Формулы куда долговечнее правительств.) Действительно, в Феодосии я видел много иностранных офицеров. В порту царило оживление: выгружали пушки, боеприпасы.

В Феодосию я ездил редко: нелегко было найти крестьянина, который согласился бы за весьма скромную плату подвезти человека на своей телеге (на четырех брев-

нах, все время расползавшихся), да и не стоило искушать судьбу и охранников. Город был красивым, он напоминал мне Италию, может быть аркадами или ярусами домов на горе; но в городе шла нехорошая жизнь: никто просто не шел по улице — одни покрикивали, другие поеживались.

У Осипа Эмильевича было в Феодосии много знакомых: либеральные адвокаты, еврейские купцы, любители литературы, начинающие поэты, портовые служащие. С некоторыми он меня познакомил; были среди них люди симпатичные, но мне казалось, что они побаиваются с нами встречаться.

Мандельштамы уехали: им помог, насколько я помню, начальник порта. Я докучал и Волошину, и моим феодосийским знакомым, чтобы они помогли нам выбраться. Наконец Макс сказал: «Кажется, выходит»... Кончалась затянувшаяся глава: не книги — жизни.

14

Я говорил, что, когда врангелевцы арестовали Осипа Эмильевича Мандельштама, Волошин тотчас отправился в Феодосию. Вернулся он мрачный, рассказал, что белые считают Мандельштама опасным преступником, уверяют, будто он симулирует сумасшествие: когда его заперли в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил: «Вы должны меня выпустить — я не создан для тюрьмы»... На допросе Осип Эмильевич прервал следователя: «Скажите лучше, невинных вы выпускаете или нет?..» Я понимаю, что в 1919 году в контрразведке такие слова звучали фантастически и что белый офицер мог принять их за симуляцию душевного заболевания; но если задуматься, забыть о тактике, даже о стратегии, то разве не было в поведении Мандельштама глубоко человеческой правды? Он не пытался доказать палачу свою невиновность, откровенно спросил — стоит ли ему вообще разговаривать; он сказал тюремщику, что «не создан для тюрьмы», это ребячливо и в то же время мудро. «Не по времени», — печально заметила Пра. Конечно. У Мандельштама есть стихи про время:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей.
Запихай меня лучше как шапку в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Познакомился я с Осипом Эмильевичем в Москве; потом мы часто встречались в Киеве — в греческой кофейне на Софийской; там он прочитал мне свои стихи о революции:

Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судия-народ.

Видел я его в тот день, когда Красная Армия оставляла Киев. Потом он об этом рассказал:

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
— Мы вернемся еще, разумейте!..

Вместе мы пережили в Киеве ночь погрома. Вместе хлебнули горя в Коктебеле. Вместе пробирались из Тбилиси в Москву. Летом 1934 года я искал его в Воронеже.

(Пусти меня, отдай меня, Воронеж,
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь —
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож.)

В последний раз я его видел весной 1938 года в Москве.

Мы оба родились в 1891 году; Осип Эмильевич был старше меня на две недели. Часто, слушая его стихи, я думал, что он старше, мудрее меня на много лет. А в жизни он мне казался ребенком, капризным, обидчивым, суетливым. До чего несносный, минутами думал я и сейчас же добавлял: до чего милый! Под зыбкой внешностью скрывались доброта, человечность, вдохновение.

Был он маленьким, щуплым; голову с хохолком закидывал назад. Он любил образ петуха, который разрывает своим пением ночь у стен Акрополя; и сам он, когда запевал баском свои торжественные оды, походил на молоденького петушка.

Он сидел на кончике стула, вдруг куда-то убегал, мечтал о хорошем обеде, строил фантастические планы, заговаривал издателей. В Феодосии он как-то собрал богатых «либералов» и строго сказал им: «На Страшном суде вас спросят, понимали ли вы поэта Мандельштама, вы ответите «нет». Вас спросят, кормили ли вы его, и, если вы

ответите «да», вам многое простится». В самые трагические минуты он смешил нас газеллами:

Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.

Тому, кто впервые встречал Мандельштама в приемной издательства или в кафе, казалось, что перед ним легкомысленный человек, неспособный даже призадуматься. А Мандельштам умел работать. Он сочинял стихи не у стола — на улицах Москвы или Ленинграда, в степи, в горах Крыма, Грузии, Армении. Он говорил о Данте: «Сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии». Эти слова прежде всего относятся к Мандельштаму. Его стихи рождались от строки, от слова; он сотни раз менял все; порой ясное вначале стихотворение усложнялось, становилось почти невнятным, порой, наоборот, прояснялось. Он вынашивал восьмистишие долго, иногда месяцами, и всегда бывал изумлен рождением стихотворения.

В первые годы революции его словарь, классический стих многими воспринимались как нечто архаическое:

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.

Мне эти строки теперь кажутся вполне современными, а стихи Бурлюка — данью давно сгинувшей моде. Мандельштам говорил: «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее». Это не было канонами, направлением: «Не стоит создавать никаких школ. Не стоит выдумывать своей поэтики». Стих Мандельштама потом раскрепостился, стал легче, прозрачнее.

Одним поэтам присуще звуковое восприятие мира, другим — зрительное. Блок слышал, Маяковский видел. Мандельштам жил в различных стихиях. Вспоминая свои детские годы, он писал: «Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желанье Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полымем шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь

4 И. Эренбург, т. 7

бесплатно к раковине оркестра...» О его чувстве живописи можно судить хотя бы по нескольким строфам, посвященным натюрморту (вспоминаешь холсты Кончаловского):

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил...
. . . .
Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом сумрачном развале
Уже хозяйничает шмель.

Мы с ним часто разговаривали о живописи; в двадцатые годы его больше всего привлекали старые венецианцы — Тинторетто, Тициан.

Он хорошо знал французскую, итальянскую, немецкую поэзию; понимал страны, где пробыл недолго.

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых.

В легком декабре твой воздух стриженый
Индевеет денежный, обиженный...

Я много лет прожил во Франции, лучше, точнее этого не скажешь... Размышления о прекрасной «детскости» итальянской фонетики поражали итальянцев, которым я переводил строки из «Разговора о Данте».

Однако самой большой страстью Осипа Эмильевича были русский язык, русская поэзия. «По целому ряду исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загащиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и горящей плотью...» Он отвергал символизм, как чуждое русской поэзии явление. «Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик... иностранное представительство от несуществующей фонетической державы...» Андрей Белый — «болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка...».

Мандельштам, однако, почитал и любил Андрея Белого; после его смерти написал несколько чудесных стихотворений.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве, заводил кавардак гоголек,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...

Писал он с нежностью и о поэтах пушкинской плеяды, и о Блоке, и о своих современниках, о Каме, о степи, о сухой, горячей Армении, о родном Ленинграде. Я помню множество его строк, твержу их, как заклинания, и, оглядываясь назад, радуюсь, что жил с ним рядом...

Я говорил о противоречии между легкомыслием в быту и серьезностью в искусстве. А может быть, и не было никакого противоречия? Когда Осипу Эмильевичу было девятнадцать лет, он написал статью о Франсуа Вийоне; он находил оправдание для смутной биографии поэта жестокого века: «бедный школяр» по-своему отстаивал достоинство поэта. Мандельштам писал о Данте: «То, что для нас безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской, камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта». Опять-таки эти слова применимы к самому Мандельштаму: множество нелепых, порой смешных поступков диктовалось «мучительно преодолеваемой неловкостью».

Некоторые критики считали его несовременным, музейным. Раздавались и худшие обвинения; передо мной том «Литературной энциклопедии», изданный в 1932 году; там сказано: «Творчество Мандельштама представляет собой художественное выражение сознания крупной буржуазии в эпоху между двумя революциями... Для миросозерцания Мандельштама характерен крайний фатализм и холод внутреннего равнодушия ко всему происходящему... Это лишь чрезвычайно «сублимированное» и зашифрованное идеологическое увековечение капитализма и его культуры...» (Статья написана была молодым критиком, который не раз прибегал ко мне, восторженно показывал неопубликованные стихотворения Мандельштама, пере-

писывал его стихи, переплетал, дарил друзьям.) Трудно сказать бо́льшую нелепость о стихах Мандельштама. Вот уж воистину кто менее всего выражал сознание буржуазии, и крупной, и средней, и мелкой! Я уже говорил, как в 1918 году он меня поразил глубоким пониманием грандиозности событий: стихи о корабле времени, который меняет курс. Никогда он не отворачивался от своего века, даже когда волкодав принимал его за другого.

> Пора вам знать — я тоже современник —
> Я человек эпохи Москвошвея,
> Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
> Как я ступать и говорить умею!
> Попробуйте меня от века оторвать! —
> Ручаюсь вам, себе свернете шею!
> . . . .
> За гремучую доблесть грядущих веков,
> За высокое племя людей...

О Ленинграде:

> Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
> До прожилок, до детских припухлых желез.
>
> Ты вернулся сюда, — так глотай же скорей
> Рыбий жир ленинградских речных фонарей...
>
> Петербург, я еще не хочу умирать:
> У тебя телефонов моих номера.
>
> Петербург, у меня еще есть адреса,
> По которым найду мертвецов голоса...

Это стихотворение было напечатано в «Литературной газете» в 1932 году. А в 1945-м я слышал, как его повторяла ленинградка, вернувшаяся домой.

Мандельштама не в чем упрекнуть. Разве в том, что и слабость и сила любого человека — в любви к жизни.

> Я все отдам за жизнь — мне так нужна забота —
> И спичка серная меня б согреть могла.
> . . . .
> Колют ресницы, в груди прикипела слеза.
> Чую без страха, что будет и будет гроза.
> Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
> Душно, и все-таки до смерти хочется жить.

Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкой стиха, которая заселяет ночи? В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов, рассказал о том, как в 1938 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч

километров от родного города; больной, у костра он читал сонеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченой воды, но в нем жило настоящее мужество, прошло через всю его жизнь — до сонетов у лагерного костра...

В 1936 году он писал:

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну —
Позвоночное, обугленное тело,
Осознавшее свою длину.

Его стихи остались, я их слышу, слышат их другие; мы идем по улице, на которой играют дети. Вероятно, это и есть то, что в торжественные минуты мы именуем «бессмертием».

А в моей памяти живой Осип Эмильевич, милый беспокойный хлопотун. Мы трижды обнялись, когда он прибежал, чтобы проститься: наконец-то он уезжает из Коктебеля! Про себя я подумал:

Кто может знать при слове — расставанье, —
Какая нам разлука предстоит...

15

В соляных озерах северной части Крыма добывается поваренная соль; добывалась она и до революции. Наверно, я об этом узнал в третьем или в четвертом классе гимназии, но школьные познания быстро забываются. Притом я никогда не интересовался происхождением соли, которая стояла на столе. И вот соль, притом крымская, сыграла важную роль в моей жизни.

Путь из Феодосии в Москву лежал тогда через меньшевистскую Грузию, которая торговала с белым Крымом и где было советское посольство. Из Феодосии в Грузию отправлялся ценный товар — поваренная соль. Я говорю о его ценности отнюдь не шутя: в то время соль продавалась на рынках стаканами, как потом сахар.

Один предприимчивый феодосиец решил доставить в Поти соль; ею нагрузили большую дряхлую баржу. На буксире должен был отправиться владелец соли. После длительных и сложных переговоров, в которых мои покровители говорили и о поэзии и о рублях, капитан буксира

и владелец соли согласились взять на баржу меня, Любу и Ядвигу. Белые, разумеется, осматривали уходящие суда, и мы должны были прибыть на баржу накануне, а до того, как выйдем в открытое море, сидеть тихо в душном трюме, где лежала драгоценная соль. Это не было самым приятным местом, но нам дали хлеб и помидоры, а соли было сколько угодно, и мы не роптали.

Пришлось пережить несколько неприятных минут: над нами прогрохотали сапоги офицеров, проверявших, нет ли на барже пассажиров. Я вспомнил строчку Волошина: «Застыть, как соль», — и, кажется, застыл. Шаги стали приглушенными, как уходящая гроза.

Буксир взял курс на юг, будто мы шли к берегам Турции. Объяснялось это тем, что в Новороссийске была Советская власть, и владелец соли боялся, как бы большевики не захватили его товара. А баржа была предназначена только для небольших рейсов вдоль берега; притом, как я сказал, у нее был возраст, мало подходящий для авантюр.

Был конец сентября, то есть время, когда на Черном море часто бывают штормы. Мы проплыли несколько часов среди идиллии: сияло солнце, белели барашки волн, и баржу лениво покачивало. Мы радовались, что вырвались из Крыма, и ели хлеб с солью. Шторм начался внезапно; мы не поняли, что происходит, когда высокая волна переплеснула палубу. Мы легли в самом защищенном месте и покрылись брезентом. Шторм крепчал; навалилась быстрая южная ночь.

На барже было три или четыре матроса. Они нам сказали, что дела плохи: мы находимся далеко от берега, вода попала в трюм и груз теперь чересчур тяжелый. Они ругали капитана буксира, владельца соли, белых, красных, грузин и вообще все на свете.

Мы пробовали уснуть, но это было невозможно — несмотря на брезент, нас заливало; хотя баржа, по словам матросов, была перегружена, ее швыряло, как крохотную лодку. А волны росли. Я старался припомнить различные смешные истории, и мы не унывали.

Самое неприятное было, однако, впереди. Капитан буксира решил бросить баржу: боялся, что она может разбить буксир. Нам это прокричали в рупор и предложили по канату добираться до буксира. Мы были, однако, не спортсменами, а людьми, сильно отощавшими от супа на перце (Люба незадолго до путешествия перенесла сыпняк); перейти на буксир среди сильных волн мы, разумеется, не могли и решили остаться — будь что будет.

Я не раз в жизни замечал, что страх — капризное чувство, зачастую не связанное с рассудком. Мой друг, писатель О. Г. Савич, в Испании совершенно спокойно беседовал о поэзии под нестерпимыми бомбежками, но я помню, что, когда мы с ним ехали из Бельгии во Францию, он смертельно боялся таможенного осмотра, хотя не вез никакой контрабанды. Я был в Толедо с испанским художником Фернандо Херасси; он был тогда офицером и не раз удивлял товарищей храбростью. В толедском Алькасаре сидели фашисты и время от времени лениво, для приличия, постреливали в анархистов. Фернандо мне признался, что не хочет лезть со мной на крышу дома — боится: фронт — это фронт, а в Толедо он поехал со мной за компанию, и здесь ему страшно. Что касается меня, то я испытывал страх не на фронтах, не в Испании, не при бомбежках, а в мирной обстановке, когда ждал звонка или стука в дверь, но об этом я уже писал Ни я, ни мои молоденькие попутчицы не испугались мысли, что мы останемся в разъяренном море на дырявой барже и пойдем ко дну вместе с драгоценной солью Мы разговаривали, шутили, и если дрожали, то не от страха, а от холода: промокли насквозь.

Капитан все же не бросил баржу. Когда мы благополучно причалили к Сухуми, он сказал Любе, что пожалел ее По-моему, это было восточным комплиментом. На буксире находился владелец соли, и он отстоял свой товар.

Сухуми нам показался невыразимо прекрасным; это действительно красивый город, но дело было не только в его живописности — в то яркое, солнечное утро мы восхищались возвращенной жизнью. Нам казалось, что все трудности не только путешествия в Москву, но и жизненного пути позади. Какой-то грузин предложил нам обменять деньги, и вот мы сели в кафе прямо на улице, пили турецкий кофе, кейфовали. Крикливые усатые люди улыбались нам. Продавали золотистый теплый виноград. Было жарко, как летом, и мы не думали ни о цене соли, ни о цене человеческой жизни. Мы развлекались — нам троим вместе было меньше лет, чем теперь мне одному.

Потом мы снова спали на барже, но это была обыкновенная, спокойная ночь: вдоль берега мы шли на Поти Оттуда поездом добрались до Тбилиси. Куда идти? Где посольство? И где Москва? Мы несколько растерялись в чужом городе, без документов, без денег.

Бывают все-таки в жизни те счастливые случайности, на которые иногда ссылаются писатели, приклеивая к без-

выходной истории благополучнейшую развязку. Навстречу нам по Головинскому проспекту шел Осип Эмильевич Мандельштам. Мы обрадовались ему, он — нам. Он уже чувствовал под ногами почву и деловито сказал: «Сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан...»

16

Мандельштам рассказал нам о своих злоключениях. В Батуми опасались эпидемии чумы, и квартал, в котором нашли комнату Осип Эмильевич и его брат, был оцеплен. Мандельштам гадал, от чего он умрет: от романтической чумы или от вульгарного голода. Его размышления были прерваны меньшевистскими охранниками, которые отвели Осипа Эмильевича в тюрьму. Напрасно он пытался еще раз объяснить, что не создан для тюремного образа жизни, — это не произвело никакого впечатления. Он говорил, что он — Осип Мандельштам, автор книги «Камень», а ему отвечали, что он агент генерала Врангеля и большевиков. Достаточно было взглянуть на Осипа Эмильевича, чтобы понять, насколько он мало походил на агента — не только двойного, но и обыкновенного. Однако у охранников не было времени для размышлений: они выполняли, а может быть, перевыполняли план. (Автор даже самого вздорного приключенческого романа и тот заботится о некоторой правдоподобности, а полицейские не ломают себе головы — предпочитают проламывать чужие головы.) Случайно в Батуми приехали грузинские поэты и прочитали в газете, что «двойной агент Осип Мандельштам» выдает себя за поэта. Они добились освобождения Осипа Эмильевича.

Рассказав все это, Мандельштам не стал философствовать над особенностями эпохи, а повел нас к Тициану Табидзе, который восторженно вскрикивал, обнимал всех, читал стихи, а потом побежал за своим другом Паоло Яшвили. Мы обомлели, увидав на столе духана различные яства, о существовании которых успели давно позабыть.

С Паоло Яшвили я познакомился в Париже, в «Ротонде»; было это в 1914 году. Паоло тогда был худым и порывистым юношей (ему было двадцать лет). Он расспрашивал меня: «А в каком кафе сидел Верлен? Когда сюда придет Пикассо? Правда, что вы пишете в кафе? Я не мог бы... Посмотрите, как они целуются! Возмутительно! Меня это

чересчур вдохновляет...» Увидев Паоло в Тбилиси, я ему обрадовался, как однополчанину, хотя наша встреча в Париже была случайной и беглой.

Не успели мы сесть за стол, как Паоло и Тициан объяснили нам, что они основатели поэтического ордена «Голубые рога». Я подумал, что это не имеет никакого отношения к обеду: есть ведь журнал «Голубой всадник», выставки «Голубой розы». Но духанщик притащил огромные рога (правда, не голубые). В рог, который Паоло поднес мне, он налил кварту вина. Рог не стакан, на стол его не поставишь, я подержал его несколько минут, а потом в отчаянии выпил вино залпом. Если вспомнить, что в Коктебеле я сильно отощал, то легко догадаться, чем это для меня кончилось. Грузинские друзья зачем-то поволокли меня на концерт знаменитого виртуоза. Смутно помню, как я валялся в одной из комнат консерватории среди арф и лент от венков.

На следующее утро я пошел с Мандельштамом в советское посольство. Нас ласково приняли, обещали переправить в Россию; придется, однако, подождать неделю-другую.

Паоло устроил нас в старой, замызганной гостинице. Свободных комнат в городе не было, и нам пришлось поместиться в одном номере: братья Мандельштамы, Люба, Ядвига и я. Осип Эмильевич от кровати отказался — боялся клопов и микробов; спал он на высоком столе. Когда рассвело, я видел над собой его профиль; спал он на спине, и спал торжественно.

Мы прожили в Тбилиси две недели; они показались мне лирическим отступлением.

Каждый день мы обедали, — более того, каждый вечер ужинали. У Паоло и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей, выбирали самые знаменитые духаны, потчевали изысканными блюдами. Порой мы шли из одного духана в другой — обед переходил в ужин. Названия грузинских яств звучали, как строки стихов: сулгуни, соцхали, сациви, лоби. Мы ели форель, наперченные супы, горячий сыр, соусы ореховый и барбарисовый, куриные печенки и свиные пупки на вертеле, не говоря уже о разноликих шашлыках. В персидских харчевнях нам подавали плов и баранину, запеченную в горшочках. Мы проверяли, какое вино лучше — телиани или кварели.

Никогда дотоле я не бывал на Востоке, и старый Тбилиси мне показался городом из «Тысячи и одной ночи».

Мы бродили по нескончаемому Майдану; там продавали бирюзу в смоле и горячие лепешки, английские пиджаки и кинжалы, кальяны и граммофоны, пахучие травы и винтовки, портреты царицы Тамары и доллары, древние рукописи и подштанники. Торговцы зазывали, торговались, расточали цветистые комплименты, клялись жизнью многочисленных домочадцев.

Мы побывали в серных банях; на меня взобрался огромный банщик и облепил меня чудодейственной грязью, которая уничтожала растительность; Паоло пресерьезно уверял, что я похож на Нарцисса.

Мы попивали вино в Верийских садах; внизу нетерпеливая Кура играла с красными и желтыми огоньками, а на столе благоухали тархун и киндза.

В древних храмах мы глядели на каменных цариц, к которым ласкались барсы. Мы восхищались в духанах картинами Пиросманишвили, грузинского Руссо, художника-самоучки, который за шашлыки и вино расписывал стены погребков. Он был прост, патетичен, поражал умелой композицией и полнотой цвета.

Тбилиси был случайным полустанком, на котором остановился поезд времени. Глава меньшевистского правительства Ной Жордания, в прошлом сотрудник различных марксистских журналов, ссылался то на Каутского, то на царицу Тамару. Каутский писал, что меньшевистская Грузия — государство с будущим, а петербуржцы и москвичи, застрявшие на полустанке, торопливо упаковывали чемоданы; одни спешили на север, другие за границу. Некоторых из них я встретил. Артист Н. Н. Ходотов собирался домой, в Петроград. Поэты Агнивцев и Рафалович ждали французских виз. Жители Тбилиси ругали меньшевиков, говорили, что их песенка спета.

Различные века сосуществовали в этом удивительном городе. Я увидел праздник мусульман-шиитов — «шахсей-вахсей». На носилках, изукрашенных цветистыми коврами, несли безликих персиянок. Вокруг сновали молодые люди; костюмированные всадники нещадно хлестали их кнутами. За ними следовали сотни полуголых мужчин, ударявших себя в спину железными цепями. Гремела музыка. Главными актерами были люди в белых халатах; раскачиваясь, они выкрикивали «шахсей-вахсей!» и били себя саблями по лицу. На ярком солнце кровь казалась краской. Самоистязание было поминками по сыну халифа Хусейну, который погиб в битве тысячу четыреста лет назад...

А на соседней улице мастеровые читали листовку: «Красное знамя Советской власти реет над Баку. Не сегодня-завтра оно взовьется над Тифлисом...»

Мне подарили «Сборник тифлисского цеха поэтов». Эта книжка случайно у меня сохранилась. Среди авторов много поэтесс с поэтичными фамилиями: Нина Грацианская, Бел-Конь-Любомирская, Магдалина де-Капрелевич. Поэты «тифлисского цеха» писали сонеты о Свароге, Эросе, Суламите, Санаваллате, Монфоре и о других, столь же близких персонажах.

Впрочем, я не заглянул тогда в сборник: все время я был с новыми друзьями, которых сразу полюбил, — с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе.

Они были связаны между собой не только общими поэтическими воззрениями, но и крепкой дружбой; эта дружба оказалась долговечней литературных школ; и погибли они вместе. А до чего они не походили один на другого! Паоло был высоким, страстным, чрезвычайно энергичным, умел все организовать — и декларацию «Голубых рогов», и обед в духане. Стихи у него были живые, умные, крепкие. А Тициан поражал мягкостью, мечтательностью. Он был красив, всегда носил в петлице красную гвоздику; стихи читал нараспев, и глаза у него были синие, как горные озера. Трудно понять поэзию в переводах. Я слушал стихи и по-грузински. Тициан, помню, сказал мне, что поэзия — обвал. Много лет спустя я прочитал в переводе его стихотворение, где были строки:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня. И жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет — и с места сдышит,
И заживо схоронит. Вот что стих.

Кажется, в этих словах раскрытие Тициана, его чистоты, приподнятости; был он прежде всего поэтом.

Яшвили и Табидзе прекрасно знали, любили русскую и французскую поэзию, Пушкина и Бодлера, Блока и Верлена, Некрасова и Рембо, Маяковского и Аполлинера. Они сломали старые формы грузинской версификации. Но трудно, кажется, найти поэтов, которые так бы любили свою родину, как они. Их можно было глубоко порадовать, сказав, что то или иное грузинское слово выразительно, заметив горный цветок или улыбку девочки на проспекте Руставели. О том, что они были прекрасными поэтами, можно теперь прочитать в любом справочнике. Мне хочется добавить, что они были настоящими

людьми. Я приехал снова в Тбилиси в 1926 году, приехал к Тициану и Паоло. Потом я встречался с ними в Москве: дружба выдержала испытание временем.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Тбилиси на юбилей Руставели. Паоло и Тициана не было. О том, что с ними случилось, скажу словами Гурама Асатиани, автора книги о Тициане Табидзе: «Табидзе, как и его замечательные сверстники, известные советские писатели П. Яшвили, М. Джавахишвили, Н. Мицишвили и другие, стали жертвами преступной руки заядлых врагов народа». Тициана арестовали, а Паоло, когда за ним пришли, застрелился из охотничьего ружья. В Тбилиси я нашел только одного поэта — голуборожца Г. Леонидзе, с которым познакомился в 1926 году. Он позвал меня к себе под Новый год. Вдруг тосты оборвались: мы подняли стаканы и ничего не сказали — перед нами были Тициан и Паоло... Я часто думаю о стихах Яшвили, написанных за несколько лет до трагической развязки:

Не бойся сплетен. Хуже — тишина,
Когда, украдкой пробираясь с улиц,
Она страшит, как близкая война
И близость про меня сужденной пули.

Тициана и Паоло любили многие русские поэты — и Есенин, и Пастернак, и Тихонов, и Заболоцкий, и Антокольский. А мы были первыми советскими поэтами, которые нашли в Тбилиси не только душевный отдых, но романтику, ощущение высоты, толику кислорода — я говорю и о горах и о людях, нельзя ведь отделить Паоло и Тициана от окружавшего их пейзажа. Я писал после поездки в Грузию в 1926 году: «Условимся: горы не только астма альпиниста, не только семейные охи любителей каникулярной красоты. Это еще некоторое беспокойство природы, ее требовательность, которая глубоко соответствует человеческому естеству... Звери и лозы Ананурского монастыря резвятся, зреют, живут. На них любовно смотрят пастухи и звезды. В Верийских садах зурна плачет, как любимая женщина, голос которой нельзя не узнать и через тысячу лет. Пусть поэты «Голубых рогов» любят Рембо и Лотреамона; неискушенные души повторяют их стихи доверчивым девушкам возле могилы Грибоедова, когда в одно сливаются созвездия астрономов, огни Сololак и взволнованные зрачки. А на стенах духанов истекают кровью арбузы, написанные Нико Пиросманишвили...»

Альпы во Франции — спорт, туризм, санатории, лыжи, гостиницы, рюкзаки, открытки. А без Кавказа трудно себе представить русскую поэзию: там она отходила душой, там была ее стартовая площадка.

Но я сейчас пишу всего-навсего о двух коротких неделях осени 1920 года, когда грузинские друзья приютили, пригрели нас. Друзей этих уже нет, остается поклониться горам Грузии. Яшвили и Табидзе проводили нас по Военно-Грузинской дороге до первого привала, и сейчас еще в моих ушах звучит высокий, пронзительный голос Тициана:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...

17

Я уже говорил, что у меня в жизни было немало разнообразных и неожиданных профессий; теперь мне предстоит рассказать о самой неправдоподобной; она была кратковременной, но бурной — посол сказал мне, что я поеду из Тбилиси в Москву как дипломатический курьер. Это не было ни почетной синекурой, ни маскировкой, чтобы пересечь границу, нет, я должен был отвезти пакет с почтой и три огромных тюка, снабженных множеством печатей.

Мне часто приходилось и приходится ездить за границу; если со мной едут другие товарищи, среди них обязательно имеется «руководитель делегации». А вот из Тбилиси я отправился с семью лицами; одни из них в документе именовались «сопровождающими» (Люба, Ядвига, братья Мандельштамы и весьма серьезный товарищ, возвращавшийся, кажется, из Англии); другие числились моей «охраной» — краснофлотец и молоденький актер Художественного театра. Таким образом, на новом поприще я сразу сделал карьеру.

Теперь я часто встречаю в самолетах дипкурьеров; это спокойные, солидные люди, привыкшие к своей работе; в далекий путь они отправляются вдвоем — когда один спит, другой присматривает за почтой. Поглядывая на них, я вспоминаю далекое прошлое: небось не догадываются, что я тоже вез такие мешки, только не в самолете, где проводницы угощают пассажиров конфетами, а в разбитом вагоне, прицепленном к бронепаровозу...

Осенью 1920 года советские дипломаты были новичками. Дипломатические отношения тогда поддерживались только с Афганистаном, с новоиспеченными государствами Прибалтики да с меньшевистской Грузией. Все было внове и не проверено. Большевики хорошо помнили жаркие дискуссии с меньшевиками на нелегальных собраниях; иногда приходила полиция и забирала всех. Теперь картина была иной: меньшевистский публицист А. Костров, он же Ной Жордания, стал главой грузинского правительства, и его полиция начала сажать недавних оппонентов в Метехскую тюрьму. Конечно, дипкурьер пользуется неприкосновенностью, никто не вправе посягнуть на груз, который он везет. Посол об этом хорошо знал, но он не знал, знают ли об этом меньшевики, и мне строго наказал, чтобы на границе я ни в коем случае не позволил вскрыть пакет, завернутый в коричневую оберточную бумагу и запечатанный десятком сургучных печатей. Я держал этот пакет в руках и не расставался с ним восемь дней, пока не сдал его в Москве в Наркоминдел.

Сначала дорога была идиллической. Мы ужинали в духане и заночевали в пути; все мои попутчики, как «сопровождающие», так и «охрана», спокойно спали, а я бодрствовал, прижимая к себе заветный пакет. Утром мы поехали дальше; сверкали снега, внизу шумели горные реки, паслись отары овец.

Мы приближались к границе, и я стал обдумывать, что мне делать, если грузинские пограничники вздумают вскрыть пакет. У краснофлотца был наган, но, когда я с ним заговорил о предстоящей угрозе, он равнодушно ответил, что пакет везу я, а он везет фрукты. Товарищ, приехавший из Англии, был гладко выбрит, пах лавандой и беспечно глядел в бинокль на вечные снега. Осип Эмильевич читал стихи нашим попутчицам.

Грузинский офицер, командир пограничного отряда, оказался милейшим человеком. Узнав, что моя жена — художница, он начал ее расспрашивать, что делают теперь русские живописцы. Он хочет перебраться в Москву и поступить во Вхутемас. Может быть, Люба за него походатайствует?..

Мы долго перетаскивали тюки через «нейтральную полосу». Советские пограничники были заняты: поймали трех контрабандистов. Нам обещали машины к вечеру. Я запротестовал: «Почта срочная, нельзя терять ни часа...» (Именно так сказал мне посол.)

Ночью мы въехали во Владикавказ; нас отвезли в гостиницу, где полгода назад помещались деникинцы; все было загажено, поломано; стекол в окнах не было, и нас обдувал холодный ветер. Город напоминал фронт. Обыватели шли на службу озабоченные, настороженные; они не понимали, что гражданская война идет к концу, и по привычке гадали, кто завтра ворвется в город.

Я начал обсуждать с представителями горсовета и военным командованием, как нам добраться до Минеральных Вод: поезда не ходили, по дороге шли стычки с небольшими отрядами белых. Мы съели борщ в столовой, где обедали руководящие товарищи; нам даже выдали три буханки хлеба. Под вечер было решено отправить до Минеральных Вод бронепоезд. Однако бронепоезда не оказалось, и к бронепаровозу прицепили два обыкновенных вагона. Охрана на этот раз была посерьезнее: красноармейцы с пулеметами.

В вагоне я увидел нового пассажира, который, улыбаясь, говорил всем, что он грузинский дипломат. Один из чекистов объяснил мне, что в чемодане дипломата нашли около тысячи брошек, браслетов и колец с бриллиантами и ценными камнями. Москва приказала доставить задержанного в Наркоминдел. Обращались с грузином учтиво, как с настоящим дипломатом, и я себя почувствовал дилетантом, но не спускал глаз с тюков.

Когда мы отъехали сорок или пятьдесят километров, поезд остановился. Мы услышали выстрелы. Затараторил пулемет. Военные сказали, что белые разобрали путь и собираются напасть на поезд; мы должны взять винтовки и стрелять. Все это вывело из себя Осипа Эмильевича, который чувствовал к любому виду оружия непреодолимое отвращение. В его голове созрел фантастический план: он с Любой уйдет в горы... Люба не поддалась его увещаниям, а белых скоро отогнали.

На станции Минеральные Воды люди неделями ждали посадки. Красноармейцы помогли мне пробиться к вагону; кто-то кричал: «Дипломатический курьер!», но это не действовало. Можно было с таким же успехом кричать «римский папа» или «Шаляпин»... Не помню, как мы все же очутились в набитом до отказа вагоне. Здесь-то начались мои главные мучения: тюки занимали очень много места, и на них все норовили сесть; я понимал, что от сургучных печатей ничего не останется, и неистово кричал: «Прочь от диппочты!..» Действовали не столько слова, сколько мой голос, преисполненный отчаяния.

Вначале краснофлотец помогал мне отбивать атаки; но вскоре случилось несчастье: на какой-то станции он купил два большущих мешка соли. Проклятая соль снова вмешивалась в мою жизнь. Краснофлотец теперь оберегал не диппочту, а соль и цинично отгонял всех от мешков: «Это диппочта». Я выглядел самозванцем.

На четвертый или на пятый день нас ожидали новые неприятности: где-то между Ростовом и Харьковом к поезду подошли махновцы. Я знал по опыту, что это значит. Но теперь у меня почта, заветный пакет... Что мне делать? Товарищ, возвращавшийся из Англии, вез в термосе горячий чай, а в дорожной фляжке коньяк; он мне говорил: «Выпейте, и все обойдется...»

Все действительно обошлось. Мы доехали до Москвы. Я прижимал пакет к груди, как младенца. Пассажиры постепенно разошлись, а я стоял над тюками. Под вечер Александру Эмильевичу и краснофлотцу удалось нанять телегу, на которую мы положили багаж (пакет с почтой я нес в руке). Мы шли вслед за телегой; больше всего это напоминало деревенские похороны.

Осип Эмильевич уже успел с кем-то поговорить по телефону, нашел ночевку для себя и брата и объявил нам, что вечером мы должны прийти в Дом печати на Никитском бульваре — там дают бутерброды.

Наркоминдел помещался в здании «Метрополя», вход был позади, с небольшой площади. Дежурный принял у меня почту. К маленькому пакету он отнесся уважительно, и я снова вырос в своих глазах; но тюки пренебрежительно оттащил в кладовку. Я ему пытался объяснить, что противная бабенка, несмотря на всю мою бдительность, повредила одну из многочисленных печатей, но он равнодушно сказал: «А там только газеты...»

Случилось чудо: это ведь были первые годы революции, романтика... Узнав, что мне некуда деться, дежурный пожалел меня, объявил кому-то по телефону, что приехал дипкурьер из Тбилиси, и начал обзванивать различные общежития. Я получил бумажку о том, что в Третьем общежитии Наркоминдела должны приютить Эренбурга с женой. Третье общежитие оказалось бывшими меблированными комнатами «Княжий двор», где я когда-то жил с отцом. Там было тепло, и я понял, что я в раю...

Вечером мы пошли в Дом печати; я увидел многих знакомых. В буфете действительно давали крохотные ломтики черного хлеба с красной икрой и воблой; кроме того, там можно было получить чай, который благоухал не то

яблоками, не то мятой, разумеется, без сахара. Все это было восхитительным, и я сразу погрузился в литературный спор, кто больше соответствует действительности — футуристы или имажинисты.

Несколько огорчил нас инцидент с Мандельштамом. Он сидел в другом углу комнаты. Вдруг вскочил Блюмкин и завопил: «Я тебя сейчас застрелю!» Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмильевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки Блюмкина, и все кончилось благополучно.

Мы шли по Арбатской площади, мимо церквушки Бориса и Глеба. Было очень темно, но в окнах копошились слабые огоньки. Вот и Москва, город, на который смотрит весь мир! Здесь нет хлеба, нет угля, людям трудно, но они упрямы, и войну они уже выиграли, пробили путь в историю...

Так я думал по дороге в Третье общежитие. Мне хотелось что-то делать, писать, а главное — ломать прежнее, ломать с душой: теперь я знал, чем оно пахнет.

18

Коменданта Третьего общежития Наркоминдела звали товарищем Адамом; но, если говорить откровенно, Адамом чувствовал себя я: я оказался в раю, откуда меня легко могли выгнать. Мне нужно было представить удостоверение с места службы, и, хотя я довез в сохранности почту, о дипломатической карьере мечтать не приходилось. Товарищ Адам поселил нас в комнате, которая не отапливалась, и все же «Княжий двор» был раем. Утром нам выдавали паек: двести граммов хлеба, крохотный кусок масла и два куска сахара. Днем мы получали кашу — пшенную или ячневую. Конечно, древние князья ели лучше, но в Москве 1920 года такой паек был воистину княжеским.

Я встретил старых друзей, познакомился с молодыми поэтами, написал несколько стихотворений. Люба разыскала А. А. Экстер и поступила во Вхутемас. Неожиданно мне сообщили, что В. Э. Мейерхольд хочет со мною поговорить и предоставить мне интересную работу. Я не знал, о какой работе идет речь, но чувствовал себя окрыленным.

В Доме печати решили устроить вечер моих стихов. Я прочитал стихотворения, написанные в Коктебеле и в Москве. Одет я был непристойно, но на это тогда не обращали

внимания, а стихи были патетическими. Я, например, обращался к человеку будущего, который случайно найдет в библиотеке мою книгу:

Средь мишуры былой и слов убогих,
Средь летописи давних смут,
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.

Когда я кончил читать, все стремительно ринулись в буфет. Там ко мне подошел дежурный член правления поэт Венгров и шепнул, что меня требуют представители Чека; они внизу, у вешалки. «Вы не волнуйтесь, — дружески добавил он, — это явная ошибка».

У вешалки меня ждали два молодых человека; они мне показали ордер. Мы пришли к площади; там стояла машина, которая отвезла меня на Лубянку, в дом, принадлежавший ранее Страховому обществу «Россия», где помещалась Чека: этот дом вошел в историю. Мало кто помнит, что улица Кирова называлась Мясницкой, Кропоткинская — Пречистенкой, улица Горького — Тверской, а слово «Лубянка» осталось.

Меня обыскали, нашли фотографию Любы и снимки ее живописных работ. Молодые люди стали меня расспрашивать, что означает кубизм. Но моя голова была занята другим: что означает мой арест? Лекции о живописи не получилось. Молодые люди сказали, что предупредят мою жену (действительно, они поехали к ней, успокаивали — «наверно, его скоро выпустят» — и просили объяснить им современную живопись).

Меня отвели в камеру, где уже помещалось человек восемь, — это были командиры военно-морского флота; люди мужественные и симпатичные; они потеснились, и я лег спать. На следующее утро мне объяснили, что в камере не принято говорить о приключившейся с людьми неприятности. Каждый рассказывает о том, в чем он специалист. Первым был доклад о подводной лодке, сконструированной Налетовым, второй — о плавании по Индийскому океану. В свою очередь, я рассказал о Париже, о стихах Франсуа Вийона, об итальянской живописи. (Несколько месяцев спустя я встретил моих товарищей по кратковременному заключению в Камерном театре, на премьере «Принцессы Брамбиллы». Мы обрадовались друг другу и сразу перешли к вопросу о том, чей театр лучше — Таирова или Мейерхольда.)

Вечером меня повели по длинным и сложным коридорам на допрос. Следователь дружески со мной поздоро-

вался, сказал, что встречал меня в «Ротонде». Я его не помнил, но мы поговорили о Париже; потом он сказал: «Видите ли, к нам поступило сообщение, что вы — агент Врангеля. Докажите обратное». Моя беда в том, что я всю жизнь не могу освободиться от некоторых доводов Декарта; знаю, что логикой не проживешь, и все же всякий раз ловлю себя на том, что требую от других именно логики. Я ответил, что автор доноса должен доказать, что я — агент Врангеля; если мне сообщат, на чем основано его утверждение, я смогу его опровергнуть. Следователь попросил рассказать, как я добрался до Москвы, посочувствовал нашим дорожным невзгодам, крепко обругал хозяина соли и наконец сказал: «Мы с вами еще поговорим...» Я сделал товарищам по камере доклад об испанской поэзии и услышал лекцию о влиянии развития авиации на действия военно-морского флота. Два дня спустя следователь снова вызвал меня. «Скажите, почему вам поручили доставить в Москву диппочту?» Я ответил, что этот вопрос следует поставить нашему послу в Тифлисе; что касается меня, я просто просил посольство отправить меня в Москву. Мы снова вспомнили Париж, и меня отвели в камеру. Я прочитал доклад об архитектуре Версаля и познакомился с анализом подводной войны в 1917 — 1918 годах. Третий допрос начался знакомыми словами: «Докажите, что вы не агент Врангеля...» Следователь был в дурном настроении, он сказал, что я упрям и это может меня погубить, контрреволюция не хочет разоружиться, а пролетариат не повторит ошибок Коммуны.

Я решил, что меня, наверно, расстреляют; но утром выступил с докладом о живописи Пикассо и настолько увлекся, что даже позабыл о грозных намеках следователя.

Прошел еще день, и неожиданно меня освободили.

Это было замечательное время! Еще шли бои с врангелевцами, еще не унимались различные банды, еще постреливали террористы. Борьба шла где-то под землей, в темных сапах. Иногда арестованных расстреливали, а тех, кого не расстреливали, освобождали.

Выпустили меня вечером. Я пошел в «Княжий двор», но меня туда не впустили: товарищ Адам, который был всемогущ, как господь бог, выгнал из рая Еву, то есть Любу. Я не знал, где она; не знал, куда мне пойти. На улице было очень холодно, и вдруг я с тоской подумал о тесной камере: там, по крайней мере, было тепло...

Я отправился в Дом печати. Было поздно, и застал я только дежурного распорядителя. Он долго объяснял мне, что ночевать в помещении никто не имеет права; но, по-

глядев на меня, дрогнул духом. «Ладно! Идем наверх...» Наверху находились комнаты различных литературных группировок. Он меня устроил в комнате пролетарских писателей, где стоял большой диван. К сожалению, верхний этаж не отапливался. Мое парижское пальто, пережившее три бурных года, походило на трухлявую шинель Акакия Акакиевича. Я лежал и чувствовал, что замерзаю. В темноте я сорвал со стены полотнище и закутался; теплее не стало, но, к счастью, я заснул.

Проснулся я от громкого смеха: надо мной стояли пролетарские писатели, среди них мой парижский приятель Миша Герасимов. Стоят и смеются... Оказалось, я завернулся в материю с лозунгом и на мне значится: «Вся культура пролетариату!» Я сам рассмеялся.

Я прочитал написанное мною и задумался: почему в этой части моей книги столько веселых, почти легкомысленных страниц? Ведь события, о которых я рассказываю, отнюдь не были идиллическими: баржа с солью могла легко затонуть; бандитам ничего не стоило прикончить наивного дипкурьера; да и мои беседы со следователем могли кончиться совсем иначе. Все это так; но человек может сохранять душевное веселье в часы самых трудных испытаний, как он может тосковать, даже отчаиваться, когда ничто лично ему не угрожает. Я писал с нежностью, но и с горечью о моей ранней молодости. Да и предстоит мне в последующих частях моей книги рассказать о многом, что никак не назовешь веселым. Не опасность пригнетает человека, а внутренние обиды, разуверения, ощущение собственного бессилия.

Гашек и Кафка родились оба в Праге в 1883 году; но говорили они несхожими голосами, и в роман Кафки не вставишь размышлений бравого Швейка: диссонанс будет ужасающим. А жизнь не писатель, она не заботится о единстве стиля; одну главу она пишет с улыбкой, в другой выворачивает душу героя.

Вернусь к моему рассказу. Герасимов раздобыл кусок хлеба, чай, и мы позавтракали. В коридорах Дома печати молодые поэты уже спорили о судьбах искусства, а я отправился разыскивать Любу.

19

Мальчишкой я несколько раз видел В. Э. Мейерхольда на сцене «Художественного Общедоступного театра»; помню его сумасшедшим стариком в роли Иоанна Грозного и взволнованным, негодующим юношей в «Чайке».

Сидя в «Ротонде», я не раз вспоминал слова чеховского героя: «Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль — мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же, — то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью... Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». (Чехов написал «Чайку» в 1896 году, Мопассан умер в 1893 году, Эйфелева башня была построена в 1889 году. В 1913 году мы принимали эту башню и отвергали Мопассана; но слова о «новых формах» мне казались живыми и близкими.)

Я пропустил возможность познакомиться с Мейерхольдом в 1913 году: он приезжал в Париж по приглашению Иды Рубинштейн, чтобы вместе с Фокиным поставить «Пизанеллу» Д'Аннунцио. Я тогда мало знал о постановках Мейерхольда; зато знал, что Д'Аннунцио — фразер и что Ида Рубинштейн — богатая дама, которая жаждет театральных успехов; в 1911 году я видел «Святого Себастьяна», пьесу того же Д'Аннунцио, написанную для той же Иды Рубинштейн, и был раздосадован помесью декадентской красивости с парфюмерным сладострастием. (В. Э. Мейерхольд подружился в Париже с Гийомом Аполлинером, который, видимо, сразу понял, что дело не в Д'Аннунцио, не в Иде Рубинштейн, не в декорациях Бакста, а в душевном смятении молодого петербургского режиссера.)

Осенью 1920 года, когда я познакомился с Мейерхольдом, ему было сорок шесть лет: он был уже седым; черты лица успели заостриться, выступали мохнатые брови и чрезвычайно длинный горбатый нос, похожий на птичий клюв.

ТЕО (театральный отдел Наркомпроса) помещался в особняке напротив Александровского сада. Мейерхольд носился по большой комнате, может быть потому, что ему было холодно, может быть потому, что не умел сидеть в начальническом кресле у традиционного стола с папками «на подпись». Он, казалось, клокотал; говорил, что ему понравились мои «Стихи о канунах»; потом вдруг подбежал ко мне и, закинув назад свою голову не то цапли, не то кондора, сказал: «Ваше место — здесь. Октябрь в искусстве! Вы будете руководить всеми детскими театрами

Республики...» Я попытался возразить: я не педагог, хватит с меня мофективных киевлян и коктебельской площадки; да я и не смыслю ничего в сценическом искусстве. Всеволод Эмильевич меня оборвал: «Вы — поэт, а детям нужна поэзия. Поэзия и революция!.. К черту сценическое искусство!.. Мы с вами еще поговорим... А приказ о вашем зачислении я подписал. Приходите завтра вовремя...»

Мейерхольд тогда был одержим (как Маяковский) иконоборчеством. Он не заведовал отделом — он воевал с той эстетикой и удобопонятной моралью, о которой говорил герой «Чайки».

Недавно я выступал в Женеве в студии телевидения. Молоденькая девушка преградила мне дорогу и сказала, что должна меня загримировать. Я запротестовал; мне предстоит говорить о голоде в экономически отсталых странах, при чем тут красота, да и не пристало мне на старости лет впервые румяниться. Девушка ответила, что таковы правила, все должны подвергнуться операции; она наложила на мое лицо тонкий слой желтоватого крема. Я сейчас подумал, что свет памяти столь же резок, как и свет телевизионных студий, и что, говоря в этой книге о некоторых людях, я невольно кладу слой краски, смягчающей слишком острые черты. А вот со Всеволодом Эмильевичем мне не хочется этого делать; я попытаюсь дать его не с притушенными, но с жесткими деталями.

Характер у него был трудный: доброта сочеталась с запальчивостью, сложность духовного мира — с фанатизмом. Как некоторые большие люди, с которыми мне привелось столкнуться в жизни, он страдал болезненной подозрительностью, ревновал без оснований, видел часто козни там, где их не было.

Первая наша размолвка была бурной, но кратковременной. Один военмор принес мне пьесу для детей; все персонажи были рыбами (меньшевики — карасями), и в последнем акте торжествовал «рыбий совнарком». Пьеса мне показалась неудачной, я ее забраковал. Вдруг меня вызывает Мейерхольд. На столе у него рукопись. Он раздраженно спрашивает, почему я отклонил пьесу, и, не дослушав, начинает кричать, что я против революционной агитации, против Октября в театре. Я, в свою очередь, рассердился, сказал, что это «демагогия». Всеволод Эмильевич потерял самообладание, вызвал коменданта: «Арестовать Эренбурга за саботаж!» Комендант выполнить приказ отказался и посоветовал Мейерхольду обратиться

в ВЧК. Я, возмущенный, ушел и решил, что больше в ТЕО не будет моей ноги. На следующее утро Всеволод Эмильевич позвонил: ему необходимо посоветоваться со мной о театре петрушки. Я пошел, и вчерашней сцены будто не было...

Всеволод Эмильевич заболел. Несколько раз я был у него в больнице; он лежал с забинтованной головой. Он мне рассказывал о своих планах, расспрашивал, что происходит в ТЕО, был ли я на новых постановках. Вероятно, в моих репликах и рассказах проскальзывала ирония, потому что Мейерхольд иногда упрекал меня в безверии, даже в цинизме. Однажды, когда я сказал о расхождении многих проектов с действительностью, он приподнялся и захохотал: «Вы — в роли заведующего всеми детскими театрами Республики, нет, Диккенс не придумал бы лучше!..» Бинты походили на чалму, а Всеволод Эмильевич, худой и носатый, — на восточного кудесника. Я тоже рассмеялся и сказал, что приказ о моем назначении подписан не Диккенсом, а Мейерхольдом.

Несколько раз я был на «Зорях». Это слабая пьеса, да и в постановке было много случайного. Мейерхольд боролся против «трех стен», о которых говорил Треплев, против рампы, против написанных декораций. Он хотел приблизить сцену к зрителям. Помещение было безвкусным — знаменитый кафешантан «Омон», где москвичи когда-то рассматривали полуголых «этуалей»; впрочем, зал был в таком состоянии, что его убранство не бросалось в глаза. Театр не отапливали, все сидели в шинелях, в полушубках, в тулупах. Изо ртов актеров вырывались грозные слова и нежнейшие облака. Часть актеров разместили в партере; они неожиданно взбегали на сцену, где стояли серые кубы и зачем-то висели веревки. Иногда на сцену подымались и зрители: красноармейцы с духовым оркестром, рабочие. (Мейерхольд хотел посадить несколько актеров в ложу; они должны были изображать эсеров и меньшевиков и подавать соответствующие реплики. Всеволод Эмильевич с сожалением мне рассказывал, что ему пришлось отказаться от этой идеи: зрители могут подумать, что это всамделишные контрреволюционеры, и начнется потасовка.) Был я и на спектакле, когда один из актеров торжественно прочитал только что полученную сводку: взят Перекоп. Трудно описать, что делалось в зале...

На диспуте постановку ругали; Маяковский защищал Мейерхольда. Не знаю, что сказать о самом спектакле: его не оторвешь от времени; он тесно связан с агитками Мая-

ковского, с карнавальными шествиями, устраивавшимися «левыми» художниками, с климатом тех лет. Таким же представлением эпохи показалась мне на репетициях «Мистерия-Буфф». Любить эти спектакли было трудно, но хотелось их защищать, даже возвеличивать. Я писал в 1921 году: «Неудачные по выполнению, великолепные по замыслу постановки Мейерхольда: не только собирать театральность, но и немедленно ее растворить, уничтожить рампу, смешать комедиантов со зрителями». А Маяковский кончил свою речь на диспуте о «Зорях» так: «Да здравствует театр Мейерхольда, если даже на первых порах он и сделал плохую постановку!» Молодой Багрицкий писал:

Пышноголового Мольера
Сменяет нынче Мейерхольд.
Он ищет новые дороги,
Его движения — грубы...
Дрожи, театр старья, в тревоге:
Тебя он вскинет на дыбы!

Летом 1923 года я жил в Берлине; туда приехал Мейерхольд. Мы встретились. Всеволод Эмильевич предложил мне переделать мой роман «Трест Д. Е.» для его театра, говорил, что пьеса должна быть смесью циркового представления с агитационным апофеозом. Переделывать роман мне не хотелось; я начинал охладевать и к цирковым представлениям, и к конструктивизму, зачитывался Диккенсом и писал сентиментальный роман со сложной интригой — «Любовь Жанны Ней». Я знал, однако, что Мейерхольду трудно перечить, и ответил, что подумаю.

Вскоре в театральном журнале, который издавали единомышленники Мейерхольда, появилась статья, где рассказывалось в форме фантастической новеллы о том, как меня похитил Таиров, для которого я подрядился переделать мой роман в контрреволюционную пьесу.

(Мейерхольд много раз в жизни подозревал добрейшего и чистейшего Александра Яковлевича Таирова в стремлении уничтожить его любыми средствами. Это относится к той подозрительности, о которой я говорил. Никогда Таиров не собирался ставить «Трест Д. Е.».)

Приехав в Советский Союз, я прочитал, что Мейерхольд готовит пьесу «Трест Д. Е.», написанную неким Подгаецким «по романам Эренбурга и Келлермана». Я понял, что единственный довод, который может остановить Мейерхольда, — сказать, что я хочу сам инсценировать роман для театра или для кино. В марте 1924 года я написал ему, начав «Дорогой Всеволод Эмильевич» и кончив «сердеч-

ным приветом»: «Наше свидание прошлым летом, в частности беседы о возможности переделки мною «Треста», позволяют мне думать, что Вы дружественно и бережно относитесь к моей работе. Поэтому решаюсь первым делом обратиться к Вам с просьбой, если заметка верна, отказаться от этой постановки... Я ведь не классик, а живой человек...»

Ответ был страшен, в нем сказалось неистовство Мейерхольда, и никогда бы я о нем не рассказал, если бы не любил Всеволода Эмильевича со всеми его крайностями. «Гражданин И. Эренбург! Я не понимаю, на каком основании обращаетесь Вы ко мне с просьбой «отказаться от постановки» пьесы т. Подгаецкого? На основании нашей беседы в Берлине? Но ведь эта беседа в достаточной мере выяснила, что, если бы даже Вы и взялись за переделку Вашего романа, Вы сделали бы пьесу так, что она могла бы быть представлена в любом из городов Антанты...»

Я не был на спектакле; судя по отзывам друзей и по статьям расположенных к Мейерхольду критиков, Подгаецкий написал слабую пьесу. Всеволод Эмильевич поставил ее интересно: Европа гибла шумно, убегали щиты декораций, актеры впопыхах перегримировывались, грохотал джаз. За меня неожиданно вступился Маяковский; на обсуждении постановки «Треста Д. Е.» он сказал о переделке: «Пьеса «Д. Е.» — абсолютный нуль... Переделывать беллетристические произведения в пьесу может только тот, кто выше их авторов, в данном случае Эренбурга и Келлермана»... Спектакль, однако, имел успех, и табачная фабрика «Ява» выпустила папиросы «Д. Е.». А я из-за этой глупой истории в течение семи лет не встречался с Всеволодом Эмильевичем...

Приезжая в Москву, я глядел постановки Мейерхольда: «Великодушного рогоносца», «Смерть Тарелкина», «Лес». Я покупал билет и боялся, что Всеволод Эмильевич меня увидит в зале. (Трудно было найти в этих пьесах агитационный апофеоз, их могли бы играть и в «городах Антанты». Всеволод Эмильевич никогда не стоял на месте.)

Мейерхольд не шел ровной, прямой дорогой; он подымался в гору, и его путь был петлистым. Когда его последователи кричали на всех перекрестках, что нужно разрушить театр, Всеволод Эмильевич уже готовил постановку «Леса». Многие не поняли, что же приключилось с неистовым иконоборцем: почему его прельстили Островский, трагедия искусства, любовь? (Так последователи Маяковского не поняли, почему в 1923 году, осудив перед этим

лирическую поэзию, он написал «Про это». Интересно, что «Лес» был поставлен вскоре после того, как была написана поэма «Про это». Маяковский-поэт уже возвращался к поэзии, а Маяковский-лефовец сурово осудил Всеволода Эмильевича за его возвращение к театру: «Для меня глубоко отвратительна постановка «Леса»...)

Картины висят в музеях, книги имеются в библиотеках, а спектакли, которых мы не видели, остаются для нас сухими рецензиями. Легко установить связь между «Про это» и ранними стихами Маяковского, между «Герникой» Пикассо и его холстами «голубого периода». А вот мне трудно судить, что перешло от дореволюционных постановок Мейерхольда в его «Лес» и «Ревизора». Бесспорно, многое: петли петлями, но ведь это — петли одной дороги...

«Лес» был чудесной постановкой, и спектакль волновал зрителей. Мейерхольд многое в нем открыл; по-новому передал трагедию искусства. Была, однако, в этой постановке деталь, которая выводила из себя (а может быть, радовала) противников Мейерхольда: зеленый парик на одном из актеров. Пьеса шла много лет подряд. Как-то после одного из спектаклей в Ленинграде состоялось обсуждение. Всеволода Эмильевича закидали записками: он радовался, сердился, шутил. «Скажите, что означает зеленый парик?» Он повернулся к актерам и недоумевающе сказал: «А действительно, что он означает? Кто его придумал?..» С того вечера зеленый парик исчез. Не знаю, сыграл ли Мейерхольд сцену изумления или искренне удивился: запамятовал деталь, придуманную, конечно же, им. (В жизни мне часто приходилось слышать недоуменные вопросы: «А кто действительно это придумал?», порой исходившие от авторов различных нелепостей, куда более важных, чем злосчастный парик.)

Мейерхольд был пугалом для людей, которым претило новое; его имя стало нарицательным; некоторые критики не замечали (или не хотели заметить), что Мейерхольд шел дальше; они его облаивали на полустанке, о котором он успел давно забыть.

Всеволод Эмильевич не страшился отступаться от эстетических концепций, которые еще накануне казались ему правильными. В 1920 году, когда он ставил «Зори», он рвал с «Сестрой Беатрисой» и с «Балаганчиком». Потом он вышучивал придуманную им «биомеханику».

Треплев в первом акте говорит, что главное — новые формы, а в последнем, перед тем как застрелиться, признается: «Да, я все больше и больше прихожу к убеждению,

что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души». В 1938 году Всеволод Эмильевич говорил мне, что спор идет не о старых и новых формах в искусстве, а об искусстве и о подделке под него.

Он никогда не отрекался от того, что считал существенным, отбрасывал «измы», приемы, эстетические каноны, а не свое понимание искусства; постоянно бунтовал, вдохновлялся, горел.

Ну что страшного было в чеховских водевилях? О «левом искусстве» к тому времени все успели позабыть. Маяковский был признан гениальным поэтом. А на постановку Мейерхольда все равно накинулись. Он мог говорить самые обыкновенные вещи, но было что-то в его голосе, глазах, улыбке, выводившее из себя людей, которым не по душе творческое горение художника.

Весной 1930 года в Париже я увидел мейерхольдовского «Ревизора». Это было в небольшом театре на улице Гэтэ, где обычно показывали жителям окраины вздорные водевили или раздирающие душу мелодрамы, с тесной и неудобной сценой, без фойе (в антрактах зрители выходили на улицу), словом, в помещении скорее мизерном. «Ревизор» меня потряс. Я успел давно охладеть к эстетическим увлечениям моей молодости и боялся идти на спектакль — слишком ревниво любил Гоголя. И вот я увидел на сцене все то, чем меня притягивал Гоголь: щемящую тоску художника и зрелище неизбывной, жестокой пошлости.

Я знаю, что Мейерхольда обвиняли в искажении текста Гоголя, в кощунственном к нему отношении. Конечно, его «Ревизор» не походил на те спектакли, которые я видел в детстве и в молодости; казалось, текст раздвинут, но в нем не было отсебятины — все шло от Гоголя. Можно ли на одну минуту поверить, что обличение провинциальных чиновников эпохи Николая I — единственное содержание пьесы Гоголя? Разумеется, для современников Гоголя «Ревизор» был прежде всего жестокой сатирой на общественный строй, на нравы; но, как всякое гениальное произведение, он пережил стадию злободневности, он волнует людей сто лет спустя после того, как исчезли с лица земли николаевские городничие и почтмейстеры. Мейерхольд раздвинул рамки «Ревизора». В этом ли кощунство? Ведь различные театральные инсценировки романов Толстого или Достоевского считаются благородным делом, хотя они сужают рамки произведений...

Андрей Белый не только любил Гоголя, он был им болен, и, может быть, многие художественные неудачи автора «Серебряного голубя» и «Петербурга» следует отнести к тому, что он не мог преодолеть власти Гоголя. И вот Андрей Белый, увидев в театре Мейерхольда «Ревизора», выступил со страстной защитой этого спектакля.

А в Париже на спектакле были по большей части французы — режиссеры, актеры, любители театра, писатели, художники; это напоминало смотр знаменитостей. Вот Луи Жувэ, вот Пикассо, вот Дюллен, вот Кокто, вот Дерен, вот Бати... И, когда спектакль кончился, эти люди, казалось бы объевшиеся искусством, привыкшие дозировать свои одобрения, встали и устроили овацию, какой я в Париже не видел.

Я пробрался за сцену. В маленькой артистической уборной стоял взволнованный Всеволод Эмильевич. Еще белее стали волосы, длиннее нос. Семь лет прошло... Я сказал, что не мог вытерпеть, пришел поблагодарить. Он крепко обнял меня.

С тех пор ни разу не было между нами отдаления или холода. О вздорной ссоре мы не заговаривали. Мы встречались в Париже или в Москве, подолгу разговаривали, иногда и молчали, как можно молчать при настоящей близости.

Когда Мейерхольд решил поставить «Ревизора», он сказал актерам: «Вы видите аквариум, в нем давно не меняли воду, зеленоватая вода, рыбы кружатся и пускают пузыри». Мне он говорил, что, работая над «Ревизором», часто вспоминал Пензу гимназических лет.

(В 1948 году я шел по одной из пензенских улиц с А. А. Фадеевым. Вдруг Фадеев остановился: «Это дом Мейерхольда...» Мы молча постояли; потом Александр Александрович в тоске сказал «эх», махнул рукой и быстро зашагал к гостинице.)

Мейерхольд ненавидел стоячую воду, зевоту, пустоту; он часто прибегал к маскам именно потому, что маски его страшили — не каким-то мистическим ужасом небытия, а одеревеневшей пошлостью быта. Заключительная сцена «Ревизора», длинный стол в «Горе от ума», персонажи «Мандата», даже чеховские водевили — все это тот же поединок художника с пошлостью.

То, что он стал коммунистом, не было случайностью: он твердо знал, что мир необходимо переделать. Он основывался не на чужих доводах, а на своем опыте. Среди нас он был стариком. Маяковский родился с революцией, а у Мейерхольда позади был клубок исхоженных им дорог: и

Станиславский, и Комиссаржевская, и питерские символисты, «Балаганчик», Блок, исхлестанный снежными метелями, «Любовь к трем апельсинам» и много другого. Еще сидя в «Ротонде», мы гадали, как должен выглядеть таинственный доктор Дапертутто (литературный псевдоним Мейерхольда).

Из всех людей, которых я вправе назвать моими друзьями, Всеволод Эмильевич был по возрасту самым старым. Я только родился в XIX веке, а он в нем жил, бывал в гостях у Чехова, работал с В. Ф. Комиссаржевской, знал Скрябина, Ермолову... И самое удивительное, что он оставался неизменно молодым; всегда что-то придумывал, бушевал, как гроза в мае.

Всю жизнь его сопровождали нападки. В 1911 году нововременец Меньшиков возмущался постановкой «Бориса Годунова»: «Я думаю, что г. Мейерхольд взял приставов из своей еврейской души, а не из Пушкина, у которого нет ни приставов, ни кнутьев...» Некоторые статьи, написанные четверть века спустя, были, право же, не чище и не справедливее приведенных выше слов...

Он не походил на мученика: страстно любил жизнь — детей и шумные митинги, балаганы и холсты Ренуара, поэзию и леса строек. Он любил свою работу. Несколько раз я присутствовал на репетициях: Всеволод Эмильевич не только объяснял — он сам играл. Помню репетиции чеховских водевилей. Мейерхольду было за шестьдесят, но он поражал молодых актеров неутомимостью, блеском находок, огромным душевным весельем.

Я говорил, что спектакли умирают — их не воскресишь. Мы знаем, что Андре Шенье был прекрасным поэтом, но мы можем только верить, что его современник Тальма был прекрасным актером. И все же творческий труд не исчезает: он может быть на время незримым, как река, уходящая под землю. Я смотрю спектакль в Париже, кругом восхищаются: «Как ново!», а я вспоминаю постановки Мейерхольда. Я вспоминаю их и сидя во многих московских театрах. Вахтангов писал: «Мейерхольд дал корни театрам будущего — будущее и воздаст ему». Перед Мейерхольдом преклонялся не только Вахтангов, но и Крэг, Жувэ, многие другие крупнейшие режиссеры, Эйзенштейн мне как-то сказал, что его не было бы без Мейерхольда.

Еще в августе 1930 года он писал мне: «...Театр может погибнуть. Враги не дремлют. Много есть в Москве людей, для которых театр Мейерхольда бельмо на глазу. Ох, долго и скучно об этом рассказывать!»

Наши последние встречи были невеселыми. Я приехал из Испании в декабре 1937 года. Театр Мейерхольда был уже закрыт. От пережитого жена его, Зинаида Николаевна Райх, душевно заболела. Поддерживал Мейерхольда К. С. Станиславский, который часто ему звонил по телефону, пытался приободрить.

В это время П. П. Кончаловский написал замечательный портрет Мейерхольда. Многие портреты Кончаловского декоративны, но Петр Петрович горячо любил Мейерхольда и в портрете раскрыл его вдохновение, тревогу, душевную красоту.

Всеволод Эмильевич подолгу сидел у себя, читал, рассматривал художественные монографии. Он все еще дерзал: ему мерещилась постановка «Гамлета»; он говорил: «Я, кажется, теперь смогу справиться. Прежде не решался. Если бы исчезли все пьесы мира, а «Гамлет» остался, то остался бы и театр...»

Мне хочется еще сказать, что Мейерхольда поддерживала в это трудное для него время Зинаида Николаевна. Передо мною копия письма Всеволода Эмильевича жене, написанного в октябре 1938 года из дачной местности Горенки: «...Приехал я в Горенки 13-го, глянул на березки и ахнул... Смотри, эти листья рассыпаны по воздуху. Рассыпанные, они застыли, как будто замерзли... Застывшие, они чего-то ждут. Как их подстерегли! Секунды их последней жизни я считал, как пульс умирающего. Застану ли я их в живых, когда снова я буду в Горенках через день, через час. Когда я смотрел 13-го на сказочный мир золотой осени, на все эти чудеса, я мысленно лепетал: Зина, Зиночка, смотри на эти чудеса и не покидай меня, тебя любящего, тебя — жену, сестру, маму, друга, возлюбленную, золотую, как эта природа, творящая чудеса!.. Зина, не покидай меня! Нет на свете ничего страшнее одиночества!»

Мы расстались весной 1938 года — я уезжал в Испанию. Обнялись. Тяжелым было это расставание. Больше я его не видел: в июне 1939 года Мейерхольд был арестован в Ленинграде, 1 февраля 1940 года был приговорен к десяти годам без права переписки. Справка о смерти помечена 2 февраля.

В 1955 году молодой прокурор, никогда прежде не слыхавший имени Мейерхольда, рассказал мне о том, как был оклеветан Всеволод Эмильевич, он прочитал мне его заявление на закрытом заседании военного трибунала. «...Мне шестьдесят шесть лет. Я хочу, чтобы дочь и мои

друзья когда-нибудь узнали, что я до конца остался честным коммунистом». Читая эти слова, прокурор встал. Встал и я.

20

Вскоре я вернулся в потерянный рай: товарищ Адам, прочитав записку заместителя наркома Л. Карахана, составленную абстрактно и возвышенно, а именно: «Эренбург остается жить», предоставил нам комнату. Я получал паек, а с февраля мне дали карточку на обеды в «Метрополе»; там отпускали пустой суп, пшенную кашу или мороженую картошку. При выходе нужно было сдать ложку и вилку — без этого не выпускали.

Кто-то сказал мне, что я родился в рубашке. Однако я не только родился в рубашке, я ходил в одной рубашке; а Москва зимой не Бразилия...

Давным-давно я описал в журнале «Прожектор», как в конце 1920 года я раздобыл себе одежду. Это не очень серьезная история, но она восстанавливает некоторые бытовые черты тех лет, да и показывает, что житейские трудности нас не обескураживали.

Я уже упоминал о моем парижском пальто, с годами превратившемся в дырявый капот. Я не сказал о самом главном — о костюме; пиджак еще как-то держался, но брюки расползлись.

Тогда-то я понял, что́ означают штаны для тридцатилетнего мужчины, вынужденного жить в цивилизованном обществе, — обойтись без штанов действительно невозможно. На службе я все время сидел в пальто, боясь неосторожным движением распахнуть полы: ведь со мною работали поэтесса Ада Чумаченко и молодые фребелички.

Краснофлотец-драматург пригласил меня к себе; жил он в «Лоскутной». Я пережил у него немало мучений; он накормил меня замечательными оладьями, но эти оладьи приготовляла молодая женщина. В комнате было жарко, меня уговаривали снять пальто, а я упирался и никак не мог объяснить почему.

Однажды меня не впустили в Камерный театр; я показывал приглашение, мандаты, различные удостоверения; но контролер был неумолим: «Товарищ, в верхнем платье не разрешается...»

Хотя я заведовал всеми детскими театрами Республики и получал полтора пайка, я чувствовал себя неполноценным: у меня не было штанов.

Наступила суровая зима. Мое пальто грело не больше, чем кружевная шаль. Я простудился, чихал, кашлял. Наверно, у меня была температура, но мы тогда этим мало интересовались. Случайно я встретил одного из товарищей по подпольной гимназической организации; поглядев на меня, он рассердился: «Почему вы мне раньше не сказали?..» Он написал записку председателю Моссовета и шутя добавил: «Лорд-мэр Москвы вас оденет».

Попасть на прием к «лорд-мэру» было нелегко, в приемной толпились всевозможные просители. Наконец я проник в просторную комнату; за письменным столом сидел почтенный человек с аккуратно подстриженной бородкой, которого я хорошо знал по Парижу. Я понимал, что у него уйма дел, и стеснялся. Он был чрезвычайно любезен, говорил о литературе, спрашивал, какие у меня творческие планы. Ну как здесь было заговорить о штанах? Наконец, набравшись храбрости и воспользовавшись паузой, я в отчаянии выпалил: «Кстати, мне совершенно необходимы брюки...»

«Лорд-мэр» смутился: он внимательно меня оглядел: «Да вам не только костюм нужен, а и зимнее пальто...» Он дал мне записку к заведующему одним из отделов МПО; на записке было сказано лаконично: «Одеть т. Эренбурга».

На следующее утро, встав пораньше, я пошел в МПО (эти буквы не имеют ничего общего с противовоздушной обороной, обозначали они «Московское потребительское общество» — ведомство, которому было поручено снабжать население продовольствием и одеждой). С легкомыслием баловня судьбы я спросил: «Где здесь выдают ордера на одежду?» Кто-то мне показал длиннейший хвост на Мясницкой.

Было очень холодно; и, стоя в очереди, я малодушно забыл про брюки — мечтал о теплом зимнем пальто. Под вечер я приблизился к заветной двери. Но тут приключилось нечто непредвиденное. Ко мне подошла молодая женщина, повязанная теплым платком, и возмущенно завизжала: «Нахал какой! Я здесь с пяти утра стою, а он только пришел — и на мое место...» Она навалилась на меня, а весила она немало; я сопротивлялся, но безуспешно — она меня вытеснила из очереди. Я обратился к людям, стоявшим позади: «Товарищи, вы ведь видели, что я весь день стою...» Люди были голодные, усталые, безучастные; никто меня не поддержал. Я понял, что справедливости не дождаться, отошел на несколько шагов, разбежался и с ходу вытолкнул самозванку из очереди. Люди продолжали рав-

нодушно молчать: они явно предпочитали нейтралитет. А женщина преспокойно ушла и начала искать уязвимое место в длиннущей очереди.

Наконец я вошел в кабинет заведующего, который, прочитав записку, сказал: «У нас, товарищ, мало одежды. Выбирайте — пальто или костюм». Выбрать было очень трудно; замерзший, я готов был попросить пальто, но вдруг вспомнил унижения предшествующих месяцев и крикнул: «Брюки! Костюм!..» Мне выдали соответствующий ордер.

Я пошел в указанный распределитель; там мужских костюмов не оказалось, мне предложили взамен дамский или же плащ. Я, разумеется, отказался, и меня направили в другой распределитель, где мне показали костюм, сшитый, видимо, на карлика и поэтому уцелевший с царских времен. Наконец в распределителе на углу Петровки и Кузнецкого я нашел костюм по росту, надел брюки и почувствовал себя человеком. В детской секции ТЕО я сразу составил десять проектов.

Стояли, однако, сильные морозы, и я продолжал отчаянно кашлять. Сознание, что на мне брюки, придавало мне бодрости, и я начал разыскивать зимнее пальто.

Будучи страстным курильщиком, я раз в месяц на Сухаревке менял хлеб на табак. На Сухаревке торговали всем — китайскими вазами, кусочками сахара, рассыпными папиросами, камнями для зажигалок, бухарскими коврами, дореволюционным, заплесневевшим шоколадом, романами Бурже в сафьяновых переплетах. На Сухаревке можно было купить и рваный полушубок, но стоил он не менее пятидесяти тысяч. А денег у меня не было. В карманах новенького пиджака я держал мандаты, проекты, стихи, старую, насквозь прожженную трубку, табачную труху и порой кусочек сахара, который уносил из гостеприимного дома заведующего ИЗО Д. П. Штеренберга.

Недавно мне попался в руки каталог рукописных книг, которыми торговала «Книжная лавка писателей»; среди авторов — Андрей Белый, В. Лидин, М. Герасимов, Шершеневич, Марина Цветаева, И. Новиков, много других. Проставлена и моя книжка: «Испанские песни», цена 3000 рублей. Книжка, переписанная Шершеневичем, снабжена примечанием: «По себестоимости 4 куска сахара — 2000 рублей, кружка молока — 1800, 50 папирос — 6000». Деньги были настолько обесценены, что о них мало кто думал; мы жили пайками и надеждой.

Все же я решил набрать деньги на пальто и подрядился прочитать стихи в кафе «Домино». Там было нестерпимо

холодно; посетителям давали чай с сахарином или смертельно-бледную, голубоватую простоквашу. Не понимаю, почему туда приходили люди. В морозном полумраке раздавался зловещий вой Шершеневича, Поплавской или Дира Туманного. Ходили в «Домино» спекулянты, агенты уголовного розыска, любознательные провинциалы и чудаки-меланхолики.

Я снял с себя шинель Акакия Акакиевича, чихнул и начал выть — тогда все поэты выли, даже когда читали нечто веселое. Один спекулянт сочувственно высморкался, двое других не выдержали и ушли. Я получил три тысячи.

Мне повезло: несколько дней спустя я набрел на весьма подозрительного гражданина, который предложил мне достать полушубок за семь тысяч рублей. Это было почти даром. Я продал хлебный паек за две недели и притащил полушубок в «Княжий двор».

Полушубок был чересчур тесен и сильно вонял, но мне он казался горностаевой мантией с картины Веласкеса. Я его надел и хотел было отправиться в Дом печати, но тут пришла из Вхутемаса Люба и потребовала, чтобы я снял с себя обновку: на груди полушубка красовалась большущая печать. Гражданин недаром мне показался подозрительным: он продал краденый военный полушубок.

Мною овладела резиньяция: лучше чихать, кашлять, чем попасть в поганую историю. Но Люба недаром была конструктивисткой, училась у Родченко и говорила весь день о фактуре, о вещности, о производственной эстетике — она нашла выход.

В Москве существовали тогда «магазины ненормированных продуктов»; там продавали мороженые яблоки, химический чай «Шамо», сахарин, швабры, сита. Я продал два фунта паечного пшена и в «магазине ненормированных продуктов» купил краску для кожи. Люба привычной рукой взялась за кисти. Полушубок с каждой минутой хорошел: он превращался в черную куртку шофера. Но, к сожалению, кожа жадно впитывала краску; один рукав так и остался незакрашенным, а больше не было ни краски, ни рублей, ни пшена.

Конечно, я мог бы ходить в черном полушубке с желтым рукавом; никто на меня не обернулся бы. Все были одеты чрезвычайно своеобразно. Модницы щеголяли в вылинявших солдатских шинелях и зеленых шляпках, сделанных из ломберного сукна. На платья шли бордовые гардины, оживляемые супрематическими квадратами или треугольниками, вырезанными из покрышек рваных кресел.

Художник И. М. Рабинович прогуливался в полушубке изумрудного цвета. Есенин время от времени напяливал на голову блестящий цилиндр. Но я боялся, что желтый рукав отнесут к эксцентричности, примут не за беду, а за эстетическую программу.

Под Новый год в ТЕО всем сотрудникам выдали по банке гуталина. Это было воспринято как несчастье, тем паче что накануне в МУЗО выдавали кур. Но Люба нашла применение сапожной мази: она покрыла ею желтый рукав.

Новый год мы встречали у художника Рабиновича. Говорили, что будет ужин, даже водка; но никто ничего не раздобыл. Мы ели кашу и чокались кружками с чаем, а веселились, как будто пили шампанское.

Проклятый гуталин, однако, не высыхал; стоило пойти снегу, как рукав становился марким. Я испачкал несколько чужих пальто; меня начали побаиваться, и я предупреждал: «Пожалуйста, идите слева — справа я пачкаю.. »

Все же я мог теперь, не замерзая, бродить ночью по улицам Москвы. Все тогда ходили по мостовой — не было ни машин, ни лошадей, а тротуары напоминали каток. Днем многие тащили салазки — дрова, керосин, пшено. Люди «прикреплялись» или «откреплялись» — это относилось к продовольственным карточкам. (Помню стихи

Что сегодня, гражданин, на обед?
Прикреплялись, гражданин, или нет?)

А по ночам бродили мечтатели. Никогда не забуду я тех прогулок! Мы медленно продвигались между сугробами; порой шли цепью — один за другим. Так идут в пустыне караваны. Мы говорили о поэзии, о революции, о новом веке; мы были караванами, которые пробирались в будущее. Может быть, поэтому с такой легкостью мы переносили и голод, и холод, и многое другое Караваны шли по всем русским городам, и двадцатипятилетний Н. С. Тихонов, которого я тогда не знал, наверно, читал кому-нибудь свои стихи:

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

Мы шли гуськом, над нами сверкали звезды — улицы были темными, никто не мешал звездам сверкать. В день моего рождения Ядвига печально сказала, что не смогла раздобыть подарка — ни цветов, ни леденца; шутя она добавила, глядя на звездное небо: «Я тебе дарю Кассио-

пею...» Мы не подозревали, что доживем до того времени, когда в Организации Объединенных Наций будут рассуждать, как оградить небесные светила от захвата, и когда все девушки смогут подносить своим друзьям пристойные галстуки из шелка, шерсти или химической массы...

21

Я продолжал работать в детской секции ТЕО. Конечно, к нашим трудам можно подойти недоверчиво: мы главным образом составляли проекты детских театров да еще добывали пайки для актеров. Время было трудное; напомню для его характеристики слова В. И. Ленина, написанные им в феврале 1921 года по поводу работы Наркомпроса: «Мы нищие. Бумаги нет. Рабочие холодают и голодают, раздеты, разуты. Машины изношены. Здания разваливаются». Мы старались поддержать различные начинания. Существовал Детский театр, которым руководила актриса Генриетта Паскар. Скульптор Ефимов и его жена давно занимались кукольным театром. Появилась молоденькая Наташа Сац, потом много сделавшая для художественного воспитания детей. В различных рабочих клубах устраивались спектакли для детворы. Наконец, знаменитый клоун и дрессировщик животных В. Л. Дуров задумал показывать детям четвероногих артистов.

Тогда все больше проектировали, чем осуществляли: фантазии было много, средств мало. Все же мне кажется, что наша на первый взгляд совершенно бессмысленная работа дала некоторые результаты: мы помогли будущим драматургам, режиссерам, актерам создать пять или десять лет спустя интереснейшие театры для детей.

Внешне было много забавного. Мы работали рядом с секцией цирка, ею руководила актриса Рукавишникова, жена поэта. Иногда она уезжала домой в санях. Около Манежа лошадь неожиданно становилась на задние ноги, как будто она пудель, или начинала вальсировать, пугая прохожих: это была цирковая лошадь, которую заставляли выполнять обязанности битюга, и она, видимо, не могла преодолеть страсти к искусству. Наша детская секция, впрочем, не уступала циркачам: к особняку порой подбегал тощий, аскетический верблюд, запряженный в сани, — его посылал за мной В. Л. Дуров.

К Рукавишниковой приходили живописные посетители. Жонглеры, подымавшие пудовые гири, требовали ака-

демических пайков. Иностранные акробаты протестовали против уплотнения. Один клоун истошно вопил: «При чем тут марксистское объяснение событий? Я не могу допустить, чтобы мои шутки брали всерьез. Не для этого мы делали революцию!..» Ко мне приходили куда более скучные посетители — неудачливые драматурги. В одной из газет была напечатана статья о том, что нет пьес для детей; и вот в Москву начали приезжать люди различных профессий из Тамбова, из Челябинска, из Твери; они загромождали маленькую комнату кипами рукописей. Пьесы были написаны зелеными чернилами на обороте нотариальных актов, на листочках, вырванных из тетрадей, даже на оберточной бумаге. Один автор изображал героические похождения малолетнего Лассаля, другой доказывал, что русалки — продукт буржуазного сознания, третий изобличал козни Антанты (я почему-то запомнил стихи: «Зарубите на носу, как мы дали Клемансу»). Некоторые начинали здесь же читать вслух свои произведения. Один просидел в секции несколько дней: требовал охранной грамоты на комнату и академического пайка.

Был я в клубе возле Таганской площади; там сборная труппа поставила для детей пьесу никому не известного драматурга под названием «Судьба Паши». Актеры на сцене натурально крякали, пили чай и все время говорили о пользе учения. Девочку Пашу играла пожилая актриса, она повторяла с психологическими паузами: «Так вот, значит, поняла я темп жизни и захлопнула книжку...»

Театр Паскар инсценировал «Джунгли» Киплинга. Пантера на сцене сладострастно потягивалась и кривлялась, как будто она не зверь, а Саломея из пьесы Уайльда. Мне это показалось декадентством, и я рассердился. (Теперь спутались многие понятия. Большая Советская Энциклопедия причисляет к декадентам Сезанна, Гогена, Рембо, Гамсуна, Дебюсси, Равеля — словом, почти всех крупных писателей и художников конца XIX и начала XX века. А ведь декадентство действительно существовало — достаточно вспомнить ту же «Саломею», романы Пшибышевского или картины Штука.) Выслушав мою критику, Г. Паскар спокойно ответила, что я могу ставить другие пьесы, где мне заблагорассудится, и вообще заняться чем-либо иным. Подумав, я решил, что она права, и начал посвящать свободное от проектов время работе с В. Л. Дуровым — его звери не были ни натуралистами, ни декадентами.

Была у меня и другая служба. На Пречистенке, в доме, который меня волновал, когда я был гимназистом (там был

Институт для благородных девиц), помещалась Военно-химическая академия, и курсанты предложили мне обучать их стихосложению. Им хотелось писать ямбом, хореем и даже свободным стихом. Они прилежно считали слоги и подыскивали рифмы. Вряд ли из них вышли поэты, но я убежден, что на всю жизнь они запомнили свое тяготение к поэзии, как помнят люди свою первую любовь.

Для прозы тогда не было ни времени, ни бумаги; кроме того, проза требует душевного опыта, наблюдений, критического подхода, умения осмыслить происходящее; проза начала появляться несколько лет спустя. Зато было раздолье для стихов. Теперь у нас устраивают День поэзии; поэты выступают в книжных лавках и соблазняют любителей автографами. А тогда стихи декламировали повсюду — на бульварах, на вокзалах, в морозных цехах заводов, и это был не День поэзии, а целая ее эпоха.

Помню, как в Союз поэтов поступило заявление: отряд Красной Армии, который направлялся на юг для ликвидации врангелевцев, просил прислать в казармы Маяковского, Есенина, Пастернака или какого-нибудь другого поэта, чтобы бойцы услышали на прощание стихи.

Был «Суд над современной поэзией», потом «Суд над имажинизмом», различные поэтические диспуты. Было множество литературных школ: комфуты, имажинисты, пролеткультовцы, экспрессионисты, фуисты, беспредметники, презентисты, акцидентисты и даже ничевоки. Конечно, немало глупостей несли иные теоретики, выступавшие в кафе «Домино» или в Доме печати; за нагромождением непривычных слов порой ничего не скрывалось, кроме жажды славы или озорства. Но мне хочется защитить то далекое время. Раскрывая теперь книги поэтов, известных далеко за пределами нашей страны, мы видим, сколько прекрасных стихотворений было написано в годы военного коммунизма. Никогда люди так плохо не жили, и, кажется, никогда в них не было такого творческого горения.

В домах было холодно, темно, неприглядно, и вечером люди осаждали театры. На сцене кружились персонажи Гофмана, Гоцци, Кальдерона, Шекспира. Художники Веснин, Якулов, Экстер ослепляли зрителей великолепием костюмов и декораций.

Романтизм был литературным направлением в первой половине XIX века; что касается романтики, то она всегда присутствует в искусстве: художник видит то, чего уже нет или еще не было в действительности. Мейерхольд поставил в Театре революции «Озеро Люль», Таиров — «Че-

ловека, который стал четвергом», и на сцене взвивались к небу лифты, а в Москве тогда лифты бездействовали. Ученики Вхутемаса работали над новой конструктивной формой телефонных аппаратов; большинство номеров в городской сети было выключено. Помню, на одной из репетиций «Мистерии-Буфф» в Театре РСФСР I Маяковский, улыбаясь, сказал мне: «Вы подождите — в последней картине мир будущего: небоскребы, электротракторы и большущие сахарные головы...»

Люба училась у А. М. Родченко. Он рисовал кубистические проекты киосков для газет. Сорок лет спустя в различных странах я увидел киоски, выставочные павильоны, даже жилые дома, напоминающие, разумеется в смягченном, приглаженном виде, старые проекты Родченко. Лисицкий работал над макетами книги будущего. Сильнее всего меня потряс Татлин. В Доме профсоюзов был выставлен его проект памятника Третьему Интернационалу. Два цилиндра и пирамида вращались; залы из стекла были опоясаны стальной спиралью. Конструктивисты любили говорить о логике, об утилитарном назначении искусства. По проекту Татлина, зал, в котором должен был заседать Совнарком, вращался. Это было с точки зрения утилитарной бессмысленно, и все же это было доподлинной романтикой эпохи. Я долго стоял перед большой моделью и вышел на улицу потрясенный: мне казалось, что я заглянул в щелку и увидел XXI век. Теперь я думаю иначе: меня поразила своеобразная красота проекта, искусство — вне вопросов о градостроительстве грядущего или о преимуществе индустриализированной архитектуры.

Пути искусства очень сложны. Сервантес, желая высмеять рыцарские романы, создал рыцаря, который один пережил свою эпоху и на жалком Росинанте проскакал в наши дни. Бальзак думал, что он возвеличивает аристократию, а он ее хоронил.

Конечно, я, как и все друзья, с которыми встречался, жадно вглядывался в будущее. Никаких газетных киосков не было — ни кубистических, ни обыкновенных; и газеты мы читали не за утренним завтраком, а на улице — их расклеивали на стенах. Врангелевцев разбили; гражданская война была выиграна. На субботниках люди с большим мужеством пытались победить голод, разруху, нищету. В мире происходили различные, порой противоречивые события. Реакция торжествовала; но то вспыхивало восстание в Саксонии, то начиналась забастовка английских горняков; Индия требовала независимости. Мировая револю-

ция казалась нам не смутным идеалом, а делом завтрашнего дня. Порой, однако, мною овладевали сомнения: я не мог понять, почему во Франции, которую я хорошо знал, после страшных лет войны, после первых солдатских бунтов ничего, ровно ничего не происходит...

О человеке порой говорят: «Ему не сидится на месте»; это относится к пространству. А я сейчас говорю о времени: нам не терпелось перешагнуть в следующее столетие. Все понятия были опрокинуты: одна из самых отсталых стран Европы очутилась впереди других. Она жила теми идеями, теми литературными и художественными концепциями, которые несколько десятилетий спустя потрясли Запад. А жизнь (я говорю о быте) была доисторической, буднями пещерного века.

Все хотели все знать. Есть много книг, описывающих штурм укреплений, фортов, крепостей. А то было время, когда народ штурмовал знание. Старые женщины сидели над букварями. Школьные учебники стали редкостью, как первопечатные книги. Вузы были переполнены молодыми энтузиастами. Нельзя было пройти на доклад или на лекцию: в аудитории Политехнического музея прорывались, как в вагон полуразвалившегося трамвая. Лекторов закидывали записками, и о чем только люди не спрашивали — о забастовках в Вестфалии, о рефлексах Павлова, о супрематизме, о борьбе за нефть, о евгенике, о рифмах Маяковского, о теории относительности, о заводах Форда, о преодолении смерти и о множестве других предметов.

Товарищ Адам раздобыл уголь, и «Княжий двор» начали отапливать. По вечерам к нам часто приходили друзья. Почти каждый вечер приходил Б. Л. Пастернак, который жил в соседнем доме. Мы спорили о мировых событиях, о поединке между футуристами и имажинистами, о живописи Розановой и Альтмана, о постановках Мейерхольда: нам хотелось перевернуть страницу истории.

Я часто сбивался, противоречил самому себе. Меня восхищали города будущего, похожие на проекты Татлина, но, будучи Павлом Савловичем, я писал:

Провижу грозный город — улей,
Стекло и сталь безликих сот,
И карнавал средь гулких улиц,
Похожий на военный смотр.
На пустыри ложатся тени
Спиралей будущих времен.
Ярмо обдуманных равнений
И рая нового бетон.

Среди сугробов московских переулков, в полушубке, частично покрашенном ваксой, я ни на минуту не сомневался, что различные проекты станут действительностью и что вместо покосившихся деревянных домишек, памятных мне с детства, вырастет новый, необычайный город. Будь я на десять лет моложе, я бы восторженно улыбался; но, родившийся в 1891 году, рядовой представитель русской дореволюционной интеллигенции, с детства запомнивший слова Короленко о том, что человек создан для счастья, как птица для полета, я часто мучительно гадал, какой будет жизнь человека в этом городе будущего.

Во мне боролись пафос с иронией, вера с логикой. В Третьем общежитии Наркоминдела я как-то встретил бельгийского гостя. Он говорил о плачевном состоянии нашего транспорта и о преимуществах конституционных гарантий. Я резко возражал: буржуазный мир обречен, голодные крестины куда привлекательнее самых пышных похорон. Он назвал меня «фанатиком». А если говорить откровенно, я никак не походил на шестнадцатилетнего мальчонку, высмеивавшего Надю Львову за ее любовь к стихам Блока. Многое меня смущало, даже возмущало: упрощенность, нетерпимость, пренебрежение к культуре прошлого, слова, которые мне приходилось часто слышать: «А чего тут туман наводить, все ясно...» Но теперь я знал, что история делается не по щучьему велению, не по своему хотению, да и не по прекрасным романам XIX столетия. Я знал, что моя судьба тесно связана с судьбой новой России.

В эту зиму мне исполнилось тридцать лет. Цифра меня смутила, я в тоске подумал, что ничего еще не сделал. все было только пробами пера, примерками, черновыми репетициями. Удивительно: ритм жизни ускорился, появились авиация и кино, исторические события обгоняли одно другое, а мои сверстники формировались куда медленнее, чем люди тихого, неторопливого XIX века. Бабель начал по-настоящему писать в тридцать лет. Сейфуллина — в тридцать два, Паустовский — в тридцать четыре. А ведь Гоголь написал «Ревизора», когда ему было двадцать семь лет. Одно из самых изумительных произведений русской литературы — «Герой нашего времени» — написано двадцатишестилетним юношей. Не знаю, может быть, поспешность событий, их лихорадочность не давали нам возможности призадуматься, осознать происходящее, понять себя и других.

Жалеть о тех годах не приходится. Даже если мы были хворостом, который подкидывали в костер, это не обидно: костер разгорелся, он оказался куда длиннее человеческой жизни.

Мне хотелось многое описать: довоенный Париж, окопы Соммы, революцию, гражданскую войну, макеты, проекты, сугробы, а главное — забежать вперед. Я понимал, что не сумею это сделать в стихах. Замысел романа обрастал плотью. Как-то, вспомнив рассказы Диего Риверы, я решил, что герой моего сатирического романа будет мексиканцем.

Отрываясь от проектов кукольного театра, я неожиданно для себя начинал думать о главах «Хулио Хуренито».

22

Хотя В. Л. Дуров не одобрял футуристов, он сам был эксцентриком, и спектакль, которым он открыл свой театр для детей, назывался: «Зайцы всех стран, соединяйтесь!» Я хорошо помню его содержание. Вначале заяц приподымал деревянный переплет большой книги, на котором значилось «Капитал»; он перелистывал страницы, потом подзывал к себе других зайцев; их было не менее двадцати. В следующей картине на сцене был макет дворца; его охраняли кролики с ружьями. Из-за кулис выбегали зайцы, выталкивали игрушечную пушку; зайцы стреляли из пушки в кроликов и, одержав победу, подымали над дворцом красный флаг.

Занавес подымал и опускал медвежонок в синей блузе.

Восторг детей был неописуем; бледненькие и худые, они хохотали до упаду. А после того как падал занавес, зайцы и кролики выбегали на авансцену, и происходило то общение зрителей с актерами, о котором тщетно мечтал постановщик «Зорь». (При входе дети получали кусочки морковки, ими они покоряли актеров.)

Спектакль продолжался полчаса, но потребовал длительной работы. Владимир Леонидович Дуров объяснил мне с самого начала, что хочет опровергнуть неправильное представление о животных. Принято, например, считать, что заяц трус и что заяц косой; значит, нужно показать, как ловко заяц стреляет из пушки.

Владимиру Леонидовичу тогда исполнилось пятьдесят семь лет; он был самым знаменитым клоуном России; мальчиком я его видел в цирке и запомнил смешного человека в ярком одеянии со множеством фантастических медалей.

Да и задолго до того, как я родился, братья Дуровы были любимцами России. А. П. Чехов смеялся, глядя на фокусы дворняжки В. Л. Дурова Запятайки. Может быть, я видел в детстве и не Владимира Леонидовича, а его брата Анатолия, который одно время был более популярным? Братья сначала выступали вместе, потом рассорились. Владимир Леонидович стал писать на афишах «Дуров-старший»; Анатолий Леонидович называл себя «Дуров-настоящий». (Он умер перед революцией и завещал, чтобы на его могиле поставили те же слова: «Дуров-настоящий».)

Так или иначе, когда я познакомился с Владимиром Леонидовичем, он был «Дуровым-единственным». Сотрудники цирковой секции ТЕО зазывали его к себе, а он был увлечен зверями. Помню, как он впервые пришел ко мне: нужно помочь устроить в его особняке на Божедомке театр для детей. Он говорил о работах Павлова, об условных и безусловных рефлексах; казалось, что это не прославленный клоун, а почтенный профессор.

Я был приглашен на одну из первых репетиций. Владимир Леонидович старался вылечить зайцев от страха; это было нелегко. Хотя животные, по словам Дурова, повинуются различным рефлексам, а человек, если Декарт не ошибался, мыслит, следовательно, существует, между поведением людей и зверей много общего; в частности, легче запугать самого смелого человека, чем сделать из труса героя. Дуров говорил, что, когда червяк ползет от цыпленка, цыпленок его пожирает, а когда червяк ползет на цыпленка, цыпленок поспешно ретируется. (Есть, кстати, пословица «Молодец против овец, а на молодца и сам овца», которую придумали не цыплята и не зайцы.) Репетиции происходили ночью. Владимир Леонидович терпеливо кормил премьера труппы, милейшего зайца, морковью, причем рука дрессировщика пугливо пятилась. Что касается пушки, то она откровенно убегала от зайца. Через две или три недели зайцы поняли, что они сильнее всех. Этот метод дрессировки Дуров называл «трусообманом».

Морковь играла в режиссуре величайшую роль: она лежала между страницами книги, и, чтобы получить морковь, заяц дергал шнур, который приводил пушку в действие.

В ходе работы выяснилось, что кролики ничего не имеют против головных уборов, но зайцы выходят из строя, когда им напяливают на головы шапки. Владимир Леонидович уступил, и зайцы штурмовали дворец без шлемов.

Морковь кто-то Дурову доставлял, но медвежонку приходилось трудно. Я обратился в МПО с просьбой взять на

снабжение медведя как участника спектакля. Несмотря на скудный паек, медвежонок рос, и блуза больше на него не налезала. Дуров настаивал, чтобы я выпросил ситцу на новую блузу. Напрасно я говорил, что это чрезвычайно сложно, что я потратил много времени, добывая для себя штаны, что медвежонок может выступать и без блузы. В итоге ситец мы раздобыли.

Дуров тяжело переживал гибель молодого слоненка Бэби, которого он временно поместил в Зоологическом саду. Угля не было, Бэби мерз, простудился и умер. Он весил около трех тысяч килограммов; мясо роздали сотрудникам и рабочим зоопарка. А Владимир Леонидович уныло повторял: «Вы его не видели... У него были редкие способности...» Пять лет спустя он писал: «Погиб лучший мой, честный, преданный товарищ, погиб мой Бэби — дитя, которое я воспитал и в которое вложил часть своей души».

Второй постановкой была сцена, которую Дуров показал впервые в начале века под названием «Гаагская мирная конференция». Теперь название изменилось. За столом рядышком сидели заклятые враги: волк и козел, кошка и крыса, лисица и петух, медведь и свинья.

Владимир Леонидович подробно мне объяснил, как он подготовлял эту сцену. Клетка, в которой сидела крыса, была обвешана бубенцами и на колесиках по рельсам спускалась со стола к корзине, где находилась кошка. Шум, бубенцы пугали кошку, и мало-помалу она начала побаиваться крысы. А крыса с каждым часом смелела. Так Дуров дрессировал и других участников спектакля. Сильные переставали быть уверенными в своей безнаказанности, а слабые вылечивались от страха; на этом было построено «мирное сосуществование».

В зиму, о которой я рассказываю, я часто видался с Владимиром Леонидовичем, старался ему помочь и пристрастился к нему. Потом мы встречались редко, но всякий раз Дуров меня забавлял, восхищал, вдохновлял. Он был одним из самых фантастических людей, которых я встретил в жизни. На цирковой арене он хотел проповедовать, учить, давал научные объяснения, твердил о рефлексах и одновременно выезжал в своем ослепительном костюме на шестерке собак или верхом на свинье. А у себя на Божедомке, куда приходили ученые — Челпанов, Бехтерев, он вдруг прерывал серьезные объяснения клоунской шуткой. Был он по природе поэтом и поэзию нашел в мире четвероногих актеров.

Он часто путался, говоря с людьми. Материализм у него смешивался с толстовством, марксизм — с христианством. Научные труды он подписывал «Дуров-самоучка». Но по-настоящему легко и просто он чувствовал себя с животными. Он обращался к человеку с просьбой: «пусть он почувствует в животном личность, сознающую, думающую, радующуюся, страдающую».

В голове Владимира Леонидовича рождались фантастические планы.

В одной из книг Дурова приведен текст письма, полученного им в августе 1917 года: «Морской генеральный штаб рассмотрел предложение г-на Дурова о дрессировке им животных: морских львов и тюленей, для целей морской войны, и находит это предложение весьма интересным...» Письмо подписал начальник штаба, контр-адмирал. Легко догадаться, в каком состоянии находились тогда военные начальники, если они всерьез надеялись применить дрессированных тюленей против немецких подводных лодок...

Потом все встало на свое место. Идея мобилизации тюленей никого больше не соблазняла. В 1923 году Владимир Леонидович получил командировку в Германию и приобрел там морских львов. Он ими очень дорожил, ставил их выше собак. Помню, как он привел меня к бассейну и представил: «Илья Григорьевич, поэт и друг животных». Морские львы вылезли, начали аплодировать своими ластами и обдали меня ледяной водой. А Дуров говорил: «Если бы вы видели извилины их мозга...»

Дуров был убежден, что люди не понимают животных. Почему говорят «слепая курица»? Да курица видит ястреба задолго до того, как его заметит человек. Осел упрям? Ничего подобного: осла нещадно эксплуатируют, иногда он оказывает пассивное сопротивление. Свинья — чистоплотнейшее существо, и в грязи выкатывается, чтобы освободиться от паразитов; дайте ей чистое помещение, и она будет брезгливо отворачиваться от многих людей.

Почему все-таки не приняли предложения об использовании морских львов против подводных лодок? Почему никто не рассмотрел проекта, как с помощью ручных орлов поджигать бомбардировщики? Нет, с людьми очень трудно!

В давние годы, заболев, Дуров составил завещание, писал, что если он умрет, то на кладбище его должны сопровождать животные. Духовенство сочло такое пожелание кощунством. Ах, люди не понимают, что у живот-

ных есть душа! Прошло десять или пятнадцать лет, и слово «душа» исчезло, душу заменили «рефлексы». Но люди по-прежнему скептически улыбались. Физиологи, например, утверждали, что собаки не различают цвета предмета. Владимир Леонидович негодовал: «Все мои собаки могут отличить зеленый мяч от красного, даже начинающие щенки...»

Жена Дурова, Анна Игнатьевна, любила животных. Но Владимир Леонидович мне как-то печально рассказал, что в спальню имеют доступ только обезьяны, собаки, кошки и попугаи. Барсуку или гусю вход туда запрещен. «Неправильно... несправедливо...»

Однажды он пошел с очередной просьбой к Луначарскому; попросил подписать бумагу. Анатолий Васильевич ответил, что нужно проверить, подумать. Тогда из кармана Дурова выскочила его любимица, крыса Финька, и встала перед наркомом на задние лапы. Луначарский боялся крыс, крикнул: «Уберите!» Дуров вздыхал: «Не могу, Анатолий Васильевич, она за своих товарищей просит. Солидарность...»

Десять лет спустя в Париже он пришел в кафе «Куполь» тоже с крысой и очень удивился, когда дамы начали истерически вопить; он объяснял, что это крыса-артистка, но его не слушали.

Он шел в гости, говорил о научной работе, о прогрессе и неожиданно вынимал из кармана вместе с носовым платком сырую рыбу или кусок мяса: все его карманы были набиты угощением для зверей.

Глядя на людей, он думал о животных. Он описывает, как его тойтерьеры, радуясь, улыбаются и виляют задом, и добавляет: «Природа выражения ощущений во многих случаях одинакова. Возьмем хотя бы виляние задом. Я часто наблюдал, в особенности на балах, как молодой человек подходил к даме, виляя довольно заметно своим задом...»

Когда он приехал с Анной Игнатьевной в Париж, мы повели их в танцульку на улице Бломэ, куда приходили негры-студенты, художники, натурщицы. Владимир Леонидович внимательно следил за танцевавшими парами и вдруг радостно крикнул: «Мамочка, ты погляди: трутся животами — тот же рефлекс, что у попугаев...»

Анна Игнатьевна рассказала моей жене: «Я думала в Париже немного приодеться, но Володя купил жирафа. Жирафы очень дороги, потом, его нужно везти в специальном вагоне...»

Владимир Леонидович обожал шимпанзе Мимуса; он мне подробно рассказывал о его успехах: «Мимус научил-

ся произносить слоги, говорит несколько слов. Начинает писать; пока твердо усвоил только букву «о», теперь я показал ему «ш».

И вот случилось несчастье. Дуров должен был поехать на гастроли в Минск. Мимуса он берег, не показывал на арене; а взял с собой, чтобы ничего с ним не случилось. Обезьяна и перед этим часто хворала, она простудилась, схватила воспаление легких. Владимир Леонидович рассказал мне о ее конце: «Она спала в моей кровати в гостинице... Самое трудное — научить обезьяну быть чистоплотной в комнате. Котенок ведет себя прилично. А обезьяны рассеянные. Она знает, что ей нужно выйти, но ее отвлекает какая-нибудь забава — и вот в итоге пачкает... А Мимус никогда... Я вижу: он встает, берет туалетную бумагу, идет к ночному горшку. Не дошел — умер...» И в глазах Дурова показались слезы.

Я говорил, что трудно было порой понять его мировоззрение; но он страстно ненавидел войну, говорил об этом и на цирковой арене, и на научных заседаниях. В 1924 году он писал: «Советская Россия в свое время первая сделала смелый почин в деле разоружения и до сих пор открыто призывает брать с нее пример...» (Тяжело подумать, что с той поры прошло почти сорок лет, что была невиданная в истории война и что слова Дурова кажутся выписанными из свежего номера газеты...)

Вся жизнь Владимира Леонидовича была эксцентрикой и поэзией. В третьем классе Московской военной гимназии при экзамене по закону божьему сын дворянина, Дуров Владимир, вошел в класс на руках. Экзаменаторы не знали о богомольных жонглерах средневековья и прогнали дерзкого мальчика. В старости Дуров был окружен учеными; к его книге написали предисловие профессора Кожевников и Леонтович. Казалось, что у Владимира Леонидовича общего с «рыжими»? Но нет, он до конца оставался артистом цирка, проклинал арену и не мог без нее жить.

Когда Владимир Леонидович скончался — летом 1934 года, — похоронная процессия продвигалась с Божедомки к цирку. На катафалке сидела любимица Дурова, шотландская овчарка Рыжка. Тысячи людей приходили, чтобы проститься с клоуном, который смешил много поколений.

А собаки слушали, нюхали — ждали; ждали морские львы; ждал ворон, напрасно повторяя свое имя: «Воронок... Воронуша»... Дуров не приходил. Такого второго и не будет...

В начале 1921 года я как-то ехал с ним из ТЕО на Божедомку. Вез нас отощавший, но неунывающий верблюд. Дуров вдруг сказал мне: «Почему они на все отвечают «клоун... клоун»... Знаете, я вам скажу по секрету — клоуны самые серьезные люди...»

23

В очень холодный зимний день я встретил на Тверской С. А. Есенина; он предложил пойти пить настоящий кофе в таинственном месте, которое называл «Кисловкой».

Женщина, открывшая нам дверь, радостно защебетала: «Ах, Сергей Александрович! Я вас заждалась...» Судя по безделкам на комоде, по старым английским гравюрам, она была в прошлом состоятельной дамой, а теперь держала «подпольную» столовую для актеров, писателей и спекулянтов. Есенин что-то шепнул ей, и вскоре на столе появились кофейник, сахарница, пирожные, даже графинчик с ликером. Я жил, скорее, по-монашески и не подозревал о существовании подобных заведений. Увидев, что я изумлен, Есенин обрадовался, как ребенок: «Ну чем не парижское кафе?..»

Хозяйка похвалила его галстук, и он снова обрадовался. Он был в светлом пиджаке и черных лакированных ботинках. Форсил он, как деревенский паренек, и улыбался, когда прохожие его узнавали.

Выпили мы немного — графинчик был крохотным; но уходить из уютной теплой комнаты не хотелось. Есенин меня удивил: заговорил о живописи; недавно он смотрел коллекцию Щукина, его заинтересовал Пикассо. Оказалось, что он читал в переводе Верлена, даже Рембо. Потом он начал декламировать Пушкина:

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Вдруг обрушился на Маяковского: «Тит да Влас... А что он в этом понимает? Да если бы и понимал, какая это поэзия?..» Меня его слова не удивили: незадолго до того я слушал весь вечер в Политехническом музее, как Маяковский и Есенин друг друга ругали. Все же я спросил Есенина, почему его так возмущает Маяковский. «Он поэт для чего-то, а я поэт от чего-то. Не знаю сам от чего... Он проживет до восьмидесяти лет, ему памятник поставят... (Есенин всегда страстно жаждал славы, и памятники для него были не брон-

зовыми статуями, а воплощением бессмертия.) А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают. И все-таки я с ним не поменяюсь». Я попытался возразить. Есенин был в хорошем настроении и нехотя признал, что Маяковский — поэт, только «неинтересный». Он начал спорить с футуристами. Искусство вдохновляет жизнь, оно не может раствориться в жизни. Конечно, он, Есенин, писал похабные стихи на стенах Страстного монастыря, но это — озорство, а не программа. Народ? Уж на что был народен Шекспир, не брезгал балаганом, а создал Гамлета. Это не Тит и не Влас (он цитировал агитку Маяковского, где упоминались Тит и Влас). Он снова декламировал Пушкина, говорил: «Написать бы одно четверостишие такое — и умереть не страшно... А я обязательно скоро умру...»

На улице, когда мы прощались, Есенин сказал: «Поэзия не пирожные, рублями за нее не расплатишься...» Эти слова я запомнил — они меня поразили: в тот день я впервые увидел Есенина. А познакомились мы раньше, и стихи его я давно любил.

Осенью 1917 года в Петрограде меня позвала к себе молодая поэтесса М. М. Шкапская, которую я знал по Парижу. За столом сидел Н. А. Клюев в крестьянской рубахе и громко пил чай из блюдца. Он мне сразу показался актером, исполняющим в тысячный раз затверженную роль. Разговор иссякал, как пришел новый гость, молодой, красивый паренек, похожий на Леля из оперы; улыбаясь, он представился: «Есенин Сергей. Сережа...» У него были глаза ясные и наивные. Мария Михайловна попросила его почитать стихи. Я понял, что передо мной большой поэт; хотел с ним поговорить, но он, поулыбавшись, ушел.

Потом мы несколько раз встречались в Москве: говорили о стихах, о событиях. В отличие от Клюева он менял роли; говорил то об индоклаве, то о динамичности образа, то о скифстве; но не играть не мог (или не хотел). Часто я слышал, как, поглядывая своими небесными глазами, он с легкой издевкой отвечал собеседнику: «Я уж не знаю, как у вас, а у нас, в Рязанской...» В мае 1918 года он говорил мне, что нужно все повалить, изменить строение вселенной, что крестьяне пустят петуха и мир сгорит. Он подарил мне свою книгу с такой надписью: «Милому недругу в наших воззрениях на Русь и Бурю И. Эренбургу на добрую память от искренне любящего С. Есенина».

И вот после долгой беседы на Кисловке я увидел подлинного Есенина. Скольких он разыгрывал! Иванов-Разумник, прослушав его «Инонию», восхищался: «Вот подлин-

ный революционный субъективизм...» Различные «скифы» считали Есенина выразителем своей идеологии, и я помню, как в Берлине А. А. Шрейдер доказывал, что призыв Есенина «Господи, отелись» потрясет буржуазную Европу. А молодые поэты видели в Есенине создателя новой поэзии; «имажинизм» подавался не как одно из многочисленных литературных направлений, но как скрижали завета.

Неправильно было бы думать, что Есенин обманывал или, если угодно, мистифицировал других; часто он разыгрывал самого себя; различные чувства, обуревавшие его, требовали формы, и тогда он уступал себе: из тоски делал программу, из душевного смятения — литературную школу.

Маяковский подчинял свои настроения идее. Есенин мог (как он раз признался мне) «валять дурака» в «Домино» или в «Стойле Пегаса», но писал он, не задумываясь, как ему в ту минуту хотелось.

Признав в конце свое духовное поражение, он говорил:

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу Октябрю и Маю,
Но только лиры милой не отдам.

Он был счастлив.

Маяковскому пришлось бороться с непониманием, издевками одних, душевным холодом других, а Есенина понимали и любили при жизни. Была в его стихах та сердечность, то необыкновенное звучание, которые покоряли даже людей, против него настроенных, слыхавших о его нелепых кабацких похождениях. Он мечтал о славе, и он ею пресытился. Когда ему было двадцать пять лет, он в стихах обращался к своим родителям:

О, если бы вы понимали,
Что сын ваш в России
Самый лучший поэт!

Его полюбила знаменитая танцовщица Айседора Дункан, на танцы которой я с восхищением смотрел в гимназические годы. Она была на семнадцать лет старше его, но он обрадовался ее любви, как мировому признанию. Он хотел поглядеть мир и одним из первых пронесся по всей Европе, увидел Америку. Женщины в него влюблялись. Старые негры и парижские сорванцы ему сочувственно подмигивали. Горький плакал, когда он ему читал стихи. Он делал

все, что ему хотелось, и даже строгие блюстители советских нравов глядели сквозь пальцы на его буйные выходки.

И трудно себе представить человека более несчастного. Он нигде не находил себе места; тяготился любовью, подозревал в кознях друзей; был мнительным, неизменно считал, что скоро умрет. Я знаю объяснения досужих обывателей: «Спился». Но ведь нельзя принимать следствия за причину. Почему он спился? Почему надорвался в самом начале жизненного и поэтического пути? Почему столько неподдельной горечи даже в его ранних стихах, когда он не пил и не буянил? Говорят, что при нэпе выползли из щелей подонки, и тогда родилась «Москва кабацкая»; но «Исповедь хулигана» написана до нэпа, в ту зиму, когда Москва напоминала фаланстер или монастырь со строгим уставом. Почему Есенин повесился в возрасте тридцати лет, в зените славы, не услышав даже далеких шагов старости?

Мне приводилось читать, что драма Есенина — в его расхождении с эпохой. А по-моему, дело не в эпохе. Конечно, Есенин жил в очень трудные годы и не раз огрызался на время; но не раз он и объяснялся этому времени в любви. Революцию он принимал на свой лад: в 1921 году его еще прельщала стихия бунта, он мечтал написать поэму «Гуляй-поле». Мы с ним встретились незадолго до моего отъезда в Париж; он подарил мне свою книгу «Трерядница» и сделал на ней такую надпись: «Вы знаете запах нашей земли и рисуночность нашего климата. Передайте Парижу, что я не боюсь его, на снегах нашей родины мы снова сумеем закрутить метелью, одинаково страшной для них и этих». Это было весной 1921 года; но Есенину все еще мерещилась озорная вольница, которая носится на резвых конях по всей нашей планете.

Прошло сорок лет. Есенина у нас читают, любят, и никому не придет в голову задуматься над запутанным мотком его политических идей. Он писал в 1920 году:

Я хочу быть желтым парусом
В ту страну, куда мы плывем.

А пять лет спустя, незадолго до смерти, признавался, что на корабле он был не парусом, но одним из пассажиров:

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.
. . . .

Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!

Он промчался по Европе, по Америке и ничего не заметил. Он писал в письмах: «...Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство... Такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется...», «Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот...» Конечно, на Западе тогда был не только фокстрот, но и кровавые демонстрации, и голод, и Пикассо, и Ромен Роллан, и Чаплин, и много другого. Но состояние Есенина мне понятно. Дело не только в любви к березкам, о которой много писали, дело и в том, что он издали увидел во весь рост народ, ринувшийся к будущему.

Вернувшись в Россию, он попытался сделать выводы: «Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Однако я очень не люблю Америку. Америка — это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества». Он напечатал в газете очерк, наивный и беспомощный, но Америку окрестил необычайно точно «Железным Миргородом». Нужно напомнить, что было это в 1923 году, когда Леф прославлял красоту нью-йоркских небоскребов, когда был в моде НОТ (научная организация труда) — за два года до поездки в Америку Маяковского.

Есенин был прежде всего поэтом; исторические события, любовь, дружба — все это отступало перед стихами. Он обладал редким певческим даром. Для зоолога соловей — одна из птиц отряда воробьиных; но никакие описания птичьей гортани не могут объяснить, почему пение соловья издавна чаровало людей во всех краях мира. Никто не может объяснить, почему нас трогают многие стихи Есенина. Бывают поэты, полные высоких мыслей, блистательных наблюдений, страстных чувств, которые десятилетиями осваивают искусство передать другим свое духовное богатство. А Есенин писал стихи только потому, что родился поэтом:

Не каждый умеет петь.
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.
. . . .
Сие есть самая великая исповедь,
Которой исповедуется хулиган.

Глубокая грусть была свойственна поэтическому голосу Есенина: ее нельзя приписать эпохе, даже если эта грусть многое эпохе приписывала:

Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях, —
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.

Он сам знал, что в его тоске, в его одиночестве никто не повинен:

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.
Я никому здесь не знаком.
А те, что помнили, давно забыли...

Такие чувства могут возникнуть в любую эпоху. Может быть, поэтому стихи Есенина не стареют.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Или:

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
— Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!

Когда написаны эти строки? Сорок лет назад? Сто лет назад? Вчера? Не знаю. Не имеет значения.

В годы войны я часто слышал от молодых лейтенантов, попавших на передний край прямо со школьной скамьи, да и теперь мне говорят молодые люди: «Люблю Есенина». Мне это понятно. Молодые, если они не поэты и не особые любители поэзии, когда им радостно, легко на душе, редко берут с полки томик стихов; они идут на матч футбола, танцуют, гуляют с девушками, вслух мечтают или жарко спорят. Стихи им нужны в часы печали, и тогда на выручку приходит Есенин, который давно умер и о котором они ничего не знают, кроме самого важного: он писал за них и про них.

Он не писал о том, как делать стихи, никогда не приравнивал труд поэта к производству, но смешно уверять,

что он был наивным песенником. Да и были ли когда-нибудь такие? Пять веков ходила легенда о «бесхитростном поэте» Франсуа Вийоне, пьянице и преступнике, который писал, как ему господь бог на душу положит. Недавно Тристан Тцара сделал открытие: заключительные строки баллад Вийона — шифрованные, в них поэт рассказывает правду и о своих любовных горестях, и о своих преступлениях. Нужно воистину великое мастерство, чтобы строки, где каждая пятая или седьмая буква — шифр, показались естественными, чтобы никто не догадывался о трудностях шифровальщика. Есенин много раз говорил мне, что подолгу работает над стихом, черкает, рвет. Маяковский о нем сказал: «Звонкий забулдыга подмастерье». Есенин писал: «Я пришел, как суровый мастер...» (Прав был Есенин: «забулдыгой» он стал от печали, «звонким» никогда не был, а вопрос о звании — «мастер» или «подмастерье» — разрешен временем.) Есенин не раз себя называл «хулиганом»; но в одном он был почтителен: ценил мастерство. На что уж чужд ему был Брюсов, но, узнав о смерти Валерия Яковлевича, Есенин написал: «Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов. Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в развитии русского стиха...»

Поэзия Есенина мягка, человечна; нет в ней ни жестокости, ни душевного холода. Его стихи о собаке, у которой утопили щенят, написаны в годы войны, когда люди уже начали привыкать к равнодушию. Незадолго до самоубийства он написал стихотворение «Черный человек». Образ, видимо, навеян Пушкиным: «черный человек» преследует Моцарта. Но «черный человек» Моцарта — смерть. А Есенин узнал и угрызения совести; «черный человек» жесток, но поэт помнит об Айседоре Дункан:

Был он изящен,
К тому же поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину
Сорока с лишним лет
Называл скверной девочкой
И своею милою...
— Слушай, слушай! —
Хрипит он, смотря мне в лицо,
Сам все ближе
И ближе клонится, —
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

В жизни он бывал и нежен, трогателен, и несносен — в буйстве душевного разора. Я видал его мягким, спокойным, внимательным; видал и в состоянии, граничившем с помешательством. Мне не хочется рассказывать о том, что имеет большее отношение к патологии, чем к душевной структуре поэта.

В Берлине несколько раз я встречал его с Айседорой Дункан. Она понимала, что ему тяжело, хотела помочь и не могла. Она обладала не только бóльшим талантом, но и человечностью, нежностью, тактом; но он был бродячим цыганом; пуще всего его пугала сердечная оседлость.

Рядом с ним всегда бывали его спутники: имажинисты, Кусиков с гитарой или «крестьянские поэты», как будто сошедшие с лакированных коробок Палеха. Поэтов оттесняли просто пьяницы, довольные тем, что допущены к столу знаменитого человека.

Если футуризм, несмотря на желтую кофту и на лорнетку Бурлюка, был художественным и общественным явлением, то имажинизм мне всегда казался наспех сделанной вывеской для группы литераторов. Есенин любил драки; и как в гимназии «греки» дрались с «персами», так он охотно пошел к имажинистам, чтобы драться с футуристами. Все это даже не страница его биографии, а несколько сносок, способных заинтересовать только литературоведа.

Обиднее всего было видеть возле Есенина людей глубоко случайных, ту окололитературную банду, которая любила (да и поныне любит) пить чужую водку, греться у чужой славы и прятаться за чужой авторитет. Но не потому Есенин дошел до гибели, что вокруг него кружилась эта черная мошкара — он ее к себе притягивал. Он знал ей цену; но в том состоянии, в котором он находился, ему было легче среди людей, им презираемых.

В 1924 году у общих знакомых я видел в последний раз Есенина. Он много пил, был в плохом виде, хотел уйти — бушевать, скандалить. Несколько часов я его уговаривал, удерживал силой, а он уныло повторял: «Ну, пусти!.. Я ведь не против тебя... Я вообще...»

В одном из последних стихотворений Есенина есть такие строки:

Как не любить мне вас, цветы?
Я с вами выпил бы на «ты».
Шуми, левкой и резеда.
С моей душой стряслась беда.
С душой моей стряслась беда,
Шуми, левкой и резеда.

Все понимают, что левкой не дуб и резеда не липа, шуметь они не могут. И все-таки это хорошо, а почему хорошо, объяснить невозможно: такова поэзия. И, вспоминая Есенина, я всегда думаю: был поэт...

24

Когда я вспоминаю Александра Яковлевича Таирова, мне приходят в голову пушкинские стихи:

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Жизнь Таирова проста, как притча. Юношей он полюбил театр; стал актером в провинциальной труппе, оказался в Петербурге, познакомился с передовыми поэтами и художниками. Мейерхольд ставил «Балаганчик» Блока; Таиров играл роль Голубой маски. Но Таирова еще не было.

В 1914 году он организовал Камерный театр, который стал целью, содержанием, страстью его жизни. С ним рядом была замечательная актриса Алиса Георгиевна Коонен. Таирову тогда было без малого тридцать лет. Он боролся за театр, который ему казался самым передовым.

Он не был безучастен к огромным переменам, происшедшим в России. Он охотно отказывался от заблуждений; искал; неутомимый, работал с утра до поздней ночи. У Камерного театра было много друзей, много и недругов; и если снова вернуться к пушкинскому стихотворению, то можно сказать, что десятки лет недруги повторяли:

Он-де богу не молился,
Он не ведал-де поста...

В 1949 году недруги победили: Камерный театр исчез. Александру Яковлевичу было шестьдесят четыре года. Год спустя он умер. В ту далекую зиму, о которой я пишу, молодой Таиров показал «Принцессу Брамбиллу», прошедшую с большим успехом. Он начал работать над «Федрой»; выпустил книгу «Заметки режиссера», отстаивал свои позиции и от сторонников натуралистического театра, и от Мейерхольда. Он был окрылен. И печальные встречи конца сороковых годов не могут заслонить в моей памяти веселого и счастливого Таирова первых революционных лет.

Москва восхищалась веселым карнавалом на сцене. Декорации Якулова были ослепительны, сказочны. Актеры все время прыгали, дурачились, танцевали, шутили. Москва также хорошо понимала муки Адриенны Лекуврер. Сентиментальную мелодраму Скриба Таиров превратил в трагедию. Игра Алисы Коонен потрясала зрителей. Это может показаться удивительным: разжалобить людей тогда было трудно; к смерти все пригляделись. Смерть Адриенны трогала, вероятно, потому, что была не натуральной, как в пьесе Скриба, а преображенной искусством — не кончиной в клинике Склифосовского, а концом Эвридики или Офелии.

Таиров хорошо понимал две формы театрального представления: арлекинаду и трагедию. В годы, о которых я рассказываю, люди жили без промежуточных состояний; были веселье и отчаяние, пещерный быт и макеты XXI века.

Таиров не только был скромным в жизни, он и в искусстве подчинял свои мечты строжайшей дисциплине. Говорят, что чувство меры подрезает крылья романтике; это верно, когда речь идет о житейском расчете, о мещанском благоразумии. Но вспомним: даже художники неистовой поры романтизма хорошо знали, что такое чувство меры, — без него искусство превращается в ходульность, в ложный пафос, в истерику.

Александр Яковлевич не раз говорил со мной о своем понимании театра. Он ушел от бытовизма, от показа на сцене, как актеры натурально пьют чай или тихо позевывают. Он любил приводить историю, рассказанную знаменитым французским актером прошлого века Кокленом. Бродячий актер на ярмарке показывал, как кричит поросенок. Все восхищались, аплодировали. Но один нормандский крестьянин предложил пари — он сделает это не хуже актера. Хитрый нормандец спрятал под свою одежду живого поросенка и стал его щипать. Поросенок кричал, но все присутствующие шикали — они нашли, что крестьянин не умеет подражать поросенку. Таиров знал, что такое искусство, и не признавал театра, стремящегося имитировать жизнь. Он часто говорил: «Театр должен стать театральным»; на первый взгляд это нелепо, как «вода должна быть жидкой». Но ведь кругом были театры, отказавшиеся от понятия «зрелище». А Таиров не верил ни в описательную поэзию, ни в литературную живопись, ни в театр, напоминающий комнату, у которой почему-то ампутировали четвертую стену.

Таиров не отрицал значения драматурга или роли художника; но он хотел, чтобы все элементы на сцене были подчинены одному — театру.

Вначале он отдал дань декадентству: поставил «Саломею». Этой пьесой увлекался не он один. Таиров ее поставил в 1917 году, Марджанов — в 1919-м. Никто потом не вспоминал о грехах Марджанова, а Таирову «Саломею» не хотели простить. Между тем декадентством переболели в свое время многие. Я слышал, как А. В. Луначарский в 1909 году восхищенно декламировал самые наидекадентские стихи Бальмонта. Брюсов не только писал в молодости декадентски-эротические стихотворения, не только вешал на стены Ропса, он восторгался поэзами Игоря Северянина, который, хоть и называл себя «эгофутуристом», был декадентом для парикмахеров и невзыскательных шаркунов. На сцене Художественного театра стоял декадентский «Некто в сером» и, как чревовещатель на ярмарке, глухо объявлял: «Человек родился». В Малом театре ставили злополучную «Саломею». Все это быстро забылось. Но есть люди, которые, видимо, рождаются под несчастливой звездой. Таиров проделал большой и сложный путь, а когда он лежал в гробу, на гражданской панихиде один из режиссеров по бумажке еще припоминал его былые заблуждения...

Когда его просили рассказать или написать о своей жизни, он начинал перечислять постановки: это был человек одной страсти. Нельзя о нем рассказывать, не рассказывая о Камерном театре. Это был прекрасный театр, но который тоже родился под несчастливой звездой. Начну с того, что его неудачно окрестили. (Я встречал много людей, страдавших оттого, что родители дали им претенциозное или неблагозвучное имя — нежного юношу Тита, опытного инженера Каина, кокетливую девушку Конституцию.) В 1914 году слово «камерный» звучало, как «студия», — оно указывало, что молодой театр, преисполненный дерзаний, не рассчитывает на коммерческий успех. Имя осталось; и в течение тридцати лет недоброжелатели его обыгрывали. «Камерный — значит интимный, домашний, театр для знатоков, для гурманов...» (Название театра для многих было попросту непонятным. Александр Яковлевич рассказывал, что в каком-то сибирском городе, где театр гастролировал, его спрашивали перед началом спектакля: «У вас только камерники или есть вольнонаемные?» — считали, что выступает кружок тюремной самодеятельности.)

Таирова ценили и защищали многие — и Луначарский, и старые актеры Малого театра, и М. Кольцов в «Правде», и рядовые зрители. А. В. Луначарский, восхищаясь постановкой «Федры», писал, что во многом Камерный театр приблизился к старому театру середины XIX века, к «великолепному Каратыгину». Я рассказал, как меня рассмешил старый французский актер Муне-Сюлли, который, наверно, играл, как некогда играл Каратыгин. Когда я гоготал над игрой Муне-Сюлли, я был мальчишкой, не понимавшим, что такое искусство. Прошли годы. И вот я увидел Алису Коонен в «Федре». Я не смеялся. Я узнал ту полноту искусства, от которой становится легко и немного страшно. (Может быть, нечто подобное чувствуют люди, впервые поднявшись над сферой земного притяжения.)

Я бывал на гастролях Камерного театра в Париже, в Берлине, видел восхищение зрителей. Таиров осмелился повезти во Францию расиновскую «Федру» и победил. Антуан и Пикассо, Леже и Жемье, Кокто и Жан Ришар Блок восторженно отзывались о спектаклях Камерного театра. В Японии о Таирове до сих пор вспоминают актеры театра «Кабуки». Кажется, немногие художники сделали столько для того, что на газетном языке называется «развитием культурных связей».

Камерный театр нельзя себе представить без Алисы Коонен. Эта добрая, душевная женщина на сцене терзала сердца зрителей; кто раз ее видел, помнит глаза, руки, голос. Она как будто пришла в театр из другого века, не знала прошлого или будущего. Люди были большими, большими были дела, но когда в тысячах театров подымался занавес, на сцене хлопотливо барахтались инженю, первые любовники, комические старухи, резонеры. И вдруг пришла актриса трагедии, и пришла она в ту эпоху, которую никто не назовет эпохой комедии нравов или семейных драм.

Александр Яковлевич в жизни никак не походил на актера, разговаривал просто, сдержанно, всегда владел собой. Я видел, как в дни большой беды он аккуратно шел за кулисы, и перед актерами был спокойный, чисто выбритый, невозмутимый Таиров.

Признаюсь, я не театрал; но я не могу забыть многих спектаклей в Камерном — от давней «Принцессы Брамбиллы» до «Госпожи Бовари», поставленной в эпоху упадка, в 1940 году. За них я признателен Таирову и Коонен: они меня часто поддерживали своим мастерством. Они меня поддерживали и своей дружбой; я знал черный ход

в Камерный театр — квартиру, где они жили; любая обида смягчалась их участием и лаской.

В 1949 году Таирова направили на работу в чужой театр. Он был человеком большой дисциплины, ждал работы, но ее не оказалось.

В давней книге, вспоминая о начале своей театральной деятельности, Таиров писал: «Когда на улицах Москвы появились, наконец, первые афиши с заголовком «Камерный театр», то мы просили прохожих читать нам их вслух, чтобы с непреложностью убедиться, что это действительно быль, а не мираж». В последние недели своей жизни больной Александр Яковлевич тихонько выходил из дому. Беспокоясь за него, близкие проследили, куда он идет. Он доходил до стены, на которой были расклеены театральные афиши, долго и внимательно их разглядывал. Афиши Камерного театра не было...

25

Как-то зимой, раздобыв несколько листов бумаги, я попытался начать тот роман, о котором давно мечтал; написав несколько строк, я порвал лист. Время не благоприятствовало романам. Дело не в холоде и голоде (хотя, признаться, я часто мечтал о куске мяса). Дело даже не в различных заседаниях, на которых мы просиживали дни. Слишком близки и слишком грандиозны были события. Романист не стенографистка, ему нужно опомниться, подумать, отойти на несколько шагов (или на несколько лет) от того, что он хочет описать.

Кажется, в 1920 году в России не было написано ни одного романа. То было время стихов и литературных манифестов. Я думаю сейчас о писателях моего поколения, о Сейфуллиной, Фурманове, Лавреневе, Паустовском, Малышкине, Федине, Бабеле, Тынянове, Пильняке. Они воевали, демобилизовывались, выполняли различные задания, кочевали, правили чужие статьи, заседали, читали лекции, писали фельетоны, за крупные произведения почти все сели несколько позднее.

Роман, пережитый, продуманный, но не написанный, способен извести. Мне казалось, что стоит мне сесть в каком-нибудь парижском кафе, попросить у официанта кофе, несколько бутербродов, бумагу, и книга будет написана.

Я хотел написать сатирический роман, показать довоенные годы, войну, революцию; но последняя глава была закрыта туманом. Как я ни старался, я не мог себе пред-

ставить, что делали люди на Западе, пока русские низвергали, жгли, проектировали, дрались на десяти фронтах, голодали, болели сыпняком и бредили будущим. Я говорил себе, что круг должен быть завершен и что необходимо взглянуть на послевоенный Париж.

(Я много думал о книге. Я думал не только о ней. Моя молодость прошла в Париже; я полюбил этот город, оставил там много друзей. Порой я тосковал по Парижу и не хочу об этом умолчать.)

Однажды я рассказал про это моему давнему другу по большевистской школьной организации, рассказал не как о реальном пожелании, а скорее как о мечте и очень удивился, когда меня вызвали в Наркоминдел и предложили заполнить анкету.

Хотя я жил в Третьем общежитии Наркоминдела, я никогда не заглядывал в дом, куда привез осенью тюки с печатями. Не знаю, чем занимались многочисленные сотрудники этого комиссариата (некоторых я встречал в коридорах общежития). Наверно, заседали. Ведь дипломатических отношений с другими государствами в ту пору почти не было. Потерпев поражение в попытках низвергнуть Советскую власть, правительства западных держав пытались убедить если не себя, то других, что России нет. (Германская республика признала существование Советской России только в 1922 году, Англия и Франция — в 1924-м, а Соединенные Штаты — в 1933-м.)

В приемной Наркоминдела бушевала немолодая, но чрезвычайно темпераментная женщина. Она истерзала секретаря наркома, а потом почему-то накинулась на меня: «Они не имеют никакого права! Можете спросить любого адвоката. У меня швейцарский паспорт, я не позволю со мной так обращаться!.. Я не буржуйка, я служила гуверанткой, меня нужно ограждать. Конечно, у меня сбережения в золоте, я не сумасшедшая, чтобы держать бумажки, когда они каждый день падают. Я напишу в Берн, я этого так не оставлю...» С трудом я от нее освободился и сел за анкету.

На вопрос о цели моей поездки за границу я ответил: «Хочу написать роман». Секретарь улыбнулся и заставил меня все переписать, продиктовал: «Художественная командировка».

Прошло еще несколько недель, и комендант общежития, товарищ Адам, сказал, что меня вызывают в Чека; увидев мое волнение, он добавил: «С главного подъезда — к товарищу Менжинскому».

В. Р. Менжинский был болен и лежал на чересчур короткой кушетке. Я думал, что он начнет меня расспрашивать, не путался ли я с врангелевцами; но он сказал, что видел меня в Париже, спросил, продолжаю ли я писать стихи. Я ответил, что хочу написать сатирический роман. Поскольку разговор зашел о литературе, я поделился с ним сомнениями: печатается слишком много ходульных стихов, а вот Блок замолк... Менжинский иногда улыбался, кивал головой, иногда хмурился. Вдруг я спохватился: человек занят, да еще плохо себя чувствует, а я затеял дискуссию, как в Доме печати... Менжинский сказал: «Мы-то вас выпустим. А вот что вам скажут французы, не знаю...»

Я получил заграничный паспорт с латвийской визой; такой же паспорт дали моей жене.

Был яркий весенний день. Сугробы оседали, рушились, ползли. Капало с крыш. Звонко кричали мальчишки.

Весна в Москве необычайна; ничего подобного не знают жители благословенного юга; это не смена времен года, а исключительное событие в жизни любого человека; и хотя сегодняшняя Москва мало напоминает ту, по которой я шел в апреле 1921 года, весны те же, одна похожа на другую, и каждая ни на кого и ни на что не похожа. Нужно пережить длиннущую зиму, в декабре, просыпаясь, зажигать свет, мерзнуть, видеть землю неизменно закутанную в саван, нужно в марте слепнуть от метелей для того, чтобы по-настоящему оценить оттепель, ледоход, шумное новоселье жизни.

Именно в такой буйный солнечный день, возвращаясь в «Княжий двор» с заграничным паспортом, я вдруг задумался: вот я уезжаю...

Трудно было оторваться от московской жизни; может быть, потому, что эта жизнь была очень трудной. После того как Мейерхольд ушел из ТЕО, заседания в детской секции, где мы продолжали по инерции разрабатывать различные проекты, начали мне казаться бессмысленными. Куда разумнее попытаться написать роман. И все же мне было трудно уехать: я понимал, что настоящая жизнь — здесь, в Москве...

В тот ли день или в один из последующих, не помню, но было это незадолго до отъезда, я долго и настойчиво убеждал себя: пора подвести итоги!

«Подвести итоги» — это было одной из последних наивностей уходившей молодости. Я не знал, что мне понадобится не час и не два для того, чтобы осознать все значение тех лет, когда я метался по неприветливым улицам Москвы,

по раскромсанной, растерзанной России, воспитывал «мофективных» детей, спорил о «левом искусстве», отчаивался, шутил, голодал, добывал хлеб или махорку. Мы все тогда говорили в стихах или в прозе об «исторической эпохе». А живя изо дня в день, эпохи не видишь: деревья заслоняют лес, и лес не дает возможности разглядеть отдельное дерево.

Сейчас мне хочется оглянуться назад, задуматься над давнишним клубком надежд и сомнений.

Я говорил, что история делается не по щучьему велению; она делается и не по той безупречной логике, которой сильна наука. Мальчишкой я часто слышал в кружке П. Г. Смидовича, что путь к социализму откроет пролетариат передовых индустриализированных стран.

В 1946 году один рабочий, проживавший в «Железном Миргороде», или, говоря точнее, в Детройте, сказал мне: «Почему вы все время говорите об американских капиталистах, о монополиях, об эксплуатации? Вы думаете, мы не знаем этого? Знаем. Но нам с нашими капиталистами живется лучше, чем вам без капиталистов...» Отсутствие классового сознания? Конечно. Но не только это — другое отношение к жизни, культ благополучия, страх перед подвигом, перед жертвами, перед неизвестностью.

Так или иначе, первым государством, где победила социалистическая революция, была Россия с ее отсталой промышленностью. Из трех граждан молодой Советской республики двое вместо подписей ставили крестики. В 1918 году мне привелось побывать в деревнях Московской и Тульской губерний. В избах можно было увидеть кресла, обитые плюшем, граммофоны, даже пианино, вывезенные из усадеб или полученные от горожан за мешок картошки. А люди еще жили жизнью дореволюционной деревни, описанной Чеховым и Буниным. Было много жестокости, невежества, темноты. Жгли библиотеки. Ненавидели горожан («дармоеды»), иные радовались, что города умирают от голода. Может быть, этим частично объясняется смятение, порой овладевавшее левой интеллигенцией и нашедшее свое выражение в статьях Горького.

Молодежь, пришедшая в город и захваченная вихрем событий, легко воспринимала упрощенные идеи крайних «пролеткультовцев», будущих «напостовцев». Мне не раз приходилось слышать: «Чего усложнять?.. Интеллигентщина, гниль... Газету читал? Значит, ясно. А «почему», «зачем» — буржуйские разговоры... Нечего голову ломать...»

Осенью 1920 года В. И. Ленин обратился к комсомольцам с такими словами: «Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании полученных им гото-

вых выводов, не производя серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень печален. И такое верхоглядство было бы решительным образом губительно».

Я говорил о жажде знания, которая тогда охватила миллионы юношей и девушек. Народ раскрыл букварь. Нужно сказать и о тех, кто учил грамоте, кто читал лекции по истории или по геологии, кто спасал книги от огня, отстаивал здания музеев и, голодая, может быть, сильнее всех, защищал культуру, — о русской интеллигенции. Я говорю, конечно, не о той ее части, которая уехала за границу и там пыталась опорочить свой народ, но об интеллигенции, принявшей Октябрьскую революцию и в то же время полной сомнений. Когда перечитываешь первые рассказы Всеволода Иванова, Малышкина, Пильняка, Н. Огнева, ранние стихи Тихонова, становится ясным, что эти сомнения вытекали из той жажды критически подойти к фактам, о которой говорил Ленин.

На Страстной площади висел плакат: «Да здравствует электрификация!» Под этим плакатом Есенин однажды прочитал мне монолог Пугачева:

О Азия, Азия! Голубая страна,
Обсыпанная солью, песком и известкой.
Там так медленно по небу едет луна,
Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой.
Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо
Скачут там шерстожелтые горные реки?
Не с того ли так свищут монгольские орды
Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?

Уж давно я, давно я скрывал тоску
Перебраться туда, к их кочующим станам,
Чтоб разящими волнами их сверкающих скул
Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана.

Стихи были хорошие. Но я сейчас думаю не о стихах. По стране рыскали банды. В деревнях обстреливали продотряды. Поля стояли незасеянными. Возле вокзалов уже бродили беспризорные дети. Города голодали: смертность быстро возрастала.

Все это кажется теперь давней историей. «Голубая Азия» увлечена индустриализацией, и ей помогает в этом Советский Союз. Если еще в конце тридцатых годов некоторые западные политики называли наше государство «колоссом на глиняных ногах», то вскоре они убедились, что ноги у «колосса» вполне доброкачественные.

Этим летом в моем саду цвели чудесные рудбекии, большие и яркие, как звезды древних мозаик; семена я купил в Париже у знаменитого селекционера Вильморэна, и назывались они русским словом «Спутник».

Когда я гляжу на Москву, я не могу себе представить, что это город, где прошло мое детство. Едешь к Внукову и каждый раз дивишься — растут уже не дома, а улицы, кварталы

Конечно, у нас умеют лучше сделать реактивный самолет, чем обыкновенную кастрюлю; научатся делать и кастрюли. Но теперь западные политики только и говорят, что о баллистических ногах «колосса».

По своей природе я принадлежу к людям, которых называют «Фома неверный». (Прилагательное может сбить с толку: Фома был очень верным и, по христианской легенде, стойко перенес пытки; но он был не верящим на слово — захотел проверить правильность того, о чем ему рассказали, то есть критически подойти к факту.) В те годы, над которыми я сейчас размышляю (1920—1921), у меня было немало сомнений, но эти сомнения не походили на разговоры людей, считавших, что Россия разваливается, что придут варяги — носители порядка, что дело закончится умеренно либеральным буржуазным строем. В одном я не сомневался: в победе нового социального строя.

Быт был страшен: пша или вобла, лопнувшие трубы канализации, холод, эпидемии. Но я (как и все люди, с которыми я дружил) знал, что народ, победивший интервентов, победит и разруху. Несколько месяцев спустя я сел за свой первый роман. Хулио Хуренито, рассказывая о необычайном городе будущего, стальном, стеклянном и организованном, восклицает: «Так будет! Здесь, в нищей, разоренной России, я говорю об этом, ибо строят не те, у кого избыток камня, а те, кто эти невыносимые камни решается скрепить своей кровью...»

Сомнения мои были связаны не с мыслями о доме, а с мыслями о людях, которые будут в этом доме жить. В пьесе Юрия Олеши героиня составляет два списка: в один она заносит «благодеяния» революции, в другой — ее «преступления». Потом она осознает свою ошибку, и пьеса озаглавлена «Список благодеяний». Я таких списков не составлял ни на бумаге, ни мысленно: жизнь сложнее начальной логики, многие преступления могут привести к благодеяниям, и есть благодеяния, чреватые преступлениями.

(Говоря о теневых сторонах нашей жизни, порой добавляют — «пережитки капитализма». Иногда это верно, иногда нет. Яркий свет усиливает тени, и хорошее может

сопровождаться некоторыми дурными последствиями. Возьму наиболее примелькавшийся пример — бюрократизм; о нем писал В. И. Ленин, и о нем продолжают говорить наши газеты сорок лет спустя. Разве бумажная водянка, гипертрофия регистрирующих, обсуждающих, проверяющих, скрепляющих — это только пережитки? Разве такое заболевание не связано с развитием организации, учета, контроля производства, то есть с вещами прогрессивными и правильными?)

Помню, как уборщица в Военно-химической школе, молодая деревенская девушка, пела частушку:

Наживу себе беду —
В сортир без пропуска пойду.
Я бы пропуск рада взять,
Только некому давать.

Я засмеялся, потом задумался.

Рабочий хорошо знает, что машина, даже самая сложная, сделана человеком и человеку служит. В 1932 году я был на строительстве Кузнецкого комбината. Люди, пришедшие из деревни, глядели на машины с ненавистью или с благоговейным ужасом; одни ломали станки — если машина не работала, они налегали в сердцах на рычаги, как хлестали в деревне замученного конягу; другие почтительно называли доменную печь «Домной Ивановной», мартеновскую — «дядей Мартыном».

Конечно, я прежде всего думал о судьбе искусства. Диаграмма, висевшая в кабинете В. Я. Брюсова, меня не только удивила, но и напугала. Литература была квадратами, кругами, ромбами — винтами огромной машины.

Однажды я поделился с Луначарским моими сомнениями. Он ответил мне, что коммунизм должен привести не к однообразию, а к многообразию, что творчество художника нельзя подогнать под один образец. Анатолий Васильевич говорил, что есть «держиморды», которые не понимают природы искусства. Год спустя он написал статью в журнале «Печать и революция» и в ней прибег к тому же определению; говоря, что в переходное время необходима цензура, он продолжал: «Человек же, который скажет: «Долой все эти предрассудки о свободе слова, нашему коммунистическому строю соответствует государственное руководство литературой, цензура есть не ужасная черта переходного времени, а нечто присущее упорядоченной, социализированной социалистической жизни», — тот, кто сделает из этого вывод, что самая критика должна пре-

вратиться в своего рода донос или в пригонку художественных произведений на примитивно революционные колодки, тот покажет только, что под коммунистом у него, если его немного потереть, в сущности, сидит Держиморда и что, сколько-нибудь подойдя к власти, он ничего другого из нее не взял, как удовольствие куражиться, самодурствовать и в особенности тащить и не пущать...»

Еще не было журнала «На посту». Еще устраивались одновременно выставки художников различных направлений — от Бродского до Малевича. Еще Мейерхольд неистовствовал неподалеку от Художественного театра. А мне все мерещилась диаграмма с квадратами и ромбами...

Мы осторожно, как рыбу, ели восьмушку колючего хлеба. Полонская писала:

Но грустно мне, что мы утратим цену
Друзьям смиренным, преданным, безгласным:
Березовым поленьям, горсти соли,
Кувшину с молоком и небогатым
Плодам земли, убогой и суровой...

В те годы мы все были романтиками, хотя и стыдились этого слова.

Я спорил не с эпохой, а с самим собой. В моих мыслях было много путаного. Я ведь стоял за индустриальную эстетику, за планированную экономику, ненавидел хаос, лицемерие, позолоту капитализма (его я знал не по книгам) Но не раз я спрашивал себя: что станет в новом, более разумном и более справедливом обществе с разнообразием человеческих характеров, не подменят ли усовершенствованные машины, восхваляемые мною, искусство, не подавит ли техника смутных, но дорогих людям чувств?

Сорок лет спустя я напечатал в «Комсомольской правде» письмо ленинградской девушки, которая рассказывала о превосходном инженере, презирающем искусство, равнодушном к трагедии Глезоса, сухом к матери и к товарищам, считающем, что любовь в атомный век — анахронизм. В той же газете я прочитал письмо специалиста по кибернетике; он издевался над девушкой, способной «плакать в подушку», над людьми, которые в наше время восхищаются музыкой Баха или поэзией Блока.

Многие из моих сомнений 1921 года были наивными и опровергнуты жизнью; многие, но далеко не все...

Пуще всего я боялся равнодушия, механизации не производства, а чувств, захирения искусства. Я знал, что лес вырастет, и думал о судьбе живого, теплого дерева, с его

сложной корневой системой, с причудливыми ветвями, с кольцами сердцевины.

Может быть, такие мысли приходили ко мне, потому что в тридцать лет я готовился сдать экзамен на право называться писателем. Конечно, я не знал, какие трудности меня ждут; но мне было ясно, что дело не только в том, как построить роман или как отчеканить фразу. В одном из писем Чехов говорил, что дело писателя — вступаться за человека. Это звучит просто, и, однако же, это очень трудно...

26

Время тогда шло быстро, а поезда ходили медленно. До Риги мы ехали долго, можно было многое передумать.

В соседнем купе разместились наши дипкурьеры. Я поглядел на мешки с сургучными печатями и улыбнулся. У нас был только ободранный чемодан, а в нем журналы «Уновис», «Искусство Коммуны», «Художественное слово», книги Маяковского, Есенина, Пастернака.

Когда наконец мы доползли до Себежа, дипкурьер сказал нам: «Товарищи, скоро латвийская граница. Там буфет, помните о советском престиже — не набрасывайтесь на еду...» Я решил не выходить из вагона.

В Ригу мы приехали вечером, и, втащив чемодан в маленькую гостиницу, я сказал Любе: «А теперь в ресторан...» Я оглядывался, как будто шел на нелегальную явку: неудобно — скажут, советский гражданин только приехал и сразу ужинать...

Не знаю, были ли порции большие или мы отвыкли от еды, но я не смог одолеть даже половину бифштекса. Мне стало грустно: вот кусок мяса, о котором я столько мечтал, а я не могу больше есть...

Нелегко было унять психологический голод. Пообедав, я останавливался возле булочной или колбасной — разглядывал хлебцы различной формы, сосиски, пирожки. Так смотрят любители на редкие безделки в витрине антиквара. Я изучал меню, вывешенные у входа в многочисленные рестораны; названия блюд звучали, как стихи.

Я захватил с собой паспорт, выданный мне представителем Временного правительства в 1917 году, чтобы доказать французам, что я проживал в Париже. Документ этот успел обветшать и напоминал музейный экспонат. Когда я протянул французскому консулу советский паспорт, он отдернул руку, как будто я совал ему раскаленный утюг. Рваную бумажку он прочитал и сказал с отвращением: «Вы

были политическим эмигрантом? Это не рекомендация...» Он спросил, чем я занимался в Москве и почему хочу направиться в Париж. Я ответил добродушно, что последние месяцы я помогал Дурову дрессировать кроликов, а в Париже собираюсь написать толстую книгу. Консул мрачно сказал: «Не думаю, что вы ее напишите в Париже».

Я отправил письма друзьям, жившим в Париже: просил похлопотать о визах. Я успел отъесться и перестал разглядывать колбасы. Знакомых в Риге у меня не было. Зарядили холодные дожди. Однажды пришел печальный человечек, сказал, что он открывает издательство, хочет печатать советских авторов, показал мне различные рукописи и купил мой сборник стихов «Раздумья». Иногда я заходил в наше посольство, читал «Правду», спорил с секретарем, которому нравились имажинисты. Французский консул мне отвечал однообразно: «Как я и думал, для вас ничего нет...»

Визы пришли, когда я потерял надежду. Консул наотрез отказался поставить их на советские паспорта и выдал особые пропуска. Я пошел в немецкое консульство, чтобы получить транзитные визы. Консул очень удивился, что я, будучи советским гражданином, получил французскую визу. Это показалось ему подозрительным, и он сказал, что не может пропустить нас через Германию. Пришлось выбрать очень сложный маршрут: на пароходе до свободного города Данцига, оттуда морем в Копенгаген и дальше через Лондон в Париж.

В Данциге нас выпустили в город. На узких, средневековых улицах толпились спекулянты, торговавшие различной валютой.

Датчане нас задержали и посадили в машину. Я решил, что нас везут в тюрьму; но отвезли нас в баню и, пока мы мылись, одежду подвергли дезинфекции. Это можно было объяснить: в России еще свирепствовал тиф. А вот в Лондоне полицейские меня приняли за сумасшедшего только потому, что на вопрос, как нам удалось бежать из России, я ответил, что мы уехали с заграничными паспортами.

В следующих частях моей книги я расскажу о жизни Западной Европы в годы после первой мировой войны; а когда я ехал из Москвы в Париж, мне было не до наблюдений. Хотя я хорошо знал Запад, все меня ошеломляло. Вещей было слишком много. Люди казались сонными и равнодушными.

В Копенгагене мы были первого мая. По улицам прошла чинная демонстрация; пели и жевали бутерброды. Перед ратушей объевшиеся голуби, казалось, не могли

взлететь с земли. Возле королевского дворца стояли часовые в высочайших шапках. В рабочих кварталах люди толпились у лавчонок и, видимо, были озабочены не ликвидацией капитализма, а покупкой маргарина, входившего в моду.

В Лондоне имелись тоже дворец и тоже часовые в огромных шапках. В Гайд-парке какой-то крикун объяснял прохожим, что в Фиуме и в Вильно нарушены права человека и что британцы должны опекать свободу. Я вспомнил английских солдат на улицах Феодосии и пошел дальше.

Наконец я добрался до «Ротонды». Все было на месте. Какой-то художник, поздоровавшись со мной, сказал: «Что-то вас давно не было видно. Уезжали?» — и, не дожидаясь ответа, начал рассказывать местные сплетни.

Хозяин гостиницы «Ницца», где я прожил много лет, вернулся с фронта невредимым. Мы дружески обнялись.

Да, все было, как прежде. Но я был другим... Происшедшую со мной перемену я понял, только очутившись в «Ротонде». Вещи, которые прежде мне казались естественными, теперь меня удивляли, порой злили. Париж был прекрасен; восхищенный, я бродил по набережным Сены, обошел все места, где протекала моя молодость. С городом мне было легко; куда труднее с людьми. Я не знал, как объяснить им, что́ произошло с нами в России.

Я уехал из Парижа в лето жестоких боев, и мне трудно было понять, что парижане как будто забыли годы войны; о недавнем прошлом напоминали только рекламы туристических компаний — «Дешевые экскурсии в Верден. Осмотр полей сражений».

Одна из газет объявила конкурс: «Какой маршал пользуется наибольшей любовью французов». Мужчины на улицах были странно одеты: пиджачки в талию, выпуклая грудь; благонравные отцы семейств выглядели педерастами. Я увидел впервые фокстрот; парочки тряслись, как заводные куклы.

Все, о чем я рассказываю, показательно не столько для Парижа 1921 года, сколько для моего душевного состояния. Я написал стихи (с архаизмами, которые продолжали меня пленять, несмотря на увлечение «левым искусством»):

...Да, страна моя, не зная меры,
Скарб столетий на костер снесла.
Не согреет темные пещеры
Тусклая остывшая зола.
Да, конечно, радиатор лучше...
Что же, Эренбург, попав в Париж,

Это щедрое благополучье
В холеные оды претвори.
Но язык России дик и скорбен,
И не русский станет славить днесь
Триумфатора, что мчится в «форде»
Привкус смерти трюфелем заесть...

Впрочем, в русских, готовых прославить «великодушных хозяев», недостатка не было. Эмиграция еще не поняла, что́ ей предстоит на чужбине. Страсти гражданской войны еще не успели остыть. В Париже выходила газета Бурцева «Общее дело», Россию в ней называли не иначе как «совдепией». Помню одно сообщение, напечатанное в этой газете: уцелевших зверей московского Зоологического сада кормят телами расстрелянных. Зинаида Гиппиус обвиняла всех оставшихся в России в том, что они «продались большевикам», — и Блок продался, и Белый, и даже А. Ф. Кони... Бунин, с которым я встретился у Толстого, не захотел со мной разговаривать. А милейший Алексей Николаевич растерянно и ласково ворчал: «Ты, Илья, там набрался ерунды...» Как только я говорил, что выехал с советским паспортом, эмигранты отворачивались, одни возмущенные, другие с опаской.

Дружески меня встретили бывшие «ротондовцы»: я говорю «бывшие», потому что старая «Ротонда» исчезла; я это понял через два или три дня после приезда. Дело было не только в том, что сменился владелец кафе. Сменилась эпоха. Художников или поэтов вытесняли иностранные туристы. Бестолковая жизнь былых лет стала модным стилем людей, игравших в богему. Вокруг «Ротонды» были другие кафе, старые и новые, где укрывались некоторые ветераны и куда приходили новички. В кафе «Дом» я нашел старых друзей — Фотинского, Диего Риверу, Маревну, Цадкина. Иногда в «Ротонду» заглядывал Леже. В кафе «Селект» сидели молодые американцы; я их не знал и много лет спустя, познакомившись с Хемингуэем, узнал, что в «Селекте» он обдумывал свой первый роман.

Я рассказывал о московских выставках, о постановках Мейерхольда, читал на память стихи Маяковского, Есенина, Пастернака.

Пикассо меня обнял и сразу заявил: «Ты знаешь, мое место там. Что мне делать во Франции мосье Мильерана?» Альбер Глез рассказал, что он выставил недавно панно «Проект росписи одного из московских вокзалов». Леже мечтал работать в московском театре. Диего Ривера

спрашивал, как ему пробраться в Россию. Поэт Андре Сальмон прочитал мне свою поэму, озаглавленную русским словом «Приказ», в ней он прославлял подвиг русского народа.

Буржуазная Франция, казалось, могла бы несколько успокоиться: опасные годы были позади. Демобилизованные успели забыть о солдатских бунтах. Волна забастовок спадала. Но на стенах еще можно было увидеть плакаты, изображавшие страшнейшего человека, который держит нож в зубах: это был тот бука, которым правящие круги пугали среднего француза. Пропаганда была не очень сложной: коммунисты — это азиаты, дикари, они провели национализацию женщин и заставляют всех маршировать по команде. Был довод сильнее «национализации женщин» — русские займы, сбережения средних французов, купивших в банке выгодные бумаги. «Плакали наши денежки», — причитали рантье со злобой, с отчаянием.

Да и неправильно было бы сказать, что французская буржуазия успела отдышаться. Правда, во Франции было спокойно, но всего полгода назад в соседней Италии рабочие захватывали один завод за другим. Всего два месяца назад газеты писали о восстании в Саксонии. На стенах Парижа можно было увидеть надписи — краской, углем, мелом: «Да здравствуют Советы!»

Я был во Франции весной 1946 года. Буржуазия тогда тоже нервничала. Ей не нравилось, что в рабочих предместьях Парижа муниципалитеты называли улицы именем Сталина. Но «холодная война» только-только начиналась, официально Советский Союз еще числился союзной державой, и на церемонии переименования улиц представители правых партий со смешанным чувством ненависти, страха и почтения приветствовали «великого маршала».

В 1921 году во Франции не было улицы Ленина; но Ленин как будто жил в рабочих предместьях. Он был не маршалом, а человеком, который много лет провел в Париже, которого некоторые встречали, помнили. Удивительная история о том, как человек в рабочей кепке стал главой огромной загадочной страны, как русские рабочие, голодные, раздетые, со старыми винтовками, отбили атаки интервентов, ходила по парижским предместьям и не давала спать победителям.

Я начал понимать, что мои первые, поверхностные впечатления были обманчивыми. На Западе было много нового. Я купил брошюру — популярное изложение теории относительности. Меня увлекла новая книга Блеза Санд-

рара «Светопреставление», иллюстрированная Леже, — сатира, показывающая конец капиталистического мира и похожая на киносценарии.

Я увидел несколько фильмов Чарли Чаплина, который успел стать знаменитым. На выставке Пикассо тридцать холстов спорили один с другим, и все они были объединены неукротимой потребностью выразить пластически новую эпоху. Я понял, что мне нужно многое прочитать, посмотреть, продумать.

Диего обрадовался, узнав, что герой моего романа будет мексиканцем. Он собирался в Италию, но сказал, что расскажет мне о той обстановке, в которой прошло детство и ранняя молодость Хулио Хуренито.

Я купил блокнот и решил сесть за роман. Однако в мои литературные планы неожиданно вмешались французские власти. Товарищ Менжинский был прав...

Не знаю в точности причин моей высылки. Когда я спросил, почему меня высылают, чиновник префектуры мне ответил: «Франция — самая свободная страна в мире. Если вас выселяют, значит, на это имеются резоны...» Одному из приятелей, который хлопотал об отмене высылки, сказали: «Но вы не знаете — он занимался большевистской пропагандой». Вероятно, на террасе кафе, где я встречался с друзьями, сидели секретные осведомители; французы их называют «мухами»; они действительно назойливы, как осенние мухи, но мухи живут недолго; а осведомители порой переживают не только смену министров, но и смену режимов.

Рано утром ко мне явился плюгавый человек с тусклыми глазами и жидкими усиками, который показал мне значок — агент префектуры. Другой шпик задержал мою жену. Хозяин гостиницы негодовал: «Мне стыдно за Францию!..» На шпиков это не произвело никакого впечатления. Меня отвезли в префектуру и там объявили, что мы должны сегодня же покинуть Францию.

— Но куда мы можем поехать без виз? — наивно спросил я.

— Ближайшая граница — бельгийская.

— У нас нет бельгийских виз.

— Вы их и не получите. Бельгийцы вас отошлют назад — на французскую границу.

— И тогда?

— Тогда мы вас задержим за незаконный переход границы. Вы отбудете наказание, и вас тогда уж не выселят, а вышлют.

Я не понял различия между двумя понятиями: «выселение» и «высылка». Чиновник разъяснил:

— До границы вы проследуете в обыкновенном вагоне за свой счет. Вас будет сопровождать наш сотрудник в штатском. А когда вас вышлют, вы сможете не беспокоиться о билетах — вас отправят до границы под конвоем. Сейчас вы свободны. Вас будет только сопровождать наш сотрудник...

— Но когда бельгийцы нас вернут и когда я отсижу положенное, куда вы нас вышлете?

— В ту же Бельгию.

Я понял, что из нас хотят сделать футбольные мячи, которыми будут играть французы и бельгийцы. Это показалось мне мало соблазнительным. Все же нужно было пообедать. Мы пошли в ресторан напротив «Ротонды» и там встретили знакомого скульптора. Мы рассказали, что нас высылают. Он побежал в «Ротонду», в «Дом», и вскоре мы оказались окруженными десятком друзей. Все возмущались. Шпики сидели за соседним столиком и ели с аппетитом: к тому, что они «грязные флики» (так называют французы полицейских), они давно привыкли, ибо слышали это ежедневно, а в ресторане Бати кормили хорошо, и у «фликов» были подотчетные на подобного рода расходы.

Я подумал о том, что приказ о моем выселении подписал толстяк Бриан, один из самых умелых ораторов, парламентский соловей, и развеселился. В годы войны я был ему представлен как корреспондент «Биржевых ведомостей». Он спел мне короткую, но нежную арию... Теперь я напугал Бриана. Как зайцы Дурова, я начинал понимать, что я — грозный зверь.

Поезд уходил поздно вечером. На вокзале один из шпиков сказал, что купит для нас билеты: «Конечно, в третьем классе?..» Мы приехали в третьем классе, но тон шпика меня рассердил, и я ответил: «Конечно, в первом...» Пожалуй, это нас и выручило.

В купе были трое: Люба, я и шпик, который вышел на французской границе. Я посоветовал Любе лечь и прикинуться спящей. Вошел бельгийский жандарм; я ему жестом показал на Любу — не нужно ее будить. Бельгиец добродушно кивнул головой: к пассажирам первого класса полицейские относятся с уважением. Я показал полуистлевший лист — паспорт 1917 года. Тщетно жандарм искал бельгийскую визу. Сложив осторожно лист, он шепнул: «У вас чересчур старый паспорт, нужно его обменять». Я тоже

шепотом ответил: «Вы правы, я собираюсь это сделать в Брюсселе...»

Футбольный матч не состоялся — мы спокойно поехали дальше.

27

В Брюсселе, напротив Южного вокзала, мы увидели две гостиницы: одна называлась «Провидение», другая «Упование». Мы не хотели терять надежду и направились в «Упование»; но там нас попросили заполнить карточки, в которых имелся коварный вопрос о въездных визах.

Моя молодость прошла в архаическую эпоху, когда не было ни гражданской авиации, ни радиовещания, ни виз. Самолеты — изобретение замечательное; радиоприемник бывает полезен, притом его не обязательно включать — это дело вкуса; но вот визы никак нельзя отнести к открытиям, облегчающим жизнь человека. Не берусь подсчитать, сколько в жизни я потратил на них времени, сил, нервов. Причем визы бывают разные, как бактерии; их можно разделить на классы, на семейства: есть въездные и выездные, транзитные с остановкой или без остановки, однократные и многократные, с указанием пограничного пункта или без; разобраться в них нелегко; еще труднее их получить.

Мы поспешно вышли из вестибюля гостиницы; вместо ответа на вопрос о въездных визах я поставил игривую черточку. Наша ночная удача могла кончиться крупными неприятностями средь бела дня: мы проникли в Бельгию без въездных виз.

Я рассказывал, что перед войной в Париже я издавал поэтический журнальчик «Вечера» вместе с ростовчанином Немировым. У него была очень милая жена, веселая, чуть раскосая, певунья. Ее звали Марусей. Вскоре она разошлась с Немировым; во время войны я часто встречал ее на юге Франции. Перед моим отъездом в Россию мне рассказали, что Маруся вышла замуж за бельгийского поэта Элленса.

Выйдя из гостинцы, я думал об одном: как разыскать Элленса? Адресного стола в западных странах не существует — люди хотят спокойствия, и о том, кто где живет, знают только господь бог да полиция. В телефонном справочнике Элленса не оказалось (я не знал, что Элленс — псевдоним). Я зашел в книжный магазин; мне сказали, что здесь торгуют серьезными книгами, а не стихами. Я начал

изучать витрины книжных лавок и нашел такую, где красовалась книга Элленса; я радостно вбежал в магазин, но ничего не добился: мне предложили написать письмо на адрес издательства. Я не мог объяснить, что, пока письмо дойдет до Элленса, я буду уже не в гостинице «Упование», а в обыкновенной каталажке.

Мне повезло: в пятом или в десятом магазине я набрел на любителя поэзии, который оказался сердобольным. Он мне сказал, что я найду Франса Элленса в палате представителей; его фамилия Ван Эрменгем, и он заведует парламентской библиотекой. У меня сразу выросли крылья: парламент — не «Ротонда»!

Элленс и Маруся приняли нас, как старых друзей. Я бубнил про визу. Маруся вспоминала прошлое. Элленс молчал и нежно улыбался. Ему было сорок лет; на суровом северном лице светились глаза мечтателя и ребенка.

Элленс рассказал одному из министров, что я — поэт, меня почему-то выслали из Франции и я хочу провести несколько месяцев в Бельгии, чтобы написать книгу. Формальности заняли две недели. Я бродил по Брюсселю, очень шумному возле биржи и очень тихому в старых кварталах, где много пепельно-черных домов с позолотой, опрятных старух и неторопливых мечтателей, которые после конца рабочего дня курят трубки и бледными глазами смотрят на бледное небо.

Я подружился с Элленсом. Это удивительно чистый и печальный человек. Он прежде всего поэт, не только потому, что писал и пишет стихи, а потому, что его проза, да и вся его жизнь пропитаны эссенцией поэзии.

Весной, когда мы познакомились, он писал роман «Басс-Бассина-Булу» — так он назвал негритянского бога, который стоял в его комнате. В романе этот бог, мудрый и наивный, всесильный и бессильный, попадает из дебрей Африки в Европу и рассказывает с грустной иронией о том, что делается вокруг. Я читал письмо Горького об этой книге, оно продиктовано не простой вежливостью, а любовью. (Познакомились они позднее — в 1925 году, в Сорренто; и в другом письме Горький вспоминал глаза Элленса, в которых, несмотря на суровость, угадываешь детскую печаль и нежность.) «Басс-Бассина-Булу» понравился Стефану Цвейгу, он написал предисловие к немецкому переводу этой книги.

Я много рассказывал Элленсу о Москве. Он увлекся стихами Есенина и с помощью Маруси начал их переводить на французский язык.

Потом я иногда встречал Элленса — в Париже, в Брюсселе. Шли годы; прошла жизнь. Все теперь другое; а Элленс тот же: дети не старятся, мечтатели не изменяют, — значит, и не изменяются...

Элленс как-то познакомил меня с художником Пермеке, теперь известным всем любителям живописи, а тогда еще причисляемым к «молодым» (ему было тридцать пять лет; но из жизни художника выпали годы войны; он был тяжело ранен при защите Антверпена, выжил наперекор прогнозам). Не знаю, в чем объяснение — в крепости традиций или в особенности пейзажа Фландрии, точнее, ее света, но бельгийцы — прекрасные живописцы. Незачем говорить о Мемлинге или Ван-Эйке, достаточно взглянуть на холсты Энзора. Пермеке почему-то причисляли к экспрессионистам, хотя в нем не было пренебрежения к живописи ради литературной выразительности. Он любил писать рыбаков, обветренных и угрюмых, крестьян прибрежной полосы, матерей, старух. Его длинные пейзажи показывают плоскую землю — едва возвышается то стог сена, то одинокое и обязательно приземистое, прибитое ветрами дерево; огромную роль играет небо, зеленоватое или свинцовое. Его натуре были присущи беспокойство, трагизм. Я надолго потерял Пермеке из виду; встретились мы четверть века спустя, незадолго до его смерти. Я поехал к нему — он жил возле Остенде, — большой, больной, одинокий: он потерял жену, с которой прожил жизнь. На стене мастерской висел холст, который я не могу забыть: Пермеке написал жену в кровати, когда она умерла, красками выразил свое душевное состояние.

Я все ждал ответа министра. Под окном «Упования» до поздней ночи кружились карусели и шарманки старались перекричать одна другую.

Наконец я получил разрешение на пребывание в Бельгии. Был июнь, мы поехали на побережье, в местечко Ля-Панн, возле французской границы. Гостиницы пустовали — до каникул оставалось несколько недель. Кое-где на побережье попадались развалины: дома, разрушенные во время войны, еще не были отстроены. Море было большим и рассерженным; в отлив оно уходило вдаль, затаив злобу, а потом яростно кидалось прямо к гостинице.

Когда море уходило, на песке оставались водоросли, морские звезды и много обломков дерева. Я машинально подымал их — вспоминал, как в Коктебеле искал на берегу куски дерева, для того чтобы зажечь мангалку...

Кругом были песчаные холмы — дюны, кое-где поросшие колючей серой травой. Эти холмы путешествуют: ветер сгоняет и нагоняет пески. Подымаясь на дюны, я видел Францию.

Я работал с утра до поздней ночи в маленькой комнате с окошком на море. «Хулио Хуренито» я написал за один месяц, писал как будто под диктовку. Порой уставала рука, тогда я шел к морю. Неистовый ветер валил стулья на пустых террасах кафе. Море казалось непримиримым. Этот пейзаж соответствовал моему состоянию: мне казалось, что я не вожу пером по листу бумаги, а иду в штыковую атаку.

Писать я не умел. В книге много ненужных эпизодов, она не обстругана, то и дело встречаются неуклюжие обороты. Но эту книгу я люблю.

Говорят, будто все авторы любят свою первую книгу. Это неверно. Я знаю писателей, которые не выносят, когда при них вспоминают их ранние произведения. Да что говорить о других: мне смешон и противен мой первый сборник стихов. О времени, когда я писал стихи про маркизов, я вспоминаю с нежностью, даже о типографе, а стихи скверные и, главное, чужие. Люблю я «Хулио Хуренито» потому, что эта книга, при множестве недостатков, написана мною, мною пережита, это действительно моя книга.

Я много раз как писатель обезьянничал. Я рассказывал о подражательности моих ранних стихов. Но вот позднее, вскоре после «Хуренито», я стал жертвой той литературной моды, которая тогда свирепствовала. Как некоторых моих литературных сверстников, меня соблазнили ритмическая проза Андрея Белого и причудливый синтаксис Ремизова. То, что у этих писателей было органично, у меня походило на пародию. Я не могу перечитывать иные из книг того периода: все время хочется поставить прилагательные и существительные на место. «Хулио Хуренито» написан порой неуклюже, но просто, нет в нем словесных вывертов.

Я узнал из критических статей, что мой роман — подражание «Кандиду». Должен, к стыду, признаться, что «Кандида» я прочитал только после этих статей; в молодости я читал много, но бестолково, да и до сих пор в моих литературных познаниях большие провалы. Однако догадки критиков мне понятны. В «Хуренито» сказались годы молодости, прожитые во Франции. Конечно, рабочие на товарной станции Вожирар, как и я, не читали «Кандида», но в их шутках нашли выражение те же черты французской иронии, которые нас покоряют в книгах Вольтера. Да

и, может быть, автор «Кандида» повлиял на формирование национального гения Франции.

Я люблю «Хуренито», потому что я написал его по внутренней необходимости: я ведь еще не считал себя писателем. Книгу эту я вынашивал долго. Может быть, в ней недостаточно литературы (не было опыта, мастерства), но нет в ней никакой литературщины.

Я написал много книг и далеко не все из них люблю. О некоторых я редко вспоминаю, не перечитываю их. Для молодых читателей я как писатель родился в годы второй мировой войны. О «Хуренито» помнят у нас предпочтительно пенсионеры, а он мне дорог: в нем я высказал много того, что определило не только мой литературный путь, но и мою жизнь. Разумеется, в этой книге немало вздорных суждений и наивных парадоксов; я все время пытался разглядеть будущее; одно увидел, в другом ошибся. Но в целом это книга, от которой я не отказываюсь.

В «Хуренито» я клеймил всяческий расизм и национализм, обличал войну, жестокость, жадность и лицемерие тех людей, которые ее начали и которые не хотят отказаться от войн, ханжество духовенства, благословляющего оружие, пацифистов, обсуждающих «гуманные способы истребления человечества», лжесоциалистов, оправдывающих ужасное кровопролитие. Я подписываюсь и теперь под этими мыслями; и если я ненавижу расизм и фашизм, если нахожу силы, чтобы участвовать в борьбе за мир, то потому, что человек за полвека снашивает много костюмов, но остается при этом самим собой.

В «Хуренито» я показывал ханжество мира денег, ложную свободу, которую регулирует чековая книжка мистера Куля и социальная иерархия мосье Дэле, установившего шестнадцать классов даже для погребения. За двенадцать лет до прихода к власти Гитлера я вывел герра Шмидта, который «может быть одновременно и националистом и социалистом», который говорит французам и русским: «нам необходимо вас организовать», «колонизировать Россию, разрушить как можно основательнее Францию и Англию... Мы оставим голую землю... Убить для блага человеческого одного умалишенного или десять миллионов — различие арифметическое. А убить необходимо...» Если бы я не написал этого в 1921 году, то в 1940 году не сумел бы написать «Падение Парижа».

Я иногда ошибался, иногда видел достаточно ясно. Задолго до печей Освенцима и Бабьего Яра в книге напечатано следующее объявление: «В недалеком будущем со-

стоятся торжественные сеансы уничтожения иудейского племени... В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов, также реставрированные в духе эпохи: сожжение иудеев, закапывание живьем в землю, опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы «эвакуации», «очистки от подозрительных элементов» и пр. и пр.».

Я знал, что «Хулио Хуренито» должен вызвать гнев блюстителей порядка: «Какой консул положит теперь на мой паспорт визу? Какая мать семейства пустит меня на порог своего дома, где живут честные юноши и чистые девушки?» Меня не удивило, что белые эмигранты встретили мой роман с возмущением. Но огонь был перекрестным: «напостовцы» называли «Хуренито» не иначе как «клеветой на революцию». Почти в каждом номере их журнала к моему имени добавлялось «клеветник».

В предыдущей главе я рассказывал о моем страхе перед механизацией чувств, перед регламентацией творчества. Эти мысли нашли отражение в «Хуренито». Одни опасности я тогда преувеличивал, других не видел. Критики меня называли «циником», «нигилистом», а если следовало меня в чем-либо обвинить, то скорее в гипертрофии романтики.

«Хулио Хуренито» читатели читали, критики ругали, ругали крепко и длительно: говоря о моих последующих книгах, всегда припоминали первый роман как главную улику. Мне случайно попался номер «Нового мира», вышедший тридцать пять лет назад; в нем статья обо мне, длинные цитаты из «Хулио Хуренито» и выводы: «Разбитая в открытой схватке, русская буржуазия борется духовно... Эренбург служит своему классу по-настоящему... Эренбург — последыш буржуазной культуры... История русской литературы ничего бы не потеряла, если бы Эренбург «не пожелал» сделаться писателем...» Я привел выдержки из статьи, пожалуй, наиболее мягкой.

В 1924 году в Киеве я пошел на спектакль — инсценировку «Хулио Хуренито». На сцене показывали Илью Эренбурга, у него на плечах сидел американец мистер Куль и покрикивал: «Живей, живей, моя буржуазная кляча...» Мой тесть, доктор Козинцев, возмущался, а мне было смешно.

Конечно, бывали часы, когда я огорчался: на меня падали снаряды не врагов, а своих. Но, к счастью, в тот период снаряды были бумажными. Постепенно я привык к различным обвинениям; выработался частичный иммунитет

нитет, который впоследствии не раз спасал меня от полного отчаяния.

Нападали и на форму моего первого романа. Мне думается, что она раздражала не погрешностями языка, а непривычностью. С той поры критики неизменно утверждают, что я журналист, который пишет романы, как фельетоны; по их мнению, я незаконно вторгся в художественную литературу. Для меня же вторжение газеты в роман было связано с поисками современной формы повествования. Есть люди, которые считают, что детальное описание внешности героя или ландшафта позволяет сухим тезисам обрасти плотью, передовой статье стать новеллой или романом. А это, говоря откровенно, принудительный ассортимент, освещение театральными прожекторами затянувшегося заседания. Право же, «Былое и думы» с бóльшим правом могут быть причислены к «чистому искусству», нежели «Накануне»...

В 1922 году «Хуренито» был издан в Берлине издательством «Геликон», в Москве — Государственным издательством. Мне было приятно, что моя книга понравилась Маяковскому, что о ней одобрительно отозвались некоторые писатели Петрограда, которых я ценил. (В 1942 году А. Н. Толстой в одной из статей вспомнил о моих сатирических романах и добрым словом помянул «Хулио Хуренито».) Позднее я прочитал в воспоминаниях Н. К. Крупской о том, как принял мой первый роман В. И. Ленин; это было для меня большой моральной поддержкой.

Вскоре «Хуренито» вышел по-немецки, изданный коммунистическим издательством, по-французски с предисловием Пьера Мак-Орлана, на других языках.

Я стал профессиональным писателем.

Но я снова забегаю вперед. Вот я кончил последнюю страницу «Хуренито». На ней я написал: «Довольно обильная седина, частые перебои сердца, слабость утешают меня — я миновал уже трудный перевал...»

Я вышел к морю. Ревел прибой. Была ночь, и вдали метались огоньки рыбацких суденышек. Я шел против ветра; мне было тревожно и весело.

О многом человек и писатель может догадаться, но далеко не обо всем. Седые волосы видишь в зеркале, когда бреешься, а в будущее заглянуть труднее. Я не понимал, что впереди еще много труднейших перевалов и что ветер не уляжется, пока бьется сердце...

Книга третья

1

Поздней осенью 1921 года после сытого и спокойного Брюсселя я увидел Берлин. Немцы жили, как на вокзале, никто не знал, что приключится завтра. Продавцы газет выкрикивали: «Бе Цет! Последний выпуск! Коммунистическое выступление в Саксонии! Подготовка путча в Мюнхене!» Люди молча читали газету и шли на работу. Владельцы магазинов каждый день меняли этикетки с ценами: марка падала. По Курфюрстендамму бродили табуны иностранцев: они скупали за гроши остатки былой роскоши. В бедных кварталах разгромили несколько булочных. Казалось, все должно рухнуть, но дымили трубы заводов, банковские служащие аккуратно выписывали многозначные цифры, проститутки старательно румянились, журналисты писали о голоде в России или о благородном немецком сердце Людендорфа, школьники зубрили летопись былых побед Германии. На каждом шагу были танцульки «диле»; там методически тряслись отощавшие парочки. Грохотал джаз. Помню две модные песенки: «Вы любите ль бананы» и «Моя черная Соня» («Шварце Сониа»). В одной из танцулек хриплый тенор выл: «Завтра светопреставление...» Светопреставление, однако, со дня на день откладывалось.

Келлерман выпустил роман о революции в Германии — «9 ноября». Не знаю, скажет ли что-нибудь эта дата молодым читателям. 9 ноября 1918 года кайзер поспешно отбыл в Голландию, и социал-демократы объявили республику. В министерствах, однако, сидели прежние сановники и чиновники, швейцар почтительно говорил: «Добрый день, господин тайный советник». Я остановился в пансионе на Прагерплац; рядом был широкий проспект Кайзераллее; я пошел бродить по городу и попал на огромную

площадь, она называлась Гогенцоллернплац. В комнатах пансиона висели портреты усатого Вильгельма.

Я подружился с поэтом Карлом Эйнштейном. Это был веселый романтик, лысый, с огромной головой, на которой красовалась шишка. Он рассказывал, что был на Западном фронте солдатом и заболел психическим расстройством. Он напоминал мне моих давних друзей, завсегдатаев «Ротонды», и любовью к негритянской скульптуре, и кощунственными стихами, и тем сочетанием отчаяния с надеждой, которое уже казалось воздухом минувшей эпохи. Карл Эйнштейн написал пьесу о Христе. Его предали суду за богохульство. Я пошел на судебное разбирательство. Происходило это в полутемном, мрачном зале. Обычно понятие религиозного фанатизма связывают с католицизмом, с папскими буллами, с инквизицией. Однако медика Сервета сожгли не католики, а кальвинисты, которых католики считали вольнодумцами, — сожгли за то, что он не связывал функций организма с провидением. Эксперты на процессе Карла Эйнштейна цитировали труды просвещенных теологов XX века.

(В 1945 году я увидел размолотый войной Берлин. От здания, где когда-то судили Карла Эйнштейна, оставалась стена, на которой русский сапер написал, что район очищен от мин.)

В Берлине 1921 года все казалось иллюзорным. На фасадах домов по-прежнему каменели большегрудые валькирии. Лифты работали; но в квартирах было холодно и голодно. Кондуктор вежливо помогал супруге тайного советника выйти из трамвая. Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории. Катастрофа прикидывалась благополучием. Меня поразили в витринах магазинов розовые и голубые манишки, которые заменяли слишком дорогие рубашки; манишки были вывеской, доказательством если не благоденствия, то благопристойности. В кафе «Иости», куда я иногда заходил, бурду, именуемую «мокка», подавали в металлических кофейниках, и на ручке кофейника была перчаточка, чтобы посетитель не обжег пальцев. Пирожные делали из мерзлой картошки. Берлинцы, как и прежде, курили сигары, и назывались они «гаванскими» или «бразильскими», хотя были сделаны из капустных листьев, пропитанных никотином. Все было чинно, по-хорошему, почти как при кайзере.

Как-то вечером мы шли с В. Г. Лидиным, который только что приехал из Москвы. Кафе закрывались рано: «поли-

цайштунде» был остатком военных лет. К нам подошел человек и предложил провести в ночное кафе — «нахтлокаль». Мы ехали в метро, долго шли по скудно освещенным улицам и наконец оказались в добропорядочной квартире. На стенах висели портреты домочадцев в офицерской форме и картина, изображавшая закат солнца. Нам дали шампанское — лимонад с примесью спирта. Потом пришли две дочки хозяина, голые, и начали танцевать. Одна из них разговорилась с Владимиром Германовичем; оказалось, ей нравятся романы Достоевского. Мать с надеждой поглядывала на иностранных гостей: может быть, они соблазнятся ее дочками и заплатят — разумеется, в долларах, с марками беда, за ночь они снова упадут. «Разве это жизнь? — вздыхала почтенная мамаша. — Это светопреставление...»

Незадолго до моего приезда в Берлин исступленные националисты убили одного из руководителей партии центра — Эрцбергера. Приверженцы монархического союза «Бисмарк», не стесняясь, одобряли убийство. Законники делали вид, что изучают параграфы уложения, социал-демократы стыдливо вздыхали, а будущие эсэсовцы учились стрелять в живую цель.

Все это не мешало выдавать катастрофу за естественную, хорошо налаженную жизнь. Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами, обожженными огнеметами, носили большие черные очки. Проходя по улицам столицы, проигранная война не забывала о камуфляже.

Газеты сообщали, что из ста новорожденных, поступающих в воспитательные дома, тридцать умирают в первые дни. (Те, что выжили, стали призывом 1941 года, пушечным мясом Гитлера...)

«Уфа» поспешно изготовляла кинокартины; они были посвящены всему, кроме минувшей войны. Зрители, однако, требовали аффектации страданий, исступленной жестокости, трагических развязок. Я случайно попал на съемку одного фильма. Героиню отец пытался замуровать, любовник бил ее плеткой, она кидалась вниз с седьмого этажа, а герой вешался. Режиссер рассказал мне, что в картине будет и другой, счастливый конец — для экспорта. Не раз я видел, с каким восхищением глядели бледные, тщедушные подростки на экран, где крысы загрызали человека или ядовитая змея жалила красавицу.

Я смотрел выставки «Штурма»; передо мной были не холсты, не живопись, а истерика людей, у которых вместо

револьверов или бомб оказались кисти и тюбики с красками. В моих заметках остались названия нескольких холстов: «Симфония крови», «Радиохаос», «Цветная гамма конца света». Душевный разлад требовал выхода, и то, что критики называли «неоэкспрессионизмом» или «дадаизмом», было куда более связано с памятью о битве на Сомме, с восстаниями и путчами, с манишками на голом теле, чем с живописью. У вдохновителя «Штурма» Вальдена было лицо осунувшейся птицы и длинные космы. Он любил говорить о двойниках, об интуиции, о конце цивилизации. В картинной галерее, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме, угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками — их приносили из соседнего кафе.

Я поехал в Магдебург; фасады домов, трамваи, газетные киоски были щедро покрыты все той же истерической живописью. Во главе строительного управления города стоял талантливый архитектор Бруно Таут. Корбюзье вдохновлялся геометрией. Что ж, он жил во Франции... А Бруно Таут жил в стране, где все путалось: голод и спекуляция, вчерашние мечты о Багдаде и завтрашний поход в Индию, «пивные путчи» и рабочие восстания. (После прихода к власти Гитлера Бруно Таут уехал в Японию и обрадовался, увидав там современную архитектуру — традиционные японские дома, светлые и голые.)

Я помнил полотна супрематистов на улицах Москвы и все же в Магдебурге растерялся. Как бы ни был непривычен, порой сух язык Татлина, Малевича, Поповой, Родченко, то был язык искусства. В немецкой живописи меня стесняла литературщина, да и полное отсутствие чувства меры: холсты вопили.

Помню обложку стихов Газенклевера: человек с отчаянным лицом кричит. В поэзии свирепствовала инфляция прорицаний; и Верфель и Унру сулили миру гибель. А на улице прохожие, равнодушные к поэзии, подозрительно молчали.

Я встречался с Леонгардом Франком. Ему исполнилось сорок лет, он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей: стоит людям поглядеть друг другу в глаза, улыбнуться — и сразу исчезнет злое наваждение. Да и потом он мало менялся; ничто не могло его ожесточить. Я встречал его в годы фашизма в Париже, после войны, когда, проживая в Западной Германии, он приезжал в Берлин и дружески беседовал с писателями ГДР. Одна из его книг называется «Человек хорош»; это очень

субъективная оценка — Франк узнал, что такое эсэсовцы, но он-то сам действительно был хорошим человеком.

Артур Голичер потрясал седыми кудрями. «Ты увидишь — не пройдет и года, как рабочий Берлин протянет руку Москве...»

В квартале, облюбованном иностранными мародерами и новыми богачами, которых звали «шиберами», помещалось «Романишес кафе» — приют писателей, художников, мелких спекулянтов, проституток. Там можно было увидеть итальянцев, убежавших от касторки Муссолини, венгров, спасшихся от тюрем Хорти. Там венгерский художник Моголи Надь спорил с Лисицким о конструктивизме. Там Маяковский рассказывал Пискатору о Мейерхольде. Там итальянские фантазеры мечтали о международном походе рабочих на Рим, а ловкачи покупали или продавали мелкие купюры долларов. Солидные бюргеры, направляясь в воскресенье на богослужение в Гедехтнискирхе, пугливо поглядывали на «Романишес кафе» — им казалось, что напротив церкви разместился штаб мировой революции.

Западный Берлин и тогда был «западным»: это связано не только с ветрами истории, но и обыкновенными ветрами: в Берлине, в Лондоне, в Париже западные районы облюбованы богатыми людьми — обычно ветры дуют с океана и заводы размещаются на восточных окраинах.

В западном Берлине надеялись на Запад и в то же время его ненавидели: мечты о защите против коммунистов смешивались с мечтами о реванше. В витринах магазинов можно было увидеть надписи: «Здесь не продают французских товаров»; это редко соответствовало действительности, и жене шибера не приходилось ломать себе голову над вопросом, где купить духи Герлена: патриотизм отступал перед жаждой наживы. Однако московскому Камерному театру, когда он приехал в Берлин на гастроли, пришлось переименовать французскую оперетку «Жирофле-Жирофля» в «Близнецов», а «Адриенну Лекуврер» — в «Морица Саксонского».

В восточном и северном Берлине можно было порой услышать «Интернационал». Там не торговали долларами и не оплакивали кайзера. Там люди жили впроголодь, работали и ждали, когда же разразится революция. Ждали терпеливо, может быть слишком терпеливо... Я видел несколько демонстраций. Шли ряды хмурых людей, подымали кулаки... Но демонстрация заканчивалась ровно в два часа — время обедать... Помню разговор с одним рабо-

чим. Он мне доказывал, что число членов в его профсоюзе возрастает, значит, пролетариат победит. Страсть к организации — почтенная страсть; однако в Германии она мне казалась чрезмерной. (В 1940 году я увидел Берлин без автомобилей — берлинские машины носились по дорогам Европы: третий рейх завоевывал мир. Но прохожие, увидев красный свет, цепенели, никто не осмеливался перейти пустую улицу.) Мой собеседник в 1922 году жил начальной арифметикой. А на дворе была эпоха Ленина и Эйнштейна...

В пивной на Александерплац я впервые услышал имя Гитлера. Какой-то посетитель восторженно рассказывал о баварцах: вот кто молодцы! Скоро они выступят. Это свои люди, рабочие и настоящие немцы. Они всех приберут к рукам: и французов, и евреев, и шиберов, и русских... Соседи запротестовали, но сторонник некоего Гитлера упрямо повторял: «Я говорю как немец и как рабочий...»

Марка продолжала падать; когда я приехал, газета стоила одну марку; вскоре приходилось платить за нее тридцать. Открыли новую линию метро. В «диле» парочки танцевали до изнеможения, танцевали старательно, будто выполняли тяжелую работу. Ллойд-Джордж заявил, что немцы выплатят репарации до последнего пфеннига. Смертность на почве хронического недоедания возрастала. Все говорили о Стиннесе и Шпенглере. Стиннеса знали хорошо: он был некоронованным кайзером, властителем Рура, Гефестом нового Олимпа. Мало кто читал труды Шпенглера, но все знали название одной из его книг — «Закат Западного мира» (по-русски перевели «Закат Европы»), в которой он оплакивал гибель близкой ему культуры. На Шпенглера ссылались и беззастенчивые спекулянты, и убийцы, и лихие газетчики, — если пришло время умирать, то незачем церемониться; появились даже духи «Закат Запада».

То и дело вспыхивали забастовки. В кафе «Иости» прилично одетый посетитель упал на пол. Врач, сидевший за соседним столиком, осмотрел его и громко сказал: «Дайте ему настоящего кофе... Истощение на почве хронического недоедания...» Жить становилось все труднее, но люди продолжали аккуратно, старательно работать.

В переполненном трамвае меня обозвали «польской собакой». На стене хорошего буржуазного дома, где возле парадной двери значилось «Только для господ», я увидел надпись мелом: «Смерть евреям!»

Все было колоссальным: цены, ругань, отчаяние.

Поэты из журнала «Акцион» писали, что после нэпа они больше не верят в Россию, немцы покажут миру, что такое настоящая революция. Один из поэтов сказал: «Нужно начать с того, чтобы в различных странах одновременно убили десять миллионов человек, это минимум...» (Герцен писал о «Собакевиче немецкой революции» Гейнцене, который мечтал: «Достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу».) Один из сотрудников «Роте Фане» мне говорил: «Ваш «Хуренито» — безобразная книга! Не понимаю, как могли ее издать в Москве. Когда мы придем к власти, у нас такого не будет...»

У власти стоял канцлер Вирт. Он пытался спасти Германскую республику и в Рапалло подписал соглашение с Советской Россией. Англичане и французы возмутились. Что касается немцев, то они продолжали ждать: одни ожидали революции, другие — фашистского путча.

Канцлера Вирта я встретил в 1952 году в Вене, на Конгрессе сторонников мира. Ему тогда было семьдесят пять лет. Как-то после затянувшегося заседания мы разговорились. Вирт сказал: «Когда писатель заканчивает роман, он должен испытывать удовлетворение — хотя бы несколько страниц удались. Другое дело — вечер жизни политического деятеля; здесь важны не отдельные удачи, а концовка. Я могу сказать, что моя жизнь перечеркнута. Сначала пришел Гитлер. Я знал, что будет война. Мне пришлось уехать за границу. Когда война кончилась, пришел Аденауэр. Мы с ним были в одной партии, он старше меня на три года. Я ему говорил, что он повторяет ошибки своих предшественников. Он умный человек, но этого понять он не может... Я не хочу дожить до третьей войны. А что я могу сделать? Разве что выступать на ваших конгрессах. Но это, простите меня, ребячество». Он закрыл свои тусклые, утомленные глаза...

В летний день на улице Груневальда фашист из организации «Консул» застрелил министра иностранных дел Ратенау. Когда полиция набрела на след убийц, они покончили жизнь самоубийством. Фашистов похоронили с воинскими почестями.

Владельцы магазинов не успевали менять цены; они придумали выход: цены якобы оставались неизменными, но их нужно было множить на «шлюссельцаль» — на коэффициент. Вчера он был четыреста, сегодня шестьсот. На экранах окраинных кино продолжал безумствовать все тот же доктор Калигари. За один день в Берлине было зарегистриро-

вано девять самоубийств. Начал выходить журнал «Дружба», посвященный теории и практике гомосексуализма.

Германия тех лет нашла своего портретиста — Георга Гросса. Он изображал шиберов, у которых пальцы напоминали короткие сосиски. Он изображал героев минувшей и будущей войны, человеконенавистников, обвешанных железными крестами. Критики его причисляли к экспрессионистам; а его рисунки — сочетание жестокого реализма с тем предвидением, которое люди почему-то называют фантазией. Да, он осмелился показать тайных советников голыми за письменными столами, расфуфыренных толстых дамочек, которые потрошат трупы, убийц, старательно моющих в тазике окровавленные руки. Для 1922 года это казалось фантастикой, в 1942 году это стало буднями. Рисунки Гросса в их жестокости поэтичны, они сродни деревянным Ледам Гильдесгейма, типографским гномам готической азбуки, кабачкам под ратушами, запаху горя и солода, который стоит на узких средневековых улицах.

У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о человеческом счастье; может быть, именно это помогло ему беспощадно изобразить те хорошо унавоженные парники, в которых укоренялись будущие оберштурмфюреры, любительницы военных трофеев, печники Освенцима.

Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись: в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий. Все мне здесь было чужим — и дома, и нравы, и аккуратный разврат, и вера в цифры, в винтики, в диаграммы. И все же я тогда писал: «...Мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательными описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься, что ты не в Берлине... Я прошу тебя, поверь мне за глаза и полюби Берлин — город отвратительных памятников и встревоженных глаз». Два года я прожил в этом городе в тревоге и в надежде: мне казалось, что я на фронте и что короткий час, когда замолкают орудия, затянулся. Но часто я спрашивал себя: чего я жду? Мне хотелось верить, и не верилось...

Маяковский, приехав впервые в Берлин осенью 1922 года, объяснялся в любви:

Сегодня
хожу
по твоей земле, Германия,
и моя любовь к тебе
расцветает все романнее и романнее.

«Романнее» звучит для нас странно; видимо, оно произведено от «романа» не в литературном, а в разговорном значении этого слова. Иногда поэт видит то, чего не видят критики, и тогда поэта обвиняют в ошибках. Иногда поэт ошибается вместе с другими, и критики, как добрые экзаменаторы, одобрительно кивают головами. Говоря о Германии, Маяковский повторил то, что думали в 1922 году миллионы людей. Правда, позади были разгром Советской республики в Баварии, убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург; но впереди маячили огни Гамбургского восстания. Для современников ничего еще не было решено, и осенью 1922 года я вместе с другими ждал революцию.

Напрасно немцам приписывали умеренность, любовь к золотой середине; не только искусство экспрессионистов, но и слишком многие страницы немецкой истории помечены чрезмерностью.

Маяковский писал, что «сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот» пройдут берлинские рабочие, выигравшие битву. История решила иначе: одиннадцать лет спустя сквозь эти ворота прошли бесновавшиеся гитлеровцы, а в мае 1945 года советские солдаты...

2

Не знаю, сколько русских было в те годы в Берлине; наверно, очень много — на каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов — с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневных газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств; выпускали Фонвизина и Пильняка, поваренные книги, труды отцов церкви, технические справочники, мемуары, пасквили.

Где-то в Сербии врангелевские генералы еще подписывали военные приказы. Газета «Двуглавый орел» публиковала рескрипты «его императорского величества». Суворин-сын в «Новом времени» составлял списки будущего правительства; иностранные дела предполагалось поручить Маркову-второму, внутренние — Бурцеву. Какие-то проходимцы вербовали изголодавшихся людей в фантастические «отряды смерти». Однако вчерашние поручики и корнеты мечтали уже не о штурме российских

городов, а о французской или немецкой визе. Атаман Краснов, отложив батожок, единым духом написал длиннейший роман «От двуглавого орла к красному знамени».

Некоторым головорезам трудно было сразу стать шоферами такси или рабочими; они пытались продлить прошлое. Большевики были далеко, приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции. На лекции Милюкова монархисты застрелили кадета Набокова. Черносотенцы обрушились на Керенского, уверяя, будто он сын известной революционерки Геси Гельфман. «Черный гусар» Посажной писал:

Языком, что без оков,
Глупости болтает,
Забывает Милюков,
Что терпенье тает.

Загораются огни,
Мщения пожары.
Он погибнет от меня,
Черные гусары!

Помню, как нас веселила книга некоего Бостунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсер Чернов на самом деле Либерман, а октябрист Гучков — масон и еврей по имени Вакье; Россию погубили вечные ручки Ватермана и шампанское Купферберга, помеченные дьявольскими пентаграммами.

Известный в дореволюционные годы журналист Василевский — Не-Буква писал, что «большевики растлили Сологуба», ссылаясь на роман «Заклинательница змей», написанный до революции. Бурцев называл Есенина «советским Распутиным», К. Чуковского за статью «Ахматова и Маяковский» объявили «советским прихвостнем»; а тот самый Кайранский, что сочинил про меня юдофобские стишки, острил: «Музыкальный инструмент Маяковского — канализационная труба». Не уступали журналистам и писатели с именем. Зинаида Гиппиус травила Андрея Белого. Беллетрист Е. Чириков, который многим был обязан Горькому, написал пасквиль «Смердяков русской революции». Бунин чернил всех. Белые газеты, что ни день, объявляли о близком конце большевиков.

Все это было бурей в стакане воды, истерикой низверженных помпадуров, работой десятка иностранных разведок или бредом отдельных фанатиков. Среди эмигрантов было много людей, не понимавших, почему они очутились в эмиграции. Одни убежали в припадке страха,

другие от голода, третьи потому, что уезжали их соседи. Кто-то остался, кто-то уехал; один брат ходил на субботники в Костроме, другой мыл тарелки в берлинском ресторане «Медведь», взгляды у них были одинаковые, да и характеры сходные. Судьбу миллионов людей решила простая случайность.

Казалось бы, все стало на свое место, твердь отделилась от хляби; а на самом деле еще царила неразбериха переходного времени. Издатель Ладыжников выпускал книги Горького и Мережковского. Другой издатель, З. И. Гржебин, на своих изданиях ставил: «Москва — Петербург — Берлин», а печатал он произведения самых различных авторов — Брюсова и Пильняка, Горького и Виктора Чернова.

Издательство, выпустившее «Хулио Хуренито», называлось поэтично — «Геликон». Горы, где обитали некогда музы, не оказалось; была маленькая контора на Якобштрассе, и там сидел молодой человек поэтического облика — А. Г. Вишняк. Он сразу подкупил меня своей любовью к искусству. Абрам Григорьевич издавал стихи Пастернака и Цветаевой, книги Андрея Белого, Шкловского, Ремизова. Эмигрантские критики его называли «полубольшевиком». А мы его прозвали «Мурзуком». Он внес в берлинский быт нравы московской зеленой богемы. Марина Цветаева посвятила ему цикл стихотворений в книге «Ремесло», писала о глазах Абрама Григорьевича:

Орлы и гады в них, и лунный год,
Весь грустноглазый твой, чужой народ...

Я подружился с ним и с его женой Верой Лазаревной. Потом Вишняки перебрались в Париж. Когда гитлеровцы оккупировали этот город, мы часто обедали у старых друзей. Расстался я с ними в тревоге, а потом узнал, что эти хорошие, добрые люди погибли в Освенциме.

В Берлине существовало место, напоминавшее Ноев ковчег, где мирно встречались чистые и нечистые; оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели. Читали рассказы Толстой, Ремизов, Лидин, Пильняк, Соколов-Микитов. Выступал Маяковский. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Както я увидел приехавшего из Эстонии Игоря Северянина; он по-прежнему восхищался собой и прочитал все те же «поэзы». На докладе художника Пуни разразилась гроза;

яростно спорили друг с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Маяковский, Штеренберг, Габо, Лисицкий, я. Вечер, посвященный тридцатилетию литературной деятельности А. М. Горького, прошел, напротив, спокойно. Имажинисты устроили свой вечер, буянили, как в московском «Стойле Пегаса». Пришел как-то Е. Чириков, сел рядом с Маяковским, спокойно слушал.

Теперь мне самому все это кажется неправдоподобным. Года два или три спустя поэт Ходасевич (я уже не говорю о Чирикове) никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский. Видимо, не все кости еще были брошены. Горького некоторые называли «полуэмигрантом». Ходасевич, ставший потом сотрудником монархического «Возрождения», редактировал с Горьким литературный журнал и говорил, что собирается вернуться в Советскую Россию. А. Н. Толстой, окруженный сменовеховцами, то восхвалял большевиков как «собирателей земли русской», то сердито ругался. Туман еще клубился.

Успеху Дома искусств немало содействовал его первый председатель, поэт-символист Николай Максимович Минский. Ему тогда было шестьдесят семь лет; он был низеньким, круглым, улыбался и мурлыкал, как ласковый кот. Теперь его имя всеми забыто, а когда я был юношей, о нем много говорили; с ним спорил Вячеслав Иванов, про него писал Блок; барышни зачитывались его стихами, попавшими в «Чтец-декламатор»: «Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз...»

В 1905 году Минский, как многие поэты-символисты, пережил увлечение революцией. У него имелось разрешение на издание газеты, и по иронии судьбы проповедник культа «абсолютной личности» стал официальным редактором первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь». В редакционную работу он не вмешивался, но напечатал в газете стихи:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, как на праздник, собирайтесь.
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.

Поэтом он был посредственным, но роль его в развитии эстетической культуры в конце прошлого века бесспорна.

Газету «Новая жизнь» царские власти вскоре закрыли, а Николая Максимовича предали суду. Он уехал за границу и прожил там до смерти (умер он в возрасте восьмидесяти трех лет).

Может быть, именно потому, что он не видел ни революции, ни гражданской войны, он благодушно беседовал и с советскими писателями, и с самыми непримиримыми эмигрантами. По-моему, он не совсем ясно понимал, что именно их разделяет, и часто попадал впросак: доказывал Л. Шестову, что и у коллектива свои права, требовал от Маяковского признания свободы слова, ссылаясь при этом на традиции Короленко, а обращаясь к А. Н. Толстому, неизменно восхвалял футуризм, имажинизм и другие новшества. Но говорил он все это доброжелательно, и никто на него не обижался. Улыбался он всем, а особенно нежно — женщинам.

Мне он неизменно доказывал: «Мало победы работников физического труда, необходимо объединить работников умственного труда. Нужно воспитывать детей — от них зависит будущее. Очаги воспитания — такова задача молодых». Он был очень оторван от жизни, особенно русской. Я едва удерживался, чтобы не рассмеяться, когда он называл проектируемые им детские приюты «альмами»; по-латыни «альма» — «кормилица», но по-русски звучит странно, и как раз у моих знакомых была овчарка, которую звали Альмой. А Николай Максимович мурлыкал и улыбался. При встрече Нового года в Доме искусств он прочитал стихотворный тост:

Встретим, радуясь, как дети,
Год тысяча девятьсот двадцать третий...
Конец распрям вздорным,
Андрей Белый подружится с Сашей Черным...
Шкловский примирится с содержаньем Шекспира.
Пастернаку достанется Лермонтова лира.
А председателю Минскому в награду за старанья
Достанутся бурные рукоплесканья...

Был в Берлине еще один клочок «ничьей земли», где встречались советские писатели с эмигрантскими, — страницы журнала «Новая русская книга». Издавал его профессор Александр Семенович Ященко, юрист и любитель литературы; из России он уехал с советским паспортом и, подобно Минскому, старался объединить всех. Кто только не сотрудничал в его журнале! Я прославлял работы Татлина и возражал эмигрантским хулителям советской поэзии. Александр Семенович вздыхал: «Резко, чересчур резко», — но статьи мои печатал. А рядом ставил заклинания бывшего толстовца, монархиста И. Наживина: «Старая Русь быстро стала царством Хама... Но молодежь погибала, генералы пьянствовали, крали, беззаконничали, а тылы спекули-

ровали на крови и похабничали... В эмиграции я стал энергично продолжать национальную и монархическую работу, но с каждым днем во мне грозно нарастали сомнения... И все оподлели, и все обессилели. Будущее наше мучительно и мрачно...» А в следующем номере выступал Маяковский: «Стал писать в «Известиях». Организую издательство МАФ. Собираю футуристов коммуны...»

Кругом был Берлин, с его длинными, унылыми улицами, с дурным искусством и с прекрасными машинами, с надеждой на революцию и с выстрелами первых фашистов. Поэт Ходасевич описывал берлинскую ночь глазами русского:

Как изваянья — слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары...
Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина, —
И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.

Понять «мачеху российских городов» было нелегко. В ее школах сидели чинные мальчики, которым предстояло двадцать лет спустя исполосовать мать городов русских. Впрочем, Ходасевич, как и большинство русских писателей, отворачивался от жизни Германии.

Сидел у себя дома, сгорбившись, А. М. Ремизов и причудливой вязью писал «Россию в письменах». Андрей Белый говорил, что пишет о Блоке. А. Н. Толстой вместе с художником Пуни работал над книгой о русском искусстве. Марина Цветаева в Берлине написала одну из своих лучших книг — «Ремесло».

Я много работал; за два года написал «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Трест Д. Е.», «Тринадцать трубок», «Шесть повестей о легких концах», «Любовь Жанны Ней». После «Хулио Хуренито» мне казалось, что я вышел на дорогу, нашел свои темы, свой язык; на самом деле я блуждал, и почти каждая новая книга перечеркивала предшествующую. Об этом я расскажу дальше. Теперь скажу о другом: вместе с художником-конструктивистом Эль Лисицким я издавал журнал «Вещь».

Лисицкий твердо верил в конструктивизм. В жизни он был мягким, чрезвычайно добрым, порой наивным; хворал; влюблялся, как влюблялись в прошлом веке, — слепо, самоотверженно. А в искусстве он казался непреклонным математиком, вдохновлялся точностью, бредил трезвостью. Был он необычайным выдумщиком, умел оформить стенд на выставке так, что бедность экспонатов казалась избыт-

ком; умел по-новому построить книгу. В его рисунках видны и чувство цвета, и мастерство композиции.

«Вещь» выпускало издательство «Скифы». Легко догадаться, насколько революционные славянофилы и неисправимые народники были далеки от идей конструктивизма, которые мы проповедовали. После первого номера они не выдержали и печатно от нас «отмежевались».

Что касается меня самого, то я в каждой книге «отмежевывался» от самого себя. Именно тогда В. Б. Шкловский назвал меня «Павлом Савловичем». В его устах это не могло звучать зло. В жизни он делал то, что делали почти все его сверстники, то есть не раз менял свои воззрения и оценки, делал это без горечи, даже с некоторым задором; только глаза у него были печальными — с такими он, видимо, родился. В книге «Цоо», написанной в Берлине, он писал: «Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался... Хорошо, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, морозы с бураном...» Шкловский никогда ни от чего не отрекался для того, чтобы подойти поближе к костру; но мне кажется, что этому пылкому человеку холодно на свете. Холодно ему было и в Берлине. Там он написал, на мой взгляд, лучшую свою книгу «Сентиментальное путешествие». Ее построение — внезапные переходы от одного сюжета к другому («в огороде бузина, а в Киеве дядька»), ассоциации по смежности, мелькание кадров и подчеркнуто личная интонация, — все это диктовалось содержанием: Шкловский описывал страшные годы России и свое внутреннее смятение. Потом он продолжал писать о предметах куда более спокойных, даже академических, так, как писал прежде о теплушках восемнадцатого года. В нем очень много блеска; отдельные его фразы вошли в фольклор нашей эпохи; это — фейерверк, который на минуту озаряет все вокруг; читать при фейерверке трудно.

В Берлине печальные глаза Шкловского были печальны вдвойне; он никак не мог приспособиться к жизни за границей; писал он тогда «Цоо».

Эта книга имела непредвиденное продолжение в жизни: она способствовала рождению писательницы, которую некоторые молодые читатели считают француженкой. Эльза Юрьевна Триоле жила тогда в Берлине, и мы с ней часто встречались. Она — москвичка, сестра Лили Юрьевны Брик. В начале революции она вышла замуж

за француза Андре Триоле, Андрея Петровича, которого мы вслед за Эльзой называли просто Петровичем, и уехала с ним на Таити. (Петрович был своеобразным человеком, основной его страстью были лошади. Как-то в Париже он сказал мне, что на каникулы едет в Данию: там чудесные пастбища, и его лошади смогут хорошо отдохнуть.) Андре Триоле после возвращения с Таити остался в Париже, а Эльза Юрьевна уехала в Берлин. Была она очень молода, привлекательна — розовая, как некоторые холсты Ренуара, и печальная. В. Б. Шкловский включил в свою книгу «Цоо» четыре или пять писем Эльзы. Когда книга вышла, Горький сказал Виктору Борисовичу, что ему понравились женские письма. Два года спустя московское издательство «Круг» издало первую книгу Эльзы Триоле «На Таити». Эльза Юрьевна потом жила в Париже, почти каждый вечер я видел ее на Монпарнасе Там в 1928 году она познакомилась с Арагоном и вскоре начала писать по-французски.

Шкловский в «Цоо» упрекал свою героиню за то, что она слишком любит «общеевропейскую культуру» и, следовательно, может жить вне России. Чувства Виктора Борисовича понятны: случайно очутившись в Берлине, он тосковал и рвался домой.

Борис Андреевич Пильняк, приехав в Берлин, с любопытством разглядывал чужую жизнь. Был он человеком талантливым и путаным. Он хорошо знал то, о чем писал, поразил читателей и русских и зарубежных не только жестокими деталями описываемого быта, но и непривычной формой повествования. На книгах Пильняка двадцатых годов, как и на книгах многих его сверстников, лежит печать эпохи — сочетание грубости и вычурности, голода и культа искусства, увлечения Лесковым и услышанной на базаре перебранкой. Он погиб одним из первых в начале 1937 года, и трудно сказать, как пошел бы дальше его писательский путь. В Берлине в 1922 году он говорил, что революция «мужицкая», «национальная», ругал Петра, который «оторвал Россию от России». Простота его была с хитрецой: он обожал юродство (это слово, кажется, не существует ни в одном из европейских языков) — древнюю русскую форму самозащиты.

Есенин прожил в Берлине несколько месяцев, томился и, конечно же, буянил. Его неизменно сопровождал имажинист Кусиков, который играл на гитаре и декламировал:

Про меня говорят, что я сволочь,
Что я хитрый и злой черкес.

Они пили и пели. Напрасно Айседора Дункан пыталась унять Есенина; одна сцена следовала за другой. Пильняк, выпив, пытался построить на русском разоре философию, а Есенин в отчаянии бил посуду.

Начала выходить газета «Накануне». Мне привелось раза два или три разговаривать с ее идеологами. Сменовеховцы откровенно признавались, что коммунизм им не по душе, но хорошо, что большевики создали армию, выгнали интервентов, дали отпор Польше. «Мы за твердую власть, — говорили они, — а остальное образуется». Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Накануновцы» не хотят простить мне отказа писать у них, но, что делать, я для них слишком левый...» Журналист Василевский — Не-Буква напечатал в «Накануне» хлесткую статью обо мне, вспоминая, как в «Хуренито» мулатка хлестала героя романа Эренбурга ломтями ростбифа по щекам, говорил, что меня следует бить по лицу окороком с хорошей костью.

Алексей Николаевич Толстой сидел мрачный, попыхивая трубкой, молчал и вдруг, успокоенный, улыбался. Как-то он сказал мне: «В эмиграции не будет никакой литературы, увидишь. Эмиграция может убить любого писателя в два-три года...» Он уже знал, что скоро вернется домой.

«Скифы» были за Разина, за Пугачева, цитировали то «Двенадцать», то стихи Есенина о «железном госте». Сменовеховцы говорили, что большевики — наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись Россией, и все твердили о «корнях», о «традициях», о «национальном духе». А рядовые эмигранты, выпив в ресторане «Тройка» несколько стопок и услышав «Выплывают расписные...», плакали и ругались, как плакали и ругались в последней русской теплушке, улепетывая за границу.

Толстой был прав: для большинства русских писателей эмиграция была смертью. В чем тут дело? Действительно ли любая эмиграция убивает писателя? Не думаю. Вольтер прожил в эмиграции сорок два года, Гейне — двадцать пять лет, Герцен — двадцать три года, Гюго — девятнадцать лет, Мицкевич — двадцать шесть; в эмиграции написаны и «Кандид», и «Германия. Зимняя сказка», и «Былое и думы», и «Отверженные», и «Пан Тадеуш». Дело не в разлуке с родиной, как бы тяжела она ни была. В эмиграции могут оказаться разные писатели — и разведчики и обозники. Дантон сказал, что нельзя унести родину на подошвах своих ботинок; это верно; но можно унести ро-

дину в сознании, в сердце. Можно уехать за тридевять земель не с мелкой злобой, а с большими идеями. Тем и отличается судьба Герцена от судьбы Бунина.

«Скифы», «евразийцы», «сменовеховцы» сходились на одном: гнилому, умирающему Западу противопоставляли Россию. Эти обличения Европы были своеобразным отголоском давних суждений славянофилов.

(Четверть века спустя после тех лет, о которых я пишу, неожиданно воскресли некоторые мысли, да и словечки Бесспорно, низкопоклонство — непривлекательное зрелище, оно унижает и того, кто кланяется, и того, кому кланяются. Еще сатирики XVIII века высмеивали русских дворян, старавшихся «французить». Мне противен советский мещанин, который, увидев пошлый американский фильм, говорит своей супруге (у такого не жена, а обязательно супруга): «Далеко нам до них!» Я готов, однако, низко поклониться не только Шекспиру или Сервантесу, но и Пикассо, Чаплину, Хемингуэю, не думаю, что это может меня принизить. Непрерывные разговоры о своем превосходстве связаны с пресмыкательством перед чужестранным — это различные проявления того же комплекса неполноценности; и мне не менее противен другой мещанин, готовый искренне или лицемерно оплевать все хорошее, если это хорошее — чужое.)

В «Записках писателя» Е. Г. Лундберга есть запись, относящаяся к началу 1922 года: «Группа русских писателей собралась пить чай и ликеры в нарядном кафе над рестораном Вилли. Начались тосты. Кто пил за литературу, кто за мудрость, кто за свободу. «Против насилия!» — поднял бокал, закусывая от внутренней боли губы, экспатриированный философ. Все стихли. Ясно было, против кого направлен тост. Помолчали, обнялись, выпили. Только И. Эренбург и я остались в стороне. О чем думал Эренбург, я не знаю. А я — о рабстве полунищего среднего человека на этом милом сердцам культурных людей кладбище Европы». Я не помню, конечно, о чем я думал в кафе Вилли; смутно припоминаю самую встречу. Но я хорошо знаю, о чем я думал в те годы.

«Скифы» родились от известного стихотворения Блока. Как ни сильна блоковская магия слова, некоторые строфы этого стихотворения мне были и остались чуждыми

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Нет, я не хотел принять «азиатской рожи»! Слова эти звучат исторически несправедливо, и, конечно же, в Индии не меньше философов и поэтов, чем в Англии. Е. Г. Лундбергу Европа тогда казалась милым сердцу кладбищем. А я Европу не отпевал. Мой роман «Трест Д. Е.», написанный в те годы, — история гибели Европы в результате деятельности американского треста. Это сатира; я мог бы ее написать и сейчас с подзаголовком — «Эпизоды третьей мировой войны». Европа для меня была не кладбищем, а полем битвы, порой милым, порой немилым: такой я ее видел юношей в Париже, такой нашел в тревожном Берлине 1922 года. (Такой вижу ее и теперь. Можно, разумеется, по-разному относиться к Европе — «открывать окно», законопачивать двери, можно и вспомнить, что вся наша культура — от Киевской Руси до Ленина — неразрывно связана с культурой Европы.)

О чем еще я думал в то время? О том, как примирить «интеграл» с человечностью, справедливость с искусством. Я знал, что можно гордиться подвигом народа, который первым решился пойти по неисследованному пути, но этот путь мне казался куда более широким, чем традиции одной страны или душа одной нации.

Не помню, кто именно пил чай и ликеры в кафе Вилли. Может быть, один из находившихся там потом направился в «Тройку» и за рюмкой водки бубнил о миссии России. Чехов записал монолог: «Патриот: «А вы знаете, что наши русские макароны лучше, чем итальянские! Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги — так я чуть не зарыдал...»

Со времени тостов в кафе Вилли прошло сорок лет. Старая эмиграция исчезла: люди состарились, умерли; их дети стали исправными французами, немцами, англичанами. Сын кадета Набокова, убитого некогда ультрамонархистом, теперь один из самых читаемых писателей Америки; он писал сначала по-русски, потом по-французски, теперь пишет по-английски.

Газеты не раз отмечали недостатки наших рыбных промыслов. Но та севрюга, о которой писал Чехов, осталась...

3

В 1922 году в бюргерский скромный пансион на Траутенауштрассе, где я жил, пришел неизвестный мне человек, застенчиво и гордо сказал: «Я — Тувим». Я тогда не знал его стихов, но сразу почувствовал смятение: передо мной был поэт. Все знают, что стихотворцев на свете много, а поэтов мало, и встречи с ними потрясают. Пушкин говорил, что вне часов вдохновения душа поэта «вкушает хладный сон». Не этот ли мнимый холод обжигает окружающих? «Хладный сон» Тувима был страстен, горек, неистов.

Он расспрашивал меня про русских поэтов, про Москву. Он жил двумя страстями: любовью к людям и трудной близостью к искусству. Мы сразу нашли общий язык.

Почти всю жизнь мы прожили в разных мирах и встречались редко, случайно (прежде говорили — «как корабли в море», я скажу — как пассажиры на шумном аэровокзале, где громкоговорители ревут: «Производится посадка...»). А вот мало кого я любил так нежно, суеверно, безотчетно, как Юлиана Тувима...

При первой встрече меня поразила его красота. Ему тогда было двадцать восемь лет. Впрочем, красивым он оставался до конца своей жизни. Большое родимое пятно на щеке придавало строго обрисованному лицу трагический характер, а улыбался он печально, почти виновато; порывистые движения сочетались с глубокой застенчивостью.

Поэтам не положено долго засиживаться на земле, и молодые литераторы называли Тувима «стариком», а он не дожил до шестидесяти.

Линии жизни извилисты не только на ладони. Некоторые начетчики укоряли Тувима: он тогда-то того-то не понял, отвернулся, отступился, забежал вперед, отошел в сторону. В годы второй мировой войны Тувим писал: «Политика не является моей профессией. Она — функция моей совести и темперамента». Конечно, его путь не был прямой столбовой дорогой, но где и когда поэты маршировали по бетонированным шоссе?.. Тувим страдал боязнью пространства — агорафобией: ему трудно было перейти большую площадь. А пришлось ему переходить через пустыри и пустыни, перешагнуть из одной эпохи в другую.

Маяковский писал о нем: «беспокоящийся, волнующийся» и, отмечая противоречия, приписывал их условиям

жизни в Польше 1927 года: «Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь, — какие тут «облаки». А ведь Маяковский написал «Облако в штанах» в царской России, и Тувим перевел эту поэму в реакционной Польше. Если он не написал «Облако в штанах», то только потому, что поэты не похожи один на другого.

В 1939 году советский знаток польской литературы уверял, что для Тувима характерны «безыдейность, бегство от жизни». За несколько месяцев до смерти Тувима я слышал радиопередачу «Конгресса за свободу и культуру» (организация, поддерживаемая американцами); комментатор говорил, что Тувим предал Польшу, изменил поэзии, потерял совесть.

Путь человека нельзя понять, увидев один его шаг; дорога жизни видна с горы, а не из подворотни. Годы меняют и облик государства, и мысли людей, но нечто самое существенное поэт проносит через все свое творчество. Маяковский правильно назвал Тувима «беспокоящимся, волнующимся»; таким он остался до самой смерти: и когда ходил в кафе «Малая Земянская» со своими друзьями «скамандритами» — Слонимским, Ивашкевичем, Лехонем (группа поэтов, хотевших обновить польскую поэзию, окрестила себя «Скамандр»), и когда порвал со многими из давних друзей, решив вернуться в новую Польшу, и когда в ранней молодости проклинал классические каноны, дерзил, куролесил, и когда незадолго до смерти восклицал: «Я полон таких шаблонов, как вера, надежда, любовь к благородным людям, ненависть к подлецам...»

В ноябре 1950 года в Варшаве проходил Второй Конгресс сторонников мира. Один очень сведущий и в то время очень влиятельный человек, показав мне на Тувима, который скромно сидел в глубине зала, сказал: «Видите, что значит перековка? Поэт беглых настроений теперь участвует в борьбе за мир...» Я в ответ усмехнулся: вспомнил давнее стихотворение Тувима, за которое его ругали на всех перекрестках, — он писал о нефти, о крови и призывал солдат бросить винтовки. Это было за четверть века до Первого Конгресса сторонников мира. Но у некоторых людей, которые ездят в машинах, а из конного транспорта запомнили только образ обязательной подковы, длинные руки и короткая память.

Марина Цветаева писала, что «каждый поэт — в гетто». Эти строки нравились Тувиму, он их не раз мне повторял.

А когда ему еще не было тридцати лет, он написал о тех, кто сажает поэтов в гетто, и о тех, кто в гетто не сдается:

Нет, вам не добиться ни службой, ни лестью
Моего свободного званья Поэта.
Господь не нацепит вон те созвездья
На ваши мундиры и эполеты.

Польша не всегда была ласкова к Тувиму, но он всегда любил Польшу. Природа польского патриотизма связана с трагической историей трех разделов; я никогда об этом не забывал, слушая признания Тувима. (Они, правда, были приправлены той долей иронии, которая диктуется стыдливостью.) Он страстно любил родную Лодзь, город, менее всего созданный для любования. В 1928 году я был в Варшаве, потом в Лодзи — читал отрывки из моих книг. Тувим заклинал меня не забыть посмотреть в Лодзи и Петроковскую улицу, и базар, и гостинцу «Савой», и фабрики, и нищие Балуты. Я остановился в лодзинском «Савое», видел фабрики, Балуты, большую тюрьму, видел литераторов, рабочих, жандармов, гимназистов, фабриканта Познанского, подпольщиков. Я записал тогда: «Короткое имя «Лодзь». Короткие фразы: «пять ящиков», «три вагона», «порцию гуся», «врача», «полицию», «похоронное бюро». Мысли еще короче. «Доллар — восемь злотых», «Сдохну!», «Выбьюсь!», «К черту!», «Арестовать!». Хороший город, откровенный город! Во всей Европе вы не найдете ни такой злобы, ни такой воли к жизни, ни такой тоски». Когда я встретился с Тувимом, я ему сказал: «Чудесный город!» Он улыбнулся, — наверно, он видел Лодзь другой: я был там неделю, а он там вырос; да и тем сильна любовь, что она многое преображает. Только недавно я прочитал стихи Тувима:

Пусть те восхваляют Сорренто, Крым,
Кто на красоты падок.
А я из Лодзи. И черный дым
Мне был отраден и сладок.

Вероятно, Тувим был куда сложнее, чем он казался не только начетчикам из различных монастырей, но и друзьям. Впрочем, об этом я еще скажу. Продолжаю о его любви к Польше.

В 1940 году Тувим добрался до Парижа. Странная то была зима или, как говорили французы, «странная война»! По ночам город был затемнен; но в ресторанах, в кафе за щитами окон было светло и шумно, — военные раз-

влекались. На фронте солдаты скучали, а в Париже полицейские работали без устали: никто в точности не знал, с кем Франция воюет — с немцами или с коммунистами. Стекла окон были покрыты узорами из тонких полосок бумаги — парижане страховали стекла от предполагаемых бомбежек; но все было тихо, невыносимо тихо, и вряд ли кто-нибудь догадывался, что через несколько месяцев разлетится вдребезги не окно предусмотрительной консьержки, а вся Франция. В ту зиму я болел и мало кого видел — многие друзья не хотели со мной встречаться: кто побаивался, а кто сердился — дружба дружбой, политика политикой. Тувим, однако, меня разыскал. Он думал об одном — о Польше, и Париж в ту зиму был ему чужим. Наша дружба выдержала трудное испытание; мы обнялись и поняли друг друга.

Мы расстались на шесть лет. Незачем говорить, какие это были годы. Осенью 1941 года, когда сводки Совинформбюро каждый день сообщали: «Наши войска оставили...», а по московским переулкам нестройно маршировали пожилые ополченцы, когда на Западе нас отпевали, я получил телеграмму из Нью-Йорка — Тувим говорил о дружбе, о любви, о вере. (Ничего у меня не сохранилось, кроме нескольких записных книжек, и я не помню текста телеграммы.) Тувим потом писал: «В период самых больших «триумфов» Гитлера на Восточном фронте я послал телеграмму Эренбургу — телеграмму, исполненную веры в грядущую победу Красной Армии».

Весной 1946 года я сидел в нью-йоркской квартире Тувима, среди сундуков и чемоданов: через неделю он должен был уехать во Францию, а оттуда в Варшаву. Он был необычайно весел, приподнят. Многие поляки, жившие тогда в Нью-Йорке, пробовали его отговорить: возвращение в Варшаву они называли «предательством». Конечно, Тувиму было нелегко рвать с иными из своих друзей, но жил он одним — близкой встречей с Польшей, радовался, волновался, как подросток, который идет на первое свидание.

Осенью 1947 года я был в Польше. Тувим днем, вечером, ночью водил меня по развалинам Варшавы. «Нет, ты посмотри — какая красота!..» Город был страшен. Прекрасны развалины древних городов: время — гениальный зодчий, оно умеет и запустению придать гармонию; а города, только что разрушенные войной, терзают и глаз и сердце — груды щебня, развороченные дома с клочьями обоев, с повисшей в небе винтовой лестницей, люди, ко-

торые ютятся в подвалах, в землянках, в щелях. Но Тувим видел красоту и в сожженной, истерзанной Варшаве: на то он был поляком, и на то он был поэтом.

Мне хочется сказать о любви Тувима к русскому народу и к русской поэзии. Казалось, прошлое могло бы заслонить многое: он ведь хорошо помнил царские порядки и городовых на улицах Лодзи. В течение двадцати лет правящие круги Польши разогревали неприязнь: все русское поносилось. Тувима это не коснулось. Много лет он отдал переводам русских поэтов. Когда он читал мне свой перевод «Медного всадника», я слышал сложный пушкинский ритм. При одной из последних встреч он сказал мне: «Русский язык как будто нарочно создан для поэзии...»

Еще в двадцатые годы он мечтал поехать в Советский Союз. Он приехал в Москву весной 1948 года. В день его приезда мы пошли в ресторан. Он рассказывал, что́ именно хочет увидеть, а хотел он увидеть все. В тот же вечер он заболел; его отвезли в Боткинскую больницу. Врачи заподозрили, что у него рак. Больного Тувима отправили в сопровождении врача в Брест, куда был вызван польский доктор. Советский врач на латыни сообщил коллеге диагноз. Тувим знал латинский язык лучше молодых медиков. Он ждал быстрой развязки. Однако польские врачи установили, что у Тувима язва желудка, его оперировали, и он как будто воскрес. Пять лет спустя он умер от инфаркта. Так он и не увидел Москвы, кроме больничной палаты да номера в «Национале», о котором говорил, что он удивительно напоминает ему номера лодзинского «Савоя».

Есть у меня близкие друзья иностранцы; беседуя с ними, я вдруг чувствую — вот граница... Уж слишком по-разному мы жили и живем. Никогда с Тувимом я ничего подобного не испытывал, между нами не было не только «железного занавеса», но и легонькой занавески.

Гейне писал: «Когда я умру, они вырежут язык у моего трупа». Книги поэта, который прославил Германию, обогатил немецкую лирику, сто лет спустя горели на кострах в его родном Дюссельдорфе: расисты не могли простить автору «Зимней сказки», что он еврей. Когда я был в Польше в 1928 году, антисемиты травили Тувима; он показал мне газету, где говорилось, что его поэзия «отдает чесноком».

Есть у Тувима стихотворение о нищем еврейском мальчике, который поет грустную песню под окнами, надеясь,

что какой-нибудь пан швырнет ему медяк. Тувиму хочется бросить мальчику свое сердце, уйти с ним, вместе петь песни печали под чужими окнами.

Только нет приюта в мире человечьем
Странникам-евреям с песней сумасшедшей.

В 1944 году Тувим написал обращение, озаглавленное «Мы — польские евреи». Я приведу несколько выдержек: «И сразу я слышу вопрос: «Откуда это «мы»? Вопрос в известной степени обоснованный. Мне задавали его евреи, которым я всегда говорил, что я — поляк. Теперь мне будут задавать его поляки, для подавляющего большинства которых я был и остаюсь евреем. Вот ответ и тем и другим. Я — поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело, и я не обязан давать кому-либо в этом отчет. Я не делю поляков на породистых и непородистых, я предоставляю это расистам иностранным и отечественным. Я делю поляков, как евреев, как людей любой национальности, на умных и глупых, на честных и бесчестных, на интересных и скучных, на обидчиков и на обиженных, на достойных и недостойных. Я делю также поляков на фашистов и антифашистов... Я мог бы добавить, что в политическом плане я делю поляков на антисемитов и антифашистов, ибо антисемитизм — международный язык фашистов... Я — поляк, потому что в Польше я родился, вырос, учился, потому что в Польше узнал счастье и горе, потому что из изгнания я хочу во что бы то ни стало вернуться в Польшу, даже если мне будет в другом месте уготована райская жизнь... Я — поляк, потому что по-польски я исповедовался в тревогах первой любви, по-польски лепетал о счастье и бурях, которые она приносит. Я — поляк еще потому, что береза и ветла мне ближе, чем пальма или кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которых я опять-таки не могу объяснить никакими доводами разума... Я слышу голоса: «Хорошо. Но если вы — поляк, почему вы пишите «мы — евреи»? Отвечу: «Из-за крови». — «Стало быть, расизм?» — «Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двоякая кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая — это сок тела, ее исследование — дело физиолога. Тот, кто приписывает этой крови какие-либо свойства, помимо физиологических, тот, как мы это видим, превращает города в развалины, убивает миллионы людей и в конце концов, как мы это увидим, обрека-

ет на гибель свой собственный народ. Другая кровь — это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать превосходство своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей... Кровь евреев (не «еврейская кровь») течет глубокими, широкими ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, вспененную реку, и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение — кровавое, горячее, мученическое братство с евреями... Мы, Шлоймы, Срули, Мойшки, пархатые, чесночные, мы, со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными Ахиллов, Ричардов Львиное Сердце и прочих героев. Мы в катакомбах и бункерах Варшавы, в зловонных трубах канализации дивили наших соседей — крыс. Мы, с ружьями на баррикадах, мы, под самолетами, которые бомбили наши убогие дома, мы были солдатами свободы и чести. «Арончик, что же ты не на фронте?» Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу...»

Эти слова, написанные кровью, «той, что течет из жил», переписывали тысячи людей. Я прочитал их в 1944 году и долго не мог ни с кем говорить: слова Тувима были той клятвой и тем проклятием, которые жили у многих в сердце. Он сумел их выразить.

Прошли годы, Гитлер отравился. Лидеры польских антисемитов эмигрировали в Англию, в Америку. Но в сердце Тувима не зажила рана. Помню последнюю встречу с ним; было это в злое время — в 1952 году... Многое мы вспомнили, о многом происходящем говорили. Юлек (да позволено мне будет здесь назвать его именно так) вдруг встал, подошел, обнял меня и тотчас, желая скрыть волнение, сказал: «А теперь пойдем в «Золушку», там готовят кофе по-итальянски...»

Я упомянул о Гейне: было у Тувима с ним нечто общее помимо того, что интересует знатоков человеческих пород, — ирония, порождаемая обостренной чувствительностью. Тувим мог порой показаться высокомерным; многие его стихи обижали людей, уважающих иерархию; он отпускал едкие словечки. «Ты знаешь, у ежа, наверно, нежнейшее сердце», — как-то сказал он. Будучи растроганным, он обычно пытался шутить. В 1950 году на Конгрессе мира к Тувиму подошла молоденькая девушка и стала восторженно рассказывать, как она любит его книгу «Седьмая осень». Тувим застеснялся и неожиданно, повернувшись ко мне, сказал: «А ты помнишь, как шпик оказался моим поклонником?..»

Это было в 1928 году; в Варшаве за мной присматривали два шпика; один был рослый, с лицом и повадками боксера, другой — тщедушный, чернявый и очень близорукий: на улице он часто терял меня из виду. Я к ним привык, просил иногда купить газету или пакет табаку, словом — приручил. Однажды я шел по улице с Тувимом, мы говорили о поэзии; вдруг я увидел, что чернявый, вместо того чтобы трусить позади, идет рядом с Тувимом. Я рассердился и напомнил шпику о правилах приличия, но он ответил: «Это я не по службе... Как же мне не слушать, когда говорит Тувим?..» Мы рассмеялись от неожиданности.

Есть у Тувима много злых стихов о мещанах. Я вспоминаю кафе «Малая Земянская» зимой 1928 года. Приходили туда не только поэты-«скамандриты», не только блистательный адъютант Пилсудского, Длугошовский-Венява, обожавший мир искусства, — там варшавяне, желавшие прослыть изысканными, за час до обеда пили кофе и поглощали пирожные с кремом. Тувим над ними издевался:

В час дня благоговейно
Балбес вошел в кофейню,
Сел важный, энергичный,
Почти что заграничный.

Из кожи лез бедняга,
Изображая гордо
Боксера иль варяга,
А может быть, и лорда...

Никем замечен не был
И, улыбаясь криво,
Решился быть испанцем
Де Мендос-и-Олива,

Дельцом из Пампелоны,
Певцом из Аликанте,
Испанцем-монархистом,
Испанцем-эмигрантом.

Но было все напрасно,
Хоть был он из Толедо,
И посему пошел он
До Ватер-и-Клозедо.

И там, изливши горе
Старухе бестолковой,
Вернулся в дом семнадцать
На Малой Кошиковой.

Порой многим казалось, что Тувим готов в сердцах повторить пушкинские слова: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас!» На самом деле Тувим любил тех, кого называл «простыми людьми», когда эти слова еще не стали газетным штампом. Не случайно одно из лучших стихотворений, «Парикмахеры», он посвятил Чарли Чаплину — трогательному насмешнику, который в наш грозный век попытался защитить смешного маленького человека:

Вдоль стен пустой парикмахерской парикмахеры дремлют часами,
Ждут, глядят — нет клиентов, томятся, без дела шатаются,
Сами бреются, сами стригутся — все сами и сами,
Перемолвятся словом, задремлют, всхрапнут и опять просыпаются...

Назревает гроза, посинело вокруг, петухи распевают,
Парикмахерам страшно, забегали — слышите гром!
Парикмахеры плачут, поют, парикмахеры ошалевают,
То стоят истуканами, то мечутся чуть не бегом.

Вряд ли в 1926 году политики Польши, сидя в парикмахерских или даже в зале сейма, слышали первые раскаты грома. Их услышал поэт.

В 1928 году я писал о Тувиме: «Спорить с ним нельзя. Он думает ассоциациями, аргументирует ассонансами...» Да, Тувим был прежде всего лириком; это не помешало ему понять эпоху лучше, чем ее поняли иные трезвенники сознания, которые думают схемами и аргументируют цитатами. Тувим в стихах выражал себя; может быть, поэтому его стихи воспринимались людьми как выражение их мыслей и чувствований, как нечто общее. Один поляк мне рассказывал, что, будучи в годы войны партизаном, он повторял, как заклинание, стихи Тувима:

Я, может, лишь день там прожил,
А может, прожил век...
Я помню только утро
И белый-белый снег.

В молодости Тувим страстно любил Артюра Рембо, озорника и провидца, мятежника и подростка с лицом отчаявшегося ангела. При последней нашей встрече он вдруг сказал: «А лучше Блока, кажется, никто не сказал о самом трудном...» Поэтов он любил бескорыстно, переводил с равным увлечением «Облако в штанах» и «Слово о полку Игореве», не пытаясь ни у кого заимствовать. А Блок ему был все-таки сродни... Я очень люблю стихо-

творение Тувима «За круглым столом» с эпиграфом, взятым из песни Шуберта «О высокое искусство, сколько раз в часы печали...»:

А может, снова, дорогая,
В Томашув на день закатиться.
Там та же вьюга золотая
И тишь сентябрьская длится...

В том белом доме, в том покое,
Где мебель сдвинута чужая,
Наш давний спор незавершенный
Должны мы кончить, дорогая.

Может быть, это и есть «самое трудное» — поэзия здесь обнажена, она кажется сделанной из ничего, как в «Ночных часах» Блока, как в песенках Верлена.

Говоря, что Тувима порой не понимали даже его друзья, я думал именно об этом: о необычайной сложности, которая становится простой, о человеке, много знавшем, мудром и в то же время ребячливом, об авторе смешных фарсов и трудной лирики. Он писал стихи для детей, и в одном стихотворении рассказал о чудаке Янеке, который все делает наоборот. Дети, слушая стихи, смеялись, а Тувим виновато улыбался: он сам походил на высмеянного им Янека.

Когда в последний раз я был у него дома, он шутил с восьмилетней Евой. Почему-то нам было грустно обоим; но не думал я, что больше его не увижу.

Он любил деревья. Помню его стихи: в лесу он пытался опознать то дерево, из которого ему сколотят гроб; по светлой печали это стихотворение сродни «Брожу ли я вдоль улиц шумных...».

В парках Варшавы, за городом, в саду поэта Ивашкевича, глядя на деревья, я думал о дереве Юлиана Тувима. Он был на три года моложе меня, и вот уже много лет прошло с его смерти. Я привык к потерям и все же не могу примириться: больно.

Но как хорошо, что я его встретил!

4

В кафе «Прагер-диле» иногда приходили русские писатели. Разговоры между ними были шумливыми и путаными; и кельнеры никак не могли привыкнуть к загадочным завсегдатаям. Однажды Андрей Белый поспорил

с Шестовым; говорили они о распаде личности, и говорили на том языке, который понятен только профессиональным философам. Потом настал роковой «полицейский час», в кафе погасили свет, а философский спор не был закончен.

Как забыть последующую сцену? В створках вращающейся двери кричали Андрей Белый и Шестов. Каждый, сам того не замечая, толкал вперед дверь, и они никак не могли выйти на улицу. Шестов, в шляпе, с бородой, с большой палкой, походил на Вечного жида. А Белый неистовствовал, метались руки, вздымался пух на голове. Старый кельнер, видавший виды, сказал мне: «Этот русский, наверно, знаменитый человек...»

В 1902 году Андрею Белому, или, вернее сказать, Борису Николаевичу Бугаеву, студенту московского физико-математического факультета, было двадцать два года. Он писал тогда слабые символистические стихи и предстал перед В. Я. Брюсовым, который считался мэтром новой поэзии. Вот что записал Валерий Яковлевич в дневнике: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости». А. А. Блок был связан с Андреем Белым многолетней дружбой; все было в их взаимоотношениях — и близость, и тяжелые разрывы, и примирения. Казалось, Блок мог бы привыкнуть к Белому; но нет, к Борису Николаевичу привыкнуть было невозможно. В 1920 году после встречи с Белым Блок записал: «Он такой же, как всегда: гениальный, странный».

Гений? Чудак? Пророк? Шут?.. Андрей Белый потряс всех с ним встречавшихся. В январе 1934 года, узнав о смерти Бориса Николаевича, Мандельштам написал цикл стихотворений. Он видел величие Белого:

Ему кавказские кричали горы
И нежных Альп стесненная толпа,
На звуковых громад крутые всхоры
Его ступала зрячая стопа.

И все же, выражая смятение других, писал:

Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе писатель, гоголек.
Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж легок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок...

В 1919 году я так описал Андрея Белого: «Огромные, разверстые глаза — бушующие костры на бледном, изможденном лице. Непомерно высокий лоб с островком стоящих дыбом волос. Читает он стихи, как вещает Сивилла, и, читая, машет руками: подчеркивает ритм — не стихов, а своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом — тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми... Белый выше и значительнее своих книг. Он — блуждающий дух, не нашедший плоти, поток вне берегов... Почему даже пламенное слово «гений», когда говорят о Белом, звучит как титул? Белый мог бы стать пророком — его безумие юродивого озарено божественной мудростью. Но «шестикрылый серафим», слетев к нему, не закончил работы: он разверз очи поэта, дал ему услышать нездешние ритмы, подарил «жало мудрыя змеи», но не коснулся его сердца...»

Когда я писал эти строки, я знал Андрея Белого только по книгам да по беглым московским встречам. В Берлине и в приморском местечке Свинемюнде я часто встречался с Борисом Николаевичем и понял, что, говоря о серафиме и сердце, ошибался: принимал за душевный холод несчастье, поломанные крылья, разбитую личную жизнь и чрезмерный блеск словаря.

Теперь, думая о судьбе этого воистину необычайного человека, я не могу найти разгадки. Вероятно, пути художников великих (да и не только великих) неисповедимы. Рафаэль умер молодым, но успел сказать все, что в нем было. А Леонардо да Винчи прожил долгую жизнь, открывал, изобретал, причем его научные труды были изданы тогда, когда все его открытия и изобретения имели только историческую ценность, писал красками, им изготовляемыми, которые быстро жухли, тускнели, осыпались, и миллионы людей знают не живописный гений Леонардо, а придуманную легенду о «таинственной улыбке» Джиоконды... Есть писатели, которые меньше написанных ими книг: вспоминаешь человека и дивишься, как он мог такое написать?.. Есть другие. Я и теперь, как сорок лет назад, думаю, что Андрей Белый был крупнее всего им написанного.

Я не хочу сказать, что его произведения незначительны или малоинтересны. Некоторые стихи из книги «Пепел» мне кажутся совершенными; роман «Петербург» — огромное событие в истории русской прозы; мемуары Андрея Белого захватывают. Но эти книги не переиздаются, их не переводят, не знают ни у нас, ни за границей.

Большая Советская Энциклопедия нашла доброе слово для отца Белого, математика Н. В. Бугаева, а Борису Николаевичу не повезло — он назван в манере 1950 года «клеветником». (Снова я думаю о преимуществе точных наук: к работе математика этикетки «клеветник» не приклеишь...)

Современному читателю трудно одолеть книгу Андрея Белого: мешают придуманные им словообразования, произвольная перестановка слов, нарочито подчеркнутый ритм прозы. Даже в замечательных мемуарах, написанных незадолго до смерти, Андрей Белый то и дело старался «перекрутить снежок»: «Балтрушайтис, угрюмый, как скалы, которого Юргисом звали, дружил с Поляковым... И не раздеваясь садился, слагал на палке свои две руки; и запахивался, как утес облаками, дымком папироски; с гримасой с ужаснейшей пепел стрясал, ставя локоть углом и моргая из-под поперечной морщины на собственный нос в красных явственных жилках...» Это кажется написанным на древнем языке, нужно расшифровывать, как «Слово о полку Игореве». Не всякий из молодых советских прозаиков знаком с книгами Андрея Белого. Однако без него (как и без Ремизова) трудно себе представить дальнейшее развитие русской прозы. Вклад Андрея Белого чувствуется в произведениях многих современных авторов, которые, может быть, никогда не читали «Петербурга» и «Котика Летаева».

Пути развития литературы еще более загадочны, чем пути отдельных писателей. Эфирные масла, извлекаемые из корневищ ириса или из цветов иланг-иланга, никогда не применяются в чистом виде, но ими пользуются все парфюмеры мира. Эссенция неизменно разбавляется водой. Мало кто способен прочитать от доски до доски собрание сочинений Велимира Хлебникова. А этот большой поэт продолжает оказывать влияние на современную поэзию — скрытыми, обходными путями: влияют те, на кого повлиял Хлебников. То же самое можно сказать и о прозе Андрея Белого.

Его путь был запутанным и малопонятным, как его синтаксис. В 1932 году неподалеку от Кузнецка, в поселке, где жили шорцы, я видел последнего шамана. Он понимал, что его дни сочтены, и начинал шаманить неохотно, может быть с голоду или по привычке; но несколько минут спустя впадал в экстаз и вдохновенно выкрикивал никому не понятные слова. Вспоминая некоторые выступления Андрея Белого, я думаю об этом шамане. Мне кажет-

ся, что Борис Николаевич и говорил и писал часто в состоянии исступления, если угодно, шаманил — торопился, всегда что-то видел и предвидел, но не мог подобрать для увиденного понятных слов.

Он вдохновился Штейнером, антропософией, строил храм в Дорнахе, строил не как Волошин, нет, всерьез, исступленно. В Берлине в 1922 году было множество танцулек; растерянные полуголодные немки и немцы часами танцевали входивший в моду фокстрот. Что приснилось Андрею Белому, когда он услышал впервые джаз? Почему он начал неистово танцевать, пугая глазами пророка молоденьких приказчиц? Он рано поседел; лицо было темным от загара, а глаза все сильнее и сильнее отделялись от лица, жили своей жизнью.

Все в нем было несчастьем: и сердечные драмы, и дружба с Блоком, и постоянные разуверения, и литературное одиночество. Еще в 1907 году он написал эпитафию себе:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизни прожить не сумел.

Умер он в возрасте пятидесяти четырех лет не от солнечных стрел, а от усталости: хотел идти в ногу с веком, но то обгонял его, то оставался позади — «жизни прожить не сумел». Все, кажется, он испробовал — и мистику, и химию, и Канта, и Соловьева, и Маркса; был после Донарха руководителем литературной студии Пролеткульта, писал для советских газет очерки о росте социалистической экономики, написал заумную «Глоссалалию», не раз хоронил себя и снова «затевал кавардак».

Непримиримые эмигранты его ненавидели: он им казался перебежчиком — ведь он проводил вечера в беседах с Шестовым, с Бердяевым, дружил с Мережковским и вдруг в Берлине в 1922 году заявил, что подлинная культура в Советской России, а убежавшие от революции мертвы и смердят.

«Скифы» считали его своим, трудно сказать почему, вероятно, потому, что он восхищался гражданским мужеством Блока. Ничего «скифского» в Андрее Белом не было, он боялся «панмонголизма», о котором писал Соловьев и которым вдохновился Блок. Автоматизм западноевропейской буржуазной жизни Андрей Белый обличал не как скиф, мечтающий о древних кочевьях, а как гуманист эпохи Возрождения.

Помню два его признания. Разговаривая с Маяковским в Берлине (я писал, как высоко ценил Белый поэму «Человек»), Борис Николаевич сказал: «Все в вас принимаю — и футуризм, и революционность, одно меня отделяет — ваша любовь к машине как к таковой. Опасность утилитаризма не в том, что молодые люди увлекутся утилитарной стороной науки — это я только приветствую. Опасность в другом — в апологии Америки. Америки Уитмена больше нет, побеги травы высохли. Есть Америка, ополчившаяся на человека...» В другой раз Белый поспорил с крупным писателем, близким к сменовеховцам. Борис Николаевич кричал: «Вам не по душе революция, вы верите в нэп, вы восхищаетесь порядком, твердой рукой. А я за Октябрь! Понимаете? Если мне что-нибудь там не по душе, это именно то, что вам нравится...»

Я писал в этой книге, что Андрей Белый в 1919 году предсказал атомную бомбу. Беседуя со мной, он часто говорил о том, что математики, инженеры, химики отрекаются от своего долга служить человечеству, работают над усовершенствованием гибели, катастрофы, смерти. (Он писал об этом в своем дневнике 1915—1916 годов «На перевале»).

Гений? Бесспорно. Бессильный гений. Незадолго до смерти он сам попытался разобраться в этом противоречии. «Тридцать лет припевы сопровождали меня: «Изменил убеждениям. Литературу забросил... В себе сжег художника, став, как Гоголь, больным!.. Легкомысленнейшее существо, лирик!.. Мертвенный рационалист!.. Мистик!.. Материалистом стал!..» Я подавал много поводов так полагать о себе: перемудрами (от преждевременного усложнения тем), техницизмами контрапунктистики в оркестрировании мировоззрения, увиденного мною многоголосной симфонией; так композитор, лишенный своих инструментов, не может напеть собственным жалким, простуженным горлом — и валторны, и флейты, и скрипки, и литавры в их перекликании». Вероятно, это самое правильное объяснение: сложнейшая партитура и слабый человеческий голос.

Отсюда и одиночество. На берегу моря, крепкий, казалось бы бодрый, он говорил мне: «Всего труднее найти связь с людьми, с народом». Подарив мне «Петербург», надписал: «...с чувством постоянной связи». Я говорю не о случайном совпадении слов, а о навязчивой идее.

Он так хотел живой связи с людьми! А судьба его обошла. Личное горе выглядело холодом, «золотом в лазури». В стихотворении, посвященном Андрею Белому, Мандельштам писал:

Меж тобой и страной
Ледяная рождается связь.

Эти строки были написаны на следующий день после кончины Бориса Николаевича.

5

Я писал, что на развитие нашей прозы повлияли Андрей Белый и А. М. Ремизов, хотя их книги теперь почти всеми забыты. Эти писатели не походили друг на друга. Андрей Белый витал в небесах, не мог прожить и дня без философских обобщений, много ездил по свету, восторгался, горячился, спорил. Алексей Михайлович Ремизов был домоседом, жил на земле, даже под землей, походил на колдуна и на крота, вдохновлялся корнями слов, не мудрил, как Белый, а чудил.

В 1921—1922 годах в литературу вошли молодые советские прозаики — Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Зощенко, многие другие; почти все они пережили увлечение Андреем Белым или Ремизовым. Я как-то заглянул в мои книги того времени («Неправдоподобные истории», «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Шесть повестей о легких концах») и удивился: запутанные или оборванные фразы, переставленные или придуманные словечки; а когда я так писал, подобный язык мне казался естественным. Так были написаны и «Голый год» Пильняка, и многие произведения молодых «Серапионов». Если это можно назвать болезнью, то, говоря по-газетному, она была болезнью роста.

Влияние Белого и Ремизова на молодых писателей было настолько очевидным, что А. М. Горький писал К. А. Федину: «Но — не поймите, что я рекомендую Вам Белого или Ремизова в учителя — отнюдь! Да, у них — изумительно богатый лексикон, и, конечно, это достойно внимания, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка — Н. С. Лесков. Но — ищите себя. Это тоже интересно, важно и, может быть, очень значительно».

Я рассказал об Андрее Белом. Теперь мне хочется вспомнить А. М. Ремизова, с которым я познакомился в 1922 году в Берлине. В мещанской немецкой квартире,

в комнате, заставленной чужими вещами, сидел маленький сгорбленный человек с большим любопытным носом и с живыми, лукавыми глазами. Его жена, Серафима Павловна, хлопотливо потчевала гостей чаем. На письменном столе я увидел рукописи, написанные, вернее, нарисованные мастером каллиграфии. А на веревочках покачивались различные черти, вырезанные из бумаги: домашние и злые, хитрые и простодушные, как новорожденные козлята. Алексей Михайлович тихо посмеивался: в тот день, кроме привычных игрушек, у него была новенькая — Пильняк, который рассказывал фантастические истории о жизни в Коломне.

В Берлине Ремизов был таким же, как в Москве или в Петрограде, писал такие же сказки, играл в те же игры, разводил тех же чертяк — я говорю это, читая теперь записи людей, встречавшихся с ним до его отъезда за границу. Вот что писал В. Г. Лидин в 1921 году: «Не перевелись еще человечки такие, русские, земляные, мышиные, — живет и здравствует, и дай бог лета долгие человечку российскому, в ночи перышком скрипящему да скрипящему — в голодуху и холод — царю обезьяньему Алексею Михайлычу Ремизову». В 1944 году в книге «Горький среди нас» К. А. Федин вспоминал первые годы революции: «Сутулый, схожий чем-то с Коньком-горбунком, чуть-чуть вприсядочку бежит по Невскому человек, колюче выглядывающий из-за очков, в пальтеце и в шапочке... Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно принюхиваясь к тому, что излетает из выпяченных уст». (Лидин написал приведенные мной строки в годы повального подражания Ремизову, Федин — двадцать лет спустя, но и он, рассказывая об Алексее Михайловиче, невольно заговорил на давно забытом ремизовском языке...)

Среди прочих игр Ремизов играл в некий таинственный орден, созданный им, — «Обезьянья великая и вольная палата» или «Обезвелволпал». Он производил в кавалеры, в князья, в епископы друзей-писателей: Е. И. Замятина, П. Е. Щеголева, «Серапионов». Я числился «кавалером с жужелиным хоботком».

В 1946 году, приехав в Париж, я пошел к Алексею Михайловичу. Я не видел его перед тем лет двадцать. Незачем напоминать, какие это были годы. Много несчастий перенес и Алексей Михайлович. В годы немецкой

оккупации он голодал, бедствовал, мерз. В 1943 году умерла Серафима Павловна. Я увидел согнутого в три погибели старика. Жил он один, забытый, заброшенный, жил в вечной нужде. Но тот же лукавый огонек посвечивал в его глазах, те же черти кружились по комнате и так же он писал — древней вязью, записывал сны, писал письма покойной жене, работал над книгами, которые никто не хотел печатать.

Недавно Н. Кодрянская прислала мне книгу, посвященную последним годам жизни Алексея Михайловича. Я гляжу на его фотографии. Он терял зрение, с трудом писал, называл себя «слепым писателем», но, удивительно, глаза сохраняли прежнюю выразительность, и работал он до последнего дня; писал все о том же и все так же — «Мышкину дудочку», «Павлинье перо», «Повесть о двух зверях». Умер он в 1957 году, в возрасте восьмидесяти лет. Незадолго до смерти писал в дневнике: «Напор затей, а осуществить не могу — глаза!.. Сегодня весь день мысленно писал, а записать не мог». Он и дурачился до смерти — на книгах, изданных в последние годы, значится: «Цензуровано в верховном совете Обезвелволпала».

Кажется, можно позавидовать такой устойчивости, верности себе, душевной силе. А завидовать нечему: Ремизов узнал всю меру человеческого несчастья. Его часто упрекали за то, что в его книгах нагромождение неправдоподобностей, а его судьба куда нелепее всего, что он мог придумать.

Писатель всегда старается обосновать поступки своих героев; даже если они идут вразрез с общепринятой логикой. Поэты логически оправдывают свои алогизмы. Мы понимаем, почему Раскольников убивает старуху, почему Жюльен Сорель стреляет в госпожу Реналь. А жизнь не писатель, жизнь может без всяких объяснений все перепутать или, как говорил Алексей Михайлович, перекувырнуть. Ремизов был наирусейшим изо всех русских писателей, а прожил за границей тридцать шесть лет и говорил: «Не знаю, почему так вышло...»

В ранней молодости, будучи студентом, Ремизов увлекся политикой, стал социал-демократом, угодил в тюрьму, шесть лет провел в ссылке вместе с Луначарским, Савинковым и будущим пушкинистом П. Е. Щеголевым. В ссылке он встретил свою будущую жену — Серафиму Павловну, наивную эсерку. Ремизов в разговорах всегда подчеркивал, что от революционной работы он отошел, потому что счел себя плохим организатором и еще потому, что

увлекся писательством. О том, как он пришел к революционной работе, он писал в дневнике незадолго до своей смерти: «Как в России делалась революция. Переустройство жизни — уклада жизни. Мое чувство начинается — нищие на паперти и фабричные каморки». Он продолжал три месяца спустя: «История мне представляется кровожадной, война и расправа, надо кого-то мучить и замучить. Человек хочет сытно есть, спокойно спать и свободно думать. А впроголодь не всякому удается. Не насытившись и не выспишься. Забота глушит и убивает мысль. Революция начинается с хлеба».

В одной из последних книг, говоря о Тургеневе, Ремизов возвращается к той же проблеме: «В революцию все бросились на «Бесов» Достоевского, искали о революции... И никто не подумал о неумиренной пламенной Марианне «Нови», которая, я знаю, никогда не успокоится, и о ее сестре, открытой к мечте о человеческой свободе на земле, о Елене «Накануне», а кстати поискать «бесов» совсем не там — жизнь человека трудная и в мечте человека облегчить эту жизнь, какие там «бесы»! — нет, не там, и уж если говорить о бесах, вот мир, изображенный Тургеневым, Толстым, Писемским и Лесковым, — вот полчища бесов, а имя которым праздность и самовольная праздность».

В книгах «Пруд», «Крестовые сестры» Ремизов показал подлинных бесов дореволюционной России. Ромен Роллан в предисловии к французскому переводу «Крестовых сестер» писал, что эта книга показывает неправду старого общества, объясняет и оправдывает бурю.

Бунин знал, почему он жил и умер в изгнании, а Ремизов о белой эмиграции всегда говорил недружелюбно — «они», повторял: «Что они ни говорят, а живая жизнь в России». Н. Кодрянская приводит такие слова Алексея Михайловича: «Из 1947 года мне памятны три крепких отзыва: «ретроград», «подлец», «советская сволочь». Когда я был у него летом 1946 года, он говорил «паспорт у меня советский» — хотел хоть этим утешить себя и печально улыбался.

За границей он мыкался, его выселяли, высылали. В Берлине за него вступился Томас Манн. В Париже его обвинили в том, что он развел в доме мышей. Всегда он был в долгах, не знал, чем заплатить за маленькую квартиру.

К. А. Федин писал: «Ремизов мог быть и в действительности был своеобычнейшим «правым фронтом» литературы». Слово «правый» относится, конечно, не к политике,

но к эстетике: Ремизов у Федина противопоставлен лефовцам. А мне кажется, что страсть к старым народным оборотам, к корням слов, отличающая Ремизова, была присуща и Хлебникову, без которого нельзя себе представить Лефа.

Ремизов говорил, что из современников ему ближе других Андрей Белый, Хлебников, Маяковский, Пастернак. Не очень-то «правые» вкусы были у Алексея Михайловича. В живописи он любил Пикассо, Матисса. Архаизмы диктовались не консервативными наклонностями, а стремлением найти новый язык.

Ремизов часто с любовью вспоминал М. М. Пришвина. В предсмертном письме он радовался, что в Москве торжественно почтили память Михаила Михайловича. В своей автобиографии Пришвин, желая объяснить природу искусства, писал: «Писатель Ремизов в свое время тоже имел революционную прививку и дружил с Каляевым. Ремизов не был легкомысленным дезертиром в искусство. Каляев продолжал к нему относиться с тем же самым уважением, когда он стал писать свои утонченнейшие, изящные словеса. Однажды, близко к своему концу, Каляев случайно встретился на вокзале с Ремизовым, улыбнулся приветливо и так наивно-простодушно спросил на ходу: «Неужели все о своих букашках пишешь?»

Конечно, Ремарка читают больше, чем Гофмана, и Апухтин был куда популярнее Тютчева. Но статистика не решает дела: есть крылья разного калибра для разных полетов.

Ремизов был поэтом и сказочником. На одной из книг, которую он мне подарил, он написал: «Здесь все для елки». Елки одно время были у нас не в почете; потом их восстановили в правах. Алексей Михайлович в книгах был таким же, как в жизни: играл, выдумывал, иногда веселил своими нелепостями, иногда печалил. Елку любят не только дети, и редко встретишь человека, которому хотя бы раз в жизни не понадобилась до зарезу сказка. В этом оправдание «букашек» — долгих трудов большого писателя Алексея Михайловича Ремизова.

6

Произведя меня в кавалеры «Обезвелволпала», А. М. Ремизов определил «с хоботком жужелицы» не случайно: жужелица, защищаясь, выделяет едкую жидкость. Критики называли меня скептиком, злым циником.

В начале этой книги я сказал, что хочу написать исповедь; вероятно, я обещал больше, чем могу выполнить.

В католических церквах исповедальни снабжены занавесками, чтобы священник не видел, кто ему поверяет тайны. Говорят, что биография писателя — в его книгах; это верно; однако, придавая вымышленным героям свои черты, автор маскируется, заметает следы — есть у него помимо книг личная жизнь, любовь, радости, потери. Пока я писал о моем детстве, о ранней молодости, я не раз отодвигал занавеску исповедальни. Дойдя до зрелых лет, я о многом умалчиваю, и чем дальше, тем чаще придется опускать те события моей жизни, о которых мне трудно было бы рассказать даже близкому другу.

И все же эта книга — исповедь. Я сказал, что меня часто называли скептиком. В Ленинграде в 1925 году вышла книга Н. Терещенко «Современный нигилист — И. Эренбург». (Тургенев, пустивший в ход словечко «нигилист», писал: «Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово; но как точное и уместное выражение проявившегося — исторического — факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения, — почти в клеймо позора».) Я хочу сейчас разобраться в правильности этикетки, которую часто на меня вешали.

С детских лет я жил сомнениями в абсолютности тех истин, которые слышал от родителей, преподавателей, взрослых. Так было и потом; слепая вера мне казалась иногда прекрасной, иногда отвратительной, но неизменно чужой. Порой в молодости я пробовал пересиливать себя, а дойдя до возраста, который Данте называл «серединой жизненного пути», понял, что можно изменить суждения, но не натуру. Уже в старости я написал о моем отношении к слепой вере, которой противопоставлял критическое мышление и верность идее, людям, да и себе.

Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным.
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самым человечным.
Услыхав, он не поверил просто —
Мало ли рассказывают басен?
И, наверно, не один апостол
Говорил, что он весьма опасен.
Может, был Фома тяжелодумом,
Но, подумав, он за дело брался,
Говорил он только то, что думал,
И от слов своих не отступался.
Жизнь он мерил собственною меркой,
Были у него свои скрижали.
Уж не потому ль, что он «неверный»,
Он молчал, когда его пытали?

Я упоминал не раз в этой книге о характере моих сомнений. Будь я социологом или физиком, астрономом или профессиональным политиком, наверно, мне легче было бы перейти поле жизни. Я не хочу этим сказать, что путь политических деятелей или ученых устлан розами; но, переживая временные неудачи или поражения, они видят, что побеждает разум. А я стал писателем, то есть человеком, который по характеру своей работы должен интересоваться не только устройством общества, но и внутренним миром индивидуума, не только судьбами человечества, но и судьбой отдельных людей.

Мы теперь частенько говорим о потускнении литературы, искусства, о том, что «физики» опередили «лириков». В 1892 году А. П. Чехов писал: «Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, талантливо. Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, сами мы кислы и скучны, умеем рожать только гуттаперчевых мальчиков, и не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев». Порой, заглядывая в прошлое, успокаиваешься: когда Антон Павлович писал процитированное мною письмо, он не знал, что его путь идет в гору, что в тифлисской газете напечатан первый рассказ Максима Горького, что двенадцатилетний мальчик Саша Блок станет великим поэтом и что русская поэзия находится накануне подъема. Приливы всегда чередовались с отливами. Иногда прилив затягивался. Французские импрессионисты выступили в семидесятые годы прошлого века. Многие из них еще были в расцвете сил, когда на смену им пришли Сезанн, Гоген, Ван Гог, Тулуз-Лотрек; в начале нашего века впервые выставили свои работы Боннар, Матисс, Марке, Пикассо, Брак, Леже, и только четверть века спустя начался отлив. Современная американская литература создана писателями, родившимися вокруг 1900 года, — Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, Колдуэллом; их называли «потерянным поколением», но не они, а последующее поколение потеряло дорогу, завязло в трясине. Между смертью Некрасова и первым сборником стихов Александра Блока прошло почти тридцать лет.

Я видел появление крупных писателей, художников и не могу пожаловаться, что жил в эпоху спада искусства.

Нет, тяжело было другое: я жил в эпоху необычайного взлета и столь же необычайного падения человека, в эпоху разлада между быстрым прогрессом естествознания, развитием техники, победами справедливых социалистических идей и душевным запустением миллионов человеческих существ. Слишком часто мне приходилось видеть необыкновенно сложные машины и необычайно примитивных людей — с предрассудками, с грубостью чувств пещерного века.

Я рассказал, какой была Москва моего детства — темной, с «Московским листком», со снобами, не сводившими глаз с Парижа, с неграмотными рабочими, с заграничными товарами. На Западе о России тогда говорили редко: страна кнута, с храбрыми казаками, с пшеницей и пушниной, край бомб и виселиц. Стоит заглянуть теперь в любую газету любого континента, чтобы увидеть, сколько пишут про нас; на Москву смотрят все — одни с надеждой, другие с опаской; зеленый, сонный город моего детства стал подлинной столицей. Родился новый Китай. Добилась независимости Индия; поднялась буря: и одна за другой страны Азии и Африки скидывают господство «белых». Да, все переменилось. Мог ли я мальчиком себе представить, что буду перелетать за несколько часов океан, что появятся радио и телевидение, что человек отправится в космос? Чудеса, семимильные шаги!

Но разве в те же годы отрочества я мог себе представить, что впереди Освенцим и Хиросима? Мы воспитывались на книгах прошлого столетия, и я знал два полюса: прогресс и варварство, просвещение и невежество. А XX век многое перепутал. Я вспоминаю дневник немецкого офицера, который мне принесли на фронте в 1943 году. Автор был студентом, цитировал Гегеля и Ницше, Гёте и Стефана Георге, увлекался перспективами современной физики, и вот он записал: «Сегодня в Кельцах мы ликвидировали четырех еврейских детенышей, они прятались под полом, и мы потом смеялись, что умеем вымаривать крыс...» Недавно мы видели, как терзали Патриса Лумумбу. Репортеры фотографировали пытки, и аппараты у них были превосходные.

Дикость, если она связана с невежеством, объяснима; труднее ее понять в людях образованных, порой одаренных. Будущие эсэсовцы учились в школах той Германии, которую я знал; с детских лет им говорили, что Кант написал «Критику чистого разума» и что Гёте, умирая, воскликнул: «Больше света!» Все это не помешало им десять лет

спустя швырять русских младенцев в колодцы. «Изуверские идеи маньяка» — скажут мне. Конечно. Но меня потрясло не появление на арене истории Гитлера, а то, как быстро изменился облик немецкого общества: люди с высшим образованием превратились в людоедов; тормоза цивилизации оказались хрупкими и при первом испытании отказали.

Но что говорить о фашистах! Я видел, в другом лагере некоторые люди, казалось бы, приобщенные к благородным идеям, совершали низкие поступки, во имя личного благополучия или своего спасения предавали товарищей, друзей; жена отрекалась от мужа; расторопный сын чернил попавшего в беду отца.

Не знаю, оттого ли, что шла борьба за построение нового общества, борьба подчас кровавая, в которой противники не брезгали ничем, оттого ли, что приходилось за несколько лет наверстывать упущенное веками, но многие люди развивались односторонне. Автор книги «Современный нигилист», о которой я упомянул, ставил мне в вину «культ любви», называя его мещанством: «В частных случаях по отношению к слабым или малоразвитым людям половая любовь еще может сыграть роль двигателя вперед, но при условии, если любовь поставлена на свое место...» Я помнил Петрарку, Лермонтова, Гейне, и мне казалось, что мой обвинитель — «слабый или малоразвитый человек» и что, хотя он считает себя коммунистом, его понимание любви, «поставленной на свое место», — апология мещанства.

Вправду ли я скептик, циник, нигилист? Я оглядываюсь на свое прошлое. Я хотел сам многое понять, проверить и не раз ошибался. Но я твердо знал, что, как бы меня ни огорчали, ни возмущали те или иные вещи, я никогда не отступлюсь от народа, который первый решился покончить с ненавистным мне миром корысти, лицемерия, расового или национального чванства. Думаю, скептик просидел бы с горькой усмешкой всю свою жизнь где-нибудь в нейтральном закутке, а циник писал бы именно то, что устраивает самых придирчивых критиков.

Сартр говорил мне как-то, что детерминизм — ошибка, что у нас всегда есть свобода выбора. Думая теперь о его пути, я лишний раз вижу, насколько мы связаны в своем выборе историческими обстоятельствами, средой, чувством ответственности за других, той общественной атмосферой, которая неестественно повышает голос человека или, наоборот, глушит его, меняет все пропорции.

Бывают эпохи, когда, облюбовав место «над схваткой», можно сохранить любовь к людям, человечность; бывают и другие, когда духовно независимые киники становятся циниками, а бочка Диогена превращается в ту самую хату, которая всегда с краю. Уж что-что, а эпохи человек не выбирает.

В чем же были правы критики? Да в том, что по своему складу я вижу не только хорошее, но и дурное. Правы и в том, что я склонен к иронии; чем больше я взволнован, растроган, тем резче выступают иглы, шипы; это явление довольно распространенное; в свое время был даже литературный термин — «романтическая ирония».

В моих ранних книгах преобладала сатира; на авансцену часто вырывались рвачи, злые мещане, лицемеры. Потом я увидел, что сплошь да рядом доброе и дурное сосуществуют в одном человеке. Я написал «День второй». Однако этикетка оставалась. А. Н. Афиногенов, с которым я познакомился в тридцатые годы, писал в своем дневнике: «У Эренбурга взгляд на все происходящее скептический...» Это написано дружеской рукой, но в замечании сказалась инерция установившегося реноме. Да зачем говорить о том, что было четверть века назад? В 1953 году я написал «Оттепель»; само название книги, казалось бы, показывало доверие автора к эпохе и людям; но критиков возмутило, что я показал директора завода, человека бесчувственного и нехорошего.

Есть писатели, которые как бы видят вокруг только хорошее, доброе. Это не связано с личной добротой автора. Мне кажется, что в жизни Чехов был мягче, снисходительнее, добрее Толстого. Но Чехов справедливо писал: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, — все это хорошо, умно, естественно и трогательно...» Толстой сделал из Николая Ростова обаятельного человека, а Наполеона описать не сумел. Что касается Чехова, то он очень хорошо показывал людей, обижающих других, да и обиженные в его рассказах отнюдь не ангелы.

Что нужнее людям — раскрытие пороков, душевных изъянов, язв общества или утверждение благородства,

красоты, гармонии? Вопрос, по-моему, праздный: людям нужно все. В одно время жили Державин и Фонвизин; остались «Глагол времен! металла звон!», остался и «Недоросль». Никогда не существовало, не существует, да и вряд ли будет существовать общество, лишенное пороков; долг писателя, если только он чувствует к этому призвание, говорить о них, не страшась, что с чьей-то легкой руки его причислят к скептикам или циникам.

Я люблю Белинского и за его гражданскую страсть, и за страсть к искусству, за глубокую честность. Часто я вспоминал его слова: «...когда же мы находим в романе удачными только типы негодяев и неудачными типы порядочных людей, это явный знак, что или автор взялся не за свое дело, вышел из своих средств, из пределов своего таланта и, следовательно, погрешил против основных законов искусства, то есть выдумывал, писал и натягивал риторически там, где надо было творить; или что он без всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего произведения, только по внешнему требованию морали ввел в свой роман эти лица и, следовательно, опять погрешил против основных законов искусства».

Порой я грешил против законов искусства; порой попросту ошибался в оценках событий и людей. В одном я только неповинен: в равнодушии.

Мои рассуждения могут показаться литературной полемикой. Я ведь говорил об исповеди, а то и дело цитирую Белинского, Толстого, Тургенева, Чехова. Но я должен был сказать о глазах и о сердце, о верности времени, которая оплачивается и бессонными ночами, и неудачными книгами. Без этой главы мне было бы трудно продолжать мое повествование.

7

Я говорил, что мое поколение может сосчитать на пальцах относительно спокойные годы; к ним следует отнести то время, о котором я начинаю рассказывать.

Осенью 1923 года всем казалось, что Германия накануне гражданской войны. Стреляли в Гамбурге, в Берлине, в Дрездене, в Эрфурте. Говорили о коммунистических «пролетарских сотнях», о «черном рейхсвере» фашистов. Канцлер Штреземан взывал к патриотизму. Генерал Сект проверял, достаточно ли у артиллеристов снарядов. Иностранные корреспонденты не отходили от телефона. Гроза представлялась неминуемой. Прокатились

слабые раскаты грома. Ничего, однако, не произошло. Рабочие были обескуражены, измучены. Все мешалось в голове мещанина; он никому больше не верил; ненавидел Стиннеса и французов; побаиваясь блюстителей порядка, он в то же время мечтал о добротном и длительном порядке. Социал-демократы хвастали образцовой организацией. Профсоюзы аккуратно собирали членские взносы. А решимости не хватило... Канцлер приказал распустить рабочие правительства Саксонии и Тюрингии. Я видел листовку с призывом к восстанию; люди читали и молча шли на работу.

Мюнхен считался главной квартирой фашистов. Известный всем генерал Людендорф и еще мало кому известный Гитлер попытались захватить власть. Черновая репетиция трагедии вошла в историю под названием, скорее подходящим для фарса, — «пивной путч». Берлинцы равнодушно пробегали телеграммы из Мюнхена: еще один путч, капитан Рем, какой-то Гитлер... Приближалась пора «плана Дауэса», хитроумной дипломатии Штреземана, внезапного достатка после десяти лет беспросветной нужды. Газеты перешли на сенсационные убийства или на похождения кинозвезд.

Заводы не успевали выполнять заказы. Пустовавшие магазины начали заполняться покупателями. Герои художника Гросса в ресторанах Курфюрстендамма пили французское шампанское «за новую эру».

О переходе военной экономики на мирную имеется обширная литература. Не менее трудно обыкновенному человеку перейти от жизни, перенасыщенной историческими событиями, к будням. Два года я прожил в Берлине с постоянным ощущением надвигающейся бури и вдруг увидел, что ветер на дворе улегся. Признаться, я растерялся: не был подготовлен к мирной жизни.

Дом искусств давно закрылся. Лопнули эфемерные издательства. Русские писатели поразъехались кто куда: Горький — в Сорренто, Толстой и Андрей Белый — в Советскую Россию, Цветаева — в Прагу, Ремизов и Ходасевич — в Париж.

Уехали из Берлина и чужеземные спекулянты: марка становилась на ноги. Газеты писали о том, что новый американский президент добьется ухода французов из Рура; начинается восстановление Германии. Некоторые немцы чистосердечно наслаждались покоем; другие говорили, что надо готовиться к реваншу, — оккупированные не расставались с мечтой снова стать оккупантами. Однако стрелка

барометра шла вверх; люди думали не о будущей войне, а о предстоящих каникулах.

Я много писал, и, пожалуй, в те месяцы (как и не раз потом) меня выручало ремесло. Не знаю, «святое» ли оно или попросту очень трудное; говорю сейчас не о замыслах, не о фантазии, а только о поте. Вот я отмечал: написал столько-то книг (следовал перечень заглавий); а за этим скрывается прежде всего труд, разорванные страницы, по десяти раз переделанная строка, бессонные ночи — словом, все то, что известно любому писателю. Бывали дни, когда я настолько сердился на самого себя, что готов был отказаться от писательства; но потом снова сидел над листом бумаги — втянулся в это дело, поздно было гадать, есть ли у меня способности или нет.

Я закончил и отослал в Петроград сентиментальный роман «Любовь Жанны Ней» — отдал дань романтике революционных лет, Диккенсу, увлечению фабульной стороной романов и своему (уже не литературному) желанию писать не только о тресте, занимающемся уничтожением Европы, но и о любви.

Шагая по длинным улицам Берлина, удивительно похожим одна на другую, я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал. Вот одно из стихотворений, написанных в то время:

Так умирать, чтоб бил озноб огни,
Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский —
«Ну ты, угомонись, уймись, нишкни», —
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,
Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций,
Так умирать, понять, что гам и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это — смерть, что на твое «прощай!»
Уж мне никак не суждено ответить.

Форма как будто была заемной — пастернаковской, но содержание моим: я продолжал работать, бушевать и, разумеется, иронизировать, а на сердце скребли кошки.

(Мориак в одном из старых романов говорит: «Даже страдания — это роскошь». Да, слишком часто выпадали на нашу долю годы, когда люди не могли себе позволить роскошь быть печальными, страдать от душевной обиды, от неразделенной любви или от одиночества.)



Валерий Брюсов. Портрет работы М. А. Врубеля



Б. Л. Пастернак, С. М. Эйзенштейн, О. В. Третьякова, Л. Ю. Брик, В. В. Маяковский. Москва, 1924 г.



Борис Пастернак. Москва, 1926 г. Фото И. Эренбурга



Марина Цветаева. Париж, 1925 г.



И. Эренбург. Шарж
И. Матусевича, 1918 г.



А. Толстой и И. Эренбург.
Москва, 1918 г.



Андрей Соболь



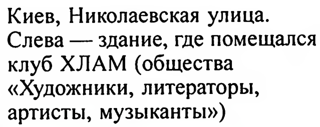
В. Г. Лидин



Сестры И. Эренбурга у могилы матери в Полтаве (собрание И. И. Эренбург)



Эскиз обложки Сборника Мастерской художественного слова, вышедшего под редакцией И. Эренбурга в Киеве в 1919 г. Художник Н. И. Данилов (собрание Б. Я. Фрезинского)



Киев, Николаевская улица. Слева — здание, где помещался клуб ХЛАМ (общества «Художники, литераторы, артисты, музыканты»)

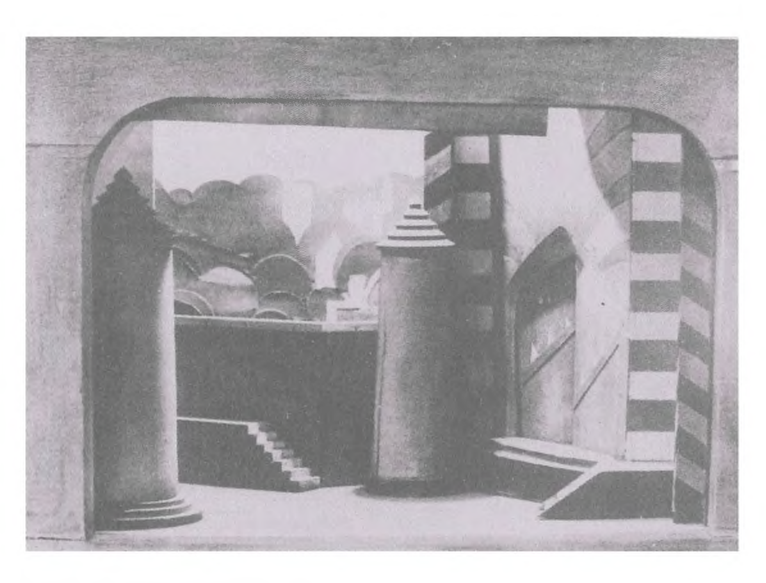




А. Г. Тышлер



Л. М. Козинцева-Эренбург



Макет декорации к спектаклю
«Фуэнте овехуна» по пьесе
Лопе де Вега в театре
Соловцева (Киев, 1919 г.)
по эскизу И. Рабиновича



Ядвига Соммер. Москва, 1926 г. Фото И. Эренбурга



Надежда Хазина (Мандельштам)



Киев, Софийская улица. В этом здании в 1919 г. помещалась греческая кофейня.
Фото В. Ляпина, 1968 г.



Майя Кудашева



Осип Мандельштам



Коктебель. Возле дома М. А. Волошина



Тифлис, 1920 г. Сидят: Паоло Яшвили, Я. Соммер, Л. Козинцева. Стоят: Н. Н. Ходотов, А. Э. Мандельштам, И. Г. Эренбург (собрание Б. Я. Фрезинского)



Тициан Табидзе



Тифлис. Головинский бульвар



Москва. Страстной монастырь



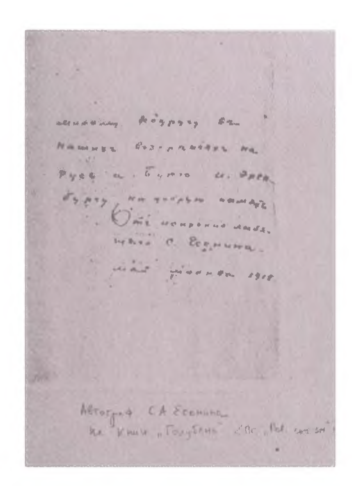
Москва. Площадь перед Моссоветом



В. Л. Дуров с обезьянкой Мимусом



Всеволод Мейерхольд. Портрет работы П. Кончаловского



Автограф Сергея Есенина на книге «Голубень» (Петроград, 1918): «Милому недругу в наших воззрениях на Русь и Бурю И. Эренбургу на добрую память от искренне любящего С. Есенина. Май, Москва, 1918» (собрание И. И. Эренбург)



И. Г. Эренбург и А. Я. Таиров на репетиции спектакля по пьесе Эренбурга «Лев на площади» в Камерном театре. Москва, 1948 г. (сзади — художник спектакля Р. Р. Фальк)



Франц Элленс и Маруся Милославская



А. Ремизов, Андрей Белый,
Б. Пильняк, А. Толстой,
И. Соколов-Микитов и
А. Ященко. Берлин, 1922 г.



Обложка журнала «Вещь»
работы Эль Лисицкого
(Берлин, 1922 г.)



В. Б. Шкловский


ЛЕНИН
ОДНОДНЕВНАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА (УЛЬЯНОВА)

Первая страница однодневной
газеты «Ленин». Москва,
январь 1924 г.



Обложка книги Н. Терещенко
«Современный нигилист
И. Эренбург» (Ленинград, 1925 г.)



И. Эренбург и Ю. Тувим.
Варшава, 1928 г.



Витезслав Незвал.
Шарж А. Гоффмейстера



«Серапионовы братья». Сидят:
М. Слонимский, Е. Полонская,
Н. Никитин, Вс. Иванов,
М. Зощенко. Стоят: Л. Лунц,
Н. Тихонов, К. Федин,
И. Груздев, В. Каверин



А. Мальро и И. Бабель.
Москва, 1935 г.



Перец Маркиш



Йозеф Рот



И. Эренбург, Л. Козинцева и Л. Зборовский на выставке гуашей Л. Козинцевой. Париж, галерея Зборовского, 1927 г. (собрание И. И. Эренбург)



И. Эренбург и С. Эйзенштейн. Париж, 1930-е гг.



Париж, 1927 г. И. Эренбург, А. Савич, О. Савич, Л. Козинцева



Мак-Орлан.
Художник Ю. Паскин



Ю. Паскин



И. Эренбург и Э. Толлер (справа). Испания, 1931 г.



Дж. Джойс.
Шарж А. Гоффмейстера



Стоят: В. Л. Вишняк, А. Г. Вишняк, Дуся Рысс,
Б. Лекаш, Р. Р. Фальк, Д. Гамсараган, Х. Грановский.
Сидят: М. Грановская, И. Эренбург, Л. Козинцева, Маревна; внизу —
Л. Воловик. Париж, начало 1930-х гг. (собрание И. И. Эренбург)





Суперобложки немецких изданий И. Эренбурга работы Джона
Хартфильда. Берлин, издательство «Малик», начало 1930-х гг..

Навстречу шли чинные бюргеры, франтихи, чиновники, школьники. Таксы, привязанные возле дверей колбасных, ждали хозяек и тоскливо позевывали.

Я расставался с Берлином без сожаления. А вот с некоторыми иллюзиями, жившими в сердце «нигилиста», расстаться было куда труднее...

Мы высмеивали романтизм, а на самом деле были романтиками. Мы жаловались, что события разворачиваются слишком быстро, что мы не можем задуматься, сосредоточиться, осознать происходящее; но стоило истории затормозить ход, как мы помрачнели — не могли приспособиться к другому ритму. Я писал сатирические романы, слыл пессимистом, а в глубине сердца надеялся, что не пройдет и десяти лет, как изменится облик всей Европы. В моих мыслях я уже похоронил старый мир, и вдруг он ожил, даже прибавил в весе, заулыбался.

Наступала эпоха, которую наши историки именуют «временной стабилизацией капитализма». Возможно, что, читая эту часть моей книги, читатели подумают: первые части были куда интереснее, чувствуется спад... Что ж, антракт не спектакль, а 1924 год не 1914-й и не 1919-й

В годы передышки писатели поняли, что они могут писать; именно тогда были написаны прекрасные романы Хемингуэя, «Конармия» Бабеля, «Про это» Маяковского, «Семья Тибо» Мартен дю Гара, поэмы Цветаевой, «Волшебная гора» Томаса Манна, «Парижский крестьянин» Арагона, «Разгром» Фадеева и много других замечательных произведений. А рассказать о годах, когда не было ни мобилизации, ни боев, ни концлагерей, когда люди умирали в своей постели, да так рассказать, чтобы это было интересно, очень трудно. Флобер мечтал написать роман без фабулы, но не написал его: очевидно, даже для спокойного повествования требуются какие-то события. Впрочем, читателей можно успокоить: передышка была недолгой.

8

Кажется, в сентябре 1923 года из Праги приехал в Берлин друг Маяковского и Э. Ю. Триоле рыжий Ромка — лингвист Роман Осипович Якобсон, работавший в советском представительстве. В стихотворении, ставшем хрестоматийным, Маяковский вспоминал, как дипкурьер Нетте, «глаз кося в печати сургуча, напролет болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел, стихи уча». Роман был розо-

вым, голубоглазым, один глаз косил; много пил, но сохранял ясную голову, только после десятой рюмки застегивал пиджак не на ту пуговицу. Меня он поразил тем, что все знал — и построение стиха Хлебникова, и старую чешскую литературу, и Рембо, и козни Керзона или Макдональда. Иногда он фантазировал, но, если кто-либо пытался уличить его в неточности, улыбаясь, отвечал: «Это было с моей стороны рабочей гипотезой».

Роман Якобсон начал меня уговаривать съездить в Прагу, соблазнял и домами барокко, и молодыми поэтами, и даже моравскими колбасами (он любил поесть и начинал полнеть, хотя был еще очень молод).

В конце года я приехал в Прагу. Молодые поэты меня встретили дружески, расспрашивали о Маяковском, Мейерхольде, Пастернаке, Татлине — я был первым советским писателем, которого они видели. (Об этом написал Незвал в изданной посмертно книге воспоминаний.)

Франтишек Кубка, рассказывая о своих встречах с советскими писателями и художниками, пишет, что часто видел меня в Праге и не помнит, к какой встрече относится та или иная беседа. Я тоже не могу вспомнить, когда я впервые встретился со многими из моих пражских друзей — в 1923 году или позднее, но я хорошо помню один из первых пражских вечеров, когда Роман Якобсон привел меня в кафе «Народна каварня», облюбованное участниками «Деветсила» — так окрестили себя чешские сторонники левого искусства. На диване у длинного стола сидели поэты Витезслав Незвал, Ярослав Сейферт, прозаик Владислав Ванчура и теоретик «Деветсила» критик Карел Тейге. Были еще молодые художники, но не помню, кто именно. Незвал пил сливовицу и восторженно вскрикивал. Потом Ванчура ушел домой, а мы начали переходить из одной «винарни» в другую и на рассвете оказались в пустой холодной закусочной, где по местным обычаям полагалось есть суп из требухи.

В присутствии Незвала трудно было кого-либо заметить: он заполнял не только комнату, но, кажется, всю Прагу. Он вдохновенно кричал, читал стихи, вскочив на стол, обнимал каждого из нас и все время помахивал короткими, широкими руками, похожими на ласты. Он вообще походил на морского льва. Его облик был настолько своеобразен, что художник Адольф Гоффмейстер рисовал его, как дети рисуют дерево или домик — несколькими линиями, рисовал не глядя, в одну минуту, и все портреты отличались удивительным сходством. Как-то ночью

на тихой улице Малой Страны Незвал громко декламировал стихи. Полицейский попросил его не будить людей. Незвал продолжал кричать. Удостоверения личности у него не оказалось, но, порывшись в кармане, он вытащил измятый клочок газеты с карикатурой Гоффмейстера и снисходительно показал полицейскому: «Незвал. Поэт».

Сила поэзии Незвала прежде всего в непосредственности, наивности. Обычно говорят «наивен, как ребенок». Я говорил, что Франсуа Вийон, считавшийся бесхитростным слагателем баллад и рондо, на самом деле был искуснейшим мастером. Незвал обладал высокой поэтической культурой, любил чешских романтиков, Новалиса, Бодлера, Рембо, Гийома Аполлинера, Маяковского, Пастернака, Элюара, Бретона, Тувима. Он не обошел ни одной из поэтических форм — от сонетов до стиха, связанного только внутренним ритмом, от классики до сюрреализма — и, любя сопротивление материала, неизменно выходил победителем. Наивен он был не как ребенок, а как соловей, как анемон, как летний дождь. Ежечасно он открывал мир; он подходил к природе, к человеческим чувствам, даже к предметам обихода, как будто до него не существовало тысячелетий цивилизации. Он был нов не потому, что хотел быть новатором, а потому, что видел и ощущал все по-новому:

Выставлены розовые холсты
Под открытым небом средь равнины.
Крыши там из обожженной глины —
Это вид Милана с высоты.
Зорька вдрызг рассыпалась на мелкие кусочки.
Солнышко, солнышко, лопай пирожочки!

Поэзия была для него стихией, водой для рыбы; отлученный от нее хотя бы на день, он задыхался. Он любил поэтов, чувствовал с ними родство, общность — от давней дружбы с Бретоном и Элюаром до поздних встреч с Назымом Хикметом; восторгался, открывая других поэтов. Как-то он попросил меня прочитать ему вслух стихи Леонида Мартынова, восхищался, обнимал ластами воздух. У него было очень доброе лицо, и это лицо не обманывало. В последние годы своей жизни он писал книгу воспоминаний; он говорил мне, что писать ее нелегко: знал, что многое на свете изменилось, но не хотел изменить друзьям своей молодости; никого не предал, писал мужественно и нежно. Мне кажется, что он сумел это сделать именно потому, что был поэтом. (Я вспоминаю простые и муд-

рые слова Пастернака о том, что плохой человек не может быть хорошим поэтом.)

Незвал часто в стихах писал о стихах:

Будьте строги и прекрасны! В добрый час!
Звездопады слез, и клятвы женских глаз,
И любовь в горах, где сотни звезд
Прямо в руки падают из гнезд!

До свиданья! До свиданья! Так и быть!
Снова буду я будильник заводить.
Сколько здесь людей живет вокруг,
Вот она, поэзия, мой друг!

Когда я познакомился с Незвалом, ему было двадцать три года. Годы шли. Критики, как им и подобает, корили Незвала: он отходит от революции, становится формалистом, хуже того — он влюбился в сюрреализм, он отходит от поэзии, он весь в политике, он чересчур сложен, он чересчур прост, он не одолел мастерства, он исписался. А Незвал оставался все тем же. Никогда я не встречал человека, который так упорно сопротивлялся бы обстругиванию, стрижке под гребенку, корректуре годов.

Юношей он написал, что отдает себя революции. Он считал, что справедливость и красота — сестры. Часто этого не хотели понять ни поэты, ни догматики. А Незвал стоял на своем. Может удивить его наивность: в 1934 году он обратился в ЦК Коммунистической партии Чехословакии, пытаясь доказать, что сюрреализм, которым он тогда увлекался, вполне совместим с историческим материализмом. Но и много позднее, в конце своей жизни, он не высмеял прошлого, не отрекся от былых друзей, даже если дороги разошлись. В 1929 году, когда многие крупные чешские писатели вышли из коммунистической партии, Незвал не последовал их примеру. Двадцать лет спустя он не захотел отступиться от того, что считал искусством.

Революция для него была не абстрагированным политическим понятием, но сутью жизни. Он и в искусстве страстно любил все то, что порывало с канонами прошлого. Я знал его друзей — и смелого театрального режиссера Эмиля Буриана, который вдохновлялся в те годы Мейерхольдом, и художников — Шиму, Филлу, молодого Славичека, Штырского, Тоайен. Когда в конце сороковых годов их причислили к «формалистам», Незвал не мог с этим примириться. Как-то он сказал мне: «Почему у одного нет головы, у другого нет сердца, а у третьего и голова и сердце, но нет глаз — он не видит живописи, и

все же обязательно судит художников». Эпоха не раз ему говорила: «Выбирай — или-или...» Он не соглашался: был слишком широк для любых рамок. Его стихи, как разлившиеся реки, не признавали берегов, а его доброта всех обескураживала.

В конце сороковых годов он работал в отделе кино; но и в службе он нашел поэзию: фильмы Трнки. Мы с ним смотрели вместе «Соловья» по сказке Андерсена. Механическая игрушка не могла заменить живой птицы. И Незвал радовался: «С живописью теперь плохо. И вот Трнка... Гони искусство в дверь, все равно оно ворвется в окно...»

Он любил деревья Моравии и новую архитектуру Праги, любил пейзажи импрессиониста Славичека, написал о нем книгу, любил фильмы Чаплина, мансарды Парижа, задушевные беседы. Когда он написал «Песнь мира», самые суровые критики умилились. А ведь Незвал всегда писал о мире...

Очень давно, в двадцатых годах, когда мы бродили по Праге, я ему сказал, что многое мне открыли глубокие дворы старого города, где дети играют, старушки судачат, где есть полутемные трактиры, в которых Швейк рассказывал свои замысловатые истории. Незвал вспомнил о нашей беседе в 1951 году и написал, что я знаю Прагу не только по Градчанам или по Вацлавскому наместью, что я люблю ее дворы. Он ведь знал каждый двор, каждый тупичок Праги. Мы с ним встречались и в Париже и в Москве, но, думая о нем, я его неизменно вижу на набережной Влтавы или на узкой, надышанной уличке возле Старого Места. Он посвятил любимому городу много чудесных стихов, одна из его книг называется «Прага с пальцами дождя».

Он увидел женщину, утонувшую во Влтаве, потом вспомнил маску, которую видел в Париже, и написал поэму «Неизвестная с Сены». Его поразила посмертная улыбка утопленницы.

Незнакомка мертвая! Мы пасынки судьбы.
Разве смерть откроет нам звездные сады?..

Через всю жизнь Незвала прошла зыбкая и вместе с тем плотная, реальная мечта. Где-то я прочитал, что он был последним романтиком; нет, не подходит к нему слово «последний» — он всегда и во всем начинал.

Я вспоминаю сейчас его старое стихотворение из книги «Женщина во множественном числе». Поэт идет по незнакомому городу мимо огромного дома, там, наверно, музей

с чучелами птиц; улицы пусты, на углу он видит женщину, она одета слишком тепло для летнего дня, шляпа закрывает половину лица, женщине кажется, что она знакома с Незвалом, и Незвалу кажется, что он ее знает, а город чужой, хотя и знакомый, город нелюбимый, и вот они доходят до дома, поднимаются на третий этаж, она садится, не снимая шляпы, и Незвал ей говорит: «Вас нет. Вы здесь. Всю жизнь я писал для вас». Но женщины снова нет. Он снова идет по улицам, ищет. Кажется, она... «Я чувствую, что она близко, как мы чувствуем близость смерти...»

Это не книга о поэзии, а история моей жизни, именно поэтому я должен был рассказать о стихах Незвала — они вошли в мои дни.

Недавно с Гоффмейстером мы вспомнили прошлое; очень мало осталось в живых наших общих друзей, завсегдатаев пражских кафе «Метро», «Славия» и других. Ванчуру, мягкого, но непримиримого, немцы расстреляли. Из поэтов первым в 1949 году умер Галас. Трагически оборвались жизни Библа и Тейге. Еще в тридцатые годы застрелился архитектор Фейерштейн, который делал декорации для пьес Незвала. Умер художник Филла.

О смерти Незвал думал давно. В стихотворении, написанном в 1935 году, он говорил, что у людей, которые пытаются отгородиться от смерти, «лицо лиловое, а ногти впиваются в ладонь». Смерть была ему противопоказана.

Лучше ссутулиться в жизни,
Чем распрямиться в смерть.
Лучше вся тяжесть жизни,
Чем облегченная смерть.

Всю свою жизнь он составлял гороскопы. О смерти он думал всерьез. В 1955 году в стихах, написанных на юге Франции, он повторял:

Море, растет вода,
Море, не в счет года,
Что тебе горе?
Растет трава, идет вода,
Человек хочет жить,
Человек умирает.
Что тебе до него? Ты — море...

Мне он казался морем: столько в нем было постоянной и бурной жизни. Вскоре после окончания войны Незвал повел Галаса и меня в винный погребок — он обнаружил бутылки старого вина, припрятанные от немцев. Позади

были годы, каждый с десятилетие. Галас был печален. А Незвал радовался и бушевал: я невольно подумал — вот кому годы не в счет...

Как-то, приехав в Прагу, я нашел Незвала примолкшим. Друзья сказали, что у него плохо с сердцем, врачи запретили ему пить вино, курить. А дня два или три спустя я снова увидел буйного Незвала, он размахивал ластами, восхищался женщинами, пил вино, читал стихи и, конечно, по-прежнему составлял гороскопы. Однажды он мне сказал, что гороскоп предсказывает ему недоброе: он предпочитал умереть не по данным электрокардиограммы, а по волшебной карте созвездий.

В последний раз мы встретились весной 1958 года в аэропорту Праги. Я сидел в буфете и ждал самолета.

Вдруг я увидел Незвала — он только что прилетел из Италии. Он сказал мне, как всегда восхищенный: «Италия — дивно!» Потом обнял меня и тихо добавил: «А мне плохо», — показал рукой на сердце.

Вскоре после этого он умер.

В одном из его лучших произведений, в поэме «Эдисон», написанной в 1931 году, есть строки о страсти, о смерти, о бессмертии:

Только клад не пропал бы безвестно.
Смерть сражается с нами нечестно,
Нас насильно уложат в кровать,
Чтоб лекарства моря выпивать.
Ты, спешивший в грядущее время,
Будешь предан столетьями всеми...
И могу ли я быть хладнокровен,
Что ни шаг, то собранье диковин.
Предо мною речной перевоз,
Плесень мельничных мокрых колес...
Вы, потомки, простите меня.
Нас крутила времен шестерня,
Лихорадка войны нас трепала,
Нам разлука платками махала...
Может статься, на души в бреду
Надевал я искусства узду,
Может, сам, уходя от надлома,
Вас спасал я от желтого дома?
Люди, люди, не может пропасть,
Что сказали страданья и страсть!

Не думаю, чтобы будущий историк понял пережитую нами эпоху только по газетам, по протоколам заседаний, по архивам академий или трибуналов; ему придется прибегнуть к поэзии, и одной из первых книг, к которой он потянется, будут стихи неуемного Незвала.

9

Увидев снова Москву, я изумился: я ведь уехал за границу в последние недели военного коммунизма. Все теперь выглядело иначе. Карточки исчезли, люди больше не прикреплялись. Штаты различных учреждений сильно сократились, и никто не составлял грандиозных проектов. Пролеткультовские поэты перестали писать на космические темы. Поэт М. Герасимов сказал мне: «Правильно, но тошно...»

Машинистка ТЕО, рыжая девушка, которую мы почему-то называли Клеопатрой, давно позабыла «Октябрь в театре» и клекот Всеволода Эмильевича. Она стояла на Петровке, возле Пассажа, и торговала бюстгальтерами.

Старые рабочие, инженеры с трудом восстанавливали производство. Появились товары. Крестьяне начали привозить живность на рынки. Москвичи отъелись, повеселели. Я и радовался и огорчался. Газеты писали о «гримасах нэпа». С точки зрения политика или производственника, новая линия была правильной; теперь мы знаем: она дала именно то, что должна была дать. Но у сердца свои резоны: нэп часто мне казался одной зловещей гримасой.

Помню, как, приехав в Москву, я застыл перед гастрономическим магазином. Чего только там не было! Убедительнее всего была вывеска: «Эстомак» (желудок). Брюхо было не только реабилитировано, но возвеличено. В кафе на углу Петровки и Столешникова меня рассмешила надпись: «Нас посещают дети кушать сливки». Детей я не обнаружил, но посетителей было много, и казалось, они тучнели на глазах.

Пооткрывалось множество ресторанов: вот «Прага», там «Эрмитаж», дальше «Лиссабон», «Бар». Официанты были во фраках (я так и не понял, сшили ли фраки заново, или они сохранились в сундуках с дореволюционных времен). На каждом углу шумели пивные — с фокстротом, с русским хором, с цыганами, с балалайками, просто с мордобоем. Пили пиво и портвейн, чтобы поскорее охмелеть; закусывали горохом или воблой, кричали, пускали в ход кулаки.

Возле ресторанов стояли лихачи, поджидая загулявших, и, как в далекие времена моего детства, приговаривали: «Ваше сиятельство, подвезу...»

Здесь же можно было увидеть нищенок, беспризорных; они жалобно тянули: «Копеечку». Копеек не было: были миллионы («лимоны») и новенькие червонцы. В казино проигрывали за ночь несколько миллионов; барыши маклеров, спекулянтов или обыкновенных воров.

На Сухаревке я услышал различные песенки, они, может быть, лучше многих описаний расскажут читателю о «гримасах нэпа». Была песенка философическая:

Цыпленок жареный, цыпленок пареный,
Цыпленки тоже хочут жить...
Я не советский, я не кадетский,
Я только птичий комиссар.
Я не обмеривал, я не расстреливал,
Я только зернышки клевал...

Была песня торговки бубликами:

Отец мой пьяница,
Он к рюмке тянется,
Он врет и чванится,
А брат мой вор,
Сестра гулящая,
Совсем пропащая,
А мать курящая —
Какой позор!

Была бандитская, кажется завезенная из Одессы:

Товарищ, товарищ, болят мои раны...
Товарищ, товарищ, за что мы боролись,
За что проливали мы кровь —
Буржуи пируют, буржуи ликуют...

Встретил я цыганку, которая до революции пела в ресторане. В 1920 году она каждый день приходила к Мейерхольду, требовала, чтобы он ей устроил паек. Всеволод Эмильевич ее направил в МУЗО. Улыбаясь, она рассказывала: «Четыре года кочевала. А теперь осела — пою в «Лиссабоне».

Знакомая актриса позвала меня к себе. Не знаю, как ей удалось сохранить отдельную квартиру в особняке возле Кропоткинской. Было много гостей, танцевали фокстрот, торжественно, как будто выполняли обряд. В полночь пришел молодой человек в узеньком ярко-рыжем пиджаке, начал снисходительно объяснять: в Москве не умеют отличить фокстрот от уанстепа — он ездил недавно в командировку и видел, как танцуют в Лейпциге. Все внимательно слушали. Завели патефон — те же куплеты, что в дансингах Парижа и Берлина: «Вы любите ль бананы», «Ищу мою Титину». Актриса мне рассказала, что юноша, ездивший в Лейпциг, учился с нею в театральной студии, а теперь работает во Внешторге. «Его, наверно, скоро посадят, уж очень он хапает...»

Буржуа с детства знали достаток; трата денег для них была привычным занятием. Старая буржуазия рассеялась по миру; многим за границей пришлось плохо; переход от богатства и праздности к нужде, к черной работе доводил людей до отчаяния, до самоубийства, до преступлений. Социальное происхождение нэпманов было пестрым. Бывший помощник присяжного поверенного, прослуживший два года в Наркомюсте, вдруг начал торговать местами в спальных вагонах. Я знал поэта, который в 1921 году читал полуфутуристические стихи в «Домино»; теперь он перепродавал французскую парфюмерию и эстонский коньяк. Судили бывшего рабочего завода Гужона, участника гражданской войны, — он похитил вагон мануфактуры и попался случайно: напился в ресторане, разбил зеркало; на нем нашли восемь миллионов. Конечно, он не походил на наследственного буржуа, как не походил на пролетария какой-нибудь поручик, в прошлом сын богатой домовладелицы, которого нужда загнала на парижский завод. Миллионы бросались в голову нэпманам, они сумасбродствовали, скандалили, быстро гибли. Редко кто откладывал на черный день: люди не верили ни в долголетие нэпа, ни в ассигнации. Грань между дозволенной наживой и наказуемой спекуляцией была тонкой. Время от времени сотрудники ГПУ арестовывали десяток или сотню наиболее предприимчивых деляг; это называлось «снять накипь нэпа». Повар знает, когда ему снять накипь с ухи, но вряд ли все нэпманы понимали, кто они — рыбешка или накипь. Неуверенность в завтрашнем дне придавала развлечениям новой буржуазии особый характер. Та Москва, которую Есенин называл «кабацкой», буянила с надрывом; это напоминало помесь золотой лихорадки в Калифорнии прошлого века и уцененной достоевщины.

Рядом была другая Москва. Бывший «Метрополь» оставался Вторым домом Советов; в нем жили ответственные работники; в столовой они ели скромные биточки. Они продолжали работать по четырнадцать часов в сутки. Инженеры и врачи, учителя и агрономы если не с прежним романтизмом, то с прежней настойчивостью восстанавливали страну, разоренную гражданской войной, блокадой, годами засухи. На лекции в Политехническом по-прежнему было трудно пробиться; книги в магазинах не залеживались — штурм знаний продолжался.

В 1924 году я писал: «Не знаю, что выйдет из этой молодежи — строители коммунизма или американизированные специалисты; но я люблю это новое племя, героическое и

озорное, способное трезво учиться и бодро голодать, голодать не как в студенческих пьесах Леонида Андреева, а все рьез, переходить от пулеметов к самоучителям и обратно племя, гогочущее в цирке и грозное в скорби, бесслезное, заскорузлое, чуждое влюбленности и искусства, преданное точным наукам, спорту, кинематографу. Его романтизм не в творчестве потусторонних мифов, а в дерзкой попытке изготовлять мифы взаправду, серийно — на заводах; такой романтизм оправдан Октябрем и скреплен кровью семи революционных лет». (Конечно, в формулировках сказалось былое увлечение конструктивизмом; но мне кажется, что я верно подметил некоторые черты, присущие молодежи тех лет.) Я добавлял: «Хорошо, что они умеют критически подойти к фактам. Когда кто-нибудь начинает поддакивать любому докладчику, над ним смеются, называют «такальщиком» — от односложного «так, так»...»

Рабфаковцы, о которых я писал, были людьми, родившимися в первые годы нашего века. Я был старше их всего на десять — двенадцать лет; но смена поколений была резкой. Моими сверстниками были Маяковский, Пастернак, Цветаева, Федин, Мандельштам, Паустовский, Бабель, Тынянов. Мы прожили молодость в дореволюционные годы; многое помнили; иногда это нам мешало, иногда помогало. А студенты 1924 года увидали революцию глазами подростков, они формировались в годы гражданской войны и нэпа. Это — поколение Фадеева и Светлова, Каверина и Заболоцкого, Евгения Петрова и Луговского. Оно рано начало редеть. Теперь те, что выжили, выходят на пенсию; у них есть время, чтобы изучить тот предмет, который Гюго называл «искусство быть дедушкой»; и я заметил, что молодые скорее находят общий язык с ними, нежели со своими отцами.

Снег белой сострадательной пеленой покрывает все. Когда приходит первая оттепель, земля обнажается. В годы нэпа нас потрясала, порой доводила до отчаяния живучесть мещанства; ведь мы тогда были наивными и не знали, что перестроить человека куда труднее, чем систему управления государством.

Маяковский в 1921 году, в медовый месяц нэпа, возмущался:

Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!

Он писал о чиновниках, которые «засели во все учреждения. Намозолив от пятилетнего сидения зады, крепкие, как умывальники». Перечитывая эти стихи, я невольно улыбаюсь: кабинеты и спаленки («гарнитуры») те же, а зады стали крепче...

Комнаты у меня в Москве не было, меня приютили в ЦЕКУБУ на Кропоткинской. Туда приходили старые ученые, беседовали или молча вздыхали — им трудно было понять, что к чему.

Вздыхали в те годы и многие поэты; и так как они это делали не в столовой ЦЕКУБУ, а на страницах журналов, их за вздохи ругали: улыбка считалась аттестатом политической стойкости. Выходил журнал «На посту»; название казалось романтическим, в действительности пост был скорее милицейским, чем боевым. Напостовцы ругали всех — А. Толстого и Маяковского, Всеволода Иванова и Есенина, Ахматову и Вересаева. Поэты, однако, продолжали вздыхать. Асеев написал печальную поэму о любви — «Лирическое отступление», и напостовцы, обрадованные, цитировали вырванные из нее строки:

Как я стану твоим поэтом,
коммунизма племя,
если крашено рыжим цветом,
а не красным время?

Я пошел к Маяковскому. У Бриков было, как всегда, много гостей; пили чай, ели холодные котлеты. Маяковский, мрачный, здесь же дорисовывал какой-то плакат. Несколько дней спустя я его встретил в клубе; он доказывал, что нужно помочь государству бороться с частной торговлей; писал рекламы:

Все, что требует желудок,
тело или ум, —
Все человеку предоставляет
ГУМ.

Или:

Разрешаются все мировые вопросы, —
лучшее в жизни — «Посольские» папиросы.

Ночью он вдруг начал читать прекрасные отрывки из поэмы «Про это»; в стихах он пытался убедить себя, что добровольно никогда не расстанется с жизнью...

Наступило время для прозы: можно было продумать пережитое. Фадеев писал «Разгром», Бабель — «Конармию»,

Тынянов — «Кюхлю», Зощенко — «Рассказы Синебрюхова», Федин — «Города и годы», Леонов — «Барсуков».

Мне хотелось поездить по стране; денег у меня не было, и я соблазнился предложением одного из многочисленных в то время организаторов литературных вечеров. Он предложил мне поехать в Петроград, Харьков, Киев, Одессу и прочитать лекции о жизни Западной Европы. Импресарио хотел идти в ногу со временем, — следовательно, хорошо заработать; он был человеком немолодым и неизменным неудачником. Задумал он все безупречно: лекции устраивались Обществом Красного Креста, которое должно было получить часть доходов; в различные города выехали разведчики; один был сыном импресарио, Леней, молоденьким студентом, застенчивым нахалом, который решил, не теряя времени, написать книгу обо мне и все время ошарашивал меня вопросами: «Расскажите, как вы впервые влюбились», «Кого вы ставите выше — Вольтера или Анатоля Франса», «Какой, по-вашему, Эрос — крылатый или бескрылый»; другой организатор был человеком вполне деловым, он ел со смаком гуся, на станциях находил скучающих девиц и заманивал их в купе спального вагона, торговался с учреждениями, сдававшими залы, и говорил мне: «Я должен сегодня заработать двадцать червонцев, и вы увидите, что я их заработаю...»

Нужно было найти название для лекций. Маяковский приучил публику к афишам, которым позавидовал бы любой американец: «Поэзия — обрабатывающая промышленность», «Анализ бесконечно малых», «Дирижер трех Америк», «Белые сосиски Лизистраты», «А все-таки Эренбург вертится», «Курящийся Вересаев», «Бал в честь юной королевы», «Брюсов и бандаж». Импресарио молил: «Что-нибудь непонятное...» Я выбрал первое, что мне пришло в голову, — «Пьяный оператор».

В Харькове импресарио снял цирк «Миссури». Никаких микрофонов в то время не было. Я, надрываясь, кричал что-то о фильмах Чаплина, а публика ревела: «Не слышно». Я хотел уйти; меня удержал импресарио: «Потребуют деньги за билеты. У меня большая семья... Постарайтесь!.. Жена вам уже взбивает гоголь-моголь...»

Я увидел впервые Одессу; я знал ее по забавным анекдотам, и «Одесса-мама» меня удивила: она оказалась печальной. В порту было пусто. Кое-где чернели развалины. Исчезло, видимо, былое легкомыслие; жизнь не налаживалась. На одной из площадей я увидел голову бородатого удельного князя, под ней значилось: «Карл Маркс». Мо-

лоденькая билетерша в театре, где я читал лекцию, потрясла студента Леню — неожиданно ему сказала: «Что вы мне все строите глазки?.. Это уже пройденный этап. Пригласите меня поужинать в «Лондонскую», и тогда мы поговорим, потому что я теперь на хозрасчете...»

«Лондонская гостиница» была живописным местом. В некоторых номерах по-прежнему жили ответственные работники; жены готовили на примусах обед, нянчили детей; вечером шли разговоры о последней передовице «Правды», о повестке дня Тринадцатого съезда. В других номерах останавливались спекулянты, журналисты, актеры эстрады, «красные купцы»; там пили, иногда дебоширили. На базаре я услышал песенку «Ужасно шумно в доме Шнеерсона...». А у Шнеерсона было очень тихо; тихо было на улицах, носивших новые имена: Интернациональная, Пролетарская, Лассаля, Коммуны. В кафе Печеского спекулянты, заказывая стакан чаю, старались перепродать друг другу трухлявые зеленые или оранжевые доллары. Маклеры на час нервно позевывали — время от времени происходила облава и всех забирали.

В местной газете секретарь редакции показал мне стихи молодого одессита; он писал о море, о птицах, о клетках для птиц; стихи мне понравились, я спросил, как зовут поэта; секретарь ответил: «Эдуард Багрицкий».

Я разбил стекло ручных часов и пошел к часовщику. Он долго подгонял стеклышко; я молча ждал, а он говорил не замолкая: «Сегодня в газете напустились на Керзона. Но я вам скажу, что Керзон их не боится. Это я их боюсь. Во-первых, я боюсь фининспектора, во-вторых, я боюсь ГПУ, в-третьих, я боюсь вас — откуда я знаю, что вы за человек и зачем вы хотите, чтобы я вам все выкладывал...»

Нищенки говорили: «Подайте, товарищ», «Ради господа бога, гражданин миленький», «Копеечку, барин»... Путались слова, путались и эпохи.

В Киеве я ехал по Крещатику, вдруг санки распались, лошадь с извозчиком уехали, а я с сиденьем саней очутился в сугробе. Санки не выдержали, но на базарах продавали добротные дореволюционные вещи: самовары, швейные машины Зингера, часы Мозера, пузатые купеческие чашки.

Крепче всего держалось прошлое в сознании. На одной из станций крестьянка с мешком по ошибке вошла в мягкий вагон. Проводник заорал: «Куда прешь? Вылезай! Это тебе не семнадцатый!..»

В Гомеле, в вокзальном буфете, висело изречение: «Кто не трудится, тот пусть и не ест». За столиками обедали

пассажиры спального вагона. Здесь же бродили беспризорные в надежде на подачку. Один пассажир протянул девочке тарелку с остатками мяса в соусе: «Жри!» Подбежал официант (или, как тогда говорили, гражданин услужающий) и, вырвав из рук девочки тарелку, вытряхнул кусок мяса, картошку на лохмотья, заменявшие девочке платье. Я возмутился; никто меня не поддержал. Девочка плакала и поспешно ела. Я видел в Гомеле спичечную фабрику; директор, бывший рабочий, раненный в боях против Деникина, больной, работал с утра до ночи: не было клея для намазки коробок; он повторял: «Стране нужны спички...» Гомельские юноши говорили о боях в Гамбурге, о стихах Маяковского, о будущем. А перед моими глазами стояли тупые, равнодушные физиономии в вокзальном буфете и затравленный ребенок...

Деловой помощник импресарио был доволен: он перевыполнил план. Леня книги обо мне не написал, говорил всем: «А зачем о нем писать? Я его знаю как облупленного...» Отец Лени погорел, хотя сборы были хорошими: по пути из Одессы в Ленинград из-за заносов мы простояли на полустанке два дня, и мой импресарио уплатил неустойку за зал. Ничего не поделаешь — он был вечным неудачником. Что касается меня, то я был доволен: многое увидел.

После каждой лекции меня засыпáли вопросами, некоторые я записал: «Почему не вышла революция в Германии», «Какие теперь моды в Париже», «Что вы хотели сказать вашим «Хуренито» — да или нет», «Кто хуже — социал-предатели или фашисты», «Объясните коротко теорию относительности», «Почему школы снова платные», «Почему вы, писатели, настраиваете девчат на всяческие объяснения», «Берут ли в Индии иностранных борцов за независимость», «Правда ли, что вы приятель Вандервельде», «О вас пишут, что вы продукт разложения, скажите в таком случае, сколько вы получаете за лекцию», «Маяковский говорит, что поэзия — продукция, а у Пушкина не так: кто, по-вашему, прав», «Откроет ли коммунизм возможность победить смерть», «Вы за футбол или признаете также регби», «Расскажите о работах Резерфорда в области трансформации атомов», «Чем тустеп отличается от уанстепа и что больше танцуют в Берлине», «Почему у нас переводят «Тарзана», а роман Марселя Пруста не существует в переводе», «Повлияет ли, по-вашему, денежная реформа на сокращение ножниц», «Знакомы ли вы с Пикассо, что он теперь делает», «Половая любовь — это

буржуазный пережиток, почему этого не говорят прямо», «Недавно у нас выступал лектор, он говорил, что искусство сохраняется в переходный период, а при коммунизме исчезнет, я с этим не согласна, помогите разобраться».

Я привел эти вопросы в том порядке, вернее, беспорядке, в котором их переписал; мне кажется, что они могут помочь понять те, уже далекие, годы.

Я часто беседовал с молодыми людьми; разные попадались: умные и глупые, честные и карьеристы. Нэп помог восстановлению экономики, но вряд ли он был хорошей школой для юношей и девушек. У всех еще были в памяти годы гражданской войны: подвиги, слава, зверства, героика, грабежи. Молодежь, пришедшая в университеты с фронта, из деревень, была горячей, напористой. Студенты хорошо учились, да и вели себя хорошо, колеблясь между наивным утилитаризмом и свойственной их возрасту романтикой. Но было немало и таких, что теряли голову, — честолюбцев, фантазеров без азов морали, слабовольных, которые, очутившись в дурной компании, шли на все. Рядом со скромной студенческой жизнью шел разгул. «Москва кабацкая», где агонизировал Есенин, дышала в лицо угаром, сбивала многих с пути.

Один юноша рассказал мне длинную, путаную, но не очень-то сложную историю: еще недавно он был честным комсомольцем, хорошо учился. Товарищ втянул его в нехорошую затею; выглядело все благородно — ему поручили собирать деньги на воздушный флот, оказалось, что сборами занималась шайка мошенников. Студент возмутился, хотел пойти в ГПУ, но, получив пачку ассигнаций, соблазнился мишурой жизни. Он влюбился в девушку, которая требовала подарков, стал спекулировать; из комсомола его вычистили; он ждал ареста. У него были очень выразительные руки, они рвались кверху, грозили, умоляли.

Мне захотелось написать о нем, о таких, как он. Я начал ходить на судебные заседания; получил разрешение беседовать с заключенными в изоляторах (так тогда называли тюрьмы). Привлекала меня, конечно, не живописность среды, не уголовщина, а история взлета и падения тех крутых, скользких лет.

Тогда входило в обиход новое словечко «рвач», и я назвал моего героя, сына киевского официанта, рвачом. Я описал его детство, стремление к славе, себялюбие, подъем в первые годы революции, участие в гражданской войне, учебу, падение. У Михаила Лыкова (так звали моего героя) был брат, Артем, честный, не очень разбирающийся

в сердечных делах, но добрый, старавшийся удержать Михаила от падения. Герой мой не был Растиньяком; в нем жили различные, порой противоречивые чувства. Полюбив корыстную, пустую женщину, он вел себя с ней, как мальчишка. Вместе с тем он верил в свою исключительность, в свое превосходство над товарищами. Если угодно, он чем-то напоминал Жюльена Сореля, родившегося сто лет спустя, в стране социалистической революции. Осужденный, он в тюрьме кончил жизнь самоубийством.

Я писал в одном из писем: «Я заканчиваю «Рвача». Я даже привязался к моему герою, хотя он пакостник, сволочь, склонная к романтике, патетический спекулянтик...» Мне и теперь кажется, что писатель, освещая внутренний мир тех героев, которых критики называют «отрицательными», привязывается к ним: он ведь видит хорошие начала, которые были заложены в сердце человека, опустившегося на дно. Никогда я не думал оправдывать рвачей. Эпиграфом к книге я взял слова древней молитвы, осуждающей индивидуализм: «Да будет воля твоя, чтобы этот год был росистым и дождливым, и да не проникнут в тебя молитвы путников на путях по поводу дождя, который им помеха, когда весь мир нуждается в дожде».

Я знал, что меня снова будут упрекать: зачем писать о каком-то жалком рваче, когда кругом столько благородных и вдохновенных героев? Мне думается, что обязанностью врача является поставить диагноз, и только сумасшедшему может прийти в голову, что доктор, констатируя случай эпидемического заболевания, тем самым распространяет эпидемию. В романе «Рвач» попытка показать душевный мир свихнувшегося Михаила Лыкова сопровождалась сатирическим описанием быта тех лет. Даже напостовцы признавали в теории необходимость сатиры, но каждую попытку показать ту или иную уродливую сторону нашей жизни они немедленно объявляли клеветой. («Нам нужны наши Щедрины и Гоголи» — это я услышал много позже. Сатира по-прежнему считалась в теории необходимой, а на практике — чуть ли не актом диверсии; и один поэт сочинил стишок:

Я за смех, но нам нужны
Подобрее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали...)

Я писал в 1924 году: «Если в моих книгах так называемые «отрицательные типы» отличаются большей выразительностью, то в этом следует видеть отсутствие универ-

сальности, ограниченность человеческой природы, а не хитрые козни. Как бы я хотел, вместо обличений моих книг, прочитать прекрасную эпопею нового, здорового, бодрого человека! Увы, благонамеренные критики не торопятся ее писать, они предпочитают осуждать меня. Я же предпочитаю отдаваться работе, к которой чувствую прирожденную склонность. Не дожидаясь часа, когда будет написана вдохновенная книга об Артеме, я хочу рассказать современникам историю его брата...»

Двадцать шестого января 1925 года я сообщал: «Попов отказался от «Рвача», следовательно, он вряд ли выйдет...» (Не помню, о каком Попове шла речь.)

Один из наиболее видных напостовцев, называя меня «откровенным врагом революции», писал: «Пафос «Рвача» — любование нэпаческой хищнической средой, утверждение о захвате буржуазными хищниками всего нашего хозяйственного аппарата. Вот конечное падение вчерашнего кандидата в русские Шпенглеры...»

В минуту тоски Эдуард Багрицкий написал:

Чуть ветер,
Чуть север —
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы — ржавых дубов облетевший уют...

На Кузнецком в витрине книжного магазина я увидел «Дерево советской литературы». Ветви были сопровождены пояснительными этикетками: «Пролетарские писатели», «Лефовцы», «Крестьянские поэты», «Левые попутчики», «Попутчики-центр», «Правые попутчики», «Необуржуазная литература» и так далее. Под деревом валялись опавшие листья, и на одном из них значилось: «Эренбург».

Ветра потом было вдоволь, ветра и севера. Чудом я не облетел.

10

Недавно я разыскал в библиотеке полуистлевший номер однодневной литературной газеты «Ленин», вышедшей в день похорон Владимира Ильича. Есть там и моя статья, написанная наспех, в том душевном состоянии,

когда не думаешь о стиле. Я хочу привести отрывки из этой корявой статьи — они могут объяснить последующие части моей книги.

Вспоминая Париж довоенных лет, я писал:

«Что знали мы в те годы канунов? Беспокойство и бродяжничество, бомбы и стихи.

...Разве не ему принадлежат эти пронзительные и достойные слова: «Мы ошибались, мы много раз ошибались». Да, здесь могли быть и срывы и ошибки, ибо здесь была жизнь. А там, среди грустных сизых домов, в стране, где краснобай не устает говорить о свободе, о величии личности, там не оказалось ни героев, ни строителей, ни вождей. Там не могло быть и ошибок: там не было жизни.

...За четыре года страшной войны Европа получила Версаль, а Россия выстрадала Октябрь...

...Чтобы понять творческую мощь Ленина, стоит только взглянуть туда, где Пуанкаре над развалинами и крестами каждое воскресенье бурно кричит: «Мы?.. Нет, мы никогда не ошибались!»

...Он знал. Мы не знали. Мы не знали, что национальная революция полудикой крестьянской России вырастет в эру мира. Мы не знали, что «Даешь землицу!» февраля станет в Октябре «Даешь Землю!». Он это знал. Знал, сидя в Женеве. Знал, работая по ночам в маленькой комнате при свете керосиновой лампы.

И вот несколько месяцев тому назад в Сан-Паули — в Гамбурге, после подавленного восстания, я слышал такой разговор. Спорили два родных брата, оба рабочие. Братья. Враги. Один участвовал в восстании, другой его подавлял. И тот, что участвовал в восстании, был ранен. Его тихонько от «зеленых» отвезли домой. Подавлявший говорил: «Зачем было восставать? Ведь социалисты в сенате обещали выдать по полфунта маргарина... Ты слышишь?..» Тот, что участвовал в восстании, ответил: «А мы получим его». И, говоря это, он показал на портрет, висевший в его комнате, как он висит в сотнях тысяч рабочих комнат всех городов всех стран.

...Мы часто недоумевали. У нас было наше новое искусство, наше беспокойство, наше бродяжничество по миру. И нам казалось, что все это чуждо ему. Мы не знали, что вне его работы нет нам ни роста, ни жизни. Пусть дом не достроен. Пусть в нем очень трудно и очень холодно. Но ведь стены его растут. А там, где целы все дома, где десять лет назад писатели бунтовали и томились, — в городе сизых домов? Там нам нет места. Маленькая буря в

стакане воды окончилась. Остались оды в честь академика Фоша да приличный обед из трех блюд. Отчаяние великой европейской ночи — он знал и это. Он был однодумом, он думал об одном для того, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом...»

Когда уходит большой человек, люди невольно оглядываются и на то, что мы называем историей, и на свою маленькую жизнь. Так было и со мной, когда я писал о кончине Ленина: я вспомнил кануны, «Ротонду», бунт писателей, художников и в сердцах, наверно несправедливо, обозвал это все «бурей в стакане воды». Самоуничижение диктовалось горечью потери, осознанием того решающего и воистину всеобщего, что осуществил человек, отнятый у человечества смертью.

Мои давние слова о значении Октября, противопоставление трудного пути России духовному оскудению Запада мне кажутся правильными и теперь.

«Пусть дом не достроен...» Да, в 1924 году мы не знали, каким по́том, какими слезами, какой кровью будет оплачен тот дом, стены которого уже высились при Ленине. Мы не знали, что в тридцатые, в сороковые годы нам не скажут дружески, по-товарищески об ошибках. А дом построен; и душевная сила нашего народа сказалась в том, что он его строил несмотря ни на что.

В те январские дни стояли редкие и для московской зимы морозы. Напрасно пытались уговорить детей оставаться дома. Взрослые несли на плечах малышей. Красноармейцы плакали. Ночью в Охотном ряду, на Дмитровке, на Петровке — повсюду горели костры, и у костров хмурые люди в тулупах молчали. Было много бородатых ходоков: крестьянская Россия в те времена еще носила бороду.

Я не мог оставаться дома. Видел похоронную процессию на Балчуге. Помню, как несли гроб ближайшие товарищи Ленина (имена многих исчезли из учебников истории). Был в Колонном зале, где рыдания перебивали траурный марш. Москва, та, что, согласно поговорке, не верит слезам, плакала навзрыд. Я пошел к Николаю Ивановичу, моему товарищу по нелегальной школьной организации, он жил во Втором доме Советов. Обычно веселый, он молчал, и вдруг я увидел в его глазах слезы. Плакала старая дворничиха ЦЕКУБУ. Горе народа было большим, неподдельным.

В те жестокие январские ночи я как бы издали — в перспективе веков — увидел, что́ осуществил наш народ; и какими бы ни были мои сомнения в последую-

щие, куда более тяжкие десятилетия, передо мной всегда стоял замысел Ленина, приподымал меня, удерживал от недоброго. Я был молодым беспартийным писателем; для одних — «попутчиком», для других — «врагом», а в действительности — обыкновенным советским интеллигентом, сложившимся в дореволюционные годы. Как бы нас ни ругали, как бы ни косились на наши рано поседевшие головы, мы знали, что путь советского народа — наш путь.

Мне несколько раз довелось в Париже разговаривать с В. И. Лениным; я знал, что он любил Пушкина, любил классическую музыку, был человеком сложным, душевно широким. Но всю свою страсть, всю силу творческого гения он вложил в одно — в борьбу за освобождение рабочих от эксплуатации, в создание нового, социалистического общества. Вот почему я писал в 1924 году: «Он думал об одном, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом».

Слово «счастливые» может резануть ухо. Малыши, которых несли на плечах в Колонный зал, — это сироты тридцатых годов, солдаты Отечественной войны, люди с проседью, читавшие отчеты о Двадцатом съезде... И все же слова о счастье — правда; когда я бываю теперь на собраниях нашей молодежи, я вижу, что юноши и девушки о многом думают, многим увлекаются, многое знают.

Мне хочется еще вспомнить Владимира Ильича, сказать будничное, простое. Когда я разговаривал с ним в Париже, он вдруг прервал меня: «Комнату нашли? Гостиницы здесь очень дорогие...» И обратился к Надежде Константиновне: «Кто ему здесь поможет? Людмила? Ну, она знает...» Н. И. Альтман в кабинете Владимира Ильича лепил его голову, и раз ему пришлось быстро уйти — к Ленину пришли товарищи. Владимир Ильич позаботился смочить глину, не забыл. А. В. Луначарский мне рассказывал, что, когда он спросил Ленина, можно ли предоставить «левым» художникам украсить к Первому мая Красную площадь, Владимир Ильич ответил: «Я в этом не специалист, не хочу навязывать другим свои вкусы...»

У Сталина есть статья о политическом стиле Ленина. Она написана еще в двадцатые годы, и, наверно, все в ней правильно. Но человеческий стиль Ленина оказался неповторимым: дерзость творческого замысла и редкостная скромность, сила, решимость, не исключавшая ни мягкости, ни глубокого уважения к духовным ценностям, к разуму, к искусству, — человечность, подлинная человечность.

11

В мае 1924 года я поехал с Любой в Италию. Там было много разноязычных туристов; среди них немцы, которые приехали с твердой маркой и с не менее твердой уверенностью, что они спаслись от землетрясения и могут наслаждаться краем, где зреют лимоны.

(Французы говорят, что кот, который однажды обжегся, боится и холодной воды. Люди легкомысленнее котов. Десять тысяч жителей новых Помпеев смотрят на Везувий как на отца-кормильца: они ведь живут любознательностью туристов. В 1944 году Везувий, на минуту проснувшись, уничтожил городок Сан-Себастьяно. Жители соседних городов, однако, никуда не уехали.)

В Венеции была международная выставка, в которой впервые участвовали советские художники. Мы сидели в кафе Флориана на площади Сан-Марко; помню художницу А. А. Экстер, Б. Н. Терновца. Кафе Флориана было тогда сто шестьдесят три года; теперь ему стукнуло двести — можно было устроить юбилей. Наверно, в нем сиживали за чашкой шоколада Лонги, Каналетто, Гольдони, Гоцци. Я не помню, о чем мы говорили; может быть, о последних постановках Мейерхольда или о холстах Сарьяна, выставленных в Венеции, а может быть, о комедии масок.

Сухопарые англичанки кормили неповоротливых голубей. Чистильщики ботинок и продавцы кораллов извивались, как классические арлекины. Туристы восхищались устно и письменно, старательно подписывая пачки ярких открыток. Все это напоминало постановку в Камерном театре.

Кругом был город с сотнями таинственных зловонных каналов, с кавалькадами мяукающих кошек, с домами семнадцатого века, в которых люди, как в самых обыкновенных домах, мечтают, ревнуют, ссорятся, просматривают вечерку, болеют гриппом или аппендицитом. Обычная жизнь была обрамлена изумительными перспективами, фисташковым небом, розоватой водой, мостиками, колоннами, фонтанами. Вот где человеку нужны глаза! А я глядел на чернорубашечников, которые прогуливались по площади или ели мороженое.

Мы поехали в Мурано, увидели там искуснейших стеклодувов. На фабричных стенах чернели надписи: «Да здравствует Ленин!» Легионеры в черных шапчонках злились и перекладывали из одного кармана в другой новенькие игрушки — револьверы.

Я сказал, что для людей моего поколения передышка была недолгой, да и редко нам удавалось забыть то, что в газетах называют «историческими событиями». Почему я не мог спокойно любоваться полотнами Тинторетто или водой каналов? Что-то меня тревожило, вероятно, новизна: я ведь впервые видел настоящих, живых фашистов.

Юношей я восхищался фресками Кампо-Санто, и сказал Любе, что нужно обязательно побывать в Пизе. Люба глядела на светлую живопись Беноццо Гоццоли, который покрыл стены кладбища сладостью земной жизни; а я глядел на чернорубашечников. Во время войны немецкая бомба уничтожила часть пизанских фресок. Недавно я снова оказался в Пизе и увидел клочья былых видений; мне стало обидно, что я когда-то не нагляделся на фрески досыта; а ничего тут не поделаешь: живешь не так, как хочется, — так, как живется.

Вряд ли в 1924 году можно было предвидеть, что фашизм, перекочевав из полупатриархальной бедной Италии в хорошо организованную Германию, уничтожит пятьдесят миллионов душ и покалечит жизнь нескольких поколений. Но мне было обидно за Италию, обидно и тревожно. Кто эти люди, улюлюкающие, марширующие, подымающие вверх руки? Наверно, неудачники, сыновья разорившихся лавочников, провинциальных нотариусов или адвокатов, честолюбцы, соблазнившиеся звонкими фразами. Можно было принять их за маски дурацкого карнавала, но я уже знал, что люди живут не по Декарту...

Почему-то мы попали в маленький город Средней Италии — Бибиену; там нет достопримечательностей, и туристы туда редко заглядывают. А это чудесный городок! Вечером я зашел в полутемную тратторию, где стояли огромные круглые бутылки с красным вином. Старик рассказывал трактирщику и двум посетителям длинную историю о том, как из Америки вернулся каменщик Джулио. Он накопил немного деньжат, собирался жениться. А из Ареццо приехал в машине секретарь фашио. Они пили вино за двумя столиками, и вдруг секретарь начал задевать Джулио, требовал, чтобы каменщик крикнул: «Да здравствует Муссолини!» Джулио ответил: «Пусть кричат ослы». Тогда фашист его застрелил. Для вида убийцу арестовали, а неделю спустя выпустили. Вот и вся история... Старик пил вино и крючковатыми пальцами крошил сухой сыр. Я вышел. Холм казался звездным небом — летали мириады светляков. Нежно квакали лягушки. В темноте влюблен-

ные обменивались клятвами и поцелуями. А я думал о судьбе неизвестного мне Джулио.

Когда мы приехали в Рим, все казалось спокойным. Мы пошли в посольство. Посол говорил, что торговые отношения с Италией налаживаются; рассказал, что в Рим приехал поэт В. И. Иванов, он бывает в посольстве. Туристы спешили в Ватикан или в Колизей. В кафе «Аранья» на Корсо политики обсуждали, во сколько обошлась Италии экспедиция на Корфу. Я ходил в музей, восхищался византийскими мозаиками и на несколько дней забыл о политике. Вдруг мы увидели на площади Монтечиторио взволнованные толпы людей; они что-то кричали, жгли газеты. То же самое происходило и на других площадях; я слышал крики: «Долой фашистов! Долой убийц!» Возмущенные люди жгли пачки фашистских газет — «Коррьере итальяно», «Пополо д'Италиа», «Имперо». Несколько минут спустя я узнал, что фашисты похитили молодого социалистического депутата Джакомо Маттеотти.

Реакцию людей на события трудно предвидеть; иногда уничтожение тысячи жертв проходит почти незамеченным, иногда убийство одного человека потрясает мир. Расправа с Маттеотти походила в своей простоте и наглядности на древнюю притчу. Повсюду я слышал имя жертвы.

(В книге «10 л. с.» я написал о конце Маттеотти, хотя это и не имело прямого отношения к заводам Ситроена или к борьбе за нефть. Я не мог промолчать: то, что приключилось 10 июня 1924 года в Риме, вошло и в мою жизнь.)

В Италии тогда еще существовал парламент; весной были выборы. Фашисты с помощью вина и касторки, посулов и дубинок обеспечили себе большинство; оппозиционные партии, однако, набрали около сорока процентов голосов. 30 мая молодой депутат Маттеотти выступил в парламенте с мужественной речью, рассказал о насилии, об убийствах. Фашисты его прерывали воем; один кричал: «Убирайся в Россию!»

Когда Маттеотти сошел с трибуны, левые депутаты его поздравляли; он с усмешкой ответил одному из них: «Теперь готовьте некролог...» Одиннадцать дней спустя он вышел из дому, чтобы купить сигареты, и не вернулся.

Муссолини уже не мог вынести критики, но арестовать депутата он еще не решался; он поручил своему другу Чезаре Росси устранить Маттеотти. Росси заведовал отделом печати министерства внутренних дел; это было вывеской — в действительности «отдел печати» занимался

убийством политических противников. Росси вызвал редактора газеты «Коррьере итальяно» Филиппелли. Редактор, в свою очередь, вызвал некоего Думини.

На набережной Тибра, недалеко от дома, в котором жил Маттеотти, его окружили неизвестные люди, силой втолкнули в машину. Автомобиль понесся за город. Похитители заткнули рот Маттеотти. Думини знал свое дело (потом он признался, что убил двенадцать антифашистов). Маттеотти страдал туберкулезом; борьба была недолгой: когда Маттеотти попытался открыть дверцу машины, Думини пырнул его ножом.

В пустынном месте возле Куартарелла фашисты наспех зарыли тело Маттеотти. Муссолини с удовлетворением узнал, что дело сделано чисто; он не ждал огласки — пропал и пропал... Оказалось, женщины видели, как человека насильно втолкнули в красный автомобиль. Оппозиционные газеты еще продолжали выходить. Началось следствие. Нашли машину Филиппелли, сиденье было замарано кровью. Пришлось арестовать Думини. Привлекли к следствию даже Росси, но сразу дело замяли. А Росси вскоре рассорился с Муссолини, удрал в Париж и там начал разоблачать своего бывшего друга.

Рим кипел, казалось — сейчас разразится революция. Оппозиционные депутаты поклялись сопротивляться шайке убийц. Во всех странах люди возмущались цинизмом фашистов. И дуче струсил: он заявил, что потрясен убийством депутата, что виновники понесут суровую кару; он даже пошел на отставку генерального секретаря фашистской партии. Видимо, и он думал, что пожар разгорается...

Характер итальянцев не похож на характер немцев; но развязка оказалась той же. Депутаты произнесли негодующие речи. Римляне сожгли пачки фашистских газет и разошлись по домам. Муссолини быстро успокоился. Я еще был в Италии, когда мне дали номер «Имперо», в котором фашисты издевались над протестующими: «Пусть сумасшедшие хорохорятся. Смеется хорошо тот, кто смеется последним... Никто не помешает фашистам расстреливать преступников на всех площадях Италии». Потом я прочитал речь Муссолини, он говорил об убийстве Маттеотти: «Бесполезно и глупо разыскивать виновных. У нас свой язык — язык революции...»

Да, итальянцы не похожи на немцев, итальянцам присущи любовь к свободе, вечное бунтарство, воображение, непослушливость. Но Муссолини правил Италией двадцать три года, партизаны его казнили всего за несколько

дней до самоубийства Гитлера. Я читал рассуждения одного французского автора; он говорил, что народ может терпеть любые преступления диктатора, если диктатор его ведет туда, куда народ хочет идти. Не думаю, чтобы рядовой итальянец жаждал завоевать Эфиопию, усмирить испанцев, овладеть Воронежем... А разве народ, давший миру Дон Кихота, создан для фашизма, разве народ Кеведо и Гойи предназначен для тупого, захолустного деспотизма? Но вот уже почти четверть века генерал маленького роста и маленького калибра правит Испанией. Нет, здесь ничего не объяснишь народным характером, и об итальянцах можно сказать только одно: они плохо исполняли роль «римских легионеров», это к их чести.

Вначале фашисты пытались обстоятельно доказывать, что дуче ведет Италию к величию, к социальной справедливости, к избавлению от международного капитала. Потом они стали экономнее на слова, пустили в оборот приговорку: «Дуче не ошибается»; потом стали просто кричать: «Да здравствует дуче!» В 1934 году я увидел огромный пассаж Милана, весь заклеенный афишами, на которых стояло одно слово — «дуче».

Профессор С. С. Чехотин был учеником И. П. Павлова; он попытался, основываясь на методе условных рефлексов, проанализировать некоторые явления социальной жизни, в частности воздействие пропаганды. И. П. Павлов произвел множество опытов с собаками. С. С. Чехотин изучал фашистскую литературу. Он мне говорил, что среди подопытных собак встречаются особи, не реагирующие или, точнее, слабо реагирующие на действие раздражителей. Профессор Чехотин считает, что некоторое, весьма незначительное, количество людей способно сопротивляться методам примитивной пропаганды (эмблемы, условные приветствия, лапидарные лозунги, форменная одежда и тому подобное). Я не физиолог и не берусь судить, насколько С. С. Чехотин прав. Но слишком часто в моей жизни я видел торжество механической глупости, автоматического фанфаронства...

Я еще полюбовался пиниями Рима, мраморными нимфами, роняющими слезы, добрыми улыбками горемык в Транстевере, и мы поехали в Париж.

Я продолжал писать книги, ходил в кафе, увлекался, развлекался, иногда был весел, иногда хмурился, — жизнь продолжалась, в меру спокойная, в меру приятная, а в общем печальная жизнь двадцатых годов. Часто я вспоминал смутные тени чернорубашечников, убийство Матте-

отти, первую примерку тех десятилетий, которые мне предстояло прожить.

Неожиданно я снова взял томик Паскаля и нашел в нем утешение: впервые я задумался над словами: «Человек только тростник, самое хрупкое из всего существующего, но это мыслящий тростник. Капля воды может его убить. Но даже если вся вселенная на него ополчится, он все же будет выше своих убийц, ибо он может осознать смерть, а слепые силы лишены сознания. Итак, все наше достоинство в мысли...» Казалось, многие события должны были заставить меня усомниться в правильности слов Паскаля; я ведь видел, как быстро люди разучаются думать. Но первые годы революции не прошли бесследно: я был застрахован и от слепой веры, и от слепого отчаяния.

Вряд ли и Паскаль полагал, что любой человек при любых обстоятельствах способен мыслить. Многих итальянцев Муссолини превратил в роботов; встречаясь друг с другом, они подымали руку и считали, что это их возвеличивает. Но рядом с ними другие мыслили, издевались, рассказывали злые анекдоты, читали недозволенные книги — тростник не сдавался. В одиночной камере тюрьмы Тури десять лет просидел Антонио Грамши. В заключении он писал статьи о философии Бенедетто Кроче, о произведениях Пиранделло, о Данте, о Макиавелли, о многом другом; писал письма своей русской жене Юлии, ее сестре Татьяне, письма задушевные, страстные, умные и очень человечные. Я часто их перечитываю и всякий раз испытываю гордость — вот он, мыслящий тростник!..

Время не торопится, торопится смерть. Грамши умер в 1937 году. Время не торопится, но рано или поздно оно ставит все на свое место. Недавно я шел по одной из флорентийских улиц. Был голубой апрельский вечер. Играли детишки. Старик прогуливал собачку. Влюбленные о чемто шептались. Я машинально поглядел на дощечку — «Улица Маттеотти»...

12

Весной 1924 года на французских выборах победил «левый блок». Новое правительство возглавил радикал Эдуар Эррио, человек высокообразованный, патриот, далекий от шовинизма, доброжелательный и широкий; он обожал лионскую кухню, написал книгу об интимной жизни госпожи Рекамье и не забывал при этом о традициях якобинцев — был типичным представителем французс-

кой интеллигенции XIX века. В 1924 году англичане и американцы хотели, чтобы Франция поскорее договорилась с немцами. Эррио осуждал оккупацию Рура и тупость Пуанкаре, но, будучи французом, хотел заручиться гарантиями — речь шла о безопасности Франции: «Дайте нам отвести кинжал, постоянно на нас направленный, пока вы толкуете о мире!..» Бог ты мой, как легко политики меняют не только слова, но и принципы! В 1924 году англичане отвечали: «Сначала разоружение, а уж потом гарантии безопасности».

Бриан считался первым политическим соловьем Европы; когда он выступал, старые циники, растроганные, сморкались. Бриан говорил, разумеется, о мире, о европейской солидарности, о великодушии. Эррио попытался урезонить англичан и американцев: «Осторожно! Рейхсвер воскресает. У немецкой армии современное вооружение. Мы не можем забыть двух нашествий. Мы слышим знакомые угрозы. Я хочу мира, как и все, но можно ли отстоять мир, пренебрегая безопасностью Франции?..» Эррио сбросили, его место занял Бриан. В швейцарском курортном городе Локарно были подписаны известные соглашения. Вечером ракеты фейерверка прорезали небо. Штреземан писал бывшему кронпринцу: «...Во-вторых, я ставлю целью защиту немцев, живущих за границей, то есть тех десяти — двенадцати миллионов соотечественников, которые в настоящее время живут в чужих странах, под иностранным игом. Третья крупная задача — исправление восточных границ, возвращение Германии Данцига и Польского коридора и исправление границ в Верхней Силезии. В перспективе — присоединение немецкой Австрии...»

(Обидно, что в книге о моей жизни я должен вспоминать не только поэтов, художников, не только людей, мне милых, но и Штреземана. Ничего не поделаешь — мы жили в эпоху, когда история бесцеремонно забиралась в нашу жизнь днем или ночью, как будто она полтавский городовой.)

О фейерверке в Локарно я вспомнил пятнадцать лет спустя, когда небо над Парижем загорелось и раздался грохот первой фугаски.

Победа «левого блока» кое-что изменила, но для меня Париж оставался запретным. В Риме я попросил Любу пойти во французское консульство: мой облик всегда пугал чиновников, а Люба их скорее успокаивала. Расчеты оказались правильными: консул, не зная, что мы высланы

из Франции, поставил на наши паспорта добротные визы. Этого было достаточно, чтобы приехать в Париж, но остаться там мы не могли: имелся приказ о высылке.

Друзья направили меня к секретарю масонской ложи «Великий восток». Я оказался в том самом логове, которое сводило с ума монархиста Бостунича. Логово было обыкновенным кабинетом, а секретарь ложи — пожилым радикалом, знавшим гастрономические тайны всех ресторанчиков Парижа. Масонов во Франции было много, но, вопреки представлениям Бостунича, они не поклонялись ни дьяволу Бафомету, ни иудейскому богу Ягве, ни Карлу Марксу; ложи были своеобразными обществами взаимопомощи. Секретарь сказал, что он устраивал дела потруднее: префект полиции — масон и его друг.

Пришлось пойти к префекту. Он никак не походил на добродушного радикала и держался со мною надменно. «Что вы собираетесь делать в Париже?» Я ответил, что собираюсь писать книги. Префект усмехнулся: «Книги, сударь, бывают разные. Имейте в виду, что французская полиция не бездельничает». (Он сказал мне сущую правду. Министр де Монзи, который в 1940 году заинтересовался моим полицейским «делом», рассказывал: «Вы, наверное, написали двадцать книг, но могу вас заверить, что полицейские написали о вас куда больше...»)

Я поселился в гостинице на авеню де Мэн, с темной винтовой лестницей, вонючими коридорами и грязными номерами. Под окном был классический круглый писсуар и не менее классическая щербатая скамейка, на которой вечером целовались влюбленные.

Осенью французское правительство решило признать Советский Союз. Я снова переступил порог особняка на улице Гренель, куда впервые заглянул после Февральской революции. Перед посольством толпились полицейские, шпики. Они явно волновались: шутка ли сказать, в аристократическом квартале Парижа среди бела дня сумасшедшие русские подымают красный флаг и поют «Интернационал»! Л. Б. Красин спокойно улыбался. По двору шагал Маяковский; он говорил, что ему надоел Париж, а американцы тянут с визой.

Маяковский каждый день приходил в «Ротонду». Он писал, что беседовал с тенями Верлена и Сезанна: «Ротонда» жила, как рантье, на проценты. Не было тех, с кем я когда-то проводил беспокойные ночи: Аполлинер и Модильяни умерли, Пикассо переселился на правый берег Сены и охладел к Монпарнасу, Ривера уехал в Мексику.

Немногочисленных старожилов окружали разноязычные туристы. Никто больше не спорил о том, как взорвать общество или как примирить справедливость с красотой.

Трудно сказать, почему я каждый день шел на Монпарнас — в «Ротонду» или в «Дом»; видно, такова была сила привычки. Иногда я встречался со старыми друзьями: с Леже, Шанталь, Цадкиным, Сандраром, Липшицем, Пер Крогом, Федером, Фотинским. Конечно, мы говорили об искусстве, о русской революции, о Пикассо, о международной выставке, о Чаплине; но все это никак не напоминало довоенную «Ротонду». Мы были далеко не стариками (самому старшему из нас — Леже — тогда исполнилось сорок четыре года), но прежний задор исчез. Мы напоминали солдат, уволенных в запас и донашивающих вылинявшие гимнастерки.

Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Сижу в «Ротонде» и курю новую трубку кубистической формы... Сегодня чудесное солнце. Идет кот, и даже уклон его поднятого хвоста свидетельствует о необычайности дня. Эренбург же, как подобает опустошенному субъекту, продолжает курить трубку... Я хандрю. То я недоволен, что повсюду искусство, и жажду простых разговоров или жирных улиток, от которых у меня болит живот; то, уподобляясь тургеневским «отцам» и косясь с брезгливой жалостью на новое поколение, требую упраздненного вдохновения... «Жанну Ней» все ругают, окрестили меня Вербицкой. Что мне делать? Заказать юбку? Отравиться на могиле Гейне?.. Французы пишут хорошую прозу и гадкие стихи. Но кому это нужно? Братья писатели, зачем мы стараемся?..»

Кафе Монпарнаса были переполнены: огни довоенной «Ротонды» притягивали мечтателей, авантюристов, честолюбцев. Молодые шведы, греки, поляки, бразильцы торопились в Париж — они хотели перевернуть мир; мир, однако, крепко стоял на месте.

Кубизм неожиданно заинтересовал владельцев ателье мод и дорогих магазинов; молодые художники за гроши расписывали шали или изготовляли эксцентрические безделушки для приезжих американок. Развелось множество торговцев картинами, все они мечтали напасть на нового Модильяни. Они заключали договоры с художниками, подающими надежды, забирали все холсты, а платили мало — очевидно, считали, что голод способствует вдохновению. Картины стали биржевыми акциями, предметом спекуляции; цены искусственно поднимали или сбивали.

Аргентинский художник, сербский поэт писали своим родителям, что сюрреализм вскоре завоюет мир, что они будут знаменитыми, но пока что пусть старики понатужатся и пришлют им сотню-другую франков.

Караваны туристов превратили Монпарнас в район ночных развлечений. В «Сигаль», в «Жоке» танцевали до утра, а красавица Кики с глазами совы печально пела скабрезные песенки.

Летом 1925 года в Париже открылась Международная выставка декоративного искусства. Итальянские фашисты показали свое чванство и тупость (они именовали это неоклассицизмом). Среди французских построек, на редкость серых и бесцветных, выделялся небольшой павильон журнала «Эспри нуво», построенный Корбюзье. Гвоздем выставки был советский павильон; его построил молодой архитектор-конструктивист К. С. Мельников. Как многое из того, что делали наши конструктивисты и лефовцы, павильон никак нельзя было назвать утверждением утилитаризма: по лестнице было трудно подниматься, косой дождь прорывался в помещение. Здание было выражением романтики первых революционных лет. Экспонаты в большинстве принадлежали «левым» художникам: макеты постановок Мейерхольда, Таирова, конструкции Родченко, ткани Л. Поповой, плакаты Лисицкого.

В Париж понаехало много москвичей: Маяковский, Якулов, Мельников, Штеренберг, Родченко, Рабинович, Терновец. Когда я с ними беседовал, мне порой казалось, что я в Москве 1921 года.

Парижане считали советское искусство наиболее передовым; кроме выставки, они увидели «Броненосец «Потемкин», «Федру» Таирова, «Принцессу Турандот» Вахтангова. А павильон на выставке, как и многое другое, был, скорее, эпилогом. В Москве открылась выставка АХРР, и солидные критики удовлетворенно писали: «Назад, к передвижникам — вот наш лозунг»; начиналось контрнаступление натурализма, бытовизма, академических форм, чинности, упрощенности и той фотографической условности, которая, ссылаясь на точность деталей, пыталась выдавать себя за реальное отображение жизни.

Я писал в 1925 году: «Простаки думают, что правдивое изображение больших дел — это и есть большое искусство. Им невдомек, что на светочувствительной эмульсии не отличить солнца от медной пуговицы. Есть героическая натура, но героического натурализма не может быть. Фотограф, снимая провинциальную свадьбу и Октябрьские

дни, остается все тем же фотографом... Сейчас торжествует вульгарный натурализм. Он жив человеческой слабостью; ведь если ногам свойственно прыгать или по меньшей мере шагать, то есть другая часть тела, которая неизменно тянется к мягкому сиденью... Люди хотят на канате организовать уютное чаепитие...»

Я уже успел распрощаться с конструктивизмом: «Торжество индустриальной красоты означает смерть «индустриального» искусства... Копировать машину еще пошлее, чем копировать розу, ибо в последнем случае кража совершается хотя бы у анонимного автора... «Левое» искусство, создавшее подлинные шедевры, быстро развоплотилось. Оно хотело убедить людей, что в мире остались только элеваторы, геометрические фигуры и голые идеи... Еще не успели замолкнуть боевые кличи «искусство в жизнь», как это самое искусство уже входит... в музеи».

Эстетической программы у меня больше не было. Я метался. Вернувшись из Америки, Маяковский рассказывал, что машинам там хорошо, а человеку плохо. Я спросил его, не усомнился ли он в программе Лефа. Он ответил: «Нет. Но многое нужно пересмотреть. В частности, подход к технике...»

Мне хотелось понять, чем живут писатели, художники Франции. Я познакомился с Мак-Орланом, Дюамелем, Жюлем Роменом, с сюрреалистами Арагоном, Кревелем, Десносом, с румыном Истрати, которого вывел в люди Ромен Роллан, с архитектором Корбюзье; бывал в редакции «Кларте» у Барбюса; увлекался кино, разговаривал с режиссерами Рене Клером, Гансом, Ренуаром, Федером, Эпштейном.

Грех назвать те годы бесплодными; поскольку я заговорил о кино, достаточно сказать, что в 1925 году я увидал «Золотую лихорадку» и «Пилигрима» Чаплина. Да и в шуме не было недостатка; то и дело рождались различные школы; громче всех кричали сюрреалисты. Но чего-то не хватало, может быть, надежд, может быть, тревоги. (Я подумал сейчас о судьбе многих людей, с которыми я встречался на Монпарнасе. Рене Кревель и Паскин кончили жизнь самоубийством, художника Федера гитлеровцы убили, Сутин погиб в годы оккупации, затравленный Деснос умер в «лагере смерти». Те годы тоже были канунами; но людям казалось, что на дворе серое будничное утро.)

Я больше не был ни затворником «Ротонды», ни фанатиком искусства. С утра до ночи я бродил по Парижу, забирался в кафе, где сидели биржевики, адвокаты, ското-

торговцы, приказчики, рабочие; разговаривал с людьми. Меня поражали механизация жизни, поспешность движений, световые рекламы, потоки машин. Конечно, автомобилей было во сто раз меньше, чем теперь, не было телевизоров, радиоприемники только входили в обиход, и по вечерам из раскрытых окон не вырывалась на улицы разноголосица волн. Но я чувствовал, что ритм жизни, ее настроенность меняются. Ночью на Эйфелевой башне сверкало имя «короля автомобилей» Ситроена. Электрические гномы карабкались по фасадам пепельных домов, пытаясь соблазнить даже луну аперитивом Дюбонне или кремом «Секрет вечной молодости».

Менялись окраины Парижа — исчезли крепостные валы, пустыри, лачуги. Строили первые дома в новом, индустриальном стиле. Я увидел конструктивизм не на картонах Родченко, а в действительности. Меня позвал к себе художник Озанфан; он жил в доме, построенном Корбюзье: свет, нагота, белизна больничной палаты или лаборатории. Я вспомнил конструкции Татлина, восторженных вхутемасовцев. То, да не то... Мы открывали Америку, конечно воображаемую. А давно открытая и вполне реальная Америка тем временем пришла в Европу — не с романтическими декларациями лефовцев, но с долларами, с черствым расчетом, с пылесосами и с механизацией человеческих чувств.

Политика мало кого интересовала: парижане не читали ни речей Бриана, ни сообщений о возрождении германской армии. Считалось, что люди, не поддающиеся шовинистической пропаганде, должны твердо верить в мир, и это всех устраивало: люди хотели мирно наслаждаться жизнью. Раскрывая газету, они искали в ней: кто — биржевой бюллетень, кто — отчет о матче футбола, кто — сводку погоды. Конь блед и другие звери Апокалипсиса уступили место «рено» и «ситроенам». В далекое прошлое отошли и окопы на Шмен-де-Дам, и солдатские бунты, и демонстрации. До поздней ночи ревел джаз, и снобы восхищались синкопами. Женщины носили очень короткие платья, говорили, что обожают спорт. Появились дансинги, матчи бокса, туристические автобусы, пылесосы, кроссворды и множество других новшеств.

Вновь налаженная жизнь требовала экзотической приправы. Продавщицы универмагов и жены нотариусов зачитывались «Атлантидой» Пьера Бенуа. Для более изысканных дам имелись книги писателя-дипломата Поля Морана. Каждый год он выпускал в свет сборники рассказов

«Закрыто ночью», «Открыто ночью», «Галантная Европа»; он рассказывал, как переспал или не переспал с женщинами различных национальностей. Для парижанок, не желавших отстать от века, любовь казалась провинциальным анахронизмом, и вот любовники Поля Морана ее модернизировали, они и в кровати разговаривали как безупречные бизнесмены: «Вы теперь похожи на чек без покрытия», «Не живите на капитал ваших нервов»...

Все реже и реже можно было встретить классического буржуа, который продолжал жить на страницах «Красного перца», толстого и беззаботного, ленивого семьянина, стригущего купоны, или жуира, прогуливающегося по Бульварам. Его место занял делец, вдоволь энергичный, предпочитающий автомобильные гонки девушкам и фиалкам, склонный к авантюрам, к любой склизкой афере, по образованию инженер или экономист, хорошо знающий новые методы производства и мировые цены, борьбу трестов, подкупность министров, всю политическую кухню. Его сыновья презирали романтику старого студенчества — слезы пьяного Верлена, скептицизм Анатоля Франса, анархические фразы; они занимались гимнастикой, уважали сильных; многие из них девять лет спустя, в ночь фашистского путча, резали бритвами ноги полицейских лошадей.

Хотя американские солдаты давно уехали домой, все приходившее из Нового Света было в почете. Джаз заменил чахоточных скрипачей и лихих аккордеонистов. В дансингах ввели «такси-герлс» — девушек, которые за положенную плату танцевали с клиентами. Снобы, еще недавно участвовавшие в потасовках на премьере дягилевского балета или на вернисаже «Салона независимых», теперь неистово вопили на матчах: «Браво, Джо!..» Писатели принялись сочинять спортивные романы: героями были боксеры, футболисты, велосипедисты.

Летом Париж наводняли иностранные туристы; в списке обязательных достопримечательностей значились Елисейские поля, Венера Милосская, Эйфелева башня, гробница Наполеона, Монмартр, «Ротонда» и публичный дом на улице Шабанэ, называвшийся «Обществом наций», — там имелись комнаты в испанском, японском, русском и других стилях; туристов сопровождала пожилая чопорная экономка и академически поясняла различные непристойные детали.

До войны французы чрезвычайно редко пересекали границу; теперь многие уезжали на каникулы в Швейцарию,

Италию, Австрию, Англию. Огромным успехом у среднего читателя пользовался роман Декобра, посвященный любовным похождениям героини, которая называлась «Мадонна из слиппинга» (французское название «спальный вагон» звучало бы провинциально).

Исчезли последние приметы прошлого века: уличные карнавалы, конфетти, котелки, бархатные диваны в темных кафе; мужчины сбрили бороды, женщины начали коротко стричь волосы.

Все это скорее относится к 1925 году, чем к Парижу. Теперь, когда я вспоминаю то время, Париж мне кажется идиллическим, захолустным, похожим на холсты Утрилло. Менялась эпоха, и, может быть, Париж сопротивлялся дольше, нежели Берлин, Брюссель или Милан. Но я жил тогда в Париже и там наблюдал первые результаты американского омолаживания старой Европы.

Все поняли, что взял верх порядок, — одни с горечью, другие с восторгом. Политика делалась за кулисами и мало интересовала зрительный зал. Еще недавно большевиков изображали как людей, держащих нож в зубах. Теперь большевики сидели на улице Гренель, к ним наведывались крупные промышленники в надежде получить заказы. Седьмого ноября в наше посольство пришли различные депутаты, крупные журналисты, дельцы, светские дамы. Все они косились на Марселя Кашена, но утешились, увидав на столах икру.

В некоторых светских салонах было модно восхищаться «славянской мистикой», даже «русским экспериментом». Снобов, восхвалявших все советское, окрестили «большевизанами». Один теннисист и балбес сказал мне: «Я слыхал, что у вас уничтожены деньги. Это замечательно! Я ненавижу считать расходы...» Другой спросил Любу: «Неужели Потемкин играет еще лучше, чем Мозжухин?» Он слыхал одним ухом об успехе фильма Эйзенштейна и решил, что есть актер по имени Потемкин.

Изредка трагические события врывались в иллюзорный покой города. Так было с сообщением о расстреле работниц консервных фабрик в бретонском городе Дуарнене. В Париже был большой митинг; ораторы призывали к действиям; рабочие аплодировали, свистели. Потом все стихло. Как-то незаметно начались войны в Марокко, в Сирии. Стреляли далеко, и Париж продолжал жить по-прежнему.

У нас в те годы пользовались большим успехом сочинения Пьера Ампа. Он описывал производство; его рома-

ны походили на очерки, это многих увлекало. В ранней молодости Пьер Амп был рабочим. Я увидел, однако, почтенного литератора лет пятидесяти. Он не имел никакого представления о лефовцах, но, рассказав с восхищением о новых станках, воскликнул: «Насколько движения машины прекраснее человеческих!»

Я подружился с писателем Пьером Мак-Орланом. У него было лицо опечаленного бульдога. Он помнил войну, и это было воспоминаниями не победителя, а побежденного: «Кабак на улице Пигаль выставляет в каждом окне по кукле. Это — скрытое желание еще раз отпраздновать смерть среди страшных окрестностей войны. Если я храню в памяти столь ужасающий образ войны, то это потому, что я не могу забыть дикой агонии всех солдат, расстрелянных во имя правосудия. Ужас во мне достигает апогея — ужас быть человеком среди стольких непонятных существ. Я чувствую себя куда более слабым, чем паяцы из шерсти, набитые паклей. Их покачивание напоминает мне бескостные тела расстрелянных у традиционного столба...»

Мак-Орлан много говорил о «социальной фантастике» — этими словами можно было объяснить все. Он написал роман о всаднице Эльзе, немецкой коммунистке, которая привела Красную Армию во Францию. Читая эту книгу, я посмеивался, — вероятно, так могли бы читать марсиане «Аэлиту», но другие книги Мак-Орлана мне нравились, особенно «Госпиталь святой Магдалины» — фантастическая история человека, который начинает потеть кровью; медики потрясены небывалым казусом; все газеты пишут о диковинном пациенте. Больного начинают показывать за деньги зевакам. Количество крови увеличивается — бочки, тонны. Для эксплуатации свежей крови организуют трест; вмешивается правительство — хочет получить львиную долю доходов. А больной лежит и слушает, как звенит горячая струя его крови. Принято считать, что «черная литература» расцвела после второй мировой войны, а книга, о которой я говорю, была написана в начале двадцатых годов. Тогда мы не знали об ушастом пражском еврее Франце Кафке, мы о многом не знали и видели все в меняющемся загадочном свете.

Пьер Мак-Орлан (его фамилия куда прозаичнее — Пьер Дюмарше) был поэтом; кое-что он предчувствовал, кое-что придумывал. Он жил в идиллическом домике недалеко от Марны, иногда играл на аккордеоне и почти всегда писал, писал. Он написал предисловие к первому фран-

цузскому переводу «Хулио Хуренито», который вышел в 1924 году. Тогда мы были едва знакомы, и, рассказывая обо мне, он описал человека почти столь же фантастического, как всадница Эльза. По его словам, в конце 1921 года я пережил сразу множество бедствий: я разводил собак и кроликов, белый офицер хотел меня скинуть в море, меня арестовала Чека, а французское правительство выслало из Франции. «Хуренито» ему понравился, и он советовал французам познакомиться с «романтикой случайного и непредусмотренного».

Он говорил мне: «Я пишу только для того, чтобы не совершить банального преступления — не убить старуху и не поджечь ферму».

Однажды мы с ним обедали в парижском ресторане. Вдруг Мак-Орлан мне сказал: «Знаете, что будет, если человечество просуществует еще несколько тысяч лет? Кролики начнут кусаться, морковь будет выскакивать из грядок, чтобы вцепиться в икры человека...»

Мак-Орлан посвятил мне одну из своих книг-воспоминаний: «Улица Сент-Венсен». Это рассказ о смятении молодого человека и о смутных уличках старого Руана, разрушенного в годы последней войны. Я принимал его за бунтаря, а он был хорошим писателем и добрым человеком.

Я понимал, что Октябрьская революция многое изменила. Я говорил о моей преданности новой эпохе: «Мы ее любим не менее «странной любовью», нежели наши предшественники «отчизну». Это чувство тоже требует и крови и замалчиваний...» О чем я больше всего думал? Кажется, о судьбе человека, о том, что писатели не могут довольствоваться описанием событий, они должны показать душевный мир современников.

В 1925 году в Париже играли пьесу Чапека «Рур»; появилось новое слово — «робот». Мы часто тогда говорили о «мыслящих» машинах, и мне казалось, что паскалевскому «тростнику» страшнее всех бурь внутреннее перерождение. Я боялся не того, что «мыслящие» машины будут чрезвычайно сложными, а того, что эти машины постепенно отучат человека от мысли, вытеснят клубок чувств.

«Лето 1925 года», пожалуй, самая печальная изо всех моих книг, не самая горькая, не самая безысходная, а именно самая печальная. Ее содержание несложно. Рассказ ведется от первого лица. Герой романа, попав в Париж, опустился, бродил по улицам, залитым ярким светом, подбирал окурки, потом нанялся на бойни — гонял баранов.

Какой-то итальянский авантюрист подбивал слабовольного, растерявшегося героя убить капиталиста Пике. Из этого ничего не вышло, но герой привязался к чужой, брошенной девочке, нянчил ее; девочка умерла. Интрига меня мало занимала, я хотел изобразить одиночество человека в большом городе, отчаяние многих людей, с которыми встречался, судьбу поколения, побывавшего у Вердена. «Мы во многое верили, верили долго и крепко, хотя бы в бога пастухов и инквизиторов, который сделал из воды вино, а из крови воду; верили в прогресс, в искусство, в любые очки, в любую пробирку, в любой камешек музея. Мы верили в социальную справедливость и в символику цветов. Мы умилялись то перед эстетикой небоскребов, то перед открытием новой сыворотки. Мы верили, что все идет к лучшему. Мы до хрипоты спорили, постановляли, читали стихи и сравнивали различные конституции. У нас были тогда стоячие воротнички и стойкие души. А потом? Потом мы лежали в грязи окопов и вместо карнавальных масок примеряли противогазы. Мы кололи штыками, добывали пшено, дрожали от «сыпняка» или от «испанки»... Мы узнали, что война пахнет калом и газетной краской, а мир — карболкой и тюрьмой...»

В те годы было написано немало печальных книг: очевидно, многие актеры терзаются во время антрактов еще сильнее, чем на сцене...

Мне прислали из Москвы статью «На путях жизни», напечатанную в газете. Критик писал: «И. Эренбург рассказывает здесь о том, как, «не выдержав свободы и голода», он «прикрепился», поступил на службу: «В мои обязанности входило перегонять баранов со скотного двора Виллет на соседние бойни...» Способ, избранный И. Эренбургом, временного обращения к подсобному заработку заслуживает, думается, серьезного внимания... Пример И. Эренбурга заслуживает внимательного общественного рассмотрения. Сам Эренбург в своей временной службе на бойнях усматривает нечто героическое, что-то вроде мученического венца вокруг изборожденного глубокими думами писательского чела: «Аккуратно считал я зады баранов. Порой бараны упирались и трагически блеяли. Я кричал тогда «Э! Э!», причем мой голос, бывший вдоволь нежным, когда приходилось заговаривать барышень или публично читать некоторые главы из «Жанны Ней», ухитрялся теперь пугать этих агонизирующих тварей...» Как трагически оторван писатель от живой жизни, если такая простая вещь, как приискание какой-

либо временной работы, кажется ему чем-то вроде небывалой, чуть ли не мировой трагедии... Это правильный и здоровый путь!»

Кажется, единственный раз в те времена в моих писаниях нашли нечто заслуживающее похвалы, но и то похвалили незаслуженно: никогда я не работал на бойнях и не гонял баранов. Но я видел окопы на Сомме, тяжелую одурь передышки, нищету Бельвилля, итальянских чернорубашечников и многое другое.

13

Проходя мимо «Ротонды», я увидел на террасе знакомое лицо: это был поэт Перец Маркиш, которого я знал по Киеву. Его трудно было не заметить: красивое, вдохновенное лицо выделялось в любой среде. Б. А. Лавренев уверял, что Маркиш походил на портреты Байрона. Может быть. А может быть, просто на тот облик романтического поэта, который остался в нашем представлении от сотен холстов или рисунков, от строк поэм, от воздуха другой эпохи. Романтиком Маркиш был не только в стихах; романтически вились его волосы, романтически была поставлена голова на стройной шее (он не любил галстуков и ходил всегда с расстегнутым воротничком); да и юношеский облик, который он сохранил до смерти, был тоже романтическим.

За его столиком сидели еврейский писатель из Польши Варшавский и художник, фамилию которого я забыл. Варшавского я знал по роману «Контрабандисты», переведенному на различные языки; он был застенчивым, мало разговаривал. Художник, напротив, не замолкая говорил о выставках, о критиках, о том, как трудно прожить в Париже, — он был бессарабцем, незадолго до того приехал во Францию, работал как маляр, а в свободные часы писал пейзажи. Не то Варшавский, не то художник рассказал историю о дудочке. Это была хасидская легенда (хасиды — мистическая и бунтарская секта, восставшая в XVIII веке против раввинов и богачей-лицемеров). Легенду я запомнил и включил потом в мою книгу «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»; книга эта малоизвестна, и я перескажу историю.

В одном из местечек Волыни был знаменитый цадик — так называли хасиды подлинных праведников. В местечке, как и повсюду, были богачи, дававшие деньги в рост,

домовладельцы, купцы, были люди, мечтавшие правдой и неправдой разбогатеть; словом, неправедных было вдоволь. Настал Судный день, когда, по верованиям религиозных евреев, Бог судит людей и определяет их дальнейшую судьбу. В Судный день они не едят, не пьют, пока не покажется вечерняя звезда и раввин не отпустит их из синагоги. В тот день в синагоге стояла тяжелая тишина. По лицу цадика люди видели, что Бог рассержен злыми делами обитателей местечка; не показывалась звезда; все ждали сурового приговора. Цадик просил Бога отпустить людям грехи, но Бог прикидывался глухим. Вдруг тишину нарушила маленькая дудочка. Среди бедноты, стоявшей позади, был портной с пятилетним сынишкой. Мальчику надоели молитвы, и он вспомнил, что у него в кармане грошовая дудочка, которую ему купил накануне отец. Все накинулись на портного: вот за такие выходки Господь покарает местечко!.. Но цадик увидел, что суровый Бог не выдержал и улыбнулся.

Вот и вся легенда. Она взволновала Маркиша, он воскликнул: «Да это об искусстве!..» Потом мы встали, пошли по домам. Маркиш довел меня до угла и неожиданно (мы говорили о чем-то другом) сказал: «Но сейчас мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского...»

Мне кажется, что в этой фразе было объяснение многих трудных лет его жизни. Он не был создан ни для громких призывов, ни для эпических поэм, был поэтом с дудочкой, издававшей чистые, пронзительные звуки. Но воображаемого бога, способного улыбнуться, не оказалось, а век был шумным, и уши людей порой не различали музыки.

Стихотворцы всегда существовали, особенно много их развелось, когда производство стихов стало профессией. Маркиш был поэтом. Трудно, конечно, судить о стихах по переводам — я не знаю еврейского языка, — но всякий раз, беседуя с Маркишем, я поражался его природе: он воспринимал и громкие события, и детали быта как поэт. Это не только мое впечатление, об этом мне говорили люди, друг на друга непохожие, — А. Н. Толстой, Тувим, Жан Ришар Блок, Заболоцкий, Незвал.

Он не боялся избитых тем; часто писал о том, о чем, кажется, писали все поэты мира. Лес осенью:

Там листья не шуршат в таинственной тревоге,
А, скрючившись, легли и дремлют на ветру,
Но вот один со сна поплелся по дороге,
Как золотая мышь искать свою нору.

Слеза любимой женщины:

Она не падает с твоих ресниц,
Но остается между век дрожащей.
В ней мир выходит из своих границ,
А в глубине растет зрачок блестящий...

Он был мастером и неустанно трудился; о нем можно сказать то, что он сказал о старом портном:

Что он мог еще сюда
Темным привезти поселкам?
Выстроченные года,
Выпяченную иголку.

Маркиш не отворачивался от жизни; он не только принимал эпоху, он ее страстно любил; писал эпические поэмы о строительстве, о войне. Будучи человеком необычайно чистым, он ревниво ограждал то, что любил, от тени сомнений; советским был с головы до ног; и хотя мы люди одного поколения (он был на четыре года моложе меня), я восхищался его цельностью. Он увидал погромы, жил в Польше во время разгула антисемитизма, но не было в нем и тени национализма, даже национализма мышки, которая знает, что над половицей потягиваются кошки. Если нужно привести пример интернационализма, то можно свободно назвать Маркиша.

Критики отмечали, что в его произведениях порой чувствуются печаль, горечь, тревога. Могло ли быть иначе? Одна из его первых поэм — «Куча» — посвящена погрому в Городище; недавно я прочитал перевод его неизданного романа, законченного незадолго до того, как Маркиш погиб, — это летопись страданий, борьбы, гибели варшавского гетто.

Я не хочу, однако, ограничиваться только ссылкой на эпоху; нужно сказать о структуре поэта. Я припомню очень давний диалог между двумя испанскими поэтами: Раби Сем Тобом и маркизом Сантильяна. Евреи и арабы ввели в испанскую поэзию гномические стихи — короткие философские изречения. Одним из таких гномических поэтов был Раби Сем Тоб. Король Педро Жестокий, страдавший бессонницей, поручил Раби Сем Тобу написать для него стихи. Поэт назвал книгу «Советы», и она начиналась следующим утешением:

Нет ничего на свете,
Что бы вечно росло.
Когда луна становится полной,
Она начинает убывать.

Много десятилетий спустя придворный поэт, маркиз Сантильяна, написал эпиграмму:

Как хорошее вино иногда содержится в дурной бочке,
Так истина порой исходит из уст еврея.

Раби Сем Тоб как бы предвидел:

Когда мир был создан,
Мир был поделен:
Одним досталось хорошее вино,
Другим жажда.

Маркиш принадлежал к поэтам не хорошего вина, а сухих губ; отсюда тот едва уловимый оттенок горечи, который порой проступает в его стихах, полных радости жизни.

Мы с ним виделись редко — жили в разных мирах; но всякий раз, встречая Маркиша, я чувствовал, что передо мной чудесный человек, поэт и революционер, который никого напрасно не обидит, не предаст друзей, не отвернется от попавшего в беду.

Помню митинг в Москве, в августе 1941 года; его передавали по радио в Америку. На митинге выступали Перец Маркиш, С. М. Эйзенштейн, С. М. Михоэлс, П. Л. Капица, я. Маркиш страстно призывал американских евреев потребовать от Соединенных Штатов борьбы с фашизмом (Америка тогда еще была нейтральной).

В последний раз я видел Маркиша 23 января 1949 года в Союзе писателей на похоронах поэта Михаила Голодного. Маркиш горестно сжал мне руку; мы долго глядели друг на друга, гадая, кто вытянет жребий.

Переца Маркиша арестовали четыре дня спустя — 27 января 1949 года, день его смерти — 12 августа 1952 года.

Как все люди, встречавшие Маркиша, я думаю о нем с нежностью почти суеверной. Вспоминаю его стихи:

Две мертвые птицы на землю легли.
Удар был удачен... Что лучше земли?
Здесь, в солнечной этой блаженной стране,
Упасть так упасть! Так мерещится мне...
Шагнул я, пойдем же, ты слышал, пойдем!
Упал так упал. Не жалей ни о чем.
Лететь так лететь. Как слепителен свет!
Широки просторы, и края им нет.

Трудно привыкнуть к мысли, что поэта убили.

А в те давние дни, когда я встречал молодого, вдохновенного Маркиша на Монпарнасе, он говорил о дудочке

ребенка и о громовом голосе Маяковского, примерял судьбу. Для меня он был залогом того, что нельзя разлучить эпоху и поэзию:

Я возложил тебя на рамена,
О век!
Я препоясался тобою,
Как каменным широким кушаком.
Огромной крутизной встает дорога,
И должен я взобраться на нее.
Сквозь вой ветров, сквозь снеговые кручи
Я подымаюсь... Многие погибнут
Среди сугробов...

Нет, он не был ни наивным мечтателем, ни слепым фанатиком, дудочки касались сухие губы взрослого, мужественного человека.

14

Приехав в Москву весной 1926 года, я поселился в гостинице на Балчуге; за номер брали много, а с деньгами у меня было туго. Меня приютили Катя и Тихон Иванович; жили они в Проточном переулке — между Смоленским рынком и Москвой-рекой, в старом, полуразвалившемся доме. (В начале войны в этот дом попала немецкая «зажигалка», и он сгорел.)

Не знаю почему, Проточный переулок тогда был облюбован ворами, мелкими спекулянтами, рыночными торговцами. В ночлежке «Ивановка» собиралось жулье. В домишках, розовых, абрикосовых, шоколадных, с вывесками частников, с выдранными звонками, с фикусами и поножовщиной, шла душная, звериная жизнь последних лет нэпа. Торговали все и всем, ругались, молились, хлестали водку и, мертвецки пьяные, валялись как трупы в подворотнях. Дворы были загажены. В подвалах ютились беспризорные. Милиционеры и агенты угрозыска заглядывали в переулок с опаской.

Я увидел один из черных ходов эпохи и решил его отобразить. Я знал, конечно, что писать о благородных героях приятнее, да и спокойнее, но автор не всегда волен в выборе персонажей; не он ищет героев, герои ищут его. У художников есть выражение «писать с натуры»; это никак не связано с натурализмом: импрессионисты, например, писали пейзажи только с натуры, а натуралисты, обычно выдающие себя за реалистов, преспокойно пишут портреты с фотографий. Я вдохновился Проточ-

ным переулком, с его равнодушием и надрывом, с мелким подходом к большим событиям, с жестокостью и раскаянием, с темнотой и тоской; впервые я попытался написать повесть «с натуры».

В основу фабулы легло подлинное происшествие: владелец одного из домишек — абрикосового или шоколадного, — жадный и бездушный торгаш, разозлившись на беспризорных, которые стащили у него окорок, ночью завалил выход из подвала, где дети прятались от жестоких морозов.

Пейзаж меняется не только от освещения, но и от душевного состояния живописца. Я больше не мог жить одним отрицанием, я замерзал от сатирических усмешек. В романе «Рвач» я попытался дать социальный анализ событий; там много общих описаний. В «Проточном переулке» очень мало иронии: я захотел найти в сердцах моих героев то доброе начало, которое позволит им расстаться с грязью, с пошлостью, с душевной пустотой. В те годы я не писал стихов, и повесть походила на лирическое признание.

Я не только полюбил моих невзрачных героев, я вложил в них самого себя. Остались в стороне домовладелец, который пытается уничтожить беспризорных, да его жилец, плюгавый бездельник, женившийся до революции на дочке барона и живущий на ее счет. Все остальные персонажи мечутся, ищут, страдают. Мои мысли, чувства тех лет можно найти и в обыкновенной советской девушке Тане, с ее случайными связями, с жаждой большой любви, с книгами, с работой, и в неудачливом поэте Прахове, ставшем газетным халтурщиком, честолюбивом и слабовольном, готовом на пошлость, даже на подлость, но начинающем понимать тщету, да и мелкоту своих мечтаний, и в горбатом музыканте Юзике, играющем на скрипке в кинотеатре «Электра», в этом захолустном философе с его безнадежной любовью к жизни, и в старом чехе, бывшем преподавателе латыни, превратившемся в нищего, но духовно приподнявшемся, прозревшем, которого полюбили беспризорные.

Горбун Юзик спрашивает старого нищего:

«— Так почему же вас, преподавателя латыни, выбросили на улицу? Одно из двух — или вы правы, или они.

— Я был прав. Это прошедшее время. Они правы — это настоящее. А дети, играющие сейчас погремушками, будут правы: футурум... С удовлетворением глядел я на их флаги, на их процессии, на их воодушевление. Прекрасна, молодой человек, кровь, приливающая к щекам, и огонь самозабвения в глазах!..»

Кажется, ни одну мою книгу так не поносили, как роман «В Проточном переулке». Не помню всех статей, но одна сейчас передо мной, она озаглавлена «Советская Россия без коммунистов» и напечатана в ленинградской «Красной газете». «Увиденная и показанная сквозь жижицу Проточного переулка советская Россия — это не реальная наша страна, а заповедный идеал П. Н. Милюкова, — это — советская Россия без коммунистов... Эренбург выполняет социальный заказ эмигрантской интеллигенции, дав зарисовку уголка советской Москвы, без социалистического строительства, без пафоса строительства новой жизни... Эренбург уподобился тому щетинистому завсегдатаю свалок, который, ненароком забредя в розариум, увидел там не пышно растущие и благоухающие розы, а заметил колючие шипы и увлекся навозной жижей удобрения цветочных клумб».

Стендаль писал в «Красном и черном»: «Роман — зеркало на большой дороге. В нем отражаются то лазурное небо, то грязь, лужи, ухабы. И человека, у которого зеркало, вы обвиняете в безнравственности. Зеркало отражает грязь, и вы обвиняете зеркало. Обвиняйте лучше дорогу с ухабами или дорожную инспекцию...»

В 1926 году, когда я писал о Проточном переулке, К. А. Федин работал над «Трансваалем», Л. М. Леонов над «Вором», В. П. Катаев над «Растратчиками», В. В. Иванов над «Тайным тайных». Старая Литературная энциклопедия называет все эти книги «искажением советской действительности», «апологией мещанства», «клеветой».

Дело, видимо, не в политических мечтаниях П. Н. Милюкова... Писатели моего поколения в первые годы революции попытались увидеть общую картину, осознать значение происходящего; потом настало время более спокойное и, если угодно, более серое; писатели начали приглядываться к отдельным человеческим судьбам. В эпоху Эдуарда VII нищего мальчика секли за проказы принца; наши критики секли и секут писателей за ухабы большой дороги...

Проточный переулок никак не походил на розариум. А я, будучи щетинистым человеком, но, право же, не свиньей, терзался от грязи. Частенько мне бывало холодно на свете; я искал сердечности, теплоты. На берегу Москвыреки летом цвели злосчастные цветы пустырей, затоптанные, заваленные нечистотами, — лютики, одуванчики. И эти цветы я хотел изобразить.

С прошлым не стоит спорить, но над ним стоит задуматься — проверить, почему написанные страницы столько

раз оказывались бледнее, мельче тех, что в бессонные ночи мерещились автору.

Всю мою жизнь я беззаветно любил Гоголя. Эти строки я пишу в полутемном номере римской гостиницы — между двумя заседаниями оказалось несколько свободных дней, и я решил вернуться к начатой главе. Вчера я снова пошел в старое кафе «Греко», где когда-то сиживал Николай Васильевич, сел за столик под его портретом и задумался: каким светом озарил этот угрюмый, болезненный, в жизни глубоко несчастный человек и Россию и мир!

В повести о Проточном переулке горбун Юзик читает и перечитывает одну книжку; ее первые страницы выдраны, он не знает ни заглавия, ни имени автора. Он говорит Тане: «Ах, Татьяна Алексеевна, вы только послушайте, что я вчера прочел: «Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания». Таня смеется: «Глупые книжки вы читаете, Юзик. Кто теперь говорит «перл»? Это ювелир, а не писатель. Вы должны усвоить методологию...»

Приведенные слова принадлежат Гоголю. Душевная глубина позволила ему потрясти современников, она потрясает и нас. Сидя за его столиком, я думал, что ни у меня, ни у многих из моих современников не нашлось достаточной душевной глубины и что мы слишком часто оказывались побежденными — не критиками, конечно, а временем — именно потому, что не сумели с подлинной глубиной, с дерзостью замысла, с мужеством автора «Мертвых душ», «Шинели» осветить будничное, малопримечательное, «презренное».

Не буду говорить о других, но себя судить я вправе. Слабость моей повести не в замысле, не в том, что я обратился к неприглядным обитателям Проточного переулка, не противопоставив им строителей будущего, а в том, что изображаемый мир слишком робко, скупо, редко озарен светом искусства. Дело не в размерах отпущенного мне дарования, а в душевной поспешности, в том, что мы жили ослепленные огромными событиями, оглушенные пальбой, ревом, громчайшей музыкой и порой переставали ощущать оттенки, слышать биение сердца, отучались от тех душевных деталей, которые являются живой плотью искусства.

Все это я понял не в 1926 году, а много позднее: человек учится до самой смерти.

15

Лето в Москве стояло жаркое; многие из моих друзей жили на дачах или были в отъезде. Я слонялся по раскаленному городу. Один из очень душных, предгрозовых дней принес мне нечаянную радость: я познакомился с человеком, который стал моим самым близким и верным другом, с писателем, на которого я смотрел как подмастерье на мастера, — с Исааком Эммануиловичем Бабелем.

Он пришел ко мне неожиданно, и я запомнил его первые слова: «Вот вы какой...» А я его разглядывал с еще большим любопытством — вот человек, который написал «Конармию», «Одесские рассказы», «Историю моей голубятни»! Несколько раз в жизни меня представляли писателям, к книгам которых я относился с благоговением: Максиму Горькому, Томасу Манну, Бунину, Андрею Белому, Генриху Манну, Мачадо, Джойсу; они были много старше меня; их почитали все, и я глядел на них, как на далекие вершины гор. Но дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви, — так было с Бабелем, а десять лет спустя — с Хемингуэем.

Бабель сразу повел меня в пивную. Войдя в темную, набитую людьми комнату, я обомлел. Здесь собирались мелкие спекулянты, воры-рецидивисты, извозчики, подмосковные огородники, опустившиеся представители старой интеллигенции. Кто-то кричал, что изобрели «эликсир вечной жизни», это свинство, потому что он стоит баснословно дорого, значит, всех пересидят подлецы. Сначала на крикуна не обращали внимания, потом сосед ударил его бутылкой по голове. В другом углу началась драка из-за девушки. По лицу кудрявого паренька текла кровь. Девушка орала: «Можешь не стараться, Гарри Пиль — вот кто мне нравится!..» Двух напившихся до бесчувствия выволокли за ноги. К нашему столику подсел старичок, чрезвычайно вежливый; он рассказал Бабелю, как его зять хотел вчера прирезать жену, «а Верочка, знаете, и не сморгнула, только говорит: «Поворачивай, пожалуйста, оглобли», — она у меня, знаете, деликатная...» Я не выдержал: «Пойдем?» Бабель удивился: «Но ведь здесь очень интересно...»

Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказал в очерке «Начало», как, приехав впервые в Петербург (ему тогда было двадцать два года), снял комнату в квартире инженера. Поглядев внимательно на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты

Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и калоши. Двадцать лет спустя Бабель поселился в квартире старой француженки в парижском предместье Нейи; хозяйка запирала его на ночь — боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Исаака Эммануиловича не было; просто он многих озадачивал: бог его знает, что за человек и чем он занимается...

Майкл Голд, который познакомился с Бабелем в Париже в 1935 году, писал: «Он не похож на литератора или на бывшего кавалериста, а скорее напоминает заведующего сельской школой». Вероятно, главную роль в создании такого образа играли очки, которые в «Конармии» приняли угрожающие размеры («Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки», «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку», «Аннулировал ты коня, четырехглазый»...). Он был невысокого роста, коренастый. В одном из рассказов «Конармии», говоря о галицийских евреях, он противопоставляет им одесситов, «жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино», — грузчиков, биндюжников, балагул, налетчиков вроде знаменитого Мишки Япончика — прототипа Бени Крика. (Эпитет «жовиальный» — галлицизм, по-русски говорят: веселый или жизнерадостный.) Исаак Эммануилович, несмотря на очки, напоминал скорее жовиального одессита, хлебнувшего в жизни горя, чем сельского учителя. Очки не могли скрыть его необычайно выразительных глаз, то лукавых, то печальных. Большую роль играл и нос — неутомимо любопытный. Бабелю хотелось все знать: что переживал его однополчанин, кубанский казак, когда пил два дня без просыпу и в тоске сжег свою хату; почему Машенька из издательства «Земля и фабрика», наставив мужу рога, начала заниматься биомеханикой; какие стихи писал убийца французского президента белогвардеец Горгулов; как умер старик бухгалтер, которого он видел один раз в окошке издательства «Правда»; что в сумочке парижанки, сидящей в кафе за соседним столиком; продолжает ли фанфаронить Муссолини, оставаясь глаз на глаз с Чиано, — словом, мельчайшие детали жизни.

Все ему было интересно, и он не понимал, как могут быть писатели, лишенные аппетита к жизни. Он говорил мне о романах Пруста: «Большой писатель. А скучно... Может быть, ему самому было скучно все это описывать?..» Отмечая способности начинающего эмигрантского писателя Набокова-Сирина, Бабель говорил: «Писать умеет, только писать ему не о чем».

Он любил поэзию и дружил с поэтами, никак на него не похожими: с Багрицким, Есениным, Маяковским. А литературной среды не выносил: «Когда нужно пойти на собрание писателей, у меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой...» У него были друзья различных профессий — инженеры, наездники, кавалеристы, архитекторы, пчеловоды, цимбалисты. Он мог часами слушать рассказы о чужой любви, счастливой или несчастной. Он как-то располагал собеседника к исповеди; вероятно, люди чувствовали, что Бабель не просто слушает, а переживает. Некоторые его вещи — рассказы от первого лица, хотя в них чужие жизни (например, «Мой первый гонорар»), другие, напротив, под маской повествования о вымышленных героях раскрывают страницы биографии автора («Нефть»).

В коротенькой автобиографии Бабель рассказывал, что в 1916 году А. М. Горький «отправил» его «в люди». Исаак Эммануилович продолжал: «И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч.».

Действительно, семь лет, о которых упоминает Бабель, дали ему многое; но он был «в людях» и до 1916 года, оставался «в людях» и после того, как стал известным писателем: вне людей существовать он не мог. «История моей голубятни» была пережита мальчиком и уж много позднее рассказана зрелым мастером. В годы отрочества, ранней юности Бабель встречал героев своих одесских рассказов — налетчиков и барышников, близоруких мечтателей и романтических жуликов.

Куда бы он ни попадал, он сразу чувствовал себя дома, входил в чужую жизнь. Он пробыл недолго в Марселе; но, когда он рассказывал о марсельской жизни, это не было впечатлениями туриста, — говорил о гангстерах, о муниципальных выборах, о забастовке в порту, о какой-то стареющей женщине, кажется, прачке, которая, получив неожиданно большое наследство, отравилась газом.

Однако даже в любимой им Франции он тосковал о родине. Он писал в октябре 1927 года из Марселя: «Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю». В другом письме

И. Л. Лифшицу, старому своему другу, он писал из Парижа: «Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы — из России — тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей».

В двадцатые годы у нас в газетах часто можно было увидеть термин «ножницы»; речь шла не о портновском инструменте, а о растущем расхождении между ценой хлеба и ценой ситца или сапог. Я сейчас думаю о других «ножницах»: о расхождении между жизнью и значением искусства; с этими «ножницами» я прожил жизнь. Мы часто об этом говорили с Бабелем. Любя страстно жизнь, ежеминутно в ней участвуя, Исаак Эммануилович был с детских лет предан искусству.

Бывает так: человек пережил нечто значительное, захотел об этом рассказать, у него оказался талант, и вот рождается новый писатель. Фадеев мне говорил, что в годы гражданской войны он и не думал, что увлечется литературой; «Разгром» был для него самого негаданным результатом пережитого. А Бабель и воюя знал, что должен будет претворить действительность в произведение искусства.

Рукописи неопубликованных произведений Бабеля исчезли в ведомстве Берии. Записки С. Г. Гехта напомнили мне о замечательном рассказе Исаака Эммануиловича «У Троицы». Бабель мне его прочитал весной 1938 года; это история гибели многих иллюзий, история горькая и мудрая. Пропали рукописи рассказов, пропали и главы начатого романа. Тщетно искала их вдова Исаака Эммануиловича, Антонина Николаевна. Чудом сохранился дневник Бабеля, который он вел в 1920 году, находясь в рядах Первой Конной: одна киевлянка сберегла толстую тетрадь с неразборчивыми записями. Дневник очень интересен — он не только показывает, как работал Бабель, но и помогает разобраться в психологии творчества.

Как явствует из дневника, Бабель жил жизнью своих боевых товарищей — победами и поражениями, отношением бойцов к населению и населения к бойцам, его потрясали великодушие, насилие, боевая выручка, погромы, смерти. Однако через весь дневник проходят настойчивые напоминания: «Описать Матяжа, Мишу», «Описать людей, воздух», «За этот день — главное описать красноармейцев и воздух», «Запомнить — фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова», «Обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного руба-

ку», «Не забыть бы священника в Лошкове, плохо выбритый, добрый, образованный, м. б. корыстолюбивый, какое там корыстолюбие — курица, утка», «Описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета», «Описать леса — Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба...»

Бабель был поэтом; ни натурализм описываемых им бытовых деталей, ни круглые очки на круглом лице не могут скрыть его поэтическую настроенность. Он загорался от стихотворной строки, от холста, от цвета неба, от зрелища человеческой красоты. Его дневник не относится к тем дневникам, которые рассчитаны на опубликование, — Бабель откровенно беседовал с собой. Вот почему, говоря о поэтичности Бабеля, я начну с записей в дневнике.

«Вырубленные опушки, остатки войны, проволока, окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба — величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги, ясень».

«Боратин — крепкое солнечное село. Хмель, смеющаяся дочка, молчаливый богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота».

«Великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а м. б. Мурильо, святые упитанные иезуиты, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура св. Валента».

«Вспоминаю разломанные рамы, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья».

«Графский, старинный польский дом, наверное, б. 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, маленькие комнаты для дворецких, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 г.».

О своем отношении к искусству Бабель рассказал в новелле «Ди Грассо». В Одессу приезжает актер из Сицилии. Он играет условно, может быть чрезмерно, но сила искусства такова, что злые становятся добрыми; жена барышника, выходя из театра, упрекает пристыженного мужа: «Босяк, теперь ты видишь, что такое любовь...»

Я помню появление «Конармии». Все были потрясены силой фантазии; говорили даже о фантастике. А между тем Бабель описал то, что видел. Об этом свидетельствует тетрадка, побывавшая в походе и пережившая автора.

Вот рассказ «Начальник конзапаса»: «На огненном англоарабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса, — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар». Далее Дьяков говорит крестьянину, что за коня он получит пятнадцать тысяч, а если бы конь был повеселее, то двадцать: «Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь».

А вот запись в дневнике 13 июля 1920 года: «Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, кр[асные] штаны с серебр[яными] лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, корот[кие] седые усы, сорок пять лет... был атлетом... о лошадях». 16 июля: «Приезжает Дьяков. Разговор короток: за такую-то лошадь можешь получить 15 т., за такую-то — 20 т. Ежели поднимется, значит, это лошадь».

Рассказ «Гедали»; в нем автор встречает старого еврея-старьевщика, который печально излагает свою философию: «Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому, что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек... И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории». Лавка Гедали описана так: «Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю».

Запись в дневнике 3 июля 1920 года: «Маленький еврей — философ. Невообразимая лавка — Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия: все говорят, что они воюют за правду, и все грабят».

В дневнике есть и Прищепа, и городок Берестечко, и найденное там французское письмо, и убийство пленных, и «пешка» в боях за Лешнюв, и речь комдива о Втором конгрессе Коминтерна, и «бешеный холуй Левка», и дом ксендза Тузинкевича, и много других персонажей, эпизодов, картин, перешедших потом в «Конармию». Но рассказы не похожи на дневник. В тетрадке Бабель описывал все, как было. Это опись событий: наступление, отступление, разоренные, перепуганные жители городов и сел, переходящих из рук в руки, расстрелы, вытоптанные поля, жестокость войны. Бабель в дневнике спрашивал себя: «Почему у меня непро-

ходящая тоска?» И отвечал: «Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде».

А книга не такова: в ней, несмотря на ужасы войны, на свирепый климат тех лет, — вера в революцию и вера в человека. Правда, некоторые говорили, что Бабель оклеветал красных кавалеристов. Горький заступился за «Конармию» и написал, что Бабель «украсил» казаков Первой Конной «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». Слово «украсить», вырванное мною из текста, да и сравнение с «Тарасом Бульбой» могут сбить с толку. Притом язык «Конармии» цветист, гиперболичен. (Еще в 1915 году, едва приступив к работе писателя, Бабель говорил, что ищет в литературе солнца, полных красок, восхищался украинскими рассказами Гоголя и жалел, что «Петербург победил Полтавщину. Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицка...».)

Бабель, однако, не «украсил» героев «Конармии», он раскрыл их внутренний мир. Он оставил в стороне не только будни армии, но и многие поступки, доводившие его в свое время до отчаяния; он как бы осветил прожектором один час, одну минуту, когда человек раскрывается. Именно поэтому я всегда считал Исаака Эммануиловича поэтом.

«Конармия» пришлась по душе самым различным писателям: Горькому и Томасу Манну, Барбюсу и Мартен дю Гару, Маяковскому и Есенину, Андрею Белому и Фурманову, Ромену Роллану и Брехту.

В 1930 году «Новый мир» напечатал ряд писем зарубежных писателей, главным образом немецких, — ответы на анкету о советской литературе. В большинстве писем на первом месте стояло имя Бабеля.

А Исаак Эммануилович критиковал себя со взыскательностью большого художника. Он часто говорил мне, что писал чересчур цветисто, ищет простоты, хочет освободиться от нагромождения образов. Как-то в начале тридцатых годов он признался, что Гоголь «Шинели» теперь ему ближе, чем Гоголь ранних рассказов. Он полюбил Чехова. Это были годы, когда он писал «Гюи де Мопассана», «Суд», «Ди Грассо», «Нефть».

Работал он медленно, мучительно; всегда был недоволен собой. При первом знакомстве он сказал мне: «Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной, есть в жаркий день мороженое». Я как-то пришел к нему, он сидел голый: был очень жаркий день. Он не ел мороженого, он писал. Приехав в Париж, он и там работал с утра до ночи: «Я тружусь здесь как вдохновенный вол, света бо-

жьего не вижу (а в свете этом Париж — не Кременчуг)...» Потом он поселился в деревне, неподалеку от Москвы, снял комнату в избе, сидел и писал. Повсюду он находил для работы никому не ведомые норы. Этот на редкость «жовиальный» человек трудился, как монах-отшельник.

Когда в конце 1932 — в начале 1933 года я писал «День второй», Бабель чуть ли не каждый день приходил ко мне. Я читал ему написанные главы, он одобрял или возражал — моя книга его заинтересовала, а другом он был верным.

Он любил прятаться, не говорил, куда идет; его дни напоминали ходы крота. В 1936 году я писал об Исааке Эммануиловиче: «Его собственная судьба похожа на одну из написанных им книг: он сам не может ее распутать. Как-то он шел ко мне. Его маленькая дочка спросила: «Куда ты идешь?» Ему пришлось ответить; тогда он передумал и не пошел ко мне... Осьминог, спасаясь, выпускает чернила: его все же ловят и едят — любимое блюдо испанцев «осьминог в своих чернилах». (Я написал это в Париже в самом начале 1936 года, и мне страшно переписывать теперь эти строки: мог ли я себе представить, как они будут звучать несколько лет спустя?..)

По совету Горького Бабель не печатал своих произведений в течение семи лет: с 1916 по 1923. Потом одна за другой появились «Конармия», «Одесские рассказы», «История моей голубятни», пьеса «Закат». И снова Бабель почти замолк, редко публикуя маленькие (правда, замечательные) рассказы. Одной из излюбленных тем критиков стало «молчание Бабеля». На Первом съезде советских писателей я выступил против такого рода нападок и сказал, что слониха вынашивает детей дольше, чем крольчиха; с крольчихой я сравнил себя, со слонихой — Бабеля. Писатели смеялись. А Исаак Эммануилович в своей речи, подтрунивая над собой, сказал, что он преуспевает в новом жанре — молчании.

Ему, однако, было невесело. С каждым днем он становился все требовательнее к себе. «В третий раз принялся переписывать сочиненные мною рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка — четвертая...» В одном письме он признавался: «Главная беда моей жизни — отвратительная работоспособность...»

Я не кривил душой, говоря о крольчихе и слонихе: я высоко ценил талант Бабеля и знал его взыскательность к себе. Я гордился его дружбой. Хотя он был на три года моложе меня, я часто обращался к нему за советом и шутя называл его «мудрым ребе».

Я всего два раза разговаривал с А. М. Горьким о литературе, и оба раза он с нежностью, с доверием говорил о работе Бабеля; мне это было приятно, как будто он похвалил меня... Я радовался, что Ромен Роллан в письме о «Дне втором» восторженно отозвался о «Конармии». Я любил Исаака Эммануиловича, любил и люблю книги Бабеля...

Еще о человеке. Бабель не только внешностью мало напоминал писателя, он и жил иначе: не было у него ни мебели из красного дерева, ни книжных шкафов, ни секретаря. Он обходился даже без письменного стола — писал на кухонном столе, а в Молоденове, где он снимал комнату в домике деревенского сапожника Ивана Карповича, — на верстаке.

Первая жена Бабеля, Евгения Борисовна, выросла в буржуазной семье, ей нелегко было привыкнуть к причудам Исаака Эммануиловича. Он, например, приводил в комнату, где они жили, бывших однополчан и объявлял: «Женя, они будут ночевать у нас»...

Он умел быть естественным с разными людьми, помогали ему в этом и такт художника и культура. Я видел, как он разговаривал с парижскими снобами, ставя их на место, с русскими крестьянами, с Генрихом Манном или с Барбюсом.

В 1935 году в Париже собрался Конгресс писателей в защиту культуры. Приехала советская делегация; среди нее не оказалось Бабеля. Французские писатели, инициаторы конгресса, обратились в наше посольство с просьбой включить автора «Конармии» и Пастернака в состав советской делегации. Бабель приехал с опозданием — кажется, на второй или на третий день. Он должен был сразу выступить. Усмехаясь, он успокоил меня: «Что-нибудь скажу». Вот как я описал в «Известиях» выступление Исаака Эммануиловича: «Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски, весело и мастерски, в течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры: «У этого колхозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден. Но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи...»

Много раз он говорил мне, что главное — это счастье людей. Любил животных, особенно лошадей; писал о своем боевом друге Хлебникове: «Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Жизнь для него оказалась не майской лужайкой... Однако до конца он сохранил верность идеалам справедливости, интернационализма, человечности. Революцию он понял и принял как залог будущего счастья. Один из лучших рассказов тридцатых годов — «Карл-Янкель» — кончается словами: «Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карла-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дело до меня. «Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...»

А Бабель был одним из тех, кто оплатил своей борьбой, своими мечтами, своими книгами, а потом и своей смертью счастье будущих поколений.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Москву. Когда я дойду до рассказа о тех днях, читатель поймет, как мне было важно повидать сразу Бабеля. «Мудрого ребе» я нашел печальным, но его не покидали ни мужество, ни юмор, ни дар рассказчика. Он мне рассказал однажды, как был на фабрике, где изъятые книги шли на изготовление бумаги; это была очень смешная и очень страшная история. В другой раз он рассказал мне о детдомах, куда попадают сироты живых родителей. Невыразимо грустным было наше расставание в мае 1938 года...

Бабель всегда с нежностью говорил о родной Одессе. После смерти Багрицкого, в 1936 году, Исаак Эммануилович писал: «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом... Желания наши не осуществились. Багрицкий умер в 38 лет, не сделав и малой части того, что мог. В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы эти бессмысленные преступления природы не повторялись больше».

Природу мы порой в сердцах называем слепой. Бывают слепыми и люди...

Незадолго до ареста он писал своей приятельнице, которая сняла для него домик в Одессе: «Сей числящийся за мной флигелек очень поднял мой дух. Достоевский говорил когда-то: «Всякий человек должен иметь место, куда бы он мог уйти», — и от сознания, что такое место у меня появилось, я чувствую себя много увереннее на этой, как известно, вращающейся земле».

Бабеля арестовали весной 1939 года. Узнал я об этом с опозданием — был во Франции. Шли мобилизованные, дамы гуляли с противогазами, окна оклеивали бумажками. А я думал о том, что потерял человека, который помогал мне шагать не по майскому лугу, а по очень трудной дороге жизни.

Нас роднило понимание долга писателя, восприятие века: мы хотели, чтобы в новом мире нашлось место и для некоторых очень старых вещей — для любви, для красоты, для искусства.

В конце 1954 года, может быть в тот самый час, когда человек со смешным именем Карла-Янкеля и его сверстники — Иваны, Петры, Николы, Ованесы, Абдуллы — веселой ватагой выходили из университетских аудиторий, прокурор сообщил мне о посмертной реабилитации Исаака Эммануиловича. Вспоминая рассказ Бабеля, я смутно подумал: не может быть, чтобы они не были счастливее нас!..

16

Одна читательница говорила мне, что ей трудно было читать «Бурю»: только-только Валя декламирует «Гамлета» — и уже какая-то Гильда в немецком городке заводит шашни с итальянцем, потом Сергей у Днепра, потом Мики поет партизанскую песенку в горах Лимузина, — все путается. Возможно, эта читательница права: роман — парк, и даже густые заросли в нем обдуманы. А жизнь — лес, и в книге о прожитых годах невозможно соблюсти стройность повествования.

Я писал о Проточном переулке — и сразу перехожу к Пенмарку во французском округе Финистер. (Между Москвой и Пенмарком я побывал в Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Ростове, Тбилиси, Батуми, Стамбуле, Афинах, Марселе, Париже, Берлине; все это я сейчас опускаю.) Ничего не поделаешь — с семнадцати лет я начал бродяжничать, годы и годы ночевал в случайных номерах замызганных гостиниц, часто менял адреса, трясся в зеленых прокопченных вагонах, отдыхал на палубах, спал в самолетах, сотни километров исходил пешком, причем никогда не чувствовал себя туристом, да и не затем колесил по миру, чтобы набрать материал для очередной книги; ездил по доброй воле, ездил и потому, что посылали, с деньгами и без денег: сначала мелькали верстовые столбы, потом сугробы облаков; я быстро изнашивал ботинки, покупал

не шкафы, а чемоданы — так вот сложилась моя жизнь. Наверно, это — свойство натуры: есть домоседы, есть и «Вечные жиды»; здесь нечем гордиться и не в чем оправдываться.

В Пенмарке я был в 1927 году и пишу о нем не потому, что мне хочется показать угрюмую красоту скал, исхлестанных океаном, или своеобразие древней бретонской скульптуры; право же, Акрополь совершенней, а океан тем и хорош, что не поддается описанию. Но я обещал рассказать про свой путь, а жизнь складывается не только из исторических событий; порой незначительное происшествие, деталь быта, случайная встреча врезаются в память и многое предопределяют.

Пенмарк — небольшой городок на одном из западных мысов Европы; его жители занимаются рыбным промыслом — ловят сардину; женщины работают на консервных фабриках, Пенмарк пропах рыбой, ею пахнут люди, одежда, кровати, подушки.

Когда я впервые увидал этот городок, меня поразило беспокойство и природы и людей. Нигде я не слышал такого яростного моря, оно стучалось в каменные ворота земли. Ветер сбивал с ног; и ни одно дерево не смягчало картины — камни, камни, а между ними белые кубики консервных фабрик. На площади стояли рыбаки в красных брезентовых костюмах. В порту торчали голые мачты, похожие на лес зимой. Женщины были одеты в длинные черные платья, высокие белые чепчики походили на митры; их можно было увидеть издали, как маленькие маяки. Ворота фабрик были заперты. Уже не первый день рыбаки бастовали. Их требования могли удивить человека, незнакомого с ловом сардины: они хотели, чтобы фабриканты брали весь улов, хотя бы по низкой цене. Сардину ловят только в летние месяцы, когда она стаями подымается в верхние слои воды, идет недалеко от берега. Рыбаки должны летом накопить деньги на зиму. Фабриканты консервов были объединены в союз и не хотели пойти на соглашение с рыбаками, говорили, что фабрики недостаточно оборудованы; на самом деле они боялись, что цены на консервы могут упасть.

Забастовку рыбаки проиграли — у них не было денег про черный день: все дни были черными. Я присматривался к жизни людей, она была трудной. Крупная рыба часто рвала тонкие голубые сети. Хотя французские сардины считались лучшими в мире и составляли предмет экспорта, фабрики были действительно плохо оборудова-

ны, труд оплачивался низко. Приезжавшие в Бретань художники любили писать женщин Пенмарка, их привлекали старинная одежда, чепцы, красота лиц; а руки у работниц были красные, разъеденные солью.

Один парусник пришел в порт с хорошим уловом. Мокрые, продрогшие люди радовались. Сардину, однако, отказались взять. Напрасно рыбаки уговаривали, настаивали, ругались. В другом порту — Одьерне — была фабрика, не входившая в объединение предпринимателей, рыбаки решили попытать счастье, хотя ветер крепчал, начинался шторм. Оставшиеся на берегу угрюмо говорили: «А что им делать? У них большие семьи...»

Есть размышления о «мыслящем тростнике», есть фантастика Вилье де Лилль Адана, есть бретонские пейзажи Гогена. Но есть и другое — голодные дети. Одна из трагедий нашей эпохи в этом противоречии между взлетом человеческого гения и древней, звериной нуждой.

Женщины, стоявшие на берегу, видели, как высокая волна опрокинула лодку. Поднялась человеческая буря: люди колотились в запертые ворота фабрики. Хозяев не было, — вероятно, они отдыхали на курорте. Перепуганные управляющие кинулись к телефонам, умоляли прислать отряд жандармов.

С маяка пошла моторная лодка, и тонувших удалось спасти. Все сразу притихло. Наутро парусники вышли в море; женщины аккуратно отрезáли сардинам головы или укладывали рыбу в жестянки.

Ничего, таким образом, не произошло. Почему же мне это запомнилось? О том, что сытый голодного не разумеет, я знал и раньше — не только из книг, по своему опыту. Да и жизнь рыбаков Пенмарка не могла меня удивить, я давно пригляделся к человеческой бедности. Потрясло меня другое.

Рыбаки Пенмарка ежедневно вступали в поединок с океаном. На кладбище я видел немало крестов над пустыми могилами, к ним приходили вдовы погибших в море. Борьба человека с природой всегда приподымает, и кажется, нет мифа прекраснее, чем миф о Прометее. Незадолго до моего приезда в Пенмарк молодой американский летчик Линдберг первым перелетел через Атлантический океан, и я видел в рыбацких домах его портреты, вырезанные из газет. В детстве я увлекался книжкой о «Фраме» Нансена и потом, в течение моей жизни, пережил события, бóльшие или меньшие, потрясавшие воображение всех: Блерио перелетел через Ла-Манш, русские моряки спасали

жителей Мессины во время землетрясения, Кальмет нашел антитуберкулезную прививку, ледокол «Красин» спас полярную экспедицию Нобиле, погиб Амундсен, челюскинцы удержались на льдине, советские летчики прилетели в Америку через Северный полюс, Флеминг открыл пенициллин, англичане взобрались на верхушку Эвереста, норвежцы на плоту доплыли до Полинезии, советский спутник закружился вокруг Земли, и, наконец, мир, восхищенный, замер — впервые человек, Юрий Гагарин, заглянул в космос.

Рядом с этими событиями, потрясающими воображение, обыкновенные люди днем и ночью борются против слепой природы — рыбаки и врачи, горняки и летчики гражданского флота.

В 1929 году я увидел в Швеции слепого инженера-физика Далена. Он работал над освещением маяков и ослеп при одном из испытаний, отдал свои глаза для того, чтобы другие видели, — капитаны судов, лоцманы, рыбаки. А в Пенмарке я увидел другое... Есть подвиги, и есть барыши, — вот что невыносимо! Есть люди, готовые послать на смерть не только трех бретонских рыбаков, но и весь «мыслящий тростник» только для того, чтобы не упали цены на сардины, на нефть или на уран.

Может быть, я отвлекся от повествования, но, как я сказал, ничего в Пенмарке не приключилось. Об инциденте была крохотная заметка в одной газете. Рыбаки продолжали закидывать сети. Акционеры консервных фабрик получали дивиденды.

Передышка продолжалась. 1927 год не изобиловал мировыми событиями. Сэр Генри Детердинг, который не мог простить Советскому Союзу национализацию нефтяных промыслов, добился разрыва дипломатических отношений между Великобританией и СССР. Американцы казнили Сакко и Ванцетти — в Париже шумная демонстрация протеста пыталась прорваться к американскому посольству. Андре Ситроен торжественно объявил, что его заводы выпускают тысячу автомобилей в день. В Варшаве белый эмигрант застрелил советского посла Войкова. На экранах Парижа появился первый говорящий фильм, кажется, «Дон-Жуан». В Берлине состоялся митинг сторонников Гитлера; хотя Германия переживала период благоденствия, ораторы говорили о «жизненном пространстве на Востоке». В Москве рапповцы повторяли: «Необходимо сорвать маски со всех», — к маскам они причисляли и лица многих писателей. (Впрочем, тогда все ограничивалось статьями...)

Зимой я снова поехал в Пенмарк с Моголи Надем, который мечтал сделать фильм о сардинах и о людях, бездушных дельцах; он говорил, что у него на примете левый меценат. Рыбаки рассказывали нам о фабрикантах, о штормах. Океан неистовствовал. Рыбачки, укачивая детей, пели печальные песни.

Мецената Моголи Надь не нашел и фильма не сделал. А я, вернувшись из Пенмарка, писал: «Ужасен мир, где Каин — и законодатель, и жандрам, и судья!.. В этом году исполнится десять лет со дня окончания мировой войны. Если ничего не изменится, через десять лет мы увидим новую войну, куда более ужасную». Не знаю, почему я назвал эту цифру, а ошибся я всего на полтора года...

17

Среди рукописей Е. П. Петрова сохранился план задуманной им книги «Мой друг Ильф». В пятой главе этого плана я нашел такие строки: «Красная Армия. Единственный человек, который прислал мне письмо, был Ильф. Вообще стиль того времени был такой: на все начихать, письма писать глупо, МХАТ — бездарный театр, читайте «Хулио Хуренито». Эренбург привез из Парижа отрывки из фильмов группы «Авангард» — замедленная съемка. «Париж уснул». Увлечение кинематографом. «Кабинет доктора Калигари», «Две сиротки», Мери Пикфорд. Фильмы с погонями. Немецкие фильмы. Первые фокстроты. При этом жили очень бедно».

Приведенные строки относятся, видимо, к 1926 году, когда я показывал в Москве отрывки из французских фильмов, которые мне дали Абель Ганс, Рене Клер, Фейдер, Эпштейн, Ренуар, Кирсанов. Я тогда еще не был знаком с Ильфом и Петровым, но, как они, увлекался кино, даже написал брошюру «Материализация фантастики»; немецкие фильмы вроде «Доктора Калигари» мне, однако, не нравились, я восхищался Чаплином, Гриффитом, Эйзенштейном, Рене Клером.

Год спустя мне пришлось ближе ознакомиться с «материализацией фантастики», вернее сказать — с фантастикой материализации. В Германии переводы моих книг выпускало издательство «Малик ферлаг». Его создал мой друг, немецкий коммунист, прекрасный поэт Виланд Герцфельде. Он всегда приходил на выручку советским писателям, которые оказывались за границей без денег. (В 1928 году

Маяковский писал из Берлина: «Вся надежда на «Малик»...») И вот я получил письмо от Герцфельде: «Уфа» хочет инсценировать «Любовь Жанны Ней», фильм будет ставить один из лучших режиссеров — Георг Пабст.

Пабст был австрийцем, его никогда не увлекало экспрессионистическое нагромождение ужасов, или, как мы тогда говорили, «страсти-мордасти». Я знал его картину «Безрадостная улица» — о разоре послевоенных лет, она мне понравилась, и я обрадовался предложению «Уфы». Вскоре Пабст попросил меня приехать в Берлин, где происходили съемки.

Успех «Броненосца «Потемкин» заставил призадуматься многих кинопродюсеров. Публика охладела к зловещим гримасам различных «докторов». Ковбои тоже успели надоесть. Русская революция манила своей экзотичностью. Сесиль де Милль спешно изготовил «Волжских бурлаков», Морис Лербье — «Головокружение». Пабст решил приправить интригу моего романа живописными сценами: бой белогвардейцев с «зелеными», заседание Совета рабочих депутатов, Ревтрибунал, подпольная типография. Зная, что сценарий, состряпанный кем-то наскоро, изобилует нелепостями, немцы с присущим им педантизмом все же стремились к правдоподобности деталей, ходили в советское посольство и одновременно приглашали в качестве консультанта генерала Шкуро, выступавшего с труппой джигитов.

В павильоне кинофабрики я увидел улицы Феодосии с аркадами, русскую замызганную гостиницу, монмартрский кабак, кабинет модного французского адвоката, кресло великого князя, бутылки с водкой, статую Богоматери, нары ночлежки и много иной бутафории. Москва находилась в пятидесяти шагах от Парижа, между ними торчал крымский холм; белогвардейский притон был отделен от советского трибунала французским вагоном.

Фильм был немым, это позволило Пабсту набрать разноязычных актеров. Жанну Ней играла хорошенькая француженка Эдит Жеан, Андрея — швед Уно Геннинг, злодея Халыбьева — немец Фриц Расп, Захаркевича — бывший актер московского Камерного театра Соколов.

Из съемок мне запомнились три сцены. Прежде всего слезы Жанны. Актриса никак не могла натурально заплакать. Завели патефон с каким-то весьма печальным романсом. Отвернувшись, Эдит Жеан настраивалась на слезы, — может быть, вспоминала неудачную любовь, а может быть, думала о невыгодном ангажементе. Пабст в кожаной куртке напоминал командира батареи, он без-

жалостно браковал слезы Жанны: то недолет, то перелет. Наконец он довел актрису до слез вполне натуральных и, удовлетворенный, вынул из кармана бутерброд с ветчиной. Он представил меня кинозвезде; она улыбнулась: «Ах, это вы написали такую печальную историю? Я вас поздравляю». Конечно, я должен был, в свою очередь, ее поздравить с первосортными слезами, но растерялся и неопределенно хмыкнул.

Вторая сцена связана с клопами. По замыслу Пабста, клопы должны были ползти по стене, а Халыбьев — их настигать и давить; причем клопов снимали крупным планом. Отдел заготовок «Уфы» доставил банку с чудесными клопами; однако насекомые оказались несообразительными — они то поспешно покидали поле съемки, то замирали, очевидно сжигаемые слишком ярким светом. Распу, который играл Халыбьева, никак не удавалось их раздавить. Помощник режиссера сказал мне, что клопы влетят «Уфе» в копейку — на них потратили четыре часа.

Третья сцена — кутеж белых офицеров. Пабст пригласил на съемку бывших деникинцев. Они сберегли военную форму; трудно сказать, на что они рассчитывали — на реставрацию или на киносъемки. Сверкали погоны, высились лихие папахи, на рукавах красовались черепа «батальонов смерти». Я вспомнил Крым 1920 года, и мне стало не по себе.

Восемьдесят белогвардейцев кутили в ресторане «Феодосия». Здесь были балалайки, цыганские романсы, водка, а в углу — полевой телефон. До меня доносились разговоры фигурантов: «Давненько мы с вами не видались...», «Простите, в каком полку вы служили?..»

Пабст командовал: «Переведите! Пусть веселятся! Я хочу, чтобы они напились до бесчувствия. Понятно?» Красавец полковник должен был раздеть женщину. Она неожиданно заупрямилась. Пабст кричал: «Переведите — нечего разводить истории! Трусы ей оставят. Пусть думает, что она на пляже...»

Белые получали по пятнадцать марок за день и были довольны.

(В перерыве я слышал, как один поручик рассказывал: «Говорят, что Чжан Цзолинь вербует русских. Двести долларов подъемных и на дорогу...»)

Чтобы фигуранты лучше играли, Пабст пообещал вызвать их снова: через неделю они будут изображать красногвардейцев, одежду выдаст «Уфа». Бедняги обрадовались: это было куда реальнее, чем Китай...

Не скрою, мне было нелегко глядеть на эти съемки. Я видел, как в парижских кабаре белые офицеры, развлекая кутил, пели, танцевали, ругались, плакали; видел в притонах Стамбула сотни русских проституток; и вот эти офицеры, убежденные, что спасли свою воинскую честь от позора, радуются — им обещали, что через неделю они будут изображать большевиков... Нет, лучше на такое не смотреть!

Из актеров мне понравился Фриц Расп. Он выглядел доподлинным злодеем, и, когда он укусил руку девки, а потом положил на укушенное место вместо пластыря доллар, я забыл, что передо мною актер.

Вскоре Расп приехал в Париж: Пабст снимал уличные сцены. Зарядили дожди, съемки откладывались, и Расп бродил со мной по Парижу, катался на ярмарочных каруселях, танцевал до упаду с веселыми модистками, мечтал на набережных Сены. Мы быстро подружились. Он играл негодяев, но сердце у него было нежное, даже сентиментальное, я его называл Жанной.

Мы встречались и позднее — в Берлине, в Париже. Когда в Германии пришел к власти Гитлер, Распу было нелегко. Я снова увидел его после долгого перерыва в 1945 году в Берлине. Он рассказал, что жил в военные годы в восточным предместье. Там засели эсэсовцы, стреляли в советских солдат из окон. Я уже говорил, что Расп похож на классического убийцу. Когда наши части взяли квартал, Распа спасли мои книги с надписями и фотографии, где мы были сняты вместе. Советский майор жал ему руку, принес сласти его детям.

Вернусь к 1927 году. Я попробовал было возражать против сценария, но Пабст ответил, что я не понимаю специфики кино, нужно считаться с дирекцией, с прокатчиками, с публикой.

Неожиданно в фантастику сценария вмешался вполне реалистический эпизод: «Уфа» оказалась накануне банкротства, дефицит достиг пятидесяти миллионов марок. Из-за кулис появился господин Гугенберг, новый король Германии, которому принадлежали сотни газет; он ненавидел Штреземана, либерализм и голубок мира — предпочитал им кривого прусского орла.

Новая дирекция предложила Пабсту изменить сценарий. Пабст пытался возражать, но с директором «Уфы» было куда труднее сговориться, чем с белыми фигурантами.

У меня есть друг, американский кинорежиссер Майльстоун, который в начале тридцатых годов поставил фильм

по роману Ремарка «На Западе без перемен». Он рассказывал мне, что во время съемок к нему пришел кинопродюсер Лемке и сказал: «Я хочу, чтобы конец фильма был счастливый». Майльстоун ответил: «Хорошо, я сделаю счастливую развязку: Германия выигрывает войну...»

Лемке был бизнесменом и человеком без твердых убеждений. А Гугенберг стриг ежиком жесткие волосы и давал деньги на «Стальной шлем». Пабсту пришлось уступить. Мне показали фильм.

(Хемингуэй молча глядел на киноинсценировку романа «Прощай, оружие!». Только когда на экране появились голуби — режиссер хотел показать, что война кончилась, — Хемингуэй встал, сказал: «Вот и птички», — и вышел из просмотрового зала.

Я был куда наивнее и не мог молча глядеть на экран: то злобно смеялся, то ругал всех — Пабста, Гугенберга, Герцфельде, самого себя.)

Я не хочу сейчас защищать интригу моего романа, написанного в 1923 году, — в ней много натянутых положений. Я писал роман, не только вдохновившись Диккенсом, но прямо ему подражая (конечно, тогда я этого не понимал). А эпоха была другая, нельзя писать о большевике, занимающемся подпольной работой в 1920 году, как о диккенсовском герое, которого сажали в долговую тюрьму, где он пил портер и шутил с тюремщиками. Мой роман изобиловал сентиментализмом. Героя, большевика Андрея, занятого подпольной работой, обвинили в убийстве банкира Раймонда Нея. Андрей мог ответить, что провел ночь, когда было совершено преступление, с племянницей банкира Жанной, которую полюбил. Герой этого не сделал и погиб. Жанна, бывшая прежде заурядной девушкой, многое поняла, для нее начиналась вторая жизнь — борьбы против мира лжи, денег, лицемерия, она уехала в Москву. Так было написано в книге. На экране все выглядело иначе — от деталей до сути. В романе имелся, например, противный французский сыщик Гастон с провалившимся носом. На экране у сыщика орлиный нос и благородное сердце. Дело, однако, не в Гастоне. Пабст придумал счастливую развязку. В романе влюбленные идут по парижской улице мимо старой церкви. Жанна повела Андрея в церковь — там было темно, а ей хотелось поцеловать Андрея. Это, пожалуй, одна из самых реалистических сцен романа, в котором, как я говорил, много несуразностей. На экране Жанна — верующая католичка, она ведет Андрея в церковь, чтобы помолиться Господу Богу, большевик ста-

новится на колени, и Богоматерь спасает его от гибели. Они поженятся, и у них будут дети.

Я протестовал, писал письма в редакцию. Герцфельде напечатал мой протест в виде брошюры, но это никак не могло потревожить ни прокатчиков, ни дирекцию «Уфы». Мне отвечали: «Фильм должен быть с хорошим концом...»

В 1926 году, когда я был в Тбилиси, в народном суде рассматривалось смешное дело. Одна девушка взяла у другой несколько книг и не вернула их. Судья спросил: «Почему вы не вернули книги?» — «Потому что я их кинула в реку». — «Как же вы могли выкинуть чужие книги?» Экспансивная девушка ответила: «А как мог Эренбург написать «Жанну Ней» с ужасным концом? Я прочитала и так расстроилась, что бросила в Куру все книги...» Судья присудил ее к штрафу; не знаю, чем он руководствовался: защитой собственности, уважением к книгам или признанием права писателя на трагическую развязку...

Я понял, что такое «фабрика снов», где серийно изготовляются фильмы, усыпляющие сознание, оглупляющие миллионы людей. В течение одного 1927 года зрители могли увидеть: «Любовь на пляже», «Любовь в снегах», «Любовь Бетти Петерсон», «Любовь и кража», «Любовь и смерть», «Любовь правит жизнью», «Любовь изобретательна», «Любовь слепа», «Любовь актрисы», «Любовь индуски», «Любовь-мистерия», «Любовь подростка» «Любовь бандита», «Кровавая любовь», «Любовь на перекрестке», «Любовь и золото», «Любовь запросто», «Любовь палача», «Любовь играет», «Любовь Распутина». Зрителям показали еще один вариант: «Любовь Жанны Ней».

Я писал: «В моей книге жизнь устроена плохо, — следовательно, ее нужно изменить. В фильме жизнь устроена хорошо, — следовательно, можно идти спать».

Я усмехаюсь, вспоминая гневные тирады неопытного автора. Все давно ушло в прошлое — и «Любовь Жанны Ней», и консорциум Гугенберга. Одно, впрочем, живо: страх перед трагическими развязками.

Говорят, что счастливые концы связаны с оптимизмом; по-моему, они связаны с хорошим пищеварением, со спокойным сном, но не с философскими воззрениями. Мы прожили жизнь, которую нельзя назвать иначе как трагедийной. Понятно, когда люди, желающие усыпить миллионы своих граждан, требуют от писателя или кинорежиссера счастливой развязки. Труднее понять такие требова-

ния, когда они исходят от сторонников великого исторического поворота. Можно терзаться, быть печальным и сохранять оптимизм. Можно быть и развеселым циником.

В книге о моей жизни, о людях, которых я встретил, много грустных, подчас трагических развязок. Это не болезненная фантазия любителя «черной литературы», а минимальная порядочность свидетеля. Можно перекроить фильм, можно уговорить писателя переделать роман. А эпоху не перекрасишь: она была большой, но не розовой...

18

Мы сняли мастерскую на бульваре Сен-Марсель; это была надстройка над старым домом, разумеется сизо-пепельным. Домовладелец, желая дороже сдать мастерскую, провел в дом электричество. Съемщикам квартир предложили бесплатно установить электрическое освещение, почти все отказались: не хотели, чтобы в двери стучался контролер, проверяющий счетчик.

Конечно, еще неприятнее контролера была непрошеная гостья — история, и парижане радовались, что она убралась восвояси. Правда, прочитав в газете, что Бриан и американец Келлог подписали пакт, запрещающий навеки войны, они по привычке усмехнулись — все-таки они были французами; но в душе они твердо верили, что, пока они живут, никакой войны не будет: дважды в жизни такое не приключается.

Карикатуристы занялись новым премьером Тардье; его легко было рисовать — он всегда держал в зубах длинную щий мундштук. Морис Шевалье пел свои песенки. Газеты несколько месяцев подряд описывали, как ювелир Месторино убил маклера, а потом сжег его труп. Сюрреалист Бюнюэль показал забавный фильм: на двуспальной кровати вместо любовницы нежилась солидная корова. Когда в парламенте обсуждали закон о ввозе нефти, один депутат саркастически сказал: «Прежде при любом скандале говорили: «Ищите женщину», теперь мы вправе сказать: «Ищите нефть». Другой депутат прервал его: «Не сравнивайте нефть с женщиной, женщина — божество!» Третий при общем смехе добавил: «К тому же женщина не воспламеняется»...

В очень старом фильме Рене Клера «Париж уснул» применен забавный прием — кино превращается в набор моментальных фотографий, комических с трагическим подтекстом: приподнятые ноги, раскрытые рты, заломленные

руки. Таким уснувшим мне вспоминается Париж конца двадцатых годов.

Для меня это были тягучие, длинные годы. С деньгами было туго, приходилось жить наобум, не зная, что будет завтра. Вдруг прислали деньги из издательства «Земля и фабрика», вдруг датская газета «Политикен» вздумала напечатать перевод «Треста Д. Е.», вдруг из Мексики пришел гонорар за «Хуренито». Однако все это мне казалось идиллией — я не голодал, как в предвоенные годы, и не ходил в лохмотьях.

Люба много работала. Друг Модильяни Зборовский устроил выставку ее гуашей; Мак-Орлан написал предисловие к каталогу.

Ирина училась, начала говорить по-французски, как парижанка, — картавила; приходя из школы в жаркий день, пила не воду, а белое вино; как-то я ее увидел на террасе кафе «Капуляд» с девчонками и мальчишками; они о чем-то горячо спорили; я пошел дальше, подумал: вот и новое поколение в новой «Ротонде»...

Я стал очень неразборчиво писать, не мог расшифровать написанное накануне. Как-то, когда пришли нечаянные деньги, я купил пишущую машинку. Жил я в комнате над мастерской и там с утра до вечера стучал: писал о трибуне народа Гракхе Бабёфе, о конвейере на заводах Ситроена, о бурной жизни гомельского портного Лазика Ройтшванеца, изъездившего поневоле свет.

Однажды я увидел Поля Валери. Это было в ресторане «У Венсена», который на вид напоминал рабочую харчевню, но славился отменной кухней. Поль Валери маленькими глоточками пил бордоское вино и нехотя одаривал собеседников печальными афоризмами. В нем была внешняя светскость, за которой скрывались горечь, замкнутость. Мне кажется, что он родился не вовремя; талант у него был не меньший, чем у Малларме, но изменилась акустика... Судьба Валери не напоминала судьбы «проклятых поэтов»: в пятьдесят лет он получил шпагу академика и сан «бессмертного»; но не было вокруг него самозабвенных и бескорыстных последователей, которые когда-то окружали Малларме.

А Поль Валери в то время, о котором я говорю, считал, что эпоха благоприятствует искусству: «Порядок неизменно тяготит человека. Беспорядок заставляет его мечтать о полиции или о смерти. Это два полюса, на которых человеку равно неуютно. Он ищет эпоху, где он чувствовал бы себя наиболее свободным и наиболее защищенным. Меж-

ду порядком и беспорядком существует очаровательный час; все то хорошее, что вытекает из организации прав и обязанностей, достигнуто. Можно наслаждаться первыми послаблениями системы». Это правильно: плоды созревают в конце лета, их тщетно искать зимой или ранней весной. Но Поль Валери ошибался в календаре — «очаровательный час» был позади — в конце XIX, в начале XX века. Золотой сентябрь во Франции успел смениться ноябрьскими туманами. Поль Валери дожил до второй мировой войны и увидел, что можно оказаться и без свободы и без порядка. А был он создан для долгого солнечного дня, для легкого треска цикад, для гармонии.

Меня представили Андре Жиду. Он меня озадачил: он походил на ибсеновского пастора, может быть на старого китайского хирурга. Незадолго перед этим я прочитал его книги о поездке в Африку, где он возмущался колониализмом. Теперь это азбучные истины, а тогда я восхитился его смелостью. Я заговорил об Африке. Он почему-то перевел разговор на отвлеченную тему, объяснял, что красота связана с этическими принципами. Рядом сидел предмет его любви — молодой спортсмен, кажется немец или голландец, с туповатым лицом, в коротких штанишках.

Во Франции выходило много развлекательных, легковесных книг. Моруа ввел новый жанр — романизированные биографии знаменитых людей. Литераторы начали изготовлять такие книги на конвейере, они сплетничали о любовных похождениях восьмидесятилетнего Гюго, рассказывали, что Вольтер спекулировал сахаром, а у Сент-Бёва была деспотическая мамаша.

Франсуа Мориак, к которому в 1913 году меня направил Франсис Жамм, писал хорошие романы о нехорошей жизни. Он католик, но в его книгах куда больше жестокой правды, чем христианского сострадания. Жена, изменив нелюбимому мужу, попыталась его отравить; он выжил и, боясь огласки, замуровал свою супругу в самодельную тюрьму, где ей предстоит сойти с ума. Многочисленная семья ждет, когда же отдаст богу душу богач адвокат, а он, старый, больной, живет наперекор всему, его вдохновляет желание лишить своих наследников наследства. Разбирая роман Мориака, критик Эдмон Жалу писал: «Наследство и завещания — самые основные и самые традиционные черты французской жизни».

Я часто думал, что старый мир, с его мастерством, с библиотеками и музеями, как герои Мориака, живет одним: не хочет ничего оставить своим наследникам. А про-

читав статью в «Литгазете» или встретившись с рапповцами, я говорил себе, что есть люди, которые не хотят наследства, беспризорные, облеченные властью цензоров и прокуроров.

Дюамель и Дюртен, побывав в Москве, написали о своей поездке книги умные, миролюбивые, даже, как теперь говорят, «прогрессивные». Я бывал иногда у Дюртена; он говорил о нашей стране приветливо, чуть снисходительно, пытаясь оправдать все, что ему не понравилось, не только особенностями русской истории, но и загадочностью «славянской души». В Париж приехала из Ленинграда О. Д. Форш. Как-то мы обедали втроем: Ольга Дмитриевна, Дюамель, я. Дюамель дружески нам объяснял, что в итоге все образуется, Советская Россия, остепенившись, станет полуевропейским государством; следует только переводить побольше французских книг. Почему-то он вспомнил «версты» в старых русских романах и сказал, что Французская революция дала миру метрическую систему, хорошо, что теперь и русские ее приняли... Когда Дюамель ушел, мы рассмеялись. Нам нравились его книги, а рассмешила наивность: видимо, он убежден, что своим сантиметром сможет измерить наши дороги...

В редакции журнала «Монд» я встречал Барбюса. Он написал тогда книгу о Христе. На него накинулись друзья: «идеализм», «мистика». А для правых он оставался неисправимым коммунистом. Он часто болел, говорил порывисто, глухо, тонкими руками аристократа что-то рисовал в воздухе.

Помню ужин, устроенный Пен-клубом в честь иностранных писателей. Председательствовал Жюль Ромен; в своей речи он постарался каждому из гостей сказать что-либо приятное. Меня он назвал «полупарижанином», а Бабелю сказал: «Вас можно поздравить с переводом вашей книги на французский язык». Он отнюдь не хотел показаться высокомерным, просто он думал, что на дворе стоит век Людовика XIV, Ришелье и Корнеля. (В 1946 году я возвращался из Америки на пароходе «Иль де Франс». На палубе можно было встретить беженцев из различных стран Европы, которые после долгих лет, проведенных в эмиграции, возвращались на родину; среди них я увидел и Жюля Ромена...)

Ужин Пен-клуба я вспоминаю с благодарностью — там я познакомился с Джойсом и с итальянским писателем Итало Свево. Они были давними друзьями: Джойс много лет прожил в Триесте, а Итало Свево (его настоящее имя

Этторе Шмитц) был триестинцем. За столом они сидели рядом, оживленно беседовали.

Джойс был уже знаменит, его «Улисс» казался многим новой формой романа; его сравнивали с Пикассо. Меня удивила его простота — французские писатели, достигшие славы, держались иначе. Джойс шутил, чуть ли не сразу рассказал мне, как, приехав юношей впервые в Париж, он пошел в ресторан; когда подали счет, у него не оказалось чем заплатить, он сказал официанту: «Я вам оставлю расписку, в Дублине меня знают». А тот ответил· «Да я тебя знаю, и вовсе ты не из Дублина, ты уже четвертый раз жрешь здесь за счет прусской принцессы...» Он по-детски смеялся.

Это был человек не менее своеобразный, чем его книги. Он плохо видел — страдал болезнью глаз, но говорил, что хорошо запоминает голоса. Любил выпить, страдал тем недугом, который издавна знаком русским писателям. Работал исступленно и, кажется, ничем в жизни не увлекался, кроме своей работы. Мне рассказали, что, когда началась вторая мировая война, он в ужасе воскликнул: «А как же я теперь допишу мою книгу?..» Жена относилась к его занятиям с иронией, не прочитала ни одной из его книг. Он покинул Ирландию в ранней молодости, не хотел возвращаться на родину, жил в Триесте, в Цюрихе, в Париже и умер в Цюрихе, но о чем бы ни писал, всегда ощущал себя в Дублине. Мне он представлялся честным, фанатичным в своей работе, гениальным и вместе с тем ограниченным «перемудрами» ирландским Андреем Белым, но без ощущения истории, без мессии и миссии, необычайным насмешником, которого принимали за пророка, Свифтом по отпущенному ему дару, только Свифтом в пустыне, где нет даже лилипутов.

Итало Свево, в отличие от Джойса, был мало кому известен; редкие французы оценили его роман «Цено». Он был на двадцать лет старше Джойса, и я с ним познакомился за год до его смерти. Свево часто называли дилетантом: он был промышленником, за всю свою жизнь написал всего несколько книг. Но роль его в разрушении старых форм романа бесспорна; его имя нужно поставить рядом с Джеймсом, Марселем Прустом, Джойсом, Андреем Белым. Он много говорил мне о влиянии, которое оказал на него русский роман XIX века. Джойс исходил в романах от своего душевного опыта и от музыкальной стихии, людей не знал, да и не хотел знать. Свево мне рассказывал, что Стефан Дедал, герой романа «Улисс», должен

был называться Телемахом; Джойс любил имена-символы, а Телемах по-гречески означает «далекий от борьбы». Итало Свево, наоборот, искал вдохновения в жизни, пополнял наблюдения своими собственными переживаниями, но никогда их не суживал до своего «я».

Иногда я встречал Шарля Вильдрака, доброго и неизменно огорченного то событиями, то отсутствием событий. Жан Ришар Блок спрашивал себя и других, как ему примирить Ницше с Толстым, а русскую революцию с Ганди.

Я познакомился с молодыми писателями — Арагоном, Десносом, Мальро, Шамсоном, Кассу; о некоторых из них я расскажу впоследствии. А тогда я их недостаточно знал и, главное, плохо понимал.

Сюрреалисты еще не могли расстаться с толкованием снов, с пророчествами, с культом подсознательного. Они устраивали шумные вечера, выступали с ультрареволюционными манифестами, срывали чествования — все это напоминало наших ранних футуристов.

Потом я подружился с некоторыми французскими писателями; а в те годы мне трудно было с ними разговаривать — не было общего языка. Многие из них мечтали о буре, но буря для них была отвлеченным понятием: для одних — апокалипсическим светопреставлением, для других — театральной постановкой. А меня мутило на твердой земле, так иногда бывает после сильной качки.

Андре Жиду было тогда под шестьдесят. Андре Мальро около тридцати, но оба казались мне то подростками, еще не хлебнувшими горя, то стариками, отравленными не спиртом или никотином, а книжной мудростью.

В маленькой уютной квартире Андре Шамсона мы беседовали о новых романах, о чувстве города или о влиянии кино на литературу. Все писатели, с которыми я встречался, восхищались русской революцией, восхищались, как далеким, необычайным явлением природы.

Мне вспомнился забавный эпизод. Богатый литератор, один из владельцев «Лионского кредита», Андре Жермен, любил устраивать у себя приемы. Был он педерастом, и это, кажется, единственное, чему он в жизни не изменил. В конце двадцатых годов он слыл «большевизаном». Задыхаясь, он прибежал к Любе, сюсюкал: «Я вас умоляю, приведите ко мне ваших пролетарских поэтов, я устрою чай!.. Ах, они так прекрасны!..» В Париже тогда гостили Уткин, Жаров и Безыменский. (Пять лет спустя Андре Жермен писал: «Самая характерная черта нацистов — это идеализм. Геббельс

прекрасен странной красотой, у него лицо аскета и одержимого, он вдохновлен своими идеями».)

Андре Жермен, конечно, карикатура. Что касается настоящих писателей, то, восторгаясь «Конармией», они удивленно разглядывали Бабеля: этот «красный казак» превосходно говорит по-французски, умен, но в искусстве ретроград — любит, например, Мопассана! Приехал С. М. Эйзенштейн. Я был в Сорбонне на его вечере; должны были показать «Броненосец «Потемкин», но префект показ картины запретил, и Эйзенштейн на безупречном французском языке в течение двух или трех часов беседовал обо всем, зло шутил, потряс зал своей эрудицией.

В Париже выходила ежедневная газета «Комеди»; в ней было мало политических новостей; полосы отводились театру, книгам, выставкам. Однако политика сказывалась в рассуждениях о пьесах или о романах. Однажды я прочитал в этой газете раздраженную статью о моей книге «Заговор равных», вышедшей во французском переводе. Критик заканчивал статью словами: «Было бы лучше, если бы госпожа Илья Эренбург вместо того, чтобы заниматься французской революцией, дала нам рецепт для приготовления русского борща». Имя «Илья» сбило критика с толку, он принял его за женское. Конечно, не поэтому его рассердила моя книга: не зная, кто я, он хорошо знал, кем был Бабёф. Я решил послать в газету шутливое опровержение: указал, что я не дама, а кавалер, но все же могу дать критику-гурману рецепт, который его интересует. Правда, я не знал, как готовить борщ, но меня выручила Эльза Юрьевна Триоле. Критик не растерялся, моего письма он не опубликовал, а в примечании к очередной статье сообщил читателям, что Илья Эренбург оказался мужчиной — «большевики перепутали все, вплоть до мужского и женского пола». А в гастрономической рубрике редакция опубликовала рецепт для приготовления борща с примечанием: «Любезно предоставлен нам господином Ильей Эренбургом». Я, кажется, слишком часто рассказываю, как критики меня сердили; вот я и припомнил, как порой они меня развлекали.

По вечерам мы шли на Монпарнас. «Ротонду» оккупировали американские туристы; мы сидели в «Доме» или в «Куполе». Приходили туда некоторые старые художники — Дерен, Вламинк; они были когда-то «дикими», сокрушали классическое искусство, но к концу двадцатых годов успели поуспокоиться; нам они казались большими старыми деревьями, переставшими плодоносить.

Я подружился с американским скульптором Кальдером, огромным веселым парнем; он был большим затейником, работал над жестью, над проволокой. Он сделал из проволоки портрет моего любимца, шотландского терьера Бузу. Иногда я видел Шагала; он писал теперь не витебских евреев, летающих над крышами, а голых красавиц верхом на петухах, с Эйфелевой башней или без. Норвежец Пер Крог молча курил трубку. Паскин, окруженный яркими крикливыми женщинами, пил виски и что-то рисовал на клочках бумаги.

Подсаживались к нашему столику молодые художники. Я слышал разговоры о фактуре, о том, что небо на пейзаже чересчур тяжелое, что левый угол не дописан...

Приходил в кафе «Дом» петербургский искусствовед и режиссер К. Миклашевский. Он написал книгу «Гипертрофия искусства». Я частенько вспоминал эти слова: искусство меня окружало со всех сторон, и хотя оно было, да и остается самой большой страстью моей жизни, я порой холодел — мне казалось, что я в паноптикуме и вокруг фигуры из воска.

Не знаю, в моей ли это натуре или присуще всем, но в Париже и в Москве я ко многому по-разному относился. В Москве я думал о праве человека на сложную душевную жизнь, о том, что искусство нельзя подогнать под одну колодку; а в Париже конца двадцатых годов я задыхался — уж слишком много было словесных усложнений, нарочитых трагедий, программной обособленности.

Поль Валери прав — полюсы не похожи ни на Парнас, ни на Геликон, ни на обыкновенный холмик умеренной зоны. Но мне мерещились другие полюсы, нежели Полю Валери: свобода без справедливости или справедливость без свободы, журнал парижских эстетов «Коммерс» или «На литературном посту». (Несколько лет спустя Жан Ришар Блок, выступая на Антифашистском конгрессе писателей, говорил о подлинной и иллюзорной свободе художника: подлинная свобода — в уважении обществом его своеобразия, его индивидуальности, его творчества; иллюзорная — в тщетном стремлении жить вне общества.)

В прошлом столетии люди знали полярное сияние; русские поэты издавали «Полярную звезду». Полюсы были обследованы в XX веке. Березы, дубы, оливы, пальмы растут между Арктикой и Антарктикой, это знает каждый, и каждому должно быть понятно, что можно долететь до полюса, можно через него перелететь, но жить на нем очень трудно.

19

Я познакомился с поэтом Робером Десносом в 1927 году, а встречались часто мы позднее, в 1929—1930 годах. Никогда он не был моим другом, но он меня привлекал страстностью и в то же время мягкостью, человечностью — ничего в нем не было от профессионального литератора. Потом, он не походил на французов, с которыми я встречался, старавшихся все усложнить, или, как говорят во Франции, «расщепить волос на четыре части». Еще царил культ герметической поэзии, когда Деснос заявил о необходимости понять и быть понятым.

Деснос был одним из самых неистовых приверженцев раннего сюрреализма. Он сразу отозвался на догму «автоматизма» творчества, преклонения перед сновидениями. В шумном кафе он вдруг закрывал глаза и начинал вещать — кто-нибудь из товарищей записывал. Ему было тогда двадцать два года, и я знаю об этом из рассказов других.

А в 1929 году сюрреализм начал раскалываться, и, как ни старался Андре Бретон, которого шутя называли «папой сюрреализма», сохранить единство группы, поэты разбрелись в разные стороны. Вопреки своему названию, сюрреализм был не взлетом, а хорошей стартовой площадкой и, несмотря на шумливую наивность первых деклараций, дал таких поэтов, как Элюар и Арагон.

В 1930 году Деснос заявил: «Сюрреализм, такой, каким его подносит Бретон, — одна из главных опасностей для свободного мышления, коварная западня для атеизма, лучший подручный для возрождения католицизма и церковного духа».

Что меня подкупало и в его стихах, и в нем самом? Отвечу словами Элюара: «Из всех поэтов, которых я знал, Деснос был самым непосредственным, самым свободным, он был поэтом, неразлучным с вдохновением, он мог говорить, как редко кто из поэтов может писать. Это был самый смелый изо всех...»

Я говорил, что мы иногда встречались; несколько раз он приходил ко мне на бульвар Сен-Марсель (консьержка, считавшая и меня и всех приходивших ко мне людьми подозрительными, крикнула Десносу, чтобы он вытер ноги; он ей спокойно ответил: «Мадам, вы ж...»). Как-то был я в его мастерской на улице Бломе, возле негритянской танцульки. Помещение было завалено неописуемой рухлядью, которую он зачем-то приобретал на «блошином рынке» — так называется парижская толкучка. У меня

осталась в памяти ужасающая сирена из воска. Десносу она очень нравилась. (Много лет спустя я прочитал его стихи: Юки — женщину, которую он любил, он называл «сиреной», а себя — «морским коньком».)

Деснос пытался зарабатывать на жизнь журналистикой — был репортером в «Пари-матиналь» у Мерля, потом в других газетах. Он узнал, что такое власть денег, писал: «Разве газета печатается краской? Может быть, но пишут ее главным образом нефтью, маргарином, углем, хлопком, каучуком, если не кровью...»

Деснос много писал о любви и одну из лучших своих книг назвал «Ночь ночей без любви». Он нашел свою сирену. Я знал Юки; красивая, очень живая, она часто приходила на Монпарнас со своим мужем, старым завсегдатаем «Ротонды», японским художником Фужитой. Фужита уехал в Японию, и Юки стала женой Десноса. Он был в своей любви трогательным, с той легкой иронией, которая неотъемлема от романтизма. Когда в 1944 году гестаповцы его арестовали и отправили в пересыльный лагерь, он оттуда писал Юки: «Моя Любовь! Наша боль была бы нестерпимой, если бы мы не принимали ее как болезнь, которая должна пройти. Наша встреча после разлуки украсит нашу жизнь, по крайней мере, на тридцать лет... Я не знаю, получишь ли ты это письмо ко дню твоего рождения. Я хотел бы тебе подарить 100 000 сигарет, двенадцать чудесных платьев, квартиру на улице Сен, машину, домик в Компьенском лесу, дом на острове Беллиль и маленький букетик ландышей за четыре су...» Если подумать, где он это писал и что у него было на сердце, станут понятными мои слова о романтической иронии — это не литературный прием, а душевное целомудрие. Его последние стихи, написанные в «лагере смерти», обращены к Юки:

Я так мечтал о тебе,
Я столько шел, столько говорил,
Я так любил твою тень,
Что у меня ничего не осталось от тебя.
Я теперь тень,
Тень среди теней,
Во сто крат больше
Тень всех теней,
Только тень,
Тень будет ходить,
Тень будет приходить
В твой солнечный день...

В 1931 году Деснос, которому опротивели газеты, поступил на службу в контору, занимавшуюся подысканием

квартир. В его биографии мало живописных эпизодов — стыдливость цензуровала жизнь.

Еще в то время, когда он работал в газете, его послали на Кубу — там был какой-то конгресс. Деснос влюбился в народную музыку, рассказывал, напевал, барабанил по столу. Он захотел подражать анонимным поэтам Кубы, начал сочинять куплеты-песенки.

В 1942 году Деснос написал «Куплеты об улице Сен-Мартен» (он там родился). В то время парижане узнали, что такое звонок или стук в дверь перед рассветом...

Улица Сен-Мартен у меня была,
Улица Сен-Мартен мне теперь не мила,
Улица Сен-Мартен даже днем темна,
Не хочу от нее и глотка вина.
У меня был друг Платар Андре.
Платара Андре увели на заре.
Крышу и хлеб мы делали года.
Увели на заре, кто знает куда.
Улица Сен-Мартен, много крыш и стен.
Но Платар Андре не на Сен-Мартен...

В последний раз я встретил Десноса не то весной, не то летом 1939 года; был очень жаркий день, мы сидели на пустой террасе кафе и говорили, разумеется, о том, о чем тогда говорили все: будет война или не будет?.. Деснос был печален. А когда мы расставались, выругался: «Дерьмо! Чистое дерьмо!» Не знаю, к кому это относилось: к Гитлеру, к Даладье, к судьбе?

Когда после войны я приехал в Париж, мне рассказали, что Деснос умер в концлагере. Потом я узнал подробности. Он участвовал в Сопротивлении, не только писал политические стихи, но и собирал сведения о передвижении немецких войск. 22 февраля 1944 года его предупредили по телефону: «Не ночуйте дома...» Деснос побоялся, что если он скроется, то возьмут Юки. Он спокойно открыл дверь.

Когда его привезли на улицу Соссэ, где помещалась Сюртэ, молодой фашист гаркнул: «Снимите очки!» Деснос понял, что это означает, сказал: «Мы с вами разного возраста. Я предпочел бы без пощечин — бейте кулаком...»

Крупный гестаповец, ужиная с некоторыми французскими писателями, журналистами, рассказывал о последних арестах: «В Компьенском лагере теперь, представьте себе, поэт! Сейчас я вам скажу... Робер Деснос. Но я не думаю, чтобы его выслали...» Тогда журналист Лебро, хорошо всем нам известный (он потом удрал в Испанию), воскликнул:

«Его мало выслать! Его нужно расстрелять! Это опасный субъект, террорист, коммунист!..»

Из Компьена Десноса отправили в Освенцим. Некоторые из заключенных чудом выжили; они рассказывают, что Деснос старался приободрить других. В Освенциме, увидев, что товарищи впали в отчаяние, он сказал, что умеет гадать по руке, и всем предсказал долгую жизнь, счастье. Он что-то бормотал — писал стихи.

Советские войска быстро продвигались на запад. Гитлеровцы погнали заключенных в Бухенвальд, потом в Чехословакию, в лагерь Терезин. Отощавшие люди едва шли; эсэсовцы убивали отстававших.

Третьего мая Советская Армия освободила заключенных в лагере Терезин. Деснос лежал больной сыпняком. Он долго боролся со смертью: любил жизнь, хотел жить. Молодой чех Иозеф Штуна, работавший в госпитале, увидел в списках имя Робера Десноса. Штуна знал французскую поэзию, подумал: может быть, тот?.. Деснос подтвердил: «Да. Поэт». Последние три дня жизни Деснос мог беседовать со Штуной и с санитаркой, которая знала французский язык, вспоминал Париж, молодость, Сопротивление. Он умер восьмого июня.

Теперь я хочу рассказать об одной беседе с Десносом, которая мне запомнилась. Эта беседа для меня приобрела новый смысл после того, как я прочитал стихи, написанные Десносом в концлагере, узнал о последних месяцах его жизни.

Мы случайно встретились на бульваре Пор-Рояль. Я жил тогда на улице Котантен возле вокзала Монпарнас; но почему-то мы пошли в сторону Сен-Марселя и оказались в кофейне при мечети. Там было темно и пусто. Это было в 1931 году, когда Деснос был счастлив: он нашел Юки, много писал, да и внешне как-то успокоился.

Не знаю почему, мы заговорили о смерти. Обычно люди избегают таких разговоров, каждый предпочитает об этом думать в одиночку.

Я признался, что о многом пережитом в зрелом возрасте умолчу — о том, что в общежитии называют «сердечными делами»; мне трудно рассказывать также о некоторых размышлениях, которые по своему характеру связаны с молчанием. Но, начиная эту главу, я подумал: неужели я буду писать только о «гримасах нэпа» или о борьбе за каучук? Конечно, все это меня волновало, но жизнь шире, да и сложнее. О смерти я думал и ребенком, когда она меня пугала, и юношей — с двойным чувством ужаса и притя-

жения, но неизменно с романтическими прикрасами. Потом я вдруг понял: нужно мужественно подумать, связать смерть с жизнью.

И все же я никогда не начал бы того разговора, начал его Деснос, и начал неожиданно — не с мыслей о своем конце, а с длинных рассуждений о космосе, о материи. Он как будто обрел новую веру: «Материя в нас становится мыслящей. Потом она возвращается к своему состоянию. Гибнут планеты, наверно, гибнет и жизнь на других небесных телах. Но разве от этого мысль становится ниже? Разве временность лишает жизнь смысла? Никогда!..»

Недавно я получил исследование о поэзии Десноса, изданное Бельгийской академией. Автор, Роза Бюшоль, приводит неопубликованный сонет Десноса, написанный им в концлагере:

Взгляни — у бездны на краю трава,
Послушай песнь — она тебе знакома,
Ее ты пела на пороге дома,
Взгляни на розу. Ты еще жива.
Прохожий, ты пройдешь. Умрут слова,
Глава уйдет разрозненного тома.
Ни голоса, ни жатв, ни водоема.
Не жди возврата. Ты блеснешь едва,
Падучая звезда, ты не вернешься,
Подобно всем, исчезнешь, распадешься,
Забудешь, что звала собой себя.
Материя в тебе себя познала.
И все ушло, и эхо замолчало,
Что повторяло «я люблю тебя».

Этот сонет написан в той обстановке, когда ложь или поза бесполезны. Деснос видел газовые камеры, куда уводили каждый день партию заключенных. Размышляя в стихах о близкой смерти, он повторил то, что сказал мне в дни своего счастья. До чего он любил жизнь, друзей, Юки, стихи, Париж, красные флаги на площади Бастилии, серые дома!..

Эхо замолкло. Но ничто не проходит бесследно: ни стихи, ни мужество, ни тень среди теней, ни беглый свет вспыхивающей звезды. Я мало пригоден для философии, редко думаю об общем; это, наверно, один из самых больших моих недостатков. Но иногда я пытаюсь осознать с какой-то яростью упущенного времени то, что люди называют смыслом или значением жизни: сюда входят, конечно, и ропот «мыслящего тростника», и эхо, которое Деснос слышал до последней минуты, — слова любви, жар сердца.

20

В семнадцать лет я старательно штудировал первый том «Капитала». Позднее, когда я писал «Стихи о канунах», а ночью работал на товарной станции Вожирар, я возненавидел капитализм; это была ненависть поэта и люмпен-пролетария. В советских газетах я читал о «монополистах», «империалистах», «акулах капитализма» — таковы были клички знакомого мне и вместе с тем таинственного дьявола. Я захотел поближе разглядеть сложную машину, которая продолжала изготовлять изобилие и кризисы, оружие и сны, золото и одурь, понять, что за люди «короли» нефти, каучука или обуви, какие страсти их воодушевляют, проследить их загадочные ходы, от которых зависят судьбы миллионов людей.

Я начал работу в 1928 году, а кончил в 1932-м; четыре года я положил на то, что назвал «Хроникой наших дней». Я написал: «10 л. с.», «Единый фронт», «Король обуви», «Фабрика снов», «Хлеб наш насущный», «Бароны пяти магистралей».

Мне пришлось изучать статистику производства, отчеты акционерных обществ, финансовые обзоры; беседовать с экономистами, с дельцами, с различными проходимцами, знавшими подноготную мира денег. Ничего отрадного в этом не было, и я понимал, что начатая работа не принесет мне ни славы, ни любви читателей.

В моей личной жизни происходили события, о которых я не стану рассказывать; скажу только, что часто мне хотелось писать не о бирже, а о больших человеческих чувствах, но я сердито себя обрывал. Разведчика посылают на вражескую территорию, это труд неблагодарный, порой опасный, но он связан с профессией человека. Никто меня никуда не посылал, никто не заказывал мне книг о борьбе трестов; я сам себя осудил на это занятие.

Газеты писали о том, что знаменитая кинозвезда Пола Негри разводится с мужем — грузинским князем, о том, что принц Уэльский упал с лошади, что писатель Морис Бедель рассказал, как спортивно, без переживаний норвежские фрекен проводят ночи с галантным французом, что Примо де Ривера холодно разговаривал с испанским королем, что в состязании на длительность танца победила чета Смитс, протанцевавшая чарльстон без перерыва двадцать часов подряд.

Куда более серьезные события развертывались за кулисами. Шла, например, война между Англией и Америкой,

война без танков, без бомбежек, но со множеством жертв. Каучук, главным производителем которого была английская колония Малайя, упал катастрофически в цене. Тогда министр финансов Великобритании Уинстон Черчилль начал битву; специалисты ее называли «планом Стефенсона»: площадь, засаженная гевеями, сужалась или расширялась в зависимости от мировых цен на каучук. Напрасно Стюарт Готшкинс, вице-председатель «Американской каучуковой компании», пытался договориться с Черчиллем. Напрасно президент Соединенных Штатов Гувер восклицал: «Вмешательство государства прежде всего безнравственно!» Плантации сжимались, и каучук рос в цене. Сотни тысяч малайцев, лишившись нищенского заработка, умирали с голоду. Американцы нажимали на Гаагу — второй страной по производству каучука была Индонезия, принадлежавшая голландцам.

В Соединенных Штатах гевеи не могут расти, но эти деревья оказались в крохотной Никарагуа. На беду, маленькая республика попыталась отстоять свою независимость. Времена меняются. В 1961 году нападение на Кубу возмутило мир. Иначе было в 1929 году. Генерал Сандино напрасно взывал: «Вчера авиация обстреляла четыре деревни. Янки скинули свыше сотни бомб. Убиты семьдесят два человека, среди них восемнадцать женщин. Позор убийцам женщин! Янки хотят проглотить Никарагуа, как они проглотили Панаму, Кубу, Порто-Рико. Братья, вспомните о Боливаре, о Сан-Мартине! Отечество в опасности!..» Американцы лаконично сообщали: «Наш экспедиционный корпус вчера окружил одну из банд Сандино. Преступники уничтожены. Наши потери незначительны».

Шла и другая война — за нефть — «Роял-Детч» с американским трестом «Стандарт-ойл», сэра Генри Детердинга с мистером Тиглем. Враги заключили перемирие для совместных действий против Советского Союза.

Швед Ивар Крейгер, талантливый авантюрист, романтический шулер, король спичек, раздавив конкурентов, бросил вызов Москве; у него был темперамент Карла XII.

Форд воевал с «Дженерал моторс», «Дженерал электрик» с «Вестингаузом». Магнаты железных дорог опрокидывали правительства Франции. Король обуви Томас Батя глядел свысока на президента Чехословакии.

Я видел, как парижские маклеры организовывали биржевую панику; в Швеции я был на заводах Крейгера; в Лондоне взглянул на сэра Генри.

Детердинг был голландцем. Он уехал на Яву искать счастье и прозябал в банке как мелкий клерк. Но счастье нашлось — его взяли на службу в контору «Роял-Детча». Пять лет спустя Детердинг стал директором, десять лет спустя — королем нефти. Он проник в Мексику, в Венесуэлу, в Канаду, в Румынию. Англичане ему пожаловали титул баронета, и он превратился в сэра Генри. Дельфтский университет присвоил ему звание доктора «гонорис кауза». Каждый год он приезжал на свою родину в день рождения королевы, и королева восхищенно улыбалась. Он содействовал переворотам в Мексике, в Венесуэле, в Албании.

Наверно, он считал себя нефтяным Наполеоном: он не раз говорил, что его миссия — поставить на колени строптивую Россию. Он скупил за гроши акции бывших владельцев нефтяных промыслов в Баку и называл советскую нефть «краденой». Он организовал налет на «Аркос» и разрыв дипломатических отношений между Англией и Советским Союзом. Ему удалось добиться удаления из Парижа советского посла Раковского. Он давал деньги сторонникам Гитлера, одобрял книги Розенберга, устроил набег на «Дероп», торговавший советской нефтью, наладил в Берлине мастерскую, где печатали фальшивые червонцы; он не брезгал ничем. Он встречался с Красиным и предлагал ему мир. Он встречался с Гитлером и предлагал ему войну. Он рекомендовал Чемберлену договориться с Риббентропом.

Это был крепкий, энергичный человек, чуть ли не до смерти он катался на коньках, курил в трубке дешевый матросский табак. Женился он на русской эмигрантке. В Париже была гимназия имени леди Лидии Детердинг, где обучались дети бывших бакинских королей нефти. Нервы у него были солидные; когда разразился мировой кризис, он не пал духом. Однажды журналист спросил его, что самое важное в жизни. Сэр Генри коротко ответил: «Нефть».

Ивар Крейгер построил империю из спичечных коробок. Он давал советы Пуанкаре, как стабилизировать франк, помогал полякам проводить «санацию». На Уоллстрите он считался самым одаренным из бизнесменов, притом джентльменом, образцом честности, спокойствия, благородства. В Чили он закрыл спичечные фабрики и выбросил рабочих на улицу, в Германии убедил социалдемократов запретить ввоз спичек, чтобы оградить рабочих от безработицы: в годы инфляции он скупил немец-

кие фабрики. Греческий диктатор Пангалос ему скорее нравился, но Пангалос не захотел предоставить ему спичечную монополию, и Крейгер содействовал очередному перевороту. Он помог свергнуть правительство Боливии. Он ненавидел русских: они осмеливаются не только изготовлять у себя спички, но и вывозить их за границу. Он был вполне светским человеком, мог беседовать о Фрейде или об Уайльде.

В 1930 году вышла моя книга о короле спичек; в отличие от других моих книг того времени (документальных), «Единый фронт» — роман с ключом. Ивар Крейгер в романе назывался Свеном Ольсоном. Не знаю почему, но я решил похоронить короля спичек, он умирал, поговорив о французском премьере Тардье. Роман перевели на различные языки. Шел 1931 год; мировой кризис рос. Крейгер нервничал; он пытался объяснить публике падение акций «большевистскими интригами»; в некоторых газетах появились статейки о том, что я хочу погубить короля спичек. Это было настолько глупо, что я не мог даже возгордиться.

Правительства во Франции быстро менялись, но Тардье еще был премьером, когда в 1932 году Ивар Крейгер застрелился. Его секретарь барон фон Драхенфельс писал в своих воспоминаниях, что накануне самоубийства на ночном столике короля спичек он видел мою книгу.

Крейгера похоронили с почестями; газеты называли его «невинной жертвой мирового кризиса». Шведский парламент объявил мораторий. Вдруг выяснилось, что Крейгер подделывал итальянские облигации; благородный джентльмен оказался шулером.

Я писал также о главе американской фирмы «Кодак» Джордже Истмэне. Его карьера началась с лозунга: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное» — он рекламировал фотоаппараты для любителей. В 1896 году он вытянул счастливый билет, он писал Эдисону: «Нас запрашивают касательно так называемых живых фотографий». Он начал изготовлять кинопленку. Он неслыханно разбогател, но его ждали испытания: на его пути встала «Агфа» — разветвление концерна «ИГ». Немцы повели наступление, заручились поддержкой Форда и «Нэшионел сити бэнк», начали строить фабрики в Соединенных Штатах. Истмэн не растерялся, принял бой. Его капиталы росли. Он обожал музыку и жертвовал миллионы на различные музыкальные институты. Рабочих он держал в черном теле.

Ему было пятнадцать лет, когда он открыл текущий счет в банке, ему было семьдесят семь, когда он решил его закрыть. К нему приехали гости, говорили о музыке и, разумеется, о кризисе. Джордж Истмэн вышел в соседнюю комнату и застрелился. Может быть, он вспомнил афоризм своей молодости: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное»?

Многие из подлинных героев моих книг кончили жизнь самоубийством, как будто они были не седыми, опытными дельцами, а молодыми влюбленными или поэтами. Капитализм пережил мировой кризис, а некоторые капиталисты оказались куда более хрупкими: что же, они были людьми. Начал Крейгер — в марте 1932-го. Месяц спустя покончил с собой король бритв в Шеффилде. Он хвастал, что бреет весь мир, а сам носил бороду и застрелился из старого охотничьего ружья. В мае того же года покончил с собой один из королей стали, Дональд Пирсон. Во время войны он подарил американскому правительству крейсер; он изучал способы борьбы с подводными лодками. Он оставил записку, где говорил, что устал жить.

В том же мае в Чикаго выбросился на мостовую король мясных консервов Свифт. Акции мясного треста за неделю упали с семнадцати долларов до девяти. Сын самоубийцы, стремясь спасти деловую репутацию треста, клялся, что отец случайно выпал из окна.

Личный самолет Бати стоял наготове. Погода была нелетной, и летчик пытался уговорить короля обуви повременить. Батя нервничал. Самолет поднялся над Злином и упал.

О Томасе Бате я должен рассказать: он отнял у меня немало времени.

Король обуви был сыном мелкого сапожника, ездил по деревням — торговал ботинками, потом уехал в Америку и там многому научился. Разразилась война. Батя стал обувать австро-венгерскую армию. Город Злин напоминал тюрьму: на фабрике Бати работали запасные и военнопленные. Настал мир, и Батя сказал: «Мы должны осушить слезы матерей, которые хотят видеть своих детей обутыми». Он любил афоризмы и, став королем обуви, украсил стены цехов надписями: «Будем веселыми», «Надо работать, надо иметь цель», «Жизнь не роман». На конвертиках, в которых рабочим выдавали зарплату, значилось: «Научитесь делать деньги из вашего тела». Некоторые афоризмы Бати предназначались для потребителей; помню, рядом красовались два его изречения: «Моя обувь никогда не натирает мозолей» и «Не читайте русских романов — они вас лишают радости жизни».

Когда я попросил разрешения Бати осмотреть королевство, он ответил: «Я не показываю моих фабрик представителю враждебной державы. (Я все же увидел его вотчину.) У Бати была мания величия; он расписался на скелете мамонта; он объявил «пятилетний план Томаса Бати». Он отказался признавать профсоюзы и организовал свою собственную полицию. Рабочим он платил мало и заполнил мир дешевой обувью. Не было, кажется, города без вывески с четырьмя буквами: «Батя». Он был католиком и ненавидел коммунистов.

Прочитав мой очерк, посвященный порядкам в Злине, Батя рассердился и подал на меня в суд. Статья была напечатана в Германии, и судить меня должны были немецкие судьи. Батя наложил арест на причитавшиеся мне деньги — за переводы книг, за фильм.

Батя любил судиться, он возбудил два процесса — гражданский и уголовный. В гражданском суде он требовал с меня полмиллиона марок (никогда в жизни я не видел таких денег). От уголовного суда Батя добивался, чтобы меня присудили к тюремному заключению за диффамацию.

Батя нанял хороших адвокатов. Пришлось и мне обратиться к адвокату. У меня нашлись защитники: рабочие Злина. Они прислали мне документы, фотографии, подтверждавшие достоверность моего очерка. Рабочие издавали нелегальный журнал «Батовак», где описывали жестокие методы короля обуви, произвол созданной им полиции. Я представил суду и комплект журнала.

Адвокат Бати явился на судебное заседание с переводом «Хулио Хуренито», цитировал роман, чтобы доказать мой цинизм, заверял суд, что я не только занимался дрессировкой кроликов, но и служил кассиром в публичном доме мистера Куля. Адвокат ссылался также на статьи некоторых московских критиков: «Даже в коммунистической России люди возмущаются безнравственностью и беспринципностью человека, который осмелился оклеветать уважаемого Томаса Батю!..»

Суд потребовал от сторон дополнительных данных. Самолет Томаса Бати разбился. В Германии к власти пришел Гитлер. Нацисты сожгли мои книги и закрыли магазины Бати. Что касается моего весьма скромного гонорара, на который был наложен арест, то эти мизерные деньги достались не наследникам Томаса Бати, а третьему рейху.

Я начал писать о трестах и различных королях в последний год тучных коров. Внезапно разразился мировой кризис, и в дальнейших книгах мне пришлось описывать годы тощих коров.

Теперь я скажу о коровах — не иносказательных, но доподлинных фюненских красных коровах, хотя конец этой истории относится к 1933 году и мне снова придется забежать вперед.

Летом 1929 года американцев взволновало небольшое газетное сообщение: в Америке излишек пшеницы превышал двести сорок тысяч бушелей. Вскоре выяснилось, что в Канаде, в Австралии, в Аргентине, в Венгрии тоже чересчур много хлеба. Цены на пшеницу катастрофически падали. Фермеры разорялись и нищенствовали.

Слова о том, что в мире было чересчур много хлеба, не следует понимать буквально. Голодали целые материки. В мире было сорок миллионов зарегистрированных безработных. Импорт пшеницы в западноевропейские страны сократился в семь раз.

В Риме собралась конференция представителей сорока шести государств, которые обсуждали, что делать с излишками пшеницы. Это было весной 1931 года. Безумие овладело всеми. В Бразилии жгли кофе. В Соединенных Штатах жгли хлопок. На конференции было предложено денатурировать пшеницу с помощью эозина: красное зерно сможет пойти на корм скоту.

Началась пропаганда: «Кормите скот пшеницей — она дешевле и питательнее кукурузы». Продолжались банковские крахи. Голодные крестьяне бросали свои поля и уходили за тридевять земель в поисках хлеба.

Коровы ели пшеницу первого сорта — манитобу или барлету. Но через несколько месяцев газеты сообщили, что в мире слишком много масла и мяса, именно поэтому люди умирают от голода.

В 1933 году я был в Дании. Я видел прежде эту страну, тихую, зеленую, зажиточную. Датчане продавали англичанам и немцам масло, мясо, бекон. На острове Лоланн, в маленьком городке Найсков, я увидел необычайную машину, которая превращала коров в круглые лепешки, предназначавшиеся для корма свиней. Машина перемалывала кости, смешивала их с мясом в массу землистого цвета. (Англия еще покупала бекон, но уже было ясно, что в мире слишком много сала и что если мировое положение не улучшится, то вскоре придется уничтожать и свиней.)

Машину мне показывал местный ветеринар, беловолосый, честный и очень печальный. Всю свою жизнь он лечил коров и не мог спокойно смотреть, как их уничтожают.

В Копенгагене я видел голодных безработных. Я знал, что такое голод, и, встречаясь с ними, отводил в сторону глаза.

У древних греков было предание о Сизифе — коринфском царе и бандите. Когда он умер, боги придумали для него страшное наказание: он должен был подымать большой камень на гору, с горы камень скатывался вниз. Сизиф грабил, убивал. Но за какие грехи сотни миллионов людей были обречены на сизифов труд? Сначала расширяли посевную площадь; потом окрашивали пшеницу эозином и давали ее коровам; потом начали уничтожать коров и кормили ими свиней...

Четыре года не прошли для меня бесследно. Не знаю, удалось ли мне что-либо показать моим читателям, но лично я многое увидел. Я и прежде ненавидел мир денег, корысти, но одной ненависти мало. Я понял, что дело не в характере людей: среди предпринимателей, финансистов, королей промышленности или финансовых магнатов были люди добрые и злые, умные и ограниченные, симпатичные и отвратительные; дело было не в их дьявольской сущности, а в бессмысленности строя. В эпоху Бальзака капиталисты были жадными, скупыми, порой свирепыми, но они строили заводы, разводили породистых коров, подымали благосостояние. Их можно было обвинить в бессердечности, но не в безумии. Прошло сто лет, и внуки героев Бальзака выглядели буйными умалишенными.

Я рад, что я это понял и продумал на пороге тридцатых годов. Человечество приближалось к эпохе больших испытаний. Вспоминая свое прошлое, я думаю о Германии Гитлера, о годах, проведенных в Испании, о войне. Одним из самых горьких испытаний для меня был конец 1937 года, когда я приехал прямо из-под Теруэля в Москву. Об этом я расскажу в следующей части моей книги, а теперь мне хочется сказать, что если я не мог предвидеть многого, о чем в 1956 году говорили и на съезде партии, и в любой московской квартире, то тупость, варварство, изуверство вражеского мира я хорошо изучил до Гитлера, до Герники, до сожженных деревень и коров, застреленных на полях Белоруссии...

21

Когда я работал над книгами, посвященными борьбе между различными трестами, Эжен Мерль знакомил меня с представителями делового мира, снабжал конфиденциальными материалами. Он издал французский перевод моего романа «Единый фронт». «Давайте назовем вашу

книгу «Хорошего аппетита, господа!», — вдохновенно предлагал он; я упирался; в итоге роман вышел под заглавием, придуманным Мерлем: «Акционерное общество «Европа».

Не следует думать, что Мерль был профессиональным издателем. Он иногда издавал книги; выпускал то большую ежедневную газету, то сатирический журнал, то финансовые бюллетени; писал статейки, делал дела.

В ранней молодости он был анархистом, водился с Бонно, который был налетчиком с убеждениями. Я помню, как года за три до мировой войны Париж взволновался: огромные силы полиции оцепили дом, из которого Бонно отстреливался. Анархистская газета «Либертер» тогда писала: «Вор, жулик, шантажист неизменно восстают против установленного распорядка, они правильно понимают свою роль в обществе...» Многие друзья молодого Мерля погибли. Он случайно выжил, остепенился и стал неотъемлемой частью политического, финансового, литературного Парижа, хотя не был ни депутатом, ни банкиром, ни писателем.

Твердых политических убеждений у Мерля не было, но до конца жизни он сохранял привязанность к анархистам и ненависть к правым. Не было у него и тех принципов морали, которые внушают французским школьникам с ранних лет. С сильными мира сего Мерль был беззастенчив, но к людям, обойденным судьбой, будь то неудачливый поэт или курьерша редакции, относился с любовью. Он чем-то напоминал старых разбойников, которые грабили на большой дороге и делились добычей с окрестными бедняками. Меня он привлекал не только живучестью, весельем, необычайной фантазией, но и добрым сердцем.

Родом он был из Марселя, где его отец, по имени Ангел, торговал апельсинами. Кажется, фамилия отца была Мерло. По-французски «мерль» — дрозд, и французы вместо «белой вороны» говорят о «белом дрозде». Одно время Мерль издавал сатирический журнал «Белый дрозд». Он сам походил на птицу, притом воистину редкую: в эпоху между двумя войнами, когда люди старались покрепче устроиться на земле, когда даже жулики ссылались на философию, на религию, на высокие политические идеи, Мерль порхал, иногда подбирал зернышки, на месяц или на год богател, потом снова рыскал по Парижу в поисках человека, который угостил бы его обедом; он и брал и давал деньги с легкостью, как будто расточал улыбки или срывал цветы.

Еще до того как я с ним познакомился, Париж был потрясен короткой эпопеей «Пари-матиналь» — Мерль решил издавать легкомысленную газету нового типа. Он набрал лучших журналистов. В стеклянной клетке перед толпой зевак молодой человек, Жорж Сим, писал детективный роман; написанную страницу тотчас уносили в типографию. (Жорж Сим стал потом известным писателем Жоржем Сименоном.)

С Жоржем Сименоном меня познакомил Мерль. Сименон тогда был начинающим автором детективных романов, много лет спустя он достиг совершенства, которое позволило ему приподнять презираемый жанр до уровня высокой литературы. Я не читал его романов, но мне нравился большой веселый человек, прекрасный рассказчик, неизменный курильщик трубки. Он жил на яхте, и помню, как однажды я приехал к нему на Марну. Он смешил меня причудливыми историями, но наиболее забавным мне показался его пес ньюфаундлендер, огромный добряк, который пугал приезжавших к реке в жаркий день выкупаться: верный своему долгу и навыкам породы, пес несся к плававшим людям и вытаскивал их на берег. По вечерам Сименон порой заглядывал в бар «Куполь», где царил бармен Боб. Туда приходило много разных писателей — и Рене Кревель, и Вайян, и Деснос. Я там просиживал почти каждый вечер.

Недавно я разыскал часть книг, которые оставил в Париже, оккупированном немцами, у приятеля. Среди них был один из ранних романов Сименона «Череп» с дарственной надписью автора: «Дружески Илье Эренбургу, чья сознательность и принципиальность помогли мне создать образ-карикатуру Радека». Я прочитал этот роман. Имя Радека Сименон взял случайно — оно приползло с газетной полосы и никакого отношения к Карлу Радеку не имело. Карикатуру он нарисовал с меня, и, говоря нашим газетным жаргоном, шарж был дружеским. Радек сидел в баре «Куполь». Но чем он занимался? Он зверски убил двух богатых и очень старых дев, живших в предместье Парижа: мстил за нищее детство. Это принципиальный и сознательный убийца, только редкая прозорливость сыщика помогла раскрыть подлинную роль Радека. Конечно, Сименон не подозревал меня в убийствах и прибавил слово «карикатура», но я ему казался сверхсознательным, ультрапринципиальным и непримиримым. А было это в те годы, когда я бился, как щепка в море, когда советские критики называли меня «буржуазным циником», а друзья советовали наконец-то «стать на платформу».

Мы сидели в маленьком прокуренном баре и гадали на кофейной гуще, стараясь разгадать не только будущее, но своих соседей да и самих себя. Трудное это занятие, и нелегкими были те годы...

Мерль грозил политикам сенсационными разоблачениями, подписчикам он сулил ценные премии; и вдруг, когда настает время выдавать премии, газета исчезает...

При одной из первых встреч Мерль сказал мне: «Мой друг, вы чересчур скромны, во Франции мало одного таланта...» Он решил меня разрекламировать, устроил обед в отдельном кабинете роскошного ресторана и пригласил писательницу Жермену Бомон — она заведовала литературным отделом бульварной газеты «Матэн». Кроме нее, Мерль позвал Десноса, которому покровительствовал.

Деснос поел, а главное, выпил и начал обличать «Матэн», каждый раз поворачиваясь к Бомон: «Я, конечно, имею в виду не вас...» Как подобало раннему сюрреалисту, Деснос любил слова скорее нецензурные и, характеризуя «Матэн», перечислил все части человеческого тела. Жермен Бомон не выдержала и ушла. Мерль был огорчен — ему не удалось сосватать меня с мировой славой. Он объяснял мне: «Может быть, госпожа Бомон в душе и согласна с Десносом, но она не могла допустить, чтобы поносили ее хозяев, да еще в присутствии советского писателя...»

У Мерля была неподалеку от Парижа прекрасная усадьба. Устраивая приемы, он любил пускать пыль в глаза, но сам сохранял демократические привычки своей молодости. Утром он завтракал на кухне — ел помидоры, которые густо солил, — и поездом отправлялся в Париж. По большей части утром у него денег не было, но в поезде рождались грандиозные планы.

Он любил обедать в ресторанах с провансальской кухней, обожал айоли — майонез с чесноком, часто ходил к Нине: у нее был маленький, на вид очень скромный, но очень дорогой ресторан. Нина была и хозяйкой и кухаркой, пускала к себе только ограниченный круг знатоков. Кого только я не встречал за столом Мерля — анархистов и промышленников, Лаваля и Даладье, поэта Сен-Поль Ру, Тристана Бернара, «принца гастрономов» Курнонского, Блеза Сандрара, депутатов, биржевых маклеров, модных адвокатов, киноактеров!

Когда Лаваль отправился в Москву, Мерль мне сказал: «Это самый талантливый мошенник Франции. Я хочу, чтобы он договорился с русскими, потому что ему ничего не стоит договориться с Гитлером». Даладье тогда называли

«быком из Воклюзы» — в своих речах он был смел и напорист. Мерль сокрушенно говорил: «Французы перестали разбираться даже в тех вещах, которые считались их специальностью. Ну как можно назвать Даладье быком? Ведь это типичный вол! Можете спросить любую телку...»

В 1933 году раскрылась очередная панама: Стависский, которого в 1917 году судили за мелкую кражу и который пятнадцать лет спустя присутствовал как эксперт на дипломатических конференциях, украл шестьсот пятьдесят миллионов франков. Тардье уверял, что мошеннику покровительствовали радикалы. Мерль посмеивался: «Если они осмелятся меня тронуть, я покажу талоны чековой книжки Стависского — он делал подарки и друзьям Тардье...»

У Мерля было, разумеется, много врагов, которые хотели его погубить. Он назвал свиней, которых держал в усадьбе, именами своих врагов. Особенно его преследовал редактор фашистской газеты «Гренгуар» Карбучия, и огромный толстый боров был окрещен его именем. Однажды Мерль прислал мне окорок с письмом: «Примите в подарок ногу моего незабвенного Карбучии...»

Как-то я был у него 14 июля. Пришли крестьяне, чтобы его поздравить с национальным праздником. Он вытащил десять ящиков с шампанским и, подняв бокал, торжественно провозгласил: «Да здравствует Франция!» Крестьяне хором ответили: «Да здравствует господин Мерль!»

Он любил пафос: «Когда я умру, не нужно ни пышных похорон, ни речей, пусть только подымут траурный флаг над башней моего замка».

Когда в усадьбу приезжали гости, Мерль надевал фартук и готовил обед, причем фантазировал он и на кухне: народное блюдо — луковый суп — обильно приправлял сухим портвейном. Был он чрезвычайно суеверным. Французы говорят, что нужно схватиться за дерево, чтобы не сглазить. Мерль жаловался: «Прежде я был спокоен — во всех кафе были деревянные столики. Теперь столы мраморные, приходится носить в кармане огрызок карандаша». Он завел павлинов, это совпало с дурной для него полосой. Он приписывал все напасти птицам — они ночью подходили к дому и роняли перья, на которых был дурной глаз. Убить или отдать павлинов он не решался: «Нельзя перечить судьбе». Однажды крестьяне пришли удрученные: деревенские собаки загрызли павлинов. Мерль воскрес и сразу отправился в Париж с новыми гениальными планами.

Я неправильно сказал, что у Мерля не было моральных принципов, — вернее сказать, его принципы не совпадали с общепринятыми. Он, например, не признавал договоров, не платил своим авторам гонораров; но Деснос мне рассказывал — стоило ему намекнуть, что у него трудное положение, как Мерль давал больше, чем полагалось по договору. До конца жизни он помогал детям своих товарищей по анархистской группе.

Когда Батя подал на меня в суд, Мерль спросил Любу, какой у нее номер обуви. «Завтра вы получите двенадцать пар туфель от синдиката французских фабрикантов». Люба на него накричала, рассказала мне, я рассердился и строго-настрого запретил Мерлю разговаривать обо мне с французскими конкурентами Бати. Мерль посмотрел на меня с жалостью и с восхищением: «Бог ты мой, до чего вы наивны!.. Но я вас за это уважаю...»

Побывав в Москве, Панаит Истрати стал поносить Советский Союз. Мерль возмутился: «Когда я начинал работать в газете, там был славный малый, репортер Гюстав. У него была подруга, красивая, очень высокая и очень темпераментная. Она ему устраивала сцены ревности, он часто приходил в редакцию с синяками. Однажды он пришел с лицом совершенно окровавленным, жалко было на него смотреть. Мы решили поговорить с дамой: «Почему вы обижаете нашего Гюстава?» Она даже руками всплеснула: «Вы хотите знать почему? Хорошо, я вам расскажу. Это я заплатила за его вставную челюсть, и моими зубами он улыбается другим женщинам». Вы спросите, почему я вспомнил эту историю? Здесь нет никаких аллегорий. Истрати рассказал мне, что ему в Москве вставили чудесные зубы, и вот советскими зубами он улыбается Пуанкаре и Братиану...»

Мерль познакомил меня с госпожой Анно. Ее арестовали, потом выпустили, это было громкое дело. Мерль ее уважал и часто повторял: «Честнейшая женщина!..» Она мне рассказала много интересного о проделках финансовой знати. Что касается Мерля, то он неизменно говорил: «В девяноста девяти случаях из ста мошенник или вор куда порядочнее прокурора и судей».

В Испании началась гражданская война; я уехал в Мадрид. Осенью я вернулся в Париж за грузовиком с кинопередвижкой; встретив Мерля, я рассказал, что еду на Арагонский фронт и хотел купить печатную машину, но не хватило денег. Мерль меня обнял: «Я теперь только и думаю, что об Испании. Там ведь много анархистов...» На

следующий день он привез машину и шрифт. В то время у него было туго с деньгами, не знаю, где он достал машину, но работала она превосходно.

При последней встрече он выглядел усталым, поблекшим; у него всегда был хриплый голос, а тут он с трудом говорил, хотя любил поговорить. Он умер от рака горла.

Почему я о нем написал? Уж не так часто мы встречались, да и вся эта история не имеет морали, просто портрет одного непохожего на других человека. Мерль в душе был поэтом. Даже хорошие поэты пишут иногда неудачные стихи; Мерль иногда давал чеки без покрытия. Но он оживлял Париж тех лет. Да и нельзя писать только о героях или об исторических событиях — в жизни нужны и белые вороны...

22

В 1927—1928 годах французы зачитывались книгами Панаита Истрати. Его произведения переводили на различные языки; особенно ими увлекались в Советском Союзе — за два-три года вышло не менее двадцати изданий книг Истрати. Ромен Роллан, восхищаясь молодым автором, называл его «балканским Горьким».

Теперь мало кто помнит книги Истрати. В моей жизни он был случайной встречей. Я слушал с охотой его цветистые истории; он мне, скорее, нравился — добрый, бесшабашный и вместе с тем лукавый, не то скрипач из ночного кабака, не то анархист, перебирающий вместо четок игрушечные бомбы. А когда он исчез из виду, я о нем не вспоминал. Все же мне хочется задуматься над его судьбой: эпоху понимаешь не только по инженерам, прокладывающим автострады, но и по контрабандистам, петляющим в ночи.

Возле Больших Бульваров на улице Шатодэн помещался восточный ресторан, содержал его тучный и сладкий сириец. Туда приходили греки и турки, румыны и египтяне, ливанцы и персы. Там подавали различные кебабы, голубцы из виноградных листьев, медовые пирожки, истекавшие салом, душистый котнар, анисовую водку с водой — арабы этот напиток зовут «львиное молоко», греческое вино с запахом смолы. Меня туда привел Панаит Истрати; он восхищался яствами, которые соблазняли его в детстве; сладости, пряности, запах баранины его пьянили, он начинал рассказывать фантастические истории.

По своей природе Истрати был не писателем, а рассказчиком; рассказывал он очень хорошо, увлекался, сам не знал, было ли на самом деле то, что он выдает за сущую правду. Так часто бывает с одаренными рассказчиками; их слушают затаив дыхание, нет даже времени задуматься над смешными или печальными историями; только потом слушатели, в зависимости от того, как они относятся к рассказчику, говорят: «Ну и врет» или «Какое богатое воображение!»

Почему Истрати стал писателем? У него было множество различных профессий: он подавал в румынском трактире вино и грузил ящики на пароходы, красил дома и пек хлеб, писал вывески и работал слесарем, копал землю и был бродячим фотографом — в Ницце на набережной снимал туристов; много лет он странствовал, побывал в Египте, в Турции, в Греции, в Ливане, в Сирии, в Италии, во Франции; говорил на многих языках, и ни на одном из них не умел говорить правильно. Своей родиной он считал Румынию; его мать была румынской крестьянкой, отец — греком и контрабандистом. Вся его жизнь была настолько нелепой, что, кажется, ни один писатель не решился бы ее описать. Да и сам Истрати не мечтал о карьере писателя. Он любил читать, причем читал все вперемежку — Эминеску и Гюго, Горького и Ромена Роллана.

Наконец все ему опротивело — голод, фантазия, книги, пальмы Ниццы, полицейские. Он попытался перерезать себе горло бритвой. Его отвезли в госпиталь; он выжил. Из госпиталя он написал Ромену Роллану: хотел рассказать пожилому умному человеку про свое отчаяние; будучи одаренным рассказчиком и в душе ребенком, он отвлекся, начал припоминать забавные истории. Прочитав длинное письмо, Ромен Роллан восхитился талантом молодого румына, и Панаит Истрати узнал новую профессию: стал писателем.

Быстро пришли слава, деньги. Я с ним познакомился, когда он был в зените успеха. Он как бы хотел наверстать упущенное — и перечитывая восторженные рецензии, и выбирая в буфете сирийского ресторана диковинные закуски; были в нем наивность, детская хитрость, обаяние цыгана из пушкинской поэмы, восточного выдумщика, левантинского хвастуна и обыкновенного мечтателя, среди голода и побоев сохранившего тоску по любви, по звездам, по правде. Как-то он сказал мне: «Я ведь не писатель... Просто жизнь была пестрой, а скоро я выдохнусь...» Сказал он это без горечи, как бродяга, случайно оказав-

шийся в хорошей гостинице, который знает, что его ждут сума и пыльная дорога.

Первые книги Истрати, принесшие ему известность, романтичны, сказочны. Французы изумились, увидав Шехерезаду в пиджаке и брюках. Истрати рассказывал о своем детстве, о скитаниях, о турецких гаремах, о румынских гайдуках. Больше всего его увлекали гайдуки: они защищали обиженных, не было у них партийной дисциплины, и вдоволь шумный, но слабовольный Истрати, который всю свою жизнь был анархистом, видел в них своих учителей, старших братьев. Он как-то рассказал мне, что одно время увлекался политикой, организовывал забастовки; вероятно, это было правдой; но еще раз напомню — чем только в жизни он не занимался!

Живи он в XIX веке, все кончилось бы хорошо; он написал бы еще десять или двенадцать книг; стал бы французским академиком или вернулся бы на родину, где над его романами проливала бы слезы сентиментальная писательница Кармен Сильва, она же королева Румынии... Но на дворе стоял иной век.

В 1925 году Истрати поехал в Румынию, он увидел, как жандармы избивали крестьян, как расстреливали участников бессарабского восстания. Он вернулся во Францию возмущенный, выступил в «Лиге прав человека», написал несколько гневных статей. Он спрашивал себя: что делать? Гайдуков давно не было. Были коммунисты, и Панаит Истрати начал мечтать о Советском Союзе.

Рассуждать он не любил, да и не умел; он мыслил сказочными образами; для него мир делился надвое — нечестивцы и праведники, трущобы нищего Неаполя или молочные реки в кисельных берегах. Порой мне трудно было с ним разговаривать: он не мог себе представить, что в Советской России можно встретить глупых или бессердечных людей. Шехерезада по ночам рассказывала сказки, а Истрати начал обличать современных калифов.

Он поехал в Москву, шумно восхищался решительно всем, заявил, что намерен перебраться в Советский Союз. Вернувшись в Париж, он опубликовал книгу, полную резких и по большей части несправедливых нападок на страну, которую только что прославлял. Поворот был настолько крутым, что все обомлели. Одни заговорили о «коварстве» и «подкупе», другие — о «чудодейственном прозрении».

Книга, посвященная поездке в Советский Союз, никак не напоминала книги Истрати, говорили, будто ее написал кто-то другой. Не знаю, правда ли это. Может быть, сказа-

лось вечное легкомыслие Истрати. Пилигрим рассердился: реальность не походила на созданную им восточную сказку. Его тотчас окружили журналисты, политиканы, фракционеры; он не успел опомниться, как стал игральной картой на зеленом сукне.

Он мне как-то рассказал, что в ранней молодости ездил «зайцем» в поездах, на пароходах, это была увлекательная игра — добраться из Пирея в Марсель без единой драхмы. Может быть, он захотел «зайцем» пересечь век? Его высадили на чужом, незнакомом вокзале. Не было больше ни старых друзей, ни сказок. Он оправдывался, обвинял, писал истерические статьи. Вскоре он уехал в Румынию. О последних годах его я мало что знаю. Обострился туберкулез, некоторое время Истрати жил в горном монастыре, называл себя анархистом, пробовал пристать к националистам, писал о боге и обрадовался, когда о нем вспомнил Мориак. Умер он в Бухаресте в 1935 году. О нем были коротенькие некрологи во французских газетах: его успели уже забыть...

Много лет спустя на свадьбе в глухой румынской деревне я встретил героев Истрати, задорных и нежных; они пели мятежные, печальные песни. Я вспомнил мечтателя, забияку и забулдыгу, который рассказывал истории в полутемном ресторане на улице Шатодэн; и еще раз подумал о страшной ответственности писателя. Нет легких ремесел, но, пожалуй, самое трудное — водить перышком по бумаге: платят за это иногда хорошо, но расплачиваться приходится жизнью...

23

В годы, о которых я рассказываю, я колесил по Европе, изъездил Францию, Германию, Англию, Чехословакию, Польшу, Швецию, Норвегию, Данию, побывал в Австрии, Швейцарии, Бельгии. С 1932 года я стал корреспондентом «Известий», и многие поездки были связаны, хотя бы частично, с газетной работой. А в 1928 — 1929 годы я еще не был профессиональным журналистом (иногда мои путевые очерки печатала «Вечерняя Москва»). Не был я и классическим туристом. Оказавшись в Норвегии, вместо того чтобы любоваться живописностью фьордов, я поехал на далекий островок Рест, где даже подушки пропахли треской, а потом в маленький порт Мосс, где нет никаких достопримечательностей, и там ночью беседовал

о судьбе нашего века с представителем пароходной компании; в Англии я поехал в прокопченный, мрачный Манчестер и спускался в допотопные шахты Сванси; в Швеции забрался в новый заполярный город Кируну, где добывают руду.

Денег у меня было в обрез. В Польшу меня вывез импресарио, я читал доклады о литературе; в Англию пригласили Пен-клуб и издатель; в Вену я поехал на встречу какого-то культурного объединения. Повсюду я разыскивал дешевые гостиницы и полагался больше на свои ноги, чем на такси.

Пушкин писал об Онегине:

И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как все на свете, надоели...

«Цели» и у меня не было, но путешествия мне не надоедали. Конечно, от себя уехать нельзя, и, где бы я ни был, меня не покидали мои мысли. Вероятно, именно поэтому я любил (и до сих пор люблю) путешествовать: иногда за тридевять земель, приглядываясь к чужой жизни, находишь ту разгадку, которую напрасно искал у себя за рабочим столом... Мне было тогда под сорок, — следовательно, я вышел из возраста, который обычно связывают с понятием становления; но по-прежнему я чувствовал себя школьником.

Каждый человек постепенно обрастает людьми, с которыми он связан общими интересами, ремеслом. Нельзя уйти от самого себя, но можно на некоторое время вырваться из круга привычных знакомств. Конечно, и в других странах я часто оказывался в среде писателей; познакомился с Майеровой, с Новомеским, с Антони Слонимским, с Броневским, с Андерсеном-Нексе, с Нурдалем Григом, с Йозефом Ротом.

На одном из датских островов я случайно встретил Карин Михаэлис. Она возила меня к крестьянам, показывала превосходные фермы, ее всюду знали, уважали. В ранней молодости мы читали в России ее роман «Опасный возраст». Я думал, что ее волнуют тайны женского сердца, а она говорила о другом: о неминуемой катастрофе; рассказывала, как фермеры не хотели помочь голодающим немецким детям, как теперь отворачиваются, когда она заговаривает о фашизме, об угрозе войны, как ужасны сытость, сон, равнодушие. (Восемь лет спустя в Мадриде на конг-

рессе писателей, среди разрывов снарядов, кто-то прочитал приветствие больной Карин Михаэлис, и я вспомнил беседу на тихой зеленой ферме.)

Однако, говоря о вылазках из привычной среды, я думаю о других встречах — со старым пастухом «бачей» в Тиссовце, с лодзинскими ткачами, со смотрителем маяка на Лофотенских островах, с внуком цадика из Гуры Кальварии, с берлинскими рабочими.

Упомяну сейчас об одной из пестрых встреч. В Кируне я познакомился с горняком-коммунистом, у которого была русская жена, Нюша. Она меня угощала кофе, показывала восторженно холодильник, электрическую плиту, стиральную машину. Со мною горняк говорил по-немецки, а с женой почти не разговаривал — знал сотню русских слов; Нюша еще не успела овладеть шведским языком. Он мне рассказывал, что был в Советском Союзе с делегацией, на Кавказе заболел воспалением легких и в больнице влюбился в сиделку. Он верил, что Нюша — «душа русской революции», и огорчался, что не может спросить у нее совета, как поступить в том или ином случае. А Нюша радовалась, что попала в спокойную, богатую страну, и недоуменно говорила про товарищей мужа: «Это они с жиру бесятся...» Я не хотел ее строго судить: она узнала много горя, голодала, брата расстреляли белые, мать умерла от сыпняка. Муж ее мне очень нравился, был благородным и смелым. Нюша горевала, что не научилась говорить по-шведски. На столе лежал толстый словарь, но молодожены редко в него заглядывали. Оба проклинали свою немоту, не догадываясь, что ей обязаны счастьем...

Это, конечно, только печальная и смешная история, из которой не нужно делать выводы; да я их и не делал. Я старательно записывал свои впечатления.

Некоторые поездки я описал и назвал книгу очерков «Виза времени». Легко себе представить, что для обладателя советского паспорта, вздумавшего в те времена путешествовать, виза была магическим понятием. Однако, выбрав такое заглавие для книги, я думал не о придирчивых консулах, а о еще более придирчивом веке: хотел проверить, какие из наших прежних представлений могут быть завизированы временем. Поездки помогли мне освободиться от множества условностей, старых и новых, увидеть жизнь такой, как она есть. Разговаривая с датскими фермерами, я старался понять путь советского писателя.

Представитель Советского Союза в Лиге Наций М. М. Литвинов поразил всех лаконичной формулой: «Мир

неделим». Блуждая по чужим странам, я понял, что неделим и другой мир — тот, что по старой орфографии писали через «и» с точкой.

Я понял также, что народы своеобразны, неповторимы, как люди. Автор предисловия к одному из изданий «Визы времени» Ф. Раскольников предостерегал читателей: «Эренбург придерживается устарелой теории национальных характеров. Он полагает, что каждый народ имеет свою «душу», зависящую от свойств его национального характера. В этом отношении Эренбург имеет такого блистательного предшественника, как Стендаль, который в своем «Пармском монастыре» тоже безуспешно пытался разрешить проблему итальянского национального характера. Это ошибочное представление о национальной «душе» логически вытекает из общей идеалистической системы взглядов Эренбурга. Подобно Стендалю он не материалист, а идеалист. Он предпочитает не изучать, а постигать интуицией...»

(Это было написано в 1933 году. Десять лет спустя А. Н. Толстой напечатал рассказ «Русский характер», в театрах шла пьеса Симонова «Русские люди», различные поэты воспевали «русские обычаи», «русскую любовь» и, разумеется, «русскую душу». Никто их не корил, им дружно аплодировали. Поскольку у русских оказалась «душа» — то есть некоторые черты национального характера, — очевидно, она имеется и у других народов. Много раз я читал про то, как я или как другие писатели «преодолевают былые заблуждения». А те, кто нас упрекал? О них не пишут. Между тем они тоже от многого отказывались и многое начинали понимать.)

Я никогда не думал, что «душа» народа связана с кровью, — я многим болел, но только не расизмом. Душа народа, то есть его характер, складывается веками, и на черты национального характера влияют география, особенности социального развития, повороты истории. Другие материки я увидел позднее — после второй мировой войны, но и в годы, о которых пишу, мог многое сравнить. Конечно, я видел, что шведский рабочий рассуждает иначе, чем Крейгер или банкир Валленберг, но это не помешало мне отметить, что характер шведского рабочего отличается от характера итальянского рабочего. Здесь не было никакого «идеализма», и это не противоречило ни существованию классовой борьбы, ни принципам интернационализма.

Можно ли, побывав в Англии, не заметить, что англичане любят известное отъединение, что они предпочитают

неудобные холодные домики с узенькими лестницами квартире в современном многоэтажном доме, что, в отличие от французов, они не живут на улице и не ныряют с удовольствием в толпу? Любой турист, даже лишенный наблюдательности, видит, что в Париже много магазинов, торгующих красками, принадлежностями для художников, много маленьких выставок живописи, а в Вене сотни магазинов, где продают ноты, и на стенах афиши концертов. Буржуа в разных странах проводят досуги по-разному. Англичанин обязательно является членом какого-либо клуба, причем в выборе клуба редко сказываются политические симпатии; в каждом клубе имеется библиотека с удобными креслами, и там джентльмены спят, одни тихо, другие похрапывая. Испанцы тоже любят клубы, но сидят они не в полутемных залах, а в витринах или на улице и смотрят на прохожих; когда проходит более или менее молодая женщина, причмокивают. Немецкий буржуа обожает научные новшества и экзотику; в одном ресторане Берлина я увидел в меню цифры — сколько калорий в каждом блюде (витамины пришли позднее), в другом посетители лежали в гамаках, а над ними порхали тропические птицы. Это явно не понравилось бы французу, который не хочет платить за бутафорию, а любит хорошо покушать в маленьком невзрачном бистро. В английском парламенте люди спорят вежливо, а во французском я не раз присутствовал при драках. Я мог бы исписать сотни страниц, перечисляя особенности характера и быта, но я теперь не собираюсь обрисовывать различные страны, а только хочу отметить, какое впечатление оказали путешествия на мой дальнейший путь.

Я увидел, что люди живут по-разному, но различие форм жизни не заслонило от меня того общего, человеческого, что позволяет верить в единство мира. Конечно, шведы показались мне чопорными (теперь они освободились от многих условностей), нельзя было просто выпить рюмку водки — существовал сложный этикет. Выглядели шведы холодными, замкнутыми. Но вот я познакомился с Акселем Клауссоном, бывшим военным атташе в Петербурге. Он знал русский язык и, выйдя в отставку, занялся переводами, перевел и мои две книги. Он был настоящим старым шведом, любил ужинать при свечах, подносил рюмочку к сердцу, никогда не забывал припомнить, как мы хорошо провели вместе вечер, даже если этот вечер был в позапрошлом году. Мы подружились, и он оказался человеком с горячим сердцем, вернейшим другом, умел поговорить и, что еще труднее, помолчать.

Словакия сначала мне показалась страной далекого прошлого: крестьянки ходили в красивых пестрых костюмах эпохи барокко, крестьяне некоторых округов носили фартуки, кресты на кладбищах были расписаны, как веселые игрушки. Потом я увидел, что словацких писателей волнуют те же вопросы, что и меня; я нашел там много добрых друзей — Клементиса, поэта Новомеского и других.

Англичане выглядели существами с другой планеты, на все отвечали «у вас континентальный вкус» или «это не у нас, а на континенте». Вскоре я увидел, что интеллигенты печальны, увлекаются Чеховым; когда играют «Трех сестер», в зале плачут. Я понял, что могу говорить со многими англичанами по душам.

Я сказал, что повсюду меня сопровождали мои раздумья и сомнения: они родились давно, еще в годы первой мировой войны, когда я начал самостоятельно думать. Увидев огромное военное хозяйство, мгновенное отречение людей от мысли, механизацию любви, убийства, смерти, я понял, что в опасности само понятие человека. В конце двадцатых годов еще не было ни аплодисментов по команде, ни машин, способных сочинять стихи, ни статистики Освенцима, ни водородных бомб. А я непрестанно, мучительно думал не о характерных чертах того или иного народа, а о характере времени.

Мне не хочется загромождать эту книгу цитатами из самого себя, ссылаться на старые очерки или заметки; но если я начну рассказывать о своих впечатлениях от Западной Европы в 1928—1929 годах, я невольно изменю или пополню их опытом последующих десятилетий. Вот что я тогда писал о Германии:

«Один придумывает, как бы поэкономнее рассадить пассажиров в самолете, другой изготовляет зажигалку, чтобы огонь вспыхивал при небрежном движении... Я был у Максимилиана Гардена... Видимо, он не создан для изготовления усовершенствованных зажигалок. Мы говорили о русской революции, о берлинских улицах. Он сказал мне: «Я боюсь этой равномерности жизни, отсутствия непредвиденного...» В уличных уборных Берлина надпись: «Не позднее, чем через два часа после сношения с женщиной, поспеши на ближайший санитарный пункт...» Берлин — апостол американизма, и зажигалки здесь предметы особого культа. Меня пригласил к себе автор романа «Александерплац» Альфред Деблин. Его угнетает механическая цивилизация, он говорил, что был в Польше, разговаривал

с крестьянами и нашел в глухих деревнях больше человечности, чем в Германии.

Я был в Дессау, где теперь помещается Баухаус — школа современного искусства. Стеклянный дом; найден стиль эпохи: культ сухого разума. Жилые дома вокруг, построенные в том же стиле, страшны; они до того похожи один на другой, что дети ошибаются. Говорят, что новый стиль подходит для заводов, вокзалов, гаражей, крематориев, а стиль для жилых домов еще не найден. Вряд ли его найдут: люди теперь живут на работе, а не у себя. В доме архитектора Гроппиуса множество кнопок, рычагов, белье носится по трубам, как пневматическая почта, тарелки из кухни проползают в столовую; все продумано, вплоть до ведра. Все безукоризненно и невыразимо скучно. Думали ли мы, защищая кубизм, а потом конструктивизм, что одно десятилетие отделит философские кубы от вполне утилитарного ведра? В доме художника Кандинского ряд уступок искусству — новгородские иконы, пейзажи таможенника Руссо, томик Лермонтова. Один из учеников мне сказал: «Кандинский путаник и полуконсерватор...»

На вокзале Штутгарта или в типографиях Лейпцига понимаешь, насколько здесь пришлась ко двору Америка. В Кельне на выставке я увидел архисовременную церковь с комфортом и кубистическими витражами, Христос напоминает часть сложной машины».

Вот об Англии:

«Презрение к Америке и американизация быта: американские фильмы, американская архитектура, американские магазины.

Хемстед. Длинные улицы. Коттеджи. Все дома как один. Англичане любят индивидуализм, однако эта идиллическая казарма их не смущает.

В Лондоне непрестанно думаешь, откуда взялся этот огромный город — на острове, в стороне от жизни, среди сырости и хандры? Как властвовал и угнетал? Как поколебался, дрогнул, заполнил шкафы мирными трактатами и занимательными романами? Как он живет со старинными париками, с великодержавностью дипломатических нот, еще путает карты, блефует, но боится рассвета? Как познакомился с американскими колонизаторами, с континентальной смутой, с безработицей, с самоубийствами? Англичане — завоеватели, мореплаватели, превосходные спортсмены. Это не мешает им быть на редкость застенчивыми. Отсюда консерватизм, привязанность к шутовским церемониям.

Они стоят, сконфуженные, перед молодой и наглой Америкой.

Есть здесь нечто переходящее меру. Пикадилли и Поплар. Роскошь, выставленная напоказ, и неописуемая нищета района Доков. Шахты в Южном Уэлсе примитивно оборудованы; часто приключаются обвалы; я видел в шахтах детей, мне объяснили, что недавно запрещена работа до четырнадцати лет, этим уже пошел пятнадцатый. До сих пор в школах применяются телесные наказания. Ад Давида Копперфильда. А Диккенса нет...»

Вот Скандинавия:

«Швеция пытается отстоять свой быт, свои привычки. Вся Европа старательно перенимает механические судороги нью-йоркского бизнесмена, шведы упираются. Вероятно, ненадолго — в Швеции всего семь миллионов людей, остальное — лес. Деревья вырубят, а людей перевоспитают.

68 гр. с. ш. Три месяца в году ночь. Две горы, между ними город Кируна. Его еще строят, не успели даже окрестить улицы, адрес — это номер дома. Горняки живут хорошо. Среди них много коммунистов, в редакции газеты портрет Ленина. У шахтеров автомобили. А кругом тундра. Роскошная церковь: золотые статуи (стиль модерн) изображают различные добродетели. В газете: акции «Луосаваара-Кируноваара» в повышении. Один из крупных держателей акций Ивар Крейгер.

Рест — крохотный остров (Лофотенские острова). В Норвегии король, он торгует маслом. В Ресте — мэр, рыбак и социалист. Однако подлинные властители острова — скупщики трески, им принадлежат дома, фабрики консервов. Из отбросов варят клей. У скупщиков рыбы магазины, они же местные банкиры, сдают рыбакам суда, страхуют; вся жизнь острова подвластна им.

Шоколадная фабрика «Фрейя». Работницам делают маникюр, в заводской столовой живопись Мунка. Невообразимый грохот. Владельцы «Фрейи» платят мало, отказались признать профсоюз.

Фугт говорил мне, что у Норвегии «особый путь». Я ему ответил, что на необитаемом острове легко спасти душу, конечно до первого американского парохода.

Датские фермеры живут куда комфортабельнее парижских буржуа. На стенах старые крестьянские тарелки: они стали предметом украшения. Один фермер сказал мне, что зимой прочитал «Войну и мир»: «Интересная книжка» Помолчав минуту, спросил: «А сколько могли заплатить

вот такому Толстому?..» Другой фермер заказал фрески — история его жизни. Сначала бедный домик его отца на севере Ютландии. Первый собственный дом и, разумеется, свиньи. Дом жены — приданое, свиней все больше и больше. Наконец, роскошная двухэтажная ферма, деревья, сонм свиней.

Художник Гансен, молодые поэты, скептический журналист Киркебю, который пишет в «Политикене». Много пьют, пытаются воскресить богему, жалуются: свиней не только больше, чем людей, свиньям лучше живется. Говорят, что Копенгаген быстро американизируется, дело не в причудах кучки снобов, а в состоянии умов: стихов никто не читает, живопись, даже самая крайняя, рассматривается как мебель или как биржевые бумаги, все сведено к механике...»

Впрочем, хватит переписывать старые заметки. Теперь мне понятнее, что меня в те годы угнетало. Это было еще до мирового кризиса. Гитлер шумел в различных пивных, но почему-то люди верили в крепость Мюллера или Брюнинга, в магию плана Юнга, в то, что роман Ремарка «На Западе без перемен» показывает миролюбие рядовых немцев. Я видел, как отстраивали Реймс, Аррас. Про войну начали забывать. Тридцатилетние относились к рассказам о Сомме или о Вердене как к надоевшей всем древней истории; помню, кто-то сказал: «Была еще Троянская война...» Мир казался прочным. На самом деле он был иллюзорным. Города отстроили, но не жизнь...

До 1914 года сохранялись известные понятия, нормы, идеи. Анатоль Франс, с его скепсисом, с культом красоты, с чуть холодным гуманизмом, в 1909 году входил в пейзаж Парижа. В 1929 году Поль Валери казался анахронизмом. Старые представления о добре и зле, о красоте и уродстве были разрушены, а создать новые не удалось.

Влияние Америки обычно приписывают ее экономической мощи: богатый и энергичный дядюшка наставляет непутевых, обнищавших племянников. А тот американизм, который я отмечал повсюду, был связан не только с экономикой. После первой мировой войны изменилась психика людей. Их увлекали дешевые аттракционы с Бродвея, самые глупые из американских кинокартин, детективные романы. Усложнение техники шло в ногу с упрощением внутреннего мира человека. Все последующие события были подготовлены: мало-помалу исчезало сопротивление. Приближались темные годы, когда в разных странах попиралось человеческое достоинство, когда культ силы стал

естественным, надвигалась эпоха национализма и расизма, пыток и диковинных процессов, упрощенных лозунгов и усовершенствованных концлагерей, портретов диктаторов и эпидемии доносов, роста первоклассного вооружения и накопления первобытной дикости. Послевоенные годы как-то незаметно обернулись в предвоенные.

24

Я томился в роскошном кабинете редактора «Франкфуртер цейтунг», который хотел напечатать в своей газете мои очерки о Германии. Редактор был круглым и благодушным. Рядом с ним сидел худой, нервный человек с добрыми, но насмешливыми глазами; неожиданно он сказал мне на дурном русском языке: «Скажите ему — запрещено резать, и запросите больше — у них много денег...» Так я познакомился с австрийским писателем Йозефом Ротом; это было в 1927 году. Несколько лет спустя он стал известен широкому кругу читателей.

Вот у кого была анкета, способная привести в восторг искателей космополитов! Отец его был австрийским чиновником, запойным пьяницей, мать — русской еврейкой. Родился он в Галиции в пограничном поселке; считался немецким писателем; говорил всем, что он австриец; когда немцы проголосовали за Гинденбурга, сказал: «Все ясно!» — взял шляпу, палку и уехал в Париж. Жил он всегда в гостиницах, иногда хороших, а по большей части замызганных и вонючих. Не было у него мебели, не было и вещей; старомодный кожаный чемодан был набит книгами, рукописями и ножами — никого он не собирался зарезать, но обожал ножи. «Франкфуртер цейтунг» его посылала в Москву; он пробыл некоторое время в нашей стране, выделялся среди других инкоров желанием понять чужую жизнь, искренностью, участием к нашим бедам, радостью, с которой описывал наши первые успехи. Потом газета посылала его как репортера в различные страны; он писал путевые очерки, мучась над каждой строкой — ему было противно плохо писать. Ходил он быстро, всегда с палкой, но не опирался на нее, а чертил ею что-то в воздухе.

Он никогда не писал стихов, но все его книги удивительно поэтичны — не той легкой поэтичностью, которая вкрапливается некоторыми прозаиками для украшения пустырей; нет, Рот был поэтичен в вязком, подробном, вполне реалистическом описании будней. Он все подме-

чал, никогда не уходил в себя, но его внутренний мир был настолько богат, что он мог многим поделиться со своими героями. Показывая грубые сцены пьянства, дебоша, унылую гарнизонную жизнь, он придавал людям человечность, не обвинял, да и не защищал их, может быть жалел. Не забуду я тонкой, чуть печальной усмешки, которую часто видел на его лице.

В 1932 году меня пленил его роман «Марш Радецкого». Тридцать лет спустя я его перечитал и подумал, что это один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Это книга о конце Австро-Венгрии, о закате и общества и людей.

Сумерки империи Габсбургов сформировали и вдохновили многих писателей, писавших на различных языках. Когда империя рухнула, Итало Свево было пятьдесят семь лет; Францу Кафке — тридцать пять, а Роту — всего двадцать четыре года. И все же, о чем бы Рот ни писал, он неизменно возвращался не только к быту, но и к душевному климату последних лет Австро-Венгрии.

Писатели, стремившиеся найти новые формы для отображения развала общества между двумя войнами, расшатывали структуру романа; таковы «Улисс» Джойса, «Процесс» Кафки, «Цено» Итало Свево, «Фальшивомонетчики» Андре Жида. Эти книги не похожи одна на другую, да и разного калибра, но все они чем-то напоминают живопись раннего кубизма, может быть желанием расчленить мир. Одновременно еще выходили прекрасные романы, написанные по старинке, романы о новой жизни, рассказанной так, как рассказывали писатели прошлого века: «Семья Тибо» дю Гара, последние романы о Форсайтах Голсуорси, «Американская трагедия» Драйзера. «Марш Радецкого» написан по-новому, но это роман, и притом крепко построенный. Если снова прибегнуть к сравнению с живописью, я припомню импрессионистов; в романе Рота много света и воздуха.

Меня поражала любовь Рота к людям. Ну что может быть пошлее и глупее любовной связи молоденького, никчемного офицера с легкомысленной женой жандармского вахмистра? А Рот сумел приподнять, осветить многое изнутри, и я вместе с его героем стою потрясенный у могилы вымышленной женщины, которой писатель сумел придать подлинность, телесность.

Рот одно только делал с сердцем: писал. «Франкфуртер цейтунг» отправила его в Париж как специального корреспондента. Он мог писать романы. Он любил Париж, и я уви-

дал его радостным. Он пришел ко мне с молодой, очень красивой женой, я подумал: вот Рот и нашел счастье...

Вскоре газета прислала в Париж нового корреспондента, и Рот лишился работы. (Об этом новом корреспонденте следует сказать несколько слов. Его звали Зибургом, он считался левым и называл себя другом, почитателем Рота. Зибург написал книгу «Как бог во Франции» — это немецкая поговорка, относящаяся к хорошей жизни; французы говорят «как петух в тесте», а русские «как сыр в масле». В этой книге Зибург расхваливал Францию. Я еще был в оккупированном Париже, когда туда вместе с Абецем приехал Зибург — ему было поручено присматривать за французскими журналистами.)

У Рота не было денег. А здесь случилась катастрофа: его жена душевно заболела. Он долго не хотел с ней разлучаться, но болезнь обострилась, и ее увезли в клинику.

Я тогда слышал от некоторых общих знакомых: «Бедняга Рот спятил... Сидит в кафе напротив гостиницы, пьет и молчит... Стал приверженцем Габсбургов... Словом, с ним плохо...»

Трудно всерьез говорить о политических воззрениях Рота. Были критики, увидевшие в «Марше Радецкого» апофеоз лоскутной империи. А какой же это апофеоз — это ее похороны. Рот показал тупых чиновников, духовно опустившихся офицеров, внешний блеск и нищету, расстрел забастовщиков в украинском поселке, контрабандистов, ростовщиков и надо всем этим выжившего из ума старика, окруженного ложью и боящегося слова правды, которого именуют «императорским величеством» и у которого течет из носу.

Однажды Рот и со мной заговорил о Габсбургах: «Но вы все-таки должны признать, что Габсбурги лучше, чем Гитлер...» Глаза Рота грустно усмехались. Все это было не политической программой, а воспоминаниями о далекой молодости.

Он хорошо описывал печаль, старость, наивность подростков, вековые деревья, любовь к земле украинских крестьян, душевное спокойствие, бородатых евреев, смерть и жаворонков, лягушек, лучи солнца в летний день, пробивающиеся сквозь зеленые жалюзи.

Настали ужасные годы. Гитлеровцы жгли книги. Эмигранты в Париже ссорились друг с другом. Рот жил в старой гостинице Файо на улице Турнон. Гостиницу решили снести; все из нее уехали, только в верхнем этаже в ма-

ленькой комнате еще ютился Рот. Потом он перекочевал в скверную гостиницу на той же улице.

В 1937 году я приехал из Испании на несколько дней в Париж; шел по улице Турнон и увидел в кафе Рота. Он меня окликнул. Он плохо выглядел, чувствовалось, что он живет через силу, но, как всегда, был очень вежлив, галстук аккуратно завязан бабочкой. Перед ним стояла гора блюдечек; он говорил связно, только руки дрожали. Спросил меня, как в Мадриде, внимательно слушал, потом сказал: «Я теперь всем завидую. Вы ведь знаете, что вам нужно делать. А я больше ничего не знаю. Слишком много крови, трусости, предательства...» Он заказал еще рюмку. Я торопился, но он меня не отпускал. «Ваши друзья меня ругают. Я написал роман об инспекторе мер и весов. Может быть, это и плохой роман, я теперь часто думаю — до чего мы все неталантливы! Но я хочу вам сказать о другом... Мой инспектор жил плохо, растерялся, как я. В итоге он умирает. Перед смертью он бредит, ему кажется, что он не инспектор, а лавочник, к нему приходит самый главный, грозный инспектор, а у него весы неправильные — обвешивал, обмеривал, надувал. Сейчас его уведут в тюрьму... Он говорит инспектору: «Конечно, у меня гири легче, чем полагается. Но у всех так — без этого в нашем городе не проживешь». Вы знаете, что ему ответил главный инспектор? Он сказал, что правильных весов нет. Ваши друзья говорят, что я хочу оправдать Шушнига. А я думал о людях, таких, как я. Вы скажете: «Зачем вы печатаете ваши романы?..» Я должен жить, хотя это ни к чему...» Он заказал еще рюмку. Потом мы расстались. Больше я его не видел.

Кончил жизнь самоубийством Эрнст Толлер. По улицам Праги шагали немецкие дивизии. Йозефа Рота тяжело больного увезли из его кафе в больницу. Ему было сорок пять лет, но он не мог больше жить.

Друзьям передали рукописи и старую палку.

25

С Паскиным меня познакомил Мак-Орлан; было это, кажется, в 1928 году. Мы обедали в маленьком ресторане на Монмартре. Я знал и любил рисунки Паскина и разглядывал его с откровенным любопытством. У него было лицо южанина, может быть итальянца; был он одет чересчур корректно для художника: темно-синий костюм, черные лакированные ботинки; хотя к тому времени ко-

телки почти исчезли, Паскин часто ходил в старомодном котелке. За обедом он молчал. Говорил Мак-Орлан, говорил о минувшей войне, о гигантском росте городов, о том, как светится ночью площадь Пигаль, как бродят тени под черными мостами, и называл все это «новой романтикой». Паскин сначала слушал, потом начал рисовать на меню Мак-Орлана, меня, голых женщин. Подали кофе, коньяк; он выпил стаканчик, как пьют у нас водку, залпом, и вдруг оживился: «Романтика? Вздор! Несчастье. Зачем строить из дерьма художественные школы? На площади Пигаль сто борделей. Точка. Под мостами спят обыкновенные люди; дай им кровати, они будут голосовать и ходить в воскресенье в церковь. Незачем одевать людей в костюмы, моды меняются. Лучше их раздеть. Голый пупок говорит мне больше, чем все платья. «Романтика»? А по-моему, попросту свинство...» Он выпил еще стакан, и тогда я увидел другого Паскина, шумливого, беспокойного, который славился дебошами. Почему-то я вспомнил друга моей ранней молодости Модильяни.

Потом, встречаясь с Паскиным, иногда серьезным, печальным, даже робким, иногда буйным, я понял, что не ошибся при первой встрече: чем-то он напоминал Модильяни. Может быть, внезапным переходом от замкнутости, молчаливости, от сосредоточенной работы к разгулу? Может быть, страстью неизменно рисовать на клочках бумаги? Может быть, тем, что оба были всегда окружены людьми и оба узнали всю меру одиночества?

Паскин попал на Монпарнас, когда драма была доиграна. Далеко от «Ротонды» шли другие драмы. Он появился внезапно и слишком поздно, как заблудившаяся звезда. Ему бы сидеть с Моди, они друг друга поняли бы. А Паскин тогда был далеко — в Вене, в Мюнхене, в Нью-Йорке.

Он прожил жизнь как бродяга. У него в Париже были различные знакомства; то он встречался с писателями, художниками, с Дереном, Вламинком, с Сальмоном, Мак-Орланом, с сюрреалистами; то нырял в другой мир, пил с бродячими циркачами, с проститутками, с жуликами. Все знали, что он знаменитый художник, что его работы висят в музеях; а он рвал свои рисунки, рисовал и рвал; и мало кто знал, откуда он взялся, где провел сорок лет своей жизни, есть ли у него родина, дом, семья.

Паскина звали Юлиус Пинкас, и родился он в Видине — это маленький болгарский городок на Дунае. Он был сыном торговца, еврея-сефарда (как Модильяни), — предки Паскина когда-то жили в Гранаде и были выселены Ферди-

нандом Католиком в 1492 году. Это, следовательно, очень давняя история. Но вот, когда в 1945 году я приехал в Софию и за ужином меня посадили рядом с бывшим партизаном, не знавшим русского языка, вдруг выяснилось, что мы можем объясниться по-испански: партизан был сефардом. В детстве Паскин дома говорил по-испански, а во дворе с ребятишками — по-болгарски. Недавно я получил из Болгарии письмо от школьного товарища Паскина, он мне прислал фотографию дома, где учился маленький Пинкас.

Паскин уехал в Вену учиться живописи; в Мюнхене рисовал для «Симплициссимуса»; добрался до Америки, узнал нужду. Потом на него посыпались деньги; он их тратил мгновенно, раздавал случайным собутыльникам, устраивал нелепые кутежи, одаривал натурщиц. Он как бы не верил своей славе, не доверял себе — часто сердито говорил о своих работах.

Как-то он позвал меня: «Будут друзья...» Еще не дойдя до его дома, я услышал вырывавшийся сквозь окна рев. «Друзей» оказалось слишком много; даже на лестнице стояли люди со стаканами. Гости сидели или лежали на рисунках. Звенела румба: это был воистину бал на площади.

Помню ту же мастерскую на бульваре Клиши в обычный день; диваны и пуфы, пыльные, тусклые; на них Паскин сажал натурщиц; беспорядок, пустые бутылки, засохшие цветы, книги, дамские перчатки, засохшие палитры; а на мольберте начатый холст: две голые женщины. Краски у Паскина были всегда приглушенными; казалось, что недописанный холст уже пожух.

На чем основывалось распространенное представление о чувственности, об эротике Паскина? Может быть, поражало, что он всегда рисует или пишет женское тело, может быть, сбивал с толку образ жизни Паскина — он неожиданно появлялся, окруженный дюжиной женщин. А был он романтиком, влюблялся по старинке, безоружный, беззащитный перед предметом любви; и если задуматься над его рисунками, они говорят не о сладострастии, а скорее об отчаянии; все эти коротконогие, пухлые девушки с обиженными глазами похожи на поломанные куклы, на странный кукольный госпиталь, который я видел в Неаполе.

Удивительно — он все время был в гуще художественных споров, школ, направлений и как будто ничего не заметил: ни «Голубого всадника», ни кубизма, ни шумливых сюрреалистов. Прочитав в журнале статью, где его называли вожаком «парижской школы» и где указывали,

что «парижская школа» создана не парижанами, не французами, Паскин смеялся и предлагал критикам создать новое направление «пентоортоксенофагизм» — пятикратное прямое пожирание иностранцев.

Я сидел над книгами об экономике, а вечером шел в бар «Куполь»; часто туда приходил Паскин. Он все больше и больше мрачнел; говорили о неурядицах в его личной жизни; пил он много, но вдруг замыкался в мастерской и отчаянно работал.

Он знал, что мне нравятся его вещи, и однажды ночью сказал: «Мне нужно с вами поговорить. Мы должны вместе сделать книгу. Вы будете писать мне письма, а я буду отвечать рисунками — я не умею отвечать, как вы, едкими фразами, я не писатель. Это будет замечательная книга! Мы скажем всю правду — откровенно, без прикрас. Почему я должен делать иллюстрации к чужим книгам? Это глупо! Я сделал иллюстрации к рассказам Поля Морана, они меня не интересуют. Я иллюстрировал Библию. Зачем? Я незнаком с царицей Савской... Вы мне будете писать о чем хотите, а я вам буду отвечать. Знаете, почему мы должны с вами сделать книгу? Это будет книга о людях; теперь говорят о чем угодно, а о людях забыли. Только не откладывайте. Потом будет поздно...»

Я согласился, но все откладывал, откладывал — хотел дописать роман о Крейгере. (Было это в начале 1930 года.)

В яркое весеннее утро я развернул газету — короткая телеграмма: «Поэт Маяковский покончил жизнь самоубийством». Мы тогда еще не были приучены к потерям, и я обмер. Я не спрашивал себя почему, не гадал, просто видел перед собой огромного, живого Владимира Владимировича и не мог представить, что его больше нет.

Кажется, недели две спустя, точно не помню, я увидел в «Куполе» Паскина. Он что-то кричал, потом заметил меня, сразу притих, молча поздоровался, ни о чем не спросил. Мне рассказывали, что он много работает — готовится к большой выставке.

Прошло еще несколько недель, и вечером в «Куполь» вбежал Фотинский, едва выговорил: «Паскин... Никто не знал... На четвертый день взломали дверь...»

Паскин, как Есенин, пробовал разрезать жилу бритвой. Он тоже написал кровью, не на бумаге — на стене: «Прощай, Люси!» А потом, как Есенин, повесился. На столе лежало аккуратно написанное завещание. Паскин покончил с собой в тот самый день, когда должно было состояться открытие его выставки.

Хоронили его далеко — на кладбище Сен-Уэн; за гробом шли знаменитые художники, писатели, натурщицы, бродячие музыканты, проститутки, нищие. Потом гуськом мы проходили мимо могилы, и каждый кидал на гроб ослепительный летний цветок. И снова я не мог себе представить, что больше не будет ни печального человека в запущенной мастерской, ни серо-розоватых обиженных женщин на недописанном холсте, ни криков в «Куполе», ни котелка, ни нашей книги — только холодные залы музеев...

Осенью 1945 года я был в Бухаресте. Портье сказал, что меня хочет видеть господин Пинкас. Я вспомнил, что у Паскина был богатый брат, осевший в Румынии; братья не встречались, кажется, и не переписывались.

Господин Пинкас приехал ко мне в экипаже, запряженном двумя лошадками, и повез в ресторан «Капша». Это было переходное время: во дворце еще сидел король Михай, в ресторане «Капша» еще хранились для старых посетителей пыльные бутылки котнара, господин Пинкас еще мог выезжать в своем экипаже.

Он рассказал мне историю своей жизни: «Я думал, что мой брат — сумасшедший, он занялся искусством и потом повесился. А я был богат. Жалко, что я не могу вам показать, какие деревья, какие птицы были в моем парке. Я женился на румынской аристократке. И вот настал фашизм... Я хотел спасти мое добро и переписал все на имя моей жены — она была не только чистой арийкой, но из громкой боярской семьи. Стоило ей получить все бумаги, как она меня сразу бросила. У меня больше нет денег. Есть квартира, мебель, экипаж. Я знаю, что скоро отберут и это. Вчера меня хотели уничтожить как еврея, завтра начнут уничтожать как эксплуататора. Да, теперь я вижу, что брат был куда умнее. Я читал во французской газете, что его рисунки продают на аукционах, он карандашом делал настоящие деньги. А у меня оказалась фальшивая монета. Потом он сумел вовремя повеситься. Нет, сумасшедший — это я!»

Пинкас знал, что я был другом Паскина, он вспомнил далекое детство, расчувствовался и подарил мне два рисунка своего брата: «У меня довольно много его вещей. Торговать ими я не собираюсь. Я хочу их отдать в болгарский музей...»

Рассказ о двух братьях звучит как назидательная притча для деловых подростков. А я сейчас думаю о другом: почему среди моих знакомых, среди моих друзей — писателей, художников — столько добровольно распрощались

с жизнью? Разными они были и жили в разных мирах; несхожие судьбы, нельзя сопоставить ни глубоких причин, приведших к развязке, ни непосредственного повода — у каждого была своя «капля», которая, по досужим домыслам, «переполняет чашу». И все же в чем разгадка? (Я не хочу сейчас перечислять всех — слишком это тяжело.)

Паскин в последние годы не знал нужды. К нему на поклон приходили критики, торговцы картинами, издатели. Он покончил жизнь самоубийством в сорок пять лет, мог бы жить и жить. Вероятно, на отсутствии силы сопротивления сказались прошлые невзгоды и обиды. Дело, однако, не только в этом. Когда-то Пастернак говорил, что «строчки с кровью — убивают». Вряд ли он думал при этом о фатальной расплате подлинных художников, просто чувствовал на себе, что поэзия дается нелегко. Без обостренной чувствительности не может быть художника, даже если он состоит в десяти союзах или ассоциациях. Для того чтобы привычные слова волновали, чтобы ожил холст или камень, нужны дыхание, страсть, и художник сгорает быстрее — он живет за двоих, ведь помимо творчества есть у него своя кудлатая, запутанная жизнь, как у всех людей, право не меньше.

Существует юридическое понятие «вредное производство»; рабочим, занятым трудом, вредным для здоровья, выдают специальную одежду, молоко, сокращают рабочий день. Искусство тоже «вредное производство», но поэтов или художников никто не пытается оградить, часто забывают, что по самому характеру профессии царапина для них может оказаться смертельной.

А потом идешь в длинной веренице мимо могилы и бросаешь цветок...

26

Тысяча девятьсот тридцать первый год был в Париже невеселым: экономический кризис ширился; разорялись лавочники, закрывались цехи заводов. Начали шуметь разные фашистские организации — «Боевые кресты», «Патриотическая молодежь», «Французская солидарность». Во главе правительства стоял хитрый оверньяк Пьер Лаваль. Министр колоний Поль Рейно разъезжал по заморским вотчинам, и в кино показывали, как он пьет чай во дворце аннамского императора. (Среди журналистов, сопровождавших Поля Рейно, была левая писательница

Андре Виоллис. Она осталась в Индокитае после отбытия министра, а потом написала книгу, которая потрясла совесть французской интеллигенции, — «Индокитай SOS» с предисловием Андре Мальро.) Состоялись президентские выборы; Бриана провалили — он был чересчур видной фигурой, парламентарии предпочли мало кому известного Думера. Торжественно похоронили маршала Жоффра, и газеты вспомнили про победу на Марне. Впрочем, куда больше места газеты уделяли свежей победе: на состязании самых красивых девушек звание «мисс Европы» было присвоено француженке. Германия продолжала вооружаться. Парижане восхищались кинозвездой Марлен Дитрих. Роялисты, собравшись на площади Конкорд, приветствовали короля Альфонса XIII, которого испанцы выгнали из Испании. В связи с безработицей участились самоубийства.

Открылась международная колониальная выставка. Венсенский лес был переполнен посетителями. Построили пагоды, дворцы, бутафорские деревни. Негры должны были на виду у всех работать, есть, спать: женщины кормили грудью детишек. Зеваки толпились вокруг, как в зоопарке.

Голландский павильон поразил меня деловой откровенностью. На стенах были диаграммы: индонезийцы работали, а деньги текли в окошко сберегательной кассы, над которым значилось: «Нидерланды». Другая карта показывала, как колонизаторы держат в повиновении Индонезию: красные лампочки означали военные посты, зеленые — полицейские.

Французы хвастали Индокитаем, Тунисом, Марокко, Сенегалом.

Я написал статью, предлагая устроить бутафорский «белый город», в котором европейцы жили бы натуральной жизнью: «Парламент — депутат произносит пылкую речь; биржа — рев маклеров; «салон красоты» — даме массируют зад; бордель — посетитель на четвереньках лает; академия — «бессмертные» в опереточных мундирах приветствуют друг друга». Я говорил, что такой деревне обеспечен успех в Азии и в Африке, и кончал статью довольно здравой мыслью о близком конце колониальных империй. Потом я узнал, что за эту статью меня собирались выслать из Франции.

А я, не подозревая о гневе властей, спокойно бродил с фотоаппаратом «лейка» по улицам Парижа: снимал дома, уличные сцены, людей. Это было подлинной страстью.

Я не люблю ни живописи, похожей на цветные фотографии, ни фотоснимков, пытающихся сойти за художественные произведения, — все это мне кажется суррогатами, шарлатанством.

Почему же я увлекся фотографией? Я говорил в начале этой книги, что в наше время стали редкими дневники, откровенные и содержательные письма. Может быть, именно поэтому читатели набрасываются на человеческие документы, на дневник Анны Франк, на тетрадки кашинской школьницы Ины Константиновой, ставшей партизанкой, на предсмертные письма французских заложников. (Я помню слова Бабеля: «Самое интересное из всего, что я читал, — это чужие письма...»)

Художник изучает свою модель, ищет не обманчивого внешнего сходства, а раскрытия в портрете сущности модели. Когда человек позирует, с его лица постепенно исчезают меняющиеся оттенки, лицо лишается того, что мы обычно называем «выражением». Не раз ночью в последних поездах метро я разглядывал лица усталых людей, в них не было ничего преходящего, выступали характерные черты.

Другое дело фотография: она ценна не глубоким раскрытием сущности, а тем, что предательски подмечает беглое выражение, позу, жест. Живопись статична, а фотография говорит о минуте, о моменте — на то она и «моментальная».

Человек, которого фотографируют, однако, не похож на себя: заметив наведенный на него объектив, он тотчас меняется. Это делает столь неправдоподобными молодоженов в витрине провинциального фотографа. В снимках, где люди стараются прибрать свое лицо, как прибирают для гостей комнату, нет ни постоянного характера модели, ни достоверности минуты.

Я люблю воспоминания Горького; в них много подсмотренного тайком; можно ли забыть, как Чехов старался шляпой поймать солнечный зайчик на скамейке? Ясно, что, если бы Антон Павлович заметил Горького, он тотчас прекратил бы игру.

Фотографии, которые меня увлекали, были человеческими документами, и не будь на свете бокового видоискателя, я не стал бы бродить с аппаратом по улицам парижских окраин.

Боковой видоискатель построен по принципу перископа. Люди не догадывались, что я их снимаю; порой они удивлялись, почему меня заинтересовала голая стена или

пустая скамейка: я ведь никогда не поворачивался лицом к тем, кого снимал. Конечно, строгий моралист может меня осудить, но таково ремесло писателя — мы только и делаем, что стараемся заглянуть в щелку чужой жизни.

У меня не было амбиции фоторепортера. В книге «Мой Париж», где собраны сделанные мною фотографии, нет ни одной «актуальной». (Дату выдает только огромное воззвание на стене: «Друг народа». «Семнадцать лет после агрессии. Великое покаяние. Победителям, дважды обкраденным. В ответ на предложение Гувера мы выдвигаем наш пятилетний план». Это воззвание было подписано парфюмером Коти, издававшим фашистскую газету «Друг народа».

Туристов возят на Елисейские поля, на площадь Оперы, на Большие Бульвары; я туда не ходил с моей «лейкой», а фотографировал рабочие районы: Бельвилль, Менильмонтан, Итали, Вожирар — тот Париж, который полюбил в ранней молодости.

Он печален, порой трагичен и всегда лиричен: старые дома, старухи на скамейках вяжут, рядом с ними целуются влюбленные, уличные писсуары, продавщицы цветов, рабочие рестораны, мамаши с детьми, художники, неудачливые консьержки, бродяги, сумасшедшие, рыболовы, букинисты, каменщики, мечтатели.

Десять лет спустя я написал роман «Падение Парижа»; в нем вдоволь горечи и любви. А вот что я писал в 1931 году: «Я не думаю, что Париж несчастнее других городов. Я даже склонен думать, что он их счастливее. Сколько голодных в Берлине? Сколько бездомных в сыром, темном Лондоне? Но Париж я люблю за его несчастье, оно стоит иного благополучия. Мой Париж заполнен серыми, склизкими домами, в них винтовые лестницы и колтун непонятных страстей. Люди здесь любят неуютно и заведомо ложно, как герои Расина, они умеют смеяться ничуть не хуже старика Вольтера, они мочатся где попало, с нескрываемым удовлетворением; у них иммунитет после четырех революций и четырехсот любвей... Я люблю Париж за то, что в нем все выдумано... Можно стать гением — никто не поможет, никто не возмутится, никто не будет чересчур изумлен. Можно и умереть с голоду — это частное дело. Разрешается кидать окурки на пол, сидеть повсюду в шляпе, ругать президента республики и целоваться, где вздумается. Это не параграфы конституции, а нравы театральной труппы. Сколько раз здесь уже прошла человеческая комедия, и она неизменно идет с аншлагом. Все

выдумано в этом городе, все, кроме улыбки. У Парижа странная улыбка, едва заметная, улыбка невзначай. Бедняк спит на скамье, вот он проснулся, подбирает окурок, затягивается и улыбается. Ради такой улыбки стоит исходить сотни городов. Серые парижские дома умеют улыбаться столь же неожиданно. За эту улыбку я и люблю Париж, все в нем выдумано, кроме выдумки, выдумка здесь понята и оправдана».

Парижане живут на улице, и это облегчало мою работу: я снимал влюбленных, людей, которые сплетничают, мечтают, ссорятся, пишут письма, танцуют, падают на мостовую замертво. В те годы на улицах спали безработные, и я заснял многих из них. Вот лежит один на скамейке; перед ним две вывески: «Бюро похоронных процессий» и «Свадебные кареты»...

Иллюстрированный еженедельник «Вю» напечатал страницу моих фотографий консьержек. Нужно сказать, что многие из консьержек отличаются крутым нравом. Я снял одну на пороге дома, готовую шваброй отразить атаку. Эта женщина разгневалась, требовала в редакции, чтобы ей сообщили мой адрес, хотела пустить швабру в ход. (Должен сказать, что не все консьержки таковы. После того как перевели на французский язык отрывки из первой части этой книги, я получил письмо от мужа консьержки того дома на улице Котантен, где я прожил много лет; он писал, что читает журнал общества дружбы «Франция — СССР», ласково вспоминал нас, даже моих собак.)

Альбом моих фотографий с написанным мною текстом был издан в Москве. Эль Лисицкий сделал обложку и фотомонтаж — я снимаю с помощью бокового видоискателя, причем у меня четыре руки: две держат фотоаппарат, другие две стучат на пишущей машинке. Редактором книги был Б. Ф. Малкин, тот самый, которому Маяковский писал:

> Когда, убоясь футуристической рыси,
> в колеса вставляли палки нам, —
> мы взмаливались:
> «Спаси нас, отче Борисе!»
> И враги расточались перед бешеным Малкиным.

Я неожиданно очутился среди «левых» начала двадцатых годов.

«Лейку» я вскоре забросил: не было на нее времени. Во время «странной войны» ко мне пришел инспектор Сюртэ и сказал: «У вас приспособление для сигнализации

вражеским самолетам». Он направился в угол, где стоял покрытый пылью обыкновенный аппарат для увеличения фотографий, и долго его рассматривал.

Я рассказал о книге «Мой Париж», конечно, не потому, что считаю себя хорошим фотографом, да и не из-за желания поделиться с читателями сплетнями о самом себе. Когда я смотрю на сделанные мною тридцать лет назад фотографии, я думаю о моем ремесле — о литературе. Конечно, моя книга фотографий узка — это не весь Париж, это только мой Париж того времени. Парижей множество. Щелкать затвором легче, чем писать, и я мог бы снимать все, что мне попадалось на глаза, но снимал я только то, что выражало мои мысли и чувства. Я фотографировал не чужой мне город и не пытался выдать наблюдения туриста за реальную жизнь: я знал назубок улицы, скамейки, людей, которых снимал.

Д. Заславский писал: «Книга Эренбурга разоблачает Париж, но она разоблачает и самого Эренбурга... Эренбурга привлекают задворки... Боковой видоискатель оказал плохую услугу Эренбургу. Он снимает действительно только то, что в «стороне».

Некоторые французы, в свою очередь разглядывая фотографии, говорили, что я тенденциозен. Я им отвечал, что имеется множество книг, показывающих другой Париж и сделанных опытными профессионалами.

Я думаю, что все сказанное относится не только к фотографии, но и к литературе, не только к Парижу, но и к другим городам. Мне это кажется очевидным, но вот я пишу уже полвека и слышу все то же: «Не то снимаете, товарищ! Повернитесь-ка налево, там достойная модель с добротной, твердо заученной улыбкой...»

27

Осенью 1931 года в моей жизни произошло важное событие: я увидел впервые Испанию. Поездка в эту страну была для меня не одним из многочисленных путешествий, но открытием; она помогла мне много понять и на многое решиться.

Испания давно притягивала меня к себе. Как часто бывает, я начал ее понимать через искусство. В музеях различных городов я долго простаивал перед холстами Веласкеса, Сурбарана, Эль Греко, Гойи. В годы первой мировой войны я научился читать по-испански, переводил

отрывки из «Романсеро», из поэм Гонсало де Берсео, протоиерея Итского Хуана Руиса, Хорхе Манрике, Кеведо. В произведениях этих, непохожих одно на другое, меня привлекали некоторые общие черты, присущие национальному гению Испании (их можно найти и в «Дон Кихоте», и в драмах Кальдерона, и в живописи): жестокий реализм, неизменная ирония, суровость камней Кастилии или Арагона и одновременно сухой зной человеческого тела, приподнятость без пафоса, мысль без риторики, красота в уродстве, да и уродство красоты.

Конечно, поскольку я с годами менялся, менялось и мое восприятие поэтов или художников. Когда мне было двадцать лет, я воспринимал холсты Эль Греко как откровение. Объясняется это не только близостью Греко к живописи начала нашего века, но и его неистовством, изумительным выражением человеческих страданий, взлета и бессилия — я тогда зачитывался Достоевским. Странная судьба Греко: он родился на Крите, где, скованная догмами Византии, жила страсть обобранной и приниженной Эллады. Ему было тридцать шесть лет, когда он приехал в Испанию, там он нашел себя: критянин выразил одну из существенных черт испанского характера. В сорок лет я к нему охладел; его удлиненные святые и мученики начали мне казаться изнеженными, манерными, а жестокая пестрота красок отталкивала. Осенью 1936 года, очутившись снова в Толедо во время уличных боев, я захотел проверить свои впечатления и попросил одного из дружинников провести меня в церковь, где хранится картина «Похороны графа Оргаса». Церковь оказалась запечатанной, но дружинник меня впустил, потом запер меня и сказал, что вернется через три часа. Тогда-то я понял, почему я разлюбил Греко: слишком много было вокруг подлинной человеческой беды. Учась, мы одновременно разучиваемся, и я разучился понимать живопись Греко. Некоторые страницы Достоевского, потрясавшие меня в молодости, кажутся мне теперь аффектированными. Все это, разумеется, относится к моей биографии, а не к истории искусства или литературы, я знаю, что и Греко и Достоевский — величайшие художники; но, видимо, они лучше воспринимаются в эпохи внешнего спокойствия, когда люди ищут в искусстве исступления, чрезмерности.

Гойю, напротив, я полюбил в зрелом возрасте, и опять-таки, вероятно, этому способствовала эпоха. Когда-то он мне казался фантастом, творцом неправдоподобного, живописным Эдгаром По. Жизнь, однако, опрокидывала наив-

ные представления о границах возможного, и я вдруг понял, что Гойя прежде всего реалист. Я убежден, что короли, королевы, графы, герцогини были именно такими, какими он их изобразил. Его видения войны меня потрясают, хотя я видел войны куда более страшные, чем наполеоновские, — ведь Гойю интересовали не мундиры, не знамена, не полководцы, а оскал, судорога, безумие. Изобразив расстрел испанских повстанцев солдатами Наполеона, он передал не только всю меру человеческого страдания, но и гнев художника. Он назвал свои кошмары «капризами», но его призраки и по сей день гуляют, убивают, едят, отрыгивают, загромождают землю. Он не боялся показаться тенденциозным; но никогда он не упрощал, да и не суживал мира. Я часто вспоминаю его диптих, находящийся в музее Лилля: молодая красотка читает письмо своего поклонника, которое ей передала служанка, и вот пятьдесят лет спустя — две старухи, а над ними смерть с метлой, готовая просто, по-деловому вымести человеческий сор. Гойя часто думал о смерти, и его картины перекликаются со стихами поэта XV века Хорхе Манрике, написанными после кончины отца:

Наша жизнь — это реки,
А смерть — это море,
Берет оно столько рек,
Туда уходят навеки
Наша радость и горе,
Все, чем жил человек...
Итак, столько пешек передвинув
На шахматном поле
И страсть утоля,
Итак, низвергнув столько властелинов,
Сражаясь по доброй воле
За короля,
Итак, изведав различные испытания,
Которых перечислить нет силы теперь,
Он заперся в своем замке Оканья,
И смерть постучала в дверь.

(Как здесь не вспомнить «старушку» Твардовского, которая вошла без пропуска в Кремль?)

Часто говорят об отъединенности Испании, о ее обособленности, а между тем испанский гений, при всем его своеобразии, неизменно подходил к тем вопросам, которые терзают людей, где бы они ни жили. Сколько писали, доказывали, что «Дон Кихот» — едкая сатира на давно забытый литературный жанр! Но вот прошли века, и на злосчастном Росинанте Рыцарь Печального Образа лег-

че объезжает мир, чем герои, которые уже в пеленках летали на реактивных самолетах.

Роман Сервантеса известен всем, но мало кто знает о Хуане Руисе, протоиерее из Иты. Это поразительный поэт; он жил за сто лет до Франсуа Вийона и выразил всю сложность, всю раздвоенность предстоящего долгого дня. Трудно в точности определить, где он кощунствует и где исповедуется, где издевается и где плачет горькими слезами. Он все описывает откровенно, все называет своим именем, и одновременно у него неизменно второй план, четвертое измерение, поэзия; именно в этом я вижу особенность испанского реализма, да и самого характера Испании.

Я начал, может быть, с конца, но теперь мне будет легче объяснить, какую роль сыграла Испания в моей жизни.

Альфонса XIII прогнали в апреле 1931 года, а мы получили визы только осенью: консулу не нравились ни советские паспорта, ни мои книги.

Власти не знали, как с нами быть: угостить стаканчиком мансанильи или посадить в каталажку. Министры были новичками, а полицейские могли похвастать трудовым стажем. Республиканцы все переименовывали — учреждения, улицы, гостиницы; но люди, служившие королю, оставались на своих постах. В Мадриде на вокзале нас задержали и повели в участок, долго изучали наш несложный багаж — искали бомбы, револьверы, листовки. Потом нас неизменно сопровождали полицейские; время от времени они забывали про конспирацию и вынимали из карманов бляхи, свидетельствовавшие об их служебном положении.

Заместитель министра внутренних дел меня любезно принял, поулыбался и попросил представить ему список городов, которые мы намерены посетить. Когда мы приезжали в какой-либо город, нас на вокзале ждали полицейские и представители левой интеллигенции; последние узнавали о моем приезде от полицейских, жаждавших поделиться сенсацией, — я ведь был первым советским гражданином, который приехал в Бадахос, Самору или Сан-Фернандо. Я набрал в Мадриде сотни рекомендательных писем, чтобы сразу найти в любом городе собеседников. Письма мне давали испанские писатели, издатель моих книг коммунист Росес, радикальные журналисты, депутаты, случайные знакомые.

Я приехал в захолустный городок Эстремадуры Касерес и разослал несколько рекомендательных писем. Вскоре хозяйка гостиницы сказала, что ко мне пришли. Я уви-

дел двух элегантных бездельников, похожих на провинциальных адвокатов (почему-то больше всего писем было к адвокатам), протянул им руку; они растерялись и вытащили из карманов бляхи: «Мы полиция». Произошел смешной разговор: полицейские со страхом спросили меня, не собираюсь ли я навсегда поселиться в Касересе, и, узнав, что я через два или три дня уеду, растрогались, долго меня благодарили.

Революции почти всегда начинаются идиллически: люди поют, митингуют, обнимают друг друга. Я приехал, когда эпоха лобызаний кончилась. Каждый день гражданская гвардия стреляла в «нарушителей порядка». Вспыхивали забастовки. Когда я был в Бадахосе, там стреляли. Стреляли и в Мадриде: разгоняли демонстрацию. В Севилье я увидел губернатора, который говорил: «Пора дать отпор рабочим...» Я был на заседании кортесов; выступал Мигель Унамуно, он красиво говорил о душе народа, о справедливости. В тот самый день в Эстремадуре гвардейцы застрелили бедняка, осмелившегося подобрать желуди с земли беглого маркиза.

В Мадриде, в Малаге чернели сожженные весной монастыри и церкви: люди мстили за гнет, за оброки и требы, за злую духоту исповедален, за разбитую жизнь, за туман, века простоявший над страной. Нигде католическая церковь не была такой всесильной и такой свирепой. В соборе Малаги женщины ползали по плитам, вымаливая прощение, а узколицый монах с черными злыми глазами твердил о близком возмездии. Католические газеты расписывали «чудеса»: Богоматерь появлялась почти так же часто, как гвардейцы, и неизменно осуждала республику.

Я побывал в горном районе Ляс Урдес; там жили люди, отрезанные от мира и никогда в жизни не евшие досыта. Молодые матери походили на десятилетних девочек, тридцатилетние — на дряхлых старух. Трудно было себе представить, что в ста километрах богатые бездельники причмокивают, разглядывая красоток Саламанки. В школьной тетрадке я увидел диктовку «наш благодетель король», а на следующей странице — «наша благодетельница республика трудящихся».

Испания официально именовалась «республикой трудящихся всех классов»; это название было придумано не юмористом, а вполне серьезными депутатами кортесов. Трудящиеся различных классов трудились по-разному. Я проезжал по огромным поместьям в Эстремадуре, в Андалусии. Земля по большей части оставалась невозделан-

ной. Аристократы жили в Мадриде, в Париже или в Биаррице. Управляющие нанимали батраков; в договоре значилось, что рабочие должны трудиться «от зари до зари». Буржуазия была ленивой, жила по старинке. Я видел допотопные фабрики. Молодые щеголи в блистательных ботинках не знали, что им делать; ходовым выражением было «убить время». Республика мало что изменила: голодные продолжали голодать, богачи глупо, по-провинциальному роскошествовали. Я разговаривал с андалусскими батраками, которые не вырабатывали в год и одной тысячи песет. «Трудящийся» герцог Орначуэлос обладал шестьюдесятью тысячами гектаров: он любил охоту и приезжал в свою вотчину на одну неделю. В Мурсии жил некто Сьерва; ему принадлежала земля, оцениваемая в двадцать пять миллионов песет. Он занимался политикой и расстреливал забастовщиков. После революции он отбыл за границу, оставив на посту управляющего, который продолжал собирать деньги за аренду. Все были объявлены трудящимися: держатели акций, феодалы, монахи, сутенеры.

Я поехал с доктором из Саморы, добрым и справедливым человеком, в глушь, в Санабрию. Мы доехали до озера, дальше дороги не было, нужно было ехать на ослах. Маленькая деревня с длинным именем Сан-Мартин де Кастаньеда поразила меня редкой даже в Испании нищетой. Среди лачуг мы увидели развалины монастыря. Когда-то крестьяне платили монахам оброк — «форо». Монахи давно перекочевали в более удобные места, а крестьяне продолжали выплачивать две тысячи пятьсот песет «трудящемуся» бездельнику, адвокату Хосе Сан-Рамон де Бобилья, прадед которого перекупил у монахов право обирать крестьян. Потом мы направились в другую деревню — Риваделаго. Ее жители не платили «форо», но земли у них не было; они ютились в курных избах и ели горох. Деревня стояла на берегу озера, изобилующего форелями, озеро принадлежало богатой мадридской домовладелице, и управляющий зорко следил, чтобы голодные крестьяне не похитили рыбешки. Одна крестьянка с горечью сказала доктору: «Что же, дон Франсиско, республика сюда еще не доехала?..»

(После моей поездки в Испанию я написал книгу о том, что увидел. Еще до выхода этой книги в Москве ее издали в Мадриде под названием «Испания — республика трудящихся». Доктор из Саморы поехал с моей книгой в Риваделаго и прочитал крестьянам главу, где я рассказывал о голоде, об озере, о мадридской даме. Крестьяне на следу-

ющий день окружили дом управляющего и потребовали, чтобы он тотчас отказался от прав на рыбу. Пошли телеграммы в Мадрид, и перепуганная домовладелица уступила. Крестьяне прислали мне благодарственное письмо, приглашали в Риваделаго, обещали накормить форелями. К чему скрывать — это письмо меня обрадовало, ведь очень редко писатель видит, что его книга что-то на свете изменила. Обычно книги меняют людей, а это процесс долгий и незаметный. Здесь же я понял, что помог крестьянам Риваделаго уничтожить вековую несправедливость. Пусть мое участие в этом деле и было случайным, пусть деревня маленькая, да и победа была недолгой (вряд ли фашисты оставили форель бунтовщикам), все равно я порой вспоминаю эту историю и радуюсь.)

Гражданская гвардия продолжала стрелять. Депутаты продолжали произносить красивые речи. Народ был безоружен. Социалисты колебались. Анархисты швыряли бомбы. В маленькой андалусской деревне я присутствовал при жарком споре учителя с мэром: учитель был за Третий Интернационал, мэр — за Второй. Вдруг в спор вмешался батрак: «Я за Первый Интернационал — за товарища Мигэля Бакунина...» В крохотной газете, которую издавали батраки Хереса, я прочитал, что испанцы должны вдохновляться принципами Кропоткина. В Барселоне я познакомился с руководителем ФАИ (Федерация анархистов Иберии) Дуррути. Мы сидели в кафе. Дуррути показал мне револьвер, ручные гранаты: «Не боитесь? Я ведь живым не сдамся...» Его суждения были вдоволь фантастическими, но он меня сразу пленил мужеством, чистотой, душевным благородством. Я не знал тогда, что пять лет спустя на Арагонском фронте он наведет на меня свой револьвер: «Сейчас я тебя застрелю» — и что в итоге мы подружимся...

Я тогда еще многого не знал; но одно было ясно: это — первый акт трагедии, за ним неизбежно должны последовать другие. Помню, в Мадриде мне показали сердитого военного: «Вот Санхурхо...» Конечно, я не мог предвидеть, что он вместе с Франко и Мола пять лет спустя зальет Испанию кровью, но в 1931 году я писал: «Командующий гражданской гвардией генерал Санхурхо работает молча. Сорок восемь тысяч гвардейцев время от времени постреливают, они готовятся к всеобщему и массовому расстрелу».

Говоря об осени 1931 года, о фарсе и о трагедии, я еще не сказал о самом главном: о народе. В этой книге я порой пытаюсь показать людей, которых я встретил на своем

пути, пытаюсь это сделать с любовью, с верностью, быть не бесстрастным летописцем, а человеком, вспоминающим друзей, которых больше нет в живых. Рассказываю я о людях, читателю более или менее известных, — о писателях, художниках, общественных деятелях. (Есть, конечно, в моем сердце и другие дорогие мне образы; их знают только близкие, я не могу подкрепить мои признания ссылками на книги или на полотна, а промолчать не значит изменить.) Об Испании мне хотелось бы рассказать как о близком, дорогом мне человеке.

Годы гражданской войны я провел в Испании и тогда по-настоящему узнал ее народ; но полюбил я его сразу — в 1931-м. Пабло Неруда назвал одну из своих книг «Испания в сердце». Эти слова мне хочется повторить: Испания действительно в моем сердце, и не случайно, не на время, не гостья, освещенная бенгальским огнем исторических событий, не квартирантка, окруженная фотографиями и репортерами, нет, своя, близкая и в громкие годы и в немые, запретная, скованная, теперь я вправе это сказать — в сердце до самой смерти.

Я писал в 1931 году: «У меня скрипучее перо и скверный характер. Я привык говорить о тех призраках, равно гнусных и жалких, которые правят нашим миром, о вымышленных Крейгерах и живых Ольсонах. Я хорошо знаю бедность, приниженную и завистливую, но нет у меня слов, чтобы как следует рассказать о благородной нищете Испании, о крестьянах Санабрии и о батраках Кордовы или Хереса, о рабочих Сан-Фернандо или Сагунто, о бедняках, которые на юге поют заунывные фламенко, а в Каталонии танцуют сердану, о тех, что безоружные идут против гражданской гвардии, о тех, что сидят сейчас в тюрьмах республики, о тех, что борются, и о тех, что улыбаются, о народе суровом, храбром и нежном. Испания — это не Кармен и не тореадоры, не король Альфонс и не дипломатия Лерруса, не романы Бласко Ибаньеса, не все то, что вывозится за границу вместе с аргентинскими сутенерами и малагой из Перпиньяна, нет, Испания — это двадцать миллионов рваных Дон Кихотов, это бесплодные скалы и горькая несправедливость, это песни, грустные, как шелест сухой маслины, это гул стачечников, среди которых нет ни одного «желтого», это доброта, участливость, человечность. Великая страна, она сумела сохранить отроческий пыл несмотря на все старания инквизиторов и тунеядцев, Бурбонов, шулеров, стряпчих, англичан, наемных убийц и титулованных проходимцев!»

Многое в Испании меня поразило даже при первом, беглом знакомстве с этой страной, и прежде всего чувство собственного достоинства в людях нищих, вечно голодных, зачастую неграмотных. В Севилье на скамейке сидели рядом почтенный буржуа и безработный; бедняк вытащил из сумы гороховую колбасу и дружески предложил соседу по скамье. На террасе дорогого мадридского кафе ночью нежились бездельники. Женщина с грудным ребенком пыталась продать лотерейные билеты (один из видов нищенства). Младенец стал плакать; женщина спокойно села в кресло перед пустым столиком и начала кормить ребенка грудью. Никого ее поведение не удивило. Я невольно подумал: а ведь ее обязательно бы прогнали не только из «Кафе де ля Пэ», но даже из нашего «Метрополя»...

В нищей деревушке Санабрии я хотел заплатить крестьянке за яблоки; она наотрез отказалась взять деньги. Мой попутчик, испанец, сказал: «Можно дать малышу, но я боюсь, что он сунет монету в рот и проглотит. А дети постарше ни за что не возьмут...» Подросток, чистильщик сапог, увидев, что я стою у табачной лавки, запертой на обеденный перерыв, вытащил из кармана сигарету: кури. Крестьянин возле Мурсии, которому я попытался заплатить за апельсины, покачал головой: «Улыбка дороже песеты».

(Бескорыстность испанских крестьян всегда поражала иностранцев. Мартин Андерсен-Нексе рассказывал мне, что молодые годы он провел в Испании; денег у него не было, и неизменно крестьяне ставили перед ним тарелку супа: «Ешь»...)

Носильщик на вокзале сказал мне: «Я уже сегодня поработал, сейчас позову товарища». Я отнес обувь сапожнику, он спросил жену, есть ли у них деньги на обед, и, узнав, что есть, отослал меня к другому сапожнику. Безработные не получали никаких пособий. Я спрашивал, как они не умирают от голода, мне отвечали: «А товарищи?..» Андалусский батрак разрезáл хлеб пополам и половину давал безработному соседу. Рабочие Барселоны несли часть получки в профсоюзы — для безработных — без призывов, без громких фраз, просто, по-человечески.

Я писал, что Испания — это двадцать миллионов Дон Кихотов в лохмотьях. Я возвращаюсь к этому образу не только потому, что люблю роман Сервантеса, но и потому, что в Рыцаре Печального Образа все душевное обаяние Испании. Вот строки, написанные мной в 1931 году: «Здесь можно выдать мельницу за врага, и с мельницей пойдут

сражаться, — это история человеческих заблуждений. Но здесь нельзя выдать человека за мельницу — он не станет послушно махать руками вместо крыльев. Здесь еще живут люди, настоящие живые люди».

Несколько лет спустя, когда большие, передовые, хорошо организованные народы один за другим начали готовиться к капитуляции перед фашизмом, испанский народ принял неравный бой: Дон Кихот остался верен и себе, и человеческому достоинству.

Испания помогла мне преодолеть многие сомнения. Я знал, что придется не раз заблуждаться — порой со всеми, порой в одиночку. Пусть так. Только бы не стать винтиком, роботом, бутафорской мельницей!

28

Я смотрю на маленькую выцветшую фотографию. Винный погреб в местечке Монтилья, недалеко от Кордовы. Толстяк хозяин, Люба, Эрнст Толлер. Был такой веселый, легкий день. Мы долго пили вино в прохладном погребе. Толлер рассказывал забавные истории. А хозяин нам говорил, что на свете нет вина лучше, чем монтилья: «Ведь не случайно в Хересе делают вино амонтильядо, но в Монтилье никому не придет в голову изготовлять ахересадо». Это звучало убедительно, можно было, кстати, припомнить рассказ Эдгара По о бочке амонтильядо, можно было попробовать еще один сорт монтильи; можно было на несколько часов забыть о том, что у нас позади и впереди. Мы не спешили уходить, Толлер говорил: «Из рая не уходят, из рая выгоняют»; и вернулись мы в Кордову поздно ночью.

(Во время войны неподалеку от Монтильи стояли войска республиканцев. Нужно было напечатать номер армейской газеты; бумаги не было, и газета вышла на тонких листах, в которые толстяк виноторговец заворачивал бутылки; среди военных сводок виднелись слова: «Монтилья — лучшее вино мира».)

Почему я начал рассказ о Толлере с Монтильи? Ведь я с ним познакомился в 1926 или в 1927 году в Берлине; встречались мы в разных городах — в Париже, в Москве, в Лондоне, — вели серьезные беседы. А я вспоминаю несколько дней, проведенных вместе в Андалусии (мы встретились в Севилье и расстались в Алхесирасе), — тогда я видел Толлера счастливым. Он прожил трудную жизнь, спорил, убеждал, проклинал, верил, отчаивался и вместе с тем был мечтателем, шутником, даже сибаритом, и, гово-

ря о поэте-партизане, я прежде всего вспоминал короткий час перекура.

Толлер был красив, походил на итальянца, веселого и печального, неизменно неудачливого героя неореалистического фильма. Может быть, основной его чертой была необычайная мягкость, а прожил он жизнь очень жесткую. Разные бывают люди: одни вылеплены из воска, другие высечены из камня; это вопрос не убеждений, а природы, и часто человек выбирает путь, мало соответствующий материалу, из которого он сделан. Я знавал людей твердой воли, крепких нервов, решительных, по-своему смелых, облюбовавших тыл жизни; сталь ржавела. Толлер был создан для раздумий, для нежной лирики, а он с ранней молодости выбрал трудный путь действия, борьбы.

Прожил он не так уж много — сорок пять лет, но, кажется, не было дня, когда кто-нибудь не писал о его ошибках. Он не протестовал; как-то он сказал мне: «На самом деле я ошибался во сто раз больше, но половины они не знают. Притом они считают только те глупости, которые я делал в одиночку. А сколько раз ошибались все?..»

Некоторые ошибки Толлера диктовались возрастом, да и временем; он их не только признал, но и перечеркнул поступками. Когда началась первая мировая война, ему еще не было двадцати двух лет; он был хилым, и его забраковали, но он добился, чтобы его послали на фронт — во Францию: он верил, что Германия защищает правое дело. Барбюсу, когда началась война, было сорок лет, и он верил, что правое дело защищает Франция. Толлер очень быстро понял, что поверил лжи, поддался общему психозу, и начал обличать зачинщиков войны. Его арестовали, посадили в военную тюрьму, потом в сумасшедший дом.

Он был молодым одаренным поэтом: его стихи хвалили Рильке, Томас Манн. Он мог бы писать и, если уж время выпало такое, в стихах прославлять революцию. А он выбрал другое — стал одним из руководителей баварской революции, заместителем председателя Центрального Совета рабочих и солдатских депутатов. Критики часто говорили, да и поныне говорят, что у Толлера было недостаточно политической подготовки. Это бесспорно. Но у него был избыток совести — обременительное свойство, за которое его обладатели всегда расплачиваются.

Баварская Советская республика просуществовала всего несколько недель; в Мюнхен ворвались белые. За голову Толлера была обещана крупная награда; и его выдали. На суде он сказал: «Битва начата, и никаким штыкам, ника-

ким военно-полевым судам капиталистических правительств не задушить революцию!» Ему было двадцать шесть лет, и пять лет он просидел в Нидершенфельдской тюрьме. Я помню, с каким волнением мы глядели в Берлине пьесу Толлера, написанную им в тюрьме: это было письмо, переданное на волю.

Германская реакция в те годы побеждала повсюду: не только в Баварии, но и в Берлине, в Саксонии, в Гамбурге; слов нет, белый генерал Эпп умел лучше вести военные операции, нежели поэт Толлер. Можно пожалеть, что у баварцев не нашлось своего Щорса или Чапаева, но нелепо винить Толлера: он знал, что бой неравный и что впереди не почести, не власть, а расправа усмирителей. Его называли «сентиментальным революционером»; но ведь в революцию он пришел не из подпольных кружков, где годами обдумывали тактику, разрабатывали планы, а из поэзии; в политике он остался до конца своей жизни самоучкой.

Когда он вышел в 1924 году из тюрьмы, у него было крупное литературное имя; его пьесы шли в театрах различных стран. Может быть, их успех объяснялся не только художественными достоинствами, но и остротой тем; может быть, зрители порой аплодировали не тексту, а биографии автора; но Толлер не был в литературе ни самозванцем, ни случайным гостем. О нем тепло отзывались непохожие друг на друга писатели — Томас Манн, Горький, Ромен Роллан, Синклер Льюис, Фейхтвангер. Он мог бы засесть за работу и стать солидным, почитаемым всеми писателем. Но в нем жила вечная неуспокоенность. Солдатом революции он не стал, да и не мог стать, но продолжал партизанить; совесть оказалась сильнее привязанности к тысячам мелочей легкой и беззаботной жизни.

Он был очень сложным человеком; не будь у него редкого обаяния, наверно, он восстановил бы против себя всех; но противники неожиданно смягчались. Один очень придирчивый критик при мне говорил: «Но ведь это — Толлер! Что с него требовать?..»

Помню путаный и хороший разговор в Кордове. Перед этим мы долго бродили по городу; местный урбанист нам объяснял, что извилистые улицы старой Кордовы были запланированы опытными архитекторами — арабами и евреями: даже в июльский полдень на одной стороне улиц обязательно тень. Наш разговор начался с этого. Толлер восхищался: «Они думали о простых пешеходах!» Потом мы заговорили об отношениях между человеком и обще-

ством. Толлер усмехнулся: «Я написал об этом несколько слабых пьес. Может быть, я и не драматург, но меня тянет к театру — иллюзия действия... Репутацию создать легко. Ибсен это замечательно показал: «Враг народа» — честнейший человек... Но сколько честолюбцев, эгоистов, пустышек кричат о «правах личности»! Они путают карты... Нужно бороться за такое общество, где у каждого человека право и на солнце и на тень... Благодетели все предписывают оптом — солнце так солнце, тень так тень... Я видел, как власть, даже эфемерная, деформирует человека...» Он рассказывал смешные истории о своем прошлом, о немецких писателях и вдруг помрачнел: «Боюсь, что победят нацисты. Вы знаете, что это значит? Война...» Он вспомнил книгу о ласточках, которую написал в тюрьме: «Нет, я не о моих стихах. Но вы помните письмо рабочего, каменщика? Начальник тюрьмы отдал приказ уничтожить ласточкины гнезда, и рабочий, сидевший в соседней камере, написал, что ласточки их вьют с трудом, они вообще честные и трудолюбивые птицы. Конечно, письмо не переубедило начальника тюрьмы. Это крохотная картина войны: уничтожение гнезд... Страшно подумать о будущем!..»

В Испании он рассказал мне, что хочет написать пьесу: современный Дон Кихот и Санчо Панса в мире денег, спеси, тупости. Пьесы этой он не написал. Он говорил Фейхтвангеру, что работает над романом о Демосфене — человеке, который хочет отстоять культуру Эллады от варварства. Он не написал и романа. Его всегда лихорадило; он что-то начинал и бросал — слишком беспокойным было время, слишком отзывчивым сердце.

За границей Толлер постоянно защищал Советский Союз, даже когда ему что-либо у нас и не нравилось. У него были в Москве друзья, с ними он подолгу, откровенно беседовал. При последней встрече он сказал мне, что если есть у него надежда, то это — Москва.

В книге о своей юности, написанной в 1933 году — после прихода Гитлера к власти, — Толлер писал о своей любви к Германии; его признания сродни признаниям Тувима: «Разве я не люблю эту страну? Разве среди пышных ландшафтов средиземноморского побережья я не тосковал по скупым песчаным лесам с сосной, по тихим, затерянным озерам германского севера? Разве не захватывали меня в детские годы стихи Гёте и Гельдерлина?.. Немецкий язык — разве он не мой язык, язык, на котором я думаю и чувствую, не часть моего существа, не родина, вскор-

мившая и вырастившая меня?.. Во всех странах поднимают голову слепой национализм и смешное расовое высокомерие. Неужели я дам увлечь себя психозу наших дней?.. Слова «я горжусь тем, что я — немец» или «я горжусь тем, что я — еврей» кажутся мне такими же бессмысленными, как если бы человек сказал: «Я горжусь тем, что у меня карие глаза...»

Нет, он не поддался безумию эпохи: остался подлинным интернационалистом. Незадолго до трагической развязки, больной, отчаявшийся, он с каким-то исступлением собирал деньги на голодавших детей Испании, вырывал фунты или доллары у людей себялюбивых, равнодушных, собрал за короткий срок свыше миллиона долларов. Даже черствые люди мягчели, когда с ними говорил Толлер, — от него исходило добро.

Незадолго до начала испанской войны, в июне 1936 года, я был в Лондоне на собрании комитета Антифашистского объединения писателей. Толлер повел меня после заседания к себе; он жил в маленьком домике на окраине города. Как всегда, он был занят множеством неотложных и кропотливых дел, как всегда, окружен людьми и одинок, еще более одинок, чем в камере тюрьмы, — в этом он мне признался сразу. Я нашел его осунувшимся, помрачневшим. Его раздражало пренебрежительное, как ему казалось, отношение англичан и французов к немецкой эмиграции. Газеты писали о Гитлере если не благожелательно, то сдержанно, и Толлер сердито отчеркивал красным карандашом статьи, потом швырял газеты на пол. Он вдруг по-детски пожаловался, что в Лондоне очень холодно зимой, нельзя согреться, помню его слова: «Теперь на дворе зима длиннее, чем в Москве, длиннее, чем в Лапландии, — на десять или двадцать лет. Люди с крепкими корнями выдержат. А другие вымерзают один за другим...»

Толлер продержался еще три года. Я видел его в последний раз в Париже. На минуту мне показалось, что он выглядит лучше; он пробовал даже шутить. Тогда-то он и собирал деньги на испанских детей. Когда мы прощались, он спросил меня: «Вы спите без снотворного?.. Ужасно ночью — все видишь острее, чем днем... Ну, ладно... Скоро, наверно, увидимся. Я решил оставить Америку — слишком далеко, там нельзя даже заикнуться о том, что происходит на свете, — удивляются, рекомендуют невропатолога... До свидания!..»

Мы больше не встретились. Весной 1939 года в Нью-Йорке был конгресс пен-клубов. На парадном обеде Тол-

лер попытался растревожить всех, напомнил о судьбе Мюзама, Осецкого, Тухольского. Несколько дней спустя, 22 мая, он повесился в ванной комнате гостиницы.

Я вспоминаю Толлера и тихо улыбаюсь: добрый человек, друг, поэт, не только в книгах — в жизни. Я люблю его книгу стихов, написанную в тюрьме «Книгу ласточек».

Строители готических соборов,
гордитесь вы. Дробили камень бедняки,
и стеклодувы, полные тоски,
скрывали солнце горечью узоров,
и колокола отливали медью,
и к небу рвался свод, чтоб умереть, —
вы посвящали ваши камни смерти.
А ласточки, роняя свист и вздох,
из глины строят, прутиков, соломы
и жизни посвящают те хоромы —
земное счастье, теплое гнездо.

Толлер сам походил на ласточку, может быть на ту «одну», что прилетает слишком рано и не делает весны.

29

В 1931 году я дважды побывал в Берлине — в начале года и осенью. Ничего исключительного тогда не происходило; во главе правительства стоял умеренный католик Брюнинг; несмотря на кризис, жизнь внешне текла по-прежнему. Однако в моей памяти эти поездки остались сном нелепым и вместе с тем полным значения, который, проснувшись среди ночи, тщетно пытаешься распутать. Мне трудно связно рассказать о Берлине 1931 года; будет честнее, если я попытаюсь восстановить отдельные разрозненные картины, сами по себе не столь примечательные, но запомнившиеся; они объяснят, почему я рассказываю о тех поездках.

В купе сидит немолодой немец с выбритым затылком и стоячим воротничком; он читает пухлую газету. Я уже знаю, что он — коммивояжер, продает какие-то усовершенствованные блокноты. Я его спрашиваю, когда мы должны приехать в Берлин. Он достает из портфеля расписание: «В одиннадцать часов тридцать минут тридцать секунд». Потом он снова берет газету и тихо, бесстрастно говорит: «Это конец... Конец абсолютно всего...»

Издатель радикального журнала «Нейес тагебух» Шварцшильде угощает писателей ужином. Все как полагается: различные бокалы из хрусталя, хорошее вино, цветы, разго-

воры о последнем романе Фейхтвангера, о моратории Гувера, о коварных свойствах рейнских вин. Вдруг хозяин говорит, точь-в-точь как коммивояжер: «А знаете, скоро все кончится...»

Показывают фильм «На Западе без перемен» — по роману Ремарка. Нацисты возмущены: «Немецкие солдаты умирали молча, а герой фильма кричит, как поляк. Это клевета!..» Я уже видел этот фильм в Лондоне, но приятель уговаривает: «Сегодня нацисты собираются дать битву. Их встретят как надо...» Мы смотрим. Вдруг раздаются истерические крики. Зажгли свет. Никто никого не бьет; крики, однако, продолжаются. Публика уходит. Оказывается, нацисты выпустили в зале сотню мышей.

Владелец табачной фабрики говорит мне: «Я не знаю, кто победит — нацисты или ваши друзья. В общем, мне все равно — я давно перевел деньги в Цюрих. Я теперь увлекаюсь Ганди. Мне нравится Толстой. Но это не ко времени. Немцы хотят диктатуры, величия, а что внутри — не важно. Когда вы покупаете коробку моих сигарет, вы платите больше половины за упаковку... Гугенберг дает деньги на пропаганду против капитализма. Фарс? Нет, он знает немецкий характер... В Цюрихе я открыл маленькое отделение... Там хороший воздух, спокойно. Ромен Роллан писал о Ганди в Швейцарии, я его понимаю...»

Я провел несколько вечеров с Рудольфом (фамилию его я забыл). Это сотрудник «Роте фане», который прекрасно знает северные районы Берлина; он мне многое показал. Рудольф — сын таможенного чиновника-монархиста; был студентом, не доучился; жена его бросила. Политикой он увлекся еще в 1919 году — подростком; рассказал мне, как он повалил здоровенного нахала, который хотел перекричать Карла Либкнехта. Рудольф очень высокий, сухой, с большим кадыком и голубыми мягкими глазами. Говорит он газетными фразами, все время вставляет «возьмем факты», но меня трогает его голос: он верит в то, что говорит.

Рудольф мне объясняет: «Возьмем факты — семь миллионов безработных! Капитализм разваливается у всех на глазах. Все понимают, что их песенка спета. Ты знаешь, о чем они теперь мечтают? Познакомиться с сотрудником вашего торгпредства. Может быть, Москва что-нибудь купит... Вообще Москва в центре внимания. Ты видал, сколько переводов с русского? Вчера я с трудом купил билет на «Путевку в жизнь». Публика архибуржуазная, понятно — у рабочих нет денег. Эмиль Людвиг через две недели едет в Москву — решил написать книгу

о Сталине. Мне поручили анкету, я разговаривал с писателями, все идут к нам — Эрнст Глезер, Пливье, Оскар Мария Граф. Возьмем факты: в прошлом году мы собрали четыре миллиона шестьсот тысяч голосов, нацисты — шесть миллионов четыреста. Но сколько из голосовавших за них в решающую минуту пойдут за нами? Три четверти. Это ведь рабочие, они голосуют за нацистов потому, что ненавидят капитализм. Хорошо, что наше руководство учло настроения масс. Мы теперь выступаем с программой национального освобождения Германии. Рабочие-нацисты начинают к нам прислушиваться. Есть, конечно, оголтелые, но я убежден, что здоровый инстинкт победит. Нет, теперь не 1919-й! Когда ты снова приедешь в Берлин, ты увидишь другую Германию...»

Оскар Мария Граф толст, благодушен; у него наивные глаза ребенка. Он слушает споры и молчит. Мария Грессхеннер познакомила меня с новым автором «Малика»; зовут его Домеля. Он выдавал себя за принца Гогенцоллерна, попал в тюрьму и написал обо всем этом книгу. Мария рассказывает, каким успехом пользуется книга «Фальшивый принц». Автор посмеивается. Он словоохотлив — ему нравятся литература, революция и мужчины, к женщинам он равнодушен...

Курфюрстендамм сияет; здесь не скажешь, что на дворе кризис. В витринах магазинов изысканнейшие вещи. Дорогие рестораны и кафе переполнены. Писатель Вальтер Меринг, печальный шутник, повел меня в ресторан «Какаду». Столики под пальмами. Попугаи бодро роняют помет на тарелки. Снобы довольны: им кажется, что они на Таити. Заметив мое смущение, Меринг смеется: «Теперь вы видите, что немцы сошли с ума? Можете не есть, мы пообедаем в обыкновенном ресторане... Попугаи — это мелочь. Я думаю о том, как на нас посыплются бомбы... Но что можно сделать? Бьют стекла, пачкают стены, и это не босяки, это философы, каждый громила ссылается на Ницше. Попугаи тоже философы». Кругом нас говорят о делах, о театральных премьерах, о светских скандалах, о чем угодно, только не о политике. Меринг стучит ножиком о стакан — пора уходить; и попугай старческим голосом раздраженно повторяет: «Счет! Счет!»

Случайно я встретил левого журналиста, с которым познакомился четыре года назад на съемках «Жанны Ней». Тогда он зло высмеивал националистов, называл Гугенберга «глупым мамонтом». Он пошел в гору: заведует литературным отделом большой газеты; постарел, прихра-

мывает. Заговариваем о политике. «Все не так просто. Мы многого недооценили... Конечно, среди нацистов имеются темные элементы, но в целом это здоровое явление...» Мой приятель потом рассказывает, что у журналиста неприятности: в нацистской газете была заметка, где говорилось о его прошлом — он не случайно клеветал на Людендорфа, его мать еврейка и у него больные ноги, а это верный признак еврейского происхождения. Журналист теперь занят генеалогией: собирает документы, подтверждающие чистокровность всех его предков.

Северная часть города не похожа на Курфюрстендамм: здесь кризис виден на домах, на одежде людей, на лицах. Дуют холодные ветры с Балтики; приближается зима. Много бездомных; они спят в различных ночлежках, некоторые на улице; последнее запрещено, но есть глухие аллеи Тиргартена, пустыри, подвалы. Большая витрина закусочной возле Александерплац; выставлены различные яства — картошка с салом, колбасы, свиная нога. («Колоссально! Всего пятьдесят пять пфеннигов!») Люди подолгу стоят у витрины, смотрят. Некоторые входят и что-то быстро проглатывают.

Один безработный рассказал мне, что получает пособие — девять марок в месяц. К счастью, он одинок. Койка в ночлежке стоит пятьдесят пфеннигов; приходится большей частью ночевать на улице. «У нацистов дают бесплатно суп с мясом, товарищи говорят, что там хорошо, но мне противно...»

Берлин стал эдемом международных педерастов: здесь ничего не стоит раздобыть привлекательного юношу. По вечерам в пассаже Унтер-ден-Линден, в Тиргартене, около Александерплац бродят молодые безработные; на многих короткие штанишки; они стараются кокетливо улыбаться. Платят им одну-две марки. Я разговорился в закусочной с одним из этих парней. Он рассказал, будто в Берлине живет принц Гогенцоллерн, не фальшивый, а настоящий. Увидев юношу, который ему нравится, он его бьет хлыстом, а избив, дает десять марок. Возле дома, где живет принц, бродят юноши — ждут счастья...

Я пошел на собрание нацистов; происходило оно в пивной. Глаза ел дым дешевых сигар. Какой-то нацист, размахивая большими руками, долго кричал, что немцам надоело голодать, что хорошо живут только евреи, что союзники ограбили Германию, нужно расколотить французов и поляков. В России тоже хозяйничают евреи, — значит, придется всыпать и русским. Гитлер покажет миру, что

такое немецкий социализм... Я разглядываю посетителей. Одни пьют пиво, другие сидят перед пустыми столами. Много рабочих, и от этого нестерпимо больно. Конечно, я знал и прежде, что среди нацистов немало рабочих, но одно дело прочитать об этом в газете, другое — увидеть. Разве скажешь, что этот пожилой рабочий — фашист? Хорошее печальное лицо, видно, что ему не сладко. А тот, молодой, похож на товарища, которому Рудольф поручил раздать листовки...

Штаб нацистов — в пивной «Берлинер киндль». На соседней улице другая пивная; там собираются коммунисты. Меня туда привел Рудольф. Протертые бархатные диваны, на стенах оленьи рога; обыкновенная пивнушка...

Я шел с Рудольфом по глухой улице Нордена. Он что-то досказывал: «Возьмем факты...» Вдруг раздались выстрелы. Рудольф подбежал, крикнул: «Вебер!..» Нацисты застрелили рабочего-коммуниста. Потом не спеша пришел полицейский. Вызвали машину. Долго составляли протокол; я стоял в стороне — ждал Рудольфа. Прибежала старая женщина, громко плакала. Ночь была темной; ветер срывал кепки, последние листья деревьев.

Я вернулся в Париж мрачный: буря надвигалась. В газетной статье я писал: «Капитализм слишком долго, слишком отвратительно разлагается. Гангрена успела поразить живые части тела... Редко история знавала трагедию, равную трагедии германского пролетариата. Сжав зубы от отвращения, он отливал пушки и умирал под Верденом. Женщины рожали дегенератов, слепых, слабоумных. Когда он потребовал права на жизнь, его сумели разъединить, стиснуть... Рабочих снова приучили к нужде и безысходности. Увидав, что они больше не верят социал-демократическим полицейским, из них стали вербовать фашистских погромщиков. Осквернили не только их тело — их душу. Расплата отодвинута, но эта расплата будет жестокой — история умеет мстить».

30

Четверть века назад в «Книге для взрослых» я писал: «В 1931-м мне исполнилось сорок лет. Этот год показался мне обычным. Теперь я вижу, что он позволил мне жить дальше... Это было приготовительным классом новой школы, в нее я записался на пятом десятке».

Я рассказал об Испании и о поездках в Берлин, о долгих блужданиях по северным районам Парижа с фотоап-

паратом. Могу добавить, что побывал в Праге, в Вене, в Швейцарии, был на заседании Лиги Наций, глядел на Бриана, который то и дело опускал свои мясистые тяжелые веки, слушал спор между немецким министром Курциусом и поляком Залесским. Все говорили о разоружении, и все понимали, что дело идет к войне.

Люба сняла маленькую квартиру на улице Котантен. Квартира была на первом этаже, и два наших пса не должны были проходить мимо консьержки, а хитрец Бузу научился выпрыгивать один на улицу. Мы перед этим пошли в воскресенье на улицу Котантен и восхитились тишиной. А переехав, мы ужаснулись: ночью да и рано утром по улице непрерывной цепью двигались грузовики: везли с товарной станции Вожирар, где я в годы войны работал, бидоны с молоком. Впрочем, люди ко всему привыкают, и вскоре мы не слышали ни грохота, ни звона.

В начале года я кончил книгу о кинопромышленности «Фабрика снов». Словом, год был, как я писал, скорее обычным. Однако он действительно многое изменил в моем отношении к людям и к жизни.

Передышка, подаренная мне, как и всем людям моего поколения, подходила к концу. Еще не было бурь, но штиль уже казался неестественным. Друзья, приезжавшие из Советского Союза, рассказывали о раскулачивании, о трудностях, связанных с коллективизацией, о голоде на Украине. После поездок в Берлин я понял, что фашизм наступает и что его противники разъединены. Экономический кризис продолжал обостряться. Лишения, унижения, голод не всегда способствуют разумным решениям: фашисты вербовали в свои отряды не только обнищавших лавочников или хорохорившихся подростков, но и отчаявшихся, сбитых с толку безработных.

Я недаром занимался королями нефти, стали или спичек: я знал, что, будучи более или менее просвещенными и брезгая общением с фашистами, они обильно снабжают различные фашистские организации деньгами. Страх перед революцией оказался сильнее не только унаследованного свободомыслия, но и простого благоразумия. В Нюрнберге судили маньяков, а виновата была вся правящая верхушка общества. Может быть, некоторые из тех, кто потакал фашистам, поддерживал их, потом и плакали над сожженными книгами, расщепленными городами, погибшими близкими. Фашизм пытались выдать за приблудного незнакомца, случайно затесавшегося в благопристойные, цивилизованные страны. А у фашизма были щедрые

дядюшки, любвеобильные тетушки, некоторые из них здравствуют и поныне.

Бой был неминуем: дипломаты знают зоны разъединения, нейтральные или буферные государства; а я понимал, что между нами и фашистами нет даже узенькой полоски «ничьей земли».

Возможно, что в прошлом бывали эпохи, когда художник мог отстаивать человеческое достоинство, не расставаясь ни на час с искусством. Наше время требовало от любого человека не вдохновенного костра, а повседневных жертв или отречения.

Бог ты мой, сколько раз в жизни я отвечал на стандартные вопросы анкет! Теперь я хочу рассказать не о поступках, не о поездках, даже не о книгах, а о себе. До сорока лет я не мог найти себя — петлял, метался.

Вероятно, я не прав, относя все к характеру эпохи. Я ведь встречал писателей, которые целиком выражали свои мысли, чаяния, страсти в книгах, — Томаса Манна, Джойса, Вячеслава Иванова, Валери. Конечно, они многим в жизни увлекались, от многого отшатывались, но орудиями действия для них были романы или стихи. Таким был и Бальзак, хотя он мечтал стать депутатом, писал политические памфлеты, разрабатывал проекты финансовых операций, чтобы освободиться от вечных долгов: все это оставалось зыбью на поверхности, загорался он, только говоря о героях своих романов. А для его современника Стендаля литература была одной из возможных форм участия в жизни, он воевал, увлекался политикой, страстно влюблялся, жил не для того, чтобы лучше узнать страсти других, а для того, чтобы жить.

По-разному бывают скроены не только великие, но и малые писатели. После «Хулио Хуренито» я стал профессиональным литератором. Писал я очень много; сейчас подсчитал, и даже неловко признаться: с 1922 по 1931 год я написал девятнадцать книг. Поспешность диктовалась не честолюбием, а смятением; изводя бумагу, я изводил самого себя.

Никогда меня не удовлетворяло созерцание, мне хотелось не только размышлять над судьбами вымышленных персонажей, но и самому походить на них. А между тем в то десятилетие, которому посвящена третья часть моей книги, я слишком часто оказывался в роли если не наблюдателя, то болельщика.

В 1931 году я почувствовал, что я не в ладах с самим собой. Я задумался над недавним прошлым и, пока ноч-

ные грузовики грохотали, звенели, настойчиво спрашивал себя, как мне дальше жить.

Может показаться странным, что такие вопросы ставил себе не зеленый юноша, который, оборванный и голодный, блуждая по парижским улицам, писал стихи о светопреставлении, да и не тот, растерянный, но вместе с тем задорный молодой интеллигент, которого А. Н. Толстой называл «мексиканским каторжником» и который рассказывал девушкам похождения еще не написанного «Хуренито», а сорокалетний литератор, начинавший седеть. Но я уже говорил, что в нашу эпоху, когда события разворачиваются с ошеломляющей быстротой, многие люди складываются медленно. Герцену было сорок лет, когда он сел за «Былое и думы» и начал подводить итоги своей жизни: он никогда не глядел на события из зрительного зала, был актером всех трагедий, которые шли в его время.

Может быть, столь длительные поиски себя объяснялись и тем, что я жил в двух различных мирах, молодость провел в Париже, к началу революции мои вкусы, привязанности, отталкивания успели сложиться. Может быть, сказался и характер: я всегда испытывал необходимость проверить то, что многим казалось таблицей умножения.

Конечно, если говорить о пути писателя, я не изменился за один год. В предисловиях к моим книгам в двадцатые годы неизменно указывалось, что, хотя я «опустошенный циник» и «нигилист», меня стоит издавать, потому что я хорошо изображаю «гниение капиталистического мира». В «Хуренито» я действительно искренне высмеивал клерикалов и радикалов, фанатичных коммунистов и ручных социалистов, французских жуиров и русских интеллигентов с их угрызениями совести; но мало-помалу я начал отходить от такого подхода к людям. Вероятно, в этом сказался возраст: исчезла жесткость, свойственная молодости. Мне становилось все труднее и труднее жить одним отрицанием: хотелось найти за глупыми или дурными поступками людей нечто настоящее, человеческое. (Это редко мне удавалось, но я ведь говорю не о литературных достоинствах, а о своих намерениях.)

Однако главным для меня в 1931 году был не подход к персонажам романов. Я мало думал о том, как написать следующую книгу; я спрашивал себя, как мне дальше жить, чтобы годы были не пометками на полях жизни, а самой жизнью.

Каждый человек особенно близко принимает к сердцу те вопросы, которые относятся к его работе, и, конечно

же, меня волновали судьбы литературы, искусства. Маяковского больше не было. Громче других раздавались голоса рапповцев. Выставки были заполнены огромными полотнами ахрровцев. Эпоха дерзаний и чудачеств была позади.

Революция приобщила к культуре народ, и естественно, что люди, впервые бравшие в руки роман или впервые приходившие на выставку, не очень разбирались в мастерстве; порой подделка под искусство их восхищала. Новых читателей, зрителей можно было воспитывать, можно было и льстить им, говорить, что они — высший суд. Льстецы, разумеется, нашлись.

Стихотворцы сочиняли стихи на случай. Литературная энциклопедия объясняла, что путь идет к производственному роману, который заменит все прочие жанры. Намечался тот стиль, который господствовал в течение четверти века: стиль украшательской архитектуры, тех станций метро, где тесно от статуй; неустанных славословий и сатиры, скромно обличающей нерадивого управдома или подвыпившего эстрадника. Конечно, в 1931 году все это было еще в эмбриональном состоянии. Однако уже появились первые портреты и статуи человека, который, может быть, тогда и не догадывался, что он станет не только объектом, но и создателем «культа личности». Все это сопровождалось тщательным упрощением; та же Литературная энциклопедия писала, что «Гамлеты бесполезны массе» и что пролетариат «бросает Дон Кихота в мусорную яму истории».

В начале 1932 года я написал неудачную повесть «Москва слезам не верит». Один из ее героев, советский художник, в прошлом участник гражданской войны, прочитал в московской газете заметку о выставке живописи, подписанную инициалами О. Б.: «Пейзажи Чужакова показывают, что он окончательно оторвался от масс. Это типичное искусство деклассированного отщепенца, которое нужно десяти — двадцати дегенератам буржуазной богемы». Художник размышляет (и его мысли были мыслями автора повести): «Десяти — двадцати... Допустим... А вот «АХРР» — десяти тысячам?.. Значит, прикажете халтурить?.. Кстати, тот же Рембрандт, скольким он при жизни нравился?.. А теперь экскурсантов загоняете — стой и просвещайся!.. Гражданин О. Б. ...Или, может быть, вы гражданка? Да я не об этом... Я ведь знаю — у вас все поделено: с бабой — как придется, а статейки пописываете — комар носу не подточит. Расход и приход — просят

не смешивать. Картины вы, конечно, не пишете — отсталое это дело — и вообще порадовать никого не можете. Если вы — гражданин, сомневаюсь, можете ли вы порадовать гражданку О. Б. или Б. О. Впрочем, и не в этом суть. Послушаем чижей. Они поют, как дегенераты. Оторвались, скажете, от масс? А горловые связки? Ах, О. Б., они поют потому, что поется. Им веселее, и мне, а не хочешь, не слушай. Разве я настаиваю на моих картинах? Могу опять потесниться... Если вы, О. Б., высчитали, что мои картины не нужны, пожалуйста, могу, например, стены белить. Я ведь сговорчивый. Только на живописи не настаивайте. Это особая статья. Чижи поймут, а вам невозможно... Дураки думают — дважды два, всем по бифштексу, и никаких искусств. А искусство только тогда и начнется — после бифштекса, загрызет оно — не четыре, голубчик, а пять. Или двадцать пять... Пусть какой-то О. Б. и не понимает ни черта в живописи, пусть таких О. Б. тысячи, миллионы — что же, тогда надо расстаться с кистями. Найду для себя другое дело — по времени. Проживем и без картин. А пройдет десять лет... Ну, не десять — сто — какая разница? — тогда поймут...»

Помню длинный разговор с молодой француженкой, актрисой Дениз. Мы говорили о гастролях Мейерхольда, о портрете бабушки Дениз, писательницы Северин, написанном Ренуаром, о стихах Десноса, об искусстве: ничего не поделаешь — рыбе нужна вода... И вдруг я признался: «Все это так, Дениз, но сейчас дело не в искусстве... Десять лет назад я доказывал, что искусство умирает, мы тогда верили, что старые формы износились — романы, станковая живопись, рампа. Все это было вздором. Теперь начинается реакция... Но можно не писать романов... Я все давно выбрал... Да я и не выбирал — выбора нет...»

Я о многом думал по ночам: о гуманизме, о цели и средствах. Не дурные картины меня тревожили, да и вообще искусство было только частицей в загадках завтрашнего дня, — речь шла не о художественном направлении, а о судьбе человека.

В библиотеке можно не брать книгу, которая не по душе, можно взять по ошибке и вернуть, не прочитав. А жизнь не библиотека... В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять свое место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что мне было дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук — молчанию. Критики, которые обо мне писали, указывали на

1933 год как на дату поворота: они знали книгу «День второй». А я знаю, почему я поехал в Кузнецк, — все было додумано в 1931 году, не перед котлованами строек, а на улице Котантен, под ночное звякание бидонов..

31

Весной 1932 года в Париж приехали драматурги В. М. Киршон и А. Н. Афиногенов. Я их водил по Парижу и рассказывал о достопримечательностях города. Они, в свою очередь, меня посвящали в достопримечательности нашей литературы. Оба были окрылены успехом: в десятках театров шли «Хлеб» Киршона и «Страх» Афиногенова. Однако больше, чем своими произведениями, они гордились победами РАППа. По их словам, РАПП объединил всех «настоящих» советских писателей. Киршон повторял: «Мы столбовая дорога нашей литературы». (Я не знал тогда, что это выражение принадлежало А. А. Фадееву.) Александр Николаевич Афиногенов был очень высоким, скромным, он улыбался и поддакивал словам Киршона. Владимир Михайлович проповедовал, обличал, саркастически усмехался. Он сказал мне: «Пора вам пересмотреть свои позиции...» Я признался, что свои позиции пересмотрел. «Тогда напишите заявление — вступайте в РАПП». Я ответил, что литературные принципы рапповцев меня мало увлекают и что по столбовым дорогам люди ездят — раньше их везли лошади, теперь — моторы, а писатели по своей природе пешеходы, каждый может идти к общей цели своим путем. Афиногенов улыбнулся: «Оставь его! Может быть, он и прав...»

Мы сидели на камнях старых арен Лютеции. День был жаркий, и, несмотря на утренний час, мы забрались в тень. Я развернул газету: «Телеграмма из Москвы — распустили РАПП...» Мне это сообщение показалось несущественным, ведь сколько раз менялись вывески различных писательских организаций; да и вообще меня интересовала литература, а не литература о литературе, я тогда еще не знал, что такое «оргвыводы». Киршон вскочил: «Не может быть! Выдумки! Какая это газета?..» Я ответил: «Юманите». Мы собирались посмотреть рабочие районы; но Киршон сказал, что им нужно в посольство. Через день или два они уехали в Москву, хотя рассчитывали остаться дольше.

Я понял, что ликвидация РАППа — дело серьезное, и приободрился: может быть, и впрямь в Москве поняли,

что шоссе нужно прокладывать для автотранспорта, а писателям предоставить право идти каждому своей писательской тропинкой?..

Однако передо мною стоял вопрос: как подойти ближе к жизни, к действию, к борьбе?

В мае ко мне неожиданно пришел сотрудник «Известий» С. А. Раевский; он сказал, что главный редактор и П. Л. Лапинский, с которым я часто встречался в годы войны, предлагают мне стать постоянным парижским корреспондентом газеты. У «Известий» имелся корреспондент — Садуль, бывший в 1917 году членом французской военной миссии в России и перешедший на сторону революции. Стефан Александрович сказал, что Садуль останется на своем посту; но он — француз и недостаточно знает советских читателей. Я должен писать очерки и, если события потребуют, передавать по телеграфу информацию.

Предложение застало меня врасплох: я слишком долго жил не связанный никакой регулярной работой, привык располагать своим временем. Конечно, журналистика меня привлекала: хотелось делать нечто живое; но я боялся, что не справлюсь.

Я пошел к нашему послу В. С. Довгалевскому, с которым у меня установились дружеские отношения. Это был человек добрый, участливый; разговаривая с ним, я забывал, что он — официальное лицо, посол, а я писатель, не то «правый попутчик», не то «прогнивший циник». Валериан Савельевич превосходно знал Францию; старый большевик, он был политэмигрантом, учился в Тулузе. Французы его ценили; не раз я встречал в посольстве Эррио, который приезжал поговорить с Довгалевским, иногда и посоветоваться. (Умер Довгалевский в сорок девять лет от рака. Я тогда горевал, а после не раз думал, что смерть оградила его от многих испытаний.) Валериан Савельевич уже знал о предложении «Известий» и сразу сказал: «Очень хорошо, здесь и думать не о чем...» Уговорить меня было нетрудно: я ведь мечтал ринуться в бой.

Около восьми лет я исполнял обязанности корреспондента «Известий» — в Париже, потом в Испании, снова в Париже — вплоть до германо-советского пакта; написал сотни очерков и статей, посылал информацию; порой заметки шли без подписи, порой я подписывал их псевдонимами. Я научился писать на машинке латинскими буквами для телеграфа; хрипел и терял голос, диктуя статьи по телефону. К рассказам о газетной работе мне придется вернуться еще не раз; теперь я только хочу сказать, что вспоми-

наю ее с благодарностью; конечно, она отняла много времени, но позволила многое увидеть, узнать различных людей. Да и для писательского ремесла она была хорошей школой; я научился писать коротко — приходилось все время думать, как сэкономить расходы газеты: письма шли долго, почти все статьи я передавал по телефону или по телеграфу. (Сжатость, короткие фразы привлекали меня и прежде. Мне хотелось писать, как я думал, — без придаточных предложений. Критики меня ругали за «телеграфный стиль», а я считал, что такая речь отвечает не только моим чувствам, но и ритму времени.)

Почти никого не осталось в живых из моих товарищей по работе в «Известиях»... В годы войны, в седьмом отделе одной из армий, меня поразил голос женщины — старшего лейтенанта: он мне показался хорошо знакомым, а лицо было чужим. Мы разговорились. Старший лейтенант работала стенографисткой в «Известиях», когда я ежедневно передавал статьи или сообщения из осажденного Мадрида. Слышимость была плохая, стенографистка то и дело просила: «Не слышно... по буквам...» Я кричал: «Борис, Ольга, Иван...» Иногда со мной хотел поговорить заведующий иностранным отделом, и стенографистка, чтобы нас не разъединили, говорила: «В Москве чудесная погода» или «Ваша дочь вам передает привет». Все это шло под аккомпанемент артиллерии. И вот я встретил знакомую незнакомку, с милым, задушевным голосом, возле Брянска, когда шел артиллерийский бой...

Вернусь к 1932 году. Я начал хлопотать о том, чтобы французские власти меня признали как корреспондента «Известий». Меня вызвали в министерство иностранных дел. Я думал, что со мной хотят разговаривать сотрудники, которым поручена связь с иностранной прессой; но меня отослали в знакомый мне по визовым мытарствам «контроль иностранцев». Там работали не дипломаты, а полицейские, и разговаривали они отнюдь не вежливо. Я увидел на столе огромную папку, на которой значилось: «Илья Эренбург». Чиновник поспешил мне объяснить, что я известен ему с плохой стороны, что корреспондент большевистской газеты будет находиться под особым наблюдением и что при любой попытке нарушить правила я буду выслан из Франции.

Месяца два спустя мне довелось беседовать уже не с полицейскими, помещавшимися в здании министерства иностранных дел, а с настоящими дипломатами. Было это в Москве: меня пригласил на завтрак французский посол

Дежан. Среди гостей оказался атташе польского посольства. Дежан посадил рядом с собой Любу и вел с нею вполне мирные разговоры о достоинствах различных французских сыров. А советник посольства (не помню его фамилии) начал меня расспрашивать, что я видел во время моей поездки (я перед этим ездил в Бобрики). Моим рассказом он остался явно недоволен: «Вы отвечаете официально, а мы хотели бы поговорить откровенно. Ведь все знают, что пятилетка провалилась...» Польский атташе подхватил: «Особенно строительство в Бобриках...» Я рассердился: где же дипломатическая вежливость — пригласить на завтрак и вести провокационные разговоры! Я даже не мог оценить вина или сыры. Кофе мы пили в соседнем салоне. Советник посольства неожиданно раскрыл том Малой Советской Энциклопедии и торжествующе начал читать (по слогам, не вполне разборчиво), что там написано про меня. Вспомнив этот эпизод, я теперь раздобыл книгу, вот короткая цитата: «Вскормленный деклассированной богемой, Эренбург остроумно высмеивает западный капитализм и буржуазию, но не верит в творческие силы пролетариата. Утверждая бессилие научно-социалистической планировки жизни перед лицом стихийного биологического начала человека и пророча бессилие коммунистических планов перед лицом стихии собственничества, Эренбург выступил как один из наиболее ярких представителей новобуржуазного крыла литературы». Статья была подписана одним из руководителей покойного РАППа.

Я вдруг понял, почему советник посольства рассчитывал, что я буду ему рассказывать о провале строительства, понял и засмеялся. Я не стал объяснять, что автор заметки — рапповец и что РАПП недавно распущен: для французов энциклопедический словарь — это справочник: написано, что Жоффр выиграл битву на Марне, что корова жвачное животное, что Анатоль Франс обладал превосходным стилем, а также иронией, — и все это бесспорно, по крайней мере, на жизнь одного поколения. Советник, прочитав, что я — представитель новобуржуазной литературы, решил, что представителю старобуржуазной дипломатии легко со мной сговориться. Как же ему было понять, что энциклопедический словарь пересматривает свои оценки от одного тома до другого?..

В 1932 году я думал, что ликвидирован не только РАПП, но и некоторый стиль литературной критики. Это было наивным, особенно для автора «Хуренито», всту-

пившего в пятый десяток. Вскоре я понял, что ошибался: один из наших критиков написал, что в моих книгах «проступают искаженные тревогой черты классового врага», и называл меня «литературным приказчиком буржуазии». В 1934 году вышел очередной том уже не Малой, а Большой Советской Энциклопедии, и там я прочитал: «Эренбург — типичный выразитель настроений той буржуазной интеллигенции, которая пошла за идеологами «сменовеховства». Как я говорил, восприятия притупляются: в первый раз я растерялся, в десятый рассердился, в сотый примелькавшиеся этикетки оставили меня равнодушным. Я понял, что беспорядочный огонь — одна из особенностей той войны, которая не вчера началась и не завтра кончится: артиллерия частенько бьет по своим. Это, конечно, нехорошо, но ничего тут не поделаешь; от снаряда человек может погибнуть, от обиды он только каменеет; своих убеждений от обиды, даже самой горькой, не переменишь и на сторону врага не перейдешь.

Я понял также, что дело не в моей путаной биографии, не в том, что я долго жил в Париже; столь же случайно, несправедливо, огульно поносили и некоторых других писателей, которые никогда не увлекались средневековьем, не были знакомы с Пикассо и проживали не на улице Котантен, а в московских переулках. Вот почему на Первом съезде советских писателей я мог с полной искренностью сказать: «Мне трудно себе представить путь писателя как ровное, гладкое, хорошее шоссе. Одно для меня бесспорно: я — рядовой советский писатель. Это — моя радость, это — моя гордость...»

32

В мае 1932 года Париж был потрясен неожиданным событием: некто Павел Горгулов, уроженец станицы Лабинской, среди бела дня застрелил президента Французской республики Поля Думера. Убийство было совершено накануне парламентских выборов, и правые газеты поспешили объявить, что Горгулов — большевик. Немедленно появился другой казак, по имени Лазарев, который подтвердил, что знает Горгулова как чекиста, работавшего под кличкой «Монгол».

«Известия» поручили мне осветить судебное разбирательство. У меня еще не было карточки журналиста. Выручил меня Семен Борисович Членов, который со всеми

был знаком. Председатель суда, один из крупнейших юристов Франции, Дрейфус, разрешил мне присутствовать на процессе в качестве его гостя. Я прошел через служебный ход и сидел не в зале, а позади судей.

Вечером, когда я выходил из помещения суда, меня арестовали: я не мог показать документа, который оправдывал бы мое присутствие на процессе. Меня отвели в префектуру, там подвергли издевательскому допросу и заперли. Я злился: не успею послать телеграмму в газету! Действительно, освободили меня только ночью, и отчет появился в «Известиях» на день позже.

Процесс продолжался три дня; все происходившее казалось неправдоподобным и страшным сном. Я говорил, что некоторые пытались выдать Горгулова за советского агента: «Москва хотела повергнуть Францию в анархию». Имелась и другая версия: Горгулов — агент французской полиции, убийство было организовано для того, чтобы обеспечить успех правых на выборах и сорвать намечающиеся переговоры с Москвой. На самом деле все было проще и сложнее. Преступление было совершено исступленным, отчаявшимся эмигрантом, находившимся на грани безумия. Три дня я глядел на Горгулова, слушал его страстные и нелепые выкрики. Передо мною был человек, которого мог бы выдумать в часы бессонницы Достоевский.

Горгулов был высокого роста, крепок; когда он выкрикивал путаные, сбивчивые проклятия на малопонятном французском языке, присяжные, по виду нотариусы, лавочники, рантье, испуганно ежились.

Его поступок был прежде всего необъясним. В двадцатые годы Каверда убил советского посла Войкова, Конради — Воровского. Горгулов застрелил французского президента Думера, человека правых воззрений, притом семидесятипятилетнего старика. Однако во всем этом была своя логика — ненависти и отчаяния.

На суде раскрылась биография убийцы. Он кончил в Праге медицинский факультет и работал по своей специальности в небольшом городке Моравии. Это было удачей — сколько русских эмигрантов стали чернорабочими или попросту нищенствовали. Но Горгулов был человеком, неспособным приладиться к скромному существованию в чужой стране. Повсюду ему виделись подвохи, унижения. Он считал, что чешские коллеги его затирают, начал пить, буянить, внес в быт чинного города разгул русского кабака.

Да и медицина его не увлекала. Еще в Ростовском университете он посещал литературный кружок. Он занялся поэзией. Одна немолодая, но экзальтированная чешка, с которой он случайно познакомился, поверила в его талант и дала деньги на издание книги. Горгулов выбрал многозначительный псевдоним — Бред. Я читал его книги; кажется, способности у него были, но работать он не умел, да и бредил неинтересно, повторно; его сочинения звучали как отголоски чего-то очень знакомого.

Одновременно он не расставался с политикой; вначале он считал себя социалистом, даже объяснял одному из министров Чехословакии, как отстоять демократию. Потом его увлек фашизм; он основал «национальную крестьянскую партию»; членов в ней не было, зато имелось красивое знамя — его вышили две русские танцовщицы, работавшие в ночном кабаре.

После нескольких скандалов чехи лишили Горгулова права врачебной практики, и он перекочевал в Париж; здесь он познакомился с Яковлевым, который торговал дамскими чулками и выпускал газету «Набат». Успехи Гитлера в те годы вдохновляли многих. Яковлев, Горгулов с десятком единомышленников по воскресеньям собирались в рабочем кафе Бильянкура, подымали руки вверх и кричали: «Русь, пробудись!»

Вскоре Горгулов рассорился с Яковлевым и выпустил программу новой партии. Он придумал также религию «натуризм», предлагал быть добрыми, любить природу. Одновременно он призывал вырезать всех коммунистов и евреев. Денег у него не было; он тайком лечил знакомых казаков, заболевших гонореей, и полученные за это франки тратил на издание то книги стихов, то политической листовки.

Он спрашивал себя, что ему делать дальше. Вот перечень его планов: переехать в Харбин, совершить на ракете межпланетное путешествие, убить Довгалевского, записаться в Иностранный легион, уехать в Бельгийское Конго, вступить в отряд гитлеровских штурмовщиков, подыскать богатую невесту.

Французская полиция узнала, что Горгулов незаконно принимает пациентов; у него отобрали вид на жительство. Он уехал в Монако. Сначала он попробовал выиграть в рулетку. Потом решил, что необходимо освободить Россию от большевиков — другого выхода нет. Он писал писателю Куприну: «Я одинокий одичавший скиф...»

Он ненавидел французов за то, что они ведут переговоры с большевиками, а его, честного казака, верного союз-

ника, выслали из Франции. Где-то он прочитал, что Колчака «предали французы». На стене его комнаты висел портрет Колчака. Горгулов написал на портрете две даты: день смерти русского адмирала и день предстоящей смерти французского президента.

Все последующее таково, что кажется действительно бредом. Горгулов приехал в Париж с двумя револьверами; пошел в собор, молился; потом выпил литр вина; опасаясь полиции — ведь у него нет вида на жительство, — выбрал третьеразрядную гостиницу, где сдают номера на ночь или на час, для отвода глаз взял с собой проститутку, вскоре ее отослал и всю ночь писал: проклинал коммунистов, чехов, евреев, французов. Потом вышел из гостиницы и убил Думера.

На него трудно было смотреть, он казался затравленным зверем. От него отрекались и Яковлев, и другие его единомышленники.

Помню страшную картину. Ночью, при тусклом свете запыленных люстр, судебный зал напоминал театральную постановку: парадные одеяния судей, черные тоги адвокатов, лицо подсудимого, зеленоватое, омертвевшее, — все казалось неестественным. Судья огласил приговор. Горгулов вскочил, сорвал с шеи воротничок, как будто торопился подставить голову под нож гильотины, и крикнул: «Франция мне отказала в виде на жительство!»

Я шел по ночной, пустой улице и думал о судьбе человека. Конечно, Горгулов не мог вызвать участия: скверная жизнь, дикое, бессмысленное преступление. Но я думал о том, что когда-то он был обыкновенным русским мальчонкой, играл на горячей пыльной улице в городки. Страшно, что перед смертью он не нашел других слов, кроме «вида на жительство» — будничной, житейской жалобы эмигранта! Почему он писал о любви к букашкам и хотел вырезать миллионы людей? Почему убил Думера? Почему должен был играть чужую роль в нелепой кровавой мелодраме? За три месяца до преступления он писал своему приятелю Яковлеву: «Во мне осталось только одно чувство — жажда мести». Он жил надеждой: «Только война спасет нас!» Я вспомнил, что Яковлев торгует женскими чулками... Под мирной зыбью европейской жизни проходили страшные течения.

Процесс Горгулова был для меня психологическим введением в тяжелое десятилетие. Слово «война» становилось привычным. Люди повсюду начинали втягиваться в новое, недоброе дело. Запахло кровью.

33

Летом и осенью 1932 года я много колесил по Советскому Союзу; побывал на строительстве магистрали Москва — Донбасс, в Бобриках, ставших потом Сталиногорском, в Кузнецке, ставшем потом Сталинском, в Свердловске, в Новосибирске, в Томске. Время было необычайное; вторично шквал потряс нашу страну; но если первый — в годы гражданской войны — казался стихийным, был тесно связан с борьбой между различными классами, с гневом, ненавистью, тоской, то коллективизация и начало строительства тяжелой индустрии, разворотившие жизнь десятков миллионов, были определены планом, неотделимы от колонок цифр, подчинены не взрывам народных страстей, а железным законам необходимости.

Снова я увидел узловые станции, забитые людьми с пожитками; шло великое переселение. Орловские или пензенские крестьяне бросали деревни и пробивались на восток: им говорили, что там дают хлеб, воблу, даже сахар.

Комсомольцы, охваченные восторгом, отправлялись на Магнитку или в Кузнецк; они верили, что стоит построить заводы-гиганты — и на земле будет рай. В январские морозы железо жгло руки. Казалось, люди промерзли насквозь; не было ни песен, ни флагов, ни речей. Слово «энтузиазм», как многие другие, обесценено инфляцией; а к годам первой пятилетки другого слова не подберешь, именно энтузиазм вдохновлял молодежь на ежедневные и малоприметные подвиги.

Многие рабочие относились к заводам любовно; они звали домну «Домной Ивановной», мартеновскую печь — «дядей Мартыном». Я спросил одного втузовца, как он представляет себе Париж. Он ответил: «В центре, наверно, огромные заводы, а люди живут вокруг в больших домах, и сообщение хорошее — сотни трамваев...» Он пришел в Новосибирск из деревни, и ему казалось, что города растут вокруг заводов, однако он читал Гюго и спросил меня: «Где же там собор Богоматери?..»

Конечно, среди строителей были разные люди. Приезжали циники, авантюристы, летуны, они кочевали в поисках, как тогда говорили, длинного рубля. Крестьяне недоверчиво глядели на машины; когда рычаг отказывал, они сердились, как на упрямую лошадь, часто портили машины. Если одних подгоняли высокие чувства, то другие напрягались в надежде получить килограмм сахара или отрез на брюки.

Я увидел эшелоны спецпереселенцев — это были раскулаченные, их везли в Сибирь; они походили на погорельцев. Плакали грудные дети, у матерей не было молока. Везли также подмосковных огородников, мелких спекулянтов с Сухаревки, сектантов, растратчиков.

В Ташкенте и в Рязани, в Тамбове и в Семипалатинске вербовщики набирали землекопов, мостовщиков, крестьян, убегавших после коллективизации из деревни.

Я попадал в деревни, где трудно было найти мужчину, — женщины, старики, дети. Многие избы были брошены. Женщины гудели, как растревоженный улей.

Томск был беден, запущен. Заборы разобрали на топливо; тротуаров не было. Люди побойчее уехали в Новосибирск, в Кузнецк. Лишенцы прятали от прохожих лампадки перед иконами. Чай пили без сахара. В буфете продавали «Славянскую воду» и картонные коробки для конфет.

Бурно росли некоторые города. Заштатный Новониколаевск превратился в шумный Новосибирск. Дома напоминали выставочные павильоны. В ресторане при гостинице люди ночь напролет хлестали водку. Вокруг города пришельцы строили лачуги, рыли землянки; они торопились — впереди была суровая сибирская зима. Новые поселки называли «Нахаловками». Жители острили: «В Америке небоскребы, а у нас землескребы» — это было задолго до высотных зданий.

Жизнь была трудной; все говорили о пайках, о распределителях. В Томске черный хлеб походил на глину; я вспомнил двадцатый год. На рынке продавали крохотные замызганные кусочки сахара. Профессора между лекциями становились в очереди. Магазины «Торгсина» соблазняли мукой, сахаром, ботинками; но там нужно было расплачиваться золотом — обручальными кольцами, припрятанными царскими монетами. В Кузнецке приезжавшие сразу спрашивали: «Мясо дают?» Тифозный корпус больницы был переполнен: сыпняк снова косил людей. В Томске я видел, как жена профессора варила мыло. Все напоминало тыл войны, но тыл был фронтом: война шла повсюду.

Огромное полотно было написано двумя красками — розовой и черной; надежда жила рядом с отчаянием; энтузиазм и злоба, герои и летуны, просвещение и тьма — эпоха одним давала крылья, других убивала.

На строительстве магистрали Москва — Донбасс было собрание. Один землекоп, в бараньей шапке, с обветренным лицом, говорил: «Да мы во сто раз счастливее проклятых капиталистов! Они жрут, жрут и дохнут — сами не знают, для чего живут. Такой прогадает, смотришь —

повесился на крюке. А мы знаем, для чего мы живем: мы строим коммунизм. На нас весь мир смотрит...» Я пошел с ним в столовую. При входе в барак отбирали шапки; выдавали их, когда рабочие сдавали ложки. Шапки валялись грудой на земле; каждый долго разыскивал свою. Я попробовал объяснить заведующему, что это обидно, да и глупо — люди зря тратят время. Он посмотрел на меня пустыми глазами: «За ложки я отвечаю, а не вы».

В Кузнецке я встретил начальника цеха. Он рассказал, что восемь лет назад пас в деревне гусей. Его считали талантливым инженером. Он прочитал «Кара-Бугаз» Паустовского и с жаром говорил о стиле.

Я долго разыскивал в старом Кузнецке дом, где жил когда-то Достоевский, наконец нашел; женщины сердито ответили: «Нет здесь такого...» Школьники объяснили, что они знают много писателей: Пушкина, Горького, Демьяна Бедного, а Достоевского не проходили.

Крестьяне в селе возле Томска рассказывали: «Приехал один, говорит: «Кто хочет строить социализм, пожалуйста, иди добровольно в колхоз, а кто не хочет, пожалуйста, полное у него право. Только я скажу прямо: с такими у нас один разговор — душу вон, кишки на телефон». В той же деревне я познакомился с девушкой; она после работы читала «Цемент», говорила: «Очень трудно все понять, но я учусь. Я в город поеду. Теперь, если хочешь учиться, все тебе открыто. Такая я счастливая, что не скажешь!..»

По ухабам Новосибирска прыгали новенькие автомобили. В Кузнецк привезли изумительные машины. А строили завод-гигант чуть ли не руками. Были мощные экскаваторы, но я видел, как люди таскали землю на себе. Не хватало кранов, и один молодой рабочий сконструировал деревянный кран. Незадолго до моего приезда рухнули леса, люди упали в ветошку и задохлись. Их хоронили с воинскими почестями.

В Кузнецке работали двести двадцать тысяч строителей. Начальник строительства, старый большевик С. М. Франкфурт, был одержимым, иначе не скажешь, он почти не спал, ел на ходу; нужно было то расследовать причины очередной аварии, то успокоить летунов, которые бросили работу с криком «даешь спецуру», то разместить прибывших самотеком казахов. В его комнате я увидел акварель — Париж в сумерки (Сергей Миронович до революции был политэмигрантом). О начальнике строительства в те годы много писали; после тридцать седьмого имя Франкфурта исчезло. (Недавно я узнал о его судьбе. По

окончании строительства в Кузнецке Орджоникидзе его послал на новую стройку в Орск, и там он был арестован в 1937 году вместе с пятьюдесятью восемью сотрудниками. На заседании (конечно, закрытом) Военной коллегии Сергей Миронович сказал: «Я был большевиком и умру большевиком»; эти слова запротоколировали. В 1956 году С. М. Франкфурта посмертно реабилитировали.) Главный инженер И. П. Бардин был человеком большой культуры; в молодости он работал в Америке; следил за развитием техники. Он понимал, что задача, возложенная на него, трудна, более того — невыполнима, и знал, что он ее выполнит. При одной из аварий Иван Павлович сломал ногу; быстро, однако, встал с койки и возобновил работу. Мне он показался человеком мягким и хмурым.

Города еще не было, но город разрастался. В бараках показывали фильмы. Открылись распределители, столовые для иностранных специалистов. Начали приезжать из Москвы актеры.

Мою книгу о Кузнецке я начал так: «У людей были воля и отчаяние — они выдержали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали и падали. Десятник Скворцов привез легавого кобеля. По ночам кобель выл от голода и тоски; он вскоре сдох. Крысы пытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку; густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловито клопы. Таракан, догадавшись, что ему не найти другого корма, начал кусать человека».

Иностранные специалисты, работавшие в Кузнецке, говорили, что так строить нельзя, нужно было прежде всего провести дороги, построить дома для строителей; да и состав текучий, люди не умеют обращаться с машинами; вся затея обречена на провал. Они судили по учебникам, по своему опыту, по психологии людей, живущих в спокойных странах, и никак не могли понять чужой им страны, ее душевного климата, ее возможностей. Я снова увидел, на что способен наш народ в годы жестоких испытаний. Люди строили заводы в таких условиях, что успех казался чудом, как чудом показалась старшему поколению победа в гражданской войне, когда блокированная, голодная, босая Россия разбила интервентов.

Несмотря на трудности, казалось бы непреодолимые, цехи заводов быстро подымались. Среди котлованов пооткрывались кинотеатры; устроили школы, клубы. В 1932 году в Кузнецке еще нельзя было сделать шага, чтобы не

попасть в яму, но уже пылали первые домны, и в литературном объединении юноши спорили, кто писал лучше — Маяковский или Есенин.

Рая, о котором тогда мечтали молодые, они не увидели; но десять лет спустя домны Кузнецка позволили Красной Армии спасти Родину и мир от расистских изуверов.

В жизнь входило новое поколение — юноши и девушки, родившиеся накануне первой мировой войны; для них царь, фабриканты, городовые были отвлеченными понятиями. Больше домен и мартеновских печей меня интересовали эти новые люди — будущее нашей страны. Приглядываясь к ним, я увидел множество противоречий. Процесс демократизации культуры длителен и сложен. В первые двадцать пять лет расширение культуры шло за счет ее глубины; всеобщая грамотность на первых порах привела к духовной полуграмотности, к упрощению. Только в годы второй мировой войны началась новая стадия — культурного углубления.

Помню, как удивились французские писатели, узнав о тиражах переводов на языки Советского Союза Бальзака, Стендаля, Золя, Мопассана. Конечно, цифры тиражей — это не справка о богатом урожае, но это данные о расширении посевной площади. Жажда знаний в те годы не знала предела; я это особенно остро чувствовал, приехав из страны, где жили Валери, Клодель, Элюар, Сен-Жон Перс, Арагон, Сюпервьель, Деснос, много других прекрасных поэтов, которых все признавали и которых мало кто читал.

Летом 1932 года в Москве я получил письмо из небольшого уральского города; писал мне молодой учитель: «...Кстати, спросите французского писателя Дрие ля Рошелля, какой злой дух нашептывает ему разные нелепости вроде следующей: «То, что было жизнью, не представляет абсолютно никакого интереса. Сознание более невозможно, ибо нечего сознавать». (В передаче нашей «Литгазеты» его роман «Блуждающий огонек».) Сообщите ему заодно, что один из миллионов людей, населяющих страну, из которой вы приехали, и небезуспешно пробующих перекроить старую жизнь мира по-новому, уверяет его честью, что эта старая жизнь полна «абсолютного» интереса и что, кроме его больного сознания, есть еще нетронутые залежи сознания миллионов, которым предстоит осознать еще бесконечно многое. Скажите ему также, что, по мнению его оппонента с далекого Урала, человеческое сознание только еще готовится к выполнению той великой роли, что определила ему история: роли грамотного

переводчика великого языка чувств, состоящего из любви, ненависти, мужества, дерзания, готовности к жертве и т. п., на новый язык, освобождающий их от уз догмата, для новой жизни».

(Дрие ля Рошелль тогда вращался в левых кругах, и я его иногда встречал. Я перевел ему письмо уральского учителя; он развел руками: «Зачем же он принимает каждое мое слово всерьез? Это прекрасно и вместе с тем глупо...») Конечно, учитель, приславший мне письмо, был на десять голов выше рядовых юношей того времени; я привел его размышления отнюдь не как показательные для духовного развития молодых людей в годы первой пятилетки, но в письме есть прекрасные слова о нетронутых залежах сознания. Именно в те годы целина впервые была тронута.

Один молодой тунгус увидел в Кузнецке велосипед; долго его рассматривал, наконец спросил: «Где мотор?» Он хорошо знал, что люди ездят в автомобилях, летают на самолетах, а велосипедов никогда не видел. В глухих селениях Сибири люди знали о существовании беспроволочного телеграфа и, увидав столбы с проводами, удивились — зачем проволока?..

В томском музее я познакомился с молоденькой девушкой, шоркой; она училась на медицинском факультете и принесла в музей деревянного человечка, которого родители ей дали как талисман против лихорадки и злых духов. Она узнала, что в музее собирают предметы старого быта, и принесла экспонат. Она расспрашивала меня о жизни во Франции — много ли там больниц, как борются против алкоголизма, любят ли французы ходить на концерты, сколько лет Ромену Роллану. У нее были глаза доверчивые и пытливые. Наверно, родители просили старого шамана изгнать из непослушной дочери злого духа.

В одном из клубов Кузнецка был литературный вечер; читали стихи Маяковского; аплодировали. Потом один инженер начал декламировать «Для берегов отчизны дальной». Моя соседка, башкирка, послала записку: «Кто автор?» Мы разговорились, она призналась: «Я Пушкина знаю, он написал «Евгения Онегина», а вот таких стихов я никогда не читала. Может быть, я недостаточно культурная, но мне они очень нравятся, даже больше, чем Маяковский... Я не знала, что можно такое писать...»

Передвигаться тогда было трудно; на станции Тайга я застрял на несколько дней. Начальник узла меня разыскал, сказал, что ему нравится «Хулио Хуренито», и дал мне

служебный вагон. Правда, с вагоном было тоже нелегко: ночью его неожиданно отцепляли на какой-нибудь станции и загоняли в тупик. Но я хочу рассказать не о вагоне, а о проводнице — молоденькой сибирячке Вале. Вагон она боялась оставить даже на час: «Стекла побьют, порежут сиденья...» Она мне рассказала необычайную историю. В Кузнецк она приехала из деревни и работала уборщицей. В ее бараке было чисто, кто-то из начальства это заметил, и Вале поручили служебный вагон. Времени было много, она начала читать. Один железнодорожник забыл в вагоне книгу «Диспетчерское руководство движением поездов». Валя мне показала эту книгу, я заглянул и ничего не понял. Валя засмеялась: «Я сначала тоже ничего не могла понять, я ее, кажется, сто раз прочитала и в конце стала разбираться. Взяла учебники математики... Теперь подготовилась, обещали отпустить на рабфак...» Не скрою, такие встречи меня потрясали. Я начал смотреть с бóльшим доверием на будущее.

Я много говорил о трудностях жизни; всего не расскажешь. В бараках молодожены пытались завесить койку тряпьем. Случайно я был в одном бараке, когда молодой землекоп привел туда девушку (уже начались морозы). У них не было занавески, и он прикрыл лица пиджаком.

Несмотря на суровый быт, рождались новые чувства, мысли; юноши и девушки часто при мне спорили, существует ли вечная любовь, можно ли оправдать ревность, принижает ли комсомольца грусть, нужны ли строителям стихи Лермонтова, музыка, часы одиночества.

Я говорил, что собираюсь написать книгу о молодежи, и мне приносили дневники, письма; рассказывали про работу, про сердечные невзгоды. Иногда я спрашивал и записывал ответы.

Еще до того, как я написал повесть «День второй», я опубликовал в парижском литературном журнале «Ля нувелль ревю франсез» некоторые из собранных мною документов. В предисловии я говорил: «Обычно писатель не знакомит читателей с различными материалами, которые помогли ему написать книгу; но мне кажется, что эти документы представляют собой ценность независимо от моей работы. Многим они покажутся более убедительными, чем самый удачный роман...»

Теперь я раздобыл в библиотеке старую книжку французского журнала, перечитал отрывки из дневников, писем, стенограмм и подумал — жизнь изменилась, а вот многие вопросы, которые впервые ставили юноши и девушки в те годы, продолжают волновать нашу молодежь:

здесь и споры о том, как избежать узкой специализации, и ужас перед двурушничеством, лицемерием, и проблема подлинной дружбы, и проклятия равнодушию.

В двадцатые годы доживала свой век старая, крестьянская Расея. На заводах, в различных учреждениях еще преобладали люди, сформировавшиеся до революции. Начало тридцатых годов стало переломом. Строительство Кузнецка я вспоминаю с ужасом и с восхищением; все там было невыносимо и прекрасно.

Я сказал, что металл Кузнецка помог нашей стране отстоять себя в годы фашистского нашествия. А другой металл — человеческий?.. Строители Кузнецка, как и все их сверстники, прожили нелегкую жизнь. Одни погибли молодыми — кто в 1937-м, кто на фронте. Другие преждевременно стали сутулиться, примолкли — уж слишком много было неожиданных поворотов, к слишком многому приходилось привыкнуть, приспособиться... Теперь тем героям «Дня второго», которые выжили, лет пятьдесят или шестьдесят. У этого поколения было мало времени для раздумий. Его утро было романтичным и жестоким — коллективизация, раскулачивание, леса строек. Дальнейшее все помнят. От людей, родившихся накануне первой мировой войны, потребовалось столько мужества, что его хватило бы на несколько поколений, мужества не только в работе или в бою, но в молчании, в недоумении, в тревоге. Я видел этих людей окрыленными в 1932 году. Потом крылья стали не по сезону. Крылья первой пятилетки достались по наследству детям вместе с заводами-гигантами, оплаченными очень дорогой ценой.

34

До поездки в Кузнецк я читал очерки, рассказы о строительстве. Увидел я не то, о чем читал. Не помню, когда именно в статьях о литературе появилось выражение «лакировать» — кажется, позднее. Толковый словарь так объясняет этот неологизм: «Приукрашать, представлять что-нибудь в лучшем виде, чем есть на самом деле». Между тем действительность не только страшнее, но и прекраснее тех благонравных и назидательных картинок, которые изготовляли, да и продолжают изготовлять «лакировщики».

Кто не помнит романов или фильмов, в которых война изображалась как маневры — с веселыми солдатами

в новеньких гимнастерках, с песнями, с лозунгами, с парадным маршем к победе? Разве под лаком не пропадала глубина красок? Разве можно было, глядя на экран, где падение Берлина показывалось как феерия, понять подвиг советского народа, стоявшего насмерть у Ленинграда, под Москвой, на узкой полоске приволжской земли?

Так было и со строительством Кузнецка или Магнитогорска. Люди строили заводы в неслыханно трудных условиях. Кажется, никто нигде так не строил, да и не будет строить. Фашизм вмешался в нашу жизнь задолго до 1941 года. На Западе шла лихорадочная подготовка к походу на Советский Союз; и первыми окопами были котлованы новостроек.

Я увидел самоотверженность одних, жадность, косность других. Строили все, но строили по-разному: кто по идее, кто по нужде, кто по принуждению. Для многих это было началом строительства не только заводов, но и человеческого сознания. Я назвал мою повесть «День второй». По библейской легенде, мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от тьмы, день от ночи; во второй — твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым: твердь постепенно отделялась от хляби. А хляби было много (ее всегда больше, чем тверди, как на земном шаре больше морей, нежели суши). Я не хотел об этом умолчать и рядом с Колей Ржановым, Смолиным, Ириной, с лучшими представителями молодого поколения, показал циников, эгоистов, людей, равнодушных ко всему, что не связано с их личной судьбой.

Я отнюдь не пытался быть бесстрастным летописцем; повесть диктовалась восхищением, любовью, жаждой отстоять первые побеги нового сознания. Именно поэтому я стремился быть правдивым: действительность не нуждалась в гриме. Я знал, конечно, что многие сочтут мой рассказ за клевету, лишний раз вспомнят, что я «неисправимый скептик», будут говорить, что я захотел исказить прекрасную действительность, то есть не изготовил еще одной олеографии по установленному и одобренному образцу. Но когда я писал, я не думал ни о критиках, ни о редакторах, не гадал, издадут ли мою книгу, писал с волнением дни и ночи напролет.

Я начал повесть в ноябре, кончил в феврале; некоторые главы переписывал много раз. Я упоминал, что почти каждый день ко мне приходил И. Э. Бабель, читал страницы

рукописи, иногда одобрял, иногда говорил: нужно переписать еще раз, есть пустые места, невыписанные углы... Порой, снимая после чтения очки, Исаак Эммануилович лукаво улыбался: «Ну, если напечатают, это будет чудо...»

В повести есть и некоторые итоги моих долгих раздумий. Володя Сафонов — хороший, честный юноша; он учится в Томском университете, потом уезжает в Кузнецк; он начитан, душевно тонок, любит чистой любовью Ирину. Но он не верит в рождение нового сознания; по собственным его признаниям, он отравлен мудростью старых книг и терзается от наивности, от детскости своих товарищей. Он пишет в дневнике: «Я работал на заводе. Учусь. Буду, наверно, честным спецом. Но все это навязано мне извне. Сердцем я никак не участвую в окружающей меня жизни... Для стройки я непригоден. В горном деле это, кажется, называется «пустой породой»... Вы устранили из жизни еретиков, мечтателей, философов, поэтов. Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобщее невежество. После этого вы собираетесь и по шпаргалке лопочете о культуре... Муравьиная куча — образец разумности и логики; но эта куча существовала и тысячу лет назад. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы, муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. Шекспир писал не о муравьях. Акрополь построен не муравьями. Закон тяготения нашел не муравей. У муравьев нет ни Сенек, ни Рафаэлей, ни Пушкиных. У них есть куча, они работают...»

Володя встречает французского журналиста, долго его расспрашивает, видит, что и на Западе нет той культуры, которой он жаждет. На студенческом собрании Сафонов собирался обличать наивность и невежество своих товарищей, но вместо этого, под впечатлением разговора с французом, говорит: «Можно ли сомневаться в том, за кем будущее? Я это чувствую особенно остро, потому что лично я, скорее всего, обречен. Я хочу быть со всеми, стараюсь хорошо работать... Дело не во мне, дело в нас. Я твердо говорю это слово «мы». Мы должны победить... Культура не рента: ее нельзя хранить в шкафу. Она создается ежечасно — каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком. Я здесь слышал — вы говорили о музыке, о поэзии. Это и есть рождение культуры, ее рост, мучительный, трудный рост...» Вернувшись домой, он записывает в дневнике: «Самое любопытное, что я говорил искренне. Во всяком случае, не от страха. Но я говорил не то, что думал. Или: то, да не то. За меня как будто говорили другие...»

Ирина в неотправленном письме с ним спорит: «...Ты умней других. Больше знаешь. Но ты ничего не делаешь, чтобы жизнь стала лучше. Ты замечаешь только плохое и насмехаешься. Ты думаешь, я сама не вижу, сколько вокруг безобразия? Наша стройка проходит в прекрасной, чистой лаборатории, но, скажу прямо, на скотном дворе. Малодушие, двурушничество, мелкие интересы! Минутами мне страшно становится за все и за всех. Вот именно поэтому я считаю, что мы должны бороться, а не только усмехаться и рассказывать шепотом глупые анекдоты... Ты мне сказал «человек теперь не может любить». Володенька, ведь это неправда... Жизнь теперь такая тяжелая, такая напряженная, такая большая, что и любовь растет. Трудно, очень трудно теперь любить!.. Вот ты говорил «теперь не любовь, а чугун» и повторял «чугун, чугун» — тебе это почему-то смешно. А это совсем не смешно. Скажи сам, что сейчас важнее: читать твоего Франса или отливать рельсы, чтобы наконец стало в стране немного больше хлеба или ситца? Но люди сейчас не только отливают чугун. Или нет, они только отливают чугун, но в этом чугуне не только кокс и руда, в нем еще что-то другое. Вот как Сеня «рвется в тьму мелодии», так сейчас рвутся — все выше и выше! Это и домны, и стихи, и любовь...»

Ирина предпочла обреченному Володе живого Колю Ржанова. Но не поэтому Володя кончил жизнь самоубийством. Никто ему не протягивал веревки — ни товарищи, ни старый профессор, к которому он пришел в последний день за советом, ни автор повести. Его довела до отчаяния обостренная совесть. А если кто-нибудь и осудил его, то разве что эпоха, та самая, что по ночам приходила на улицу Котантен и вела со мной нескончаемые беседы.

Я остановился на Володе, потому что многие критики пытались его выдать за врага. Издание «Дня второго» (1953 год) снабжено примечаниями Б. Емельянова, который уверяет, будто Володя был фашистом: он ведь сказал старой библиотекарше, что хотел бы сжечь все книги. Да, Володя однажды признался, что ненавидит книги, как пьяница — водку. Но вряд ли этот книжник напоминает гитлеровского штурмовика. Володя запутался в собственных противоречиях. Будь у него немного меньше совестливости и немного больше цепкости, он не повесился бы, а стал бы уважаемым всеми специалистом.

Я показал в повести не только Колю и его друзей, я показал также летунов, спекулянтов, темных людей, ломающих машины; старался сказать всю правду. Если повесть

мне казалась, да и теперь кажется, оптимистической, то не потому, что в итоге величайших испытаний начинали входить в строй цехи, а потому, что сотни тысяч, миллионы строителей постепенно становились настоящими людьми. Повесть кончается словами бывшего партизана: «Поглядите на Колю Ржанова, на других ребят. Я с ними сражался в Кузнецке, когда был прорыв на кауперах. Я вместе с ними боролся за эту дамбу... Я, как старый партизан, скажу, что я могу теперь спокойно умереть, потому что есть у нас, товарищи, настоящие люди...»

В повести нет главного героя; она, как у нас говорят, «калейдоскопична» — проходит бегло множество персонажей. Я увлекался короткими фразами, быстрым монтажом, мелькающими кадрами: мне хотелось найти для нового содержания новую форму.

В июне 1934 года журнал «Литературный критик» устроил в Москве обсуждение «Дня второго». Я впервые присутствовал на собрании, где говорили о моей книге и где мне самому нужно было выступить. Часто в моих воспоминаниях я отзывался с иронией или досадой о своих давних суждениях. А вот я прочитал стенограмму обсуждения «Дня второго» и, как это ни странно, почти со всем, что говорил двадцать семь лет назад, согласен и теперь. «Я чувствую себя сегодня, как один из строителей Беломорстроя: грешил, но искупил свои грехи, допущен в ряды сознательных граждан, которые строят социалистическое отечество... Уверенность, что нас, писателей, нужно судить, а мы должны каяться, на мой взгляд, неправильна... Я написал много скверных книг, не умел вынашивать книгу — не хватало зрелости; но никогда я не клеветал на советскую действительность... Теперь некоторые товарищи говорят, что я остановился в «Дне втором» на трудностях, потому что привык к комфорту... Товарищ Франкфурт, начальник строительства, и секретарь горкома считают, что я ничего не «сгущал», а показал трудности, которые были на самом деле... Товарищи здесь говорили, что Володя — умница, но что ему не противопоставлен честный комсомолец с равной эрудицией. Но, товарищи, у нас не шестой день, а второй... Я не знаю, удался ли мне «День второй», но эпигонствовать я не хочу... Мои книги написаны каракулями. Вероятно, мы все в некоторой степени Тредьяковские. Но Тредьяковский сыграл свою роль... Лучше сейчас сделать слабую книгу, но свою, чем взять немножко от Золя, немножко от Льва Толстого и немножко от советской действительности...»

Я и теперь не знаю, удалось ли мне, хотя бы частично, осуществить свой замысел. Может быть, «День второй» — слабая книга, но она не подражательна и написана по внутренней необходимости.

Дочитав последнюю страницу, Бабель сказал «вышло»; в его устах для меня это было большой похвалой. (Когда книгу перевели на французский язык, я получил длинное письмо от Ромена Роллана; он писал, что «День второй» помог ему лучше узнать советскую молодежь.)

Я послал рукопись Ирине и попросил отдать ее в издательство «Советская литература». Вскоре Ирина мне сообщила, что рукопись вернули: «Передайте вашему отцу, что он написал плохую и вредную вещь».

Я решился на отчаянный поступок: напечатал в Париже несколько сот нумерованных экземпляров и послал книги в Москву — членам Политбюро, редакторам газет и журналов, писателям...

В тридцатые — сороковые годы судьба книги порой зависела от случайности, от мнения одного человека. Это было лотереей, и мне повезло — несколько месяцев спустя я получил длинную телеграмму от издательства: высылают договор, поздравляют, благодарят.

«День второй» вышел в Москве в апреле 1934 года. Радек в «Известиях» писал: «Это не «сладкий роман». Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни...» В тот же самый день появилась в «Литературной газете» статья А. Гарри: «Писатель воспевает разнузданную стихию, в данном случае являющуюся стихией, созидающей один из крупнейших в мире металлургических заводов. На фоне строительного хаоса живут, любят и страдают маленькие человечки. Кроме того, человечки эти, к сожалению, еще и мыслят. Это уже совсем плохо, потому что мыслят они чрезвычайно беспомощно. В романе И. Эренбурга люди потерялись в хаосе новостройки, они заблудились в канавах, экскаваторах и кранах. Такая странная вещь в романе приключилась не только с «отрицательными» типами, но и с «положительными». А это уже клевета. Вообще говоря, если придираться к роману И. Эренбурга, то можно без труда доказать, что это произведение является апологией австромарксистской бредни о «пятилетке, построенной на костях ударников». Радек во второй статье возражал: «Что же считает Гарри, что социалистический реализм состоит в том, чтобы художник рисовал лубки, показывал, каким легким

делом является постройка социализма?» Этот спор мне кажется взятым из свежих газет...

Все это было свыше года спустя после того, как я дописал «День второй». А в тот самый день, когда я узнал из письма Ирины, что издательство отвергло мою книгу, мне принесли немецкую газету с описанием майского аутодафе: берлинские студенты, под руководством Геббельса, развели костер перед зданием университета и на нем сжигали ненавистные им книги — по списку, составленному заранее. Среди прочих книг сожгли и переводы моих романов.

Газеты были заполнены ужасающими сообщениями: еврейские погромы, расстрелы коммунистов, концлагеря. В. С. Довгалевский, вернувшись из Женевы, рассказывал, как сорвали конференцию по разоружению; в Англию ездил Розенберг; некоторые английские политики стоят за вооружение Германии — рассчитывают, что нацисты двинутся на Россию. Именно поэтому и подписан «Пакт четырех...»

Я был с Жаном Ришаром Блоком на антифашистском митинге в зале «Мютюалитэ». Зал нервничал, люди вскакивали, сжимали кулаки. Один немец, убежавший из концлагеря, своим рассказом довел многих до слез.

Потом мы сидели в маленьком кафе с профессором Ланжевеном. Печально улыбаясь, он говорил: «До чего все это глупо! Человечество еще не вышло из младенческого возраста — позади у него всего два миллиарда лет...» Я спросил: «А сколько впереди?» — «Десять миллиардов, если оно по глупости не кончит своего существования самоубийством...»

Жан Ришар горячился, говорил, что нужно создавать повсюду комитеты, действовать, пока не поздно. Мимо кафе проходили рабочие, пели «Это есть наш последний...»

Потом в кафе пришла Андре Виоллис, женщина смелая и непримиримая. Она рассказывала о зверствах легионеров в Индокитае, о пытках, сожженных деревнях. Я слышал и читал те же истории и десять лет спустя, и двадцать. Менялись формы усмирителей, но жестокие и бессильные колонизаторы походили один на другого. Недавно у меня были вьетнамские писатели; я назвал имя Андре Виоллис, и они с восхищением сказали: «Ее у нас знают, это была писательница, которая первая сказала Западу правду».

Началась новая глава не только истории, но и биографии каждого человека моего поколения, глава, может быть, самая трудная.

Книга четвертая

1

В 1933 году я познакомился и вскоре подружился с американским кинорежиссером Люисом Майльстоуном. Это очень толстый и добрый человек. Подростком, еще до первой мировой войны, он уехал из Бессарабии в Америку — искать счастье; бедствовал, голодал, был чернорабочим, приказчиком, бродячим фотографом, а в итоге стал кинорежиссером. Фильм «На Западном фронте без перемен» принес ему славу и деньги, но он остался простым, веселым, или, как сказал бы Бабель, жовиальным. Он любил все русское, не забыл красочного южного говора, радовался, когда ему давали стопочку и селедку. Приехав на несколько недель в Советский Союз, он сразу подружился с нашими режиссерами, говорил: «Да какой я Люис Майльстоун? Я — Леня Мильштейн из Кишинева...»

Как-то он рассказал мне, что, когда Америка решила воевать, военнослужащих опросили, хотят ли они ехать в Европу или остаться в Соединенных Штатах; составили два списка. Майльстоун был среди желающих уехать на фронт, но послали только тех, кто хотел остаться дома. Смеясь, Майльстоун добавил: «В общем, так всегда бывает в жизни...» Он был веселым пессимистом: «В Голливуде нельзя делать того, что хочешь. А может быть, не только в Голливуде...»

Он решил поставить фильм по моему старому роману «Жизнь и гибель Николая Курбова». Я его отговаривал: книга мне не нравилась, да и смешно было в 1933 году показывать романтического коммуниста, ужаснувшегося перед стихией нэпа. Майльстоун обязательно хотел, чтобы я написал сценарий, предлагал изменить фабулу, показать строительство, пятилетку: «Пусть американцы посмотрят, на что способны русские...»

Я сильно сомневался в своих способностях: я не драматург и вряд ли смогу написать приличный сценарий, да и окрошка из нескольких книг мне казалась нелепой. Но мне нравился Майльстоун, и я согласился попробовать написать сценарий вместе с ним.

Он меня пригласил в английский курортный городок, где он занимался тяжелым делом — худел. Весил он сто килограммов и каждый год в течение трех недель ничего не ел, теряя килограммов двадцать; потом, конечно, набрасывался на еду и вскоре выглядел по-прежнему. Для голодания он выбирал комфортабельную гостиницу с дурным рестораном, чтобы меньше завидовать людям, которые продолжали обедать и ужинать.

Он лежал и худел, а я сидел рядом, ел невкусную еду и писал. Майльстоун изумительно ощущал ритм картины, говорил: «Здесь нужно перебить... Может быть, пошел дождь? Или из дому выходит старушка с кошелкой?..»

У меня не сохранилось текста сценария; я его помню смутно; кажется, он представлял помесь Голливуда и революции, отдельных находок Майльстоуна и кинорутины, мелодраму, приправленную иронией двух взрослых людей.

Мы успели исписать толстый блокнот. Майльстоун похудел, костюм на нем висел, и наконец-то мы поехали в Париж. На Монпарнасе Майльстоун познакомился с художником Натаном Альтманом и предложил ему сделать рисунки для декораций и костюмов.

Пессимизм Майльстоуна оказался обоснованным. Владелец «Колумбии» Кон, прочитав сценарий, сказал: «Слишком много социального и слишком мало сексуального. Не такое теперь время, чтобы швырять деньги на ветер...»

Майльстоун был, разумеется, огорчен: он потерял на этом около года, но добился, чтобы «Колумбия» уплатила гонорары Альтману и мне.

(Незадолго до второй мировой войны я видел в Париже Майльстоуна. Он не похудел, но помрачнел. В годы войны он сделал в Голливуде фильм о советских людях: хотел, чем мог, помочь нам. Когда я приехал в Соединенные Штаты, я с ним говорил по телефону, он меня звал в Голливуд; но я поехал на юг. Не знаю, что он делал в послевоенные годы и сколько раз его заставляли делать то, чего он не хотел.)

Мы с Альтманом обрадовались нечаянным деньгам. Газеты тогда были переполнены рассказами о двух счастливчиках, выигравших в государственной лотерее по пяти

миллионов франков; один был угольщиком, другой булочником. Хотя наше богатство было несравненно скромнее, мы себя называли угольщиком и булочником. Мы решили пышно встретить 1934 год.

На улице Эколь-де-медесин помещался маленький польский ресторан, куда мы иногда ходили, стосковавшись по русской кухне. Хозяева были приветливыми, и польско-советские конфликты, частые в те годы, не отражались на качестве бигоса или пончиков. В ночь под Новый год поляк закрыл свой ресторан и переехал на улицу Котантен. В нашей квартире были две комнаты, мы раскрыли двери, поставили в ряд десяток столиков, привезенных из ресторана. При входе красовалась надпись, нарисованная Альтманом: «Угольщик и булочник вас приветствуют».

По старым фотографиям я вижу, что к тому времени я сильно пополнел; однако я не стал добродушным, как Майльстоун, напротив, рвался в бой, штурмовал и ветряные мельницы, и некоторых вполне реальных мельников, задевал шпиков и Поля Валери, обрушивался на сюрреализм и на русскую живопись прошлого века, дразнил гусей, писал чуть ли не ежедневно различные памфлеты, посылал боевые корреспонденции в «Известия» — словом, вел себя скорее как молодой поэт, нежели как солидный сорокатрехлетний прозаик.

Мне казалось, что в 1933 году Европа коснулась дна и теперь выплывает на поверхность. За несколько дней до встречи Нового года газеты сообщили, что лейпцигским судьям пришлось оправдать Димитрова. Это было капитуляцией Гитлера перед общественным мнением. Я часто встречался с немецкими эмигрантами; они говорили, что не сегодня-завтра фашистский режим рухнет — так им хотелось, так хотелось и мне, и я считал, что 1934 год будет для Гитлера роковым.

Изуверство, жестокость гитлеровцев рождали непримиримость, жажду мести. Помню, как в «Клозери де лиля» глава первого революционного правительства Венгрии граф Карольи, человек редкой доброты, говорил мне: «Знаете, о чем я мечтаю? Хорошее летнее утро. Я иду на веранду. Пью кофе. А на каждом дереве висит фашист...» Я слушал и улыбался.

Мне запомнился один из первых антифашистских митингов в Париже; выступали профессор Ланжевен, Андре Жид, Вайян-Кутюрье, Мальро. Андре Жид произнес проповедь — доказывал, что только коммунизм может победить зло, пил часто воду, поблескивали стеклышки очков.

Рабочие, сидевшие в зале, никогда не читали его книг, но знали, что перед ними знаменитый писатель, и когда Жид сказал: «Я гляжу с надеждой на Москву», — радостно загудели. Мальро говорил непонятно; его лицо перекашивал нервный тик; вдруг он остановился, поднял кулак и крикнул: «Если будет война, наше место в рядах Красной Армии». Зал восторженно загремел.

Все это может показаться удивительным. Вместе со временем менялись и люди, и менялись они по-разному. Когда человек умирает, мы лучше видим единство его пестрых, порой противоречивых годов, а пока он жив, сегодняшний день заслоняет вчерашний.

В 1933 году Поль Элюар был непримиримым последователем сюрреализма; вряд ли кто-нибудь тогда мог предвидеть, что его стихи будут повторять партизаны в маки́. Ланжевен как-то с печальной улыбкой сказал, что Жолио-Кюри не понимает всей опасности фашизма.

Андре Мальро теперь министр в правительстве де Голля. А в течение восьми лет в Париже, в Испании я видел его неизменно рядом; он был моим близким другом. Некоторые авторы воспоминаний стараются очернить своих былых друзей; это мне не по душе. Я предупредил читателей, что, говоря о живых людях, буду связан и о многом промолчу. Все же я не могу рассказать о тридцатых годах, не называя Мальро.

В 1933 году вышел его роман «Условия человеческого существования»; я писал о нем: «Путь в прошлое обогатил Мальро не одной коллекцией скульптуры; он загромоздил его сознание той усложненностью, той обязательной глубиной, теми хитрейшими противоречиями, которыми изобилует всякая культура, пережившая свой полдень и обреченная на смерть». Я видел, однако, что Мальро идет к живой жизни, и обрадовался, когда писатели весьма консервативные присудили ему Гонкуровскую премию: на жюри подействовала обстановка — Франция шла налево.

Мальро познакомил меня со многими молодыми писателями — с Кассу, Авелином, Низаном, Даби. С одним из его последователей я подружился — с Гийу. Год или два спустя вышла его книга «Черная кровь» — один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Он был учителем в бретонском городе Сен-Брие и не походил на парижских литераторов — простой, скромный, без обязательного желания пофилософствовать или усложнить. (Недавно я неожиданно встретил Гийу в Риме; мы с нежностью вспомнили давние годы.)

Встречался я и с немецкими писателями; познакомился с Брехтом, добрым и лукавым. Он говорил о смерти, о постановках Мейерхольда, о милых пустяках. Бывший матрос Турек заверял меня, что не пройдет и года, как Гитлера бросят в Шпрее; он мне нравился своим оптимизмом, и я ему подарил трубку. Толлер влюблялся, отчаивался, строил планы и театральных пьес, и освобождения Германии; казалось, что у него в карманах колоды и он все строит, строит карточные домики. Мне понравилась сразу Анна Зегерс, взбалмошная, очень живая, близорукая, но все замечавшая, рассеянная, но великолепно помнившая каждое оброненное слово.

Мы встречались, спорили, гадали, что будет дальше. Одни клялись, что вскоре фашизм рухнет в Германии, другие уверяли, что коричневая чума перекинется во Францию.

Впрочем, цвета менялись, и чума во Франции была лазурной. Несколько раз я видел демонстрации «Французской солидарности»; молодые фашисты в голубых рубашках маршировали и подымали руку вверх, приветствуя своего фюрера. Замелькали воззвания «Боевых крестов», «Патриотической молодежи». В отличие от Германии, среди фашистов было мало рабочих, и я с усмешкой поглядывал на маменькиных сынков, которые клялись перебить всех коммунистов.

Я собирался весной в Москву. Съезд советских писателей должен был собраться летом. Я волновался, как девушка перед первым балом; вот соберутся все писатели, и начнется откровенный, серьезный разговор об искусстве; это, наверно, будет большим событием...

В 1933 году я прочитал «Поднятую целину», последние поэмы Багрицкого, «Охранную грамоту» Пастернака, новые рассказы Бабеля, стихи Сельвинского и Заболоцкого. Мне казалось, что наша литература набирает высоту.

В 1933 году многие французские писатели повернулись с надеждой к коммунистам; вероятно, это было продиктовано ужасом и гневом, которые охватывали миллионы людей, когда они читали про сожженные фашистами книги, про казни, погромы. Под воззванием Ассоциации революционных писателей среди других стояли подписи Жионо и Дриe ля Рошелля.

С Жионо я познакомился в конце двадцатых годов; он был мечтательным, тихо улыбался, писал поэтичные романы о сельской жизни. В 1933 году вместе со многими другими он проклинал фашизм. Потом я с ним долго не встречался и удивился, прочитав его статью, где он писал,

что нужно примириться с Гитлером. Потом он примирился и с режимом оккупации; это меня уже не удивило.

Дрие ля Рошелль был куда значительнее — талантливый, по-своему искренний, но с душевной червоточиной. Мы вместе выступали в Доме культуры, где собиралась антифашистская интеллигенция, дружески беседовали. Я вернулся в Париж после одной из поездок и в дверях кафе на бульваре Сен-Жермен увидал Дрие. Он поспешно отвернулся. Мне дали его последнюю книгу; в ней были странные признания: «Мы будем сражаться против всех. Это и есть фашизм... Свобода исчерпана. Человек должен погрузиться в свои темные глубины. Это говорю я — интеллигент и вечный свободолюбец...» Он обольстился фашизмом, когда гитлеровцы оккупировали Францию, сотрудничал с ними и застрелился в 1944 году, увидев, что его ставка бита.

На наши собрания приходил одаренный эссеист, бретонец, сын рабочего, Геенно. У меня сохранилась подаренная им книга «Дневник сорокалетнего»; я ее сейчас раскрыл: «К концу войны на Востоке показалось большое зарево. Его отсвет помогает нам жить... Мы не последовали его примеру. Битва не расширилась. Мы видим, как меркнут и тонут в болоте Запада искры того пожара. Но все равно эта битва, этот пример — вот почти вся наша надежда, вся наша радость...»

Теперь Геенно — академик. Недавно он приезжал в Москву, пришел ко мне. Во многом наши пути разошлись, но мы с нежностью вспоминали середину тридцатых годов.

В конце 1933 года французские фашисты приподняли голову. Париж гудел, как растревоженный пчельник. Люди спорили до хрипоты в кафе, в вагонах метро, на углах улиц. Раскалывались семьи. Чем-то это напоминало Москву лета 1917 года.

Даже монпарнасские художники начали интересоваться политикой.

Впервые в жизни я пристрастился к коробке радиоприемника.

К. А. Федин в одной статье вспоминал о вечере, проведенном у меня на улице Котантен, когда Мальро его расспрашивал о Советском Союзе и когда Константин Александрович поспорил с Леонгардом Франком. Спорили мы часто и в «Куполе», и у меня дома.

Порой я встречался с Андре Шамсоном; он был пылким южанином, милым и добродушным, но на словах казнил всех подозреваемых в фашизме, называл себя «яко-

бинцем». Теперь и он академик; раз в пять или десять лет мы встречаемся и мирно вспоминаем прошлое.

В бар «Куполь» приходили С. Б. Членов, Эльза Юрьевна, Арагон, Деснос, Роже Вайян, Рене Кревель, другие бывшие и настоящие сюрреалисты. У Рене Кревеля были глаза добрые и затравленные: он мучительно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Я пытался его успокоить, но безуспешно.

Иногда меня приглашал к себе в поместье Фезандери издатель еженедельников «Вю» и «Лю» неистовый Вожель. Он был снобом не по программе, а по природе — сам этого не замечал. Восхищался Советским Союзом, ездил в Москву с А. А. Игнатьевым, приглашал к себе коммунистов, но несколько растерялся, когда его дочь Мари-Клод вышла замуж за Вайяна-Кутюрье. В Фезандери всегда шли несмолкавшие споры, сильнее всех кричал Вожель, мягкий в жизни и свирепый в отзывах.

Незачем скрывать, что я радовался своему успеху: вопреки мрачным предсказаниям, «День второй» печатался в Москве. Может быть, это влияло на мои оценки различных событий? В жизни я часто видел, как в суждения людей вмешиваются сугубо личные дела, успехи или неуспехи в работе, даже состояние здоровья.

Так или иначе, я смотрел на будущее с доверием.

В конце декабря я получил телеграмму из Москвы: «Вышла замуж Бориса Лапина фамилия адрес прежние поздравляю Новым годом Ирина». С Б. М. Лапиным я познакомился за год до этого; он мне понравился редким сочетанием любви к книгам с любовью к трудным и опасным приключениям; понравилась мне и его книга. Телеграмма, однако, меня удивила: никогда Ирина не писала о Лапине. Слова о фамилии и адресе мне показались забавными — были в этом и характер Ирины, и характер эпохи.

Мы выпили за счастье Ирины. Встреча Нового года удалась не только потому, что польский повар накормил нас чудесным ужином: почти все, а народу собралось много, были в хорошем настроении, и веселились мы до утра.

Мне было почти сорок три года; не так уж это молодо, но, видимо, еще зелено. Я верил в близкий крах фашизма, в торжество справедливости, в расцвет искусства. Минувшие годы казались мне чересчур длинными канунами, и книгу статей, написанных в 1932—1933 годах, я озаглавил «Затянувшаяся развязка». Ничего в свое оправдание не скажу — я разделял иллюзии многих и уж никак не мог себе представить, что состарюсь, а развязки не увижу.

2

С И. А. Ильфом и Е. П. Петровым я познакомился в Москве в 1932 году, но подружился с ними год спустя, когда они приехали в Париж. В те времена заграничные поездки наших писателей изобиловали непредвиденными приключениями. До Италии Ильф и Петров добрались на советском военном корабле, собирались на нем же вернуться, но вместо этого поехали в Вену, надеясь получить там гонорар за перевод «Двенадцати стульев». С трудом они вырвали у переводчика немного денег и отправились в Париж.

У меня была знакомая дама, по происхождению русская, работавшая в эфемерной кинофирме, женщина очень добрая; я ее убедил, что никто не может написать лучший сценарий кинокомедии, нежели Ильф и Петров, и они получили аванс.

Разумеется, я их тотчас посвятил в историю угольщика и булочника, выигравших в лотерее. Они каждый день спрашивали: «Ну, что нового в газетах о наших миллионерах?» И когда дошло дело до сценария, Петров сказал: «Начало есть — бедный человек выигрывает пять миллионов...»

Они сидели в гостинице и прилежно писали, а вечером приходили в «Куполь». Там мы придумывали различные комические ситуации; кроме двух авторов сценария, в поисках «гагов»[1] участвовали Савич, художник Альтман, польский архитектор Сеньор и я.

Кинокомедия погорела: как Ильф и Петров ни старались, сценарий не свидетельствовал об отменном знании французской жизни. Но цель была достигнута: они пожили в Париже. Да и я на этом выиграл: узнал двух чудесных людей.

В воспоминаниях сливаются два имени: был «Ильфпетров». А они не походили друг на друга. Илья Арнольдович, застенчивый, молчаливый, шутил редко, но зло и, как многие писатели, смешившие миллионы людей, от Гоголя до Зощенко, был печальным. В Париже он разыскал своего брата, художника, давно уехавшего из Одессы, тот старался посвятить Ильфа в странности современного искусства. Ильфу нравились душевный беспорядок, разор. А Петров любил уют; он легко сходился с разными людьми; на собраниях выступал и за себя и за Ильфа; мог часами смешить людей и сам при этом смеялся. Это был на редкость добрый

---

[1] Gag — шутка, острота, трюк *(англ.)*.

человек; он хотел, чтобы людям лучше жилось, подмечал все, что может облегчить или украсить их жизнь. Он был, кажется, самым оптимистическим человеком из всех, кого я в жизни встретил: ему очень хотелось, чтобы все было лучше, чем на самом деле. Он говорил об одном заведомом подлеце: «Да, может, это и не так? Мало ли что рассказывают...» За полгода до того, как гитлеровцы напали на нас, Петрова послали в Германию. Вернувшись, он нас успокаивал: «Немцам осточертела война...»

Нет, Ильф и Петров не были сиамскими близнецами, но они писали вместе, вместе бродили по свету, жили душа в душу. Они как бы дополняли один другого — едкая сатира Ильфа была хорошей приправой к юмору Петрова.

Ильф, несмотря на то что он предпочтительно молчал, как-то заслонял Петрова, и Евгения Петровича я узнал по-настоящему много позднее — во время войны.

Я думаю о судьбе советских сатириков — Зощенко, Кольцова, Эрдмана. Ильфу и Петрову неизменно везло. Читатели их полюбили сразу после первого романа. Врагов у них было мало. Да и «прорабатывали» их редко. Они побывали за границей, изъездили Америку; написали о своей поездке веселую и вместе с тем умную книгу — умели видеть. Об Америке они писали в 1936 году, и это тоже было удачей: все, что мы именуем «культом личности», мало благоприятствовало сатире.

Оба умерли рано. Ильф заболел в Америке туберкулезом и скончался весной 1937 года, в возрасте тридцати девяти лет. Петрову было тридцать восемь лет, когда он погиб в прифронтовой полосе при авиационной катастрофе.

Ильф не раз говорил еще до поездки в Америку: «Репертуар исчерпан» или «Ягода сходит». А прочитав его записные книжки, видишь, что как писатель он только-только выходил на дорогу. Он умер в чине Чехонте, а он как-то сказал мне: «Хорошо бы написать один рассказ вроде «Крыжовника» или «Душечки»...» Он был не только сатириком, но и поэтом (в ранней молодости он писал стихи, но не в этом дело — его записи в дневнике перенасыщены подлинной поэзией, лаконичной и сдержанной).

«Как теперь нам писать? — сказал мне Ильф во время последнего пребывания в Париже. — «Великие комбинаторы» изъяты из обращения. В газетных фельетонах можно показывать самодуров-бюрократов, воров, подлецов. Если есть фамилии и адрес — это «уродливое явление». А напишешь рассказ, сразу загалдят: «Обобщаете, нетипическое явление, клевета...»

Как-то в Париже Ильф и Петров обсуждали, о чем написать третий роман. Ильф вдруг помрачнел. «А стоит ли вообще писать роман? Женя, вы, как всегда, хотите доказать, что Всеволод Иванов ошибся и что в Сибири растут пальмы...»

Все же Ильф оставил среди множества записей план фантастического романа. В приволжском городе неизвестно почему решили построить киногород в «древнегреческом роде, однако со всеми усовершенствованиями американской техники. Решили послать сразу две экспедиции — одну в Афины, другую в Голливуд, а потом, так сказать, сочетать опыт и воздвигнуть». Люди, поехавшие в Голливуд, получили страховую премию после гибели одного из членов экспедиции и спились. «Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно-пьяные хари. Ловили их молокане, по поручению представителя Амкино мистера Эйберсона». В Афинах командированным пришлось плохо: драхмы быстро иссякли. Две экспедиции встречаются в Париже в публичном доме «Сфинкс» и в страхе возвращаются домой, боясь расплаты. Но о них все забыли, да и никто больше не собирается строить киногород...

Романа они не написали. Ильф знал, что он умирает. Он записал в книжке: «Такой грозный ледяной весенний вечер, что холодно и страшно делается на душе. Ужасно как мне не повезло».

Евгений Петрович писал после смерти Ильфа: «На мой взгляд, его последние записки (они напечатаны сразу на машинке, густо, через одну строчку) — выдающееся литературное произведение. Оно поэтично и грустно».

Мне тоже кажется, что записные книжки Ильфа не только замечательный документ, но и прекрасная проза. Он сумел выразить ненависть к пошлости, ужас перед ней: «Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерш, неторопливый обмен мыслями канцелярских сотрудников: «А на третье был компот из вишен». «Мы молча сидели под остафьевскими колоннами и грелись на солнце. Тишина длилась часа два. Вдруг на дороге показалась отдыхающая с никелированным чайником в руках. Он ослепительно сверкал на солнце. Все необыкновенно оживились. Где вы его купили? Сколько он стоит?» «Зеленый с золотом карандаш назывался «Копир-учет». Ух, как скучно!» «Открылся новый магазин. Колбаса для малокровных, паштеты для неврастеников». «Край непуганых идиотов». «Это были гордые дети маленьких ответ-

ственных работников». «— Бога нет! — А сыр есть? — грустно спросил учитель». Он писал о среде, которую хорошо знал: «Композиторы ничего не делали, только писали друг на друга доносы на нотной бумаге». «Это было в то счастливое время, когда поэт Сельвинский в целях наибольшего приближения к индустриальному пролетариату, занимался автогенной сваркой. Адуев тоже сваривал что-то. Ничего они не наварили. Покойной ночи, как писал Александр Блок, давая понять, что разговор окончен». «В каждом журнале ругают Жарова. Раньше десять лет хвалили, теперь десять лет будут ругать. Ругать будут за то, за что раньше хвалили. Тяжело и нудно среди непуганых идиотов».

Записные книжки Ильфа чем-то напоминают записные книжки Чехова. Но «Душечки» или «Крыжовника» Ильф так и не написал: не успел, может быть, по скромности не решился.

Евгений Петрович тяжело переживал потерю: он не только горевал о самом близком друге — он понимал; что автор, которого звали Ильфпетров, умер. Когда мы с ним встретились в 1940 году после долгой разлуки, с необычной для него тоской он сказал: «Я должен все начинать сначала...»

Что он написал бы? Трудно гадать. У него был большой талант, был свой душевный облик. Он не успел себя показать — началась война.

Он выполнял неблагодарную работу. Во главе Совинформбюро, которое занималось распространением информации за границей, стоял С. А. Лозовский. Положение наше было тяжелым, многие союзники нас отпевали. Нужно было рассказать американцам правду. Лозовский знал, что мало кто из наших писателей или журналистов понимает психологию американцев, сможет для них писать без цитат и штампов. Так Петров стал военным корреспондентом большого газетного агентства НАНА (того самого, которое послало Хемингуэя в Испанию). Евгений Петрович мужественно и терпеливо выполнял эту работу; он писал также для «Известий» и «Красной звезды».

Мы жили в гостинице «Москва»; была первая военная зима. 5 февраля погас свет, остановились лифты. Как раз в ту ночь вернулся из-под Сухиничей Евгений Петрович, контуженный воздушной волной. Он скрыл от попутчиков свое состояние; едва дополз по лестнице до десятого этажа. Я пришел к нему на второй день; он с трудом говорил. Вызвали врача. А он лежа писал про бои.

В июне 1942 года в очень скверное время мы сидели в той же гостинице, в номере К. А. Уманского. Пришел адмирал И. С. Исаков. Петров начал просить помочь ему пробраться в осажденный Севастополь. Иван Степанович его отговаривал. Петров настаивал. Несколько дней спустя он пробрался в Севастополь. Там он попал под отчаянную бомбежку. Он возвращался на эсминце «Ташкент», немецкая бомба попала в корабль; было много жертв. Петров добрался до Новороссийска. Там он ехал в машине; произошла авария, и снова Евгений Петрович остался невредимым. Он начал писать очерк о Севастополе, торопился в Москву. Самолет летел низко, как летали тогда в прифронтовой полосе, и ударился о верхушку холма. Смерть долго гонялась за Петровым, наконец его настигла.

(Вскоре после этого был тяжело ранен И. С. Исаков, а потом при авиационной катастрофе в Мексике погиб К. А. Уманский.)

В литературной среде Ильф и Петров выделялись: были они хорошими людьми, не заносились, не играли в классиков, не старались пробить себе дорогу всеми правдами и неправдами. Они брались за любую работу, даже самую черную, много сил положили на газетные фельетоны; это их красит: им хотелось побороть равнодушие, грубость, чванство. Хорошие люди, лучше не скажешь. Хорошие писатели — в очень трудное время люди улыбались, читая их книги. Милый плут Остап Бендер веселил, да и продолжает веселить миллионы читателей. А я, не будучи избалован дружбой моих товарищей по ремеслу, добавлю об Илье Арнольдовиче и Евгении Петровиче: хорошие были друзья.

3

Как-то в 1931 или в 1932 году я обедал с Мерлем в марсельском ресторане. За соседним столиком сидел красивый брюнет, похожий на аргентинского танцора; он ухаживал за дамой; когда бродячая продавщица цветов протянула даме розу, он швырнул кредитку и чересчур громко сказал: «Сдачи не нужно». Мерль наклонился ко мне: «Это Александр, один из самых талантливых жуликов Парижа. Кстати, он ваш соотечественник...» Я не стал расспрашивать: мало ли в Париже талантливых жуликов всевозможного происхождения.

А в январе 1934 года я увидел во всех газетах фотографии пышного брюнета. Александр Ставиский действитель-

но родился в Киеве, на Слободке. Журналисты называли его «красавцем Сашей». Выяснилось, что красавец нахапал за короткий срок шестьсот пятьдесят миллионов франков. Газеты сообщали, что у него в прошлом три судимости, что он пользовался доверием дипломатов и состоял на службе у полиции, а чеки он раздавал небрежно, как розы, не только депутатам, но даже некоторым министрам.

Началась газетная перебранка: правые заверяли, что Стависский подкупал радикалов, радикалы отвечали, что чеки перепадали и друзьям Тардье.

Неожиданно красавец Саша застрелился. Газеты расписывали трогательные подробности; жулик походил на Вертера. Мелодрама длилась недолго; оказалось, что Стависского застрелил агент полиции Вуа. Полиция боялась, что припертый к стенке Саша начнет откровенничать, а в афере были замешаны слишком видные люди.

Все происходившее напоминало приключения Остапа Бендера. Следствие, например, установило, что крупные взятки получил депутат Боннор. Не помню, к какой партии он принадлежал, но в предвыборном воззвании он писал: «Моя программа — довольно политических принципов! Прежде всего честность!»

Финансовые скандалы были повседневным бытом Франции; каждый год раскрывалась какая-нибудь грандиозная афера: Устрик, Пере, Багдад, «Нгоко-Санга». Ну еще один... Я никак не думал, что прекрасный Саша откроет новую страницу истории.

Правые газеты усиленно занялись моралью: объяснялось это политическими расчетами — у власти стояло правительство «левого картеля». Министр иностранных дел Поль-Бонкур был сторонником сближения с Советским Союзом. Что касается различных фашистских организаций, то они вдохновлялись примером Германии; скандальная афера, в которой были замешаны депутаты и некоторые министры, помогала кампании против парламентаризма — за «здоровое государство с твердой властью».

Разразился очередной министерский кризис; он мало что изменил: большинство в парламенте принадлежало радикалам и социалистам. Новый премьер Даладье, расхрабрившись, решил сместить префекта полиции всесильного Кьяппа, который покровительствовал фашистским организациям. Кьяпп, несмотря на низкий рост, страдал манией величия, он был корсиканцем, и ему, видимо, хотелось стать Наполеоном. Узнав, что он смещен, он сказал, что в случае надобности «выйдет на улицу».

Действительно, два дня спустя, 6 февраля, я увидел на нарядной площади Конкорд фашистский мятеж. Сторонники «Боевых крестов», «Французской солидарности», «Патриотической молодежи» пытались прорваться через мост к зданию парламента, где заседали перепуганные депутаты.

«Марсельеза» фашистов прерывалась улюлюканьем. Полицейские, среди которых было много корсиканцев, вели себя непривычно мягко: многие из них были преданы своему начальнику и земляку Кьяппу, к тому же перед ними были не рабочие в кепках, а хорошо одетые молодые люди. Фашисты жгли автобусы, опрокидывали в Тюльерийском саду статуи нимф, резали ноги лошадей республиканской гвардии лезвиями бритв. Иногда раздавались выстрелы. Подоспели уголовники, начали громить магазины. К утру все устали и разошлись по домам.

Радикалы любили называть себя «якобинцами»: однако эти «якобинцы» струсили; Даладье подал в отставку. Началась обычная парламентская суетня, и новый кабинет состряпал правый Думерг, включив в него различных добропорядочных французов, в том числе Петена и Лаваля.

Все это казалось обычным, но изменились времена. Коммунисты призвали рабочих 9 февраля выступить против фашистов. Ночь была туманная. Я пошел к Восточному вокзалу: говорили, что там происходят стычки между рабочими и полицией. Рядом со мной шел пожилой рабочий; он попросил у меня прикурить, сказал: «Вот безобразие!..» В это время из тумана вынырнула машина с полицейскими; один соскочил и ударил рабочего дубинкой по голове.

На узкой улице строили баррикаду; тащили бочки, столы, ручные тележки; пели «Интернационал». Я попробовал пройти дальше. Начали стрелять. Ничего не было видно. Когда я добежал до угла, никого не было; я увидел только кровь на тротуаре.

Уже светало, когда я пробирался к отделению телеграфа в здании биржи, которое было открыто всю ночь: хотел передать поскорее корреспонденцию о происшедшем. Несколько раз меня останавливали, обыскивали.

Это было в пятницу; два последующих дня многое решили: различным профсоюзам — тем, что шли за коммунистами, и тем, во главе которых стояли социалисты, — удалось прийти к соглашению: на 12 февраля была назначена всеобщая забастовка. Рабочие организации призвали всех собраться на площади Насьон.

Газеты накануне писали, что забастовка неминуемо провалится; однако на следующий день ни одна из них не вышла: печатники забастовали. Жизнь замерла: не шли автобусы, закрылись магазины, не работала почта; даже учителя примкнули к забастовке.

Я пошел на площадь Насьон. Это была первая всенародная демонстрация в Париже, и она меня поразила сочетанием суровой уверенности с неизменным весельем парижской толпы. Сотни грузовиков с полицией, с гвардейцами стояли на соседних улицах. А на площади люди шутили, пели. Кто-то решил украсить статую Республики красным флажком; статуя большая и на высоком цоколе: сразу образовалась пирамида из человеческих тел. Демонстранты ласково приветствовали иностранцев — беженцев из Италии, Польши, Германии. Я вспомнил бесновавшихся фашистов на площади Конкорд. Два мира...

Двенадцатое февраля стало для Франции большой датой. Казалось, ничего не произошло, и на следующее утро Париж выглядел как прежде. Фашистская демонстрация 6 февраля свалила правительство, а теперь все министры оставались на своих постах. Но именно 12 февраля многое изменило: не состав кабинета — Францию. Как-то сразу заглохли догадки, когда фашисты снова выступят и кого они прочат в фюреры. Все поняли, что сила у народа. 12 февраля было первой черновой репетицией Народного фронта, который два года спустя потряс Францию.

Весь день я бродил по улицам довольный, возбужденный, вечером написал статью и отнес на телеграф. А на следующий день пришла телеграмма от редакции: в Вене начались вооруженные столкновения рабочих с полицией; я должен срочно запросить австрийскую визу и как можно скорее выехать.

Двенадцатое февраля меня окрылило; я видел повсюду победы. Вслед за Парижем — Вена... Видимо, приближается тот «последний и решительный», о котором пели парижские рабочие в туманную ночь. Обидно, что человеку с советским паспортом нельзя стрелять: остается выполнять работу военного корреспондента...

4

Я понимал, что австрийцы въездной визы мне не дадут, и решил прибегнуть к хитрости: сказал, что еду в Москву через Вену и прошу транзитную визу. А про себя думал: «Останусь в Вене столько, сколько будет нужно; да

еще неизвестно, кто победит...» Австрийцы, однако, тянули два дня с выдачей транзитной визы.

Когда я приехал в Вену, падали большие хлопья снега, как будто стараясь прикрыть свежие раны; чернели дыры домов, разбитых артиллерией хеймвера. Во Флоридсдорфе пахло гарью. Из окон выглядывали клочья простынь, носовые платки — белые флажки капитуляции. Среди щебня я увидел неубранный труп женщины. Хеймверовцы останавливали прохожих, некоторых тщательно обыскивали. Все это походило на Пресню в декабре 1905 года.

Один журналист мне рассказал, что накануне, когда еще шли бои, судили рабочего Мюнихрайтера; он был тяжело ранен, и в здание суда его принесли на носилках. Три часа спустя его повесили. За первым смертным приговором последовали другие.

Я попытался разыскать знакомых, расспрашивал; все были запуганы, неохотно отвечали. Я узнал, что многим шуцбундовцам удалось добраться до чехословацкой границы.

После победы в Париже я увидел в Вене поражение. Я не знал, в какую эпоху мы вступаем, и разгром шуцбундовцев меня поразил.

Я вспомнил, что, когда в 1928 году я был в Вене, я получил приглашение осмотреть рабочие дома; приглашение было на красивой бумаге, с гербом столицы и подписано бургомистром, социал-демократом. Меня сопровождал один из муниципальных советников, тоже социал-демократ. Я увидел прекрасные дома со скверами, со спортивными площадками, с просторными читальнями. Заметив мое восхищение, провожатый обрадовался. Он пригласил меня в кафе, где сидели рабочие, изучавшие десяток газет различного направления. Помню, там я поделился с любезным австрийцем моими сомнениями: «Дома изумительные! Но не кажется ли вам, что вы строите их на чужой земле?..» Мой собеседник начал мне объяснять, что социализм победит мирным путем — ведь на последних выборах в Вене семьдесят процентов избирателей голосовали за социал-демократов...

Теперь эти чудесные дома, названные именами Маркса, Энгельса, Гёте, Либкнехта, чернели, продырявленные снарядами...

Я услышал выстрел: хеймверовец упал. Это было последним слабым раскатом прошедшей грозы. На Ринге кафе были заполнены элегантными посетителями. Расклеивали театральные афиши: «Бал в Савойе», «Девушка с темпераментом», «Мы хотим мечтать».

Я уехал в Братиславу и там нашел шуцбундовцев. Один из них сказал, что спас многие документы. Это был социал-демократ, рабочий. Он долго мне рассказывал о трагических событиях, показывал протоколы заседаний, предшествовавших февральским дням, донесения районных начальников. Он сказал: «Мне все равно, что вы коммунист. Я читал ваши книги. Напишите правду. Пусть все знают, что мы не струсили. Конечно, оказались предатели, как Корбель, но таких было немного. Ужасно, что наши лидеры слишком долго колебались!.. Это хорошие люди, я с ними проработал двенадцать лет. Но когда начался бой, они растерялись...»

Я внимательно прочитал документы, записал рассказы рядовых участников боев. Можно было бы сесть за работу, но мне сказали, что в Брно находится один из руководителей шуцбунда Юлиус Дейч. Я поехал в Брно. Дейч хмурился; потом стал рассказывать. Он возмущался тем, что Дольфус и Фей спровоцировали восстание. Меня поразил разлад между политическим оппортунизмом его рассуждений и характером человека — жестким, скорее неуступчивым. Он вел себя лучше, чем думал. (Его дальнейшая судьба также изобиловала противоречиями: он был в Испании во время гражданской войны; его произвели в генералы, и социал-демократы на него дулись — он слыл «левым». Да и потом он часто ссорился со своими товарищами, его исключали из партии, снова принимали.)

Я увидел человека, подавленного событиями; его обиды мне многое объяснили.

Брно расположен поблизости от австрийской границы. Все время приходили люди, удравшие от расправы, рассказывали про виселицы, про казармы, куда загнали три тысячи рабочих. В газете я прочитал, что среди других «марксистских организаций» распущен «Союз владельцев маленьких садиков и кролиководов». Это было смешно, но я не улыбнулся.

В Брно я написал очерки для «Известий», получилась небольшая книга, и в газете они печатались с продолжением.

Мне хотелось не только описать события, но и постараться понять происшедшее. Рабочие Австрии были хорошо организованы. Может быть, потому, что коммунисты были куда слабее, чем в Германии, австрийские социал-демократы выглядели иначе, чем их немецкие товарищи; они, например, создали боевые дружины — шуцбунд, скрыли от властей винтовки, пулеметы. Почему же все решилось в два-три дня?..

В нашей печати социал-демократов тогда именовали «социал-фашистами»; это было хлестко, но неубедительно. Конечно, среди немецких социал-демократов нашлись предатели, быстро приспособившиеся к режиму нацистов. Носке получал от гитлеровцев государственную пенсию в то время, когда многие его товарищи по партии умирали в концлагерях. Нет, социал-демократы не были фашистами; это было ясно любому человеку, знакомому с жизнью Запада. Фашисты не боялись социал-демократов, но социал-демократы смертельно боялись фашистов, и если они не решились выступить против фашизма, то только потому, что не менее фашистов боялись коммунистов, пытались стать «третьей силой», а на самом деле теряли всякую силу, вели рабочих от капитуляции к капитуляции.

Венские события для меня были поучительными. Я увидел некоторых австрийских социал-демократов, людей вполне честных, лично смелых, но политически малодушных, сделавших против своей воли все, чтобы обеспечить победу канцлера Дольфуса и вождя хеймверовцев князя Штаремберга.

В начале февраля вице-канцлер Австрии Фей заявил: «В течение ближайшей недели мы очистим Австрию от марксистов». Что сделали в ответ руководители социал-демократов? Они уговаривали депутатов левого крыла христианско-социальной партии присоединиться к протесту. А полиция тем временем арестовывала одного за другим районных руководителей шуцбунда. Всеобщую забастовку откладывали со дня на день. Когда рабочие Линца отказались сдать винтовки и вступили в бой, в Линц пришла телеграмма из Вены, где шла речь о здоровье тети Эммы: это был условный язык — Вена предлагала снова отложить выступление. Только когда рабочие Флоридсдорфа забастовали и вытащили припрятанное оружие, руководители шуцбунда разослали телеграмму «Карл заболел», это означало, что всеобщая забастовка объявлена.

Я писал в «Известиях»: «Социал-демократические лидеры правы, заверяя, что бой был принят ими против воли. Они хотели сохранить не оружие, но погоны — право в фашистском государстве именоваться социал-демократами, и в этом праве Дольфус им отказал. Тогда перед социал-демократами осталось на выбор: либо пасть ниц, как сделали их германские собратья, либо защищаться. Я знаю, что многие социал-демократы проявили в февральские дни подлинное мужество. Они не боялись смерти.

Но победы они боялись...» Редакцию газеты несколько смутили эти строки, но они были напечатаны.

Венские события заставили меня задуматься не только над политической беспомощностью руководителей социал-демократов, я спрашивал себя, как им удалось привить части рабочего класса благодушие, даже благонамеренность. Рабочие-печатники Вены не забастовали. Трудно их заподозрить в несознательности. Они понимали, что канцлер Дольфус не сулит им счастья, но, сочувствуя шуцбундовцам, они набирали и печатали газеты, где их товарищи назывались «насильниками», «убийцами», «наемными агентами»; печатники знали, что это неправда, но, не веря в успех сопротивления, они боялись потерять заработок, а зарабатывали они неплохо. Отказались примкнуть к забастовке и железнодорожники; это дало возможность правительству перебрасывать военные отряды, подавить сопротивление в провинции. В вооруженной борьбе в первый день приняло участие около двадцати тысяч рабочих, во второй и третий день сопротивлялись семь-восемь тысяч. Это меня не удивило; так бывало в истории не раз. Поразительно другое: всеобщая забастовка сразу же провалилась, и сражавшиеся шуцбундовцы оказались без тыла.

Я понял, что победа Гитлера не была одиноким, изолированным событием. Рабочий класс был повсюду разъединен, измучен страхом перед безработицей, сбит с толку, ему надоели и посулы, и газетная перебранка. Я спрашивал себя, что же будет дальше — Париж или Вена, отпор или капитуляция?

Тысяча девятьсот тридцать четвертый год, который я встретил с такими надеждами, становился годом разуверений. Замелькали фашистские мятежи, перевороты — от Латвии до Испании. Осенью горняки Астурии попытались повернуть ход событий, но были разбиты.

Я не могу сказать, что австрийская буржуазия радовалась в феврале 1934 года победе хеймверовцев. Конечно, она была довольна, что шуцбундовцы разбиты, в то же время она побаивалась фашизма. Ей наивно хотелось вернуть далекое прошлое — беззаботность, легкомыслие габсбургских лет, остроумные фельетоны, вышучивающие режим, министерские кризисы, опереточных военных на Ринге. Век, однако, не церемонился. В феврале канцлер Дольфус разгромил рабочих и провозгласил новую конституцию, которая пахла солдатней Берлина и ладаном Ватикана. Я видел Дольфуса в Вене; он походил на карли-

ка, его мог бы хорошо написать Веласкес. Он удовлетворенно улыбался. Вскоре он поехал в Италию, подписал договор с Муссолини — хотел спасти Австрию от Гитлера. А в июле его убил сторонник фюрера. Когда два года спустя я снова оказался в Вене, победители февраля выглядели довольно плачевно. Князь Штаремберг занялся физкультурой, бывший вице-канцлер Фей служил в пароходной компании. Канцлером был осторожнейший Шушниг; он знал, что нельзя гневать ни господа бога, ни Гитлера. Когда в марте 1938 года гитлеровцы ворвались в Австрию, Шушниг предложил австрийцам не оказывать сопротивления. Нацисты все же посадили его в концлагерь. Веселым венским бюргерам пришлось умирать за великую Германию на Дону и на Волге. Такова была развязка трагедии, начавшейся в феврале 1934 года.

5

Пробраться из Чехословакии в Париж оказалось нелегко. Когда я приехал в Прагу, еще белел снег. Скверы успели зазеленеть. Незвал написал десяток стихотворений и в различных «каварнях» доказывал мне, что сюрреализм Бретона мало чем отличается от социалистического реализма.

Я познакомился с Чапеком. Некоторые левые критики нападали на него: время грозное, а он пишет о собачках. Чапек внешне походил на посетителя лондонского клуба: был вежлив, сдержан; но я сразу почувствовал за этой маской горечь. Час спустя Чапек сказал: «Прежде говорили о старом человеке, что он горбится под тяжестью лет. Мы можем сказать — под тяжестью веков... Надвигается эпоха воинствующей глупости...»

Майерова рассказывала мне смешные истории из жизни Гашека. Прошло всего шестнадцать лет с конца войны, а времена Швейка уже казались идиллическими.

Гоффмейстер начал рисовать меня на память — с трубкой и без трубки, с чемоданом и без чемодана; последнее, признаться, меня пугало: я из суеверия не распаковывал чемодана, хотя друзья давно перестали спрашивать, когда я собираюсь в путь. Ко мне привыкли. А я не мог привыкнуть к своему положению; как я ни люблю Прагу, я мечтал из нее выбраться.

Мои статьи появились в «Известиях» до того, как я обратился к австрийцам с просьбой о транзитной визе; мне

отказали. Отказали и немцы. Самолет Прага — Париж приземлялся в Нюрнберге, требовалась транзитная виза.

Герцфельде перенес в Прагу издательство «Малик». Увидев у него мои книги, изданные в Берлине, я удивился, почему их не сожгли. Оказалось, что нацисты продают за границу запрещенные книги, продают со скидкой. Костры им понадобились для демонстрации чистоты побуждений и непримиримости, а чешскими кронами они не гнушались.

В издательстве бывало много народу: часть немецких литераторов перекочевала в Прагу. Один из них рассказал мне, что в немецком посольстве работает ставленник фон Папена, который обожает литературу, собирает запретные книги, переплел в роскошный переплет «Хулио Хуренито»; может быть, он расщедрится и выдаст мне транзитную визу.

Я пошел вторично в немецкое посольство. Библиофил был высоким, белобрысым, с осанкой военного, но с близорукими и поэтому скорее добродушными глазами. Принял он меня любезно, хвалил мои книги, но визу дать отказался: «Я не хочу инцидентов». Я не понял, о каких инцидентах он говорит, и стал заверять, что, находясь на аэродроме Нюрнберга, не раскрою рта. Дипломат усмехнулся: «Инцидент может произойти не по вашей вине. Вы, видимо, недостаточно осведомлены... Прочитайте статьи Ильи Эренбурга о Германии».

Я хотел проехать через Венгрию и Югославию. Венгерское посольство запросило Будапешт; я заплатил за длинную телеграмму. Ответ был коротким. Секретарь посольства позвонил мне в гостиницу: «Вам придется выбрать другой маршрут».

Меня пригласил к себе министр иностранных дел Чехословакии Эдуард Бенеш. В очень большом кабинете я увидел маленького, чрезвычайно живого человека. Он сначала заговорил о литературе, потом, улыбаясь, сказал: «Я знаю, что вы любите Словакию и критикуете наше отношение к словацкой культуре». Бенеш стал мне доказывать, что правительственная политика не так уж плоха. Я знал, что происходят переговоры между Москвой и Прагой и что лучше всего промолчать, но не выдержал, начал спорить.

Наконец Бенеш сказал: «Может быть, я могу быть вам в чем-либо полезен?» Я поспешно ответил: «Да! Помогите мне покинуть вашу прекрасную страну. Мне нужно проехать в Париж, я пропустил все сроки...» Я рассказал о злоключениях с транзитными визами. Бенеш подвел меня

к карте Европы, висевшей на стене: «Теперь вы на себе почувствовали, что мы окружены. Чехословакия в смертельной опасности».

Подумав, Бенеш сказал, что попытается получить для меня румынскую транзитную визу, в случае успеха я смогу поехать через Румынию — Югославию — Италию. Я еще раз поглядел на карту и улыбнулся: нужно на запад, а поеду на восток... Привередничать, однако, не приходилось, и я поблагодарил Бенеша.

Действительно, два дня спустя меня пригласили в румынское посольство. Все долго разглядывали меня, а еще дольше мой паспорт — никогда прежде они не видели советского паспорта. (Это было до установления дипломатических отношений.)

Путь оказался долгим. Мне пришлось заночевать в румынском городе Орадя. Я с любопытством глядел на ободранных, но лихих извозчиков, которые катали расфуфыренных дам, на босых крестьян, на изысканных полицейских, а журналисты с не меньшим любопытством разглядывали меня — советский паспорт казался им первой ласточкой. Из Орадя на куцем неторопливом поезде я добрался до города Тимишоара и там увидел две примечательные личности — министра народного просвещения Ангелеску и фюрера местных немецких колонистов Фабрициуса. Министр говорил о «великой Румынии», фюрер — о «великой Германии».

При выезде из Румынии меня обыскали, отобрали вечное перо как контрабанду, но, узнав, что я писатель, повздыхали и вернули. Югославский таможенник, к моему удивлению, попросил у меня автограф и сказал, что ему нравится моя книга «Тринадцать трубок». Оказалось, что он русский и попал в Югославию с остатками врангелевской армии, а теперь тоскует по родине. Поезд сопровождала вооруженная охрана. Одни уверяли, что поезда взрывают хорватские сепаратисты, усташи, другие говорили, что динамитчики действуют по указанию белградской полиции.

В Триесте я разыскал одну знакомую, жену врача; она долго рассказывала о глупости и унизительности жизни под властью дуче. Провожая меня, она спросила у начальника станции, когда должен отойти поезд, и подняла по-фашистски руку, потом сказала: «Простите мне этот жест. Приходится...»

Я приехал в Венецию. Перрон вокзала был устлан малиновыми ковриками; по ним торжественно прошел авст-

рийский канцлер Дольфус. На площади Святого Марка был парад чернорубашечников. Громкоговорители передавали речь Муссолини: «Фашистская и пролетарская Италия, вперед!..» Чернорубашечники радостно кричали и действительно шли вперед — по площади, блестевшей после весеннего дождя.

В Милане меня пригласил к себе издатель, незадолго до этого выпустивший итальянский перевод «Дня второго». Книга была снабжена предисловием, в котором говорилось, что роман изобилует ошибочными суждениями, автор, например, прославляет коммунизм; но итальянский читатель сумеет отличить зерно от красной шелухи — «День второй» прославляет труд, а всем известно, что только фашистская Италия сумела обеспечить свободу и счастье трудящихся. Закрыв все двери, издатель начал объяснять полушепотом, что без предисловия нельзя было напечатать книгу. Пришла его дочь, студентка, и громко сказала: «Когда я вижу на стенах «дуче, дуче», мне хочется кричать от стыда...»

Во Францию я вернулся с невеселыми впечатлениями: фашисты или полуфашисты быстро превратили Европу в непроходимые джунгли. На границах повырубили деревья, вместо них поднялись заросли колючей проволоки. Обыскивали путешественников, искали газеты и револьверы, валюту и бомбы. Хорватские фашисты нападали на своих сербских единомышленников. В Румынии «железная гвардия» громила лавчонки и грозила мадьярам, а в Венгрии приверженцы Хорти убивали крестьян и клялись, что завоюют Трансильванию. Итальянские чернорубашечники кричали об австрийском Тироле, о французской Савойе. Фашисткая чума пересекала границы без виз.

Описывая путешествия по европейским джунглям, я говорил: «Проезжему кажется, что в Европе — война. Кто с кем воюет — сказать трудно. По всей вероятности, все и со всеми».

Перед моими глазами вставали картины поражения: Флоридсдорф, белые тряпки, обугленные фасады, хеймверовцы...

Однако то, что я увидел во Франции, меня снова приподняло. За время моего отсутствия родились сотни «Комитетов бдительности». Крестьяне приходили в города с охотничьими ружьями, спрашивали, где фашисты. Я пошел на один из бесчисленных митингов в рабочем районе Итали; у людей было такое настроение, что скажи им: «Вот фашисты», — они пошли бы на танки с голыми руками.

Профессор Ланжевен и Ален организовали «Комитет бдительности», куда входили писатели, ученые, профессора; были среди них люди, еще недавно отказывавшиеся от участия в политической жизни, — Роже Мартен дю Гар, Бенда, Леон Поль Фарг, много других.

Жан Ришар Блок пришел веселый, возбужденный, говорил, что февральские дни преобразили Францию, дело идет к революции.

В начале июня я отправился в Москву; снова мне пришлось поразмыслить над маршрутом; я выбрал морской путь: Лондон — Ленинград. Со мною поехал Мальро — у него было много планов: «Межрабпом» хотел сделать фильм по его роману, и Мальро рассчитывал поговорить о постановке с Довженко, потом он начал писать роман о борьбе за нефть и собирался съездить в Баку.

Советский пароход шел по Кильскому каналу. Я жадно разглядывал берег: вот фашистская Германия... На берегу стояли торговцы с большими сачками — предлагали пассажирам шоколад, сигары, одеколон.

Вдруг я увидел стоявшего на берегу рабочего; он поднял кулак — салютовал советскому флагу. Трудно описать, как мне хотелось тогда верить, да и не мне одному. Я тоже поднял кулак — приветствовал не только смелого человека, но и ту революцию, которая не пришла ни через год, ни через десять лет.

Увидеть истину прежде, чем ее видят другие, лестно, даже если за это ругают. А вот ошибаться куда легче со всеми.

6

В Москве у меня квартиры не было. Люба поехала к матери в Ленинград, а я с помощью «Известий» получил номер в гостинице «Националь». Комната была маленькой, неприглядной, брали за нее дорого, но выбора не было.

Как-то утром я заказал чай; официант выслушал меня и вскоре вернулся без подноса: чая я не получу, с сегодняшнего для ресторан отпускает только на валюту. Я рассердился, но смолчал, попросил принести кипяток и чайник для заварки — у меня были чай и сахар. Официант снова пришел с пустыми руками: «И кипятка не дали, говорят, советским не отпускаем...»

Я решил пойти к директору гостиницы. Лестница была заставлена цветами в горшках. Стояли, выстроенные в шеренги, коридорные в ярко-зеленых рубашках, горничные

в шуршавших лифах, с пышными наколками; по команде они кланялись, поворачивались налево, направо, улыбались, снова кланялись. Это напоминало репетицию фильма из быта старого купечества.

Я проник в ресторан и увидел его преображенным: там предполагали торговать солонками с резными петушками, скверными иконами суздальских богомазов и васнецовскими богатырями на ларчиках, на брошках, на блюдцах. Музыканты репетировали «Вниз по матушке по Волге...»

Директор объяснил, что я должен немедленно очистить номер: через час из Ленинграда прибудет большая группа американских туристов.

Я задержался, чтобы поглядеть на знатных путешественников; это были очень богатые люди; коридорные задыхались, волоча тяжелые чемоданы. Горничные, помня урок, кокетливо улыбались, и туристы снисходительно кивали головой. Я заговорил с одним; он оказался крупным биржевым маклером из Буэнос-Айреса. Он рассказал, что его отговаривали от поездки в Москву, но сейчас он окончательно успокоился: гостиница как гостиница: «Конечно, победнее, зато чувствуется русский дух. Я ведь бывал в Париже, там чудесный ресторан «Тройка»...»

(Я сердился, но не удивлялся. Незадолго до этого происшествия я был в Иванове. Зашел в ресторан. Зал загромождали пыльные пальмы. На столиках лежали грязные скатерти с засохшими следами вчерашних соусов и позавчерашних борщей. Я сел за столик, который выглядел чище. Официантка закричала: «Вы что, не видите?.. Это для иностранцев...» Оказалось, в местном текстильном институте учатся два молодых турка. К ним относились с почтением и обед им подавали на чистой скатерти.)

Я пошел в редакцию, попросил пишущую машинку и написал статью, которую озаглавил «Откровенный разговор». Я описал все, что увидел в гостинице «Националь», и сказал, что глупо выдавать Советскую страну за старый русский трактир с вышколенной челядью и бутафорским надрывом. «Будь я вашим гидом, граждане интуристы, я показал бы вам не прошлое, а настоящее моей страны. Я не кривил бы душой, не скрыл бы от вас многих злых сказок. Я не говорил бы вам: «Посмотрите направо — там старая церквушка» только потому, что налево стоит очередь... В нашей стране еще вдоволь нужды, косности, невежества: мы ведь только начинаем жить... Вы своими глазами видели скверную сказку одной гостиницы, по ней вы можете понять, как трудно нам освободиться от жестоко-

го наследства, которое оставило нам прошлое. Кроме сказки о коридорных в зеленых рубашках, я мог бы вам рассказать немало дурных сказок. У нас много говорят об уважении к человеку, но уважать человека у нас далеко еще не все научились... Я рассказал вам о дурных сказках, теперь разрешите припомнить несколько прекрасных сказок...» Я рассказывал о строителях Кузнецка, о крестьянах в доме отдыха, о литературном кружке на заводе «Шарикоподшипник». Я знал капиталистический мир; там жгли и хлопок и книги, безработные валялись под мостами, фашисты устраивали погромы; словом, стыдиться нашей бедности перед сотней американских богачей было не только гнусно, но и глупо.

Напомню дату: июнь 1934 года. Людям жилось тяжело, но по сравнению с двумя предшествующими годами чувствовалось облегчение. Культ личности уже сказывался в статьях, в стихах, в портретах, в чересчур пронзительном «ура», которое приподымало утихавшие аплодисменты. Это порой оскорбляло мой вкус, но никак не совесть — разве мог я предвидеть, как развернутся события? Люди в то лето много спорили, мечтали о будущем. Скованности еще не было, и редактор «Известий» Бухарин напечатал мою статью.

Я получил много писем: читатели благодарили за то, что я напомнил о достоинстве советского человека. А надо мной нависала туча. Корреспонденты иностранных газет сообщили о моей статье. «Таймс» писала, что советский писатель раскрыл, как «Интурист» «обманывает иностранных туристов». Руководители «Интуриста» утверждали, что несколько англичан и французов, собиравшихся посетить Советский Союз, после моей статьи отказались от поездки и что я нанес государству материальный ущерб. Бухарин меня защищал. Я не знал о различных телефонных звонках — был возле Архангельска на лесозаготовках. Подоспели другис события, и про мою статью, к счастью, забыли.

Если я рассказал об этом комическом и не очень значительном эпизоде, то отнюдь не для того, чтобы рассмешить читателя. Вспомнив нелепый маскарад в «Национале», я сам над многим задумался.

Впервые я вспомнил о коридорных, низко кланявшихся интуристам, в 1947 году, когда один из тогдашних руководителей Союза писателей сказал мне, что задачей нашей литературы на долгие годы является борьба против низкопоклонства и раболепства. Я долго расспрашивал:

мне хотелось верить, что речь идет об унизительном поведении некоторых людей, вроде описанного мной работника «Интуриста», о преклонении московских модниц перед заграничным барахлом, о немногочисленных, но все еще существовавших людях, для которых мир денег, свободной конкуренции, авантюр оставался привлекательным. Нет, товарищ, со мной беседовавший, объяснил мне, что необходимо бороться против низкопоклонства перед учеными, писателями и художниками Запада.

Я никак не мог понять, что значит «Запад»: для меня страны Западной Европы и Америки не были выкрашены в один цвет: Жолио-Кюри жил в другом мире, чем Бидо, профессор Бернал не походил на Мак-Артура, Хемингуэй явно отличался от президента Трумэна. «Запад»?.. Но разве Маркс не родился в Трире, разве Октябрьской революции не предшествовали июньские дни 1848-го, Парижская коммуна, борьба рабочих в различных странах Запада?

Вскоре я увидел, к чему свелась борьба против низкопоклонства и раболепства. Руководители пищевой промышленности переименовали сыр камамбер в «закусочный», а ленинградское кафе «Норд» в «Север». Одна газета заверяла, что дворцы Версаля были подражанием дворцам, построенным Петром Великим. Большая Советская Энциклопедия напечатала статью «Авиация», в которой доказывалось, что западноевропейские ученые и конструкторы внесли чрезвычайно слабый вклад в дело развития воздухоплавания. Фразу в моей статье о том, что Эдуар Мане был большим мастером XIX века, редактор зачеркнул: «Это, Илья Григорьевич, чистейшее низкопоклонство».

В 1949 году во время Первого конгресса сторонников мира, собравшегося в Париже, французы потребовали, чтобы я устроил пресс-конференцию. Один журналист спросил меня, как я отношусь к статье, напечатанной в советской газете, где Мольер назван слабым драматургом, что особенно ясно, когда смотришь пьесы Островского. Журналист держал в руке русскую газету, но я не мог разглядеть какую. Я ответил, что не знаю, верен ли перевод, я такой статьи не читал; если она действительно была напечатана, то это показывает, что ее автор не очень сведущ в литературе, да и не блещет умом. «Мы говорим, что уничтожили в нашей стране эксплуататоров, это правда. Но мы никогда не утверждали, что уничтожили дураков...» Журналисты рассмеялись и стали более внимательно слушать ответы о «холодной войне», о политике Трумэна, о задачах сторонников мира. А я был весь в поту — гадал, какую газету он проци-

тировал. Когда пресс-конференция закончилась, журналист, поставивший каверзный вопрос, подошел, показал газету. Я облегченно вздохнул: «Вечерка»...

С тех пор многое изменилось, но подлинное раболепство, низкопоклонство — не то, о котором писали критики в 1947 году, а то, что вдохновило в 1934 году инструктора «Интуриста», еще не исчезло. Недалеко от дома, где я живу, в городе Истра стоит небольшой бюст Чехова (Антон Павлович работал в земской больнице Вознесенска — так называлась до 1929 года Истра). Памятник поставили в 1954 году. Несколько лет спустя он оброс репейником, крапивой, чертополохом. Напрасно я уговаривал местные власти расчистить место вокруг памятника, посадить цветы. Ко мне приехали две француженки, корреспондентки «Юманите»; одна из них говорит по-русски. По дороге они остановились в Истре, начали фотографировать памятник Чехову. Работник райсовета удивился: «Выходит, что во Франции Чехова знают...» Француженка ответила: «Конечно. Но я думала, что его знают и в Советском Союзе», — она показала на заросли крапивы. На следующий день я увидел вокруг памятника анютины глазки.

Комплекс неполноценности часто связан с комплексом превосходства, и человек, не уверенный в себе, сплошь да рядом держится надменно. Наш народ не только первым пошел по трудному пути строительства нового общества, в некоторых областях науки он оказался впереди других. Конечно, у нас много непроезжих дорог, коммунальных квартир, дурной живописи, недостатков в том или ином предмете обихода; стыдиться этого перед иностранцами не приходится; стыдиться нужно перед собой, стыдиться и бороться за повышение жизненного уровня. Никого не принизит уважение к культуре других стран, в том числе и тех, где еще царят доживающие свой век порядки. Народы этих стран живы; они не только давали в прошлом, они дают и поныне больших ученых, писателей, художников. Раболепствовать могут люди, еще не освободившиеся от психики раба. А чувство собственного достоинства не имеет ничего общего с чванством полураба, полузазнайки.

7

Я писал, что готовился к съезду советских писателей, как девушка к первому балу. Может быть, многие из моих наивных надежд и не осуществились, но съезд ос-

тался в моей памяти как большой диковинный праздник. Стены Колонного зала были украшены портретами великих предшественников — Шекспира, Толстого, Мольера, Гоголя, Сервантеса, Гейне, Пушкина, Бальзака и других. Передо мной был Гейне — молодой, мечтательный и, разумеется, насмешливый; я машинально повторял:

Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно.
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства — все было прекрасно...

Начало я вспоминаю с улыбкой: неожиданно оркестр стал исполнять оглушающие туши, как будто должны были последовать тосты.

Съезд продолжался пятнадцать дней, и каждое утро мы спешили в Колонный зал, а у входа толпились москвичи, желавшие посмотреть на писателей. К трем часам дня, когда объявляли обеденный перерыв, толпа была такой плотной, что мы с трудом пробивались. Тогда еще не было моды на автографы, люди смотрели, узнавали некоторых, приветствовали. Гости каждый день менялись, и на съезде побывало двадцать пять тысяч москвичей.

Приходили различные делегации: Красной Армии и пионеров — «База курносых», работниц «Трехгорки» и строителей метро, колхозников Узбекистана и московских учителей, актеров и бывших политкаторжан. Железнодорожники выстраивались под сигнальный свисток; пионеры дули в трубы; колхозницы приносили огромные корзины с фруктами и овощами; узбеки привезли Горькому халат и тюбетейку, матросы — модель катера. Все это было патетично, наивно, трогательно и походило на необычайный карнавал; привыкшие к трудным часам у рабочего стола, мы вдруг оказались на площади, засыпаемые розами, астрами, георгинами, настурциями — всеми цветами ранней московской осени.

Я раскрыл книгу, ставшую теперь редкостью, — стенографический отчет съезда, просмотрел список делегатов; редкостью стали и участники Первого съезда писателей — из семисот осталось в живых, может быть, полсотни. Прошло тридцать лет, да и годы были нелегкими.

Я председательствовал на заседании, когда выступил участник Парижской коммуны Гюстав Инар; ему было восемьдесят шесть лет.

Делегации, приходившие, чтобы приветствовать съезд, были героями ненаписанных романов. Помню высокую

крепкую женщину, колхозницу из Московской области; она говорила: «У меня самой муж. Я четвертый год — председателем колхоза. Вы знаете, ведь председателя колхоза можно приравнять к директору фабрики, а муж — рядовой колхозник. Но он терпения набрался. Ему дают наряд — изволь его выполнить. Если не так делаешь, то я на правлении скажу. Не исправишься — трудодней не дам. Если еще не исправишься — из колхоза выгоню. Покажу пример остальным мужчинам: скажут — расправилась с мужем, и нам не легче будет...» Рядом стоял мужчина невысокого роста и пугливо ежился.

Все делегации «предъявляли счет»: текстильщицы хотели романа о ткачихах, железнодорожники говорили, что писатели пренебрегают проблемами транспорта, шахтеры просили изобразить Донбасс, изобретатели настаивали на героях-изобретателях. (Люди не всегда представляют, что именно им нужно. Некоторые писатели поспешили погасить задолженность; появились сотни производственных романов. А читатели тем временем росли. Тридцать лет не прошли бесследно... Библиотекари говорят, что железнодорожники зачитываются рассказами Чехова, горняки любят «Петра» А. Толстого, ткачихи плачут над «Анной Карениной», изобретателям нравятся романы, где нет никаких изобретений, от «Тихого Дона» до «Старика и моря».)

Старый ашуг Сулейман Стальский вместо речи решил продекламировать, вернее, спеть стихи о съезде:

Приветный знак ашугу дан,
И вот я, Стальский Сулейман,
На славный съезд певцов пришел.

А. М. Горький вытер платком глаза. Я не раз видел в глазах Алексея Максимовича слезы умиления, Андерсен-Нексе, когда его обступили пионеры, тоже прослезился.

Б. Л. Пастернак сидел в президиуме и все время восхищенно улыбался. Когда пришла делегация метростроевцев, он вскочил — хотел взять у одной из девушек тяжелый инструмент; она рассмеялась, рассмеялся и зал. А Пастернак, выступая, начал объяснять: «И когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку».

Переполненный зал напоминал театр: встречали овацией любимых писателей; восхищались удачными речами. Олеша потряс поэтической исповедью, Вишневский и Безыменский — страстными митинговыми речами, Кольцов и Бабель сумели рассмешить.

Кажется, все говорили искренне, хотя иногда содержание речей и не совпадало с душевным состоянием того или иного писателя. Ю. К. Олеша рассказал, как он воскрес, освободившись от недавних сомнений: «Ко мне вдруг неизвестно почему вернулась молодость. Я вижу молодую кожу рук, на мне майка, я стал молод — мне шестнадцать лет. Ничего не надо. Все сомнения, все страдания прошли. Я стал молод. Вся жизнь впереди». Может быть, в тот же самый день, может быть, назавтра или через неделю я с ним обедал, и он печально говорил: «Я больше не могу писать. Если я напишу: «Была плохая погода», — мне скажут, что погода была хорошей для хлопка»... Олеша был очень талантлив, книга «Зависть», написанная в 1927 году, выдержала испытание временем. Да и отрывистые записи последних лет показывают большую писательскую силу. Но молодость к нему не вернулась; это было иллюзией, сном на празднике...

А. М. Горький внимательно слушал речи. Ему хотелось, чтобы съезд принял деловые решения. Алексей Максимович предлагал многое: «Историю фабрик и заводов», книгу «День мира», историю гражданской войны, историю различных городов, литературные школы, коллективную работу, журнал, посвященный профессиональному обучению начинающих авторов. Некоторые из его проектов потом были осуществлены. Но съезд не был, да и не мог быть деловым: он превратился в крупную политическую демонстрацию. Из Германии доходил дым костров, на которых фашисты жгли книги. Все помнили недавние события: фашистский путч в Париже, разгром шуцбунда. Присутствие революционных зарубежных писателей расширяло стены Колонного зала; мы смутно ощущали приближение войны.

Горький пригласил на свою дачу иностранных гостей и некоторых советских писателей. Помню страшный рассказ китайской писательницы, она сказала, что молодой писатель Ли Вэйсэн был живым закопан в землю. Японский гость рассказал на съезде, как полиция истязала и убила писателя Кобаяси. Мы восторженно встретили Бределя — он просидел больше года в фашистском концлагере. Он говорил о судьбе Людвига Ренна, Осецкого. Можно ли было спокойно это слушать? Для того чтобы воссоздать настро-

ение тех дней, скажу, что такой далекий от политики человек, как Пастернак, в своей речи, вспомнив приветствие представителя Красной Армии, говорившего о защите родины, сказал: «Вы открывали переливы вашего собственного голоса в словах курсанта Ильичева».

Я говорил, что историю нельзя переписать заново. В одной из резолюций съезд приветствовал присутствовавших: Андерсена-Нексе, Мальро, Жана Ришара Блока, Якуба Кадри, Бределя, Пливье, Ху Ланьчи, Арагона, Бехера, Амабель Эллис — и слал приветы отсутствовавшим: Ромену Роллану, Жиду, Барбюсу, Бернарду Шоу, Драйзеру, Эптону Синклеру, Генриху Манну, Лу Синю (сохраняю порядок резолюции). Некоторые из перечисленных писателей при разных обстоятельствах, в разное время, да и по-разному отошли от идей, которые разделяли в 1934 году; но я сейчас говорю не об их дальнейшей судьбе, а о съезде.

Андерсен-Нексе просил советских писателей быть шире: «Вы должны дать массам идеалы не только для борьбы и для труда, но и для часов тишины, когда человек остается наедине с самим собой... Художник должен давать приют всем, даже прокаженным, он должен обладать материнским сердцем, чтобы выступить в защиту слабых и неудачливых, в защиту всех, кто, все равно по каким причинам, не может поспеть за нами».

В докладе Радек упомянул о некоторых колебаниях Жана Ришара Блока. В своей речи Блок говорил о необходимости широкого антифашистского фронта: «Товарищ Радек, если вы будете упорствовать в осуждении, если вы будете проявлять недоверие, то я лично должен вас предупредить, что это только толкнет широкие массы Запада в сторону фашизма». Арагон, молодой и вдохновенный, откинув голову назад, говорил о наследстве «Рембо и Золя, Сезанна и Курбе».

Мальро выступил дважды. Первый раз он говорил о роли литературы: «Америка нам показала, что, выражая мощную цивилизацию, люди еще не создают мощной литературы и что фотография великой эпохи — это еще не великая литература... Вы, похожие друг на друга и все различные, как зерна, вы здесь кладете начало той культуры, которая даст новых Шекспиров. Только чтобы не задохлись Шекспиры под грузом самых наипрекрасных фотографий».

Второй раз он попросил слово, чтобы напомнить о своей политической позиции: «Если бы я думал, что политика стоит ниже литературы, я не провел бы кампании во

Франции вместе с Андре Жидом в защиту товарища Димитрова, не ездил бы в Берлин по поручению Комитета защиты Димитрова и, наконец, не был бы здесь». Мальро страдал нервным тиком. Радек решил, что Мальро морщится от дискуссии: «У него часто скривлялось лицо, когда он считал, что вопрос поставлен чересчур резко». Он поспешил успокоить Мальро, но вылечить его от тика, конечно, не смог.

Выступали мои старые друзья: Толлер, Незвал, Новомеский. Рафаэль Альберти держался очень скромно и даже не попал в список знатных гостей.

О чем же мы говорили в течение пятнадцати дней? Пушкиных и Гоголей среди нас как будто не было, но многие были уже не зернами, а деревьями или кустарником. Алексей Толстой не походил на Серафимовича, Бабель на Панферова, Демьян Бедный на Асеева, и политические декларации неизменно перемежались с литературными спорами. Громче других шумели поэты, которых взволновал доклад Бухарина. Когда впервые было произнесено имя Маяковского, зал восторженно зааплодировал. Однако и здесь не было единогласия. В заключительном слове А. М. Горький, назвав Маяковского «влиятельным и оригинальным поэтом», сказал, что ему свойствен «гиперболизм», который плохо влияет на некоторых молодых поэтов. Спорили о праве лирики на существование, о том, устарели или нет агитки, о романтизме, о доходчивости, о многом другом.

Настоящие писатели всегда стремились выразить не себя, а через себя мысли и чувства современников. Работа писателя протекает, однако, не в цеху, не на сцене, а в комнате с закрытыми дверями. Можно научить начинающего автора преодолеть литературную неграмотность, безвкусицу, научить его читать, но научить его стать новым Горьким, Блоком или Маяковским невозможно. Даже большой мастер не может обучить другого мастера: различные ключи подходят к различным замкам. Стендаль попробовал прислушаться к советам Бальзака и чуть было не погубил «Пармскую обитель», но вовремя спохватился и отказался переделать роман. Тургенев, стараясь исправить некоторые стихотворения Тютчева, страдавшие, по его мнению, ошибками, нещадно их исковеркал.

Писатели порой (не очень часто) говорят друг с другом о литературных проблемах; эти беседы или споры помогают осмыслить многое. Но можно ли спорить о мастерстве в огромном зале, среди тушей и оваций? Не думаю.

Да и назначение съезда было другим. Читатели увидели, что мы с ними, что есть у нас общая цель. Мы, в свою очередь, поняли, как заинтересованы в нашей работе миллионы людей; это заставило нас еще серьезней призадуматься над ответственностью писателя. Съезд собрался накануне чрезвычайно трудного десятилетия. Мы видели звериный оскал фашизма. Как бы ни были велики наши художественные раздоры, порой связанная с ними неприязнь, мы показали тем, кто хотел это понять, что боевая выручка для нас — не абстрактное понятие. Это дал съезд, и большего, я думаю, он дать не мог.

Все же по наивности или по свойствам характера я, как и некоторые другие, ввязался в литературный спор. Я, например, осмелился усомниться в полезности коллективных работ писателей. Алексей Максимович, отвечая мне, сказал, что я так говорю «по недоразумению, по незнакомству с их техническим смыслом».

Горький потом сказал мне: «Вы против коллективной работы, потому что думаете о писателях грамотных. Наверно, мало читаете, что теперь печатают. Разве я предлагаю Бабелю писать вместе с Панферовым? Бабель писать умеет, у него свои темы. Да я могу назвать и других — Тынянова, Леонова, Федина. А молодые... Они не только не умеют писать, не знают, как подступиться...» Признаюсь, Алексей Максимович меня не убедил. Я думал прежде всего о нем самом: он научился писать, нашел свои темы, никто ему ничего не разжевывал. Да и в 1934 году я видел писателей, прошедших трудную школу жизни и нашедших свой путь. В книгах наших великих предшественников они находили те уроки, которых напрасно было ждать от бригадиров литературных бригад или от второразрядных литераторов, которые будут руководить семинарами в проектировавшемся Литературном институте. Обидно мне другое — что с Горьким я познакомился слишком поздно. Дважды я с ним беседовал, часто на него глядел во время съезда. Меня поражала в нем прирожденная талантливость, она чувствовалась в любом его жесте. Выступая с докладом, он вдруг закашлялся, приступ был долгим, и зал замер: все знали, что Алексей Максимович болен. Его раздражал резкий свет прожекторов. Когда мы ужинали у него на даче, он вдруг встал и с виноватой усмешкой сказал, что просит его простить — устал, должен лечь. Бабель, хорошо знавший Алексея Максимовича, говорил мне: «Ему плохо. После смерти Максима он сдал. Не тот Горький...» Наверно, он был прав, а «того» Горького мне увидеть не удалось.

Я выступил с длинной речью. Приведу из нее несколько отрывков.

«Можно ли упрекать писателя за его необщедоступность? Романсы под гармошку даются куда легче, нежели Бетховен... Каждый истинный художник стремится к простоте, но простота простоте рознь. Простота «Моцарта и Сальери» — не простота крыловских басен. Есть простота, которая требует для своего понимания подготовки. Мы вправе гордиться, что некоторые из наших романов уже доступны миллионам. В этом мы далеко обогнали капиталистическое общество. Но одновременно мы должны лелеять, беречь те формы нашей литературы, которые сегодня еще кажутся уделом интеллигенции и верхушки рабочего класса, но которые завтра, в свою очередь, станут достоянием миллионов. Простота — не примитивизм. Это синтез, а не лепет. Мне приходится напомнить об этом только потому, что провинциализм еще частично присущ нашей литературе. Нашей стране теперь принадлежит гегемония... А часто в наших книжках чувствуется спесь и одновременно приниженность захолустья...»

«Великие писатели прошлого века оставили нам опыт... Но изучение этого опыта у нас подменяется имитацией. Так начинается эпигонство, так появляются романы или рассказы, слепо подражающие манере старой натуралистической повести... Под видом необходимости борьбы с формализмом у нас часто проводится культ самой реакционной художественной формы... Рабочий справедливо протестует против дома-казармы... Но разве это значит, что можно вытащить лжеклассический портал, прибавить немного ампира, немного барокко, немного старого Замоскворечья и выдать все это за архитектурный стиль нового великого класса?.. Кому придет в голову рассматривать историю живописи только как голую смену тематики? Голландские мастера XVII века писали яблоки, Сезанн тоже писал яблоки, но они писали яблоки по-разному, и все дело в том, как они писали яблоки...»

«Вместо серьезного литературного разбора мы видим красную и черную доски, на которые заносятся авторы, причем воистину сказочна легкость, с которой их с одной доски переносят на другую. Нельзя, как у нас говорят, поднимать на щит писателя, чтобы тотчас сбрасывать его вниз. Это не физкультура. Нельзя допустить, чтобы литературный разбор произведений автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о распределении благ не должен находиться в зависимости от литературной крити-

ки. Нельзя, наконец, рассматривать неудачи и срывы художника как преступления, а удачи как реабилитацию».

Обычно, вспоминая прошлое, я удивляюсь, как я мог то-то написать, так-то поступить, с трудом себя узнаю на выцветших фотографиях. Речь на съезде писателей меня удивила другим: мне показалось, что это цитаты из моей недавней статьи. А с тех пор прошло тридцать лет. Мир изменился до неузнаваемости. На съезде О. Ю. Шмидт рассказал мне о замечательных перспективах авиации: в ближайшие годы нашим летчикам удастся перелететь через Северный полюс. Я слушал его, как мага. Мог ли кто-нибудь тогда представить себе, что двадцать семь лет спустя советский летчик спокойно уснет в космическом пространстве, кружась без конца вокруг нашей планеты?

Я тогда был вихрастым, задористым; высох, полысел, да и помягчел. И вот я повторяю в статьях, в этой книге мысли, высказанные в 1934 году. Может быть, я выжил из ума, напоминаю старика, который рассказывает как злободневную новость, что на Тверской возле дома генерал-губернатора околоточный его незаслуженно обидел? Вряд ли. От такого старика люди убегают, а на меня порой и накидываются. К сожалению, я, видимо, не доживу до того дня, когда вопросы, поднятые мною на съезде, устареют...

В 1934 году, после «Дня второго», мое имя стояло на красной доске, и никто меня не обижал. Время было вообще хорошее, и мы все думали, что в 1937 году, когда должен по уставу собраться Второй съезд писателей, у нас будет рай. На съезде выступил О. Ю. Шмидт. Он рассказал с горькой иронией об одном из фильмов, посвященных эпопее челюскинцев: «И вот слышен чей-то голос, подозрительно похожий на голос начальника экспедиции, хотя я этого совершенно не говорил. И вот этот начальник все время кричит: «Вперед! Быстрей! Еще быстрей! Вперед, вперед!» Не такими методами мы руководили. Наше руководство, наша работа не нуждаются в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждаются в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы. Я не хочу употребить слова, но это заграничные методы одного из соседних государств». Отто Юльевич хорошо понимал, что «нажимы», «возгласы» и религиозный культ вождя приличествуют фашистской Германии, а не обществу, вышедшему из революции, которую вдохновлял В. И. Ленин. Мы дружно аплодировали умной речи. Отто Юльевич был хорошим ученым; оракулом он не был.

Во время съезда группу писателей пригласили вечером на дачу А. М. Горького. Там я увидел, кажется, всех членов Политбюро, кроме И. В. Сталина. Я ни с кем из них не был знаком. Когда после ужина с беспрерывными тостами все встали, М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов и другие товарищи со мной заговорили; всех почему-то интересовала моя книга, написанная еще в 20-е годы, — «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»; книга им нравилась, но, к моему великому удивлению, они добавляли, что в книге почувствовали антисемитизм, а это нехорошо. Герой названного сатирического романа — гомельский портной, по воле судьбы занимавшийся многими профессиями, изъездивший много стран, горемыка, если угодно, духовный родственник Швейка. Л. М. Каганович сказал, что, по его мнению, роман страдает еврейским национализмом. Я снова удивился. Потом он перешел на «День второй», упрекал меня за то, что я хожу среди котлованов и вижу не корпуса заводов, которые вскоре вырастут, а землянки, бараки, грязь. Я возражал. Под конец я сказал: «Главное сейчас — это разбить фашизм...» Возвращаясь поздно ночью в Москву, я думал именно об этом: с литературой будет трудно, очень трудно, может быть, два года, пять лет. Дело сейчас в другом.

Выбрали правление, одобрили устав. Горький объявил съезд закрытым. На следующий день у входа в Колонный зал неистовствовали дворники с метлами. Праздник кончился.

8

Еще до съезда писателей я поехал с Ириной на север. Мы побывали в Архангельске, Холмогорах, Усть-Пинеге, Котласе, Сольвычегодске, Сыктывкаре, Великом Устюге, Нюксенице, Тотьме, Вологде. Плыли на пароходах, носивших гордые имена: «Лютый», «Марксист», «Массовик», «Крепыш». Пароходы шли медленно; люди рассказывали долгие истории, спорили, мечтали, пели, сквернословили. На остановках пассажиры покупали молоко, чернику, купались, заводили знакомства, женщины стирали белье. Берега были зелеными и загадочными; казалось, пароход, удивленно вскрикивая, врезается в вековую дрему природы. Изредка показывалось человеческое жилье — кондовые двухэтажные избы. По реке медленно плыли огромные стволы — лес шел по тихой Сухоне, по капризной

Вычегде, по широкой Двине — вниз к морю. Ночи были светлыми, и порой от красоты захватывало дух. Я впервые увидел русский север, он меня сразу покорил нежностью и суровостью, древним искусством и молодостью рослых молчаливых людей.

Я побывал на запанях, где люди, стоя на плотах, баграми подбирали стволы сосен и елей. Запань порой скрипела, — казалось, сейчас она поддастся и лес вырвется к морю; но люди работали день и ночь. Стволы вязали; буксиры везли плоты в Архангельск; там дерево грузили на суда — английские, норвежские, шведские. Это была валюта, на нее покупали оборудование заводов.

Я подолгу разговаривал с рабочими, с юношами и девушками, недавно приехавшими из деревень. Не только лес растет неровно, но и люди. Я видел рабочих, которые на досуге сидели над учебниками математики, читали стихи, мучительно переживали трагедию немецких коммунистов; видел равнодушных, ловкачей, мошенников.

Конечно, я радовался, глядя на новые поселки вокруг Архангельска, на щетинную фабрику в Великом Устюге, на тракторы; но больше всего меня поражал рост сознания. Человеческие взаимоотношения начинали усложняться, углубляться. Я встречал на лесозаготовках, на запанях, в порту людей с широким кругозором, с богатой духовной жизнью — не вечно улыбающихся ударников с Доски почета, а сложных, внутренне взрослых людей, и как бы ни был жесток быт, как бы ни возмущали меня уже появившиеся к тому времени равнодушные администраторы, занятые только цифрами (порой воображаемыми), я радовался: видел, как растет наше общество.

Недавно, просматривая старые комплекты «Красной нови», я случайно напал на такие строки: «Эренбург видит мир в контрастах. Это свойство его глаза». Автор говорил как раз о моем восприятии севера в 1934 году. Я задумался: правда ли, что у меня особые глаза, с которыми нужно идти если не к глазнику, то к психиатру? Я читаю старые записи, стараюсь восстановить в памяти лето 1934 года, не так уж давно это было, все же не вчера. Да, я часто восхищался, часто и сердился, хмурился, веселел. Однако, разговаривая с другими людьми, я видел, что и они одно хвалят, другое ругают. Дело, пожалуй, не в моих глазах, а в эпохе — на контрасты она не скупилась.

Москва тогда впервые узнала горячку строительства; она пахла известкой, и от этого было весело на душе. Я видел, как строили первую очередь метро, и радовался

вместе со всеми москвичами. Выросли огромные заводы вокруг Симонова монастыря. Я не узнавал многих хорошо мне знакомых улиц; вместо кривых домишек — леса, щебень, пустыри. Ночью над городом стоял оранжевый туман, впервые захолустная Москва моего детства выглядела столицей.

А рядом можно было увидеть, как сносили памятники старины: Китай-город, Сухареву башню, Красные ворота. Уничтожали зеленое кольцо Зубовского, Смоленского, Новинского бульваров с вековыми деревьями. Трудно объяснить, почему семнадцать лет спустя после революции происходило разрушение множества сокровищ, и не стихийно — организованно. Помню разговор с И. Э. Грабарем. Он рассказывал, что многие архитекторы протестовали против сноса Красных ворот, писали в докладной записке, что эта арка не мешает уличному движению, — все равно машинам придется объезжать площадь, и там, где находятся Красные ворота, поставят милиционера; доводы не подействовали.

На севере я увидел, с каким исступлением люди разрушали то, что стоило сохранить. Еще можно было найти немало деревянных церквей шестнадцатого — семнадцатого веков, в которых сказался творческий гений русского народа. В таких церквах хранили картошку, сено, и, простоявшие триста — четыреста лет, они сгорали одна за другой. Когда я был в Архангельске, там с величайшими усилиями взрывали прекрасное здание таможни петровского времени. (В стене нашли ларец, а в ларце деревянную Венеру; «куклу» поломали.) Я видел, как по кирпичикам разбирали одну из старейших церквей Великого Устюга; мне объяснили: «Баню строим». В другой церкви сушили белье, а под рубашками сидели Христы. На севере была распространена деревянная раскрашенная скульптура барокко; чаще всего мастера изображали Христа в темнице. (В испанском городе Вальядолид я видел скульптуру, очень похожую на великоустюжскую.) Мы привыкли видеть Христа в одиночку, а на складе я увидел целый симпозиум Христов; у некоторых были отбиты руки, ноги; они сидели и о чем-то мрачно думали.

Места, где я побывал тем летом, сыграли видную роль в развитии русского искусства: Великий Устюг, София в Вологде, шатровые деревянные церкви, строгановские иконы; старины, песни, заговоры, прибаутки; народное творчество — глиняные бело-черные игрушки, вологодские кружева, резьба по кости, чернь на серебре. Здесь

не было южной цветистости — все выглядело ясным, строгим.

Вологодским кружевницам предложили вместо традиционных узоров — «честянка», «мизгиречек», «речка», «медведка» — изображать тракторы. В Великом Утюге я познакомился со старым мастером, специалистом по черни Чирковым. Он долго мне рассказывал, как сначала ему отвечали, что чернь никому не нужна, потом пришли из горсовета: «Раскрой твой секрет». Напрасно Чирков объяснял, что никакого секрета нет, дело не в производственной технике, а в мастерстве, в фантазии. Организовали артель и начали изготовлять безвкусные браслеты. (Я рассказал Горькому о судьбе Чиркова, рассказал про резчика по кости Гурьева, про вятскую крестьянку Мезрину, которой сказали, что у глиняных гусар нужно убрать погоны, про земляка Алексея Максимовича Мазина, расписывавшего скамьи, табуреты, стены. Горький огорчился, попросил меня все записать, вытирал глаза. Чиркова вызвали в Москву, но артель продолжала изготовлять те же браслеты. Потом Чирков умер.)

Тысяча девятьсот тридцать четвертый был годом героики. Погибли отважные люди, поднявшиеся в стратосферу. Летчики спасли челюскинцев. Никогда не забуду, как их встречала Москва: солнце, прозрачные транспаранты, цветы и какое-то всеобщее умиление — другого слова не подберу — перед мужеством, перед братством.

Один из челюскинцев рассказал мне, что у них на льдине был томик Пушкина; они читали стихи вслух, и это всех приподымало. Мог ли писатель слушать такие признания без глубокого волнения?

В клубе «Красный лес» комсомолец декламировал стихи Тютчева. Я невольно вспомнил строку Фета: «К зырянам Тютчев не придет». А было это в Сыктывкаре — в столице коми, которых прежде звали зырянами.

К одним приходил трудный Тютчев. От других уходили обыкновенные человеческие чувства. Проводили партийную чистку. На собрании обсуждали работу Краснова (фамилия, как и последующие, вымышленная). Его сослуживец Смирнов сказал: «А между прочим, товарищ Краснов живет с женой Шелгунова...» Шелгунов присутствовал на собрании; он налил в стакан воду, но не выпил. Краснов начал оправдываться: «Она сама лезла...» Его перевели из членов в кандидаты.

В Тотьме устраивали курорт для страдающих нервными заболеваниями. Клуб поместили в церкви, и под по-

тускневшей богородицей висел плакат: «Здоровое тело необходимо для выполнения второй пятилетки». Церковное кладбище разрыли. Я видел человеческие останки. Заведующий, с глазами идеально пустыми, гладил свои свисавшие щеки и равнодушно отвечал: «Уберем, до всего руки не доходят. А начнут гонять мяч и замечать не будут...»

Газетные критики еще одобрительно отзывались о новой опере Шостаковича «Катерина Измайлова». На премьере «Дамы с камелиями» Мейерхольду устроили овацию. Мне показали поэму «Торжество земледелия» Заболоцкого; стихи меня удивили, потом прельстили; я их долго повторял про себя. В Москве я провел несколько вечеров с А. П. Довженко; он был, как всегда, взволнован, страстен, терзался над «Аэроградом». А ему ставили в пример фильм «Встречный», в котором сусальные ударники одерживали легкие победы. Выставки уже были заполнены огромными холстами, напоминавшими раскрашенные фотографии: Сталин на трибуне, Сталин на скамейке. «Заседание сельсовета», «Митинг в литейном цеху». Рядом с гостиницей «Националь» построили дом в ложноклассическом духе; о нем говорили: «Вот это наш, советский стиль, никаких формалистических выкрутасов...» В Мосторге продавали вазоны, кошечек, сов, которых я видел в детстве на комодах купеческих домов. Из окон вырывалась модная песенка «У самовара я и моя Маша». Маш было куда больше, чем самоваров, но Маша у самовара нравилась и членам коллегий, и председателям горсоветов, и делопроизводителям: вкусы дореволюционного мещанства казались им канонами красоты.

Контрастов в жизни было куда больше, чем в моих книгах, не потому, что я хотел умолчать о гигантском бурьяне, о чертополохе, похожем на баобаб, о крапиве, не выполотой, а выхоленной. Я говорил и о сорняках; они меня сердили, но не удивляли. А удивляло меня другое — первые побеги нового сознания, подростки, раскрывавшие книгу жизни и захваченные лихорадкой строительства не только фабрик или домов, но и своего сознания. Давно я уехал с севера, кругом были не зеленые леса, а серый Париж, поблескивавший под осенними дождями, а я все видел юношей и девушек, которые на далекой запани говорили о дружбе, о горестях любви, о борьбе за лес, за страну, за счастье.

Полгода спустя я написал повесть «Не переводя дыхания», действие которой разворачивалось на севере.

Критики приняли мою повесть куда более благожелательно, чем предшествующие книги. А мне она кажется неудавшейся: я вложил в нее многое из того, что не поместилось в «Дне втором», и, не замечая этого, повторял самого себя.

Все же для меня повесть была полезной: в ней наброски героев, к которым я впоследствии не раз возвращался. Ботаник Лясс, жизнерадостный, умный, ворчливый, — первый черновик профессора Дюма и доктора Крылова из «Бури». Неудачливая актриса Лидия Николаевна, которая находит утешение в эфемерном успехе, стала потом Жаннетой, Валей. Непризнанный художник Кузмин, жаждущий совместить современность со своим пониманием искусства, — родной брат француза Андре и героя «Оттепели» Сабурова.

Был еще один персонаж в повести, который выдавал мою тревогу; он проходит по книге беглой тенью — это немец Штрем. Он приехал в Архангельск с подозрительными поручениями. Жизнь его мало привлекала, он был поглощен мыслями о смерти. Выпив в архангельском ресторане с шведским капитаном, он бубнил: «Это серьезная штука — смерть. Собственно говоря, это единственная реальность... Зимой я познакомился в Берлине с одним журналистом. Он сейчас занимает высокий пост. Он позвал меня к себе. Жена, уют, второго такого добряка не сыщешь... Вот он мне и рассказал, как он шестнадцать человек ухлопал — раз-два. Это вовсе не садизм. Но подумайте, над своей жизнью мы не властны... А если ты распоряжаешься чужой жизнью — «расстрелять», — както сразу растешь в своих глазах. Получается суррогат бессмертья...»

Монологи Штрема не были анекдотом, болтовней, кабацким самохвальством, за ними стояла страшная жизнь огромной цивилизованной страны. Перечитав «Не переводя дыхания», я вижу, что, если говорить о сюжете повести, Штрем попал в книгу случайно, без паспорта и без прописки. Его облик не дорисован, его самоубийство ничем не оправдано, кроме желания автора поскорее убрать со сцены противного человека, а с ним и мир, который порождает таких людей. Почему немец Штрем попал в Архангельск, почему ночью в городском сквере беседовал с милой растерянной актрисой? Да только потому, что я не мог освободиться от мыслей о Штреме. Книга писателя почти никогда не ограничивается рамками сюжета. В повести о жизни на запани, о любви комсомольцев, о горе молодой женщины,

потерявшей сразу и ребенка и веру в мужа, проступало нечто другое: мысли и переживания автора, берлинские костры, на которых жгли книги, парижская ночь фашистского мятежа, развалины Флоридсдорфа, тревога за будущее. Я еще не мог многое предвидеть, но уже понимал, что сосуществовать с фашизмом невозможно. Вот те контрасты, которые мне казались нестерпимыми.

9

Жан Ришар Блок сказал на съезде, что догматической узостью легко оттолкнуть колеблющихся. Многие писатели Запада не понимали метода социалистического реализма; но методы фашизма были понятны всем: он сулил книгам костры, авторам — концлагеря. Во время съезда мы не раз говорили, что нужно попытаться создать антифашистский фронт писателей.

Я поехал в Париж снова кружным путем: на советском пароходе доплыл до Пирея. Ехали со мною греческие писатели Глинос и Костас Варналис. Мы подружились. Варналис соединял в себе боевой задор с мягкостью, мечтательностью. В Салониках греческая полиция не разрешила Глиносу и Варналису сойти на берег — их должны были обыскать в Пирее. Все в Греции говорили о надвигающемся фашизме. Повсюду можно было увидеть немцев, которые вели себя как инструктора. «Они нас хотят сожрать», — говорил Варналис. Год спустя его арестовали.

Из Афин мы поехали в Бриндизи и пересекли Италию; снова я услышал вой чернорубашечников.

Газеты сообщали, как наемники-марокканцы усмиряют астурийских горняков. Я уж не мог относиться к Испании как к одной из стран Европы, вспоминал ее гордых и добрых людей; в тоске спрашивал себя: неужели и таких поставят на колени?..

С ревом неслись продавцы газет по парижским улицам: в Марселе убили короля Югославии и французского министра иностранных дел Барту. Короля я не знал, да и не понимал, кто и почему его убил. А с Барту я как-то встретился на обеде иностранной прессы; он удивил меня молодостью мыслей — ему ведь было за семьдесят, — с блеском говорил о Мирабо, Дантоне, Сен-Жюсте. Был он страстным библиофилом, я не раз его видел на набережных Сены возле ларьков букинистов. Немецкие фашисты его ненавидели: Барту, хотя был он человеком правых убеж-

дений, отстаивал необходимость сближения с Советским Союзом, пакт безопасности, который смог бы остановить Гитлера. Убийство Барту все поняли как один из симптомов наступления фашизма.

Помню большой митинг в зале «Мютюалитэ», посвященный съезду советских писателей. В президиуме сидели Вайян-Кутюрье, Андре Жид, Мальро, Виоллис, рабочие-коммунисты. В зале были люди, тоже давно сделавшие свой выбор; они скандировали: «Советы повсюду!» Виоллис, которая сидела рядом со мной, шепнула: «Советские писатели должны показать, что готовы в борьбе против фашизма сотрудничать со всеми...»

Был у меня разговор с Жаном Ришаром Блоком. Он говорил, что пришел к коммунизму извилистым путем, что сейчас нужно объединиться вокруг самого насущного — борьбы против фашизма; иначе писатели-коммунисты окажутся изолированными.

Я написал в Москву длинное письмо, рассказывал о настроениях западных писателей, об идее антифашистского объединения.

Сейчас может показаться странным, почему я придавал такое значение писателям, — многое изменилось за четверть века, в том числе и роль литературы, ее место в жизни миллионов людей. На съезде советских писателей О. Ю. Шмидт, рассказав об успехах астрономии и физики, добавил: «Писатель — счастливый человек. Я ему глубоко завидую. Ученому надо долго и кропотливо продумывать, тогда как у писателей, как говорят, бывает «озарение». В тот самый год, когда мы встретились в Колонном зале с нашими читателями, Фредерик и Ирен Жолио-Кюри открыли искусственную радиоактивность; начиналась эпоха ядерной физики. Я (как, наверно, большинство писателей) не имел об этом никакого представления.

Четверть века спустя сотни миллионов людей то с надеждой, то с ужасом начали следить за работой ученых. Поэт Слуцкий написал шутливые строки: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне...» Лирики читали и не улыбались.

Между двумя мировыми войнами общественная роль ученых была ограничена. В представлении миллионов людей ученый был человеком, который сидит в своей лаборатории и смотрит не то с пренебрежением, не то с испугом на встревоженные улицы. Ученые мало что делали для того, чтобы рассеять эту легенду. Ланжевен был исключением. Воевали против фашизма статьи Горького, обращения

Ромена Роллана, речи Барбюса. Писатели еще пользовались огромным авторитетом. Помню, как в рабочем предместье Парижа Вилльжюиф одной из улиц присвоили имя Горького. На церемонию пришли тысячи рабочих. Вайян-Кутюрье объявил, что предоставляет слово Андре Жиду. Рабочие, наверно никогда не читавшие книг Жида, устроили ему такую овацию, что он растерялся. Я привел пример самого парадоксального преклонения перед званием «писатель». Может быть, отчасти почтение к писателям в 1934 году было процентами на капитал, заработанный литературой сто лет назад, когда жили Пушкин, Гюго, Бальзак, Гоголь, Стендаль, Гейне, Мицкевич, Диккенс, Лермонтов.

С тех пор многое изменилось. После Хиросимы ученые поняли свою ответственность. Во главе движения сторонников мира стал Жолио-Кюри. Международными совещаниями ученых, желающих предотвратить ядерную войну, люди интересуются куда больше, чем конгрессами пэн-клубов. Не знаю, стали ли забывать писатели о своей роли «учителей жизни» или ученики запросились в другие классы, но сейчас мне кажется преувеличением то значение, которое придавал я (да и не только я — ответственные политические деятели) антифашистскому объединению писателей.

Разгадка происшедшей перемены скорее всего не в успехах науки, разумеется бесспорных, и не в потускнении литературы, тоже очевидном, а в событиях, не имеющих прямого отношения к вопросу о праве поэзии на существование, — в угрозе атомной войны. Ни лирики, ни физики не решают вопросов мира и войны, но по характеру своей работы лирики могут только способствовать обогащению духовной жизни читателей, а физики способны и улучшить условия жизни, и усовершенствовать орудия смерти. Спираль — одна из распространенных форм развития и живых организмов, и человеческого общества; наверно, лирики будут в «почете», когда люди смогут снова спокойно глядеть на небо — и на луну физиков, обследованную людьми, и на луну влюбленных, которым перестанет угрожать луна физиков. Это размышления о настоящем и будущем, а заговорил я о значении писателей в прошлом не для того, чтобы лишний раз вздохнуть. Мне хочется сделать понятным последующее. Я сидел на улице Котантен и писал пятую или шестую главу повести «Не переводя дыхания», когда мне позвонил наш новый посол В. П. Потемкин и попросил зайти к нему — дело срочное. Владимир Петрович сказал, что в связи с моим письмом о на-

строениях западных писателей меня просят приехать в Москву — со мною хочет поговорить Сталин.

В Москву я приехал в ноябре; погода была препротивная, валил мокрый снег, но настроение у меня было хорошее. Ирину я нашел веселой. Раньше она мне не говорила, что занялась литературой — написала книгу «Записки французской школьницы». А теперь как бы вскользь сказала, что вещь напечатана в альманахе, который редактировал Горький, и скоро выйдет отдельным изданием. Я прочитал «Записки» за ночь. Книга мне понравилась свежестью, правдивостью. Читал я, понятно, с особым интересом: Ирина описывала свои школьные годы, первые сердечные бури. Я узнавал ее подруг, мальчишек, которые иногда приходили к нам, и открывал многое, мне неизвестное, — Ирина была скрытной.

В ожидании встречи со Сталиным я проводил вечера со старыми друзьями. Ко мне приходили и молодые писатели — Лапин, Славин, Левин, Габрилович. Братья Васильевы показали мне «Чапаева». Я часто бывал у Всеволода Эмильевича; он не сдавался, рассказывал о постановке «Горе уму». Настроение у всех было хорошее. Говорили, что на предстоящей сессии Советов будет обсуждаться проект новой конституции. Ноябрь казался маем, и я на все глядел радужно.

Как-то я отправился в «Известия», зашел к Бухарину, на нем лица не было, он едва выговорил: «Несчастье! Убили Кирова»... Все были подавлены — Кирова любили. К горю примешивалась тревога: кто, почему, что будет дальше?.. Я заметил, что большим испытаниям почти всегда предшествуют недели или месяцы безмятежного счастья — и в жизни отдельного человека, и в истории народов. Может быть, так кажется потом, когда люди вспоминают о канунах беды? Конечно, никто из нас не догадывался, что начинается новая эпоха, но все примолкли, насторожились.

Несколько дней спустя заведующий отделом культуры ЦК А. И. Стецкий сказал мне, что ввиду событий намеченная встреча в ближайшее время не может состояться; меня не хотят зря задерживать. Алексей Иванович попросил меня продиктовать стенографистке мои соображения о возможности объединения писателей, готовых бороться против фашизма.

В Париже я успел написать еще несколько глав повести.

Я разговаривал с Мальро, с Вайяном-Кутюрье, с Жидом, с Жаном Ришаром Блоком, с Муссинаком, с Геенно.

После долгих споров группа французских писателей решила создать весной или в самом начале лета международный конгресс. Писатели — не рабочие: объединить их очень трудно. Андре Жид предлагал одно, Генрих Манн другое, Фейхтвангер третье. Сюрреалисты кричали, что коммунисты стали бонзами и что надо сорвать конгресс. Писатели, близкие к троцкистам, — Шарль Плинье, Мадлен Паз — предупреждали, что выступят — «разоблачат» Советский Союз. Барбюс опасался, что конгресс по своему политическому диапазону будет чересчур широким и не сможет принять никаких решений. Мартен дю Гар и английские писатели Форстер, Хаксли, напротив, считали, что конгресс будет чересчур узким и что дадут выступить только коммунистам. Потребовалось много терпения, сдержанности, такта, чтобы примирить, казалось бы, непримиримые позиции.

Впрочем, все трудности встали перед нами в начале 1935 года. А приехав из Москвы, я едва успел оглядеться, как пришла телеграмма от редакции: в Сааре плебисцит, я должен туда выехать. Я оставил на столе недописанную главу повести и позвонил Мальро: не смогу присутствовать на очередном заседании подготовительной группы.

Ночью в вагоне я мечтал, или, как говорил когда-то рыжий Ромка, строил «рабочие гипотезы». Конгресс заставит колеблющихся выбрать путь борьбы. Уж не так силен фашизм, как кажется, — он держится на всеобщем оцепенении! Может быть, в Сааре немцы проголосуют против Гитлера?..

Вдруг я вспомнил тревожный вечер в редакции «Известий». Кто убил Кирова?..

В купе было натоплено. Я с трудом опустил окно. Ворвался дым — желтый, густой, едкий.

10

Я приехал в Саарбрюккен вечером. Сквозь туман мерцали плошки иллюминации. На главной улице в витрине большой колбасной красовалась свастика из сосисок; прохожие смотрели и восхищенно улыбались. Хозяйка гостиницы, толстая, апоплексическая женщина, кричала в коридоре: «Не забывайте, что я немка!» На улице громкоговорители передавали военные песни: «Мы идем, раз-два...» Я плохо спал. Ночью стреляли; я приоткрыл дверь, и коридорный, собиравший для чистки выставленные ботинки, объяснил: «Наверно, убрали еще одного предате-

ля...» Утром хозяйка мне сказала: «Вы должны сейчас же очистить комнату. Я вам сдала ее по ошибке. Я — немка, сударь! Понимаете?..»

Я все понял; но, может быть, молодому читателю непонятно, что же тогда происходило в Сааре. Напомню. В 1919 году, составляя Версальский договор, союзники долго спорили о Саарском бассейне. Клемансо хотел, чтобы саарский уголь достался Франции. Вильсон возражал. Помирились на том, что пятнадцать лет спустя в Сааре будет устроен плебисцит, жители сами решат, присоединять ли их округ к Германии или нет. До прихода к власти Гитлера все было ясно: в Сааре живут немцы, — следовательно, они выскажутся за присоединение.

Фашистский террор заставил некоторых призадуматься. Перед избирателями был поставлен вопрос, хотят ли они присоединения к Германии или статус-кво, то есть сохранения автономного управления и экономического союза с Францией. Кроме незначительной партии автономистов, только коммунисты призывали голосовать за статус-кво. Приехав в Саар, я сразу понял, что огромное большинство выскажется за присоединение: нацисты играли на патриотизме. Плакаты, песни, флаги вслед за хозяйкой гостиницы, где я провел первую ночь, повторяли: «Мы — немцы, наше место в Германии!»

«Свободное волеизъявление» походило на трагический фарс. В теории всем была предоставлена свобода слова, собраний, печати. Английские солдаты должны были гарантировать порядок. На деле фашисты срывали собрания коммунистов. Ни в одном киоске я не смог купить газет, высказывающихся против присоединения: продавщицы испуганно отвечали: «Они предупредили, что сожгут киоск...» Людей убивали из-за угла. Даже мне прислали анонимное письмо со свастикой: если я тотчас не уберусь из Саара, для меня найдется «хорошая немецкая пуля».

Подлинный хозяин Саарского бассейна, Герман Рехлинг сулил послушным премиальные, ослушникам — голодную смерть. Безработных, не желавших записаться в «Германский фронт», тотчас лишали пособий.

(Теперь, читая в западной печати о том, что германский вопрос можно разрешить «свободными выборами», я вспоминаю плебисцит в Сааре...)

В деревне Пикард я увидел смешной эпизод несмешной кампании. Там были два быка, узаконенные в качестве производителей. Один считался лучшим, и бедный крестьянин в известной степени жил за счет своего быка.

Этого крестьянина заподозрили в политической неблагонадежности, и бык был объявлен «быком статус-кво». Никто не смел случать его с честной арийской коровой.

Помог мне попасть и в деревню Пикард, и в другие закоулки Саара немецкий писатель Густав Реглер. Я с ним познакомился в Париже, потом мы встречались в Москве во время съезда писателей. Был он человеком нервным, впечатлительным. Саарские фашисты грозились, что его убьют. Он смело выступал повсюду, рассказывал про террор в Германии. Он повел меня в дома шахтеров, где я услышал правдивые рассказы о происходящем.

Еще до плебисцита я написал для газеты очерки и последний из них кончил словами: «Битва может быть проиграна. Война — никогда».

Битва была проиграна. Я уже знал, что до победы предстоит немало поражений, и не пал духом.

Вернувшись в Париж, я дописал повесть, пошел на собрание подготовительной группы, и тут снова пришлось уехать: в Женеве должна была собраться Чрезвычайная сессия Совета Лиги Наций.

Швейцарцы тянули с визой. Наконец советник посольства показал мне телеграмму из Берна; я переписал ее: «Советскому гражданину Илье Эренбургу разрешается десятидневное пребывание в Швейцарии в качестве корреспондента газеты «Известия» на Чрезвычайной сессии Совета Лиги Наций при условии, что названный Илья Эренбург будет воздерживаться от всего способного нарушить внутреннее спокойствие Швейцарии или омрачить ее добрые отношения с соседними государствами». Дипломат объяснил мне, что, находясь на швейцарской территории, я не должен говорить или писать что-либо направленное против Германии — того требует швейцарский нейтралитет.

Что же, нейтралитет (как, впрочем, и все на свете) можно понимать по-разному. Незадолго до моего приезда в Швейцарию агенты Гитлера похитили в Базеле немецкого эмигранта-антифашиста Якоба и увезли его в Германию. Швейцарские власти сделали вид, что ничего особенного не произошло. Я увидел Женеву, переполненную гитлеровцами; никаких подписок с них не брали; у них были в Швейцарии свои газеты, и они преспокойно писали, что «для удаления злокачественной опухоли коммунизма необходимо прибегнуть к хирургии и начинать с России».

Теперь я привык к различным международным конференциям и знаю, что они чрезвычайно напоминают судилище, описанное в «Рейнеке-лисе». Тогда же я был нович-

ком и многому удивлялся. Лига Наций была черновиком ООН; американцы в ней не участвовали, и господами положения считались англичане и французы. Германия еще в 1933 году вышла из Лиги Наций, но перед Гитлером пасовали все. В датском Шлезвиге я видел, как датчане боятся немецких дивизий. А в Женеве представитель Дании долго доказывал, что политика Гитлера пример миролюбия; этот адвокат фашизма к тому же был социал-демократом. Переговоры шли за кулисами — в различных загородных ресторанах. Немцы обещали Испании торговый договор, и Леррус вдруг почувствовал нежность к третьему рейху. Португальцам и чилийцам сулили различные подачки. Тревогу, охватившую мир, хотели усыпить параграфами, сносками, комментариями.

Выступил М. М. Литвинов; говорил он спокойно и с виду походил на толстого добродушного семьянина. Он напомнил дипломатам, что аппетит приходит во время еды и что нельзя полагаться на улыбки Гитлера: «Вряд ли могут быть приняты во внимание какие-либо обещания воинственного гражданина щадить некоторые кварталы города и оставлять за собой и за своим оружием право на действие в остальных кварталах...»

В кафе «Бавария», где собирались журналисты, корреспондент «Фигаро» кричал: «Эмиль Бюре сошел с ума! Почему Франция должна бояться германской армии? Ведь и ребенку ясно, что Гитлер двинется на Украину...»

В витрине немецкого бюро путешествий, находившегося недалеко от «Баварии», висела большая карта Европы, на ней Эльзас и Лотарингия входили в границы Германии.

Весна была холодной, ненастной; но газеты писали, что летом во Франции ожидается куда больше туристов, чем в предшествующие годы: «Мир торжествует...» Германия продолжала вооружаться. Лига Наций рассматривала различные планы разоружения. Французы толковали о предстоящих каникулах. Я поехал в бельгийский город Эйпен, принадлежавший до 1918 года Германии. Снова мытарили с визой. В Бельгии тогда было коалиционное правительство, в него входили социалисты Вандервельде, Спаак. Еще недавно Спаак считался «красным». Я помнил, как он потрясал кулаками на собрании шахтеров в Боринаже. Перегримировался он с быстротой, которой позавидовал бы любой актер Мейерхольда. Он стал крупной политической фигурой в послевоенной Европе. Я его видел в Брюсселе в 1950 году; несмотря на тучность, он держался неистово. Он защищал идеи, как он говорил, «умерен-

ные»; но защищал их неумеренно. Я таких людей побаиваюсь: они способны поджечь мир только потому, что считают себя хорошими пожарниками. Вандервельде был человеком прошлого столетия и не пробовал угнаться за Спаком; ему тогда было семьдесят лет. Он написал статью о моей повести «День второй». Не знаю, что на него подействовало — мой стиль или стиль Гитлера, но в статье были неожиданные признания: «Так, несмотря на все, этот народ идет по грязи, по снегу к звездам. Самая законная изо всех революций дала ему веру и надежду — чудодейственное обновление всей социальной жизни». Однако идеи министра Вандервельде никак не отражались на будничной политике: в Эйпене я увидал картину, похожую на Саар. Нацисты приезжали на трамвае из Дортмунда или Дюссельдорфа; никаких виз от них не требовали. Вели они себя бесцеремонно. Выходила газета «Эйпенер цейтунг»; там писали, что немцы скоро освободят город. Я зашел в книжный магазин, принадлежавший Гирецу, местному фюреру. Он вежливо улыбнулся и предложил мне сочинения Розенберга.

Когда я был в Эйпене, туда прибежал немецкий коммунист, которому удалось выбраться из концлагеря. Эйпенская полиция его арестовала, грозила выдать гитлеровцам. Его выслали четыре дня спустя во Францию. Я отвез его до границы — он был в тяжелом душевном состоянии, несвязно отвечал на вопросы пограничников.

Опять Париж. Писатели, разговоры о конгрессе. Мальро доволен — Бенда обещал выступить. Уолдо Фрэнк прислал из Америки длинное письмо; он приедет на конгресс. Джойс пришлет приветствие...

Парижане обсуждали, где лучше провести летние месяцы — на нормандском побережье или в Савойе. Все казалось обычным. Но я не мог забыть о том, что делается по ту сторону Рейна.

Я поехал в Эльзас и увидел знакомую картину: гитлеровцы, ухмыляясь, говорили о «близком освобождении», «автономисты», вдохновленные Сааром, требовали плебисцита, люди вздыхали, ежились, запасались посулами местных фашистов спасти их в час «освобождения». Вечером на глухой улице я встретил десяток парней, они горланили «Вахт ам Рейн»[1].

Я писал тогда: «Последние месяцы я занят изнурительным занятием: езжу по различным областям, находящимся

[1] Стража на Рейне *(нем.)*.

в непосредственном соседстве с Германией... Можно долго глядеть на змею и остаться в своем уме: если змея проглатывает кролика — это, в конечном счете, обед. Но нельзя долго глядеть на кролика: остановившиеся глаза способны заразить безумием даже человека с воловьими нервами...»

Осенью 1961 года в Риме состоялась встреча «Круглого стола». Мы пытались убедить наших западных коллег, что нельзя вооружать вчерашних эсэсовцев. В один из вечеров итальянские друзья показали нам документальный фильм — историю фашизма. Дуче на балконе подымал руку и фиглярствовал, как дурной захолустный актер. Умирали люди в Абиссинии. Рушились дома Мадрида. Несли мертвых детей. По улицам Праги маршировали нацисты. Гитлер, узнав, что Франция капитулировала, хлопал себя по животу. Русские пленные умирали в концлагерях. Еврейских девушек вели в газовые камеры... Потом была победа, и вот снова на экране буянят недобитые фашисты, снова умирает итальянский подросток. Сказка все еще не досказана. Я глядел на экран и вдруг подумал: да ведь это история моей жизни! Сорок лет прошли под знаком зверств, войн, погромов, концлагерей. Пушкин когда-то писал: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Наверно, и тогда это было только мечтой: Рылеева повесили, Кюхля изнывал в ссылке. Да и сам Пушкин умер рано навязанной ему смертью. Но хоть помечтать он мог...

Весной 1935 года я меньше всего думал о «сладких звуках». Мы тратили дни и ночи на подготовку конгресса. Жизнь казалась идиллической, но жить по-прежнему я не мог: воздух стал другим. Еще не было ни мобилизаций, ни учебных тревог, ни пробных затемнений. А война уже была. Теперь я знаю, что война всегда приходит задолго до начала представления, приходит она со служебного входа и терпеливо ждет в темной передней.

11

Часто в моей тесной квартире на улице Котантен собирались французские писатели, занятые подготовкой конгресса: Андре Жид, Жан Ришар Блок, Мальро, Муссинак, Низан, Рене Блек.

У меня был пес Бузу, ласковый и лукавый, помесь спаниеля со скотчтерьером; на выставку его не взяли бы, но он был умницей — самостоятельно ходил в мясную лавку, где продавали конину, и там исполнял цирковые пируэты.

Бузу любил Андре Жида, любил не бескорыстно: Андре Жид брал печенье и начинал длинную тираду, размахивая рукой; Бузу подпрыгивал и выхватывал лакомство. Андре Жид, не замечая происшедшего, брал другое печенье; так повторялось раз десять.

В те годы я часто встречал Андре Жида, бывал у него на улице Ванн, видел его на литературных собраниях, на рабочих митингах. Когда мы оставались вдвоем, он почти всегда говорил о себе. Казалось, я мог бы его хорошо узнать, но я его не узнал: он оставался для меня человеком с другой планеты.

Когда он увлекся политикой и объявил себя сторонником коммунизма, мне это показалось победой: Андре Жид был кумиром западной интеллигенции. Я радовался его участию в борьбе против фашизма; но даже в то время я добавлял, что до шестидесяти лет Андре Жид «не видел перед собой ничего другого, кроме отсветов собственной страсти». В 1933 году я писал о его романе: «Конечно, никого не может взволновать судьба героев романа «Фальшивомонетчики». Но существуют ли эти герои? Это роман о романе и о романисте, отнюдь не о людях... Это книга о книге: жизни в пустыне не оказалось».

Я не был одинок в моем восторге перед «обращением» Андре Жида. На московском съезде писателей Горький сказал: «Ромен Роллан, Андре Жид имеют законнейшее право именовать себя «инженерами душ», а Луи Арагон кончил свою речь словами: «Мне остается передать вам приветствие от нашего большого друга — Андре Жида». Год спустя на Парижском антифашистском конгрессе никого так не приветствовали, как Жида.

В 1936 году Андре Жид приехал в Советский Союз, всем безоговорочно восхищался, а вернувшись в Париж, все столь же безоговорочно осудил. Не знаю, что с ним произошло: чужая душа — потемки. В 1937 году, будучи в Испании, я прочитал его статью — он обвинял республиканские власти в насилии. Я не выдержал и в сердцах назвал его «стариком со злобой ренегата и с нечистой совестью». Теперь все это далеко позади. Я хочу попытаться спокойно задуматься над человеком, которого я встретил на своем жизненном пути. Конечно, я ошибался и когда прославлял его приход к коммунизму, и когда называл его ренегатом: порхание мотылька я принимал за чертеж архитектора. Не раз в этой книге я признавался в различных заблуждениях: слишком часто считал свои желания действительностью.

Может ли человек, прожив шестьдесят лет в пустыне, интересуясь только собой, вдруг переродиться, стать человеколюбцем, защитником социальной справедливости? Андре Жид не раз говорил мне, что для человека нет радости, когда вокруг него горе; эти слова меня трогали. Он говорил искренне, и в нем было обаяние. Все же я мог поверить в глубину, в длительность политических страстей Андре Жида только потому, что мне очень хотелось верить. Я не задумывался над его путем. В годы первой мировой войны он восхитился, когда его друг стал воинствующим католиком: «Ты меня опередил!» Пятнадцать лет спустя он повсюду повторял, что религия — злейший враг человека. Он походил на проповедника; у него были умные глаза, тонкие выразительные руки; его окружали книги, рукописи; он всегда носил в кармане маленький том Гёте или Монтеня; говорил, что изучает Маркса. А основной его чертой было величайшее легкомыслие. Одни восторгались его смелостью; другие, напротив, упрекали его в чрезмерной осторожности; а мотылек летит на огонь не потому, что он смел, и улетает от человека не потому, что осторожен, он не герой и не шкурник, он только мотылек.

Я не хочу, чтобы меня превратно поняли: говоря о мотыльке, я отнюдь не пытаюсь преуменьшить талант или ум Жида. Однажды в своем дневнике он записал: «Я сомневаюсь, что бабочка после того, как она отложит яички, испытывает много удовольствия в жизни. Она порхает туда-сюда, подчиняясь ароматам, ветерку, своим желаниям...» Жиду, когда он это писал, было семьдесят два года; он считал, что сделал свое. Может быть, случайно он заговорил в дневнике о бабочке, не знаю: но образ удачен, — он был грандиозной ночной бабочкой с той редчайшей окраской, которая ослепляет и дотошного энтомолога, и мальчишку с сачком. (Жид рассказывал, что любил ловить ярких бабочек.)

Сколько я ни встречался с Андре Жидом, он всякий раз говорил о своем здоровье: боится простудиться, теперь грипп, не может пообедать в этом «бистро» — печень, печень... В огромном мире Андре Жид, встречая множество людей, замечал только одного — Андре Жида. Когда он умирал, в квартире на улице Ванн был его старый друг Роже Мартен дю Гар, который оставил «Записи об Андре Жиде», написанные с любовью, в них я нашел подтверждение моих куда более беглых наблюдений: «Он живет, погруженный в самого себя, озабоченный своими мелкими горестями...», «Он еще более сосредоточен на самом себе...».

О чем бы он ни писал — о Ницше или о Достоевском, о вымышленных героях или о близких друзьях, о гомосексуализме или о разгроме Франции, — он видел себя, собой восхищался или ужасался.

У него был превосходный язык — ясный, точный и в то же время своеобразный. Может быть, его успеху способствовал стиль — он ведь выступил, когда всем опостылели нарочитые туманности эпигонов символизма; другие подражали Малларме, а Жида прельстил Монтень.

Блистательный стилист, писатель большой эрудиции — все это бесспорно, и все же трудно себе представить, что между двумя мировыми войнами многие считали Жида учителем, совестью эпохи, чуть ли не пророком.

Его всегда увлекали редкостные казусы. В конце двадцатых годов он начал редактировать серию книг, посвященных различным преступлениям; смутно помню одну из книг этой коллекции — рассказ о женщине, замурованной своими близкими.

Всем известно, что на свете существуют люди, сексуальная жизнь которых является исключением. Андре Жид сделал из патологического казуса боевую программу. Он пошел на разрыв со многими друзьями, на неприятности, на газетную шумиху.

Незадолго до своей поездки в Советский Союз он пригласил меня к себе: «Меня, наверно, примет Сталин. Я решил поставить перед ним вопрос об отношении к моим единомышленникам...» Хотя я знал особенности Жида, я не сразу понял, о чем он собирается говорить Сталину. Он объяснил: «Я хочу поставить вопрос о правовом положении педерастов...» Я едва удержался от улыбки; стал его вежливо отговаривать, но он стоял на своем. Он был протестантом, даже пуританином не только по формации, но и по характеру, и вот он стал фанатичным моралистом аморальности.

Нет, не только стилем он привлекал читателей, но и беспощадностью духовного эксгибиционизма — самообнажения. Он очень поверхностно критиковал недостатки не только советского общества, которое увидел мимоходом, в качестве знатного туриста, но и хорошо ему знакомой буржуазной среды; зато, преклоняясь перед собой, он себя не щадил.

Летом 1936 года, будучи в Москве, он говорил студентам: «Так как здоровье мое слабое и я не могу надеяться на долгую жизнь, я был согласен оставить эту землю, не узнав успеха. Я охотно рассматривал себя как писателя,

к которому известность приходит только после смерти, как это было со Стендалем, Бодлером, Китсом или Рембо... Молодежь новой России, теперь вы понимаете, почему я обращаюсь к вам, я ждал именно вас, для вас я писал новую книгу...» Как странно это перечитывать! Андре Жид узнал долголетье: он умер в восемьдесят два года. Да он и не принадлежал к тем авторам, которых открывают потомки, — его читали и почитали при жизни. Шведская королевская академия присудила «аморалисту» Нобелевскую премию. А теперь и во Франции читатели редко возвращаются к его книгам. Он видел себя пирамидой, а был он, несмотря на талант, на мастерство, на художественную смелость, только однодневкой, бившейся в мутное стекло...

Я говорил, что время все ставит на свое место. А я вспоминаю, как Андре Жид сидел у меня и говорил о «коммунистическом братстве», пока Бузу поглощал печенье, и мне становится почему-то жалко Жида. Он был очень одинок; его чтили, и никто, кажется, его не любил. Любил ли он кого-нибудь? После смерти были изданы некоторые страницы его дневника, которые при жизни он не хотел публиковать. Он писал, что любил свою жену. Женился он в молодости на кроткой, богобоязненной девушке и, женясь, знал о своем извращении. Жена его жила отдельно в деревне, он писал ей письма о своей любви. Однажды ему понадобились для первой книги мемуаров письма к жене, и он узнал, что жена их сожгла. Он записал в дневнике: «В течение целой недели я плакал с утра до ночи... Я себя сравнивал с Эдипом...» Я не сомневаюсь в искренности этих слёз; он плакал не над предметом любви, но над своими признаниями — это был человек, который, если припомнить стихи Брюсова, «с беспечального детства» искал «сочетания слов». Пожалуй, никто не мог рассказать о нем злее, чем он сам.

При жизни он опубликовал дневники первых военных лет. Есть там страшные страницы; 5 сентября 1940 года, вскоре после оккупации гитлеровцами Франции, он писал: «Приспособиться к вчерашнему врагу не трусость, а мудрость... Тот, кто сопротивляется неизбежному, попадает в западню; зачем биться о решетки клетки? Для того чтобы меньше страдать от узости тюремной камеры, лучше оставаться посредине». Три недели спустя он себя утешал: «Если завтра, чего я опасаюсь, нас лишат свободы мысли или, по меньшей мере, свободы выражения мысли, я постараюсь себя убедить, что искусство, мысль потеря-

ют от этого меньше, чем от чрезмерной свободы. Угнетение не может принизить лучших; что касается остальных, то это несущественно. Да здравствует подавленная мысль!»

Я убежден, что в 1930 — 1935 годы он искренне увлекался коммунизмом. Ему было холодно на свете, и его привлекла теплота рабочих митингов; как бродяга, он грелся у чужого костра. Помню его выступление на уличном митинге в предместье Виллькюиф; он поднял кулак и застенчиво улыбнулся. Он никого не хотел обмануть, разве что самого себя.

В 1934 году Роже Мартен дю Гар после беседы с Жидом записал: «Какая неосторожность придавать столько значения присоединению человека, который по своей природе не годен для твердых убеждений, который всегда не там, где, казалось, он твердо осел накануне! Несмотря на искреннюю добрую волю, я сильно опасаюсь, что вскоре его новые друзья в нем разочаруются...» Мартен дю Гар хорошо знал Жида. А я поверил... Говорю это спокойно, без горечи: время — хороший врач.

А в 1935 году Андре Жид часто приходил ко мне; мы вместе подготовляли антифашистский конгресс писателей. Было бы глупым малодушием, восстанавливая те годы, вырезать из них тень шестидесятишестилетнего мотылька в крылатке, то с «Капиталом», то с томиком Еврипида в руке.

12

На московском съезде писателей я был рядовым участником; парижский конгресс я подготовлял. Сознание своей ответственности для меня было новым, и я волновался, как подросток. До последнего дня мы боялись, что все сорвется; писателей с именем отговаривали: конгресс — затея коммунистов; участники восстановят против себя не только критиков, издателей, редакторов, но и читателей.

Мы готовили конгресс по-кустарному — почти без денег, без помещения, не было ни секретаря, ни машинисток, приходилось самим переписывать, звонить по телефону, уговаривать, мирить. Больше всех работали Жан Ришар Блок, Мальро, Гийу, Рене Блек, Муссинак.

В своем выступлении на конгрессе М. Е. Кольцов напомнил, что первая международная встреча писателей состоялась тоже в Париже — в 1878 году. Михаил Ефимович добавил, что теперь русские писатели могут разговаривать

с их западными собратьями по-другому — за их спиной больше нет ни каторги, ни всеобщей неграмотности, ни салтыковских помпадуров.

На писательской встрече, о которой упомянул Кольцов, присутствовали Гюго и Тургенев. Таких писателей на нашем конгрессе не было, но, кажется, их не было в 1935 году на свете. А нам удалось собрать наиболее читаемых и почитаемых: Генриха Манна, Андре Жида, А. Толстого, Барбюса, Хаксли, Брехта, Мальро, Бабеля, Арагона, Андерсена-Нексе, Пастернака, Толлера, Анну Зегерс. Конгресс приветствовали Хемингуэй, Драйзер, Джойс. В президиум Ассоциации, которую конгресс создал, вошли Ромен Роллан, Горький, Томас Манн, Бернард Шоу, Сельма Лагерлеф, Андре Жид, Генрих Манн, Синклер Льюис, Валье Инклан, Барбюс.

Конгресс был очень пестрым: рядом с либеральным эссеистом Бенда сидел Вайян-Кутюрье, после скептического английского романиста Форстера выступал неистовый Арагон, испанский индивидуалист Эухенио д'Орс беседовал с Бехером, семидесятилетний немецкий критик Альфред Керр говорил о значении культурного наследства молоденькому Корнейчуку, друг и единомышленник Кафки Макс Брод обсуждал проект резолюции с Щербаковым, а в буфете Галактион Табидзе пил коньяк за здоровье растроганной Карин Михаэлис.

Конгресс продолжался пять дней, и неизменно огромный зал «Мютюалитэ» был переполнен; громкоговорители передавали речи в вестибюль; люди на улице стояли и слушали. Газетам, сначала решившим замолчать конгресс, пришлось уделить ему немало места. Даже Гитлер не выдержал и в гневе заявил: «Большевиствующие писатели — это убийцы культуры!»

Мне невольно вспоминается другой конгресс — тринадцать лет спустя во Вроцлаве; там не было парижской пестроты, а немногочисленные либералы или социалисты все время обижались, язвили, грозили покинуть заседание. Парижский конгресс назывался «В защиту культуры», вроцлавский — «В защиту мира». Конечно, фашизм пугал всех, но и война в 1948 году не была отвлеченным понятием.

Политическая обстановка в 1935 году благоприятствовала успеху нашей инициативы. Во Франции рождался Народный фронт. Один из организаторов конгресса, Андре Шамсон, был радикал-социалистом, занимал пост директора Версальского музея, и он с восторгом говорил о Со-

ветском Союзе, жал руку Вайяну-Кутюрье. Это не могло никого удивить: три недели спустя на площади Бастилии я увидел, как Даладье обнимал Тореза. Фашизм наступал. Просматривая в дни конгресса газеты, мы узнавали, что пятнадцать тысяч фашистов прошли по улицам Алжира, а над ними кружили фашистские самолеты, и что очередной «вождь» воскликнул: «Клянусь, не пройдет и месяца, как мы захватим власть во Франции!..» В Германии рубили головы строптивым. Хиль Роблес расправлялся с испанскими вольнодумцами. Италия открыто готовилась к нападению на Абиссинию. Это бесспорно, и я ни на минуту не забываю, что после второй мировой войны положение было куда более сложным — страх перед коммунизмом возрос, а в Америке еще только начиналась «охота за ведьмами». Все же, мне кажется, дело не только в этом.

Во Вроцлаве не было писателя Хаксли, но туда приехал его брат, биолог Джулиан Хаксли; право же, он был настроен ничуть не «правее», чем Олдос Хаксли в 1935 году, но с ним иначе разговаривали, ему казалось, что он попал по ошибке в чужой дом.

Во Вроцлаве я встретил очень мало участников парижского конгресса: Андерсен-Нексе, Бенда, Мархвица, Стоянов, Корнейчук, я — вот, кажется, все. Эссеист Бенда, неистовый рационалист, как-то сказал мне: «Видите, я все-таки приехал. Но я больше ничего не понимаю... Скажите, что стало с Бабелем, с Кольцовым? Я спрашиваю, мне не отвечают... Выступал ваш товарищ, он назвал Сартра и О'Нила «шакалами». Разве это справедливо, разве это попросту разумно? И почему мы должны аплодировать каждый раз, когда произносят имя Сталина? Я против войны. Я против политики Соединенных Штатов. Я ищу объединения, а мне предлагают присоединение... Но мне семьдесят восемь лет — для начальной школы это поздновато...»

Вернусь к парижскому конгрессу. Может быть, в известной степени его успеху содействовало поведение советских писателей. Трудно было пять дней подряд только и делать, что проклинать фашизм. Выступавшие говорили также о роли писателя в обществе, о традициях и новаторстве, о национальной основе культуры и общечеловеческих ценностях. Разумеется, всех интересовал советский опыт. Мне запомнились некоторые выступления наших писателей. Речь Кольцова была живой, веселой; он говорил о значении сатиры в советском обществе: «Нашего читателя возмущает администратор, который, искажая принципы социализма, уравнивает всех людей на один

фасон, заставляет их есть, надевать на себя, говорить, думать одно и то же». Лахути рассказал, что задолго до желтой звезды, придуманной немецкими расистами, в дореволюционной Бухаре евреи должны были подпоясываться «нахи ланат» — «поясом проклятья» и что теперь все народы Советского Союза объединяет «нахи вахдат» — «пояс братства».

Конгресс уже работал, когда приехали Бабель и Пастернак. Исаак Эммануилович речи не написал, а непринужденно, с юмором рассказал на хорошем французском языке о любви советских людей к литературе. С Борисом Леонидовичем было труднее. Он сказал мне, что страдает бессонницей, врач установил психастению, он находился в доме отдыха, когда ему объявили, что он должен ехать в Париж. Он написал проект речи — главным образом о своей болезни. С трудом его уговорили сказать несколько слов о поэзии. Наспех мы перевели на французский язык одно его стихотворение. Зал восторженно аплодировал.

Николай Семенович Тихонов, худой и вдохновенный, говорил о поэзии: «Маяковский! Вот мастер советской оды, сатиры, буффонадного и комедийного стихового театра... Багрицкий! Вот стих пламенный и простой. Стих убедительного образа, глубина настоящего волнения. Охотник, рыболов, партизан — он любил природу... Сложный мир психологических пространств представляет нам Борис Пастернак. Какое кипение стиха, стремительное и напряженное, какое искусство непрерывного дыхания, какая поэтическая и глубоко искренняя попытка увидеть, совместить в мире сразу множество пересекающихся поэтических достижений!»

(В очередном очерке для «Известий» у меня была такая фраза: «Когда Тихонов перешел к оценке поэзии Пастернака, зал стоя, долгими аплодисментами приветствовал поэта, который доказал, что высокое мастерство и высокая совесть отнюдь не враги». Полгода спустя один московский литератор, который, по его же словам, любил «капать» на товарищей, объявил, что я в Париже, приветствуя Пастернака, будто бы сказал, что «совесть только у него одного». Эта басня понравилась, и «Комсомольская правда» осудила не Тихонова, не участников парижского конгресса, аплодировавших Пастернаку, а меня. Во французской печати появилась заметка: «Москва дезавуирует Эренбурга». Я писал Щербакову, Кольцову — просил опровергнуть сплетню, но безуспешно. Французские писатели меня спрашивали: в чем дело? Это было четверть века

назад — еще до 1937 года, и я наивно думал, что на все вопросы можно ответить.)

На Западе говорили (да и поныне говорят), что вся наша литература — агитка. В своем выступлении я сказал: «Мы прожили трудные годы — наши дни были окопами. Чувства людей не меняются сразу. Наша агитационная литература связана с памятью о прошлом. Зная, что враги могут напасть на нашу страну, мы создали Красную Армию. Но как бы ни было совершенно ее оружие, мы никогда не станем выдавать пушки за образцы советской культуры. Пушки имеются и у фашистов. Но у них не может быть наших красноармейцев. Агитационная литература — это военное снаряжение, она родилась в арсеналах буржуазии. Твердя о «чистом искусстве», буржуазия проклинала писателей-отщепенцев и баловала прирученных. Не «проклятые поэты», а прирученные создали служебную литературу. Настоящее бескорыстное искусство, стремящееся не к сохранению социальной иерархии, а к развитию человека, мыслимо только в новом обществе... Мы пришли сюда с гордостью не за себя, а за наших читателей...» Два старейших писателя — Генрих Манн и Андре Жид, — сидевшие в президиуме, встали и подошли, чтобы пожать мне руку; это, конечно, относилось к советским читателям. Я разволновался и что-то пробубнил.

Мне то и дело приходилось уходить из зала: было много кропотливой работы. Возвращаясь на свое место, я неизменно слышал дружественные, а то и восторженные слова о советском обществе — они исходили от различных писателей Запада: от Шамсона, католика Мунье, Манна, Жида, Геенно и других.

Были патетические минуты. Неожиданно на эстраде появился человек в черных очках, с наспех приклеенной черной бородой; это был немецкий коммунист, работавший в подполье. Романтику любят не только юноши; и зал неистовствовал; Андре Жид, переводивший речь подпольщика на французский язык, сбивался от волнения.

Стояли на редкость знойные дни — духота, грозы. В переполненном зале трудно было дышать, и не было ни минуты передышки. Ночью приходилось переводить выступления, писать отчеты для «Известий», а то утешать литератора, которому не дали слова.

В моем описании все выглядит строже, да и скучнее, чем было на самом деле. Мы жили в десяти планах. В коридоре во время дебатов Марина Цветаева читала стихи Пастернаку. Почему-то полночи мы проспорили в малень-

ком кафе о социалистическом реализме; с нами сидел А. С. Щербаков, он боролся со сном и вдруг сказал: «Ну зачем спорить? Ведь все сказано в уставе...» Лахути поднес Андре Жиду таджикский халат, тюбетейку, и, увидав автора «Коридана» в непривычном одеянии, мы вдруг поняли, что он должен сидеть в чайхане и примеривать вечность, а не выступать на митингах. Бабель с увлечением рассказывал Андре Триоле о необычайном жеребце. Галактион Табидзе купил редкие издания Бодлера и Рембо; по-французски он не читал, но любовно гладил страницы. Брехт и Мальро говорили о том, может ли войти смерть в жизнь. В маленьком баре возле «Мютюалитэ», куда мы забегали, чтобы выпить ледяной лимонад, влюбленные целовались; а громкоговоритель передавал, что сейчас выступит драматург Ленорман; и я с завистью глядел на парочку, глядел и думал, что мой дядюшка Лева, антрепренер бродячего цирка, любил говорить: «Не так живи, как хочется, а так, как бог велит!..»

В кулуарах вдруг стало тихо: сейчас выступят сюрреалисты — они решили сорвать конгресс...

Накануне открытия конгресса мы узнали о самоубийстве молодого писателя-сюрреалиста Рене Кревеля. Я с ним иногда встречался, знал, что он болезненно переживал разрыв между коммунистами и сюрреалистами. Рассказывали: отравился, оставил короткую записку: «Все мне опротивело...»

Потом от его друзей — от Клауса Манна, от Муссинака — я узнал, что, сам о том не подозревая, сыграл в этой трагической истории некоторую роль. Я написал резкую статью о сюрреалистах. Мы сидели ночью в кафе, я вышел, чтобы раздобыть пакет табака. Когда я переходил улицу, подошли два сюрреалиста, один из них ударил меня по лицу. Вместо того, чтобы ответить тем же, я глупо спросил: в чем дело?.. Все это было в нравах сюрреалистов, и вот вздорная история стала последней каплей для Рене Кревеля. Конечно, капля не чаша, но мне тяжело об этом вспоминать.

На конгрессе Арагон прочитал речь Кревеля. Все встали. Ему было всего тридцать пять лет. Вот и выходит, что писатели даже на конгрессе не обошлись без самоубийства...

Элюар потребовал слова. Зал всполошился: начинается!.. Кто-то истошно кричал. Муссинак, который председательствовал, спокойно предоставил слово Элюару, бывшему тогда правоверным сюрреалистом. Элюар прочитал

речь, написанную Бретоном; в ней, разумеется, имелись нападки на конгресс — для сюрреалистов мы были консерваторами, академиками, чинушами. Но полчаса спустя журналисты разочарованно отправились в буфет — все кончилось благополучно: мы понимали, что беда не в Бретоне, а в Гитлере.

Мне запомнилась речь английского романиста Форстера. Он говорил: «Будь я моложе и смелее, я, может быть, стал бы коммунистом... Если разразится новая война, то писатели, верные принципам либерализма и индивидуализма, вроде Хаксли и меня, будут попросту сметены. Мы ничего не можем против этого сделать, мы будем ржавыми иголками класть заплаты, пока не разразится катастрофа». (И молодой Хаксли, и пожилой Форстер пережили вторую мировою войну. А если «ржавые иголки» теперь в меньшем спросе, то знатоки уверяют, что дело не столько в сдвигах сознания, сколько в конкуренции телевидения.)

Речь Кольцова была, разумеется, куда оптимистичнее. Обращаясь к фашистам, он вспомнил французскую поговорку: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Кольцов не увидел развязки. Фашистов действительно разбили, но 9 мая 1945 года мы не смеялись. Помню женщину на Красной площади, она тихо показывала всем фотографию ее сына, погибшего на Волге.

(Я прервал работу над этой главой почти на месяц: Рим, Варшава, Лондон: встречи, заседания, конференция — разоружение, ядерные бомбы, Бонн, реваншисты... Передо мною были не писатели, а самые различные люди — американский сенатор, лейбористы, физики, итальянские депутаты, Жюль Мок, священники, профсоюзники. Конечно, мне хочется дописать эту книгу, но если можно убедить хотя бы десяток людей, что нет другого выхода, как уничтожить все бомбы, распустить все армии, то бог с ней, с книгой, — куда важнее судьба подростков: перед ними их люди, их годы, их жизнь.)

Создали Ассоциацию писателей, выбрали секретариат; из советских в него вошли Кольцов и я. Михаил Ефимович сказал мне: «Поскольку секретариат будет находиться в Париже, работать придется вам». Ласково, но и насмешливо хмыкнув, он добавил: «Ругать будут тоже вас...»

О том, как меня ругали, я уже упоминал. Да и в работе не было недостатка. Мы устраивали митинги, лекции, диспуты — в Париже, в провинции. Время благоприятствовало: это был медовый месяц Народного фронта. Я выступал с докладами в Париже, в Лилле, в Гренобле.

На парижском конгрессе не было крупных писателей Чехословакии. Я побывал в Праге, встретился с Чапеком. Он много говорил о фашистской угрозе, согласился войти в президиум Ассоциации. Работал он тогда над романом «Война с саламандрами». Усмехаясь, он говорил: «Вы, наверно, слышали пражский анекдот: в солнечный день Чапек идет по Пришкопу с раскрытым зонтиком и на недоуменный вопрос встречного отвечает: «В Лондоне сейчас дождь». Я, правда, многое люблю в английских нравах, мне, например, нравится, что лондонцы не толкаются, в метро или в автобусе не наваливаются один на другого. Вероятно, это связано с тем, что я люблю мечты прошлого века. А мы живем в другую эпоху, общество теснит человека, один народ наваливается на другой...»

Секретарем Союза чешских писателей был тогда поэт Гора; он предложил включить в нашу Ассоциацию чешский союз. Я был на съезде писателей Словакии, они тоже вошли в Ассоциацию.

В Испании с нами, помимо Валье Инклана, были почти все молодые писатели: Лорка, Альберти, Бергамин. Я встретился с моим давним приятелем Гомес де ля Серна, который чурался политики; мне удалось уговорить его войти в Ассоциацию.

В июне 1936 года в Лондоне состоялся пленум секретариата. Мы были настроены радужно; обсуждали всевозможные проекты: создание международных литературных премий, бюро для переводов на различные языки лучших произведений и так далее. Особенно страстно обсуждался проект создания энциклопедии, которая, по замыслу Бенда, Мальро, Блока, должна была стать тем, чем была энциклопедия Дидро, Вольтера, Монтескьё для людей второй половины XVIII века.

Неожиданно на наше собрание пришел Герберт Уэллс. Я с ним познакомился летом 1934 года на даче М. М. Литвинова. Беседуя с Максимом Максимовичем, с Эйзенштейном, со мной, он говорил, что многое у нас ему понравилось, и это, видимо, его раздражало — он не любил, чтобы действительность шла вразрез с его прогнозами. Он многое умел предугадывать, был дальнозорким: если Андрей Белый говорил в 1919 году об атомной бомбе, это было предчувствием поэта, а когда Уэллс в 1914 году описал применение в будущей войне атомного оружия, это можно назвать научным прогнозом. Он дорожил логикой и к диалектике относился подозрительно. На даче у Литвинова, разговаривая с дочкой Максима Максимовича,

озорной девочкой Таней, он вдруг становился естественным, даже добрым.

Войдя в зал заседаний, Уэллс положил шляпу на стол и тотчас вылил на нас ушат холодной воды: трезво разъяснил, что мы не Дидро и не Вольтеры, что у нас нет денег и что мы вообще живем утопиями. Он рассказал анекдот о трех портных, которые вздумали выступать от имени Великобританской империи. Кончив говорить, он взял шляпу и вышел из зала.

Конечно, в своем скептицизме он был прав: мы не составили и первого тома энциклопедии, не учредили литературных премий. Мы даже ничего не сделали для поощрения переводов. Бергамин предложил созвать Второй Международный конгресс в Мадриде в 1937 году; это предложение приняли. Мы не знали, что через три недели в Испании начнется страшная, разрушительная война. Но из всех наших решений мы осуществили только одно: Второй конгресс действительно собрался в 1937 году в Мадриде, и мы заседали, обстреливаемые фашистской артиллерией.

Ассоциация сделала свое дело: она помогла писателям, да и многим читателям, понять, что начинается новая эпоха — не книг, а бомб.

13

Ранней осенью 1935 года я писал в «Известиях» о Франции и Париже: «Я долго думал: почему сейчас так печальна эта земля? Ее красота только оттеняет печаль. Прекрасны старые вязы или ясени среди поляны. С яблонь падают красные яблоки. На берегу океана рыбаки чинят голубые тонкие сети. Черные коровы задумчиво окунают свои морды в траву, зеленую, как детство. Белые крестьянские домики обвиты глициниями... «Жизнь так коротка» — это поет под моим окном застенчивый неуклюжий подросток. Он вырос из своего костюма, а нового ему не сшили. Он пришел на эту землю слишком поздно: все романы написаны, все пустыри распаханы, заняты все места — от кресла сенатора до ящика, в котором роется мусорщик. Он может только петь натощак «Жизнь так коротка»... Их много, они родились, как все, учились ходить, хлопали в ладоши, сосали леденцы и глядели на жизнь голубыми доверчивыми глазами. Потом оказалось, что они выросли зря... Ночью в Париже, вдыхая соленый запах моря, кажется, слышишь скрип снастей... Кружится голова: черна ночь Европы. Грусть ве-

ков скопилась на маленьком отрезке земли, как в шкатулке с письмами молодости. Но даже эта грусть связана с жизнью. Ранним утром над сизым Парижем кричат дрозды и сирены заводов; они как будто повторяют: «Тебя ждут высокие дела, борьба, будущее!..»

О судьбе Франции, Парижа я думал и в небольшой мастерской, загроможденной холстами, рухлядью с «блошиного рынка» (так зовут парижскую толкучку), кувшинами, глядя на пейзажи Р. Р. Фалька. Парижей много: мы знаем омытый светлыми дождями, сияющий Париж импрессионистов; легкий и нежный Париж Марке; идиллический и захолустный Париж Утрилло. А Париж Фалька — тяжелый, сумеречный, серый, сизый, фиолетовый, это Париж трагических канунов, обреченный и взбудораженный, отпетый и живой. Фальк проработал в Париже всего девять лет, но он понял этот большой, сложный, казалось бы, чужой ему город.

Я познакомился с Робертом Рафаиловичем в начале тридцатых годов, а особенно часто мы встречались и подолгу беседовали в последний период его жизни. Но вот я рассказываю о нем, отрываясь от событий 1935 года: тогда я впервые почувствовал всю силу его живописного голоса. Он вытаскивал из закоулков мастерской десятки холстов, высокий, худой, с печальным, даже унылым лицом, которое порой освещала легкая стыдливая улыбка, и я, восхищаясь живописью, по-новому видел окружавший меня мир — людей, эпоху, пестрое чередование событий, неразборчивую стенограмму века.

(Когда я писал роман «Падение Парижа», на стене передо мной висел парижский пейзаж Фалька. Часто, оставляя рукопись, я глядел на него — дома, дым, небо. Может быть, я не написал бы некоторых страниц, если бы не холст Роберта Рафаиловича.)

Я признавался в этой книге, что жил в десяти планах, разбрасывался, торопился; я валил все на эпоху, а может быть, виноват был я. Ведь Фальк — мой современник (он был всего на три года старше меня), а он работал сосредоточенно, упрямо, фанатично. Шестнадцатилетним подростком он уже сидел, восхищенный, у подмосковного прудика и писал первые пейзажи. Он работал до самой смерти, исступленно, мучительно, уничтожая холсты, в десятый раз замазывая; соскребал краски, нараставшие, как струпья, и снова писал; в пятый, в десятый раз возвращался к той же модели, к тому же натюрморту. Он работал и когда его выставляли, и когда перед ним закрылись все

двери; работал, не думая, выставят ли его холсты, — говорил не потому, что перед ним был набитый людьми зал, а потому, что у него было много что сказать.

Есть художники, которые легко, быстро пишут, — я говорю сейчас не о халтурщиках, а о подлинных художниках; они пишут потому, что, как говорил Роберт Рафаилович, у них «хорошо поставлены глаза». Кто не встречал человека, который охотно рассказывает только потому, что умеет связно и образно говорить. Древние греки восхищенно отзывались об ораторском даре Демосфена, а он по природе был косноязычен. Фальк в каждой работе преодолевал живописное косноязычие. Но его трудолюбие не похоже на пот Брюсова, назвавшего свою мечту «волом»: мечта Фалька была ретивой, и он стремился ее обуздать, подчинить законам искусства, своим мыслям. Он любил стихи Баратынского о скульпторе:

Глубокий взор вперив на камень,
Художник Нимфу в нем прозрел,
И пробежал по жилам пламень,
И к ней он сердцем полетел.

Но, бесконечно вожделенный,
Уже он властвует собой:
Неторопливый, постепенный
Резец с богини сокровенной
Кору снимает за корой.

Пожалуй, он напоминал одного из своих наиболее любимых предшественников — Сезанна — невероятной работоспособностью, тяжестью, сочетанием мягкости с неуживчивостью, отшельничеством. Но Роберт Рафаилович был человеком и другой эпохи, и другой земли. Он говорил о Сезанне: «Величайший художник! У него было абсолютное зрение... А если говорить о человеке, в нем были черствость, сухость, эти черты довольно часто встречаются у французов. Думаю, что эти душевные свойства окрасили и живопись Сезанна...»

Роберт Рафаилович знал традиции русской литературы, русской музыки, да и по природе он был человечным, никогда не оставался холодным соглядатаем жизни — волновался, страдал, радовался.

Он любил Врубеля. Учителем Роберта Рафаиловича в Художественном училище был К. А. Коровин. (Фальк рассказывал, что в Париже встречался с Коровиным. Константину Алексеевичу было уже семьдесят пять лет, но он работал, искал и говорил Фальку: «Знаешь, кто теперь самый

большой художник во Франции? Сутин!») Начал Фальк выставляться в группе «Бубновый валет» вместе с Кончаловским, Ларионовым, Лентуловым, Гончаровой, Малевичем, Машковым, Куприным, Рождественским, Шагалом. Распространено мнение, будто бубнововалетцы слепо подражали французам, а это было большое, вполне самостоятельное явление в русской живописи, которое еще до сих пор не нашло грамотного и честного исследователя. Конечно, Фальк в то время отдал дань кубизму, порой несколько обобщал предметы, но его пейзажи не имели ничего общего с геометрией; они были выражением чувств молодого художника.

Фальк жадно присматривался к жизни. Как я говорил, в Париже он прожил всего девять лет и за это время сменил четырнадцать адресов, из одной мастерской или мансарды перебирался в другую; объяснял, что районы Парижа не похожи один на другой и что ему хотелось не только повидать, но и пожить в четырнадцати различных городах.

Он знал глухие переулки Москвы, пески и камни Средней Азии, различные русские города — охотно колесил. Отшельник в живописи, в жизни он был общительным, встречался со множеством людей, внимательно слушал споры, рассказы, исповеди.

Роберт Рафаилович любил труд преподавателя; учившиеся у него — и в двадцатые и в сороковые годы — говорят, что он делился с начинающими художниками не только опытом, но и находками, прозрением, вкладывал в уроки душу.

В отрочестве он мечтал стать музыкантом, всю жизнь обожал музыку. Он любил и поэзию — я часто говорил с ним о стихах; он сразу схватывал внутренний ритм стиха, может быть потому, что в живописи искал ритм.

Поль Сезанн, необычайно зоркий в своем ремесле, ничего не знал, кроме холста и красок. Общественные события его оставляли равнодушным. Много смеялись над Золя, который не понял своего школьного товарища, считал Поля неталантливым, да и не очень-то умным. Смеялись справедливо. Но можно добавить, что Сезанн тоже не понял Золя, перевернувшего построение романа, пробовал почитать и бросил — показалось скучным. А Фальк и многое знал, и многим интересовался. Париж на его холстах («не город, а пейзаж») был таким, каким он его и видел и понимал. В 1935 году он говорил: «Франция обречена. Трудно работать, не хватает воздуха. Пора домой...» Ему тогда жилось хорошо: его выставляли, критики много писали о нем, коллек-

ционеры покупали его холсты. Но, равнодушный к деньгам, к славе, он остро воспринимал воздух эпохи, настроение окружающих. Он знал, что Франция не выстоит, твердо это знал, и когда, после падения Парижа, я вернулся в Москву, расспрашивал меня о деталях — самою историю он знал давно, и не только по сообщениям газет.

Он как-то сказал мне: «Я думаю о многом до того, как сажусь за работу, думаю о человеке, которого пишу, да и об эпохе, о пейзаже, о политических событиях, о стихах, о бабушкиных сказках, о вчерашней газете... Когда я пишу, я только гляжу, но я вижу многое иначе именно благодаря тому, что думал, продумал...» Импрессионисты говорили, что они изображают мир таким, каким они его видят. Пикассо как-то сказал, что он изображает мир таким, каким он его мыслит. Фальк видел так, как мыслил. Он не искал иллюзорного сходства, говорил, что не любит термина «изобразительное искусство» — предпочитает «пластическое искусство»: живопись для него была не изображением, но отображением, созданием реальности на холсте.

Фальк писал в одном из писем: «Произведения Сезанна не подобья жизни, а сама жизнь в прекрасных, драгоценных зрительно-пластических формах. Кубисты считают себя его преемниками. С моей точки зрения, они узурпаторы его искусства. Я не люблю, откровенно говоря, абстрактную живопись. Абстракция даже у самых талантливых художников ведет к схеме, к произволу, к случайности... Элементарно говоря, я — реалист... В моем понимании реализма мне особенно близок Сезанн. Из более поздних имен меня особенно притягивает Руо...»

Фальк недолюбливал декоративность в живописи; о таком художнике, как Матисс, он говорил с уважением, но и с холодом. Он искал раскрытия предметов, природы, человеческих характеров. Его портреты, особенно в последние годы, поражают глубиной: цветом он передает сущность модели, цвет создает не только формы, пространство, он также показывает «незримую сторону Луны» — писателю потребовались бы тома, чтобы подробно рассказать о своем герое, а Фальк этого достигает цветом; лицо, пиджак, руки, стена — на холсте клубок страстей, событий, дум, пластическая биография.

В 1946 или в 1947 году Фалька зачислили в «формалисты». Это было абсурдом, но в те годы трудно было чем-либо удивить. «Формалиста» решили поставить на колени; помню заявление одного из тогдашних руководителей Союза художников: «Фальк не понимает слов, мы его бу-

дем бить рублем...» Вот это изумило меня даже в то время: человек «рубля» не знал, с кем имеет дело. В жизни не встречал я художника столь безразличного к разным благам, к удобствам, к достатку. Фальк сам варил горох или картошку; годами ходил в той же протертой куртке; одна рубашка была на нем, другая лежала в старом чемодане. В обыкновенной, прилично обставленной комнате он чувствовал себя неуютно, жил в запустении, а дорожил только красками и кистями.

Его перестали выставлять. Денег не было. Он считался заживо похороненным. А он продолжал работать. Иногда в его мастерскую приходили любители живописи, молодые художники; он всех пускал, объяснял, стыдливо улыбался.

Он писал в 1954 году: «Только теперь, мне кажется, я созрел для настоящего понимания Сезанна... Как грустно и обидно! Прожил целую жизнь, а только теперь понял, как надо по-настоящему работать. Но нужных сил больше нет, их будет все меньше и меньше...» Эти слова показывают, как Фальк был требователен и суров к себе — до последнего часа.

Все больше и больше накапливалось холстов в длинной сумрачной мастерской возле Москвы-реки. Когда смотришь работы некоторых пожилых художников, невольно с грустью вспоминаешь свежесть, чистоту, яркость их молодости. А Фальк изумлял тем, что все время подымался — до самой смерти. (Как-то он сказал, что Коро написал лучшую свою работу в возрасте семидесяти шести лет. Роберт Рафаилович умер в семьдесят.) Он болел, осунулся, с трудом ходил и все же продолжал работать. Выставку, да и то крохотную, процеженную, в старом помещении МОСХа устроили, когда он уже лежал смертельно больной в госпитале. И в то же унылое помещение МОСХа, вскоре после выставки, привезли Фалька — в гробу. Люди стояли и плакали — знали, что потеряли.

Теперь выходят книги, которых ни за что не издали бы десять лет назад; строят современные дома. А холсты Фалька по-прежнему стоят, прислоненные лицом к стенке...

14

Четырнадцатого июля 1935 года, вскоре после конгресса писателей, Париж увидел небывалую демонстрацию: это был военный смотр Народного фронта. Весь день я бродил по улицам, иногда забегал в кафе — писал отчет,

который должен был на следующий день пойти в «Известиях». Демонстрация началась утром на площади Бастилии, и колонны шли к Венсенскому лесу, находящемуся всего в нескольких километрах от этой площади; столько, однако, было народу (газеты потом давали различные цифры, в зависимости от направления, — шестьсот — семьсот — восемьсот тысяч), что последние демонстранты дошли до заставы только к ночи. Лидеры еще недавно враждовавших партий шли рядом — Торез и Блюм, Даладье и Кашен. Шли также ученые, писатели: Ланжевен, Перрен, Риве, Арагон, Мальро, Блок.

На Елисейских полях в тот день демонстрировали фашисты; они лихо маршировали, подымали руки, стараясь во всем походить на гитлеровцев; кричали: «Да здравствует де ля Рокк!» — так звали полковника, вождя «Боевых крестов».

«Де ля Рокка к стенке!» — скандировали люди на площади Бастилии. Скрытая гражданская война разгоралась. Мало кто интересовался правительством, во главе которого стоял юркий Лаваль; он подписывал соглашения с Муссолини, с Советским Союзом, хотел перехитрить и Народный фронт и де ля Рокка, отодвинуть хотя бы на год-другой развязку.

Мне казалось, что мирные времена далеко позади. Еще год назад утром я прежде всего читал письма; теперь я засовывал конверты в карман и, купив газету, здесь же на улице ее разворачивал. Радиоприемник поселился в моей комнате и заполнял ее голосами незнакомых людей, спешивших поделиться со мной тревожными вестями. Ночные часы у этой проклятой коробки были мучительными; речи Гитлера или Муссолини, отчеты о стычках с фашистами на улицах французских городов перебивались рекламой — радиовещание еще было в руках различных частных компаний; почему-то до сих пор помню песенку, прославлявшую целительные свойства «Бальдофлорина», забыл, от каких именно болезней он должен был исцелять, но меня это слово «Баль-до-флорин» между криком дуче: «Пролетарская и фашистская Италия, вперед!» — и описанием казни топором в Гамбурге выводило из себя.

Седьмого сентября Париж снова вышел на улицы: хоронили умершего в Москве Анри Барбюса. Похороны стали демонстрацией.

Конечно, сотни тысяч людей больше думали о предстоящих боях, чем о погибшем писателе: они знали, что Барбюс был смелым товарищем, коммунистом, автором

книги о Сталине; сорокалетние помнили «Огонь», рассказавший о судьбе верденского поколения. Барбюс был сложным человеком, нельзя от него отсечь ни стихов его молодости, ни зрелой тоски. Как-то он сказал мне с легкой усмешкой: «С капитализмом трудно бороться, а с самим собой еще труднее...» Однако он умел бороться и с собой. В одном из выступлений он сказал о судьбе «скромных знаменосцев», к которым причислял себя. В тот сентябрьский день он стал знаменем. Военных инвалидов везли в колясках. Женщины подымали к небу грудных детей. Из окон рабочих домов вылетали красные флажки, а где не было флагов, выставляли красные шторы или подушки. На гробу среди пышных южных цветов лежали осенние астры, георгины — цветы Подмосковья.

Мне запомнилась группа людей, которые несли полотнище: «Рабочие Лана не потерпят фашизма!» Скептик мог бы усмехнуться: Лан — небольшой город, в нем нет и двадцати тысяч жителей. Но в этом была своя правда: Франция переживала необычайный подъем, каждый верил, что будущее зависит и от него.

В феврале 1936 года «королевские молодчики» (так называли одну из крайне правых организаций) напали на Леона Блюма, избили его и почему-то в качестве трофеев уволокли шляпу и галстук.

Возмущенные демонстранты двинулись к Пантеону, где покоится прах Жореса, убитого одним из предшественников фашизма. Вокруг Пантеона собрались студенты, входившие в фашистские организации. Было много перебранок. Сотни тысяч рабочих, служащих, интеллигентов еще выше подымали красные флаги, сжимали кулаки.

В одной из колонн я увидел Марселя Кашена и подошел, чтобы поздороваться. Рабочие, стоявшие на набережной, кричали: «Здравствуй, Кашен! Они тебя не посмеют тронуть! Мы тебя отстоим!» Кашен махал рукой, смущенно улыбался.

(Однажды я встретил Кашена в кафе — это было в 1932 или 1933 году, — он сидел с Ланжевеном и художником Синьяком, рассказывал про свою встречу с Лениным. Я вдруг подумал: эти люди пришли в наш век издалека, все поняли и ничего не растеряли... Кашена любили: он как бы собой доказывал, что большая культура может уживаться с повседневной революционной борьбой и что коммунизм не означает ни душевной сухости, ни ограниченности, ни повадок кандидата в вожди, которому пролетариат передоверяет свое право на диктатуру.)

Я часто бывал на различных митингах, собраниях; требовали освобождения Тельмана, протестовали против расправ с горняками Астурии, против нападения Италии на Абиссинию, говорили о разном и вместе с тем об одном: нельзя прожить жизнь на одной земле с фашистами. Говорили опытные ораторы и подростки, Андре Жид, Ланжевен или Мальро и домашние хозяйки. На одном из собраний в горном бассейне Дофинэ, когда все уже было сказано и пересказано, старый рабочий с синими жилками на лице попросил слова; поднявшись на трибуну, он дрожащим старческим голосом запел: «Вставай, проклятьем заклейменный...» Несколько лет спустя я писал о митингах 1935 года:

Надежду видел я, и, розы тоньше,
Как мягкий воск, послушная руке,
Она рождалась в кулаке поденщиц
И сгустком крови билась на древке.

В душных залах, набитых незнакомыми мне людьми, я тоже подымал кулак, и в нем тоже билась, как бабочка, надежда тех месяцев. Для надежд было много оснований. Рабочие меня поражали своей зрелостью. Расскажу об одном эпизоде. В Лилле я познакомился с доктором, одним из организаторов общества дружбы «Франция — СССР». Он меня повез в поселок Ланнуа неподалеку от Рубэ; там была большая льнопрядильня. Союз предпринимателей ввиду продолжавшегося кризиса решил закрыть ряд фабрик и уничтожить оборудование. Рабочие и работницы отправили письмо Лавалю: «Господин председатель, мы считаем необходимым заявить вам, что мы не допустим уничтожения машин на фабрике Бутеми... Мы будем следить за тем, чтобы машины, являющиеся общим достоянием, сохранились в неприкосновенности». Я увидел рабочих, охранявших фабрику от ее владельцев. Мастер с седыми усами сказал мне: «Я читал в «Юманите», что Горький теперь пишет историю русских заводов. Расскажи ему, что мы живем при капитализме, машины принадлежат не нам, а мерзавцам, но мы их ни за что не отдадим, это — народное добро. По-моему, такой писатель, как Горький, может в своей книге отметить этот факт...»

На глазах происходило чудодейственное сближение партий, профсоюзов, людей. Передо мной пожелтевший номер «Юманите» со списком тогдашних сотрудников ее литературного отдела: театральные режиссеры Жуве и Дюллен, художник Вламинк, писатели Жид, Мальро, Шам-

сон, Геенно, Жионо, Дюртен, Вильдрак, Кассу. Теперь мне это кажется неправдоподобным.

Рабочим удалось (ненадолго) заручиться поддержкой значительной части интеллигенции, крестьянства, мелкой буржуазии. Я увидел это в шахтерском поселке Ля Мюр возле Гренобля. Там была забастовка, длилась она долго — хозяева хотели взять горняков измором. Стачечный комитет помещался в здании мэрии; туда приходили крестьянки — брали детей шахтеров к себе. Был базарный день, и крестьяне привезли забастовщикам подарки: картошку, яйца, сало, гусей. На собрании местный парикмахер объявил, что будет бесплатно стричь и брить забастовщиков. Шахтеры в итоге выиграли забастовку.

Одновременно чуть ли не каждый день приходилось наблюдать, как быстро формируется другой лагерь. Может быть, не так уж много было во Франции фашистов, но они шумели, дрались, нападали из-за угла. Некоторые из них носили короткие усики и называли себя «насистами»; у других было изображение черепа на рукаве, и они себя звали «франсистами». Открыли в Париже «Синий дом» — в Берлине ведь имелся «Коричневый».

Германия ввела войска в прирейнскую демилитаризованную зону. Лига Наций обсуждала этот поступок много месяцев и в итоге ничего не решила. Каждый вечер треклятый радиоприемник передавал хриплые выкрики: «Мемель наш! Страсбург наш! Брюнн (Брно) наш!» И вот не молодчики с подстриженными усиками, а добродетельные отцы семейств начали поговаривать, что мир куда дороже, чем какая-то Чехословакия, что Народный фронт приведет к войне, что пора унять левых «крикунов». Италия каждый день захватывала кусок Абиссинии; фашисты вели войну цинично, бомбили госпитали, пустили в ход отравляющие газы. Лига Наций применила к Италии экономические санкции; по существу это осталось резолюцией; но фашисты в Париже каждую неделю устраивали демонстрации под лозунгом «Долой санкции!». Опять-таки средние французы со средним достатком, а их во Франции немало, говорили: «Зачем ссориться с Италией? Это наша латинская сестра. Муссолини поможет успокоить Гитлера...» А по радио стоял вой: «Средиземное море наше! Корсика наша! Ницца наша!» На самом деле средние французы боялись победы Народного фронта, им мерещились потерянная рента, уплотнение квартир, колхозы.

Когда в кино показывали итальянские победы в Эфиопии, в рабочих районах публика отчаянно свистела,

в буржуазных многие зрители аплодировали. Иногда в темном зале начиналась драка.

Спорили друг с другом незнакомые люди — в кафе, в метро, на улице. Раскалывались семьи, обрывались дружеские отношения.

Все говорили, что скоро будет война, и все требовали мира. Национальный фронт правых партий клялся, что не допустит войны. Народный фронт готовился к выборам с лозунгом «Мир. Хлеб. Свобода». Правые уверяли, что коммунисты хотят атаковать фашистские страны. Все перепуталось. «Патриотическая молодежь» пела «Марсельезу», требовала, чтобы воспитание шло в духе национальных традиций, и одновременно устраивала демонстрации с криками: «Долой санкции! Долой Англию! Дружба с Италией!» Англичане настаивали на применении санкций к Италии (они, однако, старались ничем не обидеть Гитлера), и писатель Анри Беро опубликовал памфлет в правой газете «Необходимо обратить англичан в рабство!». Рабочая молодежь предпочитала «Марсельезе» «Интернационал» и выступала против итальянских фашистов, против Гитлера, обличала «двести семейств», которые хотят предать Францию.

Однажды, раскрыв газету, я увидел обращение правых писателей, пытавшихся оправдать нападение фашистов на Абиссинию «культурной миссией Италии». Среди подписавшихся было имя одного писателя, моего друга двадцатых годов, человека, которого я не мог заподозрить в симпатии к чернорубашечникам. Я написал ему возмущенное письмо. В ответ он прислал длинное, запутанное и, наверно, искреннее письмо. Оно погибло с другими письмами, когда гитлеровцы оккупировали Париж. Сохранились только выдержки, которые я привел в газетной статье, не называя автора: «Я не знаю, что такое фашизм и каковы его цели. Вам это покажется невероятным, но вот уже три недели, как я не читаю газет. Мне за пятьдесят, и у меня больше нет убеждений, я говорю об искренних убеждениях, способных заставить человека пойти на жертвы... Я меняю убеждения по двадцати раз в день...» Вместо того, чтобы поехать к моему другу и заставить его в двадцать первый раз изменить свои убеждения, я рассердился. Это хороший писатель и хороший человек, но больше мы с ним не встречались.

Я жил в каком-то непрестанном возбуждении. Полгода спустя я написал маленькую книгу рассказов и озаглавил ее «Вне перемирия». Мне казалось, что существует некое негласное перемирие с фашизмом, и я думал о том, что

судьбы людей, с которыми я был связан, не подпадают под условия этого перемирия. В статье для «Известий» я писал: «Поймут ли наши внуки, что значило жить в одно время с фашистами? Вряд ли на желтых полуистлевших листочках останутся гнев, стыд, страсть. Но, может быть, в высокий полдень другого века, полный солнца и зелени, ворвется на минуту молчание — это будет наш голос...»

Конечно, в конце 1935 года я не мог знать, что главные испытания впереди. Я только чувствовал, что развязка будет трагичной, и статью кончил словами: «Надежда мира — Красная Армия».

Во Франции в тот год стояла удивительная осень; гремели грозы, в садах вторично зацвели вишни. Я глядел на тщательно обработанные садики, на белые домики с черепичными крышами, на мир милый и хрупкий, может быть обреченный, глядел из окна вагона — газета дала мне отпуск, и я ехал в Москву.

15

Вскоре после моего приезда в Москву редакция дала мне билет на совещание рабочих-стахановцев. Я пришел за час до назначенного времени, а Большой зал Кремлевского дворца был уже заполнен. Люди разговаривали друг с другом вполголоса; никто не вставал с места. Это никак не походило на шумные митинги Парижа в набитых прокуренных залах. Я спрашивал соседей, где сидит Стаханов, знают ли они Кривоноса, Изотова, Виноградовых.

Вдруг все встали и начали неистово аплодировать: из боковой двери, которой я не видел, вышел Сталин, за ним шли члены Политбюро — их я встречал на даче Горького. Зал аплодировал, кричал. Это продолжалось долго, может быть, десять или пятнадцать минут. Сталин тоже хлопал в ладоши. Когда аплодисменты начали притихать, кто-то крикнул: «Великому Сталину ура!» — и все началось сначала. Наконец все сели, и тогда раздался отчаянный женский выкрик: «Сталину слава!» Мы вскочили и снова зааплодировали.

Когда все кончилось, я почувствовал, что у меня болят руки. Я впервые видел Сталина и не сводил с него глаз. Я знал его по сотням портретов, знал тужурку, усы, но я думал, что он куда выше ростом. Волосы у него были очень черные, лоб низкий, а глаза живые, выразительные. Иногда, несколько наклоняясь вправо или влево, он посмеивал-

ся, иногда сидел неподвижно, глядя в зал, но глаза продолжали ярко посвечивать. Я поймал себя на том, что плохо слушаю — все время гляжу на Сталина. Оглянувшись, я увидел, что тем же заняты и другие.

Возвращаясь домой, я чувствовал неловкость. Конечно, Сталин — большой человек, но он коммунист, марксист; мы говорим о новой культуре, а смахиваем на поклонников шамана, которых я видел в Горной Шории... Тотчас я себя оборвал: наверно, я рассуждаю по-интеллигентски. Сколько раз я слышал, что мы, интеллигенты, ошибаемся, не понимаем требований времени! «Интеллигентик», «путаник», «гнилой либерал»... И все-таки непонятно: «мудрейший руководитель», «гениальный вождь народов», «любимый отец», «великий кормчий», «преобразователь мира», «кузнец счастья», «солнце»... Однако мне удалось убедить себя, что я не понимаю психологии массы, сужу обо всем как интеллигент, притом проживший полжизни в Париже.

На совещании Сталин сказал: «Людей надо заботливо и внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное плодовое дерево». Эти слова приподняли всех — ведь в Кремлевском дворце сидели не манекены, а люди, и они радовались, что к ним будут подходить бережно, любовно...

Прошло несколько дней. Я встретил живых, интересных людей. Долго разговаривал с ткачихой Дусей Виноградовой. Она оказалась умной и удивительно скромной; почести, аплодисменты, фотографы не вскружили ей головы. Я решил, что овации в Кремлевском зале — своеобразное выражение чувств, своего рода присяга. Ведь не коробит меня, что на парижских митингах люди стоят с поднятыми кулаками, без конца скандируя: «Ле совье парту!» Борьба против фашизма была настолько реальной, так меня захватывала, что я посмеялся над собой: до чего глупо было огорчаться!

Я встречался с писателями, художниками, режиссерами и невольно ввязался в спор — искусство оставалось для меня кровным делом, ввязался с горячностью, да и неуклюже: плохо разбирался в положении, снова принимал свои желания за действительность.

Побывав в клубе «Динамо», в университете, у тимирязевцев, в районных библиотеках, где происходили обсуждения моей повести, я писал: «Я слышал, что говорили о литературе рабочие, вузовцы, красноармейцы. Уровень наших читателей куда выше, чем это предполагают наши пи-

сатели». Мне казалось, что читатели выросли и что слишком часто мы им подсовываем книги для подростков. Вероятно, я несколько забегал вперед, но на читательских конференциях я встретил людей с глубокой внутренней жизнью, с большими требованиями.

Может быть, в моих словах сказалось и недовольство собой, повестью «Не переводя дыхания», которая была не только посвящена зеленой молодости, но и написана както зелено, упрощенно, будто автору не сорок четыре года, а вдвое меньше. Неловкость я испытывал и, читая книги некоторых моих сверстников, частенько думал, что пора нам писать для взрослых и по-взрослому.

В статье я выступил против обязательной «доходчивости» — слово тогда входило в обиход: «Наши читатели растут, как трава в сказках, — бурно и неожиданно. Надо стараться поднять читателя, даже самого отсталого, до уровня подлинной литературы, а не отменять подлинную литературу, говоря, что такой-то писатель непонятен такому-то читателю. Автор, который ориентируется на так называемого «среднего читателя», сплошь да рядом оказывается в дураках: пока он сидел и писал, читатель успел вырасти. Автор мечтал о доходчивости, о массовости, а читатель, взяв в руки его произведение, говорит: «Скучно, плоско, давно известно, шаблонно...» Секрет нашей удивительной страны в том, что у нас нельзя ставить на «сегодня»: тот, кто ставит на «сегодня», оказывается во «вчера». Надо ставить на «завтра».

«Известия» статью напечатали. Издательство «Советский писатель» решило переиздать мой старый роман «Хуренито». («Хуренито» действительно был переиздан, но не в 1935 году, а в 1962.) Некоторые критики меня поругивали; я огрызался. Мне казалось, что спор о литературе, об искусстве только-только начинается.

Художники устроили диспут о портрете. Я пошел и выступил против академической живописи, против холстов, напоминающих фотографии, защищал право на искания нового живописного языка. Я сказал, что буржуа, когда он не понимает произведения искусства, неизменно винит художника, а рабочий говорит: «Нужно еще раз прийти — посмотреть получше...» (Эти слова я как-то подслушал в Музее западной живописи.) Некоторым художникам мои мысли не понравились; один выступил с разоблачением: «Эренбург так рассуждает потому, что его жена — ученица Пикассо». (Люба была польщена — она ведь никогда не училась у Пикассо.)

В Доме кино я сказал, что мне очень нравится «Чапаев», но этот фильм — завершение предшествующей блистательной эпохи советской кинематографии; я знаю смелость Эйзенштейна, Довженко и многого жду от этих художников. Газета «Кино» определила мои мысли как «старые заблуждения по новому поводу» и сердито меня одернула.

Я увидел новую постановку Мейерхольда и восхитился: Всеволод Эмильевич воистину обладал неиссякаемой фантазией. Комедия Грибоедова звучала как современная пьеса не только потому, что актеры по-новому читали стихи, но и по возрожденной свежести мыслей, чувств. Была немая сцена, которой нет в тексте: за длинным столом сидели расфуфыренные истуканы, и какая-то очередная грязная, может быть кровавая, сплетня гуляла вдоль стола. Я писал: «Мы ненавидим Фамусовых и Молчалиных. Они еще барахтаются в тине канцелярий, они переменили костюм и лексикон, но они остались столь же заносчивыми и угодливыми. Мы живем и работаем для того, чтобы вывести их из жизни, и мы не можем равнодушно слушать монологи Чацкого, с ним мы терзаемся, с ним ненавидим. Такова мощь подлинного искусства». Долго в моих ушах стояли слова: «Служить бы рад, прислуживаться тошно...» Был еще только ноябрь 1935 года, и газета напечатала мою статью.

До чего я был тогда наивен! Я не знал, что многое зависит от вкусов, даже от настроения одного человека. Да и люди, хорошо это знавшие, не могли предвидеть, что приключится завтра.

Когда я был в Москве, И. В. Сталин объявил: «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Все сразу заговорили о значении новаторства, о новых фильмах, о разрыве с рутиной.

Месяца два спустя я прочитал в «Правде» статью «Сумбур вместо музыки»: Сталин пошел на оперу Шостаковича «Катерина Измайлова», и музыка его рассердила. Срочно собрали композиторов, музыкантов, и все они осудили Шостаковича за «кривляние», даже за «цинизм».

С музыки легко перешли на литературу, живопись, театр, кино. Критики требовали «простоты и народности». Маяковского, конечно, продолжали восхвалять, но теперь уже по-другому — «простого и народного». (В одном из ранних футуристических стихотворений Маяковский просил парикмахера: «Будьте добры, причешите мне уши». Он, разумеется, не знал, что смогут причесать не только

уши.) Началась кампания «против формализма, левацких уродств, вывертов»; кампания велась яростно, ей отводили много места.

Первой жертвой оказалась книга детских стихов Маршака с рисунками В. Лебедева — рисунки были объявлены «мазней», и книжку уничтожили. Архитекторы собрались, чтобы осудить «формалистов»; нападали не только на Мельникова, построившего в 1924 году павильон на Парижской выставке, не только на конструктивистов — Леонидова, Гинзбурга, но и на «сочувствующих формализму» — на Веснина, Руднева. Еще хуже пришлось художникам; критики уверяли, что Лентулов не может нарисовать даже спичечную коробку, что Тышлер, Фонвизин, Штеренберг — «пачкуны со злостными намерениями».

На собраниях театральных работников одобряли удаление из Москвы театра МХАТ-второй, поносили Таирова и особенно Мейерхольда. Его покаяние было признано «туманным», «неискренним», начали поговаривать о закрытии театра. Киноработники взялись за Довженко и Эйзенштейна. Литературные критики вначале обличали Пастернака, Заболоцкого, Асеева, Кирсанова, Олешу, но, как говорят французы, аппетит приходит во время еды, и вскоре в «формалистических вывертах» оказались виновными Катаев, Федин, Леонов, Вс. Иванов, Лидин, Эренбург. Наконец дошли до Тихонова, Бабеля, до Кукрыниксов. Нашелся человек, не лишенный воображения, который обвинил в формализме постановку пьесы «Волки и овцы» в Малом театре. В «Красной нови» появилась статья, призывающая в борьбе против формализма «биться за классические рифмы, за классическую точную и стройную ритмику, за классическое правильное развитие сюжета».

Я думал, что спор начинается, а он кончался: его заменили сотни собраний с обязательным признанием своих формалистических ошибок, с обещаниями стать «простым и доходчивым», с хорошо знакомыми возгласами, за которыми следовало: «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию».

Меня много раз обвиняли в «барском отношении к читателям», обвиняли не читатели, а некоторые литераторы, принимавшие активное участие в очередной кампании. Что касается читателей, то и в те недели и позднее в часы сомнений, печали они неизменно меня поддерживали своим пониманием, зрелостью. Редактор «Литературной газеты»

писал, что мое пренебрежение советскими людьми сказалось хотя бы в том, что я утверждал, будто не все рабочие могут понять все картины музеев. «Эта мысль, — писал редактор, — выражает уверенность писателя в том, что художник является носителем какой-то более тонкой, более сложной, более высокой культуры, чем та культура, которой обладает масса читателей». Я переписал эту фразу и задумался. Много раз в этой книге я писал о моих заблуждениях, но здесь я упорствую: я и теперь согласен с тем, что говорил четверть века назад.

Мне кажется, что место писателя, художника не в обозе, а в разведке. Люди развиваются неравномерно, и в нашем современном обществе имеются различные уровни культурного развития. «Массы читателей» не существует, даже если книга выходит массовым тиражом: читатели читают по-разному — бывают книги, в которых одно доступно всем, другое только некоторым. Одних посетителей Эрмитажа восхищает живопись Рембрандта, другие спрашивают, что тут изображено, и равнодушно идут дальше. Есть люди, которых ни за что не затащишь на концерт симфонической музыки. Все это общеизвестно, но об этом предпочитают умалчивать. А новые формы в искусстве всегда воспринимались медленно и вызывали раздражение. Можно привести множество примеров, начиная с драки на премьере пьесы Гюго, с поношения Курбе до гогота аудитории, когда Маяковский читал «Человека». Если писатель или художник не видит большего, чем арифметическая «масса», не старается сказать людям нечто новое, им еще неизвестное, то он вряд ли кому-нибудь нужен.

Нападки на собраниях и в газетах на разных людей действовали по-разному. А. Н. Толстой, любивший спокойствие, решил на всякий случай покаяться и публично объявил, что написал формалистическую пьесу. Бабель говорил улыбаясь: «Через полгода формалистов оставят в покое — начнется какая-нибудь другая кампания». Мейерхольд томился и по десять раз перечитывал вздорную статейку, что-то подчеркивая. В тот мой приезд в Москву я часто встречался и подружился с А. П. Довженко. Он был большим художником, достаточно вспомнить его фильм «Земля», сделанный в 1930 году. Александр Петрович хорошо рассказывал — с украинским юмором и с мягкой украинской печалью. Все происходившее он воспринимал болезненно. Как-то он рассказал мне, что накануне его вызвал Сталин, показал ему «Чапаева» и все приговаривал: «Вот так нужно и вам...»

Меня несправедливые обвинения огорчали, порой выводили из себя, но я был в лучшем положении — шла борьба с фашизмом, и я находился на поле боя.

Вспоминая некоторые московские впечатления, все эти овации и огульные обвинения, я писал в «Книге для взрослых»: «Я знаю, что люди сложнее, что я сам сложнее, что жизнь не вчера началась и не завтра кончится, но иногда надо быть слепым, чтобы видеть». (О том же я говорил позднее в стихах:

Не зря я слепоту зову находкой.
Тоску зажать, как мертвого птенца,
Пройти своей привычною походкой
От детских клятв до точки — до конца.)

Работа над книгой меня захватила, хотя то и дело приходилось от нее отрываться — писать статьи для «Известий», выступать на различных собраниях, работать в Ассоциации писателей. «Книга для взрослых» была первым черновиком той книги, которую я теперь пишу. Я задумал нечто увлекательное и порочное: решил перемешать главы, в которых рассказывал о себе, о своей жизни, с другими, где персонажи повести раскрывали мне свои тайны, работали, боролись, любили, страдали. Я назвал замысел порочным; может быть, это неправильно — просто мне не хватило таланта и мастерства, чтобы герои повести выглядели действительно существующими, а вследствие этого я сам порой казался условным литературным персонажем.

В книге много страниц было посвящено литературе, искусству; я тогда впервые задумался над тем, как рождаются книги или холсты. Я говорил о судьбе писателя: «Он весь облеплен чужими страстями, как репейником. Человеческое горе знает, к кому пристать. Даже бродячая собака не пристанет к каждому, она понюхает человека, а потом или отбежит в сторону, или пойдет вслед. Не все радости, не все горести пристают к писателю, только те, что должны к нему пристать... Гоголь умер среди мертвых душ; вокруг его изголовья толпились Плюшкины и Ноздревы. Он повторил в жизни то, что однажды ему показалось занятным и нелепым сном. Тему подарил ему Пушкин, героями его снабдила жизнь. Что он прибавил к этому, кроме своего дыхания, и почему за чужие судьбы он должен был расплачиваться юродством, немотой, убогой смертью?.. Неужели книги это только черновики, которые нам приходится набело переписывать в жизни?»

Больше всего я думал о борьбе, которая шла вокруг, о выбранном мною пути. «Справедливость — это слово как будто отлито из металла, в нем нет ни теплоты, ни снисхождения. Иногда мне кажется, что оно из чугуна, иногда оно теряет вес, становится оловом. Его нужно согреть своей страстью... Я сказал, что прежде не мог освободиться от своего прошлого. Я думаю, что человек ни от чего не освобождается, он растет вширь, как дерево: кольцо нарастает на кольцо. Теперь я вижу, отчего чугунная или оловянная справедливость казалась мне прежде холодной. Нужны были не только удачи, но и обвалы, вывихи, годы немоты».

Может быть, в 1935 году я слишком рано взялся за рассказ о своей жизни: недостаточно знал и людей, и самого себя, порой принимал временное, случайное за главное. В основном я и теперь согласен с автором «Книги для взрослых», но война в ней описана не ветераном, а человеком среднего возраста, среднего опыта, который едет в темной теплушке на фронт и рисует себе предстоящие битвы.

Многое в книге было, скорее, предчувствием, предвидением, нежели выводами из пережитого. Я сам не понимаю, как я мог весной 1936 года, до всего, что мне пришлось испытать в последующие годы, будучи нестарым и далеко не умудренным, написать такие строки: «Я пережил в жизни все, что пережило большинство людей моего возраста: смерть близких, болезни, предательство, неудачи в работе, одиночество, стыд, пустоту. Есть борьба на улице с винтовками, в цехах, под землей, в воздухе, за пишущей машинкой. Я сейчас думаю о другой борьбе: в тишине, когда, не отрываясь, смотришь на лампочку или на буквы газеты, которой не читаешь, когда надо победить то, что сделала с тобой жизнь, заново родиться, жить, во что бы то ни стало жить».

Приподымая занавеску исповедальни, скажу, что книга «Люди, годы, жизнь» родилась только потому, что я сумел в старости осуществить сказанные мною давно слова — победить то, что сделала со мною жизнь, и если не родиться заново, то найти достаточно сил, чтобы идти в ногу с молодостью.

«Книгу для взрослых» сначала напечатали в журнале; потом решили выпустить отдельным изданием; издавали долго — шел 1937 год, когда забота о деревьях была предоставлена не садовникам, а лесорубам. Из книги изымали целые страницы с именами, ставшими неугодными. В том экземпляре, который у меня сохранился, один

листок белее и короче других, его вклеили: нужно было изъять имя очередного вырубленного — Семена Борисовича Членова.

А писал я книгу в Париже в начале 1936 года, писал под шум демонстраций: борьба разгоралась. Теперь я твердо знал: что ни приключись, какими бы мучительными ни были сомнения (не в правоте идеи, а в разуме людей, стоявших на командном посту), нужно молчать, бороться, победить.

В конце марта я отослал рукопись в «Знамя». А седьмого апреля в испанском городе Овиедо я разговаривал с горняком Сильверио Кастаньоном; он рассказывал о боях 1934 года, о погибших товарищах, о пытках. Бесконечно далекими казались мне и борьба с формализмом, и листочки рукописи, и парижская комната с книгами на полке, с трубками на стене. Кастаньон писал стихи и на суде удивил военных судей эрудицией: цитировал Маркса, Канта, Кальдерона, Гюго. Судьи одобрительно кивали головами, но приговорили горняка к смертной казни: он был председателем революционного комитета в шахтерском поселке Турон. Исполнение приговора, однако, откладывали с одного дня на другой. Я спросил Кастаньона, сколько времени он ждал смерти. Он ответил: «Пятнадцать месяцев. Только я ждал не смерти, а революции...» Потом он прочитал свои стихи и вдруг сказал, разводя руками: «Жизнь у человека одна». Я внимательно посмотрел на него и увидел, до чего он молод — детское лицо...

Вернувшись в сырую, мрачную гостиницу, я долго не мог уснуть, ворочался, думал: нет, жизнь не одна — за одну приходится прожить не одну, не две жизни, а много; в этом, кажется, вся беда, но и все счастье.

16

Мне трудно сейчас описать Испанию в ту далекую весну: я пробыл в ней всего две недели, а потом в течение двух лет видел ее окровавленной, истерзанной, видел те кошмары войны, которые не снились Гойе; в распри земли вмешалось небо; крестьяне еще стреляли из охотничьих ружей, а Пикассо, создавая «Гернику», уже предчувствовал ядерное безумье.

Я вспоминаю огромные арены, предназначавшиеся для боя быков, заполненные десятками тысяч людей: рабочими в кепках, крестьянами в широких шляпах, женщина-

ми, повязанными платками, гончарами, сапожниками, мастерицами, школьниками.

Я увидел на подмостках Рафаэля Альберти. Он никак не походил на Маяковского: у него был облик нежного мечтателя. Еще недавно он писал лирические стихи. Теперь он читал романсеро современности; стихи проносились по толпе, как ветер по купам деревьев, и люди, взволнованные, выбегали на улицу. У молодых социалистов были кумачовые рубашки, у комсомольцев — синие с красными галстуками. Отворачивались священники, старухи в ужасе крестились, буржуа пугливо озирались, фашисты стреляли из окон. Яркое солнце сменялось тяжелыми, лиловыми тучами.

То была необычная для Испании весна: чуть ли не каждый день падали шумные ливни, и рыжая земля Кастилии ослепляла зеленью. Бог ты мой, сколько я слышал радостных возгласов, замечательных проектов, клятв и проклятий! Помню, на рабочем митинге в астурийском поселке Мьерес старый шахтер с длинным узким лицом, приподняв рудничную лампу, сказал: «Три тысячи товарищей погибли, чтобы фашистов больше не было. Их и не будет. Будем мы. И ничего больше, испанцы!..»

В Овиедо я увидел развалины университета. Люди говорили, как старый шахтер: «Нет, это никогда не повторится!»

В поселке Сама Фернандо Родригес повел меня в Народный дом, там усмирители в 1934 году пытали и убивали повстанцев. На стенах были пятна выцветшей крови, сохранились имена расстрелянных, нацарапанные ногтем. Фернандо Родригес рассказывал: «Меня подвешивали за руки и тянули за ноги, они называли это «самолетом». Лили на голый живот кипяток, потом ледяную воду. Кололи... Все равно я не сказал, куда мы спрятали оружие».

Ко мне пришли ребята, дали старательно написанное письмо: «Овиедо, 22 апреля 1936 года. Товарищи, красные пионеры Овиедо поздравляют с днем Первого мая товарищей в Советском Союзе! Товарищи, мы готовимся ко второй битве, она скоро придет. Мы будем сражаться стойко и храбро. Привет и революция!»

Я стоял у окна и видел, как ребята, выйдя из гостиницы, расшалились; для них все происходившее еще было игрой. Не знаю, что с ними стало, но осенью 1936 года я прочитал в фашистской газете: «В Овиедо дети, развращенные марксистскими учителями, кидались на офицеров».

В ту весну я познакомился с дочерью астурийского шахтера, с Долорес Ибаррури, которую рабочие прозвали Пасионарией. Она была крупным политическим деятелем и оставалась простой женщиной; были в ней все черты испанского характера — суровость, доброта, гордость, смелость и, что всего милее, человечность. Мне рассказали, как в Астурии она освободила заключенных: пришла с толпой рабочих, скомандовала солдатам «вольно», вошла в тюрьму и, когда все арестованные вышли на свободу, улыбаясь показала толпе большой ржавый ключ.

Дирекция «Сиудад линеаль», фирмы, владевшей трамваями Мадрида, отказалась принять на работу «смутьянов», уволенных осенью 1934 года. Тогда рабочие взяли в свои руки эксплуатацию трамваев. На вагонах стояли три буквы «UHP — «Унион эрманос пролетариос» («Союз братьев-пролетариев»), — с этими словами рабочие в 1934 году шли на фашистов, на Иностранный легион, на обманутых генералами марокканцев. За исключением трех магических букв, трамваи выглядели, как прежде, — старенькие, обвешанные гроздьями веселых мальчишек. Цифра 8 — маршрут до квартала Куатро-коминос. И все-таки никто не знал, куда придет этот трамвай — в депо или на поле боя.

Когда я был в Мадриде, на рабочих напали фашисты. Тотчас началась всеобщая забастовка. Я жил в большой гостинице; ушли коридорные, лифтеры, официанты, судомойки. Хозяин мобилизовал свою многочисленную родню, приговаривал: «Мы отстоим интересы наших клиентов от этих треклятых бездельников. Прошу вас — перейдите на самообслуживание».

Потом я увидел грандиозную забастовку в Барселоне. Испанская буржуазия, ленивая, беспечная, растерялась. Один адвокат говорил мне: «Я даже не мог себе представить, что у рабочих такая сила! Если Европа не вмешается, мы будем зависеть от этих полуграмотных лодырей».

Правительство старалось успокоить всех. Крестьянам говорили, что Институт аграрной реформы быстро изменит их положение. Но институт не торопился. Есть в Испании выражение «маньяна пор ля маньяна», — «завтра утром», или, говоря по-русски, после дождичка в четверг. Крестьяне начали распахивать огромные пустовавшие поместья различных графов и не графов. Они составляли акты. В деревнях Кастилии я видел много таких докумен-

тов. У графа Романонеса, депутата кортесов, в одном из многочисленных поместий было шесть тысяч гектаров; крестьяне разоружили гвардейцев и составили акт о переходе земли во владение кооператива. В кухне они нашли окорок, картошку и поставили в документе, что найденные продукты должны быть возвращены графу. Крестьяне деревни Гуадамус написали: «Мы заняли поместье, причем стража свидетельствует, что мы не обидели никого ни действием, ни словом». Крестьяне другой деревни, Полан, писали: «30 марта утром представители муниципального совета, совместно с представителями «Федерации тружеников земли», в присутствии персонала, обслуживавшего поместье, заняли Вентилосья, а именно 1992 га земли».

В Эскалоне, в Мальпике, в окрестностях Толедо я видел крестьян, восторженно повторявших: «Земля!» Старики верхом на осликах подымали кулаки, девушки несли козлят, парни ласкали старые, невзрачные винтовки.

Гражданская гвардия (жандармерия) в апреле выступила против правительства. Создали штурмовую гвардию, но и штурмовики подозрительно поглядывали на министров Народного фронта. Фашисты кричали: «Долой Асанью!»; Асанья был премьером, а потом президентом республики. Против фашистов шли рабочие. Казалось бы, гвардейцы должны разогнать фашистов, выступающих против правительства, но они не осмеливались обидеть хорошо одетых кабальеро и отводили душу на рабочих.

Газета монархистов «АВС» открыто требовала интервенции: «Гитлер сказал, что он этого не допустит... Европа не захочет жить в большевистских клещах...» В этой же газете собирали пожертвования; я тогда выписал: «Поклонник Гитлера — 1 песета. За бога и Испанию — 10. Проснись, Испания! — 5. Национал-синдикалист — 10. Сторонник фаланги — 5».

Кортесы одобрили законопроект, согласно которому уволенные в отставку генералы, если они выступают против республики, лишаются пенсии. Военные презрительно усмехались: Народный фронт долго не продержится. Генералы Санхурхо, Франко, Мола не скрывали своих планов. Санхурхо говорил: «Испанию может спасти только хирургическая операция...» Священники и монахи призывали к борьбе за господа бога и за порядок. На стенах кто-то писал мелом: «Испания, проснись!» Вчерашние правители спокойно разгуливали по улицам Мадрида; я как-то увидел Хиля Роблеса, он пил кофе с молоком на террасе

кафе. Во время пребывания его у власти двести тысяч фашистов получили разрешение носить оружие; никто не пытался это оружие отобрать.

Я разговаривал с социалистами, с президентом каталонского автономного правительства Компанисом, который до победы Народного фронта сидел в тюрьме. Все понимали опасность положения, но говорили, что должны соблюдать конституцию: нельзя ограничивать свободу.

Страшны были не плотный корректный кабальеро, которого звали Хилем Роблесом, не статьи в фашистских газетах, даже не проповеди бесноватых монахов. Страшно было другое: крестьяне восхищенно показывали старые охотничьи ружья, безоружные рабочие подымали кулаки. А сторонники фаланги постреливали. В церквах «случайно» находили пулеметы. Полиция, гвардия, армия относились к параграфам конституции куда менее почтительно, чем вновь назначенный министр внутренних дел Касарес Кирога, чем социалист Прието или пылкий Компанис.

Я должен был вернуться в Париж: на 26 апреля во Франции были назначены выборы, и редакция хотела, чтобы я был на месте. Уезжал я с грустью: все сильнее и сильнее влюблялся в Испанию. Я писал в статьях о фашистской опасности. В старом номере «Юманите» я нашел заметку о моем докладе в парижском Доме культуры; я говорил, что испанские фашисты обязательно выступят. А в душе я не очень-то в это верил — не хотелось верить. (Слишком часто не только рядовые участники событий, вроде меня, но и крупные политические деятели принимали и принимают свои желания за трезвую оценку действительности; видимо, это в человеческой природе.)

Французам Пиренеи издавна казались стеной, за которой начинается другой континент. Когда на испанский престол взошел внук Людовика XIV, французский король будто бы в восторге воскликнул: «Пиренеев больше нет!» Пиренеи, однако, оставались. И вот в апреле 1936 года я их не заметил: люди так же подымали кулаки, на станциях можно было увидеть те же надписи «Смерть фашизму!», а в поезде перепуганные обыватели вели знакомые разговоры о том, что нужно «обуздать бездельников». «Френте популар» и «Фрон попюлер» звучали одинаково. Франция вдохновлялась примером Испании.

В воскресенье вечером с Савичем и с редактором «Лю» Путерманом мы стояли возле редакции газеты «Матэн». Толпа заполнила широкий бульвар. Все не сводили глаз с

экрана: сейчас объявят первые результаты. «Морис Торез — избран». Аплодисменты, радостные крики. «Монмуссо... Даладье... Кот... Вайян-Кутюрье... Блюм...» Восторг. «Да здравствует Народный фронт!» Поют «Интернационал». Когда показывались имена избранных правых — Фландена, Скапини, Домманжа, — свистели. «Предателей к стенке!», «Долой фашизм!». Все это происходило не возле «Юманите», а перед зданием газеты, которая каждый день писала, что «Народный фронт — это конец Франции».

Газеты сообщали, что ничего еще не решено: в следующее воскресенье предстоят перебаллотировки. Снова вечер на улице, и снова возбужденная, радостная толпа. В полночь выяснилось, что Народному фронту обеспечено большинство. По бульварам шли люди, пели «Интернационал», обнимали друг друга, кричали: «Фашистов к стенке!»

Я радовался со всеми: после Испании — Франция! Теперь ясно, что Гитлеру не удастся поставить Европу на колени. Наше дело побеждает — революция переходит в наступление! Эти мысли еще не омрачались ни потерей близких друзей, ни испытаниями, на пороге которых мы стояли. Весну 1936 года я вспоминаю как последнюю легкую весну моей жизни.

Несколько недель спустя во Франции начались массовые забастовки; рабочие бросали работу, но не уходили из цехов; служащие оставались в банках, в конторах, в магазинах. Буржуа с ужасом повторяли: «Это захватчики!..»

Париж был неузнаваем. Красные флаги реяли над синесизыми домами. Отовсюду вылетали звуки «Интернационала», «Карманьолы». На бирже бумаги падали. Богатые люди переправляли деньги за границу. Все повторяли — кто с надеждой, кто в ужасе: «Это революция!..»

Я запомнил витрину фешенебельного магазина на бульваре Капюсин; красотка из гипса в модном платье держала в руке плакат: «Служащие и рабочие забастовали — мы не хотим больше жить впроголодь!»

Проходили девушки с простынями — прохожие кидали деньги для семей забастовщиков.

На некоторых заводах предприниматели оказались упрямыми, и забастовки длились долго — две-три недели. Заводы были оцеплены полицией — боялись столкновений. Каждый день женщины приходили к воротам, приносили хлеб, колбасу, апельсины.

Дениз работала в труппе левых актеров. Их пригласили рабочие крупного металлургического завода, бастовавшие уже третью неделю. Я пошел на спектакль. Дениз повторяла монолог героини «Фуэнте овехуна». У нее были глаза лунатика и смутная улыбка. Когда я вышел на улицу, полицейский меня обыскал — нет ли на мне оружия. Я ничего не понимал и улыбался; мне хотелось быть не корреспондентом «Известий», а одним из рабочих, которых я только что видел.

Забастовки повсюду кончались победой рабочих: так бывает почти всегда — есть часы прилива и отлива. За один месяц рабочие Франции добились не только увеличения зарплаты, но и подлинного изменения социального законодательства — коллективных договоров, признания юридического статуса профсоюзов, платных отпусков.

Весну сменило жаркое лето. Опустели западные районы: люди с достатком уезжали в Швейцарию, в Бельгию, в Англию, в Италию: говорили, что хотят отдохнуть от «разнуздавшейся черни». А на пляжах Нормандии или Бретани они могут оказаться рядом с рабочими: ведь теперь у «этих лодырей» платные отпуска!

Четырнадцатого июля свыше миллиона парижан участвовали в демонстрации. Шли углекопы севера с лампами, виноделы юга с бутафорскими гроздьями, рыбаки Бретани несли голубые сети. Сожгли чучела Гитлера и Муссолини. Даладье по-прежнему обнимал коммунистов. Председатель совета министров Леон Блюм, типичный интеллигент XIX века, приветствуя рабочих, неумело подымал вверх маленький кулак. На шесте несли кепку рабочего с надписью: «Вот корона Франции!» Проплывали портреты Ленина, Сталина, Горького. Испанцам кричали: «Молодцы! Смерть фашистам!» Проходили рабочие-эмигранты — итальянцы, поляки, немцы; им аплодировали. (Я не подозревал, что многих из них вскоре увижу на рыжих камнях Кастилии.)

Конечно, демонстранты требовали роспуска фашистских организаций, кричали по-прежнему: «Де ля Рокка к стенке!» — но кричали весело, даже добродушно. В феврале на улицы вышел народ, готовый ринуться в бой, а демонстрация 14 июля была невиданным карнавалом.

Вечером, как всякий год, начались танцы — на площади Бастилии, на сотнях улиц и уличек — с традиционными китайскими фонариками, аккордеонами, кружкой пива или бутылкой лимонада, с поцелуями влюбленных. Рабо-

чие постарше сидели, смотрели, как веселится молодежь. Я прислушивался к разговорам; толковали о том, где лучше провести отпуск, о дядюшке в лимузинской деревне, о домике на Луаре, о рыбной ловле, о горных прогулках, о песчаных пляжах для детворы. Слово «революция» уступило место другому — «каникулы». Легкая победа придала людям спокойствие, благодушие.

Теперь Париж не походил на Мадрид: у него не было позади ни астурийского восстания, ни пыток, тюрем, расстрелов. Не было также фанатического духовенства и брявцавших оружием генералов; французская буржуазия была куда просвещенней и хитрей: она рассчитывала взять Народный фронт измором. А победители смеялись и не слишком задумывались над будущим.

Я дописывал книгу коротеньких рассказов «Вне перемирия». Из Москвы приехала Ирина. В Париже было нестерпимо жарко; Люба и Ирина уехали в Бретань, я сказал им, что должен передать в газету отчет о демонстрации 14 июля и кончить книгу, потом приеду.

Помню душный летний вечер на улице Котантен. Я сидел, писал; отложил рукопись и включил радио. Леон Блюм совещался с министром просвещения... В Мадриде толпа штурмует казармы Ля Монтанья... Барселона... Гостиница «Колумб»... Артиллерия... Генерал Аранда... Бои в районе Овиедо... Убитые, раненые...

Я вскочил. Нужно куда-то пойти!.. Поздно: двенадцать часов, никого не найду... Я не мог оставаться один в слишком тихой комнате.

А диктор спокойно сообщал, что на выставке роз в Курля-Рен первая премия досталась розе «Мадам Мейянд»...

Для одних жизнь раскололась надвое 22 июня 1941 года, для других — 3 сентября 1939, для третьих — 18 июля 1936. В том, что я писал прежде о моей жизни, имеются, наверно, главы, далекие многим моим сверстникам: когда-то у нас были разные судьбы, разные темы. А с того вечера, о котором я рассказываю, моя жизнь начала чрезвычайно напоминать жизнь миллионов людей: небольшая вариация общей темы. Хорошо известные всем слова определяют десять недобрых лет: сообщения, опровержения, песни, слезы, сводки, воздушная тревога, отступление, наступление, побывки, минутные встречи на полустанках, разговоры о нотах, о тактике и стратегии, молчание о самом главном, эвакуации, госпитали, огромное всеобщее затемнение и, как воспоминание о прошлом, беглый свет карманного фонарика...

17

Я протомился в Париже несколько недель: передавал в «Известия» каждый день сообщения из Испании, напечатанные во французских газетах, ходил в испанское посольство, помогал первым добровольцам пробраться в Барселону. Сидел я в Париже только потому, что не получал от редакции ответа — могу ли я поехать в Испанию в качестве военного корреспондента. Мне повторяли лаконично и таинственно: «Согласовываем». Я еще не знал значения этого магического глагола, злился — не мог дольше ждать. Однажды, когда редакция позвонила на мою парижскую квартиру, чтобы проверить, почему я не посылаю больше телеграмм, Люба ответила: «Вы разве не знаете?.. Он в Испании».

Пикассо писал «Гернику» весной 1937 года. А за полгода до этого, в августе — сентябре 1936 года, Испания напоминала полотна Делакруа: за Пиренеями тлела и на короткий срок вспыхнула романтика прошлого века.

Барселона — большой промышленный город, но ее рабочие издавна находились под влиянием синдикалистских профсоюзов СНТ и анархистов ФАИ (Федерация анархистов Иберии). Мелкая буржуазия, крестьянство, интеллигенция ненавидели испанскую военщину, которая попирала национальную гордость каталонцев. Средние буржуа, владельцы ресторанов или магазинов, мне говорили, что они предпочитают даже анархистов генералу Франко. Слово «свобода», давно обесцененное во многих странах Европы, здесь еще вдохновляло всех.

По главной улице Рамбле неслись грузовики, наспех обшитые листами железа; их почтительно называли «броневиками». Гарцевали кавалеристы в красно-черных рубашках, с охотничьими ружьями. На кузовах такси красовались надписи: «Мы едем в Уэску!» или «Возьмем Сарагосу!». Анархисты уезжали на фронт с ящиками ручных гранат, с гитарами, с боевыми подругами. Модницы на невероятно высоких каблуках волочили тяжелые винтовки. Повсюду виднелись следы недавних боев: неразобранные баррикады, осколки стекла, гильзы. На местах, где погибли герои, отстоявшие город от фашистских мятежников, пылали яркие розы юга. Барселонцы несли дружинникам, уезжавшим на фронт, бурдюки с вином, окорока, одеяла, даже древние сабли. В гостинице «Колумб», которую в июле обстреливали из орудий, среди пыльных плюшевых пуфов валялись винтовки, и

бойцы спали на пышных кроватях, напоминавших катафалки.

«Се-не-те — фай» — эти слова можно было услышать повсюду: на Рамбле, на сотнях митингов, в реквизированных домах, где разместились различные комитеты, лиги, союзы — от «Сторонников мировой анархии» до «Воинствующих эсперантистов». На стенах пестрели плакаты: «Да здравствует организация борьбы с дисциплиной!» Пели «Интернационал», пели также гимн СНТ «Сыны народа». Больше всего было красно-черных флагов. Я спросил одного дружинника, почему анархисты выбрали эти два цвета; он ответил: «Красный — борьба, а черный — потому что человеческая мысль темна...»

Повсюду стреляли, трудно было понять, кто стреляет и в кого; но все относились к этому спокойно; кафе и рестораны были переполнены. Город жил в веселой лихорадке.

Колонны и центурии, отправлявшиеся брать штурмом Уэску или Сарагосу, назывались «Чапаев», «Панчо Вилья», «Негусы», «Эфиопы», «Смелые черти», «Безбожники», «Бакунин». На собраниях говорили о перевоспитании человечества. Один оратор предлагал поставить памятники великим мыслителям мира — Сократу, Спартаку, Сервантесу, Реклю, Кропоткину, Ленину. Другой требовал сожжения денег, уничтожения тюрем и обязательности труда. Третий говорил, что необходимо послать десять наиболее благородных людей на крейсер «Уругвай», где находились арестованные руководители военного мятежа, и убедить фашистов войти в трудовую коммуну.

Главные казармы города были переименованы в «Казармы имени Бакунина». Взобравшись на крышу автобуса, агитаторы вопили: «Долой милитаризм! Все на фронт! Свобода всем! Смерть фашистам!»

Никто не знал, где республиканцы, где фашисты. Мы ехали по каменной рыже-розовой пустыне Арагона. Стоял нестерпимый зной: для меня это было первое испанское лето. Мой попутчик, каталонец Миравильес, спрашивал крестьян, можно ли проехать дальше. Одни говорили, что фашисты в соседней деревне, другие уверяли, будто наши освободили Уэску. Сразу свалилась южная ночь. По небу текли зарницы. Вдалеке громыхали орудия. Вдруг машина остановилась: перед нами была баррикада. Кто-то закричал: «Пароль?» Мы не знали пароля. Миравильес вытащил из кобуры револьвер. Я спросил его, что случилось. Вместо ответа он дал мне другой револьвер. Мне стало страшно: вот мы и угодили в западню!.. Я вгляделся в мглу

и увидел на скале людей с винтовками, они целились в нас. Я уже хотел было выстрелить, когда кто-то в темноте выругался: «Да ведь это наши!» Крестьяне обступили нас, рассказали, что караулят уже шестую ночь, — им передали из Бухаралоса, что фашисты наступают. Мы спросили: «Где фронт?» Они развели руками: до Бухаралоса двенадцать километров, это точно, а кто там, один черт знает. Для них фронт был повсюду.

Не только крестьяне не знали, что происходит в соседней деревне, — в Барселоне никто не мог ответить на вопрос, в чьих руках Кордова, Малага, Бадахос, Толедо. Командир каждой колонны строил фантастические планы. Кто-то пустил утку — фашистов прогнали из Севильи. Каталонцы решили высадить десант на Майорке. Несколько дней спустя поползли слухи, будто фашисты заняли Валенсию и продвигаются к Барселоне.

На одном из участков переднего края я увидел надпись: «Дальше не ходить — там фашисты». Бойцы преспокойно купались в речушке; один сторожил одежду и винтовки. Я спросил: «А если фашисты начнут атаку?» Они рассмеялись: «Днем мы не воюем — слишком жарко. У них, у подлецов, пруд, они сейчас там купаются. А вот погоди, через три часа такая трескотня начнется, что у тебя уши лопнут...»

Командир сказал мне, что скоро возьмут Уэску, ну, через неделю, самое большее. Я смотрел на город, он был рядом. «Что это за большое здание впереди?» — спросил я. «Сумасшедший дом. Там сидят отборные солдаты. Нужно прежде всего взять этот дом». (Я был возле Уэски год спустя и снова услышал, что нужно взять сумасшедший дом. Сколько людей погибло в боях за это здание!)

Один мой знакомый ехал в Мадрид, чтобы договориться о расширении прав правительства автономной Каталонии. Он предложил мне поехать с ним. Ехали мы долго: крестьяне повсюду перерезали дороги баррикадами, боясь нападения фашистов, и старательно изучали пропуска (у меня их было пять или шесть — от всевозможных организаций, включая, разумеется, СНТ). Баррикады выглядели живописно: бочки, мебель, вынесенная из богатых домов, опрокинутые подводы, деревянные статуи, украшавшие прежде церкви. У меня сохранилась фотография — три крестьянина с ружьями, а над ними ангел барокко с огромной виолончелью.

Повсюду я видел обугленные каркасы сожженных церквей. Узнав о фашистском мятеже, крестьяне первым де-

16 И. Эренбург, т. 7

лом поджигали церковь или монастырь. Один мне объяснил: «Знаешь, кто главный враг? Курас (священники) и монахи. Потом генералы, офицеры. Ну и, конечно, богачи... Помещика мы не тронули, только землю отобрали, пускай, сволочь, живет, как другие. Он и расписался, что не возражает. А вот кура залез на колокольню, хотел оттуда стрелять. Ну, мы его отправили прямо в рай...»

Мой попутчик жаловался на анархистов: «Да разве с ними можно договориться? Это честные парни, но у них анархия в голове. В Барселоне ко мне пришел один, требует: «Отмените все правила уличного движения. Почему я должен поворачивать направо, когда мне нужно налево? Это против принципа свободы!»

Увидав одну несожженную церковь, мой попутчик спросил крестьян: «Почему не сожгли?..» Когда мы отъехали от деревни, я ему сказал: «Не понимаю — зачем жечь? У них ни одного приличного дома нет. Можно устроить школу, клуб». Он рассердился: «А вы знаете, сколько мы от них натерпелись? Нет, уж лучше без клуба, только не видеть этого перед глазами!..»

В Мадриде анархистов было мало, но и Мадрид еще жил романтическими иллюзиями. Фашисты захватили Талаверу и находились в семидесяти — восьмидесяти километрах от столицы. А люди сидели на террасах кафе и до полуночи спорили: идти ли на Сарагосу, чтобы соединиться с каталонцами, или отбить у фашистов порты Андалусии.

Меня повезли в имение убежавшего фашиста. «Здесь мы устроили опытно-показательную детскую колонию». Одна энтузиастка долго доказывала, что педагоги пренебрегают воспитательным значением музыки. Мальчик лет семи-восьми рассказывал: «Папу связали, положили на дорогу, а потом по нему проехал грузовик...» Энтузиастка упорствовала: «А откуда взялись такие звери? Детей не воспитывали гармонично...» Я невольно усмехнулся: вспомнил Киев 1919 года и мою работу в секции эстетического воспитания мофективных детей: все, кажется, другое, и вдруг видишь — все повторяется...

В Мадриде писателям отдали особняк убежавшего аристократа; там была прекрасная библиотека — инкунабулы, редчайшие издания, рукописи испанских классиков. В особняке поэты Альберти, Маноло Альтолагире, Петере, Серрано Плаха, Эрнандес читали свои стихи. Там я познакомился с писателем Хосе Бергамином, левым католиком, человеком чистой души, печальным и спокойным. Мы с ним разговаривали о Сервантесе и о воздушной обороне,

о коммунизме, о поэзии Кеведо. Там же я встретил Пабло Неруду — чилийского консула и поэта; он был молодым, шутил, проказничал. Помню озабоченного библиофила, который во время воздушной тревоги устанавливал в библиотеке сосуды с водой, чтобы чрезмерная сухость не повредила древних рукописей. Кто-то вполголоса говорил: «Они заняли Талаверу...»

В «Атенео» состоялся вечер памяти Максима Горького. Рафаэль Альберти сказал мне со слезами в голосе: «Подтвердилось... Они убили в Гренаде Гарсия Лорку...»

Была ночь первой воздушной тревоги. Потом другая ночь — я услышал взрывы, выбежал на улицу. Старая женщина прижимала к себе девочку. Когда рассвело, я пошел в квартал, который фашисты бомбили, и увидел то, что мне потом приводилось слишком часто видеть: разбитый дом, лестницу и где-то наверху повисшую детскую кровать.

Пабло Неруда писал: «И по улицам кровь детей текла просто, как кровь детей...»

Я поехал в Мальпику; там я был до войны, в апреле, и крестьяне меня узнали. Испанцы с трудом выговаривали мою фамилию, часто путали, и алькальде, подняв кулак, торжественно сказал: «Здравствуй, Гинденбург! Теперь мы можем показать тебе замок». В Мальпике находилась усадьба герцога Ориона, которую забрали крестьяне. Я прошел по большому старому дому. Алькальде нес медный подсвечник с огарком. Из темноты выплывали головы кабанов; статуи Богоматери в расшитых золотых платьицах, медные кастрюли, пижамы, патефоны. Самой пышной была ванная комната, в ней почему-то стояли три кресла. Алькальде говорил: «Это, наверно, очень ценные вещи. Мы решили отдать замок писателям, пусть они здесь живут и пишут...» На околице стояли крестьяне с охотничьими ружьями. Фронт был близко. Вокруг дымили костры беженцев из Эстремадуры.

Два дня спустя я был снова в Мальпике с Альберти и Марией Тересой Леон — они везли на фронт газеты, листовки. Немецкие бомбардировщики бомбили позиции, дорогу. Дружинники не выдержали и побежали. На околице деревушки Доминго Перес толпились взволнованные крестьяне: «Видишь — удирают!..» Старый крестьянин сказал: «Вот все, что у нас есть» — и показал три охотничьих ружья. Мы увидали четырех бойцов, которые шагали в сторону Мадрида. Мария Тереса побежала за ними вдогонку; она быстро бежала на очень высоких

каблуках; в руке у нее был крохотный револьвер. Дезертиры ей отдали винтовки; они были пристыжены. Старый крестьянин говорил: «Дай мне! Молодым жить хочется, а я не убегу...» Часа два спустя тридцать дружинников повернули в сторону неприятеля и окопались; у них был один пулемет, но фашистов оказалось немного, и наутро они отошли к Талавере.

Толедо был в руках республиканцев, но фашисты засели в древней крепости Алькасар. Сидели они там уже полтора месяца, и в городе установился своеобразный быт. На некоторых улицах висели надписи: «Опасно! Ходить без оружия запрещается!» Молока было мало, и, чтобы не стоять под огнем в очереди, женщины с вечера ставили у дверей молочных лавок кувшины, банки или просто клали камешек; ни разу я не слышал пререканий. Фашисты время от времени открывали огонь по городу; а перед Алькасаром в соломенных креслах, в качалках, заслонившись зонтиками от палящего солнца, сидели дружинники и то лениво, то запальчиво стреляли из винтовок в толстенные крепостные стены. Порой батарея выпускала несколько снарядов. По улицам прогуливались жители города и гадали, куда попал снаряд — в фашистов или мимо.

Во время одной из первых вылазок фашисты взяли «заложников» — женщин, детей. В казарме дружинников я увидел на щите тридцать восемь фотографий: женщина с ребенком, старуха, два мальчика на деревянных осликах... Фашисты знали, что делают: не раз приходил из Мадрида приказ сделать подкоп и взорвать крепость, но дружинники думали о женщинах, о детях и отвечали: «Мы не фашисты...» Они наивно мечтали взять Алькасар измором. Когда сообщили, что правительственная авиация будет бомбить крепость и что дружинники должны отойти на сто метров, многие отказывались: «Нельзя — они убегут»; четырнадцать бойцов погибли от осколков бомб.

В древней столице Испании, в городе, облюбованном туристами, шел поединок между благородством народа и бесчеловечными законами войны. Жена фашистского коменданта Алькасара полковника Москардо жила в городе. Кольцов изумился: «И вы ее не арестовали?..» Авторитет советских людей был велик, но испанцы не дрогнули: «Женщину? Мы не фашисты...»

Я ходил по Толедо с моим приятелем, художником Фернандо Херасси. Он жил в Париже, писал пейзажи или натюрморты, вечером приходил в кафе «Дом». У него была жена, украинка из-под Львова, смешливая Стефа, пятилет-

ний сын Тито. Фернандо говорил, что анархисты — безумцы, что нужно единое командование, дисциплина, порядок. Он издевался над «войной в кружевах», и вместе с тем я чувствовал, что он не может осудить великодушие дружинников, которые безбожно ругались, встречаясь, говорили вместо «здравствуйте» «привет и динамит» и которые на разговоры о том, что Алькасар скоро взорвут, возмущенно отвечали: «Да что ты несешь? Ведь там женщины, дети...»

Мадридское правительство хотело показать миру свое отличие от Франко, и, когда фашисты, засевшие в Алькасаре, попросили прислать к ним священника, было объявлено короткое перемирие.

Несколько фашистов вышли из крепости. Дружинники стояли близко, началась перебранка. Вот моя запись: «Бандиты! Мы за бога и за народ!» — «Бога можешь оставить себе, а за народ мы». — «Врешь! Мы за народ! Подлецы курят, а мы вторую неделю без табака». (Дружинник молча вынимает пачку сигарет. Лейтенант закуривает.) «Выписали священника? Видно, вам крышка...» — «Скоро придут наши, тогда мы вам покажем». — «Жди второго пришествия». — «Ждать уж недолго — ваши удирают как зайцы». — «Враки! А ты почему бороду отпустил? В рай захотелось?» — «Чем прикажешь бриться? Саблей?» (Другой дружинник достает из кармана пакетик с ножиками для бритвы и дает фашисту.)

В начале октября части генерала Варелы подошли к Толедо. Гарнизон Алькасара (там было свыше тысячи гвардейцев и кадет) вышел им навстречу. Мало кому из республиканцев удалось выбраться. Фашисты много писали о «героях Алькасара». Бесспорно, солдаты полковника Москардо проявили выдержку, смелость. Любая история любой войны изобилует примерами воинской добродетели. Бесспорно и другое: гражданская война не скупится на зверства. Однако если есть что-либо поучительное в истории Алькасара, то это битва двух миров: народа, разгневанного, но глубоко человечного, и военщины с ее безупречной дисциплиной и столь же безупречной бесчеловечностью. Победило не великодушие...

В Гвадарраме я видел пленных; среди них были солдаты, перепуганные и довольные тем, что вышли из опасной игры; были головорезы из Иностранного легиона. Больше других дружинники боялись марокканцев, которые были хорошими солдатами и ничего не понимали в происходящем.

На Арагонском фронте я побывал вместе с нашими кинооператорами Карменом и Макасеевым в авиачасти «Красные крылья», командовал ею Альфонсо Рейес, человек грустный, молчаливый и решительный. Страшно было глядеть на аппараты — старые почтовые самолеты, которые гордо называли бомбардировщиками, каждый день они бомбили позиции фашистов. Когда мы были в части, приземлился самолет, обстрелянный немецкими истребителями. Механик (его звали «Красным чертом») был тяжело ранен, едва сдерживался, чтобы не кричать от боли, но, увидав, что Кармен его снимает, весело заулыбался. На следующий день ему пришлось отнять ногу.

Фашисты продолжали продвигаться к Мадриду. Люди, однако, не помрачнели и по-прежнему верили в победу; все говорили, что если фашисты не захватили всю Испанию в июле, то их дело проиграно — народ против них.

Только в Наварре, в этой испанской Вандее, крестьяне поддержали мятежников; там были сильны церковь и карлисты (сторонники одного из претендентов на испанский престол, потомка дона Карлоса). Но в Наварре было четыреста тысяч жителей, а в Испании без малого тридцать миллионов. Во всех областях, где мне привелось побывать в годы войны, — в Каталонии, Новой Кастилии, Валенсии, Ламанче, Мурсии, Андалусии, Арагоне — подавляющее большинство населения ненавидело фашистов.

Но рабочие умели работать у станков, крестьяне — пахать землю, врачи — лечить, учителя — учить, а на стороне Франко были кадровые военные, которые, хорошо или плохо, умели воевать. У фашистов оказались также крепкие части наемников — Иностранный легион, марокканцы.

Уже в середине сентября Франко стал диктатором на всей территории, захваченной мятежниками, а 1 октября был провозглашен «вождем», «генералиссимусом» и главой государства. Он требовал безоговорочного подчинения. А республику отстаивали люди самых различных убеждений: коммунисты, каталонские автономисты, социалисты — левые и правые, буржуазные республиканцы, анархисты, баскские католики, «поумовцы», объединяла их только ненависть к фашизму. В 1936 году свобода была полной, как будто на дворе не война, а предвыборная кампания. Каталонцы и баски обличали «великодержавные навыки Мадрида», «поумовцы» требовали «углубления революции», правые социалисты во главе с Прието критиковали главу правительства левого социалиста Кабальеро,

республиканцы косились на коммунистов, анархисты клялись, что разрушат ненавистное им государство.

Однако не только в отсутствии военных кадров, да и не в разладе между различными антифашистскими партиями таилась угроза. 25 июля Гитлер обещал представителю Франко военную помощь. 30 июля — за сто дней до того, как первые советские истребители показались в небе Мадрида, — итальянские бомбардировщики уже бомбили испанские города.

Во главе французского правительства стоял Леон Блюм, товарищ Ларго Кабальеро по Второму Интернационалу: но напрасно испанское правительство просило Францию пропустить через границу закупленное им вооружение. Леон Блюм провозгласил принцип невмешательства; его поддержала Англия. В Лондоне начал заседать Комитет по невмешательству. Италия и Германия продолжали отправлять в Испанию вооружение и людей. Франция установила на границе контроль. Вероятно, я повторяю общеизвестные истины. В Комитет по невмешательству входил И. М. Майский; он мне недавно говорил, что в своих мемуарах пишет об этом подробно — он ведь многое видел. Но я пишу историю моей жизни. Как же мне промолчать про лицемерие? Давнее имело, имеет продолжение: сколько раз мы читали благородные слова о невмешательстве, будь то в Греции, в Корее, в Конго или в Лаосе! После 1936 года я уже не удивлялся ни благородным речам заведомых убийц, ни крокодиловым слезам, ни человеческой трусости. Право же, Леон Блюм был куда приличнее покровителей Чомбе, но и он, насмерть перепуганный, привыкший жить не грозами века, а сложными запахами парламентской кухни, говорил одно, делал другое.

В Валенсии я встретил Мальро; он рассказал, что ему, видимо, удастся получить десяток военных самолетов: их приобрело испанское правительство, но французы наложили эмбарго. Он сказал, что хочет создать французскую эскадрилью — она будет бомбить фашистов, — познакомил меня с летчиками Гидесом и Понсом.

На земле шли бои. А в небе фашисты хозяйничали: «юнкерсы», «хейнкели», «савойи», «капрони», «фоккеры» — авиация двух сильных государств — Германии и Италии.

Я выступал на митингах, собирал материалы о фашистских зверствах для западной печати, писал анонимные брошюры и совсем забыл о моих обязанностях корреспондента «Известий». Да и трудно было их выполнять: телефонной связи с Москвой еще не было, а редакция, види-

мо, продолжала «согласовывать» и денег на телеграммы не переводила.

Пятого сентября, после двухнедельного перерыва, в «Известиях» было напечатано коротенькое сообщение: «Барбастро. 4 сентября. Сегодня ваш корреспондент присутствовал при обстреле населения Монт-Флорид семью трехмоторными самолетами «юнкерс», предоставленными мятежникам Германией». Телеграмму я послал короткую — на длинную не хватило денег. Я впервые увидел обстрел людей с бреющего полета; крестьяне были на гумне, молотили; потом старая женщина громко плакала: убили ее сына. Крестьяне знали, что я корреспондент советской газеты, просили: «Напиши! Может быть, русские нам помогут...» Конечно, в тот день происходили события более значительные: корреспондент «Известий» сообщал из Лондона, что Сен-Себастьян отрезан (это было правдой), что республиканцы взяли Уэску (это было уткой); я же находился в деревне Монт-Флорид, и мне казалось, что необходимо срочно написать о том, как фашисты с помощью немецких самолетов убивают безоружных крестьян. Для военного корреспондента это, может быть, было наивно, но я думал не о газете — об Испании.

Я брился в парикмахерской. Узнав, что я русский, парикмахер начал кричать: «Им помогают Гитлер, Муссолини. А у нас нет оружия!..» Его глаза сверкали, и, помахивая бритвой, он повторял: «Самолеты! Танки!» Я про себя посмеялся: чего доброго, он меня зарежет... А в общем было не смешно. Я помнил слова крестьян Монт-Флорид; да и повсюду люди повторяли: «Расскажи русским...» Я начал писать короткие корреспонденции и посылал их в «Известия» почтой — через Париж.

Месяц спустя, получив пачку газет, я расстроился: мои статьи были исковерканы. 26 сентября я писал в редакцию: «Я не буду спорить, правильно или неправильно мое освещение испанских событий, но я решительно протестую против купюр, совершенно искажающих смысл». С редакцией мне, разумеется, ничего не удалось поделать — все мои статьи лакировались и розовели. Я все же продолжал писать, писал я наспех — не в рабочем кабинете, а на фронтах; занимал меня не литературный стиль, а самолеты и танки, без которых испанцам не выстоять.

Альварес дель Вайо просил меня собирать документальные данные о зверствах фашистов — для прессы Запада. В Валенсии мне сказали, что с Майорки выбрался корреспондент правой газеты «Дейли мейл» Гаррат и что он ругает

фашистов. Я разыскал его в английском консульстве. Он написал показания, рассказывал мне, что фашисты бомбили полевой госпиталь республиканцев: «Их летчики, приехав на Майорку, кричали: «Да здравствует Испания!» — но я много лет здесь прожил, я сразу расслышал иностранный выговор — они были итальянцами. Аппараты «капрони» были переброшены с Сардинии...» Гаррат несколько раз повторил, возмущенный: «Они убили мою лошадь...» Это был немолодой плотный англичанин с детскими глазами; корреспондент газеты, которая прославляла генерала Франко, он не мог понять, почему редакция не опубликовывает его корреспонденций.

Прошло уже почти два месяца с начала мятежа. Хотя сообщения были по-прежнему противоречивыми, я видел, что фашисты сильнее: они заняли Севилью, Кордову, потом Эстремадуру, Талаверу, теперь рвутся к Мадриду. Однако я твердо верил в победу. Были и утешительные известия: фашистов выгнали из Малаги, из Альбасете. Сопротивление усиливалось, появлялись новые центурии, отряды, батальоны, колонны. Начали приезжать добровольцы из Франции — французы, итальянцы, немцы, поляки.

В Барселоне меня позвали в казармы имени Карла Маркса; там формировалась «Колонна 19 июля». На большом дворе выстроили бойцов. Одна центурия, или, говоря проще, рота, была названа «Центурия Ильи Эренбурга». Мне сказали, что я должен вручить дружинникам знамя и произнести речь. Я совершенно растерялся, чувствовал всю глупость положения, говорил, что я не политический деятель, не умею делать такие вещи. Пришлось все же держать знамя перед фотографами, что-то говорить. Помню, во мне были два чувства: умиление и стыд. Здесь же сновали продавцы лимонада, фруктов, конфет; один сунул мне в руку пригоршню леденцов: «Ешь, русский! Мы их расколотим...»

Чуть ли не на каждом крестьянском доме в Каталонии, в Арагоне было написано: «Мы идем за головой Кабанельяса!» (Во главе фашистского правительства стоял генерал Кабанельяс, Франко месяц спустя его убрал.)

Я видел старых крестьянок, которые приводили своих сыновей в казармы; когда им отвечали, что людей и так много, не хватает ружей, они повторяли: «Но он испанец, он не может сидеть дома...»

Приехала из Парижа жена Херасси, Стефа, рассказала, что отдала Тито в детскую колонию. Расставаясь с сыном, Стефа не выдержала, заплакала. Мальчик сказал: «Мама,

иди! Я отвернусь — вот так. А ты тоже не гляди. Хорошо?..» Стефа, улыбаясь, повторяла: «Он у меня испанец...»

Я сейчас подумал, почему, начав описывать годы испанской войны, я волнуюсь, часто откладываю листы рукописи и перед моими глазами проносятся рыжие скалы Арагона, обугленные дома Мадрида, петлистые горные дороги, люди, близкие, дорогие мне люди — я не знал даже имен многих из них, и все это как будто живое, сегодняшнее. А ведь прошло четверть века, и я пережил потом войну пострашнее. Многое я вспоминаю спокойно, а об Испании думаю с суеверной нежностью, с тоской. Пабло Неруда назвал свою книгу, написанную в первые месяцы гражданской войны, «Испания в сердце»; я люблю эти стихи, многие из них перевел на русский язык, но больше всего люблю название — лучше, кажется, не скажешь.

В Европе тридцатых годов, взбудораженной и приниженной, трудно было дышать. Фашизм наступал, и наступал безнаказанно. Каждое государство, да и каждый человек мечтали спастись в одиночку, спастись любой ценой, отмолчаться, откупиться. Годы чечевичной похлебки... И вот нашелся народ, который принял бой. Себя он не спас, не спас и Европы, но если для людей моего поколения остался смысл в словах «человеческое достоинство», то благодаря Испании. Она стала воздухом, ею дышали.

Кого только я не встречал в разбомбленных испанских городах! Одни приезжали на короткий срок, другие надолго; кто сражался, кто был военным корреспондентом, кто организовывал помощь населению. Пути многих потом разошлись, но прошлого не вычеркнешь. Тольятти и Ненни, Видали («майор Карлос») и Паччарди, Коча Попович и Козовский, Андре Мальро и Мате Залка («генерал Лукач»), Кольцов и Луи Фишер, Пабло Неруда и Хемингуэй, Ласло Райк и Людвиг Ренн, Реглер и Янек Барвинский, Лонго и Брантинг, Андерсен-Нексе и Буш, Шамсон и Алексей Толстой, Киш и Бенда, Сент-Экзюпери и Анна Зегерс, Жан Ришар Блок и Спендер, Андре Виоллис и Гильен, Сикейрос и Дос-Пассос, Ральф Фокс и Толлер, Бодо Узэ и Бредель, Изабелла Блюм и абиссинский рас Имру... Наверно, я многих не упомянул, мне просто хотелось показать, до чего различными были люди, жившие в те годы Испанией.

В 1943 году на КП возле Гомеля я увидел командующего армией генерала Батова. Мы говорили о предстоящем наступлении. Вдруг кто-то крикнул: «Фриц!» — показались вражеские самолеты. А генерал и я смеялись: в Испа-

нии наши военные советники носили различные имена — Валуа, Лоти, Молино, Гришин, Григорович, Дуглас, Николас, Вольтер, Ксанти, Петрович. Павлу Ивановичу Батову почему-то досталась фамилия Фриц. И мы начали вспоминать Двенадцатую бригаду, друзей, Арагон, смерть Лукача (Павел Иванович был тогда ранен в ногу).

Я сижу на сессии Всемирного Совета Мира; очередной оратор с пылом доказывает, что мир лучше войны; а я вижу милого итальянца Скоти и вспоминаю дни Мадрида. В Кремлевском дворце оператор кинохроники снимает депутатов Верховного Совета; это Боря Макасеев, с ним мы ползли по камням возле Уэски. Я знаю, что на аэродроме Вильнюса увижу знакомое лицо — переводчика, бывшего в Испании (он потом занимался испанской литературой, но в годы «борьбы против космополитов» лишился работы и, как он говорит, «совершил вынужденную посадку» на аэродроме Вильнюса — переводит интуристам вопросы служащих таможни). Недавно во Флоренции ко мне пришел фоторепортер с немолодым итальянцем, который вместо визитной карточки вынул билет «Союза бывших добровольцев в Испании», и сразу мы забыли про фотографа, сели в кафе, начали припоминать далекие дни. Все мы, бывшие в Испании, с нею связаны, связаны и друг с другом. Видимо, не одними победами горд человек...

18

В первые месяцы испанской войны я уделял мало времени моим обязанностям корреспондента «Известий». Правда, в газете с августа по декабрь напечатано полсотни моих очерков, но писал я их быстро, говоря откровенно — мимоходом. Меня отталкивала роль наблюдателя, хотелось чем-то помочь испанцам.

Когда я приезжал в Испанию до войны, я чаще всего встречался с писателями или журналистами, они понимали по-французски. Теперь все время я был с рабочими, с бойцами и начал говорить по-испански, говорил плохо, но меня понимали.

В Мадрид приехал первый советский посол М. И. Розенберг. Я его знал по Парижу — он работал советником посольства. Это был человек маленького роста, с любезной и вместе с тем иронической улыбкой. С ним приехали советник посольства Л. Я. Гайкис, военный атташе Горев и его помощники Ратнер и Львович (Лоти). В Мадриде был

и Кольцов, он занимался не только газетной работой, о характере его деятельности свидетельствуют очевидцы — Луи Фишер, Хемингуэй, да и книга «Испанский дневник».

Я часто бывал в Барселоне, на Арагонском фронте; там тогда не было ни одного советского человека (я говорю об августе — сентябре 1936 года). Когда я говорил с Розенбергом или с Кольцовым о Каталонии, они усмехались: что тут поделаешь — анархисты!.. Я, пожалуй, лучше их знал, как трудно договориться с анархистами, но для меня было ясно, что без Каталонии войны не выиграть. Баскония была отрезана, и единственным крупным промышленным центром оставалась Барселона с ее полуторамиллионым населением.

А в Барселоне шла борьба между рабочими организациями. Все ненавидели фашизм, и все рвались в бой, но Арагонский фронт можно было назвать фронтом только условно: различные колонны, не связанные одна с другой, время от времени пытались штурмовать Сарагосу, Уэску или Теруэль; у них не было ни опытных командиров, ни вооружения, и вплоть до лета 1937 года генерал Франко не отправил в Арагон ни одной из своих резервных частей.

Во главе автономного каталонского правительства (Женералите) стоял Компанис, человек по природе мягкий и вместе с тем горячий, интеллигент, влюбленный в каталонскую культуру. Ему тогда было за пятьдесят; он знал тюрьмы, фашистский террор. Судьба его трагична: после поражения республики он уехал во Францию, там в 1940 году был обнаружен гестаповцами, выдан генералу Франко и расстрелян. Я его вспоминаю как человека чистого, удрученного политическими интригами и не только не жаждавшего власти, но принимавшего ее с тем же чувством, с каким солдат тащит на себе винтовки, брошенные другими во время отступления.

Компаниса поддерживала эскерра (левая) — партия, за которой шла мелкая буржуазия, интеллигенция и значительная часть крестьянства. Поддерживала правительство и ПСУК — Объединенная социалистическая партия Каталонии (главную роль в ней играли коммунисты). Анархисты и близкая к ним профсоюзная организация СНТ не признавали власти Мадрида, требовали свержения каталонского правительства и замены его «Советами».

Еще в 1931 году я познакомился с одним из вождей ФАИ — Дуррути; знал и других анархистов — Гарсия Оливера, Лопеса, Васкеса, Эрреру. С Компанисом у меня

установились добрые отношения. Нужно было что-то сделать, а что — в точности я не знал. В Мадриде я спрашивал Хосе Диаса, в Барселоне разговаривал с руководителями ПСУК Коморера и другими; все отвечали, что с анархистами беда, что Каталония не помогает Мадриду, что сепаратисты подняли голову. А что делать, этого не знал никто. Был сентябрь 1936 года.

Я несколько раз беседовал о положении в Каталонии с М. И. Розенбергом и по его просьбе написал длинную телеграмму в Москву.

Марселя Израилевича давно нет в живых: он стал одной из жертв произвола. Людей повырубали, но некоторые документы сохранились, и недавно мне дали в архиве копии моих двух писем М. И. Розенбергу. Я приведу выдержки — они покажут не только мою тогдашнюю оценку событий, но и то, чем я занимался — по охоте, которая, как известно, пуще неволи.

Из письма от 17 сентября 1936 г.: «В дополнение к сегодняшнему телефонному разговору. Компанис был в очень нервном состоянии. Я проговорил с ним больше двух часов, причем все время он жаловался на Мадрид. Его доводы: новое правительство ничего не изменило, Каталонию третируют как провинцию, отказались передать духовные школы в ведение Женералите, требуют солдат, а оружия не дают, не дали ни одного самолета. Говорил, что получил от офицеров, командующих частями на фронте у Талаверы, письмо с просьбой отозвать их назад в Каталонию. Очень хотел бы, чтобы в Барселоне было советское консульство... Сказал, что советник по экономическим делам, которого они послали в Мадрид, должен изложить их претензии. Пока что ни Кабальеро, ни Прието не удосужились его принять. Указал, что если он не получит хлопка, то через три недели у них будет 100 тысяч безработных... Считает важным любой знак внимания Советского Союза к Каталонии... Министр просвещения Гассоль тоже упрекал Мадрид в пренебрежении Каталонией... Говорил с Гарсия Оливером. Он был в неистовом состоянии. Непримирим. В то время как вождь мадридских синдикалистов Лопес говорил мне, что они не допускали и не допустят нападок на Советский Союз в газете «СНТ», Оливер заявил, что они «критикуют» и что Россия не союзник, так как подписала соглашение о невмешательстве. Дуррути на фронте многому научился, а Оливер — в Барселоне, и девять десятых бредовых анархистских идей в нем осталось. Он, например, против единого командования на Арагонс-

ком фронте: единое командование понадобится, лишь когда начнется общее наступление. При этой части разговора присутствовал Сандино, он высказался за единое командование. Мы коснулись вопроса о мобилизации и превращении милиции в армию. Дуррути носится с планом мобилизации (непонятно зачем — добровольцы есть, нет ружей). Оливер сказал, что согласен с Дуррути, так как «в тылу укрываются коммунисты и социалисты, они выживают из городов и деревень ФАИ». Здесь он был определенно в бредовом состоянии, мог меня застрелить.

Говорил с политкомиссаром ПСУК Труэбой (коммунистом). Он жаловался на ФАИ: не дают амуниции нашим. У коммунистов осталось по тридцать шесть патронов на человека. У анархистов большие запасы — полтора миллиона. У солдат полковника Вильяльбы тоже всего по сто патронов... В СНТ жаловались, что один из руководителей ПСУК Франсоса на митинге в Сан-Бой сказал, что каталонцам не следует давать ни одного ружья, так как ружья все равно попадут к анархистам.

За десять дней, которые я провел в Каталонии, отношения между Мадридом и Женералите с одной стороны, между коммунистами и анархистами с другой сильно обострились. Компанис колеблется: опереться ему на анархистов, которые согласны поддержать национальные, даже националистические требования эскерры, или на ПСУК для борьбы против ФАИ. Его окружение разделено, есть сторонники первого и второго решений. Если дела на Талаверском фронте ухудшатся, можно ждать выступления в ту или иную сторону. Необходимо улучшить отношения между ПСУК и СНТ и постараться сблизиться с Компанисом...

Сегодня — собрание каталонских писателей, встреча с Бергамином, который приехал со мной. Надеюсь, на интеллигентском фронте удастся объединить испанцев и каталонцев. Завтра состоится митинг — десять тысяч человек, я выступлю от секретариата Международной ассоциации писателей. Так как это письмо вносит некоторые существенные исправления в то, что я передал для Москвы, пожалуйста, перешлите и это...»

Из письма от 18 сентября: «Сегодня я снова долго разговаривал с Компанисом. Он был в более спокойном состоянии... Он предлагает создать автономное правительство так: половина эскерры, половина СНТ и УХТ... Оливера назвал «фанатиком»... Он знал, что я иду от него в СНТ, и очень интересовался, как ФАИ будет со мной разговаривать, просил сообщить ему результаты. Жаловался,

что ФАИ настроена против русских, ведет антисоветскую пропаганду. Он — наш друг. Пароход, хотя бы с сахаром, может смягчить сердца.

В СНТ я говорил с Эррерой. Он много скромнее Оливера. Насчет прекращения антисоветских выпадов сразу согласился. Насчет «Советов» стоит на своем: мадридское правительство — партийное, марксистское. Надо создать действительно рабочее правительство и т. д. Все же в конце беседы, когда я указал ему на дипломатические последствия разрыва конституционной преемственности, он несколько отступил. Но здесь нагрянули всякие интернациональные анархисты, и я ушел. Интересно, что, нападая на мадридское правительство, Эррера привел те же факты, что вчера Компанис, — задержку двух вагонов, отказ снабжать Каталонию оружием и пр.

Сегодня в «Солидарида обрера» напечатано воззвание СНТ с призывом охранять мелких собственников, крестьян, лавочников. Факт положительный...

Миравильес сказал мне, что среди ФАИ уже раздаются разговоры об «отчаянной обороне Барселоны» и пр. Эррера среди прочего упрекал Мадрид за ликвидацию десанта на Майорке — теперь фашисты начнут бомбить Барселону...

Митинг прошел с подъемом. Большинство было из СНТ... Сейчас происходит заседание совета антифашистской милиции. Мне обещали провести примирительную линию в вопросе о реорганизации правительства Каталонии...

P. S. В дополнение к телефонному разговору и письму. Хотя Оливер был непримирим, я узнал, что вечером он сказал в «Солидарида обрера» прекратить атаки против СССР. Действительно, сегодня в «С. о.» напечатаны две телеграммы из Москвы с благожелательными заголовками».

Вскоре после этого я поехал в Париж. Там-то меня и разыскал В. А. Антонов-Овсеенко. Он сразу мне сказал: «Вашу телеграмму обсуждали, согласились с вами. Я назначен консулом в Барселону. В Москве считают, что в интересах Испании сближение Каталонии с Мадридом. Мне говорили, что я должен попытаться урезонить анархистов, привлечь их к обороне, у них, черт побери, огромное влияние... Да вы это знаете лучше меня. Но вот инстанция согласилась, это замечательно! Теперь можно говорить по-другому...»

Владимира Александровича я знал с дореволюционных лет. Он бродил по Парижу, искал работу, жил впроголодь, но никогда не унывал, был задорным и в то же время

мечтательным, в дырявых ботинках, в крылатке; помню его и в «Ротонде», где он играл в шахматы, и в типографии над полосами «Нашего слова», и на митингах, когда он призывал следовать за Лениным. В дни Октябрьской революции он показал, что то были не только слова. В 1926 году я приходил к нему в Праге, где он был полпредом. А потом потерял из виду.

Он постарел, главное — помрачнел; только глаза, когда он снимал очки, сохраняли детскую доверчивость. Я сразу подумал: хорошо, что для Барселоны выбрали именно его! Такой сможет повлиять на Дуррути, у него ведь ничего нет от дипломата или от сановника, скромный, простой, да и дышит еще бурями Октября, не забыл дореволюционного подполья.

Я оказался прав: Владимир Александрович быстро научился говорить по-каталонски, подружился и с Компанисом и с Дуррути, пользовался общей любовью. Несмотря на звание консула, он был настоящим советским послом в Каталонии. Он знал фронт, часто беседовал с командирами, хорошо разбирался в обстановке. Находил время, чтобы посылать телеграммы в «Известия», подписывал их «Зет». Каталонцам нравился его демократизм, он стоял на митингах в толпе, а возвращаясь в консульство, неизменно подвозил на своей машине старика или инвалида. Когда я приезжал в Барселону и мы оставались вдвоем, я чувствовал, что ему тяжело. Незадолго до своего отъезда в Испанию он напечатал в «Известиях» покаянную статью: говорил о своих колебаниях в двадцатые годы как о тягчайшем преступлении, клялся, что с 1927 года преклоняется перед Сталиным, что писал тогда же Кагановичу о своей готовности выполнить любое его поручение, требовал расправы с ослушниками. Может быть, именно это письмо легло камнем на его сердце. А может быть, он предчувствовал, что дойдет черед и до него, не знаю. Он пробыл в Барселоне около года, а вернувшись в Москву, сразу исчез; исчезло и его имя из всех рассказов о штурме Зимнего дворца. Был он человеком чистой души, смелым, верным и погиб только потому, что лесорубы выполняли, перевыполняли какую-то дьявольскую норму.

Я хотел вернуться в Барселону с Антоновым-Овсеенко, чтобы сразу его познакомить с различными людьми, но пришлось задержаться в Париже на неделю, было важное дело — я покупал грузовик.

Еще из Мадрида я сообщил в Москву, что хочу оборудовать грузовик, работать на фронте с кинопередвижкой и ти-

пографией; просил мне помочь, прислать фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта». В Париже меня вызвали в банк — Союз писателей перевел сумму на покупку грузовика (не знаю, почему деньги отправили через эту организацию; добавлю шутя — может быть, хотели показать, что Союз действительно помогает писателям в осуществлении их творческих замыслов). С помощью французов я купил грузовик, достаточно сильный, чтобы проходить по разбитым фронтовым дорогам. Не помню, кто мне помог раздобыть аппарат для проекции фильмов, а печатную машину, как я об этом говорил, преподнес мне Эжен Мерль. Еще я нашел чудесный мультипликационный фильм: Микки Маус боролся с котом, побеждал и подымал над мышеловкой красное знамя — я уже знал, что без улыбки в Испании не проживешь.

Стефа согласилась со мною работать. Она говорила по-испански, как будто родилась не на Львовщине, а в Старой Кастилии. Она должна была переводить диалог фильмов и помогать в издании армейских газет. Официально грузовик находился в ведении Комиссариата по пропаганде Женералите — так было написано на кузове. Общее внимание привлекали слова: «Печатня и кино». В Барселоне мы подыскали шофера, механика и двух типографов, один из которых знал четыре языка.

В начале октября в Мадриде состоялось заседание секретариата Международной ассоциации писателей. Мы обратились к интеллигенции всего мира, протестовали против иностранной интервенции и против комедии «невмешательства». Под обращением стояли подписи многих испанских писателей: Антонио Мачадо, Альберти, Бергамина, других, а из иностранных — Кольцова, Мальро, Луи Фишера, Андре Виоллис и моя.

На дороге я встретил композитора Дурана, моего старого знакомого. Полгода назад мы с ним беседовали о Прокофьеве, Шостаковиче; смеясь, он говорил, что если «Леди Макбет» — «сумбур», то, значит, он любит именно «сумбур». Теперь ему было не до музыки. Он командовал отрядом в двести бойцов и возле Баргаса приостановил наступление фашистской колонны, которая двигалась на Мадрид с юга.

В Мадриде выли сирены. Я с трудом прошел по одной из улиц квартала Куатро Каминос — рухнувший дом завалил проход. Другой дом бомба разрезала, и комнаты казались театральными декорациями. Старуха вытащила из груды мусора большую фотографию молодоженов в раме, бережно прикрыла платком и куда-то унесла. Шел дождь. Было

нестерпимо тоскливо, как всегда бывает, когда видишь мелкие безделки, окружавшие только что умершего человека.

Рима Кармен ходил с аппаратом и снимал бомбежки. В Париже мы решили смонтировать из его хроники фильм, я написал текст. «Они ищут... находят...» На экране матери находили среди развалин убитых детей. В зале многие плакали. А Мадриду были нужны не слезы — истребители...

В Барселоне по-прежнему шли споры; но анархисты стали сдержаннее. Забегу несколько вперед — в конце октября было подписано соглашение между ПСУК и УХТ с одной стороны и СНТ и ФАИ — с другой. Представители СНТ вошли в правительство, которое возглавлял Кабальеро. В жизни мне привелось повидать много неожиданного, порой парадоксального; но, прочитав, что Гарсия Оливер, который мне доказывал, что государство надо разрушить, как здание тюрьмы, назначен министром юстиции, я не выдержал и рассмеялся. А соглашение с анархистами мне казалось большой победой.

В Барселону пришел «Зырянин», привез продовольствие. Начали приходить суда с самолетами, танками, но всего было мало, наша помощь не могла сравняться с той, которую оказывали Франко итальянцы и немцы: дело решала география.

Я любовно поглядывал на грузовик, наконец-то прибывший из Франции, фотографировал его, как любимую женщину. Одна фотография сейчас передо мной — ее напечатали в альбоме. Обыкновенный грузовик, но тогда он мне казался удивительно красивым.

Коммунисты, да и Антонов-Овсеенко говорили: «Поезжайте обязательно на Арагонский фронт. Вы умеете разговаривать с анархистами. Там нет никого из наших — они всех выживают. А с вами они разговаривают. Вы можете их урезонить...»

Я сильно сомневался в своих возможностях; к тому же я знал испанских анархистов. Но на войне маршрутов не выбирают, это не туризм. Мы со Стефой сели в разболтанную машину и медленно, вслед за грузовиком поехали в Барбастро.

19

«У вас в России настоящее государство, а мы за свободу, — сказал мне часовой в красно-черной рубашке, проверяя мой пропуск, — мы хотим установить свободный коммунизм».

«Коммунизмо либертарио» — эти слова до сих пор стоят в моих ушах: столько раз я их слышал как вызов, как присягу.

Желая объяснить порой необъяснимое поведение анархистов, некоторые говорили, что в их колоннах полным-полно бандитов. Слов нет, в ряды анархистов просачивались обыкновенные налетчики, завсегдатаи воровских притонов — партия, обладающая властью, всегда притягивает к себе не только честных, но и проходимцев; а объявить себя анархистом в те времена мог каждый. В сентябре 1936 года, когда я был в Валенсии, туда прикатила сотня дружинников из анархистской «Железной колонны», стоявшей под Теруэлем. Анархисты заявили, что потеряли в бою командира и не знают, что им делать. В Валенсии они нашли себе дело — сожгли судебные архивы и пытались проникнуть в тюрьму, чтобы освободить уголовников, среди которых, наверно, имелись их приятели.

Дело было, однако, не в уголовниках. Осенью 1936 года СНТ объединяла три четверти рабочих Каталонии. Руководители СНТ и ФАИ были рабочими и в огромном большинстве — честными людьми. Беда была в том, что, обличая догматизм, они сами были настоящими догматиками, пытались подогнать жизнь под свои теории.

Наиболее умные из них видели разрыв между увлекательными брошюрами и действительностью; приходилось на ходу, под бомбами и снарядами перестраивать то, что вчера им казалось бесспорным.

С Дуррути я познакомился в 1931 году, и он мне сразу понравился. Описать его не решился бы ни один писатель — уж слишком его жизнь напоминала приключенческий роман. Рабочий-металлист, он с ранней молодости отдал себя революционной борьбе, дрался на баррикадах, швырял бомбы, совершал налеты на банки, похищал судей, трижды был приговорен к смертной казни — в Испании, в Чили и в Аргентине, узнал десятки тюрем; восемь стран его высылали одна за другой. Когда в июле мятежники попытались захватить Барселону, Дуррути повел против них рабочих СНТ.

Еще в начале сентября, а может быть в конце августа, я поехал с Карменом и Макасеевым на КП Дуррути. Он тогда мечтал взять Сарагосу. КП находился на берегу Эбро. Я рассказал моим попутчикам, что знаком с Дуррути, и они рассчитывали на радушный прием. А Дуррути вынул из кармана револьвер и сказал, что, так как в статье об астурийском восстании я оклеветал анархистов, он меня

сейчас пристрелит. Словами он не швырялся. «Твоя воля, — ответил я, — но странно ты понимаешь законы гостеприимства...» Конечно, Дуррути был анархистом, притом вспыльчивым, но он также был испанцем и смутился: «Хорошо, сейчас ты мой гость, но за статью ты свое получишь. Не здесь. В Барселоне...»

Поскольку в силу законов гостеприимства он не мог меня убить, он стал отчаянно ругаться, кричал, что Советский Союз не свободная коммуна, а самое что ни на есть настоящее государство, там уйма бюрократов, и его не случайно выслали из Москвы.

Кармен и Макасеев чувствовали, что происходит нечто недоброе, тем паче что неожиданное появление револьвера не нуждалось в переводе. А час спустя я им сказал: «Все в порядке, он нас приглашает поужинать».

За столиками сидели дружинники, некоторые в красно-черных рубашках, другие в синих комбинезонах, все с большущими револьверами, ели, пили вино, смеялись; никто не обращал внимания ни на нас, ни на Дуррути. Один из дружинников разносил еду, кувшины с вином, рядом с тарелкой Дуррути он поставил бутылку минеральной воды. Я пошутил: «Вот ты говорил, что у тебя полное равенство, а все пьют вино, только тебе принесли минеральную воду». Я не мог себе представить, какое впечатление это произведет на Дуррути. Он вскочил, закричал: «Уберите! Дайте мне воды из колодца!» Он долго оправдывался: «Я их не просил. Они знают, что я не могу пить вино, и где-то раздобыли ящик с минеральной водой. Конечно, это безобразие, ты прав...» Мы молча ели, потом он неожиданно сказал: «Трудно все изменить сразу. Одно дело — принципы, другое — жизнь...»

Ночью мы с ним пошли осмотреть позиции. Стоял отчаянный шум — проходила колонна грузовиков. «Почему ты меня не спрашиваешь, зачем эти грузовики?» — сказал он. Я ответил, что не хочу расспрашивать о военных тайнах. Он засмеялся: «Какая же это тайна, если это знают все — завтра утром мы перейдем Эбро, вот как!..» Несколько минут спустя он снова начал: «А ты не спрашиваешь, почему я решил форсировать реку?» — «Очевидно, так нужно, — сказал я, — тебе виднее, ты ведь командуешь колонной». Дуррути рассмеялся: «Дело не в стратегии. Вчера прибежал с фашистской территории мальчишка лет десяти, спрашивает: «Что же вы не наступаете? У нас в деревне все удивляются: неужели и Дуррути струсил?» Понимаешь, когда ребенок такое говорит — это весь на-

род спрашивает. Значит, нужно наступать. А стратегия приложится...» Я посмотрел на его веселое лицо и подумал: да ведь ты сам ребенок.

Потом я несколько раз бывал у Дуррути. В его колонне числилось десять тысяч бойцов. Дуррути продолжал твердо верить в свои идеи, но догматиком он не был, и ему приходилось что ни день идти на уступки действительности. Он первым из анархистов понял, что без дисциплины воевать нельзя; с горечью говорил: «Война — свинство, она разрушает не только дома, но и самые высокие принципы». Своим дружинникам он в этом не признавался.

Как-то несколько бойцов ушли с наблюдательного пункта. Их нашли в ближайшей деревне, где они мирно попивали вино. Дуррути бушевал: «Вы понимаете, что вы позорите честь колонны? Давайте ваши билеты СНТ». Провинившиеся спокойно достали из карманов профсоюзные билеты; это еще больше рассердило Дуррути. «Вы не анархисты, вы дерьмо! Я вас выгоню из колонны, отошлю домой». Вероятно, парни хотели именно этого и, вместо того чтобы запротестовать, ответили: «Ладно». — «А вы знаете, что на вас народная одежда? Снимайте портки!..» Дружинники спокойно разделись, Дуррути приказал отвести их в Барселону в одних трусах: «Пусть все видят, что это не анархисты, а самое что ни на есть дерьмо...»

Он понимал, что перед лицом фашистов нельзя спорить о принципах, высказался за соглашение с коммунистами, с партией эскерры, написал приветствие советским рабочим. Когда фашисты подошли к Мадриду, он решил, что его место на самом опасном участке: «Мы покажем, что анархисты умеют воевать...»

Я с ним разговаривал накануне его отъезда в Мадрид. Он был, как всегда, весел, бодр, верил в близкую победу, говорил: «Видишь, мы с тобой друзья. Значит, можно объединиться. Нужно объединиться. Когда победим, посмотрим... У каждого народа свой характер, свои традиции. Испанцы не похожи ни на французов, ни на русских. Что-нибудь придумаем... А пока что нужно уничтожить фашистов...» В конце разговора он неожиданно расчувствовался: «Скажи, ты пережил разлад в себе — думаешь одно, а делаешь другое не от трусости, а от необходимости?..» Я ответил, что хорошо понимаю его; он меня на прощание похлопал по спине, как полагается в Испании, и я запомнил его глаза с их необычайным смешением железной воли и детской растерянности.

Дуррути недолго пробыл на Мадридском фронте, его убили 19 ноября 1936 года, убили из-за угла. Его смерть была большим ударом по всем силам республиканцев.

Не один Дуррути понял необходимость отказаться во имя победы от чистоты анархистских догм; многие руководители СНТ — ФАИ были вынуждены поступиться принципами. Уж на что был неистов Гарсия Оливер, говорил, что нужно немедленно уничтожить государство, а сделавшись министром, проводил реформы, вполне приемлемые для его либеральных коллег, — боролся против спекулянтов, расширил юридические права женщин, организовал трудовые колонии для фашистов. Анархист Лопес был министром торговли, Пейро — министром промышленности, и, разумеется, им пришлось отложить в сторону старые проекты организации независимых коммун. Министр здравоохранения анархистка Фредерика Монсени, выступая на митинге, доказывала, что не только правительство не может обойтись без анархистов, но и анархисты не могут обойтись без правительства. Однако у руководителей СНТ — ФАИ не было ни энергии, ни авторитета, ни редкостной душевной чистоты Дуррути. Не знаю, все ли из них искренне хотели урезонить своих приверженцев, некоторые бесспорно хотели, но это им редко удавалось. Десятки тысяч храбрых, испытанных в уличных боях рабочих были воспитаны на идеях анархистов и жаждали воплотить эти идеи в жизнь. Мы с нашим грузовиком ехали не к министрам в гости, а в прифронтовую полосу Арагона, где порядки наводили анархисты, оставшиеся верными старым принципам. Не раз вспоминал я выражение, родившееся у нас в годы гражданской войны, «власть на местах». С этой властью я хорошо познакомился.

О военном положении расскажу коротко; вот что я писал В. А. Антонову-Овсеенко 17 ноября 1936 года (это письмо тоже сохранилось в архиве): «Воинские части на Арагонском фронте несколько подтянулись. Заметен больший порядок. Неудача недавнего наступления на Уэску мало отразилась на настроении дружинников. Кое-где имеются окопы, довольно примитивные. Единое командование до сих пор существует только на бумаге. В последние дни улучшилась связь; почти повсюду телефон связывает передовые позиции со штабом... Поскольку Дуррути теперь в Мадриде, его колонна потеряла половину боеспособности. В других анархистских колоннах дело обстоит много хуже; в особенности в колоннах «Красно-черная» и «Ор-

тиса». Дивизия «Карл Маркс» по сравнению с другими частями остается образцовой... Со снаряжением дело обстоит плохо. У батальона, который стоит на юго-восток от Уэски, в Помпенилио, всего два пулемета, оба, после того как пропускают две ленты, становятся негодными, приходится их везти в тыл — 50 км от позиций. Мало снарядов. Ручные гранаты скверные. При всем этом настроение скорее бодрое...»

За месяц до этого картина была еще мрачнее. Как-то я попал на совещание командиров анархистской колонны. Мне сказали, что обсуждать будут важный вопрос: как взять Уэску. На столе лежала большая карта; однако никто на нее не глядел. Добрый час все обсуждали важную новость: в Барселоне со здания суда снят красно-черный флаг. «Это вызов, — кричал один из командиров, — нужно сейчас же послать сотню дружинников в Барселону! Мы на фронте, а буржуазия этим пользуется, и марксисты ей помогают!..» Мое внимание привлек высокий немолодой человек с военной выправкой. Пока спор шел о походе на Барселону, он молчал и заговорил, только когда один из анархистов вдруг сказал: «Хорошо, а как быть с Уэской?..» Молчаливый военный, которого звали Хименесом, начал объяснять план операции. Он водил пальцем по карте; другие не смотрели. Кто-то попытался поспорить: «Может быть, пойти напролом?..» Его осадили: «Хименес лучше тебя понимает...»

Когда совещание кончилось, Хименес подошел ко мне и представился: «Полковник Глиноедский». Имя я помнил: еще в Париже меня просили передать в испанское посольство, что полковник Глиноедский — русский эмигрант, член Французской коммунистической партии, хороший артиллерист — хочет сражаться на стороне республиканцев.

Рассказывали, будто в годы гражданской войны полковник В. К. Глиноедский под Уфой воевал против Чапаева. Не знаю, правда ли это, — он со мною никогда не заговаривал о своем прошлом; знаю только, что он был в белой армии и в Париже стал рабочим. В Барселону он приехал одним из первых, еще не было интербригад. Он попал в батальон «Чапаева», поразил немногочисленных испанских офицеров, оставшихся верными правительству, своими военными знаниями: его перевели в штаб колонны.

Человеком он был на редкость привлекательным, смелым, требовательным, но и мягким. Прошел он нелегкий путь, это помогало ему терпеливо сносить чужие заблуждения. Он настаивал на том минимуме дисциплины, без

которой невозможно было удержать занятые позиции. Два раза анархисты хотели его расстрелять за «восстановление порядков прошлого», но не расстреляли — привязались к нему, чувствовали, что он верный человек. А Глиноедский говорил мне: «Безобразие! Даже рассказать трудно... Но что с ними поделаешь? Дети! Вот хлебнут горя, тогда опомнятся...»

Анархисты были уверены, что Хименес приехал из Москвы и отрицает это по дипломатическим соображениям. Узнай они, что он был белым, они бы его тотчас расстреляли. В ноябре в Каталонию приехали военные действительно из Москвы, и все они говорили испанцам, что полковник Хименес — советский командир. Его авторитет рос, он стал советником Арагонского фронта. Советских военных испанцы, обожая конспирацию, называли «мексиканцами» или «гальегос» (жители Галисии); я помню, с какой гордостью анархисты говорили: «Наш гальего хоть и марксист, но молодчина...»

Член Военного совета Арагонского фронта полковник Хименес как-то сидел со мной и расспрашивал про Россию, вспоминал детство. Я сказал ему: «Ну вот, после войны сможете вернуться домой...» Он покачал головой: «Нет, стар я. Это, знаете, хуже всего — оказаться у себя дома чужим человеком...» Он помолчал и начал говорить о положении на фронте.

При последней встрече он мне показался очень усталым. Я не раз видел на войне, как люди от усталости становятся неосторожными, кажется, что их притягивает смерть. Член Военного совета, командующий артиллерией фронта пошел с десятком бойцов в разведку. Он был смертельно ранен. Сестра рассказывала, что в полевом госпитале он что-то говорил по-русски, никто его не мог понять.

Полковника Хименеса хоронила вся Барселона. За гробом шли Компанис, Антонов-Овсеенко, представители правительства, армии, всех политических партий. Анархисты несли венок с красно-черной лентой: «Дорогому товарищу Хименесу».

Глиноедский был прав: разговаривая с анархистами, будь то их руководители — Дуррути, Васкес, Гарсия Оливер, будь то дружинники под Уэской, я и умилялся и злился: дети, точнее не скажешь, хотя некоторые были с проседью и все, разумеется, с оружием.

Анархистов я узнал по-настоящему на Арагонском фронте, когда мы в деревнях показывали фильмы, печата-

ли однодневные газеты, ели в коммунальных столовых, ночевали то на командных пунктах, то в растерзанных домах священников, где размещались местные комитеты, то в крестьянских хижинах.

Много раз мне приходилось ехать по той же дороге из Барселоны на фронт мимо каталонских городов Игуалады, Тарреги, Лериды. В Таррегe было кафе с вывеской «Бар Кропоткина»; там завсегдатаи обсуждали политику Companиса, организацию любительского спектакля, семейные скандалы. Каталония казалась изумрудной — с виноградниками, садами, огородами, — каждый клочок земли был любовно возделан. Деревни напоминали города: повсюду были кафе, клубы, по улицам прогуливались нарядные девушки. И вдруг все менялось: перед глазами вставала рыжая каменная пустыня Арагона. Здесь редко можно было увидеть три или четыре пыльные маслины. Летом было нестерпимо жарко, зимой дули ледяные ветры. По пустой извилистой дороге порой ехал крестьянин верхом на крохотном ослике. Голодные козы искали травинку, спрятавшуюся среди камней от палящего солнца. Деревни лепились на склонах голых гор; дома были того же цвета, что и горы, и повернуты к дороге глухими стенами, так что казались брошенными.

В Каталонии анархисты были несколько стеснены — не законами Женералите, не сопротивлением эскерры или ПСУК, а уровнем жизни населения: каталонцы жили хорошо, и анархисты не всегда решались посягнуть на крепко налаженный быт. Нищий, отсталый Арагон открывал перед вдохновителями СНТ — ФАИ неограниченные возможности. Они приехали сюда, чтобы освободить от фашистов Сарагосу, Уэску, Теруэль. Но война затягивалась, фронт оставался почти неподвижным, несмотря на неоднократные попытки продвинуться вперед. Нашлись горячие головы, которые решили превратить ближайший тыл, городки и села Арагона, в рай «свободного коммунизма».

Арагонские крестьяне жили плохо, терять им было нечего, и вначале они спокойно отнеслись к организации сельских «коммун». Анархисты обобществляли все, вплоть до кур. Во многих деревнях у крестьян отбирали деньги, иногда даже сжигали их. Крестьянам выдавали пайки. Я видел сельские комитеты, которые, не заглядывая далеко вперед, обменяли несколько вагонов пшеницы на кофе, сахар, обувь. В одном селе я спросил комитетчика, что они будут делать в январе, когда иссякнут запасы хлеба. Он рассмеялся: «Да мы до этого расколотим фашистов...»

В некоторых селах анархисты выдавали доктору, учителю сахар, орехи, миндаль — прочитали в газете, что эти продукты необходимы для умственного труда. Были и такие деревни, где сельскую интеллигенцию вовсе лишили пайков, как тунеядцев. В селе Сеса у врача отобрали осла, и он не мог больше лечить больных в соседних деревушках; в аптеке не было лекарств; в комитете говорили, что «природа лечит лучше врача...».

Был я в городке Фрага; там десять тысяч жителей. Анархисты отобрали деньги и выдали жителям книжки с правом покупать в неделю товаров на столько-то песет. Кафе были открыты, но в них ничего не отпускали, просто можно было посидеть и уйти. Доктор мне рассказал, что хотел выписать из Барселоны медицинскую книгу; председатель комитета ему ответил: «Если ты докажешь, что книга нужна, мы ее напечатаем, у нас своя типография. А с Барселоной у нас нет торговых отношений...» В городе Пина деньги тоже отменили, установили сложнейшую систему карточек; имелись карточки на право стричься и бриться. Многие члены комитетов были искренними энтузиастами, но в экономике разбирались плохо. В большом селе Мембрилья (Ламанча) анархисты, отменив деньги, объявили, что каждая семья состоит в среднем из четырех с половиной человек и, следовательно, для упрощения делопроизводства будет получать продовольствия на четыре с половиной души.

В одном из городков Арагона комитет решил разобрать железную дорогу, утверждая, что жители ею мало пользуются и что дым паровозов отравляет воздух. Анархисты-фронтовики, узнав об этом решении, всполошились — они должны были получать из тыла боеприпасы и продовольствие; пути не были разобраны.

Мы устраивали киносеансы и на площадях — белая стена служила экраном, и в чудом уцелевшей церкви, и в столовых. Анархисты обожали Чапаева. После первого вечера мы сняли конец фильма: молодые бойцы не могли примириться с гибелью Чапаева, говорили: «Зачем же воевать, если лучшие погибают?..» Стефа переводила текст; иногда ее перебивали возгласы: «Да здравствует Чапаев!» Помню, раз какой-то анархист крикнул: «Долой комиссара!» — и все зааплодировали. Лишний раз я понял, что искусство прежде всего апеллирует к сердцу: в картине Чапаев — герой, а Фурманов — резонер.

Все же фильм иногда приносил практические результаты: в одной части после сеанса решили быть впредь осторожнее и выставлять на ночь дозоры.

Крестьяне смотрели «Чапаева» другими глазами. Часто после сеанса они подходили ко мне, благодарили русского комиссара за то, что он запрещает отбирать свиней, просили написать ему о непорядках в их селе — для них фильм был хроникой, они были убеждены, что и Чапаев и Фурманов еще живут в Москве.

Фильм «Мы из Кронштадта» дружинники воспринимали своеобразно. Когда матрос с камнем на шее швырял в воду гитару, раздавался смех — зрители не могли поверить, что моряков кинут в воду. Когда из воды показывался единственный уцелевший, они одобрительно смеялись: знали заранее, что он спасется, и ожидали, когда же выплывут остальные. Сказывалась беспечность, которая еще жила в каталонцах осенью 1936 года. (Я написал об этом в одной из газетных статей и получил отповедь от тогдашнего руководителя Союза писателей Ставского: «Если мелкий буржуа смеется, то об этом и надо сказать. А разве пролетарии будут над этой картиной смеяться?»)

В газетах, которые мы печатали для анархистских колонн, мы старались, не вступая в полемику с принципами СНТ — ФАИ, объяснить на живых примерах, как важно согласовать действие колонны с другими частями, выполнять приказы своих командиров, не уходить с позиций, надеясь на бездействие противника, и так далее.

Тюрем анархисты не признавали, говорили, что нельзя лишать человека свободы; нужно его убедить; но они не были ни толстовцами, ни пацифистами и, видя, что человек не поддается убеждению, порой его расстреливали. В одном селе расстреляли крестьянина, который менял талоны для парикмахерской на кофе или сахар. Я возмутился, но один анархист мне серьезно ответил: «Ты что думаешь? Мы его пытались переубедить, три месяца с ним разговаривали, а он продолжал свои махинации. Это не человек, а торгаш!..»

Мне рассказывали, как в городе Барбастро анархисты закрыли публичный дом, произнесли несколько речей — говорили, что женщины отныне свободны и должны заняться полезным трудом: шить для бойцов рубашки. Пожилая проститутка вцепилась в одного из анархистов: «Я здесь пятнадцать лет работаю, а ты меня на улицу гонишь!..» Анархисты долго обсуждали, можно ли ее переубедить; наконец нашелся один, который за это взялся. Возможно, что эту историю придумали, но она звучала правдоподобно.

Описав В. А. Антонову-Овсеенко, как анархисты насаждают в Арагоне «свободный коммунизм», я добавлял: «Во всем этом больше невежества, нежели злой воли. Анархистов на местах можно переубедить. К сожалению, в ПСУК мало людей, которые понимают, как надо с ними разговаривать; сплошь да рядом работники ПСУК говорят: «Лучше фашисты, чем анархисты».

Я, видимо, заразился от анархистов — поверил, что людей легко переубедить. А это совсем не просто — переубеждает жизнь. Слова, даже самые разумные, слишком часто остаются словами. Дуррути быстро шагал; другие не хотели или не могли расстаться с иллюзиями, да и с традициями; требовалось время, а его не было: каждый день Франко получал от своих покровителей людей и вооружение.

На войне люди легко сходятся, и я дружил с анархистами. Хотя они должны были бы ругать Советский Союз, они понимали, что если кто-нибудь им помогает, то это наша страна. Спорить приходилось часто; но только раз в прифронтовой деревне один исступленный паренек начал грозить мне револьвером: «Раз тебя нельзя убедить...» Его вовремя уняли.

Многие из анархистов менялись на глазах; были и такие, что упорствовали; но даже их можно было образумить дружеским словом, порой улыбкой. Они кричали, грозились — и быстро отходили. Многое из того, что они понаделали, следует объяснить незнанием. Я почти не встречал среди них кадровых военных, экономистов, агрономов, инженеров, это были барселонские рабочие; на интеллигенцию они поглядывали с опаской, хотя и преклонялись перед философией, наукой, искусством. Они могли поддаться панике, побежать от одной бомбы, могли и пойти в атаку, несмотря на сильный пулеметный огонь, — все зависело от настроения, от сотни случайностей. Во время фашистского террора тысячи из тех, кого я встречал в Арагоне, мужественно пошли на смерть, не отреклись. Как в любой партии, среди анархистов были добрые и злые, умные и дураки; но то, что меня в них привлекало, — это непосредственность и редкостная в наш век наивность.

Никогда в жизни меня не соблазняли теории анархистов: видимо, не хватало наивности; но после «Хулио Хуренито» некоторые критики окрестили меня «анархистом». Может быть, поэтому, а может быть, потому, что в статьях об Испании я настаивал на необходимости единого фронта, один наш писатель, приехавший в Мадрид на конгресс, ска-

зал: «Поскребите хорошенько Эренбурга, и вы увидите анархиста». Было это в пригородном доме, куда коммунисты вечером пригласили советскую делегацию. Долорес Ибаррури рассмеялась: «Бывают и такие: поскребешь — окажется фашист...»

Почему я посвятил длинную главу испанским анархистам? Работа с агитмашиной заняла у меня всего три или четыре месяца. Да и не только к анархистам мы ездили — показывали фильмы и бойцам частей, которыми командовали коммунисты, побывали в интернациональных отрядах, печатали газеты на испанском, каталонском, немецком, французском языках. В декабре я поехал в Мадрид. Если я остановился на осени 1936 года в Арагоне, то только потому, что в длинной истории человеческих заблуждений это достаточно патетическая страница.

«Коммунизмо либертарио» — «свободный коммунизм», все анархисты о нем говорили и почти все в него верили, доказывали, и хорошо доказывали, что без свободы не может быть настоящего коммунизма. А те коммуны, которые они устроили в Арагоне, напоминали поселки перепуганных индейцев Парагвая, руководимых иезуитами, с одинаковой одеждой, одинаковой едой, одинаковыми молитвами. (Правда, иезуиты господствовали свыше ста лет и достигли совершенства: отец Муратори рассказывает, что, когда провинившегося парагвайца секли, он целовал руку своего мучителя и благодарил за удары.)

В старой записной книжке я нашел переписанные мною слова одного французского автора (не помню, кого именно): «Несчастье деспотизма не в том, что он не любит людей, а в том, что он их слишком любит и слишком мало им доверяет».

20

Трудно себе представить первый год испанской войны без М. Е. Кольцова. Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником. В своей книге «Испанский дневник» Михаил Ефимович туманно упоминает о работе вымышленного мексиканца Мигеля Мартинеса, который обладал большей свободой действий, нежели советский журналист.

Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него обузой, Кольцов быстро разбирался в сложной обстановке, видел все прорехи и нико-

гда не тешил себя иллюзиями. Познакомился я с ним еще в 1918 году в киевском «Хламе», потом встречал его в Москве, работал с ним над подготовкой парижского конгресса писателей, но по-настоящему разглядел и понял его позднее — в Испании.

Михаил Ефимович остался в моей памяти не только блистательным журналистом, умницей, шутником, но и концентратом различных добродетелей и душевного ущерба тридцатых годов.

«...Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», — писал Пушкин. Сто лет спустя эти слова казались нам злободневными. Кольцов в беседах со мной часто высказывал оценки вдоволь еретичные: ему, например, нравился Таиров, он хорошо отзывался о книгах многих западных писателей, высмеивал наших критиков: «любят порядок и почитают Домострой, хотя толком не знают, что это». Вместе с тем он пуще врагов боялся инакомыслящих друзей. В нем был постоянный разлад между общественным сознанием и собственной совестью.

К попыткам некоторых левых писателей Запада покритиковать хотя бы робко порядки сталинского времени Кольцов относился пренебрежительно, говорил: «X что-то топорщится, я ему сказал, что у нас переводят его роман, наверно, успокоится» или «Y меня спрашивал, почему Буденный ополчился на Бабеля, я не стал спорить, просто сказал, чтобы он приехал к нам отдохнуть в Крым. Поживет месяц хорошо — и забудет про «бабизм Бабеля». Однажды он с усмешкой добавил: «Z получил гонорар во франках. Вы увидите, он теперь поймет даже то, чего мы с вами не понимаем».

Он никого не старался погубить и плохо говорил только о погибших: такое было время. Ко мне он относился дружески, но слегка презрительно, любил с глазу на глаз поговорить по душам, пооткровенничать, но, когда шла речь о порядке дня двух конгрессов, не приглашал меня на совещания. Однажды он мне признался: «Вы редчайшая разновидность нашей фауны — нестреляный воробей». (В общем, он был прав — стреляным я стал позднее.)

Когда Второй конгресс кончился, я написал заявление: «Тов. Кольцову — Председателю советской делегации. Вы мне сообщили, что хотите снова выдвинуть меня в секретари Ассоциации писателей. Я прошу Вас вычеркнуть мое имя из списка и освободить меня от данной работы... Я не был согласен с поведением советской делегации в Испании, которая, на мой взгляд, должна была, с

одной стороны, воздерживаться от всего, что ставило ее в привилегированное положение по отношению к другим делегациям, с другой — показать иностранцам пример товарищеской спайки, а не деления делегатов советских по рангам. Я не мог высказать мое мнение, так как никто меня о нем не спрашивал, и мои функции сводились к функциям переводчика... Как Вы знаете, я очень занят испанской работой; помимо этого, хочу сейчас писать книгу, полагаю, что с бóльшим успехом смогу приложить свои силы для победы общего дела, чем пребывая декоративным персонажем в секретариате...» Михаил Ефимович, прочитав заявление, хмыкнул: «Люди не выходят, людей выводят», — но обещал не обременять меня излишней работой.

История советской журналистики не знает более громкого имени, и слава его была заслуженной. Но, возведя публицистику на высоту, убедив читателей в том, что фельетон или очерк — искусство, он сам в это не верил. Не раз он говорил мне насмешливо и печально: «Другие напишут романы. А что от меня останется? Газетные статьи — однодневки. Даже историку они не очень-то понадобятся, ведь в статьях мы показываем не то, что происходит в Испании, а то, что в Испании должно было бы произойти...» Он завидовал не только Хемингуэю, но и Реглеру: «Напишет роман в тридцать печатных листов...» Я понимаю горечь этих слов — я сам немало времени и сил отдал работе журналиста. Кольцов был прав — историку трудно положиться на его статьи (как и на мои статьи того времени) или даже на книгу «Испанский дневник»: она слишком окрашена временем, а рядового читателя куда больше растрогают воспоминания о Кольцове, чем его фельетоны, — он ищет всех тонов, расположенных между белым и черным, — а Михаил Ефимович был куда сложнее, чем его памфлеты или корреспонденции.

Он любил одесский анекдот о старом балагуле (извозчике), который ехидно спрашивает новичка, что тот будет делать, если в степи отвалится колесо и не окажется под рукой ни гвоздей, ни веревки. «А что же вы будете делать?» — спрашивает наконец пристыженный ученик; и старик отвечает: «Таки плохо». Михаил Ефимович часто хмыкал: «Таки плохо». А час спустя он приводил в чувство какого-либо испанского политика, убедительно доказывая ему, что победа обеспечена и, следовательно, незачем отчаиваться. К людям он относился недоверчиво; это звучало бы упреком, если бы я не добавил, что он

относился недоверчиво и к себе — к своим чувствам, к своему таланту, да и к тому, что его ожидает.

Он пробыл в Испании немногим больше года, но что-то в нем изменилось, он стал человечнее, исчезло легкомыслие, он больше не носился с проектами опасных интервью или занятных журналов, да и глаза глядели мягче. Однако до конца он был не унылым, а веселым скептиком, и после беседы с ним неизменно оставалось двойное чувство: горько, но занятно — стоит жить, может быть, удастся увидеть, чем это все кончится...

Перемена, происшедшая с Кольцовым в Испании, объяснялась многим: ответственностью, которая лежала не столько на журналисте «Мих. Кольцове», сколько на «Мигеле Мартинесе», сознанием трудности, а с лета 1937 года невозможности победы разъединенной, плохо снабжаемой оружием республики, повседневным зрелищем бомбежек, голода, смерти. Однако не только это изменило Михаила Ефимовича, но и месяц, проведенный в Москве, вести, доходившие с родины. Михаил Ефимович помрачнел.

Недавно появился сборник воспоминаний «Михаил Кольцов, каким он был». Бесспорно, самые интересные страницы в сборнике написаны братом Кольцова карикатуристом Борисом Ефимовичем Ефимовым. В них рассказано, как железный круг сжимался вокруг смелого, веселого и еще влиятельного человека. За полтора года до развязки Кольцов, приехавший на короткий срок из Мадрида, докладывал Сталину и его ближайшим помощникам о положении в Испании. Когда Кольцов наконец-то замолк, Сталин неожиданно спросил, как его следует «величать» по-испански, «Мигуэль, что ли?». Еще больше изумил Кольцова вопрос Сталина, когда Михаил Ефимович уже шел к двери: «У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?» Кольцов ответил, что револьвер у него имеется. «Но вы не собираетесь из него застрелиться?» — спросил Сталин. Рассказывая об этом брату, Михаил Ефимович добавил, что он прочитал в глазах «хозяина»: «слишком прыток».

По словам Ефимова, лучше всех знавшего Кольцова, Михаил Ефимович до последней минуты «фанатически верил в мудрость Сталина».

Два месяца спустя после странного разговора о револьвере я шел с Михаилом Ефимовичем по пустой уличке Мадрида. Кругом были развалины домов, ни одного живого человека. Я спросил Кольцова, что произошло в действительности с Тухачевским. Он ответил: «Мне Сталин все объяснил — захотел стать Наполеончиком». Не



Президиум Первого
Всесоюзного съезда писателей.
И. Эренбург, Н. Тихонов,
Б. Пастернак, М. Слонимский,
М. Горький, Лахути.
Москва, 1934 г.



В кулуарах Первого съезда:
Ж. Р. Блок, И. Эренбург,
Б. Пастернак, П. Яшвили и
парашютистка Н. Камнева



И. Эренбург выступает на
Первом съезде писателей.
Москва, 1934 г.



Н. И. Бухарин (собрание
Ю. Н. Ларина)



Похороны С. М. Кирова.
Москва, декабрь 1934 г.



Москва, здание «Известий»



И. Эренбург и Дуся Виноградова



И. Эренбург, Е. Петров,
И. Ильф. Москва, 1934 г.



И. Эренбург с дочерью Ириной
на Севере. 1934 г. (собрание
И. И. Эренбург)



С. Писахов и И. Эренбург.
1934 г.



Р. Р. Фальк



Президиум Конгресса писателей: А. Барбюс, М. Кольцов, Г. Манн, А. Жид, Ж. Р. Блок. Во втором ряду: П. Низан, И. Эренбург, А. Мальро. Париж, 1935 г.



Агитмашина «Печатня и кино»
И. Эренбурга на улице
Барселоны. 1936 г.



Центурия имени Ильи Эренбурга



Долорес Ибаррури



Анри Марти (в центре)
в Испании. Фото И. Эренбурга



Заседание Пленума ЦК
Испанской компартии.
Мадрид, 1937 г.



О. Г. Савич



Мадрид, отель «Гайлорд» — резиденция советников из СССР во время гражданской войны в Испании



Военный советник Лоти (Д. О. Львович)



М. Кольцов



Генерал Лукач (Мате Залка),
Ф. Козовский, врач Хейльбрун.
Испания, 1937 г.



Дуррути у своего штаба



Г. Реглер, И. Эренбург,
Э. Хемингуэй и Й. Ивенс
у Гвадалахары. 1936 г.



А. Мальро и И. Эренбург. Валенсия, 1936 г.



Хосе Бергамин и Илья Эренбург. 1937 г.



Президиум Конгресса писателей: Ж. Бенда, М. Андерсен-Нексе, премьер-министр Испании Негрин, А. Шамсон. Фото И. Эренбурга. Мадрид, 1937 г.



Выступление Эренбурга на Конгрессе писателей в Испании. Справа — Рафаэль Альберти. 1937 г.



У штаба XII интербригады:
И. Эренбург, Ф. Херасси,
С. Херасси, О. Савич, за ним —
корреспондент ТАСС
Е. Мирова, Янек Барвинский.
1936 г.



Л. М. Козинцева-Эренбург и
И. Е. Путерман. Париж, 1938 г.
Фото И. Эренбурга



Антонио Мачадо.
Фото И. Эренбурга, 1938 г.



Робер Деснос. Портрет работы Феликса Лабиса



Эренбург среди участников пленума Союза писателей, посвященного юбилею Руставели. Тбилиси, 1938 г.



Открытка с видом могилы Жослена, посланная Эренбургом О. Г. Савичу в августе 1939 г.: «Дорогой Сава, надеюсь, вид этой могилы тебя умилит и ты мне напишешь».



Подписание пакта Молотова — Риббентропа. Москва, Кремль, 23 августа 1939 г.

И. Эренбург за работой над романом «Падение Парижа». Москва, 1940 г.





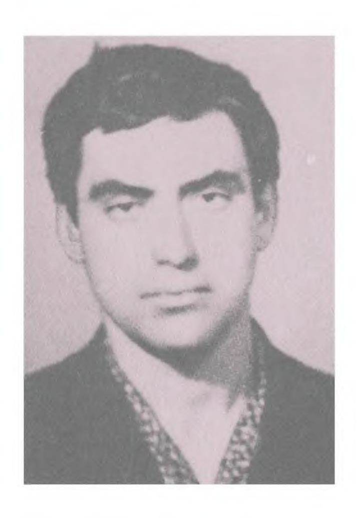
И. Эренбург среди военных летчиков. Москва, 1941 г.



Б. Лапин (справа) и З. Хацревин на фронте, 1941 г. (собрание И. И. Эренбург)

Заседание Еврейского Антифашистского комитета. Москва, 24 августа 1941 г. Сидят: С. Маршак, П. Маркиш, Д. Бергельсон, И. Эренбург. Стоят: Я. Флиер, Д. Ойстрах, И. Нусинов, С. Михоэлс, Я. Зак, Б. Иофан, В. Зускин, А. Тышлер, Ш. Эпштейн





Семен Гудзенко



И. Эренбург и генерал
А. Власов (в центре)



И. Эренбург на фронте под
Можайском. Декабрь 1941 г.



И. Эренбург и американский
журналист Л. Стоу под Ржевом



И. Эренбург и
К. К. Рокоссовский



И. Д. Черняховский встречает
И. Эренбурга. 1943 г.



К. А. Уманский



И. Эренбург и французский журналист Ж. Шампенуа



И. Эренбург, Д. Шостакович, Н. Тихонов. Москва, 1942 г.

знаю, подумал ли он в ту минуту, что он, Михаил Кольцов, беззаветно веривший в Сталина, тоже не защищен от обвинений, — «слишком прыток».

Когда в декабре 1937 года я приехал из Испании в Москву, я сразу пошел в «Правду». Михаил Ефимович сидел в роскошном кабинете недавно построенного здания. Увидев меня, он удивленно хмыкнул: «Зачем вы приехали?» Я сказал, что захотел отдохнуть, приехал на писательский пленум с Любой. Кольцов почти вскрикнул: «И Люба притащилась?..» Я рассказал ему про Теруэль, сказал, что видел перед отъездом его жену Лизу и Марию Остен. Зачем-то он повел меня в большую ванную комнату, примыкавшую к кабинету, и там не выдержал: «Вот вам свеженький анекдот. Двое москвичей встречаются. Один делится новостью: «Взяли Теруэль». Другой спрашивает: «А жену?» Михаил Ефимович улыбнулся: «Смешно?» Я еще ничего не мог понять и мрачно ответил: «Нет».

В апрельский вечер я встретил его возле «Правды», сказал, что получил паспорт и скоро вернусь в Испанию. Он сказал: «Кланяйтесь моим, да и всем, — потом добавил: — А о том, что у нас, не болтайте — вам будет лучше. Да и всем — оттуда ничего нельзя понять...» Пожал руку, улыбнулся: «Впрочем, отсюда тоже трудно понять».

Я ответил Кольцову искренне: все было совсем не смешно. Конечно, никто не причислит Михаила Ефимовича к воробьям, а поскольку он однажды завел разговор о птицах, я назову его стреляным соколом. Мы расстались весной 1938 года, а в декабре стреляного сокола не стало. Было ему тогда всего сорок лет.

21

Люди привыкают ко всему: к чуме, к террору, к войне; и мадридцы быстро привыкли к бомбежкам, к голоду и холоду, к тому, что фашисты — в Каса-дель-Кампо, то есть в двух-трех километрах от густозаселенных кварталов, и что все это, видимо, надолго.

«Известия» тогда выходили в самое различное время: иногда в семь часов утра, иногда, если среди ночи поступали сообщения ТАСС, список награжденных или обвинительное заключение, в десять, а то и в полдень. Мадридские газеты продолжали выходить в шесть часов утра, как они выходили прежде, когда нужно было поспеть к утренним поездам. Поездов давно не было, а привычка осталась.

Из семи шоссейных дорог, соединявших столицу со страной, шесть были захвачены фашистами. То вспыхивали, то затихали бои за седьмую дорогу, соединявшую Мадрид с Валенсией. Несколько километров этой дороги фашисты простреливали. Однажды мне пришлось выскочить из машины и пролежать в поле полчаса. Вблизи разорвалось несколько снарядов. На войне то хорошо, что редко бываешь один. Я не мог показать шоферу-испанцу, который лежал рядом, что мне не очень-то уютно, я ведь был «мексиканцем», а шофер старался мне показать, что он чувствует себя как дома, потому что он испанец.

На двадцать первом километре от Мадрида, возле Мората-де-Тахунья, фашисты укрепились. Я там бывал несколько раз; проходя по глубоким окопам, можно было услышать, как фашистские солдаты где-то рядом переругиваются или поют. В течение многих месяцев шли бои за развалины дома, и я вспоминал знаменитый «дом паромщика», который в годы мировой войны несколько месяцев подряд значился в союзных и немецких сводках.

А в Мадриде продолжалась фантастическая и вместе с тем будничная жизнь. Тротуаров никто не подметал, валялся щебень, обрывки старых афиш, осколки бомб, битая посуда. Утром разводили костры, возле них грелись женщины и солдаты. Зимой в Мадриде холодно, и андалусцы или каталонцы зябли. Многие магазины были открыты; оставались товары, мало кому нужные в то время: хрустальные люстры, духи, старые романы, галстуки. Как-то раз я увидел в мебельном магазине молодого бойца и женщину, они приценивались к зеркальному шкафу и нежно глядели друг на друга; вероятно, они были молодоженами. В другой раз я встретил маляра с ведром краски и лесенкой — он шел белить стены.

А на улицах продавали самодельные зажигалки, карманные фонари. В некогда фешенебельных ресторанах бойцы восторженно ели горох — он был пшенной кашей Испании. Возле булочных стояли длинные очереди, и не раз люди, ожидавшие двести граммов хлеба, умирали от осколка бомбы или от снаряда. Трамвай ходил почти до окопов. Однажды я пошел рано утром на улицу Рафаэля Салилья. Пожарные выносили трупы; мне запомнилась девочка, похожая на разбитую куклу, и швейная машина с голубенькой материей, повисшая на балке.

Правительство уехало в Валенсию. В мадридских комитетах политических партий шли нескончаемые споры. Анархисты и троцкисты («поумовцы») настаивали на

«углублении революции». Прието хотел, чтобы навели порядок, и обвинял своего товарища по партии Кабальеро в демагогии. Жизнь продолжалась...

Продолжалась она повсюду. Поэты издали сборник стихов, посвященных войне, собирались, обсуждали возрождение старой формы романсеро. Я познакомился с пожилой учительницей музыки, она рассказывала, что к ней приходят две ученицы, играют гаммы.

Театры были открыты, но спектакли начинались не в десять часов вечера, как прежде, а в шесть; играли все те же пьесы «Ты цыган, я цыганка» или «Ночь в Альгамбре». В кино показывали фильмы Чаплина; Морис Шевалье в картине «Соблазнитель» пел знакомые песенки. Девушки утирали глаза от скорби обманутой американки, а дружинники неистово аплодировали Лолите Гранатос.

Ко мне в холодный номер гостиницы приходили с фронта испанцы и бойцы интербригад; иногда у меня оказывались селедки, присланные из Одессы, или курица, завезенная из Валенсии. Мы молча ели, а потом начинали разговаривать о вещах, мало относившихся к положению на фронте. Студент-боец с жаром доказывал, что, хотя во всем мире читают «Дон Кихота», никто, кроме испанцев, его не понимает, да и не может понять. Один серб принес мне толстую рукопись: он записал свои наблюдения о том, как реагируют различные животные на бомбежки. По его словам, кошки вели себя коварно, но разумно: услышав гул самолетов, они тотчас выпрыгивали в окно и неслись в поле, подальше от жилья. Собаки, наоборот, слепо верили во всемогущество человека, просились в дом, залезали под стол или под кровать. Свои записки серб писал в окопах, во время бомбежек, об этом он упомянул вскользь; его интересовала зоопсихология, и он расспрашивал об опытах Дурова. Француз из батальона «Парижская коммуна» читал мне свои стихи:

> Небо огнями реклам расцвечено —
> Распродажа разодранных тел и Вечности...

Штаб помещался в центре Мадрида, в глубоком подвале министерства финансов. Подвал разделили на крохотные комнатушки; там работали, ели и спали. Стучали пишущие машинки. То и дело приходили и уходили военные. В одной из комнатушек, сгорбившись, сидел старый, больной и подавленный событиями человек — генерал Миаха. О нем тогда писали все газеты мира, а он печально глядел на меня и отвечал: «Да... да...» Вошел комбриг Го-

рев с переводчицей Эммой Лазаревной Вольф, принес карту, долго говорил о положении в Университетском городке. Миаха внимательно слушал, тусклыми грустными глазами глядя на карту, и повторял: «Да... да...»

Владимир Ефимович Горев редко заглядывал в подвалы министерства — все время был на позициях. Ему не было и сорока лет, но он обладал большим военным опытом. Умный, сдержанный и вместе с тем чрезвычайно страстный, осмелюсь сказать — поэтичный, он покорял всех, мало сказать, что ему верили, — верили в его звезду. Полгода спустя испанцы научились воевать, у них были одаренные командиры — Модесто, Листер, да и другие, менее известные. А осенью 1936 года, пожалуй, кроме начальника генштаба полковника Рохо, среди командного состава республиканской армии было мало людей энергичных и в то же время обладавших военными знаниями. В ноябрьские дни Горев сыграл огромную роль, помог испанцам остановить фашистов в предместьях Мадрида.

Когда Франко начал операцию на севере, Горев отправился с переводчицей Эммой в Басконию. Франко сосредоточил на севере крупные силы; немецкая авиация наносила массированные удары. Республиканцы четыре месяца защищались, отрезанные от основных сил, взятые в кольцо. Настала развязка. В Хихоне, который должен был со дня на день пасть, было двадцать шесть советских военных во главе с Горевым, среди них раненые, больные и Эмма.

В эскадрилье, созданной Мальро, в первые месяцы войны сражался веселый француз, прекрасный летчик Абель Гидес. Летом 1937 года он вернулся в Париж. Узнав, что советские товарищи не могут выбраться из окружения, Гидес раздобыл крохотный туристический самолет и полетел в Хихон. Горев хотел улететь последним. Гидес совершил три рейса, среди других спас Эмму, а когда он полетел в четвертый раз, его обстреляли фашистские истребители. Милый смелый Гидес погиб. А он только перед этим женился... Горев и несколько оставшихся с ним товарищей ушли с партизанами в горы. Их вывез советский самолет. Все это было чудом. Мы радовались — спасся Горев! А полгода спустя героя Мадрида оклеветали, и тут уже не могло быть никаких чудес. Горев погиб в Москве.

В подвале, кроме Горева, жили Ратнер и Львович, которого в Испании звали Лоти. Ратнер был разумным и скромным стратегом. Мне говорили, что потом он преподавал в одной из военных академий. Лоти пробыл в Испании дол-

го, подружился с испанцами; был он печальным весельчаком, любил поэзию. Однажды в горячий мадридский вечер мы сидели на камне перед разбитым домом, обливались пóтом, и он вспоминал разрозненные строки стихов — Лермонтова, Блока, Маяковского; вдруг встал и сказал:

«Красивое имя,
Высокая честь —
Мадридская волость
В Испании есть.

Значит, мне надо идти на КП. А вы знаете, что вы должны делать? Не болтаться под снарядами, а писать. У каждого свое ремесло... Писатель, а не пишет...»

Я встречал Лоти и в Двенадцатой бригаде у генерала Лукача, и в «Гайлорде», потом в Валенсии. Был он на редкость храбрым, а других осаживал, говорил: «Испанцы не знают, что такое осторожность. Для любви это хорошо, а для войны не годится...» В 1946 году я встретил в Америке художника Фернандо Херасси, командира батальона Двенадцатой бригады, и его жену Стефу. Первое, о чем они меня спросили: «Что с Лоти?..» Я отвернулся и еле выговорил: «Погиб»...

В Испании я думал об одном: о победе. Но, понятно, я встречался с нашими, и хотя мы еще не знали, что означает 1937-й, порой на душе становилось смутно.

Корреспондент ТАССа М. С. Гельфанд, человек очень больной, писал длинные телеграммы и острил. Он сочинил смешную пьесу, читал ее избранным; героями были Кольцов, Кармен, Макасеев, Эренбург и он сам. Приходя в его номер, мы всегда смеялись. Один раз я увидел его грустным, он сидел над «Правдой». Никого в комнате не было. Вдруг он мне сказал: «А вы знаете, нам повезло... Собрание писателей, сидят и выявляют врагов народа... Давайте поедем в Карабанчель, там собираются взорвать дом. А о нашем разговоре забудьте...» Я выпросил у него несколько номеров относительно свежих газет. В Карабанчеле дом не взорвали, сказали, что саперы подвели. Зато мы попали под хорошую бомбежку. Ночью я прочитал газеты и подумал: действительно, повезло — под бомбами куда легче, здесь, по крайней мере, знаешь, кто враг и кто свой...

Как-то Кольцов сообщил мне: «Наградили большую группу. В газете этого не будет... Поздравляю вас с боевым орденом Красной Звезды». Я его тоже поздравил; поздравил сейчас же Кармена и Макасеева. Михаил Ефимович, помню, добавил: «Будете получать, кажется, де-

сять рублей в месяц. От голода это вас не спасет. От проработки тоже...»

Я впервые в жизни получил орден, да еще такой, о котором не будет в газете. Не скрою — я обрадовался.

Я уезжал из Мадрида, снова возвращался и увидел первую победу республиканцев возле Гвадалахары. Фашисты рассчитывали с помощью танков прорваться в Мадрид. В районе Сигуэнсы они сосредоточили несколько итальянских дивизий, танки, авиацию. Битва кончилась для фашистов неожиданно: продвинувшись на несколько десятков километров, они были отброшены на исходные позиции, потеряв много людей и техники. Итальянцы сражались плохо, да и рассчитали неосторожно: были убеждены, что большие танковые соединения быстро выйдут на равнину, где смогут окружить противника; а после контратаки республиканцев итальянские танки очутились в узкой долине, где их нещадно бомбили наши летчики.

Я много раз ездил на Гвадалахарский фронт — с Кольцовым, с Хемингуэем, с Савичем; побывал в Паласио Ибарра — в развалинах старого помещичьего дома, из которого «гарибальдийцы» выкинули итальянских фашистов, в расщепленной бомбардировками Бриуэге. Было необычайно радостно идти по земле, освобожденной от фашистов, видеть итальянские надписи на стенах, брошенные пушки, ящики с гранатами, ладанки, письма. Я разговаривал с победителями — с солдатами частей, которыми командовали Листер, Кампесино, с бойцами Двенадцатой бригады, с генералом Лукачем, с Фернандо, с болгарами Петровым и Беловым. Разговаривал я и с пленными итальянцами. На дворе была короткая кастильская весна. Бойцы грелись на солнце. Небо порой покрывалось металлическими тучами, звенели ливни, и час спустя густая южная лазурь говорила о близком лете.

Для нас, переживавших в течение полугода одни лишь поражения, Гвадалахара была нечаянной радостью. Я думал, что позади не только зима, но холод отступлений.

Среди пленных итальянцев было много горемык, которые охотно бросали оружие. Я увидел знакомых мне итальянских крестьян, добрых и миролюбивых; они проклинали офицеров, дуче, войну. Сапожник из Палермо рассказал мне, что помнит двадцатый год, — он тогда был мальчишкой, на улице стреляли, а в комнате отца висел портрет Ленина. Он был неграмотным, но сразу понял, где свои, и, воспользовавшись суматохой, перебежал к «гарибальдийцам».

Попадались и настоящие фашисты, не столь жестокие, как их немецкие единоверцы, но чванливые, верившие в громкие фразы Муссолини. Я прочитал дневник одного итальянского офицера; незадолго до Гвадалахары он писал: «Все испанцы стоят друг друга. Я бы им всем дал касторки, даже этим шутам фалангистам, они знают одно — есть и пить за здравие Испании. Всерьез воюем только мы...»

В итальянской армии было много опереточного. Помню знамя батальона «Черные перья» с надписью: «Не блистаем, но жжем». В таком же стиле были выдержаны названия других батальонов: «Львы», «Волки», «Орлы», «Неукротимые», «Стрела», «Буря», «Ураган». Однако эти батальоны входили в бригады, дивизии. Из итальянского порта Гаэта непрерывно шли транспортные суда в Кадикс; подбрасывали людей, артиллерию, танки. Республиканцы нашли документы генерального штаба, телеграмму Муссолини, который писал генералу Манчини: «На борту «Пола», направляясь в Ливию, я получил донесение о большой битве, развернувшейся возле Гвадалахары. Я с бодростью слежу за эпизодами боя, глубоко убежденный, что храбрость и воинственный дух легионеров положат конец вражескому сопротивлению». Хотя настроение у меня было хорошее, я не разделял оптимизма некоторых, уже видевших республиканцев под Сарагосой. Меня тревожила не мнимая храбрость итальянских легионеров, а трусость англичан и французов в Комитете по невмешательству. В статье о битве под Гвадалахарой я писал: «Не следует преуменьшать опасность — Италия только вступает в войну».

Продвижение республиканцев длилось недолго. В холодную ночь комбриг М. П. Петров, командовавший танковым соединением, поил меня горячим чаем. Это был коренастый и добродушный танкист. Он сокрушался. «Техники мало! Даже грузовиков не нашли, чтобы подбросить пехоту. Вот и завязли... Ну ничего, в конце концов мы их расколотим». (Я встретил генерала Петрова в августе 1941 года под Брянском. Он весело закричал: «Помнишь Бриуэгу?..» А время было невеселое. Его убили в бою вскоре после нашей встречи, так он и не увидел разгрома фашистов.)

В начале апреля республиканцы решили атаковать фашистов, укрепившихся в Каса-дель-Кампо. Я пошел в пять часов утра на наблюдательный пункт, который находился в здании дворца. Окна комнаты выходили на запад. Мы

видели, как бойцы выбегали из окопов и падали, как двинулись танки. Артиллерийская подготовка была сильной, но пулеметы не умолкали, и почти нигде республиканцам не удалось выбить фашистов из окопов.

Вечером нужно было передать в газету отчет о результатах операции. Я не знал, что сообщить, и решил описать час за часом все, что видел, не говоря вовсе о наступлении и статью озаглавив «День в Каса-дель-Кампо». В комнате, где мы находились, висела клетка с канарейкой. Фашисты выпустили несколько снарядов по дворцу. Когда орудия на минуту умолкали, канарейка пела: очевидно, грохот ее возбуждал. Я упомянул и про канарейку, хотя понимал, что такого рода наблюдения уместнее в романе, нежели в газетной корреспонденции. Редактор про канарейку выпустил, даже обиделся. Люба тогда была в Москве и пришла в редакцию, чтобы поговорить со мной по телефону. «В чем дело с канарейкой?» — спросила она. А я не мог ей объяснить, что в моей статье канарейка запела только потому, что наступление не удалось.

Как-то я слушал радиопередачу из Севильи. Фашисты говорили: «Вокруг Мадрида сосредоточены крупные советские силы, их численность доходит до восьмидесяти тысяч». Слушал и горько усмехался. Советских военных было мало; цифр я не знаю, но я бывал и в Алкала, где стояли наши танкисты, и на двух аэродромах — очень, очень мало! В различных частях было еще несколько десятков военных советников. Людей было немного, но воевали они хорошо и в критические дни приподняли дух испанцев. Когда в ноябре мадридцы впервые увидели над собой советские истребители (их окрестили «курносыми»), несмотря на воздушную тревогу, они стояли на улицах и аплодировали — им казалось, что теперь они ограждены от бомб.

Из командиров я встречал комдива Г. М. Штерна (его называли в Испании Григоровичем), Яна Берзина (Гришина), комкора авиации Я. В. Смушкевича (Дугласа), танкиста Д. Г. Павлова, П. И. Батова, Х. Д. Мамсурова (Ксанти), Г. Л. Туманяна и других. Это были разные люди, но все они по-настоящему любили Испанию. Многие из них погибли в годы произвола, а те, что уцелели, до сих пор с нежностью вспоминают испанских товарищей. Не видел я со стороны людей, которых назвал, ни высокомерия, ни даже раздражительности, а она легко могла бы родиться: кадровые военные столкнулись с неразберихой, с анархистами, с наивными командирами, считавшими, что немецкие самолеты можно прогнать с помощью винтовок.

Познакомился я с советскими летчиками, танкистами; с некоторыми подружился; лучше понял и войну, и наших людей. Если четыре года спустя я смог работать в «Красной звезде», находил нужные слова, то помогли мне в этом, как и во многом другом, годы Испании.

В апреле в Мадрид приехала герцогиня Атолльская, член английского парламента от консервативной партии. Ее поместили в той же гостинице, где жили Кармен, Савич, я. Пока она осматривала город, осколок немецкого снаряда угодил прямо в ее комнату. Журналисты спросили ее, не думает ли она поставить в парламенте вопрос о «невмешательстве». Она ответила, что обещала не делать никаких политических заявлений, но восхищается мужеством Мадрида и оплакивает невинные жертвы. Она не была одинокой: многие восхищались и оплакивали. А Гитлер и Муссолини делали свое дело.

Мою веру в победу поддерживал испанский характер. Во время одной из бомбежек Петров и я загоняли старую женщину в убежище; она не хотела идти, говорила: «Пусть они, негодяи, видят, что мы их не боимся!..»

22

Январь 1937 года я пробыл в Париже, а в начале февраля вернулся в Испанию. Я увез с собою О. Г. Савича.

Я не собираюсь посвятить эту главу портрету Савича, — я уже говорил, что мало рассказываю о живых. Говоря о себе, я то подымаю, то опускаю занавеску исповедальни — я волен выбирать; но, говоря о других, я связан: бог его знает, что можно рассказать, а о чем лучше промолчать? Савич мой добрый и старый друг. Черновики многих моих книг испещрены пометками Савича — он замечал немало погрешностей. Хотя в ранней молодости он был актером, он для меня неотделим от литературы. Он не только пишет или переводит, он страстный читатель, и, кажется, нет ни одного автора и в XIX веке, и в советское время, которого он не прочитал бы. Я ему многим обязан. Но теперь я ограничиваю себя одним: хочу показать, какую роль могла сыграть Испания в жизни одного человека.

Познакомились мы давно — кажется, в 1922 году. Он моложе меня всего на пять лет, но тогда он казался мне подростком. В 1930 году он с молодой женой Алей поселился в Париже, и мы встречались почти каждый вечер. Раз в год перепуганный Савич отправлялся в советское консульство, чтобы продлить паспорта. Мы ездили с

Савичами в Бретань, в Словакию, в Скандинавию. Савич показывал Париж Всеволоду Иванову, нашим поэтам, актерам Театра Мейерхольда; он человек мягкий, благожелательный, спорить не любит, и всем он нравился. В конце двадцатых годов после нескольких сборников рассказов в Москве вышел его роман «Воображаемый собеседник», роман хороший, который понравился столь различным писателям, как Форш, Тынянов, Пастернак. В газетах его разругали, одно заглавие сердило критиков: хотя еще никто не говорил о новом толковании реализма, но воображать не полагалось. Савич продолжал писать, но второй роман не получался. Он помрачнел. Иногда он посылал очерки в «Комсомольскую правду», и они никак не напоминали объяснений с воображаемым собеседником, писал он про то и это, про футбол и про Барбюса, про мировой кризис и про рабочие танцульки. Мне казалось, что он не может найти ни своей темы, ни места в жизни. В 1935 году его Аля уехала в Москву. Савич должен был вскоре последовать за нею, но в январе 1937 года я застал его в Париже и легко уговорил посмотреть хотя бы одним глазом Испанию: «Сможешь написать для «Комсомолки» десять очерков...»

Хотя я хорошо знал Савича, я никогда не видел его перед опасностью смерти. В первый же вечер в Барселоне мы пошли поужинать в хороший ресторан «Остелерия дель соль». Мы мирно беседовали о старой испанской поэзии, когда раздался необычный грохот. Свет погас. На бомбежку это не походило, и я не сразу понял, что происходит. Оказалось, фашистский крейсер обстреливает город. На Параллели один анархист стрелял из револьвера в сторону моря — хотел потопить вражеский корабль. Савич был спокоен, шутил. Потом я видел его во время жестоких бомбежек, он поражал меня своей невозмутимостью, — и я понял, что он боится не смерти, а житейских неприятностей: полицейских, таможенников, консулов.

Я повел Савича к В. А. Антонову-Овсеенко, и он сразу пришелся по душе Владимиру Александровичу. Я сказал, что должен съездить на Арагонский фронт, вернусь через неделю и тогда мы поедем в Валенсию и Мадрид. Владимир Александрович сказал Савичу: «А вы приходите к нам запросто...»

Вернувшись дней десять спустя, я не нашел Савича. Антонов-Овсеенко мне рассказал, что Савич ездил под Уэску, а потом с новым послом Л. Я. Гайкисом уехал в Валенсию. Я подумал: «Ну и Сава!» (так я всегда звал Савича).

Я остановился, как всегда, в гостинице «Виктория», где жили иностранные журналисты. Вечером позвонил Савич: «Приходи ко мне — я в «Метрополе». Я даже растерялся от изумления, но попросил Саву выписать мне пропуск: в «Метрополе» жили наши военные, там помещалось посольство, и проникнуть туда было нелегко.

Савича я нашел растерянным: «Я попал в дурацкое положение... Я обедал у Антонова-Овсеенко, когда приехал посол — он возвращался из Москвы в Валенсию. Я набрался храбрости: может быть, в его машине окажется местечко для меня. Он усадил меня рядом. А когда мы вошли в «Метрополь», он распорядился: «Номер для товарища...» Советские люди в Испании свято соблюдали конспирацию и никогда не спрашивали человека, кто он, откуда. Так бедный Савич оказался загадочным товарищем, которого посол встретил у Антонова-Овсеенко.

В «Метрополе» жила корреспондентка ТАССа Мирова, высокая, полная и энергичная женщина. Савич ее удивил своей начитанностью, эрудицией. Она предложила ему помогать ей в работе для ТАССа. Савич был запуган ситуацией, но согласился. Мирова относилась к нему покровительственно и вместе с тем с уважением, говорила: «Он похож на гравюру». Я поехал с Савичем в машине Мировой в Альбасете, где формировались интербригады. Потом в Валенсию приехал корреспондент ТАССа М. С. Гельфанд, и Мирова решила, воспользовавшись этим, побывать в Мадриде. Мы поехали втроем: Мирова, Савич и я. Это было в марте. Гельфанд остался в Валенсии: там находилось правительство.

Я упоминал, что бывал с Савичем на Гвадалахаре. В апреле я уехал к Теруэлю, а потом в Андалусию — шли бои вокруг Пособланко. Гельфанд заболел и вернулся в Москву. Мирова его заменила. А Савич оставался в мадридском «Паласе», часто бывал на фронте, подружился с нашими военными — с Лоти, с Хаджи, встречался с испанцами, описывал бои и бомбежки. Он наслаждался жизнью: то место, о котором он тщетно мечтал в мирном Париже, оказалось в полуразрушенном голодном Мадриде.

Однако его ждали новые испытания. В мае Мирова вызвала его в Валенсию. Она была чем-то очень взволнована, сказала, что уезжает на несколько дней в Москву. Савич будет жить в ее комнате и выполнять обязанности корреспондента ТАССа.

Я был в Париже, когда мне позвонил Савич: «Мирова почему-то не возвращается. Может быть, ты попросишь

Ирину выяснить, что с ней, когда она рассчитывает приехать». Я разговаривал с Ириной по телефону, спросил, что с Мировой. Ирина отвечала, что в Москве чудесная погода. «Но что с Мировой?..» Ирина не ответила.

Вскоре я приехал в Валенсию, пошел к Савичу. Он сидел расстроенный среди дамских платьев, духов, кремов. «Что с Мировой?..» Я знал, что Мирова — жена ответственного работника, который занимался отправкой в Испанию военных советников, знал, что она серьезная женщина, знал также, что Ирина не станет говорить о погоде, когда я ее спрашиваю, что с Мировой. У меня были мрачные догадки, но что такое 1937-й, я тогда еще не знал.

Потом были наступление на Уэску, конгресс писателей, бои за Брюнете. Мы с Савичем видались редко. В ноябре я его нашел в Барселоне, куда переехало правительство. Он писал телеграммы или сидел у телефона — ждал, когда вызовет Москва. В декабре мы простились — я уехал в Москву.

Быть корреспондентом ТАССа очень легко и очень трудно. Полгода спустя я сосватал Савича с «Известиями», и появился новый корреспондент с испанским именем Хосе Гарсия. Савич мог описывать людей, говорить о том, что его волновало, немного фантазировать, немного вспоминать милую его сердцу литературу — так писал Хосе Гарсия. А корреспондент ТАССа должен был описывать политическую и военную обстановку, борьбу внутри антифашистской коалиции, действия анархистов и поумовцев (испанских троцкистов), — словом, быть информатором. До Испании Савич куда больше увлекался поэзией, чем политикой, и за свои обязанности он взялся с девственной чистотой мыслей. После отъезда Кольцова, Кармена, моего он остался единственным советским корреспондентом в Испании. К нему приходили испанские коммунисты — побеседовать по душам, посоветоваться. Он говорил прекрасно по-испански, и посол Марченко поручал ему: «Побеседуйте с новым министром внутренних дел, это социалист, прощупайте, как он настроен, вам это удобней, чем мне, вы — журналист...» Не удивительно, что Савич видел многое глазами испанских коммунистов или работников посольства.

Однако, кроме политики, есть душа народа, его горе, его мужество и то подлинное презрение к смерти, которым всегда отличались испанцы. Кроме политических деятелей, у Савича были и другие собеседники — солдаты и поэты, крестьяне и шоферы. Он увидел то, что когда-то

искал в воображаемом собеседнике. Мало сказать, что он полюбил Испанию, — полюбили ее все советские люди, в ней побывавшие, — Испания оказалась ему сродни.

Я не хочу тасовать годы и события, в последующих главах я упомяну о встречах с Савичем в 1938—1939 годы. А сейчас мне хочется рассказать о том, как сложилась судьба О. Г. Савича после Испании. Он начал переводить испанских поэтов, от старого Хорхе Манрике до Мачадо, Хименеса и Рафаэля Альберти, переводил и поэтов Латинской Америки — Габриэлу Мистраль, Пабло Неруду, Гильена. То место в жизни, которое он нашел весною 1937 года в Мадриде, осталось под ногами — испанская речь и поэтическая настроенность, укрепившаяся в нем за годы Испании.

23

Это было в марте 1937 года в Мадриде. Я жил в бывшей гостинице «Палас», превращенной в госпиталь. Кричали раненые, пахло карболкой. Здание не отапливалось. Еды было мало, и, как в Москве в 1920 году, засыпая, я часто мечтал о куске мяса.

Как-то под вечер я решил пойти в «Гайлорд», где жили наши советники, к Кольцову: там можно согреться и поесть досыта.

В комнатах, которые занимал Кольцов, как всегда, были люди, знакомые и незнакомые: «Гайлорд» соблазнял не меня одного. Я сразу увидел, что на столе большой окорок и бутылки. Михаил Ефимович хмыкнул: «Здесь Хемингуэй...» Я растерялся и сразу забыл про ветчину.

У каждого человека бывает свой любимый писатель, и объяснить, почему любишь такого-то писателя, а не другого, столь же трудно, как объяснить, почему любишь такую-то женщину. Из всех моих современников я больше всего любил Хемингуэя.

В 1931 году в Испании Толлер мне дал книгу неизвестного автора «И восходит солнце»: «Здесь, кажется, про Испанию, про бой быков, может быть, это вам поможет разобраться...» Я прочитал, раздобыл «Прощай, оружие!». Хемингуэй помог мне разобраться — не в бое быков, в жизни.

Вот почему я смутился, увидав рослого угрюмого человека, который сидел за столом и пил виски. Я начал ему объясняться в любви и, вероятно, делал это настолько

неуклюже, что Хемингуэй все больше и больше хмурился. Откупорили вторую бутылку виски; оказалось, что бутылки принес он, и пил он больше всех.

Я спросил его, что он делает в Мадриде; он сказал, что приехал как корреспондент газетного агентства. Он говорил со мной по-испански, я — по-французски. «Вы должны передавать по телеграфу только очерки или также информацию?» — спросил я. Хемингуэй вскочил, схватил бутылку, замахнулся ею: «Я сразу понял, что ты надо мной смеешься!..» «Информация» по-французски «nouvelles», а по-испански «novelas» — романы. Бутылку кто-то перехватил; недоразумение выяснилось, и мы оба долго смеялись. Хемингуэй объяснил, почему он рассердился: критики его ругают за «телеграфный стиль» романов. Я рассмеялся: «Меня тоже — «рубленые фразы»...» Он добавил: «Одно плохо, что ты не любишь виски. Вино — для удовольствия, а виски — горючее...»

Многие тогда удивлялись: а что действительно делает Хемингуэй в Мадриде? Конечно, он был привязан к Испании. Конечно, он ненавидел фашизм. Еще до испанской войны, когда итальянцы напали на Эфиопию, он открыто выступил против агрессии. Но почему он оставался в Мадриде? Сначала он работал с Ивенсом над фильмом; посылал изредка в Америку очерки. Жил он на Гран-Вия в гостинице «Флорида», недалеко от здания телефонной станции, по которому все время била фашистская артиллерия. Гостиница была продырявлена прямым попаданием фугаски. Никого в ней не оставалось, кроме Хемингуэя. Он варил на сухом спирту кофе, ел апельсины, пил виски и писал пьесу о любви. У него был домик в настоящей Флориде, где он мог бы заниматься любимым делом — ловить рыбу, мог бы есть бифштексы и писать спокойно свою пьесу. В Мадриде он всегда бывал голодным, но это ему не мешало. Его звали в Америку; он сердито откладывал телеграммы: «Мне и здесь хорошо...» Он не мог расстаться с воздухом Мадрида. Писателя привлекали опасность, смерть, подвиги. А человек говорил прямо: «Нужно расколотить фашистов». Он увидел людей, которые не сдались, и ожил, помолодел.

В «Гайлорде» Хемингуэй встречался с нашими военными. Ему нравился Хаджи, человек отчаянной смелости, который ходил во вражеский тыл (он был родом с Кавказа и мог легко сойти за испанца). Многое из того, что Хемингуэй рассказал в романе «По ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял со слов Хаджи. (Хо-

рошо, что хоть Хаджи выжил! Я его как-то встретил и обрадовался.)

Я был с Хемингуэем у Гвадалахары. Он знал военное дело, быстро разобрался в операции. Помню, он долго глядел, как выносили из укрытий ручные гранаты итальянской армии — красные, похожие на крупную клубнику, — и усмехался: «Побросали все... Узнаю...»

В первую мировую войну Хемингуэй сражался добровольцем на итало-австрийском фронте; он был тяжело ранен осколками снаряда. Увидав войну, он ее возненавидел. Ему нравилось, что итальянские солдаты охотно бросают винтовки. Герой его романа «Прощай, оружие!» Фред Генри мог только одобрить их. Шла жестокая, бессмысленная война: машинная цивилизация, переживая свое отрочество, пожирала ежедневно десятки тысяч людей. Хемингуэй был вместе с Фредом. Он (не Эрнест Хемингуэй, а Фред Генри) полюбил англичанку Кэтрин; любовь эта, как и в других романах Хемингуэя, — изумительный сплав чувственности и целомудрия. Фред распрощался с оружием: «Я решил забыть про войну. Я заключил сепаратный мир».

А у Гвадалахары, на Хараме, в Университетском городке Хемингуэй любовно оглядывал пулеметы интербригадовцев. Древние римляне говорили: «Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними». При одной из наших первых встреч Хемингуэй сказал мне: «Я не очень-то разбираюсь в политике, да и не люблю ее. Но что такое фашизм, я знаю. Здесь люди сражаются за чистое дело».

Хемингуэй часто ездил на КП Двенадцатой бригады, которой командовал генерал Лукач — венгерский писатель Мате Залка. В годы первой мировой войны они сидели друг против друга в окопах двух враждовавших армий. Под Мадридом они дружески беседовали. «Война — пакость», — вздыхая, признавался веселый обычно Мате Залка. «И еще какая! — отвечал Хемингуэй, а минуту спустя продолжал: — Теперь, товарищ генерал, покажите мне, где артиллерия фашистов...» Они долго сидели над картой, испещренной цветными карандашами.

(У меня случайно сохранилась маленькая любительская фотография у Паласио Ибарра: Хемингуэй, Ивенс, Реглер и я. Хемингуэй еще молодой, худой, чуть улыбается.)

Как-то Хемингуэй сказал мне: «Формы, конечно, меняются. А вот темы... Ну о чем писали и пишут все писатели мира? Можно сосчитать по пальцам — любовь, смерть, труд, борьба. Все остальное сюда входит. Война, конечно. Даже море...»

В другой раз мы разговаривали о литературе в кафе на Пуэрта-дель-Соль. Это кафе чудом уцелело между двумя разбитыми домами. Подавали там только апельсиновый сок с ледяной водой. День был скорее холодным, и Хемингуэй вытащил из заднего кармана флягу, налил виски. «Мне кажется, — говорил он, — никогда писатель не может описать все. Есть, следовательно, два выхода — описывать бегло все дни, все мысли, все чувства или постараться передать общее в частном — в одной встрече, в одном коротком разговоре. Я пишу только о деталях, но стараюсь говорить о деталях детально». Я сказал ему, что во всех его произведениях меня больше всего поражает диалог — не понимаю, как он сделан. Хемингуэй усмехнулся: «Один американский критик уверяет, и всерьез, что у меня короткий диалог, потому что я перевожу фразы с испанского на английский...»

Диалог Хемингуэя так и остался для меня загадкой. Конечно, когда я читаю роман или рассказ, которые меня увлекают, я не думаю над тем, как они сделаны. Читает читатель, но потом писатель невольно начинает задумываться на тем, что связано с его ремеслом. Когда мне понятен прием, я могу сказать, что книга написана плохо, средне или хорошо, очень хорошо, она может мне понравиться, но она меня не потрясает. А диалог в книгах Хемингуэя остается для меня загадкой. В искусстве, может быть, самое большое, когда не понимаешь, откуда сила. Почему я полвека повторяю про себя строки Блока:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла...

Нет здесь ни новой мысли, над которой задумаешься, ни непривычных слов. Так и с диалогом Хемингуэя: он прост и загадочен.

Л. Ю. Брик, когда к ней однажды пришли гости, сказала, что поставит магнитофон; потом мы услышали наш разговор, и стало неприятно — мы говорили длинными «литературными» фразами. Герои Хемингуэя говорят иначе: коротко, как бы незначительно, и вместе с тем каждое слово раскрывает душевное состояние человека. Когда мы читаем его романы или рассказы, нам кажется, что именно так говорят люди. А на самом деле это не подслушанные фразы, не стенографическая запись — это эссенция разговора, созданная художником. Можно понять американского критика, решившего, что по-хемингуэевски говорят испанцы. Но Хемингуэй не переводил диалога с

одного языка на другой — он его переводил с языка действительности на язык искусства.

Человек, случайно встретивший Хемингуэя, мог подумать, что он — представитель романтической богемы или образцовый дилетант: пьет, чудачит, колесит по миру, ловит рыбу в океане, охотится в Африке, знает все тонкости боя быков, неизвестно даже, когда он пишет. А Хемингуэй был работягой; уж на что развалины «Флориды» были неподходящим местом для писательского труда, он каждый день сидел и писал; говорил мне, что нужно работать упорно, не сдаваться: если страница окажется бледной, остановиться, снова ее написать, в пятый раз, в десятый.

Я многому научился у Хемингуэя. Мне кажется, что до него писатели рассказывали о людях, рассказывали порой блистательно. А Хемингуэй никогда не рассказывает о своих героях — он их показывает. В этом, может быть, объяснение того влияния, которое он оказал на писателей различных стран; не все, конечно, его любили, но почти все у него учились.

Он был моложе меня на восемь лет, и я удивился, когда он мне рассказал, как жил в Париже в начале двадцатых годов — точь-в-точь как я на восемь лет раньше; сидел за чашкой кофе в «Селекте» — рядом с «Ротондой» — и мечтал о лишнем рогалике. Удивился я потому, что в 1922 году мне казалось, что героические времена Монпарнаса позади, что в «Селекте» сидят богатые американские туристы. А там сидел голодный Хемингуэй, писал стихи и думал над своим первым романом.

Вспоминая прошлое, мы узнали, что у нас были общие друзья: поэт Блез Сандрар, художник Паскин. Эти люди чем-то напоминали Хемингуэя; может быть, чрезмерно бурной жизнью, может быть, сосредоточенным вниманием к любви, к опасностям, к смерти.

Хемингуэй был человеком веселым, крепко привязанным к жизни; мог часами рассказывать о какой-то большой и редкой рыбе, которая проходит поблизости от берегов Флориды, о бое быков, о различных своих увлечениях. Однажды он неожиданно прервал рассказ о рыбной ловле: «А все-таки в жизни есть свой смысл... Я думаю сейчас о человеческом достоинстве. Позавчера возле Университетского городка убили американца. Он два раза приходил ко мне. Студент... Мы говорили бог знает о чем — о поэзии, потом о горячих сосисках. Я хотел познакомить тебя с ним. Он очень хорошо сказал: «Большего дерьма, чем война, не придумаешь. А вот здесь я понял, зачем я

родился, — нужно отогнать их от Мадрида. Это — как дважды два...» — И, помолчав, Хемингуэй добавил: — Видишь, как получается, — хотел распрощаться с оружием, а не вышло...»

Он тогда писал: «Впереди пятьдесят лет необъявленных войн, и я подписал договор на весь срок. Не помню, когда именно, но я подписал». Это говорит один из героев Хемингуэя, но это повторял не раз и автор.

Запомнился еще один разговор. Хемингуэй сказал, что критики не то дураки, не то прикидываются дураками: «Я прочитал, что все мои герои неврастеники. А что на земле сволочная жизнь — это снимается со счета. В общем, они называют «неврастенией», когда человеку плохо. Бык на арене тоже неврастеник, на лугу он — здоровый парень, вот в чем дело...»

В конце 1937 года я возвращался из Теруэля в Барселону. У моря цвели апельсиновые деревья, а под Теруэлем, который расположен высоко, мы мерзли, чихали. Я приехал в Барселону продрогший, замученный и крепко уснул. Проснулся я оттого, что кто-то меня тряс: надо мной стоял Хемингуэй. «Ну что, возьмут Теруэль? — спросил он. — Я туда еду с Капой». В дверях стоял мой друг фотограф Капа (он погиб во время войны в Индокитае). Я ответил: «Не знаю. Началось хорошо... Но говорят, что фашисты подтягивают резервы». Я окончательно проснулся и в ужасе посмотрел на Хемингуэя — он был одет по-летнему. «Ты сошел с ума — там собачий холод!» Он засмеялся: «Топливо со мной», — и начал вытаскивать из разных карманов фляги с виски. Он был бодрым, улыбался: «Конечно, трудно... Но их все-таки расколотят...» Я дал ему имена испанских командиров, сказал, чтобы он нашел Григоровича: «Он тебе поможет». Мы распрощались на испанский лад — похлопали друг друга по спине. У Хемингуэя сохранилась фотография: я в постели, а он надо мной, и этот снимок был помещен в американской книге о его жизни.

Когда в июле 1938 года я вернулся в Испанию, Хемингуэя там уже не было. Запомнился он мне молодым и худым; я его не узнал, увидев десять лет спустя фотографию толстого дедушки с большой белой бородой.

Я с ним снова встретился в конце июля 1941 года. В Москве почти каждую ночь были воздушные тревоги; нас загоняли в убежище. Захотелось выспаться, и с Б. М. Лапиным мы решили провести ночь в Переделкине на пустовавшей даче Вишневского. Мне дали рукопись перево-

да романа Хемингуэя «По ком звонит колокол». Мы так и не выспались — с Борисом Матвеевичем всю ночь читали, передавая друг другу прочитанный лист. На следующий день Лапин должен был уехать под Киев, откуда он не вернулся. Громыхали зенитки, а мы все читали, читали. Роман был об Испании, о войне; и когда мы кончили, мы молча улыбнулись.

Это очень печальная книга, но в ней — вера в человека, любовь обреченная и высокая, героизм группы партизан во вражеском тылу, с которыми находится американский доброволец Роберт Джордан. В последних страницах книги — утверждение жизни, мужества, подвига. Роберт Джордан лежит на дороге с раздробленной ногой: он отослал своих товарищей. Он один. У него ручной пулемет. Он может застрелиться, но хочет, умирая, убить несколько фашистов. Хемингуэй прибег к внутреннему диалогу; вот короткий отрывок: «...Все шло так хорошо, когда ударил этот снаряд, — подумал он. — Но это еще счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Коротковолновые передатчики — вот что нам нужно. Да, нам много чего нужно. Мне бы, например, хорошо бы иметь запасную ногу... Послушай, а может быть, все-таки сделать это, потому что, если я потеряю сознание, я не смогу справиться и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, всякие вопросы, и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо... Плохо ты с этим справляешься, Джордан, сказал он. Плохо справляешься. А кто с этим хорошо справляется? Не знаю, да и знать не хочу. Но ты — плохо. Именно ты — совсем плохо. Совсем плохо, совсем. По-моему, пора сделать это. А потвоему? Нет, не пора. Потому что ты еще можешь делать дела. До тех пор, пока ты еще знаешь, что это ты должен делать дело. До тех пор, пока ты еще помнишь, что это ты должен ждать. Идите же! Пусть идут! Пусть идут! Ты думай о тех, которые ушли, сказал он. Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются по склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо... Я больше не могу ждать, сказал он. Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание... Но если дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго или если тебе удастся убрать офицера, это может многое решить...» Внутренний диалог кончается: «Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу...»

Название романа Хемингуэй взял из стихов английского поэта XVII века Джона Донна и поставил эпиграфом: «Нет человека, который был бы, как остров, сам по себе; каждый человек есть часть материка, часть суши; и если волной смоет в море береговой утес, меньше станет Европа, и также если смоет край мыса или разрушит дом твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня; ибо я един со всем человечеством; а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе».

Эти стихи могут стоять эпиграфом ко всему, что написал Хемингуэй. Менялись времена, менялся и он, но неизменно в нем оставалось то ощущение связи одного человека со всеми, которое мы часто называем по-книжному «гуманизмом».

После смерти Хемингуэя я прочитал статью в одной американской газете: критик уверял, что гражданская война в Испании была для писателя случайным эпизодом — между боем быков и охотой на носорогов. А это неправда. Хемингуэй не случайно оставался в осажденном Мадриде, не случайно во время второй мировой войны, будучи военным корреспондентом, вместо того чтобы сидеть в штабах, отправился к французским партизанам, не случайно приветствовал победу сторонников Фиделя Кастро. В его жизни была своя линия.

В августе 1942 года, в очень скверное время, я писал: «Хотелось бы встретить Хемингуэя после большой, всеевропейской Гвадалахары фашизма. Мы должны защитить жизнь — в этом призвание нашего злосчастного поколения. А если не удастся мне, многим из нас увидеть своими глазами торжество жизни, то кто не вспомнит в последний час американца с разбитой ногой на кастильской дороге, маленький пулемет и большое сердце!»

Роман «По ком звонит колокол» многие поносили. Одно дело старик и море, другое — молодость и война за человеческое достоинство. Ругали роман разные люди и по-разному: одних возмутило, что Хемингуэй оправдывает войну и что, увлекшись временным, он забыл про искусство, другим не нравились описания отдельных эпизодов гражданской войны, третьим — страницы, посвященные Андре Марти. (Стоит писателю сказать нечто за пятьдесят лет или хотя бы за день до того, как это становится общеизвестной истиной, на него все обрушиваются. Но если бы писатели старательно переписывали аксиомы, то они были бы заправскими дармоедами.)

Когда я был весной 1946 года в Соединенных Штатах, я получил письмо от Хемингуэя; он звал меня к себе на Кубу; с нежностью вспоминал Испанию. Поехать на Кубу мне не удалось. Незадолго до смерти Хемингуэй мне передал привет: надеется, что скоро встретимся. Я тоже надеялся...

И вот короткая газетная телеграмма... Сколько раз сообщали о смерти Хемингуэя — и в 1944 году, и десять лет спустя, когда над Угандой разбился самолет, в котором он летел. Потом следовали опровержения. Теперь опровержения не было... Хемингуэй никогда не говорил мне о том, что его отец, врач, кончил жизнь самоубийством; об этом я узнал от общих друзей. Герой романа «По ком звонит колокол» в последнюю минуту думает: «Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится, но лучше бы не понадобилось. Я против этого. Не думать об этом». Хемингуэй решил вопрос иначе, нежели Роберт Джордан. Смерть как-то сразу вошла в его жизнь, и о нем можно сказать без натяжки: умер, как жил.

А я, оглядываясь на свой путь, вижу, что два писателя из числа тех, кого мне посчастливилось встретить, помогли мне не только освободиться от сентиментальности, от длинных рассуждений и куцых увлечений, но и попросту дышать, работать, выстоять, — Бабель и Хемингуэй. Человеку моих лет можно в этом признаться...

24

Обязанности военного корреспондента, а может быть, и моя непоседливость заставляли меня все время кочевать. Один из шоферов, молодой Аугусто, ночью боялся заснуть у руля и просил: «Расскажи, какие дороги в Китае». Я ему говорил, что никогда в Китае не был; он скептически усмехался: «Удивительно! Я гляжу на тебя — не можешь две ночи подряд переночевать в одной комнате...»

Я просмотрел подшивку «Известий» за апрель 1937 года. 7-го я был возле Мората-де-Тахунья, где шли бои за «седьмую дорогу»; 9-го описывал атаку в Каса-дель-Кампо; 11-го писал про бомбежку Сагунто; 17-го сообщал из Валенсии о документах, найденных на немецком летчике; 21-го передавал из-под Теруэля об очередном наступлении; 26-го бродил по городу Пособланко на Южном фронте.

Да и разные у меня были занятия, кроме газетной работы. В секретариате по пропаганде мне рассказали, что

Франко мобилизовал молодых крестьян; нужно им объяснить, почему республиканцы воюют против фашистов; а листовок солдаты не подбирают — боятся.

Испанцы редко курят изготовленные на фабрике сигареты, предпочитают самокрутки. В республиканской Испании не было табака. У фашистов был табак, но не было папиросной бумаги, которая выделывалась в Леванте; она поступала в продажу в виде маленьких книжиц. Я предложил на каждом десятом листочке напечатать то, что нужно, а книжки с маркой старой солидной фирмы бросать в окопы противника. Дело оказалось сложным: пришлось самому ездить на фабрику, уговаривать выполнить заказ.

Потом я видал перебежчиков с «пропуском» — листиком папиросной бумаги. Курить хотелось всем, и, хотя фашистские офицеры уверяли, будто бумага отравленная, «книжки» охотно подбирали.

Как-то в Валенсии, в гостинице «Виктория», где я обычно останавливался, ко мне подошел швейцарец, представитель Красного Креста. Он сказал, что в фашистской тюрьме находятся советские летчики, взятые в плен. Франкисты согласны их обменять на пленных немецких офицеров. Он дал мне список. Я сразу понял, что ни один из летчиков не назвал себя — фамилии были прозвищами, придуманными для Испании (почему-то часто выбирали отчества — Иванович, Михайлович, Петрович, и фамилии звучали, как сербские.) Я тотчас передал список Г. М. Штерну.

Год спустя с сотрудником советского посольства я стоял возле моста, соединяющего французский пограничный город Андай (в наших газетах писали «Хендай») с испанским Ируном, захваченным в начале войны фашистами. Обмен произошел на мосту. Наши летчики выглядели ужасающе — измученные, изголодавшиеся, в лохмотьях. Мы их прежде всего накормили. Было это вечером, магазины давно позакрывались, а летчиков необходимо было одеть. Товарищи повели меня к владельцу магазина готового платья, который слыл «сочувствующим», объяснили ему, в чем дело; час спустя летчики могли сойти за иностранцев, возвращающихся с курорта. Они сдержанно, спокойно рассказывали о пережитом; только когда их провели в спальный вагон и они увидели постеленные койки, сверкающие простыни, один не выдержал — я увидел в его глазах слезы. Генерал Захаров, с которым я встречался в Испании, а потом на Белорусском фронте (он командовал авиационным соединением, куда входил французский полк «Нор-

мандия — Неман»), недавно рассказал мне, что некоторые из этих летчиков живы, он знает, где они находятся. Я обрадовался: случайно я затесался в их судьбу.

Я не соблюдаю хронологической последовательности: в памяти клубок городов и дат; да я и не пытаюсь дать историю испанской войны; мне хочется рассказать о том, чем я жил и какой видел Испанию весной 1937 года.

Разные города жили по-разному. Мадрид был фронтом. Валенсия неожиданно стала столицей, искусственной и неправдоподобной, а Барселона оставалась Барселоной — большим городом, с буржуазией, с анархистами, с традициями баррикад и предательств, с сотнями баров на людной Параллели, с беспечностью и вместе с тем трагичностью. Появились карточки, очереди; но душа города не изменилась.

Я думал, что после февральского обстрела крейсером барселонцы насторожатся, одумаются. Но похоронили убитых, расчистили улицы — и жизнь потекла по-прежнему. Устроили Неделю войны: театры должны были ставить военные пьесы, по радио передавали антифашистские речи, на улицах пестрели плакаты «Все на фронт!». Пожалуй, это убедительнее всего говорило о легкомыслии Барселоны: тридцать пятую неделю ожесточенных боев и бомбежек объявили Неделей войны. Кончилась Неделя — и в театрах возобновили легкие комедии, а в витринах книжных магазинов вместо брошюр, изданных секретариатом пропаганды, снова появились романы, анархистские теоретические книги и сочинения, посвященные сексуальной проблеме.

Однако куда опаснее беззаботности были внутренние распри. Я был далеко от Каталонии, на Южном фронте, когда в Барселоне шли уличные бои между анархистами и штурмовой гвардией. Выдавать происшедшее только за провокацию так же наивно, как увлечение дореволюционных эсеров террором объяснять заданиями Азефа. Для анархистов государство было злом, и, хотя в правительство Кабальеро входили представители СНТ, барселонская и арагонская вольница продолжала «углублять революцию». Когда в начале июня я снова увидел Барселону, я понял, что нет ни подлинного единства, ни доверия. Франко был далеко, и различные партии с опаской, порой с неприязнью поглядывали одна на другую. Каталонская буржуазия, вначале поддерживавшая Компаниса, была напугана и анархистами, и усилением власти центрального правительства. Рабочие, находившиеся под влиянием СНТ —

ФАИ, считали, что коммунисты, объединившись с Прието, «предали революцию».

Правда, кое-где на Арагонском фронте колонны, став дивизиями, несколько подтянулись. Были в Барселоне рабочие, понимавшие, что прежде всего нужно разбить Франко. Помню собрание на заводе «Дженерал моторс»: решили работать по десяти часов в день, чтобы дать армии больше грузовиков; один старый синдикалист кричал: «Мало десять, нужно шестнадцать!..» Но куда чаще приходилось слышать ожесточенные споры. Порой убивали из-за угла. Барселона, на вид веселая и беспечная, металась в лихорадке.

В Валенсии разместилось правительство, и город заполнили чиновники, беженцы из Мадрида, из городов, захваченных фашистами, дипломаты, журналисты. На площади Кастеляр висело давно вылинявшее полотнище: «Отсюда всего 150 километров до фронта!»

От Мадрида до фронта не было и пяти километров, но даже в Мадриде молодежь танцевала, суды разбирали дела о разводах, профсоюз официантов обсуждал новые ставки, и мальчишки выпрашивали у интербригадовцев заграничные почтовые марки. А Валенсия, по испанским понятиям, была глубоким тылом. Не будь частых ночных тревог, а порой бомбежек да наплыва беженцев, можно было позабыть, что война в самом деле недалеко.

Бульвары были обсажены апельсиновыми деревьями, плоды валялись на земле. Стояли очереди за мясом, за молоком; апельсинов было слишком много, они гнили в порту, куда редко заглядывали иностранные суда. Кафе были переполнены; посетители гадали, где начнется наступление — под Мадридом, у Кордовы или на Арагонском фронте. Толковали и о других битвах — политические бури не притихали. Кабальеро вышел в отставку и обличал Прието. Помню, как все в Валенсии передавали последнюю новость: Кабальеро хотел выступить на митинге в Аликанте, но его задержали на дороге мотоциклисты. Председатель Арагонского комитета, непримиримый анархист Аскасо, отказался признать правительство Негрина. Асанья огорчался и молчал. Компанис говорил, но тоже огорчался. Каждый день в Валенсию приезжали командиры с различных фронтов, требовали оружия.

В одном из посольств Латинской Америки, куда пригласили журналистов, я увидел фашистов, вывезенных из Мадрида; какая-то дама повторяла: «Это такой ужас, такой ужас!..»

В гостинице «Виктория», где я жил, иностранные журналисты пили коктейли, по вечерам играли в покер, жаловались на скуку.

Иногда устраивали митинги на площади. Иногда обнаруживали шпиона в «Виктории». Жара стояла несносная; с окрестных рисовых полей шла горячая сырость.

Зимой я часто встречался в Валенсии с Андре Мальро: его эскадрилья стояла неподалеку от города. Это человек, который всегда живет одной страстью; я знал его в период увлечения Азией, потом Достоевским и Фолкнером, потом братством рабочих и революцией. В Валенсии он думал и говорил только о бомбежках фашистских позиций, а когда я заговаривал о литературе, дергался и замолкал. У французских добровольцев были старенькие, плохие самолеты, но, пока республиканцы не получили советской техники, эскадрилья, созданная Мальро, сильно им помогала. Однажды он рассказал мне эпизод, который потом описал в романе «Надежда» и сделал стержнем снятого им в Испании фильма. Из фашистской зоны пришел крестьянин, сказал, что покажет, где находится фашистский аэродром. Крестьянина французы взяли с собой; но он не мог с высоты распознать местность. Летчику пришлось лететь на малой высоте. На аэродром сбросили бомбы, но самолет обстреляли, механик был тяжело ранен. В Валенсии для Мальро это было не литературным сюжетом, а боевыми буднями: он воевал.

В «Метрополе» жили некоторые наши военные. Во всех соседних домах жители разводили кур. Ксанти (майор Хаджи) ложился спать поздно, и на заре его неизменно будили петухи. Он жаловался: «Черт знает что! Да не будь я советским, я бы перестрелял всех петухов...»

Я поехал снова в Альбасете. До войны это был захолустный город, торговавший шафраном и ножами; достопримечательностей в нем не было, и туристы здесь не останавливались. В Альбасете формировались интернациональные бригады. Город подвергся сильным налетам фашистской авиации и напоминал разбомбленные предместья Мадрида. Мне запомнились в музее Христос на кресте со свежей раной от осколка бомбы и среди развалин большого кафе клочок старой афиши «Сегодня бал в Капитолии».

Пока я ходил по городу, в гостиницу пришли два человека из штаба Марти, обыскали мою комнату и нашли несколько номеров французской газеты «Тан». Они меня ждали и повели в штаб. Там выяснилось, что я — коррес-

пондент «Известий», и кто-то, гаркнув, что произошло «недоразумение», пошел докладывать начальнику.

Часа два я проговорил с Андре Марти; это был человек честный, но легко подозревавший других в предательстве, вспыльчивый и не раздумывавший над своими решениями. После этого разговора у меня осталась горечь: он говорил, а порой и поступал, как человек, больной манией преследования.

Я утешился вечером с интербригадовцами. Здесь были испанцы, французы, немцы, итальянцы, поляки, сербы, англичане, негры, русские эмигранты. Пели и «Молодую гвардию», как в предместьях Парижа, и традиционное «Красное знамя» итальянцев, и печальную песенку Мадрида о Французском мосте и четырех генералах, и нашу про волочаевские дни, и болгарские с понятными словами, с незнакомой восточной мелодией, похожие на водоворот звуков, вспоминали далекие города, шутили, подбадривали друг друга.

Много лет спустя на первых конгрессах сторонников мира, когда молоденькие делегаты пели, подымали вверх пестрые платочки, неистово аплодировали, я вспоминал Испанию: их отцов или старших братьев я видел в Альбасете, многие из них погибли под Мадридом, под Уэской, на Хараме. Не верится даже, что в тридцатые годы нашего века могла подняться из народных глубин большая и одинокая волна братства, самопожертвования. Верность заверяли тогда не подписями, не речами, а своей кровью. О каждом из этих людей можно было бы написать необыкновенную книгу. А книг не написали: пришла вторая мировая война, и потоки крови смыли кровавые капли на камнях Кастилии или Арагона.

В конце апреля я поехал в Андалусию, где шли бои за кусок земли, который называли «Эстремадурским клином». От Мотриля до Дон-Бенито — сотни километров. Можно с равным правом сказать, что никакого фронта там не было и что фронт был повсюду.

В окрестностях Гренады верхушки гор были заняты республиканцами или фашистами, а между ними в долинах крестьяне, привыкшие к выстрелам, как к грозам, пасли отары овец. Порой даже дороги не охранялись. Я видел бойца-анархиста, который взял в плен двух фашистских офицеров — они прикатили в машине, не зная, где находится противник (а это было у Адамуса возле Кордовы, то есть на самом оживленном секторе Южного фронта).

Фашисты старались прорваться к Альмадену: их соблазняла ртутная руда. Несмотря на бомбежки, на голод,

горняки продолжали работать. Фашистам подбросили итальянскую дивизию «Голубые стрелы», и они подошли вплотную к Пособланко. Этот городок отчаянно бомбили; его крошила артиллерия. Силы были слишком неравными. Но республиканцы удержали Пособланко. Ими командовал кадровый полковник Перес Салес, по-старомодному учтивый, с седой щетиной. Трудно разгадать людей по виду; я глядел на него и думал: вот ехал бы я в поезде, а напротив сидел бы такой человек, да разве я понял бы, на что он способен?.. Перес Салес говорил мне: «Я не коммунист, не анархист, я, знаете ли, самый обыкновенный испанец. Но что я мог сделать? Застрелиться нечестно. Вот в том окопе мы отстреливались. Два пулемета... У них было девять батарей. Только не подумайте, что это хвастовство. Я вам говорю: другого выхода у нас не было. Я мало разбираюсь в политике, но я испанец, я люблю свободу...»

На выручку защитников Пособланко пришел батальон, который назывался «Батальоном имени Сталина»; он состоял из андалусцев, главным образом горняков Линареса, где добывают свинец. Командовал батальоном толстый веселый южанин Габриель Годой. Он рассказал мне, что с детства работал на рудниках; походил он на добродушного медведя и признался, что пишет стихи.

В Андалусии было мало порядка, но еще много нерастраченного жара. В Хаэне меня заставили рассказывать о Маяковском; началась бомбежка, никто не двинулся с места, продолжали жадно слушать.

А бомбили Хаэн сильно; там я увидел сцену, которую мучительно вспоминаю даже после последней войны, после всего, на что мы нагляделись. Осколок бомбы сорвал голову девочки. Мать сошла с ума — не хотела отдавать тело дочки, ползала по земле, искала голову, кричала: «Неправда! Она живая...»

На одной из улиц Хаэна я долго глядел на старого гончара, который делал кувшины. Кругом были развалины домов, а он спокойно мял глину.

В Пособланко бомба снесла крышу суконной фабрики. Станки уцелели, и в полупустом городе, разбитом снарядами, без крова, без хлеба, рабочие возобновили работы; изготовляли солдатские одеяла. Я постоял и подумал: все-таки они должны победить! Это против логики, против здравого смысла — армия Франко становится все сильнее, но нет, мысль не мирится с тем, что останутся напрасными такое мужество, такая душевная щедрость.

Я возвращался из Пособланко в Валенсию; путь был долгим, можно было о многом подумать. Шофер, веселый андалусец, пел печальные фламенко. А я почему-то вспомнил село Буньоль в Леванте; там было семь тысяч душ. Это село приютило три тысячи беженцев — из Мадрида, Малаги, Эстремадуры. В каждом доме я видел чужих детей. В одном доме меня заставили остаться, поставили на стол миску с супом. «Сколько вас?» — спросил я хозяйку. «Шестеро, а теперь еще трое — из Мадрида». — «Справляетесь?» Она улыбнулась: «Справляемся. А не хватит, потерпим, гостей не обидим...»

Вот об этом я тоже думал — о благородстве. Нигде я не сталкивался со скаредностью, с желанием сохранить свое добро или, хуже того, разбогатеть на чужой беде. Кормили меня хорошо — я был русским. Кормили Аугусто — он из Мадрида. Но кормили еще и Пепе, и Кончиту, и Фернандо, не спрашивая, откуда они, говорили: «Время такое...»

Полковник Перес Салес сказал, что воюет за свободу; я так и не добился от него, о какой свободе он думал, вероятно, о главной — достойно прожить, достойно умереть. Анархист Пепе, тот, что дополз до окопов фашистов и раскидал курительную бумагу с призывами, говорил мне, что воюет за новый мир. Все будут трудиться. «Твой земляк Бакунин правильно рассуждал — к черту ангелов, министров, генералов, полицейских! Без них будет лучше...» Шофер был коммунистом; он сказал мне, что умнее всех Хосе Диас; когда расколотят фашистов, люди пойдут учиться; а ему хочется научиться писать такие пьесы, чтобы все плакали и смеялись, даже старый Перес Салес...

Была короткая южная весна, и в долинах зеленела трава, краснели маки. Иногда горы наползали на дорогу, иногда раскрывалась даль: домик, несколько зеленых дубов, речушка. Мы пересекали Ламанчу. Вот, наверно, на этом постоялом дворе заночевал Рыцарь Печального Образа...

Я думал о книге, которую люблю с детства. Конечно, «Дон Кихот» переведен на все языки, он волнует людей за тысячи верст от Ламанчи; но написать эту книгу мог только испанец. Есть в ней чудесный сплав пафоса и сатиры, благородства и унижения, жестокой морали басен и самой высокой поэзии; и напрасно придумали, что толстяк Санчо Панса противопоставлен Дон Кихоту, их не разделить никакими испытаниями. Я думал об этом, потому что видел не раз, как шли рядом навстречу смерти Дон Кихот и Санчо.

«Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском... и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком». Я вспомнил и эти слова. Зря я спрашивал старого полковника, о какой свободе он думает; он ведь сказал, что он испанец, Дон Кихот из Пособланко, Дон Кихот в 1937 году...

25

В Сариньене я часто бывал еще в те времена, когда ездил с кинопередвижкой. Теперь здесь помещалась группа наших советников. Испанец долго проверял мой пропуск. За столом сидел низкий плотный человек, очень мрачный; перед ним лежала карта и номер «Правды». Я сказал, что должен передавать в «Известия» о ходе боев за Уэску. Он налил мне из кувшина холодного чая. «Такой жары, кажется, еще не было...» Показал на карте деревню Чемильяс. «Задача — перерезать дорогу на Хаку. Ясно?» Он помолчал и вдруг скороговоркой спросил: «Новости знаете? Тухачевский, Якир, Уборевич — к расстрелу. Враги народа...» Он бросил на пол недокуренную папиросу, тотчас закурил другую и, наклонившись низко к карте, стал насвистывать что-то залихватское. Лицо у него еще сильнее помрачнело. Он долго рассматривал карту и, кажется, забыл о моем присутствии; полчаса спустя, взглянув на меня, угрюмо сказал: «Так вы говорите, в «Известия»?.. А Кольцов где?.. Дорога на Хаку, вот здесь домбровцы — командует Херасси, здесь гарибальдийцы — Паччарди... Лукач вам все расскажет. Он, кажется, еще в Каспе. Пейте — в машине будет хуже...»

День был действительно на редкость знойным. Кругом пылали скалы: ни дерева, ни травинки — рыжая каменная пустыня. Я сидел рядом с водителем и по глупости высунул в оконце голую руку — машина шла быстро, казалось, что хоть руку обдувает ветерок. В Каспе Лукача не оказалось, сказали, что он далеко — в Игриесе. Рука распухла, и меня лихорадило. Игриес, с глиняными домиками на склоне голой горы, напоминал раскаленный аул. Там я в последний раз увидел генерала Лукача, или, говоря точнее, Мате Залку. Обидно, что я плохо запомнил ту встречу: мне было не по себе, может быть, от ожога, может быть, и от разговора в Сариньене. Залка был усталым, признал-

ся, что у него мигрень; ругал меня: «Руку вы должны беречь: как-никак писатель...» Только прощаясь, он вдруг улыбнулся: «Скажите, вам не хочется на дачу? Ну на денек?..»

На следующий день я поехал из Барбастро в Игриес; там мне сказали, что КП Лукача в деревне Апиес. Мы ехали по дороге, которая петляла, несколько раз я спрашивал, туда ли мы едем; вдруг один боец, сам не свой, выкрикнул: «На нижней дороге... Снаряд... Генерала...» Я повернул назад; мы ехали долго. Каменный дом: здесь госпиталь. Сначала меня не пускали; потом пришел врач. «Лукач в безнадежном состоянии. Реглеру сделали переливание крови, его жизнь вне опасности, но ранение тяжелое. Шофер ранен в голову, он сидел рядом с генералом. Ваш соотечественник отделался легко — рана в ногу; его только что увезли...»

Я передал в «Известия», что Залка убит, Реглер ранен. На следующий день, разговаривая с редакцией, я спросил, напечатано ли мое сообщение о Реглере, — я знал, что его жена в Москве, и боялся, что до нее может дойти телеграмма, напечатанная в одной из мадридских газет, о смерти Реглера. Мне ответили: в «Правде» напечатано, что Реглер убит. «Мы не можем опровергать «Правду»...» Я связался по телефону с Кольцовым, который был в Валенсии. Михаил Ефимович хмыкнул: «Ну и дураки!.. Хорошо, сейчас передам. Кланяйтесь Реглеру... Мате жалко...»

На следующий день началось наступление. Я звонил по два раза в день: Чемильяс, Сан-Рамон, «хейнкели», «фиаты», воздушные бои, атаки, контратаки...

Наступление не удалось. Части, стоявшие вокруг Уэски, бездействовали. Бои шли только за дорогу на Хаку. Танки опоздали. У интербригадовцев потери были большие. Пять или шесть дней спустя все кончилось.

Я сейчас думаю не об Уэске — о генерале Лукаче. Рассказывая о людях, которых я знал, я начинаю рассказ с того дня, когда я их впервые увидел или когда случайное знакомство превратилось в нечто другое, когда они вошли в мою жизнь; а рассказ о Мате Залке я начал с его смерти; она меня потрясла.

Да и узнал я его незадолго до конца; все мои воспоминания относятся к марту — апрелю 1937 года: Бриуэга, различные КП, потом две деревни, где Двенадцатая бригада отдыхала (под бомбежками), — Фуэнтес и Меко, снова КП возле Мората-де-Тахунья, Мадрид и выжженная деревня Игриес.

В Советском Союзе я раза два или три видел Мате Залку; но мы здоровались, и всё, а общих друзей у нас не было. Мате Залку я не знал — встретил и полюбил генерала Лукача, венгра, защищавшего испанский народ, писателя, променявшего письменный стол на поле боя.

Конечно, когда я беседовал с Лукачем, я видел Мате Залку; хотя он много в жизни провоевал, он не стал военным; его подход к людям был продиктован участливостью, пониманием писателя, который знает куда лучше клубки страстей, нежели квадраты карты.

Я перечитал его роман «Добердо»; видно, что у Залки был настоящий дар, но его жизнь сложилась так, что в литературе он до конца чувствовал себя неуверенным дебютантом. Ему не было и восемнадцати лет, когда он выпустил книжицу рассказов. А отец готовил его для другой карьеры: до срока отдал в армию. Молодой Мате попал в военную школу, потом на фронт. В 1916 году он оказался в плену, послали его в лагерь, в далекий Хабаровск. После Октябрьской революции он составил отряд из бывших военнопленных и сражался на Дальнем Востоке за Советскую власть, воевал на Урале, на Украине, принял участие в освобождении Киева, в 1920 году участвовал в штурме Перекопа. Кончилась война, но Залка продолжал жить бурно, служил в продотрядах, писал агитационные рассказы; сблизился и подружился с Фурмановым; ходил на собрания рапповцев. Только в тридцатые годы он всерьез задумался над своей писательской работой и роман «Добердо» кончил за несколько недель до отъезда в Испанию. Залка родился писателем. Войны навязывала эпоха, а место в строю подсказывала совесть.

После победы у Гвадалахары и до операции у Мората-де-Тахунья (ее называли «разведкой боем», и она стоила многих жертв) в деревне Фуэнтес Мате Залка мне говорил: «Если меня не убьют, напишу лет через пять... «Добердо» — это все еще доказательства. А теперь и доказывать ни к чему — каждый камень доказывает. Надо только суметь показать человека, какой он на войне. И не сорвать голоса... Я не люблю крика...»

Когда Залка погиб, ему был сорок один год. Незадолго до смерти, в день своего рождения, он писал: «Думал о судьбе, о превратностях жизни, о прошедших годах и остался собой недоволен. Мало сделано. Мало успехов. Мало достигнуто». Снисходительный к другим, он был строг к себе. А на его писательском пути то и дело оказывались «превратности жизни».

Валенсия торжественно хоронила прославленного генерала Лукача, только несколько боевых друзей знали, что прощаются с Мате Залкой, с писателем, не написавшим той большой книги, о которой он мечтал.

Веселый, общительный, он любил тишину; чуть ли не всю жизнь слышал пальбу, спал, как он говорил, «держа ухо на земле», а умел услышать биение человеческого сердца; он громко жил, но говорил тихо.

Может быть, писательский дар помогал ему понять солдата? Его все любили, а командовал он людьми, у которых не было не только общего языка, но порой и общих идей; в частях, находившихся под его командованием, были польские шахтеры, итальянские эмигранты — коммунисты, социалисты, республиканцы, рабочие из красных предместий Парижа и французские антифашисты всех оттенков, виленские евреи, испанцы, ветераны первой мировой войны, зеленые подростки.

Я ездил в штаб Двенадцатой бригады и с Хемингуэем, и с Савичем, и один. Почему-то все мы любили бывать у Лукача, у его боевых друзей. Советником бригады был умный и душевный Фриц (я о нем упоминал). Непосредственными помощниками Лукача были двое болгар — порывистый, неуемный Петров (Козовский) и начальник штаба, тихий, скромный Белов (Луканов). Помню, в Фуэнтес они раздобыли козленка, и Петров жарил его на сухой лозе; вышел настоящий пир. Испанский художник, мой давний друг Фернандо Херасси работал сначала в штабе Залки, потом командовал батальоном. Был я в Меко со Стефой, которая приезжала повидать мужа. Адъютанта Залки Алешу Эйснера я тоже знал по Парижу. Его увезли из России, когда он был мальчиком; в Париже он писал стихи и произносил страстные коммунистические речи на любом перекрестке. В Испании он ездил на коне, обожал генерала Лукача, заводил литературные разговоры и с восхищением поглядывал на Хемингуэя. В Москву он приехал в скверное время и узнал на себе, что такое «культ личности». Отрезанный от мира, он душевно сохранился лучше многих, и в 1955 году я увидел того же энтузиаста. Комиссаром бригады был Реглер; он тоже любил поговорить о литературе и все время что-то записывал в тетрадку. Залка смеялся: «Смотри, он уж обязательно роман напишет, и толстый...» Среди командиров батальонов помню Янека, французского социалиста Бернара, храброго и обаятельного Паччарди. Венгр Нибург всегда ходил чуть опи-

раясь на палку. Так он пошел в атаку на следующий день после смерти Лукача и погиб.

Раненый Реглер, придя в сознание, сказал: «Идите к Лукачу, нужно спасти Лукача...» (От него скрыли, что генерал убит.) А два дня спустя среди бойцов я встретил тщедушного еврея, сына галицийского хасида, путавшего все языки Европы, четыре раза раненного под Мадридом; он всхлипывал: «Это был человек...»

В Мората-де-Тахунья Лукач был мрачен, говорил: «Это испанское Добердо». Нужно было прощупать противника, занять сильно укрепленные позиции и назавтра их оставить. Лукач волновался перед наступлением на Уэску: понимал, что вся тяжесть удара ляжет на интербригадовцев. Людей он берег, а себя нет и погиб оттого, что, торопясь на КП, поехал по обстреливаемой дороге, по которой запрещал ездить другим.

Хемингуэй, когда мы возвращались в Мадрид из Фуэнтес, сказал мне: «Я не знаю, какой он писатель, но я его слушаю, гляжу на него и все время улыбаюсь. Замечательный человек!..»

Лукач был веселым, всех умел развеселить — бойцов, крестьян, журналистов. Был у него свой номер: на зубах он выщелкивал различные арии; пел, и каких только песен он не знал! Однажды он при мне пошел танцевать с испанскими крестьянками, танцевал лихо и, вернувшись к нам, сказал: «Не забыл. Все-таки венгерский гусар...»

Он любил Венгрию; как-то сказал мне: «Жалко, что вы не видели пусты[1]. Я здесь часто вспоминаю... Венгрия очень, очень зеленая...»

Его называли Матвеем Михайловичем; он долго прожил в Советском Союзе; там оставил жену, дочку, называл их «моим тылом»; любил нашу страну, рассказывал, как хорошо летом на Полтавщине, любил русский характер и все же оставался венгром — сказывалось это и в певучем выговоре слов, и в поэтичности, и в душевной порывистости, которую он старался тщательно скрыть.

«Война — ужасная пакость» — это он не раз говорил; не было в нем никакого удальства, никакой воинственной позы. Вернувшись в Москву, я прочитал его письма жене, дочери. Он писал прямо, как на духу: «Теперь ночь, темно и сыро. На душе слегка неуютно. Но на войне бывают неуютные минуты...» «Твое и Талино письмо получил сегодня.

---

[1]Puszta — степь *(венг.)*.

Хожу праздничный, счастливый. Все спрашивают: «Что с вами вдруг? Как будто вы навеселе?» — «Ничего», — говорю я. Не хочу делиться счастьем ни с кем. Вот какой стал эгоист...» «В этот день у нас было удивительно тихо. В промежутках, когда людские голоса утихали, среди весенних кустов птичье пение делалось совершенно нестерпимым...» Не знаю, чего больше в таких признаниях — честности или мудрости.

Я писал, что испанская эпопея была последней волной; какая-то эпоха на ней кончилась. Я вижу комнату Лоти в «Гайлорде». Я зашел на минуту по делу. Лоти меня оставил поужинать. Было много народу: наши военные — Гришин (Я. Берзин, один из тех латышей, которые в первые месяцы революции охраняли Ленина), Григорович — Штерн, командир танковой части — высокий, крепкий Павлов, Мате Залка, привлекательный умный югослав Чопич, Янек. Мы были веселы, смеялись, а почему, не помню. (Из этих людей только я остался в живых. Залку убил вражеский снаряд. А других ни за что ни про что загубили свои.)

В Меко, пока Фернандо разговаривал со Стефой, мы с Залкой сидели на земле. Было уже тепло, все кругом зеленело. Залка говорил: «Вот у Фернандо маленький сын Тито, а мою дочку зовут Талочка, кончает школу. В общем, это глупо звучит, как в Художественном театре, но это же правда — небо все-таки будет в алмазах! Если в это не верить, трудно прожить день...» Мате Залка многого тогда не знал, как все мы. А теперь я думаю с печалью: он был прав, и «алмазы» — не глупая выдумка, алмазы будут, только все много дольше и много труднее...

По библейскому преданию, грешные Содом и Гоморра могли бы спастись, если бы там нашелся десяток праведников. Это верно по отношению ко всем городам и ко всем эпохам. Одним из таких праведников был Мате Залка, генерал Лукач, милый Матвей Михайлович.

26

Я знал, что наступление, которое должно было начаться в районе Брунете, — военная тайна, и никому об этом не рассказал. За неделю до начала боев шофер Аугусто сказал мне: «Что же ты едешь в Барселону? Прозеваешь представление. Свояк мне вчера сказал, что наши ударят на Брунете. Только смотри — это военная тайна...» Так бывало в Испании всегда: журналисты, телефонистки,

интенданты, шоферы передавали «по секрету» приятелям о готовящейся операции. Вдруг кого-то судили за шпионаж. Болтать, однако, продолжали.

Казалось, я должен был радоваться: Ассоциация писателей, над созданием которой я потрудился, собирает конгресс в Мадриде, как было решено еще перед началом войны. Это приподымет испанцев. Да и на всех произведет впечатление — впервые писатели соберутся, чтобы договориться о защите культуры, в трех километрах от фашистских окопов. А я, признаюсь, в душе злился: предстоящие военные операции занимали меня куда больше, чем конгресс.

Несмотря на неудачу боев под Уэской, я снова предавался мечтаниям. Арагонский фронт далеко, там много нестойких частей. Что ни говори, колонны анархистов, даже если их называют теперь дивизиями, мало пригодны для современной войны. Так говорили военные, и я им верил. (Людвиг Ренн еще в 1955 году писал в своей книге воспоминаний, что наступление на Уэску сорвалось из-за смерти генерала Лукача, которого будто бы погубили анархисты и «поумовцы». Я знал, конечно, и тогда, что Мате Залка погиб не по вине анархистов, но провал наступления частично объяснял небоеспособностью многих воинских частей.) Другое дело Мадрид: здесь порядок, 11-я дивизия Листера, интербригадовцы, наши танки...

(Оглядываясь теперь на прошлое, я вижу, что первая половина 1937 года была решающей. После мартовской победы у Гвадалахары не только мы, в Испании, но и военные специалисты, писавшие в английских или французских газетах, считали, что армия Франко в опасности. Наше лобовое наступление в Каса-дель-Кампо не удалось. Италия и Германия продолжали подбрасывать людей и технику. Разыгралась междоусобная война в Каталонии. Кабальеро носился с планом наступления на Южном фронте. Бои за Пеньяррою вначале всех обнадежили; но вскоре фашистам удалось восстановить положение. Военные говорили, что напрасно было рассчитывать на Южный фронт, — там мало сил, плохие коммуникации. Сменилось правительство, был принят план наступления на Уэску. Месяц спустя командование решило прорвать вражеский фронт в районе Брунете. Всякий раз первые дни приносили успехи республиканцам; но Франко быстро подтягивал резервы; немецкая авиация, куда более многочисленная, чем наша, бомбила дороги, и очередное наступление выдыхалось.)

Я ехал в Барселону, чтобы встретить делегацию советских писателей, и думал о предстоящих боях за Брунете. Кольцов мне сказал: «Вы должны теперь думать только о конгрессе, вы — в секретариате; в общем, все это затеяли вы. А с меня хватит советской делегации...» Я ответил: «Хорошо», — и все-таки мало думал о конгрессе.

До Барселоны мне не пришлось доехать. Неподалеку от Валенсии, в курортном местечке Беникарло на берегу моря, я увидел в ресторане многих делегатов; они ели уху. В. П. Ставский вытирал салфеткой лицо и жаловался: «Жарища — умереть можно!.. А уха, знаете, у нас лучше...»

Судя по газетам того времени, конгресс удался. Конечно, крупных имен было меньше, чем на конгрессе 1935 года, — не всех соблазняли бомбы и снаряды. Многие писатели, получив приглашение, ответили, что обсуждать литературные проблемы в такой обстановке — ребячество, никому не нужная романтика. Мешала и полиция разных стран: Франс Элленс, например, хотел приехать, но бельгийцы ему не дали паспорта. Все же в Испании были писатели с именем: Антонио Мачадо, Андерсен-Нексе, А. Толстой, Жюльен Бенда, Мальро, Людвиг Ренн, Шамсон, Анна Зегерс, Спендер, Гильен, Фадеев, Бергамин и многие другие.

Кто-то шутя назвал конгресс «бродячим цирком». Мы начали в Валенсии 4 июля, выступали в Мадриде, снова в Валенсии, в Барселоне, а кончили в Париже две недели спустя. Состав участников менялся — в Валенсии выступал Альварес дель Вайо (он был и на конгрессе в Париже в 1935 году как эмигрант), но, будучи министром, не смог поехать с нами дальше. Людвиг Ренн появился только в Мадриде: он командовал частью и остался на фронте. В Париже выступали Генрих Манн, Арагон, Хьюз, Пабло Неруда. Кажется, имелся порядок дня, но никто о нем не думал. Характер выступлений менялся в зависимости от обстановки.

В Мадриде, под обстрелом, конгресс напоминал митинг, а пестрые его участники на улицах города, храбрившиеся, но необстрелянные, производили впечатление знатных гостей, делегации английских парламентариев или американских квакеров.

В Валенсии, где находилось правительство, все было торжественно; нас приветствовал писатель Мануэль Асанья, он же президент Испанской республики; устроили банкет с тостами; минутами казалось, что никакой войны нет, а собрался очередной съезд пен-клубов.

В Барселоне на эстраде сидел Компанис, а Микитенко рассказывал о расцвете национальной культуры в социалистическом обществе.

В Париже сняли театр Сен-Мартен; народу пришло очень много, кричали: «Долой невмешательство!» Но того подъема, который мы видели на конгрессе в 1935 году, больше не было. Народный фронт трещал. Многие из левых интеллигентов, хотя они и кричали с другими: «Долой невмешательство!» — слушая рассказы о Мадриде, о Гернике, про себя думали: «Все-таки хорошо, что у нас мир!» До Мюнхена было уже недалеко.

Речей было много. Мне запомнилось выступление Хосе Бергамина, очень худого, носатого, с темными печальными глазами. Я теперь взял газету, где цитировал его речь: «Слово хрупко, испанский народ называет одуванчик, цветок, жизнь которого зависит от вздоха, «человеческим словом». Хрупкость человеческих слов бесспорна... Слово не только сырье, над которым мы работаем, это наша связь с миром. Это — утверждение нашего одиночества и вместе с тем отрицание нашей отъединенности... Лопе де Вега сказал: «Кровь кричит о правде в немых книгах». Кровь кричит в нашем бессмертном Дон Кихоте. Это вечное утверждение жизни против смерти. Вот почему испанский народ, верный гуманистическим традициям, принял этот бой...» Теперь я понимаю, почему меня взволновали слова Бергамина: он выразил то, о чем я смутно думал, пересекая Ламанчу.

Было много и других хороших речей; если они мне не запомнились, то виноваты в этом не ораторы. В жизни я часто выступал против сентенции древних римлян: «Среди оружия музы молчат». Мне не нравилась и не нравится мораль этого изречения так, как ее обычно толкуют: когда на дворе буря, поэту лучше помолчать, выждать. Но сейчас я спрашиваю себя: не понимали ли древние римляне этих слов иначе? У них был богатый опыт, то и дело они воевали; может быть, они просто подметили, что голос поэта не покрывает шума войны, хотя в те времена не было не только атомных бомб, но и мушкетов?.. Летом 1937 года в Мадриде речи писателей както не звучали. Восхищались мы другим. Пришли бойцы, принесли трофеи — знамя фашистского полка, только что захваченное в боях у Брунете. Привезли из госпиталя Реглера, он шел, опираясь на палку, не мог говорить стоя, попросил разрешения сесть, и зал встал из уважения к ране солдата. Реглер говорил: «Нет других про-

блем композиции, кроме проблемы единства в борьбе против фашистов». Это чувствовали в ту минуту все — и писатели, и бойцы, пришедшие нас приветствовать. Горячо встречали писателей, которые воевали: Мальро, Людвига Ренна, молоденького испанского поэта Апарисио и других.

Выступления многих советских писателей удивили и встревожили испанцев, которые мне говорили: «Мы думали, что у вас на двадцатом году революции генералы с народом. А оказывается, у вас то же самое, что у нас...» Я старался успокоить испанцев, хотя сам ничего не понимал. Кажется, только А. Л. Барто, говоря о советских детях, не вспомнила про Тухачевского и Якира; другие, повышая голос, повторяли, что одни «враги народа» уничтожены, другие будут уничтожены. Я попытался спросить наших делегатов, почему они говорят об этом на конгрессе писателей, да еще в Мадриде; никто мне не ответил; а Михаил Ефимович хмыкнул: «Так нужно. А вы лучше не спрашивайте...»

Фашисты по радио издевались над конгрессом. Ночью, однако, они проявили к нему некоторый интерес: начали палить из орудий по центру Мадрида. Почти все делегаты отнеслись к этому спокойно; нашлись и такие, приехавшие из спокойных стран, которые перепугались; о них потом рассказывали смешные истории, но в общем обстрел был сильным, а на войне порой бывает страшно, особенно с непривычки.

Грохот стоял отчаянный, заснуть было невозможно. Я долго беседовал с Жюльеном Бенда. Ему тогда было семьдесят лет, но держался он бодро, весь день ходил, осматривал город, позиции, а когда ночью начался обстрел, сказал мне, что он вообще спит мало, и не обращал никакого внимания на разрывы. Он говорил о конгрессе, считал, что мы правильно сделали, созвав его в Мадриде: «Сейчас главное — показать, что люди, которым дорога культура, на линии огня». Некоторые выступления он критиковал с легкой усмешкой: «Ваши друзья придают чересчур много значения Андре Жиду. Он никогда не скрывал своего презрения к рационализму, он последовательно непоследователен. Вы поверили в его общественную ценность, сделали из него апостола, а теперь предаете его анафеме. Это смешно, особенно здесь — в Мадриде. Андре Жид — птичка, которая свила гнездо на «ничьей земле»; стрелять нужно, как стреляют фашисты, — по батареям противника...»

Наступление на Брунете началось 6 июля утром. Вечером В. В. Вишневский отвел меня в сторону. «Давайте поедем в Брунете! Возьмем Ставского, он просится. Мы — старые солдаты. А я для этого и приехал...»

Всеволод Витальевич был человеком чрезвычайно эмоциональным; чем-то он напоминал хорошего испанского анархиста. Когда он начинал говорить, он сам не знал, куда его занесет и чем он кончит. Он был прекрасным оратором, говорил лучше, чем писал; многие ленинградцы мне рассказывали, что в годы блокады его выступления по радио помогали людям. Иногда он приводил в ужас нашу аудиторию тех лет: люди боялись не только сказать, но и услышать что-нибудь идущее дальше положенного, а Вишневский, войдя в жар, не помнил об установках. Как-то у А. Я. Таирова, рассердившись на меня, он выхватил револьвер, точь-в-точь как Дуррути. Он ругал Запад, говорил, что он — матрос, простецкий, народный, и одновременно восхищался Джойсом, Пикассо. Фашистов он ненавидел и помог мне во время германо-советского пакта напечатать в «Знамени» первые части романа «Падение Парижа».

Я пошел к испанцам; они мне рассказали, что первый день прошел хорошо, заняли Брунете, сейчас идут бои за Вильянуэва-де-Каньяда. Положение, однако, неустойчивое, Брунете почти в мешке, фашисты могут перерезать дорогу; во всяком случае, делегатов, приехавших на конгресс, везти туда не стоит, пускай лучше поедут на Хараму или посмотрят Карабанчель.

Вернувшись, я сказал Вишневскому: «Ничего не выйдет — не советуют». Он совершенно потерял голову, кричал: «А я думал, что вы смелый человек...» Я рассердился и ответил, что лично я поеду в Брунете, мне нужно передать в газету, что там происходит; у меня есть машина; испанцы меня просили не брать с собой писателей, приехавших на конгресс, но если он настаивает, то пожалуйста: завтра в пять утра поедем.

Жара в те дни стояла невыносимая. Я с ужасом вспоминаю ночи в комнате с закрытым черными шторами окном. Приходилось простаивать час, а то и два в душной кабинке и передавать в газету по телефону («не слышно — по буквам»), какие ораторы выступали на заседании и какие деревушки заняты республиканской армией.

На солнце тела убитых быстро загорали, темнели, и Ставский принимал всех мертвых за противников — у франкистов на этом секторе были батальоны марокканцев.

Я взял с собой фляжку. Ставский и Вишневский сразу выпили воду. Я уже знал, что лучше до захода солнца не пить — замучает жажда. Они действительно страдали и выпрашивали у бойцов глоток воды.

Когда мы шли в Брунете, я встретил знакомых командиров из батальона «Эдгар Андре»; они сказали, что дорогу сильно простреливают, лучше дальше не идти. Я ответил, что нам нужно обязательно в Брунете. «Только не задерживайтесь, — сказали они, — фашисты готовятся контратаковать».

Из Брунете фашистов выбили сразу, и в домах мы увидели накрытые столы, недоконченный обед. В помещении фаланги валялись листовки, плакаты, речи Геббельса, переведенные на испанский язык. Вишневский собирал «трофеи» — фашистские значки, флаги, раскиданные документы с печатями; просил меня переводить надписи на стенах; словом, мы замешкались. Когда мы шли в Вильянуэва, Ставский нашел фашистский шлем, надел на голову и обязательно захотел, чтобы я сфотографировал его и Вишневского.

Мы возвращались назад. Возле Вильянуэва-де-Каньяда дорогу сильно обстреливали. В. П. Ставский крикнул: «Ложитесь! Я говорю вам как старый солдат!..»

Вишневский полз и в восторге вскрикивал: «Ух! Ну, этот совсем близко! Черти, пристрелялись!..»

Когда мы вернулись в Мадрид, они стали рассказывать Фадееву, как мы замечательно съездили. А я пошел передавать отчет в газету.

За эту экскурсию мне влетело. Один из наших военных (кажется, это был Максимов) кричал: «Кто вам дал право подвергать наших писателей опасности? Безобразие!..» Я смущенно заметил, что я тоже писатель. Это его не обезоружило. «Вы другое дело. Вы, Кольцов ездите по службе. А у нас есть указания делегатов ограждать...» Он вдруг переменил тон: «Ну что вы скажете? Здорово? Заняли кладбище Кихорны. Там Кампесино... Я там до шести часов был, посплю часа три и снова поеду — мне здесь с Григоровичем нужно поговорить. Сволочи, сейчас звонили — бомбят...»

Я написал накануне речь для конгресса, но решил не выступать и дал листок редактору «Мундо обреро»; в моей речи не было ничего ни об Андре Жиде, ни о том, как мы истребляем «врагов народа». Недавно мне прислали номер «Мундо обреро» от 8 июля. В нем напечата-

на статья, которую я дал газете под заглавием «Непроизнесенная речь». Над нею сводка: «Поселок Кихорна окружен нашими войсками. Дух наших бойцов превосходен. Некоторые перебежчики указывают, что противник подтягивает новые части, чтобы сдержать наше продвижение». В моей речи есть одна мысль, которая мне кажется и теперь правильной: «Мы вступили в эпоху действий. Кто знает, будут ли написаны задуманные многими из нас книги. На годы, если не на десятилетия, культура станет военно-полевой. Она может прятаться в убежища, где рано или поздно ее настигнет смерть. Она может перейти в наступление».

«Годы» — мало, «десятилетия», может быть, преувеличенно: нам предстояло с того дня, как я написал эти строки, прожить на поле боя еще восемь лет. Да и потом настоящего мира не было.

А от «хрупких слов», как говорил Бергамин, писателю трудно отказаться: литература засасывает. Мальро уже весной кончил воевать: не было больше самолетов. Он начал писать роман об испанской войне — «Надежда». В Испании на фронтах стояло затишье. Людвига Ренна послали в Соединенные Штаты, в Канаду, на Кубу — он выступал с докладами об испанской войне. Реглер делал то же самое в Южной Америке. Мальро собирал в Америке деньги для испанцев. Кольцов осенью вернулся в Москву и взялся за книгу «Испанский дневник».

Конгресс кончился, я уехал из Парижа на юг Франции в маленькую деревушку. Там было тихо, порой даже слишком тихо. Зеленели поля табака, и медленно сочилась река Лот. Я написал повесть об испанской войне; вернее назвать эту книгу записями о событиях и людях.

Один из героев повести, немецкий эмигрант Вальтер, едет в Испанию, чтобы сражаться против фашистов. В окно вагона видно море. «Хорошо здесь, — думает он, — камни, рыбацкие сети, виноградники, тишина. Что человеку надо? Вздор! Много надо, очень много. Еще туннель. Вот и война!..» Повесть я назвал «Что человеку надо» — это мысли героя и автора между тишиной мирной жизни и начавшейся надолго войной.

Я мог оторваться на несколько месяцев от жизни военного корреспондента. Но уйти от войны я больше не мог; есть полевые бинокли, полевая почта, полевые госпитали; мое поколение получило в подарок долгие полевые годы.

27

Бомба упала близко, из окон посыпались осколки, и я услышал отчаянный женский крик; кажется, кричали многие, но один высокий голос покрывал все. Я растерянно оглянулся, стряхнул с себя пыль и пошел в сторону крика. Бомба упала на большое кафе, наполненное посетителями. Потом мне сказали, что было пятьдесят восемь жертв. Женщина продолжала кричать: не знаю, ударила ли ее воздушная волна или убили кого-либо из близких, — она не отвечала. Четверть часа спустя приехали пожарные, санитары. Увезли раненых. Пожарные долго откапывали трупы. Я пошел в гостиницу; хотел было сообщить в газету, потом раздумал: редакция меня предупреждала, что почти все полосы посвящены предстоящим выборам в Верховный Совет; да и отрадного тут мало... Дня три спустя я передал очерк «Барселона перед боями», о бомбежках упомянул бегло; писал, что город готовится дать отпор фашистскому наступлению. Статью напечатали через день после выборов.

Из моих старых друзей и знакомых мало кто остался. Многие советники вернулись на родину. Не было больше и Антонова-Овсеенко. В домике на холме Тибидабо сидел Савич над кипами газет; к нему приходили испанцы; когда у него бывал кофе, маленькая, хрупкая, как будто вырезанная из слоновой кости Габриэла угощала гостей. Почти напротив дома, где жил Савич, помещалось наше посольство. Л. Я. Гайкиса давно отозвали в Москву. Его заменил поверенный в делах С. Г. Марченко (Т. Г. Мандалян).

Я остановился все в той же гостинице «Мажестик»; там жили некоторые наши советники, немецкий журналист Киш, Марта Гюисманс, Изабелла Блюм. Иногда среди ночи стучался коридорный: «Тревога! Идите в убежище!» Я знал, что он не отстанет, одевался и шел вниз в вестибюль, стоял там или выходил на улицу. Мы делали все, что делают люди при таких обстоятельствах: зябли, позевывали, старались убить время разговорами. Марта любила позвить, поспорить, все равно о чем — о живописи, о стратегии или о ПСУК. Киш шепотом спрашивал меня, правда ли, что Пильняк оказался японским шпионом, жаловался, что Третьяков не отвечает на письма. Изабелла угощала шоколадом, я его жадно проглатывал — еды было мало.

Мало было и работы: «Известия» отводили испанским делам все меньше и меньше места: разворачивались большие события в Китае; полосы были заняты конституцией, предстоящими или прошедшими выборами.

Меня пригласили на пленум писателей, посвященный Руставели, который должен был состояться в Тбилиси. Предложение было соблазнительным: увижу старых друзей — Тициана Табидзе и Паоло Яшвили; будут тамада, тосты, шашлыки. Да и давно я не был в Москве — два года, нужно посмотреть, что у нас делается. В буржуазных газетах пишут, будто много арестов, но это писали и раньше; наверное, как всегда, раздувают... «Мундо обреро» описывает праздник по случаю новой конституции, ее называют «Сталинской». Увижу Ирину, Лапина, Бабеля, Мейерхольда, всех друзей. Мне захотелось передохнуть, отвлечься, и я позвонил Любе в Париж, что двадцатого декабря заеду за ней — поедем в Москву на две недели..

Тут-то Марченко мне сказал: «Готовится серьезная операция под Теруэлем». (На этот раз о намеченном наступлении мало кто знал, и фашистов оно застало врасплох.)

Что делать? Я решил, что пробуду под Теруэлем до восемнадцатого — увижу первые дни боев. Я поехал в Валенсию. Там было необычайно тихо: правительство месяц назад переехало в Барселону, и город зажил мирной провинциальной жизнью, только что впроголодь. Я повидал кое-кого из испанских друзей. Было тепло, цвели в садах розы. На побережье изнемогали деревья, обвешанные золотом апельсинов.

Путь шел в гору. Вот уже исчезли сады. Подул свирепый ветер. Мы поднялись на тысячу метров. Стоял туман, лицо хлестала поземка.

Под Теруэлем было холодно, нестерпимо холодно для испанцев; кажется, мороз доходил до двенадцати градусов при сильном ветре. Камни покрывались слоем льда, люди падали и ползли вверх на четвереньках.

Ровно год назад — в декабре 1936 года — я побывал у Теруэля; тогда тоже было холодно; пытались взять город, который клином входил в территорию, занятую республиканцами, и ничего из этого не вышло.

Я сразу увидел, что на этот раз куда больше порядка. Дивизии выглядели лучше; даже в дивизии СНТ, которой командовал анархист Виванкос, не было живописной бестолочи забытых всеми «центурий».

Накануне наступления сорок республиканских бомбардировщиков бомбили вокзал, позиции фашистов, дорогу на Сарагоссу. Это приподняло всех, и наступление началось удачно, в первый же день республиканцы продвинулись кое-где на восемь — десять километров.

Я был на КП испанской бригады. Никогда не забуду того дня. Даже в трагичной и щедрой на фантастику Испании я не видел подобной картины. Кругом были рыжие горы, и Теруэль с его башнями походил на средневековую крепость; а над ним висели свинцовые и фиолетовые тучи, раздираемые ветром. Туман прошел, свет был очень ярким, тени глубокими. Снова залет бомбардировщиков. Все вместе это было сочетанием доисторической природы с современной военной техникой. Солдаты ползли по скалам, падали под пулеметным огнем, ползли другие. Ветер все крепчал; у Брунете все мечтали о тени, а здесь хотелось хоть на минуту залезть в дом, отогреться. Взяли деревню Сан-Блас. Подошли к шоссе; неприятель оказался окруженным: дорогу наши держали под пулеметным огнем.

Я передал по телефону очерк о боях за Теруэль, говорил об успехах, но, помня Бриуэгу, Брунете, осторожно предупреждал: «При иной ситуации мы могли бы сейчас заняться догадками о судьбе Теруэля... Однако сейчас вопрос идет не об овладении тем или иным политически значительным центром, а о стратегических заданиях. Если бои, которые сегодня начались, потревожат противника, подготовлявшего удар, то можно будет сказать, что достигнут крупный успех». Мне хотелось верить, что Теруэль возьмут, но я боялся ввести в заблуждение читателей.

На второй день вечером я нашел Григоровича. Он только вернулся с наблюдательного пункта, продрог. Мы ели горячий суп, налитый в глиняные крестьянские миски. Григорович сказал, что завтра должны занять городское кладбище. А мне завтра нужно двигаться. Вот обида, не увижу развязки!..

«Григорий Михайлович, как, по-вашему, — возьмут Теруэль?» Он сказал, что южная группа отстала, все же дела идут неплохо; город должен пасть через несколько дней. Воздушная разведка, однако, установила, что Франко перебрасывает в Арагон дивизии, освободившиеся после ликвидации сопротивления в Астурии. «Видимо, Теруэль возьмем. А сможем ли удержать, не знаю. Мы подбрасываем горсточку, а немцы с итальянцами — охапку... Какой народ хороший! — И лицо Григоровича изменилось от ласковой улыбки. — Я человек военный, и военному здесь трудно, хлебнул горя, но народ замечательный!.. Наверно, скоро уеду. А вот Испании никогда не забуду. Мне Кольцов говорил, что они честные, а не в том дело, что жуликов мало, хотя это тоже правда. Честь,

кажется, понятие устаревшее, то есть слово, правда? А здесь зайдешь в хату — он и грамоты не знает, но обязательно «честь», прямо рыцарь какой-то... Больно за них, очень больно!.. Вот вы напишите про все, не теперь, так через десять лет, вы и про наших скажите, вы ведь знаете — мы старались. Все наши Испанию полюбили, это многое объясняет...»

Зазвонил телефон. Григорович выругался; потом сказал мне: «Вот чего не люблю... Связь, кажется, обеспечили. А вот артиллеристы не знали, что пехота за Кондуком, начали бить по своим. К счастью, плохо стреляли, но впечатление отвратительное...»

Я сказал, что завтра уезжаю в Москву; вернусь через две недели; надеюсь его встретить в Теруэле. «Это хорошо, что едете. Увидите, как там, дома... До скорого!..»

Ночью в Барселоне я простился с Хемингуэем. «Да мы скоро увидимся, — сказал я, — ты ведь в январе будешь здесь?..» Больше я его не увидел.

На столе у Марченко лежала «Правда», я узнал, что Григорович выбран в Верховный Совет: «Чечено-Ингушская АССР — Штерн Григорий Михайлович». Марченко говорил: «Завидую — Новый год встретите дома... Ну, возвращайтесь поскорее, а то у нас один Савич остается...» Я весело сказал: «До свиданья!» Мы и потом повторяли эти слова, хотя наступили годы, когда никто из нас при любом расставании не знал, что впереди. Честнее было бы говорить «прощай».

Я больше не увидел ни Григоровича, ни многих других «мексиканцев» или «гальегос»...

Мы ехали, минуя Германию, через Австрию. В Вене нужно было переехать с одного вокзала на другой. Город мне показался беспечным. Я не знал, что через три месяца в него войдут германские дивизии.

Где-то на вокзале я купил газету. «Республиканская армия взяла Теруэль». Я сидел в темном купе, и перед моими глазами вставали рыжий Арагон, Аугусто с его присказкой «опять тебя куда-то несет», молодые бойцы с поднятыми кулаками, кровь на мостовой Барселоны, смутная улыбка Григоровича — несвязные видения оставленного мною мира.

Вот и арка Негорелого. В вагон вошел молодой красивый пограничник. Я ему улыбнулся — с такими я дружил в Алкала-де-Энарес. Не вытерпел и сказал: «А Теруэль-то взяли...» Он тоже улыбнулся: «Вчера было в газете... Можете пройти в таможенный зал».

28

Мы приехали в Москву 24 декабря. На вокзале нас встретила Ирина. Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: «Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны». «Что это значит?» — спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: «Я так рада, что вы приехали!..»

Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: «Ты что, ничего не знаешь?..»

Полночи она и Лапин рассказывали нам о событиях: лавина имен, и за каждым одно слово — «взяли».

«Микитенко? Но он ведь только что был в Испании, выступал на конгрессе...» — «Ну и что, — ответила Ирина, — бывает, накануне выступает или его статья в «Правде»...»

Я не мог успокоиться, при каждом имени спрашивал: «Но его-то почему?..» Борис Матвеевич пытался строить догадки: Пильняк был в Японии, Третьяков часто встречался с иностранными писателями, Павел Васильев пил и болтал, Бруно Ясенский — поляк, польских коммунистов всех забрали, Артем Веселый был когда-то «перевальцем», жена художника Шухаева была знакома с племянником Гогоберидзе, Чаренца слишком любили в Армении, Наташа Столярова приехала недавно из Парижа. А Ирина на все отвечала: «Откуда я знаю? Никто этого не знает...» Борис Матвеевич, смущенно улыбаясь, посоветовал: «Не спрашивайте никого. А если начнут разговаривать, лучше не поддерживайте разговора...»

Ирина возмущалась: «Почему ты меня спрашивал по телефону про Мирову? Неужели ты не понял? Взяли ее мужа, она приехала, и ее тоже забрали...» Лапин добавил: «Теперь часто берут и жен, а детей отвозят в детдом...»

(Вскоре я узнал, что из «испанцев» пострадала не только Мирова, узнал о судьбе Антонова-Овсеенко, его жены, Розенберга, Горева, Гришина, да и многих других.)

Когда я сказал, что в Тбилиси мы увидим Паоло и Тициана, Борис Матвеевич изумился: «Вы и этого не знаете? Табидзе взяли, а Яшвили застрелился из ружья».

На следующее утро я пошел в «Известия». Встретили меня хорошо, но я не увидел ни одного знакомого лица. Вопреки совету Лапина, я спрашивал, где такой-то. Кто отвечал «загремел», кто просто махал рукой; были и такие, что поспешно отходили.

В тот же вечер мы уехали в Тбилиси. Я захватил с собой декабрьские газеты. Мирные статьи о труде, о достигнутых успехах иногда перебивались восхвалениями «сталинского наркома» Ежова. Я увидел его фотографию — обыкновенное лицо, скорее симпатичное. Я не мог уснуть, все думал, думал, хотел понять то, что, по словам Ирины, никто понять не мог.

На пленуме говорили о поэзии Руставели. Выступил испанский писатель Пла-и-Бельтран, которого я знал по Валенсии; его горячо встретили.

На торжественном заседании в президиуме сидел Берия. Некоторые выступавшие его прославляли, и тогда все стоя аплодировали. Берия хлопал в ладоши и самодовольно улыбался. Я уже понимал, что при имени Сталина все аплодируют, а если это в конце речи, встают; но удивился — кто такой Берия? Я тихо спросил соседа-грузина, тот коротко ответил: «Большой человек».

Ночью Люба мне рассказала, что Нина — жена Табидзе — передала, чтобы мы ее не искали, — не хочет нас подвести.

Я встретил много писателей, которых хорошо знал, — Федина, Тихонова, Леонова, Антокольского, Леонидзе, Вишневского. Был Исаакян, мне хотелось с ним поговорить, но не получилось, только после войны, когда он приезжал в Москву, я с ним однажды побеседовал по душам. Был исландский писатель Лакснесс, я тогда еще не читал его книг и не знал, что полюблю их. Были, как я и думал, банкеты, тосты, но незачем говорить о моем настроении: я все еще не мог опомниться. Новый год мы встретили у Леонидзе. Мы хотели развлечь милых, приветливых хозяев, а они старались развлечь или, точнее, отвлечь нас. Но не получалось: чокались, молча пили.

В Москву я возвращался с писателями. Меня позвал в свое купе Джамбул. С ним ехал его ученик и переводчик. Джамбул рассказывал, как сорок лет назад на свадьбе бая он победил всех акынов. Принесли кипяток, заварили чай. Джамбул взял свою домбру и начал что-то монотонно напевать. Ученик (Джамбул его называл «молодым», но ему было лет шестьдесят) объяснил, что Джамбул сочиняет стихи. Я попросил перевести, оказалось, что акын просто радовался предстоящему чаепитию. Потом он подошел к окну и снова запел; на этот раз переводчик сказал строки, которые меня тронули:

Вот рельсы, они прямо летят в чужие края,
Так летит и моя песня.

Кожа на лице Джамбула напоминала древний пергамент, а глаза были живыми — то лукавыми, то печальными. Ему тогда было девяносто два года.

Потом пришел А. А. Фадеев, принес несколько стихотворений Мандельштама, сказал, что, кажется, их удастся напечатать в «Новом мире»; вспоминал Мадрид, и глаза его, обычно холодные, улыбались.

Мы приехали в Москву. В редакции мне сказали, что собираются поставить вопрос о моем возвращении в Испанию, но теперь все требует времени — большие люди очень заняты, придется месяц-другой подождать.

Я прожил в Москве пять месяцев; и теперь я благодарен судьбе. Хорошо, что мне захотелось поехать в Москву, чтобы развлечься и отдохнуть: есть в истории народа такие дни, которые нельзя понять даже по рассказам друзей, их нужно пережить.

Прежде всего расскажу, как я жил в то время. Я часто выступал в различных вузах, на заводах, в военных академиях: рассказывал про Испанию. Мне прислали стенограмму одного из таких вечеров в клубе автомобильного завода, там есть статистика — я сказал, что выступал с докладом об Испании уже в пятидесяти местах. Я видел, что слушавшие тяжело переживают трагедию испанского народа, и это меня ободряло. Передо мною были честные и смелые люди, преданные коммунизму; они напоминали наших летчиков, с которыми я встречался в Алкала-де-Энарес.

Писать я не мог; я написал только две статьи об Испании для «Известий» — одну в марте, после фашистских побед, другую в первомайский номер. Много раз в редакции мне предлагали написать статью о процессах, о «сталинском наркоме», сравнить «пятую колонну» в Испании с теми, кого тогда называли «врагами народа». Я отвечал, что не могу, — пишу только о том, что хорошо знаю, и не написал ни одной строки.

Я и теперь могу писать только о том, что видел: о своей жизни в Москве, о жизни пятидесяти, может быть, ста друзей и знакомых, с которыми тогда встречался; постараюсь показать быт да и душевное состояние мое, моих приятелей, главным образом писателей, художников.

Наша жизнь в то время была диковинной; о ней можно написать книги, и вряд ли я смогу обрисовать ее на нескольких страницах. Все тут было: надежда и отчаяние, легкомыслие и мужество, страх и достоинство, фатализм и верность идее. В кругу моих знакомых никто не был уве-

рен в завтрашнем дне; у многих были наготове чемоданчики с двумя сменами теплого белья. Некоторые жильцы дома в Лаврушинском переулке попросили на ночь закрывать лифт, говорили, что он мешает спать: по ночам дом прислушивался к шумливым лифтам. Пришел как-то Бабель и с юмором, которого он никогда не терял, рассказывал, как ведут себя люди, которых назначают на различные посты: «Они садятся на самый краешек кресла...» В «Известиях» на дверях различных кабинетов висели дощечки, прежде проставляли фамилии заведующих отделами, теперь под стеклом ничего не было; курьерша объяснила мне, что не стоит печатать: «Сегодня назначили, а завтра заберут...»

Мне хочется здесь вспомнить чудесного человека — Павла Людвиговича Лапинского. Я писал, что познакомился с ним в годы первой мировой войны. Мы жили в гостинице «Ницца». Тогда я был чересчур молод, чтобы разобраться в сложном характере Лапинского, но слушал с интересом его рассказы о Польше, об Америке. Когда он обличал «оборонцев», я не спорил: не знал, прав он или нет, но человек мне был мил. Порой судьба тасует карты, посылает человека на место, мало соответствующее его душевному строю. Диего Ривера мог бы стать не художником, а героем революционной Мексики. Душевная структура П. Л. Лапинского была на редкость мягкой. Он сделался подпольщиком, публицистом, а, вероятно, ему было бы легче прожить жизнь с искусством. Я часто встречался с ним в тридцатые годы, и меня поражали его тонкость, отзывчивость. У него не было семьи, и прожил он жизнь одиноким холостяком. Когда я приходил в маленькую квартиру, заставленную книгами, мне становилось страшно: до чего он одинок! Вдова друга Лапинского Станислава Раевского недавно мне напомнила, как Павел Людвигович испугался, когда я сказал, что ему нужно завести собаку: животное может нарушить положенный распорядок. Маленькую таксу мраморного цвета он окрестил «Дездемоной» и страстно к ней привязался. Наверно, «Дездемона» неутешно выла, когда ее хозяина увезли незнакомые люди. В те нерадостные годы погибли многие мои друзья, товарищи по работе, и когда я шел по коридорам «Известий», мне казалось, что я иду по кладбищу.

А жизнь как будто продолжалась по-прежнему. Постановили организовать Клуб писателей и устраивать клубные дни. С. И. Кирсанов захотел и в этом показать себя

новатором; он устроил в клубе выставку картин Кончаловского, Тышлера, Дейнеки, революционизировал даже кухню. Помню обед в честь приехавшего из Ленинграда М. М. Зощенко. Подали суп из консервированных крабов, и Кирсанов объяснял: «Суп биск из омаров». В зале зажгли камин, возле него подогревались бутылки кварели. Кто-то предложил выпить за Красную Звезду, которую мне накануне вручили в канцелярии Верховного Совета.

Когда все встали из-за стола, один достаточно известный, мало приятный мне литератор отвел меня в сторону и зашептал: «Слыхали последнюю новость? Арестовали Стецкого... Ужасные времена! Не знаешь, кому кадить, на кого капать...» Были и такие...

Однажды в клубе я встретил С. С. Прокофьева — он исполнял на рояле свои вещи. Он был печален, даже суров, сказал мне: «Теперь нужно работать. Только работать! В этом спасение...»

Многие писатели продолжали писать; Тынянов закончил первую часть «Пушкина», вышла новая книга стихов Заболоцкого. Другие признавались, что «не пишется».

В. Г. Лидин нас развлекал, как всегда, смешными историями. Раз он позвал нас ужинать, пришел молодой восторженный человек, показывал куклы — Кармен была сухой ведьмой, а два шара объяснялись друг другу в любви, — это был С. В. Образцов. В другой раз мы встретили у Лидина одного из четырех участников экспедиции на полюс — Э. Т. Кренкеля, молодого, скромного; он с юмором рассказывал про жизнь на льдине, про лайку, которая помогла им прогнать медведей, собиравшихся похитить продовольственные запасы. Все это было радостным и отдохновенным.

Бывали мы и у Таировых, у Евгения Петрова, у Леонова. К нам часто приходили Бабель, Тихонов, Фальк (он незадолго до этого вернулся из Парижа), Вишневский, Луговской, Тышлер, Федин, Кирсанов. У Лапина сидели его друзья — Хацревин, Славин, и мы ужинали все вместе. Иногда мы заводили литературные споры, говорили о новой театральной постановке, а то и сплетничали — люди ведь продолжали влюбляться, сходиться, разводиться; иногда я рассказывал об Испании — она мне казалась бесконечно далекой и близкой; а иногда как-то незаметно начинался разговор о том, о чем мы не хотели ни говорить, ни даже думать.

У Ирины была пуделиха Чука, толстая, ласковая и, как сказал бы Дуров, с прекрасными условными рефлексами.

Борис Матвеевич научил ее многим номерам: она приносила папиросы, спички, закрывала дверь столовой. Бывало, гость начнет говорить за ужином о том, кого посадили, а черная косматая Чука, мечтая о кружке колбасы, поспешно закрывает дверь. Это всех смешило — мы ведь и в то время любили посмеяться.

Некоторые из людей, которых я знал, старались жить замкнуто, встречались только с близкими; подозрительность, опаска подтачивали человеческие отношения. Бабель говорил: «Теперь человек разговаривает откровенно только с женой — ночью, покрыв головы одеялом...» Меня, напротив, тянуло к людям. Чуть ли не каждый вечер к нам приходили друзья или мы ходили в гости.

Часто мы бывали у Мейерхольдов. В январе было опубликовано постановление о закрытии театра, как «чуждого». Зинаида Николаевна переболела острым нервным расстройством. Всеволод Эмильевич держался мужественно, говорил о живописи, о поэзии, вспоминал Париж. Он продолжал работать: обдумывал постановку «Гамлета», хотя и не верил, что ему дадут ее осуществить. У Мейерхольдов я встречал П. П. Кончаловского — он тогда писал портрет Всеволода Эмильевича, пианиста Л. Н. Оборина, молодых энтузиастов, для которых Мейерхольд оставался учителем.

Попал я как-то на писательское собрание. Различные литераторы обвиняли В. П. Ставского в том, что он «недоглядел»: повсюду — в журналах, в Жургазе, в издательстве — сидят «враги народа». Владимир Петрович потел, вытирал все время лоб. Я вспомнил, как он стоял во вражеской каске возле Брунете, и подумал: здесь пожарче...

И. К. Луппол позвал нас пообедать — он жил, как мы, в Лаврушинском. Его жена говорила, что они недавно переехали, купили мебель, вот только лампы нет; она добавила: «Как-то не то настроение, чтобы покупать...» (Луппол продержался еще полтора года, потом его постигла участь многих.)

В. В. Вишневский кричал, что все писатели должны учиться военному делу, даже старики. Говорил он о перебежке, о рокадных дорогах, о прощупывании противника.

Я встречался, даже дружил с людьми мне далекими: у нас было чувство локтя, как у солдат на войне. Войны еще не было, но мы знали, что она неизбежна. Мы сидели в окопе, и артиллерия, как то случилось у Теруэля, стреляла по своим.

Григорович мне сказал, что батарея республиканцев, открывшая огонь по деревушке, занятой своими, не успе-

ла, к счастью, пристреляться. Ежов стрелял по площадям и снарядов не жалел. Говорю «Ежов», потому что тогда мне казалось, что все дело в нем.

В последний части этой книги я попытаюсь поделиться мыслями о И. В. Сталине, о всем том, что лежит камнем на сердце каждого человека моего поколения. А сейчас ограничусь тем, что расскажу о моем понимании (вернее, непонимании) происходившего в то время, которое описываю. Я понимал, что людям приписывают злодеяния, которых они не совершали, да и не могли совершить, спрашивал и других и себя: зачем, почему? Никто мне не мог ответить. Мы ничего не понимали.

Я был на открытии сессии Верховного Совета — в редакции мне дали гостевой билет. Старейший депутат, восьмидесятилетний академик А. Н. Бах, в далеком прошлом народоволец, прочитал по бумажке речь и кончил ее, разумеется, именем Сталина. Раздался грохот рукоплесканий. Мне показалось, что старый ученый зашатался, как от воздушной волны. Я сидел высоко, вокруг меня были обыкновенные москвичи — рабочие, служащие, и они неистовствовали.

Да что говорить о москвичах; в далекой Андалусии я видел дружинников, которые шли на смерть с криками «Эсталин!» (так испанцы произносили имя Сталина). У нас много говорят о культе личности. К началу 1938 года правильнее применить просто слово «культ» в его первичном, религиозном значении. В представлении миллионов людей Сталин превратился в мифического полубога; все с трепетом повторяли его имя, верили, что он один может спасти Советское государство от нашествия и распада.

Мы думали (вероятно, потому, что нам хотелось так думать), что Сталин не знает о бессмысленной расправе с коммунистами, с советской интеллигенцией.

Всеволод Эмильевич говорил: «От Сталина скрывают...»

Ночью, гуляя с Чукой, я встретил в Лаврушинском переулке Пастернака; он размахивал руками среди сугробов: «Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину!..»

Да, не только я, очень многие считали, что зло исходит от маленького человека, которого звали «сталинским наркомом». Мы ведь видели, как арестовывают людей, никогда не примыкавших ни к какой оппозиции, верных приверженцев Сталина или честных беспартийных специалистов. Народ окрестил те годы «ежовщиной».

Кажется, умнее меня, да и многих других, был Бабель. Исаак Эммануилович знал жену Ежова еще до того вре-

мени, когда она вышла замуж. Он иногда ходил к ней в гости, понимал, что это опасно, но ему хотелось, как он говорил, «разгадать загадку». Однажды, покачав головой, он сказал мне: «Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем...» Ежова постигла судьба Ягоды. На его место пришел Берия, при нем погибли и Бабель, и Мейерхольд, и Кольцов, и многие другие неповинные люди.

Помню страшный день у Мейерхольда. Мы сидели и мирно разглядывали монографии Ренуара, когда к Всеволоду Эмильевичу пришел один из его друзей, комкор И. П. Белов. Он был очень возбужден, не обращая внимания на то, что, кроме Мейерхольдов, в комнате Люба и я, начал рассказывать, как судили Тухачевского и других военных. Белов был членом Военной коллегии Верховного Суда. «Они вот так сидели — напротив нас, Уборевич смотрел мне в глаза...» Помню еще фразу Белова: «А завтра меня посадят на их место...» Потом он вдруг повернулся ко мне: «Успенского знаете? Не Глеба — Николая? Вот кто правду писал!» Он сбивчиво изложил содержание рассказа Успенского, какого — не помню, но очень жестокого, и вскоре ушел. Я поглядел на Всеволода Эмильевича; он сидел закрыв глаза и походил на подстреленную птицу. (Белова вскоре после этого арестовали.)

Не забуду и другой день, когда по радио передали, что будут судить убийц Горького и что в его убийстве принимали участие врачи. Прибежал Бабель, который при жизни Алексея Максимовича часто у него бывал, сел на кровать и показал рукой на лоб: сошли с ума! Мне дали билет на процесс; к этим дням я еще вернусь когда-нибудь.

В 1942 году я писал в одной из статей: «Фашизм задолго до того, как напасть на нашу страну, вмешался в нашу жизнь, искалечил судьбу многих...» Да и в то время, о котором рассказываю, я не мог отделить нашей беды от недобрых вестей, приходивших с Запада.

В конце февраля фашисты снова заняли Теруэль. Италия и Германия усилили свою помощь Франко. Иден попробовал поднять голос против открытого вмешательства Италии в испанскую войну; ему пришлось уйти в отставку, пришел Чемберлен, сторонник сближения с Гитлером и Муссолини. Начались массированные бомбежки Барселоны; в течение нескольких мартовских дней было убито четыре тысячи жителей. Накопив силы, фашисты прорвали фронт республиканцев в Арагоне. В той единственной статье, которую я написал за несколько месяцев, есть такие строки:

«Ночью у себя в комнате я слушаю радиопередачу Барселоны. За окном — девятый этаж — огни большого города. Глухо доносится голос: «В районе Фраги мы отбили атаку...» Может быть, сейчас бомбят Барселону? Может быть, чернорубашечники снова атакуют «в районе Фраги»... Для меня Фрага была не абстрактным именем, а городом, где я часто бывал. Я видел перед собой улицы Барселоны и понимал, что война между нами и фашизмом началась. Сейчас она не на собраниях писателей, где обсуждают, кто дружил с Бруно Ясенским, а там — в Испании.

Я долго думал, что мне делать, и решил написать Сталину. Борис Матвеевич не решался меня отговаривать и все же сказал: «Стоит ли привлекать к себе внимание?..» Я написал, что был в Испании свыше года, мое место там, там я могу бороться.

Прошла неделя, две — ответа не было. Самое неприятное в таком положении — ждать, но ничего другого не оставалось. Наконец меня вызвал редактор «Известий» Я. Г. Селих; он сказал несколько торжественно: «Вы писали товарищу Сталину. Мне поручили переговорить с вами. Товарищ Сталин считает, что при теперешнем международном положении вам лучше остаться в Советском Союзе. У вас, наверно, в Париже вещи, книги? Мы можем устроить, чтобы ваша жена съездила и все привезла...»

Я пришел домой мрачный, лег и начал размышлять. Совет, переданный Селихом (если можно было назвать это советом), мне казался неправильным. Что я здесь буду делать? Тынянов пишет о Пушкине, Толстой — о Петре. Кармен снимает героические экспедиции, мечтает попасть в Китай. Кольцов причастен к высокой политике. А мне здесь сейчас делать нечего. Там я могу быть полезен: я ненавижу фашизм, знаю Запад. Мое место не в Лаврушинском...

Пролежав день, я встал и сказал: «Напишу снова Сталину...» Здесь даже Ирина дрогнула: «Ты сошел с ума! Что ж ты, хочешь Сталину жаловаться на Сталина?» Я угрюмо ответил: «Да». Я понимал, конечно, что поступаю глупо, что, скорее всего, после такого письма меня арестуют, и все же письмо отправил.

Ждать было еще труднее. Я мало надеялся на положительный ответ и знал, что больше ничего не смогу сделать, слушал радио, перечитывал Сервантеса, от волнения почти ничего не ел. В последних числах апреля мне позвонили из редакции: «Можете идти оформляться, вам выдадут заграничные паспорта». Почему так случилось? Этого я не знаю.

Один молодой писатель, которому в 1938 году было пять лет, недавно сказал мне: «Можно вам задать вопрос? Скажите, как случилось, что вы уцелели?» Что я мог ему ответить? То, что я теперь написал: «Не знаю». Будь я человеком религиозным, я, наверно, сказал бы, что пути господа бога неисповедимы. Я говорил в самом начале этой книги, что жил в эпоху, когда судьба человека напоминала не шахматную партию, а лотерею.

Первого мая я был в комнате радиокомитета, выходившей на Красную площадь; поэты читали стихи и комментировали демонстрацию; я говорил про Испанию. Я знал, что война будет шириться, охватит мир.

Настал день отъезда. На вокзал пришло много друзей; нам трудно было с ними расставаться. В Ленинграде, где мы задержались на несколько дней, были снова длинные беседы о происходящем и снова жар рук, неуверенное «До свиданья!..».

В Хельсинки была еще одна пересадка. Мы сидели с Любой на скамейке в сквере и молчали: не могли разговаривать даже друг с другом...

Мне было сорок семь лет, это возраст душевной зрелости. Я знал, что случилась беда, знал также, что ни я, ни мои друзья, ни весь наш народ никогда не отступятся от Октября, что ни преступления отдельных людей, ни многое, изуродовавшее нашу жизнь, не смогут заставить нас свернуть с трудного и большого пути. Были дни, когда мне не хотелось дольше жить, но и в такие дни я знал, что выбрал правильную дорогу.

После XX съезда партии я встречал за границей знакомых, друзей; некоторые из них спрашивали меня, да и самих себя, не нанесен ли роковой удар самой идее коммунизма. Чего-то они не понимают. Я — старый беспартийный писатель — знаю: идея оказалась настолько сильной, что нашлись коммунисты, которые сказали и нашему народу, и всему миру о прошлых преступлениях, об искажении и философии коммунизма, и его принципов справедливости, солидарности, гуманизма. Наш народ наперекор всему продолжал строить, а несколько лет спустя отбил фашистское нашествие, достроил тот дом, в котором теперь живут, учатся, шумят, спорят юноши и девушки, не знавшие жестоких заблуждений прошлого.

А мы с Любой молча сидели на скамейке чахлого сквера. Я подумал, что молчать мне придется долго: в Испании люди борются, я не смогу ни с кем поделиться пережитым.

Нет, идее не был нанесен роковой удар. Удар был нанесен людям моего поколения. Одни погибли. Другие будут помнить до смерти о тех годах. Право же, их жизнь не была легкой.

29

Рапорт начальника Московского охранного отделения подполковника фон Котена, о котором я говорил в первой части этой книги, датирован 14 января 1908 года — накануне моего ареста.

Охранники были недостаточно осведомлены. Говоря об ученической организации РСДРП, начальник охранки приводит имена товарищей, которые в 1908 году уже не были гимназистами, а если иногда приходили на наши собрания, то скорее как усердные партийные работники; к таким гостям относятся Г. Я. Брильянт, арестованный еще до рапорта, и Н. И. Бухарин, ошибочно названный Владимиром. Имена Бухарина и Брильянта (Сокольникова) теряются в длинном списке: филера в отличие от некоторых историков заняты не толкованием будущего, а скромными донесениями.

У отца Григория Яковлевича Брильянта, или Гриши, как мы его называли, была аптека на Трубной площади, туда я порой забегал. Гриша был бледным молчаливым юношей, который записывал в общую тетрадь конспекты прочитанных книг. Он никогда не уклонялся от ответа, говорил сдержанно и, как мне казалось, веско. Минутами я думал, что он чересчур сухой, и тотчас я говорил себе, что я — плохой марксист, что мне нравятся болтуны, что нужно не просто жить, а готовить революцию — мне ведь было тогда шестнадцать лет.

Когда меня вели на очередной допрос, в коридоре Бутырской тюрьмы я увидел Гришу. Мы понимали, что такое конспирация, и поздоровались только глазами. Потом товарищи мне рассказывали, что Брильянта приговорили к ссылке в далекое место Сибири. Оттуда он удрал за границу, и весной 1909 года я его увидел в библиотеке товарища Мирона. Он стал взрослым, но не изменился: такой же бледный и молчаливый. Он рассказал мне, что переводит социальный роман молодого французского писателя Шарля Луи Филиппа, пересказал содержание. Мне стало скучно — я уже строчил стихи и зачитывался произведениями «декадентов». Несколько лет спустя я понял, что

Шарль Луи Филипп — хороший писатель. (Он умер в возрасте тридцати пяти лет в тот самый год, когда Григорий Яковлевич мне о нем рассказывал.)

Прошло много времени, и летом 1930 года, оказавшись в Лондоне по приглашению Пен-клуба, я увидел Г. Я. Сокольникова — он был нашим послом. Он приехал в Лондон незадолго до этого: после разрыва дипломатических отношений консерваторами к власти пришли лейбористы и отношения возобновили. Григорий Яковлевич говорил о положении в Англии, о растущем кризисе, о трусости Макдональда. Несколько дней спустя я пришел к Сокольникову с Любой, увидел его молодую жену; почему-то мы заговорили о собаках. Люба уверяла, что лучше всего скотчтерьеры, и Григорий Яковлевич приветливо улыбался.

Прошло еще семь лет, и вдруг, развернув «Известия», я прочитал о судебном процессе, судили Сокольникова, Радека. Все мне показалось неправдоподобным. Сокольников уверял, что к нему в Лондоне пришел немецкий посол, сказал, что он знаком с позицией Сокольникова, но за помощь Гитлер требует всю Украину. Я ничего не понял. Не понимаю и теперь, что делали с арестованными Ягода, Ежов или Берия. Больше Сокольникова я не видел.

Конечно, молоденький Гриша когда-то помог мне разобраться в том, что, перефразируя стих Мандельштама, я назову «странностями политики», но я недостаточно знал его, и в моей памяти он остался скорее образцовым большевиком, чем живым человеком. Героем моего отрочества был Николай Иванович Бухарин. Он был на два с половиной года старше меня; в зрелом возрасте я об этом не думал, но в гимназические годы, хотя мы часто встречались, заняты были одним делом, я все время сомневался: не скучно ли ему водиться с мальчишкой?

Сокольников был создан для политики — я говорю не только о манере держаться, но о человеческом материале. А Николай Иванович был мне куда ближе и понятнее: веселый, порывистый, с любовью к живописи и поэзии, с юмором, не покидавшим его в самое трудное время, он был человеком той стихии, в которой я жил, хотя жили мы разным и по-разному. О нем я вспоминаю с волнением, с нежностью, с благодарностью — он помог мне не в понимании того или иного труднейшего вопроса, он мне помог стать самим собой.

Познакомились мы в гимназии — перейдя в пятый класс, осенью 1906 года, я оказался на втором этаже, где

помещались старшие классы. Я тянулся к Бухарину и его одноклассникам: Ярхо, Циресу, Астафьеву. Вскоре Бухарин позвал меня на собрание кружка: он рассказывал о марксизме. Потом я взялся за школьную организацию, за партийную работу, ходил на собрания в Сокольнической роще или на Воробьевых горах: мы встречались и на работе, и в свободное время.

Иногда Николай приходил ко мне. Мой песик Бобка не выносил ни сапог, ни громкого смеха, и однажды он повис на ноге Бухарина.

Иногда я заходил к Николаю. Отец его был педагогом, жили они на Малой Никитской возле Кудринской площади. Но чаще всего мы бродили по бульварам, то по Пречистенскому, то по Новинскому. Николай любил беседовать шагая и при этом жестикулировал. О чем только мы не говорили — о кознях меньшевиков и о романах Гамсуна, о Смидовиче и о спектаклях Художественного театра, о том, что Потемкин прочитал хорошую лекцию, посвященную Коммуне, и о том, что Лидия Николаевна — милая девушка!

Мы иногда вместе ходили в гости к двум подругам-большевичкам. Они жили на Козихах. Одна, которую звали Таней, потом вышла замуж за Макара — за В. П. Ногина. Другая нравилась Николаю, и я над ним подтрунивал. Ольга Павловна Ногина рассказывала мне о судьбе Лидии Николаевны Недокуневой. Она отошла от партийной работы, а после революции Бухарин устроил ее в одном из журналов. Когда Бухарина арестовали, от Лидии Николаевны потребовали, чтобы она выступила на собрании, заклеймив «врага народа», — это было в нравах времени. Недокунева в своей речи, забывшись, начала прославлять Николая Ивановича, а в конце спохватилась: «Товарищу Сталину было трудно пожертвовать таким человеком, но он это сделал для партии...» С собрания она пришла к О. П. Ногиной и сказала: «Ночью за мной придут». Ольга Павловна пробовала ее успокоить, но в ту же ночь Лидию Николаевну забрали. Она выжила и вернулась в Москву после XX съезда.

Все это очень давние и очень смутные воспоминания: с тех пор прошло почти шестьдесят лет. Я помню только озорные глаза Николая и слышу его задорный смех. Он часто говорил нецензурные слова, им придуманные, — в словотворчестве ему мог бы позавидовать Хлебников.

Мы расстались надолго. В 1910 году Бухарина арестовали и отправили в Архангельскую губернию. Год спустя

он удрал за границу, жил в Швеции, в Америке, в Швейцарии, в Кракове. Встретились мы в конце 1920 года. Он жил в Первом доме Советов — так звалась тогда гостиница «Метрополь». Мне показалось, что не прошло двенадцати лет — передо мной сидел не один из руководителей правящей партии, а смешливый и неутомимый Николай Иванович. Это он написал записку «лорд-мэру Москвы» (председателю Моссовета Л. Б. Каменеву), всполошился, когда узнал от Любы, что меня забрала Чека, а потом помог получить заграничный паспорт: «Посмотрите, что там теперь делается, а потом опишите, только позлее...»

Бухарин написал предисловие к первому советскому изданию «Хулио Хуренито».

В 1922 году он приезжал в Берлин, и мы с ним просидели часа три в маленькой пустой кондитерской. Помню, я сказал, что многое происходит не так, как нам мерещилось на Новинском бульваре. Он ответил: «Вы — известный путаник», потом рассмеялся и добавил: «Меня тоже называют путаником. Но вам легче — вы путаете в романах или в частных разговорах, а я, как-никак, член Политбюро...» С подлинным обожанием он говорил о Ленине: «Теперь ясно — выберемся или, если хотите, выпутаемся, — с Ильичом мы не пропадем...»

После сообщения о кончине В. И. Ленина я сразу пошел в «Метрополь». Бухарин сидел на кровати, обняв руками колени, и плакал. Я не сразу решился поздороваться.

Я продолжал «путать». А Бухарин был редактором «Правды», одним из руководителей Коминтерна. Он старался отстоять писателей от рапповцев, напостовцев, выступал против «критиков с дубиной».

Первый том Литературной энциклопедии включает статью о Бухарине как об «одном из видных теоретиков марксизма». Однако начинался «культ личности», и Бухарин вместо «Правды» стал редактором «Известий».

Весной 1932 года С. Раевский сказал мне, что Николай Иванович хочет, чтобы я стал постоянным парижским корреспондентом газеты. Я проработал с Николаем Ивановичем четыре года. Он старался сделать газету живее. Напечатал мою статью «Откровенный разговор» о подлинном низкопоклонстве Интуриста перед иностранцами. Напечатал также статьи, в которых я отстаивал поэзию Пастернака, театр Мейерхольда, живопись Штеренберга и Тышлера. Однажды Сталин позвонил Бухарину: «Ты что же, решил устроить в газете любовную почту?..» Было это по поводу моего «Письма к Дусе Ви-

ноградовой», знатной ткачихе: я попытался рассказать о живой молодой женщине. Гнев Сталина обрушился на Бухарина.

Во время Первого съезда советских писателей я каждый день встречался с Николаем Ивановичем. Он сделал доклад, посвященный поэзии. Его встретили восторженно: когда он назвал имя Маяковского, все встали. Доклад Бухарина был защитой поэзии от риторов, стихотворцев на случай, вульгаризаторов. Некоторые поэты обиделись и напали на Бухарина (будучи близкими к партийному руководству, они знали, что можно безнаказанно ругать Николая Ивановича). Особенно резок был Демьян Бедный, говорил, что «Бухарин выделил некий поэтический торгсин для сладкоежек», что он «старчески щурит глаза» и так далее. Между тем Бухарин отозвался о поэзии Демьяна Бедного мягче, чем некогда Ленин, в воспоминаниях Горького есть такие слова Владимира Ильича: «Грубоват. Идет за читателем, а надо быть немножко впереди». Бухарин в заключительном слове высмеял «фракцию обиженных». На последнем заседании съезда А. А. Фадеев неожиданно огласил: «Я действительно допустил слишком резкие заявления и выпады по адресу некоторых товарищей поэтов...»

Помню вечер, когда сообщили об убийстве Кирова. Я пошел в редакцию. На Бухарине лица не было, он всем кричал: «Идите и пишите о Кирове...» Я знал, что Киров и Орджоникидзе были друзьями, защитниками Николая Ивановича. Он и меня втолкнул в пустую комнату: «Пишите! Второго такого не будет...» Я еще не успел ничего написать, когда вошел Николай Иванович и шепнул: «Не нужно вам писать. Это очень темное дело...»

В апреле 1936 года Бухарин приехал в Париж. Он остановился в гостинице «Лютеция», рассказал мне, что Сталин послал его для того, чтобы через меньшевиков купить архив Маркса, вывезенный в Париж немецкими социал-демократами. Он вдруг добавил: «Может быть, это — ловушка, не знаю...» Он был встревожен, минутами растерян, но был у него чудесный характер: он умел забывать все страшное, прельстившись выставкой, книгами или «кассуле тулузен» — южным блюдом, гусятиной и колбасой с белыми бобами. Он любил живопись, был сам самодеятельным художником — писал пейзажи. Люба водила его на выставки. Французы устроили его доклад в зале Мютюалитэ, помню, как восхищался Ланжевен мыслями Бухарина. А из посольства пришел третий секретарь —

там если не знали, то предчувствовали близкую развязку. Мы как-то бродили по набережной Сены, по узеньким улицам Латинского квартала, когда Николай Иванович всполошился: «Нужно в «Лютецию» — я должен написать Кобе». Я спросил, о чем он хочет писать — ясно, что не о красоте старого Парижа и не о холстах Боннара, которые ему понравились. Он растерянно засмеялся: «В том-то и беда — не знаю о чем. А написать нужно — Коба любит получать письма».

От секретаря Бухарина С. А. Ляндреса и от его жены А. М. Лариной (она выжила, провела почти двадцать лет в концлагере) я знаю, что произошло в 1937 году. Бухарин был в Узбекистане, когда появилось сообщение о том, что на втором процессе (Радек — Пятаков — Сокольников) было указано на участие Бухарина в «правотроцкистском центре». Нельзя было найти никого, чтобы получить билеты на Москву: вокруг «врага народа» образовалась пустота. В Москве Бухарина очень долго не арестовывали, допрашивали его не в ГБ, а в ЦК. Ему, например, показывали утверждение Радека о том, что однажды к Радеку на дачу приехали Бухарин и Эренбург, ели яичницу и Бухарин с Радеком вели деловой разговор о захвате власти. Я однажды был с Николаем Ивановичем на Сходне у Радека, и нас действительно накормили глазуньей, но разговор шел не о заговоре, а об охоте — оба были страстными охотниками. Бухарина вызвали на заседание Центрального Комитета, он пробовал защитить правду, но люди кричали: «Расстрелять предателя!» Николай Иванович написал письмо будущим руководителям партии и заставил жену заучить его наизусть: она запомнила и выполнила последнее желание мужа.

В начале марта 1938 года один крупный журналист, вскоре погибший по приказу Сталина, в присутствии десятка коллег сказал редактору «Известий» Я. Г. Селиху: «Устройте Эренбургу пропуск на процесс — пусть он посмотрит на своего дружка».

Я был в Октябрьском зале и увидел на скамье подсудимых, кроме Бухарина, нескольких людей, которых знал, — Крестинского, Раковского. Они рассказывали чудовищные вещи, их жесты, интонации были непривычными. Это были они, но я их не узнавал. Не знаю, как Ежов добился такого поведения. Ни один западный автор халтурных полицейских романов не мог бы напечатать подобную фантастику.

Я был на заседании, когда Крестинский неожиданно отказался от показаний на предварительном следствии. Пред-

седатель трибунала Ульрих сказал, что сейчас допрашивают свидетелей, Крестинский сможет все объяснить, когда до него дойдет черед. Вскоре после этого генеральный прокурор Вышинский сказал, что все устали — нужен перерыв. После перерыва Крестинский попросил слова и объяснил, что отказ от показаний на предварительном следствии был с его стороны малодушием.

Вместе со старыми большевиками судили врачей, рядовых бюрократов и таинственных филеров. Врачам приписывали отравление Максима Горького и некоторых видных политических деятелей — врачи якобы выполняли поручения «правотроцкистского центра». Вышинский блистал знаниями древней истории и уверял, что за две тысячи лет до Бухарина древние римляне загадочно отравляли неугодных им сограждан. Тот же Вышинский, добившись от Николая Ивановича «признания», что он будто бы еще в 1918 году намеревался арестовать Ленина, восклицал: «Проклятая помесь лисицы со свиньей» или «Василий Шуйский, он же Иуда Искариот».

Все мне казалось нестерпимо тяжелым сном, и я не мог толком рассказать о процессе даже Любе и Ирине. Я теперь также ничего не понимаю, и «Процесс» Кафки мне кажется реалистическим, вполне трезвым произведением.

Я. Г. Селих спросил меня: «Напишете о процессе?» Я вскрикнул: «Нет!» — и, видно, голос у меня был такой, что после этого никто мне не предлагал написать о процессе.

Я вспоминаю сейчас веселого Николая. Ленин называл его «Бухарчиком», говорил о нем «любимец партии». Сталин хотел не только очернить и убить Бухарина, он хотел уничтожить память о нем. Правда всегда побеждает — рано или поздно. Порой слишком поздно... Я не мог не написать о друге далекой молодости.

30

Во Франции официально еще существовал Народный фронт, но теперь это была облупившаяся вывеска. Новое правительство возглавил Даладье, министерство иностранных дел он доверил Боннэ, который громко говорил, что жаждет мира, и, понижая голос, добавлял, что необходимо договориться с Берлином и Римом.

Трагедия Франции началась давно, еще в 1936 году, когда Леон Блюм, испугавшись правых, отказался продать

испанскому правительству вооружение. Это шло вразрез и с существовавшими договорами, и с интересами Франции, и с политическими убеждениями Блюма. Социалистический премьер любил Стендаля: в романах ему нравились характеры с сильными страстями; а у него самого характера не было. Он воскликнул: «Моя душа разрывается», — и заговорил о «невмешательстве». Разорвалась не только его душа, но и Франция.

В июне 1938 года многие французские политики понимали, что Муссолини не удовлетворится взятием Аддис-Абебы и Малаги, что для Гитлера Австрия только закуска, а Испания — рабочая репетиция. Но страна была разъединена. Противники Народного фронта, обозленные забастовками, поглядывали на фашистов с надеждой, как на опытных хирургов. А рядовые французы, многие из тех, что голосовали за Народный фронт, радовались, что они не в Вене и не в Барселоне, никто не бомбит, не заставляет по команде подымать вверх руки, они могут на террасах больших кафе и маленьких рабочих баров пить зеленые, золотистые или малиновые аперитивы. Франция уже репетировала предстоящее отречение.

Я купил в вокзальном киоске кипу газет и книгу неизвестного мне автора Леона де Понсэна с соблазнительным заглавием «Секретная история испанской революции». Фашистская газета «Гренгуар» объявила конкурс: читатель, который угадает дату, когда генерал Франко возьмет Барселону, получит пятьдесят тысяч франков. Из книги Леона де Понсэна я узнал, что коммунисты, социалисты и франкмасоны устроили заговор с целью отдать Испанию в руки евреев; Коминтерн для этого направил в Барселону Бела Куна, Вронского, Антонова-Овсеенко, Эренбурга, Кольцова, Миравильеса, Горева, Туполева, Примакова и других «преступников еврейского происхождения». Я подумал, что сумасшедшие есть повсюду, и задремал.

В пограничный испанский город Порт-Бу я приехал рано утром и попал сразу под бомбежку. Испания меня встретила кровью: на мостовой лежал убитый ребенок.

Я уехал из Испании в дни боев за Теруэль, когда еще все верили в победу. Вернувшись полгода спустя, я увидел другую картину. Конечно, я знал и в Москве, что фашисты одержали крупные победы, но одно дело читать о беде в газетах, другое — ее увидеть. Страшно, расставшись с любимым человеком, который работает, сердится, мечтает, ревнует, найти его подточенным жестокой, может быть смертельной, болезнью. Когда я уезжал, поло-

жение республиканцев было трудным, но даже нейтральные обозреватели гадали об исходе войны. Теперь я мучительно старался убедить себя, что еще не все предрешено и что чудо может спасти республику.

Возле Эбро пятидесятилетний испанец, живший долго в Париже (его звали Анхель Сапика), который пошел добровольцем в 1938 году, когда уже не оставалось места для иллюзий, говорил мне: «Смерть — это феномен, случай. Родиться, умереть — это не от нас зависит. Главное — прожить достойно, не презирая себя». Может быть, говоря это, он думал о другом — о том, что человеку хочется достойно умереть, сделать все, чтобы смерть не выглядела «случаем»?..

Я приехал в Барселону. Савич по-прежнему писал телеграммы, говорил, что его измотала работа — не может даже выбраться на фронт. Он спросил меня про свою жену, про Мирову, про некоторых военных советников. Я ответил, что Аля здорова, старается быть спокойной, а с Мировой плохо, да и со многими другими: «Трудно понять, почему каждый день забирают людей, ни в чем не повинных...» Савич удивленно на меня посмотрел: «Ты что — троцкистом стал?..» Он не был в Москве и многого не понимал.

Савич жил на горе. Я спустился в город. На площади Каталония по-прежнему старушка брала десять сантимов у прохожего, который садился на стул в сквере, и выдавала билетик. Десять сантимов стали микроскопической суммой; да и мало было в сквере людей — кругом чернели развалины домов. Но жизнь продолжалась... На той же площади старики сыпали крошки хлеба голубям. Все это могло показаться удивительным: паек был полтораста граммов хлеба, порой сто — где уж тут кормить голубей. Да и голуби могли бы улететь — редко выпадала ночь без бомбежки. Но я не удивлялся: уже задолго до этого я понял, что можно разворотить, изувечить, истоптать жизнь, и все-таки влюбленные будут целоваться, обмениваться клятвами, а старушки прибирать — комнату, тюремную камеру, больничную койку, кажется, даже свой собственный гроб.

На Рамбле по-прежнему продавали цветы. В театре шла премьера «Укрощение строптивой». Возле богатых особняков развели огородики: картошка, салат. В ресторане подавали вареные бобы без масла, но скатерти были чистые. А мыла не было.

Чистильщики ботинок хорошо зарабатывали — вакса была, и, верные своим привычкам, барселонцы радовались, глядя на сверкающую обувь.

Вышел очередной номер журнала «Филателист Барселоны». Я подсчитал в газете: работают двенадцать театров и пятьдесят четыре кинотеатра. В том же номере сообщалось, что вчера была сотая, следовательно юбилейная, бомбежка Барселоны.

Квартал рыбаков, веселая Барселонета, был снесен бомбами. Газеты каждый день помещали объявления в черных рамках: такой-то погиб при бомбежке. Как-то бомба упала на кладбище и разворотила могилы, другой раз на родильный дом — было много жертв, на собор XIII века, на рынок. «Известия» попросили меня присылать фотографии; я ходил и снимал развалины, солдат, которые вытаскивали из-под груды камней покалеченные тела. Привыкнуть можно ко всему, и я думал, какую диафрагму лучше поставить... Вероятно, я напоминал старушку, собиравшую деньги за стулья.

Республиканская Испания была разрезана на две части: фашистам удалось прорваться к побережью. Немцы прислали крупных специалистов: Испанию они рассматривали как превосходные маневры перед предстоящим завоеванием Европы. А в боях за выход к Левантскому побережью, помимо войск Франко, участвовали четыре итальянские дивизии.

Я поехал на фронт, который в газетах по привычке называли Арагонским, хотя фашисты успели захватить все города и деревни Арагона — Барбастро, Фрагу, Сариньену, Пину, Каспе, — там, где я спорил, дружил и ссорился с неугомонными анархистами... Я добрался до пригорода Лериды. Город был в руках у фашистов, но республиканцам удалось удержаться в квартале, расположенном на другом берегу речки Сегре. Бог ты мой, сколько раз я приезжал в Лериду с Арагонского фронта! Тогда этот город казался глубоким тылом. Я шел в гостиницу «Палас», принимал ванну, гулял по городу, улицы были с аркадами, и вечером старинные фонари казались театральными. В кафе подавали вермут. За соседними столиками люди спорили, кто прав — ФАИ или ПСУК? А девушки, прогуливаясь мимо кафе, смеялись, их сопровождали восторженные взгляды как анархистов, так и социалистов. Теперь на том месте, где было кафе, — мешки с песком; дробь пулемета. Передо мною были узкие горбатые улицы, полуразрушенные дома набережной.

Почему-то я вспомнил старого кривого парикмахера: я у него стригся и брился, возвращаясь с фронта. Он балагурил, высмеивал генералов, анархистов, министров и гор-

до объявлял каждому: «Я умеренный анархист и непримиримый антифашист». Успел ли он уйти из города или погиб?..

Житель Лериды, переплывший речку, рассказывал, что в городе осталось четыреста человек (было сорок тысяч): «Все ушли. Помнишь большой дом на площади Паэрия, рядом с «Паласом»? На нем написано красной краской: «Мы не хотим жить с убийцами». Это не солдаты написали, а кто-то из жильцов, когда уходили...»

Трудно объяснить, как удалось остановить фашистов на правом берегу узкой неглубокой реки. Осенью 1936 года их задержали на окраине Мадрида. Военные тогда объясняли, что город легко оборонять, но здесь фашисты заняли город и вдруг натолкнулись на яростное сопротивление. Это бывало в Испании не раз и, видимо, связано не с особенностями рельефа, а особенностями характера: люди сдавали почти без боя сто, двести километров, и вдруг подымались ярость, гнев, воля — враг не мог продвинуться на сто метров.

Я сидел с бойцами, когда осколок снаряда убил красивого смуглого бойца; его звали Куррито, он был андалусцем из Сьерра-Морены. Другой боец, портной, барселонец, который прежде все время шутил, долго стоял над убитым товарищем, шевелил губами, видно было, что он сдерживает слезы; наконец он сказал: «А я ему рубашку обещал зашить...»

Осколок обломал ветку персикового дерева. Мы молча ели душистые плоды — в Лериде они поспевают рано. Барселонский портной сказал: «Куррито любил персики...»

В батальоне было довольно много добровольцев, записавшихся недавно, — пожилых людей, подростков. Политики говорили, что война подходит к концу; а вот эти пришли воевать .. Вряд ли они рассчитывали на победу, но не хотели или не могли стоять в стороне. Я знал Испанию, и все же всякий день она меня удивляла.

Когда я возвращался в Барселону, бомбили дорогу. Мы пролежали полчаса в траве. Потом я увидел искромсанное поле пшеницы. Отчего-то это было нестерпимо больно, хотя я видел вещи пострашнее. Может быть, оттого, что, когда я был ребенком и ронял кусок хлеба, няня Вера Платоновна сердито говорила: «Поцелуй», — и я целовал ломоть.

В Барселоне я разговаривал с пленным немецким летчиком Куртом Кетнером, сыном бранденбургского архитектора. Он приехал в Испанию рано, в октябре 1936 года;

он сразу сказал мне, что он лейтенант рейхсвера, летал на «Хейнкеле-111». Когда я спросил его, почему он бомбил испанские города, он громко засмеялся: «Опять эти истории с «мухерес и ниньос»? (Он говорил по-немецки, но слова «женщины и дети» сказал по-испански.) Вздор! Недавно я видел после бомбежки облако дыма. Это, наверно, дымились мухерес и ниньос».

Его нельзя было назвать невежественным; он прочитал немало книг, говорил о «философии истории», но мне он казался дикарем, смелым и злобным. Такие встречи помогли мне познакомиться с духовным миром, несложным, но своеобразным, офицеров и солдат, которых два года спустя я увидел марширующими по улицам Парижа, а в 1941-м у нас, в Белоруссии.

Трагический фарс «невмешательства» продолжался. Я видел, как в Сербере задержали несколько сот лопат, купленных для крестьян Каталонии. Я поехал в Андай — хотел посмотреть, что происходит на границе между Францией и фашистской Испанией.

В Андае у меня были друзья, я об этом упоминал в рассказе об обмене летчиков. Эти друзья свели меня с ответственным служащим таможни, который ненавидел фашизм. Он мне показал документы о грузах, направлявшихся в фашистскую Испанию. Конечно, Италия и Германия самолеты, танки, артиллерию, боеприпасы отправляли морем в порты Португалии, в Бильбао, в Кадикс; но для более невинных вещей они пользовались транзитом через Францию; так направлялись грузовики, мотоциклы, каучук, моторы, химические продукты для военной промышленности. Никакого контроля на границе между Францией и фашистской Испанией не было, несмотря на все заверения французского правительства.

«Известия» напечатали мою статью, и французская полиция возмутилась; оказалось, что я нарушаю принципы невмешательства. (Я все-таки был наивным: хотел кого-то пристыдить, раскрыть кому-то глаза — думал, что дело идет к Вердену, а дело шло к Мюнхену.)

Я должен рассказать об одной довольно глупой истории. Мне захотелось хотя бы на несколько часов очутиться в фашистской Испании, поглядеть, что там делается. Нечего было мечтать о фальшивых документах: в Ируне имелся советник-гестаповец. В Андае мне рассказали, что контрабандисты часто проносят в испанские пограничные деревушки различные товары. Я напал на одного из них; он был французским баском. Он сказал мне: «Ладно. Толь-

ко имей в виду, что я политикой не занимаюсь. Я знаю, что фашисты — сволочь, но мне нужно кормить семью. Я тебя не выдам, но, если, не дай бог, нарвемся на пограничников, я прямо скажу, что ты чужой, пристал в дороге».

Мы перешли речку, потом начали подыматься. Я, признаться, волновался и раза два или три пережил страх; я даже не помню, что мой проводник — я звал его Жаком — тащил на себе. Наконец мы оказались в обыкновенной испанской деревушке, зашли в темный дом, где пахло оливковым маслом и чесноком. Жак привел туда Антонио. Антонио провел меня в другой дом. Сразу после того, как мы вернулись в Андай, я записал несложный разговор: «Хозяйка была старой и глухой. Антонио сказал мне: «Рекете убили ее сына. Вместе с Агирре. Там, где ты шел с Жаком, — возле Каса Роха. Он лежал и ругался. Она не знала. А когда она пришла, он был мертвый. Они ее оставили здесь, потому что она очень старая». Старуха глядела то на Антонио, то на меня. Антонио крикнул ей в ухо: «Они тебя здесь оставили, потому что ты очень старая». Она радостно закивала головой: «Да, да, очень старая»; потом она сжала острыми пальцами черный платок: «Он не был старым, он еще был молодым», — и громко заплакала. Антонио поднес палец ко рту: гвардеец! Я поглядел в щель ставен. Никого... Антонио рассказывал: «Здесь все его боятся... Я был в Элисандо на ярмарке. Там тоже никто не раскроет рта. Боятся... Мне один прямо сказал: «Я только с женой говорю. И то боязно...» Я сам из Вильмедианы, маленькая деревушка, сто шестьдесят душ, но у нас голосовали за социалистов; рекете расстреляли двадцать девять человек».

Антонио привел еще четверых, сказал им: «Можете с ним разговаривать — это француз из наших...» Крестьяне осторожно рассказывали о реквизициях, о штрафах. Вскоре за мною пришел Жак и сказал, что пора идти.

Вернулись мы под утро; зашли в бар на вокзале; пили коньяк.

В общем, я ничего не увидел и мог бы написать о старухе без того, чтобы зря рисковать. Это было затеей двадцатилетнего юноши; я это понимал и скорее стыдился, нежели гордился. Ко всему, я побаивался, что меня отзовут: скажут, корреспонденту «Известий» не полагается идти на такие авантюры. Но все обошлось, и я вернулся в Барселону.

Наивным был не только я; многие политические деятели еще верили в изменение позиции Англии и Франции. Нужно вспомнить события лета 1938 года, тогда многое ста-

нет понятным. Гитлер что ни день угрожал Чехословакии. Фюрер судетских немцев Генлейн отправился в Лондон, но вернулся недовольный. Хотя Чемберлен был готов к уступкам, ему приходилось считаться с оппозицией не только лейбористов, но и многих влиятельных консерваторов. Во Франции картина была такой пестрой, что нелегко было разобраться: почти в каждой партии имелись сторонники отпора и сторонники капитуляции. Правый журналист Кериллис, еще недавно проклинавший испанских республиканцев, писал, что Гитлер покушается на Францию. Левая газета «Эвр», прежде выступавшая против Франко, стала рупором кругов, которые называли себя «сторонниками мира» и стояли за любые уступки Гитлеру. Все нервничали. Владельцы гостиниц на побережье или в Альпах жаловались: люди забывают, что на дворе летние каникулы!

Альварес дель Вайо всегда был (да и остался) оптимистом. Помню, в то лето он доказывал мне, что война между Германией и Францией с ее союзниками неминуема. «Французы найдут в Испании не только врагов, готовых их атаковать с тыла, но и союзников». Он считал, что конец лета многое изменит в мире, повторял: «Наше дело — продержаться...»

Много писали, пишут и теперь о «чуде Мадрида», об осени 1936 года, когда испанский народ с помощью интербригад и советской техники остановил фашистскую армию. О последнем периоде написано куда меньше: разгром никогда не казался увлекательной темой. А я признаюсь: сопротивление во вторую половину 1938 года мне кажется еще большим чудом, чем оборона Мадрида в первую осень войны.

Пятнадцатого апреля 1938 года, когда войска Франко вышли к побережью и разрезали республиканскую Испанию на две части, исход войны был предрешен. Конечно, были и ошибки, и растерянность, и многое другое, но я пишу не историю войны, а книгу воспоминаний. Я думаю о том, что Каталония продержалась еще десять месяцев, Мадрид и того больше, и не могу побороть в себе волнение. Народы похожи на отдельных людей: их лучше понимаешь в дни глубокого несчастья.

В июне меня принял президент республики Асанья. Некоторые его называют «дезертиром», потому что он уехал во Францию в феврале 1939 года вместе с правительством. Конечно, президент республики должен был бы отправиться в Мадрид; но судьи не только слишком строги, они как бы не хотят понять, что Асанья был президентом воюю-

щей Испании поневоле. Когда республика приняла вызов Франко и вступила в бой, переменили правительство. Его много раз меняли. А президента нельзя было переменить, он был символом преемственности, вывеской для буржуазных демократий Запада, флагом.

Мануэль Асанья стал политиком скорее по недоразумению; он писал романы, эссе, вместе со всей передовой интеллигенцией ненавидел монархию, диктатуру Примо де Риверы. Он был прежде всего дилетантом — и в литературе и в политике; чувствовал он себя хорошо не в резиденции президента, не на посту премьера, даже не в парламенте, а в литературном клубе «Атенеум», где затевал диалоги эрудитов, где происходили ночные нескончаемые беседы, которые испанцы называют «тертульями». Он мог бы блистательно поспорить с Эдуаром Эррио о барокко, о госпоже Рекамье, о всечеловечности Кальдерона.

Никто не упрекнет его в трусости. Я был в Мадриде, когда 14 апреля 1936 года народ праздновал годовщину провозглашения республики. Асанья тогда занимал пост премьер-министра. Один фашист в него выстрелил. Началась паника. Асанья спокойно улыбался.

Все дальнейшее было для него непосильным испытанием: он был либеральным интеллигентом, и, когда Кабальеро принес ему на подпись список нового правительства, куда входили четыре анархиста, он заупрямился, пытался спорить, доказывал, что люди, отрицающие государство, не могут стать министрами. Он спорил, а с ним не спорили — он оставался флагом.

Он принял меня как корреспондента советской газеты и сделал заявление; в нем были такие строки: «Вооруженное нападение на республику, которое было организовано и которое поддерживается тремя европейскими государствами, принуждает нас вести войну за независимость не только в политическом значении данного слова, но и в том, что является самым высоким, самым основным, более длительным, нежели структура, режим государства: борьба идет за свободу развития испанского духа. Речь идет не о том, будет ли в Европе одной республикой больше или меньше, не о том, сможет ли та или иная политическая партия отстаивать свою программу. Речь идет о том, сможет ли великий народ, прославленный в стольких областях, принимать самостоятельное участие в создании современной культуры, или он будет удушен. В этом мировое значение испанской трагедии, в этом причина и сила самообороны Испании».

Передав мне заявление, Асанья вдруг печально улыбнулся: «Теперь мы можем поговорить как два писателя...» Я думал, что он начнет беседу о литературе, но он сказал: «Я поставил в моем заявлении слово «трагедия»; может быть, для главы государства это неуместно, но другого слова я не нашел. Негрин, кажется, верит, что Испанию спасет мировая война. Наверно, война начнется. Но ее не начнут, пока не задушат Испанию... Вы знаете нашу литературу. Мы всегда стремились к общечеловеческим идеалам. Испанец создал «Дон Кихота», его все оценили, и для всех он стал посмешищем. Нас жалеют и, жалея, посмеиваются... Испанию надолго посадят за решетку...»

Я встретился с барселонскими анархистами. Они ругали правительство, коммунистов, говорили, что Прието — прожженный политикан, что все происходящее каждый день подтверждает правоту анархистов, и вместе с тем с гордостью повторяли, что в советских газетах восторженно писали о командире Сиприано Мера, а он — анархист. Они клялись, что СНТ — ФАИ будут сражаться до конца, жалели, что правительство мало делает для организации партизанской войны: «Каждый испанец создан для герильи...» Один из них проводил меня до гостиницы. По дороге началась тревога, завыли сирены, и мы застряли в подворотне какого-то склада. Анархист говорил: «Хорошо, сознательным я стал в тысяча девятьсот двадцать восьмом году, мне тогда было двадцать три года. Я был на фронте, ранен в грудь. Сегодня я попросил, чтобы меня послали на Эбро. Во-первых, я — анархист, это обязывает...» Он замолк, я спросил: «А во-вторых?» Он ответил не сразу, и голос у него был смущенный: «Во-вторых?.. Но что ты хочешь? Испанцем я был еще до того, как стал анархистом. Может быть, ты думаешь, что я не испанец? Я из Севильи — как твой Хосе, только он был булочником, а я парикмахером. Я больше испанец, чем подлец Франко! Ну а как по-твоему, может настоящий анархист жить без Испании? По-моему, нет».

Испанским коммунистам было нелегко; все время они должны были что-то кому-то объяснять: анархистам — что такое дисциплина, без которой нельзя разбить фашистов, республиканцам — что такое революция, социалистам — что такое единство, а советским товарищам — что такое Испания.

Я встречался с Хосе Диасом, Долорес Ибаррури, Урибе, другими руководителями партии. Они помогали мне

разобраться в положении. Но сейчас я хочу припомнить один разговор, не имеющий отношения к событиям.

Никогда я не любил боя быков, и мы не раз спорили с Хемингуэем. Мне казались отвратительными и распоротые животы старых лошадей, и стрелы, втыкаемые в одуревшего быка, и кровь на песке, а самое главное — обман: бык не знает правил игры — бежит прямо на врага, а тореро вовремя чуть отклоняется в сторону; все искусство состоит в том, чтобы вовремя отбежать, не слишком рано, иначе публика освищет, да и не слишком поздно — зверь может прободать живот не клячи, а любимца Испании. У Хосе Диаса выпал свободный час. Как настоящий андалусец, он любил бой быков и сказал мне: «Ты думаешь, что мы всегда с тореро? Вот уж нет, часто мы на стороне быка. Ничего ты в этом не понимаешь...»

Не знаю, почему я сейчас вспомнил этот разговор; наверно, поэт оттеснил летописца. Вернусь к событиям 1938 года. В конце июля началось наступление на Эбро — последняя попытка республиканцев восстановить положение. Ночью солдаты в лодках переправились на правый берег, который был хорошо укреплен. Эбро — широкая река с быстрым течением. Наступающим удалось создать плацдарм, навести мосты, захватить городок Мора-да-Эбро, ряд деревень, создать угрозу для левого фланга фашистов. Началось долгое и кровопролитное сражение.

Я дважды был на правом берегу Эбро, видел различные бои. Фашистская авиация бомбила мосты почти непрерывно, и непрерывно понтонеры их снова наводили; у них была песенка:

Живут в пещере,
Черны, как негры,
И злы, как звери,
Понтонеры Эбро.

Они действительно жили в скалах, рассеченных бомбами. Когда я снимал мост, чтобы послать фотографию в «Известия», один понтонер сказал мне: «Только без выдержки, а то упадет бомба, и пропала твоя фотография...»

Здесь война выглядела иначе, чем у Гвадалахары или даже у Теруэля. На стороне Франко сражались одиннадцать дивизий. На трехкилометровом секторе фашисты сосредоточили сто семьдесят орудий. Долго бои шли за различные высоты Сьерра-Панолос, и я увидел, как может измениться абрис горы от длительного артиллерийского обстрела.

Я познакомился с командиром Мигелем Тагуэнья. Ему было двадцать пять лет, его называли комсомольцем. Он успел до войны кончить университет, занимался оптикой, готовил диссертацию, а вместо этого пришлось взять ружье. Он стал командиром корпуса. У него было еще по-детски припухлое лицо, но кадровые военные говорили о нем с уважением. Он сказал: «Дойдем до Гандесы...» И вопреки всему я начинал верить в возможность победы. На фронте было как-то спокойнее, чем в Барселоне. Я не думал о том, что делается в Европе, не думал даже о судьбе Валенсии — мои мысли были заняты высотой 544, как будто от того, в чьих руках окажется эта лысая, развороченная огнем макушка невысокой горы, зависел исход всей войны.

Армией командовал Хуан Модесто. Мы вспомнили начало войны; тогда Модесто набрал батальон имени Тельмана; я с ним познакомился в тот самый день, когда они взяли в плен первого фашиста; Модесто радовался, как ребенок: «Ты понимаешь — взяли пленного! Конечно, лучше бы двух — можно было сказать «взяты трофеи и пленные». Он и на Эбро мне сказал, что вспоминает тот далекий день как самый счастливый. Он рассказал мне свою жизнь: он андалусец, работал на лесопилке, любил футбол, политикой не интересовался. Как-то доктор дал ему крохотную газету «Голос пролетария». Модесто прочитал и задумался. Вскоре он стал коммунистом. На Эбро его палатка была набита книгами: учился военной науке. Веселый человек, он всех заражал весельем. Мне рассказывали, что в марте, когда люди пали духом, он пел песни, шутил, рассказывал андалусские анекдоты, и все невольно улыбались. Мы заговорили о перспективах. Модесто не унывал: «Посмотри, какая у нас теперь армия!» Потом он вздохнул: «Вот авиации мало... Да ты не объясняй, я все понимаю... Но очень мало...»

(Недавно я встретил Модесто в Риме после долгой разлуки. Я обрадовался, как будто ступил на землю Испании. Он все тот же и таким же голосом, как на Эбро, сказал: «Посмотри, какая теперь в Испании молодежь!..»)

Я не терял надежды, хотя понимал, что надеяться не на что. Сердце часто в размолвке с рассудком: это супружеская пара, которая не может ни мирно сосуществовать, ни развестись. Что меня приподымало? Да все то же — мелкие приметы. Не было табака, и одинокий солдат на посту сказал мне: «У меня две сигареты, отдай одну первому товарищу, которого встретишь...» В Барселоне на площади Каталунья я как-то дал двум девочкам плитку шоколада, ко-

торую привез из Франции. Девочки позвали подруг и аккуратно разломали плитку на десять крохотных кусочков. В прифронтовой каталонской деревне Пуидж-Верд я зашел в крестьянский дом и сразу увидел городских детей. Старик хозяин сказал мне: «В Испании теперь мало земли. Видишь, они из Фраги. Была у них земля, и отобрали...»

Это не сентиментальные истории, а быт Испании накануне развязки.

Летом, особенно осенью, я часто уезжал во Францию: разворачивались события, от которых зависела судьба Европы на долгие годы. Я предложил Савичу писать для «Известий», когда меня нет в Барселоне; он согласился, и газета обзавелась новым корреспондентом с красивым испанским именем Хосе Гарсия. Каждый раз, уезжая, я с тревогой оглядывался на испанского пограничника — стал суеверным. А вместе с тем я не только писал, но и чувствовал: есть еще надежда! Наперекор всему...

31

В четвертой части этой книги почти все главы связаны с политическими событиями, происходившими в Европе в 1934—1938 годы. Это естественно: события были значительными, и я не чувствовал себя зрителем. Я не могу оторвать свою биографию от приступов озноба, в которые эпоха бросала сотни миллионов людей. Рассказать про свою жизнь иначе — было бы неправдой.

Когда мне было двадцать лет, я думал о Кате, о картинах Мемлинга, о стихах Блока. Дни пахли туберозами, которые я покупал вместо того, чтобы пообедать. Я даже не знал, кто стоит во главе французского правительства, хотя жил в Париже, не интересовался тем, что происходило в Агадире, хотя агадирский кризис грозил мировой войной, не раздумывал над аграрной реформой Столыпина, хотя продолжал считать себя революционером.

Четверть века спустя я не только писал в газетах, я чувствовал свою зависимость от того, что в этих газетах сообщалось. Обоняние диктует памяти навязчивые детали, и многие дни того времени связаны в моих воспоминаниях не с ароматом цветов, а с запахом печатной краски.

Я говорю об этом без радости и без сожаления: жить по-другому я не мог. Двадцатилетнему юноше казалось, что он свободно выбирает такую жизнь, какая ему по душе. К концу тридцатых годов я давно распрощался со многи-

ми иллюзиями, знал, что если и дана человеку возможность выбрать дорогу, то петли этой дороги зависят не от него.

Назвался груздем — полезай в кузов. Да, конечно. Но ведь и грузди в кузове не похожи один на другой. Я писал в предшествующих главах о борьбе Испании, о малодушии Блюма или Даладье, о крестьянах Каталонии, о немецких летчиках. Теперь мне хочется рассказать немного о себе.

Я говорил, что часто ездил во Францию, где назревали большие события; газета об этом просила, да и мне самому хотелось знать — будет война или нет.

Люба сняла домик в Баньюльсе, возле испанской границы. Там я отдыхал от бомбежек; приезжали Савич, друзья из Барселоны. В Баньюльс приехала из Парижа моя давняя приятельница — розовая смешливая Дуся. Приехал Мальро — он кончал съемки фильма об испанской войне.

В Париже было тревожно, и после испанской эпопеи нелегко было мириться с малодушием, скаредностью, привязанностью к тысячам бытовых услад. Мало кто приходил на Монпарнас из моих старых друзей. Художники говорили уже не о фактуре холстов, а о судетских немцах и Чемберлене. Ирина писала редко, письма были пустыми, — впрочем, других я и не ждал. Новый посол Я. З. Суриц был человеком сердечным, но подружился я с ним по-настоящему много позднее — в послевоенные годы. Человеку, занимающему ответственный пост, трудно разговаривать: он должен уговаривать или отговаривать.

В 1938 году неожиданно для себя, после перерыва в пятнадцать лет, я начал писать стихи. Почему это приключилось? Прежде всего, от горя и одиночества. В часы радости человек общителен, он делит свою радость, будь то с толпой на улице, будь то среди четырех стен, с дорогим для него существом. А в минуты самого высокого, полного счастья человек молчит, как будто боясь словом поторопить время, разрушить внутреннюю гармонию. Горе же требует слов, у него есть язык, только очень редко ему перепадают чужие уши. Кто знает, как мы были одиноки в те годы! Речей было много, пушки уже кое-где палили, радио не умолкало, а человеческий голос как будто оборвался. Мы не могли признаться во многом даже близким; только порой особенно крепко сжимали руки друзей — мы ведь все были участниками великого заговора молчания.

Я глубоко привязан к своей основной работе — к прозе; знаю ее радости и трудности. Это — путь в гору, с петлями, с обвалами, с одышкой, порой и с инфарктами. Это — слова, обращенные к людям, о людях; комната прозаика всегда переполнена невидимыми для посетителя героями, милыми или несносными, друзьями или недругами, прошеными и непрошеными, навязанными жизнью. Прозаик ищет для своей работы уединения, ему нужны рабочий стол, тишина, но, по правде говоря, он живет и пишет на шумном, беспокойном перекрестке.

Поэт может сочинять стихи на улице, в автобусе, на скучном заседании, но в эти минуты он одинок. Никогда не вздумалось бы никакому прозаику, даже в давние времена, когда люди обожали мифологию, беседовать с музой. А поэты, включая и тех, которым никто не говорил в школе, что муза Эрато олицетворяет лирику и сжимает в руке лиру, вдруг да вспомнят про музу. Лирика напоминает дневник, и часто люди начинают рифмовать от одиночества. Тютчев писал:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.

В стихах Тютчева затаенная мысль не была ложью. Есть у поэзии великая сила: рождаясь от одиночества, она разрушает преграды, существующие между людьми. Поэт беседует с воображаемой музой, ей исповедуется, часто не думая о судьбе зазвучавших в голове строк; а его признания становятся живой водой для множества людей. Стихи Тютчева были изданы его друзьями, и Иван Аксаков потом писал: «Тютчев при этом издании был, очевидно, сам в стороне; за него распоряжались, судили и рядили другие. Мы убеждены, что он даже и не заглянул в эту книжечку». А Л. Н. Толстой до смерти бормотал тютчевские строки, которые я привел.

До чего одинок, несчастен был Лермонтов! Свои лучшие стихи Верлен написал в тюрьме. Дневник Блока потрясает тоской одиночества. Можно было бы заполнить десятки страниц таким перечнем. Я отнюдь не хочу прославлять одиночество, но скажу, как Бергамин: одиночество — это не отъединение, не программа, не опостылевшая всем «башня из слоновой кости». Какая уж тут кость — тут беда! А беды на свете много...

Я снова взялся за стихи еще по одной причине. Повесть «Что человеку надо» я написал летом 1937 года — между Брунете и Теруэлем; за роман «Падение Парижа» сел осенью 1940 года. В течение трех лет я писал статьи, очерки, короткие сообщения о военных операциях или о политических событиях. Я писал и повторял написанное в телефонную трубку или выстукивал русские слова латинским шрифтом на телеграфных бланках. Я невольно переставал думать о слове; мой язык беднел, становился стандартным, почти условным.

Хочу признаться в моей страсти. Думаю, никто меня не заподозрит в национализме; я много жил за границей, научился ценить гений других народов. Я не полиглот, но несколько языков понимаю, и вот я с ранней юности по сей день влюблен в русский язык. Мне кажется, что он как будто создан для поэзии. Каждый человек любит язык, на котором он говорит с младенчества, но я не только люблю русский язык, я перед ним преклоняюсь. Он обладает свободой, не существующей в других известных мне языках; от перестановки слов в фразе меняется смысл. Есть языки с музыкальным ударением на различных слогах, я осмелюсь сказать, что русский язык обладает лирическим ударением на том или ином слове. Свобода, отсутствие обязательного уточнения, рождающегося в западноевропейских языках от жесткости синтаксиса, отсутствие артиклей — все это предоставляет писателю безграничные возможности: перед ним не истощенные почвы былых веков, а постоянная целина.

Поэзия стала для меня трудным разреженным воздухом, очищением. Ощущая важность отдельного слова, я чувствовал и связь с прошлым, и реальность будущего, осязал детали жизни, и это помогало бороться с отчаянием.

Я сочинял стихи в машине или в поезде, в часы отдыха или на шумливом собрании, на улице, во фронтовых землянках. Записывал я их позднее; стихотворения были короткими, и я их знал на память.

Пятнадцатилетняя Анна Франк, прячась от фашистов, вела дневник и обращалась в нем к воображаемой подруге Китти (так она назвала подаренную ей тетрадку). Не знаю, кому я исповедовался; может быть, все той же музе — неприкаянной, покрытой грязью фронтовых дорог, оглохшей от бомбежек, не обнаруженной на писательских собраниях и воистину «беспачпортной».

Я писал стихи о различных событиях, которые до того описывал в газете и о которых упоминал в этой книге; писал, конечно, по-другому. Возле Мората-де-Тахунья бригада Лукача произвела разведку боем; это была трудная операция, стоившая многих жертв. Стихотворение «Разведка боем» я кончал словами:

А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные края.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость моя!

В отчете о попытке наступления в Каса-дель-Кампо я писал о канарейке, и редакция на меня рассердилась, в общем, справедливо. В стихах я вернулся к птичке:

Что здесь делают шкаф и скамейка,
Эти кресла в чехлах и комод?
Даже клетка, а в ней канарейка,
И, проклятая, громко поет...
Но не скрою — волненье пичуги
До меня на минуту дошло,
И тогда я припомнил в испуге
Бредовое мое ремесло:
Эта спазма, что схватит за горло,
Не отпустит она до утра, —
Сколько чувств доконала, затерла
Слов и звуков пустая игра!

Я писал о похоронах советского летчика в испанской деревне:

Под оливами могилу вырыв,
Положили на могиле камень.
На какой земле товарищ вырос?
Под какими плакал облаками?
И бойцы сутулились тоскливо,
Отвернувшись, сглатывали слезы.
Может быть, ему милей оливы
Простодушная печаль березы?

Писал я и о том, о чем не мог, не хотел никому рассказать, о том, что увидел и пережил в Москве. Приведу одно стихотворение 1938 года, не потому, конечно, что придаю большое значение моим стихам, а потому, что в стихах легче выразить многое, нежели в прозе:

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась,
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума,
Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать,

Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол,
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал,
Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то,
Какая-то видимость точной, срочной работы,
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули,
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось.

Писал я об эпохе, о бурном горном потоке, который потом становится широкой плавной рекой; пытался утешить себя:

Закончится и наше время
Среди лазоревых земель,
Где садовод лелеет семя
И мать качает колыбель,
Где летний день глубок и долог,
Где сердце тишиной полно
И где с руки усталый голубь
Клюет пшеничное зерно.

Может быть, это слабые стихи, не знаю; мне они до сих пор дороги как признания, и я не мог не уделить им места в книге о моей жизни. Мне кажется, что эта глава поможет читателю лучше понять автора. Французская пословица уверяет, будто дверь должна быть либо открыта, либо закрыта. Нет, занавеска исповедальни может быть одновременно и опущена и приподнята.

32

Известия из Парижа и Лондона волновали всех; испанские газеты уделяли полосы Чехословакии. На фронте Эбро бои затихли. Все ждали, чем кончится трагедия, которая разыгрывалась не на театре военных действий, а в закрытых для посторонних глаз министерских кабинетах.

Я приехал в Париж 23 сентября. День был душный, — казалось, разразится гроза. Я пошел в чехословацкое посольство к советнику Шафранеку, с которым иногда встречался. Он был мрачен, сказал мне: «Лично я ни на что больше не надеюсь...» Это был высокий, плотный, обычно невозмутимый человек; в тот день он не мог совладать с собой, его голос срывался, он повторял: «Сегодня очень жарко, правда?», налил воду в стакан, и руки его дрожали. Под окнами стояли толпы: приходили делегации рабочих, профессора, писатели; все возмущались намечающимся предательством, выражали сочувствие Чехословакии.

Я пропустил телефонный звонок редакции: ходил по улицам рабочих кварталов. Повсюду слышались те же слова: «Чемберлен»,«капитуляция», «Даладье», «фашизм». Люди были возбуждены. Один рабочий говорил: «Сволочи, неужели они не понимают, что, если отдать немцам чехов, они через месяц пойдут на нас? Вот уж кто предатели!..»

В богатых районах я увидел картину, памятную мне по 1914 году: прислуга грузила на машины элегантные чемоданы. Здесь было тихо, только какая-то дама кричала, видимо тугому на ухо, пожилому спутнику: «Ты опять не понимаешь?.. Этот сброд из Народного фронта хочет, чтобы Париж уничтожили, как Мадрид!..»

Я пошел в редакцию газеты «Ордр» к Эмилю Бюре, тучному, умному, несколько циничному в своих отзывах. Это был блистательный журналист, представитель старой Франции; он придерживался правых убеждений, считал, что Народный фронт — опасная затея, но, будучи патриотом, обличал капитулянтов. «Вы знаете, чего они боятся? Победы. Ведь воевать против немцев придется вместе с вами. Один депутат вчера мне сказал: «Военные сошли с ума — настаивают на сопротивлении, они не понимают, что это окрылит коммунистов». Я ему ответил: «Речь идет не о составе кабинета, а о судьбе Франции». Что вы хотите — мы выродились. Нужен Клемансо, а у нас Даладье, это Тартарен, только без фантазии. Я помню, как два года назад он подымал кулак и обнимал Тореза. Вы увидите — автра он подымет руку и обнимет Гитлера...»

Я прочитал в «Эвр» статью Жионо, он писал, что «живой трус лучше мертвого храбреца».

Мне хотелось скорее вернуться в Барселону. А выйдя из дому на следующее утро, я увидал людей, которые читали расклеенное объявление о частичной мобилизации. Даладье заявил, что Франция выполнит свои обязательства и будет защищать Чехословакию.

(Блюм, когда Франко поднял мятеж, тоже сказал, что Франция поможет Испанской республике. Талейран говорил, что никогда не нужно следовать первому чувству — оно бывает благородным и, следовательно, глупым. Я не хочу, конечно, сравнивать Талейрана, циничного и крупного политика, с людьми вроде Даладье, случайно оказавшимися у государственного руля, растерянными и недальновидными провинциалами.)

Мобилизованные шли на вокзалы; некоторые подымали кулаки, пели «Интернационал». На углах улиц прохожие останавливались, начинались споры. Один кричал:

«Какое нам дело до чехов! Пускай большевики защищают Бенеша!..» Другой назвал его «фашистом». Полицейские вяло повторяли: «Расходитесь, пожалуйста, расходитесь!» У них был растерянный вид: они не знали, кого бить.

В Париже бастовали строительные рабочие. 25 сентября они прекратили забастовку, объявив, что не хотят мешать обороне Франции. Развозили песок — против зажигалок. Дороги на юг были заполнены машинами: буржуазия отбывала. Повсюду я слышал одно слово: «война»... Реквизировали автобусы. Женщины записывались на краткосрочные санитарные курсы. Некоторые магазины закрылись. Вечером Париж погрузился во тьму, и на минуту мне показалось, что я иду по улицам Барселоны.

Тридцатого сентября объявили о Мюнхенском соглашении. Зажглись фонари, и средние французы потеряли голову: им казалось, что они одержали победу. На Больших Бульварах в туманный вечер толпа ликовала; противно было смотреть. Люди поздравляли друг друга. Муниципалитет постановил назвать одну из парижских улиц «Улицей 30 сентября».

Вечером мы с Путерманом ужинали в кафе «Куполь» на Монпарнасе. Я упоминал, что мой друг Путерман редактировал левый еженедельник «Лю»; он был уроженцем Бессарабии, боготворил Пушкина, собирал редкие книги, а сердце у него было совсем не книжное — горячее, страстное. Мы сидели подавленные происшедшим. За соседними столиками французы пили шампанское, пировали. Один из соседей вдруг заметил, что мы возмущены тостами, гоготом, карнавальным весельем, и спросил: «Мы вас, кажется, беспокоим?» Путерман ответил: «Да, сударь. Я — чехословак». Они притихли, а несколько минут спустя снова стали восторженно галдеть.

Я видел, как Даладье проехал по Елисейским полям. В его машину швыряли розы. Даладье улыбался. В парламенте социалисты, накануне осудившие Мюнхенское соглашение, проголосовали за правительство. Блюм писал: «Мое сердце разрывается между стыдом и чувством облегчения...» На бульваре Капюсин я увидел над кинотеатром четыре флага, среди них немецкий со свастикой. Газеты объявили подписку на подарок «миротворцу Чемберлену». В эльзасском городе Кольмар четыре улицы были переименованы, одна получила название «Улица Адольфа Гитлера».

Я. З. Суриц сказал мне, что Даладье — тряпка, Боннэ представлял сторонников капитуляции, Мандель резко возражал, но в последнюю минуту взял назад отставку.

Я заканчивал очередную корреспонденцию словами: «На Елисейских полях капитулянты приветствовали г. Даладье. Как бы им не пришлось вскоре увидеть дивизии Гитлера, шагающие к Триумфальной арке». Редакция эту фразу выпустила; мне объяснили, что нужно повременить, — может быть, наступит похмелье; просили часто, подробно сообщать о событиях.

Одиннадцатого октября «Известия» обзавелись новым специальным корреспондентом — Полем Жосленом. Псевдоним я выбрал случайно, не думая, конечно, о герое Ламартина. Эренбург продолжал посылать длинные статьи, а Поль Жослен ежедневно передавал две-три заметки.

В октябре я поехал в Эльзас. Эльзасские фашисты, ободренные Мюнхеном, начали поговаривать о присоединении к рейху. Едва я приехал в Страсбург, как за мною пришел чиновник префектуры. Префект сразу меня спросил, не собираюсь ли я защищать отделение Эльзаса от Франции, как это сделал корреспондент «Дейли экспресс». Я рассмеялся, объяснил, что позиция Советского Союза никак не похожа на позицию лорда Бивербрука. Он обрадовался и сказал мне, что один крупный полицейский поможет мне собрать информацию о деятельности «автономистов» (так называла себя прогитлеровская партия).

Полицейский оказался находкой: во-первых, он не любил немцев, во-вторых, автономисты обидели его лично — назвали в своей газете «рогоносцем». Он показал мне интересные документы, найденные при обыске, список членов тайной организации, даже нарукавные повязки, чтобы в час действий заговорщики могли бы узнать друг друга. Он сказал мне, что все это известно правительству, но министр Шотан решил замолчать дело, боится обидеть Гитлера. Я повидал различных политических деятелей в Страсбурге, в рабочем городе Мюлузе.

Мои статьи не прошли бесследно; их цитировали газеты, выступавшие против капитулянтов; ими заинтересовалось и правительство. Как я потом узнал, Шотан предложил выслать меня из Франции, Мандель возражал, и меня не выслали.

Я нашел среди бумаг телефонограмму иностранному отделу «Известий»: «Прошу меня вызвать по телефону 25 октября в 12 часов по московскому времени для сверки. Пришлю отдельно телеграфом короткие интервью с различными политическими деятелями Эльзаса. 25 вечером уеду в Марсель».

В Марселе состоялся съезд радикальной партии, к ней принадлежали Даладье и большинство министров. Я помнил радикальную партию в прошлом, когда она представляла мелкую буржуазию, крестьянство южных областей, свободомыслящую интеллигенцию и когда она твердила о чистоте якобинских традиций. В Марселе о якобинцах не вспоминали, зато много и с жаром говорили о «коммунистической опасности», хотя официально еще существовал Народный фронт. Ораторы во всем обвиняли рабочих, называли их «лодырями», прославляли миролюбца Даладье. Правда, были и другие радикалы — Пьер Кот, Боссутру, им не нравилась политика Даладье, но я понимал, что таких скоро исключат из партии, если они сами из нее не уйдут.

Я говорил с Эдуаром Эррио. Он был подавлен, не решался порвать с Даладье, в своей речи он сказал, что Советский Союз готов был выполнить свои обязательства, что Франция потеряла союзников, что угроза войны возросла, а мне жаловался: «Французы потеряли голову. Мы забываем, что мы — великая держава. Не знаю, чем это кончится...»

Во время съезда произошел большой пожар; загорелась и гостиница, в которой жили делегаты. Оказалось, что у пожарных мало лестниц. Эррио, вспылив, кричал: «Может быть, мне выписать пожарников из Лиона?..»

Зрелище было почти нарочитым, каким-то предварительным показом надвигающейся катастрофы.

Вскоре в Нанте состоялся другой съезд — Всеобщей конфедерации труда; туда тоже поехали неразлучные друзья — Эренбург и Поль Жослен. Коммунисты призывали к борьбе; но и в Нанте нашлись сторонники капитуляции; один из них сказал: «Спасение Франции в том, чтобы перейти на положение второстепенной державы».

Все путалось. Стоял густой туман и над городами и в сознании. Газета «Эвр» уверяла, что она всегда отстаивала мир, начиная с того времени, когда печатала «Огонь» Барбюса; она и не изменила своей позиции — нужно пойти на новые уступки Гитлеру и Муссолини, чтобы избежать войны. Были и такие «левые», которые, протестуя против роспуска ПОУМ в Испании, требовали запрещения коммунистической партии во Франции. Писатель Селин предлагал объединиться с Гитлером в священной войне «против евреев и калмыков» («калмыками» он, видимо, называл русских).

Меня пригласили в Сюртэ (французская охранка). Один из крупных чиновников вежливо спросил меня, не заме-

тил ли я, что за мною следят. Я ответил, что, кажется, шпики иногда ходят за мной, но я привык, не обращаю внимания. Чиновник сказал, что за мной следят крайне правые террористы, вытащил полсотни фотографий и попросил опознать людей, которые меня преследуют. Я улыбнулся: узнать никого не могу, а за себя не боюсь. «Напрасно. Мы знаем, что организация, которая убила братьев Россели, решила вас ликвидировать». Я поблагодарил за участие и ушел. Мне почему-то казалось, что никто в меня стрелять не собирался, а Сюртэ понадеялась, что я испугаюсь и уеду из Франции. Моя газетная работа, встречи с политическими деятелями, памфлеты, да и обильная информация, которую посылал Поль Жослен, не могли нравиться тогдашним правителям Франции. Однако недавно я нашел среди старых газетных вырезок отчет о судебном процессе, происходившем в Париже в 1947 году. Судили террористическую кучку «кагуляров», которые убили итальянских антифашистов братьев Россели. Один из подсудимых рассказал на суде, что ему поручили следить за мною. Приходится признаться, что я зря подозревал Сюртэ: хоть это бывает редко, охранники действительно пытались меня охранить.

Все шло как по расписанию. Правительство опубликовало чрезвычайные декреты, направленные против рабочих. На 30 ноября была назначена всеобщая забастовка. Правительство решило заменить забастовщиков солдатами. Водителей автобусов, которые не хотели работать, отвозили прямо в тюрьму. Забастовка провалилась. Даладье мог выпить еще за одну победу — над рабочими. Слова «Народный фронт» отовсюду исчезли.

В Германии происходили грандиозные еврейские погромы. Несчастные люди пытались перейти границу, спастись во Франции. Пограничники их ловили, некоторых по приказу Парижа выдавали немцам.

В начале декабря вернулись из Испании французы-интербригадовцы; их встречали рабочие; встреча была трогательной и бесконечно печальной: пока интербригадовцы сражались у Гвадалахары, на Хараме, фашизм с черного хода прокрался в их дом.

Гражданская война во Франции началась в 1934 году; это была скрытая война, без пушек, но с атаками и контратаками, с жертвами, со взаимной ненавистью. Мюнхен не был случайностью: буржуазия шла на любые жертвы, лишь бы справиться с рабочими. А рабочие, озлобленные изменой, угрюмо молчали.

Я хорошо запомнил осень 1938 года. Жизнь внешне казалась прежней: люди работали, пили аперитивы, играли в карты, танцевали; но за всем этим были горечь, тревога, смятение. Я не мог смотреть вчуже — знал Францию, любил ее и видел, что она идет к гибели, как лунатик, с раскрытыми невидящими глазами, с сентиментальными песенками, с хризантемами, с паштетами, со сплетнями... Статью, написанную в конце ноября, я назвал «Грусть Франции» и в ней писал: «Я говорю не о нужде, даже не о горе — о той огромной грусти, которая опустилась на эту землю, — Мюнхен надломил Францию».

А Поль Жослен аккуратно сообщал, как Жюль Ромен, позавтракав с Риббентропом, уверовал в будущее франко-немецкого союза или как владельцы военных заводов субсидируют пацифистскую пропаганду профсоюза школьных работников.

Пятого декабря я писал в Москву: «Хочу несколько освободиться от Жослена, который вытесняет Эренбурга из жизни, устал, нет свободной минуты. Надеюсь, редакция это поймет...»

Начиналась зима; улицы пахли жареными каштанами; продрогшие влюбленные крепче прижимались друг к другу.

Несколько дней спустя мне удалось выбраться в Барселону. Не успев оглянуться, я уже кричал в телефонную трубку: «Наступление противника началось на всем фронте от Тремпа до Эбро...» Здесь люди еще боролись.

33

Вскоре после приезда в Барселону, — кажется, это было под Новый год, — я пошел к поэту Антонио Мачадо — привез ему из Франции кофе, сигареты. Он жил на окраине города в маленьком холодном доме со старой матерью; я там довольно часто бывал летом. Мачадо плохо выглядел, горбился; он редко брился, и это еще больше его старило; ему было шестьдесят три года, а он с трудом ходил; только глаза были яркими, живыми. У меня сохранилась запись об этой последней встрече: «Мачадо читал отрывки из элегии Хорхе Манрике:

Наша жизнь — это реки,
А смерть — это море,
Берет оно столько рек,
Туда уходят навеки
Наша радость и горе,
Все, чем жил человек.

Потом он сказал о смерти: «Все дело в том, «как». Надо хорошо смеяться, хорошо писать стихи, хорошо жить и хорошо умереть». Он вдруг по-детски улыбнулся и добавил: «Если актер вошел в роль, то ему легко и уйти со сцены...»

Антонио Мачадо умер патетически, хотя он был самым скромным изо всех поэтов, которых я встретил в жизни. Когда фашисты подошли к Барселоне, он взял с собою мать, и они вместе зашагали по страшным дорогам пограничой полосы. В изгнании Мачадо прожил всего три недели; скончался он в местечке Кольюрс; оттуда видны горы Испании. Мать пережила его на два дня. Мачадо не мог больше жить.

Теперь он признан всеми как самый большой поэт Испании нашего века. Его память чествуют академики франкистской Испании; ему посвящают стихи молодые испанские поэты. Он уже вне споров, да и вне событий; а рассказываю я о нем здесь потому, что для меня его образ неотделим от тех трагических дней, когда Испания покидала Испанию.

Познакомился я с ним в Мадриде в апреле 1936 года. Помню, с каким восхищением слушали его стихи Рафаэль Альберти, Неруда, десяток молодых писателей. Я сказал, что он был удивительно скромным, но этого мало. Чехов застеснялся, когда Бунин назвал его поэтом, протестовал, доказывал, что он грубо пишет о грубой жизни. По-человечески Мачадо чем-то напоминал Антона Павловича; как-то он мне сказал: «Может быть, я и не поэт. Кеведо был поэтом, Ронсар, Верлен, Рубен Дарио. Я люблю поэзию, это правда...» Это не было кокетством, позой; в шестьдесят лет он конфузился, слыша восторженные признания. И добрым он был, как Чехов, снисходительным к чужим слабостям, старался оправдать желчных, обиженных судьбою критиков или злосчастных графоманов. Во всем он видел крупицу добра или красоты. Его поэзия прежде всего человечна.

Он читал мне строфы Хорхе Манрике. Трудно найти испанского поэта, который не писал бы о смерти. Летом 1938 года в Барселоне мы разговаривали о положении на фронте, о поведении Франции, и Мачадо сказал: «Неправильно за границей думают, что испанцы — фаталисты, что они встречают смерть с резиньяцией. Нет, они умеют бороться против смерти».

Я видел, как последние годы он боролся против смерти. Его не смущали ни бомбежки, ни жизнь на привалах. Он не хотел уехать из Мадрида; его вывезли в Валенсию, как картину музея Прадо. Он писал в Мадриде, в Вален-

сии, в Барселоне, писал изумительные сонеты и чуть ли не каждый день писал статьи для фронтовой печати.

Однако к мыслям о смерти он возвращался неустанно, в этом, как во многом другом, он оставался испанцем. Он писал сонеты, элегии, белые стихи и стихи с рифмами, любил гномическую поэзию — короткие философские четверостишия; по большей части он их не рифмовал; согласно традиции романсеро, последние слова второй и четвертой строк имеют одну и ту же ударяемую гласную; это звучит еще тоньше, неуловимей, чем наши самые далекие ассонансы.

Ты говоришь — ничего не пропадает,
Но если ты разобьешь стакан,
Никто из него не напьется,
Больше никто, никогда.

Ты говоришь, что все остается.
Может быть, ты и прав.
Но только мы все теряем,
И все теряет нас.

Все проходит, и все остается.
А наше дело идти
По дороге шаг за шагом,
Дойти до моря, пройти.

Я часто вспоминаю и другие его четверостишия.

Разглядывая мой череп,
Новый Гамлет скажет:
«Красивая окаменелость
Маски карнавала».

Человеку в море
Четыре вещи совсем не нужны —
Весла, руль, якорь
И страх по морю плыть.

Два боя ведет человек,
И каждый непокорен —
С богом воюет во сне,
Проснувшись, воюет с морем.

Наши часы — минуты,
Когда мы жаждем узнать,
И столетья, когда мы узнали
То, что можно узнать.

Хорошо, что мы знаем, —
Стакан для того, чтобы пить из стакана,
Плохо, что мы не знаем,
Для чего существует жажда.

Рубен Дарио писал о Мачадо: «Он пасет тысячу львов и тысячу козлят». В поэзии Мачадо необычное сочетание степной полыни и сладости лета, мудрости и простоты. Это — видения нищих сел возле Сории, камней Кастилии, человеческой беды, мужества, надежды, и всегда у него дорога «шаг за шагом», дорога в гору или под гору, трудная дорога Испании, человека.

Жизнь он прошел «шаг за шагом» с людьми и в одиночестве; никогда не был на сцене (хотя и написал со своим братом несколько пьес) — прожил на галерке жизни. Он был преподавателем сначала французского языка, потом испанской литературы. Жил в провинциальных городах в Сории, в Баэсе, в Сеговии, в различных испанских Царевококшайсках. Весной 1937 года, когда я вернулся из поездки на Южный фронт, я решил проведать Мачадо — он жил тогда неподалеку от Валенсии. Он расспрашивал меня о фашистах, которые сидели в Вирхен-де-ля-Кабеса, потом спросил, как мне понравилась Ламанча. Я записал некоторые его фразы: «Французский пейзаж легок, Господь Бог писал его в годы зрелости, может быть даже в старости, все обдумано, во всем чувство меры; немножко больше, немножко меньше — и все разлетится. А Испанию Бог писал молодым, не обдумывал мазков, не знал даже, сколько камней нагромоздит один на другой. Я люблю «Степь» Чехова. Мне почему-то кажется, что русские могут понять испанский пейзаж... Ламанча — все знают это слово — «Дон Кихот». Но почему многие не понимают, что Альдонса — это Дульцинея? Каждый испанец видит в здоровой, крепкой домовитой девке мечту, и каждый испанец твердо знает, что Дульцинея умеет вести хозяйство, сплетничать и ставить метки на рубашках. Тургенев, когда он писал о Гамлете и Дон Кихоте, не понял, что Альдонса и Дульцинея слиты. Может быть, потому, что все его героини или чистые, небесные создания, или хищницы? Дон Кихот и Санчо Панса не противопоставление, а два выражения одного лица. Разрыва у нас нет, но единство дается труднее любого противопоставления. Это и есть Ламанча, да и вся Испания...»

Я привел в дословном переводе поэтические сентенции Дон Кихота — Санчо Пансы. Я не решаюсь перевести те сладкие и насмешливые строки, которые слагал Антонио Мачадо для Альдонсы — Дульцинеи: они настолько связаны с музыкой, что одно иначе звучащее слово — и пропадет очарование. Это роднит Мачадо с Блоком «Ноч-

ных часов». Да и был он для Испании тем, чем Блок для России.

«Шаг за шагом»... Его поведение в годы войны было предопределено всей его жизнью, здесь не было ни чуда, ни внезапного прозрения, ни перелома, только верность себе, Испании, веку. Многие люди, даже изучавшие иностранные языки, не понимают языка искусства. В Литературной энциклопедии один критик писал: «Мачадо — типичный представитель той части мелкобуржуазной интеллигенции, которая перед лицом наступающего капитализма стремится уйти в мир самоанализа и в мелкобуржуазном гуманизме пытается найти разрешение противоречий современности». Это было написано в 1934 году. А в 1954 году другой критик писал в Большой Советской Энциклопедии: «Сборник стихов «Поля Кастилии» (1912) проникнут любовью к родной земле и горестным раздумьем о судьбах испанского народа... В сборнике «Новые песни» (1924) поэт выступает против реакционного буржуазного искусства». Может быть, изменился Мачадо? Нет, оба критика пишут о его книгах, вышедших в 1912 и 1924 годах. Может быть, изменились критические навыки? Ничуть. Просто годы войны помогли людям, понимающим газетные сообщения и не понимающим поэзии, установить, какой ярлычок подходит для Мачадо.

Печально, что нужны обязательно бомбежки или концлагеря, чтобы поэты получали право на жительство...

Я многое в жизни растерял, а книги Мачадо с его надписями сберег, вывез их из Испании, потом из оккупированного немцами Парижа. Я иногда смотрю на почерк, на фотографию (я его снял в Барселоне), и человек сливается со строками стихов:

Ты на моем пути — вода иль жажда?
Скажи мне, нелюдимая подруга...

Он воевал вместе с народом. Помню, как на Эбро командир дивизии Тагуэнья читал бойцам приветствие Мачадо, и голос его дрожал от волнения: «Испания Сида, Испания 1808 года узнала в вас своих детей...» Когда мы расставались, Мачадо сказал: «Может быть, мы так и не научились воевать. Да и техники у нас мало... Но не нужно судить слишком строго испанцев. Вот и конец — не сегодня-завтра они захватят Барселону. Для стратегов, политиков, историков все будет ясно: войну мы

проиграли. А по-человечески, не знаю... Может быть, выиграли...»

Он проводил меня до калитки; я оглянулся и увидел его, печального, сутулого, старого, как Испания, мудрого человека, нежного поэта, и глаза его увидел — очень глубокие, не отвечающие, но спрашивающие, бог весть кого, — увидел в последний раз... Завыла сирена. Началась очередная бомбежка.

34

Двадцать восьмого января — 5 февраля 1939 года, последняя неделя в Каталонии, развязка... Как об этом рассказать? Мы ведь столько перевидали с тех пор, столько пережили... Но в моей памяти живы те дни — рана не закрылась.

Двадцать восьмого января я приехал в Херону. Это был прежде небольшой старинный городок с живописными уличками, с аркадами, садами, древними камнями крепостных стен; и город кричал — не один человек, не сотня — весь город. В Хероне было прежде тридцать тысяч жителей. Теперь в ней находилось четыреста тысяч. Люди сидели, лежали, спали на площадях, на улицах, с мешками, корзинами, и почти непрерывно фашистские самолеты бомбили, расстреливали людей. Не было больше ни республиканских истребителей, ни зенитной артиллерии. В тот день мне казалось, что ничего больше нет, кроме крика, крови и лопат на кладбище, — рыли братские могилы.

Тридцатого января командир дивизии, рослый костлявый испанец, говорил: «У нас нет лопат. Мы должны окопаться, но у нас нет лопат...» Дороги были забиты лавиной беженцев; шли городские жители; кто-то тащил кресло; бородатый почтенный человек, похожий на профессора, волочил перевязанные толстой веревкой огромные фолианты; крестьяне гнали овец, коз; девочки шли с куклами. Уходил народ. Теперь уж никто не писал на стенах о том, что люди не хотят жить с фашистами, — не до слов было, да и не знаю, думали ли уходившие о жизни, они шли вперед без лозунгов, без надежды, может быть, без мыслей.

Некоторые части продолжали сражаться, задерживая противника. Маленький городок Фигерас, расположенный в двадцати километрах от французской границы, на короткий срок стал столицей Испанской республики. В старой

кузнице я увидел знакомого журналиста: там помещались редакция и типография барселонской газеты. Готовили номер. Человек с забинтованной головой в полутьме диктовал: «...успешно отражают атаки численно превосходящего противника...»

Я искал Савича и не мог его найти. Когда я был на главной площади, заваленной людьми, началась очередная бомбежка. Потом итальянские самолеты с бреющего полета расстреливали беженцев. Начальник штаба сказал мне: «Я должен дать сводку, а нет даже пишущей машинки». Ходили зловещие слухи: в пограничном Порт-Бу высадились итальянцы и отрезали Фигерас от Франции, французы не пропускают через границу даже женщин. В кафе перевязывали раненых.

«Кажется, вот где русские», — сказал мне один командир, показав на здание школы. Но я увидел Негрина, Альвареса дель Вайо, других министров. Они сидели вокруг длинного стола на табуретках; лежали карты, папки с бумагами. Негрин сказал мне: «Мы должны выиграть время, чтобы обеспечить эвакуацию во Францию населения. Потом мы сможем перелететь в Мадрид...» Один из министров доказывал, что самое главное — вывести армию и технику: через Марсель можно будет переправить людей и вооружение в Валенсию, а там вместе с частями Центрального фронта перейти в наступление. Не все иллюзии были еще потеряны...

Мне сказали, что советские товарищи остановились в деревушке в восьми километрах от города. Пришлось потратить три часа, чтобы добраться до этой деревни. Ночи были холодными, и, чтобы согреться, беженцы разводили костры — жгли барахло, которое зачем-то волочили по дорогам. А бомбежки не стихали.

Я вошел в крестьянский дом и обомлел от счастья — пылал огромный камин; перед ним сидели Савич и Котов. Савич объяснил, что на грузовике зачем-то вывезли посольскую библиотеку, приходится жечь — не оставлять же фашистам русские книги. Человека, которого звали в Испании Котовым, я остерегался — он не был ни дипломатом, ни военным. Он бросал книги в огонь с явным удовольствием, приговаривал: «Кто тут? Каверин? Пожалуйста! Ольга Форш? Не знаю. А впрочем, там теплее...» Поразил меня Савич. Он настоящий книгопоклонник. Когда он приходит в гости, то вдруг, забывая всю свою учтивость, начинает листать книги на столе, не слушает даже разговора. А тут заразился и с азартом швырял в камин томики.

Котов сказал: «Гмм... «День второй»... Придется уступить автору право на кремацию». Я кинул книжку в камин.

Пришли сотрудники посольства, рассказали мне, что при эвакуации Барселоны забыли снять со здания герб и флаг; спохватились, кто-то сказал Савичу: «Может быть, вы снимете?..» Савич вернулся в Барселону, где шла стрельба на улицах, вместе со своим шофером, бравым Пепе, влез на крышу, снял герб и флаг. (Все-таки Савич странный человек: преспокойно вернулся в Барселону, когда в город входили фашисты, писал отчеты для ТАССа под бомбежками, сидел с Котовым, жег книги, шутил, а неделю спустя в Париже умирал от страха: у него не было разрешения полиции, ночью он прятался у Дуси, и даже веселенькая Дуся не смогла заставить его улыбнуться. Он показал мне телеграмму из пограничного французского городка: «Машина и я в вашем распоряжении Пепе» — и горько усмехнулся. Впрочем, может быть, ничего тут нет удивительного — все люди таковы.)

Нам сказали, что 1 февраля в Фигерасе состоится заседание кортесов. Мы с Савичем в темноте долго разыскивали, где вход в подвалы старинного замка. Итальянцы без устали бомбили город. У входа стоял часовой в белых перчатках. Старичок неизвестно где достал потертый половик, постлал им лестницу, которая вела в подвал: «Неудобно, все-таки это кортесы...» Отвели скамьи для дипкорпуса, для журналистов. По просьбе распорядителя я сел на дипломатическую скамью, чтобы она не пустовала; потом подошел кто-то из нашего посольства. Негрин был небритый, с глазами, воспаленными от бессонных ночей. Он говорил, что Англия и Франция предали республику, подвергли Каталонию блокаде. Французы не хотели принять тяжелораненых. Была в его речи такая фраза: «Франция пожалеет о том, что сделала...» Приняли обращение к народу: борьба продолжается; голосовали поименно, депутаты подымались один за другим и торжественно отвечали «да». У одного из них была наспех перевязана рука, кровь проступала сквозь марлю.

Я поехал ночью во французский город Перпиньян, чтобы передать о заседании кортесов в «Известия», и наутро вернулся.

Беженцы не могли идти по дорогам, они разлились, как река весной, заполнили скалистые уступы. Возле Пуигсерды лежал глубокий снег, дети в нем тонули. Близ перевала Арес я видел старух, которые ползли по обледеневшим скалам. Крестьяне резали овец, здесь же жарили, кормили сол-

дат. Одна женщина родила в поле; мы кричали — звали врача. Пришел старик, специалист по болезням горла и носа, принял младенца и потом, отогреваясь у костра, вдруг сказал: «Мальчику повезло — он успел родиться на испанской земле...» Этот врач никак не походил на героя, роняющего исторические фразы, он был в зеленой женской кофте и протягивал к огню распухшие пальцы ревматика.

В пастушеском шалаше я увидел Альвареса дель Вайо; кто-то принес ему в миске теплый рыжеватый кофе. Глаза у него были такие печальные, что я отвернулся, а он, не теряя присутствия духа, говорил о грузовике с хлебом для солдат, о заградительном огне, об эвакуации раненых. (Это человек большой веры; раз в два-три года я его встречаю то в Париже, то в Москве, то в Женеве и всякий раз вспоминаю февральский день, министра иностранных дел в шалаше, с трагическими глазами и спокойным, ровным голосом.)

Где-то возле границы три дня спустя я стоял с Савичем на камне. Проходили нескончаемые толпы беженцев. Кричали ослики. Плакали дети. Прошел отряд бойцов, и солдат почему-то трубил в трубу. Бомбили. Один крестьянин взял горсть земли и завязал ее в большой красный платок.

Потом я написал стихи; в них были различные детали, о которых я упоминаю в этой главе, но был еще тот второй план, то волнение, что можно выразить только в стихах:

В сырую ночь ветра точили скалы.
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.
Бойцы из боя выводили пушки.
Крестьяне гнали одуревший скот.
А детвора несла свои игрушки,
И был у куклы перекошен рот.
Рожали в поле, пеленали мукой
И дальше шли, чтоб стоя умереть.
Костры еще горели — пред разлукой,
Трубы еще не замирала медь.
Что может быть печальней и чудесней —
Рука еще сжимала горсть земли.
В ту ночь от слов освобождались песни,
И шли деревни, будто корабли.

На пограничных пунктах французы выставили не только жандармов, но и воинские части — сначала сенегальцев, потом французские батальоны. Испанские солдаты складывали оружие, их обыскивали; обыскивали и многих беженцев. В Пертюсе я видел, как по ошибке женщин отделили от их детей, они кричали, не хотели идти, а их гнали.

У меня была «куп филь» — карточка журналиста, выданная парижской префектурой. В Париже она не производила особого впечатления, но здесь оказалась чудотворной: меня свободно пропускали в Испанию и назад. Нужно было спасти от интернирования в лагерях многих товарищей — журналиста, уборщиц посольства, шофера, начинающего поэта, интербригадовцев. В течение нескольких дней я занимался только этим, даже не всегда успевал написать телеграмму в газету; предпочитал позвонить в Париж, где якобы находился Поль Жослен.

Я нашел чудесных людей. Учитель из пограничного городка Пратс-дель-Молло почти круглые сутки дежурил на горном перевале: кормил беженцев горячим супом, давал хлеб. Сотни людей приносили ему продукты. Механик из Арль-сюр-Теш, владелец маленького гаража, на старой, разбитой машине все время ездил к перевалу Арес, подбирал измученных замерзших беженцев, отвозил их в городок. На этом перевале жандармы были сговорчивыми, и механик помог мне переправить через границу многих товарищей; обидно, что я не запомнил его имени.

Шестого февраля я в последний раз шел по испанской земле. Это было у горной деревни Компродон. Вокруг еще шли бои.

Французское правительство отдавало бесчеловечные приказы. А на местах люди действовали по-разному. Каждый день я видел и солидарность, доброту, участие, и откровенную низость. В городке Булю я разыскивал крестьянку с детьми — у меня были для нее письмо от мужа и деньги. Мэр, тучный, с тупым, равнодушным лицом, ответил мне: «Их здесь чересчур много...» А полицейский кричал: «Это не ваше дело! Уезжайте поскорее!..» Я ему напомнил о человеческих чувствах, он ответил, что чувства его не касаются. В городках Сен-Лоранде-Сердан, Пратс-дель-Молло, Арль-сюр-Теш жители кормили беженцев, прятали их от полиции. Некоторые эшелоны направили в Лион, и мэр этого города Эдуар Эррио дежурил на вокзале, помогал накормить испанцев, разместить их в казармах, в школах. А во многих французских газетах каждый день писали, что надо оградить Францию от испанских «анархистов, коммунистов, убийц и насильников».

В Перпиньяне я еще летом подружился с хозяином старой, невзрачной гостиницы; там я останавливался, туда теперь привозил товарищей; все комнаты были заняты, приходилось спать в столовой, в конторе, где придется, но хозяин не объявлял полиции о приезжих, и никого там не забирали. А в городе шла охота. Испанки, никогда в жизни

не носившие шляп, покупали маленькие модные шляпки, пудрились, румянились, чтобы не видно было горя и чтобы их приняли за француженок. В Баньюльсе рыбаки избили репортера правой газеты, который издевался над побежденными. Да, разными были французы, я не хочу их скопом обвинять или оправдывать.

Испанцев французские власти разместили в концлагерях Аржелес и Сен-Сиприен. Давали одну буханку хлеба на шесть человек, протухшую воду, издевались. А Риббентропа в Париже потчевали страсбургскими паштетами и бургундским вином... Впрочем, говоря о тех временах, лучше не вспоминать ни о справедливости, ни о Риббентропе — кто только его ни обнимал!..

Мне передали записочку от поэта Эррере Петере, которого посадили в лагерь. Он писал, что за проволокой сидят многие из моих друзей. Я поехал в Париж. Арагон, Жан Ришар Блок, Кассу, другие участники нашей Ассоциации вступились за интернированных писателей; через две-три недели удалось их освободить.

Негрин и другие министры улетели в Мадрид. Территория, еще занятая республиканскими войсками, теперь была в кольце. Англия и Франция признали генерала Франко законным правителем Испании — после Мюнхена некоторые люди разучились стыдиться предательства. Республику блокировали — в Марселе задерживали суда, которые должны были доставить в Валенсию хлеб или картошку. Шестого марта в Мадриде командующий армией Центрального фронта полковник Касадо, с благословения свадебного генерала Миаха, произвел переворот, поставил на место Негрина кучку людей, решивших капитулировать. Однако развязкой испанской трагедии были не судороги обреченного Мадрида, а те зимние дни, когда армия Эбро в полном порядке, с оружием перешла французскую границу, надеясь, что ее перебросят в Валенсию. (Спасенное бойцами оружие французы передали генералу Франко.)

Гитлер, приободренный успехами, занял Прагу. Марина Цветаева в последний раз встретилась со своим другом — рабочим столом, писала:

О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!
О черная гора,
Затмившая весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.

Мне трудно расстаться в этой книге с Испанией. Помню, как на перевале Арес испанский боец-автоматчик прощался с женой и двухлетним сыном, он попросил меня отвести их в надежное место, сказал: «Я не уйду — не верю, что французы нас отправят в Валенсию, они уже снюхались с Франко. А здесь можно уложить десяток-другой фашистов...» Я оглянулся; он лежал с автоматом, глядел не на нас — на юг, откуда могли показаться фашисты.

Возле дороги из Порт-Бу в Сербер лежала груда винтовок, ручных пулеметов, шлемов, револьверов, даже ножей. Я увидел вдруг копье и старинный шлем: видимо, вывозили экспонаты из небольшого каталонского музея, и сенегалец решил, что это оружие. Да, копье и шлем Дон Кихота были оружием, с ними Испания тысячу дней, тысячу ночей защищалась от двух фашистских держав — Италии и Германии.

Семь месяцев спустя началась вторая мировая война, было много героизма, и в итоге фашизм разбили; но в новой эпохе уже не было места для копья и старомодного шлема, с которыми Рыцарь Печального Образа пытался отстоять человеческое достоинство.

35

Весной 1939 года Савич уехал в Москву. Мы поехали в Гавр, чтобы его проводить. На том же теплоходе уезжали в Советский Союз многие испанцы. Мы стояли на набережной; дул сильный ветер; снова перед глазами встала потерянная Испания. Я попросил Савича написать мне из Москвы; но долго не знал, что с ним, — люди тогда не любили писать за границу.

Каждый день я передавал в газету информацию за подписью Поля Жослена — пеструю и в то же время монотонную хронику событий: фашистский террор в Испании, агония Чехословакии, захват итальянцами Албании, лисьи ходы Боннэ или Лаваля, трусливое блеяние Блюма, бездарная провинциальная политика Даладье.

В середине апреля мои корреспонденции перестали печатать. Я вначале подумал, что, может быть, стал плохо писать, пытался объясниться с редакцией. Наконец мне сообщили через посольство, что до поры до времени «Известия» не смогут печатать ни Эренбурга, ни Поля Жосле-

на; я остаюсь, однако, постоянным корреспондентом и буду получать, как прежде, зарплату.

Я ничего не понял, пошел к Сурицу. Яков Захарович на меня накричал: «От вас ничего не требуют, а вы волнуетесь!..» Он задумался. «Сегодня передали, что Максима Максимовича сняли. Назначен Молотов... Но это — между прочим, к вам это не имеет никакого отношения... Что вы огорчаетесь? Отдыхайте. Пишите роман. Теперь много интересных выставок...» (Суриц обожал живопись.)

Все же мое вынужденное безделье объяснялось событиями. Много позднее я узнал, что Поль Жослен рассердил Сталина: я по-прежнему страстно обличал фашистов, а приближалась пора сложных дипломатических переговоров. Писателю трудно работать в газете: он думает, что он — игрок, а он только карта. «Вы еще понадобитесь», — говорил мне Суриц. К сожалению, он оказался прав: 23 июня 1941 года мне позвонили из редакции: «Напишите и для нас, вы ведь старый «известинец»...»

Англия и Франция заявляли, что хотят остановить агрессоров, договориться с Советским Союзом, но после Мюнхена трудно было поверить в добрые намерения Даладье и Чемберлена. С омерзением я вспоминаю то время. Люди сидели у приемников и даже те, что не знали немецкого языка, слушали выступления Гитлера — старались догадаться по интонациям, что им сулит завтрашний день. Франция напоминала гладкого, упитанного кролика, завороженного взглядом удава.

В мае в Париже была Международная антифашистская конференция. Я пошел, увидел много старых знакомых — Ланжевена, Кашена, Жана Ришара Блока, Мальро, Арагона, Сесара Фалькона; познакомился с Фирлингером. Все были мрачно настроены, и речи казались повторением давно слышанного — веры больше не было.

Однажды Фернандо Херасси привел ко мне молодого застенчивого писателя, с которым дружил. Звали его Жаном Полем Сартром. Он косил, и поэтому казалось, что он хитрит, но говорил он о своем отчаянии простодушно. Он подарил мне книгу «Стена»; рассказы были тоже об отчаянии. Много лет спустя я снова встретился с Сартром, узнал его и понял, что мои первые впечатления были верными: в нем редкое сочетание рассудочности, острого, даже едкого ума с детской наивностью, доверчивостью и чувствительностью.

Мне трудно связно говорить о том годе: воспоминания, как облака в горах, опускаются, давят, душат. В мае умер

Йозеф Рот. Повесился Толлер. Приехал из Праги Роман Якобсон, рассказывал, что Незвал, когда они расставались, плакал, как ребенок. Многие немецкие писатели уехали в Америку. У Пабло Пикассо сидели ободранные, бездомные испанцы; Пабло впервые сказал мне: «Малыш, мне трудно работать — мы тонем в дерьме...» Внешне как будто ничего не изменилось. Начались летние каникулы; газеты сообщали, что в Довилле — «весь Париж», описывали приемы, купальные костюмы. Но все это казалось подделкой под прежнее.

Пока я был в Испании, меня увлекала, да и отвлекала от многих мыслей борьба. Теперь я остался один на один со своими раздумьями. Я часто думал, что в Москве легче: там все тебя понимают. В Париже меня угнетало одиночество.

О судьбе Кольцова я узнал еще в Барселоне — накануне развязки. В Париже ко мне приходила сначала Лиза, потом Мария Остен (Гросхенер). Обе ехали в Москву. Лиза плакала, говорила, что Михаил Ефимович, еще будучи в Испании, хворал: «Может быть, мне удастся передать ему лекарство...»

Дошли известия о судьбе Мейерхольда, Бабеля. Я терял самых близких друзей.

Приходя в посольство, я видел новые лица. Все те, кого я прежде знал, — советник Гиршфельд, военный атташе Венцов, военно-воздушный атташе Васильченко, Семенов, да и многие другие, — исчезли. Никто не осмеливался даже вспоминать эти фамилии.

Как-то Суриц сказал мне: «Приходил Раскольников. Его вызвали в Москву, а он испугался, потерял голову. Спрашивал, что делать. Я сказал, что он должен сейчас же вернуться домой. Он произвел на меня тяжелое впечатление...» Два дня спустя Ф. Ф. Раскольников (он был тогда полпредом в Болгарии) пришел ко мне и тоже спрашивал, как ему быть. Я с ним встречался в Москве в двадцатые годы, когда он редактировал «Красную новь», он был веселым и непримиримым. Написал предисловие к одной из моих книг, ругал меня за колебания, половинчатость. Я помнил, какую роль он сыграл в дни Октября. А теперь он сидел у меня на улице Котантен, рослый, крепкий и похожий на обезумевшего ребенка; рассказал, что его вызвали в Москву, он поехал с молодой женой и грудным ребенком; в дороге жена плакала, и вдруг из Праги он поехал не в Москву, а в Париж. Он повторял: «Я не за

себя боюсь — за жену. А она говорит: «Без тебя не останусь...» Я знавал некоторых невозвращенцев: Беседовского, Дмитриевского, это были перебежчики, люди морально нечистоплотные. Раскольников на них не походил; чувствовалось смятение, подлинное страдание. Он не послушался советов Сурица, остался во Франции, опубликовал открытое письмо Сталину, а полгода спустя умер.

Шли переговоры о военном соглашении между Советским Союзом, Англией и Францией. Западные державы тянули дело. Лейбористы в парламенте обличали Чемберлена. В наших газетах о переговорах почти не писали. Повсюду продолжались приготовления к войне.

Я не сел за роман, как мне советовал Яков Захарович: для того чтобы писать прозу, нужно не только увидеть нечто реальное, но и осмыслить его. А я тогда не мог разобраться в происходящем. Цель мне была ясна давно; но дороги стали такими запутанными, что порой трудно было понять, куда какая ведет. А в лирических стихах можно передать свои чувства, и я предпочел стихи. В 1940 году в Москве вышла маленькая книжица «Верность», в нее вошло много стихотворений, написанных мною летом 1939 года, среди них и то, по которому названа книга:

Верность — вместе под пули ходили,
Вместе верных друзей хоронили.
Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу,
Верность смерти и верность обидам.
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.

У меня больше не было той «видимости точной и срочной работы», которая освобождает человека от чересчур трудных раздумий. Где-то на полустанке жизни, между двумя войнами, не зная, что нам предстоит, я задумался над своей судьбой:

По тихим плитам крепостного плаца
Разводят незнакомых часовых.
Сказать о возрасте? Уж сны не снятся,
А книжка — с адресами неживых.
Стоят, не шелохнутся часовые.
Друзья редеют, и молчит беда.
Из слов остались самые простые:
Забота, воздух, дерево, вода.

Меня тянуло к деревьям, к реке, к чему-то постоянному, и, сидя в сквере парижского пригорода, я не мог удержаться от признаний:

Я знаю, век, не изменить тебе,
Твоей суровой и большой судьбе,
Но на одну минуту мне позволь
Увидеть не тебя, а лакфиоль.
Увидеть не в бреду, а наяву
Больную, золотушную траву.

Сказывалась усталость: Москва, Испания — словом, все, о чем я писал. В августе я уехал на две недели в Жюльена́, это деревня виноделов в округе Божоле. С утра я уходил, шагал по длинным дорогам, взбирался на холмы. Вокруг были виноградники и то здесь, то там одинокое старое дерево — вяз, клен или ясень. У деревьев я искал ответа на тысячи вопросов, которые меня преследовали. Критики порой называют такое поведение «бегством от жизни». Но ведь и Грамши в тюрьме жадно следил за бледными всходами фасоли; ведь и Залку незадолго до смерти утешало и терзало пение полевой птицы. Право же, человек не машина, и жизнь проходит не по железнодорожному расписанию.

В Жюльена я жил в маленькой гостинице. Хозяин был анархистом, образцово готовил петуха в вине, жарил бифштексы на сухой лозе, с утра напивался, бросал куски мяса моему псу Бузу, говорил: «Все так печально, что даже смешно...» Он рассказал обо мне своим клиентам, крестьянам-виноделам. Ко мне пришли двое — пожилой и молодой. Оказалось, что в Жюльена шесть виноделов-коммунистов. Меня водили по подвалам, угощали вином и, конечно, расспрашивали о Советском Союзе. Пожилой спросил: «Скажи, а ведь под Москвой вино лучше нашего?..» (Жюльена славилась винами.) Я нерешительно стал объяснять, что под Москвой нет виноградников, а вино у нас делают в Крыму, на Кавказе. Это его потрясло: он верил в Москву и любил свое дело. Подумав, он сказал: «Ну ничего, еще одна-две пятилетки — и под Москвой будут делать вино получше, чем наше...» Он послал ящик вина Сталину. (В 1946 году я заехал в Жюльена. Молодой винодел меня узнал. Он был теперь мэром. «А старик жив?» — спросил я. Он повел меня к пепелищу: «Старик всем говорил: «Ничего, через год-два сюда придет Красная Армия». Немцы его расстреляли, а дом сожгли... А я был в маки́ и, видишь, — выжил...»)

Меня приободряли не только деревья, но и люди — вот такие виноделы. Если прибегнуть к ярлыкам критиков, то можно сказать, что мои стихи не были лишены оптимизма:

...Я знаю все — годов проломы, бреши,
Крутых дорог бесчисленные петли.
Нет, человека нелегко утешить!
И все же я скажу про дождь, про ветви.
Мы победим. За нас вся свежесть мира,
Все жилы, все побеги, все подростки,
Все это небо синее — на вырост,
Как мальчика веселая матроска...

В поезде я прочитал в «Пари суар», что какой-то француз сорока двух лет открыл на кухне газовый кран и оставил записку: «Газеты будут выходить, а люди жить теперь не могут».

Вскоре после того, как я вернулся в Париж, я услышал по радио, что в Москве подписано соглашение между Советским Союзом и Германией. Конечно, я не знал подробностей переговоров между представителями западных держав и Молотовым, но я понимал, что англичане и французы играли в покер, вели притом нечестную игру. Умом я понимал, что случилось неизбежное. А сердцем не мог принять... Суриц показал мне последний номер «Правды». Я увидел фотографию: Сталин, Молотов, фон Риббентроп и какой-то Гаус; все удовлетворенно улыбались. (Риббентропа я увидел шесть лет спустя в Нюрнберге; но там он не улыбался, предвидел, что его повесят.)

Да, я все понимал, но от этого не было легче. Когда-то старый бородатый Шарль Раппопорт, хорошо знавший Ленина, Плеханова, Жореса, Геда, Либкнехта, говорил: «Капитализм это заслужил, но мы этого не заслужили...»

Шок был настолько сильным, что я заболел болезнью, непонятной для медиков: в течение восьми месяцев я не мог есть, потерял около двадцати килограммов. Костюм на мне висел, и я напоминал пугало. Женщина-врач, работавшая в посольстве, сердилась: «Вы не вправе распоряжаться собой», — хотела, чтобы я пошел на рентген. Я не шел, знал, что со мною это произошло внезапно: прочитал газету, сел обедать и вдруг почувствовал, что не могу проглотить кусочек хлеба. (Болезнь прошла так же внезапно, как началась, — от шока: узнав, что немцы вторглись в Бельгию, я начал есть. Врач глубокомысленно сказал: «Спазматические явления...»)

А события разворачивались быстро. Советско-германский договор был опубликован 24 августа. 1 сентября Молотов заявил, что этот договор служит интересам всеобщего мира. Два дня спустя началась вторая мировая война.

36

Мы видели не раз, как кровопролитные бои начинались без каких-либо деклараций. В 1939 году объявление Францией войны не сопровождалось военными действиями. Все ждали бомбежек, наступления или отступления, но на фронте ничего не происходило. Французы удивлялись: «дроль де герр» — «странная война».

Я хорошо помню первые недели этой «странной войны» — я тогда еще мог ходить по улицам. Проститутки поджидали клиентов, вооруженные противогазами. Оконные стекла оклеивали тонкими полосками бумаги, и некоторые домохозяйки щеголяли затейливыми узорами. Мне пришлось пойти в участок на регистрацию иностранцев. Владелец винного погреба бушевал: «Никогда я не отдам моего склада! Люди могут укрываться в метро, там хватит места для всех. А у меня запасы старого бургундского, это вам не дурацкая политика, это капитал!» Одна дама требовала, чтобы арестовали ее соседа: «Все знают, что он был в Испании, он воевал против генерала Франко. Я вам говорю, что это не француз, а настоящий предатель, коммунист, шпион!..» Чуть ли не каждую ночь устраивали пробные тревоги. Женщины показывались в элегантных капотах, нарумяненные, напудренные, а бедная консьержка поливала пол убежища водой: так почему-то приказал районный инструктор.

Комедия вскоре всем надоела, и жизнь вошла в колею. Люди хорошо зарабатывали и охотно тратили деньги: мысль, что война может перестать быть «странной», делала расточительными даже заведомых скупердяев. Газеты писали, что солдаты на фронте умирают от скуки. Им посылали различные игры, полицейские романы, крепкие напитки, шелковые платочки с надписями «Где-то во Франции». «Странная война» играла в военную тайну: «Где ваш друг?» — «Не знаю. Я так боюсь за него! Он где-то во Франции...»

Морис Шевалье пел песенку «Париж остается Парижем», и это стало присказкой, программой, заклинанием.

Газетные комментаторы писали о военных перспективах, как о предстоящих дивидендах огромного треста; подсчитывали резервы нефти, железа, алюминия; старались доказать, что союзники богаче, солиднее Германии и Италии. «Мы победим, потому что мы сильнее» — это можно было увидеть на любой стене рядом с рекламами электроприборов и аперитивов. Радио каждый день сообщало, сколько тонн вражеских товаров потоплено союзниками. О гибели Польши никто не вспоминал, хотя война была объявлена из-за угроз Гитлера полякам.

Немецкий летчик упал на французскую территорию. Его похоронили с воинскими почестями. Газеты в умилении описывали церемонию. Многие слушали радиопередачи из Штутгарта на французском языке. Штутгартский диктор уверял, что победит Германия, потому что она сильнее. «Странная война», — улыбаясь, повторяли французы. Они не думали ни о потопленных судах, ни о резервах меди, ни о победе: жили, как жилось.

Все же шла война, и, следовательно, требовался противник. Его нашли в лице французских коммунистов. Закрыли «Юманите» и «Се суар». Запретили не только коммунистическую партию, но и сотни обществ, союзов, лиг, подозреваемых в сочувствии коммунизму. Шли массовые аресты. Парламент разрешил прокуратуре предать суду депутатов-коммунистов; их обвиняли в том, что они не желают предать анафеме Советский Союз. Это было предлогом; в действительности буржуазия мстила рабочим за страх, пережитый в 1936 году.

Еще недавно слово «фашизм» повторяли повсюду. Как по мановению жезла, оно исчезло из всех речей, из всех газет. Можно было подумать, что исчез и фашизм. Однако все понимали, что фашисты готовятся к решительному наступлению.

Утром к нам приходила на два часа Клеманс — убирала квартиру. Ее брат был коммунистом; он ей сказал: «Я не знаю, что думают русские. «Юманите» закрыли. Ответственные товарищи арестованы. Но я вижу, что Лаваль, Фланден и вся фашистская сволочь по-прежнему нападают на коммунистов. Значит, коммунисты правы...» Клеманс добавляла: «Мой брат говорит, что, если бы он раздобыл «Юма», он все понял бы...»

Я аккуратно читал московские газеты, но не могу сказать, что все понимал. Я помнил, как Боннэ и Чемберлен мечтали, что Гитлер пойдет на Украину; германо-советский пакт был, видимо, продиктован необходимостью.

«Странная война» и преследования коммунистов показывали, что Даладье не собирается воевать против Гитлера. Слова Молотова о «близоруких антифашистах» меня, однако, резанули. В ту зиму мне пришлось впервые обзавестись очками, но признать себя «близоруким» я не мог: свежи были картины испанской войны; фашизм оставался для меня главным врагом. Меня потрясла телеграмма Сталина Риббентропу, где говорилось о дружбе, скрепленной пролитой кровью. Раз десять я перечитал эту телеграмму, и, хотя верил в государственный гений Сталина, все во мне кипело. Это ли не кощунство! Можно ли сопоставлять кровь красноармейцев с кровью гитлеровцев? Да и как забыть о реках крови, пролитых фашистами в Испании, в Чехословакии, в Польше. в самой Германии?

Я не выдержал и, когда Я. З. Суриц пришел меня проведать, заговорил о злополучной телеграмме. Он вначале отвечал формально, это — дипломатия, не нужно придавать значение поздравительным телеграммам. Но вдруг его прорвало, он вскочил: «Вся беда в том, что мы с вами люди старого поколения. Нас иначе воспитывали... Вот вы взволновались из-за телеграммы. Есть вещи похуже. Когда-нибудь мы сможем обо всем поговорить. А сейчас вам нужно подумать о себе, теперь не время болеть...»

В марте 1940 года Суриц внезапно уехал. Перед этим он лежал больной: у него было воспаление легких. На очередном собрании сотрудников посольства приняли приветственную телеграмму Сталину, в которой, как тогда было принято, осуждали франко-английских империалистов, развязавших войну против Германии. Сурицу принесли текст на подпись. Молодой неопытный сотрудник отнес телеграмму не шифровальщику посольства, а в почтовое отделение. На следующий день телеграмма была напечатана в парижских газетах. Для политиков, считавших, что нужно воевать не с фашистской Германией, а с Советским Союзом, это было нечаянной находкой. Французское правительство объявило Сурица «персона нон грата». Когда я пришел в посольство, мне сказали, что Яков Захарович уже уехал, — «вышла, так сказать, промашка...».

Я ослаб, быстро уставал, не мог работать. В ту зиму мало кто к нам приходил: некоторые из былых друзей считали, что я предал Францию, другие боялись полиции — за мною следили. Могу сосчитать на пальцах людей, которые меня навещали или звали к себе: Андре

Мальро, Жан Ришар Блок, летчик Понс, сражавшийся в Испании, Гильсумы, Вожель, Рафаэль Альберти, Херасси, доктор Симон и мой приятель Путерман, живший в соседнем доме.

С Путерманом тогда трудно было разговаривать; все его выводило из себя — Даладье, германо-советский пакт, англичане, Финляндия, у него обострилась гипертония. В один из последних вечеров он вдруг начал читать на память стихи Пушкина:

Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;
Страшитесь возбудить слезами подозренье;
В наш век, вы знаете, и слезы преступленье...

Он умер три дня спустя. Полиция произвела обыск, когда он лежал мертвый. Вытряхивали томики Пушкина... На похороны пришел Вожель. Я помнил его оживленным, снобом, представителем «всего Парижа». А он стоял на кладбище постаревший, печальный.

Зима была на редкость холодная: газеты сообщали, что снег выпал даже в Севилье. Шла советско-финская война, и газеты забыли, что есть на свете Германия. Многие политики требовали отправки экспедиционного корпуса в Финляндию. Марсель Деа, который еще недавно защищал Гитлера и пустил в ход хлесткую фразу о том, что не стоит «умирать за Данциг», теперь доказывал, что необходимо умереть за Хельсинки. В церкви Мадлен отслужили молебен за победу Маннергейма. Дамы вязали фуфайки для финских солдат. Даладье хотел показать, что он может воевать если не на Рейне, то у Выборга. Стояла предвоенная суматоха, когда неожиданно пришло сообщение о мирных переговорах между Финляндией и Москвой. Министры понегодовали и вернулись к прежним заботам.

Решили, что солдат слишком много, а фронт короткий; нужно отпустить молодых крестьян домой: да здравствует земледелие!

Продовольствия было достаточно, но министры хотели показать себя дальновидными и ввели невинные ограничения — были дни без пирожных, дни без говядины, дни без колбасных изделий.

Трудно сказать, на что надеялись французские генералы. Они свято верили в две линии — в линию Мажино и в линию Зигфрида. Даже я, человек глубоко штатский, знал, что в Испании исход сражений решали авиация и крупные танковые соединения; но французские генера-

лы не любили новшеств; генерал де Голль был для них футуристом.

Я ждал выездной визы. В правой газете «Кандид» появилась противная заметка, посвященная мне. «Же сюи парту» спрашивала: «Почему Эренбург еще в Париже?..» Я сам поставил этот вопрос в префектуре, но там не отвечали, там допрашивали. Я лежал, томился, перечитывал Монтеня, Чехова, Библию.

В апреле Гитлер приступил к оккупации Норвегии и Дании. Новый премьер-министр решил послать немного солдат в Норвегию. В военных сводках появились названия далеких фьордов.

У меня сохранилась записная книжка с короткими записями за 1940 год. Приведу некоторые — они показывают и то, что происходило во Франции, и мое тогдашнее восприятие событий. «9 апреля. Война в Скандинавии. Осло. Арестованы семнадцать коммунистов». «11 апреля. Улица Рояль. Витрины магазинов, клипсы-танки и клипсы-самолеты». «16 апреля. Нарвик. Арестованы пятьдесят четыре коммуниста». «17 апреля. Арестован некто Пейроль, глухонемой, за антинациональную агитацию». «23 апреля. Фернандо рассказал, что Реглера в концлагере избивали». «28 апреля. Отпускник на улице Арморик, пьяный, кричал: «Это не война, а надувательство!» «29 апреля. Эльза Юрьевна рассказала, как арестовали Муссинака». «30 апреля. «Эвр» сообщает, что арестовали рабочего за то, что он читал биографию Ленина». «1 мая. «Канар аншене» пишет: «Это первое спокойное Первое мая после 1918 года».

«Странная война»... Умирали люди — в Польше, в Финляндии, в Норвегии. Тонули суда, люди гибли среди рассерженного моря. Выли по ночам сирены. Но все это не походило ни на войну, ни на мир. Трагический фарс продолжался.

Франция репетировала капитуляцию. Миллионы людей в разных странах репетировали бомбежки, перебежки, пулеметный огонь, агонию. Но репетиции были тусклыми, вялыми; никто не знал своей роли, ораторы сбивались на чужой язык, стратеги сидели, как географы, над картами обоих полушарий, не решаясь произвести даже небольшую разведку. А может быть, так мне казалось, потому что я был обречен на полное бездействие болезнью, да и обстоятельствами? Не знаю. Когда человек счастлив, он может ничего не делать. А в беде необходима активность, какой бы иллюзорной она ни была.

37

Мы поздно засиделись у Жана Ришара Блока. Он рассказал об аресте Муссинака, которого держат в тюрьме Сантэ. Режим как для уголовников, а Муссинак болен... Блок рассказал также, как везли арестованных коммунистов; на одном вокзале эшелон задержался. Из закрытых наглухо вагонов вдруг раздалась «Марсельеза». Солдаты, отправлявшиеся на фронт, изумились: им сказали, что везут предателей, шпионов. Жена Блока, Маргарита, печально улыбнулась.

Потом мы шли по затемненному городу. Я оступился и выругался: черт бы их всех побрал — воевать не воюют, а ногу сломать очень легко!..

Когда мы вернулись домой, началась тревога; она длилась долго. Мы не сошли в убежище: надоело. Да и войны нет... А спать не дал кот — неизвестно откуда он пришел, отчаянно мяукал, требовал, чтобы его пустили в дом.

Рано утром мы услышали ошеломляющие новости: немцы вошли в Голландию и Бельгию. Это было 10 мая. Пришел толстяк Понс, сказал: «Теперь начинается...» В «Пари суар» я увидел фотографии, напомнившие Испанию, — убитые дети.

В моей маленькой записной книжке значится: «11 мая, суббота. Марке». Помню, еще перед началом драматических событий Люс Гильсум нам сказала, что 11 мая нас ждет Марке; узнав, что я собираюсь подарить ему старую икону, он хочет отдарить своим холстом.

Рассказ о войне, о потопленных транспортах, о десантах парашютистов, о разгроме Франции я перебиваю главой, посвященной художнику Альберу Марке. Трудно передать, что происходило со всеми в тот день. Париж напоминал растревоженный улей; вчера еще беспечные, люди вдруг поняли, что игра кончена, начинается расплата. Встреча с любым другим художником или писателем была бы естественной. Но при чем тут Марке с его легкими, прозрачными пейзажами? Он и на холсте ни разу в жизни не пытался повысить голос, писал предпочтительно воду и был, по старому русскому определению, тише воды. Он писал Сену — в Париже и в Нормандии, с баржами или без, писал море, заблудившееся среди скал Стокгольма, каналы Венеции и каналы Голландии, большой Нил и малую Марну и снова Сену — на рассвете, в полдень, вечером, с деревьями зелеными или голыми, в дождь, под снегом. На его холстах почти всегда — вода, много воды.

(В XVI веке французский поэт Иоахим Дю Белле увидел развалины древнего Рима. В последующие столетия их раскрали, разобрали, а тогда, по описаниям путешественников, они подавляли величьем. Дю Белле писал про Рим:

...Он побеждал чужие города,
Себя он победил — судьба солдата.
И лишь несется, как неслась когда-то,
Большого Тибра желтая вода.
Что вечным мнилось, рухнуло, распалось.
Струя поспешная одна осталась.)

Окна мастерской Марке выходили на Сену: мост, набережная с закрытыми ящиками букинистов. С женой Марке, Марсель, мы, разумеется, начали говорить о событиях: куда пойдут немцы, будут ли бельгийцы сопротивляться, обсуждали, строили догадки. Марке стоял у окна и глядел на Сену. Потом он повернулся к нам. Глаза у него были умные, чуть насмешливые и вместе с тем добрые. Он сказал: «Ничего не кончено...» О чем он думал? Об исходе сражения? О судьбе людей? В тот день я понял силу искусства. Все говорили о Рейно, о короле Леопольде, о Вейгане, о Кейтеле — я сейчас с трудом припомнил эти имена. Четверть века прошло, все, кажется, изменилось. А вода осталась — Сена, та, что пересекает Париж, и другая — на полотнах Марке.

Я говорил, что самым скромным поэтом, которого я встретил в жизни, был Антонио Мачадо. Я не видел художника скромнее, чем Альбер Марке. Слава ему претила. Когда его хотели сделать академиком, он чуть было не заболел, протестовал, умолял забыть о нем. Да и не пробовал он никого ниспровергать, не писал манифестов или деклараций. В молодости на несколько лет он примкнул к группе «диких», но не потому, что соблазнился их художественными канонами, — не хотел обидеть своего друга Матисса. Он не любил спорить, прятался от журналистов. При первом знакомстве сказал с виноватой улыбкой: «Вы меня простите... Я умею разговаривать только кистями...»

Он не заботился о судьбе своих картин, был равнодушен к различным житейским благам. В молодости он знал нужду, редко ел досыта. Матисс мне рассказывал, как они вместе работали на выставке 1900 года; смеясь, пояснял: «В общем, как маляры...» И Матисс мне еще говорил: «Большего бессребреника, чем Марке, я не знаю. У него рисунок твердый, порой острый, как у старых японцев... А сердце у него девушки из старинного романса, не только ни-

кого не обидит, а расстроится, что не дал себя как следует обидеть...»

В 1934 году Марке поехал с группой туристов в Советский Союз. (Он много путешествовал.) Когда он вернулся в Париж, его спрашивали, правда ли, что в Советском Союзе ад. Он отвечал, что мало разбирается в политике, никогда в жизни не голосовал: «А в России мне понравилось. Подумайте — большое государство, где деньги не решают судьбу человека! Разве это не замечательно?.. Потом, там, кажется, нет Академии художеств, во всяком случае, никто мне о ней не говорил...» (Академия художеств была восстановлена незадолго до того, как Марке приехал в Ленинград; но он увидел Неву, рабочих, школьников — академиков не успел заметить.)

Среди рабочих-коммунистов Парижа были участники кружков самодеятельности, любившие живопись Марке и преданные Советскому Союзу. Они собрали деньги и, когда Марке вернулся из России, пришли к нему: «Мы заплатим за дорогу, оплатим ваше содержание, поезжайте на несколько месяцев в Ленинград и напишите Неву...»

В 1946 году я снова увидел Марке. Он позвал нас 14 июля вечером — полюбоваться фейерверком над Сеной. Он постарел за годы войны, но был весел, угощал хорошим бордоским вином (уроженец Бордо, он знал толк в винах). Звезды ракет падали в черную реку. Марке сказал: «Вот вы говорите — вода... Нет, я люблю и другое. Например, деревья, звезды...» Он любил людей, но, будучи на редкость стыдливым, никогда об этом не говорил. Он вспомнил о нашей встрече в начале разгрома Франции: «За годы войны я многое понял. Правы коммунисты... Ужасно, что многие ничего не поняли, хотят все повернуть назад...» Он помолчал и вдруг повторил те слова, которые я хорошо запомнил из нашей встречи в 1940 году: «Ничего еще не кончено...»

Он был маленького роста, сухой, очень простой в обращении, ни внешность, ни словарь не выдавали его сущности. Говорил он картинами. Его живописный язык сдержан, прост и убедителен. Отойдя от пестроты, разбросанности, свойственных многим импрессионистам, он никогда не искал в жизни геометрии: он обобщал по-человечески — без циркуля, без обязательной логики — так, как обобщает поэзия или любовь. Его холсты поражают скупостью изобразительных средств, трудны в своей простоте, искусны в сердечной безыскусности. Серое, синее, зеленое — и мир оживает. Он любил юг — Алжир, Марок-

ко, Египет; но лучшие его пейзажи — северные; видимо, юг его самого поражал цветом, а в серой, стыдливой, сдержанной природе севера он находил цвета, которые поражают нас.

В 1940 году он попросил меня выбрать пейзаж, который мне особенно нравится. Я выбрал Сену, набережную, мост в серый денек. На стене клок плаката «Левого блока» — 1924 год. В 1946 году Марке подарил мне другой пейзаж — Сена, пустая, почти голый холст.

Как я мог подумать, что больше его не увижу? Его жена написала про его последние дни. Марке оперировали в январе 1947 года. Операция не помогла; он слабел с каждым днем, знал, что умирает, и все же продолжал работать. Он написал еще восемь холстов — Сена... Он умер в июне.

Я пишу про годы, когда мало кто вспоминал об искусстве; люди умирали, не успев оглянуться. Но ведь умирали они за то, чтобы другие увидели реку, деревья, звезды, чтобы на ослепшую и оглохшую землю вернулось искусство. «Ничего еще не кончено...»

Марке любил поэзию, любил Бодлера, Лафорга, думаю, и Аполлинера. Глядя на его холсты, я порой про себя повторяю:

Проходят дни, за годом год.
Под мостом Мирабо Сена течет.
Бьют часы. Уходят года.
И то, что ушло, не придет никогда.
Уходит любовь. Проходят года.
А я остаюсь. Но течет вода...

Давно умер автор этих строк Аполлинер. Умер и Марке. «Течет вода...» Но вдруг мне чудятся в подслушанной на улице фразе старые стихи о мосте Мирабо, в зрачке прохожего мерещится серая Сена под окном мастерской Альбера Марке. Кто знает, может быть, что-нибудь остается от каждого из нас? Может быть, это и есть искусство?..

38

Двенадцатого мая — на следующий день после того, как я был у Марке, — рано утром за мною пришли полицейские и отвезли в префектуру. Сначала меня заперли в каталажке, где уже находилось человек тридцать: парижские рабочие, заподозренные в сочувствии к коммунистам, немецкие эмигранты, поляк, студент из Барселоны. Немецкий еврей мне сказал: «Знаете, за что меня арестова-

ли? Мой брат сражался в Испании. Я не мог воевать — штурмовики мне переломили руку. Теперь они нашли у меня письмо брата, он был в батальоне Тельмана. Шпик кричал: «Вы — коммунист, шпион!..» Да разве они с Гитлером воюют?..» Пожилая француженка громко всхлипывала: «Откуда я знаю, с кем встречался Альфред? Это не мое дело. Я даже мужа не спрашиваю, с кем он встречается... Я, кажется, не консьержка...»

Потом меня повели на верхний этаж, в комнату, где занимались высылкой иностранцев. Народу было много, и чиновники торопились: «Эренбург Илья? В трехдневный срок». Я попытался объяснить чиновнику, что давно жду выездной визы, но он меня оборвал: «Это не наше дело. Пройдите на второй этаж...»

Со мной приключилась неприятная история, которую я никак не мог распутать: весной 1939 года на мое имя перевели из Москвы гонорар испанским писателям — они собирались уехать, кто в Мексику, кто в Чили. Писателей было девять или десять, и это составило довольно крупную сумму. Когда я заявлял о моих доходах за истекший год, я, конечно, не проставил денег, переданных испанцам. В начале 1940 года полиция произвела налет на «Банк Северной Европы»; проверили переводы, конторские книги. Выяснилось, что я скрыл от налоговой инспекции гонорары испанским писателям и деньги на грузовик для Испании, приобретенный еще в 1936 году. С меня потребовали сумму, которой я никогда не держал в руках, заявили, что до ее выплаты меня не выпустят из Франции. На втором этаже чиновник сердито ответил: «Это меня не касается. Пройдите на третий этаж... А пока вы не принесете справки о выплате налогов и штрафа, мы вам не поставим выездной визы». Я пошел снова к чиновнику, занимавшемуся высылками, простоял часа три в хвосте: «Меня не выпускают». — «Я вам сказал, что это не мое дело. 14 мая вы обязаны покинуть Францию».

Я уже говорил, что после болезни ослаб; мне казалось, что у меня ноги из ваты. Я едва добрался домой. Палили зенитки.

На следующий день немцы прорвали французскую оборону близ Седана и проникли во Францию. В Париже появились бельгийские беженцы с корзинами, узлами, перепуганные, заплаканные.

События разворачивались быстро. Капитулировала Голландия. Немцы заняли Брюссель. Исчезли автобусы —

говорили, что их реквизировали: перебрасывают войска с линии Мажино на север. В Венсенском лесу рыли окопы. Богатые кварталы опустели. Полицейским, которые регулировали уличное движение, выдали винтовки. Я увидел бельгийские автомобили, продырявленные пулями.

Вдруг все облегченно вздохнули: распространился слух, что немцы повернули к побережью и собираются идти на Лондон. Рейно отправился в Нотр-Дам: отслужил молебен о победе союзников. Все ценности на бирже неожиданно поднялись, маклеры восторженно вопили. Жизнь продолжалась; рестораны и кафе были переполнены. Газеты писали о новой моде: дамские шляпы, похожие на военные пилотки. Радио сообщало о боях в районе Нарвика — за Полярным кругом.

Двадцать первого мая меня снова вызвали в префектуру и спросили, почему я не покинул Францию. Снова я ходил безрезультатно с одного этажа на другой. Началась тревога. Полицейские загнали нас в убежище под Консьержери. Туда же примчались чиновники префектуры. Рядом со мною оказался тот, что меня высылал. Он все время монотонно повторял: «Дерьмо... дерьмо... дерьмо...» Не знаю, к кому это относилось: к противовоздушной обороне, к немцам или ко мне.

Премьер-министр произнес в парламенте речь, сказал, что была измена, виновники понесут наказание, Франция вместе с Англией остановит врага.

Вдруг мы узнали, что правительство решило послать в Москву Пьера Кота, чтобы «улучшить отношения с Советским Союзом». Наш поверенный в делах Н. Н. Иванов этому радовался. Он шепотом говорил мне, что Гитлер обязательно нападет на Советский Союз, хорошо бы на всякий случай договориться с союзниками. А я не верил, что Рейно может обуздать профашистов. В самом правительстве шла борьба. Вице-премьер Петен считал Рейно английским ставленником. Министр иностранных дел Бодуэн стоял за сближение с Муссолини. Министр внутренних дел Мандель, в прошлом друг и помощник Клемансо, хотел воевать с немцами всерьез, но у него были связаны руки: когда он попробовал арестовать пять журналистов, открыто выступавших за мир с Гитлером, поднялась газетная буря и задержанных освободили. Зато ежедневно продолжали арестовывать коммунистов.

Я лежал в полутемной комнате на улице Контантен. В ящиках, похожих на огромные гробы, были упакованы книги. В углах высились горы старых испанских газет, листо-

вок Народного фронта, гитлеровских брошюр — материал для давних газетных корреспонденций.

Двадцать четвертого мая мне позвонил министр общественных работ де Монзи, с которым я прежде встречался. Де Монзи был одним из первых французов, посетивших Советский Союз. Он написал о своей поездке книгу и не раз отстаивал идею развития культурных и экономических связей с Советским Союзом. Однажды он председательствовал на вечере, где я должен был рассказать о советской литературе. Увидев меня, он пришел в ярость: «Кто вас просил постричься?» Оказалось, он собирался во вступительном слове процитировать слова Ленина об Илье Лохматом, я ему сорвал эффектный рассказ. Политически де Монзи был фигурой неясной, блокировался то с левыми, то с правыми, скорее капризничал, чем рассчитывал и подсчитывал. Он мне сказал по телефону: «Илья, нехорошо забывать старых друзей. Говорят, вы собираетесь в Россию. Как же вы не зашли со мною проститься?» Наши отношения не были настолько близкими, чтобы объяснить эти слова чувствами, и я понял — дело идет о политике. Де Монзи добавил, что хочет меня срочно видеть, — не могу ли я сейчас же зайти к нему в министерство на бульваре Сен-Жермен?

Де Монзи курил, как всегда, трубку, как всегда, попытался побалагурить, но быстро перешел к делу: «Петен, Бодуэн, да и некоторые другие хотят капитулировать. Рейно против, я уж не говорю о Манделе. Картина невеселая — наши военные готовились к длительной позиционной войне. А линия Мажино была талисманом, и только. У нас мало танков, а главное — мало самолетов. Положение критическое...» Я спросил, почему правительство продолжает войну против коммунистов, почему восстанавливает против себя рабочих — на военных заводах шпиков чуть ли не больше, чем рабочих. Де Монзи не стал отмалчиваться, сказал, что тридцать тысяч коммунистов арестованы и что министр юстиции социалист Серроль отказывается перевести их на режим политических заключенных. Он добавил: «Я знаю Семара. Это коммунист, но он француз, патриот. Его арестовали. Я говорил о нем с Серролем, и безуспешно. Я вам прямо скажу: я куда больше доверяю Семару, чем Серролю...»

Мы помолчали. Де Монзи отложил трубку, встал и, не глядя на меня, сказал: «Если русские нам продадут самолеты, мы сможем выстоять. Неужели Советский Союз выиграет от разгрома Франции? Гитлер пойдет на вас... Мы

просим об одном: продайте нам самолеты. Мы решили послать в Москву Пьера Кота. Вы его знаете — это ваш друг. Не думайте, что все прошло легко, многие возражали... Но сейчас я говорю с вами не только от себя. Сообщите в Москву... Если нам не продадут самолетов, через месяц или два немцы займут всю Францию».

(Я невольно вспомнил лето 1936 года, когда представители испанского правительства повторяли в Париже: «Если Франция нам не продаст самолетов, мы погибнем».)

Прямо от де Монзи я пошел в посольство к Н. Н. Иванову, рассказал ему о беседе. Он посадил меня за стол: «Ваш долг сообщить. Пусть Москва решает. Но вы должны сейчас же написать...»

Прежде чем перейти к дальнейшим событиям, я должен рассказать о Николае Николаевиче Иванове. Он работал экономистом, когда неожиданно его послали в Париж, назначили секретарем, потом советником посольства. Это был хороший, честный человек; его неизменно выручала вера в людей. Попал он в Париж молодым, неопытным, а после отъезда Я. З. Сурица стал поверенным, то есть фактически послом. Он быстро начал говорить по-французски; много читал; просил меня рассказывать ему о писателях Франции, о театре; спрашивал, какие вина нужно заказывать с мясом, с рыбой, — словом, осваивал множество вещей, больших и малых.

Потом он последовал за французским правительством в Тур, Бордо, Клермон-Ферран. Я его встретил в начале июля в местечке Бурбуль возле Виши. В декабре 1940 года он вернулся в Москву, пришел ко мне, рассказывал о начале Сопротивления, о судьбе французских писателей. Вско-ре после этого я узнал, что его арестовали. Когда в 1954 году Н. Н. Иванова реабилитировали, ему показали приговор Особого совещания: в сентябре 1941 года Н. Н. Иванов был приговорен к пяти годам «за антигерманские настроения». Трудно себе это представить: гитлеровцы рвались к Москве, газеты писали о «псах-рыцарях», а какой-то чиновник ГБ спокойно оформлял дело, затеянное еще во времена германо-советского пакта; поставил номер и положил в папку, чтобы все сохранилось для потомства...

Николаю Николаевичу неизменно помогала его вера в торжество справедливости. Находясь в лагере, он узнал, что сотрудники ГБ расхитили его книги, картины, и, так как приговор не предусматривал конфискации имущества, подал жалобу прокурору; к изумлению лагерного начальства, он выиграл дело. При освобождении ему уплатили

деньги за пропавшие вещи. Хотя он не имел права проживать в крупных городах, он первым делом направился в Москву, пошел на Лубянку и начал спрашивать, почему его ни за что продержали пять лет в заключении. Он напал на сердобольного человека, который сказал: «Уезжайте. Я должен вас задержать, но я буду считать, что вы у меня не были...» Иванов сохранял оптимизм и веру; женился, работал, говорил, что счастлив. Он умер в 1965 году.

Возвращаюсь к майским дням в Париже. Через три дня после моей встречи с де Монзи рано утром позвонили. Пришли несколько полицейских; один показал мне ордер на арест, который исходил из кабинета вице-премьера маршала Петена.

Обыск продолжался несколько часов. Раскрыли ящики с книгами, рылись в брошенном хламе, даже вспороли подушку. Среди полицейских был один русский, другие его звали Николя. Он, видимо, собирал книги, потому что, увидев «Тысячу и одну ночь» в издании «Academia», обрадовался: «У меня как раз нет этого тома...» Старшего полицейского больше всего заинтересовали валявшиеся на полу испанские газеты и книжки с гитлеровскими песнями; он сказал удовлетворенно: «Улики налицо...»

Николя и один из французов остались в квартире, чтобы сторожить Любу. А меня повели по улице Котантен к машине. Соседи глядели изумленно; кто-то спросил, неужели я шпион. Полицейский ответил: «Заговор немцев и коммунистов». Он шел позади меня с револьвером, приговаривал: «Чуть что, выстрелю — попытка бегства...» В префектуре, куда доставили отобранные у меня пуды улик, вскоре начался допрос. «Вы сообщали по телефону, что все готово. Вы собирались выступить в пятницу, тридцать первого мая...» — «Я говорил нашему поверенному в делах, что у меня все готово к отъезду и что я жду его звонка. Он мне сказал, что надеется получить выездную визу в пятницу, тридцать первого мая». — «Вы пробуете упираться. Нам известно, что вы стояли во главе группы коммунистов, которая решила впустить немцев в Париж. Найденные у вас документы подтверждают, что вы были в тесной связи с агентами Германии».

Мне стало смешно, я сказал: «Это настолько нелепо, что годится только для «Канар аншене» (так назывался левый юмористический журнал). Полицейский вынул револьвер: «Мы не собираемся больше церемониться с агентами Москвы и Берлина. Вы напрасно смеетесь — через четверть часа вы будете икать».

Разговор о том, что именно я буду делать через четверть часа, происходил уже вечером. Раздался телефонный звонок. Полицейский нехотя взял трубку, процедил «алло» и вдруг вскочил: «Я вас слушаю, господин министр...» Одновременно он ловким ударом выбросил меня из комнаты и закрыл дверь.

Вот что я узнал потом от Любы и Н. Н. Иванова. Двое полицейских, как я сказал, остались в моей квартире. Они не позволяли Любе подойти к телефону. Пришла Клеманс; ее тоже задержали. Она кричала: «Нужно арестовать бельгийского короля, а не мосье Эренбурга. Вы, может быть, не слышали радио? Бельгийский король снюхался с фашистами и капитулировал. А мосье Эренбург был в Испании, он ненавидит фашистов...» Потом она перешла к предметам более низменным: «Я должна выйти с собаками. Кто будет вытирать пол, если они напачкают, — вы или я?» Несколько минут спустя позвонили — вошел шофер нашего посольства. Оказалось, Николай Николаевич приехал за мной — хотел меня повезти в Булонский лес; Клеманс ему рассказала о происшедшем.

Николай Николаевич понял, что дело серьезное. По правилам, он должен был обратиться в министерство иностранных дел, но он знал, что там не встретит никакого сочувствия. Поразмыслив, он решил пренебречь дипломатическими правилами и поехал к министру внутренних дел Манделю, который, как я говорил, ненавидел немцев и стоял за сближение с Советским Союзом.

Мандель позвонил полицейскому следователю в ту самую минуту, когда допрос перешел с общих тем на игру с револьвером.

«Можете идти, вы свободны», — злобно сказал мне полицейский. Я ответил, что пешком не пойду — темно, транспорта нет, до улицы Котантен далеко, притом мне должны вернуть отобранные у меня книги, бумаги. Полицейский вышел из себя: «Вы еще хотите, чтобы мы вас катали?» Но он быстро совладал с собой: как-никак Мандель был его прямым начальником.

Через час обитатели улицы Котантен увидели, как «заговорщик» прикатил домой и как полицейские выгружали его книги. Они не удивились только потому, что в те дни никто ничему больше не удивлялся.

На следующее утро я пошел в булочную, когда позвонили, и Люба, открыв дверь, снова увидела полицейского в штатском, показавшего ей опознавательный значок. Люба вышла из себя: «Каждый день? Вы посмотрите, что вы вче-

ра понаделали...» Квартира напоминала книжную лавку после погрома. Полицейский пытался что-то сказать, но Люба ему не давала. Наконец, воспользовавшись секундой передышки, он выпалил: «Но я пришел по поручению господина префекта принести извинения...» Манделя боялись. (Немцы знали, что его не запугать и не подкупить, они его убили.)

Впоследствии я узнал, что мой арест был связан с просьбой, переданной мне де Монзи. Петен боялся улучшения отношений с Советским Союзом. Мандель мог добиться моего освобождения, поскольку полиция подчинялась ему. Но изменить внешнюю политику Франции он не мог; и в тот самый день, когда шпик принес мне извинения префекта, правительство сообщило, что поездка Пьера Кота в Москву «откладывается».

Николай Николаевич Иванов спас мне жизнь: второй мой арест был произведен незадолго до развязки. О соблюдении законности тогда не приходилось мечтать, не раз приключалось то, что в полицейских протоколах именуется «убийством при попытке к бегству».

Двадцать шестого мая я был у Эмиля Бюре. Он рассказал, что Париж могли легко взять еще 16 мая. Теперь немцы идут на Амьен: хотят окружить французскую армию. «У нас нет самолетов», — повторял Бюре. Я встретил различных людей: Вожеля, Жана Ришара Блока, Эльзу Юрьевну Триоле, бельгийского художника Мазереля; все были подавлены.

Американский посол Буллит молился в Нотр-Даме, опустился на колени, поднес статуе Жанны д'Арк розу от имени президента. Бюре говорил: «Нам нужны не молитвы, а самолеты». Католическая газета «Об» писала о «моторизованной Жанне д'Арк, которая спасет Францию».

Третьего июня немцы сильно бомбили Париж. Было много жертв, и я увидел картины, знакомые мне по Мадриду, Барселоне. Но гнева не было, только отчаяние. В толпе кто-то говорил: «Эту войну мы проиграли до первого выстрела...»

Начался исход парижан. Длинные вереницы машин, покрытых тюфяками, тянулись к заставам Итали, Орлеан. По ночам палили зенитки. Сводки были туманными. Радио продолжало рассказывать о потопленных немецких транспортах. Все говорили, что немцы близко. Уехали Гильсумы, Фотинский, знакомые испанцы. Я не мог никуда уехать: в префектуре у меня отобрали все документы. Город пустел. Мы с Любой оставались одни в доме, из кото-

рого все уехали. На душе у меня было смутно. Уехал наконец Иванов, сказал, что в посольстве остаются некоторые сотрудники, он их попросил о нас позаботиться.

(Именно тогда в Москве пустили слух, будто я — «невозвращенец». Дело было простое, житейское: моя дача в Переделкине кому-то приглянулась, нужен был предлог, чтоб ее забрать. Бог с ней, с дачей! Происходили события поважнее: немцы забирали страну за страной; фашизм грозил всему миру. Но вот Ирине пришлось пережить много тяжелого; Париж был отрезан, и повсюду ее спрашивали: «Правда ли, что ваш отец невозвращенец?» Я рассказываю об этом, только чтобы восстановить время и нравы...)

Девятого июня на магазинах, ресторанах, кафе появились надписи: «Временно закрыто». Президент республики принял Лаваля. Кто-то прибежал, рассказывал: «Купили машину, а горючего нет. Вот если бы достать лошадь!..» Немцы сообщали по радио, что взяли Руан и что судьба Парижа решится в ближайшие дни. Я попытался послушать Москву; диктор долго говорил, что «Франкфуртер цейтунг» весьма высоко оценивает сельскохозяйственную выставку в Москве. Пришла Клеманс, прощалась, плакала: «Какой позор!..» Возле вокзалов стояли громадные толпы. Уезжали на велосипедах. Газеты сообщали, что начинается процесс тридцати трех коммунистов.

Десятого июня фашистская Италия объявила войну Франции. Я ходил по саду нашего посольства и вдруг услышал радостные крики, песни: рядом помещалось итальянское посольство. Фашистские дипломаты решили не уезжать к себе — немцы близко; можно просидеть несколько дней в бесте. Они, не смущаясь, пели «джовинеццу».

Одиннадцатого июня распространился слух, будто Советский Союз объявил войну Германии. Все приободрились. Возле ворот нашего посольства собрались рабочие, кричали: «Да здравствует Советский Союз!» Несколько часов спустя последовало опровержение. Парижане уходили пешком. Старик с трудом толкал ручную тележку с подушками, девочкой и старой собачонкой, которая отчаянно выла. По бульвару Распай двигался нескончаемый поток беженцев. Напротив «Ротонды» незадолго до войны поставили памятник Бальзаку работы Родена; неистовый Бальзак как бы сходит с цоколя. Я долго стоял на этом перекрестке, здесь ведь прошла моя молодость, и вдруг мне показалось, что Бальзак тоже уходит со всеми.

Лавочник на углу улицы Котантен бросил лавочку, даже не закрыл двери, валялись бананы, жестянки с консервами. Люди уже не уезжали, не уходили, а убегали. 11 июня я долго искал какую-нибудь газету. Наконец вышла «Пари суар». На первой странице была фотография: старушка купает собаку в Сене, и крупным шрифтом подпись: «Париж остается Парижем». Но Париж напоминал брошенный впопыхах дом. Еще толпились десятки тысяч людей вокруг Лионского вокзала, хотя и говорили, что поезда больше не уходят — немцы перерезали дорогу. А по радио передавали молебны и противоречивые призывы: то говорилось, что эвакуация населения обеспечена, то парижан уговаривали остаться у себя и сохранять спокойствие.

Тринадцатого июня я шел по улице Ассас. Не было ни одного человека — не Париж — Помпея... Пошел черный дождь (жгли нефть). На углу улицы Ренн молодая женщина обнимала хромого солдата. По ее лицу катились черные слезы. Я понимал, что прощаюсь со многим...

Потом я написал об этом стихи:

Умереть и то казалось легче.
Был здесь каждый камень мил и дорог.
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.
Падал черный дождь на черный город.
Женщина сказала пехотинцу
(Слезы черные из глаз катились):
«Погоди, любимый, мы простимся», —
И глаза его остановились.
Я увидел этот взгляд унылый.
Было в городе черно и пусто.
Вместе с пехотинцем уходило
Темное, как человек, искусство.

Ночью раздался звонок. Я удивился: ведь власти уехали, а немцы еще не пришли. Оказалось, из посольства прислали машину: предлагают нам перебраться на улицу Гренель, там надежнее.

Нас поместили в маленькой комнате, где прежде ночевали дипкурьеры. Утром очень низко пролетели самолеты с черными крестами. Мы вышли из посольства. Французский солдат кинулся ко мне, спросил, как пройти к Орлеанской заставе. На улицах никого не было. Воняли мусорные ящики. Выли брошенные собаки. Мы дошли до авеню де Ман, и вдруг я увидел колонну немецких солдат. Они шли и на ходу что-то ели.

Я отвернулся, постоял молча у стенки. Нужно было пережить и это.

39

Время стирает много имен, забываются люди, выцветают годы, казавшиеся яркими, но некоторые картины остаются в памяти, как бы ни хотелось их забыть. Я вижу Париж в июне 1940 года; это был мертвый город, и его красота доводила меня до отчаяния; ни машины, ни суета магазинов, ни прохожие больше не заслоняли зданий — тело, с которого сбросили одежду, или, если угодно, скелет с суставами улиц. Строившийся в разные века, объединенный не замыслом зодчего, не вкусами одной эпохи, а преемственностью, характером народа, Париж напоминал каменный лес, из которого ушли мохнатые и пернатые жители.

Редкие встречные были уродами, горбунами, безногими или безрукими инвалидами. В рабочих кварталах древние старухи на скамьях вязали; их острые пальцы переходили в длинные спицы.

Немцы дивились: не таким им представлялся «новый Вавилон». Они старательно ели в немногих открытых ресторанах и фотографировали друг друга на фоне собора Нотр-Дам или Эйфелевой башни.

Вскоре начали возвращаться беженцы: добравшись с великим трудом до Луары, они увидели на другом берегу немецкие войска. Париж оживал, но жизнь его была призрачной, неправдоподобной. Немцы покупали в мелких лавчонках сувениры, непристойные открытки, карманные словарики. В ресторанах появились надписи: «Здесь говорят по-немецки». Проститутки щебетали: «Майн зюссер...»[1] Из щелей вылезли мелкие предатели. Начали выходить газеты. «Матэн» сообщала, что в Париже остался знаменитый префект Кьяпп с его друзьями и что немцы «оценили прелести французской кухни». Гюстав Эрве, в далеком прошлом анархист, а потом шовинист, возобновил издание «Виктуар» («Победа»). Продавцы газет выкрикивали: «Виктуар»! — и редкие прохожие вздрагивали. «Пари суар» подрядила писателя Пьера Ампа. Та же газета предлагала давать объявления на немецком языке «для оживления торговли». Объявлений было мало: «Ариец, ищу работы, согласен на все»; «Кончил два факультета, ищу место официанта или приказчика, в совершенстве говорю по-немецки»; «Составляю генеалогическое дерево, разыскиваю соответствующие документы». Я зашел в булочную на бульваре Сен-Жермен. Почтенная дама

[1] Мой сладкий *(нем.)*.

громко рассуждала: «Немцы научат наших рабочих работать, а не устраивать дурацкие забастовки». У магазинов появились хвосты. Новая газета «Ля Франс о травай» учила читателей: «В каждом из нас есть крупицы еврейского духа, поэтому необходимо учинить внутренний душевный погром...» Часы переставили на час вперед; солнце еще не заходило, когда громкоговорители предупреждали: «Возвращайтесь домой!» Некоторые рестораны и кафе украсились объявлениями: «Арийская фирма. Вход евреям запрещен». В квартале, где жили евреи, выходцы из Восточной Европы, — на улице Розьер, метались в ужасе бородатые старики; немцы, забавляясь, их попугивали. Комендатура оберегала немецких солдат от возможного общения с «подозрительными элементами». При входе в кафе «Дом» на бульваре Монпарнас, куда до войны приходили художники, красовалось предупреждение: «Посещение этого кафе немецким военнослужащим воспрещается». Зато на дверях публичного дома «Сфинкс» я увидел другое объявление: «Открыто для отечественной и иностранной клиентуры». В большом мюзик-холле шло обозрение «Иммер Парис» — это было переводом на немецкий язык старой присказки «Париж остается Парижем».

Но Париж больше не был Парижем: происшедшее оказалось не одним из тех военных эпизодов, которые приключались в прошлом столетии, а катаклизмом.

После второй мировой войны смешно доказывать, что нельзя жить с фашистами на одной земле. А тогда мне приходилось ежечасно сдерживать себя. Я отводил душу в стихах:

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
Ночь навалилась, горяча.
Бензин и конская моча.
Не для того — камням молюсь —
Упал на камни Делеклюз.
Не для того тот город рос,
Не для того те годы гроз,
Цветов и звуков естество,
Не для того, не для того!..

Я кончал стихотворение признанием:

Глаза закрой и промолчи —
Идут чужие трубачи,
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!

Это было криком, но я не только кричал, я пытался понять значение происшедшего:

Часы не били. Стали звезды ближе.
Пустынен, дик, уму непостижим,
В забытом всеми, брошенном Париже
Уж цепенел необозримый Рим.

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришла А. А. Ахматова, расспрашивала про Париж. Она была в этом городе давно — до первой мировой войны, не знала подробностей его падения. В представлении некоторых критиков Анна Ахматова — «поэтесса интимных чувств с крохотным мирком». Анна Андреевна прочитала мне стихотворение, написанное ею после того, как она узнала о падении Парижа.

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.
Так вот — над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.

В этих стихах поражает не только точность изображения того, чего Ахматова не видела, но и прозрение. Часто теперь я вижу ушедшую эпоху, «труп на весенней реке». Я ее знаю и не ошибусь; а для внуков она не то призрак, не то снесенный причал или перевернутая лодка.

Вернусь к моей жизни в те дни; под немцами я прожил сорок дней — все в той же комнатушке для дипкурьеров. Нами ведал один из сотрудников посольства. Он помог нам выбраться в Москву; я назову его вымышленным именем — Львов. Кроме него в посольстве оставалось еще человек пятнадцать. Когда немцы входили в Париж, некоторые из сотрудников стояли у ворот, махали руками. Их можно понять: наши газеты тогда называли французов «поджигателями войны», «империалистами», сообщали о преследовании коммунистов во Франции; а о том, чьи головы продолжали отсекать топором в фашистской Германии, газеты не писали. За

обедом я услышал восхищенные отзывы о «союзниках» и решил больше в столовую не ходить; мы покупали в лавке колбасу или консервы, иногда обедали в ресторане, убедившись, что там нет немцев. Как-то раз я зашел в магазин, чтобы купить литр вина; хозяин мне сказал: «Возьмите старое бургундское, я его вам продам как разливное — лучше, чтобы вы его выпили, чем немцы». После нашего отъезда, наверно, обо мне говорили как о пьянице — в комнате дипкурьеров осталось полсотни пустых бутылок с патетическими этикетками.

Иногда вечером приходил Львов, рассказывал, как он послал Абецу икру, как с ним приветливо разговаривали и Абец, и комендант Парижа. Львов делал свое дело, но меня от его рассказов подташнивало.

Львов сказал мне, что должен проехать в «свободную зону», в город Брив, и предложил его сопровождать — он плохо говорил по-французски. Путь был таким: Жиен, Невер, Мулен, Клермон-Ферран, Руая, Бурбуль, Брив, Лимож, Орлеан. Я многое повидал: и развалины Жиена, и разбитый бомбами Орлеан, и кондитерскую в Руая, где «весь Париж» поглощал пирожные, охал, ахал и благословлял маршала. На берегах Луары еще валялись расплющенные машины, солдатские шлемы, игрушки. Военнопленные хоронили убитых беженцев. Люди ночевали в парижских автобусах «Бастилия — Мадлен».

Правительство в тот самый день прибыло из Бордо в Клермон-Ферран. Я должен был узнать, где находится наше посольство. Мне сказали, что министры остановились в здании коллежа. Я увидел сторожа, старичка, похожего на Вольтера; он закричал: «Нет, слава богу, они не здесь. Кажется, в префектуре...» По коридорам префектуры носились ошалевшие сановники, нельзя было ничего добиться. Я заглянул в одну из комнат. Вдруг кто-то на меня кинулся: «Что вы здесь делаете?» Оказалось, это кабинет Лаваля.

Один из беженцев, ночевавший в поле, рассказал мне, что вместе с другими пытался убежать из Бордо в Испанию, но испанские пограничники их не пропустили. История не сродни классическому роману, она то пишет стихи на зауми, которых никто не может расшифровать, то переходит на древнейший жанр общедоступной притчи...

Я не раз в жизни пережил те чувства, которые вдохновляли Маяковского, когда он писал стихи о советском паспорте, — гордился, показывая мой паспорт злобным полицейским, гордился и когда меня арестовывали, высылали, отказывали в визах. Гордился тем, что я — советский, в

1936 году в Арагоне и десять лет спустя в расистских штатах Миссисипи, Алабаме. А вот в то (к счастью, недолгое) время, о котором я рассказываю, мне было очень трудно: не мог же я гордиться тем, что, будучи советским гражданином, огражден от произвола гитлеровцев!

Как-то возле нашего посольства остановились две женщины, судя по одежде — работницы, и салютовали гербу поднятыми кулаками: «Рот фронт». Полицейские их отогнали: подъехала машина со свастикой — гитлеровские офицеры решили нанести визит Львову. Я все это видел в окно, и мне было не по себе. Думаю, читатели меня поймут.

Я перетащил в посольство мой приемник и каждый вечер слушал Лондон. 18 июня — через четыре дня после вступления немцев в Париж — впервые выступил де Голль, сказал, что война продолжается, призывал французов не подчиняться изменникам. Я слушал и радовался. Окно комнаты было открыто, и двое полицейских, дежурившие у ворот посольства, тоже слушали: один стоял, вытянувшись по-военному, — не знаю, что он потом делал, может быть, рьяно служил немцам, но в ту минуту де Голль для него был начальником; второй скептически усмехался.

Тринадцатого июля в посольство пришла Анна Зегерс. За нею следили, ей грозила смерть. Она просила помочь ей пробраться в «свободную зону». Львов ей дал немного денег, помог с документами.

Вишняки застряли в Париже. Мы у них часто бывали. Мы старались шутить, вспоминали прошлое — Андрея Белого, Марину, Пастернака. Застряла и Дуся с больной матерью. Она больше не смеялась, говорила: «Так тихо, что страшно...» Я читал ей стихи Ронсара о полдне и счастье. Лето было на редкость холодным. Часто шли дожди.

В кафе я разговаривал с немецкими офицерами — они искали собеседников, а меня принимали за француза. Некоторые говорили, что прежде всего нужно расколотить англичан, но большинство повторяло: «Скоро мы почистим Россию...» Откровенно, с вполне понятной злобой они говорили о коммунистах, о Советском Союзе. Один, помню, сказал: «Сначала мы выкачаем из России нефть, а потом кровь...»

На площади Опера играл военный оркестр. Победители сидели в кафе де ля Пэ, загорали на солнце, пили коньяк, обсуждали дальнейшие походы. Париж для них был прекрасным домом отдыха с бесплатными путевками.

Наконец настал день отъезда. Погрузили нас ночью. Вместе с нами ехали шофер посольства, повар, мелкий помощник Львова; всего было, кажется, семь или восемь советских граждан в поезде, набитом немецкими офицерами и солдатами. Один литератор, которому когда-то показали исправительно-трудовой лагерь, на вопрос, как он себя там чувствовал, ответил: «Как живая лисица, попавшая в магазин мехов». Так я чувствовал себя в том поезде.

Ехали мы долго — неделю. Я увидел развалины Дуэ, пустые города севера Франции, немецкие надписи. В Брюсселе пришлось задержаться. Мы переночевали в посольстве. Я поехал к Элленсу, мне сказали, что он успел выбраться. Брюссельцы угрюмо молчали.

Границу мы переехали ночью. Дважды была воздушная тревога. Поезд останавливался. Я мечтал: хоть бы англичане сбросили бомбу!.. Но полчаса спустя поезд шел дальше. На вокзале Мюнхен-Гладбах немки подавали победителям кофе и цветы. Потом был Берлин. Пришлось провести две ночи в гостинице. На ее двери значилось: «Евреям вход запрещен», но я ехал не как Эренбург, а как один из служащих посольства, моей фамилии в документах не было. А немцам нужны были советская нефть и многое другое, они не хотели пререкаться из-за мелочей.

У нас были припасены чай, сахар, галеты, сыр. Горничная, которая принесла кипяток, увидев сыр, спросила Любу, где мы достали такое лакомство. Люба ответила: «Привезли из Франции». Тогда немка воскликнула: «Счастливые французы!..» Это меня обрадовало: победители, только что захватившие Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Францию, завидуют французам!

Я видел их еще в 1932 году в Берлине накануне первой победы, следил за всем, что они делали, помнил Испанию. Я их снова увидел в Париже. Я многому научился. По своему характеру, да и по воспитанию я человек XIX века, я был склонен скорее к спорам, чем к оружию. Ненависть мне далась нелегко. Это чувство не красит человека, и гордиться им не приходится. Но мы жили в эпоху, когда обыкновенные молодые люди, порой с симпатичными лицами, с сентиментальными признаниями, с фотографиями любимых девушек, уверовав, что они — избранные, начали уничтожать неизбранных, и только настоящая, глубокая ненависть могла положить предел торжеству фашизма. Повторяю, это было нелегко. Часто я испытывал жалость, и, может быть, сильнее всего

я ненавижу фашизм именно за то, что он научил меня ненавидеть не только абсурдную, бесчеловечную идею, но и ее носителей.

40

Я вернулся в Москву 29 июля 1940 года. На свадьбе полагается не плакать, а плясать. Я был убежден, что вскоре немцы нападут на нас; перед моими глазами стояли ужасные картины исхода Барселоны и Парижа. А в Москве настроение было скорее свадебным. Газеты писали, что между Советским Союзом и Германией окрепли дружеские отношения, и упрекали Англию за то, что она отказалась начать мирные переговоры с Гитлером.

Я написал В. М. Молотову, что хочу рассказать ему о положении во Франции, о том, что говорят немецкие офицеры и солдаты. Меня принял заместитель Молотова С. А. Лозовский. Его я знал еще по дореволюционному времени, встречал, когда он в Париже выступал на социал-демократических собраниях. Он слушал меня рассеянно, печально глядел в сторону. Я не выдержал: «Разве то, что я рассказываю, лишено всякого интереса?» Соломон Абрамович грустно улыбнулся: «Мне лично это интересно... Но вы ведь знаете, что у нас другая политика...» (Я все же оставался наивным — думал, что правдивая информация помогает определить политику; оказалось наоборот — требовалась информация, подтверждающая правильность выбранной политики.)

(С Лозовским я работал в годы войны, когда он был начальником Совинформбюро. Он остался в моей памяти человеком мягким, глубоко порядочным; он хорошо знал рабочий класс Запада; но никакой власти у него не было — по любому вопросу ему приходилось запрашивать Молотова или Щербакова. Как начальник Совинформбюро, он должен был руководить различными комитетами, созданными в начале войны, среди них и Еврейским антифашистским комитетом. Лозовский был арестован вместе с руководством этого комитета в конце 1948 года, осужден и расстрелян в возрасте семидесяти четырех лет, а потом посмертно реабилитирован.)

Я, естественно, искал людей, хорошо знавших и продолжавших ненавидеть фашистов; пришел П. Г. Богатырев, выбравшийся из Чехословакии, рассказывал о судьбе чешских друзей; у Е. Ф. Усиевич я познакомился с В. Л. Ва-

силевской, она мне рассказала о поэте Броневском, приходили ко мне бывшие интербригадовцы — Белов, Петров, Баллер, испанцы — Ла Каса, Альберто, Санчес Аркас. Перелистывая записную книжку, я вижу, кто бывал у нас в зиму 1940—1941 года: Кончаловский, Фальк, Штеренберг, Суриц, Толстой, Игнатьевы, Лидин, Эфрос, Олеша, Славин, Ахматова, Пастернак, Вишневский, Мартынов, Луговской. С ними мне было легко говорить — они ненавидели фашизм.

Были и такие писатели, журналисты, которые считали, что я рассуждаю не как советский гражданин — слишком долго жил во Франции, привязался к ней, рисуя гитлеровцев, «сгущаю краски». Однажды я услышал даже такие слова (в то время диковинные): «Людям некоторой национальности не нравится наша внешняя политика. Это понятно. Но пускай они приберегут свои чувства для домашних...» Меня это поразило. Я еще не знал, что нам предстоит.

Помню разговор с академиком Л. С. Штерн. Мы говорили о зверствах гитлеровцев, об Испании, о Париже, о пакте. Лина Соломоновна сказала: «Один ответственный товарищ объяснил мне, что это — брак по расчету. Но я ему ответила, что от брака по расчету могут быть дети...» (Восемь лет спустя Л. С. Штерн на себе узнала правильность своего прогноза: ее арестовали вместе с другими деятелями Еврейского антифашистского комитета; к счастью, она не погибла.)

На премьере в Еврейском театре я вдруг увидел Дугласа — так звали в Испании командира наших воздушных сил Я. В. Смушкевича. Он хромал, опирался на палку. Я сразу заметил на его груди две Звезды Героя. Мы вспомнили Испанию. Я радовался: не все погибли!.. Савич говорит, что видел Хаджи, Николаса. О Григоровиче я читал в газете. А вот Дуглас командует военно-воздушными силами... Я думал, что опыт Испании поможет в надвигающейся войне. (Я. В. Смушкевича арестовали и расстреляли за две недели до того, как гитлеровцы напали на Советский Союз.)

Нужно было работать — писать, да и найти место, где меня осмелились бы напечатать. Я упомянул о том, как меня заочно причислили к невозвращенцам. В течение долгого времени мое имя нигде не упоминалось; его вычеркнули даже из списка советских писателей, книги которых переведены на иностранные языки. Я хотел описать все, что видел во Франции, показать, что быстрый

разгром французской армии, капитуляция Петена объясняются моральной слабостью, страхом крупной буржуазии перед своим народом, а вовсе не чудодейственной силой рейхсвера. Ведь дело теперь не в Петене, а в том, что скоро нам придется столкнуться с немецкой армией... Я пошел в «Известия» — семь лет я работал для этой газеты. Меня принял заведующий иностранным отделом, спросил, нет ли у меня претензий к бухгалтерии, потом откровенно сказал, что печатать меня они не будут.

В Гослитиздате мне рассказали, что моя книга об Испании не смогла выйти: задержала типография, а тут подоспел пакт — и набор рассыпали. Мне дали на память верстку.

Не помню, где я познакомился с З. С. Шейнисом, работавшим в газете «Труд». Он объяснил, что «Труду», как газете профсоюзов, предоставлена некоторая свобода. Я не должен ничего писать о немцах, а ругать французских предателей могу. Редакция попытается протолкнуть мои очерки. Действительно, после длительных переговоров, правок, купюр мои очерки были напечатаны в «Труде». Я несколько приободрился: добился положения дебютанта, которого, хорошенько отредактировав, печатают.

(Потом мне прислали брошюру, напечатанную в Женеве, — мои статьи из «Труда»: коммунисты их нелегально распространяли во Франции.)

Меня позвали на собрание московских писателей; оно было драматичным — оказалось, что Сталин пригласил группу писателей, назвал Авдеенко «врагом» и нападал на пьесы Леонова «Метель» и Катаева «Домик». Мы должны были проголосовать за исключение Авдеенко из Союза. Различные литераторы, соревнуясь друг с другом, поносили Леонова и Катаева. Я сидел и дивился: надвигается война, неужели Сталин так уверен в нашей мощи, что может отдавать свое время литературной критике? Все мне было непонятно; я терзался, и не было мудрого Бабеля, к которому я когда-то приходил за объяснениями...

Я писал стихи: о Париже, о войне, о верности, о смерти:

...Будет день, и прорастет она —
Из костей, как всходят семена, —
От сетей, где севера треска,
До Сахары праздного песка,
Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,
Зашагают ноги без сапог,
Зашагают сапоги без ног,
Зашагают горя города.

Выплывут утопшие суда,
И на вахту встанет без часов
Тень товарища и облаков...

Вишневский редактировал журнал «Знамя». Он взял мои стихи, отобрал те, где не было ничего о будущем, и хотел напечатать в ближайшем номере. Вскоре он сказал, что стихи задерживают в НКИДе; лучше всего мне самому пойти туда, поговорить.

Заведующего отделом печати НКИДа Н. Г. Пальгунова я знал по Парижу, где он работал корреспондентом ТАССа. Николай Григорьевич меня дружески принял и сразу сказал, что стихи, где речь идет о падении Парижа, можно печатать. Смущали его лирические стихотворения. Он долго перечитывал:

Кончен бой. Над горем и над славой
В знойный полдень голубеет явор...

Спрашивал: «Скажите откровенно, кого вы подразумеваете под явором?» Я клялся, что явор — дерево, разновидность клена, что у Пушкина тоже есть явор. Я видел, что Пальгунов мне не очень-то верит. Он сказал: «Вы понимаете, какая на мне ответственность?..» В итоге он согласился пропустить и лирику. Я осмелел и послал в издательство рукопись сборника стихов «Верность».

По ночам я слушал передачи из Лондона на французском языке; помню позывные, похожие на короткий стук в дверь. Новости были невеселыми: немцы сильно бомбили Лондон. В одну из ночей я написал стихотворение, в котором признавался, что судьба Лондона мне близка:

Не туманами, что ткали Парки,
И не парами в зеленом парке,
Не длиной, а он длиннее сплина,
Не трезубцем моря властелина,
Город тот мне горьким горем дорог,
По ночам я вижу черный город,
Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь чужих уродливых развалин...

Я дал стихотворение Вишневскому. Он сказал: «Про Лондон никому не читайте, — и тотчас добавил: — Сталин лучше нас понимает...»

Ко мне пришел поэт, прочитал свои стихи и сразу меня восхитил: это был Леонид Мартынов. Он расспрашивал

про войну, про Париж, говорил «н-да» и что-то добавлял о погоде: «Зима была суровая...» Его стихи казались явлением природы — шумливым летним дождем или токованием птицы. Мы проговорили полночи о силлабическом стихосложении — Мартынов шевелил губами: искал новую музыку.

Шестнадцатого сентября я сел за роман «Падение Парижа». Пожалуй, из всего, что я написал, эта книга больше всего напоминает традиционный роман, хотя и в ней я не отказался от изобилия персонажей, быстрого монтажа. Писал я ее с увлечением. Теперь я перечитал роман; как будто мне удалось передать предвоенные годы Франции, то, что я где-то назвал загнанной внутрь гражданской войной. Но одни персонажи мне кажутся живыми, объемными, другие — плакатными, поверхностными. В чем я сорвался? Да в том, в чем и до «Падения Парижа» и после него срывались многие мои сверстники: показывая людей, всецело поглощенных политической борьбой, будь то коммунисты Мишо и Дениз, будь то фашист Бретейль, я не нашел достаточного количества цветов, часто клал белые и черные мазки. Видимо, даже ненавидя плакатную литературу и высмеивая чересчур ретивых критиков, я все же поддался известному упрощению. Напротив, естественными выглядят другие герои повествования — актриса Жаннет, симпатичный, умный и делающий глупости капиталист Дессер, наивный инженер Пьер, продажный политикан Тесса, художник Андре, наконец, один из предтеч многих героев послевоенной французской литературы, сентиментальный циник Люсьен.

(Двадцать первого июня 1941 года я кончал тридцать девятую главу последней части; оставалось написать семь коротких глав. Началась война; мне было не до романа. Во время эвакуации из Москвы исчезла рукопись третьей части. Вернуться к роману я не мог и решил, что он останется недоконченным. В декабре, однако, мне сообщили, что один из рабочих типографии, где печаталось «Знамя», подобрал разбросанные листы. В конце января, когда на фронте наступило затишье, я дописал последние главы, и роман был напечатан весной 1942 года. Тотчас вышел английский перевод, и, судя по случайно сохранившейся газетной статье, в метро Лондона, во время воздушных атак, можно было часто увидеть читателей и читательниц с моим романом.)

В. В. Вишневский, когда мы встречались, неизменно говорил о надвигающейся войне. Теперь опубликованы отрывки из его дневника. В декабре 1940 года он писал:

«Ненависть к прусской казарме, к фашизму, к «новому порядку» — у нас в крови... Мы пишем в условиях военных ограничений, видимых и невидимых. Хотелось бы говорить о враге, подымать ярость против того, что творится в распятой Европе. Надо пока молчать...» Вишневский взял у меня рукопись первой части «Падения Парижа», сказал, что попытается ее «протащить». Два месяца спустя, как раз в тот день, когда мне исполнилось пятьдесят лет, он пришел с хорошей вестью: первую часть разрешили, но придется пойти на купюры. Хотя речь шла о Париже 1935—1937 годов и немцев там не было, надо было убрать слово «фашизм». В тексте описывалась парижская демонстрация, цензор хотел, чтобы вместо возгласа: «Долой фашистов!» — я поставил: «Долой реакционеров!» Я отказывался, торговался.

Денег у меня не было, и я начал выступать с чтением отрывков из романа. Слушали меня хорошо, но и здесь пришлось столкнуться с трудностями.

Однажды я читал главы романа в Доме кино. В перерыве мне сказали, что пришел советник германского посольства, который хочет меня послушать. Я запротестовал: «Не буду при нем читать...» Меня уговаривали. Девушка, сотрудница ВОКСа, изумлялась: «Ну как можно так?.. Понятно, что его заинтересовала тема... Он вообще очень культурный человек, любит литературу... Потом, что скажут там?» И она показала рукой на потолок. Я отвечал, что вечер закрытый и что, если в зал войдет фашист, я уйду. Германскому дипломату сказали, что вечер кончился, и я дочитал отрывки.

О моих чтениях пошли толки. Мой творческий вечер отменили. Я попытался попасть на прием к секретарю Союза писателей А. А. Фадееву, но это оказалось безнадежным. Я писал статьи, чтобы получить немного денег; писал для «30 дней»,«Вокруг света», «Глобуса»; «Ленинградской правды», «Московского комсомольца»; почти все мои статьи браковались, в любой строке редакторы видели намеки на фашистов, которых остряки называли «заклятыми друзьями».

Как я сказал, в ту зиму мне исполнилось пятьдесят лет. Нет худа без добра: мое шаткое положение избавило меня от лицемерных поздравлений и от адресов в дерматиновых папках. Пришли друзья. Лапин, смущенно улыбаясь, наливал в рюмки ликеры из Львова, которыми москвичи тогда увлекались. Пастернак прислал мне письмо: «...Нам было столько лет, когда мы встретились, сколько

с тех пор прошло. Сбережем, что осталось из растраченных сил!..» Я часто в ту зиму хворал, но мне хотелось не беречь силы, а скорее их растратить: слишком тяжелой была передышка.

Известия становились все тревожнее. С начала марта Лондон говорил, что Гитлер готовится захватить Балканы. Наши газеты оставались невозмутимо спокойными. Я пошел на доклад о международном положении; лектор обстоятельно рассказывал о хищной природе английского империализма; я ждал, что он скажет о Германии; но он о ней вовсе не упомянул.

Как-то я зашел в кафе «Метрополь». За соседним столиком сидели немцы. Они пили и горланили. Я быстро ушел.

Иногда я ходил в театр, вздыхал, когда бедная Эмма Бовари металась среди шума карнавала, — Алиса Коонен умела потрясать зрителей. Пошел на выставку С. Д. Лебедевой, мне понравились бегун, голова калмычки. На другой выставке я обрадовался краскам Осмеркина.

Апрель был неспокойным. 6-го я услышал по радио о нападении немцев на Югославию и Грецию. 9-го немцы взяли Салоники, 13-го — Белград.

Четырнадцатого апреля я встретил Вишневского; он мрачно сказал: «О вашем романе разные суждения. Мы не сдаемся... Но насчет второй части ничего не могу сказать...» Вторая часть относилась к событиям 1937 — 1938 годов; немцы еще не появлялись. «Кто ругает? За что?» Всеволод Витальевич ничего не ответил.

Я знал, что в Москву должен приехать Жан Ришар Блок: его предполагали вывезти из Франции с группой советских служащих. Я просил иностранную комиссию Союза писателей предупредить меня: хотел встретить. В комиссии, однако, решили, что человеку в моем положении лучше с иностранцами не встречаться. Я все же случайно узнал, что Блоки приезжают 18 апреля. Мы пришли с Любой на вокзал. Жан Ришар и Маргарита плохо выглядели, постарели, но доверчиво улыбались друзьям, свободе, Москве. Полдня они мне рассказывали о жизни во Франции: среди писателей мало кто сотрудничает с немцами; «Нувель ревю франсез» — жалкая подделка; люди не верят газетам, в маленьких городах в часы, когда лондонское радио передает по-французски, улицы пустеют; Ланжевен держится замечательно; Арагон написал хорошие стихи...

Двадцатого апреля я узнал, что вторую часть «Падения Парижа» не пропустили. Я пришел в скверном настроении, но решил писать дальше.

Двадцать четвертого апреля я сидел и писал четырнадцатую главу третьей части, когда мне позвонили из секретариата Сталина, сказали, чтобы я набрал такой-то номер: «С вами будет разговаривать товарищ Сталин».

Ирина поспешно увела своих пуделей, которые не ко времени начали играть и лаять.

Сталин сказал, что прочел начало моего романа, нашел его интересным; хочет прислать мне рукопись — перевод книги Андре Симона, — это может мне пригодиться. Я поблагодарил и сказал, что книгу Симона читал в оригинале. (Эта книга потом вышла в русском переводе под названием «Они предали Францию», что касается автора — Симона-Катца, то его казнили в Праге незадолго до смерти Сталина.)

Сталин спросил меня, собираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над которой работаю, — война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые недели оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части, — ведь мне не позволяют даже по отношению к французам, даже в диалоге употреблять слово «фашисты». Сталин пошутил: «А вы пишите, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть...»

Люба, Ирина ждали в нетерпении: «Что он сказал?..» Лицо у меня было мрачное: «Скоро война...» Я, конечно, добавил, что с романом все в порядке. Но я сразу понял, что дело не в литературе; Сталин знает, что о таком звонке будут говорить повсюду, — хотел предупредить.

(Видимо, в конце апреля Сталин был встревожен. Да и трудно было после захвата Югославии полагаться, что Гитлера остановит пакт. Однако прошло два месяца, и нападение все же застало нас врасплох. Вину взвалили на некоторых военных; среди них был танкист, которого я не раз встречал в Алкала и у Гвадалахары, генерал армии Д. Г. Павлов; его расстреляли.)

Я пошел в «Знамя», рассказал про телефонный звонок. Вишневский просиял, признался, что его сильно ругали в ЦК. При мне Вишневскому позвонил тот самый товарищ, который его ругал, сказал, что «произошло недоразумение».

Различные редакции звонили, просили отрывки из романа.

Фадеев передал, что хочет со мною поговорить. Александр Александрович был человеком крупным и сложным; я узнал его в послевоенные годы. А в 1941 году он был для меня начальством, и разговаривал он со мною не как писатель, а как секретарь Союза писателей, объяснил, что не

знал, как может измениться международная обстановка (привожу записанную тогда его фразу: «С моей стороны это было политической перестраховкой в хорошем смысле этого слова»).

Вскоре после этого разговора в Клубе писателей был вечер армянской поэзии. Председательствовал Фадеев. Увидев меня, он сказал: «Просим Эренбурга в президиум». Я не хочу, чтобы меня дурно поняли. Фадеев был умным, интересным человеком, талантливым писателем, но он занимал ответственный пост и на этом посту не мог не делать того, что делали другие; если я вспомнил об этих мелочах, то, конечно, не для того, чтобы умалить Александра Александровича, а только для того, чтобы молодые читатели поняли, в каких условиях жили и работали писатели, в том числе сам Фадеев.

Я познакомился с прекрасным поэтом Аветиком Исаакяном. Фадеев на вечере сказал о нем, что «солнечная Армения дала ему счастье» и что он «перестроил свою лиру». Исаакян расспрашивал меня о трагедии Франции (он долго прожил в этой стране, и говорили мы по-французски). Он спросил, читал ли я перевод его поэмы «Абул-Ал-Маари»; я сказал, что читал по-французски один отрывок. Он задумался: «Нужно уметь уходить — это самое важное. Вот вы рассказали о том, как уходил Париж. Но и этого мало... Я недавно много думал о Толстом — он тоже ушел...» Нас прервали. Я глядел на его лицо и не мог наглядеться: вот уж не «солнечное» — старое, не старостью человека, а веками истории, горя, камней, крови... Да и нельзя перестроить лиру.

Для меня это было короткой вылазкой: рыбе разрешили на минуту нырнуть в воду.

В мае я ездил в Харьков, Киев, Ленинград. Встретился со многими старыми друзьями — с Лизой Полонской, Тыняновым, Кавериным, Ушаковым, О. Д. Форш. Познакомился в Харькове с молодым студентом, который писал стихи, — Борисом Слуцким. В киевской гостинице «Континенталь» танцевали. За нашим столиком сидел молодой поляк; он рассказывал о немцах в Варшаве. Софья Григорьевна Долматовская заплакала. В Ленинграде в «Европейской гостинице» пьяные немцы кричали «гох!». Я выступал в выборгском Доме культуры; меня закидали вопросами: правда ли, что немцы собираются нарушить договор, или это английская провокация.

Немцы заняли Грецию. Сталин стал председателем Совнаркома. Гесс приземлился в Англии: предлагал мир. Черчилль заявил, что самые трудные испытания впереди.

Вот записи тех дней. «21 мая. Звонили из ПУРа: «Напишите о немцах, но так, чтобы это выглядело, как план вашего романа, для «военнослужащих». Шейнис звонил: статью в «Труде» задерживают. Все говорят о войне. 23 мая. Бои на Крите. Инструктор райкома: «Незачем паниковать. Немцы соображают...» 2 июня. Англичане оставили Крит. 3 июня. В «30 днях» сняли мою статью. Лондон сообщает, что из Москвы выслали греческое посольство. 5 июня. Вечером была Анна Андреевна: «Не нужно ничему удивляться». 11 июня. Ж. Р. Блок: «Заказали статьи, но не печатают». 7 июня. С Качаловым и Москвиным: «Что же стало с Францией? Мы ничего не знаем». 9 июня. Толстой сказал, что получил письмо от Бунина. «Немцы способны на все...» 10 июня. Суриц: «Самое опасное — это духовная демобилизация». 11 июня. Вечер в НКИДе. «Почему вы не обличаете в романе английский империализм?» 12 июня. Радио, выступление американского журналиста Дюранти: немцы сосредоточивают на востоке около сотни дивизий. 13 июня. Опровержение ТАССа. Вечером читал в Генеральном штабе. 14 июня. Лондонское радио настаивает: немцы сконцентрировали на советской границе огромные силы. Читал у пограничников. «Вот пели «Если завтра война», а что делали?.. Грохоту слишком много...» 17 июня. Кармен показывал фильм о Китае. Похоже всюду, только китайцы не убегали, а уплывали по реке. Читал политрукам, спрашивали, правда ли, что звонил Сталин. «Нужно сделать некоторые выводы...» 18 июня. У Пальгунова, долгие переговоры. Пакт Германии с Турцией. 19 июня. Лондон сообщает, что немцы усиливают подготовку в Финляндии. Выступал для летчиков гражданского флота. Один послал записку: «У нас часто встречается несложное, но оригинальное устроение ума». 20 июня. Жара. Из «Труда» звонили: «Слишком остро». 21 июня. Читал на заводе. Председатель сказал: «Мы не остров, мы гигантский материк мира». Записка: «Хочется материться, когда слышишь такое»...

Двадцать первого июня прошел сильный дождь. Люба собиралась в воскресенье поехать за город — снять дачу.

Двадцать второго июня рано утром нас разбудил звонок В. А. Мильман: немцы объявили войну, бомбили советские города. Мы сидели у приемника, ждали, что выступит Сталин. Вместо него выступил Молотов, волновался. Меня удивили слова о вероломном нападении. Понятно, когда наивная девушка жалуется, что ее обманул любовник. Но что можно было ждать от фашистов?..

Мы долго сидели у приемника. Выступил Гитлер. Выступил Черчилль. А Москва передавала веселые, залихватские песни, которые меньше всего соответствовали настроению людей. Не приготовили ни речей, ни статей; играли песни...

Потом за мною приехали — повезли в «Труд», в «Красную звезду», на радио. Я написал первую военную статью. Позвонили из ПУРа, просили зайти в понедельник в восемь часов утра, спросили: «У вас есть воинское звание?» — я ответил, что звания нет, но есть призвание: поеду, куда пошлют, будут делать, что прикажут.

Поздно вечером на Ордынке я увидел парочку. Молодая женщина плакала. Мужчина ей говорил: «Да ты не убивайся! Слышишь, Леля, я тебе говорю: не убивайся!..»

Это был самый длинный день в году, и он длился очень долго — почти четыре года, день больших испытаний, большого мужества, большой беды, когда советский народ показал свою духовную силу.

Книга пятая

1

Годы, о которых мне предстоит рассказать, врезались в память каждого. Им посвящены прекрасные повествования Некрасова, Казакевича, Гроссмана, Пановой, Берггольц, Бека (этот список, конечно, далеко не полный). Пусть читателя не удивит, что о некоторых важных событиях я упомяну вкратце или вовсе промолчу: нет нужды повторять то, что уже хорошо сказано другими.

Я говорил, что в мирное время у каждого человека свой путь, свои радости и горести, а война не только все рядит в одежду защитного цвета, она не терпит и душевного многообразия, перед нею отступают и возраст, и особенности характера, и биография. В годы войны я думал и чувствовал, как все мои соотечественники.

Мне неохота повторять и себя, но боюсь — это неизбежно. В длинном романе «Буря» много встреч, бесед, картин, переживаний связано с воспоминаниями автора. Я помню два ржевских дома, их окрестили «полковник» и «подполковник», на них часто глядела одна из героинь романа Рая, я видел Осипа в Минске, когда взрывались здания, заминированные немцами, я был с Сергеем в Вильнюсе на кладбище Рос и, как доктор Крылов, в Щиграх я ночевал у молодой женщины, которая жила с немецким офицером. Мне хотелось бы не столько восстановить события, сколько попытаться взглянуть на них сегодняшними глазами.

Передо мной встают первые месяцы войны. Потом люди привыкли ко всему, сложился военный быт, а летом, осенью 1941 года города метались, скрипели, рушились, как деревья. Все было внове и непонятно — призывные пункты, расставания, задорные песни, слезы, дежурства на крышах, зловещие слухи, слово «окружение», страшное,

как чума или мор, длинные эшелоны, дороги, забитые беженцами, нарастающая тревога. В моей записной книжке — даты и города: 27 июня — Минск, 1 июля — Рига, 10 июля — Остров, 14 июля — Псков, 17 июля — Витебск, 20 июля — Смоленск, 14 августа — Кривой Рог, 20 августа — Новгород, Гомель, Херсон, 26 августа — Днепропетровск, 1 сентября — Гатчина, Каховка, 13 сентября — Чернигов, Ромны, 20 сентября — Киев... (Я записывал то, что узнавал в «Красной звезде»; сводки по большей части говорили о «направлении».) За три месяца мы потеряли территорию много большую, чем вся Франция. Теперь это страницы истории, а тогда это было смертельным томлением. Затаив дыхание, мы ждали очередную сводку. Радиоприемники вскоре отобрали, остались «тарелки», и дважды в день «тарелка» с хрипом сообщала, что отделение сержанта Васильева уничтожило три вражеских танка, что пленные говорят о моральном разложении немецкой армии, что греческие или голландские патриоты приветствуют Красную Армию и что мы отходим, все отходим и отходим.

«Какие новости?» — спрашивал я в редакции Карпова. Он отвечал: «Направление Вяземское, но Вязьму уже оставили». Понять что-либо было невозможно, оставалось верить, и вместе с другими я верил — наперекор сводкам, беженцам и женщинам с узлами, заполнившим московские улицы.

Я встречал много людей — и старых друзей, и незнакомых, которые приходили в редакцию «Красной звезды», бывал в военных госпиталях, на аэродромах, ездил на фронт, беседовал с генералами и солдатами. Я помнил первую мировую войну, пережил Испанию, видел разгром Франции, казалось, был ко многому подготовлен, но, признаюсь, порой мною овладевало отчаяние. А люди помоложе недоуменно спрашивали: «В чем дело?..» Им ведь говорили, что если враг сунет свое рыло в наш огород, то получит сокрушительный удар, что война будет протекать на чужой территории, и вот они увидели, как фашисты почти без остановки промчались от Бреста до Смоленска. В сводках повторялись те же слова: «превосходящие силы противника» — они должны были многое объяснить, но они не объясняли главного: почему же у немцев больше самолетов и танков?

Третьего июля рано утром мы слушали речь Сталина; он, видимо, волновался — слышно было, как он пил воду, да и начал он непривычно, назвал нас «братьями и сестра-

ми», «друзьями». Сталин объяснял военные неудачи внезапностью нападения, говорил о «вероломстве» Гитлера. Одновременно он повторил, что благодаря германо-советскому пакту мы выиграли время и смогли подготовиться к обороне. Все слушали молча. Днем я ходил по городу. В Москве было жарко. Люди разговаривали на бульварах, в скверах, возле подъездов. На Пушкинской площади в витрине «Известий» висела большая карта. Москвичи мрачно смотрели на нее, потом расходились по домам.

Кто знает, сколько было в каждом из нас недоумения, горечи, тревоги! Но нам было не до исторических оценок — фашисты рвались к Москве!

По переулкам Замоскворечья шагали ополченцы, шагали нестройно — с одышкой, с гирями годов и недугов. Впрочем, в те дни мало кто думал о военной выправке.

Как другие, я переживал тревогу и, как другие, событиями был освобожден от сомнений. Никогда в жизни я так много не работал, писал по три-четыре статьи в день; сидел в Лаврушинском и стучал на машинке, вечером шел в «Красную звезду», писал статью в номер, читал немецкие документы, радиоперехваты, редактировал переводы, сочинял подписи под фотографиями. О «Красной звезде» я расскажу дальше, сейчас я только хочу передать мое состояние. Я доказывал, что мы победим. В победу я верил не потому, что рассчитывал на наши ресурсы или на второй фронт, но потому, что очень хотел верить — другого выхода ни у меня, ни у моих соотечественников тогда не было.

Начали приходить телеграммы из-за границы; различные газеты предлагали мне писать для них: «Дейли геральд», «Нью-Йорк пост», «Ля Франс», шведские газеты, американское агентство Юнайтед Пресс. Приходилось менять не только словарь — и для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы. Чуть ли не ежедневно я выступал по радио — и для советских слушателей, и для французов, чехов, поляков, норвежцев, югославов.

Лозовский сказал мне, что Сталин придает большое значение работе для Америки и Англии. Совинформбюро начало устраивать радиомитинги главным образом для Америки — славянские, еврейские, женские, молодежные. На еврейском митинге выступил и я. Говорили С. М. Михоэлс, С. М. Эйзенштейн, Перец Маркиш, Д. Бергельсон, архитектор Б. М. Иофан, а также П. Л. Капица и другие. (Некоторых из выступавших или подписавших обра-

щение восемь лет спустя арестовали только потому, что они были евреями.)

В тот самый день ко мне пришел мой давний друг, польский поэт Броневский — его незадолго до этого выпустили из тюрьмы. Он был мрачен, рассказывал, что пережил и передумал в заключении, многим возмущался. Я говорил ему, что теперь нужно разбить фашистов, он усмехался: «Я это понял раньше тебя...» Он говорил, что его судьба сидеть в тюрьме, он это знает. Если разобьют немцев и освободят Польшу, то его там посадят. Но пусть посадят в польскую тюрьму — не потому, что там лучше, а потому, что он поляк...

Броневский был страстным и честным коммунистом. Я с ним встретился впервые в Варшаве при Пилсудском и подумал сразу: вот настоящий интернационалист!.. Что-то в мире изменилось, я еще не мог тогда этого сформулировать, но смутно чувствовал и понимал Броневского. Мы выросли на идеях XIX века, ненавидели национальную ограниченность, верили, что границы доживают свой век. В годы первой мировой войны все происходившее меня ошеломляло. Я искал разгадки у Декарта. А история никогда не посещала класс логики. В Испании я понимал горе народа, но там была гражданская война; подвиг интербригадовцев как бы продолжал Коммуну, Домбровского, Гарибальди. И вдруг я почувствовал, что есть очень важное и цепкое — земля. Я сидел на московском бульваре. Рядом сидела женщина с ребенком, некрасивая, печальная, с бесконечно знакомыми мне чертами, она говорила: «Петенька, не шали, пожалей меня!..» Я понял, что она родная, что за Петеньку можно умереть. Идеи идеями, но есть и это...

В конце июля начались бомбежки Москвы. После Мадрида и Барселоны они мне казались слабыми — противовоздушная оборона работала хорошо. Но для москвичей они были внове. У людей разные характеры, и они по-разному себя вели: одни были спокойны, другие с непривычки пугались, некоторые тащили в убежище мешки с барахлом. Обычно бомбежки заставали меня в «Красной звезде». В подвале особняка на Малой Дмитровке мы продолжали работать (шутя мы называли этот погреб «презрением к смерти»). Когда я выходил рано утром и шел по улице Горького, я радовался: все дома на месте! Архитектура этих домов мне никогда не нравилась, но я глядел на них с нежностью, как на близких людей, вышедших живыми из боя.

Как-то раз я вернулся ночью из редакции. Меня не хотели пропустить в Лаврушинский — наш дом был оцеплен. Работали пожарники. Я испугался: что с Любой, Ириной? Вскоре я нашел их в переулке, — оказалось, небольшая бомба попала в наш корпус, и всех удалили из дома.

Двадцать шестого июля бомбежка застала меня у себя; я писал статью. Поэт Сельвинский был контужен воздушной волной; помню его крик. Бомба разорвалась близко — на Якиманке.

Однажды я был на пресс-конференции: С. А. Лозовский показывал иностранным корреспондентам немецкие документы о подготовке химической войны. Завыли сирены, и я оказался в убежище с американским писателем Колдуэллом и его женой. Мы разговорились; несколько часов прошли незаметно. Когда дали отбой, я пошел домой с Е. П. Петровым. Мы шли по Никольской, видели, как из-под обломков дома вытаскивали тела убитых. Вдалеке рыжели отсветы пожаров.

Еще в первые дни войны Лозовский собрал писателей, говорил о важности газетной работы. Некоторые тогда ему сказали, что нужно отказаться от штампов, предоставить писателям возможность говорить с читателями своим голосом. Лозовский многое понимал, но у него были ограниченные возможности: решал А. С. Щербаков. В моей записной книжке несколько строк посвящены длинному и трудному разговору с Александром Сергеевичем. (Это было 3 сентября.) Когда я сказал, что штампованные статьи люди читают равнодушно, Щербаков ответил: «Зажирели до войны...» Потом разговор перешел на союзников. Щербаков сказал, что я должен ежедневно писать для Запада. Я заметил, что мои статьи в Совинформбюро режут или вовсе задерживают. Он рассердился: «А вы не оригинальничайте...»

В другое время такой разговор меня обескуражил бы, но я продолжал работать: мне было не до сомнений. Наверно, такие минуты переживали тогда многие — одни в тылу, другие на фронте, сталкиваясь с беспорядком, ограниченностью, несправедливостью. Никто, однако, не останавливался на наших пороках, не прерывал своей работы, борьбы; жертвовали все и всем. Горше времени, кажется, не придумаешь, а люди, его пережившие, вспоминают о нем с гордостью.

Писатели долго (разумеется, не по своей воле) обходили первые месяцы войны молчанием, начиная повествование с контрнаступления в декабре 1941 года. А между

тем все было решено именно в первые месяцы, тогда народ показал свою душевную силу.

Конечно, были растерянность и паника; много раз я слышал жесткое слово «доигрались»... Я был в деревне Афонино на Брянском фронте — ее на короткий срок отбили у немцев. Колхозница поила водой бойцов и серьезно им доказывала, что сопротивляться глупо: у немцев порядок, приехали на машинах, аккуратно одеты, даже солдаты получают шоколад. Кто-то из солдат выругался. Были и такие, что сочувственно вздыхали.

В октябре хлеб стоял неубранный. Эвакуация часто проходила беспорядочно. Немецкие танки прорывались в бреши, неслись на восток. Порой местные власти беспечно отвечали: «Нечего панику разводить», — а несколько часов спустя уезжали. Аппарат был громоздким, с «винтиками» и «колесиками»; в мирное время он, плохо ли, хорошо ли, работал, а осенью 1941 года требовалось другое: инициатива, чувство личной ответственности, гражданское вдохновение.

Помню речь Сталина в ноябре 1941 года. Меня резанули слова о «перепуганных интеллигентиках». Конечно, были и среди интеллигенции люди растерявшиеся, но уж никак не больше, чем в других слоях населения. Не знаю, почему Сталин еще раз выбрал нашу битую и недобитую интеллигенцию как козла отпущения. Интеллигенция была с народом, сражалась на фронте, работала в санбатах, на военных заводах. Напомню о писателях: с первого дня почти все делали, что могли. Гайдар, Крымов, Лапин, Хацревин, Петров, Ставский, Уткин, Вишневский, Гроссман, Симонов, Твардовский, Кирсанов, Сурков, Лидин, Габрилович, многие другие сразу уехали на фронт. Все мы хлебнули горя не только потому, что армия Гитлера была действительно сильной, но и потому, что видели, как тяжело сказались на обороне предвоенные годы: бахвальство, фимиам и окрики, окостенение аппарата, а главное, страшные потери, нанесенные до войны командному составу Красной Армии, да и всем «интеллигентикам».

Я просмотрел комплекты старых газет, с июля по ноябрь 1941 года, — имя Сталина почти не упоминалось, впервые за долгие годы не было ни его портретов, ни восторженных эпитетов; дым близких разрывов прогнал дым кадильниц. (Значит, и Сталин понял, что ему нужно потесниться.) Одни знали, что защищают Октябрьскую революцию от тупого, жестокого фашизма, другие думали о родном домике, но народ держался, сражался, и вместе с народом шла в бой советская интеллигенция.

Иностранцы ломали себе голову: хотели разгадать, откуда у русских столько выдержки. Были такие, что отделывались по шпаргалке: «русским мистицизмом», «долготерпением», «фатализмом Востока». После контрнаступления под Москвой один американский журналист говорил мне: «Никакой загадки тут нет — вас спасли размеры территории». На первый взгляд это казалось убедительным, но меня не убедило. Я помнил, как в Испании фашисты, почти не останавливаясь, прошли от Кадикса до предместий Мадрида и неожиданно для себя натолкнулись на яростное сопротивление. Будь Москва ближе к Бресту, декабрь мог бы приключиться в сентябре или в октябре.

Помню беседу с Колдуэллом во время бомбежки. Он спрашивал, хотел понять, говорил, что, видимо, сильна привязанность к родной земле. Я ему отвечал, что мы привязаны и к русской земле, и к советскому строю, хотя жилось нам трудно. (О всех трудностях Колдуэллу я тогда не мог сказать — мешала гордость. Но наши люди многое знали и шли на смерть не потому, что им приказывали: когда смерть рядом, одной дисциплины мало — нужно самопожертвование.)

С точки зрения военного историка первые месяцы выглядят достаточно мрачно; небольшие успехи наших войск у Ельни, у Брянска не могли уравновесить немецких побед, захвата врагом огромной территории, окружения наших крупных соединений. Но я не терял надежды. Под Брянском я увидел наши слабые и сильные стороны; было много беспорядка, хромала связь; немецкие танки безнаказанно прорывались вперед, да и в небе противник был куда сильнее. Но люди сражались, даже зная, что они обречены, и немцы несли большие потери.

Под Брянском я познакомился с генералом Еременко. Он беседовал с пополнением — необстрелянными юнцами, говорил хорошо, по-человечески, признавался, что сначала всем страшно, нужно взять себя в руки; рассказал бойцам, что в детстве он был пастухом.

Там же я встретил одного из «испанцев» — танкиста генерала Петрова. Он усмехнулся: «Помнишь?.. Та же картина... Только здесь, думаю, выстоим...» Мы сидели в избе. Изможденная крестьянка цыкала на ребенка: «Тише — генерал думает...»

По дорогам скрипели повозки. Немцы пикировали, и снова я увидел мать, которая голосила над убитым мальчиком. Было много горя, очень много, но, как это ни странно, люди в те месяцы были добрее друг к другу. Я ничего

не хочу идеализировать, это сущая правда: люди, которые в мирное время ругались между собой в коммунальных квартирах из-за отодвинутой кастрюли или у прилавков из-за отреза на костюм, теперь делились ломтем хлеба, помогали нести детей.

На Волге я видел пожилого машиниста; он вел состав семьдесят два часа подряд, рассказывал, что, когда одолевал сон, останавливал поезд и тер лицо снегом. Он удивился моему удивлению: «А как же?.. Теперь иначе нельзя...» Ко мне в «Красную звезду» пришла старая еврейка из Винницы, рассказала, как ей удалось уйти, она прошла сто километров пешком; потом ее взяли на грузовик, и вот она несла чужого ребенка — родителей немцы убили. Из Орла вывозили музей Тургенева, и директор музея на всех станциях молил, чтобы не отцепили вагон с музейными экспонатами. Люди сердились: «Да кому нужна этакая рухлядь?» — в вагоне стоял старый, продырявленный диван; директор в сотый раз объяснял, что это диван-«самосон», так его прозвал Иван Сергеевич. Люди смягчались: «Вези...» Все это я рассказываю несвязно. Я написал «Бурю», и там был план, сюжет; а сейчас, когда я вспоминаю те месяцы, слезы подступают к горлу: уж очень тяжело было людям, право, они этого не заслужили.

Немцы быстро продвигались к Москве. Одна маленькая девочка сказала матери: «Мамочка, да роди ты меня обратно!..»

«Красную звезду» перевели в подвал Театра Красной Армии, сказали, что там спокойнее — под землей. Кругом театра были ямы, даже рвы; а ночи были темными; я упал, расшибся, статью в номер все же написал.

Что скрывать — настроение было отвратительное. Но людям необходимо посмеяться, и однажды нас развеселил П. Г. Богатырев, ученый-славист. Я с ним подружился еще в Праге в двадцатые годы. Он разбирался куда лучше в старом чешском фольклоре, нежели в карте военных операций. Он ходил громко, как еж, — топ-топ. Пришел утром чрезвычайно веселый, сказал, что немцев скоро разобьют. Люба спросила, откуда у него такие радужные сведения. Петр Григорьевич объяснил: «Я ехал к вам, и кто-то — не просто, а военный — сказал, что армия Гудерьяна подходит к Москве. Много танков. Значит, немцев прогонят». Богатырев решил, что Гудерьян — армянин. Мы долго смеялись, а Петр Григорьевич помрачнел: «Но в таком случае здесь нет ничего смешного...»

К середине октября в нашем доме в Лаврушинском переулке мало кто остался. Я не хотел уезжать. Вдруг позвонил Е. П. Петров: приказ Щербакова эвакуировать Информбюро и группу писателей, которая при нем состоит. В суматохе первых месяцев меня забыли ввести в штаты. Редактор «Красной звезды» считал меня своим. А Щербаков говорил, что я должен работать для заграницы, важнее всего, чтобы я посылал статьи через Информбюро. Щербаков был секретарем ЦК, и спорить с ним не приходилось.

На Казанском вокзале происходило бог весть что. Впрочем, чума — повсюду чума, а я уже видел Барселону и Париж. У меня пропал ручной чемоданчик с рукописью последней части «Падения Парижа». Потом я огорчался, а тогда думал о чем угодно, только не о литературе, горевал, что пропала бритва, — как я буду бриться?.. Повезли нас в пригородном вагоне; было очень тесно — трудно повернуться, а ехали мы до Куйбышева пять дней. Состав был длинный; в спальном вагоне разместились дипломаты, в другом вагоне — работники Коминтерна (среди них Долорес, Раймонда Гюйо). На остановках дипломаты штурмовали буфеты. Жена Ярославского, глядя на неубранный хлеб, то плакала, то ругалась. Петров пробовал острить, но даже у него ничего не выходило. Афиногенов вслух доказывал самому себе, что все в порядке. На какой-то заваленной беженцами станции мы услышали сводку: враг прорвал линию обороны и приближается к Москве.

В Куйбышеве мы переночевали у редактора газеты «Волжская коммуна», потом несколько дней прожили в общежитии «Гранд-отеля», оттуда нас выселили: англичане потребовали места для горничных посольства.

Меня приютил на ночь Я. З. Суриц. Мы почти до утра проговорили. Он не мог удержаться, говорил, что Сталина предупреждали много раз о готовящемся нападении, что он не знает, как живет страна, а его обманывают. Потом Яков Захарович вынул из чемодана рисунок Родена, прислонил его к спинке кровати и, забыв про все на свете, требовал, чтобы я восхищался.

Я писал статьи в коридоре здания, где разместились Наркоминдел и Совинформбюро, — машинку ставил на ящик. Потом мы получили жилье. В соседней комнате жили приехавшие с фронта Гроссман и Габрилович. Я поставил машинку на чемодан и продолжал стучать.

Иностранные корреспонденты изводили меня жалобами: почему их не пускают на фронт, почему привезли в Куйбышев и говорят, что нужно помечать телеграммы

Москвой?.. Они жили в «Гранд-отеле», много пили, порой угощали Петрова и меня виски или водкой. Они считали, что через месяц-другой Гитлер завоюет всю Россию, утешали себя и нас тем, что борьба будет продолжаться в Египте или в Индии. Когда пришли известия о нападении японцев на Пирл-Харбор, американцы в «Гранд-отеле» подрались с японскими журналистами. Афиногенова вызвали в Москву, там он сразу погиб при бомбежке. Мы не знали, как рассказать об этом его жене Дженни.

Уманский описывал Америку, и от его рассказов становилось неуютно. Литвинов перед отъездом в Вашингтон за ужином добродушно сказал мне: «Боюсь, будет плохо...» — почему, он не объяснил: все-таки он был куда больше дипломатом, чем Суриц: умел вовремя замолкать.

В начале декабря я был возле Саратова на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков. Приехал Сикорский, его сопровождал Вышинский. Не знаю, почему для такой оказии выбрали именно Вышинского. Может быть, потому, что он был польского происхождения? А я вспоминал его на процессе в роли прокурора... Он чокался с Сикорским и сладко улыбался. Среди поляков было много людей угрюмых, озлобленных пережитым; некоторые не могли удержаться — признавались, что нас ненавидят. Я понимал, что эти не смогут перешагнуть через прошлое. Сикорский и Вышинский называли друг друга «союзниками», а за любезными словами чувствовалась неприязнь.

В Саратове играл МХАТ. Ставили «Три сестры». Вершинин на сцене говорил: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной...» Все слушали и вздыхали.

Я настаивал, чтобы мне разрешили вернуться в Москву. Лозовский отвечал: «Через неделю все прояснится. Пока что нужно работать...»

Я сидел и писал по пяти статей в день.

Редактор «Красной звезды» генерал Ортенберг (он же Вадимов) сразу решил меня прикрепить к своей газете; говорил, что фронтовикам нравятся мои статьи. Однажды, это было еще в июле, он сказал, что я должен написать передовую. Я попытался возразить: вот этого я не умею. Он ответил: «На войне нужно все уметь». Два часа спустя я принес ему статью; он начал читать и рассмеялся, а смеялся он очень редко, да и не было в статье ничего веселого. «Какая же это передовица? С первой фразы видно, кто написал...» Оказалось, что передовые нужно

писать так, чтобы все слова были привычными. Ортенберг подписал под статьей мое имя: «Пойдет на третьей полосе...»

Может быть, фронтовикам нравились мои короткие статьи именно потому, что они не походили на передовицы. А может быть, потому, что мне порой удавалось выразить частицу того, что люди тогда чувствовали. Обычно война приносит с собой ножницы цензора; а у нас в первые полтора года войны писатели чувствовали себя куда свободнее, чем прежде.

Вот несколько фраз из моих статей того времени. «Враг наступает. Враг грозит Москве. У нас должна быть только одна мысль — выстоять». «Вероятно, мы сможем исправить наши недостатки, но и со всеми нашими недостатками мы выстоим. Может быть, врагу удастся еще глубже врезаться в нашу страну. Мы готовы и к этому. Мы не сдадимся. Мы перестали жить по минутной стрелке, от утренней сводки до вечерней. Мы перевели дыхание на другой счет. Мы смело глядим вперед: там горе и там победа...» «Многие у нас привыкли к тому, что за них кто-то думает. Теперь не такое время. Теперь каждый должен взять на себя всю тяжесть ответственности... Не говори, что кто-то за тебя думает. Не рассчитывай, что тебя спасет другой...» «Плохо ли, хорошо ли, но мы жили у себя дома. Немцы несут гибель всем...» «Мы многого не понимали. У нас были седые люди с душой младенца. Теперь у нас и дети все понимают. Мы выросли на сто лет...»

Не знаю, почему А. С. Щербаков обвинил меня в оригинальничании. По фразам, которые я переписал, видно, что в моих статьях не было никаких оригинальных мыслей. А фронтовики их читали, видимо, с охотой: каждый день я получал много писем от солдат и офицеров.

Я писал тогда в газете «Литература и искусство»: «Придет время для «Войны и мира». Теперь у нас война без кавычек — не роман, а жизнь... Писатель должен уметь писать не только для веков, но и для короткой минуты, если в эту минуту решается судьба его народа...»

В мирное время каждому писателю хочется, как и композитору, услышать нечто еще невнятное другим. Это не всегда удается, чаще писатель оказывается в роли музыканта, облюбовавшего тот или иной инструмент. Бывают, однако, времена, когда писатель только инструмент — труба или свирель, которую находят на дороге и которая звенит потому, что в нее врывается дыхание других.

2

Шестнадцатого сентября в редакции я прочитал очерк Б. Лапина и З. Хацревина, переданный из Киева по телефону. Они писали, что немцы подошли вплотную к городу, но киевляне не унывают: «Как всегда многолюден и шумен Крещатик. По утрам его поливают из шлангов, моют, скребут... Начались занятия в школах... Во всех переулках баррикады... Очередь у кассы цирка...» Четыре дня спустя по Крещатику шагали немцы.

Лапин и Хацревин уехали на фронт еще в июне. В августе они приехали в Москву. Хацревин заболел. Редакция «Красной звезды» торопила, и через неделю они снова уехали в Киев. В начале сентября Лапин позвонил из Киева, шутил, говорил, что скоро, наверно, увидимся...

В 1932 году я познакомился со многими молодыми писателями: Лапиным, Славиным, Борисом Левиным, Габриловичем, Хацревиным. Мы говорили о новых формах, о роли очерка, о романтике, о путях нашей литературы. Лапин подарил мне свою книгу «Тихоокеанский дневник», она мне понравилась свежестью и вместе с тем мастерством. Заинтересовал меня и автор: с виду он походил на скромного молодого доцента, на человека сугубо книжного, а в действительности колесил по миру, охотно меняя письменный стол на палубу, юрту, барак пограничника.

Все книги Лапина были поисками нового жанра: фантастику он выдавал за историческую хронику, очерки писал как новеллы, старался стереть грань между сухим протоколом и поэзией. Это было связано с душевной природой автора: Лапин читал труды историков и экономистов, филологов и ботаников, а любил он больше всего поэзию.

Я рассказал в одной из предшествующих частей этой книги, как Ирина мне сообщила, что вышла замуж за Лапина. Я был в Испании, когда нам дали квартиру в писательском доме в Лаврушинском переулке. Мы прожили вместе полгода в 1937 — 1938-м, потом последний предвоенный год. Это немного, но время было такое, что люди, кажется, в один присест съедали пуд соли. Я узнал и полюбил Бориса Матвеевича.

Когда началась революция, Лапину было двенадцать лет. Отец его был врачом и, отправившись на фронт гражданской войны, взял сына с собой (мать уехала за границу). Семнадцатилетним подростком Лапин выпустил сборник стихов, задорных и сумасбродных, в них были и возраст автора, и противоречия эпохи. Он увлекался старыми

немецкими романтиками и китайской революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии. Вскоре он перешел на прозу, но стихи продолжали притягивать его к себе. В различные книги он включал свои стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских заклинаний, японских танок, американских песенок.

У Ирины сохранился старый документ: «Предъявитель сего удостоверения действительно является товарищем Бури, сыном Мустафа-Куля, туземцем Аджаристанского вилайета, который явился в 1927 году 11-го мая по приказу Советского государства для производства всеобщей переписи и в течение девяти дней нанес на бумагу все население Язгуломской общины, а теперь возвращается своим путем, для чего товарищу Бури, сыну Мустафа-Куля, и выдано настоящее удостоверение». Товарищ Бури, сын Мустафа-Куля, был двадцатидвухлетним Борисом Матвеевичем Лапиным, который то верхом, то на арбе продвигался по селениям Памира в ватном цветном халате и в афганских остроносых туфлях. Он изучал таджикский язык и забыл о Гофмане, увлеченный древней персидской поэзией.

Год спустя Лапин отправился на Чукотку, поступил на службу в пушную факторию; жил среди чукчей, изучал их язык; чукчи звали его ласково «тиндлиляккой», что означало «очкастенький». Он побывал на Аляске, на Курильских островах; вернулся в Москву, написал книгу и мог бы превратиться в нормального столичного литератора. Но он искал любую возможность, чтобы повидать новые земли и новых людей. Он отправился с экспедицией геоботаников в Среднюю Азию и с экспедицией археологов в Крым; нанялся штурманом на пароход «Чичерин», увидел Турцию, Александрию. Дважды его посылали в Монголию. В 1939 году он вместе с Хацревиным работал военным корреспондентом «Красной звезды» на Халхин-Голе.

Этот перечень путешествий и профессий может сбить с толку — он похож на послужной список любителя похождений. Однако меньше всего Лапин напоминал туриста, падкого на экзотику. Он входил в будничную жизнь Памира или Чукотки, выполнял любую работу, быстро начинал говорить на языке местных жителей, находил в их характере, в их обычаях нечто ему милое и родное.

Языки ему давались легко, в нем жила страсть лингвиста. Он читал на немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера; знал сотни китайских иероглифов.

Перед войной по вечерам мы сидели в соседних комнатах и слушали радио. Иногда я возвращался поздно домой, заходил к нему, чтобы спросить, какие новости передавали из Лондона. Оказывалось, что он увлекся и слушал передачи на языках, которых не знал; радовался, что многое понял из сообщения на сербском языке или на норвежском. Его увлекали корни слов, в этом он тоже оставался поэтом.

При всех навыках бродячей жизни он был очень трудолюбив. Я вижу его за рабочим столом, над белым листом он мог просидеть несколько часов, чтобы найти точное сравнение, нужное слово. Иногда он писал сценарий или очерк вместе со своим другом Хацревиным, которого мы шутливо звали Хацем. Хацревин написал хорошую книгу «Тегеран», у него была фантазия, а мешала ему лень. Он ложился на кровать, иногда говорил «не то» или «здесь нужно дать пейзаж». Лапин прилежно писал.

Борис Матвеевич принадлежал к первому поколению интеллигенции, сложившемуся уже в советское время. Многое из того, что меня удивляло, восхищало или отталкивало, ему казалось естественным. Настал 1937 год. Моим сверстникам — Мандельштаму, Паустовскому, Пастернаку, Федину, Бабелю — было за сорок; мы многое успели написать, а главное, продумать. Лапина и писателей его поколения события настигли врасплох; начинали подумывать о зрелых книгах. Им было куда труднее, чем нам — старшим, они только-только распрощались с молодостью.

Борис Матвеевич был человеком мужественным. Помню, генерал Вадимов, ругая некоторых сотрудников газеты, говорил: «Вот за Лапина и Хацревина я спокоен — эти не будут отсиживаться в штабах, я их видел у Халхин-Гола...» Да, Борис Матвеевич любил опасность. Но когда в 1937 году начали бесследно исчезать друзья, товарищи, знакомые, он душевно сжался. Был он любознательным, общительным, и новая наука далась ему с трудом: он научился не спрашивать и не отвечать. Он и прежде разговаривал негромко, а в то время начал говорить еще тише. Порой он шутил с Ириной, со мной, а когда снимал очки, я видел в его глазах грусть и недоумение.

Однажды — это было в начале 1938 года — я зашел в его комнату. Он писал. Почему-то мы заговорили о литературе, о том, что теперь делать писателям. Борис Матвеевич, улыбаясь, говорил: «Я пишу о пустыне Гоби... Когда я писал «Тихоокеанский дневник», «Подвиг», я выбирал темы — писал, как жил. Теперь иначе... Мне очень хоте-

лось бы написать про другую пустыню, но это невозможно... А нужно работать — иначе еще труднее...»

Время, о котором я говорю, было для Лапина особенно тяжелым: он страдал от перерождения человеческих взаимоотношений. Он был человеком на редкость верным; больше всего его ранило недоверие, пренебрежение дружбой, стремление некоторых (тщетное) спастись любой ценой.

Почти каждый вечер к Лапину приходил Хацревин, человек обаятельный и странный. Он был внешне привлекательным, нравился женщинам, но боялся их, жил бобылем. Меня в нем поражали мягкость, мечтательность и мнительность. Почему-то он скрывал от всех, даже от Бориса Матвеевича, что болен эпилепсией. В августе Лапин уговаривал его остаться на месяц-другой в Москве, но Хацревин хотел скорее вернуться на фронт.

Я рассказывал, как в один из последних вечеров мы читали в Переделкине роман Хемингуэя. Вдали лаяли зенитки. Иногда мы откладывали листы рукописи, и Борис Матвеевич рассказывал про все, что видел на фронте, про геройство, беспорядок, отвагу, растерянность — ему ведь пришлось пережить отступление первых недель. Почему-то мы вспомнили тридцать седьмой. Лапин сказал: «Знаете, все-таки теперь легче — все как-то стало на место...» Мы снова читали. Поглядев на него, я подумал, что, сам того не замечая, к нему привязался. А когда мы возвращались в Москву, он сказал: «Вот кончится война, наверно, многие напишут настоящие книги. Как Хемингуэй...»

Той книги, о которой он мечтал, он написать не смог.

Лапин и Хацревин вместе с армией ушли из Киева в Дарницу, дошли до Борисполя. Немцы окружили наши части. Некоторым удалось выйти из окружения. От них мы потом узнали про судьбу Лапина и Хацревина. Нельзя было терять ни минуты, а Хацревин лежал — у него был очередной припадок. Лапин не захотел оставить друга. «Скорее! Немцы близко!» — сказал ему один корреспондент. Борис Матвеевич ответил: «У меня револьвер...» Это последние его слова, которые до меня дошли.

Ирина долго надеялась на чудо. Во время войны неизбежно рождаются мифы: приходили люди, которые якобы видели Лапина то на одном, то на другом фронте.

Перед отъездом в Киев Борис Матвеевич переписал начисто свои старые стихи. Может быть, и возле Борисполя он еще слушал звучание слов, недописанные строфы — он был поэтом, стыдливый, не выдававший своих чувств «очкастенький», как говорили чукчи, снисходительный ко

всем, только не к себе. Мне вспомнились сейчас строки таджикского поэта X века Рудаки, переведенные очень давно Лапиным: «...И много пустынь разбито под пышный цветущий сад, и часто увидишь пустыню, где сад золотой был...»

Девятого мая 1945 года был праздник; пустыня войны кончилась. Но в жизни почти каждого из нас была новая пустыня, та, что никогда не зазеленеет, — память о близких...

3

Разговаривая с бойцами в первые месяцы войны, я то испытывал гордость, то доходил до отчаяния. Конечно, мы были вправе гордиться тем, что советские учителя воспитывали детей и подростков в духе братства. Но мы сдавали за городом город, а я не раз слышал от красноармейцев, что солдат противника пригнали к нам капиталисты и помещики, что, кроме Германии Гитлера, существует другая Германия, что если рассказать немецким рабочим и крестьянам правду, то они побросают оружие. Многие в это искренне верили, другие охотно к этому прислушивались — немцы стремительно продвигались вперед, а человеку всегда хочется на что-то надеяться.

Люди, защищавшие Смоленск или Брянск, повторяли то, что слышали сначала в школе, потом на собраниях, что читали в газетах: рабочий класс Германии силен, это передовая индустриальная страна, правда, фашисты, поддерживаемые магнатами Рура и социал-предателями, захватили власть, но немецкий народ против них, он продолжает бороться. «Конечно, — говорили красноармейцы, — офицеры — фашисты, наверное, и среди солдат попадаются люди, сбитые с толку, но миллионы солдат идут в наступление только потому, что им грозит расстрел». Наша армия в первые месяцы не знала подлинной ненависти к немцам.

На второй день войны меня вызвали в ПУР и попросили написать листовку для немецких солдат, говорили, что фашистская армия держится на обмане и на железной дисциплине. Тогда и многие командиры еще возлагали надежды на работу седьмых отделов — на листовки и громкоговорители.

Листовок было много, казалось бы убедительных, а немцы продолжали продвигаться вперед.

Может быть, и я разделял бы иллюзии многих, если бы в предвоенные годы жил в Москве и слушал доклады о международном положении. Но я помнил Берлин 1932 года, рабочих на фашистских собраниях, в Испании я разговаривал с немецкими летчиками, пробыл полтора месяца в оккупированном Париже. Я не верил в громкоговорители и листовки.

Редкие пленные (главным образом танкисты), которых я видел в первые месяцы войны, держались самоуверенно, считали, что с ними приключилась неприятность, но что не сегодня-завтра их освободят наступающие части. Один даже предложил командиру полка сдаться на милость Гитлера: «Я гарантирую всем вашим солдатам жизнь и хорошее содержание в лагере для военнопленных. А к рождеству война кончится, и вы вернетесь домой». Среди этих военнопленных были рабочие. Правда, после неудачи под Москвой я впервые услышал от перепуганных пленных «Гитлер капут», но летом 1942 года, когда немцы двинулись на Кавказ, они снова уверовали в свою непобедимость. На допросах пленные держались осторожно — боялись и русских и своих товарищей. А если и попадались солдаты, искренне ругавшие Гитлера, то это были главным образом крестьяне из глухих деревень Баварии, католики, отцы семейств. Настоящий перелом начался только после Сталинграда, да и то до лета 1944 года сотни миллионов листовок приносили мизерное количество перебежчиков.

В начале войны у наших бойцов не только не было ненависти к врагу, в них жило некоторое уважение к немцам, связанное с преклонением перед внешней культурой. Это тоже было результатом воспитания. В двадцатые и тридцатые годы любой советский школьник знал, каковы показатели культуры того или иного народа — густота железнодорожных сетей, количество автомашин, наличность передовой индустрии, распространенность образования, социальная гигиена. Во всем этом Германия занимала одно из первых мест. В вещевых мешках пленных красноармейцы находили книги и тетради для дневников, усовершенствованные бритвы, а в карманах фотографии, замысловатые зажигалки, самопишущие ручки. «Культура!» — восхищенно и в то же время печально говорили мне красноармейцы, пензенские колхозники, показывая немецкую зажигалку, похожую на крохотный револьвер.

Помню тяжелый разговор на переднем крае с артиллеристами. Командир батареи получил приказ открыть огонь по шоссе. Бойцы не двинулись с места. Я вышел из себя,

назвал их трусами. Один мне ответил: «Нельзя только и делать, что палить по дороге, а потом отходить, нужно подпустить немцев поближе, попытаться объяснить им, что пора образумиться, восстать против Гитлера, и мы им в этом поможем». Другие сочувственно поддакивали. Молодой и на вид смышленый паренек говорил: «А в кого мы стреляем? В рабочих и крестьян. Они считают, что мы против них, мы им не даем выхода...»

Конечно, самым страшным было в те месяцы превосходство немецкой военной техники: красноармейцы с «бутылками» шли на танки. Но меня не менее страшили благодушие, наивность, растерянность.

Я помнил «странную войну» — торжественные похороны немецкого летчика, рев громкоговорителей... Война — страшное, ненавистное дело, но не мы ее начали, а враг был силен и жесток. Я знал, что мой долг показать подлинное лицо фашистского солдата, который отменной ручкой записывает в красивую тетрадку кровожадный, суеверный вздор о своем расовом превосходстве, вещи бесстыдные, грязные и свирепые, способные смутить любого дикаря. Я должен был предупредить наших бойцов, что тщетно рассчитывать на классовую солидарность немецких рабочих, на то, что у солдат Гитлера заговорит совесть, не время искать в наступающей вражеской армии «добрых немцев», отдавая на смерть наши города и села. Я писал: «Убей немца!»

В статье, которую я назвал «Оправдание ненависти» и которая была написана в очень трудное время — летом 1942 года, я говорил: «Эта война не похожа на прежние войны. Впервые перед нашим народом оказались не люди, но злобные и мерзкие существа, дикари, снабженные всеми достижениями техники, изверги, действующие по уставу и ссылающиеся на науку, превратившие истребление грудных младенцев в последнее слово государственной мудрости. Ненависть не далась нам легко. Мы ее оплатили городами и областями, сотнями тысяч человеческих жизней. Но теперь мы поняли, что на одной земле нам с фашистами не жить... Конечно, среди немцев имеются добрые и злые люди, но дело не в душевных качествах того или иного гитлеровца. Немецкие добряки, те, что у себя дома сюсюкают и носят на спине детишек, убивают русских детей с таким же педантизмом, как и злые. Они убивают потому, что уверовали, что на земле достойны жить только люди немецкой крови... Наша ненависть к гитлеровцам продиктована любовью к родине, к человеку,

к человечеству. В этом сила нашей ненависти, в этом и ее оправдание. Сталкиваясь с гитлеровцами, мы видим, как слепая злоба опустошила душу Германии. Мы далеки от подобной злобы. Мы ненавидим каждого гитлеровца за то, что он — представитель человеконенавистнического начала, за то, что он — убежденный палач и принципиальный грабитель, за слезы вдов, за омраченное детство сирот, за тоскливые караваны беженцев, за вытоптанные поля, за уничтожение миллионов жизней. Мы сражаемся не против людей, а против автоматов, которые выглядят, как люди. Наша ненависть еще сильнее оттого, что с виду они похожи на человека, что они могут смеяться, могут гладить собаку или коня, что в своих дневниках они занимаются самоанализом, что они загримированы под людей, под культурных европейцев... Не о мести мечтают наши люди. Не для того мы воспитали наших юношей, чтобы они снизошли до гитлеровских расплат. Никогда не станут красноармейцы убивать немецких детей, жечь дом Гёте в Веймаре или библиотеку Марбурга. Месть — это расплата той же монетой, разговор на том же языке. Но у нас нет общего языка с фашистами. Мы тоскуем о справедливости. Мы хотим уничтожить всех гитлеровцев, чтобы на земле возродилось человеческое начало. Мы радуемся многообразию и сложности жизни, своеобразию народов и людей. Для всех найдется место на земле. Будет жить и немецкий народ, очистившись от страшных преступлений гитлеровского десятилетия. Но есть предел и у широты: я не хочу сейчас ни говорить, ни думать о грядущем счастье Германии, освобожденной от Гитлера, — мысли и слова неуместны, да и не искренни, пока на нашей земле бесчинствуют миллионы немцев...»

Я прочитывал ежедневно немецкие газеты, военные приказы, дневники и письма немецких солдат: мне нужно было показать духовное убожество фашистов, показать точно, документально.

На войне человеку хочется порой улыбнуться, и я не только обличал солдат Гитлера, я над ними и посмеивался. Кажется, одним из первых я пустил в ход прозвище «фриц». Вот названия некоторых коротких статей (я писал каждый день): «Фриц-философ», «Фриц-нарцисс», «Фриц-блудодей», «Фриц в Шмоленгсе», «Фриц-мистик», «Фриц-литератор» и так далее — десятки, сотни.

Впервые я увидел ненависть к врагу, когда наши части при контрнаступлении под Москвой заняли сожженные немцами деревни. У головешек грелись женщины, дети.

Красноармейцы ругались или злобно молчали. Один со мной разговорился, сказал, что ничего не может понять — он считал, что города бомбят потому, что там начальство, казармы, газеты. Но зачем немцы жгут избы? Ведь там бабы, дети. А на дворе стужа... В Волоколамске я долго глядел на виселицу, сооруженную фашистами. Глядели на нее и бойцы... Так рождалось новое чувство, и это предрешило многое.

Война, начатая фашистской Германией, не походила на прежние войны: она не только губила и калечила тела, она искажала душевный мир людей и народов. Гитлеровцам удалось внушить миллионам немцев пренебрежение к людям другого происхождения, лишить солдат моральных тормозов, превратить аккуратных, честных, работящих обывателей в «факельщиков», сжигающих деревни, устраивающих охоту на стариков и детей. Прежде в любой армии встречались садисты или мародеры — война не школа морали. Но Гитлер вовлек в массовые зверства не только эсэсовцев, гестаповцев, профессиональных или самодеятельных палачей, а всю свою армию, связал десятки миллионов немцев круговой порукой. Я вспомнил одного белобрысого, на вид добродушного немца; до войны он работал мастером в Дюссельдорфе, у него там была семья; он бросил русского младенца в колодец, потому что страдал бессонницей, принял несколько таблеток люминала, а ребенок не давал ему уснуть. Я держал в руках мыло со штампом «чисто еврейское мыло» — его изготовляли из трупов расстрелянных. Да что вспоминать — это описано в тысячах книг.

Русский человек добродушен, его нужно очень обидеть, чтобы он рассвирепел; в гневе он страшен, но быстро отходит. Однажды я ехал на «виллисе» к переднему краю — меня попросили среди пленных отыскать эльзасцев. Шофер был белорусом; незадолго до этого он узнал, что его семью убили немцы. Навстречу вели партию пленных. Шофер схватил автомат, я едва успел его удержать. Я долго разговаривал с пленными. Когда мы ехали назад на КП, шофер попросил у меня табаку. С табаком тогда было плохо, накануне раздобыв в штабе дивизии две пачки, я одну отдал водителю. «Где же твой табак?..» Он молчал. Наконец ему пришлось признаться: «Пока вы разговаривали с вашими французами, фрицы меня обступили. Я спросил, есть ли среди них шоферы. Двое шоферов было, я им дал закурить. Здесь все начали клянчить... Одно из двух — или пускай их всех убивают, а если нельзя, так курить-то че-

ловеку нужно...» Это было в 1943 году, а год спустя возле Минска в Тростянце, где гитлеровцы убивали женщин, детей, я снова убедился в отзывчивости наших людей. Наши солдаты злобно ругались, говорили, что не нужно никого брать в плен. Рядом в лесочке держалась группа немцев. Привели одного пленного пехотинца. Майор попросил меня быть переводчиком. Когда пленного спросили, много ли солдат в лесу, он ответил, что ему трудно говорить — его мучает жажда. Ему принесли в кружке воды. Он поморщился, сказал, что кружка грязная, и вытер носовым платком края. Меня это разозлило: когда человека мучает жажда, он не привередничает. А солдаты, вначале кричавшие, что нечего с ним разговаривать, пристрелить зверя, успели отойти, и полчаса спустя один принес пленному миску супа: «Жри, сволочь!»

(Да и я так вел себя: много раз, видя пленных, боявшихся, что их убьют, писал на клочках бумаги, что они эльзасцы или что они «хорошие немцы», и подписывался — словом, ненавидя фашизм, спасал разоруженных фашистов. Думаю, что любой человек при подобных обстоятельствах поступил бы так же.)

Геббельсу нужно было пугало, и он распространил легенду о еврее Илье Эренбурге, который жаждет уничтожить немецкий народ.

У меня сохранились вырезки из немецких газет, радиоперехваты, листовки. Гитлеровцы часто писали обо мне, говорили, что я толстый, косой, с кривым носом, что я очень кровожаден, что в Испании я похитил музейные ценности на пятнадцать миллионов марок и продал их в Швейцарии, что меня обслуживает тот же биржевой маклер, что и голландскую королеву Вильгельмину, что мои капиталы размещены в бразильских банках, что я каждый день бываю у Сталина и составил для него план уничтожения Европы, назвав его «Трест Д. Е.», что я хочу превратить в пустыни земли, лежащие между Одером и Рейном, что я призываю насиловать немок и убивать немецких детей.

В приказе от 1 января 1945 года меня удостоил внимания сам Гитлер: «Сталинский придворный лакей Илья Эренбург заявляет, что немецкий народ должен быть уничтожен».

Пропаганда сделала свое дело: немцы меня считали исчадием ада. В начале 1945 года я был в городе Восточной Пруссии Бартенштейне, накануне занятом нашими частями. Советский комендант попросил меня пойти в немец-

кий госпиталь и объяснить, что ничто не угрожает ни немецкому медицинскому персоналу, ни раненым. Я долго успокаивал главного врача: наконец он сказал: «Хорошо, но вот Илья Эренбург...» Мне надоело с ним разговаривать, и я ответил: «Не бойтесь, Ильи Эренбурга здесь нет — он в Москве». Врач несколько успокоился.

Все это было смешно и отвратительно. Немцев, которые вторглись в нашу страну, я ненавидел не потому, что они жили «между Одером и Рейном», не потому, что они говорили на том же языке, на котором писал один из наиболее мне близких поэтов — Гейне, а потому, что они были фашистами. Еще в детстве я столкнулся с расовой и национальной спесью, немало в жизни страдал от нее, верил в братство народов и вдруг увидел рождение фашизма. В утопическом романе «Трест Д. Е.», на который часто ссылался Геббельс, Европа гибнет от безумия европейских фашистов, поддерживаемых жадными американскими бизнесменами. Конечно, во многом я ошибся: когда я писал эту книгу, в Руре стояли французские оккупанты и еще теплилась надежда на революцию в Германии. В романе Германию, Польшу и часть Советского Союза разоряет Франция, во главе которой стоит фашист Брандево. Фигуры танца оказались другими: Франция, Польша и часть Советского Союза были разорены немецкими фашистами, а Брандево оказался Гитлером.

Я расскажу об одной истории, связанной со мной, но выходящей за пределы частной биографии. В 1944 году командующий армейской группой «Норд», желая приподнять своих солдат, обескураженных отступлением, писал в приказе: «Илья Эренбург призывает азиатские народы «пить кровь» немецких женщин. Илья Эренбург требует, чтобы азиатские народы насиловали немецких женщин: «Берите белокурых женщин — это ваша добыча!» Илья Эренбург будит низменные инстинкты степи. Подлостью было бы отступить, ибо немецкие солдаты теперь защищают своих жен». Узнав об этом приказе, я тотчас написал в «Красной звезде»: «Когда-то немцы подделывали документы государственной важности. Они докатились до того, что подделывают мои статьи. Цитаты, которые немецкий генерал приписывает мне, выдают автора, только немец способен сочинить подобные пакости. Мы идем в Германию за другим: за Германией».

Легенда, созданная гитлеровским генералом, пережила и крах третьего рейха, и Нюрнбергский процесс, и многое другое.

В 1960 году муниципалитет Вены пригласил меня участвовать во встрече представителей искусства и литературы. Вскоре после этого я получил письмо от организатора встречи, австрийского социал-демократа, в котором он спрашивал меня, правда ли, что я в годы войны призывал насиловать немок. Западногерманский журнал «Шпигель» разъяснил, что «документы» о моем страшном прошлом были представлены венцам посольством Германской Федеративной Республики. А недавно Киндлер, издатель немецкого перевода моей книги «Люди, годы, жизнь», проживающий в Мюнхене, передал мне забавные фотодокументы. Оказалось, некто Юрген Торвальд в 1950 году опубликовал в Штутгарте историю войны, в которой писал: «В течение трех лет Илья Эренбург свободно, открыто, полный ненависти, говорил красноармейцам, что немецкие женщины будут их военной добычей». Оказалось также, что Юрген Торвальд — не кто иной, как Гейнц Богарц, который в 1941 году выпустил книгу, восхвалявшую Гитлера, и посвятил ее военному преступнику адмиралу Редеру.

В 1962 году мюнхенская газета «Зольдатен цейтунг» начала кампанию против издания в Западной Германии моей книги. Разумеется, газета припомнила о мнимой листовке с призывом насиловать немок; грозила издателю, называла меня «величайшим в мировой истории преступником». Некоторые писатели, как, например, Эрнст Юнгер, поддержали фашистский листок. Другие, однако, возмутились. Киндлер доказал, что Торвальд повторил ложь Геббельса; и все же до сих пор реваншисты продолжают повторять: «Мемуары убийцы и насильника».

Повторяю — дело не во мне. Но среди пятидесяти миллионов жертв второй мировой войны нет одной — фашизма. Он пережил май 1945 года, поболел, похандрил, но выжил.

В годы войны я повторял изо дня в день: мы должны прийти в Германию, чтобы уничтожить фашизм. Я боялся, что все жертвы, подвиг советского народа, отвага партизан Польши, Югославии, Франции, горе и гордость Лондона, печи Освенцима, реки крови — все это может остаться бенгальским огнем победы, эпизодом истории, если снова возьмет верх низкая, нечистая политика.

Я писал в 1944 году: «Французский писатель Жорж Бернанос, воинствующий католик, с негодованием отвергая попытки некоторых демократов заступиться за фашизм, пишет в «Ля марсейез»: «До войны значительная часть

общественного мнения в Англии, в Америке, во Франции оправдывала, поддерживала, восхваляла фашизм. Я повторяю — не только допускала фашизм, но ему способствовала в надежде, скажу глупой, контролировать эту чуму, использовать ее против своих соперников и конкурентов... Мюнхен не был просто глупостью. Мюнхен был подлой развязкой спекулянтской затеи...» К сожалению, и поныне имеются люди, которые хотят сохранить заразу «про запас», только несколько разбавив бульон, в котором разводятся чумные бактерии... Мы должны помнить: фашизм родился от жадности и тупости одних, от коварства и трусости других. Если человечество хочет покончить с кровавым кошмаром этих лет, то оно должно покончить с фашизмом. Если фашизм оставят где-нибудь на развод, то через десять или двадцать лет снова прольются реки крови... Фашизм — страшная раковая опухоль, ее нельзя лечить на минеральных водах, ее нужно удалить. Я не верю в доброе сердце людей, которые плачут над палачами, эти мнимые добряки готовят смерть миллионам невинных».

Я смотрю на старые газетные листы, и мне становится не по себе. Ведь все произошло именно так, как мне мерещилось. Оставили на развод фашистов. Оставили про запас кадры рейхсвера. Хотят дать германской армии ядерное оружие; поддерживают лихорадку реванша; продолжается то, что покойный Бернанос назвал «спекулянтской затеей», — только на зеленом сукне уже не классические «бочки с порохом», не танки и бомбардировщики, а ракеты и водородные бомбы. Право же, совесть не может с этим помириться!

Я забежал на двадцать лет вперед. Нужно вернуться к первой военной зиме. Мы ехали по Варшавскому шоссе к Малоярославцу, вокруг которого еще шли бои; ехали мимо сожженных деревень. Кругом лежали, а порой стояли, прислонившись к дереву, убитые немцы. Была сильная стужа, солнце казалось розоватым замерзшим сгустком, снег синел. На морозе лица мертвых румянились, мнились живыми. Офицер, который ехал со мной, восторженно восклицал: «Видите, сколько набили! Эти в Москву не придут...» И — не скрою — я тоже радовался.

Могут сказать: нехорошее, недоброе чувство. Да, конечно. Как и другим, ненависть мне далась нелегко, это ужасное чувство — оно вымораживает душу. Я это знал и в годы войны, когда писал: «Европа мечтала о стратосфере, теперь она должна жить как крот в бомбоубежищах и землянках. По воле Гитлера и присных настало затемне-

ние века. Мы ненавидим немцев не только за то, что они низко и подло убивают наших детей, мы их ненавидим и за то, что мы должны их убивать, что из всех слов, которыми богат человек, у нас осталось «Убей!». Мы ненавидим немцев за то, что они обворовали жизнь». Я писал это в газетной статье, но мог бы написать в дневнике или в письме к близкому человеку. Молодые вряд ли поймут, что мы пережили. Годы всеобщего затемнения, годы ненависти, обкраденная, изуродованная жизнь...

4

Шли быстро, хотя снег был глубоким. Среди почерневших сугробов торчал указательный столб «Покровское»; а села не было — его сожгли немецкие факельщики. Может быть, красноармейцам казалось, что, прибавив шагу, они не дадут сжечь деревню, спасут людей. Ведь в Белоусове не только все избы уцелели, а немцы побросали, убегая, свои вещи, в Балабанове, застигнутые ночью врасплох, они повыскакивали из домов в кальсонах.

Усталые красноармейцы ожесточенно врезались заступами в промерзшую насквозь землю: вырывали трупы немецких солдат, погребенных на площади Малоярославца.

Немцы заботливо хоронили своих (пожалуй, это единственное, чему я у них завидовал). Я видел потом много кладбищ с выстроенными шеренгами березовыми крестами, с аккуратно выписанными именами. А в первый год войны они почему-то хоронили своих убитых на площадях русских городов. Может быть, так было легче, а может быть, хотели показать, что пришли надолго. Красноармейцев это возмущало. От недавнего благодушия мало что осталось — шла война даже с мертвыми.

Колхозники тоже были разъярены. А один старик мне сказал: «Я думал, что немец распустит колхоз, а он, паразит, корову у меня забрал, всю посуду опоганил — ноги мыл, мать его!.. Вчера четверо пришли: просятся в избу — замерзли. Бабы прибежали, забили насмерть...»

Стояли на редкость сильные морозы, а красноармейцы-сибиряки ругались: «Вот бы мороз настоящий, они бы мигом окочурились...» Один украинец рассказывал: «Как я увидел, что немец драпает, сердце у меня заиграло...»

Победа всем показалась неожиданной. Колхозницы признавались: «Вот уже не думали, что наши вернутся...» Солдаты курили найденные в брошенном штабе болгарские сигареты и мечтали: «До весны управимся...»

Генерал Голубев, усмехаясь, говорил: «Я две академии кончил. А эта — третья, посерьезнее». Он рассказывал, что побывал в окружении и вышел — в генеральской форме, но в лаптях. Говорили, что его армии сильно помогли рабочие Подольска: завод эвакуировали, а старики остались, продолжали изготовлять боеприпасы для минометов.

Все было для меня внове: песни, перцовка, обжигавшая нёбо, какая-то Машенька — не то связистка, не то жена командира, долгие разговоры о прошлом и будущем. У всех развязались языки; ругали бюрократов; один офицер сердито говорил: «У нас прокурор чем хвастал? Количеством приговоров — перевыполнял норму»; другой задумчиво сказал: «Хороших людей губили...» И, однако, все понимали, что защищают не только свою хату, но и Советское государство, милое им, несмотря на обиды, на изъяны, понимали, что именно советские рабочие в Подольске помогли армии, что слова «наше дело правое» не один из очередных лозунгов, а сущая правда. Народ голосовал — без агитаторов и не бюллетенями — кровью.

Во мне мешались два чувства: первая победа и мне вскружила голову, но я пытался себя урезонить — немецкая армия еще очень сильна, война только начинается. Трудно, однако, было трезво размышлять: ведь немцы еще недавно заверяли, что рождество они встретят в Москве, и вот их гонят на запад!.. Да и вид пленных приободрял: замерзшие, с головами, замотанными в платки, в тряпье, перепуганные, хныкавшие, они напоминали наполеоновских солдат двенадцатого года, изображенных одним из передвижников, разумеется, с сосулькой под носом.

Взяли Медынь, начали говорить о Вязьме, даже о Смоленске. Всем хотелось верить, что наступил перелом. Верил и я (пророка из меня не вышло)... В день зимнего солнцеворота я писал: «Солнце — на лето, зима — на мороз, война — на победу...»

Да, еще в январе мне казалось, что наше наступление не остановится. 18 января я был у генерала Говорова. Он сразу мне понравился. В этой части книги мне придется не раз говорить о встречах с генералами. Как и писатели, да и как люди любой профессии, генералы были разными — новаторами или рутинерами, умными или ограниченными, скромными или чванливыми. Л. А. Говоров был настоящим артиллеристом, то есть человеком точного расчета, ясной и трезвой мысли. Он рассказал мне, что учился в Петроградском политехническом институте кораблестроения; шла первая мировая война, и в 1917 году моло-

денького прапорщика отправили на фронт. Он очень любил Ленинград, и было в нем что-то от классического ленинградца — сдержанность, хорошо скрытая страсть. Он говорил, что в битве за Москву основную роль сыграла артиллерия: в его 5-й армии он не мог рассчитывать на пехоту — потери были большими, а пополнение задерживалось; развил целую теорию: при перенасыщенности в современной войне автоматическим оружием артиллерия не может ограничиться подавлением огневых точек, а должна участвовать во всех фазах битвы. Он не только говорил с увлечением, но и меня увлек. Хотя военное дело — скорее искусство, чем точная наука, оно зависит от техники, и самые передовые концепции быстро устаревают. (Есть, впрочем, вид искусства, тоже зависящий от техники, — кинематограф; скульптура Акрополя нам кажется непревзойденной, а немые фильмы смотришь с усмешкой.) Леонид Александрович, конечно, не мог в 1942 году предвидеть эру ядерного оружия. Рассказываю я об этом теперь, только чтоб передать облик человека: в холодной избе возле Можайска я увидел не бравого вояку, а, скорее, математика или инженера, хорошего русского интеллигента. (Потом я иногда встречал Леонида Александровича на фронте, в Москве, в Ленинграде; помню вечер в мае 1945 года — мы говорили о красоте белых ночей, о поэзии, об игле Адмиралтейства.) При всей своей сдержанности, даже склонности к скепсису, Говоров, как и другие, был приподнят удачами, говорил: «Пожалуй, через недельку Можайск возьмем...» А Можайск взяли несколько часов спустя. Генерал Орлов не послушался своего начальника и ночью ворвался в город. Говоров смеялся: «Победителей не судят...»

Снова я увидел сожженные села — Семеновское, Бородино, взорванные дома. Солдаты торопились, но немецкие могилы в центре города не остались на месте. Крепчал мороз — минус тридцать пять, крепчала и злоба. Пожилая женщина пустыми глазами глядела на солдат, на снег, на белесое небо; ее муж был учителем математики, ему было шестьдесят два года. Он шел по улице и вынул из кармана носовой платок; его расстреляли за попытку сигнализировать русским. На стене я прочел приказы о «нормализации жизни», о том, что за содействие партизанам и за укрытие евреев жители города будут повешены. На следующий день я добрался до Бородина. Немцы, уходя, подожгли музей, и он еще горел. За два дня дивизия прошла около двадцати километров. Генерал Орлов шу-

тил: «Скоро ко мне приедете...» (Он был из Белоруссии.) Ночью один майор раздобыл водку, колбасы, и мы пировали. Майор, загибая большие заскорузлые пальцы, считал: «До Гжатска шестнадцать километров. Можем дойти в два дня...» Но до Гжатска оказалось четыреста тридцать дней — предстояло страшное лето 1942 года. Тогда мы об этом не знали.

(Я не был одинок в своих надеждах. В. С. Гроссман, бывший тогда корреспондентом «Красной звезды» на Юго-Западном фронте, писал мне: «Люди точно стали иными — живыми, инициативными, смелыми. Дороги усеяны сотнями немецких машин, брошенными пушками, тучи штабных бумаг и писем носит ветром по степи, всюду валяются трупы немцев. Это, конечно, еще не отступление наполеоновских войск, но симптомы возможности этого отступления чувствуются. Это чудо, прекрасное чудо! Население освобожденных деревень кипит ненавистью к немцам. Я говорил с сотнями крестьян, стариков, старух, они готовы погибнуть сами, сжечь свои дома, лишь бы погибли немцы. Произошел огромный перелом — народ словно вдруг проснулся... Конечно, это не конец, это начало конца. Хочу думать, что так. И есть много оснований так думать». Василий Семенович обычно был очень осторожен в выводах, но и он не предвидел последующих испытаний.)

А. С. Щербаков с насмешкой мне сказал: «А вы критиковали нашу печать, говорили, что москвичи нервничают. Золотой народ!» Москва действительно теряла свой облик прифронтового города. Правда, ночью патрули останавливали на каждых ста шагах, приходилось держать пропуск в рукавице; но «ежи» с улиц убрали; прохожих стало больше. Открылась даже выставка пейзажей; в помещении было холодно, и люди любовались живописью в шинелях или тулупах...

Люди вспоминали о своих должностях, да и о своих привычках. Редактор «Известий» позвонил мне ночью: «Вы написали, что Риббентроп разъезжал по столицам и его повсюду принимали как джентльмена. Это можно понять как намек — он ведь и к нам приезжал. Переделайте...» Ночью в «Правде» я присутствовал при длительном разговоре о стихотворении Симонова «Жди меня»; редактор и еще один ответственный товарищ хотели изменить слова «желтые дожди»: дождь не может быть желтым. Мне из всего стихотворения понравились именно «желтые дожди», я их отстаивал, как мог, ссылался и на глинистую почву, и на Маяковского. Под утро редактор решил рискнуть,

и дожди остались желтыми. В «Красной звезде» как-то ночью начался переполох: «Увлеклись войной, а про даты забыли! Завтра пятая годовщина смерти Орджоникидзе...»

В Клубе писателей было очень холодно, но туда приходили пить водку, закусывали солеными грибами. Многие писатели были в военной форме — от фронта до Москвы можно было доехать за три-четыре часа. Помню там Петрова, Симонова, Светлова, Алигер, Гехта, Габриловича, Катаева, Фадеева, Лидина, Суркова, Ставского, Славина. Однажды членов президиума угостили солониной; потом началось заседание. В некоторых речах уже сказался новый стиль, который пышно расцвел шесть-семь лет спустя. Л. Н. Сейфуллина не выдержала: «Мой отец был обрусевшим татарином, мать русской, всегда я себя чувствовала русской, но, когда я слышу такие слова, мне хочется сказать, что я татарка...» Когда мы уходили, я обнял Лидию Николаевну.

(В жизни много случайного, чуть ли не каждый день в течение долгих лет встречаешь людей далеких, да и немилых, а тех, к кому тянешься, видишь очень редко. С Л. Н. Сейфуллиной мне привелось побеседовать по-настоящему три или четыре раза, а была она мне мила своей редкостной честностью. Я помню ее молодой — в Москве, в Париже. Маленькая, огромные глаза, чуть насмешливая улыбка — было в ней большое обаяние.

В двадцатые годы книги Сейфуллиной сыграли крупную роль в становлении советской литературы. Меня они привлекали искренностью — никогда Лидия Николаевна не знала того, что в писательской среде называли «двойной бухгалтерией». Пуще всего она боялась лжи. Ее любили люди, непохожие друг на друга, — Маяковский, Бабель, Фурманов, Есенин, Светлов, Лидин. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что никакие литературные школы или направления не могут породить длительной дружбы. Лидия Николаевна была чрезвычайно скромной, она вскоре была оттиснута, ее не замечали, точнее, старались не заметить. Правдивость — это не литературное направление, и совестливость не художественный метод. Сейфуллина была всего на два года старше меня, и я поверил в правдивость ее ранних книг, но в те времена они были мне далеки. А к Лидии Николаевне я сохранил до конца любовь за ее душевные качества.

В последний раз я встретил ее в Союзе писателей возле вешалки; разговор был коротким, и все же, как и при былых встречах, мы оба обрадовались. Она хворала, с тру-

дом ходила, но в душе оставалась той же. Умерла она в апреле 1954 года, и, проживи еще полгода, она узнала бы о реабилитации своего друга И. Э. Бабеля... А в моей памяти она осталась — порой шутливая, даже озорная, порой возмущенная, с той обостренной совестью, которую мы, вспоминая литературу прошлого века, называем «русской».)

В один из вечеров ко мне пришел поэт Долматовский. Он попал в окружение, видел зверства немцев и говорил: «Мне кажется, что я покойник или что прежней жизни не было...» Ему удалось бежать. Он прочитал мне стихи о воде: как он мечтал, когда не давали пить, о глотке воды. Рассказывал, как добрался до нашей части; его сердечно встретили, а потом отвели в штаб и долго допрашивали. Нужно было доказать, что он это он, а окружение это окружение. Он просидел у меня до четырех часов утра. Я заснул и сразу проснулся от собственного крика: мне приснилось, что меня допрашивают и я не могу доказать, что я это я; а кто меня допрашивал — не помню.

Из Ленинграда приехал исхудавший Тихонов. Он часами рассказывал о всех ужасах блокады, не мог остановиться, говорил о героизме людей, о дистрофии, о том, как съели всех собак, как в морозных, нетопленых квартирах лежат умершие — у живых нет сил их вынести, похоронить.

Я познакомился с Маргаритой Алигер. Она мне прочитала печальные стихи — пламя свечи, голубая и розовая Калуга... У нее на фронте погиб муж. Она походила на маленькую птичку, и голос у нее был тонкий, но я в ней почувствовал большую внутреннюю силу. (С той поры прошло почти четверть века, и многие из тех, с которыми я встречался в трудные годы войны, выпали из моего зрения — одним слишком хотелось мнимой славы, другие преждевременно состарились и превратились в чтимые многими окаменелости былой эпохи. А с Маргаритой Иосифовной я подружился. Помню обед на правительственной даче в 1957 году, когда ее незаслуженно поносили, ее голос был еле слышен, как голос маленькой пичуги среди урагана, но она стойко отвечала. Бог ты мой, насколько это важнее, чем все славословия и даже чем поэтические вечера в Лужниках, — сохранить свое достоинство, не дать ветру задуть крохотный светильник!)

В начале февраля приехали из Куйбышева Люба и Ирина. Ортенберг подписал приказ о Лапине и Хацревине — «пропали без вести». Ирина держалась мужественно, только глаза ее выдавали — я иногда отворачивался.

Казалось, все должны погибнуть от бомбы или от снаряда и что естественная смерть неестественна. А в конце декабря умер художник Лисицкий. В марте я узнал о смерти Хосе Диаса.

Жизнь продолжалась. Стало плохо с продовольствием; все начали говорить о пайках, талонах. В январе в гостинице «Москва» еще можно было получить еду; как-то мы обедали с Лидиным, и он сказал: «Мы еще эту печенку вспомним»; действительно, через месяц все изменилось. Я получал в ЦДРИ один обед, его ели почти всегда трое, а то и четверо.

В Москву вернулись из Куйбышева иностранные корреспонденты. Некоторые ко мне приходили — Шапиро, Хендлер, Шампенуа, Верт. Все они жаждали новостей, рвались на фронт, обижались, ворчали. Я продолжал писать статьи для заграничной печати — для Юнайтед Пресс, для «Марсейез», для английских и шведских газет.

Почти каждый день мне приходилось выступать — то в госпиталях для раненых, то на аэродромах, то у зенитчиков или у аэростатчиков. Я видел много горя и много мужества. Народ как-то сразу вырос, люди сражались, трудились, умирали с сознанием, что гибнут не зря: тростник мыслил.

Было и другое. Лидин с первого месяца войны был на фронте, много писал в газетах, и вот одна статья («Враг») кого-то рассердила. Я ее перечитал несколько раз, но так и не понял, что в ней предосудительного. Владимир Германович ходил к редактору «Известий», писал Щербакову, но ничего не добился; его перестали печатать. Рассердились и на Е. Петрова за невиннейшую статью «Трофейная овчарка». К. А. Уманский говорил: «Скучно! Немцы в Гжатске. Идет переброска дивизий из Франции. Мне поручили написать ноту о зверствах. А тут открывают второй фронт — наступление на Женю Петрова...»

Но бог с ними — с начетчиками, перестраховщиками и помпадурами, — в годы войны у нас была другая забота, и мы о них старались не думать. Каждый день я получал десятки писем с фронта, из тыла от читателей. Мне хочется привести здесь письма от женщин — о наших женщинах в годы войны мало написано, а они воистину строили победу. Вот письмо от колхозницы Калининской области: «От Семеновой Елизаветы Ивановны. Обида на сурового врага. Когда появился к нам в Козицино враг, у меня, у Семеновой, первой взяли корову. Потом у меня взяли гусей. Я стала не давать, дали мне по щеке. И затопотал он

на месте: «Уйди!» Дети увидели, что дали мне по щеке, и закричали: «Уйди! Пускай враг жрет». На другой день ко мне пришли, брали последнюю овцу. Я стала плакать, не давать. Германский тогда затопотал ногами и закричал: «Уйди, матка!» Когда я обернулась назад, он выстрелил. Я от ужаса упала в снег. А последнюю овцу все-таки взял. Когда они от нас отступали, сожгли мой хутор, сожгли все мое крестьянское имущество, и осталась я без средствий с троими детьми в чужой постройке. Два сына в Красной Армии — Круглов Алексей Егорыч, Круглов Георгий Егорыч. Сыновья мои, если вы живы, бейте врага без пощады! А мы будем вам помогать, чем только можем».

Вот отрывки из письма сибирской крестьянки, которое мне переслал красноармеец Дедов: «Здравствуй, любимый братец Митроша! Шлю тебе чистосердечный привет и желаю всего хорошего в ваших победах над злейшим врагом. Первым долгом я хочу сообщить о том, что Филя героически погиб в борьбе с немецкими фашистами... Когда пришло извещение о том, что он погиб, папу вызвали в милицию. Когда он пришел домой, он сильно заплакал. Мама спрашивает: «О чем плачешь?» Он не говорит, но когда сказал, что Филю убили, то мама сразу обмерла. Мы очень плакали целые два дня. Теперь мы его не увидим и не услышим голоса. Он нас веселил, все писал: «Папа, мама, о сыне не беспокойтесь, я живу прекрасно, и здоровье мое хорошее...» Митроша, деньги от тебя получили, очень большое спасибо. Но за Филю, Митроша, отомсти немцам, за своего братца. Будь героем!.. Митроша, очень нам сейчас скучновато, пропиши, где ты сейчас находишься... Мы недавно получили письма от Тани и Наташи, пишут, что живут пока ничего. Наташа бригадиром в колхозе. Но теперь напишу о своей жизни. Живем сейчас плохо, хлеба нет, есть совершенно нечего. Из колхоза дадут 9 кгр. на 7 человек на 5 дней. На нашу семью на один день, а остальные живи как хочешь. Но все ничего. Все переживем. У нас сейчас берут девушек на фронт. Митроша, я бы с удовольствием пошла, отомстила бы за своего любимого братца, он погиб за счастье народа...»

Вот отрывки из письма О. Хитровой: «Часто слышишь, что теперь война и поэтому скоро и нам конец и поэтому не стоит делать хорошо. А разве это верно? По-моему, как раз наоборот. Раз война, то надо делать все еще лучше. А если уж раньше смерти умрешь, то победы не увидишь... Я работаю на дорожных работах. Спрашиваем прораба, какие задания, а он не говорит, вообще на все смотрит спус-

тя рукава. А зачем это? Ведь от такого подхода никакое дело не выйдет. Я в начале войны тоже было поддалась такому настроению, услышу плохую сводку с утра — и весь день все из рук валится. А теперь душой скрепилась. Услышу сводку — плохо, а я себе говорю — назло убирать буду, и шить буду, и штаны красноармейцу постираю, да и заштопаю. Не хочу умирать раньше смерти! Если у нас где-нибудь шпион, пусть увидит, что мы держимся...»

Вот отрывки из письма руководителя кафедры западной литературы Киевского университета, эвакуированной в село Котельниково, Эдды Халифман: «...Затем наступил день, когда надо было оставить дом. Каждый член моей семьи имел рюкзак, только я «по негожести», как говорят в Котельникове, была от него освобождена. Перед самым уходом я снова вошла в свою комнату, сожгла фотографии близких, письма, подошла к книжным полкам, взяла в руки свои работы — вот лексикология французского языка, работала над ней год, вот история французского литературного языка XIX века — два года, небольшой спецкурс введения в романское языкознание — четыре года работы, поглядела, полистала и положила снова на полку. Ушла с пустыми руками. Мы оставили позади Киев, вы знаете, что это значит... Где-то в пути мы повстречали эшелон с земляками, среди них был вагон с детьми и работниками испанского детдома. Некоторые из работников преподавали у нас на факультете, а дети приходили к нам на елку. Восьмилетний Октавио объяснял моей трехлетней племяннице Наташе, что скоро наши летчики прогонят фашистов и тогда Наташа вернется в Киев, а он уедет в Бильбао. Привезли нас в Котельниково. Там Наташа увидела верблюдов не в зоо, а в степи. Много было страшного. Потеряла здесь отца. Пришли известия с фронта о гибели близких. Временами мне казалось, что сердце не выдержит. Выдерживает. Оказалось, что если горе, страдания сочетаются с жгучей ненавистью, то становишься крепким, хочешь, как шутливо говорят мои друзья фронтовики, «выдержать рентгеновское просвечивание войной»... Нелегко приходится — новая среда, новое окружение требуют новых норм поведения. Как ни странно, оказалось сложным переключиться с университетской работы на работу секретаря поселкового Совета. Здесь все проще, обнаженнее, и в этом сложность обстановки... Чтобы выдержать просвечивание, чтобы после войны честно смотреть в глаза товарищам, приходится мобилизовать все свои внутренние ресурсы...»

Я и теперь разволновался, перечитав груду писем, тогда они меня поддерживали. Я тоже знал, что нужно выдержать «рентгеновское просвечивание войной»...

Жил я в гостинице «Москва» (моя квартира была повреждена при бомбежке), жил как в раю, или, вернее, как в «Княжьем дворе» в 1920 году, — тепло, светло. Воспользовавшись передышкой на фронте, я в феврале дописал последние главы «Падения Парижа». Каждый день я встречал друзей, которые жили в гостинице, — Петрова, Сурица, Уманского. Иногда мы заговаривали о будущем. Петров, как всегда, был оптимистом, считал, что весной союзники откроют второй фронт, немцев разобьют, а после победы у нас многое переменится. Суриц сердился: «Люди не так легко меняются, — и, понизив голос, добавлял: — Он тоже не изменился...» Уманский говорил, что союзники начнут воевать, когда немцы истощатся в боях с нами, а насчет послевоенных перспектив молчал или нехотя говорил: «Лучше ждать худшего»...

К концу января стало ясно, что наше наступление приостановлено. 23 января я поехал с Павленко в штаб Западного фронта. Командующий генерал Г. К. Жуков рассказал нам, как протекало наступление; битва за Москву закончена; может быть, на некоторых участках удастся несколько продвинуться вперед, но немцы укрепились и до весны, видимо, война будет носить позиционный характер. Потом неожиданно для меня генерал заговорил о роли Сталина, говорил он без привычных трафаретов — «гениального стратега» не было, да и в тоне не чувствовалось обожания; поэтому его слова на меня подействовали. Он повторял: «У этого человека железные нервы!..» Рассказывал, что много раз говорил Сталину: необходимо попытаться отбросить противника, иначе немцы прорвутся в Москву; дважды в день разговаривал по прямому проводу. Сталин неизменно отвечал: нужно подождать — через три дня прибудет такая-то дивизия, через пять дней пододвинут противотанковые орудия. (У Сталина была записная книжка, и там значились части и техника, которые перебрасывали к Москве.) Только когда Жуков сказал, что немцы устанавливают тяжелую артиллерию и собираются обстрелять Москву, Сталин разрешил начать операцию. Вернувшись в Москву, я записал рассказ Жукова.

Я не военный специалист, да и нет у меня данных, чтобы судить о стратегическом даре Сталина. Еще семь-восемь лет тому назад наши историки приписывали победу над Германией прежде всего его «гениальности». Большая

Советская Энциклопедия в статье о Великой Отечественной войне дает цветную репродукцию плохой картины, изображающей Сталина над военными картами; в хронологии событий, где приведены почти шестьсот важнейших, сто относятся не к военным операциям, а к выступлениям Сталина, награждениям его различными орденами, его приветствиям и приемам. Что касается военных операций, то, судя по той же энциклопедии, в 1944 году противнику были нанесены «десять сталинских ударов». Приложена фотография: «Телеграфный аппарат, по которому И. В. Сталин вел переговоры с фронтом». Аппарат я себе представляю, а вот что говорил Сталин по ВЧ различным командующим, я не знаю. Конечно, при жизни Сталина его роль в победе над Германией непомерно преувеличивалась. Но рассказ командующего Западным фронтом звучит правдоподобно. Мы все знаем, что Сталин остался в Москве, выступил 7 ноября, сказал, что врага остановят.

(Успехи нашей армии под Москвой подняли за границей авторитет Сталина. А наши солдаты в него свято верили. На стенах берлинских развалин я видел его портреты, вырезанные из газет или из «Огонька». Снова припомню слова Твардовского: «Тут ни убавить, ни прибавить...»

Говорят, что нужно уметь умереть вовремя. Кто знает, умри Сталин в 1945 году, может быть, война заслонила бы многое; люди надолго сохранили бы иллюзии, что миллионы невинных погибли от Ягоды, Ежова, Берии, и в памяти участников войны остался бы образ Сталина в солдатской шинели — трудные дни битвы за Москву. Пушкин говорил, что возвышающий обман дороже «тьмы низких истин». Однако бывают обманы, которые принижают человека, и я часто благодарю судьбу за то, что дожил до наших дней и услышал жестокую правду.)

В декабре 1941 Гитлер утверждал, что немцы отошли от Москвы по доброй воле, желая перезимовать на более удобных позициях, что если и вышла заминка, то виноваты в этом редкостные морозы, что летом наступление возобновится. Последнее оказалось правдой, но в слова о добровольном «сокращении линии фронта» не поверили даже самые наивные немцы. Под Москвой фашистской Германии был нанесен тяжелый удар, не столько ее боеспособности, сколько ее престижу. Конечно, вместе со многими я преувеличивал масштабы наших успехов, и очень скоро мне пришлось увидеть свою ошибку: наступило страшное лето 1942 года, когда немцы в течение двух-трех месяцев дошли до Волги, до Северного Кавказа. Однако

битва под Москвой не была военным эпизодом, она многое предрешила.

Никто не упрекнет немецких солдат в отсутствии храбрости; техника у рейхсвера была высокая, командный состав обладал военными знаниями, опытом. Все это бесспорно, но в зиму 1941—1942 года обозначилась слабая сторона фашистской армии — она оказалась пригодной только для наступления, она вдохновлялась сознанием своего превосходства, и стоило солдатам Гитлера натолкнуться на подлинное сопротивление, как они душевно дрогнули. Битва под Москвой была для Германии первой примеркой разгрома.

5

Я сейчас задумался над этой книгой; я пишу предпоследнюю часть, приближаюсь, следовательно, к концу. Читатель может спросить, почему пережитые мною годы часто выглядят черными, а люди, с которыми я встречался, описаны любовно, показаны их хорошие стороны. Конечно, я встречался и с доносчиками, корыстными перебежчиками, карьеристами, но я с ними не дружил — не потому, что был особенно зорким, просто судьба смилостивилась. Были и у меня разочарования, порой я если и не дружил, то водился с людьми, которые потом оказывались мелкими, бессердечными, но я предпочитаю, вспоминая многое, рассказывать не о них, а об обстоятельствах, вызывавших душевное принижение многих, не хочу судить, тем паче что не убежден в своем беспристрастии.

Все же я дошел в воспоминаниях до короткой встречи с человеком, который причинил людям много зла, и не могу эту главу опустить.

Пятого марта 1942 года я поехал на фронт по Волоколамскому шоссе. Впервые я увидел развалины Истры, Ново-Иерусалимского монастыря: все было сожжено или взорвано немцами. Вот уже двенадцать лет, как я живу возле Нового Иерусалима. Истра отстроилась, но порой, проезжая мимо новых домов, парка, памятника Чехову, я вижу снег и черноту далекого морозного дня, пустоту, смерть.

Я проехал через Волоколамск. Возле Лудиной горы в избе помещался КП генерала А. А. Власова. Он меня изумил прежде всего ростом — метр девяносто, потом манерой разговаривать с бойцами — говорил он образно, порой нарочито грубо и вместе с тем сердечно. У меня было двойное чувство: я любовался и меня в то же время коро-

било — было что-то актерское в оборотах речи, интонациях, жестах. Вечером, когда Власов начал длинную беседу со мной, я понял истоки его поведения: часа два он говорил о Суворове, и в моей записной книжке среди другого я отметил: «Говорит о Суворове как о человеке, с которым прожил годы».

На следующий день солдаты говорили со мною о генерале, хвалили его: «простой», «храбрый», «ранили старшину, он его закутал в свою бурку», «ругаться мастер»...

Война была в то время позиционной. Шли бесконечные бои за Безымянную высоту, за деревню Петушки. От деревни давно ничего не осталось. Атаковали холмик, брали, потом отдавали. Когда я сидел с Власовым в блиндаже, немцы открыли шквальный огонь. Он рассказывал о больших потерях обеих сторон.

Потом я увидел расщепленный лес, он казался мертвым. Снег был еще белым, даже голубоватым, но на солнце млел и чуть поникал. Час спустя все загудело. Наши пошли в атаку. Танки очистили от немцев ложбинку.

Мы прошли в блиндаж; видимо, там жили немецкие офицеры: стояли две никелированные кровати, валялись иллюстрированные еженедельники с портретами Гитлера и киноактрис. Боец нашел банку голландского какао. Санитары выносили раненых. Власов говорил: «А до Петушков не дошли... Треклятые Петушки!.. Впрочем, так нужно — прогрызаем их оборону...»

Мы поехали назад. Машина забуксовала. Стоял сильный мороз. На КП девушка, которую звали Марусей, развела уют: стол был покрыт скатеркой, горела лампа с зеленым абажуром и водка была в графинчике. Мне приготовили постель. До трех часов утра мы проговорили; вернее, говорил Власов — рассказывал, рассуждал. Кое-что из его рассказов я записал. Он был под Киевом, попал в окружение; на беду, простудился, не мог идти, солдаты его вынесли на руках. Он говорил, что после этого на него косились. «Но тут позвонил товарищ Сталин, спросил, как мое здоровье, и сразу все переменилось». Несколько раз в разговоре он возвращался к Сталину. «Товарищ Сталин мне доверил армию. Мы ведь пришли сюда от Красной Поляны — начали чуть ли не с последних домов Москвы, шестьдесят километров отмахали без остановки. Товарищ Сталин меня вызвал, благодарил»... Многое он критиковал: «Воспитывали плохо. Я спрашиваю красноармейца, кто командует его батальоном, он отвечает «рыженький», даже фамилии не знает. Не воспитали уважения. Вот Су-

воров умел себя поставить...» Желая что-либо похвалить, повторял: «Культурно, хорошо». Рассказывая о повешенной немцами девушке, выругался: «Мы до них доберемся...» Вскоре после этого сказал: «У них есть чему поучиться. Видали в блиндаже кровати? Из города вытащили. Культура. У них каждый солдат уважает своего командира, не ответит «рыженький»...» Говоря о военных операциях, добавлял: «Я солдатам говорю, не хочу вас жалеть, хочу вас сберечь. Это они понимают...»

Среди ночи он разнервничался: немцы осветили небо ракетами. «На самолетах пополнение подбрасывают. Завтра, наверно, возьмут назад ложбинку...» Часто он вставлял в рассуждения поговорки, прибаутки, были такие, каких я раньше не знал; одну запомнил: «У всякого Федорки свои отговорки». Еще он говорил, что главное — верность; он об этом думал в окружении. «Выстоим — верность поддержит...»

Рано утром Власова вызвали по ВЧ. Он вернулся взволнованный: «Товарищ Сталин оказал мне большое доверие...» Власов получил новое назначение. Мгновенно вынесли его вещи. Изба опустела. Сборами командовала Маруся в ватнике. Власов взял меня в свою машину — поехал на передний край проститься с бойцами. Там под минометным огнем мы с ним расстались. Он уехал в Москву, а меня удержали военные: «Пообедаем...» В Москву я вернулся ночью. Надрывались зенитки. А я думал о Власове. Мне он показался интересным человеком, честолюбивым, но смелым; тронули его слова о верности. В статье, посвященной боям за Безымянную высоту, я коротко описал командующего армией.

Полковник Карпов мне сказал, что Власову поручили командование 2-й ударной армией, которая попытается прорвать блокаду Ленинграда, и я подумал: что ж, выбор неплохой...

Четыре месяца спустя, а именно 16 июля, немцы сообщили, что взяли в плен крупного советского командира; он прятался в избе, был одет как солдат, но, увидев немцев, закричал, что он генерал, и, приведенный в штаб, доказал, что действительно является командующим Особой армией генералом Власовым.

Потом один советский офицер, выбравшийся из окружения, рассказал мне, что Власов был легко ранен в ногу, он шел по обочине, опираясь на палку, и ругался.

Прошел еще месяц, и немцы передали, что генерал Власов образовывает из военнопленных армию, которая

будет сражаться «на стороне Германии — за установление в России нового порядка и национал-социалистического строя».

Мне принесли листовку, подобранную на фронте, она у меня сохранилась. В ней идет речь обо мне: «Жидовская собака Эренбург кипятится», подписана листовка «Власовцы». Я вспомнил, как рослый генерал в бурке полгода назад при прощании меня трижды поцеловал, и выругался (правда, не цветисто — я не Власов).

Конечно, чужая душа потемки; все же я осмелюсь изложить мои догадки. Власов не Брут и не князь Курбский, мне кажется, все было гораздо проще. Власов хотел выполнить порученное ему задание; он знал, что его снова поздравит Сталин, он получит еще один орден, возвысится, поразит всех своим искусством перебивать цитаты из Маркса суворовскими прибаутками. Вышло иначе: немцы были сильнее, армия снова попала в окружение. Власов, желая спастись, переоделся. Увидев немцев, он испугался: простого солдата могли прикончить на месте. Оказавшись в плену, он начал думать, что ему делать. Он знал хорошо политграмоту, восхищался Сталиным, но убеждений у него не было — было честолюбие. Он понимал, что его военная карьера кончена. Если победит Советский Союз, его посадят, в лучшем случае разжалуют. Значит, остается одно: принять предложение немцев и сделать все, чтобы победила Германия. Тогда он будет главнокомандующим или военным министром обкорнанной России под покровительством победившего Гитлера. Разумеется, Власов никогда никому так не говорил, он заявлял по радио, что давно возненавидел советский строй, что он жаждет «освободить Россию от большевиков», но ведь он сам привел мне пословицу: «У всякого Федорки свои отговорки»...

Власову удалось набрать из военнопленных несколько дивизий. Одни пошли, измученные голодом, другие потому, что боялись своих. В боях власовцы оказались нестойкими, и немцы ими пользовались главным образом для подавления партизанского движения. Когда после войны я приехал во Францию, жители Лимузена рассказывали о жестоких расправах власовцев с населением. Плохие люди есть повсюду, это не зависит ни от политического строя, ни от воспитания.

В июле 1942 года, когда Власов решил служить врагам своей родины, три пулеметчика и санитарка Вера Степановна Бадина защищали бугорок возле хутора Большой

Должик. Их окружил батальон, они отстреливались. Немцы открыли артиллерийский огонь. Снаряд убил двух пулеметчиков, третий и санитарка были тяжело ранены. Немцы сразу пристрелили пулеметчика Напивкова, а девушке, обливавшейся кровью, грозили пистолетом — хотели, чтоб она попросила пощады. Вера Бадина действительно попросила у немецкого офицера, но не пощады, а револьвер, чтобы застрелиться. Ей было двадцать девять лет.

А в тот самый день, когда мне принесли листовку власовцев, я получил письмо с припиской: «Найдено у сержанта Мальцева Якова Ильича, убитого под Сталинградом». Вот что писал Мальцев: «Дорогой Илья Григорьевич! Убедительно прошу вас обработать мое корявое послание и напечатать в газете. Старшина Лычкин Иван Георгиевич жив. Его хотели представить к высокой награде, но батальон, в котором мы находились, погиб. Завтра или послезавтра я иду в бой. Может быть, придется погибнуть. В последние минуты до боли в душе хочется, чтобы народ узнал о геройском подвиге старшины Лычкина». Сержант рассказывал, как в августе 1941 года батальон попал в окружение; несколько человек струсили, убежали к немцам, других убили; живых осталось трое, и Лычкин их вывел из окружения, подбил немецкий танк, взял в плен двух немцев. Я тогда выполнил посмертную волю Мальцева. Идя в бой и, видимо, понимая, что его ждет смерть, он в последнюю ночь думал не о себе, а о своем боевом друге.

Я сейчас говорю не о фашизме, а о людях.

Можно ли ответить на вопрос: что такое человек, на что он способен? Да на все, решительно на все. Может низко пасть, как пал Власов, может и подняться так высоко, что об этом не расскажешь. Я часто думаю о том, как различны люди, выросшие на одной земле, ходившие в те же школы, повторявшие те же слова. Именно поэтому я решил рассказать о Власове. (Все о нем давно позабыли, даже его подручные, вовремя убежавшие в американскую зону оккупации. Они ведь теперь прославляют не национал-социализм, а «свободный мир», им неудобно вспоминать о том, что они были власовцами.)

Птицы летают, рептилии ползают. А человек не только всеядное существо, он воистину всесущ — он и парит высоко, и умеет пресмыкаться; это известно всем, а привыкнуть к этому нельзя, это всякий раз поражает не только ребенка, но и старого человека, казалось бы, давно потерявшего дар удивления.

6

Передо мной маленькая фотография: редакция «Красной звезды» ночью. Я принес очередную статью, за столом капитан Копылев, рядом стоит Моран; лампа освещает газетную полосу.

Я проработал в «Красной звезде» с первых дней войны до апреля 1945-го — с ней связаны годы моей жизни. В течение долгого времени эта газета полнее и ярче других освещала фронтовые дела. Помню, как седой от пыли, измученный солдат (та пехота, что шагает) упрямо повторял: «Нет, ты мне дай «Звездочку»...» У меня сохранилось письмо от женщины из Томска: «Я вас очень прошу, дайте мне возможность хотя бы иногда читать «Красную звезду». Я знаю, что не имею на это никакого права, но у меня три сына на фронте, четвертый погиб в первые дни...» В октябре 1941 года в Куйбышеве произошла драка между двумя американскими журналистами из-за свежего номера «Красной звезды». Конечно, вполне естественно, что в годы войны газета армии привлекает к себе внимание, но успех «Красной звезды» создали люди.

В 1941—1943 годы газету редактировал Д. И. Ортенберг-Вадимов. Он был талантливым газетчиком, хотя, насколько я помню, сам ничего не писал. Он не щадил ни себя, ни других. Я был с ним под Брянском. В полевом госпитале лежал раненый корреспондент газеты Р. Д. Моран. Мы пошли его проведать. Ортенберг спросил: «Как вас ранило?» Моран ответил: «Миномет...» Ортенберг удовлетворенно улыбнулся: «Молодец!» О том, что он не боялся ни бомб, ни пулеметного огня, не стоит говорить — он был человеком достаточно обстрелянным. Но и на редакторском посту он показал себя смелым. В сороковые годы на газетном жаргоне существовало выражение «ловить блох»: после того, как все статьи были выправлены и одобрены, редактор тщательно перечитывал полосу, выискивая слово, а то и запятую, которые могут кому-нибудь наверху не понравиться. Так вот генерал Вадимов если и «ловил блох», то без лупы; часто пропускал то, что зарезал бы другой. Конечно, я знал, что, когда он говорил «переписать на хорошей бумаге», это означало, что он сомневается, хочет послать статью Сталину, но это приключалось не часто. Однажды Ортенберг получил военный очерк от Авдеенко, который незадолго до войны по приказу Сталина был исключен из Союза писателей. Ортенберг послал Сталину очерк с сопроводительным письмом — пи-

сал, что Авдеенко «боевыми действиями искупил свою вину». Очерк был напечатан. Раза два или три мои статьи переписывались на хорошей бумаге. Пожаловаться на Ортенберга я не могу; порой он на меня сердился и все же статью печатал. Однажды он вызвал Морана (наиболее эрудированного сотрудника газеты) проверить, действительно ли существовали эринии; пожалуй, он был прав — фронтовики не обязаны были знать греческую мифологию, он протестовал также против «рептилий», против ссылки на Тютчева, протестовал и, однако, печатал. Копылев мне недавно рассказал, что, случайно узнав, что мы с Любой получаем один тощий обед из ЦДРИ, доложил об этом редактору. Генерал Вадимов сначала не поверил, потом рассвирепел и отправился ни более ни менее как к начальнику тыла Красной Армии генерал-лейтенанту Хрулеву с просьбой зачислить меня на военное довольствие. Из всех сотрудников газеты Ортенберг больше всего любил Симонова: вероятно, киплинговские нотки, которые проскальзывали в очерках и стихах молодого Симонова, отвечали его наклонностям.

В конце июля 1943 года я вернулся в Москву из-под Орла. Генерал Вадимов меня расспрашивал о положении на фронте; сказал, что только что получено сообщение об отставке Муссолини. Я заметил, что он нервничает. Часа два спустя я пошел к нему с написанной статьей. Кабинет был пуст. Копылев объяснил: «Умчался... Сейчас звонил, спрашивал, все ли в порядке... В общем, его сняли. Щербаков его не выносит...»

Вадимов вскоре уехал на фронт, в армию генерала Москаленко. Я послал ему сборник своих статей; он написал в ответ: «Вы, вероятно, и сами не предполагаете, какое огромное значение имеет крепкая дружеская рука, протянутая в дни жестоких бурь!»

Недели две спустя я увидел в редакции спокойного, очень вежливого генерала — это был Н. А. Таленский, новый редактор «Красной звезды». Я с ним проработал год, и ни разу у нас не было столкновений. Когда он ушел, я хлебнул горя, к счастью, это было незадолго до конца войны. А с генералом Таленским я ездил в 1962 году в Брюссель на совещание «Круглого стола», посвященное разоружению, и снова подумал, как легко работать с этим человеком.

Когда выпадал свободный час, я разговаривал с Мораном о поэзии. Не знаю, как он попал в военную газету. Любил он поэзию и теперь переводит стихи, да и пишет

свои, а тогда частенько писал передовицы — Вадимов шагал, чуть прихрамывая, по кабинету и объяснял, что именно Моран должен написать. Моран был милым и чрезвычайно скромным. Когда кончилась война, он пошел работать в «Известия», его арестовали как «космополита», и я снова его увидел только в 1955 году.

Работал в редакции М. Р. Галактионов, человек с военным образованием, почему-то впавший в немилость и не имевший военного звания. С ним обращались как с мальчишкой, хотя он был моим сверстником, покрикивали на него. И неожиданно все переменилось, кто-то наверху вспомнил, что был такой Галактионов, и я увидел Михаила Романовича в генеральском мундире. С ним начали разговаривать учтиво. А он по-прежнему тихо, аккуратно выполнял свою работу. В 1946 году я поехал с ним в Америку, и о нем, о его судьбе напишу в последней части этой книги.

Ортенберг сумел прикрепить к газете хороших писателей. В. Гроссман просидел в Сталинграде самые трудные месяцы, там он написал очерки «Направление главного удара» и «Глазами Чехова», которые мне кажутся до сих пор замечательными. Мне запомнились очерки Симонова о Северном фронте. Е. Петров в начале войны писал для «Известий», но последние, севастопольские очерки появились в «Красной звезде». Среди военных корреспондентов газеты были и другие писатели — Павленко, Сурков, Габрилович. Полковник Карпов умел уговорить А. Н. Толстого сесть и сразу написать статью. Что касается меня, то я часто выполнял обычную редакционную работу — составлял информационные заметки, переводил сообщения из иностранных газет — словом, делал, что мог.

Мне хочется припомнить военных корреспондентов газеты. Их работа была тяжелой и неблагодарной: приходилось писать наспех, между двумя бомбежками, часто при свете коптилки, потом «проталкивать» статью, то есть умолять связистов передать ее по проводу, разыскивать оказию, информация порой устаревала, и Вадимов или Карпов швыряли телеграмму в корзину.

Корнейчук в пьесе «Фронт» вывел противного журналиста Крикуна. (На беду, в редакции одной из фронтовых газет оказался журналист с фамилией Крикун. Он мне говорил, что над ним все начали смеяться.) Конечно, попадались среди военных корреспондентов люди, похожие на героя комедии, но не так уж часто. Меня скорее поражала скромность большинства военных корреспондентов. Случайно у меня сохранилось письмо С. Борзенко. «Од-

новременно с этой запиской я послал в редакцию «Красной звезды» очерк о последнем бое нашей гвардейской дивизии. Я участвовал в этом бою и старался правдиво описать все, что видел. Очень прошу вас, возьмите этот очерк, прочтите его и, если он вам понравится, скажите свое мнение редактору. Там дело со снегом, пусть это вас не смущает — сегодня 30 марта, а мороз у нас 20 градусов». С. Борзенко стал Героем Советского Союза, о его геройстве узнали все.

Но кто помнит тишайшего Льва Иша, этого чернорабочего газеты, который не писал, а правил чужие статьи? Однажды, это было осенью 1941 года, он сидел над корреспонденцией с Западного фронта и вдруг вскрикнул — в статье рассказывалось, что в Ельне немцы зверски убили его отца. Иш настоял, чтобы его отправили на фронт военным корреспондентом. Он писал статьи и терзался. В 1942 году он писал из осажденного Севастополя: «...Я с завистью вижу, как другие стреляют в немцев и могут это сделать не раз в месяц, а каждый день...» (Лев Иш много раз ходил в разведку.) Настала развязка; на мысу сражались последние защитники Севастополя; среди них был Лев Иш, и погиб он в бою.

Я читал в редакции статьи полковника Донского. Осенью 1943 года в Слободке — напротив все еще занятого немцами Киева — я встретился с полковником Донским. Его настоящая фамилия была Олендер. Статьи его были хорошим, спокойным разбором военных операций, он многому научил молодых командиров. А мы заговорили не о войне — о жизни, об искусстве. Олендер декламировал Блока, Багрицкого. Потом мы толковали о верности, о белых хатах, о разлуке. Олендер походил на романтического юношу, и я ему сказал: «Будь я моложе, будь вы старше, а главное, будь век другим, мы бы сидели с вами в какой-нибудь «Ротонде» и говорили бы не о рокадной дороге, не о понтонах, а совсем о другом, вот как сегодня...» Мы расстались будто старые друзья, а пробыли вместе всего несколько часов. В 1944 году Олендер погиб как солдат — от пули.

На Днепре я встречал Гроссмана, Долматовского, на Соже — Симонова, у Можайска — Ставского, в Белоруссии — Твардовского, в Вильнюсе — Павленко. Мы не успевали поспорить о литературе — нам было не до этого.

Я вспоминаю конец сороковых годов... Трудно себе представить, что во время войны мы жили как бойцы одной роты. Я просмотрел папку с письмами военных

лет. Конечно, я понимаю, что мне писали мои старые друзья — А. Я. Таиров, П. П. Кончаловский, А. Н. Толстой, А. А. Ахматова, А. А. Игнатьев. Но много писем от писателей, которых я до того не знал и с которыми после войны очень редко встречался. Тогда у нас был общий враг; мы хорошо знали, что такое немецкие танки или немецкие автоматчики. Я перечитал сейчас одно из писем тех лет. Молодой поэт писал мне с фронта: «...Чего, например, стоят все эти стишки о том, что солдат идет в бой, распевая песню о любимой или что-либо в этом роде? Чего стоят бесконечные варианты «Синего платочка»? Неужели так и не подымется смелый, авторитетный голос в защиту русской поэзии против пошлости, с которой, как с грязью на солдатских сапогах, мы рискуем дойти до самой победы? Но пошлость хоть плавает на поверхности, с ней легче воевать, а что делать с бесконечным потоком стихов пустых, трескучих и бездумных, в которых при титаническом труде не обнаружишь и тени собственной оригинальной мысли? Ими, такими стихами, забиты сплошь и рядом журналы». Далее автор письма просил меня прочитать посылаемые им стихи и объяснял, почему он обращается ко мне: «Почему именно к вам? Говорю без лести, под честное слово — потому, что всегда, в том числе в самые трудные минуты, ваш голос был с нами, потому что вы пользуетесь доверием фронтовиков. Кроме того, ваш авторитет и любовь к русской литературе гарантируют прямоту и резкость суждений — лучшие качества в критике...» Письмо было подписано Н. Грибачевым.

Признаюсь, меня в те годы мало огорчали даже трескучие стихи. (Мне это самому странно. Вероятно, голос войны все заглушал.) Просматривая уцелевшие записные книжки, я нахожу военные новости, адреса полевой почты, имена немецких пленных, с которыми я разговаривал. У меня появилось много новых друзей не писателей, даже не журналистов — артиллеристов, летчиков, саперов. Я переписывался со многими фронтовиками, о некоторых из них попытаюсь дальше рассказать.

Генерал П. И. Батов в воспоминаниях о Сталинградской битве рассказывает, как его часть захватила «Двенадцать заповедей» — инструкцию, подписанную Гитлером, как немцы должны обращаться с русскими. П. И. Батов пишет: «Политработники 65-й армии использовали «заповеди» в беседах с бойцами. Помнится, у чеботарцев беседу проводил лично командир полка.

Гневный смех. Резолюция: «1. Клянемся бить фашистов беспощадно и первыми выйти к Волге. 2. Послать «заповеди» товарищу Эренбургу и просить раздраконить фрицев через «Красную звезду». Таких заказов я получал сотни. Я писал о фрицах, писал о войне, о наших людях.

Одну из моих статей 1942 года я озаглавил «Жить одним!». Прожить жизнь одним очень трудно, это доступно только революционеру в подполье, верующему в катакомбах да еще, может быть, ученому. Человек — сложное существо: не птица и не рыба, он живет в различных стихиях, живет разным и по-разному. Но, видимо, почти каждому приходится хотя бы раз в жизни оказаться отлученным от самого себя, от привычных раздумий и сомнений, от круга друзей, от своей внутренней темы. Так было со мной в 1941—1945 годы — в годы «Красной звезды»...

7

Это был один из первых весенних дней. Утром в дверь моей комнаты постучали. Я увидел высокого грустноглазого юношу в гимнастерке. Ко мне приходили много фронтовиков — просили написать о погибших товарищах, о подвигах роты, приносили отобранные у пленных тетрадки, спрашивали, почему затишье и кто начнет наступать — мы или немцы.

Я сказал юноше: «Садитесь!» Он сел и тотчас встал: «Я вам почитаю стихи». Я приготовился к очередному испытанию — кто тогда не сочинял стихов о танках, о фашистских зверствах, о Гастелло или о партизанах.

Молодой человек читал очень громко, как будто он не в маленьком номере гостиницы, а на переднем крае, где ревут орудия. Я повторял: «Еще... еще...»

Потом мне говорили: «Вы открыли поэта». Нет, в это утро Семен Гудзенко мне открыл многое из того, что я смутно чувствовал. А ему было всего двадцать лет; он не знал, куда деть длинные руки, и сконфуженно улыбался.

Одно из первых стихотворений, которое он мне прочитал, теперь хорошо известно:

Когда на смерть идут — поют,
а перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою —
час ожидания атаки...

Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Будь проклят
сорок первый год —
ты, вмерзшая в снега пехота.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо...
Бой был короткий.
А потом
глушили водку ледяную,
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.

Я видел первую мировую войну, пережил Испанию, знал много романов и стихов о битвах, об окопах, о жизни в обнимку со смертью — романтически приподнятых или разоблачительных — Стендаля и Толстого, Гюго и Киплинга, Дениса Давыдова и Маяковского, Золя и Хемингуэя. В 1941 году нашими поэтами было написано немало хороших стихотворений. Они не глядели на войну со стороны; многим из них ежедневно грозила гибель, но никто не выковыривал ножом из-под ногтей вражескую кровь. Штык оставался штыком, лира — лирой. Может быть, это придавало даже самым удачным стихам тех поэтов, которых я знал до войны, несколько литературный характер. А Гудзенко не нужно было ничего доказывать, никого убеждать. На войну он пошел солдатом-добровольцем; сражался во вражеском тылу, был ранен. Сухиничи — Думиничи — Людиново были для него не строкой в блокноте сотрудника московской или армейской газеты, а буднями. (При первом знакомстве он мне сказал: «Я читал, что вы ездили к Рокоссовскому и были в Маклаках. Вот там меня ранили. Конечно, до вашего приезда...»)

В то утро он мне прочитал и «Балладу о дружбе». Слово «баллада» еще шло от традиционной романтики, а стихи были совсем не романтичными. Боец знает: один из двух должен погибнуть, выполняя задание, — он или его друг.

Мне дьявольски хотелось жить, —
пусть даже врозь,
пусть не дружить.
Ну, хорошо,
пусть мне идти,
пусть он останется в живых...

Я сказал, что Гудзенко мне многое открыл. Война, которую мы переживали, была жестокой, ужасающей, и вместе с тем мы твердо знали, что нужно разбить фашистов. Нам не подходили ни былые честные проклятия, ни новые столь же честные восхваления: «На сажень человеческого мяса нашинковано»... Нет, изменились не только масштабы, но и восприятие. «Священная война»? Не те слова! И вот я услышал стихи Гудзенко...

В то утро я ни о чем его не спрашивал — слушал стихи; узнал только, что он киевлянин, что у него есть мать, что он учился в ИФЛИ и слышал мои стихи о Париже в сороковом году.

(Гудзенко мне показался поэтом с головы до ног, подростком, еще не научившимся думать вне поэзии. А он тогда записал в своей записной книжке: «Вчера был у нас Илья Эренбург. Он, как почти всякий поэт, очень далек от глубоких социальных корней...» Так часто бывает при первой встрече: мы не знали друг друга и рисовали собеседника, руководствуясь своей собственной душевной настроенностью.)

Я читал стихи Гудзенко всем — Толстому, Сейфуллиной, Петрову, Гроссману, Сурицу, Уманскому, Морану; звонил в Клуб писателей, в различные редакции: мне хотелось со всеми поделиться нечаянной радостью.

Он пришел снова, мы пригляделись друг к другу. Я его полюбил.

Стихи его напечатали. Потом устроили вечер в Клубе писателей; он вошел в литературу. Время было военное: быстро призывали, быстро признавали, быстро и забывали.

Он был смелым и удивительно чистым; перед смертью он не оробел; а в литературной среде на первых порах выглядел смущенным подростком. Расскажу об истории с двумя строками, которые я привел выше:

Будь проклят
сорок первый год —
ты, вмерзшая в снега пехота.

Редактор потребовал замены. Гудзенко послушно написал:

Ракеты просит небосвод
и вмерзшая в снега пехота.

Я его спросил, при чем тут небосвод, он виновато улыбнулся: «Что я мог сделать?..» (Прошло пятнадцать лет.

Гудзенко умер, и в издании 1956 года появился новый вариант, столь же нелепый: «Тяжелый сорок первый год и вмерзшая в снега пехота» — как будто солдат, которому кажется, что он притягивает мины, академически размышляет: год тяжелый. Только в 1961 году, после того как начала оттаивать вмерзшая в снега поэзия, восстановили подлинный текст.)

В феврале 1945 года он мне писал с фронта: «Посылаю вам пять стихотворений — печатных и непечатных. Пишу вообще много, записные книжки полны, но что из этого получится, бог знает. Если что из стихов можно напечатать, будет хорошо... В стихах чернилами даны печатные варианты. Я ведь обучен цензурой с первого стиха».

В 1942 году Гудзенко говорил о будущем сурово и с доверием. Как все его однополчане, да и как почти все его соотечественники, он верил, что после победы жизнь будет лучше, чище, справедливее.

Гудзенко, едва оправившийся от тяжелого ранения, в Москве попал под машину. Он долго пробыл в тылу; работал в Сталинграде, в выездной редакции «Комсомольской правды». Оттуда он прислал мне свои стихи о Сталинграде, и одно меня снова поразило, как открытие:

...И наконец-то
с третьим эшелоном
сюда пришла
сплошная тишина.
Она лежит,
неслыханно большая,
на гильзах
и на битых кирпичах,
таким
сердцебиеньем оглушая,
что с ходу засыпаешь
сгоряча.

В сентябре 1943 года он мне писал: «Собираюсь на Украину. Киев не дает покоя. Вероятно, скоро там буду. О тыле больше писать здесь не могу. Снова пишу о фронте. Что получится?»

В ноябре Гудзенко пришел ко мне, радовался, что едет на фронт, скоро увидит Киев, и вместе с тем по его лицу вдруг пробегала тень, как от одинокого облака. Почему-то я пометил в записной книжке: «Гудзенко спрашивал, зачем ввели раздельное обучение, вводят форму, рассказал, как обидели еврея-киевлянина. За год он очень повзрослел».

Гудзенко шел с армией на запад. Стоит ли напоминать, что высокая поэзия всегда рождалась в часы испытаний? В 1942 году Гудзенко писал:

Каждый помнит по-своему, иначе,
и Сухиничи, и Думиничи,
и лесную тропу на Людиново —
обожженное, нелюдимое.

В 1945 году изменились не только названия городов, где шли бои, изменилась и душевная настроенность. Гудзенко прислушивался не к биению сердца, а к звонким словам, к рифмам:

Занят Деж,
занят Клуж.
Занят Кымпелунг.
...Нет надежд.
Только глушь.
Плачет нибелунг.

Незадолго до победы он писал мне: «Война на нашем участке еще настоящая. Все повторяется. Недавно попал под сильную бомбежку у переправы через Мораву... Лежал долго там и томительно. Умирать в 1945 году очень не хочется...»

Кончилась война. Выживших демобилизовали. Я увидел Семена в пиджаке. Но в душе он все еще донашивал старую, вылинявшую гимнастерку. Конечно, менялись сюжеты стихов — он описывал села Закарпатской Украины, колхозы, жизнь мирного гарнизона. Он знал, что это большие дела большой столицы, но что «у каждого поэта есть провинция», признавался:

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная, одна,
суровая моя и откровенная,
далекая провинция —
Война...

Есть в его книжке такая запись: «Читал на станкозаводе имени Орджоникидзе... Слушали... Мне самому от своих стихов было скучно...»

Существует много повестей, фильмов, стихов о ностальгии солдата, возвращенного к мирной жизни. Гудзенко об этом не писал, но о чем бы он ни писал, в его стихах ностальгия фронтовика. Внешне все выглядело хорошо: он нашел счастье или его иллюзию, громко говорил, часто улыбался, ездил по стране, много работал,

слыл примерным оптимистом. (Я вспоминаю его юношеское признание: «Вечные спутники счастья — сорок сомнений и грусть».) Как-то мимоходом он сказал мне: «Я научился писать, а пишу хуже. Впрочем, это понятно...» Я не возразил, а может быть, он ждал возражений, не знаю.

Он казался здоровым, возмужал, даже потяжелел. В 1946 году он писал:

Мы не от старости умрем, —
от старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
трофейный рыжий ром!

Это напоминало обычную армейскую песенку. А в 1952-м мне рассказали, что Гудзенко болен — последствия военной контузии, сделали трепанацию, врачи не знают, выживет ли он. Я вдруг вспомнил кружку с рыжим ромом...

Борясь со смертью, Гудзенко написал три стихотворения. Он снова набрал высоту, как в ранних стихах 1942 года. Он умирал в родной и далекой провинции, умирал, как умирали его однополчане.

До чего мне жить теперь охота,
будто вновь с войны вернулся я!

За несколько месяцев до болезни он пришел ко мне. Мы долго разговаривали, а разговора не вышло; может быть, потому, что с ним пришел его друг, поэт, может быть, виноват был я; да и время было не очень-то благоприятное для задушевных бесед. Два или три дня спустя он забежал ко мне на минутку, будто бы забыл надписать книгу, постоял, поулыбался и, уже прощаясь, сказал: «Многое не так получилось... Но мы еще увидимся, поговорим...» Больше я его не видел.

Да, многое не так получилось, как мы думали в 1942 году. Настала эпоха атомной бомбы. Никто не знал, что будет завтра. Арестовывали невинных — снова и снова стреляли по своим. А Гудзенко умер в зимний месяц — февраль, в очень зимний, холодный, темный февраль 1953 года — незадолго до первой оттепели.

Для меня он остался поэтом того поколения, которое начало жизнь у Сухиничей, у Ржева, под Сталинградом. Многие его сверстники не вернулись с войны. Я смутно помню молодых поэтов, читавших накануне войны свои стихи, — Кульчицкого, Когана. Потом я прочитал их стихи; они погибли слишком рано, и лучшее написано ими до вой-

ны. А Гудзенко сумел заговорить среди шума битв, сказал многое за себя и за других. В стихотворении, которое он назвал «Мое поколение», навязчиво повторяется строка:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели...

Когда Гудзенко писал эти стихи, он мечтал, что его сверстники вернутся домой с победой и узнают всю меру счастья. В 1951 году он сказал мне в темной передней: «Многое не так получилось...» Не знаю, кого тогда нужно было жалеть: тех, что остались в братских могилах, или тех, кто вернулся.

А Гудзенко до слез жалко. Я его запомнил очень молодым, таким, каким он был в далекое утро 1942 года, когда на короткий срок поднялся выше всех, увидел и сказал...

8

Десятого марта 1942 года мне позвонил представитель сражающейся Франции Роже Гарро. Мне нужно было угостить его обедом, это было нелегко. После долгих переговоров директор «Метрополя» согласился предоставить крохотный номер. (Умывальник стыдливо прикрыли скатеркой.) По тому времени обед был прекрасный; дали водку. Гарро оказался подвижным французом, небольшого роста, но с темпераментом. Он рассказывал, как трудно де Голлю в Лондоне: для англичан он эмигрант, и только. Гарро строил планы: почему бы не создать в Советском Союзе французских дивизий? Можно начать с авиации. О положении во Франции он отзывался, скорее, мрачно: «Возмущаются немцами почти все, но, что вы хотите, люди держатся за деньги, за место, лучше других ведут себя рабочие...» Себя он неизменно называл «якобинцем».

Гарро пригласил меня провести с ним вечер. Среди гостей были французский генерал Пети, журналист Шампенуа, турецкий консул и настоятель московской католической церкви отец Брон. Гарро неистовствовал: «Вы увидите, что англичане и американцы купят по дешевке немецкие заводы и начнут защищать «бедную Германию». Для них война — это партия в крикет...»

Я рассказывал о том, что видел на фронте, и отец Брон возмущался фашистскими зверствами. Вскоре после этого А. С. Щербаков сказал мне, что немцы направили на Восточный фронт словацкие части: «Напишите для них листовку — вы ведь бывали в Словакии...» Я сразу подумал о Броне: среди словацких крестьян было много верующих, и

на них должно было подействовать обращение католического священника. Я пошел к отцу Брону, который жил тогда в комфортабельном флигеле американского посольства (дипломаты еще находились в Куйбышеве). Брон мне долго объяснял, что святой отец любит терпимость и что с Ватиканом нельзя шутить. Мы говорили о догматах церкви, о положении на фронте, о де Голле. Листовку Брон написал, но после этого начал требовать от меня горючего для своей машины. Я обратился в учреждение, распределявшее бензин, мне ответили, что Брон получает больше положенного. Отец Брон писал, что ему приходится очень много передвигаться, чтобы причащать умирающих, а получив отказ, начал мне угрожать не муками на том свете, а тривиальным скандалом.

В апреле, когда я получил за «Падение Парижа» Сталинскую премию, Гарро мне передал поздравительную телеграмму де Голля. А генерал Пети прислал длиннющий трут для зажигалки: всю войну, в отличие от отца Брона, я мог не беспокоиться о бензине.

Генерал Пети был начальником военной миссии, товарищем де Голля по военному училищу, верующим католиком. Он меня сразу подкупил искренностью, прямотой и большой скромностью. Он видел, как сражается советский народ, понял его и полюбил, говорил мне, что вернулся во Францию другим человеком. После войны его назначили военным вице-губернатором Парижа; я был у него во Дворце инвалидов. На этом посту он, однако, остался недолго — не скрывал своих чувств к Советскому Союзу, ко вчерашним партизанам, а это уже было не по времени. Недавно, когда я был в Париже, оасовцы подложили взрывчатку в его квартиру. Улыбаясь, он мимоходом сказал: «Вчера меня пластиковали...»

В моей записной книжке я нашел некоторые фразы Гарро: «Второй фронт отложен — возврат мюнхеномании», «Англичане и до войны проводили уик-энд в Дьеппе — увеселительная прогулка, а мы поверили», «Вы воюете у Сталинграда, а они обучают будущих комиссаров для стран, которые надеются когда-нибудь освободить от немцев и в свою очередь оккупировать»...

Двадцать восьмого сентября 1942 года Советское правительство признало Национальный комитет сражающейся Франции как единственную организацию, имеющую право выступать от лица французского народа. Гарро меня обнимал. Он выступил по радио со страстной речью: «Сейчас становится все более ясно, что будущее Европы зависит от взаимного доверья между СССР и Францией, кото-

рая вернет себе престиж и величье». В ресторане «Арагви» Гарро восклицал: «Мы должны повесить всех генералов вермахта, это не военные, а преступники!..»

В декабре 1944 года в Москву приехал де Голль, его сопровождали генерал Жюэн и министр иностранных дел Бидо. Переговоры о франко-советском пакте зашли в тупик: де Голль не хотел признать новое польское правительство («Люблинский комитет»). Меня пригласили на обед во французское посольство. Дам не было, и рядом с де Голлем сидели С. А. Лозовский и я. Де Голль почти все время разговаривал со мной. Он был в дурном настроении и жаловался на холод москвичей. Потом мне рассказали, что перед обедом его повели в метро, посещение которого входило в программу всех иностранных гостей. Метро менее всего могло заинтересовать де Голля — он ведь человек XVII века, а тогда не было ни фашизма, ни метро, ни других новшеств. Вагоны были переполнены, и для французов очистили детскую площадку. Пассажиры громко высказывали возмущение. А генерал де Голль вздумал обратиться к ним с приветствием. Услышав, что высокий француз — генерал де Голль, роптавшие испугались: будут неприятности. В вагоне воцарилась тишина, и только один старичок, вспомнив гимназический урок, дребезжащим голосом произнес «мерси». Де Голль рассердился и добрый час доказывал мне, что московская толпа напоминает ему каторжников. Для меня он был человеком Сопротивления, и я старался его уверить в любви советских людей к Франции.

Генерал Жюэн показался мне бравым военным. На «Жизели», пока танцевала Уланова, он дремал, говорил: «Я думал, что у вас, по крайней мере, нет всей этой чепухи с привидениями...» На следующий день он увидел Ансамбль Красной Армии. Когда начали плясать вприсядку, он вскочил и радостно крикнул: «Наконец-то казаки!» Кажется, только это ему и понравилось. Меня не удивило, что потом он солидаризировался с ОАС.

Бидо пил водку и злился. Подошла последняя, решающая ночь. Французов пригласили в Кремль. Бидо для храбрости опорожнил графинчик водки. За ужином Сталин, увидев, что де Голль пьет только боржом, стал угощать Бидо, которого вскоре пришлось отвезти домой. Де Голль уехал в посольство, Молотов и Гарро договаривались о спорных формулировках пакта. Гарро мне рассказал, что под утро он поехал за Бидо, который лежал с головой, обмотанной мокрым полотенцем: «Господин министр, наденьте брюки, — мы договорились, вам нужно подписать документы».

В 1942 году все было просто и ясно. В Лондоне тогда выходила французская газета «Марсейез», издавал ее Киллиси. Он просил меня присылать статьи, что я и делал. В октябре редактор «Марсейез» ответил мне газетной статьей: «Больше года Россия почти одна несет тяжесть войны против немецкой армии. Эренбург просматривал нашу газету, несомненно искал ответа на свои обращения. Сегодня мы можем ему ответить... Французские рабочие отказываются работать в Германии. Я знаю, что меня упрекнут за сравнение упрямого отказа французского рабочего с мужеством защитника Сталинграда. Но вы, Эренбург, знаете, что нужна повседневная решимость, когда рядом плачут голодные дети, решимость для забастовок под пулеметами...»

Война рождает то, что мы называли «чувством локтя». У меня в гостинице «Москва», на Кропоткинской набережной у генерала Пети, во французском посольстве собирались люди, которых трудно назвать единомышленниками, — Морис Торез, Гарро, Жан Ришар Блок, генерал Пети, советник посольства Шмитлейн, Шампенуа, Горс, Катала. Мы дружески беседовали. В 1944 году я привез из Вильнюса несколько бутылок старого бургундского — мне их дали танкисты, разочарованно говоря: «Илья пишет крепко, а любит квас...» На бутылках значилось по-немецки: «Только для вермахта. Продажа запрещена». Я позвал к себе московских французов. Гарро чокался с Торезом «за победу»; вино мы пили с особенным удовольствием — оно ведь предназначалось для немецких офицеров.

В конце 1942 года, в очень тяжелые дни, в Советский Союз приехала первая группа французских летчиков — эскадрилья «Нормандия». Французов поместили возле Иванова, там они должны были освоить наши истребители. Я поехал к ним вместе с Шампенуа; мы повезли подарок — патефон и пластинки. Приехали мы как раз к сочельнику, который во Франции празднуют все, как у нас Новый год. По случаю праздника освободили из-под ареста одного провинившегося. Его история нас развеселила: в ивановском цирке девушка сунула французскому летчику записку — назначала свидание. «Нормандия» стояла в десяти километрах от города. Кругом были сугробы. Французы, не привыкшие к таким зимам, зябли. Но летчик, получивший записку, решил попытать счастья и добраться до девушки по указанному ею адресу. Он сбился, потонул в сугробах, его вытащили, и комендант эскадрильи посадил его на семь суток под арест. Освобожденный весело

говорил: «Все равно я ее найду...» Французам устроили пышный ужин. Все выпили, расчувствовались и начали петь хором фривольные песни. Мотив был печален, и одна из подавальщиц мне шепнула: «Молятся... Убьют их, да еще на чужбине...»

Действительно, из первой группы летчиков, прибывшей еще до Сталинградской победы, мало кто уцелел. Погиб майор Тюлян, маленький, веселый, которого летчики дружески звали «Тютю». Генерал Захаров после гибели капитана Литтольфа, командира эскадрильи, настаивал, чтоб Тюлян не рисковал собой: «Вы — командир, не имеете права...» Но Тюлян погиб летом 1943 года под Орлом. Погиб замечательный человек Лефевр, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Возле Витебска весной 1944 года его самолет загорелся. Обожженный, он был доставлен в Москву. Помню, в военном госпитале в Сокольниках врач хмуро говорил: «Положение очень тяжелое»... Мы его похоронили на Немецком кладбище (по странной иронии судьбы, рядом была братская могила французов, погибших при походе Наполеона на Россию). Санитарка плакала. Погибли капитан Литтольф, лейтенанты Тедеско, Дервилль, де Сейн, Дени, Жуар, Дюран, Фуко, много других. Два Героя Советского Союза уцелели: Альбер, в прошлом рабочий завода Рено, и аристократ — виконт де ла Пуап. (Один из его предков был генералом Французской революции, сражался против шуанов, а потом в Италии против Суворова.) «Нормандия» стала «Нормандия — Неман», на ее боевом счету было триста сбитых самолетов. В нашем небе сражались девяносто пять французских летчиков, из них в живых осталось тридцать шесть...

Я навещал летчиков «Нормандии» возле Орла, потом около Минска; встречал их в Москве, в Туле, в Париже, и мне хочется сказать, что они были хорошими товарищами, не унывали, легко приспособились к жизни на чужбине. Наши летчики, механики, переводчики их полюбили. Могу ли я забыть, как лейтенант де Сейн погиб, потому что не хотел спастись и оставить советского механика? Могу ли позабыть, как советские бойцы спасли в заливе Фришгафф лейтенанта де Жоффра? Тогда о дружбе народов говорили не на конференциях... Кровь оказалась вязкой.

Двадцать второго августа 1944 года, вернувшись с фронта в Москву, я прочитал в редакции сообщения о восстании в Париже. Рано утром мне позвонил Гарро:

«Париж победил...» Я пошел во французское посольство. Там были генерал Пети, Гарро, Шампенуа, сотрудники посольства, несколько старых женщин. Маленький патефон беспрерывно исполнял «Марсельезу». Мы от волнения ничего не могли сказать. У Жана Ришара Блока в глазах были слезы. Потом мы пили: за Францию, за Красную Армию, за партизан, за Парижский комитет освобождения. Я спросил Гарро, кто это полковник Роль, — в одной из телеграмм говорилось, что он руководил уличными боями. Гарро восхищенно ответил: «Кажется, это не настоящая фамилия. Я слышал, что он рабочий, коммунист. Во всяком случае, он герой!»

Правительство де Голля наградило меня крестом офицера Почетного легиона. Новый посол генерал Катру торжественно прикрепил крест к моей груди, обнял меня и сказал, что Франция никогда не забудет тех, кто остался ей верен в черные годы.

Летом 1946 года я был в Париже, там устроили торжественный вечер. Зал Плейель (тот самый, где три года спустя собрался Первый конгресс сторонников мира) был переполнен. В президиуме сидели Эдуар Эррио, Ланжевен, Торез, генерал Пети. Ждали председателя Совета министров Бидо. Он опаздывал, публика нервничала, и вечер начали без него. Когда я выступал, в зал вошел Бидо, сопровождаемый двумя «фликами» (так зовут французы полицейских в форме или в гражданской одежде). Председатель прислал мне записку. Бидо хочет сразу выступить — он торопится. Я шел от микрофона к столу, а Бидо шел мне навстречу. Он хотел со мной поздороваться, но зашатался; я его вовремя поддержал; в зале, наверно, думали, что мы обнимаемся... Все же он произнес речь, восхвалял меня...

Весной 1950 года, когда Бидо снова возглавил правительство, мне нужно было поехать из Брюсселя в Женеву, я попросил у французов транзитную визу. Мне отказали. На парижском аэродроме пришлось менять самолет. «Флик» зорко глядел, чтоб я не улизнул, проводил меня на борт швейцарского самолета; видимо, ему показалось, что я иду недостаточно быстро, и он меня подтолкнул, как будто я не офицер Почетного легиона, а воришка, которого ведут в каталажку.

Вот я дошел и до наших дней. Как известно, генералы бывшего рейхсвера на французской земле обучают военной науке детей тех самых солдат, которых я видел в Париже, захваченном немцами. (Гарро когда-то мечтал, что

всех генералов Гитлера повесят; говорят, он теперь изменился; я его не встречал.) Недавно возле Реймса состоялся парад — французские солдаты маршировали рядом с немецкими.

Когда я был мальчиком, танцевали кадриль — джаза еще не было; в этом танце много фигур, и время от времени кто-то восклицал: «Кавалеры меняют дам!» В моей жизни мне пришлось увидеть достаточно фигур кровавой кадрили. В 1912 году русские газеты писали о единстве славян, об освободительной войне против тиранической Турции. Сербы, болгары и греки разбили турок, подписали мирный договор, а месяц спустя недавние союзники подрались между собой; началась война между Болгарией — с одной стороны, Сербией и Грецией — с другой. Турция, в свою очередь, напала на болгар. Я тогда был молод и удивлялся. Потом я ко всему привык. В 1915 году Италия, входившая в Тройственный союз, начала войну против своих вчерашних союзников. Французские газеты восхищались пылом Д'Аннунцио и Муссолини. За Италией на четверть века укрспилось прозвище «латинская сестра». В 1940 году «сестра» напала на Францию. Все это непонятно или слишком хорошо понятно.

Почему же телеграмма о франко-немецком параде меня обидела? Ведь я знаю, что дипломатия и мораль не состоят в родстве. На обыкновенного человека неизменно производят впечатление, казалось бы, несущественные детали; я об этом упоминал, рассказывая об одной злополучной телеграмме, посланной в декабре 1939 года Риббентропу. Я вспомнил Реймс в годы первой мировой войны, искалеченный собор, школу в винном погребе; вспомнил рассказы о партизане, уроженце Реймса, расстрелянном в 1943 году; и мне стало не по себе. Может быть, это наивно, но мне кажется, что у мертвых есть свои права, что кровь не вино на политическом банкете, что совесть не всегда в ладу с расчетом и что азбуку морали куда труднее изменить, чем направление внешней политики.

Конечно, мои чувства к Франции не могли перемениться от зигзагов того или иного французского правительства. В одном моем стихотворении есть такие строки:

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью, и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнешь из жизни.
А жил я там, где, сер и сед,
Подобен каменному бору,

И голубой и в пепле лет,
Стоит, шумит великий город...
Прости, что жил я в том лесу,
Что все я пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

В другом стихотворении имеется горькое признание:

Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?

Но это сказано в сердцах — я не мог, да и не могу относиться к Франции как к чужой мне стране; слишком долго прожил в Париже, слишком многому там научился. В моих рассуждениях я часто несправедлив, и читатель это легко поймет.

Недавно пионеры Орла написали мне, что обнаружили в области могилы двух французских летчиков. Я вспомнил веселых и смелых французов, наполнивших смехом, песнями, арго Бельвилля или Менильмонтана березовый лесок, где летом 1943 года располагалась эскадрилья.

Я знаю, что забвение — закон жизни, это репетиция смерти. Обидно другое — как под влиянием событий невольно деформируются человеческие взаимоотношения. Говоря это, я думаю о некоторых людях, которых считал друзьями. Кажется, будто идешь сам по себе, а это иллюзия: шагаешь, и командует взводный, которого в торжественные минуты именуют «временем» или «историей»: «Налево! Направо! Поворот кругом! Шагом марш!» Потом остается вежливо отмечать: с таким-то больше не встречался, наши пути разошлись...

9

После долгой и суровой войны все радовались весне. Мы нежились на солнце и гадали, что нам сулит лето. Вспоминаю Думиничи. До войны там был завод, на котором изготовляли ванны. Городок сожгли. Среди щебня на солнце сверкали ванны — все, что оставалось от Думиничей. Немолодой сержант с седой щетиной на щеках лениво философствовал: «Санитария! А ему, гаду, что? Ему лишь бы поломать... Сходил бы я сейчас в баньку! Только, я думаю, этому конца не будет, наверно, еще год провоюем. Говорят, у нас теперь танки замечательные. Вот вы напишите, да покрепче. Люди очень переживают... Вчера по-

литрук говорил: «Да если он, нахал, сунется, мы его так тряхнем, что он свою фрау не узнает». А кто его знает, что он еще придумал? Очень людей жалко. У нас Осипова, паразит, убил. В газете про него было... Вы мне объясните, почему он, гад, людей убивает?..»

В Сухиничах я познакомился с генералом Рокоссовским. После битвы под Москвой его имя все выделяли; да и внешность у него была привлекательная. Кажется, он был самым учтивым генералом из всех, которых я когда-либо встречал. Я знал, что жизнь его была нелегкой. Поэтесса О. Ф. Берггольц мне рассказывала, что, когда ее арестовали, в соседней камере сидел Рокоссовский. В Сухиничах он был ранен, осколок снаряда задел печень. Рокоссовский ничего почти не мог есть, езда в машине, резкие движения причиняли ему боль; об этом мало кто догадывался — Константин Константинович отличался редкостным самообладанием. Разумеется, я спросил его, что будет дальше. Он спокойно ответил, что напрасно немцы все валят на русскую зиму, зима их, скорее, выручила — приостановила наше наступление. Может быть, он это говорил, чтобы приободрить других, может быть, так думал, — если шахматист не знает замыслов партнера, то фигуры на доске он все-таки видит, а командиру приходится основываться на данных разведки, иногда не соответствующих действительности.

Два месяца спустя я слышал от военных: «Зря мы силы разбрасывали — Юхнов, Сухиничи... А к обороне не приготовились». У меня нет здесь своего мнения. В математике трудно разобраться, нужна подготовка, но если поймешь, то ясно, что это именно так, а не иначе. Другое дело история — любое событие можно истолковать по-разному. Музу геометрии и астрономии Уранию художники изображали с циркулем, а музу истории Клио с рукописью и пером. В сборнике русских пословиц, собранных Далем сто лет назад, несколько страниц посвящены искусству вымысла; есть там и такая поговорка: «Черт ли писал, что Захар комиссар».

Восемнадцатого мая в сводке говорилось о наших больших успехах на Харьковском направлении. Я сидел, писал статью, когда пришел полковник Карпов и, загадочно усмехаясь, сказал: «О Харьковском направлении не пишите — есть указания...» Неделю спустя немцы сообщили, что на юг от Харькова окружены три советские армии. 5 июня мне позвонил Щербаков: «Пишите за границу о втором фронте»... Молотов вылетел в Лондон. 10 июня немцы начали крупное наступление на Южном фронте.

Началось горькое лето 1942 года. В сводках появились новые названия фронтов: Воронежский, Донской, Сталинградский, Закавказский. Страшно было подумать, что бюргер из Дюссельдорфа прогуливается по Пятигорску, что марбургские бурши дивятся пескам Калмыкии. Все казалось неправдоподобным.

Я сидел и писал, писал ежедневно в «Красную звезду», писал для «Правды», для ПУРа, в английские и американские газеты. Я хотел поехать на фронт, редакция меня не отпускала.

В газету приходили военные, рассказывали об отступлении. Помню полковника, который угрюмо повторял: «Такого драпа еще не было...»

Отступление казалось более страшным, чем год назад: тогда можно было объяснить происходящее внезапностью нападения. Офицеры, политработники, красноармейцы слали мне письма, полные тревоги и раздумий. Не про все я тогда знал, да и не про все из того, что знал, мог написать; все же мне удалось летом 1942 года сказать долю правды — никогда не напечатали бы такие признания ни за три года до этого, ни три года спустя. Вот отрывок из статьи в «Правде»: «Помню, несколько лет назад я зашел в одно учреждение и ушибся о стол. Секретарь меня успокоил: «Об этот стол все расшибаются». Я спросил: «Почему не переставите?» Он ответил: «Заведующий не распорядился. Переставлю — вдруг с меня спросят: «Почему это ты придумал, что это означает?» Стоит и стоит — так спокойней...» У нас у всех синяки от этого символического стола, от косности, перестраховки, равнодушия». А вот из статьи в «Красной звезде»: «Кто сейчас расскажет, как люди думают на переднем крае — напряженно, лихорадочно, настойчиво. Они думают о настоящем и прошлом. Они думают, почему не удалась вчерашняя операция, и о том, почему в десятилетке их многому не научили. Они думают о будущем, о той чудесной жизни, которую построят победители... Война — большое испытание и для народов и для людей. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено... По-другому люди будут и трудиться и жить. Мы приобрели на войне инициативу, дисциплину и внутреннюю свободу...»

На фронте было много бестолочи и много потрясавшего меня героизма. Немцы приближались к Сталинграду, а Красная Армия приближалась к победе, но мы тогда этого не знали. Меня, как и всех моих соотечественников, в то лето поддерживало ожесточение.

Москва была одновременно и глубоким тылом, и наблюдательным пунктом на переднем крае. Немцы сидели по-прежнему в Гжатске, но на этом участке они атаковать не пытались, и Москва не знала лихорадки минувшей осени. Какой-то шутник сочинил стишки:

Жил-был у бабушки серенький козлик.
Сказка-то сказкой, а немцы-то возле...

На улицах было много народу, стояли очереди, шли переполненные трамваи. Люди хмурились, молчали. Все знали, что немцы захватили пшеницу Кубани, нефть Майкопа, хотят отрезать Москву от Урала, Сибири. В газетах появилось старое предупреждение французских якобинцев: «Отечество в опасности!»

У меня сохранилась записная книжка того лета; записи коротки и несвязны — даты событий, чьи-то фразы, лоскутки жизни.

Из Керчи приехал Сельвинский, говорил: «Бойцы научились, генералы нет», — рассказывал о панике, о немецких зверствах — загнали в катакомбы сначала евреев, потом военнопленных. Темин привез из Севастополя фотографии — агония города: развалины, памятник Ленину, убитые дети, матрос в окровавленной тельняшке. Пришло сообщение о смерти Петрова. Я пошел к Катаеву, у него был Ставский. Мы сидели и молчали.

Я спросил английского посла Керра, когда же откроют второй фронт. Вместо ответа он начал меня допрашивать, какой формы трубка Сталина, — он хочет привезти ему из Лондона самую лучшую трубку. Я сказал, что не знаю, какую трубку курит Сталин, я с ним не встречаюсь, да это и не важно — пора открыть второй фронт. Керр деликатно улыбнулся и замолк.

Я сидел в своем номере, когда в коридоре раздались крики. Я выбежал в коридор и узнал, что с верхнего этажа в пролет лестницы упал поэт Янка Купала.

Прибежал в возмущении корреспондент Юнайтед Пресс Шапиро — цензура ему вычеркнула фразу: «от Воронежа до Дона восемь километров».

Женщина продавала картошку — сорок пять рублей за килограмм. Ее убили. Кусочек сахара стоил десять рублей. В Москве жила француженка Аннет, вышедшая замуж за советского архитектора. У нее был грудной ребенок. Муж был далеко. Однажды она позвонила и, задыхаясь от волнения, сообщила: «Ванечка приехал, привез бутылку масла...»

Двадцать шестого июля был книжный базар. Писатели надписывали свои книги. Одна женщина запротестовала: «Почему вы ему поставили дату, а мне нет?» Никто не улыбнулся.

А. Н. Толстой пыхтел в трубку, говорил: «Немцев все-таки расколотят. А что будет после войны? Люди теперь не те...»

Двадцать девятого июля был опубликован указ об учреждении новых орденов — Суворова, Кутузова, Александра Невского. В тот же день по ротам читали приказ Сталина; в нем шла речь не об орденах, а об оставлении без приказа Ростова и Новочеркасска, о беспорядке, панике; так дальше продолжаться не может, время опомниться: «Ни шагу назад!..» Никогда прежде Сталин не говорил с такой откровенностью, и впечатление было огромное. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» сказал мне: «Отец обращается к детям и говорит: «Мы разорены, мы должны теперь жить по-другому...» Слово «отец» он произнес без иронии и без восхищения — как справку.

Немцы, однако, продолжали идти вперед к Северному Кавказу.

Приехал генерал Говоров, рассказал, что был у Сталина, настаивал на эвакуации гражданского населения из Ленинграда.

В редакции я прочитал, что футурист Маринетти отправился в Россию — хочет посмотреть, как фашисты перевоспитывают мужиков. Я вспомнил давние стихи Маринетти: «Мое сердце из красного сахара».

Я получил дневник секретаря полевой полиции 626-й группы Фридриха Шмидта. Вот его запись от 25 февраля: «Коммунистка Екатерина Скороедова за несколько дней до атаки русских на Буденовку знала об этом. Она отрицательно отзывалась о русских, которые с нами сотрудничают. Ее расстреляли в 12.00... Старик Савелий Петрович Степаненко и его жена из Самсоновки были также расстреляны... Уничтожен также четырехлетний ребенок любовницы Горавилина. Около 16.00 ко мне привели четырех восемнадцатилетних девушек, которые перешли по льду из Ейска. Нагайка их сделала более послушными. Все четверо студентки и красотки...» Я напечатал дневник и получил письмо старшины из Буденовки, который знал расстрелянных. Фридрих Шмидт признавался в дневнике: «Я не могу больше есть...» Трудно было жить, зная, что такие люди под боком.

Мне прислали «Народный календарь, спутник сельского хозяйства», его издали на русском языке немцы для захваченных областей. Каждый день тогда я прочитывал страшные документы — о зверствах, садизме, о стремлении фашистов не только разорить, но и унизить наш народ. Что по сравнению с приказами Гитлера какой-то дурацкий календарь. Но так порой бывает — возмущает деталь; я разозлился, выписал «памятные даты»: «Январь. 12-е — рождение Геринга и Розенберга, 29-е — рождение Чехова. Февраль. 10-е — смерть Пушкина, 23-е — смерть Хорста Веселя, 24-е — годовщина провозглашения Гитлером программы национал-социалистической партии, 26-е — смерть Шевченки» и так далее. Я вдруг припоминал и ругался: «Геринг и Чехов! Хорошо!..»

Пятнадцатого августа было собрание писателей.

А. А. Фадеев говорил, что время трудное, нужно подтянуться, не скулить и не пить. В тот день немцы заняли Элисту.

Казах Аскар Лехеров писал мне с фронта: «Что такое жизнь? Это очень большой вопрос. Потому что каждый хочет жить, но смерть раз в жизни неизбежна. А тогда надо умереть как герой...»

Немцы дошли до Моздока. Каждый день кто-нибудь из моих знакомых получал извещение о гибели отца, сына, мужа. Я несколько раз ездил на фронт. Дороги чинили измученные женщины. На заводах работали дети и в перерывах затевали игры. Все мешалось — геройство и оцепенение, духовный рост и жестокий быт.

С начала немецкого наступления все гадали, когда же союзники откроют второй фронт. Уманский мне говорил: «Не рассчитывайте — никакого второго фронта не будет...» Я писал резкие статьи в «Ньюс кроникл», «Ивнинг стандарт», «Дейли геральд», говорил, что думают наши о бездействии союзников. Газеты печатали статьи, даже благодарили меня, но ничего, конечно, не менялось. Правда, член парламента консерватор Дэвисон, обратившись с запросом к министру информации, сослался на одну из моих корреспонденций, но английские министры, даже информации, в совершенстве обладают искусством оставлять неуместные вопросы без ответа.

Я часто встречался с иностранными корреспондентами. Леланд Стоу был оптимистом, говорил: «Скоро будет десант во Франции или в Голландии», — оптимизм у него был прирожденным, как у Е. П. Петрова, который, уезжая в Севастополь, сказал мне: «Наверно, второй фронт откро-

ют через неделю-другую...» Хиндус и Верт, напротив, были скептиками. Об иностранных корреспондентах я расскажу позднее, помню несколько смешных историй, а в то лето нам было не до смеха... И если мы порой смеялись, то невесело: открывая американские консервы, именовавшиеся «тушенкой», фронтовики злобно приговаривали: «Ну, откроем-ка второй фронт»...

В Лондоне и Нью-Йорке были грандиозные митинги: простые люди требовали второго фронта. 12 августа в Москву приехал Черчилль. Мы волновались: договорятся или нет? Прибежал Шапиро: «Гарриман недоволен результатами». Я рассказал об этом Уманскому. Константин Александрович усмехнулся: «А кто доволен? Разве что Петен?» Коммюнике было туманным.

Только Черчилль уехал, как пришло сообщение о высадке англичан в Дьеппе. Люди на улицах собирались, радостно обсуждали: «Теперь немцы скиснут!..» Меня спрашивали, где Дьепп. Я был настроен скорее скептически, но вечером в редакции все говорили, что это начало больших операций, Сталин убедил Черчилля, немцам придется сразу убрать несколько дивизий с нашего фронта. Ортенберг позвонил Молотову: нужно ли посвятить высадке в Дьеппе передовицу.

Иллюзии длились недолго: десант в Дьеппе оказался небольшим рейдом. (До войны на воскресенье в Дьепп приезжало очень много англичан — уик-энд, дешевая экскурсия.) Может быть, английское правительство захотело несколько успокоить общественное мнение? В редакции Моран декламировал стихи Полежаева:

Британский лорд
Свободой горд,
Упрям и тверд,
Как патриот.
Он любит честь —
Он любит есть
И после сесть
На пароход...

Не знаю, как отнеслись к экскурсии в Дьепп рядовые англичане, но у нас люди возмущались — им казалось, что их обманули. На войне исчезают многие хорошие чувства; часто я ловил себя на том, что огрубел. Но одно высокое чувство, связанное с самоотверженностью, расцветает именно в военные годы; в газетах его называли «боевой выручкой». Постепенно на нас переставали действовать рассказы о снайпере, у которого на боевом сче-

ту полсотни немцев, или о пехотинце, уничтожившем «бутылками» пять танков, — можно приглядеться и к отваге. Но одно неизменно волновало и меня и людей, с которыми я встречался, — самопожертвование, смерть солдата, решившего спасти товарища и принявшего на себя удар. К этому нельзя привыкнуть — каждый раз это потрясает, кажется чудом, и, как бы ни было трудно, начинаешь снова доверять жизни.

Есть дипломатия, она доступна специалистам. Есть то, что называется внешней политикой, — она может быть понятной всем, но, будучи связанной с расчетом, со стратегией или тактикой, она апеллирует к разуму. Есть и нечто другое — совесть. Ее опасно оскорбить. Поскольку я рассказываю о пережитом, я не могу умолчать о том, что мы пережили в то окаянное лето. Конечно, я понимаю, почему союзники начали военные операции летом 1944 года, а не 1942. Уилки, а позднее Иден говорили мне, что к десанту они не были достаточно подготовлены и не хотели «лишних жертв». Армия Гитлера, по их мнению, должна была сноситься на нашем фронте. «Лишние жертвы» достались нам. Понять подобный расчет можно — не такие уж это сложные выкладки, а вот забыть о происшедшем трудно — почти у каждого из нас оно связано с личным горем.

10

В сентябре генерал Ортенберг разрешил мне поехать ко Ржеву, где начиная с августа шли ожесточенные бои. В истории войны об этих боях говорится: «Наступательные действия в районе Ржева, угрожавшие немецкому плацдарму группы «Центр», находившейся под командой генерал-полковника Моделя, и сковывавшие крупные силы противника, тем самым содействовали обороне Сталинграда». В летописи многих советских семей Ржев связан с потерей близкого человека — бои были очень кровопролитными. Мне не удалось побывать у Сталинграда, и о битве на Волге я знаю только по очеркам Гроссмана, по роману Некрасова да по рассказам друзей. Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок.

Зарядили дожди; вопреки утверждению редактора «Правды», они казались желтыми, даже рыжими. Что может быть тоскливее в осеннюю пору, чем тверские болота с грязным небом, с пестрой лихорадочной листвой, с засасывающей хлябью дорог! Машины буксовали, и с отчаянными криками «раз» их пытались столкнуть с места. Кое-где дорога была устлана срубленными деревьями, и замызганные «виллисы» подпрыгивали, как раненые птицы. Ехали ко Ржеву долго. Вместо Торжка, Старицы, сожженных немецкой авиацией, чернели обугленные корпуса пустых домов. В деревнях женщины копали картошку и сжимали картофелины, как камешки золотоносной породы.

С одного из бугров можно было разглядеть Ржев; от него мало что оставалось, хотя издали он казался обыкновенным живым городом. Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев; все время я видел два жилых корпуса — тот, что повыше, солдаты называли «полковником», второй — «подполковником». Часть пригородного лесочка была полем боя; изуродованные снарядами и минами деревья казались кольями, натыканными в беспорядке. Земля была изрезана окопами; как волдыри, взбухали блиндажи. Одна воронка переходила в другую.

Узбеки в маскировочных халатах, высокие, красивые, казались актерами загадочной феерии, а роспись халатов напоминала абстрактную живопись.

В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа, бои шли за крохотный клочок земли, поросший колючей проволокой, нафаршированный осколками снарядов, битым стеклом, жестянками из-под консервов, калом. Несколько раз я слышал немецкие песни, отдельные слова — враги копошились рядом в таких же окопах. Глушили басы орудий, неистовствовали минометы, а потом вдруг в тишине двух-трех минут слышалась дробь пулеметов.

Люди жили в такой тесной близости не только с немцами, но и со смертью, что ничего больше не замечали; создался быт — толки о том, когда же начнут выдавать сто граммов, обсуждение, за что получила медаль Варя, перекочевавшая в землянку командира батальона. При робком свете коптилок солдаты ругались, писали письма домой, искали вшей (их называли «автоматчиками»), заводили длинные разговоры о том, что будет, когда кончится война. О смерти никто не хотел говорить — предпочитали вспоминать или загадывать. Когда взвивались

ракеты, кто-нибудь спокойно ругался: «Развесил, гад! Сейчас начнет...» Два часа спустя другой сплевывал: «Вот паразит! Это он пикирует...» В штабе раздавали ордена награжденным, составляли списки пропавших без вести. В санбатах переливали кровь, отрезали руки, ноги; санитар жаловался: «И часа поспать не дают...» Связистки, эти неизменные героини всех военных рассказов, Маруси, Кати, Наташи, повторяли: «Ока, дай мне Звезду». По наивной конспирации полки, батальоны именовались в телефонных разговорах «хозяйствами». Командир кричал Оле или Вере: «Да что вы, вашу мать, мешаете!..» Девушки вспоминали выпускной вечер, первую любовь — почти все, которых я встречал, на фронт пришли сразу со школьной скамьи; они часто пугливо ежились — слишком много кругом мужчин с жадными глазами. В редакции дивизионной газеты майор диктовал: «Подвиг старшины Кузьмичева. По заданию командования...» Потом он делился новостями с приятелем — инструктором по партучету: «Говорят, Мехлиса снимут, вот это будет номер!..»

За всем этим было, однако, не безразличие, не мелочность будней, а ожесточение. Войне шел второй год, и она давно перестала казаться внезапной катастрофой, она возмужала, и, хотя все знали, что на юге происходят страшные события, что немцы дошли до Волги, жила уверенность, что война надолго, что одним суждено погибнуть, может быть, через год, может быть, через час, а те, что чудом уцелеют, увидят победу. Каждому казалось, что он-то обязательно выживет, и каждый суеверно старался об этом не только не говорить, но и не думать.

Порой все как-то притихало; порой бои разгорались. Полковнику Гавалевскому удалось прогнать противника с северного берега Волги. В течение восьми месяцев немцы укрепляли свои позиции, хорошо оборудовали минные поля. Младший лейтенант Рашевский повел роту в атаку до срока, нарушил приказ. В этой роте были бойцы разных национальностей — русские, узбеки, татары, евреи, башкиры. Рашевский был ранен, но остался в строю. Татарин Ибрагим Багаутдинов говорил: «Маленько их пощекотали...» У колхозника Шумского в оккупированной немцами деревне остались родители, жена, сестры. «Стариков жалко, — повторял он, — вот где у меня скребет...» У него было мягкое русское лицо, с расплывчатыми чертами, а чувствовалось, что его изводит тоска, он тихо повторял: «Бить их!..»

Помню бледное лицо Даниила Алексеевича Прыткова, в прошлом уральского сталевара. Он воевал исступленно. Я узнал, что у него на Урале старая мать и что немцы убили его товарища. Прытков полз ночью к немецким позициям и возвращался с трофеями — приносил автоматы, снайперские винтовки. Он говорил подполковнику Самосенко: «Товарищ начальник, дайте мне отечественный автомат! У меня немецких шестнадцать штук было — роздал, противно мне из них стрелять...» Подполковник говорил: «Да ты отдохни денек...» Прытков отказывался: «А кто наступать будет?..» Он жил одним. После контузии он стал плохо слышать, прикладывал к уху ручные часы: «Оглох!.. Ничего — там услышу!..» (Где «там» — я так и не понял.) Он повторял: «Гады!.. Гады!..» А глаза горели, шевелились губы, чувствовался душевный подъем.

Солдат Илья Горев мне сказал: «От них сердце сохнет...» И впрямь, когда я теперь думаю о наших чувствах того времени, я вижу: мы жили в такой ненависти к фашистам, в такой тоске и тревоге, что можно было сравнить сердце каждого с землей в засуху, растрескавшейся, горячей, выжженной. Лето 1942 года...

Старшина Беляков был немолодым тихим колхозником. Он со мной разговорился, жаловался, что жене трудно — трое детей, она болезненная, колхоз бедный, и до войны жили плохо, а теперь еще хуже. Пока другие шутили, спорили, делились венными новостями, он сидел молча, иногда закуривал и долго кашлял, только раз вышел из себя, когда ему рассказала женщина, что немцы, уходя, пристрелили корову: «Совести у них нет! Что солдат, что ребенок — для них все одно. Да таких убить мало. А что с ними делать?..» Он замолк, насыпал самосада в клочок газеты (читать не любил) и тихо добавил: «Вот, говорили, магазины у них хорошие, товаров много. А вы объясните, душа у такого есть?..»

Над Мишей Савченко все посмеивались, он писал стихи о любви и посвящал их различным особам — то Светлане, то Леночке. Я записал рассмешившие меня строки:

На фронте нет ни розы, ни Пегаса,
Но фриц наставил много всюду мин.
А я до наступательного часа
С тобой, любовь! С тобой влечу в Берлин!

Он обижался, что ни одно из его произведений не было напечатано в дивизионной газете: «Там признают одни шаблоны. Напиши я про гвардейскую честь, сейчас же

тиснут...» И вот этот Миша, когда немцы атаковали, подбил танк. Генерал Чанчибадзе вручил ему Красную Звезду, обнял. Миша подымал и без того высоко расположенные тоненькие брови: «А что я, дам танку дорогу?..» Он посвятил стихи об ордене связистке Груше, но их не напечатали.

Еще я вспомнил маленького еврея-парикмахера, кажется, его звали Фегелем, имя в записной книжке стерлось. В отличие от других парикмахеров, он стриг и брил молча. Никто не понимал, как он пошел за «языком» и дотащил на себе рослого немца; да и он не умел объяснить: «Скучно стало. Ну, и вспомнил разное...» Я не стал допытываться, что он вспомнил; наверно, у него остались в оккупации близкие — он был минчанином. Я только спросил: «Страшно вам было?» Он пожал плечами: «Я когда полз, ничего не чувствовал. А может быть, чувствовал, но забыл. Вот теперь вспомню — и страшно...»

С американским журналистом Леландом Стоу мы были у генерала П. Г. Чанчибадзе, порывистого, веселого грузина. В ту ночь немцы вели сильный минометный огонь, а Порфирий Георгиевич, невозмутимый, произносил цветистые тосты, хотел уложить американца. Леланд Стоу — смелый человек, он был на различных войнах: в Испании, в Норвегии, в Ливии; пить он умел, но не выдержал: «Больше не могу». Тогда генерал налил себе полный стакан, а журналисту чуточку на донышке и сказал мне: «Вы ему переведите — вот так наши воюют, а так воюют американцы...» Стоу рассмеялся: «В первый раз я радуюсь, что мы плохо воюем...» На следующую ночь по дороге в штаб армии мы увидели избу, долго стучались. Наконец раздался перепуганный женский голос: «Кто там?» — «Свои». Женщина нас впустила, недоверчиво осмотрела. «Я уж думала, не хрицы ли...» (Она говорила вместо «фрицы» — «хрицы».) Услышав, что мы говорим друг с другом не по-русски, она заплакала: «Хрицы!..» Я объяснил, что со мной американец. Женщина сказала: «Чего они сидят у себя? Что нам, подыхать всем?..» Я перевел ее слова Стоу, и он отвернулся: это был не тамада... Проснулся ребенок, заплакал, и женщина его баюкала.

Под Ржевом неожиданно я встретил «испанку» — Эмму Лазаревну Вольф. Она служила в Седьмом отделе. Мы вспомнили Мадрид. Все это уже было, и нам казалось, что так всегда будет: полевой телефон, минометы, смерть. Только вот подрос ее сын; она рассказала, что он воюет у Ржева. Да еще не было на свете милого Горева, защитни-

ка Мадрида. Трудно было примириться с мыслью, что его убили свои...

«У меня был товарищ, замечательный командир, отличился в финскую войну, а его посадили за месяц до того, как немцы напали», — рассказывал мне генерал А. И. Зыгин, человек смелый и хороший. Было это в темную звездную ночь на тихом участке фронта. Мы сидели в палатке на берегу. (Алексей Иванович шутил: «Домик на Волге».) Он размышлял вслух: «Дотянем до конца, тогда все будет по-другому... А то пакости много. Вот напечатали в «Правде» пьесу «Фронт». Все правильно. Только почему поздно спохватились? Сколько невинных загубили! А подхалимов на высокие места расставили. Страха навели. Я на переднем крае не боюсь, а тогда, как все, — труса праздновал... Как по-вашему — Сталин знает хотя бы одну десятую? Я думаю, ничего он не знает, обманывали его, говорили: подготовка блестящая... Теперь-то он не может не видеть... Говорит он правильно. Но кто должен выполнять? Все те же...»

Мысли генерала Зыгина тогда разделяли многие. Мне хочется быть точным, я боюсь каждый раз, что теперешние оценки могут повлиять на изложение прошлого. Приведу отрывки из письма, написанного мне в сентябре 1942 года фронтовиком капитаном Шестопалом, оно у меня сохранилось: «У меня пропали жена, ребенок (говорю, как о вещи, «пропали» — люди в оккупированных краях пропадают хуже вещей). Мою милую голубоглазую Украину распяли паскудные немцы... Никогда я так не дрожал за судьбу своего отечества, как теперь... Только и слышишь, что отошли на новые рубежи, что враг теснит наши войска... Когда мы кончим войну, помоем руки и сядем судить, кто что сделал для того, чтобы спасти страну, вспомним тех, кого нужно вспомнить и кого следует жестоко высечь за нерадивость или жульничество. Наша печать закрывала глаза всем и себе. Возможно, она старалась учить общество на хороших примерах, а получалось, что в нашей социальной жизни ни сучка, ни задоринки. Дорого нам обходится эта дидактика! Сталин бьет в набат. Газеты не преминут сейчас же поднять шумиху, сделать из этого очередную кампанию. Успокоить себя и других прежде даже, чем кончится «историческая» кампания. Они ведь кричали: «Не забывайте мудрых исторических слов сверхгениальнейшего (это обязательно, хотя в этом меньше всего надобности) Сталина. Но наша граница на замке, ее надежно защищают верные часовые и т. д.». Это же самоубийство!.. В общем, многое мы

делали плохо и за это сейчас отдуваемся. Я думаю, что не только мы немцам мозги вставим, но и некоторым нашим. Война нас многому научит...»

Алексей Иванович Зыгин погиб в 1943 году. Не знаю, дожил ли капитан М. Шестопал до наших дней. Да и о многих других мне ничего не известно. Я писал в те годы:

Слов мы боимся, и все же прощай!
Если судьба нас сведет невзначай,
Может, не сразу узнаю я, кто
Серый прохожий в дорожном пальто...
Странно устроен любой человек:
Страстно клянется, что любит навек,
И забывает, когда и кому...
Но не изменит и он одному:
Слову скупому, горячей руке,
Ржевскому лесу и ржевской тоске...

Маленькая разодранная записная книжка, многое стерлось, трудно разобрать свои каракули. Но вот четкая запись чужой рукой: «Передать жене Кокорина, что он жив и воюет» — и номер московского телефона. Не знаю, что стало с Кокориным, даже не помню, где его встретил, кажется, в редакции армейской газеты, а наверно, говорили мы по душам — у ржевского леса...

11

Еще осенью 1941 года я начал писать для шведской газеты «Гётеборгс хандельстиднинг», а год спустя узнал от А. М. Коллонтай, которая была нашим послом в Швеции, что некоторые мои статьи вывели из себя обычно спокойных, даже флегматичных северян. Но прежде всего мне хочется рассказать об Александре Михайловне.

Впервые я ее увидел в Париже в 1909 году, на докладе, или, как тогда говорили, на реферате. Она показалась мне красивой, одета была не так, как обычно одевались русские эмигрантки, желавшие подчеркнуть свое пренебрежение к женственности; да и говорила о том, что должно было увлечь восемнадцатилетнего юношу, — личное счастье, для которого создан человек, немыслимо без всеобщего счастья.

А познакомился я с Александрой Михайловной только двадцать лет спустя в Осло, где она была полпредом.

Хотя ей было под шестьдесят, я едва поспевал за ней, когда она взбегала на крутые скалы. Молодость сказы-

валась и в манере поспорить, и в мечтаниях — было это в 1929 году, когда еще легко было и спорить и мечтать. Меня поразила ее популярность — многие встречные с ней здоровались; мы зашли в кафе, музыканты ее узнали и стали исполнять в ее честь русские песни. Политические деятели говорили о ней с почтением, а поэты и художники в волнении ждали, что она скажет о выставке или о книге.

Александра Михайловна в беседах со мной иногда вспоминала свое прошлое. Она была дочерью генерала Домонтовича, ее мать родилась в Финляндии. Александре Михайловне было восемнадцать лет, когда она вышла замуж за инженера Коллонтая, от которого вскоре ушла: семейное благополучие не пришлось ей по душе. Она увлеклась революционными идеями, ездила за границу, стала социал-демократкой, встречалась с Лениным, Плехановым, Розой Люксембург, Лафаргами. В 1908 году царские власти привлекли ее к ответственности: нашли в ее брошюре, посвященной Финляндии, призыв к восстанию. Коллонтай пришлось уехать за границу. (Финны не забыли, что она боролась за независимость Финляндии, и это облегчило личные контакты в марте 1940 года, когда начались переговоры о мире. Я был в Сальтшебадене на даче у шведского актера Карла Герхарда; он рассказал мне, как ночью у него встретились представители финского правительства и Коллонтай. «Другой такой умницы я не встречал, — восклицал он, — обычно твердые убеждения исключают широту, терпимость, а госпожа Коллонтай обладала огромным тактом...»)

В 1914 году немцы посадили Коллонтай в тюрьму за антимилитаристические выступления. Потом она уехала в Швецию, и нейтральное, казалось бы, миролюбивое, правительство Швеции ее тоже арестовало и выслало. Коллонтай пришлось уехать в Канаду.

У Александры Михайловны хранилась статья, напечатанная в газете шведских левых социал-демократов в июле 1917 года, где говорилось, что друзья проводили товарища Коллонтай, которая уехала в Петроград, в тюрьму Керенского. Действительно, на границе ее ждал комиссар Временного правительства князь Белосельский, он сразу отправил ее в женскую каторжную тюрьму. После Октябрьской революции Коллонтай назначили наркомом государственного призрения, она создавала ясли, отвоевывала для детей молоко, подготовляла декреты об охране материнства. Проект первого советского закона о браке был напи-

сан Александрой Михайловной, в нем, конечно, не было ни «матерей-одиночек», ни «внебрачных детей». С 1922 года по 1946-й Коллонтай представляла Советский Союз в Норвегии, Мексике, Швеции.

Почему я увлекся послужным списком, биографией, казалось бы, достаточно известного политического деятеля? Шестьдесят лет Коллонтай отдала борьбе за торжество социалистического общества, а о ней мало что написано, меньше, чем о многих ничем не примечательных должностных лицах. Обидно это сказать, но у нас плохо помнят хороших людей.

Меня подкупал естественный демократизм Александры Михайловны. Она свободно, оставаясь самой собой, беседовала и с чопорным шведским королем, и с горняками. Познакомив меня с домашней работницей, она сказала: «Это мой личный секретарь». Обедали в посольстве все вместе — сотрудники, шоферы, работница. Коллонтай обладала даром воспитывать, и много молодых людей, работавших под ее руководством, обязаны ей своим духовным развитием.

В 1929 году, когда ни спорить, ни мечтать еще не возбранялось, она мне говорила о том, что нужна современная форма в искусстве, ее увлекали работы молодых норвежцев и мексиканцев, ей нравился Ван Гог. В 1933 году мы разговорились о литературе. Александра Михайловна удивлялась: «Прислали мне два новых романа. Ну зачем эти пай-мальчики? После Толстого, Достоевского, Чехова... Да так можно отучить читать».

В мае 1938 года, возвращаясь через Стокгольм из Москвы в Испанию, я нашел Александру Михайловну постаревшей, печальной. Она пригласила на обед посла республиканской Испании Паленсию, оживилась, когда Паленсия рассказывала о новых командирах, выросших в боях: «Я тоже считаю, что еще ничего не потеряно...» Потом Паленсия ушла. Александра Михайловна спросила: «Как дома?» И поспешно добавила: «Можете не отвечать — я знаю...» Когда мы расставались, она сказала: «Желаю вам сил, теперь их нужно вдвойне, не только потому, что вы скоро будете в Барселоне, а и потому, что были недавно в Москве...»

У меня сохранилось несколько писем от Александры Михайловны, которые я получил во время войны, писала она о моих статьях и мельком упоминала о себе: «Работаю я очень много, и дела большие», — такой у нее был характер.

Я бывал у Александры Михайловны в последние годы ее жизни. Она была частично парализована, но продолжа-

ла работать. С нею советовались сотрудники МИДа. Она писала мемуары для будущих историков — хотела рассказать то, что ей пришлось увидеть и пережить. Умерла она восьмидесяти лет от роду.

Теперь нужно вернуться от большого сердца к мелкой политике. Швеция, как известно, во второй мировой войне оставалась нейтральной; однако правительство разрешило Гитлеру провозить через шведскую территорию войска и боевое снаряжение. Одним шведам это нравилось, другие с этим скрепя сердце мирились, третьи возмущались.

Газета «Гётеборгс хандельстиднинг» была настроена просоюзнически и предложила мне присылать ей статьи из Москвы. Я понимал, что положение Швеции трудное, и старался писать как можно деликатнее. Все же мои статьи вызвали возмущение немцев. ДНБ (Германское информационное бюро) сообщило, что на пресс-конференции представитель министерства иностранных дел предупредил шведов, что «статьи Эренбурга в гётеборгской газете несовместимы с нейтралитетом и могут иметь для Швеции неприятные последствия».

Некоторые шведские газеты поддержали Риббентропа — «Стокгольмс тиднинген», «Гётеборгс морген», «Афтонбладет» и другие. Особенно образно выражалась «Дагспостен»: «Эренбург побил все рекорды интеллектуального садизма. Незачем критиковать эту свинскую ложь и доказывать, что Эренбург пытается приписать немцам то, что обычно совершают красноармейцы».

Господин Тегнер, редактор распространенной спортивной газеты «Идроттсбладет», бушевал, как будто он на матче футбола. Мои статьи, по словам различных болельщиков Гитлера, были связаны с потоплением в Балтийском море шведских судов, с замыслами русских захватить Стокгольм и с другими ужасающими вещами.

Статьи, которые печатала гётеборгская газета, попадали в нелегальную печать Норвегии и Дании. Это, разумеется, раздражало немцев, и «Франкфуртер цейтунг» писала, что «все разумные шведы протестуют против гостеприимства, оказываемого кровожадному московскому провокатору». Газета ссылалась на путешественника Свена Хедина, который говорил о «свирепости русского медведя» и восхвалял одного шведа, записавшегося в немецкую дивизию.

Выступил и человек, занимавший ответственный пост, начальник почты и телеграфа Андерс Эрне. Он опублико-

вал статью «Илья Эренбург в Швеции», в которой писал: «Получается попытка завоевать Швецию изнутри для включения ее в состав СССР». Это было в июле 1942 года, когда наша армия в донских степях истекала кровью.

В начале 1943 года в шведском журнале «Фольксвильян» было напечатано следующее: «Мы опубликовали комментарии Ильи Эренбурга к последней речи Гитлера. Мы опустили ряд мест, чтобы в статье не было ничего оскорбительного для главы германского государства. Статья не встретила возражений со стороны органа, контролирующего печать. Однако на следующий день состоялось заседание кабинета, который решил конфисковать все номера со статьей Эренбурга. Мы считаем это настоящим перегибом».

Редактор «Гётеборгс хандельстиднинг» профессор Сегерстедт мне сообщил, что, хотя из-за цензуры ему приходится порой делать купюры в моих статьях, он меня сердечно благодарит и рад указать, что получает много одобрительных писем от читателей газеты; А. М. Коллонтай писала мне: «Вы ведь знаете, как в Швеции вас ценят и любят...»

В Москве я иногда бывал у посла Норвегии Андворда. Он зажигал камин, угощал вином, был человеком приветливым, уютным. Мы с ним вспоминали норвежских друзей. Он знал о полемике в шведской печати и говорил мне: «Не обращайте внимания на директора почты. Он директор, и только, а письма пишут обыкновенные шведы. Это хорошие люди. Они знают о судьбе Норвегии, им больно, а иногда и стыдно...»

Пять лет спустя после конца войны я попал в Швецию. Был я и в Гётеборге, и в газете «Гётеборгс хандельстиднинг» (не было там уже профессора Сегерстедта) напечатали весьма нелюбезную заметку о сотруднике военных лет. Я не удивился: я уже задолго до этого понял, что там, где все решает политика, память — обременительный предрассудок.

Зато я встретил в Швеции людей, которые поддерживали нас в трудные годы. Я ближе познакомился с Георгом Брантингом, которого встречал в Испании, с Мэром, со многими другими. Я понял, что норвежский посол был прав: в Швеции оказалось много хороших людей. Все они с нежностью вспоминали А. М. Коллонтай.

Что же получается? Жизнь чужой страны напоминает темный театральный зал; освещают только сцену. А на сцене появляются актеры, исчезают — все зависит от

событий, от конъюнктуры, от капризного характера режиссера, которого именуют историей. Когда Гитлер подходил к Волге, когда он был в Египте и прокладывал путь к Индии, в шведском театре шла дурная постановка дурной пьесы. Вскоре ее сняли с афиши: красноармейцы развязали шведам языки. А в зале? В зале сидят рядовые зрители, они могут хлопать или свистеть, но вставлять свои реплики не в их возможностях. А когда порой они врываются на сцену, то трещат не только декорации, трещит и театр...

12

Сообщение о конце Сталинградской битвы застало меня в пути: вместе с фотокорреспондентом «Красной звезды» С. И. Лоскутовым я ехал в Касторную. Настроение у меня было приподнятое: ясно, что произошел перелом, прежде приходилось верить в победу наперекор всему, а теперь для сомнений нет места — победа обеспечена.

Морозы стояли сильные, начинался февраль с длинными метелями, с поземкой, которая хлещет лицо. А когда мы добрались до Касторной, был холодный ясный вечер. Луна обливала зеленоватым мертвым светом снежное поле, трупы, искромсанные снарядами, расплющенные танками. Мы постояли и ушли в избу.

Утром я долго бродил вокруг Касторной. Немецкие дивизии, отходившие от Воронежа, попали тут в западню, и мало кому известное село стало сразу знаменитым. Перевернутые грузовики, затерявшиеся в сугробах малолитражки, «опели», «ситроены», «фиаты», на которых когда-то молодожены ездили к морю, итальянские автобусы с вырванными боками, штабные бумаги, куски туловищ, походные кухни, голова в шлеме, бутылки шампанского, портфели, оторванные руки, пишущие машинки, пулеметы, парижская куколка-амулет с длиннющими ресницами и голая пятка, как будто проросшая сквозь снег.

Зрелище убитого поражает даже на войне — невольно задумываешься: откуда он родом, зачем пришел, кого оставил, и в этом чувстве — нечто человеческое. Но в Касторной не могла даже возникнуть мысль о судьбе отдельного солдата. На час показалось зимнее солнце, и в его свете трупы напоминали восковые фигуры паноптикума, а снежное поле с ломом, с расчлененными телами, с черными дырами — макет давно исчезнувшего мира.

Лейтенант дал мне хлебнуть коньяку. Мы сидели в темной избе, нагретой людьми. Все говорили наперебой. Лейтенант рассказывал, как за один день они прошли по снежной степи тридцать километров. «Бью и с ног валюсь — засыпаю...» Я запомнил молодого капитана Тищенко. Все перемешалось, и он оказался окруженным немцами. «Ну что тут поделаешь? Окружили-то мы их, а я гляжу — кругом фрицы... Даже не знаю, как это мне в голову пришло, наверно, с перепугу, схватил одного за руку, говорю: «Молодец, что сдаешься, гут, очень гут...» А они руки подняли...»

У меня записано: «Старшина Корявцев попал в ледяную воду. Командир роты говорил: «Иди в дом — простынешь». А старшина отвечал: «Мне и не холодно — злоба отогревает...»

У солдата Неймарка рука была перевязана. До войны он работал бухгалтером в Чернигове. Грязный, небритый — седая щетина. Он усмехался: «Говорят, «еврейское счастье», а вы посмотрите — мне действительно повезло: три пальца оторвало, а два осталось, и те, что надо, — могу продолжать. Я вам признаюсь: есть желание дойти до Чернигова...»

Я записал также длинный разговор с немецким разведчиком, офицером из штаба 13-го корпуса Отто Зинскером. Это был немолодой и неглупый человек. Вначале он мне сказал: «Я не ослеплен величием Гитлера, но я и не хочу его винить — он стоит того, чего он стоит. Ему удалось пробудить в немцах национальную гордость — это его заслуга. Плохо только, что нацисты часто мешают старым, опытным командирам... Конечно, искоренение коммунизма или ликвидация евреев входят в программу партии. Политика меня не интересует, а жалеть население противника военному человеку не приходится — война есть война. Но видите ли, насилия, грабежи способны развратить любую армию, даже немецкую. Впрочем, и это не главное...» Он замолчал и только час спустя, отогревшись, выкурив несколько сигарет, разоткровенничался: «Вы думаете, наша разведка не знала о ваших резервах? Да у генерала Штрома были не только номера ваших дивизий, но и данные о составе, о материальной части. Это старая история!.. Когда разведка сообщила о русских дивизиях возле Котельникова, дальше командующего армией это не пошло. Генерал фон Зальмут сказал, что в главной квартире не любят получать подобную информацию: опасно доложить фюреру — имя генерала окажется связанным с неприятностью. Есть, оказывается, закон ассоциаций...

Следовательно, службу информации можно переименовать: мы занимаемся скорей дезинформацией. Генерал Штром обманывает генерала фон Зальмута, тот — генерала Кейтеля, Кейтель — фюрера. Цепочка, на ней Германию тащат в пропасть...»

Мы пробирались дальше, и в Щигры попали через несколько часов после того, как в город ворвались наши части. Приехали мы поздно вечером, долго стучались в дома, никто не отвечал. Наконец нас впустили. Сергей Иванович Лоскутов устроился у симпатичных стариков, а меня провели в комнату, где жила молодая женщина с сыном лет шести или семи. Мальчик проснулся, раскапризничался, требовал варенья. Мать взяла его к себе в постель, а я спал на диванчике. При тусклом свете лампочки я разглядел хозяйку — хорошее русское лицо, печальное, усталое. Мне было неловко, что я ее испугал; я сказал, что теперь ужасы позади, она отдохнет, успокоится. Она заплакала: вот уже полтора года, как она ничего не знает о своем муже; он летчик, последнее письмо она получила в начале войны; спрашивала меня, как его разыскать, — номер полевой почты, конечно, изменился, а она даже не знает, в какой он был части. Потом я уснул и проснулся от капризного голоса мальчика, который снова вспомнил про варенье. Я наконец-то увидел предмет его вожделений — консервную банку с французской надписью. Хозяйка меня угостила завтраком, объяснила: «У нас много всего — немцы побросали, а мы вечером подобрали...» Я спросил, как держались немцы. Она сказала: «Сами знаете — разве это люди? Я, к счастью, с ними не сталкивалась. Они разместились в хороших домах, а у меня, сами видите, конура. Сюда ни один немец не приходил...» Мальчик ее перебил: «Мама, дядя Отто каждый день приходил, он со мной играл, с тобой играл». Женщина густо покраснела: «Не выдумывай глупостей!..» Мальчик упрямо повторял: «Я не придумываю. Дядя Отто обещал принести домик из шоколада...» Женщина поглядела на меня перепуганная. Я сказал: «Не бойтесь, я не расскажу», — и вышел. (Эта сцена мне запомнилась; в романе «Буря» доктор Крылов ночует в маленьком городке и слышит рассказ мальчика о «дяде Отто».)

Полковник мне сказал, что задержали предателя — «полицая». В маленькой комнате сидел человек лет тридцати пяти. Он приподнял голову и поглядел на меня тусклыми, водянистыми глазами. У него был большой кадык. Он рассказал мне, что немцы открыли в Щиграх «курсы для по-

лицейских». Там он учился. В общем, он не сделал ничего плохого. Он только написал коменданту Паулингу благодарственный адрес от выпускников. Теперь это припомнили. «Безмозглость... Я никогда не отличался практичностью...» Он начал всхлипывать: «Струсил, а теперь свои бьют...» Минуту спустя он вдруг осмелел: «Нет, вы скажите, что я сделал плохого? Почему на мне вымещают злобу? Сказали «курсы» — я и пошел. Я в свое время десятилетку кончил, мечтал дальше учиться, а не удалось. Можете людей спросить — я до войны выполнял ответственную работу, ни одного взыскания. Нужно учесть обстоятельства. Я первый радуюсь, что вернулись наши. Почему же на меня накинулись? Я не в Москве был, не моя вина, если здесь командовали немцы...»

В городке оставались деревянные домики: хорошие дома немцы, перед тем как уйти, сожгли. В городском парке я увидел немецкое кладбище — длинные вереницы крестов. Люди рассказывали о пережитом: партизаны взорвали мост, немцы тогда расстреляли пятьдесят заложников, а весной на площади повесили шесть женщин — за связь с партизанами. Когда их вели на казнь, люди плакали. Одна из женщин, увидев нарумяненную девицу, крикнула: «Стыдно быть немецкой подстилкой...» (В «Буре» я привел песенку, сложенную тогда в одном из оккупированных городов:

Вы прически сделали под немецких куколок,
Красками намазались, вертитесь юлой,
А вернутся соколы — не помогут локоны,
И пройдет с презрением парень молодой.)

Замучили братьев Русановых...

Полковник сказал, что наши быстро продвигаются к Курску, дня через два-три, наверное, освободят город. Мы поехали по указанному маршруту и в Косарже попали под сильную бомбежку, лежали на снегу; а когда встали, поле было в больших черных пятнах.

Началась сильная вьюга. Водитель ругался, каждые сто шагов останавливался, мы выходили, пытались угадать, куда ехать, — дорога исчезла. Проехали мы десять, может быть, пятнадцать километров, потом машина завязла. Начало смеркаться — было четыре часа. Еды у нас не было, мы мерзли. Мотор заглох. Одет я был, скорее, плохо: шинель, сапоги, перчатки вместо рукавиц. Настала ночь. Вначале я страдал от холода, а потом как-то сразу стало тепло, даже уютно. Сергей Иванович ругался, говорил, что,

как только рассветет, пойдет искать жилье. А водитель и я молчали. Я не спал, но дремал, и мне было удивительно хорошо; в общем, я замерзал.

Несколько раз в жизни я примерял смерть. Самое неприятное — задохнуться. Однажды мы летели в бурю через Альпы — Корнейчук, В. Л. Василевская, Фадеев и я. Маленький самолет поднялся на высоту четырех тысяч метров. Фадеев продолжал читать. Я увидел лицо Корнейчука и испугался — оно было зеленоватым. Я раскрывал рот и чувствовал, что дышать нечем. Когда проводница принесла подушку с кислородом, у меня не было сил, чтобы вдохнуть. Это было отвратительно.

А вот ночь между Косаржей и Золотухином я вспоминаю с нежностью. Чего только мне не мерещилось! Кажется, в жизни я не испытывал такого блаженства. Шофер мне потом рассказал, что он тоже замерзал и тоже видел хорошие сны. А Сергей Иванович не хотел примириться с судьбой, хотел нас спасти. Чуть рассвело, он сказал: «Иду». Я ответил, что это глупо; поглядел — он тонул в сугробах, а я снова вернулся к своим мечтаниям. Смутно помню, как подъехали сани. Меня выволокли, покрыли тулупом. Сергей Иванович улыбался.

Майор дал мне стакан водки; я выпил и не почувствовал даже, что это водка. Майор покачал головой и налил еще полстакана. Конечно, выпей я столько, да еще натощак, в обычном состоянии я лежал бы под столом; а тут мы закусили и час спустя с офицерами артиллерийского батальона, сидя над картой, обсуждали, как добраться до Курска. Нашу машину дотянули до Золотухина, а оттуда по железнодорожному пути мы отправились в Курск.

(Летом 1962-го после заседания подготовительного комитета Конгресса за разоружение, на котором представитель Кении объяснил пацифистам, что мао-мао не племя, а партия, мой сосед Н. И. Базанов, скромный и вполне миролюбивый человек, неожиданно спросил меня, помню ли я, как меня отогревали артиллеристы возле Золотухина. Я и до того встречал Николая Ивановича, но не подозревал, что это тот самый майор, который лечил меня водкой в далекое февральское утро.)

Мне передали папку, на ней значится: «О пребывании на фронте Ильи Эренбурга. В деле подшито и пронумеровано 35 листов. Начато 5 февраля 1943 года, кончено 20 февраля 1943 года». В папке — сначала телеграммы, подписанные мной и майором Лоскутовым: «Прибыли в «Топаз», выезжаем в части», «Прибыли в «Прожектор»,

«Выехали в хозяйство Черняховского». Телеграммы адресованы в «Бархат» — так называлась Москва. «Прожектор», «Закал», «Топаз», «Кадмий» — были штабами различных армий. После 6 февраля мы не подавали признаков жизни, и генерал Вадимов всполошился, он слал телеграммы начальнику политуправления Брянского фронта генералу Пигурнову, генералам Черняховскому, Пухову, корреспондентам «Красной звезды» — полковнику Крайнову и майору Смирнову, вызывал их по прямому проводу. Майор Смирнов резонно отвечал: «Очевидно, Эренбург застрял в пути, вот уже четыре дня сильная метель, дороги для проезда непригодны». Но генерал Вадимов требовал, чтобы меня немедленно разыскали, он даже всполошил Любу и успокоился, только получив телеграмму: «Прибыли Курск штаб 60 армии».

В Курске я сел за статью — впервые с начала войны в течение трех недель мое имя не появлялось в газете.

Немцы пробыли в Курске пятнадцать месяцев, там я увидел, что такое «новый порядок», о котором писали «Курские известия», выходившие при оккупантах. Я разглядывал людей то оцепеневших, то возбужденных и говоривших без умолку. Были среди них и герои, и трусы, и мещане, приспособившиеся к мародерству, к спекуляции, к стрельбе, к попойкам. Из рассказов вставала картина лихорадочной, бессвязной, да и бессмысленной жизни. В зале, где заседала городская управа, висел портрет Гитлера. Городским головой был назначен некто Смялковский; я просмотрел его доклады коменданту города генералу Марселлу; голова трусил, юлил, старался доказать, что он предан фюреру.

Открыли несколько предприятий — трикотажную фабрику, кожевенный завод, мельницу. Процветали комиссионные магазины, но душой города был базар. Там торговали сахаром, лекарствами, украденными у немцев итальянскими чулками, самогоном. Один дворник стал богатым человеком — он донес, что в подвале прячутся две старухи-еврейки, вошел в доверие гестаповцев, получил хорошую квартиру и жил припеваючи. Один врач торговал на базаре сульфазолом, выпив, он говорил: «А все-таки я не жалею, что остался. Конечно, немцы — бандиты. Но разве я мог себе представить, что можно каждый вечер пить французский коньяк и дарить девчонкам чулки?..»

Я познакомился с девушкой, бывшей студенткой пединститута, которая, расплакавшись, мне выложила все: «Я вам доверяю: я читала ваш роман про любовь, не помню

названия, какая-то француженка... Не знаю, было ли это с моей стороны любовью или просто увлеклась с тоски. Но он не приставал, только целовал руку. Он очень хорошо играл на рояле, говорил про чувства. Никогда раньше я не слыхала таких слов. Вот и растрогалась... А теперь — расплата...» Она жадно глядела на меня — искала сочувствия. Я молчал. Много лет спустя я увидел фильм «Хиросима — моя любовь»: молоденькая француженка во время оккупации влюбилась в немецкого солдата; немцев прогнали, над девушкой издеваются, бреют ей голову, она похожа на затравленного зверька. Актриса играла хорошо, и мне было жалко героиню фильма. Я долго думал о «странностях любви». Почему же не нашлось во мне жалости к молодой курянке? Все было слишком свежо. Как раз до этого я разговаривал с учительницей Козуб; ее отправили рыть рвы, и немецкий офицер бил ее по лицу. Я видел другую учительницу — Привалову, немцы убили ее сына. Я разговаривал с единственным евреем, который выжил. Он лежал в тифозной палате, и сиделки сказали немцам, что он умер. А других убили в предместье Щетники. Грудных детей ударяли головой о камень. Я чувствовал, что все во мне окаменело. Конечно, немец, в которого влюбилась студентка, мог испытывать угрызения совести, даже терзаться, кто его знает? Но мне тогда было не до «странностей любви».

Встретив студентку пединститута Зою Емельянову, которая доставляла партизанам оружие, я обрадовался ей, как живой воде; записал: «Зоя — вот комсомолка!» (Потом я иногда получал от нее письма, мы разговаривали не больше часа, а она осталась в моей памяти человеком, душевно близким.)

Я повидал и других смелых, благородных людей, но не скрою: мне было тяжело. Я знал, что население узнало всю меру страданий — нельзя сравнить порядки фашистов в оккупированных городах Франции, Голландии, Бельгии с теми, которые царили в захваченных гитлеровцами областях Советского Союза. Несмотря на расправы, люди оставались неукротимыми, и, может быть, именно поэтому приметы благополучия казались невыносимыми. Мы все дышали тоской, обидой, гневом. Вот идет модница. Откуда у нее этот свитер? Чем торговал тот румяный рыжеусый гражданин? Яичным порошком или сапогами, снятыми с повешенных? Потом я видел много освобожденных городов, видел и слезы радости, и могилы героев, и угодливые улыбочки приспособившихся. Я понял, что жизнь

при оккупации была призрачной. Молодых мужчин почти не было — они сражались в нашей армии. Непокорных убивали или отсылали на работы в Германию. «Снятое молоко не бывает густым», — сказала мне старая женщина в Орле. (Она скромно промолчала, что прятала в подвале своего домика раненого красноармейца — об этом потом мне рассказали в горсовете.) Курск я особенно хорошо запомнил потому, что он был первым освобожденным городом, который я увидел.

В Курске я познакомился с генералом И. Д. Черняховским. Он поразил меня молодостью; ему было тридцать шесть лет; порывистый, веселый, высокий, он выглядел еще моложе. При первой же беседе он показался мне непохожим на других генералов. Он рассказал, что немцы теперь жалуются на «парадоксальное положение» — «русские ударяют с запада, и мы порой вынуждены прорываться на восток». Иван Данилович говорил: «В общем, они забыли свою же теорию «клещей». Мы у них кое-чему научились...» Будучи танкистом, он, однако, говорил: «Танки кажутся теперь началом новой военной эры, а это, скорее, конец. Не знаю, откуда придут новшества, но я, скорее, верю в утопический роман Уэллса, чем в размышления де Голля, Гудериана или наших танкистов. Учишься, учишься, а потом видишь, как жизнь опрокидывает непреложные истины...» При следующей встрече он заговорил о роли случайности: «Я не знаю, какую роль сыграл насморк Наполеона во время решающей битвы. Об этом слишком много писали... Но случайного много, и оно изменяет данные. Это как с ролью личности в истории, — конечно, решает экономика, база, но при всем этом может подвернуться Наполеон, а может и не подвернуться...»

Несколько месяцев спустя, когда я его снова встретил возле Глухова, он говорил о Сталине: «Вот вам диалектика — не теория, а живой пример. Понять его невозможно. Остается верить. Никогда я не представлял себе, что вместо точных инструментов, вместо строгого анализа окажется такой клубок противоречий...»

Судя по приведенным мною словам, Черняховский должен был быть мрачным, а он был весел тем неизбывным весельем, которым одаривает природа своих любимцев. Он и в Курске смеялся, шутил. Вдруг вскочил, начал декламировать:

Нас водила молодость
В сабельный поход...

Смеялся: «Если разобраться, глупо, а совсем не глупо, умнее любого курса истории... Багрицкий, говорят, любил птиц. Но вы знаете, в Умани один старичок мне когда-то рассказывал, что царь Давид писал псалмы и кланялся лягушкам за то, что лягушки удивительно квакают — тоже поэзия...»

Мне пришлось потом беседовать о Черняховском с военными, которые его хорошо знали. Они видели его совсем другим, чем я. Видимо, с разными людьми он говорил по-разному — был сложным. На войне ему неизменно сопутствовала удача. Конечно, он блестяще знал военную науку, но для победы этого мало. Он был смелым, не ждал приказов, и в трудные минуты счастливая звезда его выручала. В начале войны он командовал танковым корпусом, а весной 1944 года его назначили командующим Третьим Белорусским фронтом. Он первый вошел в Германию. В феврале 1945 года я был в Восточной Пруссии, в городке Барнштейне. Черняховский позвонил в штаб армии, звал меня к себе: «Скорее приезжайте, дело идет к шапочному разбору...» Три дня спустя он был убит.

Других генералов я встречал потом в Верховном Совете, на приемах, на парадах. Кто умер в своей кровати, кто вышел на пенсию, кто еще служит или пишет мемуары. А Иван Данилович остался в моей памяти молодым; под аккомпанемент орудий он повторял романтические стихи или делился умными и горькими наблюдениями...

Вернусь к марту 1943 года. Наступила длительная передышка (бои на Курской дуге вспыхнули четыре месяца спустя). Газеты были заполнены списками награжденных, фотографиями новых погон и орденов, статьями о традициях гвардии, поздравительными телеграммами. По пути в Москву я заночевал в избе где-то возле Ефремова. На печи сидел солдат, разувшись, он бубнил: «Идти да идти... Ноги по колено оттопаем... А письмо я вчера получил, бог ты мой!..» Я заснул, так и не дослушав, о чем было письмо. Впрочем, кто из нас тогда не писал или не получал таких писем?..

13

С К. А. Уманским я подружился в начале 1942 года. Он жил в той же гостинице «Москва», что я, и мы встречались чуть ли не каждый день (вернее сказать, каждую ночь; я поздно приезжал из «Красной звезды» — в два, иногда в

три часа ночи. Константин Александрович в то же время возвращался из Наркоминдела: Сталин любил работать ночью, и ответственные работники знали, что он может позвонить, потребовать материалы, справку). В июне 1943 года К. А. Уманский уехал в Мексику, и больше я его не видел. Полтора года, казалось бы, небольшой срок, но время было трудное, и, хотя соль отпускали по карточкам, я могу сказать, что мы с ним съели положенный пуд.

Я сейчас задумался: почему я мало рассказываю о политических деятелях, с которыми по воле или по неволе встречался; я ведь жил в эпоху, когда политика вмешивалась в судьбу любого человека, и часто газетные сообщения волновали меня куда больше, чем книги или картины. Скорее всего, я недостаточно знал различных людей, с которыми жизнь меня сталкивала. Многое предопределяет профессия, если она не вынужденная, не случайная. Конечно, у меня есть своя стихия, свои пристрастия, свое ремесло: но по самому характеру своей работы писатели редко бывают узкими профессионалами: они должны разбираться в душевном мире различных людей. Капитан Дрейфус был ограниченным специалистом: он так и не понял, почему за него заступился «штафирка» Эмиль Золя. Для Михайловского Чехов был непонятен, а Чехов хорошо понимал народников или либералов.

С Уманским я сблизился, потому что он не походил на большинство людей его круга. Он редко говорил мне о своем прошлом — время было малоподходящим для воспоминаний. А между тем наши пути порой скрещивались, вероятно, мы встречались, но время стерло память о беглых встречах. Вряд ли дипломаты в Вашингтоне знали, что советник посольства СССР, а впоследствии посол, удивлявший всех своей молодостью и политической осведомленностью, в 1920 году написал по-немецки книгу, посвященную не Версальскому договору и не дипломатической блокаде, а живописи художников, привлекавших к себе внимание в первые годы революции, — Лентулова, Машкова, Кончаловского, Сарьяна, Розановой, Малевича, Шагала и других. Константину Александровичу тогда было восемнадцать лет. Его книгу, озаглавленную «Новое русское искусство», выпустило крупное берлинское издательство. Он увлекался конструктивизмом, и, наверное, когда я издавал с Лисицким журнал «Вещь», я встречал молодого энтузиаста. Потом Уманский много лет был корреспондентом ТАССа в различных столицах Западной Европы, и не мог я с ним не сталкиваться. Когда я начал работать в

«Известиях», он был заведующим отделом печати Наркоминдела, дружил с Кольцовым, не сомневаюсь, что я его встречал, — в Куйбышеве осенью 1941 года мне его лицо показалось знакомым.

Конечно, мы часто говорили о Рузвельте, Черчилле, об американских изоляционистах, о втором фронте, но мы говорили и о множестве других вещей. Кроме своего дела, Константин Александрович любил поэзию, музыку, живопись, все его увлекало — и симфонии Шостаковича, и концерты Рахманинова, и грибоедовская Москва, и живопись Помпеи, и первый лепет «мыслящих машин». В его номере на пятом этаже гостиницы «Москва» я встречал адмирала Исакова, писателя Е. Петрова, дипломата Штейна, актера Михоэлса, летчика Чухновского. С разными людьми он разговаривал о разном — не из вежливости: ему хотелось больше узнать, разглядеть все грани жизни.

Говорят, что эрудиция связана с памятью; теперь на Западе в моде состязания — человеку ставят публично неожиданные вопросы: в котором году родился Пипин Короткий, какие диалоги написал Платон, что такое векторное и тензорное исчисление и так далее. Редкие удачники получают большие призы, а проваливающихся провожают смехом. Люди, удачно отвечающие на все вопросы, обладают феноменальной механической памятью, но это не значит, что их можно назвать просвещенными. Память у Константина Александровича была редкостная, но запоминал он то, что его интересовало; в его голове был не каталог, а текст. Он блистательно говорил по-английски, по-немецки, по-французски; вручая верительные грамоты президенту Мексиканской республики, он сказал: «Через полгода я буду говорить по-испански», — и выполнил обещание, поражал мексиканцев безупречным испанским языком. Разумеется, знание языка нужно для дипломатической работы. (Хотя в конце сороковых годов на пост посла частенько назначали человека, который не владел языком страны, где должен был работать, очевидно считая, что чем меньше он будет говорить с иностранцами, тем лучше.) Но Уманский не только потому быстро овладевал языками, что отдавался своей работе, нет, ему хотелось свободно беседовать с Пабло Нерудой, с Жаном Ришаром Блоком, с Анной Зегерс, читать в подлиннике Поля Валери, Брехта, Мачадо.

Он ненавидел чиновный дух, а приходилось ему слишком часто им дышать, вернее, в нем задыхаться. Иногда он не выдерживал, говорил: «Снова неприятности: я предложил отступиться от шаблона — и влетело... Первая стра-

на социализма, а пуще всего боятся «новшеств», инициативы...» Он рассказывал мне, как попытался в Америке изменить характер информации, ничего не вышло. «Мы не понимаем, чем мы вправе гордиться, скрываем лучшее, заносчивы, как неуклюжие подростки, и при этом боимся — вдруг какой-нибудь шустрый иностранец пронюхает, что в Миргороде нет стиральных машин».

Об американцах он говорил: «Способные дети. Порой умиляешься, порой невыносимо... Европа разорена, американцы после победы будут командовать. Тот, кто платит музыкантам, заказывает танцы... Конечно, Гитлер не нравится рядовому американцу: зачем жечь, если можно купить? Вот его логика. А расизмом вы его не возмутите... Не судите об американской политике по Рузвельту, он на десять голов выше своей партии...»

Как-то он сказал мне: «Моего «босса» рассердило, что мне не нравятся дома на улице Горького, — должны нравиться... Удивительно не то, что они ничего не смыслят в искусстве, это, скорее, естественно: искусство не их дело. Плохо, что каждый из них считает себя знатоком».

В другой раз мы говорили о Пикассо (Константин Александрович его очень любил); он сказал: «Я как-то упомянул его имя, на меня гаркнули, он, дескать, шарлатан, издевается над капиталистами, живет за счет скандала. Почитайте стихи Шекспира секретарю обкома, который не знает английского языка, он скажет: «Галиматья, сумбур вместо поэзии». Помните слова Сталина об опере Шостаковича?.. А еще есть Жданов... Все, чего они не понимают, для них заумь. А их вкусы обязательны для всех».

Случайно у меня сохранилось несколько писем из Мехико. В одном Уманский, говоря о новом после Мексики в Москве Бассольсе, просит: «Вам стоит уделить ему время и не дать ему «скиснуть» в атмосфере московского дип-инкоровского корпуса. Не сомневаюсь, что беседы с ним на латиноамериканские, европейские и прочие темы доставят вам то же истинное удовольствие, какими они были для меня на очаровательной родине вашего Хулио Хуренито». В другом он пишет: «Посылаю вам каталог-монографию Пикассо в связи с недавней выставкой здесь его картин. Кстати, американская таможня задержала на несколько месяцев его холсты, отправленные сюда из США, считая, что они, возможно, содержат нечто вроде тайного кода».

Мне всегда казалось, что Уманский родился под счастливой звездой. Редчайший случай — человека, которому было тридцать семь лет, назначили на ответственнейший

пост посла в Соединенных Штатах. Он пробыл в Америке самые горькие годы — с 1936 по 1940-й. Может быть, это его спасло. Ведь на посту заведующего отделом печати его сменил Е. А. Гнедин, человек умный, знающий, автор хороших памфлетов, и Гнедина посадили. Евгений Александрович вернулся в Москву только после оттепели. А Уманский уцелел, и его послали в Мексику. Он радовался: новый мир, новые люди — он был на редкость любознателен. Там он сможет проявить некоторую инициативу. (Действительно, он пробыл в Мексике полтора года, и мексиканцы в один голос говорят, что он сделал очень много, пользовался большой популярностью, государственные деятели прислушивались к его суждениям.)

И вдруг все изменилось: с неба ушла звезда. В июне 1943 года жизнь Константина Александровича надломилась из-за трагической и нелепейшей случайности. У него была дочь Нина, подросток, школьница. Она должна была уехать в Мексику вместе с родителями. Подросток, товарищ по школе, в нее влюбился; узнав, что Нина уезжает, он после бурного объяснения застрелил ее и покончил с собой. Уманский обожал свою дочь; только на ней держалась его семейная жизнь. (Я знал, что есть у него в жизни большое чувство, что в 1943 году он переживал терзания, описанные Чеховым в рассказе «Дама с собачкой».) И вот неожиданно разыгралась драма...

Никогда не забуду ночи, когда Константин Александрович пришел ко мне. Он едва мог говорить, сидел, опустив голову, прикрыв лицо руками.

Несколько дней спустя он уехал в Мексику. Его жена, Раиса Михайловна, уезжала почти в бессознательном состоянии.

Год спустя Уманский писал мне: «...Пережитое мною горе меня основательно подкосило. Р. М. — инвалид, и состояние наше намного хуже, чем в тот день, когда я с вами прощался. Как всегда, вы были умницей и дали мне некоторые правильные советы, которых я — увы — не послушался»... Я перечитал теперь это письмо и напрасно пытался припомнить, какие советы я мог давать человеку, на которого свалилась беда. Вероятно, пытался его успокоить, обнадежить, не помню.

В январе 1945 года самолет стартовал с аэродрома Мехико. Пришедшие проводить Уманских видели катастрофу. Константину Александровичу было сорок два года.

На траурном собрании в Мехико, посвященном Уманскому, выступили не только политики или дипломаты, но и

самый крупный писатель Мексики Альфонсо Рейес, актриса Долорес де Рио; одна мексиканская поэтесса издала «Оду Константину Уманскому». Видно, люди искусства и там почувствовали в нем своего...

Может быть, и об Уманском следует сказать, что он умер вовремя? Это звучит кощунством, но если я представляю себе его в 1962 году, то уж никак не в 1952-м. По возрасту он был чересчур молод для плеяды советских дипломатов, которых называли «литвиновскими», но по формации, конечно, принадлежал к ним. Одни из них погибли еще в 1937 году, а случайно выжившие оказались не у дел, как ближайший друг Уманского Б. Е. Штейн, или были отправлены Берией далече, как Е. В. Рубинин. На приемах в Мехико Уманский должен был облачаться в нововведенную форму. Я его в ней не представляю. Еще меньше я его представляю в новой идеологической форме, введенной в 1949 году — в эпоху борьбы с космополитизмом. Впрочем, напрасно гадать, что с ним сталось бы дальше: в дело вмешалась судьба — несчастный случай или диверсия — отказал мотор, отказала любимица Константина Александровича — жизнь.

Комментарии

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

Книга вторая

Над второй книгой мемуаров, посвященной событиям 1917—1921 годов, Эренбург работал летом и осенью 1960 года. 26 октября он сообщал Е. Г. Полонской: «Я кончил теперь вторую часть воспоминаний. Работа увлекательная, но печальная». Журнальная судьба первой книги к тому времени решилась положительно, и вторую часть Эренбург писал, также рассчитывая на публикацию в «Новом мире». Рассказывая о событиях гражданской войны, об эпохе военного коммунизма, о трагической судьбе своих современников, он не мог не считаться с цензурой. Многие страницы второй части написаны суше, дипломатичнее, чем первая книга, и тем не менее вторая часть «Люди, годы, жизнь» стала для читателей заметным прорывом в осмыслении советской истории, недаром мемуары Эренбурга в течение последующих десятилетий фактически оказались под запретом.

Неканоническое изображение гражданской войны, в которой случай разводил родных братьев под противоборствующие знамена, рассуждения о трагедии Маяковского, отказавшегося от искусства ради политики, впервые приведенные стихи Мандельштама, самое имя которого было неизвестно подавляющему большинству читателей, рассказ о Пастернаке-лирике в пору политического остракизма, вызванного присуждением ему Нобелевской премии, — все это не могло не стать сенсацией в СССР начала шестидесятых годов.

Беседуя поздней осенью 1960 года с журналистами, Эренбург говорил о своей работе: «Вторая книга будет опубликована в «Новом мире». По-моему, она слабее первой. Отдал читать Твардовскому. Он позвонил на следующий день, сказал, что понравилась. Твардовский предупредил, что формально будет трудно «пробить» то, что я пишу о Пастернаке.

Список условных сокращений см. в т. 6 наст. изд., с. 567; *ВМ* — газ. «Вечерняя Москва»; РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва); РГБ — Российская государственная библиотека (Москва).

А по существу его пугает мой Маяковский» (Голованов Я. Беседа на даче. — Комсомольская правда, 1989, 30 сентября).

Вторая книга была принята редакцией, однако цензура категорически запретила главу о Пастернаке, и Твардовский сообщил автору, что напечатать ее не в его силах. Первый номер журнала за 1961 год (в нем было 16 глав второй книги) вышел без главы о Пастернаке. Эренбург понимал, что запрещение не продиктовано «сверху», а объясняется инерционностью и перестраховкой среднего звена власти, поэтому он принял решение добиваться публикации этой главы во втором номере журнала вместе с окончанием книги. Добиться этого можно было, лишь снова (после неудачи с «пробиванием» главы о Бухарине) обратившись к Н. С. Хрущеву. Как всегда в подобных случаях, Эренбург искал такие аргументы, которые могли убедить адресата. 19 января 1961 года он написал помощнику Хрущева В. С. Лебедеву: «Решаюсь Вас побеспокоить со следующим вопросом. В февральском номере журнала «Новый мир» печатается окончание второй части моей книги «Люди, годы, жизнь». Одна глава из этой второй части встретила затруднение. Дело касается Пастернака. Я считаю его крупным лирическим поэтом и, вспоминая о первых годах революции, пишу о нем как о лирическом поэте. Мне кажется, что, поскольку недавно образовалась комиссия по литературному наследству Пастернака, в которую меня включили, у нас предполагается издать его избранные стихи. После всего происшедшего вокруг «Доктора Живаго» новое издание его стихов будет скорее понятным читателю, прочитавшему мою главу, посвященную Пастернаку-поэту... Опубликование главы будет, по-моему, скорее политически целесообразным, нежели «преступным». Такой же точки зрения придерживается А. Т. Твардовский и вся редакционная коллегия журнала «Новый мир». Однако редакция не может преодолеть возникшие затруднения, и я решил попросить Вас, если найдете это возможным, спросить мнение Никиты Сергеевича Хрущева» *(АЭ)*. Об этом мнении можно судить по тому, что в № 2 *НМ* глава о Пастернаке была напечатана (под № 20 между главами о Москве 1920 года и о В. Л. Дурове; в отдельном издании мемуаров Эренбург вернул ее в начало второй части, но главу о Маяковском его вынудили пропустить вперед; только в *ЛГЖ-90* в соответствии с авторским замыслом глава о Пастернаке была напечатана под № 5). Отметим попутно, что критические слова Эренбурга о «Докторе Живаго» продиктованы его личным взглядом на книгу; при всех поворотах событий он неизменно говорил о «чудесных стихах», приложенных к роману.

Критика отреагировала на вторую книгу «Люди, годы, жизнь» не сразу. 19 мая 1961 года в «Литературе и жизни» А. Дымшиц сделал заявку на принципиальный спор с Эренбургом от имени советского читателя, который «не согласится с той трактовкой ряда поэтов десятых и двадцатых годов, которая содержится в воспоминаниях И. Эренбурга, в его портретах М. Цветаевой, М. Волошина, О. Мандельштама, Б. Пастернака», с попыткой «реставрации модернистских пред-

ставлений». Развернуто эта позиция была высказана на страницах кочетовского «Октября» (1961, № 6) в статье «Мемуары и история». Отстаивая неприкосновенность догматов «истории советской литературы», Дымшиц вел с Эренбургом спор на поле марксистской эстетики; вместе с тем он демонстрировал готовность при случае перейти на поле сугубо политическое. Так, в заключение статьи он отметил, что в мемуарах не объяснены причины отхода Эренбурга от большевистской партии, недостаточно точно отражена политическая позиция автора в первые годы революции — речь-де следует вести не о блужданиях, а о вполне определенной, читай: антисоветской — позиции. (Угроза политических обвинений была в полной мере реализована через некоторое время мастером этого жанра В. Ермиловым.) Статью Дымшица горячо поддержали обе литгазеты; его единомышленники дорабатывали конкретные сюжеты (так, В. Назаренко в длинной статье сражался с опасной оценкой Эренбургом «буржуазной поэзии» О. Мандельштама. — Звезда, 1961, № 6). Других точек зрения в прессе не было. (С позиций ортодоксальной историко-литературной концепции Эренбург был незащитим, а применение иных литературных и политических критериев не дозволялось.) Мемуары Эренбурга тогда читали нарасхват, суждения были разные — восторженные, пристрастно-придирчивые, демагогические, апологетические и т. д., но на страницы печати в 1961 году этот плюрализм хрущевской оттепели выхода иметь не мог. Они, несомненно, раздражали Эренбурга, но огромная читательская почта неизменно поддерживала его, и он энергично продолжал работать — писал третью книгу.

Глава 1

Стр. 7. *На Финляндском вокзале нас встретила...* — 13 июля 1917 г. петроградская газета «Народное слово» сообщила, что на Финляндском вокзале было встречено 700 русских эмигрантов, прибывших через Швецию.

Стр. 8. *Один поэт, с которым я познакомился в редакции «Биржевки»...* — Судя по записной книжке Эренбурга, в 1917 г. в Петрограде ему удалось встретиться лишь с В. Юнгером.

Стр. 9. *Я проговорил час или два с Савинковым.* — 27 октября 1917 г. Волошин в письме своей постоянной корреспондентке А. М. Петровой привел рассказ Эренбурга о беседе с Савинковым (см.: Звезда, 1996, № 2, с. 194—195). *...он* <Степун> *написал... «Письма прапорщика»...* — Книга Ф. А. Степуна называлась «Из писем прапорщика-артиллериста».

Стр. 10. *Они жили у отца Кати...* — Отто Маркович Шмидт, петроградский домовладелец, хозяин нескольких колбасных, жил в Лесном; после Октябрьской революции, лишившись всего состояния, сошел с ума. *Об этом назначении я узнал...* — В 1917 г. к назначению на фронт Эренбург относился отнюдь не иронически. В августе 1917 г.

он сообщал Волошину из Москвы: «Борисом Викторовичем <Савинковым> я, б. м., буду назначен в скором времени помощником комиссара либо на фронт, либо в Финляндию, либо в Сибирь. Хотелось бы первое» (Звезда, 1996, № 2, с. 192). 18 сентября 1917 г. Эренбург писал из Ялты: «Военное министерство назначило меня помощником комиссара на Кавказ, но Совет С<олдатских> и Р<абочих> Д<епутатов> отменил сие назначение. Пока жду» (т а м ж е, с. 193). Т. И. Сорокин с семьей выехал по назначению на Северный Кавказ, а Эренбург из Крыма вернулся в Москву.

Глава 2

Стр. 12. *А. Н. Толстой так описал разговоры лета 1917 года...* — из «Рассказа проезжего человека». *Он прочитал мне... стихотворение об Ариадне...* — «Ариадна. Жалоба Фессея».

Стр. 13. *Я... помнил его письма...* — Письма Брюсова к Эренбургу не сохранились; в архиве Брюсова (*ОР РГБ*, ф. 386) имеются 12 писем И. Эренбурга (1910—1916 гг.), черновик письма Эренбургу от 5 июля 1916 г., а также четыре книги Эренбурга с его надписями Брюсову; эти материалы вошли в том 98, кн. 2 « Лит. наследства» «Валерий Брюсов и его корреспонденты» (М., 1994). *«Желал бы я не быть «Валерий Брюсов»...* — из стихотворения «L'ennui de vivre...» (скука жизни — ф р.).

Стр. 14. *...он записал в дневнике...* — Запись 4 марта 1893 г., см.: Б р ю с о в Валерий. Дневники 1891—1910. М., изд. Сабашниковых, 1927, с. 12.

Стр. 15. *...а за солнцами улиц где-то ковыляла...* — из стихотворения «Адище города» (М а я к о в с к и й В. ПСС в 13 т. М., 1956—1959, т. 1, с. 55. Далее — по этому изданию: указываются названия цит. стихов). *Монетой, плохо отчеканенной...* — из стихотворения В. Брюсова «Футуристический вечер». *...«Стащить бумажные латы с черного фрака Брюсова».* — В манифесте, подписанном Д. Бурлюком, А. Крученых, В. Маяковским и В. Хлебниковым и напечатанном в альманахе «Пощечина общественному вкусу» (СПб., 1914), были слова: «Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова?» — см.: М а я к о в с к и й В., т. 13, с. 245.

Стр. 16. *Я — междумирок. Равен первым...* — первые строки стихотворения без названия. *...От совета Лемуров до совета в Рапалло...* — из стихотворения «Молодость мира». Лемуры — «по оккультной традиции, первая раса, достигшая на земле сравнительно высокой культуры (на исчезнувшем материке в Тихом океане)» — объяснение Брюсова (см.: Б р ю с о в В. Собр. соч., т. 3. М., 1974, с. 575); в Рапалло в 1922 г. был заключен договор между Германией и Советской Россией.

Стр. 17. *Было так, длилось под разными флагами...* — из стихотворения «Магистраль». *Все люди, теперь и прежде...* — из стихотворения «Все люди».

Стр. 18. *Растет потоп...* — из стихотворения «Потоп».

Глава 3

Стр. 18. ...*Цветаева говорила о своих бабках...* — В стихотворении «У первой бабки четыре сына» (Цветаева М. Собр. соч. в 7 т. М., Эллис Лак, 1994—1995, т. 1, с. 507. Далее — цитаты приводятся по этому изданию). *Когда я впервые пришел к Цветаевой, я знал ее стихи...* — Первоначальное знакомство Эренбурга с Цветаевой было заочным. О ее стихах Эренбург писал в ст. «Заметки о русской поэзии» (Гелиос, 1913, № 1, с. 16) и «Новые поэтессы» (Гелиос, 1913, № 2, с. 45). В письмах Эренбурга М. Волошину есть упоминания о стихах Цветаевой, о посланных ей книгах. В 1914 г.: «Бальмонты говорили, что в Коктебеле сейчас поэтесса Цветаева. Передайте, пожалуйста, ей мою книжицу» (видимо, сб. стихов «Детское»). В 1915 г.: «На днях прочел в «Сев. З<аписках>» стихи Цветаевой новые — они очень хороши. Она бесконечно повзрослела. Где она теперь? Имели ли вести от нее?» В 1916 г.: «Получил ли ты книгу для Цветаевой? (Видимо, «Стихи о канунах». — *Б. Ф.*). Пишет ли она что-ниб.?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1338, л. 1, 25, 31). *По улицам оставленной Москвы...* — из стихотворения «Настанет день...». *Войдя в небольшую квартиру, я растерялся...* — О первой встрече — в записной книжке Эренбурга 1917 г.: «Марина — Маревна. Резкость и глупость. Квартира. Дочка, одна ест суп...» (*ФЭ*, ед. хр. 386, л. 4). Летом 1917 г. они рассорились; в августе Эренбург писал Волошину: «Марина Цветаева относительно меня неск<олько> раз обругала, но безответно — чтобы отвечать, я вышел из возраста. Она с нехорошей стороны похожа на Маревну, хотя я Маревну, кажется, предпочитаю» (Звезда, 1996, № 2, с. 192). Цветаева сообщала Волошину о встрече и разладе с Эренбургом 9 августа 1917 г.: «У нас с ним сразу был скандал, у него отвратительный тон сибиллы. Потом это уладилось» (Цветаева М., т. 6, с. 60). В сентябре 1917 г. их встреча в Коктебеле была «весьма прохладной»; из письма Цветаевой С. Я. Эфрону 25 октября 1917 г. следует, что Цветаева поверила тому, как ей пересказывали слова Эренбурга о ней (Цветаева М., т. 6, с. 135). Ссора не повлияла на отношение Эренбурга к стихам Цветаевой. В статье «Четыре» (Новости дня, Москва, 1918, 13 апреля) он писал: «Марина Цветаева похожа не то на просвещенную курсистку, не то на деревенского паренька. Я не люблю, когда она говорит о Марии Башкирцевой или о мадридских гитарах, — это только наивная курсистка, увлеченная романтическими цветами Запада. Но как буйно, как звонко поет она о московской земле и Калужской дороге, об утехах Стеньки Разина, о своей любви шальной, жадной, неуступчивой. Русская язычница, сколько радости в ней, даром ее крестили, даром учили... Стих ее звонкий, прерывистый, как весенний ручеек, и много в нем и зелени рощиц, и сини неба, и черной земли, и где-то вдали зареявших красным платком баб». В статье «На тонущем корабле» (Иппокрена, Пг., 1919) Эренбург писал: «Среди других поэтесс особенно примечательна Марина Цветаева с языческой буйной радостью бытия. Она слышит голос смерти и не верит в спасение, но жизнь столь прекрасна, что и последние минуты оза-

рены неостывающим солнцем. В этот черный год особенно мила Цветаевой родимая Москва, и только накануне конца в наши дни могли родиться подобные гимны жизни». Дружеские отношения Эренбурга и Цветаевой установились лишь зимой 1920—1921 гг.

Стр 19. *Какие бледные платья!..* — из стихотворения «Тебя скрывали туманы» (см.: Блок А. Собр. соч. в 8 т., т. 1. М. — Л., 1960, с. 195). *Помянет потомство...* — из стихотворения «Царю — на Пасху». *Ох, ты барская, ты царская моя тоска...* — из стихотворения «Над церковкой голубые облака». *Андре Шенье взошел на эшафот...* — из стихотворения «Андре Шенье» («Лебединый стан»).

Стр. 20. *...я нашел Марину все в том же исступленном одиночестве.* — Об отношениях Эренбурга и Цветаевой той поры ее дочь, А. С. Эфрон, вспоминала: «Дружба Марины с Эренбургом была непродолжительной, как большинство ее дружб — личных, не эпистолярных, — но куда более *обоюдной,* чем многие иные... Дружба Марины с Эренбургом была дружбой двух сил — причем взаимонепроницаемых, или почти. Марине был чужд Эренбургов рационализм, наличествовавший даже в фантастике, публицистическая широкоохватность его творчества, уже определившаяся в 20-е годы, как ему — космическая камерность ее лирики, «простонародность» (просто — *народность*!) ее «Царь-девицы» и вообще — российское, былинное, богатырское начало в ее поэзии, вплоть до самой российскости ее языка, к которой он оставался уважительно глух всю свою жизнь. В дальнейшем взаимная неподвлиянность (не говоря уж об обстоятельствах) разделила их, а вначале — только помогла дружбе стать именно дружбой. Отношение того, давнего, Эренбурга к той, давней, Цветаевой было поистине товарищеским, действенным, ничего не требующим взамен, исполненным настоящей заботливости и удивительной мягкости. Я не оговорилась — ибо была такая пора в творческом и человеческом становлении Эренбурга, когда нарастающей непримиримости его приводилось оборачиваться мягкостью, ироничности — нежностью, несмотря на то что перо его и тогда уже превращалось в ланцет, голос становился голосом трибуна, а мысль, отталкиваясь от частного, старалась охватить общечеловеческое... В его воспоминаниях «Люди, годы, жизнь», в той части их, которая касается Марины, от былой Эренбурговой нежности не осталось следа: вероятно, память о подобной «окраске» отношений скорее всего рассеивается временем» (Эфрон А. Страницы былого. — Звезда, 1975, № 6, с. 152). Из письма А. С. Эфрон Эренбургу от 5 мая 1961 г. после выхода журнальной публикации второй книги «Люди, годы, жизнь»: «Мне много и хорошо хотелось сказать Вам, и будь я проклята, если это не сделаю! А пока только скажу Вам спасибо за воскрешенных людей, годов, города. Мне ли не знать, какой тяжелый труд — воспоминания, воспоминание, когда уже целым поколениям те времена — то время — только спеленутый условными толкованиями последующих дней — Лазарь. Кстати — Вы не из добрых писателей, Вы из злых (и Толстой из злых), так вот, когда злой писатель пишет так добро, как Вы в воспоминаниях, то этому добру, этой добро-

те цены нет; когда эта доброта, пронизывая все скорлупки, добирается до незащищенной сути людей, действий, событий, пейзажей, до души всего и тем самым до читательской — это чудо!.. Крепко обнимаю Вас, мой самый злой, мой самый добрый, мой самый старый друг...» 8 ноября 1961 г. после выхода отдельным изданием первых двух частей «Люди, годы, жизнь» А. С. Эфрон писала Эренбургу: «Сама книга — событие. Вы об этом знаете... Вы сумели этой книгой сказать «Солнце — остановись!» — и оно остановилось, солнце прошедших дней, ушедших людей. Спасибо Вам, дорогой друг, за всех, за все — за себя самое тоже» *(АЭ). Мне удалось узнать, что С. Я. Эфрон жив...* — А. С. Эфрон писала в воспоминаниях «Страницы былого»: «Приехав за границу, Эренбург разыскал Сережу. 1 июля 1921 года, в десять часов вечера Марина получила первое от него письмо. «Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости» (Звезда, 1975, № 6, с. 153).

Стр. 21. *Есть в нем черновики некоторых писем ко мне.* — Тексты этих черновиков были получены Эренбургом от А. С. Эфрон; 4 октября 1955 г. она писала: «Посылаю Вам (из маминой записной книжки) два письма к Вам, первое из которых Вы, наверное, впервые получите только сейчас, тридцать три года спустя». Перед тем, 28 августа 1955 г., А. С. Эфрон прислала Эренбургу тексты его писем к Цветаевой: «Нежно и бережно передаю Вам эти письма, сбереженные мамой через всю жизнь — и всю смерть! Сами подлинники хранятся где-то там — где? Она не успела сказать мне, а я тогда не успела спросить толком, как всегда думая, что все впереди. Я не могу отдать Вам их, переписанные ее рукой, т. к. в этой тетрадочке еще несколько писем не Ваших — очень немногих и не очень верных друзей. И вот возвращается в Ваши руки кусок той жизни и той дружбы». 15 июля 1962 г. А. С. Эфрон снова писала Эренбургу: «Пересылаю Вам Ваши — сорокалетней давности — письма маме. Они переписаны ее рукой в маленькую записную книжку, очевидно накануне отъезда в СССР в 1938—39; кроме Ваших там два письма Белого, и не полностью переписанное пастернаковское (одно, первое). Записная книжка озаглавлена «Письма друзей» *(АЭ)*. Письма Эренбурга Цветаевой см.: *ВЛ*, 1973, № 9, с. 195—198. *...к этому я молча иду.* — В черновом варианте далее в скобках: «В 1956 году Ю. П. Иваск опубликовал в Нью-Йорке письма Цветаевой к нему; в одном из них она говорит обо мне: «Эренбург мне не только не «ближе», но никогда ни одной секунды не ощущала его поэтом. Эренбург — подпадение под всех, *бесхребетность*. Кроме того: циник не может быть поэтом». То, что Цветаева называла в 1922 году, когда мы с ней часто встречались, зоркостью, десять лет спустя, когда жизнь нас развела, ей показалось цинизмом» (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 1, ед. хр. 32). Упомянутое здесь письмо — от 4 апреля 1933 г. (Ц в е т а е в а М., т. 7, с. 381). О берлинском расхождении с Эренбургом Цветаева писала 20 июля 1923 г. А. Бахраху: «У меня всегда было чувство с ним, что он все ценное в себе считает слабостью, которую любит и себе прощает... Он, простив себе

живую душу, прощал ее и мне. А я такого прощения не хотела... Это — основное расхождение. Жизненное — в другом. Жизненно он *ничего* не простил мне — там, где как раз нужно было простить!.. В основном благородстве его, в *больной* доброте и в страдальческой сущности ни секунды не сомневаюсь...» (Цветаева М., т. 6, с. 569). *Она написала о В. Я. Брюсове много несправедливого...* — Имеется в виду очерк Цветаевой «Герой труда» (Цветаева М., т. 4, с. 12—63). *Быть может, все в жизни лишь средство...* — из стихотворения Брюсова «Поэту». *Цветаева отвечала...* — Очерк «Герой труда» цитируется по машинописной копии из собрания И. Эренбурга. В 1926 г. он привез текст «Героя труда» по поручению Цветаевой для Пастернака (см.: Цветаева М., т. 6, с. 262). *Вспоминая слова Каролины Павловой...* — Имеются в виду строки «Моя напасть! Мое богатство! Мое святое ремесло!» из стихотворения «Ты, уцелевший в сердце нищем...» (см.: Русская лирика XIX века, т. 2. М., 1977, с. 290). *Ищи себе доверчивых подруг...* — первая строка стихотворения без названия.

Стр. 22. *Да, был человек возлюблен!..* — из 3-го стихотворения цикла «Стол». *В одном из писем Цветаева рассказывала...* — из письма Ю. П. Иваску от 4 апреля 1933 г. *Марина по своему желанию перевела для журнала...* — «Ecoutez, canailles» (Вещь, 1922, № 3, с. 5). 3 июня 1922 г. Эренбург, делясь с Маяковским планами следующих номеров журнала, сообщал: «В № 3, который выходит на днях, перевод Вашего стихотворения «Слушайте, сволочи» на французский» (*ВЛ,* 1992, вып. III, с. 308). *Германия, мое безумье!..* — из стихотворения «Германии» (1914).

Стр. 23. *О мания! О мумия...* — из стихотворения «Германии» (цикл «Стихи к Чехии»). *«Муж болен и работать не может...»* — из письма Ю. П. Иваску от 4 апреля 1933 г. *С. Я. Эфрон стал одним из организаторов...* — В первоначальной редакции о С. Я. Эфроне была только одна фраза: «С. Я. Эфрон стал евразийцем, потом одним из организаторов «Союза возвращения на родину» (*НМ,* 1961, № 1, с. 101). 5 мая 1961 г. А. С. Эфрон писала Эренбургу: «Относительно той части воспоминаний, что о маме, — я жалею, что тогда, у Вас, не читала, а глотала, торопясь и нацелясь именно на маму. А теперь, перечитывая, увидела, что об отце сказано не так и недостаточно. Дорогой Илья Григорьевич, если есть еще время и возможность и не слишком поздно «по техническим причинам» для выходящей книги, где-нибудь, в конце какого-нибудь абзаца, чтобы не ломать набор, уравновесьте этот образ и эту судьбу — скажите, что Сережа был не только «мягким, скромным, раздумчивым». И не только «белогвардейцем, евразийцем и возвращенцем». Он был человеком и безукоризненной честности, благородства, стойким и мужественным. Свой белогвардейский юношеский промах он искупил огромной и долгой молчаливой, безвестной, опасной работой на СССР, на Испанию, за которую, вернувшись сюда, должен был получить орден Ленина; вместо этого, благодаря (?) тому, что к власти пришел Берия, добивший все и вся, получил ордер на арест и был расстрелян в самом начале войны (они с мамой

погибли почти вместе... «так с тобой и ляжем в гроб — одноколыбельники...»). Об этой стороне отца необходимо хотя бы обмолвиться, и вот почему. Мама свое слово скажет и долго будет его говорить. И сроки не так уж важны для таланта (чего не мог понять Пастернак со своим «Живаго»), и сроки непременно настают, и они длительней человеческих жизней. Часто именно физическая смерть автора расщепляет атом его таланта для остальных; докучная современникам личность автора больше не мешает его произведениям. И мамины «дела» волнуют меня только относительно к сегодняшнему дню, ибо в ее завтра я уверена. А вот с отцом и с другими многими все совсем иначе. С ними умирает их обаяние; их дела, влившись в общее, становятся навсегда безвестными. И поэтому каждое печатное слово особенно важно: только это остается о них будущему. Тем более Ваше слово важно» *(АЭ)*. В ответ на этот пылкий призыв Эренбург в отдельном издании (1961 г.) убрал упоминание о «евразийце» и добавил фразу о мужестве, а также слова «Сергей Яковлевич был человек обостренной совести», где речь шла о 1922 г.; очевидная сдержанность Эренбурга объясняется известным ему характером деятельности С. Я. Эфрона в Париже в 1930-е гг. по заданиям НКВД. Прочтя дополнительные фразы, А. С. Эфрон 8 ноября 1961 г. писала: «Очень рада книге, очень благодарна за дополнительные строки о папе, несколько — насколько сейчас можно — уравновешивающие все» *(АЭ)*. *Перестаньте справлять поминки...* — из 3-го стихотворения цикла «Стихи к сыну». *Аля уехала в Москву; вскоре за нею последовал С. Я. Эфрон.* — А. С. Эфрон, активистка «Союза возвращения», выехала в Москву 15 марта 1937 г. С. Я. Эфрон в октябре 1937 г. бежал из Франции, опасаясь ареста по обвинению в причастности к политическому убийству. *Я слишком сама любила...* — из стихотворения «Идешь, на меня похожий...».

Стр. 24. *Цветаева писала о пушкинской Татьяне...* — из книги «Мой Пушкин» (Цветаева М., т. 5, с. 71). *Сколько их, сколько их ест из рук...* — первая строка стихотворения без названия. *Цветаева вернулась на родину...* — 18 июня 1939 г. *Отказываюсь — быть...* — из стихотворения «О, слезы на глазах...» (цикл «Стихи к Чехии»). *С. Я. Эфрон погиб. Аля была далеко — в лагере.* — 10 октября 1939 г. С. Я. Эфрона арестовали в Болшеве на даче, предоставленной ему правительством. А. С. Эфрон была арестована 27 августа 1939 г. *Она пришла ко мне в августе 1941 года...* — В записной книжке Эренбурга есть две записи о Цветаевой — 29 июня: «Немецкие сводки — хвастливо с музыкой. Взяли Двинск. Наши: у Минска остановили. Б. М. <Лапин> готовится уехать <на фронт>. Писал для радио о культуре и «Муссолини». Сава <О. Г. Савич>. Марина — о квартире и стихах <м. б. — страхах?>»; 7 июля: «В «Известиях»... сводки лучше. Немцы говорят: Черновцы... Цветаева». 8 августа 1941 г. Цветаева уехала из Москвы в Елабугу; Эренбург ее провожал (сообщено Л. Б. Либединской). Письменных свидетельств Цветаевой о встрече с Эренбургом мы не знаем. Одна ее знакомая вспоминала: «Марина Ивановна говорила мне об Эренбурге, который не пожелал с нею

разговаривать и, кажется, не принял ее дома... Она не сердилась на него, а сказала спокойно, что понимает, что он просто боится с ней общаться» (*ВЛ*, 1988, № 12, с. 183). Если б это было так, Эренбург не провожал бы Цветаеву и не послал бы ей только что вышедшую книгу стихов с дружеской надписью. (3 июня 1941 г. сын Цветаевой Мур писал в лагерь А. С. Эфрон: «Только что звонила Лиля <Е. Я. Эфрон> — получила на имя мамы книгу стихов Эренбурга об Испании и Франции «Верность» с трогательным посвящением». — См.: Неман, 1975, № 8, с. 114.) Многие московские писатели действительно избегали контактов с Цветаевой, за которой тянулся опасный шлейф связи ее мужа с НКВД; Б. Л. Пастернак говорил тогда, что Цветаевой «велели жить в строжайшем инкогнито. Она и у меня была всего раз» (Белкина М. Скрещение судеб. М., 1988, с. 32—33). Рассказ о встрече Цветаевой с Эренбургом летом 1941 г., приведенный якобы со слов Мура Д. Сеземаном — сыном коллег С. Я. Эфрона по НКВД (Невское время, 1991, 5 мая), вряд ли заслуживает доверия в силу желания любой ценой обелить родителей и обвинить Эренбурга в причастности к гибели Цветаевой. *Сын Марины погиб на фронте.* — Г. С. Эфрон (1925—1944) погиб в бою в Белоруссии. *Аля... собрала неизданные стихи Марины.* — Эренбург принимал активное участие в работе Комиссии по литературному наследию Цветаевой, добивался разрешения издать книгу ее стихов. 22 мая 1956 г. А. С. Эфрон писала ему: «Ах, Боже мой, как я счастлива, что Вы будете писать предисловие! Вы единственный, который может это сделать — и сердцем, и умом, и знанием ее творчества, и чистыми руками!» *(АЭ)*. Предисловие кончалось словами: «Наконец-то выходит сборник Марины Цветаевой. Муки поэта уходят вместе с ним. Поэзия остается» (Поэзия Марины Цветаевой. — Лит. Москва. Сб. 2. М., 1956, с. 715). Однако выход книги был сорван; она появилась в 1962 г. без предисловия Эренбурга. 25 октября 1962 г. Эренбург председательствовал на первом цветаевском вечере в Москве. *От многих строк Цветаевой я не могу освободиться...* — Б. А. Слуцкий, близко знавший Эренбурга, вспоминал: «Всего лишь за день до смерти он назвал Цветаеву и Мандельштама как самых близких, самых личных, самых пережитых им поэтов» (см.: *ТД*, с. 12).

Стр. 25. *Она писала после смерти Маяковского...* — из статьи «Искусство при свете совести» (Цветаева М., т. 5, с. 374). *Гетто избранничеств!* — из «Поэмы конца». *«Какой поэт из бывших и сущих не негр?»* — из книги «Мой Пушкин» (там же, с. 59).

Глава 4

Стр. 25. *...мой очерк, присланный из Москвы...* — Очерк «Саранча» впоследствии не перепечатывался; цитата стилистически выправлена.

Стр. 27. *Я заехал в Коктебель к Волошину.* — 27 октября 1917 г. Волошин писал А. М. Петровой: «Все эти дни был у меня Эренбург, и Вы

не можете себе представить, как мне досадно, что Вы лишили меня возможности познакомить его с Вами. Досадно, конечно, за Вас, потому что этим Вы лишились не только знакомства с прекрасным и талантливым человеком, но и беседы с очевидцем Корниловского выступления, который Вам мог бы дать из первых рук сведения и впечатления о разных лицах, которые остаются для нас здесь туманными и мало выясненными» (Звезда, 1996, № 2, с. 194—195).

Стр. 28. *Я писал тогда очень плохие стихи...* — Речь идет о стихах, составивших книгу «Молитва о России» (М., 1918). Волошин, однако, высоко оценил эту книгу в статье «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург» (см. об этом т. 1 наст. изд., с. 596). *В дневниках Блока есть запись...* — См.: Блок А., т. 7, с. 323—324. Слова Стенича об И. Эренбурге Блок включил также в очерк «Русские дэнди» (там же, т. 6, с. 53—57).

Стр. 31. *Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий...* — из стихотворения «Сумерки свободы» (1918) (Мандельштам О. Собр. соч. в 4 т. М., Арт-бизнес-центр, 1993—1997, т. 1, с. 135). Первоначально Эренбург отнесся к этим стихам враждебно. «Мандельштам, изведав прелесть службы в каком-то комиссариате, гордо возглашает: как сладостно стоять ныне у государственного руля», — писал он в ст. «Стилистическая ошибка» (газ. «Возрождение», 1918, 5 июня). Подлинный смысл открылся ему позже; их отзвуки отчетливы в «Хулио Хуренито», где Эренбург говорил и о «сумерках свободы», и о «повороте руля». Строки из этого стихотворения Эренбург поставил эпиграфом к сборнику эссе «Белый уголь, или Слезы Вертера».

Глава 5

Стр. 31. *Вскоре после моего приезда в Москву я встретил Б. Л. Пастернака...* — О первой встрече с И. Эренбургом Пастернак упоминает в очерке «Люди и положения»: «В июле 1917 года меня, по совету Брюсова, разыскал Эренбург. Тогда я узнал этого умного писателя, человека противоположного мне склада, деятельного, незамкнутого. Тогда начался большой приток возвращающихся из-за границы политических эмигрантов, людей, застигнутых на чужбине войной и там интернированных, и других. Приехал из Швейцарии Андрей Белый. Приехал Эренбург. Эренбург расхваливал мне Цветаеву, показывал ее стихи... Цветаева не доходила до меня» (Пастернак Б. Собр. соч. в 5 т. М., Худож. лит., 1989—1992, т. 4, с. 338—339. — Далее цит. по этому изданию). В *КдВ* Эренбург начинает рассказ о Пастернаке с их первой встречи, не конкретизируя ее подробностей; фраза «Он читал мне стихи» вызвала возражение Пастернака (прочитав журнальную публикацию книги, он говорил А. Тарасенкову: «Я вовсе не читал стихи Эренбургу в первую встречу. Наоборот, он читал мне свои. Вначале Эренбург не понимал и не принимал меня и А. Белого. Это Брюсов убедил Эренбурга, заставил его читать и понимать мои

стихи». — *ВЛ,* 1990, № 2, с. 93). В статьях и выступлениях о поэзии в 1918—1919 гг. Эренбург не упоминает имени Пастернака, а его «портрет», написанный в 1921 г. (Портреты русских поэтов. Берлин, 1922), начинается так: «28 декабря 20 года в городе Москве под вечер в мою комнату вошел поэт...» С тех пор имя Пастернака неизменно присутствует в выступлениях Эренбурга о поэзии; сохранилась рукописная книга Эренбурга «Полдень» (1920 г.) с посвящением: «Борису Леонидовичу Пастернак — любя И. Эренбург» (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 2, ед. хр. 434). *В моей записной книжке есть короткая пометка...* — См.: РГАЛИ, ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 386, л. 4.

Стр. 32. *Беру другую записную книжку...* — В *ЗК* 1941 г. запись о встрече с Пастернаком датирована 2 июля («Пастернак — безумье»); запись «Собрание у Лозовского» относится к 5 июля. *Я его любил, любил и люблю его поэзию...* — Дружба Эренбурга с Пастернаком имела свой пик в 20 — 30-е гг. В письмах Эренбурга той поры часто встречаются восторженные отзывы о Пастернаке (например, в письмах к Е. Г. Полонской из Берлина — 13 сентября 1922 г.: «Приехал сюда Пастернак. Это единственный поэт, которого сумел я полюбить настоящей человеческой любовью (человека)»; 7 января 1923 г.: «Вышла «Тема и вариации» Пастернака. Я брежу ею... М. б., я особенно люблю его мир, как противостоящий мне и явно недоступный»). «Как встретились с Эренбургом? — спрашивала Пастернака Цветаева в письме 19 ноября 1922 г. — Мы с ним раздружились, но я его нежно люблю и, памятуя его великую любовь к Вам, хотела бы, чтобы встреча была хорошая» (Цветаева М., т. 6, с. 227). Очевидное влияние Пастернака сказалось на неизданной книге лирики Эренбурга «Не переводя дыхания» (1923). Переписка Эренбурга с Пастернаком не сохранилась; надписи на книгах, подаренных Пастернаком Эренбургу, неизменно дружественные (на сб. «Сестра моя жизнь»: «Любимому другу Илье Григорьевичу Эренбургу Б. Пастернак. 14.VI.22, Москва»; на «Рассказах»: «Дорогому Илье Григорьевичу Эренбургу от любящего сердца. 18.VI.26, Б. Пастернак»; на «Поверх барьеров»: «Моим дорогим Любови Михайловне и Илье Григорьевичу Эренбургам с телячьими нежностями и поцелуями. А годы идут; что им делается? Б. Пастернак. 22.II.30». — *АЭ*). Восторженные высказывания Эренбурга о поэзии Пастернака в берлинских журналах 1922 г. вызывали у Пастернака недоумение (перед отъездом в Берлин в 1922 г. он писал другу М. А. Кузмина: «От берлинской литературной шумихи, в которую я уже без моего ведома и против воли отчасти втянут, буду, разумеется, держаться в стороне». — *ВЛ,* 1981, № 7, с. 230). Из Берлина Пастернак писал С. П. Боброву о писательском окружении: «Все они меня любят, выделяют, но... «не понимают»... Марина Цветаева помещает большую статью обо мне в «Эпопее». Статью посвящает Эренбургу. Тогда в «Руле» перестают вообще мыслить эти три судьбы раздельно, и получается видимость, будто мое белобилетничество и коротконожье зашли так далеко, что не под руку с приятелями я вообще ступать не учился. Марина Цветаева — истинный поэт, и соседство это нисколько

меня не роняет. Эренбург — прекрасный человек, слишком однажды возлюбивший Достоевского, в сущности кающийся патриот, человек большого кругозора и добрый друг — соседство это может быть только радостным. Но...» (Встречи с прошлым, вып. 4. М., 1982, с. 157—158). Наиболее откровенно отношение Пастернака к Эренбургу выражено в его письме Цветаевой 1 июля 1926 г.: «Это прекрасный человек, удачливый и движущийся, биографически переливчатый, легко думающий, легко живущий и пишущий: — легкомысленный. Я никогда не замыкаюсь перед ним, но и не помню случая, чтобы когда-нибудь успешно высказался перед ним или открылся. Я не знаю, как он может любить меня и за что. Он не настолько прост, чтобы быть для меня обывателем, т. е. куском бытовой непринужденности (обычнейшим моим собеседником). И он не настолько художник, чтобы я становился в беседе игрушкою часа, положенья или принесенного из дому настроенья. Так как, несмотря на все его удачи, я его считаю несчастливцем, то внутренне, про себя, никогда, впрочем, этого ему не показывая, желаю ему добра, желаю с аффектацией и упорством. И мне бы очень хотелось, чтобы ты не согласилась со мной и меня осадила: он вовсе не художник. Я желал бы, чтобы ты была другого мненья. Найди в нем то, чего я в нем напрасно ищу, и я стану глядеть твоими глазами» (Переписка Бориса Пастернака. М., 1990, с. 372—373). После возвращения Эренбурга в Москву из Франции в 1940 г. Пастернак его сторонился; их встречи стали случайными и редкими. В годы войны Пастернак разделял общее отношение к публицистике Эренбурга. (Жалуясь в 1943 г. М. Белкиной, что у него не получается писать для газет, он заметил: «Вот у Эренбурга получается» (Б е л к и н а М. Скрещение судеб, с. 253). В письме А. Крученых 15 февраля 1943 г. Пастернак писал: «Меня очень порадовало твое описание эренбурговского вечера. Сегодня я получил из Ташкента письмо от старшего сына Жени, он тоже много пишет об Илье Григорьевиче и очень любит его». — Встречи с прошлым, вып. 7. М., 1990, с. 524.) Пастернаковские стихи военных лет Эренбург считал слабыми (20 дек. 1941 г. в *ЗК:* «Плохие стихи Пастернака») и публично о них не высказывался. В январе 1951 г. во время чествования И. Эренбурга Пастернак прислал ему такое приветствие: «От души поздравляю с днем шестидесятилетия. Желаю долгих лет счастливой производительности, душевной ясности и здоровья. Большая радость, когда человеческий и гражданский долг и все естественное и высокое объединяются в таком благородном и талантливом выражении. Борис Пастернак» *(ФЭ).* В устных высказываниях об Эренбурге конца 1950-х гг. Пастернак был не столь дипломатичен (так, делясь со слушательницей соображениями о Герцене, он заметил: «Герцен, посыпанный кайенским перцем, и есть Эренбург. Это не то чтобы публицистика, а россыпь знаний, сведений, мыслей, и часто богатых мыслей; но как все это отступает, становится ненужным, когда речь идет о создании достоверного и подлинного». — Нева, 1988, № 10, с. 140). В 60-е гг. в беседе с Е. И. Ландау о своих поэтических симпатиях в прошлом и настоящем Эренбург сказал: «Пастернака боготво-

рил, теперь люблю. Цветаеву любил, теперь боготворю» *(СК). Все жили в сушь и впроголодь <...> Он незабвенен тем еще...* — из стихотворения «Образец» (Пастернак Б., т. 1, с. 126. Далее указываются названия цитируемых стихов).

Стр. 33. *Вот как я описал первую нашу встречу...* — См. т. 3 наст. изд., с. 520. *Всесильный бог деталей...* — из стихотворения «Давай ронять слова». Эренбург часто цитировал эти строки; в последний раз — выступая в Парме на стендалевском конгрессе в мае 1967 г., незадолго до смерти. *Грех думать — ты не из весталок...* — из стихотворения «Из суеверья». *В 1922 году Пастернак писал...* — из заметок «Несколько положений» (Пастернак Б., т. 4, с. 369—370).

Стр. 34. *...я в 1921 году писал о Пастернаке...* — См.: Портреты русских поэтов. Берлин, 1922, с. 128, 130; стилистически выправлено. *Год спустя В. Б. Шкловский... написал...* — См.: Шкловский В. ZOO, или Письма не о любви. Берлин, Геликон, 1923, с. 67. *В 1923 году Маяковский и О. Брик формулировали...* — Текст, напечатанный в журнале «ЛЕФ» (1923, № 1); цит. по кн. В. Шкловского «О Маяковском» (Шкловский В. Собр. соч. в 3 т., т. 3. М., 1974, с. 121). *Несется, грозный, напролом...* — из стихотворения «Кремль в буран конца 1918 года». *Позднее, в 1930 году... он писал...* — из пов. «Охранная грамота» (см.: Пастернак Б., т. 4, с. 239). *Он писал восторженные строки... и в 1944 году.* — Имеются в виду стихотворения «Неоглядность», «Ожившая фреска», «Победитель», «Весна».

Стр. 35. *Шкловский в одном ошибался, когда он писал...* — В книге «ZOO, или Письма не о любви» (Берлин, 1923, с. 67); в переизданиях, появившихся после 1964 г., эти строки были переделаны. *Беседы с ним... напоминали два монолога.* — Об этом же вспоминал Н. Н. Вильям-Вильмонт: «Я должен был бы радоваться тому, что Пастернак не вел со мной на меня не рассчитанного монолога и что наши беседы все же были диалогами, а не пародией на пушкинское «глухой глухого звал на суд судьи глухого», как то фатально получилось у него с Эренбургом» (см.: *НМ,* 1987, № 6, с. 208). *В короткой речи он сказал, что поэзию незачем искать в небе...* — Аналогично о выступлении Пастернака на конгрессе Эренбург говорил и в «Книге для взрослых», по поводу чего Пастернак заметил: «В Париже я говорил ведь серьезные вещи, а он все свел к фразе о том, что «поэзия в траве». Я превращен в какого-то инфантильного человека» *(ВЛ,* 1990, № 2, с. 94). «Серьезные вещи» не попали в газетные отчеты и сборник документов конгресса. «В Париже Эренбург прочел ученическую тетрадь, где Пастернак записал подготовленный в дороге французский текст своего предполагаемого доклада. Илья Григорьевич рассказывал, что это был литературный язык прошлого века, на котором нельзя было говорить. Тетрадку он разорвал и попросил Пастернака просто сказать несколько слов о поэзии. В своей книге Эренбург писал, что проект речи был посвящен главным образом болезни, но следствием этой болезни он счел очень существенную для Пастернака мысль, что культура не нуждается в объединениях и организациях по ее защите, надо заботиться о

жизни и свободе людей, при этом культура возродится и утвердится сама по себе, как производное, как плод на этой почве» (Пастернак Е. Борис Пастернак. Материалы к биографии. М., 1989, с. 513). *В дневниках А. Н. Афиногенова... есть... запись...* — Запись 1935 г.; см.: Афиногенов А. Н. Дневники и записные книжки. М., 1960, с. 275.

Стр. 36. *В одной из написанных им автобиографий...* — Имеется в виду очерк Б. Пастернака «Люди и положения» (см.: Собр. соч., т. 4, с. 332—333).

Стр. 37. *...в 1926 году Маяковский, приводя четверостишие Пастернака...* — В ст. «Как делать стихи?» *«Я разревелся...»* — См. «Охранную грамоту» (Пастернак Б., т. 4, с. 238).

Стр. 38. *Прочитав рукопись «Доктора Живаго»...* — В черновом варианте: «Я получил от него рукопись романа, прочитал и огорчился: ждал большой книги. Я не хочу сейчас заниматься критикой, скажу одно — Пастернак хотел показать уничтожение своего героя годами, событиями; к роману приложены стихи, некоторые из них изумительны; таких стихов в те годы не мог написать и Пастернак. Получается, что доктор Живаго переживал необыкновенный духовный взлет, автор хотел показать другое» *(ФЭ). «Неумение найти и сказать правду...»* — из статьи Б. Пастернака «Несколько положений» (Пастернак Б., т. 4, с. 367). *Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста...* — из 1-го стихотворения цикла «Метель». *...как тяжело было мне читать... выступления... моих товарищей?* — Речь идет о состоявшемся 27 октября 1958 г. совместном заседании президиума правления СП СССР, бюро оргкомитета СП РСФСР и президиума правления московского отделения СП, на котором было принято постановление об исключении Б. Л. Пастернака из Союза писателей, а также о собрании московских писателей 31 октября 1958 г. Среди выступавших на этих собраниях были и литераторы, которых Эренбург ценил и уважал: Б. А. Слуцкий, Л. Н. Мартынов, С. П. Щипачев, В. Ф. Панова, А. Я. Яшин. Отвечая на вопрос читателя, был ли он согласен с тем, что Пастернака исключили, и участвовал ли он в голосовании, Эренбург написал: «Я не был согласен с исключением его из Союза писателей и в голосовании не участвовал» *(АЭ).* Эренбург на том собрании присутствовать отказался.

Глава 6

Стр. 39. *Не помню, кто меня познакомил с Маяковским...* — Судя по записной книжке Эренбурга 1917—1918 гг., первые и довольно частые встречи с Маяковским относятся к началу 1918 г. в Москве.

Стр. 40. *Я — Франсуа, чему не рад...* — Перевод И. Эренбурга (1916).

Стр. 41. *...я тогда писал в «Известиях»...* — из статьи «За наш стиль» (Известия, 15 октября 1934 г.; см. т. 4 наст. изд., с. 579—580).

Стр. 42. *Я люблю смотреть, как умирают дети...* — из стихотворения «Несколько слов обо мне самом». *Мне нравится беременный мужчина...* — из стихотворения «О себе самом» (1915) (Поэзия русского футуризма. СПб., 1999, с. 121).

Стр. 43. *Было это весной 1927 года.* — Эренбург писал из Парижа Полонской: «Сюда приезжали Маяковский и Сейфуллина. Первый соблюдал все посты и молитвы. Вторая типичный литшабесгой. Форш — чудо!» Отношение Эренбурга к Маяковскому в 1927 г. было заметно иным, чем пятью годами раньше (29 октября 1922 г. он писал Полонской из Берлина: «Приехал Маяковский. Гляжу на «эту глыбу» и радуюсь. Читал свои старые стихи (Флейта Позвоночник), прекрасные стихи, сам разволновался. Было очень жутко»).

Стр. 45. *Я прочитал в книге Виктора Шкловского...* — «О Маяковском» (Шкловский В., т. 3, с. 138). *Я упоминал о вечере у Цетлиных...* — См. т. 6 наст. изд., с. 464. Этот вечер (январь 1918 г.) описан в «Охранной грамоте» Пастернака: «Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и Цветаева... Началось чтенье. Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха. Когда очередь дошла до Маяковского, он поднялся и, обняв рукою край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать «Человека». Он барельефом, каким я всегда видел его на времени, высился среди сидевших и стоявших и, то подпирая рукой красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности. Против него сидел... Андрей Белый... Он слушал как завороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно неслось навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. Части слушателей я не видел, в их числе Цветаевой и Эренбурга. Я наблюдал остальных. Большинство из рамок завидного самоуважения не выходило» (Пастернак Б., т. 4, с. 230).

Стр. 46. *«Лицом к деревне» — заданье дано...* — из стихотворения «Верлен и Сезан».

Стр. 48. *Я хочу быть понят моей страной...* — 5 января 1929 г. Эренбург писал об этой строфе Н. С. Тихонову: «Маяковский пишет теперь плохие стихи. Кажется, случайно он написал настоящую строфу и, разумеется, ее не напечатал... Ну вот, на «что ж» не всегда хватает человеческой силы» (Архив В. Н. Тихоновой).

Стр. 49. *В 1918 году в журнале «Жизнь искусства» он опубликовал пасквиль...* — Имеется в виду рецензия А. Я. Левинсона на спектакль по «Мистерии-буфф» Маяковского в газ. Театрального отдела Наркомпроса «Жизнь искусства» (1918, 11 ноября, № 10).

Глава 7

Стр. 51. *...я перечитал мою статью... «Среди кубистов».* — Понедельник, 1918, 3 июня. В московской газ. «Понедельник власти народа» (первоначальное название) с 25 февраля по 8 июля 1918 г. Эренбург

напечатал 10 статей (главным образом литературных — о Блуа, Бальмонте, А. Н. Толстом, Б. Савинкове-Ропшине и др.) и несколько стихотворений. *Белогвардейца // найдете — и к стенке...* — из стихотворения «Радоваться рано».

Стр. 52. *В статье, посвященной задачам журнала...* — Вещь, 1922, № 1-2, с. 2; опубликована как редакционная, без подписи автора. *Журнал «Искусство коммуны» писал...* — Речь идет о статье Н. Н. Пунина «Футуризм — государственное искусство» (газ. Отдела изобразительных искусств Наркомпроса «Искусство коммуны», 1918, 29 декабря). Статья была ответом редакции на помещенное в том же номере письмо А. В. Луначарского «Ложка противоядия». В 1917—1919 гг. Эренбург критически относился к выступлениям футуристов и обвинял Луначарского в неумеренном потворстве им. В статье «Le roi s'amuse» «Король забавляется» — (ф р.) он писал: «Вчера на выставке супрематистов я встретил г. комиссара по изобразительным искусствам. Это мой давнишний знакомый по Парижу, плохой художник, но человек кроткий (Д. П. Штеренберг. — *Б. Ф.*). Он собирается с согласия г. Луначарского «насаждать новое искусство». О, менее всего меня — ярого приверженца западноевропейского кубизма — можно упрекнуть в ненависти к исканиям молодых художников и поэтов. Но какая дикая мысль «насадить» искусство, до которого сознание не только народа, но и самых художников не дошло. Ах, г. Луначарский, вы одинаково угрожаете российским искусствам и с Маяковским — Татлиным, и с Котомкой — Желткевичем. Вся беда в том, что понимание искусства дается труднее, чем комиссарский портфель» (Новости дня, 1918, 22 апреля).

Стр. 53. *...журнал «Леф» отмечал...* — из статьи Н. Ф. Чужака «Под знаком жизнестроения (Опыт осознания искусства дня)» (см.: Леф, 1923, № 1, с. 30).

Стр. 56. *В. Б. Шкловский в книге «Цоо» назвал меня Павлом Савловичем...* — В главе, посвященной Эренбургу («Письмо двадцать пятое — о весне, «Prager Diele», Эренбурге, трубках, о времени, которое идет, губах, которые обновляются, и о сердце, которое истрепывается, в то время как с чужих губ только слезает краска. О моем сердце»): «Прежде я сердился на Эренбурга за то, что он, обратившись из еврейского католика или славянофила в европейского конструктивиста, не забыл прошлого. Из Савла он не стал Павлом. Он Павел Савлович» (Шкловский В., т. 1, с. 222). 25 декабря 1922 г. Эренбург писал из Германии: «В. Б. сказал обо мне прекрасно «Павел Савлович» (я переделал в Пал Салыч и так себя именую)». Формула Шкловского, понравившаяся Эренбургу, схватывала нечто весьма существенное в Эренбурге 20-х гг.

Глава 8

Стр. 57. *...написал вместе с А. Н. Толстым пьесу...* — Стихотворная пьеса «Рубашка Бланш» напечатана впервые в альм. «Современная драматургия» (1982, № 4, с. 158—171).

Стр. 58. *Еще происходили скучноватые собрания «Среды»...* — В «Дневнике 1917—1918 гг.» И. А. Бунин записал 13 мая 1918 г.: «Вчера «Среда»... Эренбург, Соболь — все наглеет. Эренбург опять стал задевать меня — пшютовским, развязным, задирчивым тоном... Начался скандал. Толстой злой на меня, на их стороне» (Б у н и н И. Окаянные дни. М., 1990, с. 64). *И всех равняет знаком сходства...* — из стихотворения «На улице» (см.: Б а л т р у ш а й т и с Ю. Дерево в огне. Вильнюс, 1969, с. 240—241). *Он* <Вяч. Иванов> *казался мне мудрым старцем...* — 24 февраля 1919 г. Эренбург писал из Киева В. А. Меркурьевой: «Скажите Вячеславу Ивановичу, что я часто думаю о нем и что я полюбил его истинно. Что он? Над чем работает?» (Минувшее, вып. 22. СПб., 1997, с. 309).

Стр. 59. *Охапку дров свалив у камелька...* — из 3-го сонета (цикл «Зимние сонеты») (см.: И в а н о в Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1976, с. 287—288). В статье «О некоторых признаках расцвета русской поэзии» (Русская книга, № 9. Берлин, 1921) Эренбург назвал «Зимние сонеты» Вяч. Иванова среди самых замечательных достижений русской поэзии эпохи революции и гражданской войны. *Да, сей пожар мы поджигали...* — первая строфа стихотворения без названия (см.: И в а н о в Вяч. Стихотворения и поэмы, с. 285); ответ на стихотворение Г. Чулкова, где были строки «Ведь в мире мы сжигали дом, где жили наши предки чинно» (1919).

Стр. 62. *В одном из писем Маяковского...* — письмо от января 1918 г. (см.: Новое о Маяковском. — Лит. наследство, т. 65. М., 1958, с. 105). Это четверостишие сочувственно цитирует И. А. Бунин в «Окаянных днях» (запись от 5 февраля 1918 г.). *Андрей Михайлович Соболь редко смеялся...* — В первоначальном варианте *КдВ* Эренбург писал: «Я прожил много времени с Андреем Соболем. Это был Вечный Жид, с сердцем беспорядочного добряка. Он бежал из Сибири. Он заблудился не в тайге, но в прозрачном кольце московских бульваров. Он застрелился на скамейке, недалеко от памятника Тимирязеву. Он лежал в гробу с крохотным лицом. Катафалк тащили клячи, прикрытые красными попонами» (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 5, л. 167—168).

Стр. 63. *«Открытое письмо» Андрея Соболя».* — Правда, 1923, 14 сентября; это письмо вызвало многочисленные отклики русской эмиграции.

Глава 9

Впервые — Сов. Украина, 1960, № 10.

Стр. 65. *Моя мать умерла в Полтаве осенью 1918 года.* — 30 октября 1918 г. Эренбург писал М. А. Волошину из Полтавы: «В сентябре мне пришлось бежать из Москвы, ибо большевики меня брали заложником. Путь кошмарный, но кое-как доехал я. Вскоре за мной поехали на Украину родители. Мама в пути заболела воспалением лег-

ких и, приехав в Полтаву, умерла. Меня вызвали телеграммой, но я не успел. Это время был с отцом, на днях еду в Киев, а потом намерен пробираться в Швейцарию. Надеюсь, что удастся. О жизни в Москве трудно тебе сказать что-либо. Это наваждение, но более реальное, чем когда-либо существовавшая реальность. Я, кажется, совершенно опустошен и храню больше мысли и страсти по инерции. На самом деле душа полна лишь отрицательным, и разрушение всего налицо. Что делать дальше — не знаю... Несмотря на распад, я много и порой лихорадочно работал... Здесь мерзко, и порой грущу даже о Москве последних дней» (Звезда, 1996, № 2, с. 199—200). Мысль об отъезде за границу возникла у Эренбурга еще в Москве; в начале 1918 г. он писал Волошину: «Я усиленно помышляю о загранице, как только будет возможность, уеду. Делаю это, чтоб спасти для себя Россию, возможность внутреннюю в ней жить. Гнусь и мерзость ныне воистину «икра рачья». Очень хочется работать — здесь это никак нельзя» (ИРЛИ, ф. 362, ед. хр. 1338, л. 34).

Стр. 66. *«Киев, Киев» — повторяли провода...* — из стихотворения «Привели и застрелили у Днепра» (1942) (см. т. 1 наст. изд., с. 149). *...тетя Маша* — сестра матери Эренбурга М. Б. Лурье.

Стр. 69. *Но и в сугробах Подмосковья...* — из стихотворения «Киев» (см.: Гудзенко С. Избранное. М., 1977, с. 51).

Стр. 70. *...рассказ украинского писателя Коцюбинского...* — «Он идет» (1906) (см.: Коцюбинский М. Собр. соч., т. 2. М., 1965, с. 244—254).

Глава 10

Стр. 75. *Я упомянул о «Литературно-артистическом клубе»...* — 10 апреля 1919 г. Эренбург писал поэтессе В. А. Меркурьевой (на бланке было напечатано по-украински, по-русски, на идиш, на иврите и по-польски: «Профессиональный союз Художников Слова г. Киева. Литературно-Артистический Клуб»): «Чем мы хуже Вас? Даже на пяти языках! Я председатель и кроме всего вообще занимаюсь сотней неподобных дел. Устроил «мастерские худож. слова» для рабочих и потом еще для всех просто. Кручусь, работаю, что ли, очень много» (Минувшее, вып. 22, с. 310). Об Эренбурге в ХЛАМе вспоминал С. И. Юткевич: «Ярче всего запомнился он мне как поэт — на фоне огромного занавеса с «супрематическим» узором из динамических треугольников, шаров, квадратов, скомпонованных Экстер для какого-то «агитвечера»... Эренбург исступленно и хрипло, чуть скосив рот, чем-то вдруг неожиданно напоминая библейского пророка, читал из своей книги стихов «Огонь» (Панорама искусств, № 11. М., 1988, с. 77—78). *...почти все им* <красноармейцам> *обрадовались.* — Отношение Эренбурга к приходу красных было не столь однозначным; по свидетельству тогдашней его подруги, «к красным Эренбург относился скорее отри-

цательно, не принимал их, говорил, что они залускают семечками всю русскую культуру, — Киев тогда был грязный и весь покрыт шелухой от семечек» *(СК).*

Глава 11

Впервые — Сов. Украина, 1960, № 10.

Стр. 77. *Я занялся обследованием исправительных заведений...* — Искусствовед Е. Ю. Спасская вспоминала, что Эренбург занимался «всем огромным количеством детей — беженцев, больных, голодных, свезенных в Киев и размещенных наскоро, как попало во всех — и старых, и вновь организуемых детдомах... Сотни, а может быть, и тысячи обездоленных, беспризорных, сирот, больных, голодных детей уже свезены в Киев с Запада, и их непрерывно продолжают подвозить. В случайных домах, большей частью совершенно не приспособленных и не оборудованных, изможденные полуодетые дети с совершенно не налаженным бытом, при недостатке обслуживающего персонала, набранного из случайных людей, — дети эти запомнились мне как сборище полутрупиков... Илья Григорьевич добился и медицинского обслуживания, и достаточного количества служащих и добровольцев... Именно благодаря его настойчивости и отзывчивости в Киеве многое было налажено для медицинского обслуживания и общего улучшения быта сотен несчастных сирот и полусирот военного времени» (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 3664, л. 15—16). *...молодой художник Паня Пастухов...* — Им была выполнена обложка детской книжки И. Эренбурга «Заячья елка» (книга не вышла).

Стр. 78. *В те времена люди работали зачастую одновременно в нескольких учреждениях.* — 7 мая 1919 г. Эренбург писал В. Меркурьевой в Москву: «Здесь комитеты, союзы, лекции и прочее. Спорю, борюсь, томлюсь. Нужно ли? Кажется, нет. Но иначе сейчас не могу... Я здесь читал доклад о «существе поэзии», но кому...» (Минувшее, вып. 22, с. 312). *Я переписал тогда размышления одного солдата...*— См.: Федорченко Софья. Народ на войне (фронтовые записи). Киев, 1917, с. 80; Эренбург приводил эти слова в кн.: «А все-таки она вертится» (Берлин, Геликон, 1922, с. 113). *Работал я также в «литературной студии»...* — Участник студии театральный художник Н. И. Данилов вспоминал, что в студии (она называлась «Мастерская художественного слова») историю русской литературы читал М. П. Алексеев, с чтением лекций выступали О. Э. Мандельштам и поэт Вл. Маккавейский; Эренбург читал историю русской классической и современной поэзии, историю французской и испанской поэзии (сопровождая эти лекции чтением своих стихотворных переводов). «Слушать лекции Эренбурга было подлинным наслаждением, читал он их с истинным поэтическим вдохновением... Особенно запомнились мне его лекции о Франсуа Вийоне и Ронсаре. В русской поэзии он научил меня понимать и ценить дотоле казавшегося мне совершенно архаичным Державина и

вместе с тем совершенно развенчал модного тогда Игоря Северянина... На первый взгляд Эренбург мог показаться непривлекательным, т. к. не уделял ни малейшего внимания своей внешности. Но стоило вглядеться в его лицо, особенно в необычайно выразительные глаза, увидеть его улыбку, то добрую и ласковую, то ироническую, чтобы навсегда покориться его обаянию» *(СК)*. Участник студии С. Л. Фридман вспоминал о занятиях Эренбурга по стиховедению *(АЭ)*. Эренбург был редактором печатавшихся на гектографе «Сборников Мастерской художественного слова». В 1-м сборнике — его статья «О поэзии», стихи Н. Ушакова, С. Фридмана, Н. Прессман, Н. Даниловой.

Стр. 79. *Среди учеников студии был... Н. Н. Ушаков.* — Десять лет спустя поэт Н. Ушаков вспоминал: «В 1918—1919 гг. Киев сделался литературным центром. Против церкви «Всех скорбящих» на Сенном базаре поселился Илья Эренбург. Эренбург ходил в те времена в пальто, волочившемся по тротуарам, и в испанской широкополой шляпе. Он был не то католиком, не то православным. В комнате его на окнах, стульях и столах — всюду лежали сборники стихов... В «Хламе» подавали бифштексы и вина. Поэты просили, чтобы публика не звенела ложечками о стаканы. Эренбург читал по институтскому альбомчику о детях, играющих в революцию... Киев был на военном положении. Эренбурга неоднократно арестовывали за позднее хождение по улицам и неизменно отпускали как поэта. Он основал Мастерскую художественного слова, где читал главным образом сам, о чем придется, о детских стихах, об ассонансах, о благочестии и разбое Франсуа Вийона, о доброй любви протоиерея из Иты, о заговорах на зубную боль, о том, что Бальмонт похож на попугая и что невозможно читать Гумилева, так как достаточно уже одного Брюсова» (см. очерк «Киев и его окрестности». — В сб.: Ветер Украины. Киев, 1929, с. 121, 122). *...я встречал киевского поэта Владимира Маккавейского.* — Он был и художником-графиком; им выполнена обложка книги И. Эренбурга «Лик войны» (подготовлена в Киеве, напечатана в Софии в 1920 г.). *Что мумией легла Эллада...* — из сонета «Стилос Александрии» (см.: Маккавейский В. Стилос Александрии. Киев, 1918, с. 9). *Другим киевским поэтом... был Бенедикт Лившиц.* — Знакомство Эренбурга с Лившицем возобновилось в Петрограде в 1924 г.; тогда же Эренбург договорился, что Лившиц будет держать корректуру его сборника стихов «Не переводя дыхания».

Стр. 80. *...но для детей никогда не писал.* — Единственное исключение: 24 февраля 1919 г. Эренбург писал: «Печатается теперь книжка для детей «Заячья елка» — старые из «Детского» и несколько новых» (Минувшее, вып. 22, с. 308). Книжка эта не издана.

Стр. 82. *Там я иногда рассказывал Любе, молоденькой студентке... Ядвиге, Наде Хазиной...* — Ядвига Иосифовна Соммер (1900—1983) вспоминала: «Мы иногда встречались с И. Г. в греческом кафе на Софиевской улице... Мы сидели там часами, и он мне рассказывал. Как много он рассказывал! О своих друзьях — А. Н. Толстом, М. А. Волошине, Т. И. Сорокине, о жене своей Кате и дочери Ирине, о подругах: Лизе, Шанталь... О Пикассо я слышала и раньше, но име-

на Сутина, Шагала, Модильяни прозвучали для меня впервые, познакомил с русским философом Степуном, заинтересовал Хлебниковым... И. Г. читал мне очень много своих стихов, особенно любил цитировать «Пугачью кровь», «Судный день», «Молитву о России». Иногда читал чужие стихи — «Настанет день, печальный, говорят» М. Цветаевой, «Я не слыхал рассказов Оссиана», «Декабрист», «Я изучил науку расставанья» О. Мандельштама, «Марбург», «Коробка с красным померанцем» Б. Пастернака и др. Свои рассказы И. Г. облекал в стихотворную форму — такая импровизация длилась часами» (С о м м е р Я. Записки. — Минувшее, вып. 17. СПб., 1994, с. 131). Н. Я. Хазина-Мандельштам в первой книге воспоминаний писала: «В Киеве в мастерской Экстер какой-то заезжий гость... прочел частушки Маяковского о том, как топят в Мойке офицеров. Бодрые стишки подействовали, и я рассмеялась. За это на меня неистово набросился Эренбург. Он так честил меня, что я до сих пор чту его за этот разнос, а себя за то, что я, вздорная тогда девчонка, сумела смиренно его выслушать и на всю жизнь запомнить урок. Это произошло до моей встречи с О. М<андельштамом>, и ему уже не пришлось лечить меня от преступной антропофагии». *Наши внуки будут удивляться...* — первые строки стихотворения без названия (1919) (см. т. 1 наст. изд., с. 83 — 84).

Глава 12

Стр. 83. *Мне предстоит рассказать о нехорошем.* — Шесть месяцев, прожитых Эренбургом в Киеве при большевиках, были, как он пишет в начале предыдущей главы, не только порой надежд и порывов, но и временем смятений и крайностей. Именно поэтому Эренбург отнюдь не считал катастрофой приход в город белых. В сентябре — ноябре 1919 г. в газ. «Киевская жизнь» он напечатал 16 статей, достаточно полно отразивших его отношение к политическим событиям того времени. Эренбург разделял иллюзии той части русской интеллигенции, которая полагала, что для России возможен некий третий — между реставрацией прежнего режима и Советской властью — путь развития. Ради утверждения этого третьего пути Эренбург и выступал в печати против крайностей первого и второго: «Они говорят «интернационал», мы ответим «Россия». Это не сужение горизонта, не замыкание в интересы своей хаты. Мы знаем, что всечеловеческая правда познается по-особому каждой нацией, что можно перевести на все языки мира Данте или Пушкина, но нельзя написать «Бориса Годунова» на эсперанто... Мы видим западную Европу в тупике, внешне мощную, внутренне подточенную тяжким недугом, роковым материализмом, социальными противоречиями. Что даст Европе Россия, мы не знаем, но в ночи вспыхнет ее негаданный факел. Но только не тащите из сундуков изъеденных молью одежд, не рядите новорожденного в ветошь покойника. Любовь к России — это не презрение к Западу, и своя русская правда вовсе не опровергает республи-

канского строя. О высоком назначении России грезили не только Леонтьев и Тютчев, но и Пестель, и Герцен. История не круг, но спираль. Были — Россия — бабушка в византийском терему, Россия — мать в пышном платье, которую били по кроткому лицу немецкие сановники и титулованные проходимцы. Россию — дочь, новую, грядущую, неомраченную — мы дадим жаждущему миру» (14 (27) сентября 1919 г.). Когда в октябре 1919 г. к Киеву подошли красные, Эренбург вместе с тысячами киевлян ушел из города (см. его статью «Исход». — Киевская жизнь, 1919, 6 (19) октября) и вернулся, когда атака красных была отбита. Даже кровавые деникинские погромы не развеяли эти иллюзии. В статье «Еврейская кровь», написанной после погрома, Эренбург говорил, что лечить Россию нужно не кровью, но любовью: «Если бы еврейская кровь лечила — Россия была бы теперь цветущей страной. Но кровь не лечит, она только заражает воздух злобой и раздором. Слишком много впитала родная земля крови и русской и еврейской, теплой человеческой крови» (19 сентября (2 октября) 1919 г.). Отвечая Шульгину статьей «О чем думает «жид»», Эренбург писал: «Я пережил великую пытку, В. В. Шульгин, пытку страхом за беззащитных и обреченных. Никогда на фронте не испытывал я подобного, ибо там, рядом со мной, в окопах, были взрослые мужчины, а не грудные младенцы. Я все это пережил. Я не протестую, не уговариваю. Просто и искренно говорю — думал я в эти ночи о России... Научились ли евреи чему-нибудь за эти ночи? — спрашивает В. Шульгин. Да, еще сильнее, еще мучительнее научился я любить Россию... И теперь я хочу обратиться к тем евреям, у которых, как у меня, нет другой родины, кроме России, которые все хорошее и плохое получили от нее, с призывом пронести сквозь эти ночи светильники любви. Чем труднее любовь, тем выше она, и чем сильнее будем все мы любить нашу Россию, тем скорее, омытое кровью и слезами, блеснет под рубищами ее святое, любовь источающее, сердце» (9 (22) октября 1919 г.). Эта статья Эренбурга вызвала ряд решительных протестов (см., например, воспоминания С. Мстиславского. — Былое, 1925, № 1). С. Марголин писал в газ. «Жизнь» 14 (27) октября 1919 г.: «Мы слыхали проклятия русскому народу за «плетку» и «сапог» от Герцена и Чаадаева. И вдруг благословение, приятие, оправдание плетки от еврея, поэта Эренбурга... В эти дни еврей Эренбург забывает обо всем на свете, кроме любви к России, любви во что бы то ни стало, хотя это от психологии раба, но вовсе не от психологии сына великого народа и гордой страны» (Минувшее, № 22, с. 324—331). *Перец Маркиш написал... поэму о погроме в Городище...* — Поэма «Куча» (Екатеринослав, 1920); не включалась ни в одно посмертное издание Маркиша на русском языке.

Стр. 84. *Я решил пробраться в Коктебель...* — Вместе с И. Эренбургом и Л. М. Козинцевой ехала довольно большая группа (О. Э. и А. Э. Мандельштамы, И. М. Рабинович, киевский поэт В. Гуревич с женой и др.); как свидетельствует Я. И. Соммер, Эренбург тщательно организовал поездку, добился отдельного вагона. В Харькове Эрен-

бург задержался, чтобы повидать отца, затем отправился в Ростов, где его ждали Мандельштамы, а из Ростова на пароходе «Возрождение» отплыли в Крым (Минувшее, № 17, с. 137—140). В Ростове Эренбург опубликовал несколько антибольшевистских статей в газете «Донская речь».

Стр. 86. *Пегас в столовую вступил...* — Строки из книг А. Посажного «Эльбрус» и «Песни машин» Эренбург приводит по тексту статьи «Черные гусары» (1932) (см.: *ЗР*, с. 166—171).

Стр. 87. *Попадались среди «добровольцев» люди случайные, наивные романтики...* — В черн. варианте абзац кончался словами: «Таким был Сережа Эфрон, о котором я упоминал» *(ФЭ)*.

Глава 13

Стр. 88. *...это были Стамовы.* — Семью Стамовых Эренбург запомнил на всю жизнь. 18 июля 1923 г. он писал из Берлина уехавшей в Коктебель М. М. Шкапской: «Еще просьба: найдите в деревне крестьян: Марию Васильевну и Гаврилу Стамова и передайте им от меня горячий привет. Они были с нами очень добры, и я часто вспоминаю их». Отметим, что Г. Д. Стамов изображен в романе В. В. Вересаева «В тупике» под именем Афанасия Ханова.

Стр. 90. *Волною прямых лоснящихся волос...* — из стихотворения «Над головою подымая...» (см.: Волошин М. Стихотворения и поэмы. СПб., 1995, с. 175).

Стр. 91. *В. В. Вересаев так писал...* — в «Автобиографии» (см.: Советские писатели. Автобиографии, т. 1. М., 1959, с. 234).

Стр. 92. *...в наш флигелек начал заглядывать Волошин...* — Коктебельская жизнь Эренбурга кончилась ссорой с Волошиным (перед тем произошла ссора с его матерью по причинам сугубо бытовым). В архиве Волошина сохранилась копия его письма Эренбургу: «Дорогой Илья Григорьевич, твое пребывание в Коктебеле кончилось тем, что я ожидал давно: ссорой со мной. С начала года я чувствовал, что раздражаю тебя всем строем своей души, понимал опасность и старался реже видеться... Я тебя в свое время принял и полюбил со всеми колючими, резкими и нетерпимыми сторонами. При мне не раз они обращались на других. Из-за того, что сейчас они обращены на меня, я не изменю моих отношений к тебе... Когда теперешнее наваждение пройдет, ты всегда найдешь во мне прежнюю действенную любовь. Что оно со временем пройдет, я не сомневаюсь, но, зная тебя, думаю, что не скоро» (ИРЛИ, ф. 562, ед. хр. 1339). В этом последнем Волошин оказался прав. В письмах Эренбурга 20-х гг. встречаются иронические слова о Волошине. В 1935 г. в *КдВ* Эренбург писал о Волошине: «Этот человек остался для меня загадочным» (см.: т. 3 наст. изд., с. 481). Только в мемуарах Эренбург написал о нем с глубокой теплотой.

Стр. 93. *...меня ждал главный собеседник — ...Сфинкс...* — Вспоминая Коктебель 1920 г., Я. И. Соммер писала: «И. Г. был занят на-

пряженной внутренней работой — переоценкой ценностей. Главный удар по его прежним политическим убеждениям нанес Сергей Эфрон. Он заехал в Коктебель еще зимой или ранней весной. Я очень помню этот вечер. Он сидел с И. Г. возле стола, а мы с Любой в другом конце комнаты расположились на кровати, вытянув ноги и опершись о стену. Эфрон рассказывал несколько часов о белой армии. О страшном ее разложении, о жестоком обращении с пленными красноармейцами, приводил множество фактов. Он хорошо знал, что представляет собой эта «Лебединая стая». Чувствовалось, что все его мировоззрение рушилось, что человек опустошен и не знает, как будет жить дальше. Мы разошлись молчаливые и подавленные» (Минувшее, вып. 17, с. 145—146). *Рожденный вчера, люблю я вчерашнюю мудрость...* — из стихотворения «Я в мир пришел накануне» (см.: Эренбург И. Раздумия. Пг., 1922, с. 26). *Распухла с голоду, сочатся кровь и гной из ран отверстых...* — из стихотворения «России» (см. т. 1 наст. изд., с. 86).

Глава 14

Стр. 95. *Мне на плечи кидается век-волкодав...* — из стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков», впервые приведено И. Эренбургом (см.: Мандельштам О. Собр. соч. в 4 т., т. 3. М., Арт-бизнес-центр, 1994, с. 46. — Далее по этому изданию указываются названия цит. стихов).

Стр. 96. *Восходишь ты в глухие годы...* — из стихотворения «Сумерки свободы». *Не гадают цыганочки кралям...* — из стихотворения «Как по улицам Киева-Вия...», впервые приведено Эренбургом. *Пусти меня, отдай меня, Воронеж...* — Четверостишие Мандельштама впервые напечатано Эренбургом. *...я его видел весной 1938 года в Москве.* — Тогда Эренбург подарил Мандельштаму кожаное пальто, в котором тот был арестован и в котором его запомнили в лагере. *Был он маленьким, щуплым...* — Н. Я. Мандельштам писала: «Эренбург, кстати, выдумал, что О. М. был маленького роста... Вероятно, И. Г. запомнил крымского О. М., истощенного тяжким голодом» (Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1989, с. 293); но вот свидетельство 1933 г.: «Мандельштам невысок, тощий» (Гинзбург Л. Я. За письменным столом. Л., 1989, с. 143).

Стр. 97. *Он говорил о Данте...* — из «Разговора о Данте» (см.: Мандельштам О., т. 3, с. 219). *Я изучил науку расставанья...* — из стихотворения «Tristia». *«Чайковского об эту пору...»* — из книги «Шум времени» (см.: Мандельштам О., т. 2. с. 364).

Стр. 98. *Художник нам изобразил...* — из стихотворения «Импрессионизм». *Я молю, как жалости и милости...* — начало стихотворения без названия; впервые приведено И. Эренбургом. *Размышления о прекрасной «детскости» итальянской фонетики...* — Мандельштам писал: «Когда я начал учиться итальянскому языку и чуть-

чуть познакомился с его фонетикой и просодией, я вдруг понял, что центр тяжести речевой работы переместился: ближе к губам, к наружным устам. Кончик языка внезапно оказался в почете. Звук ринулся к затвору зубов. Еще что меня поразило — это инфантильность итальянской фонетики, ее прекрасная детскость, близость к младенческому лепету, какой-то извечный дадаизм» (Мандельштам О., т. 3, с. 218). Эренбург цитировал еще не опубликованное стихотв. «Разговор о Данте», выступая 28 октября 1965 г. в Париже во Дворце ЮНЕСКО на вечере, посвященном 700-летию Данте (см. т. 6 наст. изд. — «Данте — величие поэзии»). «Разговор о Данте» был напечатан в СССР в 1967 г.; даря книгу вдове Эренбурга, Н. Я. Мандельштам написала: «Любе Эренбург — эту книжку, за выход которой так боролся Илья Григорьевич» *(АЭ). «По целому ряду исторических условий...»; «Бальмонт, самый нерусский из поэтов...»; «Андрей Белый — болезненное и отрицательное явление...»* — из статьи «О природе слова» (Мандельштам О., т. 1, с. 217—231).

Стр. 99. *На тебя надевали тиару...* — из стихотворения «Голубые глаза и горячая лобная кость...»; впервые приведено И. Эренбургом. *...он написал статью о Франсуа Вийоне...* — Ст. «Франсуа Виллон» (Мандельштам О., т. 1, с. 169—176). Сохранился экземпляр сборника переводов И. Эренбурга из Вийона (1916), посланный Мандельштаму (см.: Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., 1989, № 2629; надпись на книге: «Поэту Мандельштаму. И. Эренбург. 1916»). *Мандельштам писал о Данте...* — См.: Мандельштам О., т. 3, с. 224. *Статья написана была молодым критиком...* — Имеется в виду А. К. Тарасенков (Лит. энциклопедия, т. 6. М., 1932, стлб. 756—759).

Стр. 100. *Пора вам знать...* — из стихотворения «Полночь в Москве». *Я вернулся в мой город...* — первая строка стихотворения без названия. *Я все отдам за жизнь...* — из стихотворения «Кому зима — арак и пунш голубоглазый». *Колют ресницы...* — первая строка стихотворения без названия; впервые приведено И. Эренбургом. *...ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов...* — Имеется в виду Василий Лаврентьевич Меркулов (1908—1980) — доктор биологических наук, солагерник Мандельштама, работавший после освобождения агрономом; Меркулов вспоминал последнюю встречу с Мандельштамом в лагере: «Когда мы прощались, он взял с меня слово, что я напишу И. Эренбургу. «Вы человек сильный. Вы выживете. Разыщите Илюшу Эренбурга. Я умираю с мыслью об Илюше. У него золотое сердце» (Минувшее, № 8. Париж, 1989, с. 368). Другой солагерник Мандельштама, Ю. И. Моисеенко, вспоминает его слова, сказанные в ноябре 1938 г.: «Мне бы Илью Григорьевича разыскать. Если бы он знал, что я здесь, он бы меня отсюда вытянул» (Известия, 29 мая 1992). О письмах с рассказами о последних днях Мандельштама, полученных Эренбургом после выхода его мемуаров, см.: Наше наследие, 1988, № 6, с. 98—99. Имея в виду рассказ В. Л. Меркулова, Н. Я. Мандельштам писала Эренбургу: «Я поняла про твой портрет на плакате.

Это то, что увидел Пикассо. Это то, что понимал Ося в тебе, а следовательно, и я. Доказательство у тебя было — если б не это представление, он не назвал бы тебя перед смертью» *(АЭ)*. О смерти Мандельштама Эренбург узнал от друзей по возвращении в Москву в 1940 г. (еще 19 февраля 1939 г. М. М. Шкапская писала Е. Г. Полонской: «Знаете ли Вы, что умер Мандельштам?»). В его записной книжке 1940—1941 гг., куда он переписал «Когда погребают эпоху...» Ахматовой и «Мне на шею кидается век-волкодав...» Мандельштама, после стихов Ахматовой написано «О. Э. мертв» (*ФЭ*, ед. хр. 388, л. 7). В записях 1941 г. упоминается Мандельштам (Москва, 21 января: «Вечером Савы, Длигач. Как читал О. Э.»; Куйбышев, 14 ноября: «Рассказ об О. Э. — сумасшедший, сгорел сам собой»). Запись 25 января 1942 г.: «зек О. Э. ...Убит голодом».

Стр. 101. *Не мучнистой бабочкою белой...* — начало стихотворения без названия; впервые приведено И. Эренбургом.

Глава 15

Впервые — Лит. Грузия, 1961, № 1.

Глава 16

Впервые — Лит. Грузия, 1961, № 1.

Стр. 107. *Не я пишу стихи...* — начало стихотворения без названия, пер. Б. Пастернака (см.: Т а б и д з е Т. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1964, с. 158).

Стр. 108. *...скажу словами Гурама Асатиани...* — См.: А с а т и а н и Г. Тициан Табидзе. Тбилиси, 1958, с. 65. *Не бойся сплетен. Хуже — тишина...* — из стихотворения «Обновление», пер. Б. Пастернака (см.: Я ш в и л и П. Стихи. Тбилиси, 1968, с. 53). *...мы были первыми советскими поэтами... в Тбилиси...* — 26 сентября 1920 г. в Тифлисе в зале Консерватории состоялся поэтический вечер О. Мандельштама и И. Эренбурга, который открыл Г. Робакидзе; затем Эренбург прочел доклад «Искусство и новая эра» и стихи из книги «Огонь», а Мандельштам — стихи из «Камня» и новые стихотворения; в заключение стихи Мандельштама и Эренбурга читал Н. Н. Ходотов (см.: Грузия, 1920, 26 сентября). *Я писал после поездки в Грузию...* — из очерка «Грузия» (см.: *БУ*, с. 113).

Глава 17

Стр. 113. *...огорчил нас инцидент с Мандельштамом.* — По словам Н. Я. Мандельштам, ссора Мандельштама с Блюмкиным произошла еще в 1918 г.; после этого Мандельштам добился приема у

Дзержинского, настояв на отмене расстрела заложников по плану Блюмкина. С тех пор Блюмкин угрожал Мандельштаму расправой. Свидетелем одной из таких сцен и оказался Эренбург в 1920 г.

Глава 18

Стр. 114. *Средь мишуры былой и слов убогих...* — из стихотворения «Кому предам прозренья этой книги» (1921) (см. т. 1 наст. изд., с. 91).

Стр. 115. *...неожиданно меня освободили.* — И. Эренбург был освобожден благодаря вмешательству Н. И. Бухарина, к которому обратилась за помощью Л. М. Козинцева-Эренбург.

Глава 19

Впервые под названием «Воспоминания о Мейерхольде» — Театр, 1961, № 2.

Стр. 120. *Я писал в 1921 году...* — Разыскать эту публикацию не удалось; приехав в Ригу, Эренбург 29 марта 1921 г. выступил с докладом «Жизнь искусства в Советской России», где, в частности, сказал: «Большим событием в жизни театральной Москвы явилась постановка «Зорь» Верхарна Мейерхольдом» (Голос России, Берлин, 1921, 7 апреля). *...Маяковский кончил свою речь на диспуте...* — Имеется в виду выступление 22 ноября 1920 г. в Театре РСФСР Первом (Маяковский В. ПСС, т. 12, с. 244—248). *Пышноголового Мольера...* — из стихотворения «К огню вселенскому» (Багрицкий Э. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1964, с. 310). *Всеволод Эмильевич предложил мне переделать мой роман...* — Это не первое обращение Мейерхольда к произведениям Эренбурга. В 1921 г. было объявлено о постановке Мейерхольдом в Театре революционной сатиры («Теревсат») пьесы Эренбурга «Светопреставление» (сатира на Лигу Наций) в декорациях Г. Якулова (см.: Театральная Москва, 1921, ноябрь, № 1, с. 5), однако постановка не состоялась. Последняя, также не реализованная, совместная работа с Мейерхольдом — инсценировка Эренбургом романа А. Мальро «Условия человеческого существования» (см.: Сов. театр, 1935, № 1, с. 11). *...в театральном журнале... появилась статья...* — «Необычайные похождения И. Эренбурга» за подписью Momus (см.: Зрелища, 1924, № 77, с. 4—5). *В марте 1924 я написал ему...* — Письмо Эренбурга напечатано в журн. «Новый зритель» (1924, № 18, с. 16—17); ответ Мейерхольда там же; перепечатан в кн.: Мейерхольд Вс. Переписка. М., 1976, с. 231—232. Ссора с Мейерхольдом из-за спектакля «Д. Е». очень задела Эренбурга; 10 апреля 1924 г. он написал М. М. Шкапской: «Злодей Мейерхольд, несмотря на все мои беснования, ставит «Д. Е.». Его убить я не могу. Себя — жалко».

Стр. 121. *За меня неожиданно вступился Маяковский...* — Имеется в виду его выступление на диспуте о постановке «Д. Е.» 18 июля 1924 г. (Маяковский В. ПСС, т. 12, с. 472).

Стр. 122. *...он рвал с «Сестрой Беатрисой» и с «Балаганчиком»* — спектакли, поставленные Мейерхольдом в 1906 г. в театре В. Ф. Комиссаржевской по пьесам Метерлинка и Блока.

Стр. 124. *...Андрей Белый... выступил со страстной защитой этого спектакля.* — См.: Белый А. Гоголь и Мейерхольд (в одноименном сб. изд. «Никитинские субботники». М., 1927). *...когда спектакль кончился... устроили овацию...* — «В Париже неслыханный успех и умолчание у нас! — рассказывал Эренбург в 1959 г. — Тогда же они <Мейерхольд и Райх> наперебой увлеченно читали мне «Самоубийцу» Эрдмана. Всеволод Эмильевич надеялся поставить пьесу... Постановку Мейерхольд осуществил два года спустя, но ее запретили — действовали бесцеремонно» (Театр, 1989, № 1, с. 112). *...Александр Александрович в тоске сказал «эх»...* — По свидетельству К. Зелинского, еще в январе 1939 г. Сталин дал Фадееву показания арестованных М. Кольцова и комкора Белова о шпионской деятельности Мейерхольда и сказал: «Мейерхольда, с вашего позволения, мы намерены арестовать». «Каково мне было потом встречаться с Мейерхольдом, — говорил Фадеев Зелинскому. — Его арестовали только через пять месяцев после этого случая. Он приходил в Союз, здоровался со мной, лез целоваться, а я знал про него такое, что не мог уже и смотреть на него» (*ВЛ,* 1989, № 6, с. 161).

Стр. 125. *В 1911 году нововременец Меньшиков возмущался...* — Цит. по кн.: Волков Н. Д. Мейерхольд, т. 2. М.—Л., 1929, с. 163. «Письмо ближнему» Меньшикова, — по оценке Волкова, — защищало со всем погромным пылом «культуру» предков от инородцев императорских театров, которые, на взгляд Меньшикова, возвеличивали поляков (полонез в «Борисе Годунове») и половцев (половецкие танцы в «Князе Игоре») и, наоборот, уродовали русскую сторону» (там же, с. 164). *Вахтангов писал...* — См. сб.: Евгений Вахтангов. М., ВТО, 1984, с. 333. *...в августе 1930 года он писал мне...* — Письмо Мейерхольда от 27 августа 1930 г. (копия в архиве Мейерхольда — РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 85, л. 2—4).

Стр. 126. *Театр Мейерхольда был уже закрыт.* — Приказ Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР «О ликвидации Театра им. Вс. Мейерхольда» (состоявший из трех пунктов: 1) Ликвидировать Театр им. Вс. Мейерхольда как чуждый советскому искусству; 2) Труппу театра использовать в других театрах; 3) Вопрос о возможности дальнейшей работы Вс. Мейерхольда в области театра обсудить особо) был напечатан в «Правде» 8 января 1938 г. *...копия письма Всеволода Эмильевича жене...* — См.: Мейерхольд Вс. Переписка, с. 350—351. *...в июне 1939 года Мейерхольд был арестован в Ленинграде...* — Его сестра, Л. Э. Мейерхольд, в 1961 г. писала Эренбургу: «В. Э. пал жертвой незаслуженной клеветы и репрессий в период культа личности Сталина. После допросов и пыток

его приносили в камеру на носилках без сознания. 2 февраля 40 г. он был расстрелян. А было объявлено о высылке В. Э. на 10 лет без права переписки» *(АЭ). В 1955 году молодой прокурор...* — Имеется в виду прокурор Главной военной прокуратуры Б. В. Ряжский; впоследствии он вспоминал: «В деле указано, что во французскую разведку Мейерхольда завербовал Эренбург... Стал я проверять. Смотрю: И. Эренбург — депутат Верховского Совета, французская разведка само собой отпадает... Эренбургу я позвонил домой, приехал, привез дело, сказал, что обвинения Мейерхольда в шпионаже отпадают. О том, что якобы это он, Эренбург, завербовал Всеволода Эмильевича во французскую разведку, говорить не стал. Но Эренбург спросил: «Наверное, и я там где-нибудь прохожу?» Целый день я у него просидел, о многом он рассказал...» (см.: Театральная жизнь, 1989, № 5, с. 9). В 1955 г. И. Эренбург как депутат Верховного Совета СССР направил в Главную военную прокуратуру заявление о необходимости реабилитации Мейерхольда (см.: там же, с. 12); в том же году Мейерхольд был реабилитирован.

Глава 20

Стр. 127. *Я получал паек...* — В черн. варианте: «Я, например, за полгода только три раза поел досыта: у драматурга-краснофлотца в «Лоскутной», у жены председателя Моссовета (его в шутку товарищи звали лорд-мэром) и у моей парижской знакомой Л. Н. Мямлиной, которая жила в «Национале» (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 1, ед. хр. 35, л. 28). *Давным-давно я описал в журнале «Прожектор»...* — Имеется в виду очерк «О штанах, полушубке, о душистом горошке» (см.: Прожектор, 1928, № 2). *...со мною работали поэтесса Ада Чумаченко...* — Сохранилась рукописная книга И. Эренбурга «Блузник» (ноябрь 1920 г.) с дарственной надписью: «Аде Чумаченко de grand coeur И. Эренбург. 1921. «ТЕО» Великий Пост» (ОР РГБ).

Стр. 128. *Случайно я встретил одного из товарищей...* — Речь идет о Н. И. Бухарине, давшем Эренбургу записку к председателю Моссовета Л. Б. Каменеву.

Стр. 131. *Что сегодня, гражданин, на обед?..* — из стихотворения В. Зоргенфрея «Над Невой» (см.: Дом искусств, № 2. Пб., 1921, с. 31—32). *Гвозди б делать из этих людей...* — из «Баллады о гвоздях» Н. С. Тихонова.

Глава 21

Стр. 132. *...слова В. И. Ленина, написанные им в феврале 1921 года...* — из ст. «О работе Наркомпроса» (см.: Ленин В. И. ПСС, т. 42, с. 330). *Появилась молоденькая Наташа Сац...* — Н. И. Сац вспоминала: «Детским подотделом Театрального отдела Наркомпроса заведовал в то время Илья Григорьевич Эренбург. Он си-

дел со своими сотрудниками в большой комнате на втором этаже. Когда ни зайди, все за своими столами, посетителей очень мало... «Мы — руководящая организация, а вы — практики», — сказала мне как-то сотрудница Эренбурга С. А. Малиновская... Значительно позже я поняла, какой многогранный, принципиальный и талантливый человек И. Г. Эренбург, какой он интересный собеседник, тогда же меня поражало, что он почти не разжимает рта, точно держать сигару его главная забота. Меня поражало, что он часами накапливающе-наблюдательски мог молчать, даже тогда, когда к нему приходили на прием посетители» (С а ц Н. Дети приходят в театр. М., 1961, с. 98, 99).

Стр. 134—135. *Мейерхольд поставил... «Озеро Люль», Таиров — «Человека, который был четвергом»* — спектакли по пьесам А. Файко и Г. Честертона.

Стр. 136. *Провижу грозный город — улей...* — из 2-го стих. цикла «Московские раздумья» (испр. автором) (см.: Э р е н б у р г И. Раздумия. Пг., 1922, с. 40—41).

Глава 22

Стр. 140. *«Погиб лучший мой, честный...»* — См.: Д у р о в В. Л. Дрессировка животных. Психологические наблюдения над животными, дрессированными по моему методу (сорокалетний опыт). Новая зоопсихология. М., 1924, с. 96. Далее цитируется указанное издание. *...я часто видался с Владимиром Леонидовичем...* — В. Г. Лидин вспоминал: «В голодные годы начала революции Эренбург дружил с Владимиром Дуровым, писал для его животных какие-то интермедии, а однажды Дуров заехал за ним в Проточный переулок, где Эренбург в те годы жил, в сани был впряжен верблюд, на которого, вытаращив глаза, смотрели московские жители, а про одну богомольную старушку пустили слух, будто она сказала: «Что большевики с лошадью сделали!» Впоследствии мы побывали с Эренбургом в этом уголке его молодости. В уголке жил старый, умевший произносить слова ворон, и Эренбург несколько минут постоял возле ворона и поговорил с ним. — Вы ничего не понимаете, — сказал он, когда я поинтересовался, о чем они побеседовали. — Это мыслитель» (*НМ,* 1979, № 6, с. 65).

Глава 23

Стр. 145. *Он подарил мне свою книгу...* — Е с е н и н С. Голубень. Пг., 1918 (собрание И. И. Эренбург).

Стр. 146. *Приемлю все...* — из стихотв. С. Есенина «Русь советская» (Е с е н и н С. Собр. соч. в 5 т. М., 1961—1962, т. 2, с. 171. Далее цитаты приводятся по этому изданию; указываются названия цит. стихов). *О. если б вы понимали...* — из стихотв. «Исповедь хулигана».

Стр. 147. *Я хочу быть желтым парусом...* — из стихотворения «Исповедь хулигана»; *Ну кто ж из нас на палубе большой...* — из стихотворения «Письмо к женщине».

Стр. 148. *Он писал в письмах...* — из писем А. Б. Мариенгофу и А. М. Сахарову (1922) (см.: Есенин С., т. 5, с. 161, 166, 158). *...он попытался сделать выводы...* — из «Автобиографии» (там же, с. 18). *Не каждый умеет петь...* — из стихотворения «Исповедь хулигана».

Стр. 149. *Хорошо им стоять и смотреть...* — из 4-го стихотворения цикла «Сорокоуст»; *Кого позвать мне?..* — из стихотворения «Русь советская»; *Ах, увял головы моей куст...* — из стихотворения «Хулиган»; *И уже говорю я не маме...* — из стихотворения «Все живое особой метой».

Стр. 150. *«Я пришел, как суровый мастер...»* — из стихотворения «Исповедь хулигана». *«Эта весть больна и тяжела...»* — из заметки «В. Я. Брюсов» (см.: Есенин С., т. 5, с. 81).

Стр. 151. *В Берлине несколько раз я встречал его с Айседорой Дункан.* — В мае 1922 г. Эренбург описывал своим адресатам приезд Есенина с Дункан в Берлин (М. М. Шкапской: «Прилетел на аэроплане Есенин с Дункан. Произвел большой «Бум». Если б не возраст (см. «Суждения Учителя о земной любви»), все было бы великолепно». Г. Издебской: «Прилетел Есенин с Дункан (в России прозвана «Дунька-коммунистка»). Изумительный roman d'aventure. Лучше Стивенсона (15 лет тому назад он пас коров). Едет с ней в Америку — ангажемент ему 5000 долларов в месяц. Объясняются друг с другом жестами». — Russian Studies. СПб., 2000, т. III, № 2). В берлинских статьях 1921—1922 гг. Эренбург резко протестовал против травли Есенина эмигрантской прессой. *Как не любить мне вас, цветы?..* — из 2-го стихотворения цикла «Цветы».

Глава 24

Стр. 154. *...декадентский «Некто в сером»* — персонаж спектакля по пьесе Л. Андреева «Жизнь Человека». *...один из режиссеров по бумажке еще припоминал его былые заблуждения...* — Имеется в виду Ю. А. Завадский. Директор ЦДРИ писал о панихиде по А. Я. Таирову, состоявшейся 28 сентября 1950 г. в ЦДРИ: «В час дня у изголовья встали старейшины русского театра — А. Яблочкина и Е. Турчанинова. Вместе с ними почетный караул несли И. Козловский и И. Эренбург. Зал был переполнен. Суетливо. Много венков. Печальный обряд прощания. И в конце горячее искреннее слово Ильи Эренбурга о том, что «у праха художника забываются творческие споры» (Филиппов Б. Записки домового. М., 1989, с. 308). Вот другое воспоминание о панихиде по Таирову: «Были речи, были слезы. Наконец, наступила какая-то непонятная пауза... Я спросила у А. М. Эфроса о причине заминки. Он ответил: «Ждут Эренбурга». Буквально на этих словах я услыша-

ла шаги. К гробу Таирова подходил Эренбург. Он был насуплен, в глазах скорбная сосредоточенность. Постояв у изголовья умершего, он, не поднимая головы и не глядя ни на кого, довольно громко сказал: «Таиров не умер. Его убили». Эти слова прозвучали как откровение. Может быть, поэтому не запомнилось ничего, что было сказано потом писателем о режиссере, о его поисках революционного театра. Помню, что слова Эренбурга звучали жестко, точно. Закончив, он несколько секунд вглядывался в мертвое лицо Таирова и так же поспешно, как и пришел, удалился» (Театр, 1992, № 4, с. 110—111).

Стр. 155. *А. В. Луначарский, восхищаясь постановкой «Федры», писал...* — См. статью «Федра» в Камерном театре» (1922). — Луначарский А. В. Собр. соч., т. 3. М., 1964, с. 111. *...я увидел Алису Коонен в «Федре»* — во время берлинских гастролей Камерного театра в 1922 г.; после спектакля Эренбург писал М. М. Шкапской: «Поглядев Коонен в Федре, решил во что бы то ни стало написать для Камерного Театра трагедию». *Я бывал на гастролях Камерного театра в Париже, в Берлине...* — Таиров рассказывал в ЦДРИ 17 апреля 1948 г.: «Это было в 1925 году, когда театр гастролировал в Париже, где мы с Эренбургом довольно часто встречались. Я настаивал на том, чтобы он написал пьесу. Он, по обыкновению, говорил, что писать пьесу не собирается, и все же написал пьесу-шутку... Каждый писатель должен обладать даром предвидения. Эренбург обладает этим в очень большой степени. Он написал свою шутку, в которой действие происходит в одной из республик Южной Америки, куда приехал на гастроли Камерный театр. Шла пьеса «Жирофле-Жирофля». Во время спектакля по пьесе происходит путч, спектакль был прекращен, и актеры вышли на улицу в костюмах и гримах. Их приняли за переодетых большевистских агентов. Происходит кви про кво (одно вместо другого — лат. — *Б. Ф.*), и все кончается благополучно. Вы спросите, в чем предвидения Эренбурга? Вот в чем. Через пять лет после того наш театр действительно гастролировал в Буэнос-Айресе, и действительно во время этого произошел путч, и мы действительно, не окончив спектакля, вышли на улицу. Произошло кви про кво, которое кончилось так же благополучно, как это было в пьесе Эренбурга» (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 274). 17 апреля 1963 г. Эренбург рассказывал об этой пьесе: «Это была пьеса о труппе Камерного театра, где каждый должен был играть себя. Они на гастролях в одной из стран Латинской Америки — вдруг там происходит революция и советские актеры играют в ней незапланированные роли. Мейерхольд был бы рад этой пьесе, но у нас с ним были раздоры, а Таиров испугался пьесы» (записано Е. И. Ландау. — *СК*). Рукопись пьесы погибла вместе с парижским архивом Эренбурга. Судьба второй пьесы — «Лев на площади», — написанной в трудную для Камерного театра пору (и тоже по просьбе Таирова), оказалась более удачной — пьеса была поставлена Таировым в оформлении Р. Р. Фалька (премьера 24 марта 1948 г.). *...до «Госпожи Бовари», поставленной в эпоху упадка...* — На спектакль

Эренбург откликнулся рецензией «Алиса Коонен — Эмма Бовари»: «Найдется ли в Москве на Тверском бульваре хотя бы один зритель, который, глядя на гибель Эммы Бовари, не вспомнит сухих газетных телеграмм, прошлым летом рассказывавших о конце старой Франции?» Рецензия заканчивалась примечательно: «Алиса Коонен еще ждет своей роли, и, может быть, мы ее увидим как героиню патриотической и революционной трагедии грядущих священных боев» (*ВМ*, 1941, 28 мая).

Стр. 156. *В давней книге... Таиров писал...* — Таиров А. Записки режиссера. М., 1921 (см.: Таиров А. О театре. М., 1970, с. 96).

Глава 25

Стр. 157. *...я рассказал про это моему давнему другу...* — Имеется в виду Н. И. Бухарин.

Стр. 159. *...смятение... нашедшее свое выражение в статьях Горького.* — Речь идет о статьях, печатавшихся в 1917—1918 гг. в газ. «Новая жизнь» и составивших книгу «Несвоевременные мысли». *...В. И. Ленин обратился к комсомольцам с такими словами...* — из речи «Задачи Союзов молодежи» на III съезде комсомола (см.: Ленин В. И. ПСС, т. 41, с. 305).

Стр. 161. *В пьесе Юрия Олеши...* — «Список благодеяний» (1931).

Стр. 162. *Наживу себе беду...* — Эту частушку Эренбург впервые привел в «Хулио Хуренито» (см. т. 1 наст. изд., с. 417). *Год спустя он написал статью...* — «Свобода книги и революция» (см.: Луначарский А., т. 7, с. 241—242).

Стр. 163. *Но грустно мне, что мы утратим цену...* — из стихотворения «Не странно ли, что мы забудем все» (см.: Полонская Е. Избранное. М., 1966, с. 39). *...я напечатал в «Комсомольской правде» письмо...* — Ст. «Ответ на одно письмо» (см.: Комсомольская правда, 1959, 2 сентября). *...к трагедии Глезоса...* — Манолис Глезос — национальный герой Греции, сорвавший фашистский флаг с Акрополя во время гитлеровской оккупации; впоследствии преследовался греческими властями за свои политические убеждения.

Стр. 164. *...Чехов говорил, что дело писателя — вступаться за человека.* — Речь идет о письме Чехова А. С. Суворину от 6 (18) февраля 1898 г., написанном в связи с выступлением Золя в защиту Дрейфуса.

Глава 26

Стр. 165. *...купил мой сборник стихов «Раздумья».* — Эренбург И. Раздумия. Рига, 1921; в конце сборника помещен перечень вышедших книг Эренбурга. Среди них (с примечанием «готовится»)

указана книга «Жизнь и учение Хулио Хуренито», еще не написанная, но уже давно обдуманная писателем.

Стр. 166. *...Да, страна моя, не зная меры...* — из стихотворения «Скрипки, сливки, книжки, дни, недели...» (см. т. 1 наст. изд., с. 92).

Стр. 168. *Меня увлекла новая книга Блеза Сандрара...* — Эренбург опубликовал в журн. «Прожектор» (1924, № 8, с. 29—32) перевод этой книги, озаглавив его «Фильма, снятая ангелом Собора Парижской Богоматери».

Стр. 169. *Не знаю в точности причин моей высылки.* — 27 мая 1921 г. газ. «Общее дело» поместила заметку «Высылка из Франции И. Г. Эренбурга»: «Вчера, в 1 час дня, чины французской полиции явились в отель Денис (ул. Монпарнас) к русскому поэту-журналисту И. Г. Эренбургу и объявили ему о немедленной высылке из пределов Франции. Эренбург был арестован и не имел возможности хлопотать о выяснении причин высылки и хотя бы о временной отсрочке для устройства своих дел. Вечером того же дня Эренбург был посажен в вагон ж. д. и выслан на бельгийскую границу. Высылка эта, очевидно, результат какого-то недоразумения... Высылка его, во всяком случае, непонятна по той поспешности, которой она сопровождалась. Лица, знающие И. Г. Эренбурга, предпринимали меры для выяснения этого дела».

Глава 27

Стр. 171. *Ее звали Марусей.* — Мария Марковна Милославская; в книге «Архив А. М. Горького», т. VIII (М., 1960) напечатаны два письма к ней Горького.

Стр. 172. *...он писал роман «Басс-Бассина-Булу»...* — Роман написан в 1920 г.; его русский перевод (выполнен, видимо, М. М. Милославской) вышел в Берлине в 1922 г. под редакцией И. Эренбурга. *...письмо Горького об этой книге...* — Письмо от 17 декабря 1922 г. (см.: Архив А. М. Горького, т. VIII, с. 91). *...в другом письме Горький вспоминал глаза Элленса...* — 11 декабря 1925 г. (т а м ж е, с. 97).

Стр. 174. *«Хулио Хуренито» я написал за один месяц...* — Лев Лунц в рецензии на «Хулио Хуренито» (альм. «Город». Пб., 1923, с. 101 — 102) писал, что роман написан за два месяца; Эренбург в письме М. М. Шкапской от 31 марта 1923 г. заметил: «Я читал заметку Лунца о «Хуренито» в «Городе» и был польщен. Все мои грехи там ровно вдвое умалены: я писал эту книгу не два месяца, а 28 дней». *...мой роман — подражание «Кандиду».* — «Роман развертывается по «Кандиду» Вольтера, — писал В. Шкловский в «ZOO», — правда, с меньшим сюжетным разнообразием. В «Кандиде» хорошо сюжетное кольцо: пока ищут Кунигунду, она живет со всеми и стареет. Герою достается старуха, вспоминающая о нежной коже болгарина. Этот сюжет, вернее, критическая установка на то, что

«время идет» и измены совершаются, обрабатывался еще Боккаччо... У Эренбурга есть своя ирония, рассказы и романы его не для елизаветинского шрифта» (см.: Шкловский В. Собр. соч., т. 1, с. 221—222). Первым сравнил «Хуренито» с «Кандидом» А. Вольский (Накануне, 1922, 1 апреля).

Стр. 175. *Я написал много книг и далеко не все из них люблю.* — В черн. варианте далее: «Самое неприятное, что может приключиться с писателем, — обкрадывание самого себя; пожалуй, это хуже слепого подражания другим; и в этом я часто бывал повинен. Зачем после «Хулио Хуренито» я написал «Трест Д. Е.»? Ведь я продолжал там, где нужно было остановиться. «Не переводя дыхания» — дурная копия «Дня второго». «Девятый вал» ненужное и слабое продолжение «Бури». В общем, я написал слишком много книг; добрую половину я с удовольствием уничтожил бы (среди них несколько тех, что хвалят и переиздают)» (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 82, л. 136).

Стр. 176. *...«напостовцы» называли «Хуренито»... клеветой...* — См., например: Волин Б. «Клеветники» (На посту, 1923, № 1), «Клеветник или скептик-упадочник?» (Бюлл. лит. и жизни, 1923, № 2). *...номер «Нового мира», вышедший тридцать пять лет назад...* — Евдокимов Иван. Илья Эренбург (*НМ,* 1926, № 8-9, с. 235, 237, 225, 226). *...в Киеве я пошел на спектакль — инсценировку «Хулио Хуренито».* — Речь идет о спектакле «Универсальный Некрополь», поставленном режиссером Терещенко в Театре-мастерской им. Г. Михайличенко по трем романам Эренбурга — «Хулио Хуренито», «Жизнь и гибель Николая Курбова» и «Трест Д. Е.». 24 февраля 1924 г. киевская «Пролетарская правда» напечатала протест Эренбурга против этого спектакля, искажающего сущность его книг и нарушающего авторские права. «Я не считаю в данном случае возможным воспользоваться своими правами исключительно из уважения к работе, проделанной коллективом мастерской», — писал Эренбург. В том же номере был помещен ответ Театра-мастерской, сообщавшего о замене впредь всех имен персонажей спектакля и мест действия романов Эренбурга — новыми (мистера Куля переименовали в мистера Босса, Илью Эренбурга — в литератора Былтакова и т. д.).

Стр. 177. *...о ней одобрительно отозвались некоторые писатели Петрограда...* — Имеются в виду отклики на «Хулио Хуренито» Е. Замятина (Россия, 1923, № 8, с. 28), Ю. Тынянова (Русский современник, 1924, № 1), Л. Лунца («Город»), В. Шкловского («ZOO», или Письма не о любви»). *В 1942 году А. Н. Толстой... вспомнил о моих сатирических романах...* — В статье «Четверть века советской литературы» (*НМ,* 1942, № 11-12, с. 212). *...я прочитал в воспоминаниях Н. К. Крупской...* — В статье «Что нравилось Ильичу из художественной литературы» (1926): «Из современных вещей, помню, Ильичу понравился роман Эренбурга, описывающий войну: «Это, знаешь, Илья Лохматый (кличка Эренбурга), — торжествующе рассказывал он. — Хорошо у него вышло» (Крупская Н. К. Об искусстве и литературе. М., 1963, с. 38).

Книга третья

Третья книга мемуаров «Люди, годы, жизнь» описывает события 1921—1933 годов. Эренбург провел эти годы преимущественно за границей. Это было время растущего успеха его прозы и эссеистики, издававшихся в СССР вопреки активному противодействию идеологических структур. С конца 1920-х годов цензурный пресс становится для книг Эренбурга почти непреодолимым — одни из них запрещаются, другие выходят в изуродованном виде. Эренбург пытается обойти препоны, меняя темы и жанры, но — безрезультатно. Эту ситуацию Е. И. Замятин так описал в письме Сталину: «Илья Эренбург, оставаясь советским писателем, давно работает главным образом для европейской литературы — для переводов на иностранные языки». (В мемуарах Эренбург не написал о Замятине — об их взаимоотношениях см. «Новое литературное обозрение» *(НЛО)*, 1996, № 19.) То, что Замятину казалось спасительным выходом из его безнадежного положения, для Эренбурга было драмой, требовавшей разрешения. Оставаться независимым художником можно было, лишь не печатаясь в СССР. Это — не первый кризис, преодоленный Эренбургом, но самый мучительный, и о нем писатель решил рассказать в мемуарах более подробно, чем о ситуациях 1909 и 1918 годов.

Эренбург начал писать третью книгу зимой 1961 года. 21 февраля он сообщал Е. Г. Полонской: «Я пишу сейчас 3 часть (1921 и далее). Работа увлекает, но часто отвлекают». Эренбургу удалось практически устраниться от текущей публицистической работы (за полгода он написал всего две статьи), но зарубежные поездки, связанные с его общественно-политической деятельностью, участие в различных заседаниях — от этого уйти было невозможно (за те же полгода писатель четырежды побывал в Стокгольме; впрочем, этот город многое значил в его личной послевоенной судьбе). Как и прежде, отдельные главы рукописи Эренбург давал на прочтение — так, главы о Бабеле и Маркише читали их вдовы, главу о Тувиме — М. Живов, главу о берлинской эмиграции — Е. Лундберг; на черновой рукописи — неизменные пометы О. Г. Савича, первого читателя мемуаров. Все замечания тщательно взвешивались автором.

Летом 1961 года работа была завершена и передана в «Новый мир», где ее приняли вполне радушно. Политических поправок, сделанных по настоянию редакции, было немного (все цензурные вымарки нами полностью восстановлены). Книга ушла в набор, а 12 августа 1961 года А. Твардовский, прочтя в Барвихе верстку начала третьей книги, обратился к Эренбургу с большим письмом: «С не меньшим, а местами — с еще большим интересом, чем предыдущие, прочел эти страницы. Книга очевиднейшим образом вырастает в своем идейном и художественном значении. Могут сказать, что угол зрения повествования не всегда совпадает с иными, может быть более точными, углами (они, эти «углы», тем более правильны, чем дольше остаются вне применения), что сектор обзора у автора обужен особым пристрасти-

ем к судьбам искусства и людей искусства, — мало ли что могут сказать. Но этой Вашей книге, может быть, суждена большая долговечность, чем иным «эпохальным полотнам» «чисто художественного жанра». Первый признак настоящей большой книги — читательское ощущение необходимости появления ее на свет божий. Эту книгу Вы не могли не написать, а если бы не написали, то поступили бы плохо. Вот что главное и решающее. Это книга долга, книга совести, мужественного осознания своих заблуждений, готовности поступиться литературным престижем (порой, мне кажется, даже с излишком) ради более дорогих вещей на свете. Словом, покамест Вы единственный из Вашего поколения писатель, преступивший некую запретную грань (в сущности, никто этого «запрета» не накладывал, но наша лень и трусость перед самими собой так любят ссылаться на эти «запреты»). При всех возможных, мыслимых и реальных изъянах Вашей повести прожитых лет, Вам удалось сделать то, чего и пробовать не посмели другие... Дело не в отдельных портретах, характеристиках, авторских отступлениях, — в книге есть магия глубоко искреннего высказывания — исповеди. Я, как прежде, считаю свою редакторскую роль в отношении этой Вашей работы весьма ограниченной, т. е. опять же не собираюсь просить Вас вспоминать о том, чего Вы не помните, и опускать то, чего Вы и забыть не можете. Но мой долг просить Вас о другом: чтобы Вы учли реальные обстоятельства наших дней, просматривая эту верстку, и, по возможности, облегчили ее прохождение на известных этапах» *(ФЭ)*. Далее шли конкретные пожелания (напр., такое: «В двух-трех случаях, где возникает память «еврейской крови», — очень, очень просил бы Вас уточнить адрес, куда обращен этот исторический упрек»); некоторые из них приводятся ниже.

Третья книга была напечатана в 9 — 11-м номерах «Нового мира» за 1961 год (к тому времени изд-во «Советский писатель» выпустило отдельным изданием первую и вторую части мемуаров). Большой критической волны третья книга не вызвала. Наибольшим нападкам подверглась глава о Ремизове; в специально посвященной ей статье «Неудавшееся воскрешение» (Дон, 1962, № 6) утверждалось, что «воспоминания Эренбурга приводят фактически к оправданию ренегатства А. Ремизова», книги которого «заслуженно забыты народом» (отметим, что до издания книг Ремизова в СССР оставалось еще почти 20 лет).

Глава 1

Стр. 181. *В моих заметках остались названия...* — Речь идет о «Письмах другу» (1922) (см. т. 4 наст. изд., с. 7 — 27).

Стр. 184. *Герцен писал о «Собакевиче немецкой революции» Гейнцене...* — См.: Герцен А. И. Былое и думы, т. 1. М., 1969, с. 584.

Стр. 185. *И все же я тогда писал...* — См. «Письма другу» — т. 4 наст. изд., с. 15, 16. *Сегодня // хожу // по твоей земле, Германия...* — из стихотворения «Германия».

Стр. 187. *На лекции Милюкова монархисты застрелили кадета Набокова.* — Имеется в виду покушение на П. Н. Милюкова 28 марта 1922 г.; его спас В. Д. Набоков, отец писателя. *«Черный гусар» Посажной писал...* — Цит. по ст. «Черные гусары» (1932) — см. *ЗР*, с. 170. *«Масонство и русская революция».* — Сочинению Григория Бостунича, изд. по-русски в Сербии в 1922 г., Эренбург посвятил фельетон (см.: Новая русская книга. Берлин, 1922, № 3, с. 11—12), который подписал: «Масон ложи «Хулио Хуренито», мексиканского толка, 32 ст. («принц королевской тайны»), хасид и цадик, чекист в 4 личинах (жид — мадьяр — латыш — китаец) Илья Эренбург». *Не уступали журналистам и писатели с именем.* — Эренбург сразу же выступил в печати против травли писателей, оставшихся в Советской России. В статье «Au-dessus de la mêlée (над схваткой — ф р.) он писал: «Я позволю себе, среди непрекращающейся гражданской войны, остаться еретиком, который полагает, что ни Бальмонт, проклинающий коммунизм, ни Брюсов, его восхваляющий, не теряют равного права на уважение к их литературной деятельности, как два поэта предыдущего поколения, основоположники символизма»; Эренбург писал о недопустимой травле, которой эмигрантская печать подвергала Есенина и Маяковского, А. Белого и Ф. Сологуба, Блока и К. Чуковского (Русская книга. Берлин, 1921, № 7-8, с. 1—2). В статье «Поэтический иммунитет» (Последние новости, Париж, 29 сентября 1921 г.) А. Кайранский утверждал, что «критика» направлена не против литераторов, а против «прихвостней». В «Письме в редакцию» (Русская книга. 1921, № 9, с. 5—6) Эренбург, повторив не опровергнутые Кайранским факты, назвал его статью выражением «политического ослепления».

Стр. 188. *Издательство... называлось поэтично — «Геликон».* — В черн. варианте: «Мой «Хуренито» был издан «Геликоном». Узнав, что издателя зовут Вишняк, я смутился: эсер М. Вишняк в журнале «Воля России» проклинал все, что связано с Советской Россией, но мой Вишняк оказался другим» (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 1, ед. хр. 51, л. 45). *...мы его прозвали «Мурзуком».* — По имени очень напористого и нервного персонажа таировского спектакля «Жирофле-Жирофля». *Орлы и гады в них...* — из 3-го стихотворения цикла «Отрок» (Ц в е т а е в а М., т. 2, с. 52).

Стр. 189. *Ходасевич... редактировал с Горьким литературный журнал...* — Имеется в виду журн. «Беседа». «Здесь зачинается «Беседа» (Горького с Ходасевичем), — писал Эренбург 21 апреля 1923 г. Е. Полонской, — это очень приличная беседа, и меня туда не пущают». «Видел оттиски «Беседы», — сообщал Эренбург 29 апреля 1923 г. М. Шкапской. — Скучная беседа. Психеечка и пр.». *Сны мимолетные, сны беззаботные...* — В 1909 г. Эренбург вместе с Полонской в Париже написал пародию на эти стихи: «Верил и я в диктатуру народную, // Был я эсдеком на час, // Сны мимолетные, сны беззаботные // Снятся лишь раз» (см.: *ВЛ*, 1982, № 9, с. 153).

Стр. 190. *...он* <Минский> *прочитал стихотворный тост...* — В письме Е. Г. Лундберга к Эренбургу от 29 мая 1961 г. содержится еще одна строфа этого тоста: «Гессен станет умен, умнее Ликурга, // Не хватит в мире бумаги для книг Эренбурга, //Алексей Толстой затмит славу Льва Толстого, //Скоро мы отпразднуем свадьбу Богатырева» *(ФЭ). ...но статьи мои печатал.* — В 1921—1923 гг. в «Русской книге» (с 1922 г. — «Новая русская книга») напечатаны 6 статей и 12 рецензий Эренбурга (главным образом на книги, вышедшие в Сов. России). Рец. А. С. Ященко на «Хулио Хуренито»: «Книга его — остроумная, но, по существу, безнадежная, от большого отчаянья и от пустоты души написанная» (Новая русская книга. 1922, № 3, с. 4—6). *...заклинания... монархиста И. Наживина...* — Наживин Ив. Автобиография. — Новая русская книга. 1922, № 5, с. 42—43.

Стр. 191. *А в следующем номере выступал Маяковский...* — «О себе» (Новая русская книга. 1922, № 9, с. 45). *Как изваянья — слипшиеся пары...* — стихотворение «Все каменное. В каменный пролет...» (см.: Ходасевич В. Стихотворения. Л., 1989, с. 166—167). *... Цветаева в Берлине написала одну из своих лучших книг — «Ремесло».* — Берлин, «Геликон», 1923, написано в 1921—1922 гг. в Москве. *...я издавал журнал «Вещь».* — 3 июня 1922 г. Эренбург писал Маяковскому: «О «Вещи» — она издается только для России (эмиграция не в счет). Но — 1) мы не получаем из России материала. № 4 должен быт спец<иально> посвящен России. Шлите свое и всех, кому Вещь близка... Без срочной присылки серьезной партии материала из России (стихи, статьи, хроника и т. д.) мы прикончимся... Простите, что утруждаю Вас этим. Но, повторяю, без материала и без возможности распространения в России «Вещь» прикончится, хотя денежно она здесь обеспечена на 6 №№. А я думаю, что она — окрепнув и связавшись с Россией, т. е. выровняв линию, сможет быть полезной...» (*ВЛ*, 1992, вып. III, с. 307—308).

Стр. 192. *В книге «ЦОО»... он писал...* — См.: Шкловский В., т. 1, с. 178—179. *Потом он продолжал писать о предметах куда более спокойных...* — В черн. варианте: «Вероятно, это был язык, присущий Шкловскому, потому что он продолжал так же писать и о другом, потом это начало становиться манерой. Не было ни одного мастера пародии, который в минуты лености не написал бы пародии на Шкловского» (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 1, ед. хр. 51, л. 63).

Стр. 193. *Был он* <Пильняк> *человеком талантливым и путаным...* — Судя по письмам Эренбурга к М. М. Шкапской, его отношения с Пильняком в 1922 г. были непростыми (29 марта: «Пильняк мне не «чужд», не «далек», а просто неинтересен. Он здесь вел себя очень нехорошо. Писать об этом не следует, да и скучно. Когда дойдет до Вас «Хуренито» — Вы найдете там собирательного Алексея Спиридоновича — это двойник его. Как писатель, много лучше, хотя сырье и копирование порой Белого и Ремизова». 31 мая: «Запретите Пильняку хвалить меня, и вообще произносить мое имя». 25 ноября: «Пильняк — негодяй! Честное слово! И ничем оправдать его нельзя. А каяться он умеет — все щеки мне облизал (три дня отмывал)»).

Стр. 194. *Я писал поэтессе М. М. Шкапской...* — письмо от 11 июня 1922 г. *...Василевский—Не-Буква напечатал... хлесткую статью обо мне...* — «Тартарен из Таганрога» (Накануне. Берлин, 1922, 29 октября).

Стр. 195. *«Скифы», «евразийцы», «сменовеховцы» сходились на одном...* — Е. Г. Лундберг писал Эренбургу 29 мая 1961 г.: «Мне показалось несправедливым, что Вы поставили на одну доску со «сменовеховцами» и «скифов» и «евразийцев». Кстати — кто были «скифы», где они? Один-два, и обчелся. Иванов-Разумник, умный и болезненно честолюбивый, докатившийся черт знает до чего в своей ненависти к большевикам; Мстиславский, которого Л. И. Шестов назвал «адъютантом при несуществующем главнокомандующем». Блок не был «скифом». Левые с-р'ы в массе своей были глубоко равнодушны к «скифству», хотя бы по неведению. Единицы, как милый, легко возгорающийся А. А. Шредер... «Евразийство» было порождением московских салонов, последним ростком славянофильства! Ни «скифство», ни «евразийство» не были платформами или течениями. А вот «сменовеховство»...» *(ФЭ). Четверть века спустя после тех лет...* — Этот абзац вызвал возражение А. Т. Твардовского; 12 августа 1961 г. он писал Эренбургу: «Уподобление Вами идей славянофилов, сменовеховцев, и тех и других вместе — нашим крайностям в борьбе против низкопоклонства перед Западом — уподобление неверное, поверхностное. По мне — бог с Вами, переучивать Вас я не собираюсь, но перед органами, стоящими над редакцией, попросту — цензурой — я не могу Вас здесь защитить» *(АЭ)*. У Эренбурга, однако, речь идет не об «уподоблении», а о живучести предрассудков, о том, как они выползают из всех щелей, когда внешние обстоятельства перестают этому препятствовать. Эренбург с Твардовским не согласился; текст был напечатан без купюр. *«Группа русских писателей собралась пить чай...»* — См.: Лундберг Е. Г. Записки писателя, т. 2. Л., 1930, с. 209. В письме к Эренбургу Лундберг привел подробности этой встречи: «В кафе «Вилли» беседовали: Л. И. Шестов, Вы, А. М. Ремизов и я... Шестов был мрачен и лиричен. Ремизов замысловато острил, радовался европейскому уюту и жаловался: «Что дальше? Темно и страшно» — ему хотелось домой, но он знал, что возврата уже нет. Шестову свойственно было глубокое непримиримое отвращение к насилию во всех его видах. Такое же отвращение и ужас терзали Б. Л. Пастернака. Я был с Шестовым в дни страшного еврейского погрома в Киеве в 1905 г. — он не позволял мне провожать его ночью на Подол, где продолжались убийства, хотя при мне в те дни всегда был револьвер и я не задумывался бы уложить на месте насильника. Шестов воздерживался от всяких объяснений, отказываясь от проводов, но я понимал, что в нем происходит: «Лучше быть убитым, чем убить» — так он думал, так поступал, так писал» *(ФЭ)*.

Стр. 196. *Чехов записал монолог...* — См.: Записные книжки. — Чехов А. П. ПСС, т. 17, с. 101. *Сын кадета Набокова... теперь один из самых читаемых писателей Америки...* — В СССР произведения В. В. Набокова начали печатать в 1987 г.

Глава 3

В работе над этой главой Эренбург широко использовал свое эссе о Тувиме «Поэт и человек», написанное в декабре 1959 г. в качестве вступительной статьи к книге М. Живова о Тувиме и неопубликованное.

Стр. 197. *...мы... встречались редко...* — Частично сохранилась переписка Эренбурга с Тувимом; письма Эренбурга см.: Советское славяноведение, 1975, № 2, с. 92—95; письма Тувима к Эренбургу собраны в его книге: Listy do przyjaciol-pisarzy. Warzava, 1979. *...«Политика не является моей профессией...»* — из записной книжки Тувима 1943—1944 гг.; Эренбург цитировал ее по рукописи книги М. Живова «Юлиан Тувим» (М., 1963, с. 141). *Маяковский писал о нем...* — «Тувим, очевидно, очень способный, беспокоящийся, волнующийся, что его не так поймут... и сейчас желающий писать настоящие вещи борьбы, но очевидно здорово прибранный к рукам польским официальным вкусом» (см. очерк «Ездил я так». — Маяковский В. ПСС, т. 8, с. 337).

Стр. 198. *«Ему очевидно нравилось бы...»* — из очерка «Поверх Варшавы» (там же, с. 352). *Советский знаток польской литературы* — М. Живов (см.: Лит. энциклопедия, т. 11. М., 1939, стлб. 409). *«Я полон таких шаблонов...»* — из открытого письма Тувима К.-И. Галчинскому (1947) (см.: Tuvim J. Listy..., s. 407). *Один очень сведущий и в то время очень влиятельный человек...* — Речь идет об А. А. Фадееве, сидевшем в президиуме Варшавского конгресса рядом с Эренбургом.

Стр. 199. *Нет, вам не добиться ни службой, ни лестью...* — из стихотворения «К генералам», пер. Д. Самойлова (см.: Тувим Ю. Стихи. М., 1965, с. 133—134. Далее — по этому изданию указываются названия цит. стихов). *...Короткое имя «Лодзь»...* — из очерков «В Польше» (1928); после 1933 г. не перепечатывалось; см. т. 4 наст. изд., с. 118. «Раз Вы читали мою статью о Лодзи, — писал Эренбург Тувиму 17 октября 1929 г., — Вы поймете, как я сей город чту. Чудный город, куда лучше Варшавы и Кракова. Его только трудно вынести в порядке душевного кислорода, но для поэтического самоистязания — это клад. Я рад, что мои польские очерки не рассердили Вас. Я, наверное, во многом ошибаюсь, да и как может быть иначе, я ведь у вас только турист, но статьи эти были искренни и отнюдь не традиционно враждебны». *Пусть те восхваляют Сорренто, Крым...* — из стихотворения «Лодзь», пер. Д. Самойлова.

Стр. 200. *...я получил телеграмму из Нью-Йорка...* — Телеграмма напечатана в «Комс. правде» 16 сентября 1941 г.: «Пишу Вам только несколько слов, — но Вы, писатель и чуткий человек, услышите в них голос моих чувств: что я с вами, всем сердцем, всеми мыслями, всем моим существом — с вами, т. е. с русскими писателями и героическим советским народом, борющимся за дело всего человечества, против фашистских мерзавцев. Я счастлив, что польский и русский народы вступили на общую дорогу против проклятого врага. Пере-

дайте мой сердечный привет вашим поэтам, с которыми, надеюсь, мы встретимся в победоносной Москве, а потом в свободной от германских шакалов Варшаве. Жму Вашу руку! Ваш Юлиан Тувим». Письмо Тувима Эренбургу от 24 июля 1944 г., напечатанное по-английски: «Три года назад в самые мрачные часы героической битвы советского народа я направил Вам и русским писателям слова, полные веры в грядущую победу над тевтонскими варварами. Сегодня, в светлый час ее осуществления, когда неукротимая Красная Армия приближается к самому сердцу Польши и несет свободу моему народу, я разделяю с Вами огромную радость оттого, что справедливость одерживает триумфальную победу над злом» (см.: Tuvim J. Listy..., s. 269). *«В период самых больших «триумфов» Гитлера...»* — из письма Янине Броневской, США, 1945 г. (см.: Живов М. Юлиан Тувим, с. 141—142). *...я сидел в нью-йоркской квартире Тувима...* — Узнав о приезде Эренбурга в США, Тувим 22 апреля 1946 г. написал ему по-русски: «Дорогой Эренбург! Если Вы не забыли Вашего старого и любящего Вас друга — и если хотите с ним видеться — отзовитесь (Трафальгар 7. 0956). Я понимаю, что Вы очень заняты, но надеюсь, что найдете для меня хоть полчаса времени. Жму Вашу руку. Преданный Вам Юлиан Тувим (дряхлый старик)» (см.: Tuvim J. Listy..., s. 270).

Стр. 201. *Много лет он отдал переводам русских поэтов.* — 8 октября 1929 г. Эренбург писал Тувиму: «Этим летом я видел Якобсона, и он снова восторгался Вашими переводами: конгениально!»

Стр. 202. *Только нет приюта в мире человечьем...* — из стихотворения «Еврейский мальчик», пер. Л. Пеньковского (см.: Тувим Ю. Избранное. М., 1946, с. 106); в последующие сов. изд. Тувима не входило. *В 1944 году Тувим написал обращение... «Мы — польские евреи».* — Статья написана к 1-й годовщине восстания в Варшавском гетто, когда Тувиму стало известно, что гитлеровцы уничтожили его мать. В СССР напечатана по-польски в журн. «Nowe widnokręgi», 1945, № 6 (сообщено А. Б. Базилевским). Неопубликованный русский перевод, выполненный в 1944 г., сохранился в архивах Эренбурга и В. С. Гроссмана (см.: РГАЛИ, ф. 1710, оп. 1, ед. хр. 157). В зап. книжке Эренбурга — декабрь 1944 г.: «Потрясающая статья Тувима. Кровь в жилах и кровь из жил» (*ФЭ*, ед. хр. 389, л. 122). 5 декабря 1944 г. Эренбург послал Тувиму телеграмму: «Прочитал Вашу вдохновенную статью и хочу крепко Вас обнять. Илья Эренбург» *(АЭ)*. Эренбург цитировал формулу Тувима «Антисемитизм — это международный язык фашистов» в статье «Помнить!» (Правда, 1944, 17 декабря); отрывки из статьи Тувима Эренбург приводил также в своем выступлении по еврейскому вопросу «По поводу одного письма» (Правда, 1948, 21 сентября). Чешский художник и писатель А. Гоффмейстер, находившийся во время войны в США, писал о военной публицистике Тувима: «Вы помните военные письма Ильи Григорьевича Эренбурга? Ну вот, Тувим был его польским подобьем. Я думаю, такое сравнение — большая честь» (Гоффмейстер А. Иду по земле. М., 1964, с. 454).

Стр. 204. *В час дня благоговейно...* — из стихотворения «Мученик», пер. Д. Самойлова.

Стр. 205. *Вдоль стен пустой парикмахерской...* — из стихотворения «Парикмахеры», пер. Д. Самойлова (см.: Тувим Ю. Вёсны и осени. М., 1959; редакция этого перевода отличается от последующих изданий). *В 1928 году я писал о Тувиме...* — из гл. «О поэзии и о дипломатии» очерков «В Польше» (т. 4 наст. изд., с. 112—113). *Я, может, лишь день там прожил...* — из стихотворения «Воспоминание», пер. Д. Самойлова.

Стр. 206. *А может, снова, дорогая...* — из стихотворения «За круглым столом», пер. Д. Самойлова; ред. перевода из книги Тувима «Вёсны и осени», с. 55—57. *...в саду поэта Ивашкевича...* — О встречах и беседах с Эренбургом см. «Воспоминания об Эренбурге» Я. Ивашкевича (*ВЛ*, 1984, № 1, с. 194—201). Назвав дружбу Эренбурга и Тувима «глубокой», Ивашкевич заметил: «Я думаю, что причиной ее возникновения было восхищение Эренбурга стихами нашего поэта и, кроме того, необычная индивидуальность Тувима, которая могла любого очаровать».

Глава 4

Стр. 207. *...записал Валерий Яковлевич в дневнике...* — См.: Брюсов В. Дневники 1891—1910. М., 1927, с. 121. *В 1920 году... Блок записал...* — Запись 1 марта 1920 г., см.: Блок А. Записные книжки 1901—1920. М., 1965, с. 488. *Ему кавказские кричали горы...* — Строфа из варианта стихотворения, впервые приведено Эренбургом; см.: Мандельштам О., т. 3, с. 327. *Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?* — из стихотворения «Откуда привезли? Кого?..»; впервые приведено Эренбургом; см.: там же, с. 333.

Стр. 208. *...я так описал Андрея Белого...* — См.: Эренбург И. Портреты русских поэтов, с. 61 — 63. А. Белый заметил: «Из этого моего вида Эренбург делает горько лестные выводы о моей смешной исключительности; я должен разочаровать Эренбурга, отблагодарив его за то, что смешные жесты мои им не поданы с «липниченковским» подхихиком; в том, что видится Эренбургу во мне как вершинность, смешная в долинах, — самая эмпирическая, фамильная черта; все Бугаевы — такие» (см.: Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1989, с. 65). *В Берлине... я часто встречался с Борисом Николаевичем...* — 5 декабря 1922 г. Эренбург писал Е. Полонской: «Белый. Хохол волос и гениальность. Поссорившись со мной (из-за Маяковского), обругал печатно «6 повестей»: «жалкий талант». Потом встретились (за обедом), растрогался, признался: а я ведь книги не читал. Впрочем, гению быть человеком вовсе не обязательно»; в письме к М. Шкапской 12 июля 1922 г., рассказывая об отзывах о «Хуренито», Эренбург писал: «Белый очень хвалил, но, по-моему, не читал». *...эти книги не переиздаются...* — Стихи А. Белого изданы в 1966 г., две редакции романа «Петербург» — в 1978 и 1981 г.

Стр. 209. *«Балтрушайтис, угрюмый, как скалы...»* — См.: Белый А. Начало века. М., 1990, с. 417.

Стр. 210. *Золотому блеску верил...* — из стихотворения «Друзьям» (см.: Белый А. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1966, с. 249).

Стр. 211. *...Белый поспорил с крупным писателем, близким к сменовеховцам.* — Имеется в виду А. Н. Толстой. *...он сам попытался разобраться в этом противоречии.* — См.: Белый А. Начало века, с. 295. *Подарив мне «Петербург», надписал...* — «Дорогому Илье Григорьевичу Эренбургу с чувством постоянной связи. Андрей Белый. 22 сентября 1922 года. Берлин» (собр. И. И. Эренбург).

Стр. 212. *Меж тобой и страной...* — из стихотворения О. Мандельштама «Голубые глаза и горячая лобная кость».

Глава 5

Стр. 212. *...А. М. Горький писал К. А. Федину...* — Письмо начала сентября 1922 г. (см.: Горький и советские писатели. — Лит. наследство, т. 70. М., 1963, с. 469). *...я познакомился* <с Ремизовым> *в 1922 году...* — Заочное знакомство состоялось раньше; сохранился экземпляр «Стихов о канунах» с дарственной надписью А. М. Ремизову: «Ремизов, ближе Вы многих иных, радуясь, шлю Вам эту книжку. Эренбург. 1916» (Книги и рукописи в собрании М. С. Лесмана. М., Книга, 1989, № 579); в Берлине встреча Эренбурга с Ремизовым произошла в конце 1921 г. 23 декабря 1921 г. Эренбург писал М. Шкапской: «Рассказывал о Вас мне Алексей Михайлович. Я очень рад, что он здесь — прояснилась (также от Белого) эмигрантская атмосфера»; 5 мая 1922 г. Эренбург делился со Шкапской: «С А. М. и Б. Н. сложнее. Официально отношения хорошие. Внутри, с их стороны — неприязнь. Причины? Первая и главная та же, что у Дома литераторов. Далее отмеченное Вами мое умение резкостью отчуждать. Еще — Хуренито, А все-таки, Вещь и пр. — чужое, непонятное. Думаю, что считают лицемером и подлецом. Я к ним отношусь хорошо (никогда не строю моего отношения на отношении ко мне)».

Стр. 213. *К. А. Федин вспоминал...* — См.: Федин К. Собр. соч., т. 9. М., 1962, с. 226. *Я числился «кавалером с жужелиным хоботком».* — Л. М. Козинцева писала из Берлина 31 декабря 1921 г. М. Шкапской: «Я хочу стать обезьянней служкой и дослужиться до ордена на право ношения хвоста, но, кажется, недостойна. Пока что подлизываюсь» (РГАЛИ, ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 544, л. 1).

Стр. 214. *...Н. Кодрянская прислала мне книгу...* — Кодрянская Наталья. Алексей Ремизов. Париж, 1959.

Стр. 215. *...«В революцию все бросились на «Бесов» Достоевского...* — См.: Ремизов А. Тургенев-сновидец. — В кн.: Огонь вещей (Сны и предсонье). Париж, 1954, с. 141. *К. А. Федин писал: «Ремизов мог быть...»...* — См.: Федин К., т. 9, с. 228.

Стр. 216. *...Пришвин, желая объяснить природу искусства, писал...* — См.: Сов. писатели. Автобиографии, т. 2, с. 255. *На одной из*

книг... он написал... — Точный текст надписи Ремизова на книге «Русалия» (Берлин — Петербург — Москва, изд. Гржебина, 1923): «Кавалеру обезьяньего знака I степени с жужелиным хоботком обезьяньей великой вольной палаты Обезвелволпала на елку. Тут все для музыки. 4.1.23. Алексей Ремизов» (собр. И. И. Эренбург).

Глава 6

Стр. 217. *Тургенев, пустивший в ход словечко «нигилист», писал...* — из статьи «По поводу «Отцов и детей» (см.: Тургенев И. С. ПСС, т. 11. М., 1983, с. 93). *Я хочу сейчас разобраться в правильности этикетки, которую часто на меня вешали.* — В рукописи этой главы, переданной в *НМ,* Эренбург писал об этикетке, «с которой проходил всю жизнь». Эта фраза вызвала возражение Твардовского: «Вы слишком крупны, Илья Григорьевич, чтобы унижаться до такой памятливости относительно причиненных Вам обид и огорчений, слишком много чести для тех, кто это делал, чтобы помнить о них. А указанная выше фраза — просто не должна, по-моему, остаться в тексте». Так фраза об «этикетке, с которой проходил всю жизнь», была заменена фразой об «этикетке, которую часто на меня вешали». *Не был я учеником примерным...* — из стихотворения «Самый верный» (см. т. 1 наст. изд., с. 188—189).

Стр. 218. *В 1892 году А. П. Чехов писал...* — из письма А. С. Суворину 25 ноября 1892 г.

Стр. 220. *Я видел, в другом лагере...* — «Мысль о «ножницах» между успехами технического прогресса и потерями в духовном, нравственном развитии человеческого общества в эпоху империализма бесспорна, — заметил Эренбургу Твардовский, — но приравнение «другого» лагеря «первому» — недопустимо. Можно, я считаю, предъявлять счет и Советской власти по разным статьям, но на отдельном бланке, — это непременное условие» *(ФЭ).* В ответ Эренбургу пришлось заменить «другой лагерь» «передовым обществом». *«В частных случаях по отношению к слабым...»* — См.: Терещенко Н. Современный нигилист И. Эренбург. Л., Прибой, 1925, с. 93.

Стр. 221. *«У Эренбурга взгляд на все происходящее скептический...»* — Речь идет о записи, сделанной А. Н. Афиногеновым после правительственного банкета (видимо, по случаю окончания Первого съезда писателей): «У Эренбурга взгляд на все происходящее скептический, усталый и чуть обиженный... Толстого ласкают и балуют, превозносят, а его критикуют, да как еще... Он ходит по комнатам, наблюдает за праздником, уезжает последним, и не поймешь, что он там думает... Сидит, курит, смотрит на Ворошилова, когда тот поет и спорит о правильно взятой ноте, а С. испытующе и пьяно, с нелепой трубкой во рту смотрит на Эренбурга, молчаливо, тот не замечает якобы... а на самом деле все видит и записывает в уме...» *(АЭ). «Каждую ночь*

просыпаюсь и читаю «Войну и мир» — из письма А. С. Суворину от 25 октября 1891 г.

Стр. 222. *«...когда же мы находим в романе удачными только типы негодяев...»* — из статьи «Ответ Москвитянину» (см.: Белинский В. Г. Собр. соч. в 3-х т., т. III. М., 1948, с. 742). *...о верности времени, которая оплачивается... неудачными книгами.* — «Подумайте, Илья Григорьевич, — написал в связи с этим Твардовский, — это очень невыгодные для Вас слова, они снижают исповедальный пафос этой главы, они тем невыгодны, что, простите меня, немного смешны»; однако Эренбург оставил все без изменений.

Глава 7

Стр. 223. *Приближалась пора «плана Дауэса»...* — Репарационный план (1924 г.) предусматривал организацию помощи Германии в восстановлении ее военно-экономического потенциала.

Стр. 224. *...я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал.* — 20 стихотворений, написанных Эренбургом в 1923 г., были включены им в сб. лирики «Не переводя дыхания» (наряду с 20 стихотворениями из книги 1922 г. «Звериное тепло»); книгу Эренбург отправил в Ленгиз, но издана она не была, а рукопись ее затерялась (см. т. 1 наст. изд., с. 600—601). *Так умирать, чтоб бил озноб огни...* — Впервые в сб.: Поэты наших дней. М., 1924, с. 101. *Форма как будто была заемной — пастернаковской...* — Книга стихов «Не переводя дыхания» создавалась в то время, когда Эренбург находился под безусловным обаянием поэзии и личности Пастернака; в 1922—1923 гг. в Берлине вышли сб. «Сестра моя жизнь» и «Темы и варьяции», оказавшие заметное влияние на лирику Эренбурга 1923 г.; 18 августа 1923 г. он написал Шкапской о кн. «Не переводя дыхания»: «В ней, как и во многом ином, я являюсь робким учеником Пастернака». *«Даже страдания — это роскошь»* — слова из романа Ф. Мориака «Конец ночи» (1935).

Глава 8

Стр. 226. *Роман Якобсон начал меня уговаривать съездить в Прагу...* — Дружба Эренбурга с Якобсоном продолжалась всю жизнь; в 20—30-е гг. они вместе проводили каникулы (в Бретани, в Словакии), встречались перед войной в Париже, в 1946 г. — в США, а в послесталинские годы и в Москве. Узнав о смерти Эренбурга, Якобсон писал Л. М. Эренбург: «Мне страшно трудно писать Вам сейчас. С Вами обоими я был десятки лет несказанно тесно связан, и сейчас чувство жуткой неизбывной бреши оттесняет все остальное. Когда в конце августа я был в Москве и Илья звал меня приехать, я знал — это значит проститься, и когда мне вдруг закрыли путь к нему

(Эренбург с инфарктом лежал на даче, расположенной от Москвы дальше расстояния, на которое дозволено перемещаться иностранцам. — *Б. Ф.*), на меня легла тяжесть бессильной грусти. Сейчас так хотелось бы просто посидеть с Вами, Люба, рука в руку и глаза в глаза, помолчать вместе и вместе повспоминать. Так трудно о таких вещах говорить вдаль. И все думается, почему все встречи с Ильей последних лет были так отрывочны и обрывисты. Только задним числом я знал: столько надо было сказать друг другу. Столько мы умели когда-то друг другу сказать...» (*НЛО*, № 12, М., 1995, с. 107—108). *Об этом написал Незвал в изданной посмертно книге воспоминаний.* — В книге «Из моей жизни» Незвал писал: «Первый знаменитый писатель нашей ориентации, посетивший Прагу, был Илья Эренбург. Судьба не могла выбрать никого более подходящего, нежели автора «Хулио Хуренито» и «Трубок». Вижу его, как сейчас, — он сидит с нами в кафе Юлиша, чуть ссутулясь, и взгляд его будто мельком останавливается на вас, чтобы снова всматриваться во что-то далекое. Он приехал из той страны, где после победоносной революции вырос новый человек, чтобы освобожденным от угнетения трудом создать достойную его жизнь, и в парижских кафе он сиживал со всеми теми, кого любили и мы. Любили за то, что их стихи или картины вызывали в нас новые чувства и ощущения, потому Илья Эренбург был нам мил вдвойне... Думаю, что он не был нетерпим к писателям и художникам, взглядов которых не разделял. Он защищал мировую культуру, особенно современную, в ее целостности, без оглядки на свои воззрения... Думается, что он хорошо относился к нам, чехам, хотя его язвительное перо не преминуло изобразить отрицательные стороны нашего характера...» (см.: Незвал В. Избранное, т. 2. М., 1988, с. 268—270). 10 декабря 1959 г. Эренбург писал вдове Незвала: «Мне трудно выразить Вам словами, какую радость я испытал, получив от Вас воспоминания Незвала и найдя в них страницы, посвященные далеким годам — времени, когда мы с ним познакомились и часто проводили вечера вместе. Я бережно храню все воспоминания о Незвале, и книга многое в моей памяти оживила» *(ФЭ). Франтишек Кубка, рассказывая о своих встречах...* — Имеется в виду очерк Ф. Кубки «Илья Эренбург в Праге и повсюду» из его кн. «Голоса с Востока» (1960); в СССР не печатался.

Стр. 227. *Выставлены розовые холсты...* — Стихотворение «Общий вид Милана», пер. Д. Самойлова (см.: Незвал В. Стихи. Поэмы. М., 1972, с. 206). Далее — по этому изданию; указываются названия цит. стихов.

Стр. 228. *Будьте строги и прекрасны! В добрый час!..* — из поэмы «Эдисон», пер. Д. Самойлова.

Стр. 229. *Когда он написал «Песнь мира»...* — Поэма «Песнь мира» (1950). В ней, в частности, есть такая строфа: «Я вас зову в тревожный час, // Петр Безруч, бард силезской массы, // Вас, Элюар, и вас, Пикассо, // Илья Григорьевич, и вас. // Пою песнь мира...»

(пер. С. Кирсанова). *Незвал вспомнил о нашей беседе в 1951 году...* — Речь идет о статье Незвала «Четверть века», вошедшей в сб. «Илья Эренбург — пламенное слово правды», выпущенный в Праге издательством «Чехословацкий писатель» в 1951 г. к 60-летию Эренбурга. *Незнакомка мертвая! Мы пасынки судьбы...* — пер. М. Кудинова. *Стихотворение из книги «Женщина во множественном числе»* — стихотворение «Предсказание», пер. Д. Самойлова.

Стр. 230. *Лучше ссутулиться в жизни...* — 1-я строка стихотворения без названия в пер. Н. Асеева. *Море, растет вода...* — из стихотворения «Море»; не исключено, что этот перевод принадлежит Эренбургу.

Стр. 231. *Только клад не пропал бы безвестно...* — из поэмы «Сигнал времен», пер. Б. Пастернака. В первом издании поэма имела второй заголовок — «Панихида по Эдисону», возможно, потому Эренбург и перепутал ее с поэмой «Эдисон».

Глава 9

Стр. 233. *Цыпленок жареный, цыпленок пареный...* — Строчку из этой песенки «Цыпленки тоже хочут жить» (наряду с формулой корней квадратного уравнения) Эренбург поставил эпиграфом к роману «Жизнь и гибель Николая Курбова» (см. т. 2 наст. изд.).

Стр. 235. *Опутали революцию обывательщины нити...* — из стихотворения В. Маяковского «О дряни».

Стр. 236. *Как я стану твоим поэтом...* — из поэмы Н. Асеева «Лирическое отступление».

Стр. 237. *Я выбрал первое, что мне пришло в голову, — «Пьяный оператор».* — Лекцию «Пьяный оператор» (о современной Европе)» Эренбург впервые прочел в Берлине 30 декабря 1923 г. В рекламе, напечатанной газ. «Накануне» 28 декабря, приводились следующие подзаголовки лекции: «Замедленная и ускоренная фильма. 18000 черепов в цинковом ящике. Как я ехал по Руру. Он жертвует 1 франк на гильотину. Человеческие скачки. Стиннес и конструктивизм. Носовой платочек фашистов. Интернациональность «чаво?». Социалисты умеют даже хлопать дверью. До чего доводит сытость. Рассосавшийся нарыв. А дамы боксируют. Что такое уан-степ? Роль простой лестницы. Господин аббат электрифицировался. Made in USA. Стоило ли придумывать беспроволочный телефон? Радость машины и машинальная радость. Немецкая достоевщина и Salzkartoffel. Отчего во Франции пишут хорошие романы. Магдебург, или экспрессионистический город наяву. Конструкция из брючных пуговиц. Дом в 24 часа. Оказывается, Людовик XVI не умер. Чаплинианство как новая религия. Фотогеничность дряни. Что такое оптимизм по «Кандиду». Два конца одной и той же фильмы». Как писала «Накануне» 4 января 1924 г., «с лекцией этой талантливый поэт и наблюдатель собирается выступить в ряде городов России». Текст лекции был напечатан в ленин-

градских «Последних новостях» (№ 10—15 за 1924 г.) под заголовком «Разлагающаяся Европа». Характерный отклик на лекцию Эренбурга поместила 12 марта 1924 г. «Ленинградская правда»: «Сменовеховец навыворот, Эренбург не верит в победу революции в Германии. Он не находит там предпосылок социальной революции... И не этим ли парадоксальным непониманием нависших грозно в Европе событий, не этой ли чисто хуренитовской поверхностностью в оценке событий следует объяснить переполненный зал государственной Консерватории и двухтысячную обывательскую толпу у входа, ревевшую и требовавшую билетов. Нэпманская публика искала и нашла своего пророка». В черн. варианте: «В Ленинграде я познакомился со многими писателями, которых раньше знал только по книгам, с А. А. Ахматовой, Е. И. Замятиным, Ю. Н. Тыняновым, К. А. Фединым, М. М. Зощенко» *(ФЭ).*

Стр. 238. *...секретарь редакции показал мне стихи молодого одессита...* — Стихи Э. Багрицкого были известны Эренбургу еще в 1920 г. по феодосийскому альманаху «Ковчег», где были напечатаны и его собственные стихи. *В Гомеле, в вокзальном буфете...* — Эта сцена вошла в роман «Рвач» (см. т. 2 наст. изд., с. 368—369).

Стр. 241. *Я писал в одном из писем...* — Письмо М. Шкапской из Парижа 16 ноября 1924 г. В подлиннике: «Я заканчиваю «Рвача». Это глупый роман. Я люблю героя, хоть он и пакостник». *«Нам нужны наши Щедрины и Гоголи».* — Имеются в виду слова Сталина: «Нам нужны Гоголи. Нам нужны Щедрины», сказанные им в марте 1952 г. на обсуждении в Политбюро кандидатур на Сталинские премии (см.: С и м о н о в К. Глазами человека моего поколения. — Знамя, 1988, № 4, с. 93); эти слова были повторены в октябре 1952 г. Г. М. Маленковым в Отчетном докладе XIX съезду ВКП(б): «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины, которые огнем сатиры выжигали бы из жизни все отрицательное, прогнившее, омертвевшее, все, что тормозит движение вперед» (Правда, 1952, 6 октября). *Я за смех, но нам нужны...* — эпиграмма Юрия Благова.

Стр. 242. *«Попов отказался от «Рвача»...* — из письма М. Шкапской. Эренбург здесь не смог разобрать собственного почерка — он писал Шкапской о директоре Ленгиза И. И. Ионове, отказавшемся в начале 1925 г. печатать «Рвача» (на письме Эренбурга Ионову от 23 декабря 1924 г. имеется резолюция Ионова: «Денег больше не посылать. Печатать не будем. И.»; 29 января Эренбургу сообщили: «...тов. Ионов, ознакомившись с содержанием Вашего романа, пришел к заключению, что выпуск его в пределах СССР невозможен» (см.: РГАЛИ, СПб., ф. 2913, оп. 1, ед. хр. 237, л. 34, 38). «Рвач» в 1925 г. вышел по-русски в Париже. О. Э. Мандельштам, рассказывая в письме жене (февраль 1926 г.) о посещении Ленгиза, писал, что Федин и Груздев «в числе других стараются протащить «Рвача» Эренбурга» (М а н д е л ь ш т а м О., т. 4. М., 1997, с. 65). В 1927 г. «Рвача» выпустило одесское изд-во «Светоч». *Один из наиболее видных напостовцев...* — Имеется в виду Георгий Горбачев и его статья «На

переломе» (Звезда, 1926, № 1, с. 226). *Чуть ветер, чуть север...* — из стихотворения «От черного хлеба и верной жены» (см.: Б а г р и ц к и й Э. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1964, с. 93).

Глава 10

Стр. 242. *Есть там и моя статья...* — Статья «Об обыкновенном и о необыкновенном», опубликованная в газ. «Ленин», перепечатана в журн. «Север» (1969, № 10). Похороны Ленина Эренбург описал в романе «Рвач», в главе «Почти апофеоз».

Стр. 244. *Помню, как несли гроб ближайшие товарищи Ленина...* — По цензурным соображениям Эренбург не мог назвать здесь имена. *Я пошел к Николаю Ивановичу...* — Эренбург не упускал ни одной возможности, чтобы напомнить о Бухарине и его близости к Ленину (что тогда вызывало у читателя сомнения в справедливости сталинских обвинений против Бухарина). Но ему приходилось довольствоваться лишь упоминанием имени-отчества (однако и это требовало от него настойчивости в отношениях с цензурой).

Стр. 245. *У Сталина есть статья о политическом стиле Ленина.* — Имеется в виду раздел «Стиль в работе» в лекциях Сталина «Об основах ленинизма» (1924). Отметим, что в этом разделе, говоря о болезни «революционного планотворчества», Сталин, в частности, ссылается на Эренбурга: «Один из русских писателей, И. Эренбург, изобразил в рассказе «Ускомчел» (Усовершенствованный коммунистический человек) тип одержимого этой болезнью «большевика», который задался целью набросать схему идеально усовершенствованного человека и... «утоп» в этой «работе». В рассказе имеется большое преувеличение, но что он верно схватывает болезнь — это несомненно» (С т а л и н И. Соч., т. 6. М., 1947, с. 187). Рассказ «Ускомчел» до 1990 г. публиковался единственный раз в сб. Эренбурга «Неправдоподобные истории» (Берлин, 1921).

Глава 11

Стр. 248. *Посол говорил...* — Имеется в виду П. М. Керженцев, ставший потом председателем Комитета по делам искусств и осуществивший, в частности, разгром Театра Мейерхольда. *В книге «10 л. с.» я написал о конце Маттеотти...* — В советские издания глава о Маттеотти «Дороги» не вошла (см.: Э р е н б у р г И. 10 л. с. Берлин, Петрополис, 1929, с. 193—199). Очерк Эренбурга «Убийство Маттеотти» напечатан в журн. «Красная новь» (1929, № 11).

Стр. 250. *Генерал маленького роста и маленького калибра* — генералиссимус Франко.

Стр. 251. *«Человек только тростник...»* — См.: П а с к а л ь Блез. Мысли. — В кн.: Л а р о ш ф у к о, П а с к а л ь, Л а б р ю й е р... БВЛ, т. 42. М., 1973, с. 169. Эренбург приводит любимое изречение Паскаля в собственном переводе. *Я часто их перечитываю...* — В собрании И. И. Эренбург хранится французское издание «Писем из тюрьмы» А. Грамши с предисловием Тольятти, которым пользовался Эренбург; на нем дарственная надпись: «Илье Эренбургу эти письма из тюрьмы с дружеским уважением от переводчика Жака Ноаро. 18. 5. 54».

Глава 12

Стр. 253. *Бафомет* — главный идол у тамплиеров (рыцарский мистический орден, основанный в XII веке); впоследствии стал мистическим символом в оккультизме.

Стр. 254. *Я писал поэтессе М. М. Шкапской...* — Приведены исправленные Эренбургом выдержки из писем от 5 января 1925 г., 3 ноября 1924 г., 16 ноября 1924 г.

Стр. 255. *АХРР* — «Ассоциация художников революционной России» — организация, родственная РАППу, существовала в 1922—1932 гг.; насаждала натуралистические формы живописи, утверждала монопольное положение этого направления в советском искусстве; пользовалась поддержкой влиятельных лиц из сталинского окружения (например, Ворошилова). *Я писал в 1925 году...* — Далее идет исправленная цитата из эссе «Романтизм наших дней» (см. т. 4 наст. изд., с. 547, 550). Эренбургу приходилось смягчать формулировки своих прежних текстов; так, первая цитата начиналась: «Наши простаки до сих пор думают...»

Стр. 256. *«Торжество индустриальной красоты»...* — из эссе «Машина и искусство» (1925) (см.: *БУ*, с. 28, 31).

Стр. 257. *...книги писателя-дипломата Поля Морана.* — Эренбург посвятил им памфлет «Поль Моран» (см.: *ЗР*, с. 244—256).

Стр. 260. *«Кабак на улице Пигаль...»* — Цит. по эссе: «Пьер Мак-Орлан» (1925) (см.: *БУ*, с. 70—71). *Роман о всаднице Эльзе* — М а к-О р л а н П. Интернациональная Венера (рус. пер. — М., 1925).

Стр. 261. *...мы с ним обедали в парижском ресторане.* — Эпизод содержится в романе Эренбурга «Лето 1925 года» и в эссе «Пьер Мак-Орлан»; приведя там слова Мак-Орлана о кусающихся кроликах и моркови, выскакивающей из грядок, Эренбург написал: «Я никак не мог его утешить. Кто же не знает, что я «упадочный нигилист» и «гниющий выродок»? Я только вспомнил о логике: если человечество просуществует еще несколько тысяч лет, не останется больше ни кроликов, ни моркови. Нет, тогда будут только химические пилюли, геометрия домов и чувств, всеобщее счастье, абстрактные стихи для умалишенных и то развертывание челюстей, которое можно назвать зевотой или же смертью» (*БУ*, с. 75). *Мак-Орлан*

посвятил мне... «Улица Сен-Венсен»... — Неточно; Эренбургу посвящены книги Мак-Орлана «Улица тележек» (Париж, 1927) и «Города» (Париж, 1929); посвящения одинаковы — «Илье Эренбургу в знак глубокой литературной симпатии и дружбы. П. Мак-Орлан». *Я говорил о моей преданности новой эпохе...* — См. в предисловии к *БУ* (Париж, 7 января 1927 г.): «Во время войны, когда люди боролись за пафос территории, они вдруг поняли, что их любовь и ненависть вымышлены. Среди узости траншей исчезли границы. Пространственный патриотизм умер. Но осталось свободное место, и, так как трудно жить вне «слепоты страстей», понятие «родины» было быстро заменено «современностью». Мы ее любили не менее «странною любовью», нежели наши предшественники «отчизну». Это чувство тоже требовало и крови, и замалчиваний». *«Лето 1925 года», пожалуй, самая печальная из моих... книг...»* — Судя по письму к Полонской от 25 октября 1925 г., книга «Лето 1925 года» первоначально называлась «Отчаянье Ильи Эренбурга».

Стр. 262. *«Мы во многое верили...»* — См.: *СС*, т. 2, с. 445 — 446. *Мне прислали из Москвы статью «На путях жизни»...* — Полтавский И. На путях жизни. — *ВМ,* 1926, 20 мая.

Глава 13

Стр. 263. *...Маркиш походил на портреты Байрона.* — См. предисловие Б. А. Лавренева к кн.: Маркиш П. Избранное. М., 1957, с. 3. *«Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца».* — Роман вышел по-русски небольшими тиражами в Париже и в Берлине в 1928 г.; в СССР не издавался до 1989 г.

Стр. 264. *Там листья не шуршат в таинственной тревоге...* — из стихотворения «Осень», пер. А. Ахматовой; см.: Маркиш П. Стихотворения и поэмы. Л., 1969, с. 239. Далее — по этому изданию; указываются названия цит. стихов.

Стр. 265. *Она не падает с твоих ресниц...* — из стихотворения «Твоя слеза», посвященного Э. Е. Лазебниковой-Маркиш, пер. А. Ахматовой. *Что он мог еще сюда...* — из 28-й главы поэмы «Братья», пер. С. Липкина. *...диалог между двумя испанскими поэтами: Раби Сем Тобом и маркизом Сантильяна.* — Эренбург не раз писал об этом сюжете; стихи Сем Тоба и маркиза Сантильяны приводятся здесь в переводе И. Эренбурга.

Стр. 266. *...день его смерти — 12 августа 1952 года.* — В этот день Маркиш был расстрелян вместе с выдающимися деятелями еврейской культуры Л. Квитко, Д. Бергельсоном, Д. Гофштейном и другими. *Две мертвые птицы на землю легли...* — из поэмы «Спелые ночи», пер. А. Ахматовой.

Стр. 267. *Я возложил тебя на рамена...* — из стихотворения «И те, чья жизнь — остылый прах и пепел...», пер. Д. Бродского.

Глава 14

Стр. 269. *«Советская Россия без коммунистов»* — статья А. Агафонова (веч. выпуск «Красной газеты», 26 октября 1927 г.). *Стендаль писал в «Красном и черном»...* — Из XIX главы второй части романа; здесь — перевод Эренбурга. *Старая Литературная энциклопедия называет...* — См. ст. А. Селивановского «Попутчики» в т. 9 Лит. энциклопедии (М., 1935, стлб. 148).

Глава 15

Стр. 273. *В коротенькой автобиографии.* — См.: Бабель И. Сочинения в 2 т., т. 1. М., 1990, с. 32 (далее — по этому изданию). *Он писал в октябре 1927 года...* — Письмо И. Л. Лифшицу 28 октября 1927 г. — см.: там же, с. 255.

Стр. 273—274. *В другом письме И. Л. Лифшицу...* — Письмо от 10 января 1928 г. (см.: там же, с. 260).

Стр. 274. *Записки С. Г. Гехта напомнили мне о замечательном рассказе... «У Троицы».* — С. Г. Гехт рассказывает о дружбе Бабеля с Есениным и в связи с ней об истории рассказа «У Троицы» (см.: Воспоминания о Бабеле. М., 1989, с. 59). *Как явствует из дневника...* — Дневник Бабеля и его письма Эренбург цитирует по машинописным копиям, полученным от А. Н. Пирожковой; впервые выдержки из дневника он опубликовал в своем предисловии к первому после реабилитации Бабеля изданию его прозы (Избранное. М., Гослитиздат, 1957).

Стр. 277. *Горький заступился за «Конармию»...* — См.: Горький М. Ответ Буденному. — Правда, 1928, 27 ноября («Открытое письмо Максиму Горькому» С. М. Буденного было напечатано в «Правде» 26 октября 1928 г.); в Собр. соч. М. Горького (т. 1—30. М., 1949—1955) не напечатано. *«Петербург победил Полтавщину...»* — См.: Бабель. Мои листки. Одесса. Журнал журналов, 1916, № 51, с. 5. *«Я тружусь здесь, как вдохновенный вол...»* — из письма В. П. Полонскому от 5 октября 1927 г. (Бабель И., т. 1, с. 253).

Стр. 278. *В 1936 году я писал...* — в *КдВ* (см. т. 3 наст. изд., с. 522, 523). Портрет Бабеля начинался так: «Я должен сейчас рассказать о Бабеле, хотя бы потому, что Бабель не поэт, не кубист, не шаман, не человек, трагически закончивший жизнь». *«В третий раз принялся переписывать...»* — из письма В. П. Полонскому от 28 ноября 1928 г. (Бабель И., т. 1, с. 290). *...«Главная беда моей жизни...»* — из письма В. П. Полонскому из Ростова-на-Дону от 26 июля 1929 г. (там же, с. 302).

Стр. 279. *...писал на кухонном столе... на верстаке...* — См. в письме В. П. Полонскому от 13 декабря 1930 г.: «Я вызываю всех писателей СССР на «конкурс бедности» со мной, у которого не только квартиры нет, но даже и самого паршивого стола. Я сочиняю на верстаке (в буквальном смысле слова) моего хозяина Ивана Карпыча, деревенского

сапожника» (т а м ж е, с. 310). ...*я описал в «Известиях» выступление Исаака Эммануиловича...* — См.: Известия, 1935, 27 июня. А. Н. Пирожкова вспоминала: «Однажды я попросила Эренбурга, уезжавшего во Францию, узнать, не сохранилась ли стенограмма речи Бабеля на конгрессе. Он говорил об этом с Мальро, одним из организаторов конгресса, но оказалось, что все материалы погибли во время оккупации Парижа немцами» (Воспоминания о Бабеле, с. 264).

Стр. 280. ...*«Я вспоминаю последний наш разговор...»* — из воспоминаний «Багрицкий» (см.: Б а б е л ь И., т. 2, с. 363). ...*«Сей числящийся за мной флигелек...»* — См.: Т э с с Т. Друзья моей души. М., 1985, с. 100.

Стр. 281. *Бабеля арестовали весной 1939 года.* — Бабель был арестован на подмосковной даче утром 16 мая (постановление на его арест было оформлено лишь 23 июня 1939 г.). Его допросы начались 29 мая; следователь выбивал из него признания в шпионаже, троцкистской деятельности, показания на писателей. Среди добытых и записанных рукой следователя показаний были такие: «Мое первое знакомство с Эренбургом, происшедшее в одном из парижских кафе, было весьма мимолетным и перешло в дружбу только в следующий мой приезд в Париж в 1933 году. Тогда же Эренбург познакомил меня с Андре Мальро, о котором он был чрезвычайно высокого мнения, представив мне его как одного из самых ярких представителей молодой радикальной Франции. Мальро высоко ставил меня как литератора, а Эренбург в свою очередь советовал мне это отношение укреплять»; далее в деле Бабеля имеется такая запись следователя: «Об Эренбурге Бабель показал: «Понятно, что, когда Эренбург нашел в моем лице единомышленника, он охотно пошел со мной на антисоветские беседы, в которых мы установили общность наших взглядов и пришли к выводу о необходимости организованного объединения для борьбы против существующего строя». 25 июня 1939 г. следователь записал: «Эренбург приезжал в Москву в 1936 и 1938 годах. В связи с прошедшим процессом над зиновьевцами и троцкистами выражал опасения за судьбу главного своего покровителя — Бухарина и расспрашивал о новых людях, пришедших к руководству, в частности о Ежове. В последний его приезд разговор наш вращался вокруг двух тем: аресты, непрекращающаяся волна которых, по мнению Эренбурга, обязывала всех советских граждан прекратить какие бы то ни было сношения с иностранцами, и гражданская война в Испании». 10 октября 1939 г. Бабель отказался от своих показаний и с тех пор в нескольких заявлениях писал, что под давлением оклеветал честных людей. 2 января 1940 г. он писал в прокуратуру: «Мною приписаны антисоветские действия и антисоветские тенденции писателю И. Эренбургу... Вся эта ложь ни на чем не основана. Людей этих я знал, как честных и преданных советских граждан. Оговор вызван малодушным поведением моим на следствии». Это же заявление Бабель повторил за день до суда, 25 января 1940 г. Десятиминутный суд состоялся в Бутырках 26 января 1940 г.; Бабель повторил на нем отказ от прежних показаний и был приговорен к расстрелу; приговор привели в исполнение 27 января 1940 г. 16 июля 1954 г.

Эренбург направил заявление в военную прокуратуру в поддержку реабилитации Бабеля, в котором писал, что «это был честный советский писатель, как у нас, так и за границей всегда защищавший наши идеи». Бабель был реабилитирован 18 декабря 1954 г. (Огонек, 1989, № 39, с. 22—23; см. также: Поварцов С. Причина смерти — расстрел. М., 1996).

Глава 16

Стр. 282. *В Пенмарке я был в 1927 году...* — В этой поездке вместе с Эренбургами были Савичи; в Бретань к ним приезжали Р. О. Якобсон и В. Г. Лидин. Впечатления о поездке Эренбург изложил в очерке «Бретань» (см.: *ВВ*, с. 77—90).

Стр. 284. *В 1929 году я увидел в Швеции...* — Скандинавские впечатления Эренбурга отразились в очерках «Север» (см. т. 4 наст. изд.).

Глава 17

Впервые под названием «История одного фильма». — Сов. экран, 1961, № 16. В работе над этой главой Эренбург использовал очерк «Встреча автора со своими персонажами» (*БУ*, с. 93—109).

Стр. 285. *В пятой главе этого плана я нашел...* — См.: Сов. писатели. Автобиографии, т. 1, с. 469. *...я показывал... отрывки из французских фильмов...* — 9 июня 1926 г. в кинотеатре «Малая Дмитровка» Эренбург дважды прочел лекцию «Новое французское кино», сопроводив ее показом отрывков из фильмов Абеля Ганса «Наполеон», Рене Клера «Призрак Мулен-Ружа», Жака Фейдера «Детские лица», Жана Эпштейна «Лев моголов», «Верное сердце», Жана Ренуара «Нана», «Дочь воды», Д. Кирсанова «Ментильмонтан» и др. Эти лекции, организованные ГАХН, вызвали значительный интерес публики и отклики прессы (*ВМ* — 11 и 15 июня, «Правда» — 17 июня, «Известия» — 12 июня, «Кино» — 15 июня 1926 г.). *...написал брошюру «Материализация фантастики»...* — См.: Эренбург И. Материализация фантастики. М.—Л., 1927.

Стр. 286. *...Маяковский писал из Берлина...* — Цитата из письма к Л. Ю. Брик 20 октября 1928 г. (см.: Маяковский В. ПСС, т. 13, с. 124). *Фильм будет ставить... Георг Пабст.* — Впоследствии Эренбург написал для Пабста сценарий по роману «Единый фронт» (фильм снят не был) (см.: Рот-фильм, 1934, 20 июля).

Стр. 288. *...Распа спасли мои книги...* — А. Дымшиц, работавший в 1945 г. в Германии, вспоминал, что на дверях дома Ф. Распа советские солдаты повесили табличку: «Здесь живет друг Ильи Эренбурга. Дом охраняется советскими войсками» (см.: *ВЭ*, с. 58).

Стр. 290. *...в народном суде рассматривалось смешное дело.* — Об этом тифлисская «Рабочая правда» 31 июля 1926 г. напечатала заметку «Любовь Жанны Ней». *...что такое «фабрика снов»...* — «Фабрика снов» — книга о дельцах кинобизнеса (Берлин, 1931; печаталась также в журн. «Красная новь», 1931, № 5—8).

Глава 18

Стр. 292. *Ирина училась, начала говорить по-французски, как парижанка...* — Эренбург привез дочь в Париж в 1924 г., здесь она окончила среднюю школу, затем Сорбонну и в 1933 г. вернулась в СССР. *«Порядок неизменно тяготит человека...»* — из предисл. к «Персидским письмам» Монтескье (см.: Валери П. Об искусстве. М., 1976, с. 493); здесь — в переводе Эренбурга.

Стр. 293. *...я прочитал его книги о поездке в Африку...* — Книги Андре Жида «Путешествие в Конго» и «Возвращение с озера Чад»; рус. пер. см.: Жид А. Собр. соч., т. IV. Л., 1936. *...в его книгах куда больше жестокой правды...* — Здесь речь идет о романах Мориака «Тереза Дескейру» и «Клубок змей». *...критик Эдмон Жалу писал...* — Цит. по тексту эссе «Франсуа Мориак и спертость» (см.: *ЗР,* с. 233).

Стр. 294. *...приехала из Ленинграда О. Д. Форш.* — «Форш — чудо!» — писал Эренбург Е. Полонской 11 мая 1927 г., делясь впечатлениями о встречах с писательницей в Париже. *Он написал тогда книгу о Христе...* — Barbusse Henry. Jésus. Paris, 1926; в СССР не издавалась. *Ужин, устроенный Пен-клубом* — описан в памфлете «О достоинствах и талантах» (1933) (см.: *ЗР*, с. 88).

Стр. 296. *«Самая характерная черта нацистов — это идеализм».* — Жермен А. Гитлер или Москва; цит. по памфлету «О пользе карикатур» (1933) (см.: *ЗР,* с. 104).

Стр. 297. *Я был в Сорбонне на его вечере...* — Состоялся в начале весны 1930 г.; описан в «Автобиографических записках» (см.: Эйзенштейн С. Избр. произв. в 6 т., т. 1. М., 1964, с. 322—331).

Стр. 298. *Паскин, окруженный яркими крикливыми женщинами...* — В черн. варианте дальше: «Испанец Фернандо Херасси восхищался Сутиным. Р. Р. Фальк редко приходил в кафе; он исступленно работал в маленькой захламленной мастерской. Н. И. Альтман ел бутерброд долго, обстоятельно, с видом знатока, которому подали редкостное блюдо» (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 117, л. 18). *Он* <К. Миклашевский> *написал книгу «Гипертрофия искусства».* — Вышла в издательстве «Academia», Л., 1924; В. Шкловский тогда же писал: «Книга Миклашевского написана фельетонным стилем и не хуже книги Эренбурга «А все-таки она вертится» (см.: Шкловский В. Гамбургский счет. М., 1990, с. 293). *...Жан Ришар Блок... говорил...* — См.: Международный конгресс писателей в защиту культуры. Париж, июнь 1935. М., 1936, с. 139—146.

Глава 19

Стр. 299. *«Сюрреализм, такой, каким его подносит Бретон...»* — Цит. по кн.: Buchole Rosa. L' évolution poètique de Robert Desnos. Palais des Academies Bruxelles, 1950, p. 120—121.

Стр. 300. *Моя Любовь! Наша боль...* — Цит. по кн.: Berger Pierre. Robert Desnos. Poètes d'aujoud'hui. Éditeur Pierre Seghers, 1968, p. 208—209. *«Я так мечтал о тебе...»* — перевод Эренбурга. С. Великовский в предисловии к сб. Р. Десноса «Стихи» (М., 1970) пишет, что стихотворение написано в 1926 г. и приведено в предсмертном письме Десноса; впервые напечатано по-чешски, а затем — в обратном переводе — по-французски. Так оно стало «последним» стихотворением Десноса.

Стр. 301. *Улица Сен-Мартен у меня была...* — Переведено Эренбургом специально для мемуаров, как и далее цит. стихи.

Глава 20

Стр. 304. *Я написал «10 л. с.»...* — Судьба советских изданий этих книг отражала трудное положение Эренбурга, как оно к тому времени сложилось. Роман *«Единый фронт»* не был издан (в архиве изд-ва «Федерация» сохранился отрицательный отзыв Н. Огнева на рукопись от 3 ноября 1930 г., а также отзыв А. Селивановского от 4 ноября 1932 г., настаивающего на коренной переделке романа; ссылаясь на К. Зелинского, Селивановский назвал «Единый фронт» «романом цинизма». — РГАЛИ, ф. 625, оп. 1, ед. хр. 137, л. 41—43). Книга *«Бароны пяти магистралей»,* подготовленная в 1935 г. к печати, издана не была (верстка сохранилась у И. И. Эренбург). Книга «10 л. с.» была напечатана со значительными купюрами (исключена глава «Дороги», из главы «Бензин» изъяты страницы о Х. Г. Раковском, реабилитированном в 1988 г.). Журнальные публикации Эренбурга подвергались редакционным сокращениям, что не уберегло их от разноса критики. Письма Эренбурга Е. Г. Полонской той поры передают его нарастающее смятение: 25 июля 1927 г.: «Моего «Рвача» изъяли. «Белый уголь» никто не берет. «Лазик» заранее обречен на заграничную жизнь. Мой плацдарм все сужается»; 21 ноября 1930 г.: «Я написал за последнее время, кроме «Бабефа», «10 л. с.». Отрывки, точнее лохмотья, были напечатаны в «Красной нови». Книга должна выйти в «Зифе», выйдет ли — не знаю. После сего написал «Единый фронт» — это роман о европейских трестах, о новых видах акул, в частности о шведских спичках и о Крейгере. У меня обидное для писателя положение — я пишу... для переводов».

Стр. 307. *Я писал также о главе американской фирмы «Кодак»...* — См.: Эренбург И. Фабрика снов. Берлин, 1931.

Стр. 309. *...мой очерк, посвященный порядкам в Злине...* — «Король обуви» (1932) (см.: *ЗР*, с. 149—156). *...мне пришлось описывать годы тощих коров.* — Об этом см.: Эренбург И. Хлеб наш насущный. М., 1933.

Глава 21

Стр. 313. *С Жоржем Сименоном меня познакомил Мерль.* — В интервью журн. «Иностранная литература» Сименон рассказывал: «Я близко знал Илью Эренбурга в 1933—1935 годах. Одно время мы встречались каждое воскресенье у общего друга — Эжена Мерля... Мерль жил под Парижем, и так как у Ильи не было своей машины, я обычно подвозил его домой. Эренбург был очень приятным, несколько странным человеком. Он больше слушал, чем говорил. Сидит где-нибудь в углу, словно его тут и нет, и кажется, что он ничего не слышит. Однако он помнил все, о чем мы говорили... Его мемуары произвели на меня огромное впечатление» (Иностр. лит., 1971, № 10, с. 262—263). См. также очерк «Сименон и Эренбург — 25 лет спустя» (Всемирное слово. СПб., 2000, № 13).

Стр. 315. *В 1933 году раскрылась очередная панама...* — См. памфлет «Обыкновенная история» (1934) (*ЗР*, с. 117—123).

Глава 22

Стр. 317. *Ромен Роллан... называл его «балканским Горьким».* — См. предисловие к кн. П. Истрати «Кира Киралина» (рус. пер. — М.—Л., Земля и фабрика, 1925).

Стр. 319. *Книга, посвященная поездке в Советский Союз.* — Трехтомник «К другому пламени» (Париж, 1929), подготовленный П. Истрати; второй том написан В. Сержем, третий — Б. Сувариным.

Глава 23

Стр. 322. *В Кируне я познакомился с горняком...* — Эту историю Эренбург описал в очерке «Без языка» (1929; см. т. 4 наст. изд., с. 209—213). *...я... назвал книгу очерков «Виза времени».* — Изд-во «Петрополис», Берлин, б. д.; следом два сов. издания (М., ГИЗ, 1931 и Л., 1933) с предисловием Ф. Ф. Раскольникова, разъяснявшим читателям ошибки автора. «Виза времени» была встречена рапповской критикой в штыки — см. ст. А. Селивановского «Фальшивая виза» (*ЛГ*, 1931, 30 августа), рец. Р. Миллер-Будницкой «Философия буржуазного распада» (Ленинград, 1932, № 1), «Эпигон формализма» (Звезда, 1932, № 2).

Стр. 323. *...Ф. Раскольников предостерегал читателей...* — См.: *ВВ*, с. 7; Ф. Ф. Раскольников написал также предисловие к изданию книги «10 л. с.» (М., 1931).

Стр. 325. *Вот что я тогда писал...* — Далее приводятся несколько переработанные автором выдержки из очерков «Пять лет спустя» (1927), «Двойная жизнь» (1928), «Англия» (1930), «Север» (1929).

Глава 25

Стр. 334. *«Симплициссимус»* — немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник, издавался в Мюнхене в 1896 — 1942 гг.

Стр. 337. *...«строчки с кровью — убивают...»* — из стихотворения «О, знал бы я, что так бывает...» (1931).

Глава 26

Стр. 338. *Я написал статью...* — «Экзотические слюнявки» (1931) — см.: *ВВ*, с. 371—377.

Стр. 339. *Дневник Анны Франк.* — Рус. пер. «Дневника Анны Франк» вышел в Москве в 1960 г. при ближайшем участии и с предисловием Эренбурга. *Тетрадки кашинской школьницы Ины Константиновой* — были изданы в СССР и за границей благодаря настойчивости Эренбурга (Дневник Ины Константиновой. Предисл. Ильи Эренбурга. Калинин, 1957). Ине Константиновой посвящена 23-я глава пятой книги «Люди, годы, жизнь».

Стр. 340. *...я писал в 1931 году...* — Эренбург Илья. Мой Париж. М., Изогиз, 1933, с. 14, 15.

Стр. 341. *Когда, убоясь футуристической рыси...* — из письма Б. Ф. Малкину от 17 августа 1921 г. (см.: Маяковский В. ПСС, т. 13, с. 49).

Стр. 342. *Д. Заславский писал...* — из статьи «Париж, запечатленный Эренбургом» (*ЛГ*, 1933, 17 июля).

Глава 27

Стр. 342. *...я увидел впервые Испанию.* — В августе 1926 г. была еще мимолетная встреча с Испанией, когда Эренбургу удалось без паспорта проникнуть туда. Об этом — в очерке «Сео-де-Урхель» (см.: *БУ*, с. 223—229).

Стр. 344. *Наша жизнь — это реки...* — строфы «На смерть Дона Родриго, рыцаря ордена св. Иакова» Хорхе Манрике, перевод Эренбурга (см.: *ТД*, с. 187—194). *Как здесь не вспомнить «старушку» Твардовского...* — Имеются в виду строки из главы о Сталине «Так это было» поэмы «За далью — даль»: «Но не ударила царь-пушка, // Не взвыл

царь-колокол в ночи, // Как в час урочный та *Старушка* // Подобрала свои ключи... // Вступила в комнату без стука, // Едва заметный знак дала — // И удалилась прочь наука, // *Старушке* этой сдав дела...»

Стр. 347. *...я написал книгу о том, что увидел.* — «Испания» (М., Федерация, 1932; Париж, Геликон, 1933; М., Гослитиздат, 1935) — см. т. 4 наст. изд.

Стр. 348. *...я познакомился с... Дуррути...* — О нем см. очерк «Испанский эпилог» (1931) — т. 4 наст. изд., с. 430—434; Дуррути посвящена и 19-я глава четвертой книги мемуаров. *«Командующий гражданской гвардией...»* — из очерка «Guardia civil»; исправлено (т а м ж е, с. 386).

Стр. 349. *«У меня скрипучее перо...»* — из очерка «Что такое достоинство» (т а м ж е, с. 358).

Стр. 350—351. *«Здесь можно выдать...»* — из очерка «О человеке» (т а м ж е, с. 425).

Глава 28

Стр. 351. *...рассказ Эдгара По о бочке амонтильядо...* — «Бочонок амонтильядо» (см.: П о Э. Полн. собр. рассказов. М., 1970, с. 646).

Стр. 352. *...у Толлера было недостаточно политической подготовки.* — В черн. варианте резче: «Конечно, он не умел командовать армией; это он хорошо понимал, но более подходящего в Мюнхене не оказалось. Людям, которые только и знают, что перечислять его ошибки, стоит задуматься над тем, почему Толлер оказался на неподходящем посту. Не от честолюбия — бой был явно неравным и руководители советской республики знали, что впереди не почести, не власть, а расстрел или каторга. Он пришел к власти не из подпольных кружков, а из поэзии, то есть был политически самоучкой. Ошибался он вместе с другими. Почему же так любят говорить именно об ошибках Толлера? Да потому, что, выйдя из тюрьмы, он не расстался с борьбой, но при этом не расстался и со своей поэтической сущностью. Обвиняют его в жалости к врагам, в пристрастии к судьбе партизана...» *(ФЭ).*

Стр. 353. *...пьесу Толлера, написанную им в тюрьме...* — Толлер в тюрьме написал 4 пьесы и 3 книги стихов.

Стр. 354. *В книге о своей юности...* — Т о л л е р Э. Юность в Германии (рус. пер. В. Стенича). М., 1935, с. 213—214.

Стр. 356. *Строители готических соборов...* — Переведено Эренбургом специально для этой главы.

Глава 29

Стр. 356. *В 1931 году я дважды побывал в Берлине...* — См. очерки «В предчувствии конца» (Веч. Красная газета, 1931, 25 февраля) и «Перед зимой» (Прожектор, 1931, № 31-33).

Стр. 357. *...о моратории Гувера...* — Имеется в виду содействие, оказанное правительством президента США Г. К. Гувера восстановлению военно-промышленного потенциала Германии.

Стр. 360. *В газетной статье я писал...* — Из очерка «Перед зимой»; цит. по *ВВ*, с. 421—422.

Глава 30

Стр. 360. *...в «Книге для взрослых» я писал...* — См. т. 3 наст. изд., с. 542. *...был на заседании Лиги Наций...* — См. очерк «Лига Наций» (1931) (*ВВ*, с. 392—398).

Стр. 361. *...маленькую квартиру на улице Котантен.* — В этой квартире (ул. Котантен, 34), расположенной неподалеку от Монпарнаса, Эренбурги прожили до июня 1940 г.

Стр. 362. *В 1931 году я почувствовал, что я не в ладах с самим собой.* — Характерные эренбурговские раздумья, в которых тени европейских событий соседствуют с гибелью Маяковского и разгулом РАППа, отразились в его письме Е. Г. Полонской от 25 января 1931 г.: «Был в Берлине, в Чехии, в Швейцарии. Европа мрачна и непонятна. Все ее жесты напоминают жесты тривиального самоубийцы. В Женеве попал на заседание Лиги Наций. Если бы не было так скучно, было бы смешно. У тебя, должно быть, другие резоны на пессимизм, но тоже пристойные... Когда я писал Бабефа, я его любил, а это много — в наши дни любить достойного человека. Словом, пиши, хоть, между нами говоря, я перестал верить в нужность нашего дела, оно превращается в манию и даже в маниачество. Однако я все еще работаю — иначе нельзя, а если нет под рукой «любовной лодки», то и не тянет на простейший конец. Мне обидно, что ты не могла прочесть моих последних книг, они бы тебе сказали наверное больше обо мне, чем эти нескладные ламентации. Объективно говоря, это попросту ликвидация переходного и заранее обреченного поколения. Но совместить историю с собой, с котлетами, тоской и прочим — дело нелегкое» (*ВЛ*, 2000, № 2).

Стр. 364. *Эпоха дерзаний и чудачеств была позади.* — В черн. варианте далее: «Я не оплакивал того, что было обречено, но я видел в том, что идет на смену «левому» искусству, давно мне знакомый мир самодовольного и ограниченного мещанина» (РГАЛИ, ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 117, л. 50). *«Гамлеты бесполезны массе».* — См.: Нусинов И. Гамлет. — Лит. энциклопедия, т. 2. М., 1930, стлб. 380. *...пролетариат «бросает Дон Кихота в мусорную яму истории».* — См.: Нусинов И. Дон-Кихот. — Лит. энциклопедия, т. 3, стлб. 385. *«Пейзажи Чужакова показывают...»* — См.: Эренбург И. Москва слезам не верит. М., 1933, с. 47, 48, 93—94.

Стр. 365. *...длинный разговор с... Дениз.* — Актриса Дениз Монробер (по мужу Лекаш) в 30-е годы близкая подруга Эренбурга, с нее написана Жаннет в «Падении Парижа». В черн. варианте: «Я часто

встречался с Дениз... она жила в мире, знакомом мне по «Стихам о канунах»: ненавидя существующий распорядок, она находила утешение в неистовстве искусства, в мечтах, в дереве или в облаке, в плотных деталях жизни; дружила с Десносом, работала в одном из левых театров, где было много фантазии и мало денег. Иногда она меня спрашивала, что я думаю о будущем искусства. Я не знал, что ответить» *(ФЭ). Я не отказывался от того, что мне было дорого...* — Эти слова были использованы в 1963 г. для обоснования обвинений Эренбурга в проповеди так называемой «теории молчания» — критиком В. Ермиловым (Необходимость спора. — Известия, 1963, 30 января) и партаппаратчиком Л. Ильичевым (см.: *ЛГ,* 1963, 9 марта); эти нападки поддержал Н. С. Хрущев (Правда, 1963, 9 марта).

Глава 31

Стр. 367. *У «Известий» имелся корреспондент — Садуль...* — Н. Берберова, посвятившая Жаку Садулю несколько страниц в книге «Железная женщина», пишет: «В свое время, в 1930-х годах, его тучную фигуру можно было часто видеть на бульваре Монпарнас, в тех кафе, где собирались Эренбург, Савич и их друзья, где он разглагольствовал перед своими восхищенными слушателями о встречах с Лениным (но уже не с Троцким)» (Дружба народов, 1989, № 8, с. 151). *Я пошел к нашему послу В. С. Довгалевскому...* — Сохранился экземпляр «Визы времени» (изд-во «Петрополис») с надписью: «Валериану Савельевичу Довгалевскому с сердечным приветом Илья Эренбург» *(СК).*

Стр. 368. *...в седьмом отделе одной из армий...* — Так в годы Отечественной войны назывались отделы, занимавшиеся контрпропагандой среди войск противника.

Стр. 369. *...я перед этим ездил в Бобрики.* — В гор. Бобрики (вскоре ставшем Сталиногорском, ныне — Новомосковск) строился крупный химический комбинат. *Статья была подписана одним из руководителей покойного РАППа.* — Автором заметки был Г. Лелевич (МСЭ, т. 10. М., 1931, с. 311).

Стр. 370. *...«проступают искаженные тревогой черты классового врага»...* — См.: Миллер-Будницкая Р. Философия буржуазного распада. — Ленинград, 1932, № 1, с. 75—79. *...«Мне трудно себе представить путь писателя...»...* — См. т. 4 наст. изд., с. 570.

Глава 32

Стр. 370. *«Известия» поручили мне осветить судебное разбирательство.* — Очерки Эренбурга о судебном процессе над Горгуловым печатались в «Известиях» 26, 27, 28 и 29 июля 1932 г.; под названием «Павел Горгулов» — см. в *ЗР,* с. 157—165.

Глава 33

Стр. 376. *Начальник строительства, старый большевик С. М. Франкфурт...* — Некоторые черты С. М. Франкфурта и факты его биографии Эренбург использовал, создавая образ большевика Шора в книге «День второй». Документальная книга С. М. Франкфурта «Рождение стали и человека» (Октябрь, 1934, № 10—12) показала условия, в которых велось строительство Кузнецкого комбината, и тем самым способствовала снятию обвинений против Эренбурга в сгущении красок при изображении трудностей стройки.

Стр. 378. *...письмо из небольшого уральского города...* — приводится по статье «Мысль в отставке» (1932) (см.: *ЗР*, с. 10—11).

Стр. 380. *...я опубликовал... некоторые из собранных мною документов.* — «La Nouvelle Revue Française», 1933, № 1; фрагменты этих материалов были напечатаны в обратном переводе на русский язык в журн. «Юный пролетарий», 1933, № 7, с. 4—6.

Глава 34

Стр. 382. *...падение Берлина показывалось как феерия...* — Имеется в виду помпезный фильм режиссера М. Чиаурели по сценарию П. Павленко «Падение Берлина» (1950).

Стр. 384. *...снабжено примечаниями Б. Емельянова...* — Б. Емельянов писал: «Володе Сафонову не случайно приходит мысль о поджоге библиотеки... Эренбург мог бы еще точнее сформулировать приговор своему герою, показав его прямую связь с идеологией нарождающегося фашизма» (Эренбург И. Соч., т. 4. М., 1953, с. 643).

Стр. 385. *...«Литературный критик» устроил в Москве обсуждение...* — Материалы обсуждения напечатаны в № 7-8, 1934, с. 288—291.

Стр. 386. *...я получил длинное письмо от Ромена Роллана...* — У И. И. Эренбург сохранился перевод этого письма: «Только что прочел Ваш «День второй». Это самая прекрасная, самая содержательная, самая свободная из книг, прочитанных мною о новом советском человеке-созидателе. В ней чувствуется редкий ум — живой, — который проникает в сущность каждого человека, схватывает разнообразие явлений в жизни людей и затем любуется тем, что дал «День творения мира». Я давно ждал эту книгу, надеялся, что она будет. И вот она появилась. Поздравляю Вас. Я очень рад. Будет полезно, если она выйдет и по эту сторону Горнила. Она рассеет немало недоразумений как у нас, так и у вас. Эта книга содействует делу Революции, помогая многим открыть глаза... на себя. Я не буду сейчас говорить о больших литературных достоинствах Вашей книги. Меня восторгает Ваша непринужденность в обращении с таким насыщенным материалом и Ваше умение внести в него ясность...» *(АЭ)*. *Я послал рукопись Ирине...* — О судьбе рукописи см. коммент. к т. 3 наст. изд., с. 587. *Я решился на отчаянный поступок...* — Последний раз Эренбург из-

дал за границей книгу, запрещенную в СССР, в 1930 г. (роман «Единый фронт»); став сотрудником «Известий», он мог позволить себе издавать за границей лишь те книги, которые хотя бы в сокращении печатались в СССР; поэтому издание «Дня второго» Эренбург назвал «отчаянным поступком». *Радек в «Известиях» писал...* — Радек К. День второй Ильи Эренбурга. — Известия, 1934, 18 мая. *...появилась... статья А. Гарри...* — Гарри А. Жертвы хаоса. — *ЛГ,* 1934, 18 мая. *Радек во второй статье возражал...* — Радек К. Жертва хаоса... в собственной голове. — Известия, 1934, 24 мая.

Книга четвертая

Над четвертой книгой мемуаров Эренбург работал всю вторую половину 1961 года, лишь время от времени отвлекаясь от рукописи для поездок в Стокгольм. По авторскому плану четвертая книга посвящалась событиям 1933—1939 годов и должна была завершиться рассказом о поражении Испанской республики. Событиям 1936—1939 годов в Испании предстояло стать центром этой части мемуаров[1]. Не менее важным было и то, что Эренбург собирался впервые рассказать о пережитом в Москве за те пять месяцев 1938 года, когда он дожидался разрешения вернуться в Испанию. Работа над главами о едва ли не самом «горячем» периоде советской истории пришлась на пору XXII съезда КПСС, сообщившего обществу сильный антисталинский импульс. Поэтому, когда в конце 1961 года Эренбург передал в редакцию «Нового мира» рукопись книги (31 глава), она сравнительно легко прошла и редакционную цензуру, и Главлит (фактически было сделано всего две купюры — убрали сцену на даче Горького, где члены Политбюро ругали Эренбурга за роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца», и десяток строк об Антонове-Овсеенко[2]).

Книга была принята редакцией и назначена к публикации на весну 1962 года, а Эренбург сразу же приступил к работе над пятой частью, посвященной событиям второй мировой войны. Когда в марте 1962 года первые шесть глав пятой части (февраль 1939 — июнь 1941 г.) были написаны, автор отправил их Твардовскому. 5 апреля 1962 г., когда начало четвертой книги уже было набрано для апрельского номера журнала, Твардовский писал Эренбургу: «Повторяя мое давнее обещание не «редактировать» Вас, не учить уму-разуму, я лишь указываю на те точки зрения, которые не только не совпадают с взглядами и пониманием вещей редакцией «Нового мира», но с которыми мы решитель-

---

[1] Испанские главы Эренбург давал прочесть участникам и свидетелям войны в Испании — П. И. Батову, Р. Л. Кармену, А. В. Эйснеру, и, конечно, вся рукопись была тщательнейше прочитана О. Г. Савичем.

[2] Ряд цензурных купюр из мемуаров «Люди, годы, жизнь» напечатан в «Независимой газете» (1991, 29 января).

но не можем обратиться к читателям» *(АЭ).* Далее следовал перечень замечаний, так или иначе связанных с темой советско-германского пакта 1939 года. Эренбург очень цепко отстаивал свой текст, но давление Твардовского было столь жестким, что Эренбургу пришлось «с болью в сердце», как он признался в письме Твардовскому, сделать ряд купюр. Видимо, тогда Эренбург уже пришел к мысли изменить первоначальный план мемуаров и включить написанное начало пятой книги в четвертую, с тем чтобы пятую начать 22-м июня 1941 года. Дело, понятно, не в том, что автор вдруг отдал предпочтение канонической советской периодизации исторических событий. Рассказав о времени, которое он вспоминал с отвращением, и подойдя к не менее тяжким событиям лета 1941 года, Эренбург, видимо, ощутил, что они имеют для него совершенно иную психологическую окраску (годы Отечественной войны у писателя было полное право вспоминать с гордостью); надо думать, что имели место и соображения иного рода — отделив повествование об Отечественной войне от предшествовавших ей и закрытых для общественного обсуждения событий, Эренбург облегчал прохождение через цензуру рукописи следующей части.

37 глав четвертой книги были напечатаны в 4—6-м номерах «Нового мира» за 1962 год (позже были написаны еще три главы — портреты Н. И. Бухарина, М. Е. Кольцова и О. Г. Савича). «Читательский успех мемуаров был огромный, — вспоминал А. Кондратович. — Номера в киосках раскупались тотчас же. Мы получали множество писем» (К о н д р а т о в и ч А. Новомирский дневник. 1967—1970. М., 1991, с. 108). В критических обзорах появились благожелательные упоминания о новой части «Люди, годы, жизнь»; в их ряду стоит отметить слова М. М. Кузнецова: «Это весьма своеобразное художественное произведение, основной стержень которого — размышление о прошлом и настоящем, раздумье над историей для понимания сущности человека завтрашнего дня. Это — мемуарный роман нового, современного типа... Перед нами роман, претендующий на то, чтобы дать портрет века. Судеб искусства и гуманизма...» (В мире книг, 1963, № 1, с. 23).

Весь 1962 год антисталинское движение набирало силу; вместе с тем именно с момента публикации в *НМ* «Одного дня Ивана Денисовича» началась энергичная фронтальная контратака просталинских сил партократии, которая очень быстро повернула события вспять. Уже в декабре 1962 года состоялось спровоцированное чиновниками от искусства скандальное посещение Хрущевым выставки в Манеже и последовавшие за ним массовые выступления прессы против неортодоксального искусства; в этой кампании Эренбургу была уготована роль идейного вдохновителя крамольных художников. 29 января 1963 года в московском выпуске газеты «Известия» появилась большая статья В. Ермилова «Необходимость спора. Читая мемуары И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», в которой наряду с привычными обвинениями мемуариста в пропаганде модернистского искусства впервые вы-

сказывались и прямые политические обвинения[1]. Речь шла о сталинских репрессиях; используя слова Эренбурга о том, что он и тогда понимал абсурдность массовых арестов, но вынужден был об этом молчать, Ермилов демагогически противопоставлял писателю рядовых советских граждан, которые искренне верили Сталину. 1 февраля 1963 г. Эренбург ответил на инсинуации письмом в редакцию «Известий». Оно было напечатано пять дней спустя вместе с еще более наглым ответом критика и осуждением писателя «от редакции» под общим заголовком «Не надо замалчивать существо спора»; еще десять дней спустя «Известия», не упомянув об огромной почте в защиту Эренбурга, напечатали несколько писем читателей, его осудивших. Эти публикации открыли всесоюзную антиэренбурговскую кампанию, достигшую пика в марте 1963 года, когда в нее включились Ильичев и Хрущев.

Столь мощные атаки не могли не сказаться на издательской судьбе четвертой книги. Печатание набранных и одобренных Главлитом третьей и четвертой частей было задержано; издательство «Советский писатель» потребовало от автора серьезных изменений обнародованного текста. Произошло это уже после встречи Эренбурга с Хрущевым 3 августа 1963 года, и писателю удалось отстоять свой текст; от него потребовали покаянного предисловия, но он написал лишь следующее: «Моя книга «Люди, годы, жизнь» вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что эта книга — рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никак не претендую дать историю эпохи или хотя бы историю узкого круга советской интеллигенции. Я писал о людях, с которыми меня сталкивала судьба, о книгах и картинах, которые сыграли роль в моей жизни. Есть много больших художников и писателей, о которых я не написал, потому что не знал их лично или знал недостаточно. Эта книга — не летопись, а скорее исповедь, и я верю, что читатели правильно ее поймут». Не удовлетворенное этими словами, издательство поместило перед ними заметку «От издательства», в которой предупреждало читателей об «ошибках» Эренбурга; в таком виде книга вышла из печати в самом начале 1964 года.

Впервые без изъятий четвертая книга была напечатана в издании *ЛГЖ-90*.

Глава 1

Стр. 389. *У меня не сохранилось текста сценария...* — Фрагмент сценария «Николай Курбов», см.: Лит. Ленинград, 1934, 14 июня; в предисловии к публикации Эренбург писал: «Я верю в талант и муже-

[1]Редактор «Известий» зять Хрущева А. Аджубей утверждал впоследствии, что статья Ермилова поступила в газету по личному указанию Л. Брежнева и потому не могла не быть опубликованной (Молодежь Эстонии, 1989, 6 мая); В. Лакшин пишет, что статью В. Ермилова предварительно одобрил Л. Ильичев (Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева. М., 1991, с. 101).

ство Майльстоуна и хочу надеяться, что картина, которую он сделает, окажется полезной как для разрушения некоторых легенд, созданных в Америке о Советском Союзе, так и для утверждения всей правды нашей революции». О работе Майльстоуна Эренбург в 1933 г. писал своему московскому секретарю В. А. Мильман: «В Москву выехал американский кинорежиссер Майльстоун... Он хочет делать в Америке фильм по моему «Курбову». Я сильно опасаюсь, что получится не только клюква, но и хуже, хотя намерения у него самые прекрасные» *(АЭ). ...он сделал фильм... о советских людях...* — «Наш русский фронт» (1942) смонтирован Л. Майльстоуном и Й. Ивенсом по материалам советской боевой кинохроники; «Северная звезда» (1943) — по сценарию Л. Хеллман. 6 ноября 1943 г. Л. Майльстоун писал Эренбургу: «Недавно закончил большую картину «Северная звезда», посвященную событиям в Советской Украине во время нашествия туда немцев... Ваш последний роман, посвященный гибели Парижа, я прочел с громадным интересом. Между прочим, человек, который по моей просьбе переписывает это письмо на машинке, виделся незадолго до смерти Рахманинова с ним, и он говорил ему, с каким интересом он читал Вашу книгу» *(ФЭ).*

Стр. 391. *...он* <Мальро> *был моим близким другом.* — Лаконичный, но выразительный портрет Мальро Эренбург дал в *КдВ* (см. т. 3 наст. изд., с. 521—522); в 1960-е гг. Эренбург встречался с Мальро в Париже, переписывался с ним (см. очерки «Несостоявшаяся поездка Андре Мальро в СССР» и «Ружье Бонапарта». — Всемирное слово, 2000, № 13). В книге «Веревка и мыши» есть такая запись Мальро, сделанная 6 мая 1968 г.: «Я вновь повидался со своими друзьями по Испании — ...с Эренбургом, которого я знал, когда он был толстым и подвергался постоянной опасности, и которого увидел сейчас худощавым, официальным, отделенным от меня двадцатью пятью годами жизни в России — и в какой России! Смутное ощущение дружбы с человеком, которого ты уже больше не знаешь» (М а л ь р о А. Зеркало лимба. М., 1989, с. 291). *«Путь в прошлое обогатил Мальро...»* — Эссе «Андре Мальро» (1933) (см. т. 4 наст. изд., с. 563).

Стр. 393. *...подаренная им книга «Дневник сорокалетнего»...* — G u e h e n n o J e a n. «Journal d'un homme de 40 ans» (1934); надпись на книге: «Илье Эренбургу от всего сердца. Ж. Геенно» *(АЭ);* отрывок из «Дневника сорокалетнего» в переводе Эренбурга см.: Известия, 1935, 6 сентября. *К. А. Федин в одной статье вспоминал...* — «Западная трагедия» (Известия, 1934, 1 мая).

Глава 2

Стр. 397. *...Ильф оставил... план фантастического романа.* — См.: И л ь ф И. Записные книжки. М., 1957, с. 147—149. *...«На мой взгляд, его последние записки...»* — См. сб.: Воспоминания об Ильфе и Петрове. М., 1963, с. 25.

Стр. 398. *...в ту ночь вернулся из-под Сухиничей Евгений Петрович...* — Выступая 11 апреля 1947 г. на вечере памяти Ильфа и Петрова, Эренбург рассказал об этом подробнее; см.: *ЛГ*, 1983, 21 декабря.

Глава 3

Стр. 402. *...вечером написал статью...* — О событиях февраля 1934 г. в Париже см. статьи Эренбурга в «Известиях» — «На улицах Парижа», «Париж накануне всеобщей забастовки», «Париж, 12 февраля» (10, 14, 15 февраля).

Глава 4

Стр. 403. *Хеймвер* (хаймвер) — организация, созданная для борьбы с революционным движением (1918—1938); с 1930 г. носила профашистский характер. *Шуцбунд* — боевые дружины социал-демократов.

Стр. 404. *В Брно я написал очерки для «Известий»...* — Печатались 6, 9, 12, 15 марта 1934 г.; составили книгу «Гражданская война в Австрии» (М., 1934). 3 марта 1934 г. Эренбург писал из Праги В. А. Мильман: «В Чехословакии я работал день и ночь: опросил детально множество участников австрийских событий, потом написал цикл статей... Эти статьи уже переводятся на немецкий, французский, английский и чешский. Я придаю им значение, т. к. наша информация в данном случае не стояла на высоте...» *(АЭ)*.

Стр. 405. *Я писал в «Известиях»...* — из очерка «Начало новой главы» (Известия, 1934, 15 марта).

Стр. 406. *Редакцию газеты несколько смутили эти строки...* — 9 марта Эренбург сообщил Мильман, что послал в редакцию «очень решительное письмо»: «Дело в том, что австрийский очерк напечатан не только с купюрами, но и с недопустимой отсебятиной» *(АЭ)*; это подействовало; «Последние очерки, — сообщал Эренбург 21 марта, — были напечатаны хорошо». *...горняки Астурии попытались повернуть ход событий...* — См. статью Эренбурга «В горах Астурии» (в кн.: Э р е н б у р г И. Испанские репортажи 1931—1939. М., 1986, с. 57—62; далее *ИР*).

Глава 5

Стр. 408. *Герцфельде перенес в Прагу издательство «Малик».* — В изд-ве «Малик» выходили переводы почти всех книг Эренбурга в блестящем оформлении брата издателя художника Джона Хартфильда. 9 марта 1933 г. Эренбург писал В. А. Мильман: «Немецкие события отразились и на мне. Не только погибло мое издательство, но в

нем погибли пять тысяч марок — мой гонорар от американской фирмы «Юнайтед артист», которая делает теперь «Жанну Ней» и часть денег для меня передала «Малику»...» *(АЭ).*

Стр. 410. ...*«Проезжему кажется, что в Европе — война...»* — из очерков «В джунглях Европы» (см. т. 4 наст. изд., с. 310).

Глава 6

Стр. 413. ...*Бухарин напечатал мою статью.* — Известия, 1934, 26 июля.

Стр. 414. *Фразу... что Эдуар Мане был большим мастером XIX века, редактор зачеркнул...* — См. ст. «В защиту культуры» (Большевик, 1949, № 2).

Глава 7

Стр. 416. *Расписаны были кулисы пестро...* — из стихотворения Гейне «Довольно! Пора мне забыть этот вздор», пер. А. К. Толстого. *Стенографический отчет съезда* — «Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет». М., ГИХЛ, 1934; далее все выступления цит. по этому изд. ...*из семисот осталось в живых, может быть, полсотни.* — На съезде было 377 делегатов с решающим голосом и 220 — с совещательным. *Я председательствовал на заседании...* — На утреннем и вечернем заседаниях 25 августа 1934 г. при обсуждении доклада К. Б. Радека «Современная мировая литература и задачи пролетарского искусства»; по ходу заседания Эренбург переводил речи А. Мальро, Г. Инара, Ж. Р. Блока и Л. Арагона.

Стр. 417. *Приветный знак ашугу дан...* — Стихи С. Стальского (пер. А. Суркова) прочел А. Безыменский.

Стр. 419. *Мальро выступил дважды* — 23 и 25 августа; второе выступление было ответом на высказывания Л. Никулина о пессимизме романа Мальро «Условия человеческого существования».

Стр. 420. ...*шумели поэты, которых взволновал доклад Бухарина.* — Н. И. Бухарин выступил 28 августа с докладом «О поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР»; из здравствующих поэтов Бухарин выше всех оценил Б. Л. Пастернака. *В заключительном слове А. М. Горький... сказал...* — «В докладе т. Бухарина есть один пункт, который требует возражения. Говоря о поэзии Маяковского, Н. И. Бухарин не отметил вредного — на мой взгляд — «гиперболизма», свойственного этому весьма влиятельному и оригинальному поэту».

Стр. 421. ...*я... ввязался в литературный спор.* — В ответ на слова Эренбурга: «Я убежден, что литературные бригады останутся в истории нашей литературы, как живописная, но краткая деталь юношеских лет» — А. М. Горький, выступая на следующий день, чтобы приостановить возвеличивание его персоны, отметил: «Илья Эренбург высказывался против коллективных работ. Я думаю, что это по

недоразумению, по незнакомству с их техническим смыслом... Такие коллективные работы создадут, быть может, полуфабрикат, но они многим и многим предложат прекрасный материал для индивидуального художественного творчества, и, главное, помогут нам хорошо узнать друг друга». В заключительном слове 1 сентября Горький снова вернулся к этому: «К методу коллективного труда литераторов т. Эренбург отнесся скептически, опасаясь, что метод такой работы может вредно ограничить развитие индивидуальных способностей рабочей единицы... Тов. Эренбургу кажется, что прием коллективной работы — это прием работы бригадной. Эти приемы не имеют между собой сходства, кроме физического».

Стр. 422. *Я выступил с длинной речью.* — См. т. 4 наст. изд., с. 567—578.

Глава 8

Стр. 425. *«Эренбург видит мир в контрастах...»* — из ст. А. Гурвича «Писатель и действительность. Контрасты» (см.: Красная новь, 1935, № 12, с. 204).

Стр. 427. *Я рассказал Горькому о судьбе Чиркова...* — Не ограничившись этим, Эренбург напечатал статью «О судьбе наших художественных ремесел» (Известия, 1935, 20 февраля), способствовал организации выставок изделий художественных промыслов в СССР и за рубежом. *...про... Мазина, расписывавшего скамьи, табуреты, стены.* — В статье «Эренбург и Мазин» газ. «Горьковский рабочий» 29 марта 1937 г. писала: «Почти два года назад Эренбург со своим другом французским писателем А. Мальро приехал в Загорский музей игрушки. Здесь и произошло его знакомство с Мазиным. Оба писателя были поражены свежестью, силой и непосредственностью мазинского искусства...»

Стр. 428. *Фильм «Встречный»* — режиссеры Ф. Эрмлер и С. Юткевич (1932).

Стр. 429. *Критики приняли мою повесть... благожелательно...* — Безусловно положительных откликов прессы удостаивались лишь самые слабые книги Эренбурга («Не переводя дыхания», «Девятый вал»); Эренбург на этот счет не обольщался; даря «Не переводя дыхания» О. Г. Савичу, надписал книгу с иронией: «Саве — «роман бодрости и оптимизма» 24.XII.36 И. Эренбург», имея в виду одноименную рецензию К. Зелинского (Правда, 1935, 5 июня).

Глава 9

Стр. 431. *Я написал в Москву длинное письмо...* — Письмо Сталину, отправленное 13 сентября 1934 г. из Одессы, содержало предложение о перестройке работы Международной организации

революционных писателей (МОРП), находившейся во власти рапповских установок, в организацию с широкой антифашистской платформой. Политическая программа такой организации, подчеркивал Эренбург, должна быть широкой и в то же время точной: «1. Борьба с фашизмом. 2. Активная защита СССР»; в письме отмечалось значение Первого съезда писателей для такой работы: «Можно смело сказать, что работа съезда подготовила создание большой антифашистской организации писателей Запада и Америки» *(АЭ).* 23 сент. 1934 г. Сталин направил записку Кагановичу: «Эренбург прав... Надо ликвидировать традиции РАПП в МОРПе... Хорошо бы расширить рамки МОРП (1. Борьба с фашизмом. 2. Активная защита СССР) и поставить во главе МОРП т. Эренбурга. Это большое дело» (см. публикацию «Великая иллюзия — Париж, 1935» — Минувшее, № 24, СПб., 1998, с. 166—239). *«Что-то физики в почете...»* — из стихотворения «Физики и лирики» (впервые — *ЛГ,* 1959, 13 октября). Рассказывая об истории написания этого стихотворения, Б. Слуцкий вспоминал: «Проблема была животрепещущей... Только что в «Комсомолке» технари Полетаев и Ляпунов резко спорили об этом же с Эренбургом. М. А. Суслов, принимая Илью Григорьевича, сказал ему между прочим: «Спасибо, что защитили ветку сирени». Мнения разошлись едва ли не в глобальных масштабах, и я поддержал в споре не Илью Григорьевича, а его противников. Он отнесся к этому со сдержанным недоумением» (*ВЛ,* 1989, № 10, с. 196).

Стр. 433. *«Записки французской школьницы».* — Книга Ирины Эрбург вышла впервые в альманахе «Год семнадцатый» (№ 4, М., 1934); отд. изд. — М., 1936, под названием «Лотарингская школа».

Стр. 434. *Писатели, близкие к троцкистам... предупреждали, что... «разоблачат» Советский Союз.* — М. Паз выступила на конгрессе с протестом против ареста в Ленинграде литератора Виктора Сержа; ответить ей было поручено Н. С. Тихонову; ответ не удовлетворил ее, и тогда выступил И. Эренбург (тоже безуспешно), а потом А. Жид и А. Мальро. *Рыжий Ромка* — Р. О. Якобсон.

Глава 10

Стр. 436. *...я написал для газеты очерки...* — «Саар» (Известия, 1934, 24, 28 и 29 декабря; вошли в *ГН*). *...советник посольства показал мне телеграмму из Берна...* — Цит. по ст. «Добрые взаимоотношения» (см.: *ГН,* с. 46).

Стр. 437. *Выступил М. М. Литвинов...* — Цит. по ст. «Дождь и Женева» (см.: *ГН,* с. 44).

Стр. 438. *...в статье* <Вандервельде> *были неожиданные признания...* — Цит. по ст. «Ночи Эйпена» (см.: *ГН,* с. 72). *Я писал тогда...* — из ст. «Ночи Эйпена» (см.: *ГН,* с. 66).

Стр. 439. *«Круглый стол»* — неправительственная международная организация «Круглый стол Восток — Запад», создана в середине 50-х гг.; И. Эренбург — один из ее организаторов.

Глава 11

Стр. 440. *...Андре Жид «не видел перед собой ничего...»* — «Путь Андре Жида» (1933) (см.: *ЗР,* с. 279). *...на Парижском антифашистском конгрессе никого так не приветствовали, как Жида.* — В беседе с редакцией журнала «Знамя» в ноябре 1935 г. Эренбург рассказывал: «Трижды вставали делегаты всемирного конгресса защиты культуры: когда на трибуну съезда взошел Андре Жид, после речи немецкого писателя-революционера и когда сказал свое краткое слово Борис Пастернак. Так конгресс как бы выделил три слагаемых большой революционной литературы — культуру, политику, поэзию» (*ЛГ,* 1935, 11 ноября). *В 1936 году Андре Жид приехал в Советский Союз...* — Первоначально поездка А. Жида планировалась осенью 1935 г. 9 августа 1935 г. Эренбург писал Кольцову: «Жид собирается в середине сентября в Союз. Я еду примерно в то же время и, может быть, поеду с ним, чтобы доставить его в сохранности до Белорусского вокзала» *(ФЭ).* А. Я. Савич вспоминала: «Когда в октябре 1935 года я скоропалительно уезжала из Парижа, И. Г. поручил мне пойти в Москве к А. С. Щербакову и доложить ему, что возможен визит в СССР Андре Жида. За Андре Жидом тогда у нас очень ухаживали, и И. Г. — он как раз входил в круг дипломатических задач — счел необходимым доложить этот вопрос. Я явилась, и Щербаков меня принял в рабочем кабинете...» *(СК).* 2 ноября 1935 г. *ВМ* напечатала интервью с И. Эренбургом, в котором он сказал: «Незадолго до моего отъезда я встретился с Андре Жидом, собиравшимся приехать на октябрьские торжества в Москву. Однако болезнь не дала возможности писателю осуществить свое желание. Андре Жид передал мне обращение к молодежи Советского Союза». 26 февраля 1936 г. Эренбург сообщал А. С. Щербакову: «Жид теперь в Сенегале. Собирается в Москву в конце марта» *(ФЭ).* 9 мая 1936 г. Эренбург писал М. Кольцову: «Видел Жида после Сенегала. Бодр. Сказал, что едет твердо 15 июня. Свита странная». 26 июня, когда А. Жид уже был в Москве, Эренбург писал М. Кольцову: «Перед отъездом я встречался со свитой Жида и убедился, что Ш. (Ж. Шифрин — издатель, друг А. Жида. — *Б. Ф.*) настроен довольно зловредно». 17 июня 1936 г. А. Жид в сопровождении писателя П. Эрбара прибыл в Москву. На следующий день умер Горький, и 20 июня А. Жид выступал с трибуны Мавзолея на его похоронах. В Ленинграде к А. Жиду присоединились голландский писатель Джеф Ласт, французские писатели Эжен Даби и Луи Гийу, а также издатель Ж. Шифрин. До конца июля группа отдыхала в Грузии (2 авг. «Известия» напечатали письмо А. Жида

к Л. П. Берии с похвалами Грузии). 24 августа, в день, когда было сообщено о вынесении смертного приговора Зиновьеву и Каменеву, А. Жид и его спутники отбыли из страны, послав прощальную телеграмму с приветствием «стране победившего социализма», а вернувшись в Париж, выступили с критикой режима Сталина. Книгу «Возвращение из СССР» А. Жид писал в строжайшей тайне. В октябре 1936 г. по его поручению П. Эрбар посетил в Испании А. Мальро и проинформировал его о содержании книги. Мальро высказался против ее публикации в момент, когда СССР встал на защиту республиканской Испании. Несомненно, что именно Мальро сообщил о книге Жида Эренбургу, который, приехав на несколько дней из Испании в Париж, 24 октября 1936 г. позвонил А. Жиду, настаивая на срочной встрече. Она состоялась 26 октября (см.: Maria van Rysselberghe. Les Cahiers de la petite Dame Cahiers André Gide, v. 5. 1929—1937, p. 565—566). Эренбург говорил А. Жиду, что разделяет его точку зрения, сам мог бы сказать обо всем этом еще больше, но публиковать книгу в разгар гражданской войны в Испании, когда СССР активно помогает республиканцам, — значит нанести удар всему антифашистскому делу. А. Жид остался непреклонен, и в ноябре книга «Возвращение из СССР» вышла в свет; с тех пор в СССР самое имя ее автора официально считалось синонимом предательства. Мемуары «Люди, годы, жизнь» были, по существу, первой попыткой подцензурного, но спокойного, без политических ярлыков и оскорблений, разговора об А. Жиде и «Возвращении из СССР». Книга А. Жида впервые напечатана в СССР в 1989 г. (Звезда, № 8). *Я... назвал его «стариком со злобой ренегата...»* — из ст. «Герои Астурии» (Известия, 1937, 3 ноября). В статье шла речь о захвате франкистами Астурии и о зверской расправе над населением, поддерживавшим республику. В то же самое время французские писатели А. Жид, Ж. Дюамель, Р. М. дю Гар, Ф. Мориак напечатали протест против преследования республиканцами деятелей ПОУМ (рабочей партии марксистского единства — левой организации троцкистов), не упомянув при этом о репрессиях фашистов в Астурии. Эта несбалансированная позиция и вызвала острый выпад Эренбурга, считавшего тогда, как и многие интеллектуалы Запада, немецкий, итальянский и испанский фашизм главной опасностью эпохи. «Я оставлю в стороне Мориака, — писал Эренбург. — Это католик, человек правых убеждений. Но перед моими глазами... Перед моими глазами стоит Андре Жид с поднятым кулаком, улыбающийся тысячам наивных рабочих. Я слышу его голос — он говорил мне это год тому назад: «Я не могу спать, я все время думаю об испанских республиканцах». Это отвратительно и жалко...» Арест, пытки и убийство в тюрьме полит. секретаря ПОУМ Андреса Нина и его товарищей, вызвавшие протест французских писателей, осуществлялись в Испании под руководством и по инициативе НКВД, равно как провоцирование выступления дивизии ПОУМ в Барселоне, устранение непослушного Л. Кабальеро с поста премьер-министра и

т. д.; см. об этом: Конквест Р. Большой террор, т. II. Рига, 1991, с. 242—247.

Стр. 441. *«Записи об Андре Жиде»* — См.: Martin du Gard R. Notes sur Andrié Gide. Paris, 1951; на рус. яз. не переводились.

Стр. 443. *При жизни он опубликовал дневники первых военных лет.* — Цит. в переводе Эренбурга (на рус. яз. не издано). В СССР изданы дневники А. Жида 20—30-х гг. 7 апреля 1932 г. А. Жид записал впечатления от прозы Эренбурга: «Рвач» Эренбурга; книга — замечательная, подлинной и несомненной новизны; необыкновенный ум и верность подачи» (см.: Жид А. Страницы из дневника 1929—1932. М., 1934, с. 92).

Глава 12

Стр. 444. *...парижский конгресс я подготовлял.* — Работу по подготовке конгресса Эренбург начал после одобрения его письма Сталину (см. примеч. к с. 431). 17 января 1935 г. Эренбург подробно описал М. Кольцову ситуацию вокруг создания «Международной лиги писателей» во главе с Барбюсом; он выражал опасения, что диктаторские замашки и некоторые заявления людей из окружения Барбюса (Удиану, Бехер и др.) могут оттолкнуть писателей с именем от новой организации как от создающейся на деньги Москвы. «Надо ли говорить о том, — писал Эренбург, — что все это делается именем того, с кем Барбюс в свое время беседовал (т. е. Сталина. — *Б. Ф.*). Не будь описанной истории, положение можно было бы рассматривать как благоприятное. Мальро горит. Блок пылает. Геенно и Дюртен следуют. Жид поддается. Может прийти такой человек, как Жироду, не говоря уже о Мартен дю Гаре. В Англии обеспечен Хаксли. Мыслимо — Честертон и Шоу. Томас Манн тоже сдался. В Чехословакии — Чапек. Но, конечно, все это отпадет, если организация будет удиановская... Если правда, что узаконен Барбюс, — надо сказать, чтобы не было недоразумений. Найдите способ сообщить мне обо всем возможно скорее» (см.: Минувшее, № 24, с. 166—239).

Стр. 446. *...ваш товарищ... назвал Сартра и О'Нила «шакалами».* — Из речи А. А. Фадеева: «Если бы шакалы научились писать на машинке, если бы гиены умели пользоваться вечным пером, то наверное их произведения напоминали бы книги Миллеров, Эллиотов, Мальро и прочих Сартров» (*ЛГ*, 1948, 29 августа). *...успеху* <конгресса> *содействовало поведение советских писателей.* — Г. Манн писал 16 июля 1935 г. Т. Манну: «Речи русских — Эренбурга, Алексея Толстого, Кольцова — были целиком посвящены защите культуры. Большего требовать нельзя... Я... думаю про себя, что без русской поддержки Западной Европе — конец» (см.: Манн Г. — Манн Т. Эпоха. Жизнь. Творчество. М., 1988, с. 249). *Мне запомнились... вы-*

ступления наших писателей. — Речи приводятся по кн. «Международный конгресс писателей в защиту культуры» (М., 1936), куда не вошла только речь И. Э. Бабеля. Конгресс уже работал, когда приехали Бабель и Пастернак. Политбюро утвердило советскую делегацию 19 апреля 1935 г.; Бабель и Пастернак были включены в нее 19 июня 1935 г. после настойчивых обращений Мальро и Эренбурга.

Стр. 447. *В очередном очерке для «Известий»...* — См.: Известия, 1935, 26 июня. *...один московский литератор...* — Установить точно, о ком идет речь, не удалось. 11 декабря 1935 г. А. Безыменский доносил из Парижа в Москву: «Не могу развернуть информацию о «работе» Эренбурга. ... Но мое первое впечатление — вреднейшая «деятельность» в отношении поэзии советской и многих французских дел» (см.: Русская мысль, Париж, № 4195, 30 окт. — 5 ноября 1997, с. 13). Известны сходные высказывания, относящиеся к более позднему времени (март 1936 г.): «Эренбург делает медвежью услугу Пастернаку, когда утверждает, что лесорубы на Севере читают стихи Пастернака... Это, конечно, неверно. И когда он таким образом старается делать литературную погоду за границей (всякому лестно делать литературную политику), он в достаточной степени дезориентирует французских читателей и писателей» (выступление Л. В. Никулина на общемосковском собрании писателей — см.: *ЛГ,* 1936, 27 марта). Получив стенограмму речи Никулина, Эренбург 5 апреля 1936 г. писал А. С. Щербакову: «Я... не могу обойти молчанием вопрос о той «литературной политике», которую я якобы провожу за границей. В этой «политике» я руководствуюсь общеполитическими резонами, а не моими личными литературными вкусами. Дело не в том, нравятся ли мне Пастернак, Бабель, Шолохов и др., а в том, что может легче и верней привлечь к нам западноевропейскую интеллигенцию» *(АЭ). ...«Комсомольская правда» осудила... меня.* — В редакционной статье «Откровенный разговор (о творчестве Б. Пастернака)»: «Иные «друзья» не раз оказывали медвежьи услуги Пастернаку. Когда Илья Эренбург в Париже приветствовал Пастернака как «поэта, который доказал, что высокое мастерство и высокая честь отнюдь не враги», он должен был понимать, что этот оскорбительный «комплимент» по существу мало отличается от поучений Безыменского. «Высокая совесть» представляла здесь колебания поэта, те самые, которые поэт преодолевал, а «мастерство» — это все, что осталось в устах Эренбурга от творчества поэта, который никогда не был версификатором» (Комсомольская правда, 1936, 23 февраля). *Я писал Щербакову...* — «Когда я был в Москве, я говорил с т. Ангаровым касательно моих очерков о парижском конгрессе. На столе т. Ангарова лежала выписка из одной моей телеграммы, касающаяся Пастернака. Т. Ангаров сказал мне, что он проверял, правильно ли утверждение, будто я говорил, что совесть поэта только у Пастернака. Я вижу теперь ту же цитату в статье Инбер и, что гораздо плачевнее, в редакционной статье «Комсомолки». Последняя утверждает, что этими словами я «приветствовал Пастернака

в Париже». Это либо злостное искажение, либо недоразумение. Вы были на конгрессе и знаете, что я никакими словами ни Пастернака, ни других писателей не «приветствовал». Тон статьи в «Комсомолке»... заставляет меня задуматься над словами т. Ангарова и над отношением ко мне руководящих литературной политикой товарищей. Если она совпадает с «К. П.», то я с величайшей охотой буду впредь воздерживаться от каких-либо литературно-общественных выступлений и в Союзе и на Западе» *(АЭ).*

Стр. 449. *Я написал резкую статью о сюрреалистах.* — Статью «Сюрреалисты» (*ЛГ,* 1933, 17 июня; вошла в *ЗР,* а также в кн.: Ilya Ehrenbourg. Vus par un ecrivain d'URSS. Paris, Gallimard, 1934). Статья Эренбурга имела широкий международный резонанс; Й. Рыбак вспоминал, что в Праге писатели разделились на тех, кто симпатизировал Эренбургу, и тех, кто был за Бретона (см.: Рыбак Й. Иду на красный свет! М., 1986, с. 149). Резкие высказывания И. Эренбурга о французских сюрреалистах встречались и в его более ранних эссе, например в «Романтизме наших дней» (см. т. 4 наст. изд., с. 546). *...подошли два сюрреалиста...* — Один из них — А. Бретон; эпизод получил скандальную огласку; в результате А. Бретона лишили права выступления на конгрессе. См. об этом: Клаус Манн. На повороте. М., 1991, с. 348—351.

Стр. 450. *Создали Ассоциацию писателей, выбрали секретариат...* — В президиум Ассоциации вошли: А. Жид, А. Барбюс, Р. Роллан, Г. Манн, Т. Манн, М. Горький, Э. Форстер, О. Хаксли, Б. Шоу, С. Льюис, Валье Инклан, С. Лагерлёф; в секретариат: Ж. Р. Блок, А. Мальро, А. Шамсон, Л. Арагон, И. Бехер, Г. Реглер, М. Кольцов, И. Эренбург, А. Эллис, У. Фрэнк, Р. Альберти, Н. Рост.

Стр. 451. *Я побывал в Праге, встретился с Чапеком.* — 25 декабря 1935 г. Эренбург писал М. Кольцову: «Только что вернулся в Париж и сразу сообщаю Вам о результатах поездки. В Чехословакии удалось все наладить. Чапек согласился войти в президиум организации. Гора — секретарь. В Словакии войдет весь союз писателей. В Польше также удалось кое-что сделать. Левые писатели готовят конференцию. Они опубликовали о своем присоединении к парижской конференции. Удастся присоединить бывших левых пилсудчиков, во всяком случае Витлина. Здесь в Париже все обстоит плохо. Денег у них нет, и организация прозябает» *(ФЭ). В июне 1936 года в Лондоне состоялся пленум секретариата.* — 26 июня Эренбург докладывал М. Кольцову: «У нас в Англии нет базы... Хаксли и Форстер не хотят ничего делать, имя дают, не более. Это объясняется политическим положением в Англии, и здесь ничего не поделаешь. С другой стороны — они чистоплюи, т. е. отказываются состоять в организации, если в нее войдут журналисты или писатели нечистые, т. е. те, у которых дурной стиль и высокие тиражи. Мне очень трудно было наладить что-либо в Англии, т. к. я из всех стран Европы наименее известен в Англии и т. к. я не знаю английского язы-

ка... Все надо начинать сызнова. Выступление Уэллса провело демаркационную линию и дало возможность объединить всех, которые действительно хотят с нами работать... Выходка Уэллса была строго обдуманной, и, по-моему, она связана с вопросом о Пен-клубе... Бенда сильно полевел. Мальро нервничал из-за неудачи с Уэллсом, но в конце отошел. Хорошо выступили Реглер и Толлер. Предложение о библиотеке Ассоциации очень понравилось всем. Этим мы привлечем к себе все малые народы. В Энциклопедию лично я не очень-то верю» *(ФЭ)*.

Стр. 451—452. *...разговаривая с... озорной девочкой Таней, <Уэллс> становился естественным...* — Т. М. Литвинова писала Эренбургу 21 апреля 1962 г.: «Спасибо за теплую строчку обо мне — я ее ощутила именно как Ваше доброе и милое отношение ко мне. Что касается Уэллса — «естественность» его тогда проявилась вот в чем: Костя Уманский велел мне с Зиной прогулять его в саду — он захмелел и грозил раскиснуть. Мы взяли его под руки, он попеременно мокро заглядывал нам в лицо, дышал перегаром, говорил, что Ленин — великий человек, а Сталин — нет (чем весьма нас эпатировал тогда), и пытался — не знаю, как бы это выразить политературней — лапать нас, а мы пытались отцеплять его приапические когти» *(ФЭ)*.

Глава 13

В воспоминаниях «Дружба с художником» вдова Фалька А. В. Щекин-Кротова приводит слова Эренбурга: «По моему первоначальному плану я должен был писать о Фальке позднее, в книге о 50-х годах. Но мне хочется сделать это поскорее, чтобы «продвинуть» его искусство, я дам главу о нем в 30-х годах, в связи с Парижем, где мы с ним познакомились. Мало ли что может случиться, надо успеть...» Книга Эренбурга сделала имя Фалька популярным. Многие заинтересовались творчеством Фалька, почерпнув свои первоначальные сведения о нем у Эренбурга» (см.: *ВЭ*, с. 232).

Стр. 452. *...я писал в «Известиях»...* — из статьи «На французской земле» (см.: *ГН*, с. 164—168; исправлено).

Стр. 453. *Когда я писал роман «Падение Парижа»...* — В записной книжке Эренбурга за 1944 г. среди деловых записей военной поры такая: «У Фалька. Прекрасные парижские пейзажи. Они казались мне в Париже трагичными. Здесь кажутся грустными, элегичными... Превосходство пейзажа над портретом» *(ФЭ)*.

Стр. 454. *Глубокий взор вперив на камень...* — из стихотворения Е. Баратынского «Скульптор».

Стр. 456. *Фальк писал в одном из писем...* — из письма фр. худ. критику Жану Кайму (1956) (см.: Ф а л ь к Р. Беседы об искусстве. Письма. Воспоминания о художнике. М., 1981, с. 14).

Стр. 456—457. *«...мы его будем бить рублем...»* — «Это сказал недоброй памяти Александр Герасимов, он был в 40-е годы царь и бог, он не только говорил, он действовал — пристально следил, чтобы Фалька ни один музей не закупал... Мне рассказывал один художник, как А. Герасимов на трибуне в МОСХе изображал, как он топчет ногами «формалистов»: «Мы их! Так вот с ними расправимся, с этими «Фэ»! — Фальком, Фаворским, Фонвизиным»... Фальк, присутствовавший в зале, встал и вышел вон...» (из письма А. В. Щекин-Кротовой комментатору. — *СК*).

Стр. 457. *Он писал в 1954 году...* — Цит. по записи, сделанной со слов Фалька А. В. Щекин-Кротовой. *...привезли Фалька — в гробу.* — Гражданская панихида по Фальку состоялась 4 октября 1958 г. «Было много цветов, музыки: играла Мария Гринберг Шопена и Бетховена, пела Нина Дорлиак — Баха. На стенах зала художники повесили картины Фалька. Народу было много, это были друзья и почитатели. Их горе было искренним, последнее слово сказал Эренбург. Он предсказал, что вскоре наступит то время, когда музеи будут спорить из-за картин Фалька. Это время пришло» (Щекин-Кротова А. В. Становление художника. — *НМ,* 1983, № 10, с. 227). *А холсты Фалька по-прежнему стоят, прислоненные лицом к стенке...* — Эренбург многое сделал, чтобы холсты Фалька были востребованы из запасников. Руководитель художественной студии Э. Белютин вспоминал, как в декабре 1962 г. Эренбург защищал живопись Фалька перед разъяренным Хрущевым после его скандального посещения выставки в Манеже: «Выступил Эренбург. Он говорил не о своих профессиональных делах, а о живописи. Он сказал, что Фальк — великий художник. Это было очень мужественно. Он сказал, что живопись — великое искусство, сложными путями воздействующее на людей, и что его нельзя трактовать как раскрашенную фотографию. Это было тоже очень смело... И даже по тому, как все замерли в зале, и по тому, как неожиданно вспыхнули аплодисменты, Хрущев и его помощники почувствовали общую атмосферу неприятия. Может быть, поэтому все было так быстро закончено, чтобы показать, что не прав Эренбург, а правы Хрущев и Ильичев» (Дружба народов, 1990, № 1, с. 149—150).

Глава 14

Стр. 458. *...хоронили умершего в Москве Анри Барбюса.* — Барбюс умер 30 августа 1935 г.; 1 сентября Эренбург написал для «Известий» статью «Памяти Барбюса», 7 сентября передал информацию о его похоронах (см.: Иностр. лит., 1983, № 10, с. 212—214).

Стр. 460. *Надежду видел я, и, розы тоньше...* — из стихотворения «На митинге» (т. 1 наст. изд., с. 125).

Стр. 462. *...выдержки, которые я привел в газетной статье...* — Статья «Пляска смерти» (Известия, 1935, 7 ноября) (см.: *ГН,* с. 79).

Стр. 463. *...после моего приезда в Москву...* — Эренбург прибыл в Москву 12 ноября 1935 г.; он сообщил встретившему его в Можайске корреспонденту, что должен был приехать вместе с А. Жидом, но тот заболел и передал ему теплое обращение к советской молодежи (*ВМ*, 1935, 12 ноября).

Стр. 464. *«Я слышал, что говорили о литературе...»* — из статьи «Традиции Маяковского» (Известия, 1936, 6 февраля).

Стр. 465. *Издательство «Советский писатель» решило переиздать... «Хуренито».* — Для этого от Эренбурга потребовали «покаянного» предисловия; 9 августа 1935 г. он писал Мильман: «То, что я могу сказать, — это то, что книга написана в 1921 году, а сейчас 1935. Конечно, несколько более пространно, но и только. Или о судьбе дальнейшей всех учеников, не касаясь самого Хуренито. Предисловие должно быть выдержано в духе книги. Объяснить различье эпох могу, но «отмежевываться», «покаяться» и пр. — «нет» *(АЭ).* Так возникла статья «Пятнадцать лет спустя» (Крокодил, 1936, № 6), но она не помогла выходу книги. Эренбург обратился к А. С. Щербакову («Пожалуйста, присмотрите, чтобы в какой-нибудь папке не было бы похоронено переиздание «Хуренито», которым занят «Советский писатель» — 1936, 23 января, *АЭ*) — это также не помогло. 9 июня 1936 г. Эренбург писал Мильман: «Все это очень прискорбно и очень серьезно... Я никак не согласен на поправки, и если они настаивают, необходимо добиться расторжения договора» *(АЭ).* Книга не вышла; не последнюю роль в этом сыграло бухаринское предисловие, сопровождавшее все советские издания «Хуренито» с 1923 по 1928 г. Роман был переиздан в составе Собр. соч. Эренбурга (без 27-й главы «Великий Инквизитор вне легенды») в 1962 г.; полный его текст см. в т. 1 наст. изд. *Художники устроили диспут о портрете.* — Диспут продолжался на 10 заседаниях весь декабрь 1935 г.; выступление Эренбурга см.: *ЛГ*, 24 декабря.

Стр. 466. *В Доме кино я сказал...* — Дискуссия прошла 26 ноября 1935 г.; выступили Эренбург, Довженко, Райзман, Рошаль. «Наше искусство страдает сильнейшим формализмом, — сказал Эренбург, — но формализм следует искать не у тех, кого называют формалистами, а у тех, кто является натуралистом. Это и есть формалистическое, внешнее, совершенно равнодушное и бездушное искусство» *(ФЭ). «Мы ненавидим Фамусовых и Молчалиных...»* — из статьи «Горе уму» (Известия, 1935, 24 ноября). *...«Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи».* — Эти слова из письма Л. Ю. Брик Сталину, но уже от его имени были приведены в передовой статье «Правды» 5 декабря 1935 г. *«Сумбур вместо музыки»* — редакционная статья «Правды» 28 января 1936 г. (подзаголовок — «Об опере «Леди Макбет Мценского уезда»; написана Д. Заславским). *С музыки легко перешли на литературу...* — Кампания борьбы с «формализмом» прошла в феврале — марте 1936 г. в порядке

обсуждения редакционных статей «Правды»; в докладах Ставского, Кирпотина, Алабяна, Керженцева и др. поносились многие мастера искусств.

Стр. 467. *...рисунки <В. Лебедева> были объявлены «мазней»...* — В редакционной статье «Правды» «О художниках-пачкунах» (1 марта 1936). *Еще хуже пришлось художникам...* — Кампания против них началась публикацией в «Правде» статьи В. Кеменова «Формалистические кривлянья в живописи» (6 марта 1936). *Его покаяние было признано «туманным», «неискренним»...* — Имеется в виду выступление «Мейерхольд против мейерхольдовщины» (*ЛГ,* 1936, 20 марта).

Стр. 467—468. *Редактор «Литературной газеты» писал...* — Ст. Л. М. Субоцкого «Нужен ответ делом» (*ЛГ*, 1936, 27 марта).

Стр. 469. *«Я знаю, что люди сложнее...»* — См. т. 3 наст. изд., с. 571. *Не зря я слепоту зову находкой...* — из стихотворения «У приемника» (см. т. 1 наст. изд., с. 129).

Стр. 470. *«Книгу для взрослых» сначала напечатали в журнале...* — Знамя, 1936, № 5. *Из книги изымали целые страницы...* — Из 12-й главы, содержавшей портретную галерею от Брюсова до Бабеля, изъяли портрет Андрея Белого, из 19-й главы — абзац об А. Жиде.

Стр. 471. *...изъять имя очередного вырубленного — Семена Борисовича Членова.* — Ошибка: на вклеенном в весь тираж листке (с. 45—46) имя С. Б. Членова осталось; изъяты упоминания о Г. Я. Сокольникове и Н. И. Бухарине (хотя до января 1937 г. Бухарин и оставался номинально редактором «Известий», но уже шла его открытая травля в печати). Еще весной 1936 г. редакция «Знамени» рекомендовала Эренбургу убрать упоминания Сокольникова и Бухарина, но он отверг этот совет.

Глава 16

Стр. 474. *Газета монархистов «АВС»* — выходила в Севилье; 30 сентября 1936 г. сообщила о поездке в Испанию «советского эмиссара» Ильи Эренбурга.

Стр. 475. *...я нашел заметку о моем докладе в парижском Доме культуры...* — Присутствовавший на докладе А. В. Эйснер запомнил Эренбурга таким: «Сидя за столиком на эстраде банкетного зала ресторана, где собралось около ста человек, он, заложив руки в карманы, раскачиваясь на стуле, с убийственным сарказмом обрисовывал типы титулованных контрреволюционеров мадридских салонов... Насмешливая улыбка постепенно сползала с его губ. Стул под ним перестал раскачиваться. Тонкий голос звучал все громче, в нем зазвенели металлические нотки. Он предупреждал. Народный фронт в Испании в опасности...» (Иностр. лит., 1957, № 6, с. 251—252).

Глава 17

Стр. 483. *«И по улицам кровь детей...»* — из стихотворения «Объяснение», перевод И. Эренбурга; вошло в книгу Неруды «Испания в сердце». *Алькальде* (или алькальд) — глава муниципалитета, в деревне — выборный староста.

Стр. 485. *Вот моя запись...* — Цит. по ст. «В Толедо» (1936; исправлено) — см. т. 4 наст. изд., с. 442.

Стр. 486. *«Поумовцы».* — От POUM («Пролетарская партия марксистского единства» — левая организация троцкистской ориентации).

Стр. 487. *...И. М. Майский... пишет об этом подробно...* — См.: Майский И. Испанские тетради. М., 1962; в *ФЭ* сохранилась также книга И. М. Майского «Испания 1808 — 1917» (М., 1957) с надписью автора: «Старому испанцу Дону Илье от старого испанца Дона Ивана в знак искренней симпатии и уважения. Москва, 29. XI—57».

Стр. 488. *...мои статьи были исковерканы* — очерки «Письма из Испании». *...корреспондент... «Дейли мейл» Гаррат...* — О нем: ст. И. Эренбурга «Мистер Гаррат» (Известия, 1937, 14 октября).

Стр. 490. *Рас* — феодальный князь в Абиссинии.

Стр. 491. *...наши военные советники носили различные имена...* — *Валуа* — полковник Б. М. Симонов (арестован в 1938 г., расстрелян 14 августа 1941 г.); *Лоти* — полковник Д. О. Львович (арестован в 1938 г.; погиб в 1942 г. в концлагере на Колыме); *Молино* — маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский; *Гришин* — начальник Разведуправления Красной Армии Я. К. Берзин (расстрелян в 1938 г.); *Григорович* — генерал-полковник Г. М. Штерн (расстрелян в октябре 1941 г.); *Дуглас* — генерал-лейтенант авиации Я. В. Смушкевич (расстрелян в октябре 1941 г.); *Николас* — адмирал флота Н. Г. Кузнецов; *Вольтер* — главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов; *Ксанти* — генерал-полковник Х. Д. Мамсуров; *Петрович* — Маршал Советского Союза К. А. Мерецков.

Глава 18

Стр. 496. *...он напечатал в «Известиях» покаянную статью...* — «Добить до конца!» — напечатана 24 августа 1936 г. в номере, где публ. смертный приговор Г. Е. Зиновьеву, Л. Б. Каменеву и др. участникам процесса. «Глубокий стыд наполняет меня, — писал Антонов-Овсеенко, — потому что в 1923 — 1927 годах я оказывал Троцкому поддержку несмотря на то, что слышал четкий предупреждающий голос... Только в октябре 1927 года я порвал на деле с оппозицией... Тогда я написал товарищу Л. М. Кагановичу, что в отношении оппозиционеров «выполнил бы любое поручение партии». Было ясно, — да, вплоть до расстрела их, как явных контрреволюционеров». В Испании Антонов-Овсеенко по поручению НКВД осуществлял различные операции, направленные на уничтожение ПОУМ.

Глава 19

Стр. 499. *С Дуррути я познакомился в 1931 году...* — См. очерк «Испанский эпилог» (1932) — т. 4 наст. изд., с. 430.

Стр. 500. *Кармен и Макасеев чувствовали, что происходит нечто недоброе...* — Р. Л. Кармен вспоминал: «Мы с Ильей Григорьевичем Эренбургом с трудом отыскали штаб Дуррути в Каталонии под Уэской, почти всю ночь просидели в подвале разбитого дома. Дуррути пламенно излагал Эренбургу свои политические взгляды... Илья Григорьевич часто своими вопросами припирал его к стене, Дуррути вскакивал, горячился и даже вдруг в сердцах воскликнул, что он за такие слова может и расстрелять. На рассвете, усталый, грустный, он провожал нас к машине, дал конвой и крепко пожал на прощанье наши руки...» (Кармен Р. Но пасаран! М., 1972, с. 279—280).

Стр. 502. *...его убили 19 ноября 1936 года...* — В черн. варианте: «Он был убит — кто-то выстрелил в него, убийцу не поймали. Говорили, что его застрелил анархист, считая, что Дуррути изменил принципам; мне кажется, что убийца был фашистом, который знал, в кого целился». Эренбург снял эти слова по совету прочитавшего рукопись главы А. В. Эйснера, который рассказывает в книге «Двенадцатая Интернациональная» (М., 1990, с. 318) со слов Лукача, что Дуррути был убит по приговору ФАИ, где узнали о его контактах с коммунистами. *...я писал В. А. Антонову-Овсеенко...* — См.: *ВЛ,* 1973, № 9, с. 211—214.

Стр. 503. *Имя я помнил... полковник Глиноедский...* — Дочь Марины Цветаевой А. С. Эфрон 8 ноября 1961 г. отвечала Эренбургу на его запрос: «О Глиноедском... Человек он был замечательный и очень мне запомнился. Офицер белой армии, а до того — участник первой империалистической; попал в немецкий плен, раненый. Бежал из госпиталя, спрятавшись в корзине с грязным окровавленным бельем, ежедневно вывозившимся в прачечную. Познакомилась с ним в «Союзе возвращения»; вел он какой-то кружок — политграмоты, что ли, политэкономии — не помню... Выделялся среди прочих преувеличенной подтянутостью, вытюженностью, выбритостью, был холодноват в обращении... Потом поняла, какой страшной ценой нищий человек сохранял свое человеческое достоинство. А когда началась Испания, Глиноедский первым попросил его отправить туда... Стесняясь высокопарных слов, он говорил о том, что, согрешив оружием, оружием же и искупит» *(АЭ).*

Стр. 507. *Я написал об этом в одной из газетных статей...* — Имеется в виду «Барселона под обстрелом» (Известия, 1937, 15 февраля; см. т. 4 наст. изд., с. 460). *...получил отповедь от... Ставского...* — Выступление на собрании оборонных писателей; Эренбург ответил «Письмом в редакцию» (Известия, 1937, 5 марта), в котором напомнил, что именно говорил о восприятии испанскими бойцами фильма «Мы из Кронштадта».

Стр. 508. *Описав В. А. Антонову-Овсеенко... я добавлял...* — из письма от 17 ноября 1936 г. (см.: *ВЛ,* 1973, № 9, с. 213).

Глава 20

В журнальной редакции четвертой книги М. Е. Кольцову посвящено лишь два абзаца главы о советских людях, воевавших в Испании. Отношения Эренбурга с Кольцовым не были близкими, и многое в противоречивой фигуре Кольцова было Эренбургу неясно. «Он жадно хватался за все новые факты, всплывавшие из небытия истории, которые могли помочь найти искомое, но ускользавшее объяснение, — писал об Эренбурге, работавшем над мемуарами, А. К. Гладков. — О Михаиле Кольцове, например, Илья Григорьевич... рассказывал интереснее, чем писал, но и Кольцов не был для него достаточно ясной и понятной фигурой... И когда в печати появились воспоминания брата М. Кольцова, художника Бориса Ефимова, он был взволнован ими, трижды перечитал (как он сам мне сказал) и все время возвращался к ним в разговоре» (*ВЭ*, с. 269). Тогда же, в 1965 г., и была написана глава о Кольцове; напечатана впервые в т. 9 Собр. соч. Эренбурга (1967).

Стр. 509. *...туманно упоминает о работе... Мигеля Мартинеса...* — См.: Кольцов М. Испанский дневник. М., 1958, с. 18—20, 189.

Стр. 510. *Он... плохо говорил только о погибших...* — Прежде всего Эренбург имеет в виду статью М. Кольцова «Убийца с претензиями», напечатанную в «Правде» в марте 1938 г. (с «иллюстрациями» Б. Ефимова) и посвященную Н. И. Бухарину, который в течение 10 лет, будучи главным редактором «Правды», печатал Кольцова, помогал ему и написал предисловие к его Собр. соч. (т. 1. М., ЗиФ, 1928). *...я написал заявление...* — Письмо М. Е. Кольцову от 16 июля 1937 г.; заканчивалось словами: «Считаю необходимым указать, что лично с Вашей стороны я встречал неизменно товарищеское отношение, которое глубоко ценю» *(ФЭ)*.

Стр. 512. *«Михаил Кольцов, каким он был».* — М., 1965; дополненное издание сборника вышло в 1989 г.

Стр. 513. *...видел ...его жену Лизу и Марию Остен.* — Елизавета Ратманова, корреспондент «Комс. правды»; Мария Остен (Гросс-хенер) — немецкая писательница и журналистка, подруга Кольцова; узнав об аресте Кольцова, приехала в СССР, чтобы защитить его, была арестована и расстреляна.

Глава 21

Стр. 517. *«Гайлорд»* — отель в Мадриде, где жили советские военные и дипломаты; описан в кн. «По ком звонит колокол». *Я отвернулся и еле выговорил: «Погиб»...* — В марте 1965 г. Эренбург получил из ГДР письмо от старого немецкого коммуниста, сидевшего на Колыме в одном лагере с Лоти: «Я работал с ним на Колыме в одном цехе. Лоти тогда работал в лагере инвалидов — он был очень болен, в Лефортове ему отбили почки. Его бригадиром был грубый уголовник. С Лоти он был особенно груб, тот не шел ни на какие уступки.

Мы все любили его и высоко ценили, его знания были необыкновенно обширны. Это были 40—41 годы. В обеденные перерывы товарищи усаживались рядом, Лоти рисовал щепкой на песке или на снегу, как будут проходить походы Гитлера (Вы знаете, что он был хорошим стратегом). У нас, конечно, не было ни газет, ни радио — даже потом, в Сибири, за контрабандно принесенную в лагерь давнюю газету следовало большое наказание. Лоти точно предсказывал гитлеровские маршруты... Я вспомнил, что однажды он получил письмо от жены; она писала, что вскоре приедет на Колыму врачом. Лоти сказал: «Тогда я сейчас же сделаю так, чтобы меня послали на прииск». Это была верная смерть, не только для такого инвалида. Я удивился, возмутился: «Почему?» — «Вы думаете, я покажусь жене в таком виде?»... Вскоре после начала войны этот лагерный пункт был ликвидирован, на корабле нас привезли на материк, и мы оставались в Сибири еще долго после войны. Куда попал Лоти, я не знаю. Один товарищ сказал мне, что Львович погиб» *(АЭ).*

Стр. 518. *...с болгарами Петровым и Беловым.* — Под этими именами в Испании сражались Фердинанд Козовский и Карло Луканов.

Стр. 519. *Я прочитал дневник одного итальянского офицера...* — напечатан в переводе Эренбурга (Известия, 1937, 2 и 3 апреля). *В статье о битве под Гвадалахарой...* — «На поле битвы» (март 1937) (см.: *ИР,* с. 153). *Я встретил генерала Петрова в августе 1941 года...* — См. в ст. «На западном направлении» (*КЗ,* 1941, 13 сентября).

Стр. 520. *«День в Каса-дель-Кампо»* — Известия, 1937, 10 апреля; см. т. 4 наст. изд., с. 474. *Я упомянул и про канарейку...* — См. стих. «Батарею скрывали оливы» — т. 1 наст. изд., с. 116.

Глава 22

Написана в 1965 г., впервые — в т. 9 Собр. соч. Эренбурга (1967). 23 марта 1967 г. О. Г. Савич в частном письме поделился впечатлением от этой главы: «Если хотите познакомиться со мной, достаньте 9-й том Эренбурга и прочтите 22 главу 4-й части, она новая. Я это знакомство сделал не без удивления, но я ведь не судья». О. Г. Савич на протяжении 40 лет был самым близким и самым верным другом Эренбурга. Даря в феврале 1923 г. своей будущей жене книгу «Хулио Хуренито», Савич написал на ней: «Илья Григорьевич Эренбург — тончайший по уму человек, с которым приходилось мне встречаться. Он достиг удивительной силы зрения — его глаза вскрывают, как нож хирурга. Что делать, если ножу дано вскрывать только гной и раны... Рану зашивают портные и педиатры. Он вскрыл. Ушел. Спрятался за собственной личиной, чтобы трудней найти настоящего. Настоящий прост и болен жаждой выхода. И настоящий, если не идеалист, то в части какой-то сам идеален. Слава тому, кто шел в ногу с веком. Век — это глыба отчая-

ния, и маленькое в ней, простое совсем зерно веры конечной в человека. Не прогляди эти зерна...». «Году в 66-м Илья Григорьевич приехал навестить Овадия Герцовича, — вспоминала А. Я. Савич. — Я дала ему прочесть эту надпись. Он очень внимательно, с интересом читал ее вслух. Кончил и сказал: «Ты все понял, а ты был тогда еще совсем маленький» *(СК)*. «Я вспоминаю тот день, когда мы прощались с Овадием Герцовичем Савичем, гроб с телом которого был выставлен в Центральном доме литераторов, — писал В. Г. Лидин. — Я думаю, что ни один человек, знавший Эренбурга с его твердой выдержкой и неумением открывать себя людям, не мог бы представить себе его плачущим. Но он не только плакал, он как бы прощался с частью своей жизни, с дружбой, которая осветила ее. Мне показалось, что со смертью Савича что-то ушло из его жизни, что-то надломилось в Эренбурге, какая-то обреченность словно коснулась и его» *(СК)*. Эренбург пережил Савича на месяц с небольшим...

Стр. 522. *«Воображаемый собеседник».* — Роман Савича в СССР вышел в 1928 г. в изд-ве «Прибой» (Ленинград), переиздан в 1991 г. *...но второй роман не получался.* — Речь идет о лирическом романе на советском материале 30-х гг. (роман не был закончен, а рукопись его Савич уничтожил); вслед за тем написана повесть «Деревня роз», полностью не опубл. (отрывок — *ЛГ,* 1935, 11 ноября); последней предыспанской работой Савича был роман о Парижской коммуне.

Стр. 524. *...Мирова — жена ответственного работника...* — Ее муж, Миров-Абрамов, сотрудник ЦК ВКП(б), ведавший отправкой в Испанию добровольцев, был арестован в 1937 г.; его имя упоминал Ягода в показаниях на бухаринском процессе («Я не отрицаю факта посылки по требованию Енукидзе денег Троцкому через Мирова-Абрамова», — показывал он 8 марта 1938 г. (см.: Судебный отчет... М., 1938, с. 507).

Стр. 525. *Он начал переводить испанских поэтов...* — Избранные переводы вошли в кн. О. Савича «Поэты Испании и Латинской Америки» (М., 1966); четыре издания выдержала кн. «Два года в Испании» (самое полное — 1966 г.).

Глава 23

Стр. 526. *Жил он... в гостинице «Флорида»...* — «В пробитой снарядами гостинице «Флорида» остался один жилец, — писал Эренбург в репортаже «Мадрид в апреле 1937», который ему удалось напечатать лишь в 1954 г. — Это Эрнест Хемингуэй. Он не может расстаться с Мадридом. Его зовут в Америку, он не отвечает на телеграммы. Он пьет виски и что-то пишет: наверно, диалог — Мадрид и девушка» (см. т. 4 наст. изд., с. 473).

Стр. 530. *«Впереди пятьдесят лет необъявленных войн...»* — слова Филиппа Ролингса из пьесы «Пятая колонна» (см.: Хемингуэй Э. Собр. соч., т. 3. М., 1968, с. 100). *Я с ним снова встретился в конце июля 1941...* — Неточно; записи Эренбурга: «14 авг. Роман Хемингуэя... 17 авг. Переделкино. Хемингуэй... 20 авг. Кончил Хемингуэя. Изумительный конец» *(ФЭ)*.

Стр. 532. *В августе 1942 года... я писал...* — из ст. «Эрнест Хемингуэй» (см.: Эренбург И. Война. Апрель 1942 — март 1943. М., 1943, с. 119—120); эту статью Эренбург не смог тогда напечатать в газете (в зап. кн. И. Эренбурга 13 авг. 1942 г.: «Фадеев звонит: «Вы хвалите Хемингуэя, а роман против нас» — запрещение романа было причиной запрещения статьи Эренбурга; тем не менее он добился включения ее во 2-й том «Войны»); 7 авг. 1942 г. Эренбург выступил в ВТО с речью о Хемингуэе (см.: *ВЛ*, 1997, март—апрель, с. 258—260). *Роман «По ком звонит колокол» многие поносили.* — В СССР роман издали лишь в 1968 г., уже после смерти Эренбурга. Настойчивость, с которой Эренбург пишет о романе, большие цитаты из него — часть той огромной и многообразной борьбы, которую вел писатель в послесталинское время за право граждан СССР иметь доступ к значительным явлениям мировой культуры XX века.

Стр. 533. *...я получил письмо от Хемингуэя...* — Письмо от 16 мая 1946 г.: «Пишу, чтобы сказать тебе, как я был бы счастлив снова видеть тебя и предложить тебе остановиться в моем доме, если ты пожелаешь. Я часто думал о тебе все эти годы после Испании и очень гордился той потрясающей работой, которую ты делал во время войны. Пожалуйста, приезжай, если можешь, и знай, как счастлив будет твой старый друг и товарищ увидеть тебя. Всегда твой Эрнест Хемингуэй» *(ФЭ)*. *Теперь опровержения не было...* — Сохранился отклик Эренбурга: «Когда я приехал в студию телевиденья — меня просили сказать несколько слов о той потере, которую переживают миллионы моих соотечественников, — меня окружили рабочие студии, спрашивали, при каких обстоятельствах погиб Хемингуэй, расспрашивали о нем, — это его читатели. Горько, что умер большой писатель. Больно, что умер человек, на любви к которому сближались далекие друг другу люди и народы» (*ВЛ*, 1981, № 12, с. 304).

Глава 24

Стр. 537. *...он рассказал мне эпизод, который... сделал стержнем снятого им в Испании фильма.* — См. статью «Кровь Испании» (т. 4 наст. изд., с. 526). 7 июля 1939 г. после просмотра фильма Эренбург писал Е. Полонской: «Глядел фильм Мальро об Испании и разволновался».

Стр. 539. *...я долго глядел на старого гончара...* — Об этом одно из лучших стихотворений Эренбурга «Гончар в Хаэне» (1939) — т. 1 наст. изд., с. 120.

Стр. 540. *...вспомнил село Буньоль...* — См. очерк «Деревня Буньоль» (*ИР*, с. 160—162).

Стр. 541. *«Свобода, Санчо...»* — слова Дон Кихота из гл. 58 2-го тома романа, пер. Н. Любимова.

Глава 25

Впервые — под заголовком «Генерал Лукач» — Правда, 1962, 20 мая.

Стр. 542. *...«На нижней дороге... Снаряд... Генерала...»* — Ср. с «Испанским дневником» М. Кольцова, с. 493. В те дни Эренбург ежедневно выезжал из Барселоны под Уэску. 13 июня он передал в «Известия» сообщение о боях, где о гибели Лукача не было ни слова, а 14 июня сообщил: «На фронте Уэски неприятельским снарядом убит один из самых доблестных бойцов интернациональных бригад генерал Лукач. Тело Лукача сегодня направляется в Валенсию, где состоится погребение. Осколком снаряда тяжело ранен революционный писатель Густав Реглер. Жизнь Реглера вне опасности» (Известия, 1937, 16 июня). Как пишет А. В. Эйснер, «о гибели генерала Лукача в советской печати было помещено лишь сообщение Эренбурга, хотя и Кольцов и Савич — оба посылали телеграммы о ней. Все объясняется тем, что до конца операции под Уэской республиканская цензура объявила смерть Лукача военной тайной, не желая предуведомлять врага накануне атаки... Зная об этом, Эренбург отправил свою корреспонденцию из-под Уэски уже после конца нашего неудачного наступления, она прошла, и «Известия» поместили ее» (*ВЭ*, с. 71).

Стр. 543. *«Думал о судьбе...»* — из письма жене и дочке 24 апреля 1937 г. (см.: З а л к а М. Избранное. М., 1955, с. 524).

Стр. 544. *...узнал на себе, что такое «культ личности».* — А. В. Эйснер был арестован в Москве в 1940 г., реабилитирован в 1955 г. *...помню Янека...* — Янек Барвинский, командир польского батальона.

Глава 26

Стр. 547. *Людвиг Ренн... писал в своей книге воспоминаний...* — См.: R e n n Ludwig. Im Spanischen Krieg. Berlin, 1959.

Стр. 549. *Я... взял газету, где цитировал его речь...* — Известинские репортажи Эренбурга с писательского конгресса см.: *ИР*, с. 207—215.

Стр. 550. *...только А. Л. Барто... не вспомнила про Тухачевского и Якира...* — В репортажах с конгресса Эренбург позволил себе не приводить соответствующих высказываний советских делегатов о «врагах народа» Тухачевском, Якире и др., равно как из всех пассажей в адрес А. Жида он привел лишь слова Х. Бергамина.

Стр. 552. *...пошел передавать отчет в газету* — очерк «Брунете» (см. т. 4 наст. изд., с. 476). *...кажется, это был Максимов* — старший советник Центрального фронта; вскоре был отозван в Москву и расстрелян. Говоря о поездке Эренбурга в Брунете, А. В. Эйснер заметил, что тот «упускает из виду одно немаловажное обстоятельство. В отвоеванное Брунете поехало довольно много иностранных корреспондентов, но совершенно неожиданно и вопреки всем канонам испанской войны марокканская пехота сразу же бурно контратаковала и отбила поселок. Артиллерийский обстрел, под которым так резвились, по описанию Эренбурга, Вишневский и Ставский, был необходимым сопровождением этого внезапного наступления. Советский советник при командире дивизии, увидев вдруг в окно командного пункта марокканские бурнусы, едва успел выскочить из него, а его переводчица попала в плен. При бегстве из Брунете погибла также красавица фотокорреспондентка французского «Регар» аргентинская комсомолка Герта Таро. Были и другие жертвы. Можно понять, что Максимов... напустился на Эренбурга, узнав об этой рискованной поездке» (*ВЭ*, с. 73). *Недавно мне прислали номер «Мундо обреро»...* — Сохранился у В. В. Вишневского; речь Эренбурга была напечатана и в «Известиях» (Наступление. 12 июля 1937; см.: *ИР*, с. 215—218).

Стр. 553. *«Хорошо здесь...»* — Эренбург И. Что человеку надо. М., 1937, с. 17.

Глава 27

Стр. 554. *...я передал очерк «Барселона перед боями...»* — Известия, 1937, 14 декабря; под назв. «Перед боями». *...маленькая, хрупкая... Габриэла...* — Габриэла Абад-Миро работала секретарем у М. Е. Кольцова, затем у О. Г. Савича. *...большие события в Китае...* — В 1937 г. Япония, ранее оккупировав северо-восточный Китай, начала войну за захват всего Китая.

Стр. 556. *Я передал по телефону очерк...* — «На Теруэльском фронте» (Известия, 1937, 18 декабря. См. т. 4 наст. изд., с. 477).

Глава 28

Стр. 558. *Мы приехали в Москву 24 декабря.* — «Из Испании в СССР приехал Илья Эренбург для участия в работе пленума Союза советских писателей, происходящего в Тбилиси. Эренбург пробудет в СССР 12 — 15 дней и снова вернется туда, где пробыл почти весь год, непрерывно корреспондируя в «Известия» (Илья Эренбург в Москве. — *ЛГ*, 1937, 26 декабря). *...Артем Веселый был когда-то «перевальцем»...* — Большинство участников литературной группы

«Перевал», возникшей в 1923 — 1924 гг. при редактировавшемся А. К. Воронским журн. «Красная новь», в 30-е гг. репрессированы. *...я не увидел ни одного знакомого лица.* — 17 декабря 1937 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «О засоренности аппарата редакции «Известий» (см. ст.: Расправа с известинцами. — Известия, 1990, 20 сентября), по которому осуществили вторую чистку редакции (первая прошла в августе 1936 г. после снятия Н. И. Бухарина).

Стр. 559. *...все стоя аплодировали.* — В черн. варианте: «Люба, сидевшая со мной, шепнула: «Я устала — вставать и вставать» *(ФЭ).*

Стр. 560. *А. А. Фадеев принес несколько стихотворений Мандельштама...* — Н. Я. Мандельштам пишет, что перед тем В. Б. Шкловский и В. П. Катаев устроили встречу Мандельштама с Фадеевым, после чего Фадеев имел беседу о Мандельштаме с членом Политбюро А. А. Андреевым; однако стихи Мандельштама напечатаны не были, а сам он вскоре был арестован и погиб. Ссылаясь на Л. М. Эренбург, Н. Я. Мандельштам пишет: «Мне говорила Люба, что Фадеев был холодным и жестоким человеком, что вполне совместимо с чувствительностью и умением вовремя пустить слезу. Это, по ее словам, стало совершенно ясно в период расправы с еврейскими писателями. Там тоже были поцелуи, прощания со слезой и апробирование их арестов и уничтожения» (Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М., 1989, с. 337). *...я написал только две статьи...* — «За жизнь» (Известия, 1937, 30 марта) и «Кровь зовет в бой» (Известия, 1937, 1 мая); кроме того, в ряде изданий печатались интервью с Эренбургом, а в журн. «Лит. критик» — ст. «Дух испанской литературы» (1937, № 5). *...о «сталинском наркоме»...* — Имеется в виду Н. И. Ежов.

Стр. 561. *Пришел как-то Бабель...* — В черн. варианте: «Пришел Бабель и с тем юмором, которого он никогда не терял, рассказывал о наркомах, которых то и дело снимали: «Они садятся теперь на самый краешек кресла»... Пришла жена Савича Аля и рассказала, что арестовали их друга, молодого талантливого физика» (проф. Ю. Б. Румера. — *Б. Ф.*) *(ФЭ).*

Стр. 565. *Белова вскоре после этого арестовали.* — А. Фадеев в 1954 г. рассказывал: «В Кремле меня приводят прямо к Сталину. Сталин был занят и сказал мне: «Вы пока посидите и почитайте тут некоторые бумаги». Это были папки, содержавшие допросы Миши Кольцова и Белова, бывшего командующего Московским военным округом... И Кольцов, и Белов в своих показаниях много писали о Мейерхольде как о резиденте иностранной разведки» (*ВЛ,* 1989, № 6, с. 160—161). *«Фашизм задолго до того...»* — по-видимому, цит. по рукописи; сходное — в ст. «Свет в блиндаже»: «За десять лет до войны проклятая Германия вмешалась в нашу жизнь» (см. т. 5 наст. изд., с. 565).

Стр. 566 *...«Ночью у себя в комнате...»* — из ст. «За жизнь» (см.: *ИР,* с. 245). *...решил написать Сталину...* — Письмо от 21 марта 1938 г. (см.: Источник, 1997, № 2, с. 115). *Товарищ Сталин считает, что... вам лучше остаться в Советском Союзе.* — Существу-

ет и иная версия рассказа Эренбурга: «Я написал Сталину. Он позвонил и сказал, что ехать не надо, что «Испания кончается» и мне нечего там делать. Я начал спорить. Он рассердился. Но паспорт мне дали, и я уехал. После возвращения из Испании я был представлен к ордену «Знак Почета». Сталин вычеркнул мою фамилию из списков, сказав при этом странную фразу: «Пусть ему испанцы ордена дают» (Комсомольская правда, 1989, 30 сентября). Из проекта наградного списка (1939 г.) Эренбурга, а также Бабеля, Олешу и Пастернака вычеркнули Фадеев и Павленко (Литературный фронт. М., 1994, с. 38). *«Напишу снова Сталину...»* — 15 апреля 1938 г. Письмо Эренбурга, адресованное Я. Г. Селиху, было передано А. Н. Поскребышеву для Сталина (см.: Источник, 1997, № 2, с. 116).

Глава 29

Написана в 1965 г.; напечатать ее Эренбург попыток не предпринимал. Впервые: в сокращении под названием «Мой друг Николай Бухарин» — Неделя, 1988, № 20; полностью — *ЛГЖ-90*. Переписку Эренбурга с Бухариным см.: *ВЛ*, 1999, № 1, с. 291—344.

Стр. 568. *...в коридоре Бутырской тюрьмы я увидел Гришу.* — Эренбург содержался в Бутырской тюрьме с 30 мая по 11 июня 1908 г. (ЦГИАМО, ф. 623, оп. 1, ед. хр. 2073), а Г. Я. Сокольников — с 14 ноября 1907 по 16 января 1909 г., после чего был выслан в Сибирь (т а м ж е, ед. хр. 1590).

Стр. 569. *...я прочитал о судебном процессе...* — О процессе так называемого «Антисоветского троцкистского центра», по которому обвинялись Ю. Л. Пятаков, К. Б. Радек, Г. Я. Сокольников, Н. И. Муралов, Л. П. Серебряков и др.; проходил в Москве 23—30 января 1937 г. *Больше Сокольникова я не видел.* — 15 июля 1936 г. Г. Я. Сокольников был освобожден от должности зам. наркома лесной промышленности, а 26 июля арестован. Его имя упоминалось в ходе процесса Зиновьева — Каменева (август 1936), а в январе 1937 г. по решению суда он был приговорен к 10 годам заключения. Убит в тюрьме в 1939 г.

Стр. 571. *В 1922 году он приезжал в Берлин...* — В апреле 1922 г. Н. И. Бухарин и К. Б. Радек возглавляли делегацию Коминтерна на берлинской конференции трех социалистических Интернационалов для обсуждения возможностей совместных действий рабочих в Европе. В Берлине от Бухарина Эренбург узнал, что «Хулио Хуренито» понравился Ленину. *...Бухарин вместо «Правды» стал редактором «Известий».* — Редактором «Правды» Бухарин был до 1929 г., редактором «Известий» — с февраля 1934 г. *Я проработал с Николаем Ивановичем четыре года.* — Неточно; Эренбург был зачислен в штат «Известий» как парижский корреспондент газеты в июне 1934 г. (см. многотиражку «Известий» — «Летучка», 15 июня 1934); а Н. И. Бухарин оставался редактором «Известий» до августа 1936 г. *Напечатал*

также статьи... — «За наш стиль» (15 октября 1934), «Поэзия и правда» (27 июня 1935), «Горе уму» (24 ноября 1935) и «Традиции Маяковского» (6 января 1936). *«Письмо Дусе Виноградовой»* — см.: Известия, 1935, 21 ноября. По поводу этой статьи Эренбургу пришлось письменно объясняться со Сталиным (см.: Источник, 1997, № 2, с. 109—112), — возможно, по совету Бухарина.

Стр. 572. *Особенно резок был Демьян Бедный...* — С нападками на Бухарина выступали также А. Сурков, которого Бухарин назвал «застрельщиком фракции обиженных», А. Жаров, В. Инбер, А. Безыменский. ...*«Я действительно допустил слишком резкие заявления и выпады...»* — Заявление Н. И. Бухарина в адрес президиума съезда было оглашено 1 сентября 1934 г. ...*«Не нужно вам писать...»* — 2 декабря 1934 г. среди прочих откликов на убийство Кирова «Известия» напечатали письмо, подписанное Л. Леоновым, В. Лидиным, А. Новиковым-Прибоем, Б. Пастернаком и Эренбургом (его автором, судя по всему, был Эренбург). *В апреле 1936 года Бухарин приехал в Париж.* — К тому времени Эренбург закончил работу над «Книгой для взрослых», где вспоминал начало своей революционной деятельности под руководством молодого Бухарина; именно в Париже Бухарин познакомился с рукописью *КдВ* (10 мая 1936 г. в письме к Мильман Эренбург просит проследить, чтоб «Известия» напечатали отрывок из книги: «Отрывок, если Н. И. хочет, пусть сам выберет... он роман читал». — *АЭ*). *Он был встревожен, минутами растерян...* — А. Мальро, встречавшийся с Бухариным в Париже в те дни, вспоминал: «Бухарин, проходя со мной по перекопанной площади Одеон, где около траншей лежали канализационные трубы, задумчиво произнес: «А теперь он (Сталин. — *Б. Ф.*) меня уничтожит» (Мальро А. Зеркало лимба, с. 349). *Французы устроили его доклад в зале Мютюалитэ...* — Доклад на заседании Ассоциации по изучению культуры 3 апреля 1936 г.; русский оригинал не сохранился; фр. пер. выполнен под редакцией А. Мальро; обратный пер. на рус. см.: Бухарин Н. Революция и культура. М., 1993, с. 288—307.

Стр. 573. ...*было указано на участие Бухарина в «правотроцкистском центре».* — Впервые имя Бухарина упоминалось на первом процессе (Зиновьева — Каменева), и 21 августа 1936 г. прокуратура объявила о начале следствия по делу Бухарина и Рыкова (23 августа «Известия», гл. ред. которых оставался Бухарин, поместили статью: «Расследовать до конца связи Бухарина, Рыкова и других с подлыми террористами»). В начале сентября объявили об отсутствии «юридических данных для привлечения к судебной ответственности» и о прекращении следствия. 24 января 1937 г. К. Б. Радек на суде заявил: «Бухарин мне сообщил, что у них в центре многие думают, что было бы легкомыслием и малодушием на основе результатов убийства Кирова отказаться вообще от террора; что, наоборот, нужно перейти к планомерной, продуманной, серьезной борьбе, от партизанщины — к плановому террору» (Процесс антисоветского троцкистского центра. М., 1937, с. 56). *Николай Иванович написал письмо бу-*

дущим руководителям партии... — См.: Огонек, 1988, № 17, с. 31. *Один крупный журналист* — М. Е. Кольцов; А. М. Ларина (Бухарина) свидетельствует: «Эренбург рассказывал, что билет на процесс ему дал Михаил Кольцов со словами: «Сходите, Илья Григорьевич, посмотрите на своего дружка». И произнесено это было, как показалось Эренбургу, враждебным тоном» (А. Ларина (Бухарина). Незабываемое. М., 1989, с 37). *Это были они, но я их не узнавал.* — А. М. Ларина (Бухарина) пишет: «...у меня были даже сомнения, действительно ли это был Бухарин, не подставное лицо, загримированное под Бухарина... Спустя много лет, когда я вернулась в Москву, И. Г. Эренбург, присутствовавший на одном из заседаний процесса и сидевший близко от обвиняемых, подтвердил, что на процессе наверняка был Николай Иванович. Он же рассказал мне, что во время судебного заседания через определенные промежутки времени к Бухарину подходил охранник, уводил его, а через несколько минут снова приводил. Илья Григорьевич заподозрил, что на Николая Ивановича действовали какими-нибудь ослабляющими волю уколами, кроме Бухарина больше никого не уводили.

— Может, потому, что больше остальных его-то и боялись, — заметил Илья Григорьевич» (там же, с. 37); есть еще несколько аналогичных свидетельств: так, на вопрос Е. И. Ландау, был ли на процессе настоящий Бухарин, Эренбург ответил: «Это был он, но глаза были не его» *(СК). Я был на заседании, когда Крестинский неожиданно отказался от показаний...* — 2 марта 1938 г. на первом заседании процесса при опросе подсудимых, признают ли они себя виновными; при возобновлении заседания после краткого перерыва Крестинский вновь отказался от показаний; на вечернем заседании 2 марта Крестинский продолжал отказываться от показаний, и только на вечернем заседании 3 марта он подтвердил предварительные показания.

Стр. 574. *Все мне казалось нестерпимо тяжелым сном...* — Карикатурист Б. Ефимов свидетельствует: «Я сидел в Октябрьском зале Дома союзов рядом с Ильей Эренбургом. Он учился с Бухариным в одной гимназии, много лет был с ним в дружеских отношениях. Теперь, растерянный, он слушал показания своего бывшего одноклассника и, поминутно хватая меня за руку, бормотал: «Что он говорит?! Что это значит?!» Я отвечал ему таким же растерянным взглядом» (Огонек, 1988, № 43, с. 3).

Глава 30

Стр. 576. *...его звали Анхель Сапика...* — См. очерк «Эбро» (т. 4 наст. изд., с. 517). *«Ты что — троцкистом стал?..»* — Эта фраза должна была в концентрированной форме выражать мысль Эренбурга, что даже честные и проницательные люди, если они не видели событий 1937 г. своими глазами, не могли тогда судить о них сколько-

нибудь верно. О. Г. Савич, по свидетельству А. Я. Савич, прочтя эти строки, был очень огорчен — он считал, что это какая-то ошибка памяти Эренбурга, поскольку был убежден, что таких слов никогда не произносил. Известно, что Б. А. Слуцкий обсуждал с Эренбургом вопрос об изменении этого текста, но писатель оставил все как есть.

Стр. 577. *...старого кривого парикмахера...* — См. очерк «Вокруг Лериды» (т. 4 наст. изд., с. 497).

Стр. 578. *...я разговаривал с пленным... Куртом Кетнером...* — См. очерк «Кто они» (т а м ж е, с. 491—497). *«Известия» напечатали мою статью.*— «О верности и вероломстве» (1938, 2 июля, см.: *ИР*, с. 274—277).

Стр. 580. *Рекете* — вооруженные отряды карлистов.

Стр. 582. *Он принял меня... и сделал заявление...* — См.: «Декларация президента Мануэля Асанья» (Известия, 1938, 20 июня).

Стр. 584. *...я не любил боя быков...* — См.: стихотворение «Бой быков» — т. 1 наст. изд., с. 113. *Живут в пещере...* — перевод И. Эренбурга. *...я снимал мост, чтоб послать фотографию в «Известия»...* — См.: Известия, 1938, 14 октября.

Глава 31

Стр. 586. *...агадирский кризис...* — В 1911 г. Агадир (город на атлантическом побережье Марокко) стал ареной столкновения интересов Франции и Германии; под давлением Англии Германия признала французский протекторат над Марокко.

Стр. 588. *...Иван Аксаков потом писал...* — См.: А к с а к о в И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886, с. 323.

Стр. 590. *А час спустя заря позолотила...* — См. т. 1 наст. изд., с. 116. *Что здесь делают шкаф и скамейка...* — из стихотворения «Батарею скрывали оливы» — т а м ж е, с. 116. *Под оливами могилу вырыв...* — из стихотворения «Русский в Андалузии» — т а м ж е, с. 120. *Додумать не дай...* — стихотворение без названия — т а м ж е, с. 132. Как и все испанские стихи Эренбурга, это стихотворение было записано им в 1939 г.

Стр. 591. *Закончится и наше время...* — из стихотворения «Самоубийцею в ущелье...» (т а м ж е, с. 134).

Глава 32

Стр. 593. *...Путерман редактировал левый еженедельник «Лю»...* — И. Е. Путерман — журналист, издатель, переводчик. В ноябре 1936 г. в его переводе на французский вышла книга Эренбурга «No pasaran!» — сборник из 19 статей о гражданской войне в Испании; в 1927 г. Путерман помогал М. Цветаевой издать ее книгу «После России».

Стр. 594. *Я заканчивал очередную корреспонденцию...* — Ст. «Второй Седан» (Известия, 1938, 2 октября). *...«Известия» обзавелись новым специальным корреспондентом...* — Первая публикация Поля Жослена: «Политическая борьба во Франции». *...о герое Ламартина.* — Имеется в виду книга Ламартина «Жослен» (1856). *Мои статьи не прошли бесследно...* — Ст. «Эльзасские ученики Генлейна» (Известия, 1938, 16 октября) и «Еще одно предательство» (Известия, 1938, 26 октября).

Стр. 597. *«Я говорю не о нужде...»* — из ст. «Грусть Франции» (Известия, 1938, 27 ноября). *Пятого декабря я писал в Москву...* — из письма В. А. Мильман *(АЭ)*, исправлено. *«Наступление противника началось...»* — из ст. «На фронтах Испании» (Известия, 1938, 24 декабря).

Глава 33

Стр. 597. *...я пошел к поэту Антонио Мачадо...* — См. об этом в ст. «Вокруг Лериды» (т. 4 наст. изд., с. 498). *Наша жизнь — это реки...* — пер. И. Эренбурга.

Стр. 598. *Потом он сказал о смерти...* — Цит. по ст.: Умер поэт Антонио Мачадо. — Известия, 1939, 24 февраля; см. т. 4 наст. изд., с. 536.

Стр. 599. *Ты говоришь — ничего не пропадает...* — из цикла «Пословицы и песенки», пер. И. Эренбурга специально для мемуаров. *Разглядывая мой череп...* — из того же цикла, пер. И. Эренбурга.

Стр. 601. *...книги Мачадо с его надписями сберег...* — Две книги Мачадо из собр. И. Эренбурга — в ГЛМ: Полн. собр. стих. (Мадрид, 1936) с надписью: «Илье Эренбургу с уважением и восхищением от Антонио Мачадо» (ГЛМ-И-1300) и Полн. собр. театральных пьес Антонио и Мануэля Мачадо (т. 2, 1936) с аналогичной надписью обоих авторов (ГЛМ-И-1301). *Ты на моем пути — вода иль жажда?..* — перевод И. Эренбурга.

Глава 34

Стр. 603. *Человека, которого звали в Испании Котовым, я остерегался...* — Под именем Котова в Испании находился Н. И. Эйтингон, ответственный работник НКВД, один из организаторов убийства Л. Д. Троцкого, впоследствии генерал-лейтенант ГБ; в 1952 г. арестован, затем освобожден, в 1957 г. снова арестован, в октябре 1964 г. снова освобожден; см. о нем: Тепер Е. Терракт Рамона Меркадера. — Нева, 1989, № 3, с. 201 и Судоплатов П. Разведка и Кремль. М., 1996.

Стр. 604. *...передать о заседании кортесов в «Известия»...* — См.: Борьба до конца. — Известия, 1939, 5 февраля; т. 4 наст. изд., с. 529—533.

Стр. 605. *В сырую ночь ветра точили скалы...* — Стихотворение «В январе 1939».

Стр. 607. *...кто только его ни обнимал!..* — Прежде всего Эренбург имеет в виду торжественный прием, оказанный Риббентропу Сталиным и Молотовым в августе 1939 г. *О слезы на глазах!..* — из цикла М. Цветаевой «Стихи к Чехии».

Стр. 608. *Помню, как на перевале Арес...* — См.: ст. «Исход» (т. 4 наст. изд., с. 536).

Глава 35

Стр. 608. *Я попросил Савича написать мне из Москвы...* — По возвращении в Москву Савич написал Эренбургу и получил ответ от 26 мая 1939: «Дорогой Сава, сейчас пришло твое письмо... Я по-прежнему ничего не делаю для газеты и продолжаю пописывать лирические стишки. Испанские стихи Вишневский взял для «Знамени» и послал мне прочувствованное письмо. По-прежнему встречаемся с испанцами... Надеюсь вскорости вызволить Габриэлу (секретарь Савича была интернирована во Франции, Эренбургу удалось добиться ее освобождения. — *Б. Ф.*). Она мне пишет. Как-то обедал с Андре (Мальро. — *Б. Ф.*)... Были у нас Альберти с Нерудой, пили... читали стихи. Я прочитал Кестлера «Испанское завещание», книга производит страшное впечатление (первая об Испании)... Очень прошу тебя, Сава, часто мне писать...» *(СК)*. На это письмо Савич уже не рискнул ответить (почти все советские участники испанских событий были арестованы по возвращении в СССР, и напоминать о себе письмом за границу было рискованно). *...мои корреспонденции перестали печатать.* — Последняя публ. Эренбурга — в «Известиях» 12 апреля 1939 г. («Расправа с испанскими республиканцами» и «Подготовка новых агрессий»), следующая в «Известиях» появилась лишь 26 июня 1941 г. («Париж под сапогами фашистов»).

Стр. 609. *...Максима Максимовича сняли.* — Смещение М. М. Литвинова в мае 1939 г. с поста наркома иностранных дел сопровождалось разгромом литвиновского дип. аппарата, проводившимся под руководством Молотова, Маленкова и Берии; это открыло Сталину путь для прямых переговоров и союза с гитлеровской Германией. *...Поль Жослен рассердил Сталина...* — З. С. Шейнис свидетельствует: «В середине апреля 1939 г. ночью редактору «Известий» Я. Г. Селиху позвонил Сталин. Он задал лаконичный вопрос: «Кто такой Поль Жослен?» Селих ответил: «Эренбург». Сталин сказал: «Я так и думал». И повесил трубку. В редакции «Известий» гадали, что значат эти слова: «Я так и думал». Плохо это или хорошо для Эренбурга? На всякий случай решили, что эти слова имеют негативный оттенок. Эренбург перестал появляться на страницах «Известий» (Журналист, 1991, № 1, с. 62). Возможно, к этому же времени отно-

сится решение Сталина об аресте Эренбурга (см.: Судоплатов П. Разведка и Кремль, с. 404). *...он думает, что он — игрок, а он только карта.* — В связи с этой фразой Твардовский заметил в письме Эренбургу: «Сентенция не бог весть какой новизны и глубины, но, обращенная к советской печати в такой категорической форме, не может быть принята. Редакция здесь не может, как в иных случаях, отстаивать Ваши права на своеобычную форму выражения». Фраза была снята (отметим, что эту же сентенцию Эренбург использовал во 2-й части романа «Падение Парижа» (гл. 23) в рассуждениях Тесса).

Стр. 610. *...Семенов, да и многие другие, — исчезли.* — Атташе советского посольства в Париже А. С. Семенов в марте 1962 г. писал Эренбургу: «Когда я вернулся в Москву, я был награжден орденом за Испанию, а через некоторое время был арестован, как многие другие, и только через 16 лет был полностью реабилитирован. Что было пережито за 16 лет, трудно описать. Тюрьма и лагерь сделали меня инвалидом» *(АЭ). Как-то Суриц сказал мне: «Приходил Раскольников»...* — Решение не возвращаться в СССР Раскольников принял 5 апреля 1938 г.; 10 сентября он виделся в Женеве с Литвиновым, 12 октября явился к Сурицу в Париже, а 17 июля 1939 г. узнал, что в Москве заочно осужден и приговорен к расстрелу (см.: Дружба народов, 1989, № 12, с. 100). *Написал предисловие к одной из моих книг...* — Ф. Раскольников написал предисловия к двум книгам Эренбурга: «10 л. с.» (1930) и «Виза времени» (1931). *...он сидел у меня на улице Котантен... похожий на обезумевшего ребенка...* — Написано еще до реабилитации Ф. Ф. Раскольникова (1963), отсюда дипломатическая сдержанность формулировки (цель Эренбурга — провести через цензуру представление о Раскольникове не как о «враге»). Однако и эта попытка «оправдания» Раскольникова после 1965 г. подверглась нападкам (Л. П. Тарасов-Василевский, сотрудник ГБ, работавший в 1939 г. в Париже, в 1966 г., охарактеризовав «Открытое письмо» Раскольникова Сталину как «чудовищный, недопустимый для коммуниста и советского человека факт», написал, имея в виду книгу «Люди, годы, жизнь»: «Спустя 20 лет кое-кто в своих воспоминаниях о встрече с Раскольниковым в тот период утверждал, что он находился в состоянии сильного смятения и был похож на растерявшегося ребенка. Вероятно, этим хотели смягчить или даже оправдать его поступок...» (Огонек, 1966, № 8, с. 24).

Стр. 611. *Я знавал некоторых невозвращенцев: ...Дмитриевского...* — А. Я. Савич вспоминала: «О том, что И. Г. считал бюрократическими недостатками системы, или что ему в стране казалось неправильным, он говорил прямо и откровенно. Был у него такой разговор с советником нашего посольства в Стокгольме Дмитриевским. Но Дмитриевский в ответ на слова И. Г. странно помалкивал... А спустя некоторое время он стал невозвращенцем и прислал Эренбургу письмо, в котором писал, что вот-де теперь он может, наконец, быть откровенным и говорить все, что думает, и что тогда в Стокгольме

он с И. Г. был совершенно согласен... И. Г. ему не ответил» *(СК)*. *...опубликовал открытое письмо Сталину...* — 22 июля 1939 г. Раскольников напечатал в Париже статью «Как меня сделали врагом народа»; «Открытое письмо» Сталину напечатано во Франции в журн. «Новая Россия» лишь в октябре 1939 г. (после гибели Раскольникова 12 сентября). Фрагменты письма см.: Огонек, 1987, № 26; полностью — газ. «Смена» (Ленинград), 1988, 5 мая. *...а полгода спустя умер.* — В журн. варианте о последних днях Раскольникова говорилось так: «...чувствовалось, что он душевно болен. Он не послушался советов Сурица, остался во Франции, а полгода спустя заболел острым нервным расстройством и умер» (*НМ,* 1962, № 6, с. 129). На такую трактовку повлияло и письмо М. В. Раскольниковой-Канивез к Эренбургу; 15 марта 1962 г. он ей отвечал: «Меня очень смущает одно место в Вашем письме. Вы пишете, что Ваш муж скончался от воспаления мозга. Я был тогда во Франции, и во всех газетах подробно сообщалось о самоубийстве Ф. Ф. Раскольникова. Очень прошу сообщить мне, является ли самоубийство — которое мне кажется трагическим исходом всего предшествующего — действительным, или то было газетной ошибкой? Мне кажется, что уточнение этого вопроса и предстоящее публикование моих воспоминаний могут способствовать пересмотру отношения к памяти Ф. Ф. Раскольникова» *(ФЭ)*. Отметим, что, встретившись 3 августа 1963 г. с Н. С. Хрущевым, Эренбург говорил с ним, в частности, и о реабилитации Раскольникова; после этого в советской печати появился ряд статей о Раскольникове. Что касается гибели Раскольникова, то Н. Берберова пишет: «На следующий день после того, как был подписан пакт Молотова-Риббентропа, он пытался перерезать себе вены. Его спасли, 12 сентября, через 10 дней после начала второй мировой войны, он, воспользовавшись тем, что лежал в палате один и на пятом этаже, выбросился в окно. Смерть была мгновенной. Его жена и дочь в тот же день исчезли неизвестно куда» (Дружба народов, 1989, № 12, с. 101). В 1965 г. Эренбург убрал воспоминания о «душевном расстройстве» и причинах смерти, зато упомянул о письме Сталину. *В 1940 году в Москве вышла... «Верность»...* — Сб. стих. «Верность» вышел из печати 30 апреля 1941 г. *(ФЭ)*. *Верность — вместе под пули ходили...* — из стихотворения «Верность»; см. т. 1 наст. изд., с. 133. *По тихим плитам крепостного плаца...* — начало стихотворения без названия; см. т. 1 наст. изд., с. 132.

Стр. 612. *Я знаю, век, не изменить тебе...* — из стихотворения «Монруж», см. т. 1 наст. изд., с. 129. *В 1946 году я заехал в Жюльена.* — Об этом подробнее и точнее см. ст. «Во Франции» (Известия, 1946, 29 октября).

Стр 613. *...Я знаю все — годов проломы, бреши...* — из стихотворения «Ты тронул ветку...», см. т. 1 наст. изд., с. 127. *...соглашение между Советским Союзом и Германией.* — Пакт о ненападении, подписан-

ный Молотовым и Риббентропом 23 августа 1939 г. *...последний номер «Правды»* — за 24 августа 1939 г.

Стр. 614. *1 сентября Молотов заявил...* — Заявление о ратификации советско-германского пакта на заседании Верховного Совета СССР 31 августа 1939 г.: «Советский Союз пришел к договору с Германией, уверенный в том, что мир между народами Советского Союза и Германии соответствует интересам всех народов, интересам всеобщего мира» (Правда, 1939, 1 сентября). *Два дня спустя началась вторая мировая война.* — 5 апреля 1962 г. по этому поводу Твардовский писал Эренбургу, указывая «на те точки зрения, которые не только не совпадают с взглядами и пониманием вещей редакцией «Нового мира», но с которыми мы решительно не можем обратиться к читателям»: «Концовка главы. Смысл: война непосредственное следствие пакта СССР с Германией. Мы не можем встать на такую точку зрения. Пакт был заключен в целях предотвращения войны» *(ФЭ)*. Эренбург был вынужден изменить последнюю фразу на такую: «Однако два дня спустя Гитлер начал вторую мировую войну».

Глава 36

Стр. 616. *Слова Молотова о «близоруких антифашистах»...* — из выступления 31 августа 1939 г. в Верховном Совете: «Надо признать, что в нашей стране были некоторые близорукие люди, которые, увлекшись упрощенной антифашистской агитацией, забывали о... провокаторской роли наших врагов». *Меня потрясла телеграмма Сталина Риббентропу...* — Ответ на поздравление с 60-летием («Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу Вас принять ко дню Вашего шестидесятилетия мои самые теплые поздравления. Иоахим фон Риббентроп»): «Благодарю Вас, господин министр, за поздравление. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. И. Сталин» (Правда, 1939, 25 декабря). В те же дни «Правда» напечатала поздравления Сталину и его ответы тем главам государств, которые эти поздравления прислали: Адольфу Гитлеру, Чанкайши, фашистскому правителю Словакии Тисо, турецкому министру Сараджоглу, руководителям Эстонии, Латвии и Литвы, а также главе Народного правительства Финляндии О. В. Куусинену, жившему в Москве.

Стр. 616—617. *...меня навещали... Андре Мальро...* — В черн. варианте: «Андре Мальро не одобрял советско-германского пакта, но он считал политику правительства лицемерной, низкой. Он порой приходил ко мне» *(ФЭ)*. *...Рафаэль Альберти...* — см.: А л ь б е р т и Р.

Затерянная роща. М., 1968, с. 4. *Доктор Симон.* — Врач Серж Симон, практиковавший на Монпарнасе, и его русская жена Нюта были близкими друзьями Эренбургов; в приемной Симона Маяковский, зашедший туда за Э. Триоле, познакомился с Т. Яковлевой (Книжное обозрение, 1989, 27 октября, № 43).

Стр. 617. *Он умер три дня спустя.* — В *ЗК* записи: «18 февраля 1940 умер Путер. 20-го — обыск у мертвого Путера. 21 — похороны» *(ФЭ).*

Стр. 618. *Фернандо рассказал...* — художник Фернандо Херасси.

Глава 37

Стр. 620. *...Он побеждал чужие города...* — из сонета «Увидев Рим с холмами неживыми», пер. И. Эренбурга (см.: *ТД,* с. 67).

Стр. 621. *В 1934 году Марке поехал... в Советский Союз.* — В 1933 — 1934 гг. ВОКС пытался организовать приезд в СССР французских художников Пикассо, Дерена, Синьяка, Матисса, Вламинка, Дюфи, Марке, Фриеза и устроить их выставки. Эренбург в Париже по поручению ВОКС вел с ними переговоры (см.: Русская мысль, Париж, № 4147, 31 окт. — 6 ноября, 1996, с. 11—12); это не удалось, и Марке приехал в Москву как турист.

Стр. 622. *Его жена написала про его последние дни.* — См.: Марке Марсель. Альбер Марке. М., 1968, с. 117 — 119. *Проходят дни, за годом год...* — из стихотворения Аполлинера «Мост Мирабо» (1912), пер. И. Эренбурга.

Глава 38

Стр. 623. *...налет на «Банк Северной Европы»...* — Директором банка был приятель Эренбурга Шарль Гильсум.

Стр. 627. *...ордер на арест, который исходил из кабинета... Петена.* — Об аресте Эренбурга вслед за переговорами, которые он вел с де Монзи, см. в романе Л. Арагона «Коммунисты» (Арагон Л. Собр. соч., т. 7. М., 1959, с. 350—353, 441—442, 462—463). По версии Арагона, русские готовы были вести переговоры в Париже при посредничестве Эренбурга; де Монзи поделился этим с Петеном, что привело к аресту писателя. *Среди полицейских был один русский...* — Ср. с очерками «Падение Парижа» (Огонек, 1940, № 25, с. 2): «Комиссар, производивший обыск, был эстетом. Прищурив глаз, он с видом знатока смотрел картины и говорил моей жене: «У вас богатая палитра». Ему помогал русский белогвардеец по прозвищу «Анатоль».

Стр. 630. *...моя дача в Переделкине кому-то приглянулась...* — Дача И. Эренбурга перешла к В. П. Катаеву; инцидент имел резонанс в писательских кругах, и Катаев заявил дочери писателя: «Если ваш отец

действительно вернется, дача будет ему возвращена». 17 октября 1940 г. (уже после возвращения Эренбурга в Москву) М. М. Шкапская писала Е. Г. Полонской: «Дачу ему Катаев так и не вернул, я советовала повоевать, но И. Г. говорит, что он «не привык к таким методам». А. Т. Твардовский высказался против публикации эпизода о даче (в письме к Эренбургу 5 апреля 1962 г.), Эренбург вынужден был пойти на компромисс и слова о даче снять (см. статью «Остров Переделкино». — Невское время, СПб., 1995, 20 октября).

Стр. 631. *Умереть и то казалось легче...* — из стихотворного цикла «Париж, 1940» (см. т. 1 наст. изд., с. 138).

Глава 39

Стр. 632. *Я вижу Париж в июне 1940 года; это был мертвый город...* — В. В. Сухомлин записал в дневнике 15 июня 1940 г.: «Все магазины закрыты. В районе между Сен-Сюльпис и Сен-Жермен открыто только одно кафе, «У двух китайских болванчиков». В кафе всего два клиента — Илья Эренбург с женой. Последние парижане, они одиноко сидели за столиком на террасе под полотняным навесом... Эренбург сказал мне, что ночует в посольстве с тех пор, как французская полиция явилась к нему на квартиру с обыском. Он собирается возвращаться в Москву» (*НМ,* 1965, № 11, с. 120).

Стр. 633. *Не для того писал Бальзак...* — из цикла «Париж, 1940».

Стр. 634. *Часы не били. Стали звезды ближе...* — из стихотворения «Упали окон вековые веки» (цикл «Париж, 1940»). *...ко мне пришла А. А. Ахматова...* — Встреча произошла 5 июня 1941 г. (по зап. книжке Эренбурга). *Когда погребают эпоху...* — Первое стихотворение из цикла Ахматовой «В сороковом году» (впервые напечатано лишь в 1946 г.); Эренбург вписал эти стихи вместе со стихотворением Мандельштама «Мне на шею кидается век-волкодав...» в зап. книжку во время встречи с Ахматовой. *...назову его вымышленным именем — Львов.* — Лев Петрович Тарасов (Василевский), советский консул в Париже в 1940 г., полковник ГБ. Эренбург запрашивал работавшего в Париже с Тарасовым Н. Н. Иванова, стоит ли упоминать его имя; 10 июля 1962 г. Н. Н. Иванов ответил: «По вопросу о Тарасове-Василевском я говорил в авторитетной инстанции... Мне сказали, что точно установлено, что Тарасов-Василевский — старый провокатор, со стажем этой работы в 30 лет, он загубил много людей. Он был исключен из партии в январе 1957 г. Неоднократно обжаловал решение КПК (в том числе писал Молотову и др.). Не исключено, что Молотов и др. знали о некоторых заслугах Тарасова на его спец. работе, м. б., в начале 1957 г. они могли посодействовать ему... Молчание об этом лице — лучший выход из положения» *(АЭ).* Это убедило Эренбурга в целесообразности использования вымышленного имени «Львов». Но все эпизоды с «Львовым» вызвали резкие возражения А. Т. Твардовского

(«Сотрудники советского посольства, приветствующие гитлеровцев в Париже. «Львов», посылающий икру Абецу. Мне неприятно, Илья Григорьевич, доказывать очевидную бестактность и недопустимость этой «исторической детали...» — в письме от 5 апреля 1962 г.); все попытки писателя сохранить в книге правду о событиях лета 1940 г. были отклонены («с горечью снимаю все о «Львове» и о сотрудниках посольства», — писал Эренбург Твардовскому в ответном письме. — *АЭ*). Л. Тарасову (Василевскому), занявшемуся лит. работой, было важно «попасть» в мемуары Эренбурга; не найдя в них упоминания о себе, он попросил свидания с Эренбургом, а получив отказ, прислал длинное письмо, в котором облил грязью тех, кто знал о его прежней деятельности, и предупредил, что сам расскажет «о времени и о себе». После смещения Хрущева такая публикация стала возможной (см.: Тарасов Л. В оккупированном Париже. — Огонек, 1966, № 7—9). Отметим, что в Париже Василевский, несомненно, симпатизировал Эренбургу. По свидетельству генерала НКВД П. Судоплатова, в апреле 1953 г. в его присутствии Л. Берия рассказывал, что в 1939 г. спас Эренбурга от гибели: получив приказ Сталина арестовать писателя по возвращении его из Парижа, он показал Сталину телеграмму резидента НКВД в Париже Василевского, в которой высоко оценивалась политическая и антифашистская деятельность Эренбурга во Франции. После этого приказ об аресте был отменен (см.: Судоплатов П. Разведка и Кремль, с. 404).

Стр. 635. *...меня от его рассказов подташнивало.* — В черн. варианте дальше так: «Я. З. Суриц меня давно предупреждал: «При Львове не говорите ничего лишнего». Я старался молчать, но иногда выходил из себя и повторял: «Фашисты, убийцы, палачи!» *(ФЭ). ...он плохо говорил по-французски.* — В письме к Эренбургу Тарасов утверждал, что Илья Григорьевич сам попросил взять его в поездку, чтобы увидеть жизнь оккупированной Франции («По-французски я действительно говорю хуже Вас, однако, выполняя ответственную и деликатную, скажем, работу, я не прибегал к помощи переводчиков») — *АЭ;* о поездке Эренбурга в неоккупированную Францию см. его очерк «Путешествие в «другую» Францию» (Огонек, 1940, № 27, с. 2—4).

Стр. 636. *...не мог же я гордиться тем, что, будучи советским гражданином, огражден от произвола гитлеровцев!* — В черн. варианте дальше так: «Я не мог радоваться привилегиям, которые Львову казались естественными. Между Советским Союзом и третьим рейхом существовали дружеские отношения, но не между мной и гитлеровцами, захватившими Францию. Я их ненавидел, и много сил требовалось, чтобы скрыть это чувство» *(ФЭ). ...в посольство пришла Анна Зегерс... ей грозила смерть.* — Р. Орлова вспоминала о встрече с А. Зегерс в 1965 г.: «Спор с Анной Зегерс... Взрывается, когда плохо говорю об Эренбурге (из-за недовольства тем, что в 1960-е гг. И. Э. подписывал не все диссидентские бумаги, которые ему

приносили. — *Б. Ф.*): «Он мой друг, он в 1940 году в Париже спас мою семью, если ты будешь так о нем говорить, то лучше уходи» (Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве 1956 — 1980. М., 1990, с. 113).

Глава 40

Стр. 638. *Я вернулся в Москву 29 июля 1940 года.* — В очерке «Париж — Москва» (Огонек, 1940, № 27, с. 4) Эренбург упоминал о встрече в поезде с литовскими писателями. К. Корсакас, который вместе с поэтессой С. Нерис ехал в одном купе с Эренбургами от Радвилишкеса до Москвы, был поражен тем, что в Москве Эренбурга никто не встречал; в постпредстве Литвы на его недоуменный вопрос ему ответили, что Эренбург теперь персона нон грата (см.: Pergale (Вильнюс), 1989, № 10, с. 120; сообщено М. Г. Рольникайте). *На свадьбе полагается не плакать, а плясать.* — Эренбург часто пользовался этим выражением, восходящим к германскому фольклору (ср. в очерке «Пять лет спустя»: «Я здесь слегка — Канитферштан, который смеялся на похоронах и плакал на свадьбах». — Т. 4 наст. изд., с. 31). *А в Москве настроение было скорее свадебным.* — Субъективное впечатление писателя, приехавшего из разгромленной Франции, пересекшего на поезде гитлеровскую Германию, о тогдашней Москве вызвало протест Твардовского: «Свадебное настроение в Москве 40 г.? Это, простите, неправда. Это было уже после маленькой, но кровавой войны в Финляндии, в пору всенародного тревожного предчувствия. Нельзя же тогдашний тон газет и радиопередач принимать за «свадебное настроение общества» *(АЭ)*. «В 1940 году я и на родине чувствовал себя одиноким, — писал Эренбург в черн. варианте, — я знал, что фашисты на нас нападут, а большинство людей, с которыми мне приходилось сталкиваться, наслаждались миром. Беспечность диктовалась и газетами, и органами Берии, и внутренним желанием людей (редкостное совпадение)». *Я написал В. М. Молотову...* — В зап. кн. Эренбурга: «31 июля 1940. Послал письмо В. М.»; в черн. варианте дальше так: «Я еще не знал, что вата для ушей — необходимый атрибут власти». *Он* <Лозовский> *остался в моей памяти человеком мягким...* — Дочь С. А. Лозовского в письме к Эренбургу 22 июня 1962 г. писала: «Вы пишете о Соломоне Абрамовиче как о человеке мягком, созерцательном, как бы плывущем по течению. Это совершенно искажает его образ. Всю свою долгую и нелегкую жизнь отец был неутомимым тружеником, солдатом войны идеологической и неукротимым борцом за бессмертные идеи интернационализма. Кроме того, беглое упоминание об условиях работы Соломона Абрамовича в Совинформбюро и причинах ареста у людей, знавших его, может вызвать лишь досаду и недоумение, а у широкого круга читателей создаст совершенно неправильное представление о его жизненном пути и общественно-политической деятельности». Эренбург отве-

тил на это: «Ваше письмо меня удивило и огорчило. Я никогда не думал и не думаю, что мягкость противостоит революционной стойкости. Что касается ареста С. А. и расправы с ним, то я буду об этом писать в VI части моей книги» *(ФЭ).*

Стр. 639. *Я. В. Смушкевича арестовали и расстреляли за две недели до того, как гитлеровцы напали на Советский Союз.* — Неточно; Смушкевич был арестован за две недели до войны, а расстрелян вместе с 19-ю другими военачальниками (включая Г. М. Штерна) 28 октября 1941 г. (см.: Моск. новости, 1988, № 24, с. 16). *...мое имя нигде не упоминалось...* — В течение года (с августа 1939 по 31 августа 1940) впервые за многие годы периодика не печатала Эренбурга.

Стр. 640. *Меня принял заведующий иностранным отделом...* — В черн. варианте так: «Иностранным отделом ведал Ф. М. Шпигель. Он бегло полистал рукопись и честно сказал: «Не подходит» *(ФЭ). ...моя книга об Испании не смогла выйти...* — Сб. «В Испании 1936—1938» сдан в набор 3 июня 1938 г., подписан в печать в сентябре 1938 г.; верстка тщательно выверена Эренбургом, во многих местах ее — возражения автора против цензурных сокращений; на титуле виза: «По исправлении печатать. 25.II.1939» *(АЭ). ...я познакомился с З. С. Шейнисом, работавшим в газете «Труд».* — З. С. Шейнис вспоминал: «В августе 1940 года, вернувшись из Франции, в «Труде» начал сотрудничать Эренбург... Мы, сотрудники иностранного отдела «Труда», знали, что Илья Эренбург — «нежелательный автор» в редакции... К середине августа (естественно, «проинструктировавшись» где надо) я позвонил Эренбургу и попросил его приехать в редакцию, поговорить о сотрудничестве. Он был удивлен предложением, весьма скептически настроен, но в редакцию пришел. Я рассказал Илье Григорьевичу о работе нашего иностранного отдела и его задачах. Он сказал, что еще во Франции познакомился со многими статьями по международным вопросам, публиковавшимися в «Труде». По свидетельству Ильи Григорьевича, за нашей газетой в Париже следили внимательно. Во время этой первой встречи мы договорились о начале работы Эренбурга в нашей газете... Через несколько дней Эренбург передал редакции свои первые статьи. Вся серия имела общий заголовок «Разгром Франции»... Антифашистская направленность статей Эренбурга в тех условиях прозвучала как пушечный выстрел. В Берлине в высших эшелонах власти злобствовали. В оккупированной зоне Франции их распространяли подпольно» (Журналист, 1991, № 1, с. 62). *...очерки были напечатаны в «Труде».* — «Разгром Франции» (см.: Труд, 1940, 31 августа, 4, 7, 11, 15 сентября); кроме того, в двух номерах газеты «Советская Украина» (1940, 18, 20 сентября) был напечатан документальный материал «Десять парижских дней (из записных книжек)». *Мы должны были проголосовать за исключение Авдеенко...* — См. об этом в книге А. Авдеенко «Отлучение» (Знамя, 1989, № 3, 4). *...приходил за объяснениями...* — В черн. варианте далее так: «Арестовывали те-

перь в розницу — не мели, а дометали. В последний год перед войной из моих знакомых исчезли И. К. Луппол, Левидов, Смушкевич, Н. Н. Иванов» *(ФЭ). ...Будет день, и прорастет она...* — из стихотворения «Города горят...» (1940) (см. т. 1 наст. изд., с. 147).

Стр. 641. *Кончен бой. Над горем и над славой...* — начало стихотворения без названия (1940) (см. т. 1 наст. изд., с. 137). *...он согласился пропустить и лирику.* — С. А. Дангулов вспоминал: «При первой встрече Пальгунова с Эренбургом я был... Эренбург был настроен воинственно, полагая, что его стихи будут подвергнуты, быть может, коррективам, и заметно смешался, когда заметил, что его позиция возражений не вызывает» (Октябрь, 1985, № 6, с. 183). Стихи Эренбурга в 1940 г. печатались в журн. «Знамя» (№ 9, 10, 11), «30 дней» (№ 9-10), «Звезда» (№ 10). *Не туманами, что ткали Парки...* — из стихотворения «Лондон» (январь 1941) (см. т. 1 наст. изд., с. 143). Эренбург добился публикации этого стихотворения (правда, без названия) еще до войны (стихи о Лондоне Ахматовой и Тихонова напечатаны существенно позже).

Стр. 642. *...я кончал тридцать девятую главу...* — Неточно; судя по зап. книжке, где Эренбург тщательно отмечал ход работы над романом, — тридцать седьмую. *Тотчас вышел английский перевод...* — 5 января 1956 г. И. М. Майский писал Эренбургу: «В 1942 г., будучи послом СССР в Лондоне, я получил гранки Вашего романа на русском языке для издания его в Англии. Прежде всего я сам его прочитал. Роман произвел на меня огромное впечатление, и я решил принять все меры для скорейшего доведения его до английского читателя. В конце 1942 года, перед Рождеством, книга, наконец, вышла на рынок. Я рекомендовал ее в особом письме, которое, как это часто бывает в Англии, было напечатано на бумажной суперобложке книги» *(ФЭ). В декабре 1940 года он писал...* — См.: Вишневский Вс. Собр. соч., т. 6. М., 1961, с. 322.

Стр. 643. *...я начал выступать с чтением отрывков из романа.* — Интерес к этим чтениям был огромным, отклики в большинстве своем — положительными; в качестве своего рода исключения приведем дневниковую запись О. Берггольц за 25 декабря 1940 г.: «Сегодня в клубе Эренбург, живший во Франции, в Париже — в дни его и ее разгрома, читал отрывки из романа «Падение Парижа» и стихи... Я тихо и бесстрастно ужасалась: как далеко может идти профессионализм, что человек может сейчас писать о разгроме Франции! Это так же дико, как если б художник, рисуя увечного, пытался приклеить на картину куски живого мяса. Но даже это не удалось ему: рассудочный сентиментализм. Нехорошо» (Звезда, 1990, № 5, с. 182). *Я попытался попасть на прием к... А. А. Фадееву, но это оказалось безнадежным.* — В черн. варианте дальше так: «Один наш общий знакомый спросил Александра Александровича, почему он так неприязненно относится ко мне. Фадеев ответил: «Он слишком хорошо жил за границей». Ср. в зап. кн. Эренбурга: «20 апр. 1941. Лер о доводах Фадеева — «хорошо жил». 23 апр. Фадеев

неуловим» *(ФЭ). ...писал для «30 дней», «Вокруг света»...* — В журн. «30 дней» напечатано 25 небольших очерков Эренбурга (1940, № 11-12; 1941, № 1—3, 5), в «Вокруг света» — 2 очерка (1940, № 11; 1941, № 1). В *ФЭ* сохранились гранки ненапечатанного очерка «Париж», набр. для альм. «Глобус».

Стр. 644. *...Алиса Коонен умела потрясать зрителей.* — См. рецензию Эренбурга «Алиса Коонен — Эмма Бовари» на спектакль Камерного театра *(ВМ,* 28 мая 1941).

Стр. 645. *...мне позвонили из секретариата Сталина...* — З. С. Шейнис свидетельствует: «В ту пору Илья Григорьевич работал над «Падением Парижа». Редакция намеревалась опубликовать отрывки. Настойчивость в этом вопросе обернулась серьезной неприятностью для меня. В редакцию прислали комиссию, мне было предъявлено обвинение, что я «пригрел» Эренбурга и выплатил ему повышенный гонорар. После долгих размышлений я решился написать письмо в высшие сферы. Рассказал, что не пропускают главы из «Падения Парижа». Отправил письмо и гадал: дойдет или не дойдет? С нетерпением ждал развития событий. Ответа все не было. А 25 апреля рано утром в редакцию пришел Илья Григорьевич. По его лицу я понял, что произошло что-то очень важное. Он был взволнован, сказал, что поздно вечером ему позвонил по телефону Сталин. Похвалил «Падение Парижа», посоветовал торопиться с работой... Сразу после майских праздников мы начали публиковать отрывки из второй части «Падения Парижа» (Журналист, 1991, № 1, с. 63). *Ирина поспешно увела своих пуделей...* — По этому поводу Твардовский заметил Эренбургу: «Фраза насчет собак в момент телефонного звонка от Сталина, согласитесь, весьма нехороша. Заодно замечу, что для огромного количества читателей Ваши собаки, возникающие там-сям в изложении, мешают его серьезности. Собаки (комнатные) в представлении народном — признак барства, и это предубеждение так глубоко, что, по-моему, не следовало бы его эпатировать». Эренбург на это ответил: «Я не считаю, что собаки оскорбительно вмешиваются в рассказ о телефонном звонке. Что касается Вашего общего замечания, то позвольте мне сказать, что среди моих читателей есть люди, которые любят и не любят собак, как есть люди, которые любят и не любят Пикассо. Поскольку Вы великодушно разрешили мне излагать мои эстетические суждения, которые Вам были не по душе, разрешите мне выходить на прогулку с моими собаками» *(АЭ). Эта книга потом вышла в русском переводе...* — Андре Симон, Гордон Уотерфилд, Андре Моруа, Андре Жеро (Пертинакс), Жюль Ромэн. О тех, кто предал Францию. М., 1941 (книга А. Симона «Я обвиняю!», вошедшая в этот сборник, печаталась также в «Интернациональной литературе», 1941, № 3). *...его казнили в Праге...* — А. Симон-Катц проходил по делу ген. секр. ЦК КПЧ Р. Сланского и расстрелян вместе с ним в 1952 г.

Стр. 646. *Я не хочу, чтобы меня дурно поняли...* — «То, что Вы говорите о Фадееве, — написал Твардовский Эренбургу, — для меня на-

столько несовместимо с моим представлением о Фадееве, что я попросту не могу этого допустить на страницах нашего журнала. Повод, конечно, чисто личный, но редактор — тоже человек». Эренбург вынужден был снять эти слова. *Познакомился в Харькове с... Борисом Слуцким.* — В зап. кн. Эренбурга: «9 мая 1941. У студентов. Слуцкий. Задор, а за ним эклектика» *(ФЭ).*

Стр. 647. *5 июня. Вечером была Анна Андреевна...* — Полная запись такова: «Ахматова. «Ничему не удивляться». Поэма-реквием о Гумилеве. Стихи о Париже. О Мандельштаме и Анненском» *(ФЭ)*; в связи с тем, что Эренбург привел слова Ахматовой: «Ничему не нужно удивляться», Твардовский запросил: «Вы уверены, что она не против опубликования их?» Эренбург ответил: «Я совершенно с Вами согласен, что нужно спросить мнения Анны Андреевны — не возражает ли она против опубликования ее слов, что я и сделаю». Разрешение Ахматовой было получено. *Опровержение ТАССа* — опубл. 14 июня 1941 г. «Германия, — говорилось в нем, — так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз». *...выступил Молотов, волновался.* — В черн. варианте: «Выступил Молотов, чувствовалось, что он взволнован — заикался больше обычного» *(ФЭ).*

Книга пятая

Пятую книгу «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал весной и летом 1962 года; работал над ней, как и над предыдущими частями, в Новом Иерусалиме, на даче, вдали от городского шума, несмолкающего телефона, бесконечных визитеров и приглашений. «Я очень уморился, — писал он Е. Г. Полонской 21 июля, — был в Скандинавии, в Париже, а потом Конгресс. Надеюсь, что удастся теперь посидеть в Н.-Иерусалиме (холод, дождь) и кончить 5 часть — война». Сохранилось несколько черновых планов пятой книги, отличающихся от окончательного варианта. Менялся порядок следования глав; уже в процессе работы Эренбург отказался от идеи написать портретные главы о С. М. Михоэлсе, Л. Н. Сейфуллиной, генерале И. Д. Черняховском и ограничился более кратким повествованием о них; глава о М. М. Литвинове и Я. З. Сурице переместилась в планы шестой книги. В августе Эренбург отдал рукопись пятой книги в «Новый мир»; была достигнута договоренность, что журнал напечатает ее в конце года (об этом сообщила 21 августа *ЛГ,* напечатав отрывок из пятой части). Однако журнальная судьба книги неожиданно оказалась драматичной.

В ту пору Твардовский был целиком поглощен «пробиванием» в журнале «Одного дня Ивана Денисовича» (он уже отправил Хрущеву письмо и рукопись Солженицына — никто больше не мог разрешить ее публикацию). Твардовский надеялся, что пятая книга, посвященная

Отечественной войне, т. е. периоду общепризнанной, официальной славы Эренбурга, не содержит никакой крамолы и не создаст для журнала лишних сложностей. Прочитав рукопись, он понял, что это не так. Была собрана редколлегия «Нового мира», согласившаяся с предложением главного редактора отложить печатание пятой книги Эренбурга («Если я, скажем, могу напечатать Солженицына, — приводит слова Твардовского В. Лакшин, — то и Эренбург может найти себе место в журнале. А если я не могу печатать Солженицына, а должен печатать Эренбурга (благодаря его особому, «сеттльментному» положению в литературе), тогда журнал получает однобокое направление, народной точки зрения в нем нет, а есть интеллигентское самолюбование». — См.: Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева, с. 73)[1]. Твардовский сообщил об этом Эренбургу в достаточно резком письме. На следующий день, 12 сентября, Эренбург написал заместителю Твардовского А. И. Кондратовичу: «Как содержание, так и тон письма Александра Трифоновича ставят передо мной вопрос, который я сам решить не могу, а именно, входит ли в намерение редакции отодвинуть печатание пятой части «Люди, годы, жизнь» по мотивам, в которые я, разумеется, входить не могу, на следующий год, или это вообще ставит под вопрос публикование двух последних частей моей книги в Вашем журнале... Разумеется, А. Т. Твардовский хозяин в своем журнале и навязывать ему публикацию того, что ему неприемлемо, я никак не собираюсь. Моя просьба к Вам состоит в том, чтобы прямо и откровенно сообщить мне намерения редакции» (см.: Кондратович А. Новомирский дневник. 1967—1970, с. 104—105). Сомнения Эренбурга развеял десятый номер журнала, объявивший пятую книгу мемуаров в плане «Нового мира» на 1963 год.

3 ноября 1962 года был подписан в печать 11 номер «Нового мира» с повестью Солженицына, а 20 ноября набор пятой книги мемуаров Эренбурга доставили в Главлит. А. И. Кондратович вспоминал: «Все части мемуаров Главлит исправно передавал в ЦК, густо расчерченные. Поликарпов (зав. отделом печати, который, как замечает Кондратович, «не любил Эренбурга и боялся его». — *Б. Ф.*) ломал над ними голову, а потом вызывал меня и говорил, что это нельзя и это нельзя напечатать, а вот это надо просто каленым железом выжечь. И каждый раз я говорил: «Но он же не согласится», или иногда с сомнением: «Попробуем, может, уговорим». Но Эренбург ни за что не соглашался менять текст, а иногда издевательски менял одно-два слова на другие, но такие же по смыслу. Я показывал: «Видите, поправил», и, к моему удивлению, с этими лжепоправками тут же соглашались. Вскоре я разгадал

[1]Несправедливая резкость этого суждения так непохожа на прежние и последующие высказывания Твардовского о мемуарах, что может быть объяснена лишь особо взвинченным его состоянием; отметим также, что дневниковые «цитаты» у Лакшина далеки от стенографической точности.

эту игру отдела. Им нужно было на всякий случай иметь документ, свидетельствующий о том, что они читали, заметили происки Эренбурга, разговаривали с редакцией и Эренбург все же что-то сделал. Мало, но ведь все знают его упрямство» (т а м ж е, с. 109). 27 декабря Главлит сообщил редакции свои замечания по пятой книге, а 3 января 1963 года первый номер «Нового мира» с десятью главами мемуаров Эренбурга был подписан к печати.

Со вторым номером дело оказалось куда сложнее. Антиэренбурговская кампания, начатая статьей Ермилова, была в разгаре, и цензура подписать продолжение пятой книги не решалась. В. Лакшин привел дневниковые записи цензора: «31 января. Утром по телефону получил... исправление по материалу И. Эренбурга. В 12.30 звонил т. Кондратович с просьбой ускорить решение. Причем сказал: «Эренбург больше ни на какие исправления не пойдет, вплоть до скандала в международном масштабе». 2 февраля. Направлено письмо в ЦК КПСС по поводу И. Эренбурга» (Л а к ш и н В. «Новый мир» во времена Хрущева, с. 101). В ЦК КПСС на совещании у Л. Ильичева, дирижера антиэренбурговской кампании, было принято решение публикацию мемуаров из второго номера журнала снять. Эренбургу не оставалось ничего иного, как обратиться лично к Хрущеву; пришлось искать такие аргументы, которые заставили бы главу страны отменить запрет: «Я не беспокоил бы Вас, если бы начало пятой части в январском номере «Нового мира» не заканчивалось словами «Продолжение следует». Напомнив, что не было случаев, когда бы печатающееся произведение прервали на такой фразе, Эренбург выразил опасение, что это удивит советских читателей и будет использовано антисоветскими кругами за границей, тем более что переводы мемуаров вышли во многих странах; все это поставит его как общественного деятеля в ложное положение. Аргументы подействовали, и 20 февраля второй номер журнала с восемью главами пятой части был подписан к печати.

Наибольший цензурный урон понесло окончание пятой части мемуаров — после оголтелого выступления Хрущева на встрече с деятелями культуры 8 марта 1963 года Эренбурга уже не боялись ни в Главлите, ни в ЦК. По свидетельству Лакшина, «снимали чуть ли не целыми страницами, и не только места, заподозренные в «еврействе», но и направленные против культа». Были сняты целиком главы о художнике Кончаловском и о «Черной книге». 29 марта третий номер журнала подписали в печать, и пять глав многострадальной книги были напечатаны в нем вслед за текстом разгромного выступления Хрущева, значительная часть которого была направлена именно против мемуаров Эренбурга.

В 1965 году Эренбург дополнил пятую книгу главами о Ю. Н. Тынянове и В. С. Гроссмане; полный ее текст впервые был напечатан в *ЛГЖ-90;* в настоящее издание внесен ряд уточнений и исправлений по новомировской рукописи.

Глава 1

Стр. 649. *Им посвящены прекрасные повествования...* — Имеются в виду книги В. Некрасова «В окопах Сталинграда», Э. Казакевича «Звезда» и «Двое в степи», В. Гроссмана «Народ бессмертен» и «За правое дело» (с рукописью романа «Жизнь и судьба» Эренбург, видимо, не был знаком), В. Пановой «Спутники», О. Берггольц «Дневные звезды», А. Бека «Волоколамское шоссе». В рукописи мемуаров, хранящейся в *ФЭ,* этот перечень заканчивался именем Г. Я. Бакланова (Эренбург имел в виду его повесть «Пядь земли»; позже, даря Эренбургу эту книгу, автор написал на ней: «Дорогой Илья Григорьевич! На фронте все мы читали Вас и ждали, что завтра скажет Эренбург. Ваши статьи мы читали вслух, как делятся вслух своими мыслями. Мне очень радостно подарить Вам сейчас эту книгу о войне. С глубоким уважением Г. Бакланов. 9 апреля 1960 г.»), однако в окончательной машинописи, представленной в *НМ,* которая стала доступна нам уже после выхода издания *ЛГЖ-90,* этот перечень кончался именем Бека; здесь принята эта последняя авторская редакция.

Стр. 651. *На еврейском митинге выступил и я.* — Первый еврейский радиомитинг состоялся 24 августа 1941 г. Выступление Эренбурга под заголовком «Евреям» напечатали «Правда» (25 августа) и «Известия» (26 августа). — См. т. 5 наст. изд., с. 496—497.

Стр. 652. *...ко мне пришел... Броневский... Я с ним встретился впервые... при Пилсудском...* — В 1928 г. См. т. 4 наст. изд., с. 113. В зап. кн. Эренбурга упомянуты встречи с Броневским 8 октября и 18 и 23 декабря 1941 г., 16 ноября 1943 г.

Стр. 654. *Меня резанули слова о «перепуганных интеллигентиках».* — Сталин на параде 7 ноября 1941 г. сказал: «Наши людские резервы неисчерпаемы... Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков? Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики». Д. И. Ортенберг вспоминает, что, когда в марте 1942 г. в статье М. Р. Галактионова в *КЗ* были повторены эти слова Сталина, «зашел ко мне Илья Григорьевич, взволнованный, расстроенный, и едко сказал: «Опять эти «перепуганные интеллигентики»?! Кто же они?..» Я понимал справедливость упреков Эренбурга. Мне пришлось выбирать между тем, что говорил тогда Сталин, и тем, что было в действительности» (Ортенберг Д. Год 1942. М., 1988, с. 121).

Стр. 657. *Повезли нас в пригородном вагоне...* — В черн. варианте: «Мы простояли полдня; потом нас посадили в пригородный вагон. Со мной оказались Петров, Афиногенов, Шостакович. Мы ехали долго — 5 дней» *(ФЭ).*

Стр. 658. *В Саратове играл МХАТ.* — В зап. кн. Эренбурга: «14 дек. 1941. МХАТ. Фальшь игры. Грусть Чехова. Москвин». *«Какая же это передовица?..»* — Д. И. Ортенберг писал впоследствии в кн. «Время не властно»: «Больше Илье Григорьевичу не поручалось писать передовые...» (М., 1979, с. 98; далее цит. это изд. — в коммент.).

Стр. 659. *...несколько фраз из моих статей того времени.* — Цит. ст. 1941 г. «Выстоять» (*КЗ*, 12 октября), «Мы выстоим» (*КЗ*, 28 октября), «Испытание» (*КЗ*, 4 ноября), «Нет тыла» (Волжская коммуна, 4 ноября), «Солнцеворот» (*КЗ*, 23 декабря). *«Придет время для «Войны и мира»...»* — из статьи «Музы в походе» (Литература и искусство, 1942, 13 января).

Глава 2

Стр. 660. *«Как всегда многолюден и шумен Крещатик...»* — из очерка «Киев в эти дни» (17 сентября 1941) — см.: Лапин Б. Избранное. М., 1958, с. 566, 567. *...Лапин выпустил сборник стихов...* — Лапин Борис. 1922-я книга стихов. М., 1923, тир. 500 экз.

Стр. 663. *Ирина долго надеялась на чудо.* — В декабре 1941 г. В. С. Гроссман писал Эренбургу с Юго-Западного фронта: «Я усердно расспрашиваю о Лапине и Хацревине. К сожалению, пока ничего не узнал. Едва узнаю хоть что-нибудь, тотчас сообщу, конечно. Здесь Долматовский, он дважды был в плену, сейчас едет работать в армию. Масса людей возвращается сейчас из окружения, даже самого далекого. Возвращаются также многие пленные» *(АЭ)*. См. также военный дневник И. И. Эренбург (Звезда, 1999, № 2, с. 89—109). *...Борис Матвеевич переписал начисто свои старые стихи.* — Изданы в 1976 г. — см.: Лапин Б., Хацревин З. Только стихи. М., предисловие К. Симонова.

Глава 3

Стр. 666. *В статье... «Оправдание ненависти»...* — «Правда», 26 мая 1942 г. (см. т. 5 наст. изд., с. 536—541).

Стр. 671. *Я писал в 1944 году...* — Далее цит. ст. «Справедливость» (Война и раб. класс, № 12) и «Помнить!» (Правда, 17 декабря).

Стр. 672. *...«Европа мечтала о стратосфере...»* — из ст. «На пороге» (*КЗ*, 1943, 1 января), исправлено.

Глава 4

Стр. 674. *Генерал Голубев, усмехаясь, говорил...* — См.: ст. «Весна в январе» (*КЗ*, 1942, 14 января; т. 5 наст. изд., с. 527—532). *«Солнце — на лето...»* — из ст. «Солнцеворот» (*КЗ*, 1941, 23 декабря). *18 января я был у генерала Говорова.* — Портрет Л. А. Говорова Эренбург дал в ст. «Можайск взят» (*КЗ*, 1942, 21 января). «В короткие минуты беседы, — свидетельствует Д. И. Ортенберг, — Эренбург удивительно точно схватил портретные черты командарма» (Время не властно, с. 113).

Стр. 675—676. *Генерал Орлов шутил...* — См.: ст. «Второй день Бородина» (*КЗ*, 1942, 24 января).

Стр. 676. *В. С. Гроссман... писал мне...* — Письмо не датировано *(АЭ)*, написано в Воронеже в конце 1941 г., отправлено с оказией в Куйбышев. *Редактор «Известий»* — Л. Я. Ровинский, редактировал газету в 1941—1944 гг. *...редактор и еще один ответственный товарищ хотели изменить слова «желтые дожди»...* — П. Н. Поспелов и Е. М. Ярославский.

Стр. 677. *Меня они* <книги Сейфуллиной> *привлекали искренностью...* — Еще в 1923 г. в Берлине Эренбург напечатал рецензию на кн. «Перегной» (Новая русская книга, № 5-6). Упоминания о Сейфуллиной в его парижских письмах 20-х гг. ироничны.

Стр. 678. *...ко мне пришел поэт Долматовский.* — Е. Долматовский считал, что Эренбург «придал происходившему совершенно иной оттенок... Я рассказал ему тогда, что после перехода линии фронта попал в особый отдел дивизии». Упомянув, что молодой оперуполномоченный видел его до войны, Долматовский пишет: «Оперуполномоченный особого отдела теперь увидел меня — седого, в клочковатой бороде. Он простодушно говорил, что не узнает меня. Мне пришлось читать стихи на память...» (*НМ*, 1978, № 2, с. 253—254). *Из Ленинграда приехал исхудавший Тихонов.* — В зап. кн. Эренбурга: «2 февр. 1942. Тихонов. Мертвых не убирают... Мочатся на Невском. Летаргия. Сам Тихонов изменился» *(ФЭ)*. *Она мне прочитала печальные стихи...* — «Калуга» (см.: Алигер М. Собр. соч., т. 1. М., 1984, с. 207). М. Алигер вспоминала: «Однажды Эренбург позвонил мне по телефону — дело было, когда он писал военные годы в книге «Люди, годы, жизнь». Позвонил и попросил напомнить строки, понравившиеся ему в тот далекий вечер (в январе 1942 г. в гостинице «Москва» Алигер читала Эренбургу свои стихи. — *Б. Ф.*). «Я смотрел ваши сборники, — сказал Илья Григорьевич, — стихотворение нашел, но тех строк в нем почему-то не обнаружил. Но я их помню, твердо помню, помню ощущение от них... Скажите, я не ошибаюсь?» Нет, он не ошибался. Он никогда не ошибался, когда речь шла о поэзии» (*ВЭ*, с. 196). *...обед на правительственной даче в 1957 году...* — 19 мая; в выступлении Хрущева на этом обеде, как и на совещании в ЦК 13 мая, подверглись разносу те явления литературы, которые были порождены XX съездом («Не хлебом единым» В. Дудинцева, альм. «Литературная Москва»). М. Алигер, наряду с Э. Казакевичем и В. Кавериным, входила в редколлегию «Литературной Москвы». *...приказ о Лапине и Хацревине...* — Д. И. Ортенберг писал: «В ноябре 1941 г. мне принесли проект приказа об исключении Лапина и Хацревина из списка корреспондентов как «пропавших без вести». Прошло уже более двух месяцев, на чудо я не надеялся, но, щадя чувство Ильи Эренбурга и его дочери Ирины — жены Лапина, подписал его лишь в феврале сорок второго» (Время не властно, с. 429).

Стр. 679. *Мне хочется привести здесь письма от женщин...* — Цитируются письма из статей: *Е. И. Семеновой* — «Слово матери»

(*КЗ*, 1942, 17 апреля), *сестры Дедова* — «Семья Дедовых» *(КЗ*, 1942, 7 августа), *О. Хитровой* — «Дело наших рук» (Правда, 1942, 11 сентября; полностью: Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны, кн. 1. — Лит. наслед., т. 78. М., 1966, с. 606 — 607), Э. *Халифман* — по книге «100 писем» (М., 1943, не вышла, верстка — *АЭ*).

Стр. 682. *Командующий генерал Г. К. Жуков рассказал нам...* — В зап. кн. Эренбурга: «23 янв. 1942. У Жукова. Сталин. Записная книжка. И. В. сказал...» 24 января Эренбург передал для американского агентства печати: «Для всего мира битва за Москву связана с именем генерала Георгия Константиновича Жукова... Генерал Жуков — человек большой воли и большой скромности. В разговоре он тотчас же находит точные и ясные формулировки» (*ЛГ*, 1985, 1 января). В пору публ. мемуаров Эренбурга Г. К. Жуков был в опале, и цензура изъяла из текста даже его инициалы.

Стр. 683. *...репродукцию плохой картины...* — Имеется в виду картина Ф. П. Решетникова «Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин».

Глава 5

В черн. варианте начало главы иное: «Судьба в одном была ко мне милостива — никогда я не дружил с настоящими крупными злодеями. Я хорошо знал почти всех видных французских коммунистов былого времени, но только один раз встретил Дорио. Потом я его увидел в ресторане во время немецкой оккупации: я сидел в темном углу, а он обедал с немецким офицером. Я побоялся, что он меня узнает, но он, увлеченный беседой, ни разу не оглянулся. Он излагал гитлеровскому офицеру план пропаганды. Я невольно прислушался, и меня затошнило, обеда я не доел. Когда я приехал в освобожденный Можайск, мне рассказали, что Дорио там был, но заблаговременно уехал. Он, по-моему, был злодеем, и, если бы я хотя бы раз с ним побеседовал, не смог бы об этом умолчать, хотя, конечно, обидно в книге о своей жизни уделять место таким персонажам. Все же я дошел до главы...» *(ФЭ)*. *Жак Дорио* — бывший член Политбюро ФКП, перешедший на сторону фашистов со времен Испанской войны. Эренбург писал о нем в статьях «Две притчи» (Известия, 1938, 27 июля. См.: *ИР*, с. 292—293) и «Можайск — Париж» (*КЗ*, 1942, 30 января).

Стр. 685. *...в моей записной книжке... я отметил...* — В зап. кн. Эренбурга две записи о Власове: «6 марта 1942. Власов «Не жалеть, а беречь». О Суворове»; «7 марта 1942. Утро. Власов уезжает. Маруся в ватнике. Петушки. Комиссар, который ходит сам по себе» *(ФЭ)*.

Стр. 686. *В статье... я коротко описал командующего...* — В ст. «Перед весной» (*КЗ*, 1942, 11 марта): «Генерал Власов разговаривает с бойцами. Любовно и доверчиво смотрят бойцы на своего команди-

ра: имя Власова связано с наступлением — от Красной Поляны до Лудиной горы. У генерала рост метр девяносто и хороший суворовский язык. Он говорит бойцам о немецком солдате: «Прошлым летом он воевал со смаком. А теперь?.. теперь он воюет с перепугу...»

Стр. 687. *...три пулеметчика и санитарка Вера Степановна Бадина...* — См.: ст. «Четверо» (Правда, 1942, 28 марта).

Стр. 688. *Я тогда выполнил посмертную волю Мальцева.* — См.: ст. «Последняя ночь» (*КЗ,* 1943, 10 марта), где приведено письмо Мальцева. *Все о нем давно позабыли...* — Интерес к фигуре Власова возродился на Западе в 70-е гг. (издана его подробная биография — см.: Стеенберг Свен. Власов. Мельбурн, 1974), а в СССР — в 90-е гг. (начиная с публикации «Огонька» — 1990, № 46, с. 29—31).

Глава 6

Стр. 690. *...киплинговские нотки... в очерках и стихах молодого Симонова отвечали его наклонностям.* — «Если Эренбург под «киплинговскими нотками» понимал немногоречивую мужественность, то в этом его замечании есть большая доля истины. Нам в редакции нравились суровые, мужественно-сдержанные военные очерки Симонова. Но в особенности в редакции любили Симонова за его безотказность и смелость» (Ортенберг Д. Время не властно, с. 195). *...его* <Ортенберга> *сняли. Щербаков его не выносит...* — Д. И. Ортенберг вспоминал о разговоре с А. С. Щербаковым за несколько месяцев до своего увольнения из *КЗ:* «Александр Сергеевич вызвал меня и сказал буквально следующее: «У вас в редакции много евреев... Надо сократить». Эти слова секретаря ЦК ошеломили меня. Я буквально онемел. А потом ответил: «Уже». — «Что уже?» — «Уже сократил... Спецкоров Лапина, Хацревина, Розенфельда, Шуэра, Вилкомира, Слуцкого, Иша, Бернштейна. Погибли на фронте. Все они евреи. Могу сократить еще одного — себя». Сказал это и, даже не попрощавшись, ушел» (Ортенберг Д. Сорок третий. М., 1991, с. 399). *Я послал ему сборник своих статей...* — «Война», кн. 2; надпись на ней: «Д. Ортенбергу. На память о... войне в «Красной звезде». *Когда он ушел, я хлебнул горя...* — Н. А. Таленского в марте 1945 г. сменил И. Я. Фомиченко.

Стр. 691. *Моран был милым и чрезвычайно скромным.* — Книга стихов Р. Морана вышла уже без него (В поздний час. М., 1990); в *ФЭ* сохранилось письмо Морана к Эренбургу, написанное в 1963 г., в пору яростных нападок на мемуары «Люди, годы, жизнь»: «Хочется, чтобы Вы знали, что все тяжкое, навалившееся на Ваши, много вынесшие плечи, вызывает у меня душевную боль и обиду за Вас. Хотя Вам «не привыкать стать», все же я ясно представляю себе, как все это тяжело переживается, как дорого обходится... Я хорошо помню печально па-

мятный Вам поворот в канун Победы, от которого трещали Ваши кости. Верится, что Вы справитесь, как тогда, как всегда...»

Стр. 692. *В 1942 году он* <Лев Иш> *писал из осажденного Севастополя...* — Цит. по ст.: «Сила слова» (Правда, 1944, 6 мая).

Стр. 693. *Письмо было подписано Н. Грибачевым.* — Это письмо, как и упоминание о немецких автоматчиках, — пример скрытой полемики в мемуарах Эренбурга. Военное письмо Грибачева, ставшего влиятельным функционером Союза писателей, контрастирует с послевоенной позицией его автора — неизменного и активного противника того, за что боролся Эренбург в послесталинское время. В 1957 и 1963 гг. Грибачев и др. спровоцировали Хрущева на резкие выступления против антидогматических сил в литературе; Хрущев назвал Грибачева «автоматчиком», думая его похвалить. *П. И. Батов пишет...* — См.: Батов П. И. В походах и в боях. М., 1962, с. 104.

Глава 7

Стр. 694. *Когда на смерть идут — поют...* — из стихотворения «Перед атакой» (см.: Гудзенко С. Избранное. М., Худож лит., 1977, с. 17—18; далее — по этому изд.).

Стр. 695. *«Я читал, что вы ездили к Рокоссовскому...»* — в очерке Эренбурга «По дорогам войны» (*КЗ*, 1942, 6 июня). «Вчера был у нас Илья Эренбург» — запись 20 мая 1942 г. Далее Гудзенко писал: «Выводы делает из встреч и писем. Обобщает, не заглянув в корень. Он типичный и ярый антифашист. Умен и очень интересно рассказывал... «Мы победим, — сказал он. — И после войны вернемся к своей прежней жизни. Я съезжу в Париж, в Испанию. Буду писать стихи и романы». Он очень далек от России, хотя любит и умрет за нее, как антифашист» (см.: Гудзенко С. Армейские записные книжки. М., 1962, с. 35). Гудзенко был не единственный, кто представлял себе во время войны Эренбурга неким представителем Парижа в Москве. Война и тяжкие послевоенные годы показали, насколько это было не так.

Стр. 696. *Я читал стихи Гудзенко всем...* — Эренбург наряду с П. Антокольским и В. Гроссманом рекомендовал его в Союз писателей; 3 марта 1943 г. Гудзенко записал: «Вчера был счастливый вечер перед моим двадцатиоднолетием — Эренбург просмотрел книгу «Однополчане» и написал в Госиздат Чагину: «Дорогой Петр Иванович! Горячо рекомендую Вам книжку стихов молодого поэта-фронтовика Гудзенко. На мой взгляд, это не только хорошие стихи, но это подлинные стихи о войне. Илья Эренбург» (РГАЛИ, ф. 2207, оп. 1, ед. хр. 11, л. 65). *Потом устроили вечер в Клубе писателей...* — 21 апреля 1943 г., Эренбург выступил с речью.

Стр. 697. *Только в 1961 году... восстановили подлинный текст.* — В кн. «Стихи» (Гослитиздат, Б-ка сов. поэзии), однако в изд. 1971 г.

(Г у д з е н к о С. Завещание мужества. М., Мол. гвардия) снова было напечатано «Ракету просит небосвод», и лишь в изд. 1977 г. (сост. и подг. текста Л. Лазарева) подлинный текст был вновь восстановлен. *...И наконец-то с третьим эшелоном...* — из стихотворения Гудзенко «Сталинградская тишина».

Стр. 698. *...Каждый помнит по-своему, иначе...* — из стихотворения «Память». *Занят Деж, занят Клуж...* — из «Трансильванской баллады». *«Война на нашем участке еще настоящая...».* — Письмо Гудзенко написано после 15 апреля 1945 г., т. к. в нем есть отклик на ст. Г. Александрова «Тов. Эренбург упрощает»: «Я и мои друзья просим Вас упрощать по-прежнему. Газеты ежедневно переворачиваются в поисках Ваших статей» *(ФЭ);* письма Гудзенко к Эренбургу см. в *ВЛ,* 1993, вып. 1, с. 274—276. *И у меня есть тоже неизменная...* — из стихотворения «Я в гарнизонном клубе за Карпатами».

Стр. 699. *«Мы не от старости умрем...»* — Стихотворение без названия. *«Борясь со смертью, Гудзенко написал три стихотворения»* — «Я пришел в шинели жестко-серой...», «Как без вести пропавших ждут...», «И снова жизнь...». *До чего мне жить теперь охота...* — из стихотворения «Я пришел в шинели жестко-серой...». *«Многое не так получилось...»* — По поводу этих слов Гудзенко Долматовский написал: «В мемуарах одного большого писателя я прочитал печальные строки о послевоенном Гудзенко. Этот писатель любил Гудзенко, но, как мне кажется, не понял его в сложную послевоенную пору. Трудных дней немало было у Семена, но он был неисправимым оптимистом и в этом качестве не менялся» («Каждый помнит по-своему» — предисл. к кн. С. Гудзенко «Завещание мужества». М., 1971, с. 8. В этой книге помещены также и воспоминания о Гудзенко; воспоминания И. Эренбурга не включены).

Глава 8

Стр. 701. *...Гарро мне передал поздравительную телеграмму де Голля.* — Не сохранилась; в *ФЭ* есть другая телеграмма — поздравление от 9 мая 1944 г. по случаю награждения орденом Ленина: «Господину Илье Эренбургу, Москва. Поздравляю большого писателя и верного друга Франции. Генерал де Голль».

Стр. 703. *Я поехал к ним вместе с Шампенуа...* — Франсуа де Жоффр, лейтенант из «Нормандии», вспоминал: «Летчиков часто навещал пресс-атташе французского посольства господин Шампенуа, очень эрудированный человек и любитель выпить, а также известный писатель, лауреат Сталинской премии, друг Франции, Илья Эренбург, много лет живший в нашей стране. Он изумлял наших летчиков необычайным остроумием и необыкновенно легким употреблением пословиц. Вместе с летчиками «Нормандии» они встречали Новый год» (Ф. д е Ж о ф ф р. Нормандия — Неман. М., 1960, с. 45).

Стр. 704. *...и начали петь хором фривольные песни.* — 30 января 1943 г. Эренбург рассказывал в письме к Е. Г. Полонской о встрече с летчиками «Нормандии»: «А когда на ревейон (сочельник. — *Б. Ф.*) французские летчики пели: «ма гранд мэр м'а доннэ сам су пур бретель э муа же сюи алле а бордель» (моя бабушка мне дала сто су на подтяжки, а я пошел в бордель. — *Б. Ф.*), подавальщицы в Иванове меня благоговейно спрашивали: «Это у них церковное?»; эта сцена вошла в роман «Буря». *...они были хорошими товарищами...* — После Победы Эренбург рассказал о встречах с французскими летчиками в статье «Полк «Нормандия — Неман» (Известия, 1945, 9 июня).

Стр. 705. *Правительство де Голля наградило меня крестом офицера Почетного легиона.* — Грамота о награждении «г. Ильи Эренбурга, русского журналиста» подписана 22 января 1945 г. Шарлем де Голлем.

Стр. 706. *...об одной злополучной телеграмме, посланной в декабре 1939 года Риббентропу.* — См. примеч. к с. 616. *Ты говоришь, что я замолк...* — из одноим. стихотворения (1945) (см. т. 1 наст. изд., с. 169).

Стр. 707. *Зачем только черт меня дернул...* — из стихотворения «Во Францию два гренадера...» (1948) — см.: т а м ж е, с. 175.

Глава 9

Стр. 709. *...из статьи в «Правде»...* — «Дело наших рук» (11 сентября 1942).

Стр. 710. *Жил-был у бабушки серенький козлик...* — из стихотворения И. Уткина «Про бабушку и козлика, про немцев и партизан» (см.: У т к и н И. Я видел сам. М., 1942, с. 83). В зап. кн. Эренбурга внесены 17 мая 1942 г. *Я пошел к Катаеву...* — В зап. кн. Эренбурга: «4 июля 1942. У Катаева. Ставский. Водка». *...в пролет лестницы упал Янка Купала.* — В зап. кн. Эренбурга: «28 июня 1942. Самоубийство Купалы. 29 июня. Купала был пьян, упал». *Француженка Аннет* — знакомая Эренбурга Аннет Лот, перед войной приехала в Москву, выйдя замуж за советского архитектора; после войны Эренбург попросил Молотова позволить ей с детьми съездить во Францию, откуда она не вернулась.

Стр. 711. *«Мое сердце из красного сахара»* — перевод И. Эренбурга (см.: Поэты Франции 1870—1913. Переводы И. Эренбурга. Париж, 1914, с. 106—107). *Вот его запись от 25 февраля...* — Цит. по ст.: «Немец» (*КЗ*, 1942, 13 ноября).

Стр. 712. *...«Народный календарь»... издали на русском языке немцы...* — См. ст.: «Поганые святцы» (*КЗ*, 1942, 25 сентября). *...Аскар Лехеров писал мне...* — Впервые цит. в ст.: «Сильнее смерти» (*КЗ*, 1942, 18 июля).

Стр. 713. *Британский лорд // Свободой горд...* — из стихотворения «Три нации» (см.: П о л е ж а е в А. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1987, с. 465).

Глава 10

Стр. 714. *...о битве на Волге я знаю... по очеркам Гроссмана, по роману Некрасова...* — Очерки «Сталинград» (см.: Гроссман Вас. Годы войны. М., 1946, с. 170—280); роман Некрасова «В окопах Сталинграда» (впервые под назв. «Сталинград» — Знамя, 1946, № 8).

Стр. 716. *«Говорят, Мехлиса снимут...»* — Один из самых фанатичных сталинских сатрапов Л. З. Мехлис (в 1941 — 1942 гг. — нач. ГлавПУРККА и зам. наркома обороны) в мае 1942 г. после разгрома советских войск в Крыму, где он представлял Ставку, был понижен в звании и должности. *Полковнику Гавалевскому удалось прогнать противника с северного берега Волги.* — См.: ст. «Так зреет победа» (*КЗ*, 1942, 9 октября).

Стр. 717. *Помню... Даниила Алексеевича Прыткова...* — См.: ст. «Ожесточение» (*КЗ*, 1942, 8 октября).

Стр. 718. *С американским журналистом Леландом Стоу...* — О поездке с ним на фронт Эренбург писал в статье «Сила слова» (Правда, 1944, 6 мая; см. т. 5 наст. изд., с. 633—634).

Стр. 720. *Слов мы боимся, и все же прощай!..* — из одноим. стихотворения (1944); см. т. 1 наст. изд., с. 163.

Глава 11

Стр. 720. *...познакомился я с Александрой Михайловной... в Осло* — летом 1929 г., во время поездки вместе с Савичами по Скандинавии; 11 августа 1929 г. А. М. Коллонтай писала подруге: «Эти дни были у нас гости; Эренбург с женой-художницей и новый писатель Савич с женой. Эренбург — культурный, наблюдательный, с тактом. Говорили много о путях литературы» (Коллонтай А. М. Избранные письма 1901—1952. М., 1989, с. 242).

Стр. 722. *В мае 1938 года, возвращаясь через Стокгольм... в Испанию...* — 8 мая 1938 г. А. М. Коллонтай писала подруге: «Вчера Эренбург, проездом, прочел у нас чудесный доклад об Испании» (там же, с. 347). *У меня сохранилось несколько писем от Александры Михайловны...* — 5 писем к Эренбургу (1944—1948 гг.) вошли в указанный выше сборник. *«Работаю я очень много, и дела большие...»* — из письма от 15 апреля 1944 г.

Стр. 723. *Она* <Коллонтай> *писала мемуары для будущих историков...* — не опубликованы. *...мои статьи вызвали возмущение немцев.* — В зап. кн. Эренбурга: «9 апр. 1942. Хавенсон (руководитель ТАСС. — *Б. Ф.*): немцы передали: «Эренбург угрожает шведам».

Стр. 724. *«...в Швеции вас ценят и любят...»* — из письма от 15 апреля 1944 г. Еще 3 декабря 1941 г. А. М. Коллонтай телеграфировала С. А. Лозовскому: «Здешние левые газеты настойчиво просят статьи Эренбурга и его фронтовые заметки. Эренбурга здесь хорошо

знают, и нам эти статьи будут весьма полезны. Попросите Эренбурга заготовить что-нибудь специально для Швеции» *(ФЭ);* 4 мая 1942 г. — Эренбургу: «Ждем с нетерпением Ваших статей. Газеты не дают нам покою. Телеграфьте день высылки. Посланник СССР Коллонтай» *(АЭ).* 25 ноября 1944 г. А. М. Коллонтай писала Эренбургу: «Самое теплое спасибо Вам за Вашу память обо мне и за книжечку «Война», которая дает возможность еще раз перечитать Ваши интересные мысли и картины о пережитых годах Отечественной войны... Все Ваши книги с большим интересом читаются в Швеции, и Ваше имя близко всем северным народам» (К о л л о н т а й А. М., Избранные письма..., с. 380).

Глава 12

Стр. 725. *...я долго бродил вокруг Касторной.* — См.: ст. «Наша звезда» (*КЗ,* 1943, 21 февраля).

Стр. 726. *Я записал... разговор с... Отто Зинскером.* — Часть этой записи приводилась в статье «Наша звезда».

Стр. 727. *«Мама, дядя Отто... приходил...»* — из ст. «Верность» (Правда, 1943, 5 марта), вошло в роман «Буря» (часть 4, гл. 30).

Стр. 729. *...Сергей Иванович не хотел примириться с судьбой...* — С. И. Лоскутов вспоминал: «Разумеется, я не могу согласиться с Ильей Григорьевичем, что с моей стороны было опрометчиво идти куда-то искать помощи, чтобы спасти людей... Преодолевая снежные сугробы и ориентируясь по телефонным столбам, выбиваясь из последних сил, я добрался до села Золотухино. Там у артиллеристов раздобыл лошадей, тулупы и вызволил товарищей из беды» (Журналисты на войне. М., 1966, с. 117).

Стр. 730. *В Курске я сел за статью...* — «Новый порядок в Курске» (*КЗ,* 1943, 26 и 27 февраля); в 1943 г. вышла пятью отдельными изд.

Стр. 731. *«Хиросима — моя любовь»* — фильм Алена Рене (1959).

Стр. 732. *Нас водила молодость в сабельный поход...* — из поэмы Э. Багрицкого «Смерть пионерки» (1932).

Глава 13

Стр. 734. *...Чехов... понимал народников или либералов.* — В черн. варианте далее: «Я мог в молодости разговаривать с Модильяни и о живописи, и о поэзии, и о войне, и о революции, а встретившись с его братом, депутатом-социалистом, сразу понял, что ничего, кроме политики, его не интересует». *Его книгу... «Новое русское искусство» выпустило крупное берлинское издательство.* — См.: U m a n s k i y K. Neue Kunst in Russland 1914—1919. Potsdam — München, 1920; рецензия Г. Лукомского на эту книгу была напечатана в журн. «Новая русская книга» (Берлин, 1922, № 2), в котором сотрудничал Эренбург.

Стр. 736. ...*«Моего «босса» рассердило...»* — В. М. Молотова, тогда — наркома иностранных дел. *«Вам стоит уделить ему время...»* — из письма от 28 ноября 1944 г. «Излишне говорить, — продолжал Уманский, — что г. Бассольс, как и все передовые люди Мексики и полушария, является Вашим восторженным поклонником, и я знаю, что Вы очень легко найдете с ним общий язык» *(ФЭ)*. Эренбург посылал Уманскому в Мексику свои книги; сохранились копии его телеграмм с запросами о латиноамериканских изданиях его книг. В связи с этим Уманский писал Эренбургу в цитируемом письме: «Недавно узнал, что, не спросив меня, нью-йоркское представительство «Литературного агентства» продало здешнему издательству «Либро Либре» права на издание «Падения Парижа» на испанском языке для всей Лат. Америки. Это — непростительная глупость. Литературное качество перевода и оформление будут в порядке, и это — возьмите себя в руки! — издательство здешних «антифашистских» фрицев (Людвиг Ренн, Э. Э. Киш и пр.), которые ведут себя отвратительно, считают чтение Ваших статей криминалом и издают Вашу книгу в порядке лицемернейшего камуфляжа. Это препротивная банда, к которой из пишущих на немецком языке писателей не принадлежит лишь Ваш и наш добрый друг Анна Зегерс. За солидарность с Вашей линией по отношению к фрицам и их будущему она предана остракизму со стороны реннов и других «антифашистов». Невероятно досадно, что именно эти люди издадут Вашу книгу, но сделано это было за моей спиной, т. к. ренны знали, что, узнав, сорву это дело вовремя. А теперь уже поздно».

Стр. 737. *Евгений Александрович вернулся в Москву только после оттепели.* — «Однажды в годы войны я в лагере, прислонясь к мокрой сосне, к которой был прикреплен радиорупор, слушал Ваше выступление и навсегда запомнил, как Вы призывали к безотказной патриотической борьбе в защиту советской Родины и против фашизма словами о значении европейской культуры для прогресса человечества», — написал Е. А. Гнедин на оттиске статьи «Судьба европейского наследства» (*НМ,* 1964, № 1), подаренном Эренбургу «в знак глубокого уважения и привязанности» *(ФЭ)*. В 1923—1935 гг. Е. А. Гнедин напечатал в «Известиях» ок. 300 статей и памфлетов (под псевдонимами Е. Александров, Номад, Е. Михайлов). *Пришедшие проводить Уманских видели катастрофу.* — В. А. Мильман, познакомив по поручению Эренбурга с рукописью этой главы Д. А. Уманского, брата К. А., писала Эренбургу: «Говорила с Уманским, показала ему главу... Что он добавил: при катастрофе спаслась одна сотрудница, но ее фамилии он не помнит... Он, как и многие товарищи, полагает, что катастрофа была подстроена Берия, который не любил Уманского, т. к. его любил Сталин» *(АЭ)*.

Стр. 738. ...*одна мексиканская поэтесса...* — Маргарита Пас Паредес (сообщено В. Н. Кутейщиковой). ...*люди искусства и там почувствовали в нем своего...* — из статьи Эренбурга на смерть Уманского

в журн. «Nouvelles Soviétiques» (по-русски не публ.): «Мы привыкли к потерям в эти жестокие годы. И все же я не могу примириться с мыслью о том, что где-то очень далеко от Москвы сейчас люди прощаются с мертвым Уманским. Он был умным, смелым и хорошим человеком. Таких оплакивают не только близкие. А мне он был другом, и к общей скорби примешивается личная» *(АЭ)*. Сестра погибшего, В. А. Уманская, писала Эренбургу из Парижа 5 марта 1945 г.: «Я прочла Вашу дивную статью в «Nouvelles Soviétiques». Я Котю очень любила и не видела его с тех пор, как он работал в Agence Tass в Париже. Читая Вашу статью, я вижу перед собой Котю...» *(ФЭ)*.

Б. Фрезинский

Содержание

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

Эренбург И. Г.

Э 76 Собрание сочинений. В 8 т. Т. 7. Люди, годы, жизнь: Книги вторая, третья, четвертая, пятая (главы 1—13) /Сост., подгот. текста И. И. Эренбург, Б. Я. Фрезинского; Коммент. Б. Я. Фрезинского. — М.: Худож. лит., 2000. — 862 с.

ISBN 5-280-02070-2 (Т. 7)
ISBN 5-280-01055-3

В седьмой том Собрания сочинений И. Г. Эренбурга входят книги 2 — 5 (гл. 1 — 13) мемуаров «Люди, годы, жизнь».

УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6-4

Илья Григорьевич
Эренбург

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ

Том седьмой

Подбор иллюстраций
Б. Фрезинского

Заведующий редакцией
В. Максимов

Редактор
Е. Дворецкая

Художественный редактор
Г. Клодт

Технический редактор
Л. Синицына

Корректор
Н. Жильцова

Изд. лиц. № 010153 от 14.02.97 г.
Сдано в набор 13.05.99. Подписано в печать 26.10.2000. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 45,36 + альбом = 47,04. Усл. кр.-отт. 49,14. Усл. изд. л. 52,88 + альбом = 53,86. Тираж 5000 экз. Заказ № 2934

Ордена Трудового Красного Знамени государственное издательство «Художественная литература». 107882, г. Москва, ул. Ново-Басманная, 19

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов на издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32



